



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

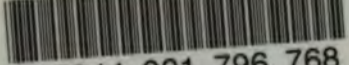
### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

WIDENER



HN ZWCS I



3 2044 021 796 768

Slav 3627.4.3

Harvard College Library



BEQUEST OF

JEREMIAH CURTIN

(Class of 1863)

RECEIVED SEPTEMBER 3, 1913







• 4.



Slav 3627.43

Л. Мельшинъ.  
Л. Мельшинъ.

# ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ.

ЗАПИСКИ БЫВШАГО КАТОРЖНИКА.

Томъ первый.

(Въ преддверіи. Дорога.—Шелаевскій рудникъ).

2-е изданіе редакціи журнала «Русское Богатство».



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типо-литографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая, 15.

1899.

51ar 3627.4.3

Harvard College Library

Sept. 3, 1913

Bequest of  
Jeremiah Curtin (2 vols)

BOUND OCT 10 1914

*Jeremiah Curtin.*

## Въ преддверіи. Дорога.

Блѣдныя тѣни! Ужасныя тѣни!  
Злоба, безумье, любовь...  
Ѣдемъ мы, братецъ, въ крѣви по колѣни  
— „Полно — тутъ пыль, а не кровь“...  
*Н. Некрасовъ.*

Много лѣтъ довелось мнѣ прожить въ мірѣ отверженныхъ, и прожить не въ качествѣ посторонняго зрителя, наблюдателя, а непосредственнаго участника во всѣхъ мелочахъ ихъ жизни, лежать рядомъ съ ними на тѣхъ же нарахъ, питаться той же омерзительной баландой, работать ту же работу, дѣлать тѣ же умственные и нравственные интересы. Много пришлось видѣть любопытнаго; пришлось, разумѣется, и выстрадать не мало... Поэтому часто подмывало меня и до сихъ поръ подмываетъ желаніе передать свои впечатлѣнія бумагѣ, повѣдать о нихъ свѣту.

Правда, страшно браться за задачу, которая однажды была уже блистательно выполнена великимъ художникомъ. Не смотря на то, что цѣли, которыя я ставлю себѣ, очень скромны, и я совершенно чуждъ претензій на художественность письма, мною всетаки овладѣваетъ невольное чувство боязни, когда я вспоминаю о существованіи „Записокъ изъ Мертваго Дома“: таково ужъ очарованіе генія...

Я долго колебался... И только мысль о томъ, что столько измѣненій произошло въ этомъ мрачномъ мірѣ со времени Достоевскаго, что его время отдѣлено отъ насъ уже нѣсколькими десятилетиями лѣтъ, такъ многообразно отразившимися на всѣхъ сторонахъ и явленіяхъ русской жизни, а между тѣмъ не слишкомъ-то часто случается въ исторіи, чтобы такіе писатели, какъ Достоевскій, шли въ каторгу,—одна только эта мысль побудила меня

взяться, наконецъ, за перо и оттолкнуть отъ себя всѣ сомнѣнія. Исполню свою задачу такъ, какъ позволятъ мои небольшія силы, не становясь на ходули и требуя въ награду себѣ не славы, а лишь одного—признанія искренности.

Для начала попытаюсь изобразить путь въ Сибирь по этапамъ, составляющій какъ бы преддверіе міра отверженныхъ. Насколько мнѣ извѣстно, никто еще достоподобнымъ образомъ не описалъ въ нашей литературѣ всѣхъ красотъ и прелестей этого невольнаго вояжа, — къ счастью, съ проведеніемъ сибирской желѣзной дороги отходящаго уже въ область исторіи. Но, съ другой стороны, спѣшу оговориться, что читатель не найдетъ въ этой части моихъ очерковъ непосредственнаго изображенія арестантскаго міра: принадлежа къ привилегированному званію, имѣя ярлыкъ высшей образованности, я ѣхалъ въ каторгу съ сравнительнымъ комфортомъ, — пользовался отдѣльнымъ отъ партіи помѣщеніемъ на этапахъ, имѣлъ подводу и проч. Однимъ словомъ, я былъ въ то время еще дилетантомъ-каторжникомъ, только что начавшимъ знакомиться съ новымъ своимъ положеніемъ, наблюденія мои неизбѣжно должны были отличаться поэтому нѣкоторой поверхностностью и подчасъ прямой невѣрностью. Тѣмъ не менѣе, я надѣюсь, что и здѣсь могу сказать кое-что любопытное и неизвѣстное большой публикѣ. Далъ бы только Богъ хорошо и правдиво высказать то, что видѣлось и чувствовалось!

## I.

Начало своей каторжной жизни, какъ это ни странно, я помню очень смутно. Многое рисуется мнѣ точно во снѣ, и за нѣкоторые факты я не поручусь даже—точно ли они были въ дѣйствительности, или же только пригрезились мнѣ. Это произошло оттого, конечно, что я былъ и физически, и нравственно боленъ, хотя никому изъ врачей, свидѣтельствовавшихъ меня, не приходило этого въ голову. Я очень долго сидѣлъ подъ слѣдствіемъ, въ тяжеломъ одиночномъ заключеніи, безъ книгъ, на одной казенной пищѣ. Но это бы все, разумѣется, вздоръ, если бы не угнетенное психическое состояніе и борьба съ собственнымъ своимъ „я“. Особенно тяжелы были послѣднія недѣли заключенія, когда изъ да-

лекой провинціальной глуши притащилась въ столицу моя старая мать (какая-то добрая душа „обрушила утесъ на ея грудь“, сообщила ей обо всемъ). Она вся посѣдѣла и согнулась отъ горя, хотя за какіе-нибудь три года передъ тѣмъ я видѣлъ ее вполне бодрой, черноволосой еще женщиной, которой никто не давалъ на видъ больше сорока пяти лѣтъ. На свиданіяхъ со мною она старалась казаться по прежнему веселой и бодрой: наивная душа, она думала меня ободрить этимъ! Но я не могъ не видѣть ея опухшихъ отъ слезъ и покраснѣвшихъ глазъ, не могъ не улавливать по временамъ глубокой, глубокой грусти въ ея ласкающемъ взглядѣ, не могъ не догадываться, что она обо мнѣ неустанно хлопочетъ—обиваетъ пороги, кланяется, молить, плачетъ...

Ахъ, проклятые, проклятые дни!.. Сколько вы высосали крови изъ моего сердца, сколько влили въ него яда, сколько отняли лучшихъ силъ... Мимо, мимо! Я не хочу вспоминать васъ. Одно скажу: страшно было послѣднее свиданіе съ матерью. Во снѣ я часто испытывалъ кошмары, но ни одинъ изъ нихъ никогда не могъ сравниться съ болью и ужасомъ нашего прощанья!..

Простились мы часа въ три дня, а въ шесть, какъ объявилъ мнѣ смотритель, должны были заковать меня и обрить. Помню, какъ сейчасъ, что я тогда испытывалъ. Кандаловъ я до тѣхъ поръ не видалъ, какъ не видалъ и бритыхъ головъ; изъ книжныхъ описаній тоже могъ составить лишь слабое понятіе, по той простой причинѣ, что не имѣлъ надобности и охоты вникать въ нихъ. Все это я представлялъ себѣ совсѣмъ иначе и, нужно сознаться, гораздо хуже. Мнѣ почему-то казалось, на примѣръ, что когда закуютъ въ кандалы, уже нельзя будетъ свободно двигаться, и потому я спѣшилъ насладиться послѣдними минутами свободы, торопливо расхаживая по своей маленькой клѣткѣ, позволявшей дѣлать всего три шага въ одинъ конецъ. И вотъ наступила роковая минута; меня повели въ баню и тамъ ошельмовали: обрили гладко-на-гладко ровно половину головы (правую половину въ продольномъ направленіи) и заковали крѣпко-на-крѣпко въ десятифунтовые кандалы съ кольцами, такъ тѣсно обнимавшими щиколку ноги, что съ трудомъ проходило между ними и тѣломъ нижнее бѣлье. Черезъ нѣсколько дней у меня распухли ноги, такъ что принуждены были перековать меня въ болѣе просторныя оковы. Впослѣдствіи я убѣдился, что въ Сибири, особенно восточной, начальство въ этомъ отношеніи снисходительнѣе: и на



кандалы, и на бритые тамъ склонны глядѣть, какъ на устарѣлую и ни къ чему ненужную формальность. Партии сплошь и рядомъ идутъ раскованныя, держа кандалы въ мѣшкахъ вмѣстѣ съ прочими казенными вещами; головы брѣются тоже безъ особеннаго педантизма, а въ каторжныхъ тюрьмахъ часто и вовсе не брѣются. Не то въ Россіи и въ Западной Сибири. Давно, кажется, пора бы понять, что никогда и никому не мѣшали бѣжать и скрываться кандалы или бритая голова: обнаженный черепъ легко прикроетъ парикъ, или даже просто шапка; любые кандалы можно разбить въ пять минутъ, хорошенько ударивъ по кольцу дверью и разбивъ заклепки; иногда достаточно бываетъ и простого сплюсненія кольца, чтобы ступня ноги свободно прошла черезъ него. Серьезно мѣшаютъ побѣгу только тюремныя стѣны и конвой.

Кандалы и бритые головы, несомнѣнно, имѣютъ въ виду одну только цѣль — надруганіе надъ достоинствомъ человѣка, лишеннаго правъ. Не въ столь отдаленную старину на лицахъ и плечахъ колодниковъ выжигались каленымъ желѣзомъ особыя клейма, и до сихъ поръ еще можно встрѣтить въ Сибири, въ каторжныхъ богадѣльняхъ и на поселеніи, дряхлыхъ стариковъ, имѣющихъ эти ужасныя печати. Но современное просвѣщеніе запрещаетъ уже подобнаго рода безчеловѣчіе, находя его одной изъ разновидностей средневѣковой пытки; оставлены только кандалы и бритые головы... И нужно ли доказывать, что и это лишь своего рода уцѣлѣвшій пережитокъ? Можно ли не жалѣть, когда время отъ времени замѣчается на этотъ счетъ поворотъ въ сторону реакціи, издаются циркуляры о строгомъ и неукоснительномъ выполненіи закона, и арестантамъ начинаютъ снова по настоящему брить головы и надѣвать на ноги оковы? Припоминая свой личный опытъ, я могу, впрочемъ, сказать, что съ этими послѣдними мое внутреннее чувство гораздо легче мирилось, нежели съ бритьемъ: кандалы въ значительной степени опозитизированы преданіемъ и народной пѣсней, они являются въ глазахъ арестантовъ своего рода почетомъ, а не поруганіемъ... Совсѣмъ иное чувство испытывалъ я, глядя на приготовленія солдата-цирульника къ своему отвратительному дѣлу. Бритые головы, кромѣ нравственной муки, причиняло еще обыкновенно и чисто-физическую боль: неумѣлыя руки и тупыя бритвы рѣзали до крови кожу на головѣ, расцарапывали на ней мелкіе прыщики, дѣлали ссадины на естественныхъ неровностяхъ черепа... Кровь, смѣшанная съ обильно

струящимся по головѣ грязнымъ мыломъ, совершающій свою операцію равнодушный и безмолвный палачъ, гримасы и вскрикиванья оперируемой имъ жертвы, — все это превращало въ подлинную пытку тѣ минуты, когда приходилось ждать своей очереди, чтобы быть такъ же отшельмованнымъ и такъ же наувѣченнымъ!... Не говорю уже о необходимости морозить потомъ голый черепъ во время ужасныхъ сибирскихъ холодовъ и схватывать, неизвѣстно во имя чего, простуду, кашель и насморкъ.

Кандалы не разъ уже были подробно описаны въ русской беллетристикѣ. На каждую ногу надѣваютъ по большому желѣзному кольцу, настолько свободному, чтобъ между нимъ и тѣломъ могло проходить бѣлье, и настолько тѣсному, чтобъ его нельзя было снять съ ноги, и кузнецы наглухо заклепываютъ ихъ. Отъ этихъ колецъ идутъ двѣ цѣпи, состоящія изъ маленькихъ колечекъ; онѣ сходятся въ одномъ болѣе значительномъ кольцѣ, къ которому прикрѣпляется ремень, замѣняющій арестантамъ поясъ. Такимъ образомъ самыя цѣпи висятъ и при движеніи хлопаютъ васъ по ногамъ и ударяются другъ о дружку — „бряцаютъ“. Кольца, надѣтыя на ноги, вертятся и причиняютъ боль, для устраненія которой служатъ особаго рода кожаные „подкандальники“ и „поджилыники“. Въ Восточной Сибири, гдѣ начальство не такъ педантично, какъ въ Россіи, и арестанты носятъ кандалы только для формы, кольца надѣваются прямо на сапоги, и тогда никакихъ подкандальниковъ и поджилыниковъ не нужно. Я давно уже не ношу кандаловъ и описать теперь достаточно ясно, пожалуй, не могъ бы, какъ умудряются арестанты надѣвать на ноги бѣлье и штаны въ томъ случаѣ, если кандалы не снимаются; однако, хорошо помню, что какъ только явилась необходимость въ этомъ, я отлично сообразилъ все безъ чужой помощи. Извѣстно, что нужда научить калачи ѣсть...

Еще хорошо запомнился мнѣ день отъѣзда или, лучше сказать, одна мучительная сцена, сопровождавшая этотъ отъѣздъ. Въ этотъ день мать не пустила ко мнѣ на свиданіе (прощаніе, какъ я рассказывалъ уже, происходило наканунѣ, въ день заковки). Рано утромъ меня посадили въ закрытую карету и помчали на станцію желѣзной дороги. И вотъ тутъ увидѣлъ я нѣчто необычайное, что положительно растерзало мнѣ сердце. Подлѣ самаго окна быстро мчавшейся кареты я увидѣлъ дорогое лицо, искаженное мукой нечеловѣческихъ усилій казаться веселымъ; я

подумалъ сначала, что брежу, галлюцинирую. Заглядываю въ окно—и что же вижу? моя мать—бѣдная, больная старуха,—съ раскраснѣвшимися лицомъ и выбившимися изъ-подъ шляпки жидкими прядями бѣлыхъ, какъ снѣгъ, волосъ, бѣжить рядомъ съ каретой; бѣжить, не слыша подъ собой ногъ и видимо не ощущая усталости, что-то говорить и дѣлаетъ рукой воздушные поцѣлуи... Бѣдняга! она опоздала къ тому моменту, когда меня сажали въ карету, потому что съ ранняго утра бѣгала хлопотать о свиданіи (наканунѣ ничего не могла добиться), и вотъ теперь ей хотѣлось искупить свой проступокъ („опоздала!“) и еще разъ проститься съ безконечно любимымъ сыномъ. Я махалъ ей въ окно рукой (махалъ и сердитый охранитель мой), знаками умоляя остановиться, не мучить ни себя, ни меня; но долго еще бѣжала она, пока, наконецъ, тѣлесная немощь не одержала верхъ, и карета не умчалась отъ нея... навсегда! Тогда и я, помню, откинулся на спинку кареты и горько заплакалъ. Больше я не видалъ своей матери, да и никогда въ жизни не увижу, потому что она давно уже спитъ на одномъ изъ сырыхъ кладбищъ бездушнаго города. Но, уже находясь въ Сибири, я получилъ отъ нея письмо, одно мѣсто котораго неизгладимыми чертами врѣзалось въ моей памяти и теперь еще жжетъ сердце горячѣй всякаго огня, больнѣй всякихъ слезъ.

„Послѣ нашего свиданія у окна кареты,—писала она,—я взяла извозчика и поспѣшила на желѣзную дорогу. Но я пріѣхала туда, конечно, позже тебя, какъ ни погоняла злосчастнаго Ваньку, и потому не могла увидѣть тебя, когда ты выходилъ изъ кареты. На платформу меня не пустили, какъ я ни просила, какъ ни молила жандармовъ. На наше несчастье, въ этотъ день отправляли какихъ-то особенно важныхъ преступниковъ и были приняты чрезвычайныя мѣры. Нѣсколько разъ я хотѣла тайкомъ пробраться на платформу, каждый разъ неудачно, за мной приказали слѣдить. Что было дѣлать? Я прибѣгла къ новой хитрости. Сдѣлавъ видъ, что я примирилась съ судьбой и приняла рѣшеніе уйти совсѣмъ, я, выйдя изъ вокзала, вмѣсто того, чтобы отправиться домой, прошла нѣкоторое разстояніе медленными шагами и потомъ, быстро измѣнивъ направленіе, побѣжала въ поле, по рельсамъ, рассчитывая, что поѣздъ будетъ проходить мимо меня, и я, быть можетъ, еще разъ увижу милое личико... Дѣйствительно, мнѣ удалось обмануть бдительность аргусовъ; но, должно быть, я очень ужъ далеко зашла въ поле, и поѣздъ промчался мимо

меня съ ужающей быстротою, такъ что ни одного лица я не могла различить. Но я утѣшилась мыслью, что хоть ты, быть можетъ, видѣлъ меня... Я стала на возвышеніе, на камушекъ, и усиленно махала платкомъ, пока проносилось черное чудовище“.

Увы! я никого и ничего не видѣлъ... Я не смотрѣлъ въ это время въ окно, мнѣ никуда не хотѣлось глядѣть, даже въ собственную душу, гдѣ было такъ пустынно, такъ темно...

Дальше, какъ я говорилъ уже, все рисуется мнѣ въ какомъ-то смутномъ и безпорядочномъ видѣ не имѣющихъ между собой связи обрывковъ. Хлопоты моей матери не пропали даромъ: было сдѣлано предписаніе—вплоть до мѣста назначенія везти меня въ особыхъ условіяхъ отъ уголовной партіи. Поэтому я помѣщался на этажахъ то совершенно одинъ, въ отдѣльной камерѣ, то съ привилегированной категоріей особо-важныхъ, интеллигентныхъ преступниковъ. Если бы не это, я не знаю, какъ бы вынесъ я всѣ трудности дороги въ томъ болѣзненномъ состояніи, въ которомъ въ то время находился... Какъ бы то ни было, почти вплоть до Томска я имѣлъ возможность стоять въ сторонѣ отъ большихъ арестантскихъ массъ. На баржѣ у насъ была особая комната въ каютѣ и особое крошечное отдѣленіе на палубѣ (конечно, тоже съ рѣшеткой), гдѣ можно было дышать свѣжимъ воздухомъ. Отъ общей арестантской палубы оно отдѣлялось простымъ парусиннымъ брезентомъ. Помню, я очень любилъ сидѣть на палубѣ, особенно ночью, и по цѣлымъ часамъ вглядывался въ темные берега Волги и Камы, бѣжавшіе мимо меня. Помню, что эти уходившіе назадъ берега казались мнѣ собственнымъ моимъ прошлымъ, невозвратными годами молодости, и часто, вглядываясь въ темную даль, стоявшую позади меня, я вздрагивалъ при мысли, что никогда, никогда больше они не вернутся! Передніе же берега, закрытые брезентомъ, выдвигались только маленькими частицами, соразмѣрно съ движеніемъ баржи впередъ; эти берега отождествлялись въ моемъ больномъ воображеніи съ будущимъ, такимъ же, какъ они, неизвѣстнымъ. Днемъ я лежалъ обыкновенно въ каютѣ, забившись гдѣ-нибудь въ углу, и на палубу выходилъ очень рѣдко. Вотъ почему у меня не осталось ясныхъ воспоминаній о роскоши и прелести волжскихъ и камскихъ ландшафтовъ, которыми такъ восхищаются всѣ вольные и невольные туристы. Я любовался ими только ночью, при фантастическомъ освѣщеніи звѣздъ или луны.

Спутниками своими—интеллигентами я сравнительно мало интересовался, хорошо понимая, что, отправляясь въ каторгу, нахожусь среди нихъ лишь какъ временный гость; гораздо больше занималъ меня тотъ міръ, что скрывался тамъ, за брезентомъ, и вскорѣ долженъ былъ стать роднымъ мнѣ. Какъ ни ужасно это слово „роднымъ“, но я ни на минуту не закрывалъ глазъ на истину и не забывалъ, кто я такой передъ лицомъ закона. Впрочемъ, хорошо помню, что долгое время я страшно идеализировалъ арестантовъ и ихъ артельные нравы и обычаи. Они всѣ рисовались моему воображенію какими-то Стеньками Разинами, людьми беззавѣтной удали и какого-то веселаго отчаянія... Среди маленькой кучки интеллигентовъ кандалный звонъ раздавался какъ-то жидко и прозачно; но тамъ, за паруснымъ брезентомъ, гдѣ двигались сотни ногъ, звонъ этотъ имѣлъ въ себѣ что-то музыкальное, властное, чарующее... Цѣлые вѣка слышала этотъ звонъ матушка-Волга; въ немъ была передающаяся изъ рода въ родъ поэзія, стихійная, безыскусственная... Тамъ страдаютъ безъ грѣва, безъ жалобы и надежды, страдаютъ, зная, что такъ и нужно, что иначе и невозможно: „не взяла моя—значить, меня бей; а коли я опять сорвусь, такъ ужъ вы не прогнѣвайтесь!..“

Особенно такія именно чувства испытывалъ я по отношенію къ этимъ еще невѣдомымъ мнѣ арестантскимъ массамъ, когда по вечерамъ собирался иногда ихъ могучій хоръ, и далеко по Волгѣ разносились, подъ музыку цѣпей, дикіе напѣвы, въ которыхъ слышалась то безконечная грусть, то вдругъ опять безшабашная отвага и удалъ.

Полно, братъ, молодецъ,  
Ты вѣдь не дѣвица,  
Пей, пей—тоска пройдетъ!

Первая моя попытка ближе подойти къ этому поэтическому міру едва не стоила мнѣ, однако,—чего бы думали, читатели?—глаза?.. Однажды подъ вечеръ, выйдя на палубу, я подошелъ къ самому брезенту и прислушивался къ несвязному шуму и говору, доносившимся изъ большого отдѣленія. Вдругъ я замѣтилъ въ одномъ мѣстѣ парусины небольшое прорванное отверстіе, къ которому и поспѣшилъ припасть глазомъ, чтобы ознакомиться съ невѣдомымъ мнѣ міромъ. Но не успѣлъ я хорошенько рассмотреть море бритыхъ головъ и всевозможныхъ фигуръ современныхъ Стенекъ Разиныхъ, какъ чья-то грубая рука ткнула паль-

цемъ въ мое импровизированное оконце, и я только очень быстрымъ прыжкомъ въ сторону успѣлъ спасти любознательную часть своего тѣла. Больше я уже не осмѣливался подходить къ отверстию; это было первое мое разочарованіе въ этихъ людяхъ, среди которыхъ предстояло мнѣ столько лѣтъ жить, первое свидѣтельство того, какой кромѣшный адъ тьмы и ненужной злости, бессмысленной жестокости представляетъ собой этотъ таинственный міръ, какъ онъ чуждъ мнѣ, и какъ много я долженъ буду выстрадать, живя съ нимъ одной жизнью.

Въ Тюмени я впервые увидѣлъ лицомъ къ лицу огромную партію арестантовъ на переключкахъ, происходившихъ во дворѣ тюрьмы. Боже! какихъ только лицъ тутъ ни было—отъ самыхъ симпатичныхъ и мыслящихъ до самыхъ отталкивающихъ и звѣроподобныхъ, какихъ ни было національностей, какихъ именъ! Въ особенности характерны были имена бродягъ, составлявшихъ почти половину всей партіи: Иванъ Пострадавшій, Петръ Потерпѣвшій, Семенъ Много-горя-видѣлъ, Хвостомъ-на-гору, Махнидраловъ, А я за нимъ, Непомнящій 32 лѣтъ, и такъ далѣе, и такъ далѣе въ томъ же родѣ. Любимыми также фамиліями были: Алмазовъ, Бриллиантовъ, Львовъ, Орловъ, Соколовъ, Буринъ, Вѣтровъ, Скобелевъ, Гурко и т. п. громкія имена.

Но, собственно, только съ Томска я начинаю помнить дорогу и всѣ ея впечатлѣнія довольно живо и отчетливо. Однако, спѣшу еще разъ напомнить читателю, что вѣхалъ я хоть и вмѣстѣ съ партіей, но жилъ отдѣльной отъ нея жизнью. Я имѣлъ свою подводку, отдѣльное, „дворянское“ помѣщеніе, пользовался сравнительнымъ спокойствіемъ и комфортомъ. Въ довершеніе всего конвой и этапные офицеры обращались со мной и случайными моими товарищами съ предупредительной вѣжливостью. Повторяю, что въ это время я былъ лишь дилетантомъ-каторжникомъ, и если, при всемъ томъ, дорога была для меня сплошнымъ кошмаромъ, то я боюсь даже и подумать о томъ, что пришлось бы мнѣ пережить, находясь на общемъ арестантскомъ положеніи!

## II.

Прежде всего—что такое этапный путь?

Представьте себѣ по всей линіи безконечнаго сибирскаго пути, который тянется отъ Томска до Стрѣтенска (средоточія Нерчин-

ской каторги), т. е. на пространствѣ трехъ тысячъ верстъ, разбросанныя въ 20—40 верстахъ другъ отъ друга огромныя, мрачныя зданія съ рѣшетчатыми окнами, большею частью ветхія, осунувшіяся, вѣющія холодомъ, одиноко стоящія гдѣ нибудь въ полѣ или на краю села, въ сторонѣ отъ большой дороги. Это и есть такъ называемые этапы—дорожныя тюрьмы, въ которыхъ отдыхаютъ и ночуютъ утомленные партіи. Точнѣе выражаясь, изъ двухъ такихъ тюремъ одна, поменьше, зовется полуэтапомъ и только другая, побольше и почище, — этапомъ: при последнемъ находятся казармы для мѣстной команды солдатъ, конвоирующихъ арестантовъ, и квартира для офицера, неограниченнаго хозяина на пространствѣ двухъ и даже четырехъ подобныхъ тюремъ. На полуэтапахъ партія только ночуетъ, утромъ слѣдующаго дня снова трогаясь въ путь; придя на этапъ, она проводитъ слѣдующій день въ отдыхѣ, называемомъ поэтому „дневкою“. Такимъ образомъ, каждый третій день проходитъ въ бездѣйствіи, и этимъ движеніе партіи, и безъ того небыстрое, страшно замедляется. Достаточно сказать, что пространство отъ Томска до Красноярска (500 верстъ) проходится въ мѣсяцъ времени, отъ Красноярска же до Иркутска (1,000 верстъ) въ два мѣсяца!.. Но уничтожить дневки и вообще двигаться быстрѣе при тѣхъ же условіяхъ—тоже немыслимо. Нельзя забывать, что арестанты, истощенные долгимъ тюремнымъ заключеніемъ и обремененные цѣпами, въ своей тяжелой обуви и вѣтромъ подбитыхъ полушубкахъ, всѣ, кромѣ положительно больныхъ и увѣчныхъ, идутъ пѣшкомъ, и проходятъ въ день больше 30-ти верстъ круглымъ счетомъ, безъ отдыха черезъ два дня въ третій, были бы положительно не въ состояніи.

Не могу не сказать тутъ же нѣсколькихъ словъ объ арестантской одеждѣ. Сибирская администрація, ближе знакомая съ климатическими и другими мѣстными условіями, глядитъ сквозъ пальцы на присутствіе у арестантовъ въ дорогѣ собственныхъ вещей. Я не говорю о томъ, что, помимо практическихъ соображеній, простая даже справедливость требовала бы менѣе строгаго и формалистически-жесткаго отношенія къ арестантамъ, находящимся въ пути, только что начавшимъ свое многострадальное каторжное поприще, окруженнымъ всевозможными неудобствами и лишеніями; другое дѣло—послѣ прибытія на мѣсто назначенія, гдѣ жизнь имѣетъ прочные устои, идетъ по разъ установленной колѣѣ. Въ

Россіи чиновники не руководствуются, къ сожалѣнію, ни отвлеченными, ни практическими соображеніями и неукоснительно слѣдуютъ буквѣ инструкцій. Въ Москвѣ у меня отобрали рѣшительно *все свое* и отправили въ дорогу въ одномъ казенномъ одѣяніи, отнявъ даже иголку и нитки, и мнѣ пришлось страшно зябнуть, простужаться и вынести много не нужныхъ ни для кого лишениій и страданій. Казенныя вещи не приспособлены ни къ перемена́мъ погоды и климата, ни къ особенностямъ отдѣльныхъ индивидовъ; все подведено подъ одинъ ранжиръ—и ростъ, и здоровье, и привычки,—тѣло, какъ и душа. Такъ называемые, напр., наушники казенной шапки оказались пришитыми такимъ образомъ, что лежали у меня на спинѣ, точно я былъ заяцъ, а не человѣкъ; ноги мои, завернутыя въ жиденькія холщевыя онучки, топились, какъ въ бездонныхъ бочкахъ, въ бродняхъ-левіаанахъ, и я не могъ въ нихъ ходить по человѣчески; напротивъ, узкія брюки съ трудомъ натягивались на ноги и немилосердно пороллись по всѣмъ швамъ, треща при малѣйшемъ неосторожномъ движеніи...

Обыкновенно на партію въ четыреста человѣкъ, имѣющую при себѣ столько же пудовъ багажу и изрядное количество стариковъ и больныхъ, дается 30—40 подводъ, половина которыхъ идетъ подъ багажъ („буторъ“) и отправляется въ путь рано утромъ, еще до выступленія партіи. Остается около пятнадцати подводъ для больныхъ и слабыхъ. Ямщики пускаютъ на каждую подводку четырехъ и, только послѣ большой перебранки, пять человѣкъ. Большинство мѣстъ занимается такими больными, право которыхъ на сидѣнье никто не смѣетъ оспаривать, и только очень немного вакансій остается для слабосильныхъ, не могущихъ пройти пѣшкомъ всю 25—40-верстную дорогу. Эти мѣста берутся буквально съ бою, и часто видишь, какъ бѣжитъ сзади телѣги какая нибудь безпомощная, жалкая личность, тщетно умоляющая „дать посидѣть“ ей, а на телѣгѣ возвышается между тѣмъ нахальная фигура здороваго дѣтины, сильнаго своимъ кулакомъ, горломъ и именемъ бродяги. Нужно прибавить къ этому, что распоряженіе свободными мѣстами на подводахъ составляетъ одну изъ статей дохода артельного старосты.

Бродяги, вообще, являются сущимъ наказаніемъ каждой партіи. Это люди по преимуществу испорченные, не имѣющіе за душой, что называется, *ni foi, ni loi*, но они цѣпко держатся одинъ за другого и составляютъ въ партіи настоящее государство въ госу-



дарствѣ. Бродяга, по ихъ мнѣнію, высшій титулъ для арестанта: онъ означаетъ человѣка, для котораго дороже всего на свѣтѣ воля, который ловокъ, умѣетъ увернуться отъ всякой опасности, уйти отъ всякой кары. Въ плутовскихъ глазахъ каждаго бродяги такъ и написано, что какой, молъ, онъ непомнящій! Онъ не разъ, молъ, бывалъ уже „за моремъ“, т. е. за Байкаломъ, въ каторгѣ, да вотъ не захотѣлъ покориться—ушелъ!.. Впрочемъ, онъ и громко утверждаетъ то же самое, въ глазахъ самому начальству.

— Который разъ идешь, борода?—спрашиваетъ какой-нибудь офицеръ съ добродушно-фамиллярной усмѣшкой.

— Пятый разъ, ваше благородіе,—отвѣчаетъ борода, становясь въ солдатскую позу:—два раза за море ходилъ, два раза въ Иркутскую, да вотъ теперь въ Енисейскую.

— Смотри, мошенникъ, въ шестой разъ пойдешь,—уличу!

— Радъ стараться, ваше благородіе!—отшучивается мошенникъ:—авось, къ тому время повышение въ чинъ получите—въ Якутскую переведетесь.

Партія хохочетъ, офицеръ, въ смущеніи, отходитъ въ сторону.

— Что вы съ такими бестіями подѣлаете?—обращается онъ въ сторону интеллигентовъ.

Каторжная часть партіи, особенно въ Западной Сибири, гдѣ бродяги составляютъ большинство, находится обыкновенно въ загонѣ; ихъ меньше, они безправнѣе, запуганнѣе, на нихъ, какъ бы по преимуществу, лежитъ печать отверженія, даже съ арестантской точки зрѣнія: не сдумѣлъ, молъ, выкрутиться! А то и еще хуже: за сухари продалъ себя!.. Уваженіемъ пользуются только „вѣчные“, да тѣ, про которыхъ навѣрно знаютъ, что они уже не въ первый разъ идутъ и опять сдумѣютъ „сорваться“. Но вообще каторжная часть партіи, по преимуществу, зовется презрительнымъ именемъ „кобылки“ (сибирское названіе саранчи) и „шпанки“ (стадо овецъ). Положительно отказываешься иной разъ вѣрить тому, что рассказываютъ о продѣлкахъ бродягъ въ тюрьмахъ и по дорогѣ, а между тѣмъ не вѣрить нельзя—это неприкрашенные факты. Бродяги—царьки въ арестантскомъ мірѣ, они вертятъ артелью, какъ хотятъ, потому что дѣйствуютъ дружно. Они занимаютъ всѣ хлѣбныя, доходныя мѣста: они—старосты и подстаросты, повара, хлѣбопеки, больничные служители, майданщики, они все и вездѣ. Въ качествѣ старостъ, они не добавляютъ кормовыхъ, продаютъ мѣста на подводахъ; въ качествѣ поваровъ, крадутъ мясо изъ общаго котла

и раздають его своей шайкѣ, а несчастную кобылку кормятъ помоями, которые не всякая свинья станетъ ѣсть; больничные служителя—бродяги морятъ голодомъ своихъ пациентовъ, обворовываютъ и часто прямо отправляютъ на тотъ свѣтъ, если это оказывается выгоднымъ. Узнавъ, что у кого нибудь изъ кобылки есть деньги, зашитыя въ „ошкурѣ“ (въ поясѣ), они подкарауливаютъ его въ уединенномъ мѣстѣ, хватаютъ среди бѣлаго дня за горло и грабятъ. Дѣлаютъ еще болѣе нахальныя вещи. На виду у сотни арестантовъ, какой-нибудь „Иванъ“, одѣтый въ красную рубаху и побрякивающій двумя-тремя серебрушками въ бездонномъ карманѣ шароваръ, присосѣживается къ чужой женѣ, начинаетъ обнимать и цѣловать ее на глазахъ у мужа, и если тотъ протестуетъ, съ помощью товарищей избиваетъ его до полусмерти, а жену беретъ себѣ уже по праву побѣдителя. Хорошо организованная „бродяжня“ помѣщается всегда на нарахъ. Староста-бродяга, по обычаю впускаемый въ этапъ раньше всѣхъ, еще до окончанія повѣрки, занимаетъ для своихъ товарищей лучшія мѣста, а каторжная кобылка ютится большею частію подъ нарами, на голомъ полу, въ грязи, темнотѣ и холодѣ. Впрочемъ, въ послѣднее время бродягамъ, слышно, сломали рога. Больше всего подкосилъ ихъ Сахалинъ, поглотившій въ свои нѣдра тысячи безпаспортнаго люда; сыграли роль и вообще болѣе строгія узаконенія относительно бродяжества. Прежде бродягъ судили на поселенье, гдѣ бы ихъ ни арестовали, но съ 1878 года на поселенье судятъ только арестованныхъ въ російскихъ губерніяхъ, а всѣхъ остальныхъ—въ каторгу. Изъ каторги же сотни и тысячи пересылаются на Сахалинъ. Ряды бродягъ сильно стали рѣдѣть,—особенно бродягъ старыхъ, закаленныхъ въ бояхъ, строго слѣдившихъ за неуклоннымъ соблюденіемъ старинныхъ арестантскихъ законовъ. Къ этому нужно прибавить, что тюремныя условія измѣнились: начальство начало вмѣшиваться въ артельные порядки арестантовъ, въ ихъ интимную, внутреннюю жизнь, ставъ при этомъ рѣшительно на сторону каторжанъ; во многихъ тюрьмахъ бродягамъ прямо запрещено занимать какія бы то ни было артельные должности. Стала и каторжная кобылка поднимать голову. Въ томской пересыльной тюрьмѣ, гдѣ собирается иногда до 3,000 арестантовъ, нѣсколько разъ происходили страшныя избіенія бродягъ. Въ одной такой бойнѣ ихъ было убито и изувѣчено, говорятъ, до пятидесяти человекъ. Новый духъ, проникающій въ тю-

ремный міръ, производитъ общее разложеніе и паденіе старинныхъ арестантскихъ обычаевъ и нравовъ. Много исчезаетъ симпатичныхъ, но еще болѣе безобразныхъ сторонъ. Сухарника (смѣшника), измѣнившаго своему договору, прежде обязательно „пришивали“, если не въ одной, такъ въ другой тюрьмѣ; убивали также того, кто „засыпалъ“ (уличилъ) товарищей по дѣлу, всѣхъ „язычниковъ“ (доносчиковъ). Въ той же томской тюрьмѣ въ прежніе годы чуть не каждую ночь случались убійства, и изъ тюремнаго колодца не рѣдко вытаскивали трупы пропавшихъ передъ тѣмъ безъ вѣсти арестантовъ. По всему тюремному міру, начиная отъ Кіева вплоть до Владивостока, ходили бывало „записки“, указывавшія на преступленія какого-нибудь арестанта противъ общаго права и настаивавшія на его „прикрытіи“. Существовалъ даже арестантскій законъ—казнить смертью „язычника“ по полученіи на его счетъ *семи* подобныхъ записокъ.

Теперь бродяги начинаютъ вести себя смиреннѣе и, когда видятъ неустойку въ какой-нибудь словесной стычкѣ съ каторжными, только скрежещутъ зубами и говорятъ, отходя прочь: „не тѣ времена... новый родъ!“

Возвращаюсь къ своему описанію этапнаго пути.

У насъ, привилегированныхъ, какъ я сказалъ выше, было свое отдѣльное помѣщеніе, но не рѣдко очень горькой цѣной доставалось это помѣщеніе. Этапы построены не всѣ по одному плану, и каждый разъ, подѣзжая къ мѣсту отдыха, мы принуждены были волноваться и гадать о томъ, что ждетъ насъ въ сегодняшнемъ мѣстѣ покоя. Если намъ давали отдѣльную каморку, хорошо натопленную и съ особымъ корридормъ, мы говорили, что попали сегодня въ рай. Но очень рѣдко встрѣчалось соединеніе рѣшительно всѣхъ достоинствъ. Иногда намъ давали помѣщеніе съ отдѣльнымъ ходомъ, но за то въ такомъ холоду, что зубы не попадали одинъ на другой; въ другой разъ давали теплую камеру, но безъ отдѣльнаго корридора, и тутъ же, за нашимъ порогомъ, гремѣла и ревѣла стоголовая шпанка, слышалась отборная ругань, раздавался адскій концертъ осипшихъ отъ натуги голосовъ и бьющихъ по нервамъ цѣпей. Въ нашу дверь то и дѣло заглядывали враждебныя лица, бритыя головы; если кому-нибудь изъ насъ приходилось выдти на открытый воздухъ, нужно было проходить черезъ нѣсколько камеръ, гдѣ помѣщались арестанты, валяясь и подъ нарами, и прямо на грязномъ полу, на

дорогѣ, нужно было шагать черезъ ихъ мѣшки, черезъ ихъ ноги. А у насъ были женщины, молодая дѣвушка... Даже и то обстоятельство, что послѣднимъ приходилось ночевать въ одной камерѣ съ своими же товарищами—мужчинами, доставляло имъ не мало страданій и мученій всякаго рода. Нужно было мѣнять бѣлье, хотѣлось хорошенько умыться (что было просто необходимо при нѣсколькихъ мѣсяцахъ пути по грязнымъ, отвратительнымъ этапамъ)—и не находилось укромнаго уголка, куда можно было бы скрыться отъ постороннихъ глазъ. Общія старанія товарищей импровизировать разныя ширмы и занавѣски могли, конечно, лишь въ малой степени скрасить и облегчить тяжесть этого положенія. Здѣсь я подхожу къ одному пункту моихъ воспоминаній, который и теперь еще леденитъ мнѣ душу. Я говорю о ретирадныхъ мѣстахъ, объ ихъ ужасающей грязи и—пусть бы только грязи! Главное, о невыразимо безстыдныхъ условіяхъ, всей своей тяжестью падающихъ прежде всего, разумѣется, на женщинъ. Мѣстное начальство, повидимому, глядитъ на всѣхъ уголовныхъ каторжныхъ женщинъ, какъ на потерянныхъ, и потому не заботится о нихъ больше, чѣмъ о мужчинахъ. Насколько справедлива такая точка зрѣнія, я не знаю. Лично я, дѣйствительно, не встрѣчалъ ни одной каторжанки изъ уголовныхъ, которая не была бы на содержаніи у какого-нибудь Ивана или у всѣхъ арестантовъ единовременно. Но вопросъ въ томъ: не доводятъ ли женщину до такого паденія самыя условія тюремной и дорожной жизни? Неужели же всѣ женщины, попавшія въ каторгу, уже и раньше были потеряны? Наконецъ, оставляя въ сторонѣ каторжанокъ, вспомнимъ, сколько идетъ въ каторгу добровольныхъ женъ, сестеръ, матерей, дочерей, о предварительной развращенности которыхъ врядъ ли кто либо станетъ говорить. И всѣ онѣ должны жить въ тѣхъ же омерзительныхъ условіяхъ. Мнѣ скажутъ, что семейныя партіи идутъ отдѣльно отъ холостыхъ. Но это одна оговорка. Именно семейныя-то партіи и представляютъ сплошной организованный развратъ. Изъ кого онѣ состоятъ? Изъ нѣсколькихъ десятковъ „холостыхъ“ женщинъ и нѣсколькихъ же десятковъ семействъ, т. е. мужей, женъ, подростковъ и дѣтей. Все это спитъ въ повалку въ одной камерѣ. За дверью камеры, въ корридорѣ, стоитъ большой чанъ, знаменитая сибирская параша, около которой толпятся мужчины и женщины, безъ всякаго стѣсненія совершая свои естественныя надобности. Ко всему этому надо при-

бавить развращенныхъ и развращающихъ солдатъ, которые даже послѣ повѣрки, когда арестанты должны быть заперты въ своемъ помѣщеніи, тайкомъ отъ начальства, десятками вламываются въ камеру, гдѣ и происходитъ въ теченіе всей ночи невообразимая оргія. Крики, визгъ, хохотъ, беззастѣнчивый торгъ, поцѣлуи, циничныя шутки,—все на виду, все открыто... И такъ идетъ изъ дня въ день, изъ этапа въ этапъ, иногда въ продолженіи цѣлаго года и больше,—и при этихъ-то условіяхъ смѣютъ бросать камнемъ презрѣнія въ дѣвушку или женщину, не сохранившихъ своего цѣломудрія!..

Особенно солдаты конвойныхъ командъ вносятъ въ арестантскую среду страшный развратъ; они же смѣютъ и всевозможную физическую заразу. Сибирскій солдатъ, идущій „конвоировать“ холостыхъ женщинъ, смотреть на эту обязанность, какъ на веселый пикникъ съ рядомъ занимательныхъ интрижекъ. Никакой дисциплины, никакой заботы! Сидитъ себѣ на подводѣ, бросивъ ружье и обнимаясь съ каторжными прелестницами, оретъ во все горло пѣсни, срамословить и знать ничего больше не хочетъ! Ночи проводить въ попойкахъ и развратѣ, а потомъ, съ угаромъ въ головѣ и пустотой въ карманѣ, возвращается въ казарму, на свой этапъ, до новаго такого же путешествія... Вотъ его жизнь. Можно себѣ представить, какой образцовый семьянинъ долженъ выйти изъ такого воина по окончаніи срока службы въ конвойной командѣ. Впрочемъ, не лучше бывали въ мое время и нѣкоторые изъ этапныхъ офицеровъ: по крайней мѣрѣ не разъ слыхалъ я о случаяхъ покупки ими невинныхъ дѣвушекъ у родителей-арестантовъ и о другихъ не менѣе достохвальныхъ дѣяніяхъ.

Въ мое время привилегированнымъ женщинамъ, пользующимся отдѣльнымъ помѣщеніемъ, дозволялось идти, по желанію, и при холостой партіи, но въ послѣдніе годы (вѣроятно, по соображеніямъ нравственнаго характера) вышло, говорятъ, предписаніе отправлять ихъ исключительно съ семейными. Могу сказать одно, что въ холостыхъ мужскихъ партіяхъ нѣтъ и тѣни того безобразія, того откровеннаго цинизма и распущенности, какія пришлось наблюдать мнѣ въ партіяхъ семейныхъ... Ничего ужаснѣе не могу себѣ представить, какъ положеніе образованной женщины среди подобныхъ условій. Развратъ не можетъ, конечно, прикоснуться къ ней самой своей нечистой рукой, но онъ проходитъ передъ ея глазами

во всемъ чудовищномъ безобразіи и заставляетъ ее невыразимо страдать, быть, по истинѣ, мученицей, героиней! Но еще, быть можетъ, тяжелѣе крестъ любящаго мужчины, жениха или брата, который зорко слѣдитъ ежечасно и ежеминутно за каждымъ дуновеніемъ бушующей вокругъ заразы, употребляетъ всѣ усилія смягчить удушливость окружающей атмосферы, создать болѣе или менѣе человѣческія условія жизни,—и часто видитъ и чувствуетъ, какъ онъ безпомощенъ и безсиленъ что-либо сдѣлать! У меня не было въ этомъ кругу никого родного и милаго, ни одной близкой мнѣ женщины, и тѣмъ не менѣе я испыталъ всѣ эти чувства, пережилъ всѣ эти страданія...

Настаетъ вечеръ. Солдаты дѣлаютъ повѣрку и приказываютъ внести въ камеру парашу. Мы протестуемъ, говоримъ, что у насъ женщины. Послѣ долгихъ переговоровъ съ нами и съ офицеромъ, старшій рѣшается, наконецъ, не запираетъ камеры, а парашу помѣститъ въ корридорѣ. На одномъ изъ этаповъ, помню, вышла цѣлая исторія изъ-за того, что офицеръ, согласившись на помѣщеніе параша въ корридорѣ, хотѣлъ тѣмъ не менѣе поставить около нея часового... Трудно сказать, чего здѣсь было больше—наивности или злости! Подобные вопросы возникаютъ на этапахъ ночью, но и днемъ немногимъ лучше. На нѣсколько сотъ человѣкъ, среди которыхъ есть образованныя женщины и всевозможнаго рода больные, существуетъ одно только ретирадное мѣсто, содержащееся, большею частью, въ невообразимой грязи и мерзости... Но довольно объ этомъ. Остальное можно дополнить воображеніемъ. Нѣсколько словъ прибавлю лишь относительно арестантскихъ ругательствъ. Нигдѣ не слыхалъ я такой гнусной, такой отвратительной, звѣроподобной брани, какую впервые услышалъ въ Сибири среди арестантовъ, солдатъ и свободныхъ жителей-ямщиковъ. Трудно сказать, кто изъ нихъ у кого позаимствовался; правдоподобнѣе, конечно, думать, что такой изысканный, художественный въ своемъ родѣ языкъ могъ создаться только въ тюрьмѣ. Повторяю: ни отъ одного мужика въ Россіи ничего подобнаго не слыхалъ я. Тамъ также процвѣтаетъ, конечно, отборная трехъэтажная ругань; надъ всей русской землей, по выраженію сатирика, стономъ стоитъ „мать! мать!“ Но только въ тюрьмѣ, только въ Сибири ругань эта доходитъ до виртуозности своего рода, до самыхъ тонкихъ оттѣнковъ и самой реальной пластики. Въ Россіи несчастная „мать“ вся цѣликомъ служить объектомъ изливаемыхъ на нее помоевъ

ругателя; въ Сибири она разбирается по косточкамъ, по мелочамъ, и каждая маленькая часть въ отдѣльности шельмуется и подвергается надругательству: печенка, глазъ, сердце, кровь, ребра, душа, жизнь — все является предметомъ дикой злобы и самой безсердечной ненависти! Этого мало: истинные художники брани идутъ дальше и приплетаютъ къ „матери“, совершенно уже безъ всякаго смысла, слова въ родѣ „закона“ „вѣры“ и самого „Бога“, — ругательства, которыя, при всемъ своемъ безсмыслии, звучатъ не менѣе гнусно и омерзительно. Въ первое время я положительно содрогался, слушая эти ужасныя богохуленія; мнѣ было въ буквальномъ смыслѣ слова больно, какъ отъ удара ножа или плети. Въ настоящее время я отношусь къ нимъ, конечно, равнодушно; но и теперь не могу еще безъ ужаса вспомнить, что все это, рѣшительно все должны были слушать и молодыя дѣвушки, образованныя, съ тонкимъ вкусомъ, съ нервной организаціей, съ чуткой и нѣжной душой...

О, неужели найдется кто нибудь, кто не пойметъ меня, кто посмѣется надъ моими словами?..

### III.

Большинство арестантовъ, при которыхъ нѣтъ особыхъ бумагъ и предписаній, задерживается въ центральныхъ этапныхъ пунктахъ (въ Томскѣ, Красноярскѣ, Иркутскѣ) иногда на полъ-года, на годъ и даже на болѣе продолжительное время, пока не запишутъ ихъ въ партію. Путешествіе до мѣста назначенія нерѣдко продолжается такимъ образомъ отъ 1½ до 3-хъ лѣтъ. Семейнымъ и мастеровымъ, конечно, это выгодно, потому что дорожная жизнь несравненно вольготнѣе каторжной: такіе цѣпляются за каждый случай, дающій возможность продлить дорогу, и часто, являясь на мѣсто назначенія, уже имѣютъ право на выходъ въ вольную команду, такъ что и не сидятъ почти въ каторжныхъ тюрьмахъ. Другое дѣло — одинокіе и незнающіе никакого прибыльнаго мастерства: тѣмъ надобѣдаетъ дорога, и они сами молятъ начальство поскорѣе записать ихъ въ партію. Но всего мучительнѣе этотъ путь для такъ называемыхъ „обратниковъ“, т.е. окончившихъ свои сроки каторги и идущихъ на поселенье. Они движутся еще медленнѣе: тамъ, гдѣ партія, идущая впередъ, отдыхаетъ всего > одинъ день, обратная сидитъ порой цѣлую недѣлю.

Такъ какъ самыя раннія партіи выбираются изъ Россіи не раньше половины мая, то путешествіе по сибирскимъ этапамъ выпадаетъ для большинства на осенніе и зимніе мѣсяцы, когда ко всѣмъ прочимъ страданіямъ и лишеніямъ присоединяются еще грязь, холодъ, дожди, вьюги, морозы. Попробую описать типичный дорожный день.

Съ ранняго утра (на дворѣ едва еще брезжетъ свѣтъ) кобылка уже поднимается на ноги; громъ, звонъ и перебранка раздаются за нашей стѣной. Арестанты ложатся рано, но поднимаются еще раньше; нѣкоторые, выспавшись днемъ, и совсѣмъ не спятъ, на пролетъ всю ночь играя въ карты. Спросите ихъ: почему они такъ спѣшатъ на слѣдующій этапъ? Они и сами не знаютъ. Они и сами говорятъ про себя: „кобылка всегда торопится, какъ будто тамъ отецъ съ матерью ждутъ насъ“.

Нерѣдко у насъ выходили по этому поводу столкновенія. Офицеры и конвой относились къ намъ, большей частью, вѣжливо и даже предупредительно; мы имѣли свои подводы и съ частью конвой могли отправляться въ путь долго спустя послѣ ухода главной партіи. Мы догоняли ее, потомъ обгоняли и первыми являлись на слѣдующій этапъ. Но иногда случалось, что офицеръ, имѣвшій какое нибудь столкновение съ предшествовавшей намъ привилегированной партіей, требовалъ, чтобы мы ни на шагъ не отставали отъ остальныхъ арестантовъ—одновременно выступали въ походъ и одновременно же являлись на этапъ. Если мы, не узнавъ наканунѣ о характерѣ офицера, долго сидѣли вечеромъ, болтали, читали, — тогда по утру выходили непріятныя сцены. Шпанка уже выстроилась и готова тронуться въ путь, а мы только встаемъ еще, торопимся умыться, одѣться, собрать вещи... Шпанка бушуетъ, ругается, жалуется, что изъ-за „паршивыхъ дворянишекъ“ ей приходится мерзнуть... И добро бы еще предстоялъ большой и трудный станокъ, когда желательно придти на мѣсто до сумерекъ. Нѣтъ, часто никакихъ подобныхъ резонновъ не приводится: будь станокъ всего 16—20 верстъ, кобылка всегда торопится!..

Но вотъ всѣ сборы кончены. Кобылка помчалась сломя голову. Только звонъ стоитъ по дорогѣ, сани съ больными и слабыми едва успѣваютъ слѣдовать. Есть настоящіе виртуозы ходьбы, особенно изъ бродягъ, которые по принципу всегда идутъ пѣшкомъ,



еслибы даже и была возможность присѣсть. Такіе всегда впереди партіи: впереди легче и „способнѣе“ идти.

Бѣгутъ, едва духъ переводятъ, такъ что привыкшіе къ ходьбѣ солдаты — и тѣ еле поспѣваютъ. Прибѣжали на мѣсто совсѣмъ рано.

Вотъ остановились въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ этапа или полуэтапа, выстроились въ двѣ шеренги, въ ожиданіи повѣрки. Около тюрьмы ставятся часовые. Фельдфебель пересчитываетъ арестантовъ, и тотчасъ же послѣ того, съ дикимъ крикомъ „ура“, они летятъ въ растворенныя ворота занимать мѣста на нарахъ. Происходитъ страшная свалка и давка. Болѣе слабые падаютъ и топчутся бѣгущей толпой, получая иногда серьезныя увѣчья; болѣе дюжіе и проворные, усердно работая локтями и даже кулаками, протискиваются впередъ и растягиваются во весь ростъ поперекъ наръ, стараясь занять своимъ тѣломъ какъ можно больше мѣста и успѣвая еще кинуть впередъ себя халатъ, кушакъ или шапку. Такимъ образомъ случается, что одинъ подобный ловкачъ займетъ нѣсколько сажень мѣста; разъ брошена на нары хоть маленькая веревочка, мѣсто это считается неприкосновеннымъ. Тутъ прекращается всякая борьба—таково обычное право. Непривычный и слабонервный человѣкъ не могъ бы, я думаю, испытать большаго ужаса, какъ, стоя гдѣ-нибудь въ углу корридора, въ сторонѣ отъ дверей, ведущихъ въ общія камеры, слышать постепенно приближающійся гулъ неистовыхъ голосовъ, рева, брани и драки, бѣшенный звонъ кандаловъ, топотъ несущихся ногъ! Точно громадная орда варваровъ идетъ на приступъ, идетъ растерзать васъ, разорвать въ клочки, все разгромить и уничтожить! Вотъ все ближе и ближе... Вотъ ворвалась, наконецъ, въ корридоры эта ужасная лавина: дикія лица, искаженные страстью и послѣднимъ напряженіемъ силъ, сверкающіе бѣлки глазъ, сжатые кулаки, оглушительное бряцаніе цѣпей, яростная ругань,—все это, кажется, мчитъ прямо на васъ. Зажмурьте глаза въ страхъ... Но вотъ бѣшенный потокъ толпы повернулъ направо въ дверь камеры и слился въ одинъ глухой ревъ, въ которомъ ничего нельзя разобрать. За первой волной несется вторая, третья, и, наконецъ, почти уже шагомъ плетутся, съ проклятіями и бранью, самые отсталые, отчаявшіеся захватить мѣсто наверху и принужденные лѣзть подъ нары... Мы тоже плетемся въ отведенное намъ помѣщеніе, озабоченные, полные мрачныхъ предчувствій...

Входимъ въ камеру; тускло свѣтятъ рѣшетчатые окна, непріятно глядятъ высоко построенныя нары, на которыя и залѣзть то трудно: подъ потолкомъ теплѣе, меньше дровъ выходитъ на топку печей. Брр! какъ холодно... Отъ дыханія паръ такъ и валитъ столбомъ по камерѣ. Бросаемся къ стоящей въ углу чугунокъ—не топлена, даже и дровъ нѣтъ. Разыскиваемъ сторожа (такъ называемаго каморщика), обязанность котораго топить печи къ приходу партіи.

Мрачный, антипатичный старикъ.

— Не ждали сегодня партіи,—оправдывается онъ. Вреть, конечно.

Кто отводитъ себѣ душу перекурами съ нимъ; болѣе благо-разумные, не долго думая, отправляются сейчасъ же за дровами. Шубъ, между тѣмъ, никто не снимаетъ; всѣ стараются согрѣться ходьбою по камерѣ и топаньемъ ногъ по одному мѣсту. Наконецъ, принесены дрова, толстыя, сучковатыя, сырыя... Надо ихъ наколоть. Топоръ уже занятъ \*) арестантами, тоже колющими дрова, надо погодить. Но вотъ и спасительный топоръ явился, вотъ и дрова наколоты, положены въ печку, зажжены... О, проклятье! новое, горчайшее испытаніе: желѣзная печка страшно дымить... Дымъ наполняетъ всю камеру, невыносимо ѣстъ глаза, не даетъ глядѣть, не даетъ ни о чемъ думать, ни о чемъ заботиться.. Пытка эта тянется часъ, два и три, пока, наконецъ, сырые дрова разгорятся, дымъ исчезнетъ, станетъ тепло и свободно дышать. Поспѣваетъ и какое-нибудь неприхотливое варево, супъ или ка-

---

\*) Не потому, конечно, что арестанты „подкупили кого слѣдуетъ“, какъ высказалъ предположеніе одинъ изъ моихъ критиковъ, а просто потому, что они практичнѣе, проворнѣе, и ихъ больше. Вообще, нужно замѣтить, что подъ вліяніемъ устарѣвшихъ данныхъ сочиненія г. Максимова „Сибирь и каторга“ въ публикѣ существуетъ совершенно ложное мнѣніе о богатствѣ уголовныхъ арестантскихъ партій. Не знаю, получаютъ ли онѣ въ настоящее время тѣ огромныя денежныя подаванія, какими надѣляла ихъ когда-то прежде Москва и вообще Россія (быть можетъ, эти деньги въ Россіи же и растрачиваются, переходя очень скоро въ руки начальства или отдѣльных лицъ изъ своей же братьи, майданщиковъ и картежныхъ шулеровъ); но фактъ тотъ, что въ предѣлахъ Сибири большинство арестантовъ является уже буквально нищими. Въ Зап. Сибири подаванія еще дѣлаются, и даже довольно щедрыя, но почти исключительно съѣстными припасами.

*Прим. авт.*

пища, чай. Кормовыхъ выдается на человѣка почти по всей Сибири 10 коп. въ сутки, привилегированнымъ 15 коп. Въ западной Сибири, гдѣ все такъ дешево, гдѣ коврига пшеничнаго хлѣба стоитъ 5 коп., кринка молока 3 коп., денегъ этихъ за глаза довольно, и арестанты прямо благоденствуютъ. Многіе изъ нихъ и на волѣ лучше не питались. Но съ переѣздомъ въ предѣлы Енисейской и, особенно, Иркутской губерніи, провизія все становится дороже и дороже: фунтъ мяса стоитъ 10 коп., фунтъ чернаго хлѣба 3—4 коп., и я помню одинъ этапъ, гдѣ можно было достать хлѣбъ только по 6 коп. фунтъ. А иному нужно до четырехъ фунтовъ одного хлѣба, чтобы насытиться!.. Въ партіяхъ начинается буквальный голодъ, тѣмъ болѣе, что отчаяніе еще сильнѣе развиваетъ картежную игру. Появляются почти совсѣмъ голые „жиганы“, и приходится быть безпомощнымъ свидѣтелемъ ужасной расплаты за промѣтъ казенныхъ вещей...

Говорятъ, что это былъ исключительный голодный годъ, когда все было такъ дорого, а вообще кормовыхъ денегъ хватаетъ за глаза, особенно когда арестанты соединяются группами человѣка въ три, четыре, питаюсь сообща. Но, во-первыхъ, не каждый можетъ подыскать себѣ группу; а главное, такое неравномѣрное распредѣленіе кормовыхъ, безъ соображенія съ мѣстными цѣнами на продукты \*), рѣшительно никогда не гарантируетъ арестантовъ отъ рыночныхъ случайностей. Администрація, мнѣ кажется, легко могла бы, при желаніи, своевременно видоизмѣнять въ каждой данной мѣстности количество кормовыхъ сообразно съ цѣною съѣстныхъ припасовъ. Къ сожалѣнію, въ настоящее время незамѣтно съ ея стороны никакой подобной заботливости. Если и происходитъ иногда измѣненіе количества кормовыхъ, то, благодаря канцелярской волокитѣ, до того несвоевременно, точно дѣлается это для смѣха: въ голодный годъ денегъ выдается меньше, въ урожайный—больше... Но еще было бы лучше, еслибы, вмѣсто выдачи на руки денегъ, на каждомъ этапѣ ожидала партію горячая баланда и казенный хлѣбъ. Устроить это было бы не трудно. Поваровъ-арестантовъ можно бы отправлять впередъ; хлѣбъ закупать заранѣе у тѣхъ же торговцевъ по строго опредѣленной

---

\*) Напримѣръ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Забайкалья, гдѣ цѣны выше иркутскихъ, выдается по 20 коп. кормовыхъ.

*Примѣч. авт.*

казенной цѣнѣ. Худшая половина арестантовъ, состоящая изъ игроковъ и кулаковъ-майданщиковъ, конечно, была бы страшно огорчена такой реформой, но за то не было бы голодныхъ и холодныхъ, сократились бы случаи промота казенныхъ вещей и другихъ безобразій; кто знаетъ—быть можетъ, уменьшился бы и самый контингентъ арестантовъ, изъ которыхъ многихъ привлекаютъ теперь въ тюрьму майданы, картежная игра и иныя прелести. Но само собой разумѣется, что предлагаемая мною реформа была бы возможна при измѣненіи къ лучшему и нравовъ самихъ чиновниковъ, имѣющихъ власть надъ арестантами...

Къ сожалѣнію, эти нравы оставляютъ еще желать очень и очень многого. Такъ, начальникъ одного этапа имѣлъ похвальную привычку не отапливать заблаговременно камеру, а когда являлась партія, не давать ей дровъ подъ предлогомъ наступившей уже на дворѣ темноты. Намъ рассказывали, что у этого господина было нѣсколько случаевъ замерзанія больныхъ арестантовъ: я удивляюсь одному, какъ оставались у него живыми и здоровые... Нашу партію помѣстили въ огромномъ сыромъ погребѣ, не топленномъ по крайней мѣрѣ въ теченіе десяти дней (во время жестокаго мороза). Старшій, котораго мы позвали для объясненій, только хихикалъ и отдѣлывался шуточками.

— Вѣдь это ни на что непохоже,—убѣждали его мои спутники:—доложите офицеру. Хорошо, что у насъ вотъ теплой одежды много, а какъ же прочіе арестанты ночевать будутъ въ такомъ холоду?

— Эхе-хе-хе!—посмѣивался старшій:—вы ихъ не знаете еще... У нихъ такіе секретцы есть.

— Какіе секретцы?

— Да знаете, у каждаго изъ нихъ котелочекъ тамъ, щепочки въ запасѣ, угольки...

Стоило-ли продолжать споръ съ этимъ неисправнымъ оптимистомъ? Да онъ и самъ поторопился, впрочемъ, уйти. Въ камеру втащили парашу, дверь быстро захлопнулась, ключъ загремѣлъ въ тяжеломъ замкѣ, и мы очутились одни. Арестанты остались цѣлы потому только, что не спали всю ночь, пили чай и бѣгали по камерѣ, играя въ чехарду и занимаясь другими полезными упражненіями... Мнѣ припоминалось при этомъ утѣшеніе веселаго фельдфебеля: „У нихъ такіе секретцы есть“. Да, живучъ и

тягучъ русскій человѣкъ, ко многому приспособиться умѣетъ, многими житейскими „секретцами“ обладаетъ!

Начальникъ описываемаго этапа слытъ, между прочимъ, просвѣщеннымъ человѣкомъ и даже либераломъ; онъ приходилъ иногда въ камеру привилегированныхъ, за-просто бесѣдовалъ съ ними и высказывалъ самые передовые, порой даже смѣлые взгляды...

Этапы, въ большинствѣ случаевъ, очень ветхи и стары; нѣкоторые изъ нихъ строились еще въ 30-хъ годахъ нынѣшняго столѣтія, и хотя ремонтныя деньги, надо думать, отпускаются въ извѣстные сроки, но серьезныхъ перестроекъ и поправокъ почему-то не приходится замѣчать. Можно подумать, что зданія эти существуютъ скорѣе для крысъ, нежели для людей,—такое въ нихъ множество этихъ отвратительныхъ животныхъ, бѣгающихъ во время ночи по тѣламъ арестантовъ, поднимающихъ шумныя драки и противнымъ пискомъ своимъ не дающихъ спокойно заснуть. Помню, какъ однажды огромная крыса до крови укусила палецъ спавшему рядомъ со мной человѣку...

Встрѣчаются, между прочимъ, погорѣлые этапы, вмѣсто которыхъ въ теченіе десяти и болѣе лѣтъ „не успѣли“ еще выстроить новыхъ. Въ такихъ мѣстахъ партіи или проходятъ два станка въ одинъ день, или останавливаются въ частномъ помѣщеніи, въ обыкновенной крестьянской избѣ, къ окнамъ которой придѣланы желѣзныя рѣшетки и въ которой нѣтъ даже наръ, ничего, кромѣ неизбежной параша. Вся партія спитъ въ повалку на голомъ полу. Не мудрено, что въ подобныхъ условіяхъ, при плохомъ и недостаточномъ питаніи, при непрерывной ходьбѣ въ страшные сибирскіе морозы, при жизни въ грязи и холодѣ, организмъ арестантовъ, и безъ того уже истощенный годами предварительнаго заключенія въ тюрьмѣ, часто не выдерживаетъ и легко поддается всевозможнымъ тифамъ, горячкамъ и другимъ эпидемическимъ болѣзнямъ. Цѣлыми десятками остаются они въ больницахъ и десятками же отправляются отдыхать на близъ лежащія сопки, гдѣ даже убогій крестъ не отмѣтитъ мѣста ихъ вѣчнаго упокоенія... Но и въ больницу попасть не такъ то легко. Больницы имѣются только въ большихъ городахъ и селахъ, и я живо помню нѣсколько случаевъ, когда къ этапу, имѣвшему лазаретъ, привозились уже одни остывшіе трупы... А сколько страдаетъ несчастный больной, прежде чѣмъ умереть! Бросать его, какъ

полѣно, на подводу, прикроютъ халатомъ и везутъ отъ этапа до новаго этапа. Привезутъ—и въ этапѣ тоже бросятъ гдѣ-нибудь на полу въ грязи и стужѣ. Если нѣтъ у него родственника или близкаго товарища, то никто не позаботится ни напоить, ни накормить его, ни спросить, что болитъ и что нужно. До того ли тутъ? Каждый заботится о самомъ себѣ, боится, какъ бы самому не оплошать и не пасть жертвой въ этой ужасной битвѣ за жизнь, за сегодняшний день. Огрубѣло у каждаго сердце, окаменѣло... Я видалъ ужасныя сцены: какъ, напр., арестанты, спотыкаясь о подобныхъ больныхъ, въ отвѣтъ на ихъ стонъ принимались угощать ихъ самыми забористыми ругательствами и пожеланіями скорѣе отправиться на тотъ свѣтъ—и никто не думалъ вступить за несчастныхъ!.. Варварскіе нравы, читатель, не правда ли? И мы, интеллигенты, помню, возмущались ими. Но были ли мы сами лучше и добрѣе арестантовъ? Почему мы не брали этихъ больныхъ къ себѣ, въ свое болѣе просторное помѣщеніе, не ухаживали за ними, не дѣлились съ ними послѣднимъ? Почему? Да потому, что и у насъ своя рубашка была ближе къ тѣлу, потому что и намъ жилось не легче уголовной партіи.

Въ годъ моего путешествія свирѣпствовала на этапахъ какая-то странная болѣзнь, похожая не то на тифъ, не то на нервную горячку и унесшая въ могилу множество народа. Болѣзнь эта, начинавшаяся съ сильной головной боли, особенно косила образованныхъ людей, какъ менѣе сильныхъ и привычныхъ къ этапнымъ лишеніямъ, и на моихъ глазахъ умерло нѣсколько юношей, любимыхъ и уважаемыхъ всѣми товарищами.—Въ холодный осенній день, когда снѣгъ лежалъ уже на землѣ, но рѣки еще не стали, мы переплывали на маленькомъ баркасѣ, едва не потонувшемъ подъ тяжестью повозокъ, солдатъ и арестантовъ, черезъ рѣку Бирюсу, находящуюся невдалекѣ отъ селенія того же имени съ этапомъ по срединѣ. Мы закоченѣли отъ холода, ощущали сильный голодъ и съ нетерпѣніемъ ждали отдыха въ тепломъ и уютномъ помѣщеніи (на завтра предстояла дневка). Кто-то изъ солдатъ обрадовалъ насъ извѣстіемъ, что этапъ большой, чистый, и что въ немъ найдется отдѣльная камера не только для нашей группы, но и для нашихъ женщинъ. Послѣднее было особенно всѣмъ пріятно. Этапъ оказался, дѣйствительно, просторнымъ и новымъ, сравнительно, зданіемъ, совсѣмъ непохожимъ на тѣ

крысы норы, какія представляетъ изъ себя большинство сибирскихъ тюремъ. Мы вбѣжали въ отведенный намъ корридоръ, радостные, улыбающіеся, съ оживленіемъ и шумомъ. Унтеръ-офицеръ мѣстной команды, встрѣтившій насъ, тоже улыбался при видѣ общей радости и предложилъ на выборъ цѣлыхъ три камеры.

— Эта вотъ лучше всѣхъ будетъ,—сказалъ онъ, отворяя одну изъ дверей:—отсюда три дня только назадъ уѣхалъ Л.

— Какъ три дня назадъ?—удивились мои спутники:—вѣдь онъ былъ въ прошлой партіи, которая прошла двѣ недѣли назадъ?

— Такъ-то такъ; да онъ выпросилъ позволеніе остаться при больномъ С., похоронилъ его, потомъ еще прожилъ здѣсь два дня и уѣхалъ съ конвойнымъ догонять свою партію.

— Похоронилъ С.?! С. умеръ?!

Всѣ, какъ громомъ, были поражены этой вѣстью... С. былъ молодой польскій поэтъ, прелестные переводы котораго изъ Надсона и оригинальные стихи нравились даже мнѣ, плохо понимавшему по-польски, и котораго за мѣсяцъ передъ тѣмъ всѣ мы видѣли здоровымъ, сильнымъ, полнымъ бодрости и надежды. Этапное зданіе сразу потемнѣло въ нашихъ глазахъ и стало унылымъ, холоднымъ, непривѣтнымъ; и когда, шатаясь и блѣднѣя, вошли мы въ одну изъ камеръ и увидали враждебно высившіяся въ вечернихъ сумеркахъ пустыя нары, на насъ пахнуло вдругъ холодомъ смерти. Здѣсь онъ страдалъ, здѣсь умеръ, почти одинокій, безпомощный, вдали отъ друзей и родины!.. Правда, любезный унтеръ-офицеръ, видимо уже каявшійся въ томъ, что сболтнулъ о смерти С., увѣрялъ, что онъ умеръ не въ этой, а въ сосѣдней камерѣ, куда мы отказались поѣхать идти, но утѣшеніе было не большое. Въ стѣнѣ нашего помѣщенія была огромная щель въ эту страшную сосѣднюю камеру, и помню, я съ мучительнымъ любопытствомъ заглядывалъ въ нее, всматриваясь въ сумрачную пустоту, гдѣ, чудилось мнѣ, бродилъ духъ поэта. И завывавшій по временамъ въ трубѣ вѣтеръ казался мнѣ его стономъ...

Но еще больнѣе, чѣмъ эта вѣсть о совершившемся уже фактѣ, была обострившаяся, благодаря ему, тревога за товарищей и знакомыхъ, оставшихся повади или бывшихъ впереди насъ. Что-то съ ними? Не унесла-ли безпощадная смерть еще кого-нибудь близкаго, дорогого? И смерть, точно, не щадила въ тотъ годъ

самыхъ нѣжныхъ привязанностей, поражая друзей, невѣсть, братьевъ...

Настроеніе было, разумѣется, совсѣмъ отравлено, и дневка въ конецъ испорчена. Малѣйшее недомоганіе кого-нибудь казалось уже предвѣстникомъ грозной болѣзни; и въ самомъ дѣлѣ, на другой же день серьезно захворалъ одинъ изъ конвойныхъ солдатъ, очень симпатичный малый, съ которымъ внезапно сдѣлался сильный жаръ съ бредомъ; не смотря на всѣ старанія нашихъ доморощенныхъ врачей поднять больного на ноги, его пришлось оставить въ Бирюсѣ. Выздоровѣлъ онъ или умеръ, мы такъ и не узнали.

Среди моихъ спутниковъ не было ни одного человѣка, основательно изучившаго медицину, и тѣмъ не менѣе больные арестанты, конвойные солдаты и даже мѣстные жители толпами валили къ нимъ на этапъ, ни днемъ, ни ночью не давая покоя. Слава обихъ умѣнья лечить гремѣла по всему пути. И какихъ только болѣзней, какого горя не перевидали мы! какой заразы не приносилось въ наше помѣщеніе! Приходили тифозные, чахоточные, сифилитики... Приносились грудные младенцы съ распухшими шеями, посинѣвшими личиками и закатившимися глазками; показывались страшныя болячки, гноящіяся раны, одинъ видъ которыхъ приводилъ въ ужасъ и прогонялъ самый жадный голодъ... И, при отсутствіи лекарствъ и достаточныхъ знаній, какъ больно было видѣть всѣ эти устремленные на насъ глаза, полныя мольбы и наивной вѣры, и чувствовать свое безсиліе что-нибудь сдѣлать, оказать какую-нибудь помощь!

#### IV.

Въ Иркутской тюрьмѣ, гдѣ мнѣ пришлось разстаться съ своими знакомцами-интеллигентами, я захворалъ и задержался на нѣсколько мѣсяцевъ.

Въ дальнѣйшемъ пути я, какъ и прежде, пользовался значительными привилегіями сравнительно съ прочими арестантами, но больше прежняго принужденъ былъ скучать и чувствовать себя одинокимъ. Можетъ быть, благодаря именно этому, я обратилъ вниманіе на красоту и величіе забайкальской природы. Особенно поразила меня только что вскрывшійся Байкаль, черезъ который мы переѣзжали на одномъ изъ первыхъ пароходовъ. Какъ сейчасъ вижу это грозно-зеленое, елокочущее и скачущее чудовище.



Въ отдаленіи, за разъяренными валами, видѣются огромныя желтыя скалы, и грезится, что онѣ такъ близко—рукой подать, а между тѣмъ до нихъ 20—30 верстъ!

Оставшись одинъ съ заботами объ одномъ лишь себѣ, я какъ-то невольно сталъ дѣлать больше наблюденій и надъ окружающимъ меня міромъ арестантовъ, тогда какъ прежде сплошь и рядомъ не замѣчалъ происходившаго вокругъ меня. Прежде отдѣльныя лица какъ-то ступевывались въ моемъ представленіи; я видѣлъ передъ собой только огромныя массы, имѣвшія въ моихъ глазахъ одно лицо, одинъ характеръ и волю. Теперь изъ этой громады начали выдѣляться отдѣльные человѣчки и останавливать на себѣ мое любопытство. Нужно, впрочемъ, сказать, что той первоначальной идеализаціи, какою нѣкогда окружалъ я арестантовъ, во мнѣ давно и слѣда не было: я хорошо зналъ, что къ нимъ разскажамъ о себѣ нужно относиться скептически, что они всегда привираютъ и т. п.

Опишу для образчика нѣкоторыя запомнившіяся мнѣ фигуры.

Прежде всего помню одного страннаго субъекта изъ грековъ, съ пронзительными черными глазами, страшно худого, со множествомъ штыковыхъ и огнестрѣльныхъ ранъ на тѣлѣ, полученныхъ во время побѣговъ. Онъ былъ очень угрюмъ и несловоохотливъ, однако почему-то любилъ захаживать ко мнѣ, особенно въ тѣ минуты, когда никого другого изъ арестантовъ у меня не было. Долгое время я думалъ, что онъ хочетъ попросить денегъ; но денегъ онъ ни разу не просилъ. Однажды я задалъ ему вопросъ, за что идетъ онъ въ каторгу. Онъ объяснилъ мнѣ съ самой циничной (хотя и просто выраженной) откровенностью, что въ послѣдній разъ вырѣзалъ съ товарищемъ одну семью. Мнѣ даже жутко стало...

— За что же это?—не удержался я.

— Извѣстно, за деньги,—усмѣхнулся спокойно мой собесѣдникъ.

— Да, но зачѣмъ же было рѣзать?.. И притомъ всѣхъ, даже дѣтей?..

— Всю породу. Въ другой разъ мы двѣ семьи вырѣзали.

Я невольно содрогнулся и недоумѣвалъ, зачѣмъ онъ такъ говорить.

— А Богъ?—спросилъ я,—развѣ не боитесь?

— Какой Богъ?—спросилъ грекъ въ свою очередь, понизивъ нѣсколько голосъ и точно съ нѣкоторою грустью:—Гдѣ только мы не бывали... Въ такихъ глухихъ мѣстахъ, куда и воронъ костей не заноситъ и звѣрь даже не заходитъ. Нигдѣ не видали ни Бога, ни дьявола!

— А были-ль вы въ одиночномъ заключеніи? — спросилъ я еще и, получивъ отрицательный отвѣтъ, попробовалъ нарисовать ему картину внутреннихъ мученій, овладѣвающихъ многими изъ знаменитыхъ разбойниковъ и доводящихъ ихъ порой до сумасшествія и до самоубійства. Онъ послушалъ меня минуты двѣ и, ничего не сказавъ въ отвѣтъ, вышелъ подъ какимъ-то предлогомъ.

Вскорѣ послѣ того я и совсѣмъ потерялъ его изъ виду: должно быть, онъ остался гдѣ нибудь въ больницѣ.

Захаживалъ также ко мнѣ щеголеватый молодчикъ изъ лакеевъ, въ неизбѣжномъ пестренкомъ галстучкѣ и съ утонченными, по его пониманію, манерами. Этотъ мелко плавалъ и все вспоминалъ, какія прекрасныя „покупки“ дѣлывалъ онъ въ Петербургѣ во время публичныхъ казней на Семеновской площади: покупать на его языкѣ значило залѣзть безъ разрѣшенія въ чужой карманъ. Въ концѣ концовъ я замѣтилъ, что онъ и у меня кое-что покупалъ во время своихъ визитовъ.

За то не могу безъ улыбки вспомнить милѣйшаго Тюпкина, бѣглаго солдата, пропадавшего два года безъ вѣсти, наконецъ добровольно заявившагося начальству и шедшаго теперь въ Читу на судъ. Это былъ добродушнѣйшій парень лѣтъ двадцати шести, плохо развитой физически, безусый, понурый и всегда меланхолическій. Онъ ухаживалъ за мной, варилъ мнѣ обѣдъ и чай и жилъ въ моемъ „дворянскомъ“ помѣщеніи. Въ долгіе зимніе вечера мы много болтали, и я узналъ всю его подноготную. Онъ былъ страстный игрокъ, и когда я давалъ ему немного денегъ, сейчасъ же скрывался отъ меня и всю ночь напролетъ игралъ въ штоссъ. По-утру кто-нибудь изъ арестантовъ сообщалъ мнѣ, что мой Тюпкинъ спустилъ все до послѣдней копѣйки.

Не стоитъ такой скотинѣ благодаренія оказывать,—философствовалъ при этомъ доноситель:—какъ будто другой кто не могъ бы вамъ самоварчикъ поставить или другое тамъ что сдѣлать? И еще благодарность бы чувствовалъ... А онъ что? Какъ

онъ былъ *духомъ* (названіе солдатъ), такъ *духомъ* и останется до гробовой доски!

Между тѣмъ, Тюпкинъ появлялся мрачный, какъ сама ночь, и въ камерѣ моей начиналась усиленная дѣятельность; выколачивалась пыль изъ моихъ вещей, перекладывались съ мѣста на мѣсто, безъ всякой видимой нужды, мѣшки и ящики; по камерѣ раздавался неумолкаемый топотъ сапогъ, аккомпанируемый глубокими, глубокими вздохами.

— Что, Тюпкинъ, вы нездоровы, что-ли?

Молчаніе.

— Или, можетъ быть, потеряли что-нибудь? Можетъ быть, проигрались?

— Нѣтъ!—и вслѣдъ за этимъ отвѣтомъ мой Тюпкинъ моментально исчезалъ, сконфуженный.

Вечеромъ онъ опять остается въ моей камерѣ. Мы насытились вкуснымъ кулешомъ, напились чаю; намъ такъ пріятно грѣться передъ весело потрескивающими въ догорающей печкѣ угольями. Мой Тюпкинъ совсѣмъ разнѣжился. Ему хочется говорить, безъ конца говорить, безъ конца жаловаться на свою судьбу.

— Ахъ, горегорькій я, горегорькій! И зачѣмъ только мать на свѣтъ меня породила!

— А чѣмъ же вы особенно несчастнѣе другихъ, Тюпкинъ? Другіе идутъ въ каторгу, а васъ—самое большое—переведутъ въ штрафной разрядъ. Ну, накажутъ...

Тюпкинъ прислушивается къ моимъ утѣшеніямъ и молчитъ.

— Не такъ-ли?—говорю я.—Вѣдь вы же добровольно заявили къ началству, васъ не поймали? Это, конечно, примутъ во вниманіе. Вамъ дадутъ снисхожденіе.

Вмѣсто отвѣта, онъ вдругъ начинаетъ яростно таскать себя за волосы.

— Охъ, горегорькій я, горегорькій!..

— Да вы, можетъ быть, что-нибудь скрываете? Вы, можетъ быть, бѣжали послѣ какого-нибудь преступленія?

Но тутъ Тюпкинъ начинаетъ божиться и клясться, что заявился добровольно, а бѣжалъ со службы просто такъ, съ тоски...

— Съ какой же тоски?

— Да съ пьянства, съ картъ.

— Гдѣ же вы пропадали эти два года?

Онъ подробно рассказываетъ мнѣ, какъ жилъ въ Бичурской

волости у семейскихъ (раскольниковъ), работалъ простую мужицкую работу, съ одной вдовой жилъ душа въ душу, какъ мужъ съ женой, дѣвочку отъ нея имѣлъ.

— Хорошо было жить! И-ихъ, хорошо!..

— Такъ зачѣмъ же вы заявили? И жили бы такъ, пока было можно.

— Нельзя было.

— Да почему же нельзя?

— Такъ.

Съ большими усиліями, однако, удается мнѣ добиться, что и тутъ причиной были вино и карты. Проигрался въ пухъ и прахъ, тоска взяла: пошолъ и заявился.

— А жену извѣстили?

— Зачѣмъ извѣщать?

Я засыпаю въ эту ночь съ увѣренностью, что все-таки успѣлъ утѣшить бѣднаго малаго, успокоить насчетъ предстоящей ему судьбы. Но на слѣдующій вечеръ, если опять нѣтъ денегъ и картежной игры, и мы снова грѣмся и болтаемъ около печки, мой Тюпкинъ начинаетъ прежнюю пѣсню:

— Охъ, бѣдный я, злосчастный! И на что только мать на свѣтъ меня породила?

Я, наконецъ, не выдерживаю и начинаю его ругать за бабью трусость и плаксивость. Онъ защищается, и тутъ мнѣ удается, наконецъ, выудить отъ моего Санчо-Пансо, что онъ въ сущности и раньше побѣга былъ уже штрафнымъ.

— За что же?

— Деньщикомъ былъ... Пьянъ напился, часы разбилъ офицеру да еще нагрубилъ...

— Вотъ оно что! Ну, все-таки хныкать нечего. Не въ каторгу же осудятъ васъ.

— Да не миновать каторги, чуетъ мое сердечушко, охъ, чуетъ!.. Кабы все-то знали вы да вѣдали... охъ, злосчастливая я сиротинушка!

— Что же все-то? Ужъ рассказывайте, коли начали. Что еще натворили? Ужъ не были-ль вы въ дисциплинарномъ батальонѣ?— спрашиваю я, полу-шутя, полу-серьезно.

Молчаніе. Тяжелый вздохъ. Я начинаю, наконецъ, догадываться.

— Такъ значитъ правда? Были?

— Охъ, горегорькій я! Непокрытая моя головушка!

— За что же? Что тогда вы сдѣлали?

— Арестанта выпустилъ.

— За деньги?

— Пьяны оба напились... Въ баню его водилъ... Ну... Ступай, говорю, Иванъ, на всѣ четыре стороны. А самъ легъ и заснулъ. Онъ и ушелъ.

— Сколько же вы пробыли въ дисциплинарномъ?

— Три года. Нѣтъ, ужъ быть мнѣ въ каторгѣ, быть! Чуетъ моя душа... А то и еще хуже: убью когонибудь, ей Богу, убью. Кровь всю они выпили изъ меня, кровопивцы!

— Сами во всемъ виноваты, Тюпкинъ, нечего людей винить. Возьмите себя въ руки, перестаньте въ карты играть, пьянствовать,—вотъ и станете опять человѣкомъ.

Но Тюпкинъ уже ни слова не отвѣчаетъ мнѣ и угрюмо укладывается спать. Утромъ онъ проситъ у меня деньжонокъ, и если я даю, ближайшую ночь опять пропадаетъ въ общей арестантской палатѣ.

Приближаясь къ Читѣ, онъ замѣтно все больше и больше волновался и омрачался; порой мнѣ казалось даже, что онъ замышляетъ бѣжать (конвой, знавшій, что онъ добровольно заявился, не очень зорко слѣдилъ за нимъ); но онъ былъ тряпка-человѣкъ въ полномъ смыслѣ этого слова, и отваги на побѣгъ никогда бы у него не достало. Такъ и дошелъ онъ до Читы, цѣлъ и невредимъ. Со мной онъ разстался довольно холодно, даже не простившись настоящимъ образомъ. Не тѣ думы занимали его въ эти минуты...

Въ большинствѣ случаевъ трудно узнать арестанта доподлинно во время дорожной жизни, гдѣ нѣтъ прочно установившихся условій, нѣтъ ничего постоянного, все быстро мѣняется, и жизнь походитъ не то на какой-то вѣчный побѣгъ отъ невидимаго врага, не то на бесконечно длящійся безобразный праздникъ. Тѣмъ труднѣе это для „барина“, ѣдущаго на отдѣльной подводѣ и живущаго въ отдѣльномъ дворянскомъ помѣщеніи. Даже и передъ „своими“ арестантъ не открываетъ въ этихъ измѣнчивыхъ и кошмарныхъ условіяхъ всего своего внутренняго міра; тѣмъ сдержаннѣе будетъ онъ передъ „бариномъ“, идущимъ хоть и въ каторгу, но въ привилегированномъ положеніи. Нужна очень тонкая наблюдательность, умѣнье разбираться въ мелкихъ оттѣнкахъ впечатлѣній и въ самыхъ ничтожныхъ фактахъ, чтобы различить въ

арестантскихъ разсказахъ правду отъ лжи, напускной и показной характеръ отъ истиннаго.

Вотъ почему я не стану представлять читателю большого числа портретовъ и характеристикъ за этотъ дорожный періодъ своей жизни въ мірѣ отверженныхъ. Для этого у меня будетъ еще достаточно времени и поводовъ. Отмѣчу лишь нѣсколько главныхъ теченій въ характерахъ и фізіономіяхъ арестантовъ, насколько они мнѣ выяснились *въ ту пору*. Къ первому разряду относятся „тихонькіе“, большей частью старички, играющіе роль неповинныхъ жертвъ и выказывающіе даже ненависть къ своему же брату-кобылкѣ. Въ большинствѣ случаевъ, это одни изъ самыхъ антипатичныхъ. Резонерство, черствое себялюбіе, кулачество, лицемѣрное ханжество,—вотъ главныя черты этихъ людей. Черты эти нерѣдко уживаются съ неподкупной честностью (въ казенномъ смыслѣ этого слова), но отъ честности этой вѣдетъ всегда какимъ-то бездушіемъ, и сердечныя ваши симпатіи никогда не тяготеютъ къ этимъ благочестивымъ резонерамъ-старцамъ. Другой типъ—тоже пожилые уже, а иногда и совсѣмъ старые арестанты, не скрывающіе того, что они мошенники и разбойники, но держащіе себя съ нѣкоторымъ гоноромъ и благородствомъ: „То, молъ, по вольной жизни я воръ и разбойникъ, а въ тюрьмѣ, между своими, я честный человѣкъ, арестантъ въ старинномъ смыслѣ слова“. Эти тоже не прочь порезонировать, поспѣвать на паденіе старинныхъ арестантскихъ нравовъ и обычаевъ и побранить „новый родъ“. Третьи, которыхъ большинство, представляютъ душу и сердце шпанки: это—игроки, жиганы, сухарники, палачи, готовые превратиться въ жертвы, и жертвы, могущія завтра же стать палачами; люди, которые, какъ будто нарочно, созданы природой для жизни въ каторгѣ и особенно въ „путѣ слѣдованія“. Врядъ ли даже понимаютъ они, что можно жить иной, лучшей жизнью, чѣмъ этотъ адъ кромѣшный. Они находятся въ вѣчномъ угарѣ и хмѣлю безъ вина, въ вѣчной ажитации и заботѣ, хотя бы предметъ заботы не стоилъ и выѣденнаго яйца: имъ нужно, главнымъ образомъ, само волненіе. Это самый страстный и живой элементъ каторги. Спросите: для чего день и ночь играетъ вотъ этотъ молодой свѣтлорусый паренъ съ испитымъ, блѣднымъ лицомъ и лихорадочно горящими сѣрыми глазами, почти не умѣющій играть и вѣчно получающій розги за промѣтъ казенныхъ вещей, вѣчно голодающій и, къ тому же, служащій пред-

метомъ общихъ насмѣшекъ? Вглядитесь въ его постоянно озабоченное лицо, въ его, словно, тоскующіе глаза — и вы получите отвѣтъ. Безъ картъ или водки, а, можетъ быть, даже и безъ розогъ, безъ чего нибудь пріятнаго, возбуждающаго, жизнь будетъ не въ жизнь этому разъ свихнувшемуся съ пути человѣку! Изъ такихъ-то прожигателей жизни и выходятъ такъ называемые „сухарники“ и „вѣчные тюремные жители“.

Сухарникомъ зовется малосрочный каторжанинъ или лишенецъ, соглашавшійся за пустое вознагражденіе, за нѣсколько рублей, за красную рубаху (или, какъ въ насмѣшку говорятъ арестанты, за сухари) помѣняться именемъ и участіемъ съ долгосрочнымъ или даже „вѣчникомъ“.

Не могу не упомянуть, между прочимъ, объ особомъ видѣ смѣлки, значенія котораго я долго не могъ уразумѣть, но который имѣетъ тѣмъ не менѣе глубокий и чрезвычайно остроумный смыслъ. Мѣняются именами *безсрочный съ безсрочнымъ же*. Какой нибудь Бѣлоносовъ уходитъ вмѣсто Долгошеина, на котораго онъ ни капельки не походитъ ни лицомъ, ни примѣтами, а Долгошеинъ остается, положимъ, въ больницѣ или до слѣдующей партіи. Само собою разумѣется, что „ошибка“ очень скоро обнаруживается и тамъ, и здѣсь. Въ одномъ мѣстѣ начальство набрасывается на Бѣлоносова, въ другомъ на Долгошеина.

— А! Ты сухарникъ?

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣчаютъ и Бѣлоносовъ, и Долгошеинъ и, не смотря на явную недѣльность своихъ словъ, упорно продолжаютъ утверждать, что они именно тѣ самыя личности, которыя показаны въ статейныхъ спискахъ, что они осуждены на безсрочную каторгу. Конечно, случись это въ одной и той же тюрьмѣ, начальство тотчасъ же сдумало бы разобраться въ путаницѣ; но предполагается, что смѣнщики успѣли уже раздѣлиться приличнымъ разстояніемъ, и напасть на настоящій слѣдъ не такъ-то легко. Мѣстные начальства торжествуютъ: пойманы сухарники, продавшіе себя за красную рубаху... Бѣлоносова и Долгошеина судятъ (опять-таки предполагается, въ различныхъ пунетахъ) и, какъ смѣнщиковъ, приговариваютъ на три года каторги каждаго съ тѣлеснымъ наказаніемъ. А имъ того только и нужно было... *Se non e vero, e ben trovato*, скажетъ, пожалуй, читатель; но пусть онъ вспомнитъ, что въ старые и даже, сравнительно, еще недавніе годы въ тюремномъ мірѣ дѣлались дѣла и почище. Съ появ-

леніемъ реформъ, конечно, становятся все труднѣе и труднѣе, подобныя продѣлки.

Майданщиками зовутся арестанты — откупщики, которымъ артель продаетъ монополію торговли въ теченіе извѣстнаго срока сахаромъ, чаемъ, табаккомъ и пр. мелочью, а самое главное — содержаніе игорнаго, а иногда и еще болѣе темнаго притона. Я былъ, напр., свидѣтелемъ, какъ одинъ майданщикъ везъ съ собою публичную женщину въ качествѣ вольно слѣдовавшей за нимъ невѣсты. Она ѣхала, конечно, отдѣльно отъ холостой партіи, въ которой шелъ „женихъ“, слѣдомъ за нимъ, но на тѣхъ этапахъ, гдѣ старшаго удавалось подкупить или обмануть, разжалобивъ сказкой о предстоящей въ скоромъ времени любящей парочкѣ разлукѣ, „невѣста“ впускалась на ночь въ этапъ къ своему мнимому жениху, и тогда, можно представить себѣ, что тамъ происходило!..

Надо, впрочемъ, сказать, что майданы снимаютъ въ рѣдкихъ только случаяхъ прижимистые кулаки, т. е. такіе, что, обогатившись, зажили бы трезвымъ и благоразумнымъ порядкомъ (такимъ-то арестанты и не продадутъ, пожалуй, майдана); обыкновенно это все тѣ же игроки и жиганы, нуждающіеся въ „поправкѣ“ единственно для того, чтобы въ нѣсколько дней спустить все пажитое на водку и карты.

## V

Въ августѣ мѣсяцѣ я вступилъ въ районъ нерчинской каторги. Какая-то новая атмосфера давала себя чувствовать; порядки становились строже, обращеніе начальства и конвоя грубѣе, настроеніе самихъ арестантовъ удрученнѣе. Толковали о предстоящихъ въ Нерчинскѣ, Стрѣтенскѣ и Усть-Карѣ обыскахъ. Говорили, что отберутъ все до послѣдней нитки. Придумывались средства, куда запрятать лишнюю, имѣющуюся на рукахъ, копѣйку. Солдаты запугивали разсказами, какъ у одного старичка нашли запрятанными въ сухарѣ сто рублей и какъ офицеръ, конфисковавъ эти деньги, роздалъ ихъ конвою. Я, по своей тогдашней наивности, долго не понималъ, зачѣмъ, не смотря на такіе страхи, спутники мои все-таки намѣрены были прятать свои деньги. Почему бы, спрашивалъ я, не отдать деньги еще до обыска начальству? Все равно вѣдь будутъ въ сохранности, записаны въ книгу, за-



нумерованы и пр. Арестанты въ отвѣтъ только почесывались, или говорили что нибудь вздорное, чему и сами, очевидно, плохо вѣрили, въ родѣ того, что начальство очень часто зажиливаетъ деньги. Только въ каторгѣ, въ тюрьмѣ, понялъ я настоящимъ образомъ, почему арестантъ никогда не промѣняетъ нелегальныя деньги на легальныя. Помимо игры въ карты и покупки водки, большинство каторжныхъ питаетъ какое-то прирожденное, трудно объяснимое отвращеніе къ отдачѣ начальству денегъ: хоть двѣ копейки, да постарается затаить!.. „Пускай пропадутъ лучше, да знаю, что онѣ—мои были“. И такъ говорятъ и дѣлаютъ нерѣдко самые добронравные и благонамѣренныя старички, въ руки никогда не берущіе картъ! У одного изъ такихъ старичковъ отняли при обыскѣ пустой, грязный кисетъ и хотѣли бросить въ печку. Тогда онъ съ плачемъ объявилъ что, тамъ есть три рубля.

— Гдѣ-же?—удивился офицеръ, еще разъ обшаривая кисетъ и выворачивая на изнанку. Оказалось, что бумажка была очень искусно, почти виртуозно завита въ тонкую веревочку, служившую для завязыванія кисета.

Подвигаясь впередъ тѣмъ черепашнымъ шагомъ, какимъ обыкновенно ползутъ арестанскія партіи, мы достигли, наконецъ, того пункта Забайкальской дороги, откуда каторжныхъ конвоируютъ не солдаты, а казаки. Въ послѣдніе годы, когда явились перспективы возможныхъ осложненій на востокѣ, слышно, и казаковъ „подтянули“; но въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, эта часть сибирскаго войска (а тѣмъ болѣе конвойныя команды) была лишена почти всякой воинской дисциплины, что сказывалось, разумѣется, и большей грубостью нравовъ. Никогда не забуду одной тяжелой сцены, свидѣтелемъ которой, да отчасти и участникомъ, мнѣ довелось быть послѣ приѣмки партіи казаками. Намъ дано было очень мало подводъ, а больныхъ и слабыхъ мы имѣли изрядное количество. Въ довершеніе несчастія, конвой тоже разсѣлся, по обыкновенію, на подводахъ. Нѣкоторымъ изъ больныхъ арестантовъ пришлось идти поэтому пѣшкомъ, и одинъ изъ нихъ съ первыхъ же шаговъ началъ отставать и падать. Не въ силахъ сносить такой „безпорядокъ“, самый молодой изъ казаковъ сорвался внезапно со своей подводой, подбѣжалъ къ упавшему арестанту и сталъ бить его прикладомъ по чему попало. Партія остановилась.

— За что ты lupишь его, Васька?—спросилъ своего подчиненнаго старшій, ковыряя въ носу и съ самымъ безмятежнымъ видомъ сидя на возу съ поклажей.

— Да чего жъ онъ неидетъ, какъ всѣ?—завопилъ благимъ матомъ Васька, рядовой казакъ, безъ всякихъ нашивокъ, совсѣмъ еще мальчикъ, безъ признаковъ растительности на довольно смазливомъ личикѣ.

— Иванъ Егоровичъ!—обратился онъ жалобно къ уряднику:— надо хлопотать о подводахъ. Потому я вѣдь, ей-богу, прикончу его дорогой, коли онъ такъ идти будетъ!..

И, какъ-бы въ подтвержденіе своихъ словъ, казакъ такъ принялся потчивать прикладами несчастнаго больного, что тотъ, поднявшись было на ноги, опять со стономъ повалился на землю. Не довольствуясь этимъ, Васька сталъ еще топтать свою жертву ногами. Партія загалдѣла, запротестовала... Этого было достаточно, чтобы и самъ старшій, жирный, апатичный ко всему казачина, въ первый моментъ стоявшій даже, повидимому, на сторонѣ больного, внезапно встрепенулся и тоже накинулся на арестантовъ.

— Этно что! Вунтъ?!—заревѣлъ онъ, бросаясь съ ружьемъ и кулаками на тѣхъ, которые стояли впереди и казались ему зачинщиками. Тутъ пришлось наблюдать интересное явленіе. Тѣ изъ арестантовъ, что представлялись мнѣ наиболѣе отважными и рѣшительными, сразу замолчали и попрятались за спины товарищей. Особенно поразилъ меня нѣкто Лѣвшинъ, старый бродяга-резонеръ, мужчина атлетическаго сложенія, съ посѣдѣвшей уже бородой и свирѣпыми сѣрыми глазами, въ которыхъ читалась закаленная воля и дерзкая отвага. Вскорѣ послѣ того онъ показалъ себя и дѣйствительно такимъ, совершивъ крайне смѣлый побѣгъ среди бѣла дня, на глазахъ у караульныхъ, которымъ онъ засыпалъ глаза табакомъ... Но это случилось послѣ, уже въ каторгѣ, а теперь онъ стоялъ, повѣсивъ голову и упорно молчалъ.

— Что жъ вы молчите, Лѣвшинъ?—шепнулъ я ему:—такъ нельзя этого оставить. Мы недалеко еще отошли отъ мѣста, тамъ начальство. Надо вернуться, пожаловаться... Не бѣда, если и прикладовъ нѣсколько влетитъ.

— Бросьте, баринъ,—зашепталъ мнѣ въ свою очередь ста-

рикъ, робко озираясь:—ничего не подѣлаешь... Самому себѣ надо жаловаться.

— Какъ это самому себѣ?

— Такъ. Запомнить, значить, надо. По вольной жизни, коли придется... А тутъ ихъ сила!

Можетъ быть, и правильно разсуждалъ Лѣвшинъ, но тогда, помню, мнѣ не понравились его рѣчи, и я какъ-то сразу охладѣлъ къ своему недавнему еще фавориту. Но чуть-ли не еще больше поразилъ меня полякъ Мацкевичъ, болѣе извѣстный среди кобылки подъ именемъ Кожевникова. Это былъ отчаянный враль и пустовонъ, къ разсказамъ котораго о его прошломъ, объ этихъ безчисленныхъ похожденияхъ чисто романтическаго характера, невозможно было относиться серьезно. Не знаю, точно-ли зналъ онъ въ старину лучшую жизнь, но теперь, совершенно обрусѣвшій и ошпанѣвшій за двадцать лѣтъ хожденія по Сибири и каторгѣ, онъ былъ яркимъ представителемъ кобылки, сегодня жиганомъ, завтра майданщикомъ, сегодня артельнымъ старостой, завтра кандидатомъ въ сухарники. Арестанты не долюбивали Мацкевича, считая его пустымъ „бѣталомъ“, а такіе, какъ Лѣвшинъ, даже и „язычникомъ“. Однако въ описываемой стычкѣ съ казаками онъ проявилъ внезапно такую сторону характера, какой, признаюсь, я совсѣмъ не ожидалъ отъ него. Одинъ изъ всей толпы онъ имѣлъ мужество подойти къ уряднику и громко заявить ему, что „такъ-молъ не годится“. Въ отвѣтъ на это заявленіе урядникъ размахнулся и со всего плеча ударилъ Мацкевича по лицу, такъ что у того брызнула кровь изъ носу. Мацкевичъ, однако, и тутъ не испугался.

— Что жъ,—сказалъ онъ философически, обтирая полой халата окровавленное лицо:—бейте, ваша воля... А только такъ все-таки не годится—больного сапогами топтать.

Но урядникъ бить больше не сталъ: порывъ энергіи успѣлъ у него пройти и смѣниться вялымъ равнодушіемъ ко всему на свѣтѣ. „Казачишки“ еще покричали, побѣгали, погрозили... Погрозили и мнѣ прикладомъ, когда я тоже „разинулъ“ было ротъ и сталъ „чирикать“, но бить не рѣшились... И, наконецъ, мы тронулись въ путь, посадивъ все-таки больного на подводу. И странное дѣло: эти же самые казаки, только что проявившіе себя въ такомъ звѣрскомъ, возмутительномъ видѣ, потомъ, въ дальнѣйшемъ пути, оказались добродушнѣйшими и милѣйшими

малыми! Черезъ какихъ-нибудь два часа времени они успѣли сойтись и почти сдружиться со всей партіей; начались общія пѣсни, разговоры, шуточки... А тотъ самый Васька, который топталъ ногами больного арестанта и грозился его прикончить, очень мило со мной бесѣдовалъ, обо многомъ разспрашивая, интересуясь разными научными открытіями, тѣмъ, какъ люди хорошо и умно въ другихъ странахъ живутъ, и искренно негодуя на многіе изъ существующихъ у насъ порядковъ. Когда же я напомнилъ ему о недавней сценѣ съ больнымъ и объ его несправедливости, онъ сконфуженно лохматилъ себѣ волосы и говорилъ:

— Горячій я человѣкъ!..

Шпанка же и подавно обо всемъ забыла, какъ будто ничего не случилось такого, что не было бы въ порядкѣ вещей. Самъ Мацкевичъ-Кожевниковъ весело заговаривалъ со старшимъ и, по крайней мѣрѣ наружно, ни мало не злобствовалъ.

Заканчивая свои воспоминанія о дорогѣ, скажу прямо, что если бы былъ у меня какой-нибудь заклятый врагъ, и я непременно долженъ бы былъ осудить его на величайшую, по моему мнѣнію, кару, то я избралъ бы путешествіе въ теченіе 3—4 лѣтъ по этапамъ. Осудить на большій срокъ у меня, право, не хватило бы духу... Да! для интеллигентнаго человѣка нельзя придумать высшаго на землѣ наказанія... Описывая невзгоды и кошмары этапнаго пути, я забылъ подчеркнуть одно еще обстоятельство, которое, быть можетъ, и составляетъ главный его ужасъ и пытку: это необходимость покидать мѣсто, на которомъ вы только что расположились, обогрѣлись и намѣревались отдохнуть; необходимость куда-то и зачѣмъ-то тащиться по грязи и холоду для того только, чтобы вскорѣ опять свить столь же недолговѣчное гнѣздо и опять разрушить его своими же руками! Ничего прочнаго, постоянного, отраднаго въ этомъ бессмысленномъ, черепашьемъ передвиганіи съ мѣста на мѣсто... И, какъ надъ вѣчнымъ жидомъ, слышится надъ вами каждую минуту властный голосъ, которому нельзя противиться: „Иди! Иди!“ Все это въ душѣ человѣка съ мирными наклонностями способно создавать ужасное настроеніе, близкое къ отчаянію.

Вотъ, наконецъ, и послѣдній этапъ оставили мы за собою. Впереди настоящая, подлинная каторга, тотъ невѣдомый міръ,

который поглощаетъ въ себя тысячи людей, тысячи душъ, рѣдко возвращая ихъ свѣту живыми...

Но когда оглянулся я на послѣдній этапъ, на это неуклюжее зданіе, одиноко торчавшее въ открытомъ полѣ, длинное, сырое, угрюмое, безучастно видѣвшее столько поколѣній людей, изувѣченныхъ, безумныхъ людей, столько напрасныхъ мукъ, слезъ и смертей, я невольно содрогнулся...

---

## ШЕЛАЕВСКИЙ РУДНИКЪ.

---

### I.

#### Встрѣча.

Въ Нерчинскомъ каторжномъ районѣ сосредоточивается около 10 рудниковъ, гдѣ арестанты отбываютъ сроки своего наказанія. Нѣсколько тюремъ помѣщаются на Карѣ—тамъ моютъ золото. Кара издавна пользуется среди арестантовъ славою наиболѣе тяжелыхъ работъ: имя „варвара“—Разгильдѣева до сихъ поръ гремитъ по всему Забайкалью, и хотя въ послѣднее время Карійскія каторжныя тюрьмы превратились въ простыя высидочныя тюрьмы, гдѣ никакого золота уже не моютъ, но и теперь имя „Каринца“ окружено еще нѣкоторымъ ореоломъ. Впрочемъ, начинаютъ прорываться и ироническія нотки въ отношеніяхъ къ тѣмъ, кто побывалъ на Карѣ.

— Онъ много, братцы, горя видалъ! Онъ на Карѣ былъ!—говорятъ про кого нибудь и раздражаются гомерическимъ хохотомъ \*).

Въ Алгачинскомъ, Зерентуйскомъ, Кадаинскомъ, Покровскомъ, Мальцевскомъ рудникахъ достаютъ серебряную руду; въ Кутомарѣ плавятъ добытую руду и выдѣляютъ изъ нея серебро. Послѣдняя работа самая тяжелая и нездоровая. Нѣкоторые изъ перечисленныхъ рудниковъ близки къ истощенію и требуютъ очень мало рабочихъ рукъ; Благодатскій, Акатуйскій и др. руд-

---

\*) Теперь эти свѣдѣнія являются запоздалыми. Въ іюнѣ 93 года уничтожена на Карѣ послѣдняя тюрьма; въ Карійскомъ районѣ нѣтъ больше ни одного арестанта; золотые пріиски отданы въ частныя руки.

*Примѣч. авт.*

ники заброшены вотъ уже около тридцати лѣтъ \*). Въ другихъ, напротивъ, почти каждый годъ открываются новыя рудоносныя жилы; туда направляется наибольшее количество арестантовъ, и тамъ строятся огромныя тюрьмы, могущія вмѣщать по тысячѣ человекъ. Назначеніе арестанта въ тотъ или другой пунктъ зависитъ всецѣло отъ случая. Меня назначили на Шелай, въ совершенно новенькую, только что отстроенную тюрьму, вмѣщавшую не больше 150 человекъ. Рудникъ, къ которому она принадлежала, долгое время заброшенный, теперь только что возобновляли \*\*). Доходовъ отъ него въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ пельзя было ожидать, такъ какъ требовались огромныя предварительныя работы для осушенія старыхъ шахтъ и выработокъ; устраивая эту маленькую тюрьму, начальство имѣло въ виду, главнымъ образомъ, произвести опытъ образцовой каторжной тюрьмы, на подобіе заграничныхъ. Въ послѣдніе годы, слышно, во всей Нерчинской каторгѣ заведены тѣ-же порядки, какіе были при мнѣ въ Шелаевской или, какъ говорили въ просторѣчьи, въ Шелайской тюрьмѣ; но въ то время, когда ихъ только что заводили, они являлись для арестантовъ страшилищемъ, какъ что-то новое, никому еще невѣдомое.

— Куда назначены? На Шелай? — спросилъ меня въ Стрѣтенскѣ сѣденькій старичокъ—слесарь, шедшій на поселеніе.—Ну, молитесь Богу! Тамъ для васъ могила!

— А что такое? Развѣ вы слышали что?

— Я самъ былъ этимъ лѣтомъ на постройкѣ.

Около слесаря собрался кружокъ такихъ же несчастливцевъ, какъ я, назначенныхъ на Шелай.

— Ограда каменная, высокая,—разсказывалъ слесарь:—двойной караулъ, снутри и снаружи; камеры всегда будутъ на замкѣ, день и ночь. Выпускать только на работу будутъ, на повѣрку да на прогулку и все солдатскимъ строемъ: шагомъ маршъ!.. Ширинками, значить. Обѣдать, спать, работать—на все звонокъ. Смотритель назначенъ изъ военныхъ, штабсъ-капитанъ Лучезаровъ.

\*) Въ самые послѣдніе годы Акатуйскій рудникъ опять возобновленъ, что автору, очевидно, было неизвѣстно. *Примѣч. изд.*

\*\*) Насколько намъ извѣстно, такого рудника нѣтъ въ Нерчинской каторгѣ. Нужно поѣтому думать, что названіе вымышленное, и предлагаемые очерки имѣютъ обобщающій характеръ. *Примѣч. изд.*

Ну словомъ, поддаришься, братцы!.. Картъ, али водки въ поминѣ не будетъ!

— Полно врать, старый хрѣнь! Чтобы нашъ братъ, арестантъ, не примудрился къ самому сатанѣ въ пекло водку и карты пронести? Быка съ рогами протащу!—остановилъ его высокий молодцоватый арестантъ съ данными, ухарски закрученными усами и надменнымъ взглядомъ. Слесарь съ своей стороны презрительно оглядѣлъ его съ головы до ногъ.

— Увидишь! — сказалъ онъ и, отвернувшись, направился прочь.—Вотъ одно, что хорошо, ребята,—не утерпѣлъ онъ и, остановившись, заговорилъ снова:—парашекъ у васъ не будетъ. Это точно. При каждой камерѣ особая дверь въ ретирадное мѣсто.

Утѣшеніе это мало, однако, подѣйствовало на меня и моихъ товарищей по несчастію. У каждого невольно ныло сердце, въ ожиданіи безвѣстнаго будущаго.

Въ прекрасный сентябрьскій день, къ полудню, прибыли мы на рѣчку Шелай, на берегу которой стояла новешенькая тюрьма съ бѣлой, какъ снѣгъ, каменной стѣною вокругъ и цѣлымъ рядомъ тѣснившихся по близости строеній для служащихъ и казармъ для казаковъ. Тюрьма находилась въ трехъ верстахъ отъ деревни, въ глубокой и мрачной котловинѣ, со всѣхъ сторонъ огражденной начавшими голѣть сосками, поросшими березой и лиственницей. Не смотря на яркій солнечный день и живописный (говоря безпристрастно) ландшафтъ, послѣдній произвелъ на партію удручающее впечатлѣніе.

— Вотъ такъ Шелай, дьявольеговаляй!—слышалось повсюду.—Ишь, братцы, въ щель какую насъ загоняють, ровно мышей.

— А вонъ и котъ тутъ, какъ тутъ, на поминѣ лежокъ,—съострилъ кто-то, увидавъ статную фигуру съ тростью въ рукѣ, стоявшую у воротъ тюрьмы. Я разглядѣлъ офицерскую форму и догадался, что это и былъ штабсъ-капитанъ Лучезаровъ. Длинные рыжіе усы на бритомъ красномъ лицѣ были уставлены прямо на насъ и не предвѣщали ничего добраго.

— Смир-р-но!! Шанки до-л-лой!!—крикнулъ, Богъ вѣсть откуда взявшійся, надзиратель. Команда эта была такъ неожиданна, что непривычная къ ней, утомленная шпанка растерялась и далеко не скоро и не единодушно сняла шапки.

— Этто что?!—крикнулъ штабсъ-капитанъ, стуча тростью о землю:—не слушаться команды?



— Виноваты, ваше благородіе,—проговорилъ кто-то изъ арестантовъ:—по неопытности, ей-Богу, по неопытности.

— Заморилась, вишь ты, кобылка,—подтвердилъ другой.

— Молчать!!

Все стихло. Ни одни кандалы не звякнули, ни одинъ вздохъ не раздавался. Всѣ держали въ рукахъ шапки. Даже конвой стоялъ, какъ-то особенно прямо вытянувшись.

— Шапки надѣть,—сказалъ начальникъ смягченнымъ голосомъ.

— Накройсь!—скомандовалъ надзиратель. Всѣ, точно осовѣлые, неспѣшно накрывались.

— Вотъ что!—заговорилъ Лучезаровъ, подступая къ намъ ближе и все такъ же тяжело опираясь на свою костяную трость съ мѣднымъ набалдашникомъ. Голосъ у него былъ тихій и какъ будто утомленный, но на пространствѣ ста саженъ былъ бы слышенъ полетъ мухи—такъ тихо было кругомъ.—Вотъ что. Слушайте внимательно. Вы вступаете въ ворота тюрьмы, въ которой до васъ ни одного арестанта не было, тюрьмы, въ которой дѣйствуютъ особыя правила. Да, особыя правила (голосъ началъ повышаться)! Многіе изъ васъ, быть можетъ, не первый уже разъ попадаютъ въ каторгу, не въ первую тюрьму входятъ. Они вспоминаютъ, пожалуй, пословицу, что новая метла всегда чище старой, но не надолго ея хватаетъ; что только первые дни будетъ здѣсь строго, а потомъ все пойдетъ тѣмъ же порядкомъ, какъ и вездѣ, явятся и карты, и водка, и майданы, и Иваны, и даже сухарники. Выбросьте изъ головы эти глупости. Я буду ненепустительно строгъ и никогда не устану исполнять данныя мнѣ свыше инструкціи. Буду справедливъ, но строгъ. Больше строгъ, чѣмъ справедливъ! Помните, ни на минуту не забывайте того что вы каторжные, лишенные всѣхъ правъ, въ томъ числѣ и права на довѣріе. Знайте, что одному надзирателю я повѣрю скорѣе, чѣмъ семи стамамъ арестантамъ. За праздность, лѣность, грубость, ослушаніе, за малѣйшій проступокъ я буду карать. Скажу вамъ прямо: я не большой поклонникъ плетей и розогъ, такъ какъ хорошо знаю, что для такихъ артистовъ, какъ вы, онѣ ничемъ. Нѣтъ, я буду бить васъ по болѣе чувствительнымъ мѣстамъ. Кромѣ суроваго содержанія въ карцерѣ, на хлѣбѣ и водѣ, въ кандалахъ и наручникахъ, даже на цѣпи, если понадобится, я буду лишать виновныхъ скидокъ и отдавать подъ судъ. Не думайте также и о побѣгѣ. Изъ Шелайской тюрьмы не убѣ-

жите! Я буду зорко слѣдить и за малѣйшую попытку къ побѣгу наказывать безъ пощады. Вотъ, я все вамъ сказалъ, что нужно для перваго знакомства. Готовьтесь къ пріемкѣ. Долой съ себя всѣ вещи, долой и кандалы—я знаю, что они все равно снимаются. Не нужно мнѣ комедій. Раздѣвайтесь, погода теплая, простудиться нельзя.

Вся партія, дрожа съ головы до ногъ („такого холоду нагналъ“, говорили послѣ), безмолвно начала раздѣваться, въ томъ числѣ и я. По одиночкѣ, совершенно голыхъ, надзиратели вводили арестантовъ въ дежурную комнату у тюремныхъ воротъ, тщательно ощупывали и заглядывали по всѣмъ подозрительнымъ закоулкамъ тѣла, отбирали собственныя вещи, оставляя только табакъ и трубки, вручали все новое, что полагалось изъ казенныхъ вещей: двѣ пары рубахъ и портовъ, бродни, онучи, куртку, штаны, халатъ, рукавицы и шапку, и потомъ сдавали каждого на руки двумъ цирюльникамъ, которые тутъ же подбрасывали правую половину головы. Продѣлавъ всю эту процедуру, арестантовъ, еще надѣвавшихъ по дорогѣ штаны или куртку, также по одиночкѣ выпускали во дворъ тюрьмы, гдѣ велѣно было построиться въ двѣ шеранги. Когда всѣ, наконецъ, построились, ворота торжественно распахнулись, и въ нихъ опять появился штабсъ-капитанъ съ бумагой въ рукахъ и съ цѣлой свитой надзирателей по бокамъ. Опять послышалась команда: „Смирно! шапки долой!“

— Здорово, братцы!—снисходительно проговорилъ Лучезаровъ, медлительно-торжественными шагами подходя къ строю арестантовъ.

— Здравствія желаемъ, господинъ начальникъ!—гаркнули во всю глотку братцы.

— Шапки надѣть,—сказалъ начальникъ.

— На-кройсь!!—прокричалъ надзиратель и кинулся затѣмъ пересчитывать арестантовъ. Число оказалось то самое, какое было нужно. Лучезаровъ послѣ этого обратился къ намъ съ новой рѣчью, на этотъ разъ носившею шутливо-добродушный, отеческій характеръ.

— Мы давно васъ поджидали и все приготовили для дорогихъ гостей. Теперь сходите въ баню и почище вымойтесь. Чтобъ ни одной вши я ни на комъ не видалъ, чтобъ не видалъ и ни одного голоднаго! Да, у меня всѣ будете сыты. Арестантская артель признается закономъ, поэтому и я ее признаю. Выберите же себѣ об-

шаго старосту, четырехъ парашниковъ, двухъ поваровъ и двухъ хлѣбопеконъ. Что же касается камерныхъ старостъ и больничныхъ служителей, то я самъ ихъ назначаю. Три дня даю вамъ для отдыха, а затѣмъ милости просимъ на работу. Да вотъ что еще. Въ тюрьмѣ девять камеръ, и каждый изъ васъ долженъ жить въ той, въ которую назначенъ. Слушайте, я прочту списокъ.

И онъ прочелъ списокъ, по которому въ каждую камеру было назначено около двадцати человѣкъ. Я попалъ въ № 4, и сожителями моими были все люди, знакомые мнѣ лишь по фамиліямъ.

— Надзиратели, командуйте теперь на молитву.

— Смирно: на молитву! Шапки долой!

Пропѣли три обычныхъ молитвы: „Царю небесный“, „Отче нашъ“ и „Спаси, Господи, люди твоя“.

— На-кройсь!

— Командуйте расходиться по камерамъ.

Два надзирателя стали по обѣимъ сторонамъ строя, третій въ центрѣ, и всѣ трое закричали почти одновременно:

— 1, 2 и 3 номеръ, на-пра-во!—4, 5, 6 номеръ на-пра-во!—7, 8 и 9 номеръ, налѣво!

— 1, 2 и 3 номеръ, въ лѣвыя двери шагомъ ма-ршъ!—4, 5 и 6 номера, въ среднія двери шагомъ маршъ!—7, 8 и 9, въ правыя двери шагомъ маршъ!

Въ головахъ арестантовъ образовалась невообразимая путаница: кто поворотился направо, кто налѣво, кто никуда не поворотился и стоялъ на мѣстѣ, тараща глаза, а кто и просто бѣгомъ побѣжалъ къ первымъ попавшимся дверямъ, какъ это принято на этапахъ. Увидавъ первыхъ бѣгущихъ, и вся шпанка поддавалась заразителному примѣру: всѣ бросились, очертя голову, куда попало...

Шпанка неслась, какъ угорѣлая, и скоро на дворѣ никого не осталось, кромѣ начальства. Надзиратели съ криками бросились въ погоню за бѣглецами. Однако, черезъ пять только минутъ удалось снова собрать всѣхъ, выгнать на дворъ и построить въ ряды.

— Я дѣлаю прежде всего выговоръ надзирателямъ,—громко заговорилъ Лучезаровъ:—слѣдовало сообразить, что списокъ, распредѣляющій арестантовъ по камерамъ, только что былъ имъ прочитанъ, когда они стояли уже въ строю, и потому нелѣпо было, командуя расходиться, упоминать номера.

Надзиратели стояли переконфуженные.

— Теперь постройте арестантовъ отдѣльными взводами, по номерамъ. Каждый изъ нихъ долженъ помнить, кто куда назначенъ.

Надзиратели кинулись исполнять приказаніе, причемъ опять не обошлось безъ путаницы: чуть не половина арестантовъ, особенно изъ татаръ, оказывалось, не знала своихъ номеровъ. Надзиратели совали ихъ наобумъ, куда попало, лишь бы проявить передъ начальникомъ свою расторопность.

— Заморились, ваше благородіе, дайте покой... Въ баньку надыть сходить,—не вытерпѣвъ, громко произнесъ одинъ толстенькій арестантъ съ сѣдоватой бородкой.

— Кто говоритъ?—заоралъ громовымъ голосомъ штабсъ-капитанъ:—отведите его въ карцеръ на трое сутокъ, на хлѣбъ и на воду!

Два надзирателя немедленно повели злосчастнаго выскочку въ карцеръ.

— Если не будете точъ въ точъ исполнять команду, до полночи промору здѣсь. Не получите и бани.

Послѣ такой угрозы все уже обошлось благополучно; команда была выполнена пунктуально.

— Ну, и шестиглазый! Истинно шестиглазый!—бормотали арестанты, расходясь по камерамъ и сообщая другъ другу свои впечатлѣнія:—самый, что ни есть, пронзительный глазъ. Прямо наскрозъ нашего брата видитъ!—Всѣ остались, впрочемъ, очень довольны тѣмъ, что попало и надзирателямъ.

— Этотъ никому, братъ, спуску не дастъ: молодецъ!..

Съ этихъ поръ за Лучезаровымъ такъ и укоренилось среди арестантовъ прозваніе Шестиглазаго \*).

## II.

### Первый вечеръ.

Наконецъ-то, я спокойно лежу на голыхъ нарахъ послѣ дня, полного столькихъ тревоженій. Изъ сожителей моихъ кто еще разговариваетъ, покуривая трубку, а кто и храпитъ уже; сходили

---

\*) Автору напоминали о существованіи такого же прозвища у Достоевскаго; но ему кажется, что эта мелкая подробность доказываетъ только живучесть преданій, нравовъ и даже остротъ описываемой среды, и потому онъ сохраняетъ ее, не опасаясь упрековъ въ подражаніи великому художнику.

Прим. авт.

въ баньку, попарились, потомъ напились казенныхъ чайныхъ помоевъ съ хлѣбушкомъ—и довольны. О завтрашнемъ днѣ стараются не думать. Этимъ-то свойствомъ и держится темный человѣкъ, особенно арестантъ. Не обладай онъ счастливой способностью не заглядывать въ будущее—жизнь стала бы не въ моготу. Впрочемъ, видно, что холоду нагналъ Шестиглазый большого: разговариваютъ полушопотомъ, ходятъ въ случаѣ надобности на носкахъ. Да и надзиратели изъ всѣхъ силъ стараются поддержать этотъ страхъ: ежеминутно бѣгаютъ, стуча ключами, по корридору, заглядываютъ въ дверныя форточки. Въ одной изъ камеръ попытались было запѣть („надо быть, молодые ребята!“); мы слышали, какъ тотчасъ же кинулось туда опрометью нѣсколько паръ ногъ, какъ раздались грозные оклики — и мгновенно все стихло.

— Ну, и Шелай!—сокрушенно вздыхаетъ мой сосѣдъ Чирокъ, арестантъ лѣтъ подь сорокъ, съ испытнымъ блѣднымъ лицомъ, но могучаго сложенія и крѣпкаго еще здоровья. Онъ сидитъ на нарахъ, потурецки сложивъ ноги, посасываетъ папироску и поминутно сплевываетъ на полъ.

— Тутъ издохнешь, въ этой тюрьмѣ, при такой строгости,—поддерживаетъ его красавецъ-бондарь Малаховъ, брѣнетъ съ великолѣпной курчавой бородой и маленькими синими глазками. Я вглядываюсь въ Малахова: это тоже атлетъ, въ плечахъ, пожалуй, пошире самого Чирка. Поступь у него увѣренная и правильная; каждое движеніе исполнено достоинства.

— Хм!—фыркаетъ онъ:—подстилки—и тѣ отобрали, на голыхъ нарахъ изволь спать.

— Завтра обѣщали казенные тюфяки выдать.

Малаховъ самъ слышалъ это, но онъ раздраженъ и никакими обѣщаніями удовлетвориться не склоненъ.

— Хм!—продолжаетъ онъ:—образцовая тюрьма... Да гдѣ-жъ справедливость? Почему одного въ Алгачи посылають, въ Покровское или въ Александровскій централъ, гдѣ онъ каторгу, шутя, отбудетъ во снѣ да въ ѣдѣ, а другого въ образцовую тюрьму законопатятъ, гдѣ всячески будутъ стязать его, мучить?

— Это не Шелайскій, а прямо шальной рудникъ!—сентенціозно заявляетъ кузнецъ Водянинъ, больше извѣстный подь прозвищемъ Желѣзнаго Кота. Это маленький, невзрачный человѣчекъ не первой уже молодости, но бойкій и острый на языкъ. Будучи

неграмотнымъ, онъ тѣмъ не менѣе прекрасно умѣетъ рѣшовать и, находясь въ хорошемъ расположеніи духа, постоянно говорить созвучіями.

— У меня иголку отобрали,—заявляетъ Чирокъ жалобнымъ голосомъ.

Для Малахова это то же, что масло для огня. Онъ еще пуще начинаетъ сердиться.

— Какъ-же, братецъ, не отобрать? Еще зарѣзаться можешь... Начальство заботится о нашемъ братѣ... Эх-ма! А все, знаешь, кто виноватъ?

— Кто?

— Доктура! Они самые. Все подъ предлогомъ, будто здоровье арестантовъ чистоты и порядка требуетъ. А сами норовятъ, какъ бы больше сюда сдаться, въ мошну, да какъ-бы изъ нашего брата получше кровь высосать \*)!

— Вѣрно!—поддерживаетъ бондаря Желѣзный Котъ:—эти дохтура хуже намъ, чѣмъ мошкара. Та тебя просто заѣстъ, а эти снимутъ и крестъ!

Чирокъ тоже находитъ нужнымъ ополчиться противъ докторовъ и идетъ даже дальше.

— Будь я теперь на волѣ,—говоритъ онъ таинственно,—да

---

\*) По поводу враждебнаго, почти ненавистнаго отношенія арестантовъ къ врачамъ, о которомъ не разъ упоминается въ настоящихъ очеркахъ, считаю нелишнимъ оговориться, что извѣстная доля этого наблюденія, быть можетъ, должна быть приписана и чисто-мѣстнымъ, случайнымъ причинамъ, вродѣ личнаго характера врачебнаго персонала въ нѣкоторыхъ тюрьмахъ описываемаго времени. Мнѣ самому, напр., прекрасно извѣстно, какой теплой и единодушной любовью пользовался въ 80-хъ годахъ старшій врачъ Красноярскаго тюремнаго замка, покойный нынѣ Мажаровъ. „Отецъ родной“, „заступникъ“—иначе его и не звали. Даже наиболѣе озлобленные изъ арестантовъ съ удивительною нѣжностью рассказывали многочисленные анекдоты, ходившіе по тюремному міру, объ этомъ необыкновенно добромъ и мягкомъ человѣкѣ, повидимому, глубоко понимавшемъ и любившемъ несчастныхъ питомцевъ каторги, не смотря на то, что онъ былъ уже немолодъ, въ большихъ чинахъ и, конечно, не мало видѣлъ на своемъ вѣку всякихъ художествъ „кобылки“... Но, за всѣмъ тѣмъ, мнѣ думается, что непріязнь къ медицинѣ и ея представителямъ, повидимому, вообще коренится въ нашемъ темномъ народѣ—достаточно вспомнить о недавнихъ холерныхъ бунтахъ. Въ видѣнныхъ мною тюрьмахъ бывали, конечно, и хорошіе врачи, фельдшера, а принципиально ихъ все-таки ругали и не любили...

попадись мнѣ въ тайгѣ али гдѣ на степу дохтуръ, я бы изъ него жилы вымоталъ.

Съ наръ поднимается еще одна фигура, лица которой въ вечернемъ полумракѣ я не могу различить. Она поминутно кашляетъ и хватается рукой за грудь.

— Нѣтъ, я бы,—сипитъ она,—я бы зналъ, что съ имъ сдѣлать! Я бы его раздѣлъ до нага, посадилъ въ муравейникъ, привязалъ бы къ дереву и оставилъ такъ.

— А я бы,—воскликаетъ новая личность, Яшка Первановъ,—я бы чиновъ и званія его лишилъ!

Замѣчаніе это вызываетъ всеобщую веселость и одобреніе. Одинъ только я не понялъ въ то время всей соли этого циничнаго предложенія... Вообще въ этотъ вечеръ я впервые находился въ такой тѣсной близости съ арестантами. До этихъ поръ я жилъ на этапахъ въ отдѣльномъ помѣщеніи, въ одиночествѣ или въ обществѣ подобныхъ мнѣ интеллигентовъ; но теперь, совершенно отрѣзанный отъ всякаго иного, высшаго міра и самъ подвергнутый полной нивелировкѣ съ этими отверженцами человѣческаго общества, теперь я поневолѣ долженъ былъ стать въ другія отношенія съ ними, сдѣлаться для нихъ братомъ, товарищемъ. Съ первыхъ дней каторги я готовился къ этому; однако до сихъ поръ благоприятныя обстоятельства отдаляли рѣшительную минуту, и самъ я, понятно, не шелъ навстрѣчу печальной необходимости. Сегодня, впервые испивъ горькую чашу каторжника, впервые чувствуя себя приниженнымъ и заушеннымъ, я съ большимъ чѣмъ прежде любопытствомъ приглядывался къ своимъ собратьямъ по несчастію. Раньше я тоже приглядывался, но скорѣе какъ туристъ, баринъ, посторонній наблюдатель; теперь я искалъ въ душѣ этихъ людей, лежавшихъ бокъ-о-бокъ со мною, почти прикасаясь ко мнѣ тѣлами, того же настроенія и тѣхъ же ощущеній, какія находилъ въ себѣ. Раздѣленное горе вѣдь легче переносится, чѣмъ переживаемое въ одиночку. Вотъ почему изъ своего уголка я съ жадностью прислушивался къ ихъ разговору и съ жадностью ловилъ каждое слово, которое находило бы откликъ въ моемъ сердцѣ. Мысль, что я не одинъ, что подлѣ меня живутъ и движутся такъ же мыслящія, чувствующія и страдающія существа, такъ же близко принимающія къ сердцу обиды, и тѣ же самыя обиды, какія и я,—надежда встрѣтить здѣсь такихъ людей согрѣвала и утѣшала меня.

Разговоръ продолжался. Малаховъ вспоминалъ жизнь въ Покровскомъ рудникѣ.

— Вотъ жизнь, такъ жизнь! На волѣ иной такъ не живетъ. Никакихъ этихъ строгостей и инструкцій не было и въ поминѣ, а кому отъ этого хуже было? Кто когда оскорбилъ смотрителя или надзирателя? Сама кобылка блюла за порядкомъ, потому—понимали. И когда прѣзжала какая ревизія или тамъ кто, все находилось на своемъ мѣстѣ: карты, водку, ножи, деньги такъ прятывали, что, случалось, и самъ хозяинъ потомъ не отыщетъ. Ей-Богу! просто какъ братья родные жили съ надзирателями. Они съ нами тутъ же и чай пили, и водочку, и штоссъ, случалось, закладывали. Вотъ ей-Богу не вру! Смотритель былъ Шолсеинъ по фамиліи; мы его чухной все звали. Надо быть изъ нѣмцевъ, хотя по-русски хорошо говорилъ; присюсюкивалъ только малость—языкъ ровно не доклепанъ былъ. Чухна—тотъ, бывало, ни во что не вязался, даже и въ казарму къ намъ рѣдко, бывало, заглядывалъ. А если и придетъ когда на повѣрку, такъ смѣхъ одинъ. Этихъ разныхъ командъ или тамъ строевъ въ поминѣ не было. Зайдетъ въ камеру.—„Ну, ты, дитю (всѣхъ „дитю“ называлъ!)... Лежи, лежи, дитю, я не слѣпой вѣдь, и такъ вижу. А ты тамъ подъ нарами, дитю, ты ножкой только подрыгай, чтобъ я видѣлъ, живой-ли ты... Ну, что? Всѣ? Лишнихъ тоже нѣтъ? За ночь никто не ожеребился?“ Кобылка: ха-ха-ха!—и онъ тоже смѣется, заливается... Вотъ это я понимаю! это значитъ—человѣчечье отношеніе! Ну, случалось, конечно, и всыпать иному, не безъ того. Такъ за дѣло вѣдь, а не такъ чтобы что!.. Не за шапку, что не во время снять, а въ надѣлъ. Разъ пришелъ, помню, съ обыскомъ. „Ну, что, дѣти, ножи есть? Мнѣ покажите только—не отберу. Лишь бы не скрывали, да не очень чтобъ большіе были“. Мы всѣ, у кого были, показали. У меня чуть не въ поларшина длинной былъ,—и то отговорился: я, молъ, ваше благородіе, мастеровой—бондарь, мнѣ нельзя съ маленькимъ обойтись.—„Только не порѣжься, говорить, дитю... Что-жъ, ни у кого больше нѣтъ? Староста, нѣтъ больше въ камерѣ ножей?“ Васька Косой подлетаетъ:—нѣтъ, говорить ваше благородіе!—„Ручаешься?“—„Ручаюсь.—„Собственной кожей ручаешься?“—Вполнѣ, говорить.—Чухна привсталъ, протянулъ руку къ полочкѣ (ровнобудто зналъ!); пошарилъ—и цопъ! достаетъ ножикъ чуть-ли еще не моего больше... „Это, говорить, какъ же, дитю? Разложите-ка его, каналью, всыпьте



ему, мерзавцу, пятьдесятъ горячихъ, чтобъ впередъ не ручался!“ Разложили мы тутъ же Косого и высыпали... Я самъ ему хорошихъ штукъ пять влѣпилъ! Потому--за дѣло собачьему сыну!

— Вѣстимо,—подтвердили слушатели:—не ручайся въ другой разъ... Не могъ онъ развѣ сказать: какъ, молъ, могу я, ваше благородіе, за всю камеру заручиться? Ищите, молъ, сами... Ничего-бъ ему тогда и не было!

Всѣ рѣшили послѣ этого единогласно, что жизнь въ другихъ рудникахъ не жизнь, а рай, просто умирать не надо (впослѣдствіи я слыхалъ, однако, отъ этихъ же самыхъ людей и другого рода отзывы). Опять принялись ругать Шелайскую образцовую тюрьму.

— Да что онъ возьметъ, что онъ возьметъ съ насъ?—завопилъ вдругъ, точно кому возражая, смиренный обыкновенно Чирокъ:—Лѣнь мнѣ, что-ли, шапку лишній разъ снять, али повернуться, куда онъ велитъ? Поиняю я, что-ли, съ этого? Да я готовъ ему весь день въ поясъ кланяться—отвяжись только, сатана!.. Какъ я былъ арестантъ, такъ имъ и останусь. И ничего онъ съ меня не возьметъ!

— Что за шумъ? Чего горланите?—раздался вдругъ окликъ надзирателя удверного оконца:—не слышали развѣ—барабанъ зорю пробилъ? Въ девять часовъ по инструкціи полагается спать ложиться.

Чирокъ испуганно нырнулъ подъ свой халатъ. Вся камера, болѣе или менѣе поспѣшно, послѣдовала его примѣру. Одинъ Малаховъ остался сидѣть на нарахъ и, на видъ равнодушно, выколачивалъ золу изъ своей трубки.

— Ты, большая голова, чего сидишь? Сказано, ложиться?—крикнулъ на него надзиратель.

— А если сна нѣтъ, кто укажетъ мнѣ ложиться?—спросилъ онъ дѣланнымъ спокойнымъ голосомъ, въ которомъ слышалось однако волненіе.

— Не разговаривать, ложиться!

— Говорю, сна нѣтъ. Ежели бы я шумѣлъ—тогда другое дѣло; а что я не сплю, такъ на это Богъ, а не инструкція.

— А! ты говорить мастеръ? Ну, ладно, завтра потолкуемъ.

И надзиратель отошелъ прочь. Все затихло въ камерѣ. Кое-кто пытался выразить Малахову сочувствіе, ворча изъ-подъ халата, но самъ Малаховъ хранилъ злобное молчаніе. Онъ посидѣлъ еще минутъ пять, все продолжая выколачивать золу изъ трубки, въ которой давно уже ничего не было, и тоже, наконецъ, легъ, тяжело

вздыхая. Вскорѣ послѣ того надзиратель опять подошелъ къ дверп, но, увидавъ, что все идетъ теперѣ согласно инструкціи, что арестанты лежатъ, и камера, слабо озаренная керосиновой лампой, погружена въ мертвое безмолвіе, удалился. Скоро я услышалъ, что всѣ захрапѣли, не исключая и красавца-бондаря. Но мнѣ долго еще не спалось. Я думалъ. Думалъ о томъ, куда попалъ и что меня ждетъ впереди; но больше всего мучила меня мысль о моемъ одиночествѣ среди этой массы людей, объ исключительности моего положенія. Уже одного сегодняшняго вечера и только что слышанныхъ разговоровъ было достаточно, чтобы понять, какая громадная разница существовала во взглядахъ на жизнь и на человѣческое достоинство между ними и мною, образованнымъ человекомъ. Невольно приходилъ въ голову вопросъ: гдѣ легче жилось бы и чувствовалось мнѣ—въ Покровскомъ, подъ отеческой ферулой столь прославляемаго ими „чухны Шолсеина“, который приглашалъ бы меня „подрыгать ножкой“ и освѣдомлялся бы о томъ, „не ожеребился-ли“ я за ночь, или же здѣсь, во власти „Шестиглазаго“, у котораго все идетъ „согласно инструкціи“, формалистически-строго и бездушно-машинально?.. Смогу-ли я затѣмъ понять и полюбить своихъ сожителей? Можетъ-ли кто изъ нихъ посочувствовать мнѣ? Какія въ концѣ концовъ отношенія у насъ установятся? Мнѣ представлялось яснымъ, какъ божій день, что если я и не приобрету ихъ ненависти, то все-таки буду жить и чувствовать себя вполне, бесконечно одинокимъ, что буду нести сравнительно съ ними двойную, тысячекратную каторгу...

Сонъ не шелъ. Душа болѣла и протестовала противъ чего-то. Противъ чего? Я и самъ не отдавалъ себѣ въ этомъ отчета. И въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ уста невольно шептали молитву: „Боже, милосердый Боже! Дай мнѣ силу и мужество безъ страха глядѣть въ лицо ожидающей меня доли; дай силу все вынести и дожидаться вождедѣннаго дня свободы!“

### III.

#### Впечатлѣнія и знакомства перваго дня.

Что за странный шумъ? Что за крики? Ужъ не потопъ-ли, не пожаръ-ли?—думаю я во снѣ, но пробудиться нѣтъ силъ; глаза не въ состояніи разомкнуть—такъ слиплись. Но вотъ кто-то

съ сердцемъ сдерживаетъ съ меня халатъ, и я вскакиваю: передо мной усатое лицо надзирателя.

— Вставай на повѣрку! Чего нѣжишься, ровно дворянинъ какой?

— Да онъ дворянинъ и есть, — хихикаетъ кто-то изъ арестантовъ.

— Можетъ, и былъ, а теперь всѣ каторжные. Вишь разоспался, черти! звонка не слышали, свистка не слышали. Правила висятъ на стѣнѣ, надо прочитать было. Дворяне есть, а грамотныхъ нѣтъ, что-ли? По свистку обязаны немедленно вставать умываться и облокачаться, а какъ только отворять дверь, выходить на дворъ и строиться. Ну, вылазьте!

Заспанная шпанка торопилась умываться. Всѣ толпились въ отхожемъ мѣстѣ, и съ помощью одного лишь глотка воды каждый ухитрялся умытъ себѣ и лицо, и руки надъ парашей. Это происходило вовсе не ради экономіи воды и не потому, что опоздали и торопились: нѣтъ, таковъ обычай арестантовъ—вкуса къ размываніямъ у нихъ нѣтъ. Въмѣсто полотенцевъ утирались той же рубахой, которая была на тѣлѣ. Вотъ, наконецъ, натянули на себя халаты, нахлобучили шапки и, выйдя на дворъ, построились въ двѣ шеренги. На дворѣ почти совсѣмъ темно еще—шестой часъ въ началѣ. Время близится къ октябрю, и въ утреннемъ воздухѣ чувствуется довольно свѣжо; къ тому же у всѣхъ бритыя головы. Я невольно думаю о томъ, что утренняя повѣрка на дворѣ скверная вещь... Проходить вѣрныхъ десять минутъ, пока съ помощью криковъ и угрозъ надзирателямъ удастся выволочь, наконецъ, изъ камеръ всѣхъ арестантовъ. Тогда только начали насъ пересчитывать. Но въ арифметикѣ дежурный надзиратель былъ, видимо, слабъ, потому что два раза понадобилось ему обойти ряды, чтобы смекнуть, сколько онъ насчиталъ. Къ насчитанному числу, съ помощью другихъ надзирателей, въ теченіе добрыхъ пяти минутъ прикладывавъ онъ кухонную прислугу и арестантовъ, положенныхъ въ больницу. Вышелъ споръ. Рѣшили, что одного всетаки не хватаетъ. Еще разъ пересчитали насъ. Вышло столько же, сколько и прежде. Тогда двое надзирателей бросились, какъ угорѣлые, въ камеры, и вотъ, нѣсколько минутъ спустя, съ бранью и подталкиваньями въ шею, пригнали оттуда какого-то заспаннаго и ковылявшаго съ ноги на ногу стариченку. Скомандовали на молитву, пропѣли, что слѣдуетъ. Думали, что затѣмъ уже немедленно позволятъ разойтись, но одинъ изъ надзирателей объявилъ громогласно слѣдующее:

— За споръ съ надзирателемъ начальникъ приказалъ посадить Царамона Малахова въ карецъ на однѣ сутки и объявить арестантамъ, чтобы они не иначе обращались къ надзирателямъ, какъ со словами „господинъ надзиратель“.

Малахова повели тотчасъ-же въ карцеръ.

— Направо и налѣво! Шагомъ маршъ!

Мы вернулись въ камеры, и тамъ сейчасъ-же опять были заперты на замокъ. Однихъ только камерныхъ старость выпустили въ кухню за чаемъ. Принесли ведро такого же жидкаго, какъ вчера, кирпичнаго чаю и стали пить. Такъ какъ свои чашки имѣлись не у всѣхъ, а казенныхъ еще не выдали, то по нѣскольку человекъ пили изъ одной, а кто и просто ложкой хлебалъ изъ ведра. Принесли и хлѣба. Накаждаго приходился паякъ въ 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> фунта (въ рабочіе дни 3 ф.); нашлись такіе ѣдоки, что сразу же и прикончили свои порціи. Я самъ такъ былъ голоденъ, что съѣлъ съ чаемъ добрую половину пайка. Начали опять ругать Шелайскую тюрьму.

— Ну, и тюрьма! счастливы тотъ человекъ, кому срокъ великъ. Тутъ замрешь.

— Въ канцерѣ сгноять.

— Да и безъ канцера пропадешь. Ты какъ жилъ на Покровскомъ-то? Тамъ у тебя завсегда и табачокъ былъ, и молочка, и мяса прикупывалъ. А здѣсь ты на какія же купила купишь?

Я рѣшился полюбопытствовать, откуда же въ Покровскомъ брались у арестантовъ деньги.

Высокій, богатырскаго сложенія старикъ съ рыжевато-сѣдыми бакенбардами, Гончаровъ по фамиліи, видимо былъ обрадованъ тѣмъ, что я нарушилъ молчаніе, которое упорно до тѣхъ поръ хранилъ, и оживленно началъ объяснять мнѣ.

— Вотъ, видите-ли, въ чемъ дѣло,—началъ онъ...

Но тутъ я долженъ сдѣлать прежде небольшое примѣчаніе. Почти всѣ арестанты, съ которыми мнѣ приходилось сталкиваться въ дорогѣ, за исключеніемъ самыхъ развѣ мужиковатыхъ и простодушныхъ, обращались со мною на „вы“. Съ прибытіемъ въ Шелайскую тюрьму, я имѣлъ въ виду начать совершенно новую жизнь, вполне слиться съ арестантской средой, потонуть въ ней; но эти мечты съ первыхъ же дней какъ-то сами собою разбились. Не смотря на то, что изъ пришедшихъ со мной въ тюрьму не было почти никого, кто сопутствовалъ бы мнѣ въ дорогѣ до Стрѣтенска, и что въ самое послѣднее время я никакими видимыми привиле-

гiями не пользовался, я какъ былъ, такъ и остался въ глазахъ всѣхъ „баринѡмъ“. Сначала я недоумѣвалъ, стараясь объяснить себѣ это странное и непрiятное для меня явленiе пословицею „слухѡмъ земля полнится“, но вскорѣ понялъ, что главная причина лежала всетаки во мнѣ самомъ. Во-первыхъ, самъ я каждому арестанту говорилъ „вы“, какъ-бы низко ни стоялъ онъ въ глазахъ самихъ его товарищей. У многихъ арестантовъ, особенно изъ городскихъ, тоже есть подобная замашка: первая пять минутъ или даже весь первый день знакомства *выкать* своему сосѣду; но ни одинъ изъ нихъ долго не выдерживаетъ этого искуса, и черезъ нѣкоторое время вчерашнiе изысканно-вѣжливые джентльмены уже съ усердiемъ поминаютъ родителей другъ друга... Вотъ почему всегда какъ-то смѣшно слышать выканье между арестантами. Иначе было со мной. Самъ того не замѣчая, я постоянно говорилъ „вы“ даже и тѣмъ изъ нихъ, которые мнѣ тыкали. Ни одного браннаго слова также никто не слышалъ отъ меня; я былъ всегда предупредителенъ и услужливъ; однимъ словомъ, я велъ себя точъ въ точъ такъ же, какъ велъ бы себя и на паркетѣ гостиной. Наконецъ, всѣ видѣли, что я „ученый“, что у меня есть книжки, что я „все знаю“, и ко мнѣ можно обратиться за совѣтомъ въ самомъ сложномъ юридическомъ вопросѣ. Конечно, не меньшую роль играли въ отношенiяхъ ко мнѣ шпанки и деньги... Ходилъ даже преувеличенный слухъ о количествѣ получаемыхъ мною изъ дому суммъ; каждый видѣлъ, что у меня всегда есть и табакъ, и все, что можно купить въ тюрьмѣ, и что никому ни въ чемъ я никогда не отказывалъ—напротивъ, нерѣдко даже самъ предлагалъ „одолжаться“. Въ Шелайской тюрьмѣ, гдѣ матеріальныя обстоятельства арестантовъ были особенно стѣсненныя, одолженiя эти поневолѣ должны были принять самыя широкiе размѣры. Въ результатѣ всего этого получилось то, чего я первоначально совсѣмъ не желалъ: случайно кто-то узналъ мое отчество, и вотъ скоро вся тюрьма не иначе меня звала, какъ Николаичемъ или даже Иванѡмъ Николаичемъ; встрѣчаясь со мной въ узкомъ корридорѣ, передо мной сторонились; со мной чрезвычайно вѣжливо раскланивались; на работахъ старались поставить меня на самое легкое мѣсто, или же прямо помогали мнѣ, и отказаться отъ этой помощи значило бы иногда нанести тяжкое оскорбленiе. Наконецъ, камерный староста (пока я не замѣтилъ этого и не запретилъ) выдѣлялъ мнѣ долгое время лучшую порцію мяса. Впрочемъ, я тутъ же долженъ ого-

ворится, что для большинства тюрьмы (въ общемъ относившейся ко мнѣ, какъ одинъ человекъ) этотъ корыстный элементъ имѣлъ, такъ сказать, идеальное только значеніе, такъ какъ само собой разумѣется, что прямую выгоду могли получать отъ меня лишь очень немногіе, жившіе главнымъ образомъ въ одной со мной камерѣ, а между тѣмъ обратныя услуги и помощь я получалъ рѣшительно ото всѣхъ. Однако, я слишкомъ далеко забѣжалъ впередъ. Вернемся къ начатому объясненію Гончарова.

— Видите-ли, въ чемъ дѣло, -- заговорилъ словоохотливый старикъ:—тамъ, на Покровскомъ, даютъ старательскія.

— Это что же такое?

— Работа рудничная за плату такъ зовется,—сверхъ, значить, казенныхъ урковъ. На казенной работѣ, безо всякой то-есть корысти, только чтобы розогъ али карцера не заслужить, сами скажите—зачѣмъ стану я изъ всѣхъ жилъ тянуться? Да наплевать мнѣ на ихъ работу! Я лучше такъ просижу на отвалѣ \*), али нарочно даже испорчу то, что другой уже сдѣлалъ и сдалъ нарядчику. Сробилъ мало-мало, что нужно, и сижу, трубку курю. Вотъ посмотрѣли бы вы, какъ пудовку тамъ собирали. Пудовкой бадейка такая махонькая зовется—три пуда пятнадцать фунтовъ каменье въ нее входитъ. Набери въ нее серебряной руды изъ старыхъ отваловъ—вотъ и урокъ. Времени на это не мало надо. Ну и пускаешься на обманъ. На низъ-то пудовки наложишь простого свинцоваго блеску, чтобы только значило, будто серебро, а сверху и съ боковъ настоящей руды натрусишь. Живой это рукой собираешь и несешь сдавать. Нарядчикъ видитъ, что сверху руда, и доволенъ. Ведетъ тебя въ амбаръ, гдѣ руду сыпаютъ въ кучу. Только сыпать-то не зря тоже надо, а съ толкомъ. А то другой, знаешь, бултыхъ все смаху—нарядчикъ и примѣтитъ, что внизу блескъ одинъ. „Стой, мерзавецъ, что дѣлаешь!“ Приходится тогда выкручиваться: самъ, молъ, обманулся, плохо еще различать научился руду отъ блеска. Ну, а меня, къ примѣру, стараго подлеца и мошенника, не надо учить, какъ сдѣлать! Мы не этакихъ оболтусовъ крутить умѣли... Я въ пудовку-то не то что блеску—простого камчадалу \*\*) напихаю, снизу только да по бокамъ и сверху немного

\*) Отваломъ зовется мѣсто, куда сваливаются глыбы вывезеннаго изъ штольни или шахты камня. *Прим. авт.*

\*\*) Такъ выговариваютъ арестанты слово колчеданъ; кварцъ на ихъ языкѣ „шкварецъ“, а то и прямо—„скворецъ“. *Прим. авт.*

настоящей руды патрушу. И такимъ манеромъ высыплю, что у него, помни, только въ глазахъ засверкаетъ! Будетъ, какъ дуракъ, ротъ розиня, стоять... А то и еще проще сдѣлаешь. Лѣнь мнѣ, знаешь, по отвалу на колѣнкахъ ползать, штаны рвать да по зернышку, какъ курица, клевать. Вотъ и заберусь я рано-рано утромъ въ забой, гдѣ только что выпалка была, и дыму еще не продохнешь. Тамъ руды, разумѣется, пропасть, самой настоящей. Ну, безъ огня, конечно, бродишь, а то словятъ, въ шею наkostenяютъ!.. Наберешь тамъ въ пять минутъ сколько душъ твоей угодно, иной разъ и въ запасъ еще гдѣ нибудь въ старыхъ выработкахъ припрчешь. Разъ, впрочемъ, поймалъ-таки меня Измаилка-нарядчикъ. Слышу, бѣжитъ съ фонаремъ, кричитъ не своимъ голосомъ: „Ты что тутъ, мерзавецъ, дѣлаешь?“ Только я и тутъ маху не далъ, не на такого, братъ, попалъ! Накинулъ рубаху на голову и бросился ему навстрѣчу, какъ оглашенный! Фонарь у него задулъ и самого съ ногъ сшибъ... Еле выбрался оттуда старикъ изъ тьмы кромѣшной; обѣ каменья сердешный лобъ разбилъ... Приходить въ свѣтличку, кряхтитъ, охаетъ, оглядываетъ насъ. А я ужъ тамъ стою, какъ ни въ чемъ не бывало, среди прочихъ арестантовъ, ровно бы дѣломъ занять—дощечку какую-то стругаю... „Это кто же изъ васъ, чертей, говоритъ, фонарь у меня задулъ? Хоть бы такъ убѣжалъ, варваръ, а то, вишь, какъ зашибъ и перепугалъ на смерть. Не иначе, какъ ты это, Петрушка Семеновъ, али ты, старый чортъ?“ Это на меня, то есть, указываетъ... Мы съ Петькой божимся, отрещиваемся, а сами смѣемся про себя. Такъ и отдѣлались. Чудной парень этотъ Измаилка. Не вредный онъ для нашего брата.

— Вотъ съ буреньемъ тоже чистый смѣхъ былъ. Казеннаго урку десять верховъ выдолбить полагается, а въ мягкой породѣ и всѣхъ двѣнадцать. А на дѣлѣ мы выбуривали три-четыре, много—семь верховъ. Потому охоты ни у кого нѣтъ даромъ робить.

— А развѣ не взыскивали?

— Да какъ же со всѣхъ взыщешь? Ну, конечно, если замѣтитъ нарядчикъ, что ты ужъ форменный лодырѣ, тогда посылаетъ къ смотрителю съ запиской. Вотъ присылаетъ разъ Измаилка Сеньку Безпалаго къ чухнѣ. Тотъ читаетъ записку. „Ты что же, говоритъ, дитю, плохо работаешь? Нарядчикъ жалуется, что всего два вершка выбурилъ, а нужно десять“.—Никакъ невозможно, ваше благородіе,—отвѣчаетъ Сенька:—кобылка просто руки всѣ

покалѣчила объ этотъ забой. Какъ сталь, жесткая порода!—„Ну, ладно, говоритъ, дитю, я погляжу. Пошлю завтра на это мѣсто самыхъ здоровыхъ во всемъ рудникѣ ребятъ“. И точно, посылаетъ Гришку Хохла съ Ванькой Жиганомъ. Тѣ возьми да и отхватай по полтора вершка—ну, нарочно, вѣстимо. „Ну,—говорить чухна,—коли ужъ эти не могли больше выбурить,—значить, камень желѣзо чистое. Я васъ, говоритъ, дѣти, не выдамъ“. Беретъ бумагу и пишетъ горному уставщику, что для этого, молъ, забоя не станеть больше давать людей, такъ какъ въ немъ народъ шибко изнуряется... И помни: вѣдь такъ этотъ забой и закрыли!... Вотъ видить горное вѣдомство, что на казенныхъ уркахъ далеко не уѣдешь, а серебряная руда покровская между тѣмъ первый сортъ: втапоры ей одной, почитай, все дѣло держалось. Ну, и учредили старательскія. Опредѣлили намъ жалованье: столько-то рублей за кубическую сажень выработки. И Боже ты мой! Откуда тогда что взялось! И люди, и сила, и охота бурить. Сдѣлаешь сначала казенный урокъ (сполна десять верховъ), а потомъ, не переводя духу, отбухаешь еще двадцать старательскихъ! И помни за то: у каждаго и табачокъ былъ, и молочко, и водочка... И въ карты хватало поиграть. Ничего не имѣлъ тотъ развѣ, кто работать не хотѣлъ. Малаховъ, напримѣръ, тотъ весь день спалъ, за то и жилъ голодомъ.

— Почему голодомъ жилъ? А казенная пища?

— Казенное мясо онъ за табакъ продавалъ. Да и какая жъ ѣда казенная балáнда!

— Но почему же онъ не работалъ? Вѣдь онъ, кажется, здоровый человѣкъ.

— Медвѣдя повалить... Да просто не хотѣлъ... Лѣнь-то, по словица говоритъ, прежде насъ родилась.

— Зачѣмъ! зачѣмъ пустяки говорить!—закричалъ вдругъ безмолвно слушавшій до тѣхъ поръ Чирокъ:—вотъ не люблю этого. Парамонъ—справедливый человѣкъ. Онъ не любитъ попрековъ этихъ да самохвальствъ, которые при дѣлежкѣ идутъ: тотъ больше, тотъ меньше сробилъ... У насъ, знаете: все вѣдь Иванцы да хамство... А Парамонъ этого не любитъ. Онъ справедливый человѣкъ. Покамѣстъ работалъ-то онъ, такъ супротивъ его никого не было. Онъ по тридцати верховъ тамъ выбуривалъ, гдѣ на казенномъ уркѣ Гришка Хохолъ съ Ванькой Жиганомъ по полтора отмочили. Справедливый человѣкъ Парамонъ—вотъ и бросилъ.



— Затвердилъ одно, какъ сорока: справедливый да справедливый! А чего ты самъ-то понимаешь въ этомъ дѣлѣ? Тѣ вѣдь и не буриवालъ, почестъ, никогда! Ты всю свою каторгу въ причиндалахъ отжилъ—то прачкой, то баньщикомъ, то больничнымъ служителемъ.

— Да ни дна тебѣ, ни покрывки! Безстыжіе шары твои! Нашелъ чѣмъ попрекать: причиндаломъ я, вишь, былъ... А были-ль у тебя, какъ у меня, руки такъ надсажены? Ты самъ сейчасъ сказывалъ, какъ ты работалъ-то, а у меня звонъ вся кожа съ пальцевъ послазила, паршивыя ваши рубашки стирамши! Въ шары только наплевать тебѣ стоитъ, глотъ енисейскій!

— Чего лаешься, чего ты лаешься, пермякъ, соленныя уши? Ишь, хайло-то разинулъ! Что ты видѣлъ въ своей Пермѣ? Что ты знаешь, что понимаешь?

— Ты много знаешь, много горя видѣлъ, челдонъ желторотый!..

— Ну, я-то не желторотый, положимъ: пятьдесятъ третій годъ на свѣтѣ живу, видалъ кое-что и знаю. А вотъ, что ты-то знаешь, такъ то я забывать уже сталъ!

Я понялъ, что теперь интересныя для меня темы на время исчерпаны, что будетъ тянуться безконечная перебранка, и ушелъ на свое мѣсто, въ уголокъ камеры. Впослѣдствіи я узналъ, однако, что такія перебранки рѣдко кончаются въ арестантской средѣ потасовками; мнѣ кажется, даже рѣже, чѣмъ въ культурной средѣ... Нельзя сказать, чтобъ это объяснялось отсутствіемъ у арестантовъ самолюбія. О, я видалъ страшныя вспышки самолюбія, когда дѣло касалось отношеній съ такимъ человѣкомъ, котораго они считали въ чемъ-нибудь выше себя... Тогда оказывалось у нихъ такое тонкое чутье къ обидѣ, какое не всегда сыщешь и у интеллигентныхъ людей. Другое дѣло между собою, со своимъ братомъ. У меня волосы становились порой дыбомъ отъ ужасныхъ ругательствъ; которыми они осыпали другъ друга: не было такого грубаго слова, такого обиднаго словеснаго оборота, которымъ они не старались бы уязвить противника; не только ему самому, но и матери, и отцу, землякамъ его доставалось! Мнѣ думалось, что послѣ такого крупнаго разговора соперникамъ ничего больше не остается, какъ разойтись кровными, непримиримыми врагами. И что-же? Черезъ какой-нибудь день, а иногда и часъ, я видѣлъ ихъ опять мирно и дружелюбно бесѣдующими. Переходъ въ неговореніе, такъ часто имѣющій мѣсто въ образованной средѣ,

для нихъ совершенно непонятная и невозможная вещь. Самая страшная перебранка для нихъ въ сущности не что иное, какъ пустое словопрение, своего рода артистическій турниръ. Бываютъ, конечно, какъ вездѣ и во всемъ, свои исключенія; но повторяю, что за нѣсколько лѣтъ моего пребыванія въ Шелайскомъ рудникѣ не больше двухъ-трехъ разъ пришлось мнѣ наблюдать потасовки и мордобои, причиной которыхъ были словесныя оскорбленія \*). За то рѣдки между арестантами явленія и другого сорта, случаи тѣсной и нѣжной дружбы. Каждый глядитъ на cadaго не какъ на товарища по бѣдѣ, а скорѣе, какъ волкъ на волка, врагъ на врага. Самое слово „товарищъ“—къ мѣсту скѣзати, одно изъ самыхъ любимыхъ арестантскихъ словъ, — въ нашемъ, культурномъ смыслѣ неупотребительно: товарищами зовутся люди, пьющіе и ѣдящіе вмѣстѣ, изъ одной посуды. Но такія экономическія связи происходятъ большею частью случайно. Слово „другъ“ еще меньше осмысливается.

Сора Чирка и Гончарова была, между тѣмъ, прервана появленіемъ надзирателя, объявившаго, что старостой въ нашей камерѣ назначается старичокъ Гандоринъ, который и вчера уже исполнялъ временно эту должность. Затѣмъ надзиратель предложилъ камерѣ высказаться, кого желаетъ она выбрать общеарестантскимъ старостой, прачками, парашниками, хлѣбопеками. Началось галдѣнье. Назывались все мало знакомыя мнѣ фамиліи. Изъ нашего номера предложили Кузьму Чирка въ прачки, а Яшку Перванова (онъ-же и Тарбаганъ) въ парашники.

— Тебѣ, Яша, ужъ не впервые этимъ дѣломъ займаться, этотъ спиртъ по твоему носу... Да и ты тоже, Чирокъ, къ бабьему положенію привыченъ. Знай себѣ, новолоки постирывай!

— Вотъ дуракъ, какое слово сказалъ! За него бѣ тебѣ плюхъ надавать надо.

— Ну, ну!—прикрикнулъ надзиратель:—въ старосты кого хотите?

Всѣ переглянулись между собой и помолчали немного. Гончаровъ первый указалъ на меня.

— Вотъ они у насъ и грамотные, и люди совсѣмъ особаго рода. Кривизны ужъ никакой не будетъ...

---

\*) Есть два только бранныхъ слова въ арестантскомъ словарѣ, нерѣдко бывающихъ причиной дракъ и даже убійствъ въ тюрьмахъ: одно изъ нихъ обозначаетъ шпіона, другое—мужчину, который беретъ на себя роль женщины.

— Николаича, Николаича въ старосты!—загадѣлъ весь номеръ. Но я замахалъ, что называется, и руками, и ногами.

— Увольте, господа! Если желаете мнѣ добра, то увольте ради Бога. Мнѣ неудобно.

Пытались уговаривать меня, но я наотрѣвъ отказался \*). Къ великому моему удивленію, и въ большинствѣ другихъ номеровъ въ первую голову называли меня; а я такъ наивно предполагалъ, что большинство не знаетъ и о самомъ моемъ существованіи!

Надзиратель вездѣ объявлялъ, что я ужъ отказался, и потому, погалдѣвъ и поспоривъ нѣкоторое время, сошлись на нѣкоемъ Колпаковѣ, молодомъ развязномъ парнѣ изъ червонныхъ валетовъ. Колпакова, впрочемъ, Лучезаровъ не утвердилъ, и въ старосты выбранъ былъ другой арестантъ, нѣкто Юхоревъ.

Между тѣмъ старикъ Гандоринъ принесъ изъ кухни небольшой бакъ съ „крошонкой“, т. е. съ мелко наръваннымъ мясомъ, полагавшимся на двадцать человѣкъ нашей камеры. На каждого арестанта въ нерабочій день отпускалось 32 золотника сырого мяса, а въ рабочій день 48 золотниковъ. За часъ или за полтора до раздачи обѣда поваръ въ присутствіи общаго старосты и дневальнаго вынималъ мясо изъ котла, освобождалъ его отъ костей и разрѣзалъ на столѣ большими ножами на мелкіе кусочки. Затѣмъ староста раскладывалъ эту „крошку“, въ десять бачковъ по числу камеръ (кухня считалась за камеру) и живущаго въ

---

\*) Одинъ изъ критиковъ настоящей книги напелъ, что въ этомъ именно отказѣ и заключалась наиболѣе крупная ошибка Ивана Николаевича. Не будь этой ошибки и не будь выбранъ въ старосты Юхоревъ, не было бы, по его мнѣнію, и тѣхъ непріятностей, какія описаны авторомъ во II томѣ. Но мнѣніе это показываетъ только, что почтенный критикъ не вникъ въ сущность положенія и не уяснилъ себѣ мотивовъ отказа Ив. Ник., отнюдь не бывшихъ капризомъ или желаніемъ покоя: Ивану Никол. *нравственно невозможно* было взять на себя права и обязанности старосты уголовной тюрьмы,—званія, неизбѣжно сопряженнаго со всякаго рода столкновеніями съ начальствомъ, униженіями, компромиссами и проч. Не говорю уже о томъ, что начальство и не утвердило бы, конечно, подобнаго избранія... Но даже случись невозможное—будь И. Н. выбранъ и утвержденъ, что бы изъ этого могло выйти? Только то, что недоразумѣнія между нимъ и кобылкой начались бы значительно раньше, и ему все равно пришлось бы очень скоро отказаться отъ неподходящей къ его положенію должности.—Автору казалось раньше, что все это понятно само собою, но теперь онъ счелъ нелишнимъ высказаться яснѣе.

нихъ народа. Раскладка производилась голыми руками, не всегда, конечно, чистыми.

Камерные старосты уносили бачки въ свои номера, и тамъ происходила вторичная раскладка.

Съ невольнымъ омерзѣніемъ смотрѣлъ я, какъ плюгавый старикашка Гандоринъ, не помывъ даже рукъ, размѣщаль на грязномъ столѣ (который онъ обтеръ, впрочемъ, своей шапкой) двадцать мясныхъ кучекъ. Съ рукъ его текло сало; кромѣ того, и изъ носа у него текла подозрительная жидкость, которую онъ принужденъ былъ ежеминутно вытирать тою же салною рукою. Отъ этого вскорѣ и носъ его, и губы получили глянцевиый видъ. Старичокъ отличался, видимо, большой добросовѣстностью: ему все казалось, что одна кучка больше, другая меньше, чѣмъ слѣдуетъ, и онъ долго возился, перекладывая изъ одной кучки въ другую по ниточкѣ мяса. Меня чуть не вырвало при видѣ этой отталкивающей операціи... Я легъ на нары и отвернулся къ стѣнѣ. Но дѣлежка была уже окончена; арестанты бросились разбирать свои порціи. Голодь, какъ говорится, не тетка, и, прождавъ нѣкоторое время, я тоже подошелъ взять свою долю. Меня удивила ея скромная величина: счетомъ было ровно пять кусочковъ мяса, каждый съ наперстокъ величиною, и изъ этого числа половина состояла изъ неудобныхъ для жеванія сухожилій. Я полюбопытствовалъ спросить, столько-ли дается мяса въ другихъ рудникахъ.

— По закону вездѣ одно и то же полагается, — отвѣчаль словоохотливый Гончаровъ: — только... это ужъ отъ нашего брата зависитъ, чтобъ все, что полагается, до рта доходило. Это еще хорошая вотъ порція: разъ, два, три, четыре... Что-же! шесть кусочковъ у меня. Это еще слава Богу! Въ нерабочій день можно быть сытымъ. А въ другихъ тюрмахъ, гдѣ нашей кобылкѣ полная воля дана, повѣрите-ли, такой порціи и въ свѣтлый христовъ день не получишь!

— Почему же такъ? Коли тамъ ваша воля, значить, начальство тамъ ужъ не обманетъ васъ?

Всѣ засмѣялись надъ моею наивною. Гончаровъ тоже хихикнулъ и помолчалъ немного.

— Какъ вы судите по-рбачьи! — сказалъ онъ, наконецъ: — да нашъ братъ, кобылка, хуже начальства. Начальство-то у меня не

украдетъ, потому я самъ мошенникъ, а свой украдетъ. А не онъ у меня украдетъ, такъ я у него! На то мы и мошенники.

— Кто же мясо крадетъ? .

— Кто!.. Да развѣ тамъ мало причендаловъ, на кухнѣ-то. Староста, повара, дневальные, костогрызы...

— Это что за костогрызы?

— Которые кости грызутъ: жиганы, которые проигрались и ѣсть нечего. Порцію-то свою иной за мѣсяцъ впередъ спустить. Ну, и толчется въ кухнѣ, когда мясо крошатъ. Иванъ тоже у старосты и у поваровъ покупаютъ.

— А какъ же я слышалъ, будто у арестантовъ строго преслѣдуется воровство въ тюрьмѣ, у своего брата?

— Это точно. Самымъ послѣднимъ человѣкомъ тотъ считается у насъ, кто у своихъ же воруетъ—табакъ тамъ, али сахаръ. И помни: ежели поймаютъ вора въ тюрьмѣ, до смерти заколотятъ! Я самъ всю жизнь воромъ былъ, чего таяться? Первой степени подлецъ и разбойникъ былъ; ну, а въ тюрьмѣ... Тутъ я честный человѣкъ и морду тому поколочу, сукиному сыну, кто скажетъ, что я вотъ хоть съ-эстолько укралъ когда у своего брата-арестанта!

— А развѣ не такое же воровство—красть у артели мясо?

— Нѣтъ, это разные вещи! У насъ это воровствомъ не считается.

— Какое-жъ это воровство?—подтвердилъ Широко съ видомъ глубокаго убѣжденія:—тутъ съ общаго согласу. Въ старосты на поправку идутъ... А то изъ-за чего-жъ и стараться? Артель съ тѣмъ и выбираетъ. Никакого тутъ воровства нѣту.

— Вѣстимо, нѣту,—хоромъ проговорила вся камера. Одинъ Гончаровъ, какъ показалось мнѣ, хитро посмѣивался, куря свою трубку. Меня заинтересовала эта странная арестантская логика.

— Да вѣдь сами жъ вы жалуетесь,—сказалъ я,—что казенный обѣдъ въ другихъ тюрьмахъ настоящіе помой? Вѣдь этакъ нельзя жить цѣлые годы: замрешь!

— Тамъ не замрешь!—отвѣчалъ мой собесѣдникъ:—тамъ у кажнаго есть деньги. Тамъ я къ казенной-то баландѣ за грѣхъ считалъ и притронуться. И баланду, и кашу въ Покровскомъ у насъ цѣлыми ушатами надзирательскимъ свиньямъ относили.

— Хорошо, если есть старательскія,—не унимался я:—но не во всѣхъ вѣдь рудникахъ онѣ есть, да и работать тамъ могутъ только самые сильные.

— Да развѣ только старательскія оди! Вы нашего брата еще не знаете, вы, какъ дите малое; все-то вамъ разжуй да въ ротъ положи...

— И то еще скажетъ: ложь!—сриемоваль Желѣзный Котъ.

— У насъ много доходныхъ статей, и каждый можетъ найти свою точку. Кто въ карты выиграетъ, кто на стрѣмѣ постоитъ, надзирателя покараулитъ и за это тоже свою долю получитъ; кто водкой торгуетъ, кто изъ семейныхъ пирожками, молокомъ, кто карты у себя держитъ. Да, Боже ты мой! Мало-ли сколько изворотовъ найдетъ смекалистая башка! Прачка—тотъ полотенце мнѣ выстираетъ, я ему заплачу сколько-нибудь долженъ, потому это не казенная работа. Другой болѣзнъ какую-нибудь измыслитъ себѣ, въ больницу ляжетъ: молоко или мясо продать за нѣсколько дней, вотъ на табачишко и есть. А проигрался въ пухъ и прахъ—казенную вещь можно спустить. Ну, конечно, шкурой иногда платиться приходится: такъ вѣдь это то-же нашему брату, что въ банѣ попариться... Ха-ха-ха! Еще въ пользу идетъ—кровь разгоняетъ... Такимъ вотъ манеромъ и живутъ. Есть, положимъ, въ тюрьмѣ двѣсти цѣлковыхъ—они такъ и идутъ изъ рукъ въ руки колесомъ, не залеживаются долго у одного. Всѣ на нихъ и кормятся.

Эта любопытная финансовая теорія была прервана звонкомъ на обѣдъ, полагавшимся въ одиннадцать часовъ утра, новымъ грохотомъ замка и появленіемъ Гандорина съ огромнымъ бакомъ щей въ рукахъ или знаменитой арестантской баланды. Мнѣ она показалась чистѣйшими помоями: немного крупы въ грязной водѣ, немного капусты, нѣсколько не очищенныхъ картофелинъ, множество таракановъ и ни капли навару. Да и откуда могъ взяться наваръ, если арестанты вынимали мясо изъ котла, едва давъ ему свариться, такъ какъ въ противномъ случаѣ оно стало бы распозаться, и никакая дѣлежка на порціи была бы невозможна. Однако сожители мои единогласно похвалили Шелайскую баланду и опростали до дна весь бакъ. Обстоятельство это сильно заставило меня усомниться въ ихъ разсказахъ о райскомъ житіи въ другихъ тюрьмахъ. Гончаровъ, словно, угадалъ мои мысли и, ложась на нары, опять заговорилъ:

— Хороша-то она, хороша, только ежели на ней одной сидѣть, такъ долго не протянешъ. А придется, видно, сидѣть. Вотъ въ этой тюрьмѣ, и мы скажемъ, большой былъ бы грѣхъ у артели

воровать. Потому послѣднія крохи... Ни откуда больше не достанешь.

— Вѣстимо, ни откуда!—уныло подтвердилъ Чирокъ и добавилъ, подходя ко мнѣ:—позвольте табачку на папироску.

За нимъ безмолвно потянулись къ моему кисету Тарбаганъ и другіе. Совершивъ это священнодѣйствіе, всѣ легли на нары и, точно,\* погрузились въ созерцаніе предстоящаго имъ горькаго будущаго. Все замолчало, и скоро въ камерѣ послышался дружный храпъ. Это настала послѣобѣденный отдыхъ. Въ пять часовъ раздался звонокъ на ужинъ. Принесли размазню изъ гречневой крупы, жидкую, какъ супъ, и невыразимо отвратительную на вкусъ; долгое время, пока не выработалась привычка, мнѣ слышался въ ней запахъ псины... Вскорѣ же послѣ ужина подали вечерній чай. Въ шесть часовъ камеры отперли для вечерней повѣрки. По корридору раздался оглушительный свистокъ, за которымъ послѣдовалъ взволнованный крикъ надзирателя:

— Вылазь на повѣрку! Скорѣ стройся на дворѣ, самъ начальникъ будетъ!

Напуганные всѣмъ предшествовавшимъ, арестанты впопыхахъ надѣвали халаты и, сломя голову, толкая одинъ другого, бѣжали во дворъ, гдѣ и строились въ два ряда, камера отдѣльно отъ камеры. Дежурный надзиратель въ бѣлыхъ перчаткахъ бѣгалъ вдоль строя и, озабоченно поглядывая на ворота, дѣлалъ намъ предварительный счетъ. Наконецъ, ударилъ звонокъ. Старшій дежурный, стоявшій за воротами, крикнулъ сквозь рѣшетку: „Идетъ!“ Всѣ всколыхнулись, какъ море, откашлялись, высморкались—и стихли, замерли, точно вкопанные. Сквозь рѣшетчатые ворота видно было, какъ стоявшіе праздно казаки испуганно побѣжали съ улицы въ казарменный домъ. И вотъ подъ ворота вступила крупная фигура Шестиглазаго въ накинутаю на плечи шинели и съ тростью въ рукѣ, окруженная свитой надзирателей. Видно и слышно было, какъ старшій надзиратель поспѣшно подбѣжалъ къ нему, и, сдѣлавъ подъ козырекъ, произносилъ рапортъ: „Господинъ начальникъ! при Шелаевскомъ рудникѣ все обстоитъ благополучно, въ тюрьмѣ находится...“ Дальше нельзя было разслушать. Замокъ загремѣлъ, ворота распахнулись.

— Смир-р-но!! Шапки дол-л-ой!!—скомандовалъ стоявшій передъ строемъ дежурный такимъ зычнымъ голосомъ, что отъ него затрепетало бы и неробкое сердце.

Бритые головы моментально обнажились.

— Шапки надѣть.

— На-кр-ройсь!!—Шапки очутились на головахъ. Дежурный быстрыми шагами подлетѣлъ къ медленно подплывавшему Лучезарову и, сдѣлавъ подъ козырекъ, отпортовалъ скороговоркой:

— Господинъ начальникъ! Въ Шелайской тюрьмѣ все обстоитъ благополучно, въ строю находится 170 человѣкъ, въ лазаретѣ 8, арестованныхъ 2.

— Здравствуйте,—благодарно сказалъ ему начальникъ, опустивъ руку, которую во время доклада тоже держалъ у козырька.

— Здравія желаю, ваше благородіе!—гаркнули было кое-кто изъ арестантовъ, не понявъ, что это привѣтствіе относилось не къ нимъ.

— Здравія желаю, господинъ начальникъ!—отвѣчалъ подобострастно надзиратель и быстро отскочилъ въ сторону.

— Здорово, братцы!—возвышая голосъ и ближе подходя къ строю, произнесъ Лучезаровъ.

— Здравствія желаю, господинъ начальникъ!—грянули словно воспрянувшіе отъ тяжкаго сна братцы; эхо далеко пронеслось за стѣны тюрьмы и долетѣло до самыхъ сопокъ.

— Командуйте на молитву.

— На молитву! Шапки до-лой!

Арестантскій хоръ, ставшій по заранѣ сдѣланному распоряженію въ серединѣ строя, пропѣлъ довольно стройно и громогласно обычныя молитвы.

— На-кр-ройсь!

Шапки опять опустились на головы. Минуты двѣ Шестиглазый стоялъ и безмолвно оглядывалъ арестантовъ, которые были ни живы, ни мертвы.

— Вотъ что,—началъ онъ повелительнымъ голосомъ.—Сегодня, съ моего дозволенія, вы выбрали общаго старосту, поваровъ и другихъ артельныхъ служителей. Пускай они знаютъ (да и вы всѣ знайте!), что я не потерплю въ моей тюрьмѣ воровства. За каждый случай замѣченнаго мошенничества въ кухнѣ, въ больницѣ или на другой артельной должности я буду отдавать виновныхъ подъ судъ. Не говорю уже о томъ, что воровать у своихъ товарищей даже съ вашей арестантской точки зрѣнія позоръ и стыдъ. Знайте, сверхъ того, что, кромѣ отпускаемыхъ на котель казенныхъ продуктовъ, я ничего пропускать въ тюрьму не буду.



Чай, сахаръ и табакъ можете выписывать на свои деньги только одинъ разъ въ недѣлю и не больше, какъ въ назначенныхъ мною размѣрахъ на одного человѣка. Никакихъ майдановъ я не допущу. Частныхъ улучшеній пищи также не дозволю. Не дозволю, чтобъ одни ѣли лучше или хуже другихъ! Другія тюрьмы мнѣ не указъ. Шелайская тюрьма—образцовая каторжная тюрьма, и я хочу, чтобъ она не на бумагѣ только была каторжной. Каторжный режимъ, по моему глубокому убѣжденію, долженъ быть также и пищевымъ режимомъ. Впрочемъ, если кто хочетъ, можетъ отдавать свои деньги на улучшение пищи для всей тюрьмы. Надзиратели, разводите арестантовъ по камерамъ.

— Первые три номера, направо!—Средніе три номера, полъ-оборота направо!—Послѣдніе три номера, налево!

— Шагомъ ма-аршъ!

Арестанты церемоніальной поступью и въ строгомъ порядкѣ разошлись по своимъ мѣстамъ, потихоньку толкуя между собой о „прижимѣ насчетъ пищи“, который посулилъ имъ Шестиглазый.

— Такъ, братцы мои, и рѣжетъ прямо въ глаза: „У меня, говорить, настоящій каторжный прижимъ будетъ“.

Но церемонія дня этимъ не кончилась. Въ камерахъ приказали тоже выстроиться въ двѣ шеренги. Шестиглазый обходилъ камеры и производилъ вторичный, окончательный счетъ. Въ каждой камерѣ, при появленіи его, надзиратель кричалъ: „Смирно!“ и, страшно скосивъ глаза, рапортовалъ: „Двадцать человѣкъ, господинъ начальникъ!“

Наконецъ, дверь захлопнулась, замокъ щелкнулъ, и мы, оглушенные, отуманенные всѣмъ этимъ громомъ и блескомъ, одурѣвшіе, остались одни.

— Ну-ну!—резюмировалъ общее настроеніе Гончаровъ.

— О, Господи, Владыко живота моего!—простоналъ старикашка Гандоринъ и, дѣйствительно, схватился за животъ, заболѣвшій у него со страху. Это всѣхъ размѣшило, и тишина прервалась общимъ разговоромъ. Но я не слушалъ его и, улегшись въ своемъ углу, старался успокоиться и собраться съ мыслями.

## IV.

## На шарманкѣ.

Слѣдующіе два дня, назначенные для отдыха, прошли, какъ двѣ капли воды, похожіе одинъ на другой. Разница была только въ разговорахъ арестантовъ между собою, да въ томъ, что второй день былъ постный, среда, и потому мяса въ баландѣ совсѣмъ не было. Впрочемъ, не религіозными, очевидно, соображеніями руководилось начальство, учреждая въ каторгѣ два постныхъ дня въ недѣлю, потому что сало для каши и въ эти дни отпускалось. Такая странность особенно бросалась въ глаза въ Великомъ посту, когда арестантовъ заставляютъ поститься цѣлыхъ три недѣли (причемъ на одной изъ нихъ происходитъ говѣнье), и все это время угощаютъ пустой баландой съ саломъ. Кромѣ постовъ по средамъ и пятницамъ, въ Шелайской тюрьмѣ еще два раза въ недѣлю отпускалось, вмѣсто мяса, такъ называемое осердіе, т. е. печенка, брюшина и легкія. Порція выходила нѣсколько больше обыкновенной, но за то весьма лишь неприхотливый желудокъ могъ ѣсть это „фальшивое“, какъ говорили арестанты, мясо: скользкія, какъ жаба, легкія, плохо вымытая брюшина, отдававшая своими естественными ароматами, съ трудомъ лѣзли мнѣ въ горло. Такимъ образомъ, ѣсть настоящее, не фальшивое мясо приходилось только три раза въ недѣлю. Объяснялось это тѣмъ, что старшій надзиратель (онъ же и экономъ) долженъ былъ куда-нибудь дѣвать и потроха, необходимо присутствующіе въ каждой коровьей тушѣ, и потому вынуждалъ старосту непременно ихъ брать; надзиратели и другіе служащіе покупали только чистое мясо. Впрочемъ, и то сказать: арестанты хоть и ворчали про себя, но въ душѣ, повидимому, даже предпочитали „усердіе“, такъ какъ его отпускалось въ нѣсколько большемъ количествѣ противъ чистаго мяса. Что касается меня, то, ознакомившись покороче съ пищевымъ режимомъ Шелайской тюрьмы, я съ невольнымъ ужасомъ помышлялъ о нѣсколькихъ годахъ, которые предстояло мнѣ провести въ ней. „Тутъ замрешь!“ твердилъ я про себя арестантскую поговорку.

На вечерней повѣркѣ второго дня по прежнему присутствовалъ самъ Лучезаровъ, но никакихъ рѣчей больше не держалъ. Вечеромъ третьяго дня, старшій надзиратель обошелъ ряды, при-

глашая арестантовъ объявить свои ремесла и мастерства. Сначала всѣ молчали, потомъ начали поталкивать полегоньку одинъ другого: „иди, Андрюшка... можетъ, заработишь всетаки на табачишко... Знаешь вѣдь, какая тюрьма здѣсь“. Водянинъ изъ нашей камеры первый вызвался въ кузнецы и, назвавшись по фамиліи, высунулся было изъ шеренги.

— Не выходить изъ строя! Стоять на мѣстѣ! Руки по швамъ! — кинулось къ нему нѣсколько надзирателей. Желѣзный Котъ быстро юркнулъ въ ряды.

— Еще кто? Молотобойцомъ кто можетъ быть?

Изъ нашей же камеры вызвался нѣкто Ефимовъ.

Малаховъ, уже выпущенный изъ карцера, назвался бондаремъ. Изъ другихъ камеръ нашлись плотники, столяры, пильщики, слесаря, сапожники. Послѣ этого дежурный прочиталъ нарядъ на работы. Тутъ была группа назначенныхъ для рытья какой-то канавы, для постройки зимовья, для возки воды и дровъ и, наконецъ, горныхъ рабочихъ. Съ невольнымъ замипраніемъ сердца ждалъ я, куда попадетъ моя фамилія, и былъ душевно радъ, когда услышалъ ее въ числѣ назначенныхъ въ гору, какъ потому, что желалъ познакомиться именно съ рудничными работами, такъ и потому, что всѣ остальные, даже и болѣе легкія, казались мнѣ какъ то менѣ почетными... Прочитавъ нарядъ, надзиратель объявилъ назначеннымъ въ гору, что въ виду дальности разстоянія ея отъ тюрьмы и неудобства возвращенія на обѣдъ, они будутъ ходить туда на одинъ „уповодъ“, и потому могутъ брать съ собою хлѣбъ и котелки для варки чая.

Шпанка весь вечеръ волновалась. Сидѣть безвыходно подъ замкомъ успѣло уже надоѣсть, и всѣмъ чрезвычайно нравилась перспектива предстоящей переменѣ. Обсуждали также вопросъ о томъ, будетъ ли въ Шелайскомъ рудникѣ выдаваться „почтенеіе“, — такъ выговаривали они слово „поощреніе“. По словамъ арестантовъ, мастеровымъ, работавшимъ въ рудникѣ, шли отъ горнаго вѣдомства какія-то деньги: кузнецу пять рублей въ мѣсяцъ, дневальному и крѣпильщику по четыре рубля и т. п. Ужасно интересовались также вопросомъ о томъ, что за зимовье хотятъ строить. Гнусавый человѣкъ, предлагавшій сажать докторовъ въ муравейникъ, заговорилъ таинственнымъ шопотомъ: „Я знаю... для вольной команды“.

— Для какой вольной команды? Чего плетешь?

— Не плёту, а знаю... Выпускать скоро будутъ... Вѣдь ужъ многимъ строка-то покончились. Вотъ Андришкѣ Повару, Парамону, Тарбагану, Пестрову Ромашкѣ, Летунову, Скоропадову...

— Такъ-то оно такъ. Только будутъ-ли здѣсь выпускать-то? Образцовая вѣдь тюрьма-то...

— Будутъ... Я тебѣ говорю!

— Да откуда ты знаешь, гнусъ проклятый? Съ нами же тутъ всѣ дни подъ замкомъ сидѣлъ.

— Ужъ знаю, мое дѣло... Отъ надзирателя слышалъ!

— Что и за гнусъ у насъ, братцы! Это не гнусъ, а прямо два съ боку. Съ нимъ и вѣдомостей не надо.

И поглядѣлъ на гнуса. Все лицо его сіяло довольной и вмѣстѣ лукавой усмѣшкой; длинные рыжіе усы шевелились, какъ у таракана, чахоточная грудь дышала прерывисто и часто. Высказавъ свою сенсационную новость, онъ улегся на нары и по-прежнему замолкъ.

Начались безконечные разговоры о томъ, кому и когда выходить въ вольную команду. Я полюбопытствовалъ спросить, кто пойдетъ изъ нашей камеры въ гору. Оказалось, что только одинъ Гончаровъ и его землякъ-товарищъ Петрушка Семеновъ, молодой геркулесъ, отличавшійся угрюмой молчаливостью. Кузнецъ и молотобоецъ для горы назначены были изъ другихъ номеровъ; Желѣзный же Коть и Ефимовъ оставлялись при тюремной кузницѣ. Чирокъ подаль мнѣ благой совѣтъ выспаться хорошенько передъ работой, и я, послушавшись, немедленно легъ и уснулъ, какъ убитый. На слѣдующій день я проснулся еще задолго до свистка, подаваемого за двадцать минутъ до того, какъ отворяютъ камеры на повѣрку. Одѣлся, умылся, снова прилегъ и успѣлъ еще немного соснуть, пока загремѣли, наконецъ, двери и раздался обычный окликъ: „Вылазь на повѣрку!“ Слѣдовательно, было пять часовъ утра. Въ шесть часовъ, когда кончилось утреннее чаепитіе, раздался второй звонокъ у воротъ, а въ корридорахъ тюрьмы оглушительный свистокъ и крикъ надзирателя:

— На работу! На работу! Стройся на дворѣ группами, кто куда назначенъ.

Всѣ хлынули на дворъ, отыскивая своихъ. Я наглядѣлъ моихъ богатырей, Гончарова и Семенова, и сталъ позади одного изъ нихъ. У каждого горнаго рабочаго была за пазухой холщевая онучка съ ломтемъ хлѣба и чайной чашкой, у нѣкоторыхъ, кромѣ

того, котелки. Сначала вызвали за ворота тѣхъ, которые были назначены для рытья канавы, затѣмъ плотниковъ и позже всѣхъ горную группу. За ворота насъ выпускали по одному человѣку, причѣмъ тутъ же обыскивали, ощупывая всю одежду съ головы до ногъ. На плацу передъ тюрьмой вторично велѣли построиться и окружили густымъ конвоемъ казаковъ. Нѣсколько разъ пересчитали. Старшій конвойный расписался въ дежурной комнатѣ, что принялъ тридцать пять арестантсвъ. Затѣмъ раздалась команда надзирателя, который долженъ былъ сопровождать насъ въ гору:

— Полоборота на-пра-во! По четыре человѣка въ рядъ! Шагомъ маршъ!

И кобылка, очертя голову, полетѣла въ невѣдомую даль,—куда бы то ни было, лишь бы подальше отъ тюрьмы, лишь-бы на что-нибудь новое, хотя бы это новое было и въ десять разъ хуже...

Сначала дорога опускалась внизъ. Повсюду кругомъ желтѣла мелкая таежная поросль, молодая лиственница, жидкая береза, тальникъ, кусты богубльника и шиповника, а по всему горизонту высоко поднимались то совершенно голыя, то покрытыя такимъ же кустарникомъ сопки. Мы не знали, въ которой изъ нихъ помѣщается Шелайскій рудникъ. По слухамъ, всѣ шелайскія горы были изрыты шахтами и прорѣзаны штольнями. Мѣстность эта была полна смутныхъ и даже страшныхъ легендъ. Указывали на одну изъ сопокъ и говорили, что тридцать лѣтъ тому назадъ тамъ случился обвалъ, отъ котораго погибло больше шестидесяти человѣкъ каторжныхъ.

— Это скрываютъ, конечно,—разсказывалъ немолодой уже арестантъ съ сухимъ, какъ щепка, лицомъ и бойкими черными глазами:—скрываютъ, чтобъ не запугивать нашего брата. Ну, да мы-то знаемъ!

— И ничего-то ты не знаешь!—возразилъ ему надзиратель, шедшій рядомъ и слышавшій разговоръ:—завалить обваломъ дѣйствительно завалило, только не здѣсь, а въ Алгачахъ.

— А алгачинскій нарядчикъ тоже сказываетъ, что, молъ, не у насъ, а въ Шелайскомъ.

— Не можетъ этого быть. Алгачинскій нарядчикъ, Степанъ Ивановичъ, мнѣ родной дядя. Кому же изъ насъ лучше знать?

— Можетъ быть, вы и лучше знаете,—супротивъ этого я не спорю,—только начальство вамъ самимъ приказываетъ скрывать отъ насъ.

— Для чего же скрывать?

— А для того, что знай это кабылка, никого бы тогда и въ гору не загнать!

— Врешь, старикъ! Загнали бы, захотѣли. Вѣдь вотъ ты же знаешь, говоришь, а гонять тебя—и идешь.

Старикъ пересталъ спорить, но долго что-то ворчалъ про себя. Арестанты были, видимо, на сторонѣ своего брата. Многіе мнѣ подмигивали и шептали:

— Какую пулю отмочилъ? Да насъ, братъ, не проведешь. Знаемъ мы вашу змѣнную породу!

— Во! Во!—дернулъ меня кто-то за рукавъ:—смотри-кось, Микаланчъ.—Я оглянулся влѣво, по направленію къ указанной сопкѣ, и могъ только разглядѣть нѣсколько огромныхъ кучъ наваленныхъ каменьевъ и чернѣвшія мѣстами ямы.

— Это что за ямы?—спросилъ я.

— Шахты.

— Здѣсь и былъ обвалъ?

— А кто е знаетъ; може, и здѣсь.

Дорога начинала подниматься въ гору. Пройдя съ четверть версты, я почувствовалъ, что задыхаюсь, и невольно закричалъ на сибирскомъ нарѣчьи: „Легче!“ Надзиратель объявилъ привалъ. Отдохнувъ минутъ пять, снова тронулись въ путь. Подниматься становилось все труднѣе и труднѣе. Но уже недалеко была свѣтличка, небольшой домикъ, въ которомъ жилъ рудничный сторожъ и гдѣ должна была производиться раскомандировка арестантовъ по работамъ. Тутъ же стояла и кузница. Войдя всей толпой въ свѣтличку, мы увидали дряхлаго и подслѣповатаго старичка съ гривой сѣдыхъ не чесанныхъ волосъ и лохмотьями на плечахъ. Острый носъ его, казалось, вынюхивалъ воздухъ, и глазки, не смотря на ихъ старческую тусклость, произвели на меня впечатлѣніе лукавства, того, что называется себѣ на умѣ. Это былъ горный сторожъ. Рядомъ съ нимъ сидѣлъ нарядчикъ, плотный и румяный мужикъ, одѣтый въ плисовые черные шаровары и поношенную поддѣвку съ краснымъ кушакомъ. Звали его Петръ Петровичъ. Онъ немедленно началъ разспрашивать каждого изъ насъ, кто какую работу знаетъ; но я подмѣтилъ, что всѣ, даже и бывалые, старались увѣрить его, что въ первый разъ въ глаза видятъ рудникъ. Нашлись, впрочемъ, кузнецъ и плотникъ (крѣпильщикъ), открывшіе наканунѣ свои ремесла тюремному начальству. Изъ

дальнѣйшаго разговора я очень мало понялъ; слышалъ только, что меня назначили на какую-то „шарманку“.

— Это что же такое?—спросилъ я съ недоумѣніемъ у Гончарова. Мнѣ пришло въ голову—ужь не шутятъ-ли надо мною.

— Да вы не беспокойтесь! Съ вами Петька Семеновъ назначенъ, онъ все вамъ объяснить и укажетъ.

— А вы сами развѣ въ другое мѣсто?

— Я тутъ остаюсь нарядчику сани дѣлать.

Я подошелъ къ Семенову и узналъ отъ него, что мы пойдемъ на самую верхнюю шахту воду откачивать.

— А шарманка-то какая же тамъ?

— Это и есть шарманка—воду откачивать,—улыбнулся Семеновъ, показавъ два ряда ослѣпительно-бѣлыхъ зубовъ.

Я въ первый разъ взглянулъ въ его лицо и, признаюсь, съ трудомъ могъ оторваться. Угрюмое и жесткое въ обыкновенное время,—озаряясь улыбкой, оно отличалось чисто дѣтской прелестью; сѣрые глаза, въ глубинѣ которыхъ таилась недобрая сила, блистали тогда довѣрчивостью и какой-то снисходительной мягкостью.

— Сколько вамъ лѣтъ, Семеновъ?—невольно полюбопытствовалъ я, залюбовавшись его улыбкой.

Улыбка сразу исчезла, какъ солнце за налетѣвшими тучами.

— Двадцать восемь,—отвѣчалъ онъ нехотя и отошелъ прочь.

Наблюдая за нимъ издали, я видѣлъ опять только серьезное, холодное лицо и насупленные брови. Небольшіе, едва замѣтные усики придавали нижней части лица, вообще очень красиваго и энергичнаго, какой-то непріятный, животный характеръ. Лобъ у Семенова былъ большой, совершенно четырехугольный; высокій ростъ и желѣзные мускулы рукъ дорисовывали фигуру. Каждый разъ мнѣ чувствовалось не по себѣ, когда я глядѣлъ въ эти сѣрые, большіе глаза: казалось, они глядѣли не прямо на васъ, а, пронизывая насквозь, видѣли что-то за вашей спиной, и являлось инстинктивное опасеніе, что вотъ-вотъ схватить васъ за затылокъ желѣзная рука и моментально сорветъ кожу съ черепа... Я далъ себѣ слово узнать поближе этого человѣка, въ душѣ котораго, несомнѣнно, жилъ демонъ.

Всходить на верхнюю шахту было еще тяжелѣе; гора поднималась все круче и круче, и на пространствѣ семи сотъ шаговъ мы отдыхали, по крайней мѣрѣ, пять разъ. Впрочемъ, пятеро

назначенныхъ вмѣстѣ со мной арестантовъ сами, повидимому, не чувствовали потребности въ роздыхахъ и дѣлали это лишь ради меня. При этомъ всѣ они были обременены тяжестью: одинъ несъ громадный толстый канатъ изъ морской травы, вѣсившій не меньше трехъ-четырехъ пудовъ; другой—деревянные носилки; еще двое по тяжелой бадьѣ, окованной желѣзными обручами; наконецъ, пятый желѣзную балду въ полпуда вѣсомъ, топоръ, кайлу и нѣсколько кирокъ. Я же несъ только пустое ведро для чаепитія и хлѣбъ. Когда мы добрались, наконецъ, до мѣста назначенія, сердце у меня билось, какъ птица въ клѣткѣ; задыхаясь, упалъ я на землю и такъ пролежалъ нѣсколько минутъ, пока пришелъ въ себя. Тогда только я съ любопытствомъ оглядѣлся вокругъ. Мы сидѣли возлѣ большого деревяннаго строенія, имѣвшаго форму конуса или колпака, вышиной около пяти сажень, прикрывавшаго собою входъ въ шахту. По бокамъ его были двѣ двери, запертыя на замокъ; старшій конвойный отомкнулъ ихъ. Два казака немедленно стали съ ружьями по обѣимъ сторонамъ колпака, а пятеро другихъ начали разводить костеръ.

Я взглянулъ внизъ. Въ глубинѣ котловины сверкала ограда Шелайской тюрьмы; самый зоркій глазъ едва могъ бы различить черныя точки часовыхъ, проходившія по ея ослѣпительно бѣлому фону; около тюрьмы чернѣло много другихъ строеній, производившихъ массою дымившихся въ утреннемъ воздухѣ трубъ впечатлѣнне цѣлаго маленькаго городка. Значительно выше, окруженная бодотомъ, виднѣлась горная свѣтличка, изъ которой мы только что вышли. Еще выше, нѣсколько въ сторонѣ, стоялъ красивый домикъ уставщика Монахова, завѣдывавшаго Шелайскимъ рудникомъ. Прямо подъ нашими ногами возвышались, одинъ за другимъ, два такихъ-же, какъ нашъ, деревянныхъ колпака, прикрывавшихъ другія двѣ шахты—среднюю и нижнюю. Во время пути, подъ вліяніемъ страшной одышки, я и не замѣтилъ ихъ. Всѣ три шахты находились на одинаковомъ разстояніи двухъ сотъ шаговъ одна отъ другой. Тутъ только услышалъ я отъ арестантовъ, что около свѣтлички начинается еще „штольня“ — горизонтальный корридоръ, углубляющійся въ гору по направленію къ намъ, корридоръ, въ который должны впослѣдствіи упасть вертикальныя шахты, чтобы играть въ немъ роль отдушны. Удовлетворившись этими первыми свѣдѣніями, я невольно залюбовался разстилавшеюся передо мной картиной. Стояло яркое осеннее утро; въ



воздухъ было свѣжо, тихо и какъ-то радостно; по блѣдной небесной лазури не плыло ни одного облачка. Только что взошедшее солнце уже проливало море блеска. Мѣстамъ сопки сверкали ослѣпительно ярко, мѣстами отъ нихъ ложилась черная тѣнь. Темно было также въ ущельи, гдѣ находилась тюрьма. За то выше ея, въ противоположной намъ сторонѣ, ландшафтъ былъ особенно живописенъ и величественъ. Тамъ поднимался цѣлый амфитеатръ горъ, громоздившихся одна на другую и, наконецъ, исчезавшихъ въ синѣвшемъ утреннемъ туманѣ. И мнѣ невольно вспомнились слова поэта:

За горами гори,  
Хмарою повіти,  
Засіяни горемъ,  
Кровію політи...

Да, страшная мысль о томъ, сколько горя, слезъ и даже живой человеческой крови видѣли эти бездушно-красивыя горы, омрачала наслажденіе ландшафтомъ и невольно заставляла глазъ отворачиваться... Я посмотрѣлъ въ другую сторону, вверхъ отъ шахты. Тамъ высилась огромная гора, повидимому, господствовавшая надъ всей окрестностью. Одинъ изъ казаковъ, замѣтивъ мое любопытство, подошелъ и сказалъ, что въ этой-то именно горѣ и находятся главныя выработки Шелайскаго рудника.

— Она вся изрыта шахтами, и руды тамъ еще многое множество. Только теперь тридцать вотъ ужъ лѣтъ водой все затоплено—подступиться нельзя. Мой дѣдушка тамъ робылъ... Онъ и по сю пору живъ еще.

— Каторжный былъ?

— Да почитай, что каторжный. Втапору всѣ крестьяне каторжные были... Мы заводскіе вѣдь. Какъ послушать дѣдушку-то, такъ нынѣшніе каторжные въ раю живутъ супротивъ ихняго. Разгильдѣевъ вѣдь тогда былъ... Вонъ спросите-ка свѣтличнаго старика—онъ вѣдь тоже и здѣсь, въ этой самой горѣ, робывалъ и на Карѣ былъ. Вамъ теперь какая каторга? Урково съ васъ, почестъ, не спрашиваютъ, порютъ рѣдко, въ препорцію, а втапору дня не проходило, чтобъ кровь рѣкой не лилась!..

Казакъ отошелъ. Всѣ невольно задумались.

— Что же? Посмотримъ, что за шахта такая,—предложилъ я арестантамъ, и мы отправились въ колпакъ.

По срединѣ его находился большой четырехугольный ко-

лодезь, почти до верху наполненный водою. Я нагнулся и почти тотчасъ же зажалъ носъ—такой вонюю разило оттуда.

— Тридцать лѣтъ стояда—прогнила,—объяснилъ кто-то изъ арестантовъ.

— Что же мы будемъ дѣлать?

— А вотъ придетъ нарядчикъ—укажетъ. Торопиться намъ нечего. Казна-матушка подождетъ.

— Что мы, каторжные—что-ль? Торопиться!..

— Кто поспѣшитъ, людей насмѣшитъ.

— Да я не къ тому говорю, чтобъ торопиться, — оправдывался я,—а просто спрашиваю: что мы будемъ дѣлать?

— Шарманку крутить.

— Гдѣ же тутъ шарманка?

Всѣ захохотали.

— Ну, и плохи-жъ вы, Миколанчъ! Тутъ объ книжкахъ-то забыть надо.

Я совсѣмъ сконфузился и началъ вглядываться въ колодезь. Надъ нимъ возвышался, на перилахъ, валъ съ желѣзными ручками. Я взялся за одну изъ нихъ, и огромный валъ закрипѣлъ и грузно повернулся. Тутъ только вспомнилъ я о принесенныхъ нами бадьяхъ и канатѣ.

— Эх-ма! Давайте-ка лучше пѣсенку, братцы, споемъ!—сказалъ молодой и довольно красивый парень Ракитинъ, котораго въ тюрьмѣ не иначе называли, какъ осиповымъ бѣталомъ, т. е. бубенчикомъ, который вѣшаютъ на шею коровамъ, чтобъ онѣ не заблудились въ тайгѣ.

И, не дожидаясь поощренія, онъ запѣлъ высокимъ, сладенькимъ теноромъ:

На серебряныхъ волнахъ,  
На желтомъ песочкѣ,  
Долго-долго я страдалъ  
И стерегъ слѣдочки.  
Вижу, море вдалекѣ  
Будто всколыбнулась...

Но эта пѣсня, должно быть, не понравилась ему, и онъ тотчасъ же затянулъ другую:

Звенить звонокъ—и тройка мчится  
Вдоль по дорогѣ столбовой;  
На крыльяхъ радости стремится  
Вдоль кровли воинъ молодой.

Я насторожилъ уши.

— Вдоль чего стремится?..

— Вдоль кровли воинъ молодой... То есть совсѣмъ, значитъ, молоденькій паренекъ, ну, вродѣ какъ я... И красавецъ такой же... И ѣдетъ онъ къ женѣ своей родной, супругѣ своей драгоценной...

— Постойте! да какъ же по кровлѣ-то можетъ онъ ѣхать? По дорогѣ, по полю можно ѣхать, но по крышамъ кто же ѣздитъ? „Въ домъ кровныхъ“ нужно пѣтъ, т. е. въ домъ родныхъ.

— Хорошо-съ. Это я безпремѣнно запомню, будьте спокойны. Охъ, и жестокая-жъ была у меня прежде память, Иванъ Николаевичъ, до чрезвычайности я бывало помнилъ всякую вещь! И ужасную страсть имѣлъ къ наукамъ. Ну, а съ тѣхъ поръ, какъ женился, горазно тупѣе сталъ.

— А вы женаты, Ракитинъ? Гдѣ же ваша жена?

— Здѣсь же, за мной пришла. Да развѣ вы не видали—въ обозѣ женщина ѣхала? Скверненькая такая, скверненькая старушоночка, плюнуть хочется! Она на пятнадцать лѣтъ меня старѣ.

— А вамъ самимъ сколько лѣтъ?

— Двадцать седьмой вотъ съ Покрова пошелъ. И мальчишечка у меня, знаете, есть, сюда же пришелъ. Кешей звать. Третій годокъ. Охъ, и болить же у меня сердечушко объ ѣмъ, какъ подумаю,—болить!

— А объ женѣ развѣ не болить?

— Жена что! Женъ можно двадцать добыть, стоитъ захотѣть. Особенно такому артисту, какъ я!.. Любая баба съ ума отъ меня сойдетъ, отъ честной моей красоты!

И онъ вдругъ пустился въ плясъ, приговаривая скороговоркой:

Ви—лы, грабли, двѣ метелки и косачъ!

Ви—лы, грабли, двѣ метелки и косачъ!

Приходили двѣ чертовки и лѣшакъ,

Утащили двѣ пудовки и мѣшокъ!

— Ахъ, ты, ботало осиновое!—хохотали арестанты.

Въ эту минуту въ дверяхъ появился нарядчикъ Петръ Петровичъ.

— Запарился же я, ребята!—сказалъ онъ, снимая шапку и обтирая лобъ краснымъ клѣтчатымъ платкомъ.—Трудненько будетъ забираться сюда.

Тяжело дыша, онъ усѣлся рядомъ съ нами на бревенчатомъ широкомъ срубѣ колодца. Я обратился къ нему съ просьбой:

объяснить, что имѣть въ виду горное вѣдомство, предпринимая эти работы.

— Да почестъ, ничего, паря, не имѣть... такъ, дурныя деньги завелись... Къ старымъ выработкамъ, вишь, подойти хотять, что въ той большой сопкѣ находятся. Тамъ вода теперь—ее нужно спустить черезъ штольню внизъ, вонъ въ то болото у свѣтлички.

— Когда же осуществится этотъ планъ?

— Въ томъ-то, паря, и дѣло, что—когда!.. Если бы вольный трудъ... А съ каторжными никогда этого не будетъ.

— Никогда?

— Ну, можетъ статья, лѣтъ черезъ тридцать-сорокъ. Надо только думать, что гораздо раньше надоѣстъ деньги зря бросать... И въ старину-то, къ тому жъ, шелайская руда не изъ первосортныхъ была: на пудъ всего какихъ нибудь 16 золотниковъ серебра. А въ Алчагахъ, къ примѣру, есть жилы, что 28 золотниковъ даютъ. Тамъ только людей подавай, а серебро сейчасъ же бери, безъ всякихъ подготовительныхъ работъ. Вотъ хоть бы эту шахту взять: ее надо довести, по плану, до шестидесяти сажень глубины, пока же въ ней девять всего сажень.

— Въ такомъ случаѣ для чего же возобновленъ Шелайскій рудникъ?

— Для тюрьмы... Чтобъ, значить, вашего брата учить!.. Однако, ребята, мы болтаемъ, а работать-то всетаки надо. Какъ-бы уставщикъ не заглянулъ. Хоть брюхо-то у него и толстое, таскать тяжело, а подползти все же можетъ. Надѣвайте канатъ на валокъ!

Мы накрутили на валъ канатъ и къ концамъ его привязали по бадѣ или, говоря на горномъ жаргонѣ, по кибелю. Четверо изъ насъ, въ томъ числѣ и я, стали вертѣть валъ за желѣзныя ручки, двое другихъ принимали кибель и выливали изъ него вонючую воду въ пристроенный тутъ же жолобъ, изъ котораго она стекала въ канаву. „Вертѣть шарманку“ вчетверомъ и даже втроемъ было совсѣмъ легко; вдвоемъ приходилось уже изрядно напрягаться, въ одиночку же изъ всѣхъ насъ смогли выкрутить только двое: Семеновъ и еще одинъ, невзрачный съ виду, хохоль. Петръ Петровичъ тоже захотѣлъ попробовать силу и, хотя съ большимъ трудомъ, все же выкрутилъ.

— Ну, теперь я пойду, братцы. Прощайте. Работайте до тѣхъ поръ, пока казака не пришлю.

— Вотъ что,—подошелъ къ нему съ сладенькой улыбкой

Ракитинъ:—вы задайте намъ лучше урокъ. Знаете, у арестанта тогда только и руки на работѣ чешутся, когда интересъ есть, а такъ, въ сухую, оно что же-съ? То же, что со старой бабой такому молодцу, напимѣрь, какъ я, любовь крутитъ!

— Для меня, пожалуй, какъ хотите. Триста кибелей выкачайте, тогда приходите въ свѣтличку.

— Многовато-съ!

— Нельзя меньше, уставщикъ осердится.

— Ну, ладно, — сказалъ Семеновъ:—триста идетъ!

— А тотъ кибелекъ-съ, который вы сами вытащили, тоже прикажете сосчитать?

— Отвяжись, шутъ гороховый, нѣкогда мнѣ съ тобой ласы точить.

— Ну, всего хорошаго! Торговать не дешево! Красныхъ дѣвушекъ цѣловать, насъ, горемыкъ, не забывать!

Ахъ, что вы, дѣвки, дѣлаете,  
Отъ насъ, парней, бѣгаете!..

Петръ Петровичъ ушелъ. Я полагалъ, что мы сейчасъ же съ большимъ усердіемъ примемся за работу, такъ какъ было уже не рано, а урокъ казался мнѣ изряднымъ. Въ душѣ я удивлялся даже, что товарищи мои такъ мало торговались съ нарядчикомъ. Но какъ только послѣдній скрылся изъ виду, Ракитинъ взвизгнулъ отъ радости, подпрыгнулъ, потомъ заржалъ жеребцомъ и, наконецъ, закукурекалъ.

— Чай варить! Чай варить!—закричалъ онъ:—конченъ урокъ!

Остальные безмолвно послѣдовали его приглашенію. Семеновъ взялъ котелокъ и пошелъ къ казакамъ спрашивать, гдѣ они брали воду. Я съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на Ракитина.

— Какъ конченъ урокъ? Когда же мы успѣемъ?

— О, не беспокойтесь, Иванъ Николаевичъ, времени у насъ много будетъ. Вы на сколько лѣтъ осуждены-съ?

Я сказалъ.

— Фю-и!! Много воды выкачаете за столько времени! Больше трехъ сотъ кибелей.

— Значить, вы обманете нарядчика? Скажете, триста выкачали, не выкачавъ и тридцати?

— Во-о-отъ-съ! догадались. Вотъ именно! Слѣдуйте всегда моему правилу, Иванъ Николаевичъ, старайтесь объ одномъ только, чтобъ жолобъ замоченъ былъ. Замоченъ у насъ? ну, и велико-

лѣнно!.. Ай, нѣтъ, нѣтъ! вотъ тутъ краешекъ сухой остался... Мы его позабрызгаемъ сейчасъ, вотъ такъ, вотъ такъ... Чтобъ настоящей, значить, работы видѣ оказывало. Теперь я свободенъ, господасъ! Можетъ, желаете пѣсенку прослушать?

Не слышно шуму городского,  
На вѣской башнѣ тишина,  
И на штыкѣ у часового  
Горить янтарная луна.

— Или вотъ еще гораздо лучше:

Ужъ за горой сыпучею  
Потухъ послѣдній лучъ,  
Едва струей дремучею  
Журчить вечерній ключъ.  
Возьму винтовку длинную,  
Отправляюсь изъ воротъ.  
Тамъ за скалой—пустынею  
Есть лѣвый поворотъ.

Семеновъ досталъ, между тѣмъ, воды, быстро сварилъ чай на солдатскомъ кострѣ, и мы предались сладкому кейфу.

— Напьемся чайку, можно и соснуть будетъ малость,—продолжалъ болтать Ракитинъ.—Вы лягте-съ, Иванъ Николаевичъ, ей-Богу лягте, я вамъ постельку приготовлю.—Наломая лиственничныхъ вѣточекъ, принесу на носилкахъ съ Петрушкой, и вы превеликолѣпно у насъ отдохнете. Самъ я днемъ не умѣю спать: у меня, знаете, мыслей чрезвычайно много, и кровь также большой напоръ дѣлаетъ. Такъ я на стремѣ около васъ посижу. Чуть замѣчу—идетъ какое-нибудь начальство—и разбуду васъ легохонько.

Но я наотрѣзъ отказался отъ этого любезнаго предложенія, сказавъ, что тоже не умѣю спать днемъ, и потому предпочитаю поболтать.

— На сколько вы лѣтъ осуждены, Ракитинъ?

— На одиннадцать. Я вѣдь, Иванъ Николаичъ, совсѣмъ безвинно въ работу пошелъ. За шапку. Вотъ побожиться, за шапку!

— Какъ такъ?

— Былъ я сердить на одного парня... Вотъ Петька знаетъ его, Трофимова Алешку. Мы всѣ вѣдь изъ одного мѣста, изъ Енисейской губерніи—и Гончаровъ, и Петька, и я.. Ну, изъ-за дѣвокъ, конечно, вышло... Вотъ и надумалъ я попотчевать его хорошенько, то-есть ребра отъ души пощупать. Подговорилъ я Сеньку Иванова.

Укараулили мы съ имъ разъ, какъ Алешка выѣхалъ куда-то со двора, пали въ кошеву, и айда за имъ слѣдомъ. Нагоняемъ на степену: стой!.. Онъ туды, сюды метаться... Нѣтъ, братъ, шалишь. Я прыгъ въ его кошеву, вскакиваю, ровно кошка, ему на грудь—и прямо зубами въ груди впиваюсь... У меня, знаете, привычка такая: когда въ гнѣвъ я, сейчасъ зубы въ ходъ... Сенька—тотъ одной рукой за машинку его (за глотку), другой—подъ мякитки жарить. Здорово употчевали голубчика, изукрасили такъ, что не рыдай, моя мамонька! Избили и бросили въ снѣгъ. Я еще снѣжкомъ взялъ малость запорошилъ. Сѣли опять въ кошеву и айда по домамъ. А Алешка возьми да и отживи. Вылѣзъ, какъ медвѣдь изъ-подъ снѣга, въ кровъ весь... Пришелъ прямо къ сельскому старостѣ и принесъ на насъ съ Сенькой заявленіе, что мы у него шапку и денегъ семьдесятъ пять рублей отобрали. Сдѣлали у насъ обыскъ: глядь—и впрямь у меня въ кошевѣ Алешкина шапка лежитъ! Пришло кому-то изъ насъ въ дурью, пьяную голову шапку у него отобрать, да потомъ и изъ ума ее вонъ! Сами просто диву дались: какъ попала? На что брали? А уликой она, межъ тѣмъ, большой явилась. Такъ, за шапку только, и въ каторгу пошли на одиннадцать лѣтъ.

— А денегъ вы не брали?

— Вотъ разрази меня Богъ—не брали! Честной моей красотой божусь вамъ—не брали!

— И раньше честнымъ трудомъ жили?

— Даже, можно сказать, вполне. Я, видите-ли, Иванъ Николаевичъ, сиротинкой выросъ. Отецъ мой поселенецъ былъ, отъ него я совсѣмъ махонькій остался. По кусочки ходилъ съ сумочкой на плечѣ. И бывало, чужіе даже люди, глядя на меня, слезами обливаются: „Ахъ ты, дѣточка милая! Ни отца нѣтъ у тебя, ни матери!“ Такимъ манеромъ я и выросъ. Сталъ къ работѣ привыкать, въ работникахъ жить. Потомъ прикащикомъ взялъ меня къ себѣ конный торговецъ Иванъ Ивановичъ Чащинъ. Потому я разудалый былъ парень, на всякій оборотъ способный и лошадей пуще отца-матери любилъ. Тутъ зазнобилъ я сердечко дочери его единокровной, супругъ моей теперешней, Марфѣ Ивановнѣ. И произойди между нами, напримѣръ, грѣхъ... Посерчалъ, конечно, посерчалъ родитель, только видитъ—дѣло ужъ сдѣлано, взялъ да и перевѣнчалъ насъ законнымъ порядкомъ. Съ той поры я ужъ ни въ чемъ не нуждался, пилъ и ѣлъ сладко, трудами собственныхъ рукъ жилъ.

— Ужъ коли сказывать, такъ не вралъ бы, осиновое ты ботало!—сердито поправилъ, угрюмый и молчавшій до тѣхъ поръ, Семеновъ:—фартовыми дѣлами никогда, скажешь, не занимался?

— Ахъ, Петя, братецъ ты мой! Да какъ же могъ я совсѣмъ, значить, въ сторонѣ оставаться? Выросъ я въ нуждѣ, въ бѣдности, столько друзей и товарищевъ имѣлъ, а тутъ, разбогачивши, порогъ бы имъ вдругъ указалъ? Нѣшто возможное это дѣло? Нѣтъ, Петруша, товарищество прежде всего. Такъ-то, другъ мой любезный!

— А чаво, паря,—закричалъ въ это время старшій, входя къ намъ въ колапакъ:—не пора-ли домой? Въ свѣтличку пойдѣмъ, что-ли?

Всѣ встрепнулись и живо собрались въ дорогу. Спускаться внизъ было не то, что подниматься вверхъ; ноги сами такъ и скользили; приходилось употреблять усиліе, чтобы не бѣжать бѣгомъ. Казаки съ ружьями едва поспѣвали за нами. Меня порядкомъ смущала мысль, что первый же свой каторжный день я долженъ былъ начать обманомъ, если не личнымъ, то хоть какъ соучастникъ; но при видѣ того яснаго спокойствія, которое сіяло на лицахъ арестантовъ, у меня тоже стало легко на душѣ. „Если и остальные работы будутъ подобны сегодняшней,—думалъ я,—тогда можно еще жить“.

Ракитинъ имѣлъ такое нахальство, что, придя въ свѣтличку, самымъ простодушнымъ и естественнымъ тономъ сообщилъ Петру Петровичу, что мы не только заданный имъ урокъ исполнили, но и лишнихъ пятьдесятъ кибелей выкачали.

— А убываетъ хоть сколько-нибудь вода-то?—полубоштыствовалъ Петръ Петровичъ.

— Пока трудно, господинъ нарядчикъ, опредѣлить. Чрезъ нѣсколько дней виднѣе будетъ. Ежели гдѣ-нибудь боковая течъ есть, тогда безъ понпы, пожалуй, и не подѣлаешь ничего!

Вслѣдъ за нами пришли рабочіе и изъ другихъ шахтъ. Конвой велѣлъ строиться. Сопровождавшій насъ надзиратель пронавелъ повѣрку и скомандовалъ: шагомъ маршъ!.. Мы тронулись обратно въ тюрьму. Смутное, но во всякомъ случаѣ не особенно дурное впечатлѣніе оставилъ этотъ первый день работы. Обратную сторону медали мнѣ суждено было увидѣть позже.



## V.

## На днѣ шахты.

Съ горы вернулись въ половинѣ третьяго. У воротъ насъ опять обыскали такъ же тщательно, какъ и утромъ, пересчитали и только затѣмъ впустили въ тюрьму. Пришлось ѣсть подогрѣтый обѣдъ. Парашникъ Яшка Тарбаганъ сообщилъ мнѣ немедленно всѣ тюремныя новости. Зимовье, дѣйствительно, строить для вольной команды, скоро выпускать будутъ. Въ тюрьму заглядывалъ Шестиглазый и обходилъ всѣ камеры. Объявилъ старостамъ и парашникамъ, что каждый понедѣльникъ и пятницу они обязаны мыть полъ въ камерахъ и отхожихъ мѣстахъ, а корридорщики—въ корридорахъ.

— Нашъ Гандоринъ чуть не померъ со страху!

— Что-такое?

— У него нары не подняты были. Какъ только вы ушли на работу, надзиратель вскричалъ, чтобы старосты нары подымали, а нашъ старикъ не слыхалъ...

— Да я,—задребезжалъ жалобно Гандоринъ,—на куфнѣ картошку чистилъ. А ты тоже неладно, Яша, сдѣлалъ: коли ужъ самъ не хотѣлъ за старика потрудиться, такъ долженъ былъ сказать мнѣ... А то, вишь, въ какую пучину чуть было съ головой не вверзилъ!

— Ха! ха! ха! такъ васъ, старичковъ благословленныхъ, и надо. Говорить, ишь, ему... Мнѣ какая надобность? Мнѣ самъ начальникъ сказалъ: „твое, говорить, дѣло—свой стаканъ въ исправности соблюдать, прочее все старосты касается“.

— Что же случилось съ Гандоринымъ?

— Спросите его самого.

Но старикъ молчалъ и только вдыхалъ тяжело.

— Въ келью подъ елью чуть было не посадилъ Шестиглазый! Богу молиться... Оно бы и подъ стать ему,—продолжалъ Тарбаганъ.—Какъ раскричаться на него: „Это что? Ослушаніе, непокорность? Въ наручни, на цѣпь! На хлѣбъ, на воду!“ Смотрю я; у нашего Гандорина и колѣнки трясутся, и губы побѣлѣли... Бухъ въ ноги!

— Небось, бухнешь! Погоди—и самъ еще бухнешь! Вѣдь я

третій годъ въ каторгѣ-то, а ни разу еще въ карецъ не попадалъ. Неохота тоже безвинно-то страдать. Вотъ что!

Чтобы переимѣнить разговоръ, я спросилъ, до какого часу должны работать негорные рабочіе, и узналъ, что въ одиннадцатъ утра они обѣдали, послѣ того два часа отдыхали и опять по звонку ушли на работу; что урока имъ не дали, и потому надо работать отъ звонка до звонка, т. е. до пяти часовъ вечера. Послѣ этого, слѣдуя благому примѣру Семенова и Гончарова, я легъ отдохнуть отъ трудовъ праведныхъ.

— Слава Богу! одинъ каторжный день прожить.

Съ первыхъ чиселъ октября, такъ какъ день сталъ короче, число рабочихъ часовъ, согласно тюремнымъ правиламъ, было уменьшено: будить стали часомъ позже и на работу выгонять не въ шесть уже, а въ семь утра. Позже, въ ноябрѣ, уменьшили еще на одинъ часъ: негорныя работы стали заканчиваться въ четыре часа, а вечернюю повѣрку начали дѣлать въ пять. За то и послѣобѣденный отдыхъ сократили на половину. Всю первую половину октября стояла ясная солнечная осень; снѣгу не было, но по утрамъ стояли изрядные морозы. Печи стали топить только съ перваго октября, и то сначала довольно скупое и рѣдкое; поэтому въ камерахъ было сыро и холодно. Хотя обѣщанные казенные матрацы, набитые соломой, и выдали, но покрываться приходилось тѣмъ же грязнымъ халатомъ, который надѣвался во время работъ. Никакихъ одеялъ и простынь не полагалось; имѣть собственныя постельныя принадлежности, ради соблюденія казарменнаго единообразія во всемъ, даже въ мелочахъ, было запрещено. Хорошо еще, если у васъ былъ новый, недавно выданный халатъ, но за два года, которые полагалось носить его, онъ такъ обыкновенно изнашивался, такъ истирался о камни шахты и штольни, что сквозилъ буквально, какъ рѣшето, и въ качествѣ одеяла служилъ самой ненадежной защитой отъ ночного холода; многіе арестанты покрывались поэтому еще куртками и даже штанами; нѣкоторые же спали, и совсѣмъ не раздѣваясь... Вообще въ осеннее, весеннее, а иногда и въ ненастное лѣтнее время, когда тюрьма не отапливалась, приходилось порою ужасно страдать по ночамъ отъ холода и часто простужаться. Зимой, когда въ распоряженіи арестантовъ имѣлись шубы, было гораздо лучше.

Не меньше двухъ недѣль ходилъ я на шарманку въ верхнюю

шахту, къ которой былъ окончательно прикомандированъ, но вода въ ней все не убывала... Наконецъ, Петръ Петровичъ сообразилъ, въ чемъ дѣло, и началъ страшать насъ тѣмъ, что станеть отсылать съ записками къ Шестиглазому. Нѣсколько разъ, кромѣ того, онъ имѣлъ терпѣніе просидѣть съ нами нѣ-околько часовъ, лично наблюдая за ходомъ работы и ведя счетъ кибелямъ. Въ теченіе какихъ-нибудь четырехъ часовъ непрерывнаго труда мы выкачали 500 кибелей, и уровень воды въ шахтѣ сразу замѣтно понизился. Уличенные въ наглое обманѣ, Ракитинъ, Семеновъ и другіе ни мало не сконфузились, но работать стали съ тѣхъ поръ усерднѣе: слово „записка“ имѣла магически устрашающее дѣйствіе... А кромѣ того, Петръ Петровичъ закинулъ удочку, будто уставщикъ собирался назначить „почтленіе“. Это тоже было волшебное дѣйствующее слово. Меньше чѣмъ въ недѣлю въ верхней шахтѣ выкачали воду до глубины пяти сажень. Дальше пошелъ сплошной ледъ.

Рѣшили сойти на дно осмотрѣть шахту. Семеновъ и Ракитинъ, одинъ за другимъ, спустились прямо по канату, охвативъ его руками и ногами и сдѣлавъ это такъ быстро, что я едва успѣлъ опомниться. Первый надѣлъ, по крайней мѣрѣ, рукавицы, а вѣтранный Ракитинъ и ихъ даже не взялъ. Не дождавшись, пока Семеновъ достигнетъ дна, онъ голыми руками схватился за канатъ и, присвистывая и горланя какую-то пѣсню, стрѣлой пустился внизъ, такъ что сѣлъ товарищу прямо на шею. Слышно было, какъ Семеновъ заругался и обозвалъ его чертомъ... Я выразилъ опасеніе, не обжегъ-ли себя Ракитинъ рукъ о канатъ, но ему ровно ничего не сдѣлалось. На днѣ шахты онъ уже пѣлъ, плясалъ и паясничалъ. Остальные арестанты, а за ними Петръ Петровичъ и я, полѣзли черезъ такъ называемую западню, деревянную крышку, придѣланную въ одномъ изъ боковъ шахты; съ фонаремъ въ рукахъ мы стали спускаться по темной лѣстницѣ. Осторожность была не лишней, такъ какъ недавно еще шахта была до верху наполнена водой, и ступеньки лѣстницы, обледенѣлыя и мокрыя, скользили подъ ногами. Отвѣсная стѣна изъ толстаго тесу отдѣляла эту часть шахты, похожую на ящикъ, отъ остальной—для защиты лѣстницъ и нарядчика отъ динамитныхъ взрывовъ, какъ объяснилъ мнѣ Петръ Петровичъ.

— Только ненадежная это защита,—прибавилъ онъ,—все вѣдь

на живую руку сколочено. Сколько разъ случается, что и доски всѣ эти къ чорту летятъ, и лѣстницы! Я стараюсь поэтому всегда вонь изъ шахты выбѣжать, когда запалю патроны.

— Плохая же ваша должность; а велико-ли жалованье?

— Каторжное! двадцать рублей въ мѣсяцъ... Хуже всего эти шахты проклятыя, гдѣ по лѣстницамъ надо лазить. Въ штольнѣ куда лучше: тамъ отбѣжишь сажень десять, спрячешься за какой-нибудь уступъ или за стойку и стоишь себѣ, какъ у Христа за пазухой.

Лѣстница въ двѣнадцать ступенекъ кончилась, и мы очутились на деревянной площадѣ. Я удивился было, что уже конецъ спуску, но оказалось, такихъ лѣстницъ съ площадками впереди было еще четыре. Пятая, которую звали „пасынкомъ“ (простое бревно съ насѣчками), находилась еще подо льдомъ. Въ шахтѣ было сыро, холодно и темно для непривычнаго глаза; только вонь оказалась меньшей, чѣмъ я ожидалъ по началу: гнилая вода была выкачена, а ледъ, за первымъ грязнымъ слоемъ, уже пробитымъ кайлами Семенова и Ракитина, былъ бѣлый и чистый, какъ сахаръ. Я поглядѣлъ наверхъ. Широкий колодезь шахты, благодаря прикрывавшему его снаружи колпаку, давалъ мало свѣта; бревна были сплошь замочены водой, и надъ самыми нашими головами, по угламъ шахты висѣли огромныя ледяныя сосульки, которыя, упавъ, могли бы, пожалуй, убить на смерть... „Такъ вотъ она, шахта-то, какая!“ невольно подумалъ я, вздрагивая отъ холода и съ тайной боязнью помышляя о томъ, что въ этомъ погребѣ придется сидѣть по 5—6 часовъ въ день...

— Когда начали работать эту шахту?—продолжалъ я спрашивать нарядчика.

— Тридцать лѣтъ назадъ. Въ три года выработали тогда девять сажень.

— И срубъ этотъ, и лѣстницы тогда же дѣланы?

— Зачѣмъ! Это все заново прошлымъ и позапрошлымъ лѣтомъ сдѣлано, когда рудникъ къ открытію готовили. Вольная команда зерентуйская и алгачинская старалась.

— Значить, вода, которую мы качали...

— Совсѣмъ недавно набѣжала. Прошлой осенью сильныя дожди были.

Мы принялись долбить ледъ. Надолбивъ достаточное количество, стали поднимать его, какъ и воду, въ кибеляхъ и выносить на но-

силкахъ въ канаву. Больше недѣли продолжался этотъ подъемъ льду. Мѣстами вмѣсто льду опять встрѣчались прослойки воды, гдѣ попадались гнилые останки зайцевъ, крысъ и бурундуковъ. Тогда приходилось затыкать носъ отъ нестерпимаго смрада. Наконецъ, достигли на девятой сажени каменнаго дна шахты.

— Будетъ вамъ лодорничать!— сказалъ въ одно прекрасное утро Петръ Петровичъ, встрѣчая насъ въ свѣтличкѣ:— принимайтесь-ка теперь за буренку.

Это было уже въ послѣднихъ числахъ октября; выпалъ глубокій снѣгъ, и установилась настоящая зима; морозы достигали уже 20°. Старикъ—сторожъ вынулъ изъ баула около сотни круглыхъ желѣзныхъ брусевъ различныхъ размѣровъ (отъ 4 до 16 вершковъ длины) и велѣлъ арестантамъ разобрать по тридцати штукъ на каждую шахту.

— Это что такое?—полюбопытствовалъ я.

— А чѣмъ же бурить-то будешь? Это и есть буры.

Я поднялъ одинъ изъ брусевъ и увидалъ на концѣ лезвіе на подобіе долота съ округленными нѣсколько боками. Каждой шахтѣ дали также по шести молотковъ и по три тонкихъ и длинныхъ желѣзныхъ прута съ загнутой лопаточкой на концѣ: мнѣ сказали, что это «чистки», что именно будутъ чистить ими, оставалось для меня непонятнымъ. Наконецъ, старикъ далъ намъ еще по тонкой сальной свѣчкѣ на человѣка, каждая длиною въ четыре вершка. По поводу этихъ свѣчекъ вышелъ съ нимъ споръ.

— Чего жалѣешь, старый хрычъ, казеннаго добра?

— Да, жалѣешь! меня самого на учетѣ держать.

— По двѣ свѣчки на брата полагается.

— Это ежели въ разныхъ мѣстахъ робятъ, а вы, вѣдь, всѣ въ одной кучкѣ... Велика-ли шахта-то? Я, вѣдь, знаю, самъ робливалъ...

— Ишь, аспидъ старый! Я, говоритъ, тоже каторжный былъ... Да тебя задавить мало, что противъ своего брата идешь!

— Да вы какіе-жъ каторжные? Вотъ въ наше время посмотрѣли бы, ребятушки, какъ бурили-то... Одну экую свѣчечку на двухъ человѣкъ давали, а урокъ чтобы полный сдaденъ былъ. Впотѣмахъ, бывало, лупишь, всѣ руки въ кровь побьешь, а выбуришь! Потому, ежели урока не сдашь, тутъ же тебѣ, на отваль, и спину вспишутъ! А вы съ нарядчикомъ-то теперь, ровно со своимъ братомъ, говорите и шапки не ломаете.

— Эвона, братцы, куда пошелъ! Ахъ ты, безстыжіе шары

твой, духъ проклятушій! Еще старикъ прозываешься... Да встари́ну-то что́ бѣ сдѣлала съ тобой кобылка за такія подобныя твои рѣчи?

— А что? Я чего же такого... Я знаю, что съ моихъ словъ ничего худого не станется, вотъ я и говорю... А то мнѣ какое до васъ дѣло? Хоть вы того лучше живите. На-те вотъ еще по одной свѣчкѣ на шахту. При Разгильдѣевѣ пожили бѣ!..

— Чего ты насъ своимъ Разгильдѣевымъ стращаешь? Пуганья вы всѣ вороны были—вотъ онъ и казался вамъ такимъ страшнымъ. А нонѣшняя кобылка живо-бѣ спѣсь-то ему сбила. Много бы не почирикалъ. Мы нынче ихнему брату не подражаемъ.

— Вишь, какой храбрый выискался! Ну, да не на того напалъ бы. Посмотрѣлъ бы ты, какъ онъ по Карѣ проѣзжалъ. Насъ больше тыщи человекъ согнано было. Какъ, помню, гаркнетъ: „Запорю!..“ Такъ вся тыща и замерла. Какъ зачалъ поливать, братцы мои, какъ зачалъ поливать... Сто человекъ подъ рядъ перепоролъ до полусмерти—и усекалъ.

— За что жъ это онъ, дѣдушка?

— Ну, да вотъ показалось, вишь ты, что мало сробили. Бывало, два воза березовыхъ прутьевъ такъ и лежатъ всегда возлѣ работы.

— И неужели жъ не находилось человѣка, который бы за себя передъ нимъ постоялъ?

— Какъ не находилось, паря! Одинъ татаринъ былъ, здоровенный такой татаринъ, Магометомъ Байдауловымъ звали. „Ну, говорить, братцы, я порѣшу Разгильдѣева, въ первый же разъ, какъ увижу, порѣшу“. Смотримъ мы: ровно не пьяный, а глаза кровью налиты, и изъ лица весь перемѣнился. А раньше того смирѣнный былъ парень. Видимъ, твердо человекъ рѣшился. А тутъ кобылка еще подзуживать его: „Куда тебѣ, молъ, увальню! И рука-то у тебя дрогнетъ, и гайка заслабитъ“.—„Нѣтъ, не заслабитъ, говорить, убью“. Ну, ладно. Вотъ работаемъ мы опять дня этакъ черезъ два. Глядимъ—ѣдетъ полковникъ, и прямехонько въ нашу сторону. Байдаулка рядомъ со мной стоитъ. Надзиратель во все горло оретъ: „Шапки долой! Смирно!“ Всѣ шапки скидываютъ, инструментъ на землю бросаютъ. Смотрю: Байдаулка въ шапкѣ, блѣдный весь и кайлу въ рукахъ держитъ... Я ни живъ, ни мертвъ, трясусь, не знаю, что будетъ. Соскакиваетъ тутъ Разгильдѣевъ съ коня и прямымъ манеромъ къ нему подлетаетъ: „Мерзавецъ!“

(крѣпкимъ такимъ словомъ загибаетъ его): „Что тебѣ въ башку дурью вѣяло?“ Лясъ его въ одно ухо! Лясъ въ другое! и что тутъ вышло промежъ нихъ, я и до сихъ поръ не пойму. Вижу только: Байдаулка на землѣ валяется, а Разгильдѣевъ ногами его топчетъ... „Убрать его, негодяя, на край свѣта!“ Вскочилъ на коня—и былъ таковъ. Байдаулку того жъ часу и увезли куда-то. Такъ никто и не узналъ, что съ нимъ сдѣлали.

— Какъ же это онъ оплошалъ? Струсилъ?

— Не струсилъ, а такъ... Рокового, значить, своего не нашелъ еще Разгильдѣевъ.

— Кого рокового?

с — Человѣка, человѣка такого.

— Да вѣдь его и послѣ не убили?

— Не убили—это вѣрно, а только кончилъ онъ хуже, чѣмъ убивствомъ.

— Какъ такъ?

— Государь услышалъ объ его злодѣйствахъ, отрѣшилъ ото всѣхъ чиновъ и должностей и приказалъ явиться къ себѣ въ Питеръ. Только онъ не доѣхалъ туда—подохъ!.. Заживо сгнилъ—черви съѣли... А опосля того вскорѣ и намъ, крестьянамъ, воля пришла \*).

— Пора бы и всему вашему разгильдѣевскому сѣмени подохнуть!—рѣшилъ Семеновъ, вдругъ почему-то со злобой взглянувъ на старика:—чужой только вѣкъ заѣдаете! Самимъ было плохо, вы и другимъ того же хотите.

— Полно, однако, бѣтать-то зря,—вступился Петръ Петровичъ,—ступайте лучше на работу.

Ракитинъ подошелъ тогда къ Петру Петровичу и съ сладкой улыбочкой и заискивающими глазами спросилъ:

— Кого же назначите вы у насъ бурносомъ?

— Это ужъ ваше дѣло. Кого захотите, того и назначайте сами. По очереди можете для отдыха ходить...

\*) Мнѣ до сихъ поръ неизвѣстно, такъ-ли именно умеръ „варваръ“ Разгильдѣевъ; но рассказъ о томъ, что онъ сгнилъ заживо и передъ смертью былъ разжалованъ, весьма распространенъ въ Вост. Сибири. Жаль, что никто не написалъ біографіи Разгильдѣева, не собралъ всѣхъ существующихъ о немъ легендъ, пѣсенъ и пр. Пройдетъ еще десятокъ-другой лѣтъ, перемрутъ живые еще свидѣтели того ужаснаго времени, послѣдніе старики-„богодулы“—и сдѣлать это будетъ уже гораздо труднѣе.

*Прим. авт.*

— Вы бы вотъ ихъ, Петръ Петровичъ, назначили,—продолжалъ неугомонный Ракитинъ, указывая на меня:—они люди къ работѣ непривычны, люди ученые, не то, что мы, туисы простокішныя \*).

— Коли хочеть, пушай. Мнѣ что!

— Вотъ и распрекрасно. Иванъ Николаевичъ, вступите-съ въ исправленіе вашей должности.

— Какой такой должности?—сурово спросилъ я, чрезвычайно недовольный тѣмъ, что онъ распоряжается мною безъ моего согласія и желанія.

— Вы бурносомъ у насъ будете-съ... Буры таскать... Какъ только мы затупимъ ихъ, вы, значить, и понесете въ кузницу под-вастривать. Въ этомъ и трудъ вашъ состоятъ будетъ. Бурить-то, вѣдь, тяжело, Иванъ Николаевичъ, въ погребу этакимъ сидѣть! Съ васъ-то, положимъ, Петръ Петровичъ не спроситъ, онъ тоже понимаетъ обращеніе... Голова, сейчасъ видно!.. Ну, а всетаки.

— И сколько же разъ ходить мнѣ придется взадъ и впередъ?

— Когда какъ случится. Три, пять, семь разиковъ... А то пофартитъ—и ни одного, если буры стоятъ будутъ.

Но отъ одной мысли подниматься на эту высокую гору три и даже семь разъ, я пришелъ въ неописанный ужасъ.

— Нѣтъ! нѣтъ! ни за что!—закричалъ я:—лучше двадцать вершковъ выбурить.

— Иванъ Николаевичъ!—умоляющимъ голосомъ убѣждалъ меня Ракитинъ:—голубчикъ, согласитесь.

— Да вамъ-то что? Вамъ отъ этого легче станетъ, что-ли?

— Не легче, а жалко мнѣ васъ, вотъ что.

— Вотъ пристало осиновое ботало!—прикрикнулъ на него Семеновъ:—говорить тебѣ человѣкъ—не хочу. Ну, стало быть, и дѣло его.

Ракитинъ тотчасъ же замолчалъ и, съожившись и печально вздыхая, началъ взваливать себѣ вязанку буровъ на плечи. Мы отправились на свою шахту, рѣшивъ, что бурносами будутъ желающіе, или всѣ по очереди. Вслѣдъ за нами явился нарядчикъ. Мы спустили въ кибелѣ буры, молотки и чистки и затѣмъ, захвативъ съ собой свѣчи, по лѣстницамъ направились сами въ глубину колодца.

---

\*) Туесомъ называется въ Сибири буракъ, т. е. берестяное ведро.

*Прим. авт.*



— Кто изъ васъ буривалъ когда-нибудь?—спросилъ Петръ Петровичъ.

Всѣ молчали.

— Ты, Ракинъ, вѣдь ужъ, навѣрное, бурилъ. Гдѣ ты былъ раньше?

— Въ Зерентуѣ, Петръ Петровичъ, только я... раза два всего бурилъ, и вышло у меня за два раза, въ сложности, два вершка безъ четверти. Потому у меня рука была сломанная въ младенчествѣ и съ тѣхъ поръ размаху правильнаго не имѣеть.

— Ладно, братъ, ладно. Тутъ не размахъ, а сноровка нужна. А ты, Семеновъ, бурилъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ нехотя Семеновъ, хотя арестанты много разъ рассказывали про него, какъ про лучшаго бурильщика въ Покровокомъ.

— По глазамъ вижу, что врешь, умѣешь. Вотъ ты, братецъ, и наблюдай мнѣ за шахтой, чтобы у всѣхъ дырки, значить, правильно шли. А то другой поведетъ шпуръ сначала въ лѣвый бокъ, потомъ въ правый... Глядишь—скривилъ его, буръ и засялъ, ни взадъ, ни впередъ. И трудъ, и время даромъ пропали! За этимъ наблюдать надо учиться. Сегодня, для перваго разу, хоть по шести вершковъ выбурите, и то хорошо будетъ.

— Нѣтъ, ужъ я, какъ хотите, старшимъ не буду,—грубо проговорилъ Семеновъ,—это тотъ пускай будетъ, у кого языкъ длинный, или кто хвостомъ ударять можетъ, а я не умѣю.

— Экой же ты, паря, какой! Причемъ тутъ языкъ али хвостъ? Я вижу только, что ты малый посурьезнѣй и посмышленѣй другихъ, вотъ и хотѣлъ было... А то вѣдь подумай самъ: каждое утро мнѣ экую высь залѣзать для того только, чтобъ вамъ урокъ задать. А ужъ если я ходить буду, значить, и провѣрять буду строже: сколько вершковъ вчера выбили, полный ли урокъ сдали... На вѣру-то и вамъ бы лучше было. Къ тому же, я понастоялъ бы Монахову насчетъ поощренія...

— Вотъ это бы хорошо, Петръ Петровичъ, сдѣлали вы, ей-богу хорошо!—заговорилъ Ракинъ:—почтенеіе-то всего бы лучше. А то, знаете, сухая ложка ротъ деретъ. Ухъ! какъ развернусь я... какъ заговорить во мнѣ ретивое!.. Честной красотой моею клянусь вамъ, десять вершковъ отхватаю сегодня же! И золь же я на этотъ камень, у! какъ золь! Гдѣ прикажите садиться, Петръ Петровичъ?

— Вотъ въ этомъ, пожалуй, углу садись, паря.—Петръ Петро-

вичъ постукалъ маленькимъ молоточкомъ по граниту.—Тутъ, ка-  
жись, не шибко твердо. Вотъ такъ задайся, на откосъ. Влѣво не-  
много отнеси буръ, чтобы вотъ эту кочку сорвало. А ты, Семен-  
новъ, въ правомъ углу садись. Тоже на откосъ держи буръ, вотъ  
такъ, даже пониже чуть опусти. Немного неловко бить будетъ, ну,  
да какъ-нибудь пристроишься. За то сорветъ здорово.

Такимъ же точно образомъ указалъ Петръ Петровичъ мѣста  
для буренья и еще троемъ арестантамъ.

— А вы бурносомъ будете?—обратился онъ ко мнѣ, въ первый  
разъ за все время говоря мнѣ вы. Очевидно, пропаганда Ракитина  
объ моей учености и проч. возымѣла свое дѣйствіе... Я отвѣчалъ  
отрицательно, объяснивъ, что страдаю одышкой и сердцебіеніемъ.

— Ну, такъ забуритесь, пожалуй, вотъ тутъ,—постучалъ онъ  
въ правую стѣну шахты.—Тутъ и пристроиться удобно можно и  
помягче будетъ.

И Петръ Петровичъ направился къ выходу.

— Такъ, значить,—крикнулъ онъ съ лѣстницы,—съ шестерыхъ  
сегодня тридцать вершковъ я долженъ получить. Одинъ за бурно-  
са сосчитается.

Арестанты закурили передъ работой трубки.

— Охъ, и подрадѣлъ же онъ мнѣ камушекъ,—пригорюнясь,  
заговорилъ Ракитинъ:—ужъ вижу, что подрадѣлъ! Тверже стали!

— Захныкала баба. Вѣдь ты самъ же сейчасъ похвалялся, чест-  
ной красотой своей клялся, что живой рукой десять верховъ от-  
махнешь.

— А что же, Петя, и впрямь? Чего намъ унывать съ тобой,  
этакимъ молодцамъ, кудряшамъ удалымъ?! Эхъ! пропадай моя те-  
лѣга, всѣ четыре колеса! Ну-съ, благословясь, за дѣло Божіе при-  
мемся.

— За чертово, скажи лучше.

Всѣ взялись за молотки и за буры. Я подошелъ къ Семенову  
посмотрѣть, что и какъ онъ будетъ дѣлать. Онъ взялъ самый ко-  
роткій изъ буровъ.

— Это забурникъ называется,—объяснилъ онъ мнѣ.—Длиннымъ  
буромъ нельзя забуриваться, потому въ рукѣ держать неспособно,  
онъ выхлѣяться будетъ изъ стороны въ сторону. А главное, у сред-  
нихъ и длинныхъ буровъ перья дѣлаются уже (остріе такъ зовется).  
Сдѣлаешь сначала узкую дырку, широкіе буры въ нее послѣ и не  
попѣзутъ. Живо засадить можно буръ. Въ буреньи самое важное—

за перомъ слѣдить: перво-на-перво самыми короткими бурами съ широкими перьями забуриваться; съ трехъ-четырехъ вершковъ глубины—среднихъ размѣровъ буры брать, и только подъ самый конецъ, съ восьми вершковъ, за самые длинные приниматься.

Сказавъ это, Семеновъ ударилъ молоткомъ по головѣ бура. Разъ, и другой, и третій... Лѣвой рукой онъ придерживалъ буръ, стараясь все время слегка поворачивать его то въ ту, то въ другую сторону. Черезъ какихъ-нибудь двѣ минуты я увидѣлъ, что на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ держалъ буръ, въ камнѣ образовалось небольшое трехугольное углубленіе.

— Уже забурились?—вскричалъ я съ невольной радостью.

Семеновъ поглядѣлъ на перо своего бура и съ сердцемъ бросилъ его на середину шахты.

— Вотъ сволочь!—сказалъ онъ:—ужъ успѣлъ сѣсть. Полсотни ударовъ не выдержалъ.—И онъ взялъ новый забурникъ. Я съ любопытствомъ поднималъ и осматривалъ брошенный имъ буръ: стальное лезвіе его совсѣмъ превратилось въ лепешку.

— Однако вамъ самимъ, Иванъ Николаевичъ, забуриваться надо,—обратился ко мнѣ Семеновъ:—позвольте-ка, я покажу вамъ.

— Нѣтъ, сидите, Семеновъ, я самъ... Самому надо учиться.

— Безъ учителя не учатся.

И, не обращая на меня вниманія, онъ засвѣтилъ новую свѣчку, прилѣпилъ ее къ стѣнѣ около назначеннаго мнѣ нарядчикомъ мѣста, усялся на голомъ камнѣ и не больше какъ въ пять минутъ забурился довольно глубоко. Молотокъ его такъ и щелкалъ по буру, лѣвая рука не уставала крутить — и отъ всей фигуры Семенова вѣяло силой, мужествомъ и энергіей.

— Довольно, довольно!—кричалъ я:—вы этакъ мнѣ ничего не оставите.

Семеновъ ухмыльнулся, взялъ желѣзную палочку, которую называли чисткой, и опустилъ ее въ сдѣланное круглое углубленіе. Вынувъ обратно, онъ поднесъ ее къ моимъ глазамъ, и я увидалъ на лопаткѣ цѣлую кучу мелкаго бѣлаго порошку.

— Вотъ муки-то сколько набилось,—сказалъ онъ, сбрасывая порошокъ на землю:—да это не все еще. Смотрите, еще сколько выволоку.

И Семеновъ еще разъ пять погрузилъ лопаточку въ шпуръ и каждый разъ вынималъ обратно полную бѣлой муки. Потомъ онъ перевернулъ чистку и опустилъ въ шпуръ другимъ концомъ. Вынувъ

назадъ, онъ пристально посмотрѣлъ и объявилъ мнѣ, что уже больше полуторыхъ вершковъ готово: оказалось, что на чистѣ сдѣланы были зубиломъ насѣчки, обозначающія вершки. Семеновъ всталъ и, подавая мнѣ буръ и молотокъ, проговорилъ:

— У васъ мягко... Тутъ я въ одинъ часъ берусь двѣнадцать вершковъ выбить. Вы только буръ правильнѣе держите, къ правому боку немного прижимайте. Снимите шубу, положите ее на этотъ камень и садитесь.

— Безъ шубы, пожалуй, простудиться можно...

— Во время работы-то? Что вы! Я вонъ вспотѣлъ даже, скоро и бушлатъ снимать придется. Въ шубѣ ужъ не работа!

Я послушался совѣта и, скинувъ шубу, подложилъ ее себѣ подъ сидѣнье. Между тѣмъ, молотки щелкали уже по всей шахтѣ гулко и дружно, въ тактъ одинъ другому. Выходила довольно гармоничная музыка... Ударилъ и я... Ударилъ—и остановился, такъ какъ показалось неудобнымъ сидѣть и понадобилось поправить подъ собой шубу. Долго не клеилась у меня работа. Я все усиливался, подражая Семенову, крутить буръ лѣвой рукой въ то самое время, когда правая ударяла молоткомъ, и никакъ не могъ согласовать вмѣстѣ оба движенія. Въ то время, какъ правая била, лѣвая оставалась праздною и въ разсѣянности слѣдила, казалось, за своей товаркой: когда же лѣвая рука начинала крутить, молотокъ съ высоты замаха точно любовался ею и никакъ не хотѣлъ опуститься. Семеновъ замѣтилъ мое затрудненіе.

— Да вы не старайтесь такъ ужъ точка въ точку,—утѣшилъ онъ меня, — сперва хоть какъ-нибудь научитесь. Раза два стукните — и поверните немного буръ... Опять стукните, опять поверните.

Послѣ этого дѣло пошло на ладъ. Тикъ—такъ! тикъ—такъ! постукивалъ мой молотокъ, на подобіе маятника, и мысль о томъ, что и я работаю въ рудникѣ, доставляла мнѣ тайное удовольствіе... Насчитавъ сотню ударовъ, я съ замираніемъ сердца взялъ чистку, погрузилъ лопаточку въ шпуръ, повертѣлъ тамъ и вынулъ въ надеждѣ, что она окажется, какъ и у Семенова, полною муки. Но каково же было мое огорченіе, когда она вынулась почти пустая! Въ отчаяніи я сталъ мѣрить, но вышли тѣ же самые полтора вершка, которые были уже до моего буренья, и мнѣ показалось даже, что и до полуторыхъ-то немного не хватаетъ...

— Семеновъ!—закричалъ я жалобно:—что же это такое?

— А что?

— Да вотъ ужъ сто ударовъ я сдѣлалъ, а хотъ бы капелька муки набилась!.. И не прибавилось ничего.

Всѣ засмѣялись.

— Это потому, Иванъ Николаевичъ,—объяснилъ Ракитинъ,— что вы стучаете-то, ровно будто сахаръ колете. А тутъ надо звона какъ гокать, чтобы грудь трещала! Я говорилъ вѣдь вамъ, что лучше бы вамъ бурносомъ быть. Оно много бы способнѣе.

Я чувствовалъ себя пристыженнымъ и, не отвѣтивъ ничего, попробовалъ усилить ударъ и увеличить размахъ молотка. Но тутъ же долженъ былъ вскрикнуть отъ страшной боли и, вскочивъ съ мѣста, забѣгалъ по шахтѣ, махая лѣвой рукой и корчась: я промахнулся и вмѣсто бура изъ всей силы хватилъ молоткомъ по запястью руки... Я рассчитывалъ услышать слова сочувствія, но всѣ только смѣялись надо мною.

— Что, получилъ крещенье шелайское?—обратился ко мнѣ молчаливый обыкновенно толстякъ Ногайцевъ, самъ служившій предметомъ постоянныхъ шутокъ арестантовъ и не иначе называемый ими, какъ Топтыгинъ и Михайло Ивановичъ. Это взорвало меня окончательно.

— Что тутъ смѣшного, что смѣшного находите вы?—ощетинился я на него:—вѣдь больно...

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!—закатился Ногайцевъ—и въ такое пришелъ восхищеніе, что даже по землѣ началъ кататься, и вся его жирная, водяночная туша такъ и колыбалась отъ смѣха. Одинъ только Ракитинъ и на этотъ разъ посочувствовалъ мнѣ.

— Дуракъ—такъ онъ дуракъ неотесанный и есть!—сказалъ онъ сентенціозно.

— Да! ты умный! Мнѣ плакать прикажешь, не то осердишься?

— Бросьте вы, Иванъ Николаевичъ, эту буренку проклятую, ей-богу, бросьте,—продолжалъ Ракитинъ, подходя ко мнѣ:—вылѣзайте-ка лучше наверхъ, да чаекъ намъ согрѣйте. Въ животъ-то начинаютъ ужъ телѣги ѣздить... Право! у меня вотъ тоже скверное дѣло выходить. Всѣ рученьки оббилъ, а и на вершокъ еще не подался!

Я предложилъ кому-нибудь другому идти варить чай, а самъ, чувствуя, что боль стала меньше, рѣшился продолжать бурить. Не одинъ разъ ударилъ я себя въ этотъ день по рукѣ; хорошо

еще, что рукавица защищала. Но всетаки успѣлъ выбурить около двухъ вершковъ сверхъ полуторыхъ, выбуренныхъ Семеновымъ. Раньше всѣхъ отбурился самъ Семеновъ, а вслѣдъ за нимъ Ногайцевъ. Послѣдній подошелъ послѣ этого ко мнѣ и долго, молча, смотрѣлъ на мою работу. Онъ видѣлъ, что у меня ужъ и рука начинала нѣмѣть, и ударъ становился все легковѣснѣе и неправильнѣе.

— Дай-кося, я побурю,—сказалъ онъ, грубовато отстраняя меня прочь, но сказалъ это такимъ простымъ и вмѣстѣ душевнымъ тономъ, что отказаться отъ предложенной услуги было невозможно. Тутъ только увидалъ я всю разницу между его и своимъ ударомъ: мой былъ слабѣе, по крайней мѣрѣ, въ четыре раза. Я насчиталъ, что Ногайцевъ безъ передышки, ни на минуту не останавливаясь, опустилъ молотокъ триста разъ, да и тогда остановился потому, что набилось слишкомъ много муки, и необходимо было чистить. Въ полчаса онъ выбурилъ мнѣ четыре вершка.

— Ну, и мякоть же у тебя, Миколанчъ,—сказалъ онъ, вставая:—кабы ты ушелъ, я бы съ водицей тутъ живой рукой до двѣнадцати верховъ догналъ.

— Какъ съ водицей? Развѣ легче съ водой?

— Куда жъ сравнить! Тогда грязь-то пѣлыми возами выволакиваешь. Особливо коли горячая вода. Не ко всякой только породѣ она идетъ: въ твердой—что съ водой, что безъ воды—одинаково бурится.

— А гдѣ жъ бы достать воды? Развѣ сверху принести?

— Ужъ мы бы достали, здѣсь бы достали... Тепленькой!

— Ну, достаньте, я погляжу.

— Хо-хо-хо!—при тебѣ нельзя.

— Это у насъ секретъ такой арестантскій,—подтвердилъ Ракитинъ, хитро улыбаясь:—ушли бы вы, Иванъ Николаевичъ, а то забрызгаться можете.

Но вдругъ съ той стороны, гдѣ бурилъ рыжій и непривѣтливый арестантъ Кошкинъ, я услыхалъ чавканье воды въ шпурѣ и, обернувшись, почувствовалъ залѣпленнымъ грязью все лицо. Моментально я сообразилъ, откуда взялась эта вода.

— Вотъ мерзость! Вотъ безобразіе!—закричалъ я, обтираясь и поспѣшно бросаясь къ выходу изъ шахты.

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!—залились вслѣдъ за мною Ногайцевъ и Кошкинъ.

Такъ познакомился я съ тайнами бурильнаго искусства.

За то всю ночь ломило у меня правую руку, и чувствовалось въ ней жженіе. А проснувшись на другой день утромъ, я не могъ ни сжать, ни разжать кулакъ. Арестанты въ утѣшеніе мнѣ говорили, впрочемъ, что всегда такъ бываетъ съ непривычки. Но что потомъ рука „разомнется“. Однако, выбуривъ во второй день три вершка, я почувствовалъ, что завтра совсѣмъ уже буду не въ состояніи работать.

— Знаете что, Иванъ Николаевичъ,—шепнулъ мнѣ Ракитинъ:—ударимте-ка мы съ вами сегодня хвостомъ къ фершалу! Всѣмъ этакъ плесомъ ударимъ: такъ и такъ, молъ, господинъ фершалъ, оставьте насъ отдохнуть на денекъ или на два.

— Ага! —сказалъ Семеновъ:—и у тебя заслабила гайка-то? Два дня побурилъ, да ужъ и хвостомъ бить собираешься?

— Да что же, Петя, подѣлаешь! Сложенія я, самъ ты видишь, нѣжнаго.. На роду мнѣ написано было пѣсенки попѣвать, да развѣ торговымъ дѣломъ займаться... А тутъ вдругъ экая притча приключилась... Да пропадай она и каторга вся! Что я за дуракъ—изъ жилъ тянуться?

— Не дуракъ ты, а ботало осиновое: все ботаешь, все ботаешь по пустому!

Ракитинъ умолкъ и черезъ минуту запѣлъ высокимъ, сладенькимъ теноромъ:

Скажи, моя красавица,  
Какъ съ другомъ ты прощалась?  
Прощалась я съ имъ весело:  
Онъ плакалъ—я смѣялася..  
А онъ ко мнѣ, бѣдняжка,  
Склонилъ на грудь головушку;  
Склонилъ свою головушку  
На правую сторонушку,  
На правую, на лѣвую,  
На грудь мою на бѣлую..  
И долго такъ лежалъ, молчалъ,  
Смочилъ платокъ горячихъ слезъ..  
А я, его невѣрная,  
Слезамъ его не вѣрила! \*)

\*) Кольцовская пѣсня, сильно переиначенная.

Зараженные примѣромъ Ракитина, всѣ вострепнулись и хоромъ запѣли другую пріисковую пѣсню:

На зарѣ было, на зоренькѣ,  
 На зарѣ было на утренней,  
 Я коровушекъ, дѣвица, доила,  
 Сквозь платочекъ молочко я цѣдила,  
 Прощѣдивши, душу-Ваню поила,  
 Напоивши, приговаривала:  
 Не женися, душа-Ванюшка!  
 Если женишься, перемѣнишься,  
 Потеряешь свою молодость  
 Промежъ дѣвушекъ-сиротушекъ,  
 Промежъ вдовушекъ-молодушекъ...  
 — Гой, дубрава-мать зеленая моя!  
 По тебѣ ли я гуляла, молода;  
 Я гуляла, не нагуливалась...

Жутко было слушать эти меланхолическіе напѣвы на днѣ каменнаго гроба. Все большая и большая ненависть къ шахтѣ охватывала съ каждымъ днемъ мою душу. Начинались сильные морозы. Ударилъ нѣсколько разъ молоткомъ—и чувствуешь, что пальцы со всѣмъ заковенѣли отъ холода. Оглянешься кругомъ, чтобъ не замѣтили и не посмѣялись арестанты, и погрѣбешь ихъ надъ свѣчкой... Ноги также ужасно зябли, какъ ни закутывалъ я ихъ шубой. Чѣмъ короче знакомился я съ шахтой и ея тайнами, тѣмъ одушевленнѣе становился для меня этотъ гранитный мѣшокъ. Казалось, онъ съ безсердечной насмѣшливостью глядѣлъ на всѣхъ насъ и, вѣя своимъ ледянымъ дыханіемъ, говорилъ: „Ага! попались, голубчики? Ужъ много васъ, такихъ же, похоронилъ я здѣсь“. И, какъ будто слыша этотъ гробовой голосъ, я съ дрожью оглядывался вокругъ. Во мракѣ тускло горѣли салные свѣчи; тамъ и сямъ, бросая отъ себя черныя тѣни, сидѣли, скорчившись, арестанты и дули со всего плеча молотками. Нѣкоторые издавали при этомъ звуки, подобные стонамъ или тяжелымъ вздохамъ, другіе—рычанью дикаго звѣря.

— Ахъ! Ахъ!—выкрикивалъ толстякъ Ногайцевъ при каждомъ ударѣ.

— Гу! Гу!—тифвно выговаривалъ Семеновъ.

Въ тускломъ освѣщеніи я плохо различалъ ихъ лица и фигуры, и мнѣ чудилось порой, что то не живые люди, а какіе-то подземные духи работаютъ здѣсь, рядомъ со мною. Я взглядывалъ вверхъ, въ надеждѣ уловить тамъ хоть одинъ солнечный лучъ,



который сказалъ бы мнѣ слово утѣшенія, увѣрилъ бы, что я не совсѣмъ еще мертвый человѣкъ, что придетъ время—и я опять уду живъ, и воленъ, и счастливъ. Но безжалостный копакъ закрывалъ собой свѣтлое солнце, и въ отверстіе шахты проходилъ лишь тусклый и скупой отблескъ зимняго дня. Я видѣлъ тамъ только два конца каната, спускавшіеся съ вала, и двѣ болтавшіяся надъ нашими головами бадьи, чернѣвшія въ вышинѣ подобно двумъ висѣльникамъ... Неприглядно, темно, холодно! И больно, и сиротливо на сердцѣ, и такъ самого себя жалко...

— Чего задумались, ребята?!—вдругъ вскрикивалъ неистово-радостно Ракитинъ, выходя изъ своей меланхоліи и пускаясь по шахтѣ въ плясъ.

Вилы, грабли, двѣ метелки и косачъ!  
Вилы, грабли, двѣ метелки и косачъ!

И приговаривалъ басомъ:

Что ты! Что ты! Что ты! Что ты!

Горькія думы улетали, и я невольно смѣялся вмѣстѣ съ другими.

## VI.

### Подъемъ.

Черезъ недѣлю работы вся шахта была заполнена готовыми шпурами. Къ намъ явился Петръ Петровичъ, неся въ рукахъ цѣлую охапку динамитныхъ патроновъ съ длинными черными и бѣлыми фитилями и корытце съ жидко-разведенной глиной. Я попросилъ Петра Петровича объяснить мнѣ устройство снарядовъ.

— Собственно, это не динамитъ,—сказалъ онъ, подавая мнѣ одинъ изъ нихъ въ руки,—а гремучій студень.

Я развернулъ бумажку, въ которую былъ спрятанъ патронъ, и увидалъ столбикъ желтоватаго студенистаго вещества, похожаго на обыкновенный воскъ.

— Устройство простое,—продолжалъ Петръ Петровичъ:—къ ружейному патрону съ капсюлемъ придѣланъ пороховой фитиль. Затолкаешь его на самое дно шпура и снаружи хорошенько глиной обмажешь, чтобъ взрывъ былъ сильнѣе. Потомъ поджигаешь

фитиль и лататы задаешь... Ну, кто же со мной полѣзетъ сегодня? Одному тамъ не управиться, пожалуй. Ты, что-ли, Ракитинъ?

— Я, Петръ Петровичъ, не умѣю... Я...

— Ага! заслабило?

— Нѣтъ, оно, Петръ Петровичъ, не то чтобы заслабило, а какъ я въ младенчествѣ руку сломанную имѣлъ и, къ тому же, напужанъ былъ сильно... Разъ кони... Лѣтомъ было дѣло...

— Ну, ладно, ладно. Не до басенъ теперь. Ты, Семеновъ, пойдешь?

— Пойдемте.

Они пошли внизъ, а мы, остальные, легли на срубѣ шахты и съ любопытствомъ свѣсили въ нее головы. Долго тамъ ничего не было видно, кромѣ мелькавшей взадъ и впередъ свѣчки. Наконецъ, послышался голосъ нарядчика:

— Теперь уходи, Семеновъ!

Тогда арестанты, и прежде всѣхъ Ракитинъ, повскакали на ноги и побѣжали вонъ изъ шахты. Но, увидавъ, что я лежу, и сообразивъ, что Петръ Петровичъ еще внизу, всѣ опять насмѣлялись и прилегли.

— Бонтесь?—спросилъ я Ракитина.

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! Вѣдь у меня, знаете, жена и мальчоночко есть!.. Для нихъ больше берегаешься.

Вдругъ внизу что-то зашипѣло и вспыхнуло... Въ одномъ, въ другомъ, въ третьемъ мѣстѣ... Всѣ вадрогнули и съ крикомъ: „зажигаетъ!“ кинулись прочь. На этотъ разъ побѣжалъ и я... Скоро вылѣзъ изъ западни и Семеновъ. Петръ Петровичъ еще передъ спускомъ въ шахту приказалъ намъ стоять во время „паленки“ не ближе двадцати шаговъ отъ колпака. Прошло минуты полторы томительнаго ожиданія, а Петръ Петровичъ все еще не показывался, и мы рѣшили, что онъ предпочелъ ожидать выстрѣловъ на одной изъ лѣстницъ. Но вдругъ его плотная фигура съ краснымъ задыхающимся лицомъ появилась въ дверяхъ колпака, и почти одновременно, одинъ за другимъ, грянули два выстрѣла. Первый изъ нихъ ударилъ сравнительно глухо, съ какимъ-то тяжелымъ и какъ бы сердитымъ отрывистымъ стукомъ; за то второй былъ оглушительно громокъ. Мнѣ показалось, что весь колпакъ дрогнулъ и зашатался... Сидѣвшіе на немъ два голубка, какъ сумасшедшіе, пригнулись къ крышѣ и, глупо вытянувъ шеи, въ первую минуту не знали, что дѣлать, но потомъ встрепенулись,

шумно захлопали крыльями и, высоко взвившись, начали кружиться въ воздухѣ. Еще четыре зажженныхъ Петромъ Петровичемъ патрона ударили нѣсколько позже, и притомъ два изъ нихъ до того одновременно, что я сомнѣвался даже, точно ли это было два выстрѣла. Последняго, седьмого по счету, ждали такъ долго, что Петръ Петровичъ сталъ уже беспокоиться.

— Надо быть, сфальшивилъ, провѣяный! — проворчалъ онъ. И вслѣдъ затѣмъ послышался такой оглушительный громъ, что передъ нимъ и второй ударъ показался слабымъ.

— Вотъ хорошо, должно быть, сорвало этотъ шпуръ! — замѣтилъ я.

— Напротивъ того, — отвѣчалъ Петръ Петровичъ: — этотъ хуже всѣхъ взялъ, на воздухъ вылетѣлъ. Лучше берутъ тѣ, которые глухо ударяютъ.

Оставалось выпалить еще пятнадцать шпуровъ, но зажигать ихъ тотчасъ же оказалось невозможнымъ, потому что вся шахта была наполнена сѣрнымъ удушливымъ дымомъ, очень медленно поднимавшимся вверхъ. Чтобы ускорить его выходъ, мы стали опускать и поднимать вверхъ канатъ съ кибелями, но всетаки ждать пришлось довольно долго, пока нарядчикъ, ворча и ежеминутно отплевываясь, могъ, наконецъ, вторично отправиться на дно шахты. Въ этотъ второй разъ онъ успѣлъ зажечь восемь шпуровъ: для остальныхъ пяти пришлось въ третій разъ спускаться. По окончаніи паленки онъ былъ утомленъ, блѣденъ, страшно кашлялъ и выплевывалъ изо рта черную, какъ сажа, слюну. Къ счастью, ни одинъ изъ двадцати патроновъ не сфальшивилъ, и на другой день мы могли безъ страха приниматься за обивку и подъемъ взорваннаго камня \*). Съ любопытствомъ спустился я утромъ слѣдующаго дня въ шахту разсмотрѣть результаты взрыва. Первое, чему я удивился, это — что, не смотря на семнадцать протекшихъ часовъ, на днѣ шахты все еще слышался непріятный, хотя и лег-

\*) Инструкціи горнаго вѣдомства строго предписываютъ въ тѣхъ случаяхъ, когда патронъ почему-либо не взорветъ, „обуривать“ его, т. е. дѣлать рядомъ другой шпуръ; этотъ способъ считается самымъ надежнымъ. Нельзя, однако, не сознаться, что онъ довольно-таки страшенъ, и арестанты очень часто наотрѣзъ отказываются отъ обуриванья. Тогда употребляютъ другое средство: по возможности выколуپываютъ (если нельзя совсѣмъ вынуть) сфальшивившій патронъ и въ ту же дырку вставляютъ новый. Впрочемъ, нерѣдки въ рудникахъ и трагическіе случаи гибели арестантовъ и нарядчиковъ.

*Прим. авт.*

кій запахъ сѣры. Но больше всего поразили меня незначительные размѣры произведенныхъ разрушеній. Я ожидалъ, что отъ такихъ громоносныхъ выстрѣловъ вся шахта потрескается и поддастся въ глубину чуть не на цѣлую сажень, а на дѣлѣ только кой-гдѣ виднѣлись кучки наваленныхъ каменьевъ и замѣчались трещины. Любопытнѣе всего было мнѣ, разумѣется, посмотрѣть на то мѣсто, гдѣ находились два выбуренные мною шпура. Одинъ изъ нихъ—увы! — остался точь въ точь такимъ же, какимъ былъ и до паленья...

— Не осилилъ, на воздухъ выпалилъ,—объяснилъ мнѣ Семеновъ:—оно и лучше! у васъ, значить, готовый шпуръ есть.

За то отъ другого моего шпура не сохранилось никакихъ слѣдовъ, кромѣ длинной царапины на камнѣ. Большинство прочихъ шпуровъ оставили послѣ себя „стакапы“—остатки въ нѣсколько вершковъ глубиной.

— Очень хорошо взорвало!—рѣшилъ Семеновъ.

— Это хорошо называется?

— А вы какъ бы думали? Знаете, сколько тутъ обивки будетъ? Дня на два, по крайней мѣрѣ. Смотрите: и тутъ бутъ, и здѣсь бутъ, вездѣ трещины.

И онъ началъ ударять слегка балдой по разнымъ мѣстамъ шахты: она глухо отзывалась на удары („бутила“). Я очень мало понималъ во всѣхъ этихъ техническихъ терминахъ и потому рѣшилъ держаться наблюдательной политики.

— Эй, черти, чего тамъ разбѣгались?—закричалъ Семеновъ товарищамъ, оставшимся еще на верху:—влѣзайте всѣ, да за дѣло принимайся!

Тотчасъ же нѣсколько человѣкъ сошло внизъ. Проворный Ракитинъ и увалень Ногайцевъ, которому тяжело было тащить по лѣстницамъ свое грузное тѣло, спустились по канату. Мнѣ поручили держать свѣчку и свѣтить. Семеновъ отгребъ въ одномъ углу наваленные мелкіе каменья, насмотрѣлъ трещину и, наставивъ на нее кирку, велѣлъ Ракитину бить балдою.

— Вотъ я тебя запрягу! Поменьше языкъ-то чесать станешь.

Ракитинъ покорно взялъ полупудовую балду, занесъ ее высоко надъ головой, зажмурился—и... со всего размаху хватилъ ею по деревянной ручкѣ кирки: кирка полетѣла въ одинъ конецъ шахты, сломанная ручка въ другой, а Семеновъ едва успѣлъ отдернуть руку, которою держалъ ее.

— Ахъ ты, сволочь паршивая!—закричалъ онъ:—развѣ такъ бьютъ? По мордѣ захотѣлъ, что-ли? У тебя гдѣ глаза-то?

Ракитинъ стоялъ съ виноватымъ видомъ и уныло смотрѣлъ въ сторону.

— Какой я, въ самомъ дѣлѣ, работникъ, Иванъ Николаевичъ?—запелъ онъ мнѣ, жалуюсь:—взросъ я въ сиротствѣ... къ торговому потомъ дѣлу приобыкъ... натура у меня къ понятію всякому склонная... Вотъ если бы грамотѣ меня обучали, такъ я, думаю, далеко бы пошелъ! Потому глазъ у меня на этотъ счетъ самый проницательный!

— Да! сразу-бъ въ попы тебя поставили!—злобно сказалъ Семеновъ, — ступай-ка лучше наверхъ, покажѣшь цѣлъ, да ручку новую къ киркѣ вытети. Топоръ тамъ лежитъ.

И Ракитинъ послушно пошелъ наверхъ. Черезъ двѣ минуты мы уже слышали, какъ онъ распѣвалъ тамъ пѣсни и чѣмъ-то потѣшалъ казаковъ. вмѣсто Ракитина, бить сталъ самъ Семеновъ, а кирку держать Ногайцевъ. Все лицо и фигура Семенова мгновенно преобразились. И въ обыкновенное время онъ представлялся мнѣ необыкновенно здоровымъ и сильнымъ малымъ, но теперь казалось, будто какой-то изъ мифическихъ титановъ явился поразить меня своей мощью и удалью. Не смотря на порядочный морозъ, онъ сбросилъ бушлатъ и работалъ въ одной рубашкѣ, безъ шапки. Богатырская грудь его и стальные мускулы отчетливо обрисовывались и поражали своей упругостью. Онъ поднималъ и опускалъ полуцудовую балду, казалось, играючи, безъ замѣтнаго напряженія силъ, и каждое движеніе выходило отъ этого красивымъ и даже граціознымъ. А между тѣмъ, отъ этихъ красивыхъ ударовъ вся гора тряслась подъ нашими ногами... Онъ отваливалъ и потомъ, обхвативъ руками, съ легкостью относилъ въ сторону такіе громадные куски гранита, изъ которыхъ многіе я не могъ бы, пожалуй, и съ мѣста сдвинуть... Только на лицо его было жутко глядѣть во время этой работы: что-то жесткое и непріятное скользило по немъ... Да, этотъ человѣкъ ни передъ чѣмъ не остановится, на все рѣшится, если найдетъ нужнымъ, невольно думалось мнѣ про Семенова... Я попросилъ его дать мнѣ попробовать ударить. Онъ, молча, передалъ балду.

— Ну, только я держать не буду!—заявилъ Ногайцевъ:—бей такъ по камню. Я ударилъ раза четыре; но удары мои были такъ младенчески-слабы и неуклюжи, что я самъ устыдился своей попытки и, слыша общій смѣхъ надъ собой, бросилъ балду на землю.

Тѣмъ не менѣе, послѣ этихъ четырехъ ударовъ я уже съ трудомъ переводилъ дыханіе и шатался на ногахъ. За мною сталъ бить Ногайцевъ. Я ожидалъ чего-нибудь чрезвычайно неумѣлаго и смѣшного отъ этой неповоротливой медвѣжьей фигуры, но, къ удивленію своему, принужденъ былъ и имъ также залюбоваться. Конечно, работа его не поражала такой граціей и красотой, какъ работа Семенова, но и въ ней видѣлась могучая стихійная сила, чуялся также богатырь сказочныхъ временъ... Залюбовавшись этими „дѣтьми природы“, я чуть не потерялъ одного глаза. Одинъ изъ отскочившихъ мелкихъ камешковъ попалъ мнѣ внезапно въ бровь и разсѣкъ ее до крови... Арестанты тогда предупредили меня, что во время обивки подобныя вещи случаются очень часто, и что надо быть осторожнымъ. Напуганный этимъ случаемъ, я сталъ съ тѣхъ поръ, во время обивокъ, закрывать оба глаза рукавицей лѣвой руки (что, конечно, мало увеличивало мою работоспособность)...

Обивка, наконецъ, кончилась, и всѣ снова полѣзли наверхъ пить чай. За чаемъ разговорились и разоткровенничались. Болтали больше всѣхъ, по обыкновенію, Ракитинъ, но его личность для меня уже вполне опредѣлилась, и вниманіе мое направлялось теперь не къ нему. Между прочимъ, арестанты начали „подзуживать“ добродушнаго, но вѣстѣ и крайне обидчиваго „Михаила Ивановича“, и совокупными усилиями намъ удалось выжать изъ него очень любопытную и страшную исторію, приведшую его въ каторгу.

— Вѣдь вотъ попадетъ же экое брюхо въ каторгу, — завелъ одинъ арестантъ, — и за что попасть могъ?

Ногайцевъ молчитъ, только пьетъ чай, сердито сопя въ свою грязную китайскую чашку.

— Онъ телушечникъ, — сказалъ Ракитинъ: — ей-Богу, телушечникъ, по всему видно. Я любого изъ нихъ за три версты узнаю.

— Да, телушечникъ! — огрызнулся Ногайцевъ: — ты поймалъ меня?

— А коли нѣтъ, за что жъ ты попалъ?

— Нужно сказать тебѣ. Безпремѣнно. Не то серчать станешь.

— За бабу ты придти не могъ, потому какая-жъ баба тебя любить бы стала?

— А вотъ любела.

— Это, то-ись, жена-то родная? Это, братъ, не въ счетъ.

— Зачѣмъ родная... И окромя жены...

— Что-то чудно, братъ, не вѣрится...

— А ты повѣрь.

— Ну, Расскажи, тогда и повѣрю. Чужая тебя баба любила? Да развѣ кривая какая? Аль безногая?

— Еще какая дѣвка-то! И дѣвка, и мать ейная, обѣ.

— Что ты говоришь?!

— Ну. Я въ работникахъ у богатаго купца томскаго жилъ. Вотъ жена-то его, купца этого самаго, Матрена и связалась со мной... А за ней и дочь ейная, Парасковья... Ты думаешь что? На волѣ-то я такой же былъ? Вѣдь это отъ тюрьмы, братъ, жиръ этотъ и одышка взялись, а прежде я не хуже тебя молодецъ былъ.

— Ну, допустимъ. И что-жъ, долго не зналъ ничего мужъ-то, купецъ-то?

— Да онъ и по сей день ничего не знаетъ. Шито-крыто, братъ, дѣло дѣлалось. Ты думаешь, я какъ? Не дурнѣй тебя былъ. А только изъ-за бабъ этихъ, изъ-за проклятыхъ, я и въ каторгу пошелъ!

— Это вѣрно онъ говорить, братцы! Сколько изъ-за этихъ шкуръ нашего брата погибаетъ!

— Еще какъ погибаютъ-то. Будь-бы моя, братцы, воля, я бы всѣхъ бабъ на свѣтѣ на цѣпѣ держалъ, а чуть какая непокорность бы оказала—камень ей на шею и въ воду! Какъ же ты, дуракъ, попустился имъ? Брюхо мякинное!

— Такъ. Хозяинъ продалъ въ Барнаулѣ товаръ и велѣлъ хозяйкѣ съ сыномъ и дочерью домой въ Томскъ ѣхать. А я пожелалъ къ женѣ на побывку съѣздить, въ Тару. Онъ далъ мнѣ, что слѣдовало по расчету, и, не дожидаясь отправки семейства, поскакалъ самъ въ Бійскъ, по торговому дѣлу. Только онъ уѣхалъ, Матрена съ Парасковьей и ну ко мнѣ приставать: „поѣдемъ да поѣдемъ съ нами, Ѳедча“.

— Да ты какъ же жилъ-то съ ими съ обѣими? Онѣ развѣ не таились другъ отъ дружки?

— Ну, вотъ еще! Знамо, таились... Развѣ, можетъ, подозрѣнье имѣли... Я, на грѣхъ, возьми и согласишься. Собрались, поѣхали вмѣстѣ. Съ нами еще братъ, Матренинъ-то сынъ, значить, парень лѣтъ двадцати, да работникъ-мальчишка. Вотъ ѣдемъ. Хорошо таково ѣдемъ. Время о лѣтнюю пору. Пришлось разъ ночевать на краюболота... Страшная такая трясина, ельнякъ кругомъ... Развели кастеръ, закусили, выпили. Мы съ Антипомъ-то, братомъ Парасковьинымъ, и здорово таки хватили. Ночь-то, не помню ужъ, какъ и прошла, а утромъ солнышко чуть взошло, Антипъ и застанъ

меня съ сестрой... И у нея, конечно, выпито было лишнее: вотъ мы и заснули въ кибиткѣ, обнявшись. Открылъ Антипъ рогожу и увидалъ насъ въ такомъ видѣ... Схватываетъ сейчасъ пруть—и давай поливать меня! Я насилу разбудился; ужъ Парасковья растолкала... Выскакиваю я изъ кибитки, на убѣгъ хочу. А онъ за мной, да все стегаетъ, все стегаетъ. Загорѣлось тутъ у меня внутрѣ: что, думаю, ты за господинъ мнѣ? Отгадываюсь: стаяжкъ хорошій лежитъ березовый... Хватаю его. Отстань, говорю, не вводи въ грѣхъ! Не слушаетъ. Ровно очумѣлъ парень—знай, хлопчетъ. Ну, я какъ развернусь, какъ хвачу его по башкѣ... Такъ половина черепа и отлетѣла! Тутъ ужъ въ глазахъ у меня красный туманъ пошелъ... Кровь, значить, ударила... Теперь, думаю, все равно погибать! Кидаюсь къ телѣгѣ, въ которой старуха спала—хвать и ее по головѣ. Вдребезги голова. Мальчишка-работникъ смотритъ на меня во всѣ глаза, самъ ни живъ, ни мертвъ. Мальчишкѣ пятнадцать лѣтъ. Смиранный такой парень, славный, и жили мы съ имъ душа въ душу. Не поднялась у меня рука на малаго, бросилъ я стаяжъ. Потомъ вспомнилъ, что вѣдь еще Парасковья осталась. Лечу къ кибиткѣ—она простоволосая сидитъ, бѣлая вся, какъ полотно, и языка и ума рѣшилась со страху... Хватаю ее за ноги, какъ чурку, размахиваюсь—и бацъ головой объ колесо! Только мозги во всѣ стороны полетѣли. Тогда подхожу опять къ Васькѣ. „Вотъ что, говорю, Вася. Жили мы съ тобой, какъ братья родные, и зла я тебѣ не хочу дѣлать. Помни же: ты ничего не видалъ, это все во снѣ было. Самъ я вчера еще ничего въ умѣ не держалъ, ничего-бъ и не было, кабы сами они не довели меня до этого“. Подхожу затѣмъ къ Антипу, нахожу у него въ бумажникѣ 2,000 рублей, у Матрены нахожу—въ юпкѣ зашиты—тоже 2,000 рублей; у Парасковьи подъ лѣвой титькой полторы тысячи заложено... Отобралъ деньги и стащилъ всѣхъ разомъ въ болото; одного на спину, тѣхъ двухъ сволочей подъ мышки... Въ такую трясиину опустилъ, что они-бъ тамъ и до скончанія вѣка оставались... Еще и каменье съверху наворочалъ... Слѣды всѣ уничтожилъ, ни одного пятнышка крови не оставилъ... Всю траву кругомъ пожегъ... Телѣги и коней цыганамъ продалъ... Васькѣ далъ пятьсотъ рублей и простился. Уѣхалъ я въ Томскъ и сталъ тамъ гулять. Думаю, никакихъ уликъ противъ меня теперь не можетъ быть, потому хозяинъ, уѣзжая, думалъ, что я въ Тару ѣду.



— Значить, Васька тебя продалъ? Надо было и его, гаденыша, пристукать.

— Вотъ то-то и есть. Доброта-то меня и погубила. Объ Васькѣ я и думать забылъ. А онъ тоже, какъ и я, гулять зачалъ. Стали люди дивиться, откуда у него эстолько денегъ взялось. А какъ узналъ купецъ, что у него вся семья куда-то пропала, за Ваську и принялись. Арестовали его, молодчика, онъ и укажи на меня.

— Вотъ тѣ и братъ родной!

— Да. Только я раньше прослышалъ, что меня арестуютъ, и денегъ у меня копѣйки не нашли.

— Куда жъ ты дѣлъ ихъ?

— Двѣ тысячи я ужъ прогулять успѣлъ; тысячу дѣдушкѣ своему подарилъ—очень любелъ меня дѣдушка; пятьсотъ крестнику отдалъ: думаю, вырастетъ—будетъ у Бога грѣхи мои отмаливать. А остальные полторы тысячи спряталъ.

— Куда жъ ты спряталъ?

— А тебѣ на что?

— А вотъ, можетъ, сорвался бы я, пошелъ бы и взялъ.

— Нѣтъ, ужъ ты не бери. Тѣ бумажки все равно теперь негожи, новыя въ оборотѣ ходять.

— Зачѣмъ же ты, дьяволъ, пряталъ ихъ? Лучше бы далъ пользоваться кому-нибудь.

— Дурака нашелъ. Нѣтъ, лучше пушай такъ пропадутъ, истлѣютъ. Каждый пушай самъ о себѣ заботится.

— А скажите, Ногайцевъ,—задалъ и я вопросъ:—за что вы Парасковью-то убили?

Ногайцевъ смѣется:

— А что тебѣ? Жалко?

— Ну, да всетаки... Теперь вѣдь дѣло прошлое: вы любили ее?

— Любелъ. Ну, что изъ того?

— Любили—и убили? Какъ же это? за что?

— А за то—все равно одна змѣиная порода! Зачѣмъ ей на свѣтѣ жить?

— А вы зачѣмъ на свѣтѣ живете?

— Я мужикъ... Что-жъ, по твоему, мнѣ надо было оставить ее живой? Чтобъ она разблаговѣстила, меня погубила?

— Молодецъ, Михайло Ивановичъ!—одобрили его слушатели:—хорошо расправился! Еще и каменьевъ сверху наворочалъ.

— Какъ онъ ее, братцы, объ колесо-то звѣздонулъ! Ха-ха-ха! Знай нашихъ сибиряковъ!

— Да и Антипку славно тоже упочтевалъ, на томъ свѣтѣ поминать будетъ.

— Вы сознались, Ногайцевъ, когда васъ арестовали?—задалъ я еще вопросъ.

— Цѣтъ, ото всего отперся. За несознанье-то мнѣ и двадцать лѣтъ дали, а то за что-жъ бы?

— Какъ за что!.. Да развѣ это много за три души-то?

— Вѣстимо, много... Они развѣ мучаются теперь? Имъ хорошо... А я тутъ страдаю за нихъ! не изъ корысти-жъ я и убилъ-то, а за свою-жъ обиду. Зачѣмъ онъ мени стегалъ?

— Какъ безъ корысти? Вѣдь вы же взяли деньги?

— Вотъ еще чудное дѣло! Что же, и деньги было въ трясины бросить? Тутъ всякій бы на моемъ мѣстѣ взялъ.

Я не сталъ спорить, видя, что мы говоримъ на совершенно разныхъ языкахъ, и что намъ никогда не понять другъ друга. Непріятное, удручающее впечатлѣніе произвели на меня и этотъ рассказъ, и это бездушное отношеніе къ нему слушателей. Меня охватило чувство невольнаго ужаса и отвращенія къ этому мягкому, повидимому, и простодушному парню, въ душѣ котораго почудилось мнѣ присутствіе какой-то недоброй, темной, больной, быть можетъ, ему самому невѣдомой силы... И не мало времени прошло, пока я смогъ осилить себя и начать относиться къ нему по старому. Это случилось тогда только, когда ужасная исторія, услышанная мной въ этотъ день, поблѣднѣла передъ другими, въ десять разъ болѣе страшными своимъ безсердечнымъ цинизмомъ и сознательной развращенностью, когда ближе познакомившись съ Ногайцевымъ, я узналъ, что онъ Богородицу смѣшиваетъ съ Пресвятой Троицей, Христа съ Николаемъ Угодникомъ и проч., узналъ, что душа его была въ сущности то же, что трава, растущая въ полѣ, облако, плывущее въ небѣ и повинующееся дуновенію перваго вѣтра. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ онъ былъ виноватъ, если, предоставленный на жертву соблазнамъ жизни, городской культуры и собственнымъ плотскимъ вождѣлѣніямъ, ни отъ кого и никогда не получилъ той священной искры Прометея, которою гордимся мы, образованная часть человѣчества, и которая можетъ хоть сколько-нибудь сдерживать въ насъ дикіе животные порывы? Кто рѣшился бы предать его вѣчной анаемѣ?

— Однако, ребята, пора за подъемъ приниматься, — сказалъ вдругъ Семеновъ, почти не принимавшій участія въ разговорѣ: — а то болтовни нашей и вѣкъ не переслушаешь. Полѣзай въ шахту, Ногайцевъ, камень накладывать.

— Тебѣ, Мишенька, привычное вѣдь дѣло камня-то воротать, — прибавилъ Ракитинъ: — будешь тамъ поваркивать себѣ: мм! мм! мм!

Трое арестантовъ, въ томъ числѣ и я, взялись крутить валъ; Семеновъ съ Ракитинымъ — принимать кибель и относить камень въ носилкахъ на отваль. Втроемъ мы едва выкручивали теперь кибель: камень былъ потяжелѣе воды и тѣмъ болѣе льда. Однажды, когда мы уже выкрутили кибель, Ракитинъ, неловко принимая его, упустилъ изъ рукъ огромную гранитную глыбу, вѣсомъ не меньше двухъ пудовъ, и съ страшнымъ шумомъ и свистомъ она полетѣла на дно шахты.

— Берегись! — успѣлъ крикнуть Семеновъ, и крикъ этотъ спасъ Ногайцева отъ неминуемой смерти: только что успѣлъ онъ отскочить подъ лѣстницу, какъ камень грохнулся на то самое мѣсто, гдѣ онъ стоялъ.

— У, чучело соломенное, мякинное брюхо! — накинулись на него же Семеновъ и Ракитинъ: — ты каждый разъ долженъ подъ варшафтомъ \*) стоять, когда поднимаютъ кибель... А то и мокроенько отъ тебя не останется!

— Вотъ Ироды оглашенные! — кричалъ въ свою очередь Ногайцевъ изъ глубины колодца, очевидно, до полусмерти перепуганный и едва переводившій духъ: — вы, пожалуй, скорѣе начальства на тотъ свѣтъ отправите... Жизнь мнѣ, что-ль, надоѣла, чтобъ съ вами работать? черти!

— Ну! Ну! — прикрикнули на него: — самъ же виноватъ, плохо укладываетъ, да еще и ругается... Толстопузый боровъ!

И работа пошла попрежнему, хотя долго еще не могъ я оправиться отъ пережитого волненія. А неунывающий Ракитинъ уже острялъ:

— А чтобъ за бѣда, ежели-бъ и убило одного такого дьявола? Новаго-бъ пригнали, еще жирнѣе. Нашего брата у матушки-казны много.

---

\*) Такъ выговариваютъ арестанты слово форшахта, т. е. передняя часть шахты, занятая лѣстницами.

— А бываютъ такіе случаи, чтобъ убивало кого-нибудь?—полюбопытствовалъ я.

— Сколько еще бываетъ-то,—отвѣчали арестанты.—Здѣсь хорошо вотъ—восемь всего сажень глубины, а вѣдь есть шахты въ двадцать и сорокъ сажень. Тамъ бросьте этакій вотъ маленькій камушекъ, въ зернышко величиной, онъ и то, пожалуй, голову до крови прошибетъ. Прошлой зимой въ Зерентуѣ сорвалась съ каната пустая бадья (привязана была плохо) и упала на татарина. Такъ у него весь черепъ разнесло и руку изъ плеча вырвало, на аршинъ съ сторону отбросило... А иной разъ такъ счастливо обойдется, что просто диву дашься. Разъ этакъ же въ Алгачахъ съ четырехъ сажень сорвался кибель и прямо на плечи Ванькѣ Микитину... Положимъ, здоровенный дѣтина, богатырь прямо... Такъ онъ всего только недѣлю въ больницѣ лежалъ, да и то такъ больше, для предлогу... Теленокъ разъ тоже упалъ на Покровскомъ въ шахту—и хотъ бы что у него повредилось! Мычить тамъ, сердечный, насилу выволокли.

— Одиножды я тоже напужался, братцы. Сяжу это въ шахтѣ, бурю себѣ, ни о чемъ, то-ись, не думаю. А рядомъ Андрюшка на кибель примостился бурить. Онъ не примѣтилъ того, что другой-то кибель снятъ былъ, конецъ каната пустой болтается на валѣ; ну, и ерзаетъ себѣ, на кибелѣ-то сиди. Вдругъ какъ зашуршитъ!.. Какъ почнетъ валокъ крутиться, какъ канатъ побѣжить! Я-то бурю себѣ и вниманія никакого не беру, а Андрюшка вытаращилъ со страху шары, глядитъ вверхъ и ждетъ, какъ дуракъ. Валокъ все скорѣй, все скорѣй крутится... Вотъ онъ какъ побѣжить подъ варшафтъ, да заголоситъ: „Бере-гись“! Только, только успѣлъ я къ стѣнкѣ прижаться—весь канатъ грохъ! въ двухъ вершкахъ отъ меня на то самое мѣсто, гдѣ я сидѣлъ. Кабы не отскочилъ во-время, пожалуй, крышка была бы.

— А сколько случается тоже, буренокъ изъ рукъ буръ выпустить. Тоже страху натерпѣшься. Ругани тогда бываетъ, ругани!

— Никому помирать зря неохота.

Мы подняли въ этотъ день восемьдесятъ кибелей камня, и, уходя въ свѣтличку, я чувствовалъ себя всего разбитымъ и измученнымъ.

## VII.

## Тюремныя будни.

Жизнь въ тюрьмѣ шла, между тѣмъ, своимъ чередомъ по однажды введенному порядку. Въ свое время повѣрка, въ свое время обѣдъ, окончаніе работъ, сонъ. Все, рѣшительно все направлено было къ тому, чтобы превратить людей въ машинообразныя существа, иначе не живущія, какъ по командѣ и „согласно инструкціи“. Последняя, повидимому, не предполагала даже, чтобы на днѣ всячески регламентированной жизни арестанта всетаки могъ оставаться уголокъ, куда она, инструкція, не въ силахъ проникнуть, чтобы въ душѣ и самыхъ развращенныхъ людей было свое святое святыхъ, куда они никого чужого не впускаютъ. Такимъ святое святыхъ для арестанта являлись воспоминанія о прошломъ, стремленіе къ волѣ, инстинктивная ненависть ко всякаго рода „дѣхамъ“, т. е. солдатамъ, надзирателямъ, вообще къ начальству. Правда, чистая и неспорченная душа могла бы содрогнуться, заглянувъ въ это страшное святилище; но что изъ того? Для отверженца человѣческаго общества оно всетаки является таковымъ; душа его чувствуетъ себя довольной и счастливой только въ этомъ мірѣ, а не въ какомъ-нибудь другомъ, лучшемъ и высшемъ на нашъ взглядъ. Даже въ Шелайской тюрьмѣ, гдѣ жизнь была до смѣшного опутана всевозможными установленіями и формализмами, никакія инструкціи не могли отнять у арестантовъ свободы мыслить и чувствовать сообразно ихъ понятію и умѣнью; и такъ какъ установленія эти касались только чисто внѣшняго облика и поведенія человѣка, того, чтобы въ камерахъ и корридорахъ было чисто, чтобы одежда была въ исправности, чтобы уроки сдавались сполна и шапка съ головы снималась во время, то въ результатъ не было, конечно, ни одного случая перевоспитанія души человѣческой. Понятія о цѣли и смыслѣ жизни, всѣ взгляды на вещи оставались совершенно нетронутыми, и арестантъ, выходя въ вольную команду или на поселеніе, начиналъ новую жизнь по тому же шаблону, по какому и раньше жилъ, съ тою только разницею, что теперь старался вести дѣло „чище“, осторожнѣе, не оставляя по возможности слѣдовъ и уликъ. Однимъ словомъ, я вынесъ такое впечатлѣніе, что терроризующій режимъ каторги вліяетъ въ желательномъ для закона смыслѣ лишь на очень не

большую группу людей, здоровыхъ отъ природы и не развращенныхъ воспитаніемъ, попавшихъ въ тюрьму, благодарякакой-нибудь внезапной вспышкѣ темперамента, минутному соблазну или судебной ошибкѣ; но вѣдь такихъ незначѣмъ и устрашать: они все равно не попадутъ во второй разъ въ каторгу, а если и попадутъ, то не скорѣе всякаго другого средняго человѣка, живущаго на волѣ. За то испорченнаго до мозга костей человѣка внѣшній страхъ только окончательно развращаетъ, заставляя быть хитрымъ и лицемернымъ. Онъ не уничтожаетъ въ его душѣ золотворныхъ бактерий, производящихъ болѣзни преступленій, а загоняетъ ихъ, такъ сказать, въ глубь, въ невидимые для посторонняго глаза сердечные тайники, гдѣ присутствіе ихъ, однако же, не менѣе опасно для общественнаго организма... Бравому штабсъ-капитану Лучезарову, который основывался на чисто-внѣшнихъ данныхъ, на томъ, что во ввѣренной ему тюрьмѣ все обстоитъ „благополучно“, нѣтъ ни карточныхъ игръ, ни промота казенныхъ вещей, ни пьянства, ни буйства, совершенно естественно могло казаться, что тюремное дѣло въ его рукахъ кипитъ и процвѣтаетъ, что онъ идетъ впереди своего вѣка, или, по крайней мѣрѣ, ни на шагъ не отстаетъ отъ выводовъ самоновѣйшей криминальной науки; но мнѣ, передъ которымъ открывались порою сокровеннѣйшія глубины преступной души, дѣло было виднѣе, и я съ болью въ сердцѣ видѣлъ, что ничего существеннаго, ничего хорошаго этимъ страшнымъ режимомъ не достигалось... Я видѣлъ, что всѣ эти грозныя команды, строи, маршировки, всѣ эти крики о сниманіи и надѣваніи во время шапокъ черезъ нѣсколько же дней обращались для арестанта въ привычку, которой онъ слѣдовалъ такъ же машинально, какъ машинально подносилъ ложку ко рту, а не къ носу, когда хотѣлъ ѣсть, что даже ни малѣйшаго страха и страданія эти вещи ему не доставляли. По собственному увѣренію любого изъ арестантовъ, онъ цѣлый день готовъ бы былъ снимать и надѣвать шапку, лишь бы не допекали его другими, болѣе существенными для него способами... Да и чего же иного стали бы вы ожидать отъ человѣка, у котораго совершенно атрофировано понятіе о человѣческомъ достоинствѣ, о правѣ, объ униженіи? Больше того: у человѣка, у котораго до сей поры вы же, представители интеллигенціи (въ лицѣ властей и чиновниковъ), старались по возможности подавить, а не развить это понятіе? Страдать подобнымъ страданіемъ способенъ только интеллигентный человѣкъ, и, дѣйствительно, я съ положительностью могу утверждать, что

за годы моего прозябанія въ Шелайской тюрьмѣ изъ сотенъ перебывавшихъ въ ней арестантовъ, *эта сторона* тюремной жизни дѣйствовала угнетающимъ образомъ не больше, какъ на 2—3 интеллигентовъ, имѣвшихъ несчастіе, подобно мнѣ, попасть въ кагоргу. Въ самомъ дѣлѣ, мнѣ лично она доставляла наибольшее, по истинѣ, невыразимое мученіе, и мысль о томъ, что мученій этихъ не раздѣляетъ со мной никто изъ невольныхъ сотоварищей, особенно удручала и дѣлала меня несчастнымъ. Какъ ни старался я убаюкивать себя мыслью, что это не больше, какъ неизбежная формальность, которая не можетъ принизить мое человѣческое достоинство, что то въ глубинѣ души болѣло и протестовало. Я готовъ былъ сквозь землю провалиться всякій разъ, какъ при появленіи Шестиглазаго надзиратель командовалъ снимать шапки, а бравый штабсъ-капитанъ не торопился дозволеніемъ накрыть ихъ, и намъ приходилось стоять передъ нимъ иногда по нѣсколько минутъ, смиренно держа въ рукахъ шапки. Чувство это заставляло меня прибѣгать къ смѣшной на первый взглядъ уловкѣ. Я снималъ шапку добровольно, еще задолго до появленія начальства, и такимъ образомъ, не слушаясь команды, не шелъ въ то же время и противъ нея. Я хорошо сознавалъ, что это былъ не болѣе, какъ жалкій компромиссъ, сдѣлка съ собственной совѣстью, и тѣмъ не менѣе чувствовалъ ее нѣсколько успокоенной и удовлетворенной... Что же касается арестантской массы, то, мнѣ казалось, ей доставляло даже какое-то наслажденіе снять лишній разъ шапку передъ начальствомъ.

Въ ненастную погоду вечерняя повѣрка производилась обыкновенно въ корридорѣ, гдѣ можно было стоять совсѣмъ безъ шапокъ. По моей просьбѣ, артельный староста Юхоревъ и предложилъ кобылкѣ такъ дѣлать.

— И въ самомъ дѣлѣ, ребята, — кричалъ онъ: — на кой она чортъ? Лишній разъ только слушать эту команду. Да провались вмѣстѣ съ ней и самъ Шестиглазый!

Онъ доложилъ надзирателю, что арестанты будутъ стоять въ корридорѣ безъ шапокъ, и что потому команды „шапки долой“ не нужно. Надзиратель согласился и при появленіи Лучезарова прокричалъ только „смирно“.

Но въ слѣдующій же разъ, недѣли черезъ двѣ, когда повѣрка опять случилась въ корридорѣ, арестанты вышли рѣшительно всѣ въ шапкахъ и на мое напоминаніе объ условіи отвѣчали, смѣясь:

— А что, лѣнь мнѣ ее снять-то будетъ, что-ли? Крикнуть „сымай!“—мы и сыжемъ.

Да и самъ староста, такъ горячо принявшій прошлый разъ къ сердцу мою просьбу, уже забылъ о ней и стоялъ тоже въ шапкѣ, ухарски заломивъ ее набекрень. Я махнулъ рукой на этотъ вопросъ.

Несравненно больше терзала меня, разумѣется, мысль о тѣлесномъ наказаніи. Мнѣ казалось, что если бы когда-нибудь самого меня подвергли этому ужасному надругательству, то вся моя духовная личность была бы навѣки раздавлена, уничтожена, что я больше не могъ бы жить и глядѣть на свѣтъ Божій. Чѣмъ-то неизгладимопозорнымъ и варварскимъ, худшимъ изъ всѣхъ остатковъ средневѣковой пытки представлялось мнѣ употребленіе плетей и розогъ наканунѣ XX вѣка... Между тѣмъ, сожителямъ моимъ и этотъ взглядъ былъ вполне чуждъ и непонятенъ. Въ тѣлесномъ наказаніи пугалъ ихъ одинъ только элементъ—физической боли. Когда я увидѣлъ въ первый разъ длинную, толстую плеть, свитую изъ бичевокъ на подобіе женской косы, когда ее принесли въ тюрьму для наказанія приговоренныхъ по суду къ плетямъ, и въ маленькій карцерный дворикъ, кромѣ палача, вошли—самъ Лучезаровъ, докторъ, фельдшеръ и нѣсколько надзирателей, я весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и долго не могъ успокоиться даже послѣ того, какъ наказанные вернулись въ камеры и рассказывали, смѣясь, что одна „проформа“ была.

— Микитѣ такъ только заглянули... А меня чуть-чуть по штанамъ погладили.. Шестиглазый прямо отрѣзалъ: „Я этихъ наказаніевъ по суду не обожаю! Они меня не касаются. Вотъ если у меня въ чемъ проштрафитесь, тогда не помилю“.

Арестанты всѣ, въ одинъ голосъ, одобрили за это Шестиглазаго и вообще остались очень довольны его поведеніемъ. Репутація его послѣ этого случая значительно поднялась въ глазахъ кобылки. Въ мое время еще во всей своей силѣ практиковалось даже сѣченіе женщинъ \*); но и оно никого не возмущало съ точки зрѣнія позора...

Лишеніе воли отзывалось, конечно, одинаково тяжело на всѣхъ заключенныхъ. Но, говоря правду, я думаю, что образованный человѣкъ легче выноситъ это лишеніе. У него обширнѣе внутрен-

\*) Тѣлесное наказаніе женщинъ отмѣнено окончательно весной 1893 г.

Прим. авт.  
8\*



ній міръ, богаче тѣ сокровища, которыхъ никто и ничто не можетъ отнять у человѣка. У темнаго человѣка внутреннее „я“ бѣднѣе, и потому онъ болѣе нуждается въ чисто-внѣшнихъ впечатлѣніяхъ, которыя заполняли бы его душевную пустоту и отвлекали отъ горькихъ думъ. По той же причинѣ его силнѣе тянутъна волю и чисто-физическіе инстинкты и потребности. Я нерѣдко удивлялся и не могъ понять, зачѣмъ такъ рвались арестанты въ вольную команду, откуда такъ часто приводили ихъ обратно въ тюрьму съ лишеніемъ скидокъ или даже съ набавкой срока каторги за какую-нибудь кражу или буйство въ пьяномъ видѣ. Многіе изъ нихъ и сами признавались мнѣ, что для нихъ лучше было бы до конца срока просидѣть въ тюрьмѣ, не выходя въ команду, гдѣ такъ легко новую каторгу заработать; и тѣмъ не менѣе каждый изъ говорившихъ это печально бродилъ по двору вдоль тюремныхъ стѣнъ, завистливо поглядывая на высившіяся за ними сопки, вздыхалъ и высчитывалъ, сколько мѣсяцевъ и дней остается ему до вольной команды... И пускай бы еще вздыхали тѣ, которые мечтали о побѣгѣ съ воли, тѣ, которые имѣли 20 и 30 лѣтъ каторги на плечахъ: такихъ я понималъ. Но рвались въ команду и тѣ, кому до поселенія оставалось всего какихъ-нибудь два-три мѣсяца... Подчиненность была, правда, въ вольной командѣ слабѣе; „духа“ со штыкомъ не замѣчалось за спиной; но работа была не менѣе тяжела. Та же жизнь въ казармѣ, только гораздо худшей, болѣе тѣсной, грязной и шумной (благодаря большей свободѣ); пища хуже тюремной, потому что за вольнокомандцами начальство слѣдило не такъ зорко и строго. Что же, въ такомъ случаѣ, влекло туда этихъ людей? Воля, выражавшаяся, главнымъ образомъ, въ свободной игрѣ въ карты, питьѣ водки и ухаживаньи за каторжными дульцинеями...

Въ чисто физическомъ смыслѣ Шелайская тюрьма давала арестантамъ дѣйствительно огромную массу страданій. Самымъ главнымъ изъ нихъ было запрещеніе частныхъ улучшеній пищи и необходимость, даже имѣя свои деньги, питаться одной казенной баландой. Среди арестантовъ попадались довольно состоятельные люди, но дойти до такого—первобытнаго въ сущности—альтруизма, чтобы согласиться улучшать на свой счетъ общій котель (что разрѣшалось начальствомъ), никто изъ нихъ никогда не могъ.

— Съ какой стати на собственные свои деньги я стану всю тюрьму кормить? Меня же дуракомъ назовутъ,—разсуждалъ каждый и предпочиталъ лучше издыхать съ голоду.

Правда, какъ ни строго былъ Шестиглазый, какъ ни грозны были его рѣчи и сулимыя въ нихъ кары, вскорѣ и въ Шелайской образцовой тюрьмѣ образовались разныя маленькія лазейки и бреши. Больничный поваръ сталъ потихоньку продавать лишнее молоко, сами больные—свои порціи мяса и проч. Долгое время я не понималъ, какъ и на какія деньги производится эта конспиративная торговля, потому что на рукахъ арестантамъ не полагалось имѣть ни одной копѣйки, пронести же въ тюрьму хоть одинъ рубль при томъ изысканномъ обыскѣ, которымъ мы были встрѣчены при приѣмѣ, представлялось мнѣ немыслимымъ. На выраженное мной однажды недоумѣніе въ этомъ родѣ старикъ Гончаровъ, съ которымъ мы были одни въ номерѣ, засмѣялся.

— Да хоша бы онъ и того пуще обыскивалъ, деньги у арестанта всегда будутъ! Вы что думаете? И въ карты здѣсь не играютъ?— шопотомъ спросилъ онъ меня.

— Въ карты? откуда же ихъ взять? Карты еще труднѣе пронести.

Гончаровъ, не отвѣчая ни слова, вышелъ въ отхожее мѣсто и, возвратясь оттуда черезъ нѣсколько минутъ, таинственно показалъ мнѣ, хитро улыбаясь, двѣ колоды старыхъ замасленныхъ картъ.

— Какъ! развѣ и вы играете? А я помню, вы говорили...

— Нѣтъ, я-то самъ отъ роду въ нихъ не игрывалъ, и никогда даже смотрѣть на игру меня не тянетъ. Мы съ Петькой такъ только... держимъ ихъ. Онъ-то игрокъ, и хорошій даже игрокъ, первой руки шулеръ. Онъ, помни, за всю дорогу (мы полгода шли вмѣстѣ) ни одного разу въ проигрышѣ не былъ. Всѣ эти подходы и выверты картежные онъ до тонкости знаетъ.

— И здѣсь играетъ Семеновъ?

— Какая здѣсь игра можетъ быть! Стоить-ли ему тутъ мараться? Во всей-то тюрьмѣ здѣсь колесомъ ходить много, много—двадцать какихъ рублей.

— Такъ зачѣмъ же держите вы карты?

— Какъ зачѣмъ? Вотъ кто захочетъ поиграть—и идетъ къ намъ. Мы получаемъ процентъ.

— А, вотъ что...

Послѣ того мнѣ и самому случилось нѣсколько разъ быть свидѣтелемъ картежной игры. Происходила она обыкновенно на нарахъ въ углу камеры или въ кухнѣ за печкой. У дверной фор-

точки обязательно стоялъ стрѣмщикъ, который при приближеніи надзирателя обыкновенно провозглашалъ: „Двадцать шесть!“—обычный условный сигналъ тюремныхъ жуликовъ. Стремщикомъ большею частью былъ Яшка Тарбаганъ, большой любитель и знатокъ своего дѣла. Къ счастью картежниковъ, дежурный надзиратель всегда былъ обвѣшанъ, точно бубенчиками, связками ключей, которые гремѣли при каждомъ его движеніи и тѣмъ предупреждали виновныхъ. Помню, въ какомъ волненіи была вся тюрьма, когда однажды игроки „засыпались“ въ кухнѣ: стремщикъ прозвѣвалъ, и надзиратель прямо изъ ихъ рукъ взялъ и карты, и деньги. Ожидали, что Шестиглазый строго расправится съ виновными, но, къ общему удивленію, онъ ограничился тѣмъ, что продержалъ ихъ нѣсколько дней въ карцерѣ и не произвелъ даже обыска въ тюрьмѣ. Въ другой разъ надзиратель подглядѣлъ, что въ камерѣ происходитъ игра. Неслышно отомкнулъ онъ замокъ, быстрымъ толчкомъ отворилъ дверь и кинулся схватить карты, но онѣ исчезли.

— Гдѣ карты? Гдѣ карты? — кричалъ опѣшившій блюститель порядка.

— Какія карты? Господь съ вами, Прокопій Филиппычъ... Мы просто такъ сидѣли, разговаривали.

— Врете, врете, собачьи дѣти! Я самъ собственными глазами сейчасъ видѣлъ, какъ Петинъ сдавалъ. У тебя, Петинъ? Признавайся?

— Да нѣтъ у меня.

— Разувайся, я общу. Голову на отсѣченъе даю, у тебя. Заморю въ карцерѣ!

— Воля ваша, ищите.

Все, до полѣдней ниточки, обшарилъ надзиратель на Петинѣ, дѣтинѣ саженаго роста, покорно разставлявшемъ по его требованію руки и ноги, снимавшемъ сапоги, штаны и бушлатъ. Карты, точно, сквозь землю провалились.

— Ну, ладно, батькѣ твоему нехорошо будь! Ничего не подѣлаешь. Ну, да я все-жъ подкараулю тебя.

Надзиратель ушелъ, и арестанты начали смѣяться.

— Куда вы ухитрились спрятать ихъ, Петинъ?—полюбопытствовалъ я.

Онъ весело оскалил свои бѣлые зубы.

— На головѣ все время были... Какъ только вбѣжалъ онъ, я живой рукой, будто шапку поправилъ, и сунулъ ихъ подъ шапку...

глаза-то у него разбѣжались — онъ и не видалъ. Всего обыскалъ, подъ шапку только не догадался заглянуть.

Меня самого позабавила эта остроумная арестантская уловка. Еще нѣчто подобное продѣлалъ Яшка Тарбаганъ. Другой надзиратель, заподозривъ въ предбанникѣ игру, тоже опрометью вбѣжалъ туда и началъ всѣхъ обыскивать. Главное подозрѣніе его падало на Тарбагана, но найти при немъ карты ему все-таки не удалось. Оказалось потомъ, что Яшка во все время обыска держалъ колоду картъ на ладони лѣвой руки, искусно прижавъ ее мизинцемъ и большимъ пальцемъ. Впрочемъ, не смотря на подобные случаи, я не могу сказать, чтобы въ общемъ арестанты отличались умѣньемъ конспирировать и прятать запрещенныя вещи. Все ихъ прославленное умѣнье и ловкость заключаются въ дерзости, въ нахальной находчивости. Обычныя качества русской натуры, легкомысліе и халатность, въ высшей степени свойственны имъ.

Однако, самый фактъ появленія въ тюрьмѣ картъ и денегъ, показывалъ, что одной воли Шестиглазаго и нагоняемаго имъ страха недостаточно для того, чтобы образцовая Шелайская тюрьма стояла всегда на одномъ и томъ же уровнѣ строгости и образцовости. Я имѣлъ много случаевъ убѣдиться, что у арестантовъ были постоянныя сношенія и съ волей, съ тѣми немногими вольнокомандцами, которые еще до нашего прихода жили въ услуженіи у самого начальника и у надзирателей. Откуда-то появлялись время отъ времени лишнія рукавицы и рубахи, которые относились въ гору и сдавались сторожу-старика, или оставлялись въ заранѣ условленныхъ мѣстахъ. Лазейки понемногу расширялись. Шагъ за шагомъ дѣлались завоеванія и въ болѣе существенныхъ пунктахъ. Такъ, самимъ надзирателямъ не нравилось производить утреннюю повѣрку на дворѣ, мерзнуть на 40° морозѣ, стоя съ обнаженной головой во время молитвы, и вотъ начали вскорѣ производить ее въ корридорѣ. Лучезаровъ вставалъ поздно, и не было опасности, что онъ явится когда нибудь самъ. Арестанты пошли дальше и, послѣ долгихъ пререканій съ надзирателями, ввели обычай не пѣть, а только читать утреннія молитвы. Молитва по утрамъ вообще была скорѣе богохуленіемъ, нежели благочестивымъ дѣломъ. Голодные, продрогшіе, заспанные, еще неумытые арестанты выстраивались въ корридорѣ и стояли на сквозномъ вѣтрѣ вѣрныхъ 10—15 минутъ, пока надзиратели ухитрились сосчитать ихъ. Ариметику шелайскіе надзиратели знали вообще очень плохо — и въ то же время вмѣсто

того, чтобы считать всѣхъ подь-рядъ, считали почему-то каждую изъ девяти камеръ отдѣльно, прибавляя потомъ одну къ другой.

— Шестнадцать да восемнадцать—тридцать три.

— Тридцать четыре, Прокопій Филиппычъ,—поправляя кто нибудь изъ арестантовъ, выхода изъ терпѣнія.

— Охъ, сбиль ты меня, паря! Надо снова пересчитать.

И бѣжить уже въ третій разъ провѣрять все сначала. Наконецъ, раздается команда:

— На молитву! Шапки до-лой!

Всѣ молчать.

— Чего же молчите? Пойте.

— Некому пѣть, Прокопій Филиппычъ.

— Какъ некому? Вечеромъ поете же?

— То вечеромъ, другое дѣло... А теперь, со сна, глотка у каждого сухая, осипшая.

— Ну, такъ читайте хоть кто-нибудь.

Всѣ молчать.

— Ну, ты, Пѣнкинъ, читай.

— Я словъ не знаю, Прокопій Филиппычъ.

— Какъ не знаешь? Ты пѣвчій. Въ карецъ захотѣлъ, что-ли? Это что за безобразіе! Я начальнику доложу.

— Ей-богу, словъ не знаю, Прокопій Филиппычъ! На слухъ-то могу пѣть, а прочесть не умѣю.

— Читай ты, Булановъ.

— Голосу нѣтъ, Прокопій Филиппычъ,

— Что за вздоръ! Говорить, а у самого голоса нѣтъ. Читай.

— Я мордвинъ, Прокопій Филиппычъ,—пищитъ Булановъ:—какой можетъ быть читатель мордвинъ? Ну, да я прочитаю, если хотите. „Очи наши рижеси на небеси. Да свѣтитса имя твое, придетъ царство твое, будетъ воля твоя на небеси, какъ и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный дай намъ ѣсть. Не остави намъ долги наши, якоже и мы не оставляемъ должникамъ нашимъ. Не введи насъ въ искушеніе, не избавь насъ отъ лукаваго. Аминь“.

— По камерамъ шагомъ маршъ!..

Съ шумомъ и смѣхомъ расходится кобылка по камерамъ.

— Ай да мордвинъ! Не умѣю, говорить, а самъ какъ отхваталъ, хоть бы и попу—такъ въ пору!

Съ тѣхъ поръ каждое утро слышали мы это „очи наши рижеси на небеси...“

Послабленія пошли и еще дальше. Въ началѣ было строго предписано надзирателямъ на одинъ только часъ въ день отворить камеры настѣжъ для очищенія воздуха и для прогулки слабыхъ, освобожденныхъ фельдшеромъ отъ работъ. Выпускались старосты въ кухню за обѣдомъ—камеры мгновенно захлопывались за ними и замыкались; возвращались они съ обѣдомъ—надзирателю опять приходилось по очереди впускать ихъ. Такимъ образомъ въ теченіе дня, отъ утренней до вечерней повѣрки, ему приходилось разъ пятьдесятъ отворить каждую камеру и столько же разъ запереть ихъ. А камеръ было девять. Само собою разумѣется, что даже самые исполнительные изъ надзирателей чувствовали себя несчастнѣйшими въ мірѣ людьми въ дни своего дежурства, находясь въ непрерывномъ волненіи, бѣготнѣ и поту; а такъ какъ на всю тюрьму полагался одинъ только внутренній дежурный (другой былъ за воротами), то естественно, что онъ почти не имѣлъ времени слѣдить и за кухней, и за больницей, и за карцерами, и за мастерской, гдѣ производилась починка бѣлья и обуви. Въ виду этого Лучезаровъ разрѣшилъ скорѣе держать камеры отпертыми по праздникамъ въ теченіе всего дня, въ будни же отъ утренняго звонка на работу до возвращенія горныхъ рабочихъ. Послѣ этого попусценія со стороны высшаго начальства и надзиратели сдѣлались смѣлѣе. Арестанты, съ своей стороны, не уставали „подзуживать“ ихъ.

— Эхъ, Прокопій Филипповичъ, все-то вы боитесь, всего-то пугаетесь.

— Я, братъ, по инструкціи... Мнѣ какъ велѣно.

— Велѣно-то оно велѣно, спору нѣтъ. Только человѣку понятіе тоже дано вѣдь. Почему же вотъ ни Иванъ Павловичъ, ни Василій Андреевичъ никогда камеръ на запорѣ не держатъ? Ну, конечно, ежели предполагаютъ, что начальство сейчасъ явится, тогда поспѣшаютъ. Такъ на то звонокъ вѣдь есть; старшій дежурный предупредить обязанъ.

— Не можетъ этого быть. Не повѣрю, чтобъ Иванъ Павловичъ али Василій Андреевичъ камеръ не запирали. Чего мелешь непутевое, собачій сынъ?

— Ей-богу-съ, правду говорю, не запираютъ. Конечно, болтать только объ этомъ зря не велятъ. Потому они люди тонкаго пониманія.

— Сомнительно что-то,—отходилъ прочь Прокофій Филиппо-

вичъ, покачивая головой, но тѣмъ не менѣе впадая въ нѣкоторое раздумье.

А на Василя Андреевича и Ивана Павловича арестанты старались, между тѣмъ, воздѣйствовать мнимой снисходительностью къ нимъ Прокофія Филипповича. Преувеличенныя похвалы соперникамъ нерѣдко оказывали-таки свое вліяніе, и кто нибудь изъ надзирателей становился вскорѣ дѣйствительнымъ любимцемъ публики.

— Это не Иванъ Павловичъ, а просто объяденіе!—говорили они межъ собой, не зная, какъ похвалить его.

Но какъ ни важны, какъ ни значительны были всѣ послабленія и уступки, отвоеванныя съ теченіемъ времени арестантами, *для меня* жизнь въ Шелайскомъ рудникѣ попрежнему была невыразимо тяжела. Тошнотворная и мало питательная пища; работа въ сырыхъ и холодныхъ шахтахъ; казарменно-унизительный строй жизни, попирающій въ грязь всѣ завытѣйшія чувства и стремленія; лишеніе свободы и общенія съ образованнымъ міромъ; тѣсное сожительство съ людьми, съ которыми такъ мало имѣлось общаго и родного; горькіе дни и черныя ночи съ мучительной безсонницей или кошмарными снами,—ахъ! и теперь еще, по прошествіи столькихъ лѣтъ, я вздрагиваю каждый разъ, какъ вспоминаю обо всемъ этомъ... Сердце опять трепещетъ, опять полно ранъ и скорби... Тише, тише, непокорное! Побѣди свой порывъ! Превратимся опять въ безпристрастныхъ лѣтописцевъ хоть и ужаснаго, но все же пережитого прошлаго. Будемъ рассказывать по порядку, чтó въ немъ было наиболѣе важнаго и любопытнаго: авось кому нибудь пригодится!

## VIII.

### Начало моей школы.

Съ наступленіемъ зимы и удлиненіемъ ночей, насъ запирали на замокъ все раньше и раньше. Да я, признаться, и радовался этому. Только тогда, когда проходила, наконецъ, вечерняя повѣрка со всѣми ея страхами, криками, трескомъ и блескомъ, когда щелкалъ замокъ за удалявшейся свитой Лучезарова, только тогда вздыхалъ я полною грудью и чувствовалъ, что до слѣдующаго утра никто не покусится на мою свободу, никто не ворвется въ мою душу, что на цѣлыя полсутки я застрахованъ отъ всякой новой обиды и поруганія. Много было отвратительныхъ сторонъ въ этомъ

долговременномъ пребываніи подъ замкомъ, но для меня существовали болѣе страшныя вещи, чѣмъ спертый, душливый воздухъ и близкое общеніе съ отбросами человѣчества. Впрочемъ, постараюсь дать читателю нѣкоторое представленіе и о той атмосферѣ, которою приходилось дышать. Камера, по первоначальному разсчету, была устроена на шестнадцать человѣкъ (число это значилось и на дощечкѣ, прибитой къ дверямъ); но, какъ я говорилъ уже, партія пришла большая, и въ каждой камерѣ было по 20 и даже 22 человѣка. Пятерымъ въ нашемъ номерѣ не хватило мѣста на нарахъ, и они принуждены были спать на полу (на полъ сгоняли обыкновенно татаръ и сартовъ). Оконная форточка въ камерѣ имѣлась, но такъ какъ русскому человѣку принадлежитъ знаменитое въ наукѣ открытіе, что паръ костей не ломить, то открывали ее чрезвычайно рѣдко и неохотно. Ее, навѣрное, и никогда бы не открывали, если бы не я и не моя настойчивость; однако и я стѣснялся слишкомъ злоупотреблять своимъ вліяніемъ, встрѣчая порой косые и прямо враждебныя взгляды старичковъ, вродѣ Гандорина. Этотъ достопочтенный и благочестивый старецъ, съ своей стороны, мало стѣснялся: ровно черезъ двѣ минуты онъ, какъ котъ, осторожно подкрадывался къ отворенной мною форточкѣ и съ постнымъ, умиленнымъ выраженіемъ лица, на правахъ старосты, потихоньку захлопывалъ ее; а чтобъ не обидѣть, съ другой стороны, меня и дать какое-нибудь удовлетвореніе, пріотворялъ ненадолго посторонку и, держа въ зубахъ трубку, шамкалъ въ мою сторону: „Она тоже выносить... Еще способнѣе“.

Этотъ Гандоринъ былъ истиннымъ мучителемъ моимъ. Съ лицомъ святого, съ сѣденькой бородкой клинышкомъ и изможденнымъ лицомъ, онъ былъ обжора, которому дивилась вся тюрьма. Добросовѣстно съѣдая до послѣдней крошки собственную порцію баланды, какую бы мерзость она ни представляла, онъ въ качествѣ старосты еще сливалъ къ себѣ же остатки отъ всѣхъ другихъ порцій и тоже обязательно съѣдалъ. Съѣдалъ и весь хлѣбъ—свой и остатки чужого. Допивалъ весь оставшійся чай... Умъ отказывался понимать, куда все это лѣзло въ тщедушнаго старичонку! Но за то онъ сторицей же отдавалъ и обратно то, что воспринималъ въ себя: вѣчно страдая разстройствомъ желудка, онъ поминутно принужденъ былъ выбѣгать куда нужно, да когда и назадъ возвращался, сосѣдямъ его не приходилось бла-



годарить судьбу... Къ несчастію, онъ спалъ всего черезъ два человѣка отъ меня: Чирокъ, Тарбаганъ и онъ... Мое мѣсто было у самой стѣны. Впрочемъ, не одинъ Гандоринъ страдалъ катарромъ желудка, который и не удивителенъ былъ при томъ ужасномъ пищевомъ режимѣ, который ввелъ въ Шелайской тюрьмѣ бравый штабсъ-капитанъ; поэтому атмосфера небольшой камеры, гдѣ скучивалось слишкомъ двадцать взрослыхъ человѣкъ, почти прикасавшихся тѣлами одинъ къ другому, была по вечерамъ въ высшей степени удушлива и отвратительна. Особенную вонь распространяли также онучи, которыя арестанты тутъ же, около печки, развѣшивали для просушки. Онучи эти у нѣкоторыхъ не мылись по цѣлому году, и отъ нихъ пахло такой омерзительной прѣлью, что непривычнаго человѣка могло бы стошнить... У многихъ арестантовъ ужасно воняли и самыя ноги отъ постоянно струившагося по нимъ пота (болѣзнь, очень распространенная среди рабочаго люда).

И всетаки еще разъ повторяю: я всегда чувствовалъ радость, когда проходила повѣрка, и насъ запирали на замокъ.

Подборомъ своихъ сожителей, за малыми исключеніями, я былъ вполне доволенъ. Большого эти люди не могли мнѣ дать, и смѣшно было бы на нихъ сѣтовать за это. Отношенія между нами съ самаго начала установились дружескія. Въ первые же дни знакомства у меня явилась мысль обучать желающихъ грамотѣ. Едва я высказалъ однажды—полущутя, полусерьезно—это желаніе, какъ экспансивный Никифоръ Буренковъ сорвался съ наръ и, подбѣгая ко мнѣ, закричалъ:

— Вотъ хорошо-то будетъ! Я, знаешь, Миколаичъ, давно ужъ просить тебя хочу, да все не смѣю... А ты самъ надумалъ... Эхма! да я сразу всю грамоту произойду, дьяволъ ее поberi! Приду домой—диву всѣ дадутся: неужто это Микишка? Тотъ вѣдь ни аза въ глаза не зналъ, а этотъ... И знаешь что, Миколаичъ? Ты выучи меня и рихметикъ также... Счетъ мнѣ знать хочется... Я тамъ у нихъ писаремъ буду—вотъ окучу-то всѣхъ!

Я отвѣчалъ Буренкову, что учиться надо не для окучиванья людей, а напротивъ того, для выкручиванья ихъ изъ сѣтей темноты и всяческой неправды. Никифоръ сконфузился и поспѣшилъ увѣрить меня, что это онъ такъ только пошутить.

Этотъ человѣкъ былъ настоящее „дитя природы“: такого не

умѣнья затаить хоть на минуту бродящую внутри мысль или чувство я не встрѣчалъ въ другомъ человѣкѣ. Лицо его было лучшимъ зеркаломъ его души. Высокій, костлявый, онъ весь былъ—страсть и огонь; порывистыя движенія, постоянно веселый нравъ, остроуміе, незлопамятность, легкомысліе дѣлали его всеобщимъ любимцемъ. Въ большихъ сѣрыхъ глазахъ его и тонкихъ губахъ, отънесенныхъ длинными, мягкими усами и желтой козлиной бородкой, свѣтилось, правда, и нѣкоторое лукавство. Онъ самъ иначе не говорилъ про себя, какъ „мы, мошенники“... Но стоило немного присмотреться къ Никифору, чтобы убѣдиться, что онъ не только хорошій товарищъ во всякаго рода „фартовыхъ“ предпріятіяхъ, но также и рубаха паренъ. Онъ былъ изъ „семейскихъ“ Верхнеудинскаго округа, старовѣровъ безпоповскаго толка; но раннее знакомство съ присками и природная склонность къ товариществу и молодечеству превратили его въ одного изъ героевъ большихъ дорогъ, специальность которыхъ—срѣзывать чай въ обозахъ. За это и пошелъ онъ съ двоюроднымъ своимъ братомъ Михайлой въ карторгу на четыре года.

Вся камера живѣйшимъ образомъ заинтересовалась мыслью объ устройствѣ школы. Старики поталкивали болѣе молодыхъ, побуждая учиться. Процентъ грамотныхъ былъ ничтоженъ въ тюрьмѣ. Въ нашей камерѣ грамотныхъ было всего трое: Семеновъ, Парамонъ Малаховъ и нѣкто Владиміровъ. Но были и такія камеры, въ которыхъ царилъ поголовная безграмотность. Я спросилъ, кто еще станетъ учиться. На нѣкоторыхъ лицахъ читалось страстное желаніе объявиться, но всѣ молчали.

— Ты, Пестровъ, чего же?—кричали на одного совсѣмъ молодого паренъка, вялаго, молчаливаго и конфузливаго.

— У меня, братцы, память плохая.

— Вотъ сказалъ! У насъ, что-ль, лучше, у стариковъ? Кому и учиться, какъ не тебѣ? Парню девятнадцать лѣтъ, въ самомъ что ни есть соку.

— Такъ будете учиться, Пестровъ?

— Хотѣлось бы... Только память, ей-богу, ничего не стоитъ.

- Ничего, посмотримъ.

— А какъ же мы учиться-то станемъ?—вскрикнулъ вдругъ Никифоръ:—вѣдь ни карандашей, ни чирнилъ, ни гумаги у насъ нѣтъ! Ахъ ты, распостылая тюрьма! Все-то запрещено, ничего-то нѣтъ!..

И отъ бурной радости онъ вдругъ перешелъ къ самому мрач-

ному отчаянію. Я и самъ призадумался. Книжка, положимъ, была— евангеліе; бумага тоже была; экономя продавалъ арестантамъ для куренья махорки сѣрую писчую бумагу, причемъ, слѣдуя инструкціи, запрещавшей въ тюрьмѣ письменныя принадлежности, разрѣзалъ ее на уродливо-неправильныя полосы. Труднѣе было придумать, гдѣ и какъ достать карандашъ. Парамонъ Малаховъ, необыкновенно важно сосавшій на нарахъ свою трубку и о чемъ-то долго размышлявшій, вдругъ ударилъ себя кулакомъ по лбу и закричалъ:

— Не будь я Парамонъ Малаховъ, коли не достану!..

— Чего?

— И карандашъ, и... азбучку. Пускай у Шестиглазаго шесть глазъ, пускай даже больше будетъ, достану. Надѣйся, Никишка, на Парамона!

Однако долго не удавалось ему исполнить свою похвальбу. Онъ ходилъ бондарничать въ столярную мастерскую, находившуюся за оградой тюрьмы, и всякій разъ, какъ онъ возвращался съ работы, Буренковъ и Пестровъ приставали къ нему съ разспросами. Красавецъ-бондарь разводилъ только руками и пожималъ плечами.

— Ну, да ужъ всетаки достану. Придетъ-такая точка. Не бывало еще, чтобъ Парамона хлопুষей звали!

Между тѣмъ, мнѣ пришло въ голову воспользоваться углемъ. Никифоръ досталъ прекрасный длинный уголь; я заострилъ его и начертилъ на махорочной бумагѣ нѣсколько первыхъ печатныхъ буквъ. Восторгамъ учениковъ конца не было. Вечеромъ, только что прошла провѣрка и заперли камеру, всѣ, какъ горохъ, бросились къ столу и обступили меня съ Никифоромъ и Пестровымъ. Лицо перваго изъ нихъ сіяло, какъ хорошо вычищенный мѣдный тазъ; и съ него, и съ Пестрова уже градомъ лилъ потъ, хотя ученіе еще и не начиналось: оба страшно трусили.

— Ну, Микишка, поддаржись, не ударь въ грязь лицомъ! — ободрили Буренкова Чирокъ и Гончаровъ.

Къ великому моему удивленію и огорченію всей камеры, ученики мои оказались страшно непонятливыми и, очевидно, мало способными. Долго успокаивалъ я себя мыслью, что они просто робѣютъ и смущаются, но черезъ недѣлю съ положительностью долженъ былъ убѣдиться относительно Пестрова, что онъ абсолютно тупой и безпамятный нарень. Я не показывалъ, конечно, и виду, что

пришелъ къ подобному заключенію, и не уставалъ каждый вечеръ одно и то же вдабливать ему въ голову; но камера самостоятельно пришла вскорѣ къ тому же выводу и ужасно сердилась на Пестрова: казалось, будто у каждого задѣта была собственная его амбиція...

— Ну, и долбешка жъ ты, Ромашка!—говорилъ Чирокъ:—я вѣдь ужъ кто такой? Всѣ называютъ меня пермякомъ, изъ чурки вытесаннымъ... Въ лѣсу я взросъ, въ тюрьмѣ состарился... А и то вѣдь ужъ нѣсколько гуковокъ затвердилъ, на тебя глядя. А ты молодой, ты—расейскій!

— Брошу же я совсѣмъ!—вспыхнувъ, какъ порохъ, объявлялъ Ромашка, и большого труда стоило мнѣ каждый разъ уговорить его продолжать опытъ ученія.

За то Никифора камера хвалила и обнадеживала:

— Попомъ будешь, Никишка, у семейскихъ!

Похвалы эти были, впрочемъ, сильно преувеличены. Никифоръ не былъ, правда, безнадежной тупицей, но порывистость натуры вредила ему такъ же и въ ученіи, какъ въ жизни. Не взглянувъ-шись хорошенько въ букву, онъ моментально выкрикивалъ ея названіе, большею частью невпопадъ. Кромѣ того, онъ не любилъ сознаваться тотчасъ же въ самыхъ явныхъ ошибкахъ и, обладая богатой фантазіей, оправдывался сходствомъ между такими буквами, которыя, казалось, ничего общаго не имѣли; такъ, по его словамъ *м*, какъ двѣ капли воды, походило на *ф*, а на *з*... Нечего и говорить, что вслѣдствіе торопливости онъ постоянно смѣшивалъ созвучныя буквы: *ж*, *ш*—*с*, *з*—*д*, *т* (я училъ по звуковому методу).

— Ну, и терпѣніе жъ андельское у Ивана Николаича, — говорили про меня въ камерѣ.

Одинъ только Малаховъ держался на этотъ счетъ особаго мнѣнія.

— Это не ученье, а баловство одно,—ворчалъ онъ:—развѣ такъ въ старину насъ учили? Первое: азъ, буки, вѣди, глаголь, добро... У каждой буквы свое названіе было, каждая какъ живая была... А нынче что? Шипять, свистать... Ничего не поймешь! Жжжж! Сс... сс! Просто хотъ уши затыкай.

Я старался объяснить Малахову выгодныя стороны звукового метода, но напрасно: онъ былъ слѣпымъ поклонникомъ старины и къ тому же, если упирался на чемъ-нибудь, то былъ упрямъ, какъ быкъ \*).

\*) Спѣшу, впрочемъ, оговориться, что учебная практика заставила впоследствии и меня самого пойти на нѣкоторыя уступки старинѣ. Всѣ

— Второе,—говорилъ онъ казидательнымъ тономъ:—безъ колотушекъ учителю обойтись невозможно.

— И вѣрно, Миколанчъ,—вскрикивалъ Никифоръ:—ей-богу, колоти меня! И за волосья таскай и какъ хочешь... Ни слова не скажу, лишь бы за дѣло.

— Нѣтъ, братъ, и безъ дѣла не мѣшаетъ —поправлялъ его Парамонъ:—просто такъ, для науки, для страха. Насъ, ты думаешь, какъ били? Меня дьячокъ нашъ сельскій училъ. Бывало, какъ ни придемъ мы къ нему, ребятишки, всегда пьলেখонекъ. И первымъ дѣломъ, сейчасъ же послѣ молитвы, всѣмъ безъ разбора, волосянку давалъ... Треплетъ, треплетъ, устанетъ... Ну, теперь, давайте, говорить, учиться, ребята! А ужъ за дѣло коли билъ, тогда надо было отнимать отъ него: до смерти заколотить! Я разъ во время волосянки руку ему укусилъ, такъ онъ объ меня всю палку въ щепки расхлесталъ.

— Здоровая жъ, Парамонъ, и тогда у тебя спина была, — смѣялись арестанты.

— Ну, а что жъ хорошаго было въ такомъ ученіи? — спрашивалъ я Парамона.

— Какъ что? Грамотѣ выучивались, баловства было меньше.

— На счетъ баловства не знаю, а грамотѣ вотъ не выучились же вы хорошо, какъ ни билъ васъ дьячокъ? До сихъ поръ чуть не по складамъ читаете.

— Это я теперь забылъ,—отвѣчалъ самолюбивый бондарь, видимо начинавшій уже раздражаться и съ сердцемъ выколачивавшій о нары свою трубку.—А для своего обихода я и теперь еще ладно читаю. Гдѣ же намъ, дуракамъ, многоученными быть!

Впрочемъ, пропаганда битья, кромѣ самихъ учениковъ, не нашла себѣ въ камерѣ сочувствующихъ, и Малаховъ оставался въ этомъ отношеніи одинокимъ. Особенно ополчился противъ кулачной расправы съ дѣтми старикъ Гончаровъ.

— Да чтобъ я своего дитю далъ битъ?—съ искреннимъ негодованіемъ говорилъ онъ, расхаживая по камерѣ:—Ни за что! Разъ этакъ же ѣду я верхомъ на меринѣ, у себя дома. Слышу робячій крикъ. Гляжу: у самого плетня учитель деретъ за уши Кожевниковаго мальчишку. Робенку лѣтъ семь, а онъ, знай, уши ему

буквы носили у моихъ учениковъ-арестантовъ имена хорошо знакомыхъ имъ предметовъ (*б* называлось бродней, *в*—волкомъ, *т*—туесомъ), и это обстоятельство много помогало успѣшности занятій. *Прим. авт.*

выворачиваетъ да волосяной подчуеъ. Вотъ я подѣзжаю, привязываю мерина къ плетню и прямо къ учителю. За что? спрашиваю.—А тебѣ какое дѣло? Я учитель.—А! ты учитель! Такъ вотъ поучись-ка прежде у меня! — Какъ подмялъ его подъ себя, да зачалъ угощать, такъ и до сего часу, пожалуй, бока болятъ...

Я поглядѣлъ на огромную медвѣжью фигуру Гончарова, съ широкимъ лицомъ, изрытымъ оспой, толстымъ носомъ, рыжевато-сѣдыми бакенбардами и свѣтлыми большими глазами, надъ которыми угрюмо свѣшивались рыжія брови, и подумалъ, что дѣйствительно плохо, должно быть, пришлось учителю.

— И послѣ, бывало, помни,—продолжалъ Гончаровъ:—завидишь гдѣ его издали, манишь къ себѣ: эй, Трофимъ Евстигнѣичъ, иди-ка сюды, поговоримъ съ руки на руку... Онъ сейчасъ и лыжи прочь наострить! Я смѣюсь, кнутомъ ему вслѣдъ грожу.

## IX.

### Малаховъ и Гончаровъ.

Гончаровъ и Малаховъ, видимо, не долюбивали другъ друга, хотя явно и не показывали этого, чуя одинъ въ другомъ почти равную физическую и нравственную силу. Это были натуры противоположныя во всѣхъ смыслахъ, и мнѣ кажется—именно тою противоположностью, въ какой вообще находятся Сибирь и ея метрополія. Малаховъ былъ псковичъ, живавшій въ самомъ Питерѣ, въ кучерахъ, и получившій тамъ нѣкоторый виѣшній лоскъ. Съ людьми, къ которымъ онъ чувствовалъ уваженіе или расположеніе, онъ умѣлъ обходиться съ утонченной вѣжливостью, не похожей, впрочемъ, на ту отвратительную утонченность, какой отличаются лакеи, перенявшіе барскія ухватки и словечки. Гончаровъ былъ въ этомъ отношеніи грубоватѣе и неотесаннѣе. За то чисто-виѣшнимъ лоскомъ и ограничивались слѣды цивилизаціи, наложенные на Парамона. Въ душѣ онъ оставался настоящимъ типомъ вандейца, закоренѣлаго въ традиціонныхъ взглядахъ и предрассудкахъ. На бѣду свою онъ отличался большимъ самомнѣніемъ, считалъ себя очень умнымъ человекомъ и думалъ, что имѣетъ твердыя, опредѣленные воззрѣнія на вещи, хотя на самомъ дѣлѣ былъ весьма недалекъ и даже, быть можетъ, тупъ. Вотъ почему, когда рѣчь заходила о какихъ нибудь жгучихъ, задѣвавшихъ его убѣжденіяхъ вопросахъ, онъ становился

желченъ и забывалъ всякую деликатность и вѣжливость. Всякую „многоученость“ онъ съ презрѣніемъ отвергалъ, и потому, противъ моей воли и желанія, мы нерѣдко вступали въ бурныя пререканія. Противъ экспериментальныхъ наукъ и всякихъ въ глаза бьющихся открытій и изобрѣтеній онъ еще ничего не имѣлъ; но чуть отъ практики дѣло переходило къ общимъ выводамъ и положеніямъ, покушавшимся, какъ ему казалось, на вѣковыя святыни человѣчества, онъ выходилъ изъ себя и лѣзъ на стѣну, защищая свои взгляды. Особенно часто схватывались мы изъ-за астрономическихъ вопросовъ, изъ-за того, что земля имѣетъ шарообразную форму, что она вертится, а солнце стоитъ относительно на одномъ мѣстѣ и пр. Парамонъ обыкновенно долго и молча выслушивалъ мои рассказы кому-нибудь изъ арестантовъ про чудеса природы, разоблаченныя современной наукой. Наконецъ, не выдерживалъ и говорилъ:

— А кто же изъ ученыхъ лазилъ на небо, что такъ хорошо все это узналъ?

Я начиналъ сызнова свои разъясненія, стараясь выражаться возможно толковѣе и еще понятнѣе, чѣмъ прежде. Онъ опять терпѣливо слушалъ и потомъ рѣшалъ властнымъ и внушительнымъ тономъ:

— Вадоръ все это, чепуха! Что солнце ходитъ—это я вижу, собственными глазами вижу. Ну, а что земля ходитъ, этого никто никогда не видалъ и никогда не увидитъ! Буду я цѣлый день стоять на одномъ мѣстѣ и смотрѣть вонъ на ту сопку—и ни на одинъ шагъ она не подвинется въ сторону. Гдѣ она была, тамъ и вѣкъ будетъ стоять.

Напрасно я пытался доказывать, что земля движется одновременно вся, всей своей массой и равномерно во всякой точкѣ; напрасно приводилъ обычный примѣръ, что когда ѣдешь на машинѣ, то представляется, будто ты стоишь на одномъ мѣстѣ, а земля отъ тебя убѣгаетъ. Чѣмъ яснѣе, казалось мнѣ, доказывалъ я свои положенія, тѣмъ больше Парамонъ волновался и сердился... Въ рѣшительную минуту онъ опирался на библию... Однажды, думая поразить его, я съ своей стороны указалъ ему одно мѣсто въ книгѣ Іова, гдѣ говорится, что Богъ *ни на чемъ* утвердилъ землю, повѣсивъ ее въ воздухъ; въ отвѣтъ на это онъ отыскалъ другія мѣста, говорящія о неподвижности земли и подчиненности ей солнца и звѣздъ. Никакихъ иносказательныхъ толкованій онъ принимать не хотѣлъ и раздражался, въ концѣ-концовъ, страстной филиппикой противъ науки.

— Вся эта высокоученость гроша мѣднаго не стоитъ! Нынѣшняя наука дошла до того, что и Бога нѣтъ!

— Вы пустяки говорите, Парамонъ,—отвѣчалъ я:—такой науки, которая бы доказывала, что нѣтъ Бога, не было, нѣтъ и не будетъ; наука не занимается такими вопросами, оставляя ихъ религін.

— Какъ! Я самъ встрѣчалъ ученыхъ, которые говорили это.

— Не знаю, во-первыхъ, точно ли это ученые были, а, во-вторыхъ, и ученые, какъ всѣ люди, разные бываютъ. Вѣдь и изъ совсѣмъ неученныхъ людей, изъ арестантовъ, есть такіе, которые въ Бога не вѣрятъ?

— Нѣтъ, ужъ я больше на собственные свои уши полагаюсь. Повѣрите-ли, братцы,—обращался вдругъ мой оппонентъ ко всей камерѣ за сочувствіемъ:—одинъ ученый доказывалъ мнѣ въ Питерѣ, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны... Да дуракъ онъ! Подумалъ бы онъ о томъ хоть, что обезьяну надо-бъ, по-крайней мѣрѣ, разъ въ мѣсяцъ брить, чтобъ она походила на человѣка.

Всѣ разражались единодушнымъ хохотомъ, и Малаховъ глядѣлъ вокругъ побѣдителемъ. Два-три человѣка изъ молодежи были, правда, на моей сторонѣ, но и они боялись слишкомъ явно высказываться въ пользу науки; старички поголовно сочувствовали взглядамъ Парамона и заодно съ нимъ возмущались внутренно моимъ вольнодумствомъ. Одинъ только Гончаровъ посмѣивался и уклончиво говорилъ:

— Ну, а я такъ всему вѣрю... всему готовъ вѣрить... Потому знаю хорошо: что мы такое? Долбешки, пни таежные — ничего больше! И въ головахъ у насъ есоръ \*) одинъ!

Гончаровъ былъ умъ чисто практическій, мало интересовавшійся отвлеченными умовозрѣніями, но за то другимъ дававшій въ этомъ отношеніи полную свободу. Парамонъ, напротивъ, былъ идеалистъ. Не смотря на солидность манеръ и всей фигуры (ему было подъ сорокъ), онъ былъ въ высшей степени страстный и увлекающійся человѣкъ, ни въ чемъ не знавшій мѣры. Говорилъ онъ обыкновенно съ пафосомъ, приподнятымъ нѣсколько слогомъ, воодушевляясь и искренно волнуясь, и краснорѣчіемъ своимъ умѣлъ иногда наэлектризовать не только слушателей, но и самого себя. Тогда ему приходилось говорить уже совсѣмъ несуразныя вещи. Такъ однажды онъ разсказалъ намъ слѣдующую исторію.

Возвращался онъ съ товарищемъ домой изъ Питера. Заходить

\*) Есоръ—мусоръ.



въ какую-то деревню и въ одной хатѣ видить больную женщину, не встававшую уже нѣсколько лѣтъ съ постели. Родня больной обращается къ прохожимъ съ вопросомъ, не знаютъ-ли они какого средства отъ этой болѣзни. Парамонъ и его товарищъ ребята были молодые, легкомысленные, всегда готовые пошутить.

— Вотъ я и отвѣчаю: какъ не знать! Сдѣлайте только все такъ, какъ я вамъ скажу. Испеките мнѣ изъ пшеничнаго тѣста куклу. Тѣ, конечно, съ полнымъ удовольствіемъ того же дня изготовили мнѣ громаднѣйшаго статуя. Удалилъ я тогда всѣхъ изъ горницы, положилъ на больную эту куклу и помолился передъ образомъ... Нужно же было что-нибудь для виду сдѣлать! Призываю потомъ снова всю родню и говорю, что куклу эту я съ сббой возьму, а что больная вскорѣ-де будетъ здорова. Надавали мнѣ тогда на дорогу всякихъ яствъ, даже денегъ сколько-то дали, и мы отправились съ товарищемъ дальше. Посмѣиваемся про себя. Останавливаемся на пути закусить. Рѣшили и куклу отвѣдать. Вотъ отламываю я отъ нея руку... и что же, братцы, думаете? Вижу—кровь!.. Отламываю другую руку—живая человѣчечкая кровь!.. Вотъ ей-богу, правда!.. Испугались мы тутъ, побросали и куклу, и всѣ припасы и убѣжали. Но что же случилось между тѣмъ? Въ самый тотъ часъ, какъ мы куклу ломали, женщина та, больная-то, съ постели совсѣмъ здоровой встала, ну, вотъ, ей-богу же, не вру!.. Пусть-ка ученые объяснять это, а? Пускай попробуютъ.

Разсказъ этотъ произвелъ на слушателей огромное впечатлѣніе; но меня лично заинтересовалъ онъ въ другомъ смыслѣ. Я чувствовалъ, что въ немъ не все обстоитъ благополучно, что тутъ скрывается одинъ изъ тѣхъ секретовъ, помощью которыхъ создаются обыкновенно всякія легенды и народныя суевѣрія. Часто приставалъ я послѣ этого къ Парамону, прося еще разъ разсказать исторію о куклѣ; онъ каждый разъ отговаривался, лукаво подсмѣиваясь надъ моимъ любопытствомъ. Но однажды, уже полгода спустя, въ минуту счастливаго настроенія и расположенности ко мнѣ, онъ прямо мнѣ признался, что насчетъ крови-то тогда привралъ.

— Все правильно обсказалъ, какъ было. Только вотъ насчетъ крови прибавилъ—пошутить,—объяснилъ онъ, нѣсколько конфузясь, хотя я отлично помнилъ, что *тогда* онъ не думалъ шутить.

Одно обстоятельство заставляло меня прощать Малахову всѣ его недостатки и нелѣпости: это его несомнѣнная неспорченность сравнительно съ остальной арестантской массой. Я зналъ, что въ ка-

торгъ онъ за убійство; но ужъ одинъ тотъ фактъ, что сибирскій судъ приговорилъ его (и раньше бывшаго поселенцемъ) всего къ шести годамъ каторги, говорилъ нѣсколько въ его пользу. Общее мнѣніе арестантовъ о Малаховѣ было, какъ о человѣкѣ честномъ и самостоятельномъ. Самъ Парамонъ любилъ похвалиться, что мошенничествомъ никогда не занимался, что и въ будущемъ твердо надѣется на свои руки. Въ общемъ нравъ у него былъ далеко не мрачный; подъ вѣшной серьезностью таилось много юмора и подчасъ чисто ребяческаго легкомыслія. Поострить на чужой счетъ, „потереть волынку“, какъ говорятъ арестанты, повозиться съ Чиркомъ, раззудить его, заставить вступить съ собой въ перебранку и даже полѣзть въ драку—было любимымъ занятіемъ Парамона.

— Ты чего не на свое мѣсто онучи положилъ?—якобы грозно спрашивалъ онъ Чирка.

— А ты что за баринъ такой выискался?—отвѣчалъ тотъ.

— Убери, говорю тебѣ, сейчасъ убери, не то рожу твою соплювую оботру ими. Ты знаешь, кто я такой?

— А кто?

— Я—Парамонъ Малаховъ! Я—родословный! А ты кто? Бродяга.

— Какой я бродяга? Перекрестись ты да выспись.

— Ты на житѣ былъ въ Ишимѣ сосланъ и оттуда подкопомъ въ Ялуторовскую тюрьму бѣжалъ, чтобъ майданъ снять.

Въ камерѣ общій хохоть.

— Онъ собаку съѣлъ; ты не знаешь, Парамонъ?—вступается Яшка Тарбаганъ.

— Молчи, гадъ!—кричитъ на него Чирокъ:—туда же творенье паршивое ротъ разѣваетъ.

Нужно сказать, что Чирокъ былъ вѣчнымъ предметомъ насмѣшекъ со стороны товарищей за свой побѣгъ изъ вольной Алгачинской команды. Уморительно рассказывали арестанты исторію этого знаменитаго побѣга. Только что выпущенный изъ тюрьмы, онъ выпилъ на послѣднія деньги и, взявъ въ товарищи татарина Малайку, пустился немедленно въ дорогу. Днемъ бѣглецы лежали въ кустахъ, ночью шли вдоль телеграфной линіи.

— Мы еграфомъ, еграфомъ пойдемъ, Малайша!

На вторую ночь оба сильно проголодались, подошли къ одной деревни и увидѣли впереди что-то бѣлое.

— Малайша, Малайша,—шепчетъ Чирокъ,—вѣдь это баранша... Вотъ Богъ послалъ намъ!

Подкрадываются, хотятъ схватить предполагаемаго барана—и вдругъ на нихъ кидается съ лаемъ огромная бѣлая собака... На силу Чирокъ съ Малайкой ноги унесли. На третій день ихъ арестовали, вернули въ Алгачи, „дали по пятидесяти“ и посадили до конца срока въ тюрьму. Съ тѣхъ поръ арестанты не давали Чирку покоя: лаяли на него собакой, блеяли бараномъ, куковали кукушкой, называли его, шутя, бродягой (у каторжныхъ издавна существуетъ вражда къ бродягамъ по призванію). Шутники рассказывали даже, что онъ съѣлъ таки собаку, но на мѣстѣ преступленія оставилъ хвостъ, по которому и былъ уличенъ; что за ужинъ изъ собачины онъ отлученъ попомъ отъ святыхъ тайнъ, и что собачій хвостъ припечатанъ къ его статейному списку...

Чирокъ относился довольно хладнокровно ко всѣмъ подобнымъ рассказамъ и насмѣшкамъ и въ шутку только показывалъ иногда видъ, что сердится; одинъ Малаховъ умѣлъ раззудить его и довести, что называется, до бѣлаго каленія.

— Хм!—не унимался онъ:—другіе по крайности сухарями или майданомъ прельщаются, бродяжить идутъ, а онъ собачины отвѣдать захотѣлъ. Оголодалъ на алгачинской баландѣ!

Чирокъ молчить.

— Ловятъ вотъ этакого чорта, приводятъ въ тюрьму. „Откуда ты?“ Я, говорить, братцы, много горя видѣлъ... Я, говорить, съ Соколинаго Острова бѣжалъ, въ желѣзныхъ бродняхъ море переплылъ, сорокъ верстъ подклопомъ шелъ... дайте мнѣ, говорить, братцы, майданъ поддержать, поправиться... Я—генералъ Кукушкинъ!.. У, бродяжня проклятая!

Чирокъ опять упорно молчитъ и, лежа на своемъ мѣстѣ, сосетъ цыгарку и поминутно сплевываетъ на полъ. Парамонъ сидитъ съ нимъ рядомъ и продолжаетъ повѣствовать о продѣлкахъ бродягъ, обращаясь ко всей камерѣ и изрѣдка только къ самому Чирку.

— А въ тюрьмѣ онъ живетъ: надѣнетъ красную рубаху, подбоchenится и идетъ такимъ дьяволомъ... Мы-ста не мы-ста!.. У, черти окаанные! Перма, соленые уши!

Въ отвѣтъ еще разъ молчаніе; только слушатели заливаются смѣхомъ.

— Въ дорогѣ того хуже: захватить себѣ одинъ полсажени наръ.—Подвинься, говорятъ ему, братецъ.—„Ты развѣ не знаешь, гово-

рить, къ кому обращаешься? Ты кто такой? Ты родословный? А я—Иванъ, родства не помнящій! Понимай это! Здѣсь одна моя нога, а тамъ другая лежитъ. Полѣзай подъ нары!“—Вотъ и приходится страдать нашему брату родословному изъ-за нихъ... изъ-за этакихъ вотъ чертей... Вотъ изъ за этакихъ... вотъ какъ этотъ... во-вотъ, что лежитъ тутъ!

Парамонъ протягиваетъ палецъ по направленію къ Чирку и съ лицомъ комически-мрачнымъ и серьезнымъ долго держать его въ такомъ положеніи, повторяя:

— Вотъ изъ-за нихъ самыхъ... этакихъ вотъ... изъ-за летучекъ тобольскихъ, хвосторѣзовъ коровьихъ, костогрызовъ безсовѣстныхъ, тварюгъ!..

— Самъ тварюга!—вскакиваетъ вдругъ Чирокъ, выведенный изъ себя не обличеніями и даже не ругательствами Парамона, а главнымъ образомъ его пальцемъ, который такъ долго виситъ въ воздухѣ и всѣмъ указываетъ на него. Этого движенія пальцемъ Чирокъ почему-то никогда не выдерживаетъ, и въ крайнемъ случаѣ, когда ничто не дѣйствуетъ, Парамонъ всегда къ нему прибѣгаетъ.

— Гадъ паршивый! Дьяволъ чернопазый!—кричитъ нараспѣвъ по-пермяцки, окончательно озлившійся Чирокъ и иногда, вскочивъ, принимается даже тузить своего мучителя. А чернопазому дьяволу того только и нужно было: довольный своимъ успѣхомъ, онъ покорно принимаетъ здоровеннѣйшіе тумаки въ спину и заливается веселымъ смѣхомъ.

Совершенно другой типъ представлялъ собою уроженецъ Енисейской губерніи, старикъ Гончаровъ.

Надъ „челдонами“, „желторотыми челдонами“, т. е. сибиряками \*), арестанты очень любятъ поострить и посмѣяться. Чѣмъ-то черствымъ, бездушно-трезвымъ и эгоистичнымъ вѣетъ отъ того сибирскаго типа, который рисуется въ разсказахъ арестантовъ (причемъ, подражая сибирскому говору, они всегда почему-то гнусавятъ). Не могу позабыть одного характернаго разсказа бродяги Дорожкина о томъ, какъ однажды его арестовали челдоны въ какомъ-то

---

\*) Впрочемъ, нужно замѣтить, что только въ Западной Сибири общепотребительно слово „челдонъ“ въ приложеніи къ крестьянину (такъ-же, какъ „варнакъ“—къ каторжному); въ Забайкальи же каждый крестьянинъ страшно обидится, если его такъ назовутъ, и самъ обзываетъ челдонами арестантовъ. Но послѣдніе, понятно, не признаютъ за собой этой клички.

*Прим. авт.*

селеніи Западной Сибири. Привели его въ баню и, крѣпко-на-крѣпко скрутивъ веревками руки, оставили такъ, а сами пошли въ предбанникъ пить водку.

— Вотъ затекли у меня, братцы, руки, окрѣпли... Пересталъ я даже и слышать, что на мнѣ веревки. Думаю—надо быть, ослабли немного. Оглядываюсь кругомъ—окно. Вотъ я какъ разбѣгусь—да головой въ раму! Какъ набѣгутъ въ баню челдоны... Какъ зачали меня поливать!.. Повалили на землю: я сижу, ни живъ, ни мертвъ, наклонилъ голову. Они мнѣ въ загорбокъ, знай, накладываютъ. Добрыхъ полчаса лупили, ажно въ глазахъ у меня смерелось. Двое устанутъ, другіе двое подходятъ.—Пожалѣйте, говорю, старички, хоть не меня, а руки свои. Чѣмъ землю пахать будете?—„А чаво, паря, и въ самомъ дѣлѣ... Руки-то свои вѣдь... дороже его башки“.—Ударили еще по разу и опять пошли въ предбанникъ водку пить. Я сижу на полу. Вотъ входитъ старикъ, сѣдой, какъ лунь, сгорбленный весь. Смотритъ на меня.—Дѣдушка, говорю ему (жалостно таково): дѣдушка!—„Чаво, спрашиваетъ, родимый?“—„Дай водицы испить... Запеклось все въ глотѣхъ... Вишь, какъ избили.“—„Ахъ, они, говоритъ, варвары! да за что они тебя, дитятко? Имъ-то какое дѣло, хоша бы ты и мать свою родную убилъ? Передъ Господомъ на томъ свѣтѣ отвѣтишь. Всѣ отвѣтимъ“.—Беретъ черпакъ банный и подаетъ мнѣ старикъ воды напиться. Чистымъ медомъ вода эта мнѣ показалась, всю до дна выпилъ.—„Пей, говоритъ старикъ, пей еще родной!“—Да вдругъ, какъ випилъ я всю воду-то, какъ размахнется черпакомъ, да какъ хватить меня со всей силы по башкѣ—такъ черпакъ въ дребезги и разлетѣлся!.. Послѣ опять входятъ ко мнѣ всей гурьбой челдоны, и волостной старшина съ ними. Я къ нему съ жалобой:—Прикажите, говорю, ваше степенство, помазать мнѣ чѣмъ-нибудь руки. Посмотрите, кровь изъ-подъ веревокъ брызнула. Посмотрѣлъ: „О! говоритъ, паря, они и впрямь черезчуръ ужъ. Поослабьте немного да помажьте ему руки чистымъ дегтемъ“.—Схватываетъ одинъ челдонъ мазилку дегтарную (тутъ же и кубышка съ дегтемъ стояла), да какъ сунетъ мнѣ въ рыло! Мазь, мазь! Всего, какъ чорта, вымазалъ. Привязали меня потомъ къ телѣгѣ и повезли въ Ачинскъ. Мухи меня всего дорогой облѣпили. Бѣгу за телѣгой, ровно дьяволъ какой, изъ самаго пекла достатый... Ребятишки по деревнямъ увидятъ — къ матерямъ домой бѣгутъ.

Таковы рассказы о безсердечной, доходящей до сладострастія,

жестокости сибиряковъ. Возможно, что въ нихъ есть извѣстная доля правды. Практичность и трезвость взглядовъ сибиряка, полное отсутствіе поэзіи въ его душѣ, хитрость и умѣнье сдерживаться сразу бросаются въ глазу русскому человѣку. Но онъ обладаетъ за то чертами и качествами, которыми безконечно превосходитъ послѣдняго и которыя ближе ставятъ его къ западно-европейскому типу. Умъ его менѣе засоренъ отжившими традиціями и предразсудками, болѣе способенъ къ развитію и воспріятію новыхъ идей и понятій, отличается большею независимостью и свободолобіемъ. Да оно и понятно: сибирякъ не зналъ крѣпостного права, онъ и теперь не знаетъ, что такое малоземелье и связанные съ нимъ для мужика нищета и безправіе; въ немъ не видно той заботы, того раболѣпія передъ властями, какимъ такъ непріятно поражаетъ коренная Русь.

Много разъ приходилось мнѣ мѣнять свое мнѣніе о томъ или другомъ арестантѣ, въ томъ числѣ и о старикѣ Гончаровѣ, но единственное, чего никогда не приходило мнѣ въ голову отрицать въ немъ, это ясный, чисто сибиряцкій умъ, умѣвшій всегда быстро ориентироваться въ каждомъ житейскомъ вопросѣ и положеніи, схватить, что называется, быка за рога. Благодаря этому качеству и острому, какъ бритва, языку, который никогда не лѣзъ за словомъ въ карманъ, онъ разыгрывалъ въ камерѣ роль отца-командира: молодыхъ поучалъ уму-разуму и охотно посвящалъ въ свои прошедшія походы и приключенія, имъ же числа не было, а болѣе зрѣлыхъ лѣтами или равныхъ себѣ по значенію выслушивалъ съ снисходительностью старшаго брата, никогда, впрочемъ, не упускавая случая и тутъ вставить какое-нибудь свое наставительное замѣчаніе. За это самолюбіе арестанты его не любили. Гончаровъ былъ очень тактичнымъ человѣкомъ и рѣзкости позволялъ себѣ только относительно вполнѣ безобидныхъ людей, поэтому съ нимъ рѣдко схватывались лицомъ къ лицу и лишь за глаза честили на всѣ корки. Друженъ онъ былъ съ однимъ только Семеновымъ, своимъ землякомъ: все, что имѣли, они дѣлили пополамъ, ѣли и пили вмѣстѣ. Угрюмый и молчаливый Семеновъ, видимо раздражавшійся внутренне болтливостью старика, находилъ почему-то нужнымъ щадить его и терпѣливо выносилъ его неутомимое краснобайство и резонерство.

— Чистѣйшей степени лицеѣрь!—говорилъ про него Малаховъ, похвалявшійся тѣмъ, что онъ любому человѣку въ глаза матку-

правду отрѣжетъ:—лисица сибирская! Подумаешь, настоящій монахъ былъ, трудами рукъ своихъ жилъ, хозяйство большое имѣлъ; а самъ — сказать срамно!—вѣдь здѣсь многіе его на волѣ-то знали: всѣ въ одинъ голосъ сказываютъ, что нашимъ братомъ-поселенцемъ кормился... Сколько онъ ихъ перебилъ, такъ дай мнѣ Богъ столько лѣтъ на свѣтѣ прожить! Первый злодѣй былъ... А теперь какимъ прикидывается химикомъ! \*).

— Не тѣ времена... Въ другой тюрьмѣ показали бъ ему, что за это арестанты съ ихнимъ братомъ дѣлають,—отзывался Яшка Тарбаганъ.

— Нѣтъ, ребята,—говорилъ Чирокъ: — я за что не люблю Гончарова? За то, что онъ другихъ все осуждаетъ, всѣхъ осуждаетъ, да все знаетъ... Я да я! только и слышишь. А другой при ѣмъ и рта не смѣй развѣвать.

Во время одной ссоры Чирокъ такъ бросилъ Гончарову въ лицо попрекъ насчетъ поселенцевъ; бросилъ, да тутъ же и языкъ прикусилъ. Гончаровъ живо сбилъ его съ позиціи.

— Чего бѣтаешь?—закричалъ онъ раздраженно:—и бѣтаешь зря! Тутъ вѣдь много нашихъ, въ тюрьмѣ. Вонъ Петька меня хорошо знаетъ, Ракитинъ въ шестомъ номерѣ знаетъ, Васильевъ, Григорьевъ... Спроси, рты у нихъ не замазаны. Эхъ, дуракъ, дуракъ! Поселенцевъ бить... Да что съ его возьмешь, съ такого, какъ ты? Стану я руки марать. Дожилъ до сѣдыхъ волосъ и лучше-бы пути не нашелъ, какъ копѣйку добыть? Вонъ Петька знаетъ, какъ я жилъ. Другой баринъ такъ не живетъ! Когда въ кабацѣ цѣловальникомъ стоялъ, меня вся округа знала, и всѣ уважали. И всегда ко мнѣ шли, потому я умѣлъ и зналъ, кого какъ принять и угостить. Фартовые люди тоже ко мнѣ липли. Укрыться-ли чело-вѣку нужно — опять ко мнѣ. Спроси вотъ Петьку, онъ не дастъ мнѣ солгать: три раза онъ изъ Канской тюрьмы бѣгалъ, и каждый разъ я же пряталъ!

— Да я что-жъ!—оправдывался Чирокъ.—Я вѣдь то, что люди... Сказываютъ: много народу побилъ...

— Много народу? Это что-же? Они считаются хотятъ, кто больше побилъ? И кто менѣ, тому медаль хотятъ выдать за честность, али прямо въ рай отправить? Вотъ что значитъ—просвѣти-

---

\*) „Химикъ“ на арестантскомъ жаргонѣ—тихоня, лицемеръ, подлипало.

*Прим. авт.*

лись въ Шелайской тюрьмѣ. Честности стали набираться... Нѣтъ, берите ужъ себѣ эту честность, такъ и такъ ее надо, а мы и безъ честности вѣкъ доживемъ. Мы въ каторгу за то пришли, что мошенниками и подлецами были; намъ съ вами, значить, однѣхъ щей не хлебать! Народу, вишь, много побилъ я? зависть ихъ взяла. Я развѣ таюсъ? Я вотъ поляка одного убилъ, убилъ и подъ кочку въ болотѣ закопалъ. Такъ двадцать лѣтъ прошло—никто не узналъ. Одинъ Богъ видѣлъ. Потому обиды я не стерплю, за обиду всегда отомщу; развѣ живъ не буду, забуду. Но за то я и добро вѣкъ помню.

И долго еще, разсуждая, ходилъ Гончаровъ по камерѣ, грузно поворачивая свою огромную тушу, въ которой было до семи пудовъ вѣсу, и напоминая собой разъяреннаго медвѣдя, ставшаго на заднія лапы... Онъ бывалъ страшенъ въ минуты гнѣва. Онъ самъ разсказывалъ, какъ десять лѣтъ назадъ во время шуточной борьбы съ такимъ же, какъ самъ, енисейскимъ медвѣдемъ—собственнымъ зятемъ, онъ съ такой силой ударилъ его о землю, что у несчастнаго разлетѣлся на двѣ части черепъ, за что Гончаровъ присужденъ былъ всего къ семи мѣсяцамъ высылки и церковному покаянію. Если подобныя вещи дѣлались въ шутку, въ трезвомъ состояніи, то чего же слѣдовало ждать отъ вспышекъ бѣшенства или пьянаго самозабвенія?

Малаховъ не проронилъ ни слова во время стычки съ Чиркомъ, хотя мнѣнія своего о Гончаровѣ не перемѣнилъ. Впослѣдствіи я не разъ слыхалъ и отъ многихъ другихъ недоброжелателей Гончарова, что недобрая слава его десятки лѣтъ гремѣла въ Енисейской губерніи, пока, наконецъ, правительству удалось поймать и уличить опытнаго таяжнаго волка. Спрашивалъ я о прошломъ Гончарова и у земляковъ его, но даже болтливый и легкомысленный Ракитинъ отозвался уклончиво:

— Мало-ли, Иванъ Николанчъ, о чемъ бѣтають зря... А настояще обсказать трудно.

Однажды, когда, къ разговору, я спросилъ самого Гончарова о томъ случаѣ, который привелъ его въ каторгу, онъ сталъ клясться и божиться, что въ этотъ разъ попалъ ни за что.

— Вотъ что скажу я вамъ, Иванъ Миколанчъ. Мошенничалъ я, можно сказать, всю жизнь, грабилъ и даже убивалъ—не таюсъ. Ну, а въ этотъ разъ пришлось за чужой грѣхъ пострадать. Вотъ какъ передъ истиннымъ Богомъ говорю вамъ! Цѣловальникомъ я



былъ. Разъ вечеромъ, — въ кабацѣ никого не было, — заходить товарищъ мой Вируковъ. „Я, говорить, съ Пахомувымъ въ городѣ бѣду. Пьянъ, какъ стелька, въ телѣгѣ лежитъ, и деньги при ѣмъ, хоть всего обернѣ“. Посмѣялись мы. Выпилъ онъ немного, вышелъ изъ кабака и дальше поѣхалъ. Я тоже спать ушелъ. А на другой день, слышу, нашли телѣгу и лошадь безъ хозяина, а въ телѣгѣ Пахомувъ лежитъ убитый. Вируковъ какъ въ воду канулъ. Начались розыски. И покажи тутъ одна женщина-сосѣдка... Чтобъ ей, стервѣ, въ пятомъ колѣнѣ анаемой быть! Покажи, будто она видѣла, какъ Пахомувъ на этой самой телѣгѣ подѣзжалъ къ моему кабаку, долго у меня сидѣлъ, а потомъ, будто, мы вдвоемъ вышли и сѣли въ телѣгу.

— Зачѣмъ же она показала то, чего не было?

— Вотъ подите, спросите у подлюхи. Я такъ полагаю, что когда Вируковъ сталъ опять въ телѣгу садиться, Пахомувъ-то, хоть и сильно пьянъ былъ, приподнялся немного: она и приняла его за меня. Потому росту онъ былъ почти такого же, и въ плечахъ такой же широкой и обличьемъ сильно схожъ.

— А Вирукова такъ и не нашли?

— То-то, что не нашли. Бѣжалъ, надо думать.

— Коли спустилъ его въ Енисей, такъ гдѣ ужъ тутъ найдешь! — замѣтилъ Малаховъ, не то шутя, не то въ серьезъ.

— Кто спустилъ?

— Да ты.

Гончаровъ ничего не отвѣтилъ, только пыхнулъ своей трубкой и презрительно сплюнулъ на полъ.

— Вотъ что мнѣ пѣдно-то, Иванъ Миколанчъ, — продолжалъ онъ послѣ непродолжительнаго молчанія: — что и досадно-то! Тридцать лѣтъ мошенничалъ, и все съ рукъ сходило, всегда правымъ оставался, а тутъ изъ-за какой-нибудь шкуры, изъ-за сволочи, прости Господи, на пятнадцать лѣтъ пошелъ!

Въ другой разъ, когда мы оставались одни въ камерѣ, оба по болѣзни освобожденные отъ работъ, старикъ снова заговорилъ со мною о своемъ дѣлѣ; снова, почти дословно, рассказалъ то же, что и при всѣхъ разсказывалъ, и такъ же горько жаловался на несправедливость судьбы. Одинъ только небольшой штрихъ прорвался въ новомъ его разсказѣ, штрихъ, котораго въ тотъ разъ не было, и который заставилъ меня подозрительно настроиться.

— Заходить товарищъ мой Вируковъ. „Я, говорить, съ Пахо-

мовымъ въ городъ ѣду. Пьянъ, какъ стелька, въ телѣгѣ лежитъ, и деньги при ѣмъ. Тысячи съ двѣ, пожалуй, есть. Что, говорить, дѣлать?»—Я смѣюсь. Выпилъ онъ немного, вышелъ изъ кабака и дальше поѣхалъ.

— А вы что же ему отвѣчали на вопросъ, что дѣлать?

— Да ровно ничего... Такъ посмѣялся только: „Оглаушь его, говорю, стаяжкомъ хорошенько да и спусти въ оврагъ“. Въ шутку, вѣстимо, сказалъ. А оно съ шутки-то и сталося.

Однако довольно о Гончаровѣ. Много-ли, мало-ли перебилъ онъ на своемъ вѣку народа; виновенъ или чистъ былъ, какъ голубь, въ томъ дѣлѣ, за которое попалъ въ каторгу,—крови во всякомъ случаѣ было достаточно на его рукахъ, и онъ самъ не думалъ скрывать этого. Онъ былъ, конечно, звѣрь; но и звѣрь оставляетъ порой о себѣ добрую память! Такой именно добрый слѣдъ оставилъ въ моей душѣ и этотъ звѣрь-человѣкъ. Если намъ суждено когда-нибудь еще разъ встрѣтиться въ жизни, я увѣренъ, что мы встрѣтимся хорошими пріятелями... Одна чисто-человѣческая, и довольно рѣдкая въ арестантахъ, черта особенно привлекала меня въ Гончаровѣ,—это отеческая нѣжность, съ которою любилъ онъ маленькихъ дѣтей. Любовь эта сквозила во всѣхъ его разсказахъ о нихъ. Разъ, когда я писалъ ему письмо къ женѣ и внучкѣ, которую онъ оставилъ на волѣ дѣвочкой трехъ лѣтъ, и когда дошелъ до обыкновеннаго въ письмахъ простолюдиновъ выраженія: „Любезной внучкѣ моей Дашѣ посылаю родительское благословеніе, навѣки нерушимое“, изъ-подъ этихъ свирѣпыхъ бровей градомъ хлынули слезы... Любилъ также старикъ кормить подъ окнами тюрьмы голубей и другихъ мелкихъ пташекъ... О дальнѣйшей судьбѣ Гончарова скажу въ своемъ мѣстѣ \*).

---

\*) Въ настоящихъ очеркахъ несоразмѣрно часто фигурируютъ уроженцы Сибири и Пермской губерніи, и обстоятельство это можетъ быть истолковано читателемъ не къ выгудѣ этихъ послѣднихъ. Сибиряки или, по крайней мѣрѣ, осужденные сибирскимъ судомъ, дѣйствительно, составляютъ огромный процентъ среди обитателей нерчинской каторги, но объясняется это, я думаю, главнымъ образомъ тѣмъ, что большая часть здоровыхъ каторжанъ изъ российскихъ губерній идетъ кругоморскимъ трактомъ на Сахалинъ, въ Сибирь же приходятъ почти исключительно слабосильные и малосрочные, причемъ послѣдніе очень скоро выпускаются въ вольную команду. Нужно, впрочемъ, оставить кое-что и на долю безгласнаго сибирскаго суда.

Прим. авт.

## X.

## Мои ученики Буренковы.

Ученики продолжали учиться... Буренкова и Пестрова иначе и не называли въ камерѣ, какъ учениками; впрочемъ, многіе путали значеніе словъ „ученикъ“ и „учитель“ и нерѣдко меня самого звали „ученикомъ“... Пестровъ, какъ застылъ на складахъ, такъ и не двигался дальше; а между тѣмъ, каждую свободную минуту онъ посвящалъ ученью: сидѣлъ на своихъ нарахъ съ листкомъ написанной мной азбучки въ рукахъ и шепталъ надъ нею, точно колдунъ свои заклинанія. Отдѣльные слоги онъ складывалъ довольно хорошо, но при соединеніи ихъ въ слова память каждый разъ ему измѣняла, и выходило у него чортъ знаетъ что.

— С...ѣ...сѣ! н...о...но!

И Пестровъ задумывался.

— Что же вмѣстѣ будетъ, Пестровъ?

— Перо!—отвѣчалъ онъ послѣ долгаго размышленія, приводя меня въ отчаяніе.

Въ одинъ прекрасный день Малаховъ, сіяя и торжествуя, принесъ таки въ рукавицѣ карандашъ и какую-то старую, истрепанную азбучку. Никифоръ ликовалъ чуть-ли еще не больше его самого. Даже вялый и обезкураженный своими неуспѣхами Ромашка нѣсколько оживился. Но тутъ же я подмѣтилъ и недобрую тѣнь, пробѣжавшую между учениками. Никифоръ съ жадностью схватилъ и карандашъ, и азбучку, считая ихъ какъ-бы своей неотъемлемой собственностью.

— Ты вѣдь мнѣ обѣщалъ, Парамонъ?.. Я тебѣ заплачу.

Пестровъ молчалъ, но съ очевидной завистью смотрѣлъ на Никифора. Я замѣтилъ послѣднему, что онъ долженъ подѣлиться съ товарищемъ карандашомъ.

— Да ему зачѣмъ, Николаичъ? Онъ вѣдь складовъ не знаетъ еще? Онъ... А я писать учиться хочу.

— Вы тоже не Богъ знаетъ какъ складываете.

— А не ты же-ль самъ говорилъ, что можно въ одно время и читать и писать гуквы учиться? Гумаги не жаль.

— Во-первыхъ, не *гуквы* и не *гумага*, я ужъ говорилъ вамъ. А потомъ нечего и насчетъ карандаша жадничать. Азбучку же и совсѣмъ можете Роману отдать; вамъ она не нужна больше.

— А повторять-то? Безъ азбучки забудешь. Какъ безъ азбучки учиться? Мы вмѣстѣ съ имъ глядѣть будемъ.

Впрочемъ, черезъ нѣсколько же минутъ порывъ жадности смѣнился порывомъ великодушія, и я слышалъ, какъ Никифоръ самъ уговаривалъ Пестрова взять у него и часть карандаша, и азбучку. Но тотъ чувствовалъ себя сильно обиженнымъ и долго капризничалъ.

— Не надо мнѣ... Я брошу учиться... Памяти нѣтъ...

Такъ что вся камера принялась, наконецъ, ругать его.

— Ишь вѣдь какой ты вредный человекъ, Пестровъ. Сколько зла въ тебѣ сидитъ! Микишка—простецкій парень, у того все отъ сердца идетъ, а ты—нѣтъ.

Пестровъ взялъ азбучку, но отъ карандаша отказался.

Между тѣмъ, совершенно для всѣхъ неожиданно, объявился еще третій ученикъ, такой, на кого и подумать бы никто не могъ. Двоюродный братъ Никифора—Михайла, по фамиліи тоже Буренковъ, въ одинъ изъ нашихъ вечернихъ уроковъ долго стоялъ у стола, скрестивъ на груди руки, и вдругъ выпалилъ:

— Туесъ ты яростокишный, погляжу я, Микишка. Этакіхъ пустяковъ въ башку взять не можешь. Бросай учиться, не срамись и учителя не мучь по пустому.

Никифоръ вскипѣлъ.

— Ты что за ученый выискался? Ты бы, небось, въ башку лучше взялъ?

— Вѣстимо-бы лучше. Я и такъ лучше тебя складъ знаю.

Меня заинтересовала эта похвальба, такъ какъ я зналъ, что Михайла безграмотный, и въ шутку сказалъ ему:

— А ну-ка, прочтите вотъ это слово.

И къ великому моему изумленію, подумавъ немного, Михайла совершенно вѣрно произнесъ указанное слово, совравъ только въ окончаніи (слово было длинное). Никифоръ тоже былъ пораженъ. Придя нѣсколько въ себя, онъ хотѣлъ было уличить брата въ ошибку, но самъ сдѣлалъ еще большую и окончательно взбѣсился. Я сталъ, между тѣмъ, экзаменовать Михайлу и узнать, что прислушиваясь изъ своего угла къ нашимъ урокамъ и искоса приглядываясь къ буквамъ, онъ успѣлъ научиться гораздо большому, чѣмъ сами „ученики“. Послѣ этого я началъ уговаривать Михайлу приступить къ правильнымъ занятіямъ. Камера подняла его на смѣхъ. Всѣмъ казалось чрезвычайно удивительнымъ и смѣшнымъ, что сорокалѣтній человекъ хочетъ обучаться грамотѣ! Нужно сказать, что Ми-

хайла далеко не пользовался симпатіями арестантовъ, и я давно уже подмѣчалъ, что и съ братомъ живетъ онъ не ладно. Михайла былъ лѣтъ на пятнадцать старше Никифора и характеръ имѣлъ во всемъ ему противоположный. Какъ тотъ былъ говорливъ и экспансивенъ, такъ этотъ молчаливъ, постоянно серьезенъ и скрытенъ. Никифоръ любилъ щеголять своимъ товариществомъ и вѣрностью арестантскимъ порядкамъ и обычаямъ; Михайла презиралъ всякое общественное мнѣніе, съ которымъ самъ не былъ согласенъ, и не боялся открыто высказывать взгляды на вещи, шедшіе прямо вразрѣзъ съ мнѣніемъ камеры и даже всей тюрьмы. Гордости, „зла“, какъ выражались арестанты, въ немъ была бездна. Онъ помнилъ малѣйшую, когда-либо нанесенную ему обиду и никогда не прощалъ. Онъ былъ до мозга костей индивидуалистъ. Я уже рассказывалъ какъ-то раньше, что слово „товарищъ“ почти не употребляется арестантами въ томъ высшемъ, хорошемъ смыслѣ, какой извѣстенъ образованнымъ людямъ; въ современныхъ тюрьмахъ замѣчается быстрое и ничѣмъ неудержимое умираніе старинныхъ арестантскихъ обычаевъ и понятій, съ трудомъ уживающихся съ новыми порядками и условіями жизни Мертваго Дома; и тѣмъ не менѣе, если не на дѣлѣ, то на словахъ чувство арестантской чести и товарищества до сихъ поръ еще живо и устойчиво. Такъ, напримѣръ, свято чтится и сохраняется обычай помогать всѣми возможными средствами посаженнымъ въ карцеръ товарищамъ, не справляясь о причинахъ ареста. Имъ арестанты отдаютъ послѣдній табачишко-послѣдній кусокъ сахару, вырѣзаютъ изъ обѣденнаго мяса лучшія порціи и проч. Само собой разумѣется, что передавать все это приходится тайкомъ отъ начальства, но въ тюрьмѣ всегда находится нѣсколько рыпарей безъ страха и упрека, которые, рискуя собственной шкурой и свободой, пекутся о заключенныхъ въ „секретныхъ“, стоятъ на стрѣмѣ и отыскиваютъ ту или другую лазейку для сношеній съ ними. Вотъ насчетъ этой-то помощи сидящимъ въ карцерахъ Михайла и высказывался не разъ въ самомъ враждебномъ смыслѣ. Однажды, когда ему показалась слишкомъ малой порція мяса за обѣдомъ, онъ не преминулъ опять ополчиться противъ благотворителей. Вся камера, я помню, какъ одинъ человекъ, накинулась на него, ругая жаднымъ, аспидомъ и припоминая такіе случаи изъ прежняго его поведенія, о которыхъ онъ и самъ позабылъ уже. Но Михайла не струсилъ и продолжалъ отстаивать свой взглядъ горячо и вмѣстѣ методически спокойно.

— Попался въ карецъ—ну, и сиди. Твое дѣло. Я попадусь—и мнѣ не подавай. За что попадаютъ въ карецъ? За карты, за грубость, за лѣность—за что больше? Эко нашли страдальцевъ! Въ каторгу шли, не боялись, а тутъ заслабило. Въ каторгу пришли, а хотять жить, какъ на волѣ, съ надзирателями лаяться, въ карты играть.

— Смотрите, братцы: честный междъ насъ выискался!.. Попъ пришелъ. Зачѣмъ же ты самъ мошенничалъ?

— Вѣстимо, мошенничалъ; развѣ я скрываюсь? Только я не плачу, какъ вы, что въ тюрьмѣ сижу.

— Да, ты честно ведешь себя. На работѣ, небось, не лодорничаешь? Да ты вѣдь первый лодырѣ! Гдѣ только возможно, ты вездѣ норовишь увильнуть и на другого свалить. На поторжной работѣ \*) съ тобой горе робить, потому ты для виду только тянешь веревку али что!

— А для чего я буду изъ жилъ тянуться? Я и вамъ лодорничать не запрещаю; только съ умомъ дѣлайте, понимайте, когда можно и когда не можно.

— Ахъ-ты, лисица семейская! Смерть я не люблю, братцы, вотъ этакихъ химиковъ, тихонь, въ которыхъ зла столько заключается!—кричалъ Малаховъ:—обѣли, вишь его, въ карцерахъ сидя... Оголодалъ!

— Да и оголодалъ. Почему въ послѣднее время порціи меньше стали? Вѣдь я не слѣпой. Больно часто на карцера что-то сыслагаться зачали... Такъ лучше ужъ совсѣмъ туда не давать. За что намъ вольную команду кормить? Онъ тамъ пьянъ напьется, набуянить, а я корми его? Онъ тамъ водку тянетъ, а я послѣднія крохи ему подавай? Нашелъ дурака!

— Да ты-то, братъ, не дуракъ, никто этого не скажетъ.

Михайла разсуждалъ логически и, казалось, вполне правильно, а сердце все-таки почему-то не лежало къ этой его безжалостно-логической послѣдовательности, и нѣжной симпатіи внушить онъ къ себѣ не умѣлъ. Но меня привлекалъ онъ несомнѣнной своей даровитостью и недюжинностью, независимостью характера, энергичнаго, гордаго, оригинальностью всего своего духовнаго облика. Я сказалъ уже, что камера подняла на смѣхъ его желаніе учиться

---

\*) Поторжной зовется артельная работа, въ которой нѣтъ личныхъ уроковъ.

въ сорокъ два года грамотѣ, но онъ и тутъ пренебрегъ общественнымъ мнѣніемъ и, отшучиваясь и отмалчиваясь отъ обидныхъ укоръ, въ какихъ-нибудь три мѣсяца, при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ для ученія, сталъ сносно читать, писать и усвоилъ четыре правила ариметики. А къ концу этого срока началъ учиться еще и церковно-славянскому языку; онъ былъ, какъ и Никифоръ, семейскій, только богомольнѣе его. Никифоръ курилъ табакъ, а Михайла считалъ его проклятымъ на семи соборахъ.

Съ двоюроднымъ братомъ шла у него, повидимому, старинная глухая вражда. По прибытіи въ Шелайскую тюрьму, вражда эта на время прекратилась; подъ вліяніемъ вишняго гнета сердца размягчились, и Никифоръ просилъ даже Шестиглазаго о помѣщеніи его въ одной камерѣ съ братомъ: Михайлу тогда и перевели въ нашъ номеръ. Но учебныя занятія все перевернули вверхъ дномъ, и, какъ ни старался я внести въ сердца соперниковъ миръ и согласіе, какъ ни пускалъ въ ходъ свой авторитетъ учителя, вражда снова всплыла наверхъ и достигла самыхъ крупныхъ размѣровъ. Вражда эта была каплей горечи, отравлявшей радость, которую во время успѣшныхъ занятій испытывали и сами ученики, и я, и вся камера. Между Никифоромъ и Михайлой пылали постоянная ревность и злоба. Недоброжелательство ихъ другъ къ другу переносилось порой и на меня самого. Причиной этого прежде всего были условія тюремной жизни, при которыхъ приходилось учиться. Свободнымъ для ученія временемъ были только два-три часа отъ вечерней повѣрки до барабана, звавшего ко сну. За это время мнѣ нужно было успѣть и съ учениками заняться, съ каждымъ порознь (такъ какъ уровень ихъ способностей и успѣховъ былъ неодинаковъ), и самому хотѣлось иногда о чемъ-нибудь подумать, кое-что припомнить изъ бывшихъ знаній. Поэтому тѣ изъ учениковъ, съ которыми мнѣ случалось не заниматься нѣсколько вечеровъ подъ-рядъ, обязательно на меня дулись: каждому казалось, что другому я посвящаю больше времени и вниманія, чѣмъ ему. Михайла былъ умнѣе и тактичнѣе другихъ, но Никифоръ и Пестровъ часто вламывались въ амбицію. Отъ ихъ подозрительности не ускользнуло то, что съ Михайлой мнѣ дѣйствительно было пріятнѣе заниматься, чѣмъ съ ними, и что я выдаю ему больше знаковъ расположенія. Въ послѣднемъ я, точно, бывалъ виноватъ: восхищаться иногда быстрыми успѣхами любимаго ученика, не удержись и выскажешь громкую похвалу, а въ сердца остальныхъ

она вопьется, между тѣмъ, какъ отравленная стрѣла! Это были, истинѣ, взрослые дѣти, совершенныя дѣти, въ умахъ и душахъ которыхъ, какъ на дѣвственной почвѣ, легко могло взойти и худое, и доброе сѣмя... Къ сожалѣнію, условія нашихъ занятій были такъ неблагоприятны, что хорошее сѣмя трудно было взростить. Сколько происходило глухой борьбы изъ-за азбучки, изъ-за евангелія, изъ-за карандашей, доставать которые было такъ трудно! Карандаши при каждомъ тюремномъ обыскѣ безжалостно отбирались, и ихъ нужно было тщательно прятать. Шла также борьба изъ-за мѣста за столомъ. Единственнымъ освѣщеніемъ для камеры служила маленькая жестяная лампа, немилосердно коптившая и бросавшая вокругъ себя довольно тусклый красноватый свѣтъ. Столъ былъ огромный, но скамейки специально для него не было: днемъ придвигались къ столу тѣ скамьи, которыя стояли подъ поднятыми нарами, но по вечерамъ, когда большинство арестантовъ тотчасъ же валилось на боковую, ихъ нельзя было выдвигать, и ученики могли пользоваться тѣмъ только мѣстомъ въ углу камеры, гдѣ скамейкой служили сами нары: его хватало лишь для двоихъ читающихъ или для одного пишущаго. На этомъ мѣстѣ, у стѣны, спалъ Михайла Буренковъ, и пока онъ не учился грамотѣ, Никифоръ безпрепятственно могъ имъ пользоваться; но когда и Михайла началъ заниматься, онъ по праву хозяина завладѣлъ и мѣстомъ у стола. О, сколько происходило тогда ссоръ и всякихъ исторій изъ-за этого мѣста, сколько ненависти волновало порой всю камеру, принимавшую живѣйшее участіе въ дѣлахъ моей школы! Пестровъ вскорѣ совсѣмъ бросилъ ученіе, и я больше не уговаривалъ его. Никифоръ же долгое время безмолвно дулся на меня, и на брата. Онъ вставалъ по ночамъ, когда всѣ уже спали, и мѣсто было свободно, и одинъ занимался письмомъ или чтеніемъ, чутко прислушиваясь къ шагамъ надзирателя и при каждомъ его приближеніи ныряя въ постель. Такъ просиживалъ онъ иногда до свѣта, безъ малѣйшей пользы для успѣховъ въ ученіи. Я долго не понималъ, чего дуется Никифоръ, почему онъ бросилъ со мной заниматься, но однажды между нимъ и Михайлой произошло бурное объясненіе, во время котораго они вынесли наружу всю свою прошлую грязь, начиная съ домашнихъ дразгъ на волѣ и кончая дѣломъ, за которое пошли въ каторгу, и общей жизнью въ Покровскомъ рудникѣ.

— Изъ-за тебя вѣдь попалъ я на каторгу!—съ сердцемъ говорилъ Никифоръ, расхаживая большими шагами по камерѣ. Боль-



шіе голубые глаза его горѣли огнемъ, а въ голосѣ слышалась грусть и глубокое убѣжденіе.—Изъ-за тебя... Ты старше былъ, ты больше понималъ... Ты-бъ остеречь меня долженъ, а ты замѣсто того вплотную меня затянулъ въ мошенничецкія дѣла.

Камера, обыкновенно державшая сторону Никифора, на этотъ разъ стала смѣяться надъ нимъ.

— Такъ ты, Никишка, тоже жалѣешь, что въ монахи не постригся?

— Онъ, ребята, честный былъ,—ядовито отвѣчалъ Михайло:—потому чортъ его чесалъ и чесалку объ него сломалъ. Онъ что до тѣхъ поръ дѣлалъ, какъ я его смутилъ? У отца разъ деньги слямзилъ, восемьдесятъ рублей, и съ дѣвками ихъ прогулялъ; къ китайцамъ въ магазинъ разъ ночью забрался, тысячи на двѣ товару тапнулъ; случалось, и чай въ обозахъ срѣзалъ, не брезговалъ... Ну, да это все не въ счетъ, онъ честный былъ...

— Не отопрусь я, ни отъ чего не отопрусь,—съ той же грустью и серьезностью въ голосѣ продолжалъ Никифоръ:—все это было. Только умъ-то у меня еще не вовсе порченный былъ, на правильную дорогу я могъ бы еще стать. Въ трезвомъ видѣ я боялся еще мошенничать... Развѣ забылъ ты, зачѣмъ я дружить-то съ тобой зачалъ, не посмотрѣлъ на то, что въ семьѣ у насъ тебя не любили? Тебя никто вѣдь не любилъ, потому ты—гордецъ. Развѣ я подлецомъ тебя считалъ? Ты вѣдь какимъ химикомъ ко мнѣ подѣхалъ? Ты вѣдь за богомола, святошу слылъ. Почему-жъ я и отъ товарищевъ прочихъ хотѣлъ отстать, къ тебѣ приклониться? А ты куда меня приклонилъ?

— Такъ, такъ. Я же и виноватъ вышелъ. Память-то у тебя, жалъ, коротка. Не былъ я—это точно—такимъ боталомъ пустымъ, какъ ты, не трезвонилъ на всѣхъ перекресткахъ о своихъ мошенничествахъ; ну, а все же ты врешь, врешь, Микишка, будто за святого меня почиталъ. Зналъ ты про мою жизнь, все доподлинно зналъ. А что прочихъ товарищевъ ты на меня промѣнялъ, такъ причина тутъ другая была.

— Какая причина?

— Такая, что меня ты умнѣ другихъ считалъ, надѣялся, что со мной не такъ скоро въ капканъ попадешься.

— Да съ тобой-то я скорѣ попался! Десять мѣсяцевъ всего мошенничалъ я съ тобой, да за то ужъ вплотную—и въ пьяномъ, и въ трезвомъ видѣ не бывалъ честнымъ.

— Я виновать, ты во всемъ, братъ, невиненъ!

— Вѣстимо, ты больше виновать. Ты-то бѣжалъ вѣдь, когда застрѣмили насъ, а меня одного бросилъ кашу расхлебывать?

— А ты, небось, выгородилъ меня, всю вину на себя принялъ? Ты же меня опуталъ кругомъ, твои-жъ родные и арестовали меня.

— Стойте вы, черти! Расскажите толкомъ, какъ все дѣло было, — остановилъ кто-то спорщиковъ, и одинъ изъ нихъ началъ рассказывать, перебиваемый ежеминутно поправками и ядовитыми укусами другого. Въ короткихъ чертахъ я узналъ слѣдующее. Разъ ночью, отрѣзавъ въ обозѣ на большой дорогѣ два мѣста чаю и взваливъ на стоявшую по близости телѣгу, Буренковы помчались по направленію къ Троицкосавску. Хозяева обоза гнались за ними, но догнать не могли. На разсвѣтѣ ужъ похитители прибыли на постоялый дворъ къ знакомому фартовцу. Между тѣмъ, преслѣдователи дали знать полиціи, и послѣдняя прежде всего нагрянула на этотъ постоялый дворъ, давно уже пользовавшійся темной репутаціей. Увидавъ полицейскихъ, Буренковы кинулись къ своей телѣгѣ, растворили ворота и стали выѣзжать вонъ. Полицейскіе пытались этому воспротивиться, но были отброшены прочь; нѣсколько сдѣланныхъ въ упоръ выстрѣловъ изъ револьвера также не устрасили кяхтинскихъ удалцовъ; выѣхавъ со двора, они, что было мочи, погнали лошадей вонъ изъ города... Пока снаряжалась конная погоня за ними, они были уже далеко и скрылись бы скоро въ лѣсу, если бы дорога не пошла въ гору по сыпучему песку. Изморившіеся кони стали. Полиція приблизилась и опять стала стрѣлять. Осторожный Михайла, сообразивъ, что спасти похищенный чай невозможно, бросилъ телѣгу на произволъ судьбы и скрылся въ кустахъ; но разгорячившійся Никифоръ, во что бы то ни стало, хотѣлъ догнать лошадей до лѣсу. Чтобъ остановить преслѣдованіе, онъ сдѣлалъ даже одинъ выстрѣлъ изъ имѣвшагося у него дробовика... Полиція, дѣйствительно, остановилась, но часть ея, спѣшившись, пошла обходомъ въ лѣсъ. Только замѣтивъ это движеніе (и то уже поздно), Никифоръ подумалъ о спасеніи. Но едва успѣлъ онъ добраться до опушки лѣса и забросить въ густую траву дробовикъ, какъ былъ окруженъ со всѣхъ сторонъ и схваченъ. На счастье его, полицейскіе позабыли въ суматохѣ о дробовикѣ, и когда потомъ вспомнили, то слѣдователь уже не принялъ къ свѣдѣнію ихъ запоздалаго и голословнаго обвиненія. Не брось Никифоръ ружья, онъ пошелъ бы, конечно, вмѣсто четырехъ, на двадцать лѣтъ каторги...

Михайла, между тѣмъ, бѣжалъ и скрывался цѣлыхъ восемь мѣсяцевъ: Никифоръ въ своихъ показаніяхъ все сваливалъ на него. Отъ этого онъ не отпирался и самъ.

— Я думалъ, тебя никогда не поймаютъ,—наивно оправдывался онъ. За то всѣми силами открещивался онъ отъ другого обвиненія Михайлы, будто бы онъ уговаривалъ своихъ родныхъ отыскать его и арестовать. По словамъ Никифора, родня его по собственному почину заманила Михайлу къ себѣ въ гости и передала въ руки полиціи. Михайла былъ страшно озлобленъ этимъ предательствомъ и самъ сознавался, что въ отместку, въ свою очередь, свалилъ все на Никифора и, кромѣ того, замѣшалъ въ дѣло кучу его родственниковъ.

— Пушай, думаю, черти, посидятъ въ тюрьмѣ, отвѣдаютъ казеннаго хлѣбача!

Въ концѣ концовъ, оба Буренковы приговорены были къ четыремъ годамъ каторги и попали сначала въ Покровский, а затѣмъ въ Шелайскій рудникъ. Въ дорогѣ они примирились, да и въ Покровскомъ жили безъ особенныхъ ссоръ; но теперь я имѣлъ несчастіе стать невольной причиной новыхъ раздоровъ между ними. Вся грязь прошлыхъ отношеній и проступковъ выволакивалась на свѣтъ Божій и отдавалась на всеобщее осужденіе и посмѣяніе. Камера, какъ я говорилъ уже, держала большею частью сторону Никифора, но обоимъ хотѣлось, видимо, знать мое мнѣніе, заручиться моимъ сочувствіемъ. Положеніе мое было крайне щекотливое, и я старался по возможности прекратить разговоры о прошломъ.

— Я парень простой,—говорилъ о себѣ Никифоръ,—у меня все отъ сердца, а не отъ ума идетъ... А ты хитрый, двуликій!

— Не хитрый я, а съ башкой,—возражалъ Михайла, стараясь казаться спокойнымъ, хотя такъ же былъ красенъ, какъ и Никифоръ.—Любишь ты хвалить себя, Микишка: простой, молъ, ты да безхитрошный... А что въ этой твоей простотѣ, когда товарищу отъ нея тошнѣе подчасъ, чѣмъ отъ хитрости бываетъ?

— Это какъ такъ?

— А такъ. Я хитрый, да я твоей доли никогда не заѣдалъ, а изъ-за твоей хваленной простоты мнѣ дорогой голодомъ приходилось сидѣть. „Общее, говорить, все у насъ будетъ, Михайла! Какъ братья родные, жить станемъ, всѣмъ дѣлиться другъ съ дружкой“. Я отвѣчаю: ладно, попробуемъ... Мѣшаю въ одну кучу и деньги, и все. А онъ въ карты играть! Еще кабы съ умомъ въ башкѣ, а то самъ же сейчасъ говорилъ, что ума-то у него нѣтъ. А туда же стосся

заложить нужно! Ну, и проиграется въ пухъ и прахъ, свое и мое спустить, и идемъ оба нѣсколько дней голодомъ.

— Да часто-ль было-то это? Безстыжіе твои шары! Раза два за всю дорогу.

— А все-жъ было.

— Ну, да и ты ужъ тоже, Михайла,—вмѣшивался вдругъ Парамонъ Малаховъ:—и ты хорошъ. Что ты на Покровскомъ продѣлывалъ?

— Что?

— Да ужъ знаю я что... Видалъ. Ты-то, можетъ, думалъ, никто не видитъ, а люди-то видѣли. Накупить, бывало, пироговъ, крадчись отъ Микишки, и ушлетаетъ за обѣ щеки одинъ, ходя поза тюрьмой, озирается, какъ волкъ!

— А что же, съ имъ, скажешь, дѣлиться было? Онъ въ карты играть, а я кормить его?

— Ну, и сказалъ бы такъ въ глаза ему! А то прятаться... Охъ вы, богомолы-фарисеи, праведники! Высокоумные!

И Парамонъ, плюнувъ съ сердцемъ, ложится на нары и замолкаетъ. Спорщики тоже, наконецъ, умолкаютъ, хотя долго еще, волнуясь, ходятъ, какъ звѣри, ввадъ и впередъ по камерѣ—одинъ въ одну, другой въ другую сторону.

Привязавшись къ своимъ ученикамъ и одного полюбивъ за его сердце и ребяческій нравъ, а другого за способности и твердый характеръ, я, во что бы то ни стало, стремился примирить ихъ. Михайлу мнѣ, дѣйствительно, удалось склонить къ миру, польстивъ его умственному превосходству, и онъ согласился уступить Никифору свое мѣсто за столомъ для вечернихъ занятій, но Никифоръ капризничалъ, какъ малое дитя, и не хотѣлъ возобновлять со мной занятій. Однажды мнѣ пришлось даже выслушать отъ него кучу самыхъ оскорбительныхъ вещей.

— За что вы сердитесь на меня, Никифоръ?—спрашивалъ я:—развѣ я сдѣлалъ вамъ какое зло?

— Кто мнѣ какое зло можетъ сдѣлать, — отвѣчалъ онъ, не глядя мнѣ въ глаза:—всѣ мы тутъ равны. Всѣ мошенники, каторжные, по одному дѣлу.

— Какъ по одному? За разные вѣдь дѣла приходятъ въ каторгу... Вы сами относились прежде ко мнѣ не какъ къ мошеннику.

— А я почему знаю, что и ты не былъ такимъ же мошенни-

комъ, какъ я, не украсть, аль не убилъ кого? Все же и тебѣ кто-нибудь помогу давалъ?

И при этомъ Никифоръ взглянулъ на меня такими наглыми и злыми глазами, что я по неволѣ замолчалъ и отошелъ прочь. Но другіе арестанты возмутились за меня противъ Никифора.

— Вотъ стойте ихъ, этакихъ чертей, учить, мучиться изъ за нихъ, — закричалъ Чирокъ, искренно негодуя: — благодарность отъ ихъ получишь, жди!

— Ахъ, дуракъ ты, дуракъ, Микишка! — переконфуженный, началъ головой Гончаровъ: — тебѣ самому вѣдь завтра стыдно будетъ того, что языкъ твой дурной сбѣталъ.

— Какое это ученье? — негодовалъ по своему и Парамонъ: — чтобы учитель да упрасивалъ ученика учиться? Да гдѣ это видано? Въ наши бы годы палкой хорошей по спинѣ отвозить — вотъ и ученымъ бы сталъ!

Михайла также чувствовалъ себя пристыженнымъ за брата и расхаживая по камерѣ, говорилъ:

— Туись ты колыванскій... Съ твоими-ль простокишными мозгами въ науку лѣзть?

Никифоръ молча сидѣлъ за евангеліемъ. Я легъ спать и, хотя мнѣ долго не спалось, сдѣлалъ видъ, что тотчасъ же уснулъ. Когда вся камера давно уже храпѣла, я видѣлъ, какъ Никифоръ нѣсколько разъ подходилъ къ моему мѣсту и долго въ меня всматривался, но я не открылъ глазъ. На слѣдующій день онъ въ рудникъ просилъ у меня прощенія, съ чрезвычайной наивностью умоляя нѣсколько разъ ударить его по щекѣ... Предложенія этого я, конечно, не принималъ, но помириться охотно согласился, такъ какъ въ сущности и не сердился нисколько. Въ тотъ же вечеръ наши учебныя занятія возобновились. Никифоръ былъ веселъ, оживленъ и отличался необычной понятливостью. Михайлу онъ также старался замаслить, какъ провинившійся въ чемъ-нибудь школьникъ замасливаетъ мать. Михайло велъ себя сдержанно и солидно. Камера тоже не поминала вчерашняго.

Никифоръ употреблялъ всѣ усилія нагнать брата въ писаньи, но это никакъ ему не удавалось. Его порывистыя, грубыя руки ломали карандаши, прорывали бумагу, прыгали и выводили такія никому невѣдомыя фигуры, что учитель чистописанія пришелъ бы въ ужасъ. А между тѣмъ, научиться письму было всегда завѣтнѣйшею мечтою всѣхъ шелайскихъ учениковъ: въ умѣньи писать простолю-

динъ видитъ квинтэссенцію всякаго знанія, идеаль учености. Боже, съ какой страстью и прилежаніемъ марали они по цѣлымъ днямъ и вечерамъ бумагу, едва только научившись выводить съ грѣхомъ пополамъ буквы! Уловивъ иногда ядовитую, какъ ему казалось, усмѣшку на губахъ Михайлы, Никифоръ вспыхивалъ, бросалъ бумагу и карандашъ и начиналъ жаловаться:

— Какое тутъ можетъ быть ученье, въ тюрьмѣ? И какой тутъ можетъ быть смѣхъ? Тебѣ хорошо молотобойцемъ быть, мѣхъ раздувать, на скамеечкѣ сидя, а попробовалъ бы, какъ я, десять верховъ въ день выбурить! Небось, тоже запрыгала бъ рука-то!

— А я развѣ не буривалъ?—возражалъ Михайла: —давно-ль я-то пересталъ бурить? Нѣтъ, ужъ лучше на туисъ свой, на башку пустую жалуйся.

— Брошу же я писать!—рѣшалъ тогда Никифоръ:—должно быть, и въ самомъ дѣлѣ дару на писанье нѣтъ. Займусь лучше читать хорошенько.

И, переходя внезапно къ полному отчаянію, вскрикивалъ:

— Да на что намъ, мошенникамъ, и вся эта грамота! на что?

— Давно бѣ такъ!—насмѣшливо поддакивалъ Чирокъ, сосавшій на своемъ мѣстѣ цыгарку.

— Миколанчъ! На что намъ грамота? на что?

Я старался, отвѣчая на этотъ вопросъ, выяснить пользу грамотности, говоря, что она дѣлаетъ человѣка умнымъ, а, слѣдовательно, и честнымъ; но, утверждая это, я и самъ порой сомнѣвался: на что она имъ, арестантамъ, вся эта грамота?.. Сколько разъ имѣлъ я впоследствии случай убѣдиться, что многіе изъ лучшихъ моихъ учениковъ, научившіеся и читать, и писать порядочно, по выходѣ въ вольную команду очень скоро забывали и то, и другое, и горькая досада шевелилась тогда въ душѣ, досада на то, что столько потрачено даромъ и труда, и времени. Не разъ мнѣ приходилось также слышать отъ самихъ арестантовъ, что грамотность даже вредна имъ, что мошенникъ счумѣетъ съ нею быть еще большимъ мошенникомъ, а честный человѣкъ, благодаря ей, развратится, начавъ мечтать о легкомъ трудѣ писаря и получивъ отвращеніе къ физическому труду. Я хорошо понималъ, конечно, всю поверхностность и вредность такихъ обобщеній на основаніи отдѣльныхъ, исключительныхъ фактовъ, но, признаюсь, нерѣдко овладѣвали мной сомнѣнія всякаго рода, и тогда я подолгу забрасывалъ свою школу. Надоѣдало бороться также съ прѣпятствіями, которыя ставило на каждомъ шагѣ начальство

нашимъ занятіямъ: оно то смотрѣло сквозь пальцы на существованіе въ тюрьмѣ карандашей и писанныхъ тетрадокъ, то вдругъ все отбирало и опять подвергало строжайшему запрету. Но проходило нѣкоторое время, и я съ любовью возвращался къ своей „педагогической“ дѣятельности. Среди всякихъ терній и шиповъ, которыми она была усѣяна, среди всякаго рода горечи и отравы, которую она проливала порой въ душу, было въ ней всетаки что-то доброе, свѣтлое, теплое, что озаряло и согрѣвало не только меня и моихъ учениковъ, но, казалось, и всю камеру. Арестанты какъ-то невольно пріучались съ уваженіемъ относиться къ бумагѣ и книжкѣ; мысли ихъ настраивались на высшій тонъ и ладъ. Въ другихъ номерахъ съ завистью посматривали на Буренковыхъ, слыша преувеличенные рассказы объ ихъ успѣхахъ и о моихъ учительскихъ способностяхъ, и множество людей мечтало перейти въ нашу камеру и также стать „учениками“ \*).

Не могу забыть того времени, когда Буренковы рѣшились послать своимъ женамъ и дѣтямъ собственноручно написанныя письма и стали готовиться къ этому торжеству. Не мало черняковъ было сочинено и переписано, прежде чѣмъ я выразилъ, наконецъ, свое одобреніе. Письмо Никифора было, впрочемъ, сочинено пѣликомъ мною, потому что изъ его безсвязныхъ черняковъ съ сотнями невозможныхъ ошибокъ и недописокъ удалось сохранить весьма немногое, и съ его стороны было только пріятнымъ самообольщеніемъ считать это письмо своимъ произведеніемъ. За то письмо Михайлы было, дѣйствительно, собственнымъ его дѣтищемъ, и написано оно было настолько толково и складно, что я не могъ удержаться отъ выраженія самаго искренняго восхищенія. Одинъ только недостатокъ я нашелъ въ немъ: обращеніе къ женѣ показалось мнѣ чрезчуръ сухимъ и холоднымъ. Нужно сказать, что въ августѣ этого же года (письма писались въ январѣ) Буренковымъ кончался срокъ

---

\*) Что касается способностей арестантовъ къ усвоенію грамоты, то читатели не должны думать на основаніи приведенныхъ въ настоящихъ очеркахъ чисто-случайныхъ примѣровъ, что въ большинствѣ случаевъ она дается имъ туго. Въ моемъ личномъ опытѣ способные ученики относились къ тупымъ, вѣроятно, какъ половина къ половинѣ. Принимая въ расчетъ возрастъ арестантовъ, несомнѣнно отличающійся и меньшей воспріимчивостью, и болѣе слабой памятью, чѣмъ школьный дѣтскій возрастъ, я даже думаю, что арестанты скорѣе должны поражать насъ своими способностями. Не говорю уже о прямо изумительныхъ въ подобной средѣ и въ такіе годы охотѣ къ ученію и прилежаніи.

*Прим. авт.*

каторги, и они должны были идти на поселеніе, но куда — неизвѣстно: уроженцевъ Забайкальской области отправляли и на Сахалинъ, и въ Якутскую область и оставляли здѣсь же, въ Забайкальи. Последнее, конечно, было мечтою Буренковыхъ, Сахалина же оба страшно боялись... Но слѣдовало, разумѣется, готовиться къ худшему, слѣдовало заранѣе выяснить, что намѣрены предпринять жены, всюду ли готовы онѣ послѣдовать за мужьями. Отъ письма Никифора къ женѣ, сочиненнаго съ моей помощью, вѣяло волненіемъ и жаромъ; но письмо Михайлы, какъ я сказалъ уже, дышало холодомъ: это было простое извѣщеніе жены о предстоящей перемѣнѣ въ его судьбѣ, даже безъ вопроса о томъ, какъ она съ своей стороны думаетъ устроиться.

— Напишите хоть чуточку потеплѣе, — сказалъ я Михайлѣ и предложилъ, между прочимъ, къ слову „жена“ прибавить эпитетъ вродѣ „дорогая“ или „милая“. Михайла засмѣялся.

— Такъ не годится.

— Почему?

— Жену нейдетъ такъ называть. „Дорогая“ — что это такое? Лошадь можетъ быть дорогая, изба... „Милая“ — это тоже у насъ не водится; „любезная“ — еще такъ.

— Ну, такъ прибавьте, что вы скучаете по ней и ждете того времени, когда опять свидитесь и станете жить вмѣстѣ.

— Нѣтъ, и этого не нужно, — отвѣчалъ Михайла серьезно, и на другой день я замѣтилъ въ его черновой только одну короткую вставку: „Теперь, жена, молись Богу“.

Я считалъ неловкимъ (по своимъ понятіямъ) разспрашивать самого Михайлу объ его отношеніяхъ съ женою; но Никифоръ вскорѣ разболталъ мнѣ, въ чемъ дѣло. Михайла, отправляясь въ каторгу, хотѣлъ, чтобы жена съ семьей послѣдовала за нимъ; но она не проявила особеннаго желанія сдѣлать это, выставя на видъ, что срокъ небольшой, и не стоитъ-де ей подыматься съ маленькими дѣтьми на новую, быть можетъ, очень тяжелую жизнь для того только, чтобы вскорѣ перемѣнить ее опять на другую. Жена Никифора, напротивъ, рвалась ѣхать за мужемъ, но онъ самъ уговорилъ ее отложить пріѣздъ до поселенія.

Съ боязнью и тревогой вступили мы всѣ трое въ ближайшій воскресный день въ дежурную комнату, гдѣ нужно было писать письма. Писать чернилами совсѣмъ не то, что писать карандашомъ, и я сильно опасался за своихъ учениковъ. Не даромъ про-



рочилъ Парамонъ, кладя свою голову на отсѣченъе, что, съ роду не державъ пера въ рукахъ, они осрамятся, и совѣтовалъ поэтому украсть чернила у надзирателя и сдѣлать нѣсколько предварительныхъ опытовъ. Последняя идея ужасно нравилась скоропалительному, всегда восторженному Никифору, и мнѣ стоило большого труда удержать его отъ приведенія ея въ исполненіе. Съ первой же строки письма Никифоръ насадилъ такихъ кляксъ и изобразилъ такіе египетскіе гіероглифы, что пришелъ въ отчаяніе, и я долженъ былъ переписать за него черновую; онъ только подписался. Фамилію свою онъ выводилъ добрыхъ десять минутъ (причемъ также украсилъ ее двумя кляксами, размазанными языкомъ), и разобрать ее всетаки стоило немалого труда. Окончивъ и положивъ перо, онъ буквально обливался потомъ.

— Десять верховъ легче выбурить,—заявилъ онъ, глубоко вздохнувъ. Не смотря на неудачу, онъ всетаки глядѣлъ побѣдителемъ и весь сіялъ. Михайла просидѣлъ почти цѣлый день въ дежурной комнатѣ, но за то самъ написалъ все письмо. Я слѣдилъ за каждымъ движеніемъ его руки и подавалъ совѣты. Сначала буквы прыгали у него по бумагѣ, какъ пьяныя, но потомъ сдѣлались тверже и увѣреннѣе. Вернувшись въ камеру, онъ съ торжествомъ потребовалъ головы Парамона.

— Только, такъ ужъ и быть,—смягчился онъ:—дарю ее тебѣ назадъ, потому большая она, да дурная!

Послѣ того Михайла сочинилъ и написалъ еще нѣсколько писемъ домой; Никифоръ же вскорѣ совсѣмъ бросилъ писанье, отчаявшись когда-нибудь научиться столь мудреному искусству.

## ХІ.

### Семеновъ.

Учебныя занятія послужили, между прочимъ, поводомъ къ одной тяжелой сценѣ, оставившей послѣ себя самыя мрачныя воспоминанія, но за то ближе познакомившей меня съ внутреннимъ міромъ человѣка, личность котораго уже давно возбуждала во мнѣ живѣйшее любопытство. Я говорю о Семеновѣ, одномъ изъ самыхъ неразговорчивыхъ и угрюмыхъ обитателей нашей камеры. Онъ никогда почти не вмѣшивался въ общіе разговоры, изрѣдка только вставлялъ какое-нибудь ѣдкое замѣчаніе, гдѣ обнаруживался его озлобленный

умъ и презрѣніе ко всему обыденному, прѣсному, ко всякаго рода трусости, лицемерію, „хвостобойству“, ко всякой частной посредственности. Со мной установились у него добрыя отношенія, но не короткія, не такія, которыя допускали бы съ моей стороны возможность разспросовъ объ его прошлой жизни. Мнѣ было извѣстно только, что у Семенова бѣшенный нравъ, и что въ пьяномъ видѣ онъ бываетъ положительно опасенъ, хватается за ножъ и кидается на перваго, чье лицо ему не понравится. Въ Покровскомъ, гдѣ арестанты безъ труда могли доставать водку, Семенова старались въ такихъ случаяхъ тотчасъ же связать, и пріятель его Гончаровъ, терявшій тогда всякую власть надъ нимъ, первый заготовлялъ веревку или полотенце.

Однажды передъ утренней повѣркой, проснувшись, я услышалъ перебранку между Никифоромъ и Гандоринимъ.

— Ты куда, старый чортъ, дѣлъ мою тетрадку?—сердито допрашивалъ Никифоръ.

— Никуда я ее не дѣвалъ, кетрадки твоей,—дребезжалъ Гандоринъ:—вы же, ученики, куда-нибудь засунули. Да вонъ, такъ и есть! вонъ она у Семенова въ евангеліи лежитъ.

— Ну, братъ, Петька, и тебя ужъ въ ученики записали!—пошутилъ Гончаровъ.

Семеновъ нервно подошелъ къ полкѣ, вырвалъ изъ рукъ Никифора свое евангеліе, швырнулъ на столъ его тетрадку и закричалъ:

— Не смѣйте въ мою книгу класть! Чтобъ не было этого больше! Ученики!.. Чтобъ васъ стягомъ хорошимъ учило... Въ попы по-ровять!

— Да чего ты, братъ, куражишься? Чего лаешься?—ощетинился Никифоръ, придя въ себя отъ неожиданности:—Самъ ты развѣ не учился?

— Я когда учился-то? Въ тюрьмѣ я развѣ учился?—еще возвышая голосъ, заговорилъ Семеновъ, и ноздри его раздулись и гнѣвно дрожали.

— Ты и теперь учишься, — смѣло продолжалъ Никифоръ:—тоже все равно ученикъ.

— Я ученикъ?! — не спросилъ, а прорычалъ Семеновъ, точно получивъ кровное оскорбленіе.

— Вѣстимо. Тоже читаешь постоянно евангеліе, тоже въ попы мѣтишь...

(Я долженъ пояснить здѣсь, что евангеліе это, за чтеніемъ ко-

того я, дѣйствительно, часто видалъ Семенова, было, по словамъ Гончарова, материнскимъ благословіемъ).

Едва успѣлъ Никифоръ произнести послѣднее слово, какъ послышался трескъ разрываемой бумаги, и листы священной книги, какъ пухъ, полетѣли по всей камерѣ. Тарбаганъ, Чирокъ и Желѣзный Коть, видя такую богатую добычу для цыгарокъ, кинулись со всѣхъ ногъ ловить и подбирать ихъ. Между тѣмъ, Семеновъ, весь дрожа съ головы до ногъ, блѣдный, судорожно сжимая кулаки, гремѣлъ на всю камеру:

— Вотъ какъ я читаю!.. Какъ въ попы мѣчу!.. Вотъ какъ я поповъ вашихъ всѣхъ (дальше циничное слово, звучащее въ устахъ Семенова, какъ ударъ ножомъ)!.. И писаніе ваше священное, и законъ, и вѣру!..

Даже искушеннымъ въ ругани обитателямъ каторги жутко стало отъ страшныхъ богохуленій; въ камерѣ всѣ проснулись давно, но было тихо, какъ въ гробу.

— Петя, Петя!—умоляющимъ голосомъ шепталъ Гончаровъ:— надзиратель услышитъ...

— А мнѣ что надзиратель?—продолжалъ гремѣть Семеновъ,— когда я тайлся отъ надзирателей? Не сидѣлъ я два года въ секретной въ кандалахъ и наручникахъ? Я Шестиглазаго испугаюсь? Да я всѣхъ ихъ...

И опять ужасное ругательство, заставившее меня вздрогнуть.

Къ счастью Семенова, надзирателя не было въ корридорѣ, и все прошло благополучно. Семенова удалось, наконецъ, успокоить. О евангеліи никогда съ тѣхъ поръ и помину не было, и мнѣ осталось неизвѣстнымъ, раскаялся-ли онъ когда-нибудь въ томъ, что надругался надъ материнскимъ благословіемъ. Къ старухѣ-матери онъ, безъ сомнѣнія, былъ сильно привязанъ. Онъ посылалъ ей весьма аккуратно письма, причемъ никогда не просилъ въ нихъ денегъ, подобно большинству арестантовъ, а, напротивъ, сдѣлалъ однажды даже выговоръ за присланные два рубля. Замѣчательно также, что послѣ каждого изъ трехъ своихъ тюремныхъ побѣговъ онъ прежде всего шелъ навѣстить мать, страшно рискуя попасть изъ-за этого въ руки властей и глубоко ненавидѣвшихъ его односельчанъ.

Въ тотъ же день, какъ случилась исторія съ евангеліемъ, я имѣлъ съ Гончаровымъ разговоръ въ рудникѣ объ его пріятелѣ и узналъ много любопытнаго. Старикъ благоговѣлъ передъ Семеновымъ и, передавая даже самые несимпатичные на мой взглядъ

факты и черты, какъ-бы не замѣчалъ ихъ. Онъ все, рѣшительно все находилъ въ своемъ „Петькѣ“ прекраснымъ и достойнымъ удивленія.

— Я вѣдь вотъ такимъ махонькимъ еще зналъ его, на колѣнкахъ держалъ... И отца зналъ, и мать, и брата. Они расейскіе. Отецъ за убійство на поселеніе въ нашу губернію пришелъ. Горькій пьяница былъ. И такой варваръ: жену и ребятишекъ, помни, такъ стязалъ, такъ стязалъ, что инда вчужѣ глядѣть было жалко. Они всѣ и спасенія только имѣли, что въ моемъ домѣ. А потомъ отецъ померъ—опять же я приглядѣ за дѣтьми имѣлъ. Ну, только тутъ они разбаловались. Стали пьянствовать, буяннить, съ двѣнадцати лѣтъ съ тюрьмой ознакомились. А тюрьма, вѣстимо, ужъ до добра не доведетъ; тюрьма святого—и того съ пути праведнаго собьетъ. Старшему Стѣпшѣ восемнадцать было лѣтъ, какъ угодили въ каторгу на четыре года. Съ дороги онъ бѣжалъ и прямо къ Петькѣ. Тутъ они такую кашу заварили у насъ въ волости, что вся округа поднялась. Облаву устроили и поймали сонныхъ въ лѣсу. Связали по рукамъ, по ногамъ и зачали поливать! Такъ употчевали, что Петька послѣ того три недѣли при смерти былъ. Дѣло его, однако, втапору безъ послѣдствій оставили. Стѣпшѣ только десять лѣтъ каторги за побѣгъ набавили. Онъ съ дороги-то еще разъ бѣжалъ, часового убилъ. Опять поймали и на вѣчное уже въ Толбольскій централъ законопатили. Онъ и теперь тамъ. А Петька еще года два крутился на волѣ. Шайку устроилъ... Все такихъ лихихъ робятъ подобралъ себѣ, что и по сей бы день не поймали ихъ, кабы не водка... Она-то и погубила его. У Петьки ужъ такой нравъ дурной; выпить четыре бутылки можетъ, все на ногахъ держится; ну, а ужъ какъ разберетъ его, тогда всякій разсудокъ теряетъ. Среди бѣла дня, въ городѣ, идетъ лавку ломать. Ну, и попался, конечно. Въ Канской тюрьмѣ онъ шесть лѣтъ просидѣлъ, никакъ дѣло его вырѣшиться не могло: только-только надумаютъ рѣшить, а онъ, глядь, и сорвался! Въ секретной, въ кандалахъ и наручникахъ, держали—и оттуда убѣгать ухитрялся: то рѣшетку распилить, то стѣну разломаетъ, то подкопъ сдѣлаетъ. Прыгъ прямо на часового: „Семеновъ я, туды-сюды тебя!“ Тотъ съ одного этого слова и ружье бросить и на убѣгъ. А Петька ко мнѣ сейчасъ. Я ужъ знаю гдѣ спрятать. Только и тутъ водка его каждый разъ губила. Черезъ два-три дня напьется и, ничего не одумавши путно, на какую-нибудь кражу идетъ. А его, между тѣмъ, ищутъ, облава кругомъ...

Поймають опять, избьютъ до полусмерти—и въ замокъ. Въ замокъ его всѣ боялись. Смотритель передъ имъ на цыпочкахъ ходилъ, книжки ему присылалъ читать. Вотъ, какъ евангеліе сегодня, такъ онъ въ глаза все начальство, бывало, ругалъ. Кабы вы статейный его видѣли, Иванъ Миколаичъ, такъ диву-бъ просто дались, сколько дѣловъ тамъ записано, изъ чего двѣнадцать лѣтъ его каторги составились: побѣги, покушенія на грабежъ, сопротивленія властямъ, тюремныя буйства, скандалы всякаго рода... За то и избили жъ его, какъ послѣдній разъ брали... Такъ избили, живого мѣста не оставили, всѣ суставы повывернули! Вы не глядите, что онъ такой здоровый и бравый съ виду, да все молчитъ, да никогда ни на что не пожалуется. Я старикъ, а я, пожалуй, еще здоровше его, потому я не битый... А его—чуть мало-мало погода—его, ужъ я знаю, и ломаетъ всего. И помни: такъ бояться его по сей день уринскіе мужики (онъ изъ Ури вѣдь, Петька-то), такъ бояться... Каждое лѣто ждутъ, что воротится! Да онъ и то все одну думку въ головѣ держать. Онъ ужъ покажетъ имъ, старичкамъ благословеннымъ, онъ благословить ихъ!

И Гончаровъ прибавилъ шопотомъ:

— Жаль, тюрьма здѣсь не такая, сорваться трудно... Петьку-то, положимъ, и она-бы не испугала; и Шелайскія-бъ стѣны не удержали его, да я все отговариваю: „Подожди, говорю, Петька, тебѣ вольная команда скоро. Годъ-то одинъ протерпѣть можно“. Одного я боюсь, Иванъ Миколаичъ: характера его боюсь. Кабы не сегодняшнее утро, вы-бъ, пожалуй, его самымъ тихимъ арестантомъ считали, а кабы знали вы, чего ему стоитъ эта смиренность! Гавканье надзирателей слушать, всему покоряться, все это видѣть—и молчать! А съ своего-то брата иной разъ еще скорѣе стошнить. Въ другомъ бы мѣстѣ онъ давно ужъ одного, а не то и двоихъ пришилъ. А здѣсь терпѣть надо, потому недолго и скидокъ, и вольной команды рѣшиться.

Дѣйствительно, начавъ съ этихъ поръ присматриваться къ Семенову, я замѣтилъ, что ему страшныхъ усилій воли стоило сдерживать порывы своей дикой натуры. Однажды захворалъ у насъ парашникъ Тарбаганъ, и одинъ изъ самыхъ ненавистныхъ арестантамъ надзирателей, не долго думая, крикнулъ Семенову:

— Ты будь сегодня парашникомъ.

Обыкновенно должность эту исполняютъ въ тюрьмахъ добровольцы, чувствующіе склонность къ подобнаго рода занятіямъ или

находящіе въ нихъ какую-либо выгоду; иванѣ же, къ числу которыхъ, несомнѣнно, принадлежалъ и Семеновъ, считаютъ для себя зазорнымъ идти въ парашники. Я видѣлъ, какъ Семеновъ вдругъ поблѣднѣлъ и судорожно стиснулъ кулаки. Но онъ и тутъ сдержался и промолчалъ. Съ парашками дѣло обошлось какъ-то и безъ него.

Вскорѣ послѣ того мнѣ случилось около двухъ недѣль кряду работать съ Семеновымъ въ штольнѣ. Штольня представляла собой узкій каменный корридоръ, въ которомъ могли бурить не больше, какъ два человѣка. Эта физическая близость и ежедневное пребываніе вдвоемъ подъ землею въ теченіе многихъ часовъ естественно вызвали и нѣкоторое духовное сближеніе между нами. Семеновъ сталъ, незамѣтно для самого себя, разговорчивѣе и откровеннѣе и самъ рассказалъ мнѣ многое изъ того, что я уже зналъ отъ Гончарова. Оказалось, къ большому моему удивленію, что онъ знакомъ былъ со многими изъ классическихъ произведеній русской и даже иностранной беллетристики: читалъ Гоголя, Пушкина, Некрасова, „93 годъ“ Виктора Гюго и отлично помнилъ содержаніе читаннаго; но, конечно, еще больше читалъ онъ разной бульварной дребедени, всяческихъ издѣлій французскихъ борзописцевъ въ русскомъ переводѣ, и багажъ его литературныхъ знаній состоялъ изъ невозможнѣйшихъ романическихъ приключеній, любовныхъ и кровавыхъ исторій, которымъ онъ слѣпо вѣрилъ и которыя, безъ сомнѣнія, оказали нѣкоторое вліяніе на его умственный складъ и обликъ. Обликъ этотъ былъ дикъ, страненъ и поразилъ меня своей безсердечной эгоистичностью и какой-то убѣжденной, если можно такъ выразиться, развращенностью. Сбить Семенова съ позиціи въ спорахъ было почти невозможно, такъ какъ ничего, кромѣ грубой, матеріалистически-последовательной логики, онъ не признавалъ. Одна красная полоса проходила черезъ всѣ его чувства, думы и вожделѣнія: непримиримая ненависть ко всѣмъ существующимъ традиціямъ и порядкамъ, начиная съ экономическихъ и кончая религіозно-нравственными, ко всему, что клало хоть малѣйшую узду на его непокорную волю и неудержимую жажду наслажденій... „Наплюй на законъ, на вѣру, на мнѣніе общества, рѣжь, грабь и живи во всю“—таковъ былъ девизъ этого Стеньки Разина нашихъ временъ.

Сначала это мировоззрѣніе пугало меня, и долгое время я старался отыскать его корни въ какой-нибудь прочитанной и ложно

понятой книжкѣ; но въ концѣ-концовъ принужденъ былъ убѣдиться, что сама жизнь создаетъ Семеновыхъ, наполняя ихъ душу одной безграничной злобой и лишая всякихъ руководящихъ принциповъ и идеаловъ.

— Если всѣ станутъ разсуждать такъ же, какъ вы,—говорилъ я Семенову:—то что же выйдетъ? Жизнь станетъ сплошнымъ убійствомъ и насиліемъ, люди станутъ еще несчастнѣе, чѣмъ до сихъ поръ были.

— А мнѣ какое дѣло,—отвѣчалъ онъ:—зачѣмъ я объ другихъ стану заботиться, когда обо мнѣ никто не заботился, меня никто никогда не жалѣлъ? Они соблюдаютъ законы, наказываютъ голоднаго, который кусокъ хлѣба украдетъ, а сами тысячи воруютъ и святыми слывутъ! Долговолосые о Богѣ намъ говорятъ, а сами Бога-то... Нѣтъ, пускай ужъ это честные дѣлаютъ, а я на честность плевать хочу!

— Но вѣдь не все же вы однихъ виновныхъ да подлыхъ убиваете? Вы ищете только, чтобъ деньги были. А опъ, можетъ быть, трудами рукъ своихъ, въ потѣ лица нажилъ свои деньги? Чѣмъ онъ виноватъ?

— Нѣтъ, ужъ коли богатымъ сталъ, значить, такимъ же змѣемъ, какъ всѣ, сталъ. А коли и нѣтъ, такъ Богъ на томъ свѣтѣ его награждаетъ, попы ладономъ обкурятъ, святымъ сдѣлаютъ!

— А совѣсть, Семеновъ?—робко спросилъ я, не рѣшаясь уже говорить о Богѣ, въ котораго онъ, очевидно, не вѣрилъ,—чѣмъ вы объясняете, что у каждого человѣка, даже у самаго злого, испорченнаго, на днѣ души все-таки есть стыдъ? Если ничего святого нѣтъ на свѣтѣ, если человѣкъ есть то же животное, и душа его такой же паръ, какъ вы говорите, тогда откуда же этотъ стыдъ берется? Припомните: случалось вамъ когда-нибудь несправедливо обидѣть человѣка, который вамъ дѣлалъ только добро? Послѣ этого вамъ вѣдь непріятно бывало? Это что же такое? Какъ вы объясните?

Семеновъ ничего не успѣлъ отвѣтить, такъ какъ въ эту минуту намъ помѣшали; но мнѣ показалось, что не поэтому только онъ не отвѣтилъ, а вообще былъ застигнутъ моимъ вопросомъ врасплохъ. Семеновъ задумался—этого, размышляя я, вполне достаточно для перваго раза; остальное сдѣлаютъ время и дальнѣйшія бесѣды со мной. Однако, торжество мое продолжалось недолго и оказалось преждевременнымъ. Не позже, какъ дня черезъ три, онъ подошелъ ко мнѣ во дворѣ тюрьмы и сказалъ:

— А знаете, что я хочу сказать вамъ, Иванъ Николаевичъ?

Это насчетъ совѣсти-то, о которой вы мнѣ говорили. Я вспомнилъ, что она вѣдь и у собаки тоже есть.

— Какъ такъ у собаки?

— Да, такъ.—И онъ разсказалъ мнѣ одинъ случай, точно говорившій, повидимому, за то, что собака можетъ стыдиться своего дурного поступка.

— Сначала я приучилъ ее бояться меня, а потомъ она и стыдиться начала. То же, я думаю, и съ человѣкомъ. Ребятишки тоже вѣдь никакого стыда не имѣютъ, а розги одной боятся; ну, а какъ вырастутъ...

Я пожалъ плечами и отошелъ прочь. Но въ другой разъ я задалъ ему такой вопросъ:

— Но чего же впереди вамъ ждать, Семеновъ? Вѣдь это ужасъ... ужасъ одинъ—ваша жизнь! Вамъ еще и тридцати нѣтъ, а вы почти уже восемь лѣтъ, съ маленькими перерывами, въ тюрьмѣ сидите. Да и раньше, съ двѣнадцати лѣтъ, были знакомы съ нею... Братъ вашъ тоже вѣчный тюремный житель... А тѣ немногіе годы, которые провели вы на волѣ, какую радость и они вамъ дали? Пьяный разгулъ—неужели онъ такъ дорого стоитъ, оплачиваетъ такіе страшные муки? Вѣдь вотъ вы, навѣрное, опять убѣжите, не изъ тюрьмы, такъ изъ вольной команды... Ну, и васъ опять, конечно, поймаютъ, еще прибавятъ десять лѣтъ каторги... Нѣтъ, Семеновъ! право, это ужасно... Не лучше-ли жъ было бы... честно жить? Хотя вы и ненавидите честность, но простой вѣдь расчетъ заставляетъ предпочитать ее.

— Это землю, то есть, пахать? Зернышко въ землю положить, полтора вынуть? Нѣтъ, ужъ спасибо. Пускай честные этимъ занимаются!

— Значитъ тюрьма лучше?

— Да, лучше. А сорвусь—ну, тогда... хоть часъ, да мой!..

„Хоть часъ, да мой“—такова квинтэссенція всѣхъ житейскихъ идеаловъ такихъ людей, какъ Семеновъ. Но, кромѣ того, у него была еще одна „думка“, по выраженію Гончарова: думка—отомстить односельчанамъ, избившимъ его во время послѣдняго ареста. Каждый разъ, какъ онъ заговаривалъ объ этомъ предметѣ, глаза его загорались мрачнымъ огнемъ, кулаки гнѣвно сжимались; онъ скрипѣлъ зубами и рычалъ, какъ звѣрь, у котораго отняли лакомую добычу, но который все же не теряетъ надежды снова забрать ее въ свои лапы. Гончаровъ зналъ эту думку своего ученика и друга,



всей душой сочувствовалъ ей и, какъ котъ, у котораго чешутъ за ухомъ, сладострастно зажимиривалъ глаза въ эти минуты мстительныхъ вождельній. Онъ, какъ родное дѣтище, лелѣялъ мечту о побѣгѣ Семенова съ каторги. Возможно, что у него были свои счеты съ уринскими мужиками, и что сочувствіе его было не чисто платоническое... У Семенова эта мечта была не пустой лишь мечтою, не плѣнной мысли раздраженіемъ: я не сомнѣваюсь, что она сидѣла у него въ крови и была однимъ изъ главныхъ демоновъ, владѣвшихъ его душою... Другое дѣло—прочіе арестанты. Если вѣрить ихъ словамъ, то месть является почти у каждаго изъ нихъ главнымъ стимуломъ, подстрекающимъ къ дальнѣйшему существованію и заставляющимъ мечтать о волѣ и побѣгѣ. „Отомщу, а тамъ хоть и подохну—не бѣда!“ говорили мнѣ десятки подобныхъ мечтателей. О мести мечталъ Гончаровъ, о мести говорили Ракининъ, Чирокъ, Ногайцевъ, Малаховъ и все разнообразное и разнородное множество тюремныхъ обитателей, съ которыми мнѣ удалось познакомиться. Даже какой-нибудь Яшеа Тарбаганъ, эта тюремная „травя“ безъ названія, самый послѣдній человѣкъ въ артели, и тотъ, наслушавшись мстительныхъ рѣчей Семенова или другого такого же поводиры, говорилъ иногда съ комической важностью:

— Я тоже, коли Богъ дастъ, отбуду строкъ и побываю въ своемъ мѣстѣ, тоже найду кой-кому за добро заплатить.

Принимая за чистую монету всю эту кошмарно-кровавую атмосферу злобы и мести, которою дышала почти поголовно вся арестантская масса, можно было бы ужаснуться за русскій народъ, столько прославленный своей кротостью и христіанскимъ всепрощеніемъ и, однако, порождающій изъ своихъ нѣдръ подобныхъ чудовищъ зла и ненависти! Къ счастью, я думаю, не каждому слову арестантовъ слѣдуетъ придавать серьезность и значеніе.

Тѣмъ не менѣе, я часто задавался вопросомъ о томъ, что должно дѣлать общество съ такими несомнѣнно вредными членами, какъ Семеновъ? Конечно, прежде всего оно должно бы не производить и не создавать такихъ членовъ... Но разъ они уже есть, что съ ними дѣлать? Имѣй я власть, что я сдѣлалъ бы съ ними? Признаюсь, я и до сихъ поръ затрудняюсь категорически отвѣтить на этотъ страшный вопросъ... Казнить и бичевать ихъ тѣми безсердечными скорпіонами, какими являются современные тюрьмы и каторга, я, конечно, не сталъ бы; но рѣшился-ли бы я, съ другой стороны, отпустить ихъ на волю? Сами арестанты иногда задава-

лись при мнѣ такимъ же вопросомъ... Нужно сказать, что они почти всѣ безъ исключенія глядѣли на себя, какъ на невинныхъ страдальцевъ... Вѣдь убитые, по ихъ словамъ, не мучаются? Богатые оттого, что ихъ пощипали немного, не обѣднѣли? За что же ихъ-то томятъ такъ долго? Десять, двадцать лѣтъ, вѣчно... За что и по окончаніи даже каторги не позволяютъ вернуться на родину, клеймя вѣчнымъ клеймомъ отверженія и тѣмъ какъ бы толкая человѣка на новыя убійства и преступленія? И большинство рѣшало, что, будь они на мѣстѣ правительства, они немедленно выпустили бы всѣхъ заключенныхъ на волю...

— А я, — вскочилъ и закричалъ разъ Семеновъ, прослушавъ всѣ мнѣнія:—я собралъ бы всѣхъ насъ въ одну тюрьму, со всего свѣта собралъ бы и запалилъ бы со всѣхъ концовъ! Изъ порченнаго человѣка не выйдетъ честнаго, и волкамъ съ овцами не жить, какъ братьямъ!

Слова эти прозвучали глубокой, какой-то даже безстыдной искренностью, и много горькой правды почувствовалъ я въ нихъ въ ту минуту. Почувствовалъ—и самъ ужаснулся... Ужаснулся потому, что у меня, конечно, не поднялась бы рука поступить по рецепту Семенова, потому что и этихъ страшныхъ людей я научился понимать и любить, научился находить въ нихъ тѣ же человѣческія черты, какія были во мнѣ самомъ, такое же умѣнье страдать и чувствовать страданіе. При данныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ они являлись въ моихъ глазахъ настолько же жертвами, насколько и палачами... И я нерѣдко ловилъ себя на тайномъ сочувствіи мечтамъ Семенова о побѣгѣ, на желаніи ему полной удачи, даже на легкомысленной готовности самому помочь ему вырваться туда, въ этотъ зеленѣющій лѣсъ, на эти привольныя сопки, на дикую волю, дальше отъ душной ограды Шелайской тюрьмы, гдѣ гасло безъ слѣда столько силъ и молодыхъ жизней... При видѣ страданія, живого страданія, роднишься и сближаешься даже съ заклятымъ врагомъ, сочувствуешь даже звѣрю, томящемуся въ желѣзной клеткѣ и безсильному изъ нея вырваться!..

## XII.

Чтеніе Библіи.—Яшка Тарбаганъ.—Поэтъ-каторжникъ.

— Все ученикамъ да ученикамъ, а намъ, камерѣ, ничего нѣтъ. Давайте, ребята, забунтуемся! — сказалъ однажды Парамонъ, въ

особенно благодушномъ настроеніи покуривая свою трубку на нарахъ.—Надо заставить Николаича что-нибудь почитать намъ.

— И то вѣрно: почитать!—хоромъ подтвердили остальные.

— Да что же мы станемъ читать,—спросилъ я,—когда книгъ нѣтъ? Одна библія у меня да евангеліе.

— А чего же еще лучше надо?—отвѣчалъ Парамонъ:—Библию и начать. А то эти гандоринскія сказки мнѣ ужъ тошнѣе рѣдки стали. „Жилъ да былъ Иванъ-царевичъ да сѣрый волкъ, Прасковья-царевна да жаръ-птица“... Лежить тутъ возлѣ, знай—брязжить Яшкѣ — волей-неволей слушать надо. И хоть бы хорошо сказывалъ, вотъ какъ Прелестниковъ, наприимѣръ, въ Покровскомъ: тотъ—башка былъ, связать умѣлъ!

— Да я вѣдь старикъ, что съ меня и взять-то?—пѣлъ въ свое оправданіе Гандоринъ:—я, какъ въ старые годы слышалъ, такъ и сказываю.

— Старикъ ты? Охъ, врешь ты, старичокъ благочестивый! Не такъ, какъ въ старые годы... Глазъ-то у тебя не туда, братъ, глядитъ. Слышу я! По сказкамъ твоимъ вижу, за что ты и въ ка-торгу попалъ.

Всѣ разразились хохотомъ, такъ какъ хорошо знали, что Гандоринъ пришелъ на двѣнадцать лѣтъ за изнасилованіе маленькой дѣвочки.

Сказки Гандорина, которыя онъ аккуратно каждый вечеръ рассказывалъ на сонъ грядущій Тарбагану и Чирку, нерѣдко и меня возмущали до глубины души. Всѣ онѣ были, повидимому, собственнаго его изобрѣтенія; въ одну кучу сваливалъ онъ всѣ когда-нибудь слышанныя имъ исторіи, побасенки и даже житія святыхъ и все покрывалъ общимъ флеромъ какого-то беззубо-старческаго цинизма и сладострастія. Даже самую обыкновенную, помѣщаемую въ дѣтскихъ хрестоматіяхъ, сказку онъ умѣлъ пропитать своимъ специфическимъ гандоринскимъ духомъ. Арестанты вообще большіе любители циничныхъ бесѣдъ и разсказовъ; но сказки Гандорина отличались такимъ полнымъ отсутствіемъ таланта и даже простой умѣлости, что никто, кромѣ непритязательнаго Чирка и Тарбагана, никогда не дослушивалъ ихъ до конца.

— Вотъ хорошо, — начиналъ Гандоринъ своимъ обычнымъ манеромъ продолженіе вчерашней безконечной сказки, и ужъ отъ одного этого начала всѣхъ начинало клонить ко сну, и, дѣйстви-

тельно, камера вскорѣ подозрительно затихала подъ ритмическое журчанье этихъ часто повторяющихся пѣвучихъ „вотъ хорошо“.

Мысль о чтеніи вслухъ давно уже меня интриговала, и я думалъ: какъ отнеслись бы мои сожители къ тому или другому истинно-художественному произведенію, доставляющему столько высокихъ наслажденій образованному человѣчеству? Какое впечатлѣніе произвели бы на нихъ Шекспиръ, Диккенсъ, Гоголь? Хорошо зная, что тюремныя инструкции запрещаютъ арестантамъ всякое другое чтеніе, кромѣ религіозно-нравственнаго и строго-научнаго, но зная въ то же время, что на практикѣ въ большинствѣ тюремъ правило это не примѣняется слишкомъ строго, я еще съ дороги послалъ домой небольшой списокъ беллетристическихъ книгъ, которыя просилъ мнѣ выслать. Я съ нетерпѣніемъ поджидалъ теперь этой посылки, питая тайную надежду, что бравый штабсъ-капитанъ, какъ это нерѣдко бываетъ, окажется меньшимъ формалистомъ относительно духовной пищи своихъ подчиненныхъ, нежели относительно тѣлесной. Пока же приходилось ограничиться библіей. Всѣ затаили, казалось, дыханіе, когда я въ первый разъ приступилъ къ чтенію. Однако, не дальше, какъ черезъ часъ времени, я замѣтилъ, что многіе не выдержали этого напряженія и уже исправно храпѣли. Раньше другихъ заснули Гончаровъ и Тарбаганъ; за ними послѣдовали „ученики“. Никифору даже и впослѣдствіи, при самомъ захватывающемъ чтеніи, когда остальная публика волновалась, хотала до упаду, или скрипѣла зубами отъ ярости, не умѣлъ долго слушать и сосредоточивать вниманіе на одномъ предметѣ. За то самымъ ревностнымъ слушателемъ послѣ Парамона оказался, къ моему удивленію, Гандоринъ. Онъ какъ-то удивительно умѣлъ соединять въ одно—отвратительнѣйшее сладострастіе съ самымъ искреннимъ и умиленнымъ святошествомъ. Слезы стояли у него на глазахъ, когда я читалъ исторію о прекрасномъ Іосифѣ, проданномъ братьями въ рабство, и онъ поминутно вытиралъ ихъ кулакомъ. Впрочемъ, исторія эта произвела на всѣхъ одинаково сильное впечатлѣніе. Одного не выносили мои слушатели: что я читалъ не по столько въ одинъ пріемъ, сколько бы имъ хотѣлось. Имъ все казалось мало. Малаховъ, Чирокъ и Гандоринъ готовы были цѣлую ночь слушать, и всякій разъ, какъ я закрывалъ книгу, говоря, что на сегодня довольно, они поднимали крикъ и начинали со мной торговаться. Къ сожалѣнію, я принужденъ былъ вскорѣ убѣдиться, что слушателей моихъ гораздо больше завлекала внѣшняя фабула раз-

сказа, чѣмъ внутренній его смыслъ и содержаніе: по крайней мѣрѣ, по окончаніи чтенія, мнѣ ни разу не приходилось слышать никакихъ благочестивыхъ бесѣдъ по поводу прочитаннаго. Послушали—и ладно. Каждый возвращался послѣ этого къ своему дѣлу: одинъ немедленно засыпалъ, другой начиналъ прерванную вчера сказку. А если чтеніе и вызывало иногда разговоры, то это была или какая-нибудь мелочь, относящаяся къ специальности того или другого арестанта, или же такой пунктъ, обсужденіе котораго было мало полезно и желательно. Такъ Яшка Тарбаганъ очень много смѣялся по поводу жителей Содомы, оскорбившихъ ангеловъ, и видимо отъ души жалѣлъ, что его самого тамъ не было... Уже большая часть камеры спала, а онъ все еще толкалъ подъ бокъ сосѣда и говорилъ, захлебываясь отъ смѣха:

— Какъ они, братъ, анделовъ-то, анделовъ-то... того!

А Гончаровъ, большею частью дремавшій подъ чтеніе чуткимъ стариковскимъ сномъ, просынаясь, говаривалъ послѣ того, какъ я закрывалъ книгу:

— Какъ слушаешь да поразмыслишь, такъ всегда-то и вездѣ одно и то же на свѣтѣ было. Драки, убивства, насильства... И вѣчно, помни, вѣчно такъ оно и идти будетъ до скончанія вѣка!

Въ концѣ-концовъ, я вполне увѣрился, что до пониманія библіи, этой книги, полной такой высокой поэзіи и величавой простоты, слушатели мои не доросли еще; мнѣ стало тогда понятнымъ и то, почему именно чтеніе библіи вызываетъ такъ часто разными умственными разстройства въ простыхъ и набожныхъ людяхъ. Они приступаютъ къ ней съ глубокою, чисто-дѣтскою вѣрою въ то, что каждая строка этой святой книги должна быть чиста, благочестива и назидательна, и когда находятъ вмѣсто того правдивую, непрекрашенную хронику первобытныхъ нравовъ и жизненныхъ коллизій всякаго рода со всѣми ихъ темными и порой грязными деталями, то положительно становятся втупикъ и, не въ силахъ будучи уловить общую одухотворяющую все идею, не знаютъ, что думать. Простолудинъ такъ же точно относится къ святому, какъ и къ красивому. Красота, напр., женщины только тогда бываетъ ему близка и понятна, когда бьетъ въ глаза рѣзкими, выпуклыми, банальными въ своей красотѣ формами и красками, когда все въ ней ярко и ослѣпительно, нѣтъ ни одной черточки, показывающей, что имѣешь дѣло съ живымъ, имѣющимъ душу существомъ, а не съ маріонеткой или намалеваннымъ дешевымъ иконописцемъ ангеломъ. Святое

точно такъ же должно быть безукоризненно свято. А это что же за святые люди, когда нѣкоторые дѣянiя ихъ въ настоящее время были бы подведены подъ кодексъ уложенiя о наказанiяхъ и могли бы повести въ каторгу?..

Пробовалъ я читать также евангелiе. Крестныя страданiя произвели огромное впечатлѣнiе, и по поводу ихъ въ камерѣ происходили разговоры, напомнившiе мнѣ слова дикаря Хлодвигъ, короля франковъ: „Ахъ, зачѣмъ я не былъ тамъ съ моими франками!“ Что касается остальныхъ частей евангелiя, то онѣ вызывали мало интереса. Самое сильное и прекрасное на нашъ взглядъ мѣсто, нагорная проповѣдь, прошло совсѣмъ безслѣдно. Даже самъ Парамонъ, главный ревнитель вѣры въ нашей камерѣ, заявилъ:

— Нѣтъ, библiю я больше одобряю... Не для нонѣшняго народа это писано... Око за око, зубъ за зубъ — это вотъ по нашему!

— А по моему, два ока за одно и всѣ зубы за одинъ,—добавилъ Чирокъ.

Въ отчаянiе, прямо въ ужасъ приводила меня непроглядная темнота, царившая въ большинствѣ этихъ первобытныхъ умовъ, и я часто себя спрашивалъ: неужели тамъ, „во глубинѣ Россiи“, еще больше темноты и всякой умственной дичи? Неужели эти люди—тѣ же русскiе люди, только затронутые уже лоскомъ городской культуры, просвѣщенные и развращенные ею?

Кстати, я познакомлю уже читателя еще съ нѣсколькими обитателями моей камеры, чтобы для него стала окончательно ясной та умственная и нравственная атмосфера, въ которой мнѣ приходилось жить и дѣйствовать.

Вотъ „тюремная трава безъ названiя“, Яшка Первановъ, Тарбаганъ по прозвищу, парашникъ, о которомъ я упоминалъ уже не одинъ разъ.

Въ своемъ родѣ это прелюбопытный экземпляръ. Казалось, онъ и на свѣтъ родился для того только, чтобы жить въ тюрьмѣ, исправляя именно должность парашника. Маленькiй, жирненькiй съ обрюзглымъ, краснымъ лицомъ и отвисшимъ брюхомъ, съ короткими ножками, ступавшими какъ-то тяжело и неловко, семена мелкими шажками, онъ живо напоминалъ своей фигурой того сибирскаго звѣрька, названiе котораго носилъ. Въ довершенiе сходства, цвѣтъ его небольшой бородки и волосъ на головѣ былъ желтый. Ничто въ мирѣ въ такой степени не занимало и не волновало его, какъ чисто-тю-

ремные вопросы и интересы, карты, стрѣла, промоть вещей, расплата за нихъ собственной шкурой и т. п., и трудно было даже представить себѣ, чтобы Яшка Тарбаганъ жилъ когда-нибудь на волѣ и занимался какимъ-нибудь инымъ трудомъ, кромѣ ношенія парашекъ. А между тѣмъ, и онъ когда-то жилъ, когда-то былъ человекомъ, имѣлъ жену и дѣтей... Онъ былъ родомъ съ Кубани. Четырнадцать лѣтъ уже высидѣлъ цѣлый годъ въ мѣстной тюрьмѣ по подозрѣнію въ конокрадствѣ и тамъ, по собственнымъ его словамъ, впервые испортился. Забранный въ солдаты, онъ былъ отправленъ на службу въ Ригу, гдѣ скоро попалъ въ штрафные и былъ тѣлесно наказанъ. Но извѣдавъ еще ребенкомъ, что такое тюрьма и арестантская жизнь, онъ никакихъ наказаній не страшился и быстро опускался по наклонной плоскости пьянства и кражъ. Одно только обстоятельство чуть было не отрезвило его. Его поймали разъ на кражѣ коня, связали и, забивъ семь большихъ иголокъ въ пятку, отпустили на всѣ четыре стороны. Долго послѣ того болѣла у Яшки нога, и еще мнѣ показывалъ онъ знаки отъ вышедшихъ у него изъ икры иголокъ... Но вскорѣ онъ попался въ такомъ дѣлѣ, за которое сразу угодили въ Сибирь. Нѣсколько пьяныхъ солдатъ избили до полусмерти въ какомъ-то грязномъ притонѣ нелюбимаго ими фельдфебеля и за это отданы были подъ судъ; вмѣстѣ съ ними приговоренъ былъ и Первановъ къ лишенію всѣхъ правъ и поселенію въ Енисейской губерніи. На поселеніи онъ пробылъ не больше года, ничего не дѣлая и существуя „мантулами“ и „саватейками“, т. е. побираемъ подъ окнами. Наконецъ, въ сообществѣ съ другимъ такимъ же рыцаремъ, онъ убилъ мужика за мѣшокъ пшеничной муки и этимъ заработалъ себѣ десять лѣтъ каторги. Я не сомнѣваюсь, что и вся его дальнѣйшая жизнь пойдетъ точь въ точь такимъ же путемъ. Работать онъ не умѣетъ и не хочетъ, и если „мантулами“ прожить окажется трудно, пойдетъ съ поселенія бродяжить, дорогою будетъ пойманъ съ какимъ-нибудь „качествомъ“\*) и опять попадетъ въ каторгу. Въ заключеніе всего угодить на Сахалинъ. Чрезвычайно характерна для нравственной оцѣнки Тарбагана исторія его отношеній къ роднѣ. По его словамъ, цѣлыхъ семь лѣтъ не имѣлъ онъ никакихъ извѣстій изъ дому и самъ рѣшилъ никогда не писать, чтобы не огорчать матери своей каторгой.

— Пускай лучше думаетъ, что я померъ.

\*) Качество—на арестантскомъ языкѣ преступленіе.

И вотъ однажды онъ обратился ко мнѣ съ неожиданной просьбой написать ему домой письмо. Удивленный, я спросилъ, почему онъ вдругъ передумалъ. Тарбаганъ, нѣсколько сконфузившись, осклабился и сказалъ:

— Да что-жъ! Авось деньжонокъ сколько-нибудь выплутъ.

Уже написавъ письмо, я узналъ, что Тарбаганъ передъ тѣмъ въ пухъ и прахъ проигрался... Отвѣтъ пришелъ, когда онъ находился уже въ вольной командѣ. Встрѣтивъ меня разъ за тюрьмою, онъ началъ радостно махать мнѣ издали шапкой и кричать:

— Я письмо получилъ!

— Что же вамъ пишутъ?—полюбопытствовалъ я изъ вѣжливости.

— Рупь денегъ прислали... Жена — вотъ ужъ шесть лѣтъ—безъ вѣсти пропала... Мать жива и здорова.

За одинъ рубль, который онъ тотчасъ же проиграетъ въ карты, этотъ человѣкъ не затруднился продать спокойствіе матери!

Странно, однако, что и въ этой вѣчно заспанной, оживѣвшей и какъ бы созданной для тюрьмы головѣ постоянно бродила мечта о волѣ. Часто, когда я возвращался изъ рудника, онъ подходилъ ко мнѣ и, широко улыбаясь, таинственно шепталъ:

— Говорятъ, я тоже въ вольную команду скоро... Ужъ представка пошла \*).

И я сочувственно кивалъ ему головой и улыбался. А зачѣмъ бы, кажется, воля подобному субъекту? Зачѣмъ воля кроту, сурку тарбагану, для которыхъ весь свѣтъ заключается въ ихъ норкѣ и вся жизнь въ ѣдѣ и снѣ?

Но образъ Тарбагана вышелъ бы далеко не полнымъ, если бы я не сказалъ о немъ еще нѣсколько словъ. Онъ, безъ сомнѣнія, воплощалъ въ себѣ не только самыя дурныя, но и самыя хорошія стороны арестантскаго міра. Развращенъ онъ былъ, правда, до мозга, костей; самыя отвратительныя тюремныя привычки и извращенные вкусы были усвоены имъ въ совершенствѣ. Режимъ Шелайской тюрьмы не позволялъ арестантамъ развернуться во всю: народу въ ней было сравнительно немного, все на виду, и донесись что нибудь до слуха Шестиглазаго, онъ быстро и по своему распра-

---

\*) Находя возможнымъ выпустить того или другого арестанта въ вольную команду, смотрителя тюремъ обязаны сдѣлать предварительное донесеніе объ этомъ („представку“ на арестантскомъ языкѣ) въ управленіе Нерчинской каторги. Оттуда приходитъ отказъ или разрѣшеніе. *Прим. авт.*



вился бы съ виновными. Приходилось поэтому ограничиваться словесными вождедѣніями, и вотъ въ этомъ-то отношеніи Тарбаганъ могъ перешеголять всѣхъ. Говорилъ онъ хоть и мало, но рѣчь сводилъ всегда къ любимому своему предмету. Даже на самихъ женщинъ онъ глядѣлъ съ своеобразной, чисто-тарбаганьей точки зрѣнія: естественными своими прелестями онѣ его мало привлекали... Но я сказалъ уже, что въ Тарбаганѣ были также и свои хорошія стороны. Какъ вѣчная тюремная крыса, онъ считалъ чѣмъ-то вродѣ своего долга — строго блюсти арестантскіе традиции и завѣты, высоко держать знамя тюремной чести и товарищества. Правда, на сходкахъ его голоса никогда не было слышно, и сами арестанты называли его „травой безъ названья“, но безъ такой травы внутренняя тюремная жизнь тотчасъ же потеряла бы свою фізіономію, и арестантскій міръ подвергся бы безъ этихъ безымянныхъ героевъ окончательному разложенію. Такъ, напр., подавать заключеннымъ въ карцерѣ табакъ, мясо и пр. было дѣломъ исключительно Тарбагана, обязанностью и правомъ, которыхъ у него никто не оспаривалъ. Впрочемъ, я вообще замѣчалъ, что тюремные поводыри, „иваны“ и „глоты“ ограничиваются въ большинствѣ случаевъ тѣмъ только, что вносятъ матеріальныя пожертвованія и стоятъ на стрѣмѣ, карауля надзирателей, въ огонь же опасности лѣзутъ всегда люди, играющіе въ тюрьмѣ самую незначительную роль и даже служащіе предметомъ общихъ насмѣшекъ. Никто смѣлъ Тарбагана не „лаялся“ также съ надзирателями. Его тарбаганье тавканье было, правда, очень комично и часто только смѣшило тѣхъ, на кого направлялось, но подъ флагомъ этого комизма онъ бросалъ иногда въ глаза рѣзкую правду, на которую и не всякій бы изъ ивановъ рѣшился... Таковъ былъ Яшка Тарбаганъ.

Кстати, сообщу одно курьезное наблюденіе, сдѣланное мною вообще относительно парашниковъ Шелайской тюрьмы. Они всѣ были точно на подборъ, всѣ точно самой природой созданные для своего ремесла: сонные, неуклюжіе, неумытые, нечистоплотные, оборванные... Такъ, другимъ послѣ Тарбагана достойнымъ представителемъ почтенной корпорации былъ одинъ молдаванъ, по фамиліи Абабій, по прозванью Тараканъ Осердіе. Мѣткія клички умѣютъ давать другъ другу арестанты. Я никогда въ жизни не видалъ тараканьяго осердія; въ невѣжествѣ своемъ не знаю даже, существуетъ-ли оно у таракана, и если существуетъ, то какую форму имѣетъ; но стоило только взглянуть на эту маленькую, беззубую, вѣчно что-то шам-

кающую фигурку съ длинными шевелящимися усами, чтобы тотчасъ же признать въ ней изумительное сходство именно съ тараканьимъ осердіемъ... Только въ позднѣйшія времена, когда начальство Шелайской тюрьмы уничтожило на практикѣ выборное начало и стало само назначать арестантовъ на всѣ тюремныя должности, корпорація эта утратила свой общій, рѣзко бросающійся въ глаза обликъ.

Былъ въ нашей камерѣ еще одинъ курьезный субъектъ, котораго я также называлъ бы, пожалуй, травкою, если бы его прошедшее, а съ нимъ и весь его нравственный образъ до сихъ поръ не оставались для меня окруженными нѣкоторымъ ореоломъ таинственности. Это былъ нѣкто Владиміровъ. Нескладно сложенный парень, лѣтъ 23, безъ признаковъ растительности на лицѣ, понурый, съ вѣчно опущенной внизъ и словно болтающейся головой (шутники говорили, что она у него на ниткахъ привязана), всегда онъ имѣлъ какой-то заспанный видъ и ходилъ неуклюжей старческой походкой. Выраженіе лица тоже было странно и измѣнчиво: то можно было счесть его дряхлымъ семидесятилѣтнимъ старикомъ, то, напротивъ, совсѣмъ еще мальчикомъ. Чирокъ довольно удачно окрестилъ его Медвѣжьимъ Ушкомъ. Постоянно молчаливый и говорившій тихимъ, убитымъ голосомъ, Владиміровъ иногда точно съ цѣпи срывался, вмѣшивался внезапно въ споръ и, доказывая что-нибудь явно-нелѣпое и ни съ чѣмъ несообразное, оралъ такъ громко и такимъ звѣроподобнымъ басомъ, что всѣ уши затыкали и съ тревогой поглядывали на дверную форточку. Владиміровъ производилъ на меня подчасъ впечатлѣніе настоящаго кретина. А между тѣмъ, онъ прошелъ два класса уѣзднаго училища, писалъ вполне грамотно, и когда впоследствии у меня завелись книги, самостоятельно изучилъ курсъ ариметики и алгебры. Къ математикѣ онъ вообще чувствовалъ большую склонность: рѣшать головоломныя задачи было его любимымъ занятіемъ. За то другими науками онъ совсѣмъ почти не интересовался и тѣмъ утверждалъ во мнѣ невысокое мнѣніе о своихъ умственныхъ способностяхъ. Но вотъ однажды онъ поднесъ мнѣ на лоскутѣ бумаги слѣдующее стихотвореніе собственнаго сочиненія:

О, Природа! Природа! Природа!  
Ты не имѣешь конца и начала.  
Только лишь звѣзды сверкаютъ  
Въ безграничномъ пространствѣ твоемъ,

И блестятъ, и горять, и плывутъ..  
 Плывутъ туда, гдѣ вѣчный мракъ и холодъ,  
 Гдѣ нѣтъ живого существа.  
 — О, я ошибся, я солгалъ!  
 Тамъ міръ иной, блаженный,  
 Тамъ есть живыя существа!

Это стихотвореніе, признаюсь, поразило меня... Я поспѣшилъ объяснить Владимірову технику стихосложенія и посоветовалъ больше читать. Къ чтенію онъ по прежнему не пріохотился, а на прочитанное высказывалъ самые странные и порой дикіе взгляды, но стихи продолжалъ писать. Вскорѣ онъ представилъ мнѣ еще два произведенія своей музы, гдѣ метрическія требованія были удовлетворены нѣсколько лучше.

Я слышу голосъ, голосъ и привѣтъ:  
 „Пора, пора на вольный Божій свѣтъ!“  
 Свободнѣй стало, грудь вздохнула,  
 И вотъ когда слеза блеснула  
 Въ моихъ очахъ... Чѣмъ эта доля,  
 Милѣй мнѣ воля, воля, воля!  
 Физическая слабость,  
 И умственная вялость,  
 И на повѣркѣ проповѣдь  
 Караютъ человѣка вѣдь... (sic)  
 Проходятъ дни и годы—  
 Дождусь-ли я свободы?!

Когда жена меня больная  
 И мать подъ кровомъ пріютить?  
 Когда страна, страна родная  
 Мнѣ утѣшенье возвратить?

Другое стихотвореніе, изъ котораго помню только первый куплетъ:

Лѣсъ шумитъ и зеленѣетъ,  
 И шуршитъ ковыль;  
 Въ полѣ вѣтеръ дуетъ, вѣетъ,  
 Подымаетъ пыль,—

не представляло ничего оригинальнаго и отзывалось подражаніемъ Кольцову, Шевченку и другимъ народнымъ поэтамъ. Конечно, я не видѣлъ въ стихахъ Владимірова чего-нибудь подающаго крупныя надежды и скорѣ даже совсѣмъ пересталъ поощрять его къ дальнѣйшимъ опытамъ, но повторяю—открытіе это меня пріятно удивило. Оказывалось, что въ этомъ неуклюжемъ, вѣчно заспанномъ

увальнѣ, жившемъ столько времени бокъ-о-бокъ со мною и казавшемся мнѣ такимъ смѣшнымъ и недалекимъ, происходилъ довольно сложный процессъ мысли и чувства, въ сущности очень близкій и родственнѣй тому, который самъ я переживалъ и чувствовалъ.

Физическая слабость,  
И умственная вялость,  
И на повѣркѣ проповѣдь...

Ахъ! да не то же ли это самое, что и меня терзало и мучило

Я слышу голосъ, голосъ и привѣтъ:  
„Пора, пора на вольный Божій свѣтъ!“

Не мой-ли это вопль и не моя-ли завѣтная дума подслушана и такъ поэтически выражена—и кѣмъ же? Медвѣжьимъ Ушкомъ!.

Вскорѣ Владиміровъ бросилъ поэзію и опять вернулся къ своей обычной физической и умственной спячкѣ. Внутренній міръ его снова для меня закрылся и сталъ непроницаемымъ. Другого такого замкнутаго въ себѣ человѣка я никогда не встрѣчалъ. Никакія насмѣшки и уколы товарищей не могли вывести его изъ себя и заставить разсказать, кто онъ такой, откуда родомъ и за что попалъ въ каторгу. Знали только, что онъ арестованъ былъ, какъ бродяга, въ Иркутскѣ и, какъ бродяга же, осужденъ на шесть лѣтъ временно-заводскихъ работъ безъ права вольной команды. Слышалъ я еще отъ Гончарова, будто Владиміровъ тоболякъ, купеческій сынъ и скрылъ родословіе, не желая огорчать родителей и надѣясь, по окончаніи каторги, вернуться домой „чистымъ“ человѣкомъ; но точно ли это вѣрно, и если вѣрно, то что именно занесло его въ Иркутскъ, и за что онъ былъ арестованъ, этого я и до сихъ поръ не знаю. Самъ Владиміровъ, въ одну изъ минутъ откровенности, сказалъ мнѣ только, что домой по окончаніи каторги ни за что не отправится, такъ какъ ничего хорошаго не разсчитываетъ тамъ найти, а постарается устроиться какъ-нибудь на поселеніи. Но возможно и то, что онъ обманулъ меня, показавъ лишь видъ, что откровенничаетъ, на самомъ же дѣлѣ хотѣлъ зачѣмъ-то отвести мнѣ глаза отъ настоящаго слѣда къ своему прошлому—Богъ его знаетъ.

Владиміровъ имѣлъ однонесомнѣнное достоинство, которое рѣзко отличало его отъ остальной шпакни: послѣдняя вся поголовно была увѣрена (и только относительно его одного), что у своего брата-арестанта, у артели, Медвѣжье Ушко ни за что крошки не укра-

детъ; однажды даже выбрали его въ тюремные старосты. Но на этой должности онъ оказался такой розиней, витая въ своемъ внутреннемъ, никому невѣдомомъ мірѣ, сидя за рѣшеніемъ алгебраическихъ задачъ или сочиненіемъ стиховъ, такъ мало обращалъ вниманія на дѣйствительность, что мяса въ котлѣ у него оказывалось нерѣдко значительно меньше, чѣмъ узавзятаго вора-старосты; его обкрадывали повара, обвѣшивали экономя, и вскорѣ Медвѣжье Ушко, подъ предлогомъ болѣзни, принужденъ былъ бѣжать въ больницу, чтобъ избавиться отъ общихъ нареканій. Вообще староство далось ему сокомъ; чрезвычайно дорожа общественнымъ мнѣніемъ о своей неподкупной честности, онъ волновался изъ-за каждаго пустяка, въ которомъ видѣлъ или подозрѣвалъ недовольство арестантовъ собою, и бывалъ въ высшей степени смѣшонъ въ этомъ волненіи. Религіозный и искренно богомольный, въ одну изъ такихъ горькихъ, а для посторонняго наблюдателя комическихъ минутъ своей жизни, онъ дошелъ до того, что громко высказалъ сомнѣніе въ существованіи Бога!..

### ХІІІ.

#### Ч и р о к ъ.

Мнѣ живо помнится одинъ вечеръ. Въ камерѣ шелъ обычныйшій разговоръ о томъ, что „у насъ-де дурное правительство, тѣмъ, что оно не выпускаетъ арестантовъ на волю, а держитъ ихъ до строка въ тюрьмѣ и всячески стязаетъ“. Кто-то обратился съ вопросомъ ко мнѣ: такъ-ли я на этотъ счетъ думаю? Я думалъ въ ту минуту совсѣмъ о другомъ и, признаюсь, затруднился отвѣтомъ на заданный такъ прямо вопросъ.

— Кого-бъ изъ насъ выпустили вы?—смѣясь, спросилъ Гончаровъ:—сейчасъ, вотъ сейчасъ же бы выпустили на волю?

Я оглянулся кругомъ и назвалъ своего сосѣда Кузьму Чирка, предметъ общихъ шутокъ и насмѣшекъ, человѣка, казалось мнѣ, вполне безобиднаго, смирнаго и попавшаго въ каторгу по какой-нибудь судебной ошибкѣ. Всѣ разразились оглушительнымъ хохотомъ при моемъ отвѣтѣ.

— Вотъ нашли чорта! Да знаете-ль вы, сколько онъ народу побилъ? Онъ не сказывалъ вамъ? Вы не смотрите, что онъ тихонькій да ласковый, какъ теленокъ. Въ этой пермяцкой головѣ много хитрости заложено.

— Не вѣрь, не вѣрь, Миколаичъ!—закричалъ Чирокъ, лукаво ухмыляясь:—правду ты истинную молвилъ, святую правду. Давно бѣ такого старичонку, какъ я, выпустить на волю пора!

— Да! чтобъ ты еще пятерыхъ спать навѣки укалалъ?

— А развѣ вы пятерыхъ, Чирокъ, уложили?—спросилъ я.

— Слухай ты ихъ, Миколаичъ, они тебѣ насажутъ. Я совсѣмъ безвинно страдаю.

— За что же?

— За брата. Онъ полюбовницу убилъ, а я подсобилъ ему въ мужнинъ погребъ ее опустить.

— Да, живую спустить подсобилъ.

— О, дьяволъ чернопазый! чего врешь? живую... И не дышала даже, удушена была! За что-жъ бы меня на одиннадцать лѣтъ всего засудили, а Егоршу на восемнадцать? За укрывательство только одно и пришелъ я въ каторгу.

— Ну, а Расскажи, братъ, какъ ты черемиса-то задавилъ.

— Какого тамъ еще черемиса?

— Да такого, за возъ-то сѣна...

— Молчи, дьяволъ, молчи! Вѣдь онъ запишетъ, Миколаичъ-то.

— Нѣтъ, не запишу, Чирокъ, расскажите.

— Не омманешь?

— Не обману. За что вы его задавили?

— За шею, вѣстимо. Какъ же не задавить было проклятаго? Поѣхали мы съ Егоршей да съ другимъ еще братишкой, Васькой, по-сѣно... то-ишь по чужое. Вотъ наворотили два огромныхъ воза и ѣдемъ домой. А на встрѣчу черемисъ этотъ самый. Какъ тутъ быть? Что тутъ дѣлать? Оставить такъ—донесетъ вѣдь шельма, въ тюрьму придется идти... Ну, взяли мы и накинули на шею ему удавку.

— А Расскажи еще, какъ мужика-то ты за голову сахару уколошилъ?

— Это еще чего поминать. Робачьимъ еще дѣломъ было, какое это преступленье?

— Всетаки расскажите.

— Приѣхалъ къ тяткѣ знакомый мужикъ въ гости, пьяный-распьяный. Покамѣсть онъ съ тяткой сидѣлъ да водку пилъ, мы, робятишки, нашли у него въ саяхъ кулекъ съ разными сладостями. Голова тамъ цѣлая сахару была, пряники... Только хотѣли было уволочь кулекъ, глядь—онъ выходитъ, хозяинъ-то то-ишь. Еле ноги

передвигаетъ, тятка подъ руки его ведетъ. Сѣлъ кое-какъ въ сани.— Прокати, говоримъ, дяинька!—Усѣлись мы съ имъ и поѣхали. Лошаденка сама дорогу знаетъ, бѣжить куда надо. Вотъ я взялъ возжи-то да и накиннулъ его сонному на шею. Онъ и захрапѣлъ. Мы сейчасъ лошадь остановили, кулекъ спалили—и на убѣгъ. А лошадь домой. Такъ мертвого его и привезла. Ну, тятка-то, надо быть, сдогадался, призвалъ насъ и пригрозилъ кнутомъ: „молчите, сучьи дѣти!“ Такъ и не узналъ никто. Задавился самъ, пьяный, да и все тутъ.

— А сколько вамъ лѣтъ было тогда, Чирокъ?

— Я по одиннадцатому былъ году, а Егорша по восьмому.

— Ты, значить, удавочкой все больше орудовалъ? Молодецъ, Кузьма!

— Онъ и топорикомъ, братцы, тоже умѣлъ дѣйствовать, — поправилъ Тарбаганъ:—разскажи-ка, Кузьма, какъ другого-то мужика топоромъ ты въ боковину двинулъ.

— О, гаденышъ проклятый! Творенье паршивое!

— Нѣтъ, ужъ разсказывай, братъ, разсказывай, коли началъ,— галдѣла вся камера:—а нѣтъ, такъ вѣдь живо подкуемъ. Эй, Желѣзный Котъ! Подковать его надо.

„Подковать“—это значило щекотать пятки, чего Чирокъ смертельно боялся. Онъ моментально вспрыгивалъ на ноги и начиналъ бѣгать по нарамъ, грозя всѣмъ наступающимъ своими джыми кулаками.

.. Пад-сту-чись-ка только!—кричалъ онъ нараспѣвъ:—я покажу! Даромъ, что старичонко.

Но враги приближались со всѣхъ сторонъ: Никифоръ, Семеновъ, Желѣзный Котъ заходили съ боковъ; Парамонъ надвигался прямо, грозный и рѣшительный... Чирокъ, прижатый въ уголъ, готовился къ жаркому бою, но внезапно какой-нибудь Тарбаганъ кидался ему подъ ноги, всѣ на него налетали, валили послѣ долгаго и упорнаго сопротивленія на нары и „прибивали подковки“. При этомъ Чирокъ оралъ такъ немилосердно, что должны были затыкать ему ротъ изъ опасенія, что услышитъ надзиратель. Наконецъ, Чирокъ просить-таки пощады и, кашляя и бранясь, усаживается на свое мѣсто разсказывать, какъ онъ мужика топорикомъ двинулъ.

— Чего тутъ разсказывать-то? Изъ-за межи споръ вышелъ. Онъ на меня со стягомъ кинулся... Мнѣ што-жъ, зѣвать, что-ль, было? Я и махнулъ въ него топоромъ и угодилъ прямо въ боко-

вину. Тутъ же изъ подлеца и духъ вышелъ.. Меня втапору и судъ оправдалъ, потому свидѣтели были.

— Записывайте, Миколанчъ: это ужъ которая душа-то?

— У него еще есть. Вчера ночью онъ мнѣ сказывалъ. Разъ... — заводилъ было Парамонъ, но Чирокъ принимался такъ усердно тузить его, и между ними начиналась опять такая возня, что къ форточкѣ подходилъ надзиратель и прикрикивалъ на бунновъ. Возня затихала, бесѣда прекращалась и большинство мало-по-малу засыпало. Только Чирокъ, Парамонъ и Желѣзный Коть, сойдясь въ кучку на противоположныхъ нарахъ, гдѣ было мѣсто кузнеца, долго еще, иногда до поздней ночи, сидѣли, сложивъ по-турецки ноги и посасывая цыгарки и трубки, и бесѣдовали между собой таинственнымъ полушопотомъ. Это Чирокъ рассказывалъ о своей молодости... До меня доносились отрывки этихъ рассказовъ, и часто я вздрагивалъ отъ невольна охватывавшаго меня ужаса, а иногда, напротивъ, готовъ былъ смѣяться самымъ искреннимъ и добродушнымъ смѣхомъ.

Личность Чирка вообще представляла собой какую-то причудливую смѣсь серьезнаго съ шутивымъ, комизма съ трагизмомъ, чисто-дѣтской наивности и простодушія съ самой хитрой плутоватостью и лукавствомъ. Природный умъ и лукавство свѣтились въ этихъ сѣрыхъ, всегда съ любопытствомъ смотрѣвшихъ глазахъ, лежали въ складкахъ морщинистаго лба и углахъ большого неуклюжаго рта, оттѣненнаго жесткими, рыжеватыми усами; но въ то же время отъ этого блѣднаго, худощаваго лица съ длиннымъ, какъ у лошади, черепомъ, отъ всей этой мѣшковатой, переваливающейся съ ноги на ногу и прочно скроенной фигуры вѣяло чѣмъ-то такимъ простымъ и хорошимъ, что рѣдко кто не любилъ его. Служа предметомъ вѣчныхъ и всеобщихъ насмѣшекъ и отругиваясь порой, какъ самый послѣдній извозчикъ, Кузьма даже въ минуты яростнаго гнѣва бывалъ въ сущности безобиденъ, и самыя ужасныя его ругательства вызывали одинъ хохотъ. Въ бранныхъ словахъ онъ былъ большой знатокъ и мастеръ; они почти не сходили у него съ языка и, однако, не имѣли въ его устахъ того страшнаго характера, какъ у Семенова, или циничнаго, какъ у Тарбагана. За нѣсколько лѣтъ общей жизни въ Шелайской тюрьмѣ я сильно привязался къ Чирку, и среди многихъ тревоженій и испытаній всякаго рода, о которыхъ будетъ рѣчь впереди, и которыя не разъ заставляли меня переиживать мнѣніе о многихъ другихъ арестантахъ, Чирокъ всегда



оставался въ моихъ глазахъ все тѣмъ же незлобивымъ и добродушнымъ Чиркомъ, тѣмъ же вѣрнымъ и надежнымъ пріятелемъ, никогда не сующимся ни въ какія арестантскія дразни. А между тѣмъ, на волѣ этотъ же самый шутъ—Чирокъ отправилъ на тотъ свѣтъ съ десятокъ душъ и теперь не чувствовалъ въ томъ ни малѣйшаго раскаянія.

Долгое время я не понималъ, почему его дразнятъ, между прочимъ, Сахалиномъ, говоря, что скоро и его туда повезутъ къ сестрѣ. Я думалъ, что это не больше, какъ шутка; но, прислушиваясь разъ къ таинственному ночному шопоту, узналъ изъ устъ самого Чирка слѣдующее объясненіе этимъ насмѣшкамъ.

— Изъ за Лукейки-то я и пропалъ больше. Еще экосенькой вотъ дѣвчонкой она чистый разбойникъ была. Шары большіе, такъ и горятъ, глядѣтъ страшно. Лѣтъ семнадцати связалась она съ бродягой Сенькой Пелевинымъ и зачала съ имъ дѣла крутить. Я въ ихъ кругъ не мѣшался, потому я больше на тихой манеръ поровнилъ: въ клѣтъ али въ анбаръ чужой залѣзть, чужихъ барановъ али гусей пошарить... Гдѣ сѣно, гдѣ дрова... Ну, и пшеницей, и чебаками тоже не брезговалъ...

Среди слушателей тихій смѣхъ.

— А чтобъ убивать, такъ ужъ развѣ неминуемое дѣло было. Такъ я и тогда удавочку больше въ ходъ пушалъ, али сулему. Смѣхъ еще дружиѣ.

— Подоздрѣвали меня, конечно, во многихъ дѣлахъ подоздрѣвали, а только настояще услѣдить не могли. Разъ съ обыскомъ заявилися. Я у сосѣда трехъ барановъ укралъ, мясо посолилъ, шкуры продалъ... И своего одного барана тутъ же закололъ. „А, говорятъ, вотъ оно, мясо-то!“ Я говорю:—Это мой баранъ, вонъ и кожурина Тимошкина виситъ... Тимошкой барана моего звали. „Да развѣ, говорятъ, у одного барана восемь почекъ бываетъ?“— Ей-богу, говорю, такой жирный да большой баранъ былъ. Съ тѣмъ и отступились, ничего не взяли.

— Ну, а зятекъ-то твой богоданный съ сестрицей не такими дѣлами орудовали?

— Нѣтъ. Тѣ надумали старуху одну убить и ограбить. Версть за-семьдесятъ отъ насъ богатая старуха, ровно монашка, жила съ дѣвчонкой-пріемышемъ. Вотъ они къ имъ и заявилися, убили обѣихъ, обобрали, уѣхали и стали, какъ водится, гулять. Взяли ихъ въ подоздрѣнье, арестовали и осудили: Лукейку на двадцать лѣтъ,

а Пелевина на вѣчно. На Сахалинѣ обоихъ угнали. Только кончили съ ими, тутъ и Егоркино дѣло подоспѣло. Не будь Лукейкина убивства, меня-бъ и не засудили, пожалуй. А то прокуроръ черезчуръ ужъ основывался: такъ и такъ, молъ, коли ужъ сестра разбойникъ такой, братья тѣмъ больше должны быть разбойники. Изъ-за нея, шельмы, изъ-за змѣи подколодной, я на одиннадцать лѣтъ угодили!

— А что это у тебя за знакъ на головѣ? Должно полагать, не такъ все съ рукъ сходило, какъ сказываешь?

Чирокъ ухмыляется и начинаетъ скрести себѣ голову рукой въ прошибленномъ мѣстѣ.

— Это точно, робята; оплошалъ я таки однова, пришлось стяжка отвѣдать. По крупчатку мы съ Егоршей ночью поѣхали. Его я на стрѣмѣ съ конями поставилъ, а самъ ношу да ношу, знай, мѣшки изъ анбара. Только Егорка-то видитъ, что тихо все, никого нѣтъ, и розинулъ ротъ: стоитъ себѣ да ковыряетъ въ носу... Потому молодой еще былъ, глупый! Вотъ несу я куль на спинѣ... Вдругъ кто-то какъ оглушить меня стягомъ по башкѣ!.. У меня ажъ разные огоньки въ глазахъ забѣгали, и синіе, и зеленые, и красные. Будто изъ ружья кто выпалилъ—гулы кругомъ пошли... Уронилъ я кулекъ, прислонился къ дереву (дерево, спасибо, по близу стояло) и стою-гляжу... И онъ тоже стоитъ, глядитъ на меня. Должно быть, тоже шибо испужался.

— Испужаешься, небось, этакого дьявола, что и стягъ не беретъ!

— Опамятовался я потомъ—и на убѣгъ скорѣй! Кликнулъ Егоршу, сѣли въ телѣгу—и айда домой! Голова у меня здорово проломлена была... Крови что вышло! Только я отговорился, когда пошли розыски: конь, молъ, лягнулъ.

И долго еще на нарахъ у Желѣзнаго Кота продолжается въ томъ же родѣ шопоть, прерываемый изрѣдка сдержаннымъ смѣхомъ и отдѣльными замѣчаніями слушателей. Страшные образы и дикія, кровавыя сцены проходятъ передо мною, сплетаясь въ какую-то мрачную фантасмагорію. Лукейка съ огненными шарами вмѣсто глазъ, убивающая старуху съ маленькой дѣвочкой и идущая на Сахалинъ съ своимъ любовникомъ-бродягой; десятилѣтнія дѣти, накидывающія мертвую петлю на пьянаго мужика; Чирокъ, ворующій сѣно и убивающій при этомъ свидѣтеля-черемиса... Удавка, возки, топорики... Удары стяжка по головѣ, подобные ружейнымъ

выстрѣламъ... Крупчатка, чебаки, дрова, Тимошкина кожурина и его восемь почекъ... Кровь, острогъ, каторга... И плутоватое лицо рассказчика, и сочувственный хохотъ слушателей... Наконецъ, я засыпаю; но и во снѣ продолжаютъ тѣ же видѣнія, душать тѣ же кровавые кошмары. Я стараюсь бѣжать отъ нихъ, бѣгу, задыхаясь... Счастливо миную часового со штыкомъ, бѣгу мимо свѣтлички съ выглядывающимъ изъ нея старикомъ-сторожемъ, подозрительно воззрѣвшимъ на меня, бѣгу по болоту, по сопкамъ... И вдругъ падаю, оступившись, на дно мрачной и холодной шахты! Воздухъ, разсѣкаемый моимъ трепещущимъ тѣломъ, свиститъ, и страшное, ненавистное чудовище шепчетъ: „Ага! попался, голубчикъ!..“ Вотъ, вотъ ударюсь я объ одинъ изъ его гранитныхъ выступовъ, и черепъ мой разлетится въ мелкія дребезги...

— Ахъ!..

И я просыпаюсь, весь обливаясь холоднымъ потомъ, охваченный смертельнымъ ужасомъ. Въ корридорѣ слышится свистокъ надзирателя и крикъ: „Вылазь на повѣрку!“ Въ окнахъ еще темно, но уже наступаетъ тяжелый каторжный день, и сожители мои, потѣвывая и потягиваясь, начинаютъ лѣниво подниматься.

#### XIV.

#### Л у ч е з а р о в ь.

Въ одно декабрьское воскресное утро въ камеру прибѣжалъ, запыхавшись, Тарбаганъ и сказалъ, что меня къ воротамъ зовутъ. Подъ воротами дежурный объявилъ, что начальникъ требуетъ меня на квартиру.

— Можетъ быть, въ контору?—переспросилъ я.

— Нѣтъ, на квартиру велѣно.

Мнѣ дали выводного казака, и я отправился съ нимъ къ bravому штабсъ-капитану.

— Съ чернаго крыльца пойдешь?—спросилъ казакъ, останавливаясь въ нѣкоторомъ недоумѣніи.

Но я рѣшилъ войти черезъ парадное крыльцо и дернулъ за колокольчикъ. Звонить пришлось, однако, долго. Наконецъ, появилась какая-то женщина и, при видѣ арестанта, съ сердцемъ захлопнула дверь, крикнувъ:

— Чего съ параднаго хода шляется? Баринъ сердится.

Сконфуженный, я долженъ былъ отправиться на черное крыльцо и вошелъ въ кухню. Тамъ переругивалось нѣсколько женскихъ фигуръ. При моемъ входѣ онѣ замолчали.

— Чего надо?—грубо спросила одна изъ нихъ съ пожилымъ лицомъ и высоко засученными рукавами, очевидно, кухарка. Я сказалъ. Отправились докладывать.

— Баринъ велѣлъ въ кабинетъ идти,—удивленно объявила горничная, передъ тѣмъ выпроводившая меня съ параднаго крыльца. Мы съ казакомъ пошли вслѣдъ за нею черезъ длинный и темный корридоръ, по бокамъ котораго виднѣлись въ растворенныя двери комнаты съ кадками и горшками цвѣтовъ на окнахъ и по всѣмъ угламъ и съ яркими масляными картинами на стѣнахъ, сюжеты которыхъ я не успѣлъ разглядѣть.

— Сюда,—указала горничная, и я робко вступилъ въ небольшую комнату, устланную коврами и занятую шкафами книгъ и всевозможныхъ бумагъ. Въ большомъ креслѣ за письменнымъ столомъ возсѣдалъ самъ Лучезаровъ. Услыхавъ шорохъ, онъ поднялся съ мѣста и быстрыми шагами подошелъ почти вплотъ ко мнѣ.

— А!—сказалъ онъ, пытливо уставивъ въ меня свои круглые глаза, и лицо его, румяное и пышущее здоровьемъ, подернулось довольной улыбкой.

— А!—протянулъ онъ еще разъ:—надняхъ только я узналъ... совершенно случайно... что въ моей тюрьмѣ находится арестантъ съ высшимъ образованіемъ.

Признаюсь, меня удивила эта безцѣльная ложь со стороны бравго штабсъ-капитана: изъ одной уже моей переписки съ родственниками, не говоря о статейномъ спискѣ, онъ съ самаго начала долженъ былъ знать о моемъ общественномъ положеніи до суда.

— Я цѣню образованіе,—продолжалъ онъ развязно,—но полагаю только, что для русскаго человѣка не оно самое главное. Гораздо важнѣе дисциплина ума и характера. Я, право, отказываюсь понять, какъ можетъ попасть въ каторгу человѣкъ, получившій высшее образованіе?

Мнѣ былъ тяжелъ подобный оборотъ разговора, и я уклончиво отвѣчалъ, что въ моихъ бумагахъ, конечно, подробно указано, за что я осужденъ.

— О, да, конечно, конечно,—сказалъ Лучезаровъ:—я знаю... я читалъ... Но, тѣмъ не менѣе, могла вѣдь быть судебная ошибка,

могли быть смягчающія обстоятельства, какъ-нибудь ускользнувшія отъ вниманія...

— Нѣтъ,—сухо возразилъ я:—насколько мнѣ извѣстны русскіе законы, я осужденъ по нимъ вполне правильно.

— Да?..—Лучезаровъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ пытливо глядѣлъ на меня, все по-прежнему иронически улыбаясь. Потомъ вдругъ лицо его сразу сдѣлалось серьезнымъ и официальнымъ. Онъ быстро повернулся на каблукахъ къ столу и сказалъ:

— Тутъ получилаcя посылка... Собственно за этимъ я и вызвалъ васъ.

До сихъ поръ, въ обращеніи ко мнѣ, онъ не употребилъ ни одного личнаго мѣстоименія, ни „ты“, ни „вы“, видимо, колеблясь между ними и какъ бы развѣдывая почву; но теперь вдругъ бросилъ колебанія и заговорилъ рѣшительно вѣжливо.

— Пришли книги на ваше имя... Отъ вашей матушки. Судя по письмамъ, она, должно быть, прекраснѣйшій человѣкъ Я, знаете-ли, не люблю этихъ слабонервныхъ дамъ, вѣчно хныкающихъ, съ сантиментами. А она не то, совсѣмъ не то. Бодростью этакой, даже веселостью вѣетъ отъ ея писемъ. Совсѣмъ мужской характеръ. Да, такъ вотъ она вамъ книги прислала. Когда-то я самъ любилъ читать, но теперь, конечно, поотсталъ отъ вѣка. Дѣлами заваленъ по горло, бездѣльничать некогда. Выборъ книгъ, могу сказать, не дурной; есть общеизвѣстныя имена. Матушка ваша сама пишетъ, что классиковъ старалась выбрать.

— Значить, я могу получить ихъ?—забѣжалъ я впередъ.

— Ну, это, положимъ, еще не значитъ,—отвѣчалъ Лучезаровъ, и лобъ его вдругъ нахмурился.

— Какъ такъ?

— Видите-ли; относительно чтенія арестантами книгъ я не имѣю, къ сожалѣнію, вполне ясныхъ и опредѣленныхъ инструкцій. Я во всемъ люблю точность. Я солдатъ; я люблю, чтобъ каждый мой шагъ былъ правиленъ и послѣдователенъ. Если ступилъ лѣвой ногой, то знай, что дальше слѣдуетъ поднимать правую, а не прыгать на той же лѣвой. Вотъ, на примѣръ, я имѣю самыя обстоятельныя и несомнѣнныя указанія относительно того, какъ должна происходить повѣрка, работа, каковы должны быть отношенія арестантовъ къ начальству, ихъ пища и проч.

— Однако,—не утерпѣлъ я,—въ вывѣшенной въ тюрьмѣ ин-

струкціи не сказано, чтобъ запрещалось покупать пищу на свои деньги, а вы же запрещаете?

— Да, пожалуй... Если хотите, вы правы: въ инструкціи и этотъ пунктъ недостаточно ясно обоснованъ. Что будете дѣлать! Знаете, каковъ умственный уровень большинства исполнителей высшихъ начертаній? Вы правы: упущеній много. Но запрещеніе частной пищи логически вытекаетъ изъ всего каторжнаго режима. Въ инструкціи отчетливо и до мелочей подробно указано, что именно полагается арестанту отъ казны: столько-то мяса, столько-то хлѣба. Очевидно, законъ признаетъ это количество пищи вполне достаточнымъ.

— Онъ, можетъ быть, вовсе не признаетъ достаточнымъ, но находитъ казну не настолько богатой, чтобы давать больше.

— Ну, не думаю этого. Наконецъ, это вяжется и съ моими личными убѣжденіями: каторжный режимъ долженъ быть также и пищевымъ режимомъ. На солдатъ—замѣтьте: на солдатъ!—отпускается казною не многимъ больше. Это ненормально. Да, да! Я буду ходатайствовать, я стану настаивать передъ губернаторомъ, чтобы этотъ пунктъ инструкціи былъ опредѣленъ точнѣе и именно въ томъ смыслѣ, какой я указываю. Въ каторгу приходятъ не ѣсть и спать, а страдать и нести возмездіе. Нѣтъ, нѣтъ, вы не знаете еще этихъ артистовъ: дай имъ вдоволь хлѣба и пищи — они валомъ повалятъ въ тюрьму! Необходима узда, необходимы строгія рамки во всемъ, также и въ пищѣ. Повторяю: это мое глубокое убѣжденіе.

Я поглядѣлъ на дышавшее здоровьемъ и румянцемъ лицо Лучезарова, на его округлый животъ и съ достоинствомъ выпяченную грудь и увидалъ, что таково, дѣйствительно, было его искреннее и глубокое убѣжденіе. Но внутри меня что-то клокотало, что-то подталкивало сдѣлать еще одно-два возраженія.

— Но вѣдь это... это негуманно,—сказалъ я:—жить на подобной пищѣ въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ, исполняя тяжелыя работы, не имѣя свободы, немислимо! Народъ неизбежно ослабѣетъ и начнетъ болѣть. Развѣ можно сравнивать арестантовъ съ солдатами? Солдаты—лучшій цвѣтъ народа, самая здоровая часть молодежи, тогда какъ арестанты—люди всѣхъ возрастовъ и всевозможныхъ родовъ здоровья. Солдаты не истомлены, какъ они, долгимъ предварительнымъ сидѣніемъ по тюрьмамъ и получаютъ они всетаки большій паекъ. Наконецъ, имъ не запрещается тра-

тить свои деньги. Подумайте обо всемъ этомъ и согласитесь, что вашъ „пищевой режимъ“ равняется для насъ медленной смертной казни, которую врядъ-ли имѣетъ въ виду законъ.

Лучезаровъ, казалось, очень внимательно слушалъ мою рѣчь, нахмуривъ лобъ и даже сочувственно кивая мнѣ головой.

— Все это, можетъ быть, и такъ,—отвѣчалъ онъ, пожавъ плечами,—но... отсюда одинъ выходъ: не попадать въ каторгу.

Тутъ онъ понизилъ нѣсколько голосъ и пріятно улыбнулся. Я пересталъ спорить.

— Что же хотѣли сказать вы мнѣ относительно книгъ?

— Да, книга!—радостно встрепенулся Лучезаровъ. — Я хочу сказать, что нахожусь въ большомъ затрудненіи. Я, видите-ли, человекъ въ сущности не жестокий и надѣюсь, что при дальнѣйшемъ знакомствѣ со мною вы въ этомъ убѣдитесь. Мнѣ даже пріятно было бы доставить вамъ нѣкоторое удовольствіе: я вижу, что вамъ очень хочется получить эти книги. Но... опять-таки я долженъ сказать, что по рукамъ и ногамъ связанъ инструкціей. А составители Шелаевской инструкціи, очевидно, не предполагали даже, что найдутся такіе арестанты, какъ вы. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ и когда арестантъ интересуется чтеніемъ? Помилуйте, да развѣ книжка нужна этимъ артистамъ! И вотъ въ инструкціи я читаю только: „разрѣшаются книги религіознаго и нравственнаго содержанія“. Даже не такъ: союза „и“ нѣтъ! Сказано „религіозно-нравственнаго содержанія“; но такъ какъ книгъ религіозно-безнравственныхъ не можетъ быть, то я считаю это за простую опіску переписчика и самовольно ставлю союзъ „и“.

Не будучи увѣренъ въ справедливости догадки браваго штабсъ-капитана, я покривилъ душой и поспѣшилъ подтвердить, что догадка эта вполне уместна и основательна.

— О, да! я много объ этомъ думалъ, вчера и сегодня думалъ и полагаю, что я правъ. Итакъ, кромѣ чисто-религіозныхъ книгъ, законъ разрѣшаетъ еще книги нравственнаго содержанія. Но вотъ тутъ-то и загвоздка! Я откровенно сознаюсь вамъ, что быть судьей того, нравственны или безнравственны присланные вамъ книги, отказываюсь. Конечно, я тоже читалъ и знавалъ когда-то всѣхъ этихъ Гоголей и Шекспировъ; но это было такъ давно... Очень многое я уже позабылъ. Да, по моему, не стоитъ и поминать всякую дребедень. Перечитывать же теперь все это заново—прошу покорно! У меня нѣтъ для этого времени. Это развѣ. А

второе и самое главное: то, что может назваться нравственнымъ для чтенія на волю, совсѣмъ другое вліяніе можетъ оказать на людей, сидящихъ въ тюрьмѣ! Подите, узнайте — что вынесутъ они — ну, хоть изъ этого Гоголя? Вотъ, напримѣръ, „Мертвыя Души“... Я, право, не помню... Не отыщутъ ли они тутъ какой-нибудь аллегоріи? Да вотъ и дозволенія цензуры, къ тому же, не указано...

Я горячо вступился за Гоголя, начавъ доказывать, что это одинъ изъ самыхъ нравственныхъ русскихъ писателей, классикъ, допущенный рѣшительно во всѣ школы, среднія и низшія; объяснилъ также и существованіе въ Россіи съ 65 года закона, по которому большинство книгъ печатается у насъ безъ предварительной цензуры.

— Все это такъ, все это, можетъ быть, и такъ,—кивалъ головой Лучезаровъ:—но скажите, пожалуйста, зачѣмъ вамъ нужны эти книги? Вы, повидимому, и такъ все чуть не наизусть знаете, Вѣрно, вы хотите читать ихъ арестантамъ?

Я отвѣчалъ, что, дѣйствительно, имѣю въ виду эту цѣль, и началъ пространно развивать свой взглядъ на воспитательную роль художественной литературы, говоря, что чтеніемъ хорошихъ книгъ и развитіемъ въ арестантахъ высшихъ умственныхъ интересовъ можно скорѣе и вѣрнѣе исправить ихъ, чѣмъ всѣми командами, строями и проч.

Лучезарова удивила эта идея, и между нами завязался оживленный споръ.

— Конечно,—сказалъ онъ,—исправить арестантовъ вещь хорошая. Я и самъ задаюсь этою цѣлью; но въ первый разъ слышу, чтобы на этотъ народъ могло что-нибудь другое дѣйствовать, кромѣ страха наказаній. Собственно, я далеко не поклонникъ, напримѣръ, тѣлесныхъ наказаній; это я не разъ уже высказывалъ и самимъ арестантамъ. Если хотите, я даже принципиальный противникъ плетей и розогъ: къ чему онѣ? Что онѣ значатъ для такихъ артистовъ? Арсеналъ карательныхъ мѣръ, находящійся въ моихъ рукахъ, и безъ того достаточный... Повторяю, я по натурѣ вовсе не жестокой человѣкъ. Я держусь только во всемъ строгой законности, буквы закона. И потому я не вижу иныхъ средствъ исправленія, кромѣ тѣхъ, какія указаны мнѣ инструкціей. Современные тюремные дѣятели признаютъ одно только средство—страхъ, и я вполне съ ними согласенъ. Это все прочее, что вы указываете, это еще гаданія только одни... Нѣтъ! книжечками



этими вы подобный народецъ не проберете. Я уже десять лѣтъ въ Сибири живу и лучше васъ его знаю. До мозга костей испорченные каналы! Впрочемъ, попытайтесь. Впредь до разъясненія этого вопроса вышшимъ начальствомъ, я, пожалуй, выдамъ вамъ нѣкоторыя изъ книгъ. Пользы онѣ, конечно, не принесутъ, но и вреда, я думаю, особеннаго тоже не будетъ.

— Какихъ же изъ присланныхъ мнѣ книгъ вы всетаки не выдаете?

— Нѣкоторыхъ. Ну, эти вотъ можно: Гоголя два тома, Пушкинъ, Лермонтовъ... Хотя стихи, по моему мнѣнію, совсѣмъ бы не годились для тюрьмы... Ну, да ужъ такъ, на время... „Отелло“, „Король Лиръ“—не помню, что это такое, но, вѣроятно, можно, Костомаровъ, Мордовцевъ... историческое... Ну, пожалуй. А вотъ этихъ иностранныхъ писателей не могу выдать: Гюго, Диккенсъ... Ихъ я, признаюсь, совсѣмъ не знаю. Нѣтъ, нѣтъ, не могу! И не просите!

— А Фламмаріона почему же нельзя?

— Это что-то о небѣ, о звѣздахъ?.. Нѣтъ, и этого невозможно выдать, никоимъ образомъ. Небо, знаете-ли, вещь щекотливая. Роль духовнаго цензора я никакъ не могу на себя взять... И знаете-ли что: напишите вашей матушкѣ, чтобы она не присылала больше книгъ. Къ чему? Довольно и этихъ.

Я раскланялся и съ ворохомъ книгъ въ рукахъ поспѣшилъ къ выходу. Лучезаровъ любезно проводилъ меня самъ на парадное крыльцо. Я летѣлъ къ тюрьмѣ, не чуя подъ собой ногъ отъ радости, ежесекундно боясь, что вотъ-вотъ бравый штабсъ-капитанъ раскается и велитъ мнѣ вернуться. Но онъ уже заинтересованъ былъ другимъ, и я слышалъ, какъ раздался его зычный окрикъ на кого-то:

— Это что за безпорядокъ? Что за соръ на дворѣ? Развѣ не знаете, что я не люблю этого? Чтобы сейчасъ было подметено и прибрано. Въ карцеръ, что-ль, захотѣли?

Во дворѣ тюрьмы меня обступила пѣлая толпа арестантовъ.

— Николаичъ, книги?! Братцы мои, книги!!..

— Намъ, намъ, Миколаичъ, во второй номеръ... Хошь одну, самую махонькую!

— Эвона книжища-то... Вотъ тутъ, ребята, должно быть ума-то! И не лѣнь было писать ему?

— Намъ! Намъ!

— Разорвать тебя придется теперь, Николаичъ. У насъ во всемъ номеру Гришка одинъ по складамъ мало-мало знаетъ.

— Ужъ вы мнѣ одну книжечку пожалуйста, Иванъ Николаичъ, мнѣ-то ужъ Бога ради!

— А ты чѣмъ святой противу другихъ?

— Пойдите, пойдите, господа, всѣхъ удовлетворю. По справедливости раздѣлимъ. Пойдемте въ мою камеру.

Съ шумомъ, гамомъ и топотомъ вломилась почти вся тюрьма въ мой номеръ и обступила меня и книги.

— Да не суйтесь вы, ребята, къ книгамъ! Дайте покой Ивану Николаевичу, смотрите, онъ и такъ потомъ обливается... Успѣете еще!—говорилъ общій староста Юхоревъ, атлетъ-мужчина съ представительной и энергической фizioноміей, усаживаясь самъ около меня и отстраняя прочь назойливо лѣзшую шпанку.

— Вы сейчасъ же прочтите намъ что-нибудь, Николаичъ,—прибавилъ онъ.

— Сейчасъ! Сейчасъ!—загудѣли всѣ хоромъ. Я взялъ одинъ изъ томиковъ Пушкина и раскрылъ „Братьевъ-разбойниковъ“. Все немедленно стихло. Я началъ:

Не стая вороновъ слеталась  
На груди тлѣющихъ костей,  
За Волгой ночью, вокругъ огней,  
Удалыхъ шайка собиралась.  
Какая смѣсь одеждъ и лицъ,  
Племень, нарѣчій, состояній!

— Это про насъ!—закричало сразу нѣсколько голосовъ. Всѣ лица оживились и приняли разудалое выраженіе.

Зимой, бывало, въ ночь глухую  
Заложимъ тройку удалую,  
Поемъ и свищемъ, и стрѣлой  
Летимъ надъ сыѣжной глубиной.

При этихъ словахъ нѣкоторые изъ арестантовъ попытались пуститься въ плясъ. Юхоревъ прикрикнулъ на нихъ; но когда я сталъ читать дальше:

Кто не боялся нашей встрѣчи?  
Завидѣли въ харчевнѣ свѣчи—  
Туда, къ воротамъ, и стучимъ!  
Хозяйку громко вызываемъ.  
Вошли—все даромъ! пьемъ, ѣдимъ  
И красныхъ дѣвушекъ ласкаемъ!—

онъ вдругъ самъ привскочилъ съ мѣста, подбоченился, при-топнулъ ногой и, въ порывѣ восторга, загнулъ такое слово, что я невольно остановился въ смущеніи.

— Это какъ я же, значить, на Олекмѣ съ Маровымъ дѣйствовалъ!—закричалъ онъ,—знай нашихъ!

Такого сюрприза я, признаюсь, положительно не ожидалъ. Мнѣ стало стыдно и за себя, и за Пушкина. Больше всего за себя, конечно, за то, что я выбралъ для перваго дебюта такую неудачную вещь, не сообразивъ, съ какой аудиторіей имѣю дѣло. Я хотѣлъ было остановиться и прочесть что-нибудь другое, но поднялся такой гвалтъ, что я принужденъ былъ окончить „Братьевъ-разбойниковъ“. На шумъ явился, однако, надзиратель.

— Что за сборище?—закричалъ онъ:—по камерамъ! на замокъ опять захотѣли?

Юхоревъ съ другими имѣвшими вѣсь арестантами бросился уговаривать и умасливать его.

— Вы послушайте-ка сами, какова тутъ у насъ лекція происходитъ. Читаетъ-то какъ Николаичъ, просто вѣдь любо-дорого! Вы не сомнѣвайтесь: вѣдь эти книги самъ начальникъ прислалъ.

Надзиратель замолчалъ и тоже съ любопытствомъ подошелъ къ столу. Я продолжалъ „Братьевъ-разбойниковъ“. Въ концѣ поэмы было мало, конечно, веселья; облако грусти и задумчивости отуманило на минуту лица даже и моихъ безшабашныхъ слушателей.

Но это длилось именно минуту только. Тотчасъ же всѣ опять развеселились и принялись восхищаться началомъ рассказа. Послѣ того я прочиталъ еще „Сказку о мертвой царевнѣ“, также очень понравившуюся и не вызвавшую ни одного циничнаго замѣчанія. Надзиратель велѣлъ затѣмъ разойтись по камерамъ. Отовсюду протягивались ко мнѣ руки, просившія книгъ. Очень многіе требовали „Братьевъ-разбойниковъ“.

— Я наизусть ихъ выучу, Иванъ Николаевичъ!—восторженно кричалъ Ракитинъ, только что передъ тѣмъ начавшій учить азбуку.

Я роздалъ всѣ книги, оставивъ для своей камеры Пушкина.

## XV.

### Великіе поэты передъ судомъ наторги.

Въ этотъ первый вечеръ почти по всѣмъ номерамъ чтеніе продолжалось до двѣнадцати часовъ ночи, такъ что надзиратель нѣ-

сколько разъ подходилъ къ дверямъ и приглашалъ публику ложиться спать. Я серьезно опасался, что это обстоятельство дойдетъ до Лучезарова, и онъ отниметъ книги. Къ счастью, періодъ былъ либеральный; надзиратели давно уже не отличались первоначальной неукоснительной пунктуальностью, и доноса не послѣдовало. Весь вечеръ читалъ я своимъ сожителямъ Пушкина, до того, что охрипъ. Изъ всей камеры уснулъ вскорѣ одинъ только Гончаровъ, практическій умъ котораго страдалъ полной неспособностью вниманія. Значительно позже уснули Никифоръ и Тарбаганъ. Всѣ остальные слушали съ поглощающимъ интересомъ и готовы были просто въ конецъ замучить меня. Чирокъ особенно волновался и былъ необыкновенно комиченъ въ своемъ любопытствѣ. Весь вечеръ сидѣлъ онъ подлѣ меня, сосредоточенно-внимательный, съ чрезвычайно лукавымъ выраженіемъ своихъ сѣрыхъ глазъ и съ глубокомысленно-наморщеннымъ лбомъ. Отъ избытка чувствъ онъ то-и-дѣло ерзалъ на нарахъ и чесалъ себѣ брюхо. Малаховъ слушалъ важно и солидно, но тоже не могъ скрыть восторга, хлопалъ себя рукой по бедру, заливался дѣтскимъ душевнымъ смѣхомъ и чаще другихъ вставлялъ замѣчанія. Внимательно, но молчаливо слушали: Гандоринъ, Семеновъ, Владиміровъ и Михайла Буренковъ. Заспанный Тарбаганъ глядѣлъ во всѣ глаза и то-и-дѣло подавалъ обычную свою реплику: „Такъ и лучше!“ — нерѣдко совсѣмъ не впопадъ. Ученики слушали въ этотъ первый разъ внимательно, но впоследствии между ними и камерой завязалась вражда: ученики эгоистично предпочитали учиться, камера же слушать чтеніе. Много происходило изъ-за этого смѣшныхъ, а подчасъ и тяжелыхъ эпизодовъ.

Пушкинъ понравился и былъ понятъ почти весь, безъ исключенія. Наибольшимъ, однако, триумфомъ увѣнчались „Борисъ Годуновъ“, „Капитанская Дочка“ и „Дубровский“. Между прочимъ, извѣстная сцена въ корчмѣ вызвала такое неудержимое веселье и хохоть, что многіе въ судорогахъ катались по нарамъ. Яшка Тарбаганъ при этомъ чуть не померъ, и Малаховъ принужденъ былъ каждую минуту совать ему въ глотку кулакъ, для того, чтобы чтеніе могло продолжаться. Личность Годунова настолько была понятна всѣмъ, что именовъ его прозвали впоследствии одного арестанта, и оно вообще сдѣлалось въ Шелайской тюрьмѣ синонимомъ всякаго лицемерія и политиканства. Но на ряду съ хорошими впечатлѣніями отъ чтенія этихъ произведеній Пушкина у меня остались и

мрачныя, тяжелыя воспоминанія. Сцена убійства Θεодора и Ксеніи въ „Борисѣ Годуновѣ“, отъ которой мнѣ было жутко и страшно, въ нѣкоторыхъ изъ слушателей вызвала сочувствіе.

— А, гады, закричали!..—сказалъ Чирокъ и былъ поддержанъ Тарбаганомъ, который сталъ хохотать, неизвѣстно надъ чѣмъ. Такихъ случаевъ я помню множество, когда какое-нибудь трагическое, захватывающее духъ мѣсто вызывало въ арестантахъ внезапный взрывъ веселости и цинизма. Это обстоятельство въ началѣ приводило меня въ отчаяніе, и я вспомнилъ насмѣшливую улыбку Лучезарова, отдававшего мнѣ книги:

— Книжечками этими вы ихъ не примете!

По прочтеніи „Капитанской Дочки“, „Дубровскаго“ и даже того же „Бориса Годунова“. нѣкоторые говорили съ искреннимъ сожалѣніемъ:

— Вотъ времячко-то было!.. Вотъ, кабы при насъ такая каша заварилась... Мы-бъ тоже, Чирокъ, руки съ тобой погрѣли.

— Долговолосымъ-то, долговолосымъ этимъ, надо-бъ гривы порасчесать!—подтверждалъ Чирокъ тономъ глубокаго убѣжденія.

Вообще въ подобныхъ разговорахъ особенно ярко проявлялась ненависть арестантовъ къ духовенству. Последнее пользовалось почему-то одинаковой непопулярностью среди всѣхъ, поголовно всѣхъ обитателей каторги, и причинъ этой преимущественной ненависти я никогда не могъ хорошенько прослѣдить. Однажды я прочелъ моимъ сожителямъ наизусть, что помнилъ, изъ той главы „Кому на Руси жить хорошо“, которая посвящена защитѣ священника. Большинство камеры, казалось, согласилось съ мыслью поэта; но прошло нѣкоторое время, и возобновились прежніе разговоры и прежніе нелестные отзывы о духовенствѣ. Одинъ изъ бывалыхъ арестантовъ (тотъ самый, который носилъ прозвище Годунова) высказывалъ особенную злобу и ожесточеніе противъ поповъ, а между тѣмъ, при подробнѣйшемъ ознакомленіи съ его личнымъ прошлымъ, я не нашелъ ни одного случая какого-либо столкновения его съ этимъ сословіемъ. Это какая-то традиціонная, передающаяся отъ одной генерации арестантовъ къ другой, вражда, въ параллель которой можно поставить развѣ еще непріязнь къ фельдшерамъ и врачамъ.

Но да не подумаетъ кто-нибудь изъ читателей, что лучшія произведенія Пушкина производили на всѣхъ арестантовъ такое нежелательное, деморализующее вліяніе. Я разумѣю только нѣкоторые

личности; да и про тѣхъ нужно сказать, что отдѣльные, вырывавшіяся у нихъ при чтеніи, циничныя замѣчанія были скорѣе дѣломъ привычки и легкомыслія: не по тому, такъ по другому поводу, при чтеніи и безъ чтенія, замѣчанія эти все равно были бы высказаны, какъ результатъ привычной несдержанности на языкъ. Въ сущности они ровно ничего не показывали. Тотъ же самый Чирокъ въ другіе вечера говорилъ совершенно противоположное, выражалъ негодованіе противъ убійцъ Θεодора и Ксеніи и вообще даже чаще другихъ являлся защитникомъ строгой нравственности и гуманности. И что бы онъ ни утверждалъ, все у него, какъ у ребенка, было въ высшей степени искренно. Что касается неумѣстнаго смѣха или шутокъ во время самыхъ патетическихъ мѣстъ чтенія, шутокъ, которыя естественно возмущали и коробили меня, то онѣ показывали одно только — неразвитость художественнаго вкуса; дѣлать на основаніи ихъ какіе-нибудь общіе неблагоприятные выводы о плодотворности чтенія было бы несправедливо. Встрѣчались, правда, отдѣльные безнадежно-испорченные субъекты, которые вездѣ и всюду ухитрялись найти то, чѣмъ сами были переполнены: жестокость, грязь и цинизмъ; такіе слушатели портили часто впечатлѣніе самыхъ безукоризненныхъ произведеній и примѣромъ своимъ заражали неспорченную часть аудиторіи; но большинство—я прямо утверждаю это—отдавалось всегда именно тому настроенію, которое преслѣдовалъ авторъ, и получало тѣ же впечатлѣнія, какія получаютъ всѣ нормальные читатели и слушатели.

Не мало помню и такихъ случаевъ, когда безнадежные циники и негодяи заражались въ свою очередь гуманнымъ настроеніемъ большинства и разсуждали такъ же здраво и человѣчно, какъ и я самъ. Не могу позабыть того сердечнаго трепета, съ какимъ приступилъ я къ чтенію „Короля Лира“ и „Отелло“, единственныхъ произведеній Шекспира, которыя у меня были. Мнѣ думалось, что великанъ-поэтъ долженъ будетъ потерпѣть въ этой средѣ полное пораженіе, что если онъ и не покажется смертельно скучнымъ, то единственно благодаря нѣкоторому мелодраматизму содержанія, а отнюдь не глубинѣ психологическаго анализа и всему тому, чѣмъ плѣняетъ Шекспиръ образованное человѣчество. Но каково же было мое удивленіе, когда обѣ трагедіи произвели небывалый, невиданный мною фуроръ и поняты были приблизительно такъ, какъ ихъ и слѣдуетъ понимать! При чтеніи двухъ первыхъ

дѣйствій „Отелло“ настроеніе публики было, правда, сдержанное, даже холодное; въ душу мою начинало уже закрадываться отчаяніе; кое-гдѣ слышались посторонніе разговоры, и, противъ обыкновенія, большинство не пыталось ихъ останавливать. Одинъ только Семеновъ поразилъ меня удивительно тонкимъ замѣчаніемъ относительно Яго, котораго онъ раскусилъ послѣ первой же сцены:

— Ну, этотъ ихъ всѣхъ окрутить!

Но съ начала 3-го дѣйствія настроеніе внезапно перемѣнилось; точно электрическій токъ пробѣжалъ по всей камерѣ.

— Начало разбирать, — сказалъ Чирокъ, подбирая подъ себя ноги. И вскорѣ многіе повскакали съ нарѣ и съ горящими глазами обступили меня кругомъ. Впечатлѣніе отъ драмы вышло потрясающее. По окончаніи чтенія всѣ сразу зашумѣли и заговорили. Жалѣли Дездемону (имя которой, къ сожалѣнію, никакъ не могли выговорить правильно), жалѣли и Отелло; „Ягу“ ругали единогласно и строили догадки, какую пытку выдумаетъ для него Кассіо. Однимъ словомъ, при чтеніи Шекспира съ наибольшей яркостью обнаружались сила и мощь истинно великихъ произведеній искусства. „Король Лиръ“ произвелъ почти одинаково сильное впечатлѣніе, и съ тѣхъ поръ эти двѣ драмы чаще всего остального имѣли спросъ на чтеніе.

Одно только обстоятельство каждый разъ до глубины души меня огорчало. Проходило какихъ-нибудь полчаса (и это еще много) послѣ чтенія — и впечатлѣніе отъ него, въ большинствѣ случаевъ, совершенно улетучивалось, и разговоръ переходилъ къ чему нибудь постороннему, мелко-житейскому, чему прочитанное служило иногда чисто внѣшнимъ, ничтожнымъ поводомъ. Черезъ полчаса, случалось, говорили уже совершенно противное тому, что вырывалось въ первомъ порывѣ впечатлѣнія. Такъ, почти всѣ пожалѣли (я хорошо помню это) Дездемону, говоря, что Отелло безъ вины задушилъ ее, а черезъ часъ уже ругали женщинъ вообще и женъ въ частности, утверждая, что даже и безъ всякой вины ихъ слѣдуетъ душить, какъ собакъ. Послѣ поповъ и докторовъ арестанты больше всего ругали женщинъ, и если бы принимать на вѣру каждое ихъ слово, то можно-бъ было подумать, что міръ не создавалъ болѣе страстныхъ женоненавистниковъ! Особенно возмущался ими Парамонъ Малаховъ, который всю жизнь свою, по собственнымъ его словамъ, погубилъ за женщинъ. По поводу

Отелло, помню, узналъ я и исторію его двойного убійства, за которое онъ пришелъ въ каторгу \*).

Въ теченіе трехъ лѣтъ жилъ онъ съ лишеніемъ правъ въ Иркутской губерніи, занимаясь, какъ и теперь, бондарнымъ ремесломъ. Тамъ онъ слюбился съ одной дѣвушкой, приемышемъ мѣстнаго крестьянина. Ходили темные слухи, будто крестьянинъ живетъ съ своей приемной дочерью, но Парамонъ пренебрегъ этими слухами и взялъ только съ своей невѣсты слово, что если и было что въ прошломъ между нею и отцомъ, то впредь ничего этого не будетъ, и она будетъ ему вѣрной женою. Свадьба обошлась Парамону, по его словамъ, въ 75 рублей, и этому обстоятельству онъ придавалъ огромное значеніе. Первые три мѣсяца молодые супруги жили дружно и любовно, но потомъ опять стали ходить слухи объ отношеніяхъ Катерины съ отцомъ. Парамонъ побилъ ее разъ, побилъ и другой и уговаривалъ не дурить. И вотъ въ одинъ прекрасный день она совсѣмъ убѣжала къ отцу. Сосѣди начали смѣяться надъ Парамономъ. Къ чувству обиды примѣшивалось сожалѣніе и о потраченныхъ напрасно деньгахъ.

— Въ первое-жъ воскресенье, — рассказывалъ Парамонъ, — одѣлся я въ праздничную одежду и пошелъ къ тестю окончательно переговорить о своемъ дѣлѣ. Что-нибудь одно хотѣлось узнать: или, что Катерина одумается и броситъ свое распутство, или совсѣмъ отъ меня откажется; и тогда они должны были вернуть мнѣ мои деньги. Что касается до убійства, то это я еще на-двое держалъ въ умѣ и такъ только, про случай, заложилъ за голяшку ножъ. Обоихъ ихъ я на улицѣ встрѣтилъ, передъ самымъ домомъ; изъ церкви отъ

---

\*) Перваго дѣла Малахова, за которое онъ попалъ въ Сибирь, на поселеніе, я не помню въ подробностяхъ. Знаю только, что онъ обвинялся въ изнасилованіи какой-то женщины-сосѣдки; но Парамонъ клялся и божился (и рассказъ его внушалъ мнѣ довѣріе), что былъ оклеветанъ тогда невинно, по злобѣ за то, что не уступалъ мужу этой женщины спорнаго клочка земли, который, по осужденію его, Парамона, перешелъ въ ихъ руки. Зная его самолюбивый нравъ и страсть всюду возстановлять поправную правду, я допускаю, что легко могли найтись лжесвидѣтели противъ него. Съ большой любовью вспоминалъ Малаховъ о своей первой женѣ, которую, не смотря на готовность идти въ Сибирь, онъ, будто бы, не взялъ съ собою изъ жалости. Переписки съ ней онъ не велъ и не зналъ даже, жива она или нѣтъ, но нерѣдко, помню, проснувшись въ мрачномъ настроеніи, рассказывалъ вслухъ, что видалъ жену ночью во снѣ и съ большой грустью начиналъ вспоминать о былой жизни въ Россіи.

Прим. авт.



обѣдни шли. Я подхожу. Такъ и такъ, молъ, говорю, потолковать съ тобой, Степанъ, пришелъ. „Знаю, говорить, о чемъ ты толковать хочешь. Только мое тутъ дѣло—сторона. Если не хочешь она жить съ тобой—что я могу подѣлать?“ — Поди-ка, говорю, сюда, Катерина, мнѣ сказать тебѣ нужно. Говорю это тихо такъ и спокойно, къ сторонкѣ ее маню. Вотъ ей-богу, не вру, никакой, то-ись, дурной мысли въ головѣ еще не держу. А она, стерва... она хватается за руку своего любовника и тащитъ домой. „Нѣтъ, говорить, не хочу, не объ чемъ намъ говорить“. Тутъ выиграло во мнѣ сердце, горячей кровью облилось. Я тоже хватаю ее за руку и тащу къ себѣ. Такъ и стоимъ мы середѣ улицы,—ну, вотъ честное слово, правда!—я за одну ее руку держу, онъ за другую. Поворачивается она тогда лицомъ ко мнѣ и говоритъ: „Уйди, подлецъ, не то закричу, въ рожу плевать стану“.

— А! такъ я подлецъ?!—Нагибаюсь, выхватываю изъ-за голенища ножъ и—разъ! разъ!—въ грудь ей по самый черешокъ два раза ножъ запустилъ. Онъ, любовникъ ея, хотѣлъ было кинуться на меня... Я размахнулся—и его ножомъ въ животъ. Онъ тутъ же и сковырнулся на землю—и духъ вонъ. А Катерина... Та, шкура, настолько живуча была, что еще до дверей избы добѣжать успѣла. Тутъ я догналъ ее и еще разъ въ спину полыснулъ: не живи, змѣя подкодная!..

Слушатели, всѣ безъ исключенія, были въ полномъ восторгѣ отъ такого поступка Парамона и высказывали ему горячее одобреніе: такъ ей и надо, сука. Коли не умѣла жить честно—ѣшь землю. Лежи съ своимъ любовникомъ, цѣлуйся съ имъ!

Никому и въ голову не приходило задаться вопросомъ о томъ, какая внутренняя драма могла происходить въ душѣ Катерины, какія причины толкнули ее на разрывъ съ законнымъ мужемъ. Ни у кого не являлось и тѣни сомнѣнія въ томъ, что бракъ ея съ Парамономъ имѣлъ одну цѣль—отводъ глазъ, что она все время его обманывала—и тѣ полгода, которые онъ былъ женихомъ, и тѣ пять мѣсяцевъ, которые былъ мужемъ.

— Она на другой день поутру померла, — продолжалъ свой рассказъ Малаховъ:—вся деревня, вся до одного человѣка за меня стояла, арестовать даже не хотѣли. „Ты и такъ, говорятъ, не убѣдишь; не такой человѣкъ“. Я ужъ самъ настоялъ, чтобъ арестовали. Катерина, оказалось, на сносяхъ была, ужъ не знаю отъ кого—отъ его или отъ меня, и я за тройное убійство судился: за нее, за лю-

бювника и за младенца. На судѣ я все обсказалъ правильно, все какъ было, ничего не утаилъ, и даже судьи сожалѣніе мнѣ выражали... И хоть приговорили меня къ шести годамъ, но я это за то же оправданіе считаю. Шесть лѣтъ за три души—это оправданіе! Потому что я праведно поступилъ—за свою обиду, за свой позоръ и за свои деньги убилъ! Я честно поступилъ!

Пытался я вставить нѣсколько словъ въ осужденіе убійства вообще, но этимъ только окончательно озлилъ Парамона, и онъ, не желая меня слушать, восклицалъ патетически:

— Я правильно поступилъ! И всякій долженъ сказать: молодецъ Парамонъ! Артистъ Парамонъ! Герой Парамонъ!

— Возможно,—отвѣчалъ я:—я вѣдь не думаю винить васъ. Я говорю только, что всетаки лучше-бъ было не убивать.

— Нѣтъ, надо было убивать!—кричалъ весь раскраснѣвшійся Парамонъ, энергично потрясая своей огромной черной бородой и ударяя себя кулакомъ въ грудь:—надо было убивать, и весь міръ скажетъ: хорошо сдѣлалъ Парамонъ! Орелъ Парамонъ! *Отелло* Парамонъ!..

Я переставалъ спорить, и Малаховъ сіялъ полнымъ блескомъ торжества и побѣды. Арестанты рѣшительно всѣ были на его сторонѣ. Гончаровъ не преминулъ по этому поводу рассказать какое-то событіе изъ собственной жизни, тоже свидѣтельствовавшее о необыкновенной глупости и подлости женщинъ. Кто-то другой, вызвавъ въ камерѣ общій смѣхъ и веселость, рассказалъ затѣмъ, какъ по звѣрски расправился онъ однажды съ своей любовницей.

— Я ее въ боковину, подъ ребра, подъ мякити, въ брюхо, опять въ боковину...

Я не могъ слушать и заткнулъ уши. Черезъ нѣкоторое время я задалъ, однако, вопросъ Семенову: какъ, по его мнѣнію, долженъ относиться мужъ къ женѣ и что дѣлать въ случаѣ ея невірности?

Семеновъ удивился.

— А неужели-жъ прощать ей? Чтобъ она, подлюха, смѣялась надо мной? Да лучше-жъ я сейчасъ отрублю ей, шкурѣ, голову, какъ только подозрѣніе явится.

— А вы, Владиміровъ, какъ думаете?—обратился я къ нашему поэту, который все время молча и, казалось, сопливо лежалъ на нарахъ, Богъ знаетъ о чемъ думая и гдѣ витая. Медвѣжье Ушко, но обыкновенію, долго отмалчивался и отпѣкивался, говоря, что

ничего не знаетъ и не думаетъ, но потомъ вдругъ поднялся съ мѣста, замоталъ головою и забасилъ такъ, что у меня явилось опасеніе за свою барабанную перепонку:

— А, конечно, убить ее надо!.. Жена повиноваться должна... Не мужу-жъ бояться жены!

Разговоръ окончился вполнѣ комическимъ образомъ, когда услышали внезапно заявленіе Тарбагана, что и онъ, когда воротится домой, тоже „безпремѣнно“ убьетъ свою жену, если она окажется ему невѣрной.

При одномъ взглядѣ на грязную, опухшую отъ сна и жира фигурку этого животнаго, которое тоже мечтало разыграть изъ себя Отелло, всѣ разразились смѣхомъ и принялись острить на его счетъ.

— Да была-ль у тебя жена-то? Не во снѣ-ль приснилась?

— Ты не на той-ли колодѣ женатъ-то былъ, что у нашего кабака лежала?

— Нѣтъ, братцы, онъ на пестренъкой сучкѣ женатъ, что поза тюрьмой бѣгаетъ. Она за имъ и въ каторгу пришла.

Тарбаганъ сердился и, какъ могъ, отгрызался. Онъ не умѣлъ парировать шутки шутками.

До сихъ поръ остается для меня непонятнымъ тотъ фактъ, что Лермонтовъ пользовался въ Шелаевской тюремѣ несомнѣнно большею популярностью, чѣмъ Пушкинъ. Если бы меня спросили раньше собственныхъ моихъ наблюденій, котораго изъ этихъ двухъ поэтовъ арестанты способны больше оцѣнить и полюбить, то я, конечно, не колеблясь, назвалъ бы Пушкина. Къ удивленію моему, Лермонтовъ не только никого не заставлялъ скучать, но нравился даже и мелкими своими лирическими стихотвореніями, чего нельзя сказать про Пушкина. Разумѣется, другой совершенно вопросъ, насколько вѣрно ихъ понимали, но фактъ тотъ, что Лермонтова перечитывали чаще Пушкина и охотнѣе о немъ говорили. „Демона“ въ первый разъ прослушали, правда, очень холодно, очевидно, ровно ничего не понявъ; но спустя нѣсколько дней произошло что-то совсѣмъ для меня непонятное: „Демономъ“ почему-то вдругъ страшно увлеклись, такъ что готовы были хоть каждый вечеръ его слушать. Особенно одинъ полуобрусѣвшій татаринъ Равиловъ восхищался этой поэмой, отдѣльныя мѣста ея заучивались имъ и многими другими наизусть. Очаровательная-ли музыка Лермонтовскаго стиха, или титаническій образъ героя поэмы оказали такое вліяніе — не могу сказать. „Бояринъ Орша“ и „Мцыри“ пользовались почему-

то меньшей любовью; зато „Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ“ смѣло могла соперничать съ „Демономъ“. Нѣкоторые арестанты, по выходѣ на поселеніе, собирались выписывать книги, и когда, справляясь у меня о цѣнахъ, узнавали, что Лермонтовъ и Пушкинъ стоятъ приблизительно въ одной цѣнѣ, вскрикивали съ восторгомъ, что въ первую же голову купятъ Лермонтова. Возможно, что слова эти въ дѣйствительности никогда не приводились въ исполненіе (до Лермонтова-ль и Пушкина на волѣ!), но важнѣе самый фактъ отношенія къ обоимъ поэтамъ. Пушкина тоже любили, понимали его несомнѣнно даже больше, а предпочитали всетаки Лермонтова. Большимъ успѣхомъ пользовалась, между прочимъ, юношеская его мелодрама „Испанцы“, потому, быть можетъ, что она отвѣчала общей непріязни арестантовъ къ духовенству, о которой я уже рассказывалъ. Какъ извѣстно, у драмы этой нѣтъ окончанія, такъ какъ заключительный листокъ лермонтовской рукописи былъ утерянъ ея владѣльцемъ. Слушатели мои никакъ не могли взять въ толкъ смысла этой „утери“ и не разъ приставали ко мнѣ съ просьбой „поискать хорошенько“ конца „Испанцевъ“... Больше всего удивляло меня, что популярность создали Лермонтову въ Шелайской тюрьмѣ именно его стихи, а не проза. Къ „Герою нашего времени“ относились какъ-то равнодушно и несравненно больше увлекались „Дубровскимъ“ и „Капитанской дочкой“. Что касается поэта Владимірова, то онъ совсѣмъ низко цѣнилъ Пушкина.

— Что въ немъ такого?—басилъ онъ, идиотски смѣясь:—ничего въ немъ такого нѣтъ, ничего особеннаго.

И по цѣлымъ днямъ и ночамъ читалъ и перечитывалъ Лермонтова.

Но кто былъ несомнѣннымъ кумиромъ Шелайскихъ каторжныхъ, писателемъ, пользовавшимся наибольшей любовью и успѣхомъ, такъ это Гоголь. Къ сожалѣнію, у насъ имѣлись не все его сочиненія. Было слѣдующее: „Мертвыя Души“, „Тарасъ Бульба“, „Вечера на хуторѣ“, „Невскій проспектъ“, „Записки сумасшедшаго“, „Старосвѣтскіе помѣщики“ и „Шинель“. Изъ нихъ одна только „Шинель“ была принята совсѣмъ холодно и никогда впослѣдствіи не перечитывалась; все же остальное чуть не наизусть заучивалось. Герои Гоголя стали въ нашей тюрьмѣ нарицательными именами—лучшій признакъ огромныхъ размѣровъ успѣха. „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“ слушались всегда съ напряженнѣйшимъ вниманіемъ и то и дѣло сопровождалась самымъ искреннимъ хохотомъ.

Кто-то называлъ однажды Чирка — Черевикомъ (изъ „Сорочинской ярмарки“) и надолго съ тѣхъ поръ укоренилось за нимъ это прозвище. Чортъ, вѣдьма, кузнецъ Вакула и Чубъ, зашипѣвшій отъ боли, когда ему закручивали въ мѣшекъ волосы, стали всеобщими любимцами; хорошо запомнился даже пьяный Каленикъ, мимолетно лишь появляющійся въ „Майской ночи“. Но наибольшій фуроръ произвели, конечно, „Мертвыя Души“ и „Тарасъ Бульба“. Впечатлѣніе отъ того и другого произведенія было различное, но почти одинаково громадное. Одинъ только Владиміровъ высказывалъ, по обыкновенію, оригинальное мнѣніе относительно „Тараса Бульбы“:

— Это что такое? Чепуха, прямая чепуха. Ничего тутъ особеннаго нѣтъ. Такъ просто сплетено.

Общій староста Юхоревъ до того восхитился личностью Ноздрева при первомъ же его появленіи на сцену, что не удержался и воскликнулъ:

— Да это я!.. Ей-богу, я, братцы!..

И только позже, когда личность Ноздрева лучше выяснилась, онъ хотѣлъ было отказаться отъ этого тождества, но уже было поздно. Съ тѣхъ поръ тюремные шутники не давали ему проходу и постоянно дразнили Ноздревымъ, а также и „херсонскимъ помѣщикомъ“. Шелайскій Ноздревъ-геркулесъ, забывая всю свою представительность и званіе старосты, съ яростью гонялся по тюремному двору за обидчиками, и тому, кого онъ ловилъ въ свои желѣзные лапы, приходилось плохо. Онъ безъ пощады мѣлъ носы, рвалъ усы и бороды, коверкалъ ноги и руки. Но Ракитинъ, Никифоръ, Тарбаганъ и имъ подобные не унимались и послѣ этой науки. Слухъ дошелъ, наконецъ, до самого Шестиглазаго, и онъ, благодушно смѣясь, освѣдомлялся у Юхорева, за что прозвали его Ноздревымъ.

Коробочка, Плюшкинъ, Маниловъ, Собакевичъ, Пѣтухъ, генераль Бетрищевъ и самъ Чичиковъ также были для всѣхъ живыми лицами, общими знакомцами и любимцами. Замѣчательно, что даже юмористическія отступленія Гоголя не оставлялись безъ вниманія. То мѣсто, гдѣ Гоголь говоритъ о чиновникѣ, который передъ начальникомъ отдѣленія являлся куропаткой, а передъ своими подчиненными Прометеемъ, чрезвычайно нравилось. Запомнилось почему-то даже непонятное слово Прометей, и долгое время послѣ того называли этимъ именемъ самого Лучезарова.

— Прометей, настоящій Прометей!—говорили про него, когда

онъ показывался на вечернихъ повѣркахъ въ сопровожденіи цѣлой свиты надзирателей.

Курьезно съ другой стороны то, что Собакевичъ былъ принятъ не за отрицательный, а за положительный типъ, и Малаховъ ужасно неистовствовалъ по этому поводу.

— Вотъ это я понимаю! Это настоящій господинъ, а не пустая какая-нибудь мельница. Это... Парамонъ Малаховъ! Да! Собакевичъ—это я самъ.

Къ сожалѣнію, въ числѣ слушателей всегда были и до мозга костей испорченные люди, задававшіе обыкновенно тонъ остальнымъ и, дѣйствительно, представлявшіе большей частью самый даровитый и остроумный элементъ каторги. Эти люди давали нерѣдко весьма нежелательное освѣщеніе прочитанному. Такъ бродяга Дорожкинъ изъ всѣхъ силъ старался возвести въ перлъ созданія главнаго героя „Мертвыхъ Душъ“, Чичикова; онъ восторгался его ловкой затѣей, превозносилъ до небесъ его мошенническіе таланты и кричалъ:

— Такъ имъ и надо, тусамъ простокишнымъ! Чтобъ губъ не разѣвали... Эхъ, кабы меня теперь на волю пустили, я-бъ не такую еще пулю отмочилъ, я-бъ такого имъ Чичикова разыгралъ, что не только губернаторъ, самъ бы генераль-губернаторъ за меня дочку отдалъ!

Конечно, это было пустое хвастовство, и Гоголь настолько мало научилъ Дорожкина искусству мошенничать, что, выпущенный въ вольную команду, онъ почти на другой же день былъ возвращенъ въ тюрьму, уличенный въ кражъ шали у жены одного надзирателя; тѣмъ не менѣ подобной пропагандѣ „Мертвыхъ Душъ“ мнѣ приходилось противопоставлять свою пропаганду и дѣлать необходимыя разъясненія. Впрочемъ, думаю, что, въ концѣ-концовъ, поэма эта и безъ моей помощи была бы понята должнымъ образомъ, и что большинство, даже соглашаясь на словахъ съ Дорожкинымъ, въ глубинѣ души не считало Чичикова положительнымъ типомъ, достойнымъ подражанія, а хорошо понимало, что это—сатира. Я всегда страшно жалѣлъ, что у насъ не было ни „Ревизора“, ни „Женитьбы“, ни „Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ“, ни „Носа“, ни „Вія“, ни „Портрета“; какихъ бы размѣровъ тогда достигла популярность Гоголя? Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что это истинно народный писатель, единственный изъ всѣхъ русскихъ писателей, который теперь же можетъ

быть понятъ и оцѣненъ массою народа, и, слѣдовательно, отъ души слѣдуетъ пожелать, чтобъ скорѣе настало время, когда сочиненія Гоголя появятся въ дешевомъ народномъ изданіи.

Съ сочиненіями другихъ русскихъ классиковъ, Тургенева, Толстого, Достоевскаго, Островскаго, Некрасова, мнѣ не пришлось познакомиться своихъ сожителей, и я могу лишь гадательно судить о томъ, какое впечатлѣніе произвелъ бы на нихъ тотъ или другой изъ этихъ писателей, то или другое изъ ихъ сочиненій. Между прочимъ, особенное любопытство возбуждалъ во мнѣ вопросъ, что сказали бы они о „Запискахъ изъ Мертваго Дома“ Достоевскаго, и я былъ ужасно обрадованъ, когда въ старой хрестоматіи Филонова отыскалъ нѣсколько главъ изъ этого произведенія, посвященныхъ острожному театру. Я рассчитывалъ, что столь близкій и родственный сюжетъ вызоветъ въ моей публикѣ взрывъ восторговъ и возбудитъ живѣйшій интересъ, и былъ сильно удивленъ, когда она отнеслась къ прочитанному отрывку довольно равнодушно, чуть не холодно. Неудача эта огорчила и, признаюсь, почти раздражила меня; я сталъ объяснять Чирку, Малахову и другимъ, что не то было бы, еслибъ я прочелъ имъ „Записки изъ Мертваго Дома“ въ цѣломъ видѣ.

— А что тамъ описывается?—спросилъ старикъ Гончаровъ.

— Описывается, какъ жили арестанты въ острогѣ сорокъ лѣтъ назадъ,—отвѣчалъ я:—какъ работали, страдали, какъ начальство ихъ притѣсняло,—словомъ, всѣ тюремные порядки.

— Да вѣдь мы и такъ ихъ знаемъ, Иванъ Николаевичъ! Чего-жъ тутъ читать еще?.. Вотъ кабы тамъ разбой всякіе да похищенія описывались,—напримѣръ, вотъ объ атаманѣ Роцинѣ и его есаулѣ Бурѣ, ну, тогда-бъ другое дѣло.

— Задавить бы его надо, а не читать!—сказалъ вдругъ Семеновъ, поднимаясь съ нарѣ и зажигая свою трубку. Ноздри его гнѣвно расширились, а глаза глядѣли недобрымъ и вмѣстѣ презрительнымъ взглядомъ.

— Кого это?—спросилъ я удивленно.

— Да того, который писалъ эти записки, Достоевскій, что-ль, его... Я читалъ эту книжку.

— Читали? И говорите, что надо бы задавить?!.. Да вы, должно быть, другое что-нибудь читали?

— Не другое, а то самое. За то его задавить надо, что онъ всѣ арестантскія тайны начальству выдалъ, за то, что, благодаря ему, нашему брату еще хуже жить стало!

Я сталъ горячиться, доказывать, что Достоевскій своимъ сочиненіемъ оказалъ, напротивъ, обитателямъ каторги великую услугу, выяснивъ тому же начальству, что арестанты такіе же, какъ всѣ, люди, и что обращаться съ ними слѣдуетъ по человѣчески; но съ Семеновымъ спорить было невозможно. Высказавъ, точно топоромъ отрубивъ, свое мнѣніе, онъ съ выраженіемъ все той же ненависти и презрѣнія на лицѣ улегся опять на свое мѣсто и замолчалъ. А мысль его подхватили уже другіе, Гончаровъ и Малаховъ, и начался галдежъ, въ которомъ мой голосъ затерялся. Въ тюрьмѣ нашлись потомъ и еще арестанты, читавшіе „Записки изъ Мертваго Дома“, и всѣ они единодушно порицали автора за разоблаченіе арестантскихъ секретовъ и разныхъ интимныхъ сторонъ ихъ жизни, утверждая, что попались онъ въ свое время кобылкѣ въ руки, ему не сдобровать-бы... Дѣло въ томъ, что по наивности большинство арестантовъ думаетъ, будто начальству и до сихъ поръ ничего неизвѣстно объ ихъ способѣ прятать деньги въ такъ называемыхъ „сусликахъ“, о разныхъ пріемахъ и формахъ смѣлки, разбиванія кандаловъ и т. п.

Изъ иностранныхъ произведеній имѣлся у насъ, кромѣ Шекспира, еще „Послѣдній день приговореннаго къ смерти“ Виктора Гюго. Я ожидалъ, что книжка эта также произведетъ на моихъ сожителей потрясающее впечатлѣніе; однако и тутъ, какъ съ Достоевскимъ, ошибся... Массу публики чтеніе скоро утомило, а подъ конецъ и совсѣмъ усыпило: глубокій психологическій анализъ, при отсутствіи внѣшняго дѣйствія и завлекающей фабулы, оказалъся ей не по силамъ. Что же касается отдѣльныхъ лицъ изъ наиболѣе страстныхъ любителей чтенія, то они, правда, выслушали рассказъ до конца, съ большимъ, повидимому, вниманіемъ, но въ полномъ безмолвіи, какъ бы что-то тая про себя, и я чувствовалъ, что впечатлѣніе, получаемое ими, было тяжелое, до того непріятное, что мнѣ самому стало не по себѣ. Близкій къ ихъ собственной жизни реализмъ сюжета, очевидно, подавлялъ ихъ душу и дѣлалъ ее не столь воспримчивою къ художественной сторонѣ произведенія, какъ въ другимъ случаяхъ. Быть можетъ, слушатели мои чувствовали, что съ каждымъ изъ нихъ могла или можетъ еще въ будущемъ случиться подобная же исторія, а о такихъ вещахъ, какъ висѣлица, арестанты, естественно, не любятъ говорить и думать. Когда въ домѣ недавно былъ или ожидается въ скоромъ



времени покойникъ, тогда всякіе разговоры о смерти, а тѣмъ болѣе пространные и картинные, излишни.

Библіотека моя была необширна, а времени, въ теченіе котораго она находилась въ тюрьмѣ, недостаточно было для полного ознакомленія арестантовъ даже и съ нею. Поэтому я уклоняюсь отъ какихъ-либо окончательныхъ и рѣшительныхъ выводовъ на основаніи сдѣланныхъ мною наблюденій. Скажу только, что эти вечера, проведенные за чтеніемъ вслухъ, составляютъ лучшую и благороднѣйшую часть моихъ воспоминаній о шелайской тюрьмѣ, и не смотря на всѣ частныя разочарованія, сопровождавшія мои мечты о гуманитарномъ вліяніи художественной беллетристики на обитателей каторги, лично я и до сихъ поръ остаюсь при своемъ мнѣніи. Будучи поставлены на правильную почву, чтенія эти, также какъ и учебныя занятія, могли бы, я думаю, сыграть огромную роль въ дѣлѣ исправленія арестантовъ, медленно и незамѣтно для нихъ самихъ расширяя ихъ умственные горизонты и пересоздавая нравственные понятія. Если бы даже оказалось на практикѣ, что это химера, поэтическая фантазія, не больше, то и тогда я горячо стоялъ бы не только за разрѣшеніе, но и за устройство самимъ начальствомъ въ каторжныхъ тюрьмахъ библіотечекъ изъ лучшихъ классиковъ иностранной и русской литературы и лучшихъ произведеній второстепенныхъ беллетристовъ. Библіотека могла бы быть небольшая, но хорошо подобранная. Романы кроваво-уголовнаго характера и рискованно-романическаго содержанія, конечно, безусловно слѣдовало бы исключить изъ нея. Мнѣ лично всегда казалось, что изъ писателей всего міра наиболѣе подходящимъ къ подобной библіотекѣ былъ бы Диккенсъ (романовъ котораго у меня самого, къ сожалѣнію, не было) съ его полными нѣжной теплоты и прелести образами и картинами, съ его глубокой любовью къ страдающему человѣчеству, къ дѣтямъ, бѣднякамъ, ко всѣмъ обездоленнымъ, униженнымъ и обиженнымъ. Романы Диккенса хороши были бы и своимъ большимъ объемомъ. Я вообще замѣчалъ, что наибольшимъ успѣхомъ и наибольшимъ вліяніемъ среди арестантовъ пользовались именно большія по объему вещи, чтеніе которыхъ продолжалось изъ вечера въ вечеръ, затягивая вниманіе слушателей въ самыя сокровенныя и детальныя глубины повседневной жизни и психологій, не только пробуждая мысль, но и давая ей время прочно настроиться на извѣстный ладъ и тонъ. Небольшія же по размѣрамъ повѣсти и рассказы нерѣдко

только раздражали моихъ сожителей: едва успѣвалъ неразвитый умъ напрячь вниманіе и войти въ извѣстное настроеніе, какъ рассказъ уже оканчивался. Слишкомъ мелкіе рассказы и повѣсти, по моему мнѣнію, совсѣмъ непригодны въ большинствѣ случаевъ для арестантской библіотеки, такъ какъ арестантамъ нужны прочныя и глубокія, а не мимолетныя впечатлѣнія. Но и они также являются отвѣчающими своей цѣли, когда малограмотные арестанты сами читаютъ ихъ въ теченіе очень долгаго времени: тогда у каждого изъ такихъ читателей является какой-нибудь свой любимый рассказикъ, съ которымъ онъ носитя, какъ курица съ яйцомъ, и помимо котораго долгое время не желаетъ признавать никакихъ другихъ книгъ. Среди моихъ книгъ громаднымъ успѣхомъ такого рода пользовались: „Сократъ, учитель жизни“, „Христофоръ Колумбъ“, „Александръ Македонскій, называемый Великимъ“.

Кромѣ романовъ Диккенса, для чтенія вслухъ арестантамъ я рекомендовалъ бы также историческіе романы Вальтеръ-Скотта и Купера, а также и лучшія произведенія Майнъ-Рида (вродѣ, на примѣръ, „Охотника за растеніями“). Не говорю уже о такихъ знаменитыхъ дѣтскихъ романахъ, какъ „Робинзонъ Крузе“ и „Хижина дяди Тома“. „Донъ-Кихоть“ Сервантеса также, я думаю, могъ бы стоять въ числѣ первыхъ книгъ этой избранной библіотеки. Но за то я рѣшительно высказываюсь противъ всякихъ сокращеній и передѣлокъ для дѣтей и юношества.

## XVI.

### Шахъ-Ламасъ.

Шелъ мѣсяцъ за мѣсяцемъ, а въ вольную команду все еще никого не выпускали. То говорили, что постройка зимовья не окончена, то—что въ управленіи задержана почему-то „представка“, сдѣланная Шестиглазымъ. Слухи объ этой представкѣ почти уже замолкли, и кандидаты на выходъ въ вольную команду повѣсили носы, какъ вдругъ въ тюрьмѣ началось опять оживленіе и шушуканье. Тюремные „вѣстники“—Гнусъ, Тарбаганъ, сапожникъ Звонаренко и другіе — то-и-дѣло шмыгали изъ камеры въ камеру и передавали, что теперь головой уже готовы поручиться за вѣрность извѣстія: получилась представка на тридцать пять человекъ; сказывали объ этомъ по секрету самые надежные люди: одинъ изъ лучшихъ надзирателей, писарь изъ конторы и, наконецъ, Марь-

юшка, любимая горничная Шестиглазаго. Волненіе было написано на всѣхъ лицахъ. Волновались даже тѣ, кто самъ отнюдь не могъ разсчитывать на освобожденіе изъ тюрьмы,—вѣчники и тридцатилѣтники. Въ этомъ обстоятельствѣ ярче всего сказывался невыносимый гнетъ тюремныхъ стѣнъ и Шелайскаго режима. Одна мысль о томъ, что цѣлыхъ тридцать пять человѣкъ, живущихъ здѣсь же, этою же самою жизнью, страдающихъ отъ тѣхъ же причинъ и условій, черезъ какихъ-нибудь нѣсколько дней станутъ почти вольными людьми, не будутъ видѣть за своей спиной „духа“ со штыкомъ и слышать ежеминутно грозныхъ окликовъ надзирателя, одна эта мысль зажигала сердца всѣхъ радостью, вчужѣ заставляя вкушать восторги свободы...

А гнетъ, дѣйствительно, былъ не малъ, не смотря на мелкія послабленія, о которыхъ было разсказано выше. Какъ ни чуждо большинству каторжныхъ сознаніе своего человѣческаго достоинства, но и имъ было несомнѣнно больно, когда на каждомъ шагѣ нопиралась ихъ личность, ежесекундно давалось имъ чувствовать, что они въ сущности не люди, а какая-то особая порода животныхъ, называемая каторжными. Не безъ горечи разсказывали однажды въ тюрьмѣ взявшійся откуда-то слухъ о томъ, будто Лучезаровъ, ругая провинившагося въ чемъ-то слугу-вольнокомандца, кричалъ:

— Ты—каторжный! Ты—рабъ и ничего больше! Ни божескихъ, ни человѣческихъ правъ у тебя нѣтъ, вонъ какъ у тѣхъ быковъ, что возять мнѣ воду! И ты долженъ такъ же безпрекословно повиноваться, какъ они!

Скептически относилось поэтому большинство и къ высказанному имъ передъ строемъ взгляду на тѣлесное наказаніе.

— Вотъ помяните мое слово, братцы,—говорилъ, расхаживая по камерѣ, полусумасшедшій, рыжій, какъ огонь, и до комизма крошечный старичокъ, Жебрейчикъ по прозванію \*), всегда озлобленный противъ всего на свѣтѣ, любившій, по выраженію арестантовъ, самого себя только одинъ разъ въ году:—помяните мое слово, братцы, перваго же, кого онъ выпоретъ, мертваго на рождѣ вынесутъ! Ужъ онъ напьется нашей крови, любить онъ человѣческую кровь. А что до сихъ поръ не заглядываетъ онъ намъ за рубахи, такъ это потому, что онъ змѣй шестиголовый и шести-

---

\*) Жебрей—сорная колючая трава, пристающая къ одеждѣ прохожихъ.

глазѣй. Посмотрите на его брюхо: — не иначе, какъ передъ самымъ нашимъ приходомъ живого онъ человѣка слопалъ, — вотъ пока и сытъ... И чувствую я, сердечушко мое чуетъ, въ ухо такъ вотъ и шепчетъ кто-то, такъ и шепчетъ, что и мнѣ не одобровать отъ его руки! Или мнѣ отъ него, или ему отъ меня погнупь. Чему-нибудь да ужъ быть!

И глубокомысленно вперивъ глаза куда-то вдаль и смѣхотворно разставивъ маленькія ножки, Жебрейчикъ величественно останавливался по срединѣ камеры. Велико же было его злорадство, когда по тюрьмѣ разнесся разъ слухъ, будто бравый штабсъ-капитанъ собственноручно побилъ двухъ каторжапокъ, жившихъ у него въ услуженіи, одной разбивши въ кровь носъ, другой растрепавъ косы. Трудно было, конечно, провѣрить, живя подъ замкомъ, справедливость арестантскихъ сплетенъ, но Жебрейкъ и не думалъ подвергать ихъ сомнѣнію.

— Скоро, скоро теперь и до насъ доберется! — пророчески вѣщалъ онъ, поднимая къверху указательный перстъ и такъ грустно качая головой, точно готовился къ какому-то великому подвигу.

Къ счастью, пророчество, пока что, не исполнялось. Слухъ о расправѣ съ женщинами не могъ быть провѣренъ, а тюремныхъ арестантовъ бравый штабсъ-капитанъ не только не шевелилъ никогда пальцемъ, но и не обругалъ никого даже нехорошимъ словомъ. Тѣмъ не менѣе всѣ боялись его, какъ огня. Личность Лучезарова невольно какъ-то давила и пригнетала къ землѣ; каждый чувствовалъ себя въ его присутствіи, какъ собака при видѣ поднятого надъ нею кнута. Полное презрѣніе къ человѣческой личности ощущалось въ каждомъ его взглядѣ, словѣ и поступкѣ. Все было въ немъ какъ-то бездушно-законно и безчеловѣчно-справедливо. Лучезаровъ гордился своей неподкупной честностью, и, дѣйствительно, арестанты всѣ единогласно подтверждали, что нигдѣ не доходило до нихъ такъ своевременно и сполна все, что полагается по закону, какъ въ Шелайскомъ рудникѣ; ни въ какой другой тюрьмѣ не заботились такъ о чистотѣ и гигиенѣ. Но для каждого ясны были, съ другой стороны, и мотивы этой безпримѣрной справедливости и заботливости: вытекали онѣ не изъ живой любви къ живымъ людямъ, а изъ жажды славы и отличія передъ высшимъ начальствомъ и, самое большее, изъ любви къ самому принципу законности и справедливости, къ искусству ради искусства. Самихъ арестантовъ Лучезаровъ третировалъ въ глаза и за глаза, какъ

животныхъ, не подозрѣвая, конечно, того, что животныя эти ловили каждое его слово и умѣли иногда являться остроумными и беспощадными критиками. Такъ, они никогда не могли забыть его заявленія, сдѣланнаго въ первый же день знакомства, что одному надзирателю онъ повѣритъ больше, чѣмъ семистамъ арестантовъ. Въ другой разъ онъ заявилъ гдѣ-то (и это также передавалось изъ устъ въ уста), что разстояніе между каторжнымъ и надзирателемъ, такое же, какъ между нимъ, штабсъ-капитаномъ Лучезаровымъ, и... самимъ Богомъ! Вообще онъ направлялъ, видимо, всѣ усилія къ тому, чтобы возможно большей помпой обставить свое величіе и авторитетъ исполнителей своей воли. У него было мудрое правило, несомнѣнно преслѣдовавшее ту же цѣль: никогда не отрицать слишкомъ быстро ни одного своего распоряженія, хотя бы оказавшагося тотчасъ же явно нелѣпымъ и несправедливымъ. Очевидно, онъ былъ большой политикъ и мечталъ пойти далеко... Однажды, впрочемъ, и самъ Лучезаровъ приведенъ былъ въ смущеніе, когда среди торжественной церемоніальности вечерней повѣрки общій староста Юхоревъ заявилъ изъ строя громогласную жалобу отъ лица всей артели на одного изъ стоявшихъ тутъ же надзирателей, который позволялъ себѣ толкать арестантовъ въ грудь и обзывать самыми скверными словами. Лучезаровъ на этотъ разъ, казалось, опѣшилъ отъ неожиданности; молча стоялъ онъ нѣкоторое время, откашливаясь и гмыкая, какъ бы не зная что дѣлать. Но вскорѣ нашелся и, кратко пробурчавъ: „Я разберу!“— величественнѣе, чѣмъ когда-либо, приказалъ надзирателямъ разводить арестантовъ по камерамъ. Само собой разумѣется, что такъ никто и не узналъ никогда, въ чемъ состояло обѣщанное разбирательство. Нелюбимый надзиратель остался по прежнему надзирателемъ, и хотя пересталъ толкать арестантовъ въ грудь, но сдѣлался даже еще грубѣе и нахальнѣе. Этотъ надзиратель, Безымянныхъ по фамиліи, былъ правой рукой Лучезарова, и его ненавидѣли за это не только арестанты, но и товарищи по службѣ. Будучи доносчикомъ по призванію, онъ не вступалъ ни въ какія соглашенія съ кобылкой и былъ такъ же формалистиченъ и бездушно-законенъ, какъ и его патронъ; но онъ вносилъ въ это дѣло страсть и огонь и, быть можетъ, справедливо выражался о немъ Лучезаровъ, говоря, что изъ всѣхъ надзирателей одинъ Безымянныхъ относится къ своей дѣятельности съ „религіозной“ преданностью... Цѣлый день шнырялъ онъ по тюрьмѣ, то подкрадываясь

какъ кошка, и настораживая уши, то налетая, какъ вихрь, и накрывая виновныхъ; цѣлый день кричалъ, бранился, придирался и грозилъ арестомъ и жалобами. Въ его дежурство всегда нѣсколько человѣкъ попадало въ карцеръ. Вся тщедушная фигурка Безымѣннаго съ краснымъ лицомъ, сплошь покрытымъ угрями, внушала даже и мнѣ, съ которыми онъ былъ по своему вѣжливѣ, отвращеніе. Онъ требовалъ, чтобы арестанты за малѣйшимъ пустякомъ обращались къ нему не иначе, какъ со словами „господинъ надзиратель“, чтобы при встрѣчахъ съ нимъ, хотя бы сто разъ въ день, неукоснительно снималась шапка, и, дѣлая разъ выговоръ кому-то изъ слушниковъ, кричалъ на весь корридоръ:

— Начальникъ заставитъ васъ и передъ женами нашими скидывать шапку!

Послѣднее особенно возмутило кобылку:

— Какъ! чтобъ я передъ бабой, передъ всякой шкурой, сталъ шапку ломать?—либеральничали повсюду, тутъ же оглядываясь, впрочемъ, на дверь:—да лучше пушай меня въ карецъ сажаютъ, заморятъ тамъ!

Не столько строгостью и формализмомъ вооружилъ противъ себя Безымѣнныхъ тюрьму, сколько именно презрѣніемъ къ человѣку, который сталъ каторжнымъ, презрѣніемъ, сквозившимъ въ каждомъ его словѣ и жестѣ, даже въ интонаціи голоса.

Надзиратель этотъ мнилъ себя, между прочимъ, образованнымъ и читающимъ человѣкомъ, и, дѣйствительно, никто изъ его товарищей не читалъ охотнѣе и больше его. Въ дни дежурства при немъ постоянно находился какой-нибудь переводный французскій романъ съ раздирательно-кровавымъ заглавіемъ. У него была громъ того тетрадь, въ которую онъ записывалъ татарскія слова съ переводомъ на русскій языкъ, и, полюбопытствовавъ однажды заглянуть въ нее, я узналъ, что это былъ словарь всевозможныхъ ругательствъ и гадкихъ словъ.

— Зачѣмъ это вамъ?—спросилъ я.

— А какъ же,—отвѣчалъ онъ, самодовольно осклабясь:—другой разъ проходишь мимо этого звѣрья и не знаешь, что они тамъ, за спиной твоей, лопочутъ... Быть можетъ, тебя ругаютъ! И нельзя даже въ карцеръ посадить!

Этого однако мало. Безымѣнныхъ былъ также и поэтомъ, сочинялъ злые сатиры на арестантовъ и на товарищей-надзирателей, писалъ доносы въ стихахъ, которые и представлялъ иногда

благоволившему къ нему Лучезарову. Однажды у него вышла по этому поводу цѣлая баталія съ надзирателемъ Пѣтушковымъ. Безымѣнныхъ написалъ на него сатиру, получившую въ Шелайскомъ мірѣ широкую популяриность и заключавшую въ себѣ слѣдующій куплетъ:

Какъ шкелеть, сухой, лядашій,  
Онъ поетъ, поетъ безъ словъ,  
И прозванье подходяще,  
Лаконично:—Пѣтушковъ!

Этотъ убійственный куплетъ, и особенно почему-то непонятное слово „лаконично“, показали Пѣтушкову кровнымъ оскорбленіемъ, которое невозможно было стерпѣть. Онъ нарядился въ парадную форму и отправился къ бравому штабсъ-капитану съ ультиматумомъ: или онъ, Пѣтушковъ, или Безымѣнныхъ, тотъ или другой долженъ выйти въ отставку. Но Лучезаровъ сумѣлъ придать дѣлу шуточный оборотъ и уклониться отъ представленнаго ему ультиматума. Онъ былъ чрезвычайно высокаго мнѣнія о Безымѣнныхъ.

— Грубовать онъ, это правда, — отвѣчалъ онъ обыкновенно на всѣ обвиненія противъ своего любимца:—но это въ сущности не мѣшаетъ. Такой мягкій по натурѣ начальникъ, какъ я, обязательно долженъ имѣть палача-исполнителя!

Вотъ почему всѣ подкобы и подвохи арестантовъ и самихъ надзирателей подъ Безымѣнныхъ были долгое время напрасны. Онъ держался прочно и погибъ тогда только, когда Богъ лишилъ его разума, и, соблазнившись даромъ стихоплетства, онъ сочинилъ сатиру на самого своего покровителя. Враги поспѣшили представить ее по адресу, и злополучный поэтъ чуть не въ двадцать четыре часа былъ удаленъ отъ своей должности...

Другой изъ нелюбимыхъ арестантами надзирателей, Воронковъ, былъ совсѣмъ еще мальчикъ, съ едва пробивавшимся пушкомъ на губахъ, хорошенькій, какъ красная дѣвушка, но нахальный и развращенный, какъ самый послѣдній изъ каторжныхъ. Власть, видимо, опьяняла его. При обыскахъ у тюремныхъ воротъ, во время ежедневныхъ выходовъ на работу, онъ бывалъ особенно дерзокъ и циниченъ. Остерегаясь много „чирикать“, по арестантскому выраженію, со мною и желая въ то же время и мнѣ доставить непріятность, онъ ограничивалъ свой обыскъ по отношенію ко мнѣ тѣмъ, что, проходя мимо, какъ-то особенно нагло хлопалъ меня ладонью

по шапкѣ; сдѣлать это онъ никогда не забывалъ. Впрочемъ, Воронковъ былъ страшный трусъ, и если встрѣчалъ со стороны арестанта сколько-нибудь серьезный отпоръ, то немедленно поджигалъ, какъ заяцъ, хвостъ и сносилъ порою такіе рѣзкіе отвѣты и даже прямые ругательства, какія потерпѣлъ бы и не всякій изъ шпанки.

Сознаніе безправности и каторжной безсудности чувствовалось въ Шелайской тюрьмѣ на каждомъ шагѣ и во всѣхъ мелочахъ жизни. Лучезарову не нравилось, напримѣръ, чтобы во ввѣренной его управленію тюрьмѣ числилось черезчуръ много больныхъ, и пьяница-фельдшеръ, приходившій въ тюрьму за тѣмъ только, чтобы выпить или взять съ собою изъ аптеки бутылку спирта, въ точности исполнялъ его желаніе: у него никогда не было занято въ лазаретѣ болѣе половины коекъ, и если оказывалось невозможнымъ не принять кого-нибудь изъ вновь захворавшихъ арестантовъ, то изъ старыхъ обязательно одинъ долженъ былъ выписываться, какъ бы ни чувствовалъ себя слабымъ. Кромѣ того, бравому штабсъ-капитану не нравилось, чтобы въ Шелайской тюрьмѣ были „богодулы“, т. е. слабые арестанты, неспособные къ тяжелымъ физическимъ работамъ.

— Моя тюрьма—рабочая тюрьма,—заявлялъ онъ,—а не богодѣльня. Я не виноватъ въ томъ, что ко мнѣ присылаютъ стариковъ, больныхъ и увѣчныхъ. Никакихъ богодуловъ я не желаю поэтому признавать. Всѣ безъ исключенія должны числиться на работѣ, разъ не лежатъ въ лазаретѣ!

И, дѣйствительно, онъ ухитрялся даже разсыпавшимся отъ дряхлости старичкамъ подыскивать какое-нибудь занятіе, изобрѣтать рабочую должность. У него было при этомъ предвзятое и часто совершенно невѣрное мнѣніе, будто работы камерныхъ старостъ, парашниковъ и прочихъ „уборшиковъ“ самыя легкія работы, наиболѣе подходящія для богодуловъ, и потому назначалъ на нихъ стариковъ и слабосильныхъ. Между тѣмъ, должности эти были однѣ изъ самыхъ тяжелыхъ и хлопотливыхъ. Два раза въ недѣлю парашники и старосты обязаны были мыть столы, скамьи, нары и полы, ползая при этомъ съ тряпкой въ рукахъ на колѣнкахъ, такъ какъ швабры почему-то строго запрещались. Камеры должны были блестѣть, какъ стекло. Старосты же обязывались ежедневно чистить въ кухнѣ картошку, а когда въ тюрьмѣ уменьшалось число арестантовъ, возить также дрова и воду. Лѣтомъ ихъ же функція была—садить и поливать капусту на огородахъ. При назначеніи



камерныхъ старость никогда не наводилось у фельдшера справокъ о здоровьѣ кандидатовъ на эти должности, и нерѣдко поэтому случалось, что завѣдомые сифилитики и чахоточные мыли намъ посуду, дѣлили наше мясо и хлѣбъ. Въ парашники назначались первоначально добровольцы, но затѣмъ Лучезаровъ пересталъ справляться съ желаніемъ или нежеланіемъ арестантовъ идти на эту должность и отказывавшихся отъ нея началъ сажать въ карцеръ. Вскорѣ онъ пришелъ почему-то къ убѣжденію, что работа эта, будто нарочно, создана для татаръ, къ которымъ онъ, подобно кобылѣ, безразлично причислялъ и настоящихъ татаръ, и кавказцевъ, и сартовъ. Это-то обстоятельство и послужило поводомъ къ одной грустной исторіи, которая окончилась самымъ трагическимъ образомъ для одного изъ арестантовъ и явилась для всей тюрьмы началомъ новой, еще болѣе мрачной эры.

Былъ въ Шелайскомъ рудникѣ одинъ странный лезгинъ, съ сильно серебрившейся уже головой, не разъ бѣгавшій изъ каторги и не разъ за это изувѣченный и израненный пулями и штыками, человѣкъ несомнѣнно болѣзненный и слабосильный. Только глаза Шахъ-Ламаса, большіе и черные, гордо глядѣвшіе съ высоты красиваго орлинаго носа, говорили еще о несокрушимой внутренней энергіи и пламенной ненависти къ врагамъ-урусамъ. Къ физической работѣ онъ былъ мало годенъ, и на немъ-то остановился Лучезаровъ, когда, обходя однажды камеры на вечерней повѣркѣ, узналъ, что одинъ изъ прежнихъ парашниковъ захворалъ и помѣщенъ въ лазаретъ.

— Такъ вотъ этого старика назначить,—рѣшилъ онъ, указывая надзирателямъ на Шахъ-Ламаса:—это самая татарская работа.

И съ этими словами величественно выплылъ изъ камеры. Шахъ-Ламасъ, услышавъ отъ товарищей въ чемъ дѣло, ошѣмѣлъ сначала отъ изумленія и гнѣва, а потомъ громко сталъ кричать:

— Мой—парашникъ! Татарска лабортъ? Моя показалъ бы тебѣ Кавказъ татарска лабортъ! Сичасъ сѣкимъ-башка!

Насилу его успокоили и уговорили, не затѣвая исторіи, сказаться тоже на утро больнымъ. Этимъ путемъ, дѣйствительно, удалось на время отдѣлаться отъ непріятной работы; но прошелъ день—и надзиратели, помня приказаніе начальника, опять назначили злополучнаго лезгина парашникомъ. Тогда Шахъ-Ламасъ отрѣзъ отказался повиноваться. Цѣлую недѣлю его продержали за это въ темномъ карцерѣ и, выпустивъ, опять велѣли таскать парашки.

Уходя въ этотъ день въ рудникъ, я былъ увѣренъ, что Шахъ-Ламасъ снова откажется, и, признаюсь, съ нѣкоторымъ любопытствомъ ожидалъ развязки этой борьбы начальства съ упрямымъ кавказцемъ. Возвратившись съ работы, я еще подъ воротами догадался, что въ тюрьмѣ произошло что-то необычайное. Насъ обыскали съ давно забытой уже тщательностью и грубостью; котелки и мѣшки у всѣхъ были немедленно отобраны.

— Изъ чего же мы чай будемъ пить? — жалобно вопрошала кобылка.

— Для казеннаго чаю казенная посуда есть, — отвѣчалъ дежурный надзиратель, — а свой чай запрещенъ.

— Какъ такъ запрещенъ? Когда? За что?

— А вотъ тамъ узнаете.

Какъ дождь, посыпались арестанты по тюремному двору, топчась скорѣе въ камеры, чтобы узнать о случившемся. Вбѣжавъ въ корридоръ, мы увидали, какъ и въ самомъ началѣ пребыванія въ Шелайской тюрьмѣ, что всѣ двери опять заперты на замокъ. Въ дверную форточку моего номера выглядывало пухлое лицо Тарбагана, видимо, горѣвшаго нетерпѣніемъ повѣдать мнѣ великія новости; за нимъ шевелились рыжіе усы Гнуса. Только что надзиратель впустилъ горныхъ рабочихъ въ камеру, какъ оба они излились въ потокахъ словъ.

— Да стойте вы, черти, толкомъ сказывайте, что случилось!

— Шестиглазаго чуть не убили! — выпалилъ Яшка.

— Не убили, а попотчевали, — поправилъ Гнусъ.

— Ну?!

— А вотъ тѣ и гну!

— Сказывайте путно, не томите. А то тянутъ, тянутъ, ровно мертваго за... Сказывай ты, Тарбаганъ!

— Шахъ-Ламасъ опять отъ парашекъ отказался. Доложили Шестиглазому... Вотъ онъ и заявляется самъ въ тюрьму: „это, говорить, что? Ослушаніе, неповиновеніе волѣ начальства? А знаешь-ли ты, что бываетъ за отказъ отъ работы?“ Тотъ, черкесь-то, рѣзалъ въ это время хлѣбъ на нарахъ, закусить собирался. „Моя, говорить, вотъ что знаетъ!“ да какъ развернется!.. Ну, только тутъ кобылка путаетъ, потому въ камерѣ-то о ту пору никого больше не было. Одни говорятъ, ножомъ хватилъ онъ Шестиглазаго, а другіе — ковригой хлѣба. Ножомъ вѣрнѣе.

— Ковригой!! — прошипѣлъ Гнусъ, прерывая Тарбагана и отъ

необычайнаго волненія совѣтъ теряя голосъ:—ножемъ не успѣлъ, потому надзиратели за руки схватили.

— Вотъ будетъ еще спорить, гусина проклятая!—разсердился Тарбаганъ:—Звонаренкѣ же лучше знать. Онъ въ мастерской былъ, когда Шестиглазый назадъ уходилъ, и своими глазами видѣлъ, какъ у него пола оторванная отъ шинели болталась...

— Не голова-ль еще, скажете, болталась? Пропадите вы и съ Звонаренкой вмѣстѣ. Мнѣ самъ Прокопій Филиппычъ сказывалъ—кому-жъ лучше знать? Онъ первый и схватилъ черкеса. Озвѣрѣлъ, говорить, вовсе, насилу удержали; ругался тоже шибко и въ глаза плевался. Ну, да за то жъ и надзиратели намяли ему бока, ужъ такъ намяли—не рыдай, моя мамонька! А самъ Шестиглазый, братцы мои, выхватилъ, говорятъ, левоболвертъ изъ кармана и кричитъ: „Убью и отвѣчать не буду...“

Обиженный Тарбаганъ отошелъ на время въ сторону, и ареной общаго вниманія всецѣло завладѣлъ Гнусъ.

— И кузнецовъ всѣхъ четверыхъ, братцы мои, посадили,—шипѣлъ онъ.

— Какъ кузнецовъ? Ихъ-то за что?

— А ножикъ-то? Ножъ-то откуда у его взялся? Надзиратели тотчасъ же опредѣлили, что ихней чьей-нибудь работы. Имъ тоже, пожалуй, здорово теперь влетитъ.

— Да всѣмъ теперь влетитъ, — мрачно замѣтилъ Никифоръ Буренковъ:—ужъ коли котлы отобрали...

— Вотъ баба!—прикрикнулъ на него Семеновъ:—о томъ бы плакалъ, что Шестиглазому брюха не распорол, а онъ объ котлахъ. Да ты кто? Арестантъ? Ты въ каторгу развѣ чай шелъ пить? Не тотъ-ли, что въ обозахъ срѣзаль? Вотъ они, честные, чортъ ихъ чесаль... Котель отобрали—испугался!..

Это рѣзко выраженное Семеновымъ мнѣніе сразу дало тонъ нашей камерѣ, опредѣлило, какъ слѣдовало глядѣть остальнымъ на поступокъ Шахъ-Ламаса. Всѣ выражали ему на первыхъ порахъ сочувствіе и жалѣли о неудачѣ его попытки. Тарбаганъ, между тѣмъ, снова овладѣлъ общимъ вниманіемъ и началъ повѣствовать о томъ, чему самъ былъ свидѣтелемъ.

— Сейчасъ же, какъ отвели черкеса въ карецъ, камеры всѣ на замокъ заперли. Я на куфитѣ былъ—меня оттуда дежурный въ шею вытолкалъ. Заперли и того жъ часу съ обыскомъ заявились. Все до ниточки перебрали и перешарили. Котлы, чашки у кого

были камфоровыя, все, все забрали. Тряпочка гдѣ лишняя нашлась, иголки, нитки, все, какъ метлой, замели. Ножичишекъ нѣсколько штукъ тоже напшли, взяли. Книжки Ивана Николаевича, и Чичикова и Собакевича—всѣхъ уволокли!..

— Какъ! и книги тоже?—вскричалъ я, глубоко опечаленный тѣмъ, что такъ недолго продолжались наши блаженные вечера, полные такой поэзіи и оживленія.

— Всѣ до одной. Библію только не тронули. Слышно, еще въ кандалы всю тюрьму заковывать стануть.

— Ну?!

— Нѣтъ, за носъ тяну.

Всѣ невольно повѣсили головы.

— Ахъ ты, распостылый Шелай!—заговорилъ опять Никифоръ:—махонькій карандашичекъ въ щели у меня былъ, и тотъ вытащили. Помѣшалъ, вишь, имъ!

— Боятся, что Шестиглазому глазъ выколешь,—сѣострилъ кто-то.

— Нѣтъ, что на тотъ свѣтъ родителямъ записку напишешь.

Мы принялись осматривать и разбирать свои подстилки и вещи, безпорядочно сваленныя въ одну кучу, спѣша узнать, что у кого пропало и что уцѣлѣло. Увы! разореніе было полное... Малаховъ, вернувшійся къ вечеру изъ мастерской, принесъ новую неутѣшительную вѣсть: камеры думаютъ разбивать по новому!.. Дѣйствительно, страшно непріятно было, сжившись въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ съ людьми и даже со стѣнами и нарами, вдругъ очутиться въ новомъ мѣстѣ рядомъ съ новыми, часто почти незнакомыми сосѣдами, съ которыми надо еще сходиться и свыкаться.

— Ну, да и вольная команда теперь улыбулась,—подбавилъ Парамонъ масла въ огонь, въ раздумьи выколачивая о нары свою трубку.

Онъ самъ ожидалъ скорого выхода на волю, и въ голосѣ его слышалась нѣкоторая досада. Досаду эту, несомнѣнно, испытывали и многіе другіе арестанты (вольной команды ждали также Гандоринъ, Тарбаганъ и Пестровъ), и, навѣрное, она прорвалась бы наружу, если бы не страхъ передъ Семеновымъ: всѣ хорошо видѣли его горячій, полный насмѣшки и злости взглядъ, устремленный на нихъ съ наръ, и молчали. Только Гандоринъ тяжело вздыхалъ и шепталъ какую-то молитву.

На вечернюю повѣрку вышли въ этотъ день съ невольнымъ содроганіемъ и ознобомъ во всемъ тѣлѣ. Были увѣрены, что при-

бавятся какія-нибудь новыя непріятности. Ожидали самого Лучезарова... И вотъ онъ, дѣйствительно, появился, окруженный обычной помпой и величіемъ. Но торжественнѣе, чѣмъ когда-либо, развѣвалась на его плечахъ шинель и возвышалась на головѣ бѣлая папаха. Лицо было багрово-красно, и грозно свѣшивались длинные рыжіе усы. Шапокъ онъ не разрѣшилъ надѣть, и когда послѣ молитвы всѣ затаили дыханіе, и водворилась мертвая тишина, онъ долго стоялъ молча, медлительно осматривая бритый строй арестантскихъ головъ.

— Вотъ что!—обычными вступительными словами началась, наконецъ, рѣчь, и сердца у всѣхъ дрогнули:—однимъ изъ такихъ же артистовъ, какъ вы, сегодня произведено было на меня дерзкое нападеніе. Артистъ этотъ не зналъ, очевидно, что я не изъ трусовъ, что я хожу постоянно вооруженный, готовый застрѣлить всякаго, кто попытается меня оскорбить. Онъ понесетъ, конечно, заслуженную кару; но и вы всѣ... да, всѣ! всѣ являетесь въ моихъ глазахъ отвѣтственными за его поступокъ. И прежде всего отвѣственъ староста той камеры, гдѣ онъ жилъ. Ему не могло не быть извѣстнымъ, что въ камерѣ находится запрещенный закономъ ножъ, а также и то, что этотъ артистъ способенъ отважиться на то... на что онъ отважился. За то же самое отвѣчаетъ и вся камера № 7. Поэтому объявляю эту камеру арестованной на одинъ мѣсяцъ, то есть лишенной на это время табаку, чаю и прогулокъ, а также закованной въ ножны и ручные кандалы; старосту же подвергаю, кромѣ того, заключенію въ темномъ карцерѣ на недѣлю. Это относительно камеры № 7. Но виновна и вся тюрьма. Во время послѣдовавшаго сегодня по моему приказанію обыска во всѣхъ камерахъ нашлись недовольные мною ножи. Кто ихъ изготовлялъ, тотъ понесетъ особое наказаніе. Но завтра же я прикажу всѣхъ васъ заковать въ кандалы и камеры строго держать отнынѣ на запорѣ. Не умѣли пользоваться моей добротой—побрякайте теперь браслетами. Отбираю также и книжки, которыя... которыя я далъ было вамъ, снисходя къ просьбѣ... образованнаго человѣка, мечтавшаго этими книжками научить васъ уму-разуму. Я слышалъ, что онъ много васъ увеселяли и забавляли, но такіе артисты, какъ вы, не стоятъ никакихъ заботъ о себѣ и никакого снисхожденія. Въ заключеніе еще вотъ что! Многимъ изъ васъ вышли уже сроки выхода въ вольную команду, но знайте: никто не будетъ выпущенъ до тѣхъ поръ, пока я не увижу искренняго раскаянія и пол-

наго исправленія. Обязанности камерныхъ старость особенно велики и важны: ихъ дѣло не только держать камеры въ чистотѣ и порядкѣ, но также слѣдить за благонравностью живущихъ съ ними товарищей. За всякую новую исторію, подобную сегодняшней, я буду прежде всего съ нихъ взыскивать. Дежурный, читайте нарядъ на работы, за исключеніемъ арестованнаго седьмого номера.

При разводѣ арестантовъ по камерамъ послѣдовало затѣмъ нововведеніе: камеры немедленно были заперты на замокъ, и, при обходѣ ихъ Лучезаровымъ, каждая снова отмыкалась. При этомъ прежде всего кидались въ камеру надзиратели, тѣснымъ кольцомъ окружая робко жавшуюся шпанку. Бравый штабсъ-капитанъ доходилъ до середины помѣщенія, грозно окидывалъ его безмолвнымъ взоромъ и въ томъ же подавляющемъ безмолвіи удалялся.

Этотъ роковой вечеръ всѣ мы провели мрачно и молчаливо. Ученики были угнетены и озлоблены и тотчасъ же легли спать; Гандоринъ не рассказывалъ Тарбагану своихъ сказокъ и очень долго молился, стоя на колѣняхъ и громко стучаясь лбомъ объ полъ; да и самому Тарбагану было не до сказокъ. Малаховъ пытался, правда, показать, что ему все на свѣтѣ тринь-трава, и запѣлъ было притворно-пьянымъ голосомъ, наклоняясь къ Чирку и задирая его:

Ужъ я сяду подъ оконце,  
Погляжу на красное солнце—

но Чирокъ, очевидно, не расположенъ былъ къ шуткамъ и ограничился тѣмъ только, что далъ „чернопазому дьяволу“ хорошаго леща въ спину, обругалъ его пьяной рожей и велѣлъ ложиться спать. Даже Гончаровъ не резонировалъ въ этотъ вечеръ и очень скоро заснулъ.

## XVII.

### Обычная развязка.

Началось мрачное и тяжелое время. Чувствовалось, что населеніе тюрьмы раздѣлилось на двѣ партіи, враждебныя одна другой. Одна изъ нихъ, менѣе, правда, численная, но за то болѣе сильная вліяніемъ, состояла изъ людей, безусловно одобрявшихъ поступокъ Шахъ-Ламаса и выражавшихъ сожалѣніе лишь о томъ, что ему не удалось отправить на тотъ свѣтъ Шестиглазаго. Къ

этой партіи принадлежали, между прочимъ, и всѣ магометане, хотя они держались, какъ всегда, обособленно отъ русскихъ и, не высказывая громко сочувствія своему единовѣрцу, ходили сосредоточенные, печальные и таинственные. Затѣмъ шли „иваны“, тюремные воротилы и бывалые люди, горой стоявшіе за поддержаніе старинныхъ арестантскихъ обычаевъ и порядковъ и съ озлобленіемъ смотрѣвшіе на то, какъ постепенно разлагаются и падаютъ освященные преданіемъ устои, и на развалинахъ славнаго прошлаго воцаряется „новый родъ“ трусовъ, „хвостобоевъ“ (подлипалъ) и „язычниковъ“ (шпіоновъ). Часть этихъ вожаковъ, вроде Семенова и Гончарова, были, несомнѣнно, люди искренніе и убѣжденные; но многіе другіе оправдывали Шахъ-Ламаса вовсе не потому, чтобы вѣрили въ его правоту, или чтобы внутри ихъ дѣйствительно горѣлъ огонь непримиримой вражды и ненависти, а потому только, что искали въ толпѣ популярности и первенства. А послѣднее легче всего создается крайними взглядами на вещи. Большинство тюрьмы (центръ) составляла безличная масса, шедшая туда, куда ее влекли и толкали поводыри, герои; изъ страха передъ ними она первое время таила въ глубинѣ души свои истинные (трусливые) взгляды и симпатіи, высказываясь неопредѣленно, смотря по тому, чей голосъ громче и увѣреннѣе раздавался вокругъ. Но вскорѣ заявила о своемъ существованіи и крайняя правая, состоявшая большей частью изъ благочестивыхъ старичковъ и другихъ, рвавшихся въ вольную команду; они не долго скрывали свое озлобленіе и негодованіе противъ виновника новыхъ репрессій. Однако лѣвые, неблагонамѣренные, опираясь на безличную, трусившую передъ ними шпанку, одержали въ началѣ рѣшительную побѣду, и старички принуждены были прикусить языкъ и съежиться. Въ одномъ номерѣ арестанты хотѣли даже побить своего старосту, слишкомъ близко къ сердцу принявшаго наставленія Лучезарова... Не смотря на запертыя двери, вожаки успѣли тотчасъ же обмѣняться паролями и лозунгами предстоявшей кампаніи, и скоро во всей тюрьмѣ господствовало мнѣніе, что „коряться“ Шестиглазому отнюдь не надо, товарища выдавать не слѣдуетъ.

— Что онъ можетъ съ нами сдѣлать?—кричали главари.—Котлы отняли, чай? Да душа изъ него вонъ и съ чаемъ его вмѣстѣ! Въ кандалы заковалъ? Такъ на то мы и арестанты, на то и въ каторгу шли. Вольную команду отыметъ? А начхать намъ на его вольную команду! Это имъ она нужна, старичкамъ благословле-

нымъ, тѣмъ, у кого хвостъ да языкъ долги, а мы, коли что задумаемъ, и въ тюрьмѣ можемъ сдѣлать!

— А я такъ полагаю, братцы,—ораторствовалъ кто-то въ другомъ углу,—что еще самъ же Шестиглазый отвѣтитъ. Потому онъ не имѣетъ никакого полнаго права всѣхъ за одного наказывать. Придѣтъ же какое ни есть начальство слѣдствие сымать; заявимъ тогда всѣ, какъ одинъ человѣкъ: такъ и такъ, молъ, ваше превосходительство, житья нѣтъ, утѣшеніе большое. И помни: ему нагорить! Всѣ его злодѣйства можно раскрыть и объяснить. Наше дѣло и по закону правое, братцы, чего намъ кориться? Можетъ статься, еще и черкесу ничего не будетъ, потому закона такого нѣтъ вынуждать человѣка парашки таскать.

Но въ арміи крайнихъ была одна брешь, одинъ слабый пунктъ, котораго въ началѣ никто не замѣчалъ: это то, что Шахъ-Ламасъ былъ не свой, а „татаринъ“. Къ татарамъ же, т. е. магометанамъ, арестанты относятся вообще крайне враждебно. Вражда эта взаимная, и причинъ ея множество (среди нихъ играютъ, быть можетъ, роль и перешедшія въ инстинктъ историческія воспоминанія). Нельзя совершенно отрицать, напр., того, что кавказцы, сарты и другіе инородцы, непривычные къ тяжелому физическому труду, всѣми силами стараются отъ него увильнуть и, гдѣ можно, „проѣхаться на спинѣ“ русскихъ; но послѣдніе преувеличиваютъ этотъ ихъ недостатокъ и обвиняютъ нерѣдко въ лѣности и желаніи лодырничать даже самыхъ трудолюбивыхъ изъ магометанъ, на чьей спинѣ сами они ѣздятъ. Незнаніе магометанами русскаго языка и явное нежеланіе учиться говорить на немъ также поддерживаетъ взаимное недоброжелательство. Магометане держатся въ тюрьмахъ обособленными кучками, раздражая русскихъ своимъ гортаннымъ нарѣчіемъ, монотонно-пѣвучимъ, нѣсколько гнусавымъ чтеніемъ корана и обрядами омовенія, которые даже и мнѣ внушали, помню, брезгливое чувство. Съ своей стороны, и „татары“ имѣютъ мало причинъ любить русскихъ, видя на каждомъ шагу высокомерное отношеніе къ себѣ, слыша постоянные окрики: „У, звѣрь! татарская лопатка!“ и пр. Восточная вспыльчивость беретъ иногда свое, и въ ходъ пускаются ножи. Въ дорогѣ довольно нерѣдки кровавыя столкновенія между русскими и черкесами.

Что касается Шахъ-Ламаса, то, не смотря на общее нерасположеніе къ его единовѣрцамъ, онъ лично пользовался въ тюрьмѣ популярностью и уваженіемъ. Всѣ хорошо знали, что онъ человѣкъ,



не разъ бѣгавшій съ каторги и вообще умѣющій за себя постоять; что онъ, на самомъ дѣлѣ, боленъ, а не притворяется только негоднымъ къ работѣ. Старикъ отличался, кромѣ того, веселостью характера, сносно говорилъ по-русски и, будучи въ Шелайской тюрьмѣ единственнымъ кавказцемъ, дружилъ больше съ русскими, чѣмъ съ татарами. Въ этомъ отношеніи съ нимъ могъ соперничать развѣ только узбекъ Маразгали, которому я посвящу одну изъ слѣдующихъ главъ. Когда случилась исторія Шахъ-Ламаса, въ первыя минуты никому даже и въ голову не пришло вспомнить о томъ, что онъ „татаринъ“, а не русскій. Но подъ вліяніемъ репрессалій и малодушнаго страха за будущее, объ этомъ вскорѣ вспомнили. Послышалось легкое шушуканье по угламъ; начались косые взгляды на татаръ, киргизовъ и сартовъ, и скоро послѣднимъ житья не стало.

— У, звѣрь! татарская лопатка!—слышалось повсюду по дѣлу и безъ дѣла.

Въ кухнѣ произошло столкновеніе между поварами, кандидатами въ вольную команду, и сартами, приходившими брать кипятокъ. Одинъ изъ сартовъ, въ отвѣтъ на плевокъ повара, брызнулъ въ него горячей водой и былъ за это побитъ кухонниками и другими присутствовавшими въ кухнѣ арестантами. Плевокъ русскаго какъ-то замаяли, а о томъ, что сартъ облилъ его кипяткомъ, говорила вся тюрьма, утверждая, что „ихъ всѣхъ за это проучить надо“. Замѣчательно, что даже Семеновъ, который былъ настолько уменъ, что могъ бы, казалось, сообразить, къ чему клонится въ сущности вся эта агитація противъ татаръ, и тотъ увлеченъ былъ общимъ движеніемъ и тоже скрипѣлъ зубами при видѣ двухъ компчныхъ киргизовъ, жившихъ въ нашей камерѣ подъ его нарами и раздражавшихъ его своимъ неумолкаемымъ „гыръ-гыръ-гыръ“, какъ называлъ онъ ихъ разговоръ другъ съ другомъ.

И, дѣйствительно, не успѣли очнуться подобныя Семенову арестанты, какъ обострившаяся вражда къ татарамъ перенеслась уже на Шахъ-Ламаса и его поступокъ, и бесѣды въ этомъ смыслѣ стали вестись открыто и безбоязненно.

— Подумаешь, какой баринъ! — ворчалъ Яшка Тарбаганъ: — парашекъ не захотѣлъ таскать!

— У нихъ тамъ, на Кавказѣ, всѣ вѣдь бояры да князья,—сочувственно подтверждалъ Гандоринъ.

— И вѣдь всегда такъ эти нехристи, — вмѣшивался Мала-

ховъ:—скажи ты не по ёмъ одно слово, сейчасъ онъ за кинжалъ или за ножъ хватается. Сѣкимъ-башка!

— У, звѣри лѣсные!

— Вредный старичонко этотъ Шахъ-Ламасъ. Я давно замѣчалъ за нимъ... Глаза такъ и прыгаютъ всегда, ровно стрѣляютъ. Нехорошій тотъ человѣкъ, братцы, у котораго глаза стрѣляютъ.

— А теперь вотъ страдай изъ-за него... Котлы даже отняли!—жаловался Никифоръ, особенно близко принимавшій къ сердцу отнятіе котловъ.

Буренковъ былъ страстный любитель чая и могъ выпивать одинъ чуть не цѣлое ведро. Передъ вечерней повѣркой онъ приносилъ изъ кухни свой котелокъ, наполненный горячимъ кирпичнымъ чаемъ, и плотно закутывалъ его халатомъ. Какъ только проходила повѣрка, котелокъ вытаскивался на столъ, и начиналось священнодѣйствіе чаепитія, котораго не могли уже потревожить ни звонокъ на работу или на повѣрку, ни окрики надзирателей. Не знаю, какимъ образомъ, но даже и въ это опасное время Никифоръ примудрился достать себѣ какой-то заваляшій котелокъ, и однажды съ нимъ произошла по этому поводу прекомичная исторія. Только что выволокъ онъ изъ потайного мѣста свой котелъ и сталъ надъ нимъ священнодѣйствовать, какъ надзиратель подошелъ къ дверной форточкѣ и закричалъ:

— Буренковъ! Ты чай пьешь?

— Какой чай! сырую воду!..

— Да развѣ я не вижу—паръ идетъ?

— Это, ей-Богу, отъ холодной воды.... съ морозу...

И, въ доказательство, Никифоръ зачерпнулъ изъ водянаго бака подъ столомъ чашку холодной воды и выпилъ однимъ духомъ. Надзиратель не отходилъ и наблюдалъ. Никифоръ еще зачерпнулъ чашку и опять всю выпилъ... И такъ выпилъ онъ, по крайней мѣрѣ, пять чашекъ подъ-рядъ, считая почему-то возможнымъ убѣдить этимъ путемъ надзирателя въ своей невинности! Надзиратель, однако, не убѣдился и, отомкнувъ камеру (ключи не были еще отнесены на ночь къ начальнику), при общемъ хохотѣ кобылки, забралъ и унесъ котелъ съ чаемъ, оставивъ обезкураженнаго, „назудившагося“ сырой воды Буренкова съ носомъ...

— Знаете что, братцы,—вдругъ вскрикивалъ теперь Никифоръ, весь вострепенувшись:—я такъ полагаю, что лучше всего намъ покориться... Потому изъ-за чего же похмѣлье въ чужомъ пиру

терпѣть? Мы всѣ вѣдь совсѣмъ тутъ сторона... То-ли было дѣло, какъ прежде жилось? Миколаичъ читалъ намъ, мы учились... Камеры отворены были... Котлы опять...

— Да душа изъ тебя вонъ и съ котлами вмѣстѣ!—не удержавшись, закричалъ на него Семеновъ:—корись, коли хочешь. Обвѣщайся хоть весь котлами своими, разбей объ нихъ лобъ!

— Ну, и покорюсь. Ты чего? Мнѣ что? Мнѣ вѣдь не въ вольную команду выходить. Я объ себѣ развѣ? Я за правду...

— Праведникъ выискался, честный!...—злбно захихикалъ Гончаровъ, грузно поднимаясь съ своего мѣста и поддерживая Семенова.

— Ты не будь честнымъ, тебя вѣдь не приглашаютъ,—огрызнулся противъ него Никифоръ.—По мнѣ хоть въ магометанскую вѣру переходи, хоть замужъ за себя своего Шахъ-Ламаса бери!

Завязалась крупная перебранка, во время которой Гончаровъ съ Семеновымъ кричали:

— Да коритесь, коритесь, кто васъ держитъ! Душа изъ васъ всѣхъ вонъ! И изъ васъ, и изъ татаръ вашихъ вмѣстѣ. Нашли съ кѣмъ въ дружбѣ обличать насъ. Не за татаръ, а за правила арестантскія стоимъ мы. Коритесь, души благочестивыя, бейте хвостами!

Но событія предупредили намѣренія благочестивыхъ душъ. Вскорѣ по тюрьмѣ разнесся слухъ, что пріѣхалъ чиновникъ особыхъ порученій, очень важное, чуть не титулованное лицо, снимать съ Шахъ-Ламаса допросъ. Черезъ день или два лицо, дѣйствительно, появилось въ тюрьмѣ. Это былъ совсѣмъ еще молодой и очень любезный человѣкъ, пріятно улыбавшійся и въ каждой камерѣ освѣдомлявшійся, нѣтъ-ли у арестантовъ какихъ-либо претензій или жалобъ. Кобылка отзывалась по обыкновенію, что всѣмъ и вполнѣ довольна. Отыскался одинъ только смѣльчакъ изъ всѣхъ 150 человѣкъ, до тѣхъ поръ неизвѣстный большинству даже по фамиліи, но тутъ вдругъ нарушившій общее молчаніе и принесшій жалобу на пищу. У любезнаго молодого чиновника сдвинулись тотчасъ же брови, и голосъ сталъ сухъ и серьезень.

— Чѣмъ же плоха пища?—спросилъ онъ холодно, сквозь зубы:—не сполна выдаются продукты, что-ли? Ты, братецъ, подумай хорошенько, прежде чѣмъ приносить такую претензію.

— Пищу часто въ ротъ нельзя взять,—смѣло продолжалъ безвѣстный арестантъ:—одно время совсѣмъ гнилую картошку давали.

— Это дѣло будетъ разслѣдовано, — оборвалъ чиновникъ и поспѣшно вышелъ изъ камеры.

Приносившій жалобу былъ съ своей точки зрѣнія правъ: тюремной пищи никогда нельзя брать въ ротъ безъ отвращенія; картошка, точно, выдавалась иногда экономомъ гнилая. Но чувствовалъ себя, съ другой стороны, правымъ и Лучезаровъ: „Какъ! онъ, бравый штабсъ-капитанъ, не сполна выдаетъ продукты? Онъ кормить арестантовъ гнилью!“ Вмѣстѣ съ чиновникомъ онъ спустился немедленно въ кухонный подвалъ и освидѣтельствовалъ хранившуюся тамъ картошку (передъ тѣмъ въ кухню прибѣжалъ опрѣтеть запыхавшійся экономъ и велѣлъ поварамъ сгрудить въ сторону весь подозрительный пищевой матеріалъ): картошка оказалась превосходнѣйшаго качества. Поданный для пробы начальству арестантскій обѣдъ (смовленный сверху котла жирный наваръ) также найденъ и вкуснымъ, и необыкновенно питательнымъ.

— У меня дома не варять такихъ славныхъ щей! — торжественно заявилъ молодой чиновникъ и тутъ же назначилъ поварамъ отъ себя по полтиннику на чай и сахаръ.

На вечерней повѣркѣ того же дня было громогласно объявлено, что арестантъ, предъявившій ложную жалобу на свое начальство, подвергается заключенію въ темномъ карцерѣ на одинъ мѣсяцъ съ закованіемъ въ ручные кандалы. А на слѣдующее утро сановное лицо вызывало въ канцелярію Юхорева и всѣхъ камерныхъ старостъ и сдѣлало имъ строгое внушеніе относительно лежавшихъ на нихъ обязанностей. Разсказывали послѣ, что многіе старички, въ томъ числѣ и нашъ Гандоринъ, падали въ ноги и тутъ же называли имена разныхъ „неблагонадежныхъ“ товарищей. Послѣ этого лицо уѣхало, отдавъ предварительно приказаніе перевести Шахъ-Ламаса до рѣшенія его дѣла въ Зерентуйскій рудникъ. Больной старикъ былъ вынесенъ почти недвижимымъ изъ карцера, брошенъ на подводу и, не смотря на большой морозъ, еле прикрытъ халатомъ. Я слышалъ впослѣдствіи, что вскорѣ по прибытіи въ Зерентуй онъ и умеръ, не дождавшись своего осужденія, которое, несомнѣнно, было бы очень строгое.

Кобылка послѣ всѣхъ этихъ событій окончательно перетрусилась, и каждый помышлялъ только о спасеніи собственной шкуры. Всякій разъ, какъ Лучезаровъ являлся въ тюрьму, то въ той, то въ другой камерѣ къ нему обращались съ мольбами о выпускѣ въ вольную команду и увѣреніями въ благонамѣренности. Съ надзирателями

также происходили у многихъ таинственныя бесѣды и шушуканья. Языкѣ приходилось крѣпко держать за зубами...

## XVIII.

### Въ штольнѣ.

Въ это тяжелое время рудникъ являлся для меня единственнымъ мѣстомъ отдохновенія и сравнительнаго душевнаго покоя. Уйти возможно дальше отъ ненавистныхъ стѣнъ тюрьмы, изъ этого царства гнета и всяческой злобы, уйти на возможно долгое время и погрузиться всѣмъ существомъ, всѣми силами души и тѣла въ физическую работу, бить безъ передышки молоткомъ по буру, мѣрить и считать готовые уже вершки и потомъ снова махать и махать молоткомъ,—это опять сдѣлалось для меня на время наслажденіемъ, въ которомъ было что-то болѣзненное, почти мучительное... Петръ Петровичъ давно уже далъ мнѣ другое назначеніе, переведя изъ шахты въ такъ называемую штольню, гдѣ было и теплѣе, и камень значительно мягче. Здѣсь даже я могъ безъ особеннаго утомленія выбуривать 8—10 вершковъ въ день. Трудна была только обивка, и потому въ товарищи мнѣ назначался обыкновенно въ такіе дни кто-нибудь изъ силачей, вроде Семенова, но буривалъ со мной, случалось, и Ракитинъ.

Не мѣшаетъ, быть можетъ, сказать нѣсколько словъ о томъ, что такое штольня. Такъ назывался горизонтальный подземный корридоръ, направлявшійся отъ свѣтлички къ шахтамъ. До нашего прибытія въ Шелайскую тюрьму въ немъ было прорыто, тридцать лѣтъ назадъ, около семидесяти сажень. Но этотъ узкій корридоръ не требовалъ на себя много рабочихъ рукъ: нужны были только два бурильщика и одинъ откатчикъ, вывозившій въ особо устроенномъ вагончикѣ на отваль взорванную породу. По мѣрѣ углубленія штольни въ гору, требовались еще изрѣдка плотники, ставившіе новыя подпорки (крѣпи) и удлинявшіе мостки, по которымъ откатчикъ возилъ свой вагонъ. Такимъ образомъ работать мнѣ приходилось большею частью въ полномъ одиночествѣ, такъ какъ товарищи мои по буренью оканчивали свой урокъ значительно раньше и, отработавшись, уходили въ свѣтличку; я же, не торопясь и подолгу отдыхая, стучалъ иногда молоткомъ вплоть до самаго ухода арестантовъ въ тюрьму.

Въ одномъ отношеніи штольня была безъ всякаго сравненія лучше шахты: зимой въ ней было гораздо теплѣе, чѣмъ на открытомъ воздухѣ, лѣтомъ же хотя и ощутительно свѣжо, но за то вполне сухо, тогда какъ въ шахтахъ со всѣхъ боковъ струилась холодная вода, попадавшая за шею и въ сапоги.

Живо и отчетливо рисуются мнѣ эти долгіе-долгіе часы, которые просиживалъ я одинъ-одинехонекъ въ своемъ подземномъ мірѣ. Слабо мерцала сальная свѣча, прилѣпленная къ камню, ежеминутно оплывавая и тускнѣя; слѣва и справа, на разстояніи сажени одинъ отъ другого, возвышались гранитные бока корридора; надъ головой висѣлъ неровный каменный потолокъ, который, казалось, вотъ-вотъ долженъ обрушиться... Но онъ держался прочно: мелкіе каменья при обивкѣ отлетали прочь, и оставался сливной камень, имѣвшій слишкомъ много точекъ опоры; работа происходила, по крайней мѣрѣ, на глубинѣ десяти сажень подъ землею. Впереди стоялъ тотъ-же мрачный гранитъ, въ который приходилось стучаться; а позади свѣтъ моей свѣчки боролся съ тьмою, переходилъ скоро въ блѣдныя тѣни и, наконецъ, совсѣмъ тонулъ среди вѣчно царствовавшихъ тамъ сумерекъ. Въ отдаленіи только, въ самомъ концѣ штольни, виднѣлось небольшое оконце,—выходъ на свѣтъ Божій; съ нимъ приходилось соображаться, чтобы вести штольню всегда по прямому направленію. Иногда, случайно погасивъ свѣчу въ забой, я видѣлъ, какъ этотъ далекій просвѣтъ отражался на передовой каменной стѣнѣ въ видѣ небольшого свѣтлаго пятна, производившаго самую полную иллюзію луннаго свѣта. Въ штольнѣ, не смотря на ея сравнительную теплоту, чувствовалась постоянная сырость, и даже глазами можно было видѣть испаренія, плававшія вдоль стѣнъ. Бывало, задумаешься, глядя на этотъ туманъ, и вотъ онъ принимаетъ постепенно въ воображеніи смутныя, странныя очертанія, говорящія о забытомъ всѣми мірѣ страданій, уже отжившихъ, отошедшихъ въ вѣчность, но, однако, все еще какъ будто живыхъ и реальныхъ. Неясные сначала образы принимаютъ постепенно рѣзко-опредѣленные формы, и вотъ уже мерещатся блѣдныя лица и костлявыя фигуры людей, когда-то терпѣвшихъ здѣсь дѣйствительно нечеловѣческія мученія,—мученія, передъ которыми теперешняя каторга—пустая игрушка, проливавшихъ здѣсь не только потъ, но и кровь, полагавшихъ животъ свой... Во имя чего? Кто были эти люди? Безсознательныя-ли жертвы общественныхъ несовершенствъ, нищеты, невѣжества и дикихъ вождельнѣй,

или же носители какихъ-либо высокихъ идеаловъ? Я не зналъ; но всё, всё безъ различія представлялись мнѣ въ эти минуты одинаково страдавшими и потому равно казались братьями и товарищами по несчастію. Я видѣлъ глаза, полные слезъ и ужаса, съ недоумѣніемъ вопрошавшіе меня: „За что?“. Видѣлъ поднятые кулаки, стиснутые безсильною злобой и точно искавшие врага, котораго слѣдовало бы растерзать; мнѣ явственно слышались и вздохи отчаянія, вылетавшіе изъ впалой истомленной груди, и хриплый смѣхъ ярости, жаждавшей упиться местию...

— Блѣдныя тѣни, ужасныя тѣни!  
Злоба, безумье, любовь...

Даже кандалный звонъ чудился по временамъ... И, вздрогнувъ, я спѣшилъ оторваться отъ страшной галлюцинаціи. Это все прошло вѣдь, этого больше не будетъ. Теперь остается уже блѣдная тѣнь того, что было, и можно надѣяться, что и эта послѣдняя тѣнь исчезнетъ съ первыми лучами солнца... Но тутъ я снова вздрагивалъ, хотя совсѣмъ уже отъ другой—реальной причины: въ глубинѣ горы прокатывался слабый, глухой громъ, явственно доносившійся, однако, до слуха, благодаря царившему кругомъ гробовому безмолвію. Эти голоса горныхъ духовъ первое время пугали меня, потому что казались предвѣстниками землетрясенія; но они повторялись такъ часто, что скоро я пересталъ даже обращать на нихъ вниманіе. При мнѣ въ Шелайскомъ рудникѣ не было ни одного настоящаго землетрясенія, но въ старину они бывали нерѣдки и породили цѣлыя легенды. Одну изъ такихъ легендъ рассказалъ мнѣ свѣтличный старикъ-сторожъ. Подобно кобылкѣ, и онъ утверждалъ тоже, что въ Шелаѣ былъ однажды обвалъ, похоронившій подъ землею нѣсколько десятковъ каторжныхъ; только старикъ относилъ этотъ случай къ еще болѣе давнему времени, котораго самъ не запомнилъ.

— Вотъ работаютъ разъ ребята въ горѣ, — рассказывалъ онъ: — работаютъ, ни о чемъ не думаютъ. Вдругъ прибѣгаетъ къ нимъ нарядчикъ и кричитъ: „вонъ выходите скорѣе, гора идетъ!“ Всѣ побросали сейчасъ же инструмента и побѣжали вонъ. Выходятъ—имъ нарядчикъ на встрѣчу: „Куда, мерзавцы, идете? Чего работу бросили?“ Они: „такъ и такъ, говорятъ, ты самъ сейчасъ приходилъ звать насъ. Гора, молъ, идетъ“. — „Да что вы, говорить, очумѣли, што-ли? Или пьяны напились? Гора и не думаетъ трогаться.

Надъ вами кто-нибудь изъ каторги подшутилъ. Я все время въ свѣтличкѣ былъ. Нечего ласы точить, ступайте работать“. Что тутъ дѣлать? Помялись, помялись да и пошли назадъ въ гору. Тогда вѣдь не тѣ права-то были... Только успѣли въ гору войти, за инструментомъ опять взяться, а она и пошла... и пошла!.. Такъ всѣ и пропали. Шестъдесятъ, сказываютъ, человекъ пропало.

— Кто-жъ это приходилъ къ нимъ, дѣдушка?

— А Богъ его знаетъ. Стало быть, горный хозяинъ.

— А вы сами его видали, хозяина-то?

— Я-то не видалъ, а люди видали. Почему же и до сихъ поръ вотъ, гдѣ большія выработки есть, строго-на-строго запрещается рабочимъ пѣть и свистать въ горѣ.

— Это почему же?

— Ну, стало быть, потому. Стало, онъ не любитъ.

Со старикомъ, который показался мнѣ въ началѣ несимпатичнымъ и плутоватымъ, и котораго арестанты называли „горнымъ духомъ“, съ теченіемъ времени я сблизился и нашелъ въ немъ жалкое, забитое и покинутое всѣми созданіе, невольно внушавшее къ себѣ сожалѣніе. Умственный міръ его былъ очень неширокъ и незамысловатъ: въ прошедшемъ—Разгильдѣевъ, а въ настоящемъ и будущемъ—постоянная тревога за тѣ несчастные десять рублей въ мѣсяцъ, которые платилъ ему уставщикъ Монаховъ за исполненіе обязанностей сторожа. У него была зажиточная родня, и тѣмъ не менѣе она заставляла бѣднаго семидесятилѣтняго старика жить трудомъ своихъ рукъ. Къ счастью, закаленный въ огнѣ разгильдѣевщины, старикъ былъ еще здоровъ и крѣпокъ, не смотря даже на то, что питался однимъ чернымъ хлѣбомъ и кирпичнымъ чаемъ. Все свое жалованье онъ отдавалъ семьѣ младшаго сына, хозяйство котораго шло незавидно. Мы подолгу болтали съ нимъ въ тѣ дни, когда у меня рано оканчивалась работа. Страшныя вещи рассказывалъ старикъ о временахъ разгильдѣевщины, о томъ, какъ тяжела и непосильна была работа на Карѣ, какъ колодни ки болѣли и мерли, точно мухи осенью, и какъ во время холеры ихъ живыми еще таскали сотнями на кладбище... Несправедливости и обиды чинились каторгѣ возмутительныя. Во время работы даже отдыхать, курить и ѣсть запрещалось; приходилось украдкой, вынимая изъ-за пазухи, кусать ломоть хлѣба. Забитое и запуганное было времячко...

— Неужели же Разгильдѣевъ никогда добрымъ не бывалъ? —



спросилъ я однажды, и старикъ оживился. Морщинистое лицо покрылось пріятной улыбкой, и потухшіе, поблекшіе глазки за-сверкали.

— Какъ не бывать! И на звѣря, бываетъ, пора находить удачная. Вотъ разъ... какъ сейчасъ помню... дождливый, дождливый былъ день. Мы съ товарищемъ вдвоемъ по колѣно весь день въ водѣ простояли на шурфахъ; промокли, прозябли, насилу-насилу урокъ къ вечеру сробили. Вотъ идемъ, и говоритъ товарищъ:— „Давай-ка, братъ, пѣсню съ горя затянемъ“. Ваяли и затянули:

За тихимъ бродомъ рѣчки-переправомъ  
Не ковыль-то трава во полѣ шатается:  
Запнулся я, удалъ добрый молодецъ...  
Загнала-то меня служба царская,  
Служба царская, государственная.  
Тяжела-то мнѣ служба царская,  
Та-ли служба съ утра день до вечера,  
Съ вечера до самой до полуночи!  
Со полуночи съ неба звѣзды сыплются...  
Разсыпалась наша сила-армія,  
Сила-армія, Разгильдѣева партія.  
И по падамъ-то, падамъ широкима,  
И по шурфамъ-то, шурфамъ глубокима!

Долгая она пѣсня, не помню далѣ. Вотъ поемъ это мы, вдругъ... слышимъ:— „Кто тамъ поетъ? Сюда!“ Смотримъ: на крыльцѣ дома человѣкъ стоитъ. Подходимъ, шапки снимаемъ и видимъ — самъ полковникъ. „Пьяные, што-ли?“ спрашиваетъ. — Никакъ нѣтъ, отвѣчаемъ, ваше высокородіе, съ работы въ казарму идемъ. „Съ какой же радости вы поете?“ — Какъ съ какой, говоримъ, радости? Вотъ промокли мы, иззябли до костей, проголодались, а теперь урокъ кончили. Придемъ въ казарму, обогрѣемся, обсушимся. „Ступайте-ка, говорить, за мной“, и ведетъ насъ обоихъ къ себѣ въ квартиру. Ну, думаемъ, бѣда! Приводитъ насъ въ большую горницу, показываетъ на столъ: „Садитесь, говорить, гостями будете“. Зоветъ потомъ повара и велитъ намъ ужинать дать, тащить все, что только въ домѣ есть. А самъ выносить намъ по большому покалу вина. „Пейте!“ говорить. Ослушаться нельзя. Выпили мы. Съ перепугу не знаемъ, что и дѣлаемъ. А онъ, глядимъ, еще по такому же покалу подаетъ: „Пейте еще“. — Нѣтъ, говоримъ, довольно, ваше высокородіе, не то захмѣлѣемъ, завтра на разрѣзъ не сможемъ выйти. — „Ничего, говорить, я въ отвѣтъ. Помните,

какъ Разгильдѣевъ свою силу-армію угошалъ“. Потомъ беретъ бумагу, пишетъ какую-то записку и кладетъ мнѣ за пазуху: „Покажи, говоритъ, утромъ дежурному“. Какъ мы домой добрались, я ужъ и не знаю. Пьянехоньки оба, потому много-ль надо ослабѣвшему человѣку? Поутру ранымъ-рано на работу будятъ. Меня тоже толкаютъ, а я ничего и понять не могу. Языкъ не ворочается, за пазуху только руку сую: тутъ, говорю. Посмотрѣлъ дежурный на записку и ротъ разинулъ: „Да ты, говоритъ, самимъ Разгильдѣевымъ освобожденъ на сегодня отъ работъ“.

Около этого же времени познакомился я и съ уставщикомъ Монаховымъ. Толстопузый, съ краснымъ опухшимъ лицомъ и благодушнымъ смѣхомъ, выходявшимъ скорѣе изъ упитанной утробы, чѣмъ изъ горла, внѣшнимъ видомъ онъ мало напоминалъ то слово, отъ котораго происходила его фамилія. Казалось, никакія житейскія заботы и никакіе умственные интересы не занимали его, и изъ всѣхъ чувствъ, способныхъ волновать человѣческую душу, ему было доступно одно—чувство всеодуряющей скуки, отъ которой днемъ онъ искалъ спасенія въ свѣтличкѣ, въ болтовнѣ съ арестантами и казаками, а по вечерамъ и ночамъ въ картахъ и выпивкѣ. Въ послѣднемъ отношеніи онъ славился по всему Шелайскому округу: рѣшительно никто, не исключая и браваго штабъ-капитана, мало уступавшаго ему въ дородствѣ, не могъ его перепить. Если когда-нибудь и существовали у Монахова высшіе интересы и стремленія, то онъ давно уже позабылъ о нихъ: прочитывалъ случайно подвернувшійся обрывокъ газеты, журнала, статейку, въ которой, по слухамъ, былъ намекъ на извѣстныя ему мѣстныя дѣла и отношенія, и дальше этого не шелъ. Политическіе взгляды его во всякій данный моментъ опредѣлялись взглядами ближайшаго горнаго начальства, къ которому онъ ѣздилъ время отъ времени представляться и дѣлать доклады о ходѣ работъ въ Шелайскомъ рудникѣ. Монахову, конечно, прекрасно было извѣстно, что никакихъ результатовъ и плодовъ отъ этихъ работъ горное вѣдомство не ожидаетъ, и потому онъ не сильно о нихъ заботился, предоставивъ все вѣдать и за все отвѣчать нарядчику; самъ же слѣдилъ только за успѣшностью и продуктивностью работъ столяра, бондаря, слесаря и кузнеца, которые снабжали его мебелью, шкапами, столами, самоварами, оковывали казеннымъ желѣзомъ его сундуки, телѣги и проч. За исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда наканунѣ бывало безшабашное пьянство, Монаховъ не пропускалъ

ни одного дня, чтобы съ раннего утра не забраться въ свѣтличку и не болтать тамъ съ конвоемъ и съ арестантами обо всемъ, что взбредетъ въ голову, рассказывать анекдоты, подшучивать, острить, однимъ словомъ — употребляя арестантское выраженіе — тереть волынку. Онъ вскорѣ узналъ, конечно, что я за птица, былъ со мной утонченно-вѣжливъ и даже пытался вести разговоры иного рода, но я чувствовалъ, что разговоры эти тяготятъ его, что этому ожирѣвшему мозгу трудно подниматься на давно забытыя вершины, и торопился уйти въ штольню, хотя бы тамъ и не было у меня никакого дѣла. Кончала кобылка свои уроки, выходила изъ свѣтлички выстраиваться — выходилъ вслѣдъ за нею и толстопузый Монаховъ. И долго, долго стоялъ онъ на одномъ мѣстѣ и смотрѣлъ вслѣдъ за нами, точно раздумывая о томъ, идти-ли ему домой обѣдать или закатиться куда-нибудь въ гости. Но кругъ Шелайскаго бомонда былъ невеликъ, и, подумавъ и поколебавшись, Монаховъ начиналъ карабкаться въ гору, въ свое холостое и непривѣтное гнѣздо. Но вотъ, по дорогѣ къ тюрьмѣ, намъ попадалась навстрѣчу гремѣвшая бубенцами тройка, въ которой летѣлъ къ нему какой-нибудь гость изъ завода, горный или другой чиновникъ.

— Ну теперь пропалъ нашъ Монаховъ, — говорила промежъ себя кобылка, — съ недѣлю глазъ не будетъ казать.

Неловко чувствовалъ я себя въ тѣ дни, когда въ штольнѣ происходила обивка. Тутъ я видѣлъ полнѣйшую свою беспомощность и бесполезность, видѣлъ, что сижу на плечахъ у другого. Самое большое, что я могъ дѣлать, это держать свѣчку или наставлять кирку; баддой же работалъ Семеновъ или кто другой изъ силачей. Никто изъ нихъ, правда, не ропталъ на меня; но мнѣ самому бывало жалко и противно мое безсиліе, мое дворянское худосочіе. Слушая, какъ стонетъ гора подъ могучими ударами Семенова, и какъ самъ онъ при каждомъ замахѣ молота рычить, подобно голодному тигру; видя, какъ трясутся и падаютъ подъ его баддою увѣсистыя глыбы гранита, казавшіяся мнѣ несокрушимыми твердынями, — я, сидя гдѣ-нибудь въ сторонкѣ на корточкахъ, со свѣчкой въ рукахъ, съезживался, скорчивался, душевно и физически превращаясь въ настоящаго ребенка, котораго пугала эта стихійная, всесокрушающая сила...

— Будемъ продолжать наше дѣло, Иванъ Николаевичъ! — кричить во все горло Ракитинъ, появленія котораго, занятые ра-

ботой, мы съ Семеновымъ и не замѣтили. Онъ кончилъ свой урокъ въ шахтѣ и теперь прибѣжалъ посмотрѣть, что я дѣлаю.

— Давай-ка, Петруша, мнѣ бадду. Вотъ какъ развернусь я да ударю, тряхну своей старинушкой дорогой, такъ ажно искры посыплются...

— Изъ глазъ,—говорить Семеновъ, подавая ему бадду.

Ракитинъ, дѣйствительно, ударяетъ разъ пять-шесть; но скоро ему надоѣдаетъ это занятіе, и, усѣвшись, онъ принимается болтать о чемъ попало.

Не безъ удовольствія вспоминаются мнѣ тѣ дни, когда я работалъ въ штольнѣ вдвоемъ съ „осиновымъ боталомъ“. Работа подвигалась тогда медленнѣе, но за то было веселѣе. Даже когда Ракитинъ находился въ меланхолическомъ настроеніи и склоненъ бывалъ къ философскимъ и лирическимъ изліяніямъ, и тогда одно какое нибудь его слово, одна выходка разгоняли во мнѣ сразу всякую меланхолію. Однажды онъ былъ въ истинно трагическомъ положеніи. Выбуривъ уже вершковъ семь, онъ вдругъ сдѣлалъ самое плачевное открытіе.

— Иванъ Николаевичъ, а Иванъ Николаевичъ!—жалобно позвалъ онъ меня:—вѣдь у меня бѣда.

— Какая бѣда?

— Камень-то, смотрите-ка, шатается..! Того и гляди, совсѣмъ отпадетъ.

— Ну, такъ что-жь? Тѣмъ лучше. У Петра Петровича патронъ сохранится. Въ другомъ мѣстѣ забуритесь.

— Въ дру-гомъ?! А эти чтобъ семь верховъ такъ и пропали? Всѣ труды, то-ись, мои? Что вы, Иванъ Николаевичъ! Да *они* развѣ поймутъ? Развѣ они способны? Они мнѣ же еще строжайшій выговоръ сдѣлають, что забурился неладно; еще съ запиской, чего добраго, въ тюрьму пошлють.

— Ну, этого до сихъ поръ не случалось. Петръ Петровичъ, кажется, не такой человѣкъ.

— Всѣ они до поры до времени хороши! А по моему, Иванъ Николаевичъ, что бѣлая овца, что черная—духъ одинъ. Не заплакалъ бы я, кабы и всѣ они сегодня къ вечеру подошли, а завтра къ утру пропали! Нѣтъ-съ, почтеннѣйшій господинъ мой, на этихъ людей завсегда удобнѣе съ опаской поглядывать. Беречь себя надо, чтобы все, значить, въ исправности было.

— Но вѣдь этотъ камень все равно отвалится? Смотрите, какую ужъ трещину далъ.

— Тс! не шевелите-сь. Эхма! Да посмѣеть-ли онъ у насъ отвалиться, Иванъ Николаевичъ? У Егора-то Ракитина? Чтобъ у Егора Алексѣевича Ракитина отвалился? Чтобъ семь верховъ моихъ пропало, трудовыхъ, кровныхъ семь! Да никогда этого... Ой-ой-ой! валится, Иванъ Николаевичъ, ей-Богу валится... сейчасъ вотъ упадетъ... Придется колѣнкомъ поддарживать. Мнѣ бы до восьми только и достучать-то еще вершочекъ одинъ. Тутъ и не надо больше, восьми вполне будетъ достаточно.

И съ уморительно-серьезнымъ и печальнымъ видомъ онъ принялся потихоньку бурить, все время поддерживая двухпудовый камень колѣномъ. Я хохоталъ до упаду, глядя на эту картину, а Ракитинъ не переставалъ бурить и въ то же время болтать, то жалуюсь на свою судьбу и проклиная злополучный день, когда онъ на свѣтъ зародился, то переходя внезапно къ доброму и разудаловеселому настроенію, для котораго все на свѣтѣ — тринь-трава! Наконецъ, ему удалось-таки добурить до восьми вершковъ, и камень не отвалился. Ракитинъ радовался этому, какъ ребенокъ, плясалъ, визжалъ, даже черезъ голову перекувырнулся. Потомъ сѣлъ, подперся, пригорюнившись, рукой въ щеку и запѣлъ свое любимое:

На серебряныхъ волнахъ,  
На желтомъ песчкѣ  
Долго, долго я страдалъ  
И стерегъ слѣдочки.

Однако, бѣда еще не вся была поправлена: трещина въ камнѣ была настолько велика, что нарядчикъ, придя палить, непременно долженъ былъ замѣтить ее. Поэтому Ракитинъ отправился въ свѣтличку, конспиративно приготовилъ тамъ глины и, вернувшись въ штольню, тщательно замазалъ всѣ щели около своего шпура. Петръ Петровичъ былъ проведенъ.

— А намъ больше что же и надо?—говорилъ, лукаво посмѣиваясь, Ракитинъ:—чтобъ жолобъ былъ замоченъ, чтобъ дырка готова была; а какого она сорта и качества, это ужъ дѣло Божіе и нарядчиково.

Ракитинъ находился въ числѣ сорока человѣкъ, представленныхъ въ вольную команду, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ выхода на свободу. Но странное дѣло: ни малѣйшей вражды къ Шахъ-Ла-

масу, поступокъ котораго отдалилъ его освобожденіе, я никогда въ немъ не замѣчалъ. „Не пофартило, значитъ“—вотъ единственное объясненіе, которое давалъ онъ своему несчастію, и предпочиталъ не о прошедшемъ тужить, а о будущемъ мечтать. Онъ то-и-дѣло возвращался къ разговору о вольной командѣ.

— Вотъ хорошо-то было-бъ, Иванъ Николаевичъ! Вѣдь я ужъ три года, почестъ, свѣта бѣлаго не вижу; жену и сыночка въ этакомъ видѣ нечеловѣчечкомъ принимать долженъ на свиданіи: на ногахъ бруслеты, и краса съ головушки бритвой снесена! А какъ выду я на волю, Иванъ Николаевичъ, да въ вольную одежду наряжусь, такъ вы, повстрѣчавъ меня, такъ и ахнете: гдѣ скажете, красота такая на свѣтъ зарождается? У меня, знаете, у жены въ сундукѣ шапочка такая пуховая сохраняется, ровно котелокъ будто...

— А жены-то вы вѣдь не любите? Она, говорите, старая?

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ, мало-ли что нашъ братъ говорить! Языкъ-то тоже вѣдь скучать не любить. Какъ можно жены родной не любить? Это правда, конечно, что она лѣтъ на десять меня старѣ и теперь, какъ есть, совсѣмъ старушочка. Ну, а все же законъ я соблюдать долженъ... особенно по трезвому виду. Пьяный—ну, тогда другое дѣло. Искра эта дьяволова ежели попадетъ намъ въ горло, тогда на человѣкѣ нѣтъ отвѣта.

— Чѣмъ же вы хлѣбъ станете добывать въ вольной командѣ?

— Примудримся, Иванъ Николаевичъ, примудримся! Первое дѣло—у меня къ торговлѣ большое склоненіе есть. Второе дѣло—жена у меня на всѣ руки мастерица большая — и шить, и стряпать, и торговать тоже. А главное, Иванъ Николаевичъ, тутъ секретъ одинъ нужно знать, чѣмъ торговать.

— Чѣмъ-же?

— Да этой самой водицей дьяволовой.

— То-есть водкой?

— Ну, да-съ, въ точку самую попали, ею-съ.

— Да вѣдь если попадетесь, опять въ тюрьму засядете?

— Это ужъ на фартъ. Всемогетъ статься. И въ тюрьму засядешь. Очень даже просто. Только съ моимъ, Иванъ Николаевичъ, умомъ орудовать можно. Сколько въ эту башку, еслибъ знали вы, заложено Господомъ Богомъ! Сколько тамъ всякихъ плантовъ и размышленіевъ колобродить! Эхъ!.. объ одномъ жалѣю: въ одномъ номерѣ съ вами не пожилъ, къ грамотѣ не приобыкъ настоящимъ

манеромъ. Ну, а все же большое вамъ спасибо, Иванъ Николаевичъ, что свѣтъ показали. Безъ васъ никому бы тутъ и въ голову не вошло книжками заняться, потому тuiсы всѣ колыванскіе, простокішныe. А теперь я все же склады мало-мало разбирать началъ. Немножко-немножко „Братьевъ-Разбойниковъ“ не дочиталъ — отняли, ироды! Разчудесная книга; безпремѣнно куплю, какъ на волю выйду. Я вамъ лѣтомъ ягоды носить буду, Иванъ Николаевичъ. Важный Божій день по цѣлому тuiсу приносить стану, ей-богу! Самому некогда собирать будетъ, Кешку подлеца пошлю. Парню три года вѣдь, пора ужъ отцу помогать.

— А что, Ракитинъ, не приходитъ вамъ иногда въ голову туда, за сопки махнуть?

— Это домой-то?

И безпечное лицо Ракитина вдругъ омрачилось и подернулось морщинками.

— Какъ не приходитъ, Иванъ Николаевичъ,—заговорилъ онъ таинственно:—только теперь жена и сынъ по рукамъ, по ногамъ меня связываютъ. Ну, а всетаки попомните мое слово, Иванъ Николаевичъ,—и Ракитинъ энергично ударилъ себя кулакомъ по колѣну:—не буду я Егоромъ Ракитинымъ, коли не услышите вы обо мнѣ! Ужъ я дожду своей черты! Потому мнѣ безпремѣнно нужно побывать дома!

-- Для чего нужно?

— Ужъ есть тамъ у меня одно дѣльце. Человѣчекъ одинъ такой есть, что какъ подумаю о немъ, такъ ажно сердце у меня кровью обомретъ! Живъ не буду, коли груди ему не выѣмъ... Такъ вотъ и вопьюсь зубами, чуть только увижу!

— Бросьте, Ракитинъ, вздоръ говорить. И человѣка такого, вѣроятно, нѣтъ у васъ, и бѣжать вы вовсе не собираетесь.

— Кто? Я-то?! Еще какъ лататы-то задамъ, Иванъ Николаевичъ! Только, конечно, точки такой дождусь прежде.

Когда послѣ одного изъ такихъ разговоровъ мы вернулись въ тюрьму, то оказалось, что тамъ произошло уже давно желанное событіе: около сорока человѣкъ выпустили въ вольную команду, въ томъ числѣ Тарбагана, Малахова, Пестрова и Гандорина. Ракитина также немедленно увели за ворота, и, уходя, онъ долго махалъ мнѣ шапкой и восторженно кричалъ:

— Благодаримъ, за все благодаримъ, Иванъ Николаевичъ! Не Поминайте лихомъ Егора Ракитина. Ягодокъ безпремѣнно притащу

вамъ. Въ ногахъ вываляюсь у господина начальника, а ужъ прошу, чтобъ пропустилъ.

За то для остававшихся въ тюрьмѣ былъ поднесенъ непріятный сюрпризъ въ видѣ новаго размѣщенія по номерамъ; придя въ свою прежнюю камеру, я узналъ, что уже переведенъ въ № 1. Кромѣ вышедшихъ на волю, я потерялъ Гончарова и Семенова, попавшихъ въ другую камеру, Гнуса и нѣкоторыхъ другихъ изъ старыхъ сожителей. Остались со мною братья Буренковы, Чирокъ, Владиміровъ и Желѣзный Котъ съ своимъ молотобойцемъ Ефимовымъ. Съ присоединеніемъ пяти новыхъ арестантовъ, насъ стало двѣнадцать человѣкъ, число, при которомъ атмосфера камеры могла быть сносной. Администрація тюрьмы время отъ времени производила подобныя перемѣщенія, имѣя въ виду ту же цѣль, какую преслѣдовала и рѣшительно во всемъ—однообразіе. Въ данномъ случаѣ имѣлось въ виду однообразіе духовное, такъ какъ предполагалось, что съ теченіемъ времени у каждой камеры могла создаться своя особая фizioномія и особый характеръ, могли выработаться единопущіе и единомысліе, при которыхъ возможны мечты о подкопахъ и сопротивленіи волѣ начальства. Я уже говорилъ, что Лучезаровъ былъ великій политикъ и имѣлъ всѣ шансы пойти далеко...

Какое-то невольное чувство обиды (странное, правда, въ каторгѣ) примѣшивалось каждый разъ къ моему настроенію, когда, приходя въ тюрьму, я узнавалъ, что „перегнанъ“ на другое мѣсто: точно скотомъ распоряжались тобою, перемѣщая по капризу изъ одного стойла въ другое! Говорятъ, будто колодники съ сожалѣніемъ покидаютъ ту цѣпь, къ которой долгое время были прикованы, и я думаю, что въ этомъ утвержденіи есть доля правды. Я хорошо помню то мрачное недовольство, которое испытывалъ я послѣ каждой насильной разлуки со старыми стѣнами и сожителями и помѣщенія среди новыхъ, почти незнакомыхъ людей. То же самое чувствовалось и въ этотъ первый разъ. Мнѣ было невыразимо жаль и Гончарова съ Семеновымъ, и Тарбагана, и Малахова, и даже двухъ дикарей-киргизовъ, спавшихъ у меня подъ нарами и нерѣдко смѣшившихъ весь номеръ своими продѣлками. Только присутствіе Чирка смягчало еще нѣсколько мое уныніе; но и онъ, видимо, скучалъ безъ „чернопазаго дьявола“ и Тарбагана. Ученики, со времени отнятія книгъ, мало меня занимали, да и сами они стали какъ-то лѣнливѣе и грустнѣе: ходили слухи о предстоявшей весною „выборкѣ“ на островъ Сахалинъ... Владиміровъ и прежде былъ



вѣль и скучень и большаго интереса къ себѣ и привязанности внушить не могъ. Наконецъ, кузнецовъ я зналъ совсѣмъ мало; въ прежней камерѣ они стояли почему-то совсѣмъ на заднемъ планѣ. Новые же арестанты всегда казались мнѣ въ большинствѣ несимпатичными, угрюмыми, враждебно настроенными. „Нѣтъ, эти далеко не то, что тѣ были!“ думалъ я про себя...

## XIX.

### Магометане.—Усанбай Шаразгали.

Магометане-инородцы, какъ всегда и вездѣ, держались въ Шейской тюрьмѣ обособленно и замкнуто. Происходило это главнымъ образомъ отъ незнанія русскаго языка, а отнюдь не религіознаго фанатизма. Какъ только магометанинъ научался понимать русскую рѣчь и владѣть ею, взаимная непріязнь быстро смягчалась, и онъ почти сливался съ общею арестантскою массою. Къ сожалѣнію, у большинства инородцевъ нѣтъ ни стимуловъ, ни желанія учиться по-русски, такъ какъ каждый изъ нихъ постоянно мечтаетъ о возвращеніи на родину. Изъ вольныхъ командъ и съ поселенія они бѣгутъ сразу цѣлыми десятками, причемъ большая часть гибнетъ въ пути или снова попадаетъ въ тюрьму, и только рѣдкимъ единицамъ удается пробраться въ Хиву, Бухару и даже въ Афганистанъ. Причины непріязни къ нимъ русскихъ арестантовъ я указывалъ выше. Особенной нелюбовью пользуются сарты, среди которыхъ можно различить два главныхъ типа: одинъ угрюмъ, молчаливъ и откровенно лѣнивъ, другой, напротивъ, болтливъ, веселъ, но лукавъ и искусно умѣетъ отлынивать отъ работы, сваливая ее на товарищей. Я помню одного такого сарта, молодого здороваго толстяка съ черной окладистой бородой, потѣшавшаго своей болтовней всю тюрьму. Онъ любилъ рассказывать о своихъ походахъ на волъ и, хитро подмигивая, самъ про себя говорилъ, что Айдаръ Якубайка былъ „мошенчикъ, балшой мошенчикъ“, что если „урусъ“ поймалъ и посадилъ его въ тюрьму, то отъ этого онъ только „лючѣнѣ“, т. е. ученѣе сталъ, и когда выйдетъ опять на волю, то урусамъ плохо придется. Якубайка былъ забавенъ, смѣшливъ, любознателенъ, ко всякому разговору прислушивался и, не смотря на плохое знаніе языка, всегда какъ-то умудрялся что-нибудь понять. Эти качества могли бы снискать ему

общее расположеніе арестантовъ, если бы не ужасная лѣность и хитрость во время работъ, гдѣ онъ показывалъ только видъ, что работаетъ, а всякую тяжесть сваливалъ на другихъ; къ этому присоединялась отвратительная жадность, обидчивость и сварливость. Онъ поминутно вступалъ въ драки и, при всей своей силѣ и дородствѣ, часто бывалъ при этомъ битъ, такъ какъ былъ неуклюжъ и комично-неповоротливъ; то проламывали ему голову, то вырывали клокъ волосъ изъ бороды. И нужно было видѣть Якубайку во время драки; онъ превращался тогда въ подлиннаго звѣря, оскаливалъ зубы, страшно выворачивалъ бѣлки глазъ, рычалъ и визжалъ, подобно тигру. Къ чести его я долженъ, впрочемъ, сказать, что злопамятствомъ онъ не отличался: черезъ два часа онъ уже не помнилъ такихъ обидъ, за которыя русскіе арестанты, по крайней мѣрѣ на словахъ, въ теченіе многихъ и многихъ лѣтъ мечтаютъ отомстить. Выпущенный въ вольную команду, Айдарка немедленно бѣжалъ и, говорятъ, былъ убитъ степными тунгусами. Вѣроятно, хотѣлъ что-нибудь „скоропчить“ (украсть), но Шелайское „лученье“ не пошло въ прокъ: тунгусы оказались лучшими „мошенниками“, чѣмъ онъ...

Гораздо симпатичнѣе были киргизы, или, какъ сами они себя называли, кыргызы. Это были въ полномъ смыслѣ слова дѣти природы, сыны степей, совсѣмъ еще не затронутые лоскомъ осѣдлой, городской культуры. Среди нихъ попадались лица съ тонкими, деликатными чертами, съ благороднымъ очеркомъ лба и выраженіемъ глазъ. При видѣ этихъ удивительныхъ фигуръ, вышедшихъ изъ глубины нашихъ оренбургскихъ и туркестанскихъ степей, мнѣ нерѣдко вспоминались романы Купера и его трогательная исторія послѣдняго изъ Могиканъ... Такъ, врѣзались мнѣ въ память братья Стамбеки—Теленчи и Эскамбай. Они пришли въ каторгу за грабежи каравановъ и неоднократный угонъ чужого скота. Теленчи былъ старшій и имѣлъ одинъ изъ тѣхъ симпатичныхъ обликовъ, о которыхъ я только что говорилъ: гибкій и тонкій станъ, длинное, смуглое, но совершенно европейское лицо съ небольшою эспаньолкой, глубокіе бархатистые глаза и нѣжныя, нерабочія руки. Онъ былъ слабъ и хрупокъ и, пользуясь правами старшаго брата (*apá*), почти не работалъ; Эскамбай исполнялъ обыкновенно двойной урокъ—и за него, и за себя. Эта нѣжность братскихъ отношеній страшно возмущала кобылку, и на Теленчи сыпались отовсюду ругательства и попреки:

— У, лѣнивая татарская лопатка! Все только на братѣ ѣдишь! Радъ, что дурака нашелъ!

Теленчи былъ молчаливъ и постоянно грустенъ. Если бы можно было, онъ, кажется, съ зари до зари лежалъ бы на нарахъ, не поднимаясь съ мѣста. Но спалъ онъ мало, и часто ночью я видѣлъ открытыми его длинныя рѣсницы, изъ-подъ которыхъ задумчиво глядѣли большіе темные глаза. Эскамбай спалъ безмятежно, а Теленчи все думалъ...

Эскамбай имѣлъ совсѣмъ другой характеръ и даже другія черты лица, болѣе грубыя и отвѣчающія монгольскому типу: выдающіяся скулы, желтоватый цвѣтъ кожи, нѣсколько вкось поставленные глаза. Пара выбитыхъ переднихъ зубовъ придавала ему еще болѣе дикарскій видъ. Но всѣ эти недостатки выкупались замѣчательно добрымъ, дѣтски-веселымъ нравомъ. Эскамбай былъ добръ и услужливъ не только по отношенію къ брату, но и ко всѣмъ, кто только безъ злобы къ нему относился. Такъ, онъ находился въ большой дружбѣ съ Чиркомъ, который съ своей стороны благоволилъ къ нему. Забравшись къ нему подъ нары, Эскамбай лаялъ оттуда, какъ настоящая собака, блеялъ, какъ чистокровный баранъ, и куковалъ, какъ самая несомнѣнная кукушка. Чирокъ не выдерживалъ, вскакивалъ и начиналъ выгонять обидчика изъ-подъ наръ ремнемъ, крича:

— Ахъ ты, татарская лопатка! Гадъ! Творенье!

А Эскамбай рычалъ оттуда по своему:

— У, идъ палась! Кучукъ палась (собачій сынъ)!

И вся камера помирала со смѣху.

Тотъ же Чирокъ обучалъ Эскамбая просить милостыню въ русскихъ деревняхъ.

— Вѣдь безпремѣнно пойдешь по бродяжеству, ужъ я хорошо знаю вашу звѣриную породу. Только выйдешь въ команду, сейчасъ котель на плечи—и айда домой!

И Эскамбай, лукаво улыбаясь этому пророчеству, учился у него „стрѣлять подъ окнами“ и „собирать саватейки“\*), кланяясь въ поясъ и уморительно выговаривая:

— Матушки, батушки, подайте мылостынку Бога рады!..

Стамбеки, дѣйствительно, бѣжали въ послѣдствіи изъ вольной команды, и о дальнѣйшей судьбѣ ихъ мнѣ ничего неизвѣстно.

\*) Попрошайничать—на арестантскомъ жаргонѣ.

Прим. авт.

Очень часто встрѣчаются среди киргизовъ, сартовъ, узбековъ и другихъ сидящихъ въ тюрьмѣ инородцевъ больные и при этомъ постоянно тоскующіе люди, каждымъ звукомъ голоса, каждымъ движеніемъ своимъ выдающіе безпредѣльную грусть о далекой родинѣ, гдѣ остались жена, дѣти и другіе близкіе. Особенно тѣмъ трагично положеніе этихъ несчастливцевъ, что писать домой письма для нихъ въ большинствѣ случаевъ бесполезно: никогда почти не приходитъ отвѣта. Объясняется это различными причинами,—и дальностью разстоянія почтовыхъ станцій отъ мѣстожительства родни, живущей гдѣ-нибудь въ глуши, въ деревнѣ, и еще больше незнаніемъ ею русскаго языка. Иногда, получивъ даже письмо отъ сына или брата съ каторги, узбекъ или сартъ не найдетъ никого, кто бы могъ не только написать отвѣтъ, но и прочесть самое письмо, написанное обыкновенно варварски-безграмотно и неразборчиво. А писать изъ тюрьмы на татарскомъ языкѣ или получать не по русски писанныя письма тюремными правилами запрещается.

При переводѣ въ № 1 я былъ крайне обрадованъ, когда увидалъ сожителемъ и сосѣдомъ своимъ молодого узбека Усанбая Марзгали, который давно уже привлекалъ мои симпатіи и сожалѣнія. Впервые я обратилъ вниманіе во время вечернихъ повѣрокъ на его фигуру съ гибкимъ, граціознымъ станомъ, легкой походкой и страннымъ лицомъ, то молодежаво-красивымъ, весело улыбающимся, то старообразнымъ, съ замѣтными морщинками на щекахъ и горькимъ выраженіемъ губъ и черныхъ прекрасныхъ глазъ. Я сталъ разспрашивать арестантовъ и узналъ, что вся тюрьма знаетъ и любитъ этого юношу.

— Это Усанка-то?—переспросилъ меня Гончаровъ:—да одного только изъ всего этого звѣрья и видѣлъ я во всю жизнь, который мало-мало на человѣка походитъ. Этотъ совсѣмъ отъ ихняго брата особый. Мы-то безъ различія сартами ихъ всѣхъ называемъ, а по настоящему-то Усанка не сартъ. Онъ сердается даже, когда его сартомъ зовутъ: „моя, говоритъ, узбекъ, а сартовъ наша сторона тоджи не любятъ“. И чудной же парень этотъ Усанка, весельчакъ такой, забавникъ. Его и въ дорогѣ вся партія любила... И лѣни этой, которая въ Якубайкѣ сидитъ, въ немъ, помни, и слѣда нѣтъ: и за себя сработаетъ, и другому еще пособить поровитъ. Я и то часто ему говорю: чего ты, Усанъ, надрываешься? Изъ нашихъ тоже вѣдь лодырей сколько хошь есть, рады на твоей спинѣ проѣхаться... Въ

каторгѣ не надо себя черезъ силу нудить... Только смѣется, рукою машетъ: „Ладно! моя не боится!“ А какое ладно; самъ, помни, со-всѣмъ больной! Онъ вѣдь избитый весь... Съ дороги у нихъ побѣгъ былъ, въ ихней еще сторонѣ; отца-то и брата солдаты убили, да и самъ онъ при смерти былъ... Другой разъ такъ закашляется, бѣдняга, ажно смотрѣть тошно... За грудь схватится: „Тутъ, говорить, больно“. Славный парень, безхитрошный, нечего говорить.

Въ рудникѣ Маразгалі не назначали, и потому я долго не имѣлъ случая познакомиться съ нимъ покороче, встрѣчаясь большею частью лишь на повѣркахъ; но въ тюрьмѣ ни о комъ чаще не говорили арестанты, какъ объ Усанѣ, о томъ, какой онъ безхитростный на работѣ, какъ черезъ силу тянется, не желая понять, что и „изъ нашего брата тоже есть подлецы“. Всѣ единогласно хвалили также его веселость и любовно передразнивали плохой выговоръ русскихъ словъ. Между прочимъ, прошелъ однажды по тюрьмѣ слухъ, что Маразгалі замѣчательно искусный борецъ, и что въ кухнѣ, въ борьбѣ на кушакахъ, онъ повалилъ подъ-рядъ троихъ русскихъ силачей, отъ которыхъ никто не ожидалъ такого срама. Тюрьма заволновалась. Большинство было въ восторгѣ отъ Усанбая и подзадоривало его къ дальнѣйшимъ подвигамъ; меньшинство же, тѣ, которые сами претендовали на славу хорошихъ борцовъ, негодовали и увѣряли, что только мараться не хотятъ, а то сразу могли бы „кишки выпустить татарскому гаденышу“... А Усанбай положилъ, между тѣмъ, одного за другимъ на полъ еще съ пятокъ хвастуновъ, изъ которыхъ многіе были вдвое тяжелѣе его и больше; но онъ бралъ подвижностью и ловкостью своего гибкаго молодого тѣла. Наконецъ, противники привели въ кухню самого Андриюшку Борца, дѣтину страшнаго роста и огромной силы. Его насилу, впрочемъ, уговорили—онъ трусилъ... Не понадѣявшись, должно быть, на свою силу, Андриюшка прибѣгъ къ подлой хитрости: не предупредивъ о способѣ, какимъ станетъ бороться, онъ вдругъ съ легкостью мячика перебросилъ Маразгалі черезъ голову. Дѣлается это ужасно рискованно, чисто по-варварски: послѣ нѣсколькихъ примѣрныхъ эволюцій одинъ изъ борющихся внезапно падаетъ впередъ на одно колѣно, а противника съ силой перекидываетъ въ то же время черезъ свою голову. Нерѣдки, говорятъ, случаи смертельныхъ исходовъ такой борьбы. Несчастный Маразгалі сильно ударился плечомъ объ лежавшее на полу полѣно и долго послѣ того хво-

ралъ. Противъ Андрюшки ополчилась вся тюрьма, но самъ пострадавшій только улыбался и, корчась отъ боли, говорилъ:

— Ничего, ничего, лядно.

Подвиги борьбы, однако-же, прекратились послѣ этого случая.

Я всячески старался сблизиться съ Маразгалі, но странное дѣло: веселый и развязный съ другими арестантами, вѣчно шалившій и возившійся, меня онъ почему-то конфузился и избѣгалъ, отдѣлываясь обыкновенно ничего не значащими фразами и спѣша уйти въ свою камеру. Подражая арестантамъ, онъ долгое время даже называлъ меня на *вы*, хотя это было вполнѣ чуждо его родному языку, и не иначе обращался ко мнѣ, какъ со словами „гас-падинъ“. Когда я заходилъ къ нему въ камеру, то, не имѣя возможности скрыться, онъ, конфузясь и то-и-дѣло отворачиваясь, волей-неволей принужденъ былъ вступать со мною въ бесѣду. Къ намъ присосѣживался какой-нибудь доброволецъ, являвшійся въ затруднительныхъ случаяхъ переводчикомъ: Маразгалі уморительно-плохо говорилъ по-русски, и часто я буквально ничего не понималъ изъ его разсказовъ. Но, дойдя до исторіи своего побѣга, онъ обыкновенно оживлялся, переставалъ смущаться и съ горящими глазами и бурными жестами передавалъ о томъ, какъ онъ побѣждалъ, какъ въ него выстрѣлили... Онъ упалъ... На него набѣжалъ солдатъ со штыкомъ... Онъ вскочилъ, схватился за ружье и сталъ защищаться... Защищаясь, укусилъ солдату руку, и тотъ съ крикомъ убѣжалъ... Тогда налетѣла цѣлая толпа новыхъ солдатъ, его повалили и искололи штыками... Плохо понимая слова, я тѣмъ не менѣе живо представлялъ себѣ этого молодого тигренка, который, будучи окруженъ врагами и ни откуда не видя спасенія, визжалъ, царапался и кусался, дорого продавая свою жизнь и свободу.

Потомъ Маразгалі переходилъ къ самому больному мѣсту своей исторіи. Съ дороги онъ по-татарски написалъ матери о томъ, что отецъ и братъ убиты, а ему самому срокъ каторги увеличенъ съ двухъ до десяти лѣтъ. Но мать, по его словамъ, вернула это письмо назадъ, не желая вѣрить, что его писалъ Усанбай, а не какой-нибудь „обманчикъ“.

— Не вѣрить... Ну, пушай не вѣрить!—съ горечью восклицалъ Усанъ, сердито махая рукой, а на глазахъ его стояли слезы.

По сбивчивымъ разсказамъ его самого и плохой передачѣ самозванныхъ переводчиковъ, только это немного и могъ узнать я о прошломъ Маразгалі. Однажды дошелъ до меня слухъ, что

онъ выказываетъ необыкновенную понятливость въ грамотѣ и уже усвоилъ самоучкой половину русской азбуки. Я съ радостью ухватился за это обстоятельство и тотчасъ-же предложилъ Маразгали учиться со мной. Услышавъ это, онъ почему-то страшно смутился и началъ умолять меня оставить его въ покоѣ.

— Гас-падинъ! поджалуста, не надо, поджалуста!

Я приставалъ съ разспросами, почему; убѣждалъ учиться, увѣряя, что самъ онъ потомъ радъ будетъ, когда пойдетъ на поселеніе грамотнымъ человѣкомъ. Маразгали слушалъ молча, отвернувшись отъ меня; а потомъ опять шепталъ:

— Не надо, гас-падинъ, лютче не надо.

Я замѣтилъ даже слезы у него на глазахъ и пересталъ убѣждать.

— Это все штуки ихняго муллы Сафарбаева, — сказалъ мнѣ одинъ русскій, слышавшій нашъ разговоръ: — онъ запрещаетъ имъ учиться по-русски.

Я отправился немедленно къ Сафарбаеву, молодому сарту, который лучше другихъ шелайскихъ магометанъ читалъ по-арабски и зналъ Коранъ, почему и считался среди нихъ муллою, и прямо задалъ вопросъ: не по его-ли совѣту Маразгали не хочетъ учиться русской грамотѣ. Мулла разсмѣялся и отвѣчалъ, что магометанскій законъ не запрещаетъ никакихъ наукъ и языковъ, и общалъ даже съ своей стороны поговорить въ этомъ смыслѣ съ Маразгали. Но вскорѣ послѣ этого случилось новое размѣщеніе арестантовъ по камерамъ, и Маразгали очутился неожиданно моимъ сожителемъ и сосѣдомъ. Сближеніе наше произошло тогда очень быстро, и мы сдѣлались друзьями. Сожителемъ Усанъ оказался незамѣннымъ, веселымъ, всегда вѣжливымъ и услужливымъ. Всѣ арестанты по прежнему его любили и рѣзко отдѣляли отъ остальной массы магометанъ, не пользовавшихся въ большинствѣ случаевъ симпатіями; да и самъ Маразгали стоялъ какъ-то въ сторонѣ отъ нихъ, рѣдко подходя къ ихъ кучкамъ и невнимательно вслушиваясь въ гнусливое чтеніе муллы изъ священной книги. Онъ вообще не умѣлъ долго сосредоточивать вниманіе на одномъ какомъ-нибудь предметѣ. Когда я снова предложилъ ему обучаться русской грамотѣ, онъ съ радостью согласился, объяснивъ мнѣ прежнее свое нежеланіе тѣмъ, что очень меня боялся и, считая себя почему-то неспособнымъ, думалъ, что я буду за это сердиться... Умѣя немного по-арабски, онъ скоро усвоилъ русскую азбуку и склады; даже научился довольно пра-

вильно писать тѣ слова, которыя я ему диктовалъ. Но, увы! плохое знаніе русскаго словаря не позволяло ему понимать прочитанное, и этимъ сильно охлаждалось рвеніе къ ученію. Для того-же, чтобъ скоро научиться говорить по-русски, ему нужно было-бы совсѣмъ не жить въ одной камерѣ съ татарами, а этого почти никогда не случалось. Въ концѣ концовъ, онъ такъ и не научился правильно говорить, хотя читалъ и писалъ не дурно.

Вскорѣ я обстоятельно узналъ всю его грустную исторію.

Онъ былъ родомъ изъ Ферганской области, изъ окрестностей города Маргелана, гдѣ родители его занимались земледѣліемъ и разведеніемъ фруктовъ. Въ самый городъ они изрѣдка ѣздили для торговыхъ цѣлей. Семья состояла изъ отца, матери и двухъ сыновей и жила очень дружно. Родителей огорчалъ только старшій сынъ Марасиль, научившійся пить водку и играть въ кости. За это Норбютъ Маравгали, отецъ Усанбая, часто жестоко билъ Марасила, но тотъ не унимался. Скоро онъ вошелъ въ долги, которые отецъ не хотѣлъ уплачивать, и однажды ночью киргизъ, которому Марасиль проигралъ въ кости значительную сумму, подошелъ къ ихъ дому, схватилъ лучшаго коня и поскакалъ въ степь. Норбютъ замѣтилъ покражу, разбудилъ сыновей, и всѣ трое верхомъ на коняхъ помчались въ погоню за похитителемъ. Они догнали его подлѣ самой его деревни, и Марасиль первый свалилъ его съ ногъ ударомъ кистени по головѣ. Норбютъ-отецъ отрубилъ голову шашкой. Усанбай клялся и божился, что самъ онъ не билъ киргиза, а ограничился тѣмъ только, что подаль отцу шашку; впрочемъ, онъ вполне одобрялъ убійство, и когда я начиналъ съ нимъ спорить,—полушутя, полусерьезно говорилъ:

— Зачѣмъ жить такому' человѣку, Николаичикъ? (такъ называлъ онъ меня, будучи не въ состояніи выговорить „Николаевичъ“; арестанта Канаревича, жившаго въ нашей-же камерѣ, онъ называлъ Канарейчикомъ).—Воровать, карты играть... зачѣмъ жить?

— Да вѣдь и Марасиль въ карты игралъ?

— Марасиль помиръ. Богъ наказилъ его.

— А ты самъ, Усанбай, никогда не пробовалъ играть?

— Пробовалъ, Николаичикъ,—говорилъ онъ смущенно виноватымъ голосомъ:—разъ пять рублей кости приигралъ... Дорога... Алгачи тоджи разъ карты рушь приигралъ...

— Нехорошо, Усанъ.



— Да я такъ, Николаичикъ... Я не умѣй... Чортъ знайтъ! ничего не умѣй въ карты!

Когда убійство совершилось, начиналось уже утро, и убійцѣ видѣлся какой-то прожженный киргизъ. Норбютѣ съ сыновьями былъ вскорѣ арестованъ и осужденъ: самъ онъ на 15 лѣтъ каторги, Марасиль на 10, а Усанбай, какъ несовершеннолѣтній, на два года. Безъ слезъ не могъ онъ вспомнить сцены прощанія съ матерью, которую, видимо, страстно любилъ. Да и самъ онъ былъ ея любимымъ сыномъ. Кто-то изъ арестантовъ похвалилъ однажды волосы Маразгали, нѣсколько вьющіеся и черные, какъ вороново крыло, съ синеватымъ отливомъ. Онъ оживился и сталъ рассказывать, какъ дома у него, по обычаю ихъ религіи, вся голова была бритая, только на макушкѣ оставался длинный локонъ-оселедецъ.

— Мать оставилъ, мать,—говорилъ онъ объ этомъ локонѣ:—глинный, глинный, вотъ такой... Ахъ, какъ мать плакалъ-прощался, лицо себѣ царапилъ, въ кровь царапилъ, кричалъ... Ахъ, какъ онъ кричалъ, мать!..

И каждый разъ, подходя къ этому мѣсту разсказа, онъ замолкалъ, спѣшилъ уткнуться носомъ въ подушку и тамъ глубоко вадыхалъ... Сильное душевное волненіе, радостное или горестное, онъ выражалъ также комичнымъ прицелкиваніемъ языка.

Въ партіи Маразгали было тридцать два человѣка узбековъ, сартовъ и киргизовъ, конвойныхъ же солдатъ только восемнадцать. На третьемъ или четвертомъ станкѣ отъ города Вѣрнаго, гдѣ происходила дневка, замышленъ былъ побѣгъ. Конвой ничего не подозревая, уставивъ ружья, въ той-же камерѣ, гдѣ были арестанты, усялся играть въ карты; только за дверями поставили одного часового. По условію, Норбютѣ Маразгали съ крикомъ „Алла!“ долженъ былъ кинуться на часового и обезоружить его, остальные должны были захватить ружья и перебить конвой. Норбютѣ такъ и сдѣлалъ—съ крикомъ „Алла!“ обезоружилъ и умертвилъ часового, но остальные девятнадцать человѣкъ, бывшіе въ заговорѣ, очевидно, въ рѣшительную минуту дрогнули и, не захвативъ ружей, кинулись вразсыпную бѣжать, куда глаза глядятъ. Побѣжали въ томъ числѣ и Усанбай съ Марасиломъ. Конвой, опомнившись, выскочилъ изъ этапа и началъ стрѣлять въ бѣглецовъ. Норбюта былъ тутъ-же, у порога этапа, поднять на штыки. Бѣглецовъ затрудняли тяжелые кандалы, висѣвшіе у всѣхъ на ногахъ; кусты были не близко. Только троемъ удалось скрыться безслѣдно; осталь-

ные шестнадцать всѣ были перестрѣяны и переколоты. Усанбай былъ раненъ въ ногу и упалъ; но когда выстрѣлившій въ него солдатъ подбѣжалъ и хотѣлъ заколотъ его штыкомъ, онъ поднялся на ноги и отнялъ ружье. Между ними завязалась рукопашная схватка, въ которой Маразгали такъ больно прохватилъ зубами руку солдата, что тотъ съ крикомъ убѣжалъ прочь. Но тутъ подоспѣли другіе конвойные и штыками и прикладами прикончили его. Такъ, по крайней мѣрѣ, сами они думали. По словамъ Маразгали, онъ больше сутокъ пролежалъ въ безпамятствѣ, а когда очнулся на вторую ночь, то сообразилъ, что надъ тѣлами убитыхъ стоитъ часовой, и что малѣйшій стонъ можетъ его погубить. Шестнадцатилѣтній мальчикъ, тяжело раненый, умирающій отъ нестерпимой жажды и боли, имѣлъ силу духа не издать ни единого звука, не сдѣлать ни одного движенія до тѣхъ поръ, пока еще черезъ сутки не пріѣхалъ изъ Вѣрнаго докторъ и не сталъ свидѣтельствовать убитыхъ. Только тогда Маразгали простоналъ и пошевелился. Но даже и тогда озвѣрѣвшіе солдаты кинулись къ нему и, навѣрное, добились-бы, если-бы не докторъ. Избиты были даже и тѣ двѣнадцать человѣкъ, которые не дѣлали попытки къ побѣгу и все время оставались въ этапѣ. вмѣстѣ съ ними Маразгали отвезенъ былъ въ Вѣрный и помѣщенъ въ лазаретъ; а тѣмъ временемъ, пока онъ болѣлъ и поправлялся, военно-судная коммиссія осудила его и, принявъ во вниманіе несовершеннолѣтіе и увлекающій примѣръ отца и старшаго брата, прибавила восемь лѣтъ каторги.

Выздоровѣвъ, Маразгали опять былъ записанъ въ партію и отправился по старой дорогѣ. На третьемъ станкѣ, гдѣ происходилъ побѣгъ и гдѣ были убиты отецъ и братъ, онъ такъ горько плакалъ, что возбудилъ даже жалость конвоя. Старшій (тотъ самый, что былъ и въ тотъ разъ) подошелъ къ нему и сказалъ:

— Моли Бога, Маразгали, что нѣтъ адѣсь кой-кого изъ тогдашнихъ солдатъ! они и теперь еще прикончили-бъ тебя. Зачѣмъ ты бѣгалъ?

— Я плакалъ и ничего не могъ говорить. Старшій пожалѣлъ меня и говоритъ: пойдемъ, Маразгали, могила смотрѣть, гдѣ Норбута и Марасиль лежатъ. Я пошелъ. Ахъ, сколько я плакалъ! Я взялъ тряпочка земля насыпалъ... та земля, гдѣ отецъ лежитъ, и всегда ее тутъ носить.

И Маразгали показывалъ мнѣ небольшой мѣшочекъ, висѣвшій у него на груди, въ которомъ былъ зашитъ дорогій песокъ.

Часто, лежа на нарахъ съ заложенными подъ голову руками, онъ напѣвалъ грустнымъ речитативомъ, на тотъ манеръ, какимъ вообще читаютъ магометане Коранъ, какую-то жалобу-молитву, сложенную однимъ сартомъ-муллою, шедшимъ вмѣстѣ съ нимъ въ каторгу. Къ сожалѣнію, я не помню ея дословно, хотя Маразгали и не разъ переводилъ мнѣ эту прекрасную, истинно-поэтическую пѣсню; но каждый разъ, какъ я слышалъ ея монотонный, горькій напѣвъ, у меня разрывалось сердце отъ тоски и боли.

„Мы покинули нашу родину, женъ, матерей, дѣтей и братьевъ,—говорилось въ пѣснѣ муллы,—мы покинули наши прекрасныя поля, гдѣ растутъ джугара, рисъ и марена, гдѣ спѣетъ и наливается сладкій урюкъ. Боже! не оставь насъ, не позабудь на чужбинѣ!“

„Страшна чужбина, куда мы идемъ, гдѣ безжалостные враги закупаютъ насъ въ цѣпи, заключаютъ въ мрачныя подземелья, заставляютъ работать тяжкую работу... Никто не придетъ къ намъ, никто не пожалѣетъ... Великій Боже! не оставь же хоть Ты насъ на чужой сторонѣ, не позабудь насъ!“

„Въ страшную годовщину разлуки, когда наши жены и матери будутъ оплакивать насъ, какъ мертвыхъ, рвать на себѣ волосы, царапать лицо до крови и призывать Тебя въ свидѣтели своего горя,—великій Отецъ! сосчитай ихъ и наши слезы, вспомни о насъ на чужбинѣ!“

## XX.

### Успокоеніе.

Выше я упоминалъ уже о томъ, что съ дороги Маразгали писалъ матери, и письмо это она, будто бы, возвратила ему со словами, что его сочинилъ какой-то „мошенчикъ“, что Норбюта и Марасиль живы... По прибытіи въ Алгачи, Усанбай послалъ ей второе письмо, уже писанное на русскомъ языкѣ, въ которомъ повторялъ свои грустныя новости и просилъ имъ вѣрить, и ровно черезъ восемь мѣсяцевъ, уже находясь въ Шелайской тюрьмѣ, при мнѣ получилъ его обратно съ надписью Маргеланской почтовой конторы: „за неявкой адресата письмо возвращается“. Эти два обстоятельства: „невѣріе“ матери и ея „неявка“ ужасно смущали и огорчали Маразгали, и онъ часто спрашивалъ меня:

— Почему мать не вѣритъ? Почему не приходитъ? „За неявкой“—какой неявка? Зачѣмъ?

Я самъ былъ, какъ въ темномъ лѣсу, и тщетно старался составить себѣ по неяснымъ и сбивчивымъ разговорамъ Маразгали какое-нибудь представленіе о почтовыхъ порядкахъ въ Ферганской области. Бѣдняга ровно ничего не зналъ, а я зналъ только фактъ, что никому изъ его земляковъ, которымъ я писалъ письма, ни разу не приходило съ родины отвѣта. Наконецъ, Усану первому пришла въ голову мысль, что мать, можетъ быть, умерла... Тогда я предложилъ ему сдѣлать еще одну попытку: послать письмо на имя одного изъ дядей, Пирмата, который жилъ въ той же деревнѣ, но по торговымъ дѣламъ часто ѣздилъ въ Маргеланъ и имѣлъ тамъ большія связи. Чтобы окончательно обезпечить успѣхъ, я вызвался въ контору къ самому Лучезарову, изложилъ ему всю трагичность положенія Маразгали и просилъ, въ виду его исключительности, разрѣшить написать по-татарски. Къ удивленію моему, Лучезаровъ, почти не колеблясь, далъ разрѣшеніе: ему, видимо, польстило мое обращеніе къ его гуманнымъ чувствамъ. Мы съ Маразгали торжествовали. Въ ближайшее воскресенье мулла Сафарбаевъ написалъ подъ нашу диктовку письмо на татарскомъ языкѣ; я съ своей стороны самымъ точнымъ образомъ написалъ на конвертѣ адресъ и въ самое письмо также вложилъ конвертъ съ точнымъ адресомъ Маразгали. Однимъ словомъ, все, казалось, было рассчитано и застраховано. Письмо было отправлено заказной почтой, и квитанція его сберегалась самымъ тщательнымъ образомъ. Оставалось терпѣливо дожидаться отвѣта. Почти каждый вечеръ съ тѣхъ поръ мы мечтали о томъ, какъ получить письмо дядя Пирматъ, какъ немедленно извѣстить о немъ мать Усанбая, какъ послѣдняя будетъ рада и какъ поспѣшить отвѣтить. Но, увы! дни шли за днями, мѣсяцы за мѣсяцами, а отвѣта почему-то не приходило... И Маразгали впалъ въ мрачное отчаяніе...

— Все померъ, все!..—говорилъ онъ, ломая руки:—и мать померъ, и дядя померъ... Никто не остался!

Даже какое-то озлобленіе по временамъ овладѣвало имъ.

— Зачѣмъ, Николаичикъ, мать не вѣрнѣтъ, почта не ходитъ? Зачѣмъ мать родилъ меня? Надо убійтъ мать, убійтъ!

— Что ты говоришь, Усанбай, Богъ съ тобой!

— Богъ тобой, Богъ тобой... Какой Богъ? Гдѣ Богъ? Зачѣмъ Богъ каторга дѣлалъ?

Я не зналъ, что отвѣтить на этотъ вопросъ, и молчалъ, а Маразгали горестно прищелкивалъ по своему обыкновенію языкомъ и,

упавъ на постель, предавался „хапѣ“. Такъ называлъ онъ свой мрачный сплинъ, въ которомъ находился иногда по нѣскольکو дней, когда ничто не могло его занять и развеселить, когда все свободное отъ работы время онъ лежалъ, какъ пласть, на нарахъ, закрывшись халатомъ, тяжело вздыхая и все думая и думая... Гончаровъ хорошо переводилъ это „хапа“ русскимъ словомъ „думка“. Однажды вечеромъ онъ былъ особенно грустенъ и, когда я присталъ къ нему съ неотступными вопросами, объяснилъ:

— Ахъ, Николаичикъ! Сегодня мать плячетъ... Сегодня я ѣхалъ каторга... Отецъ, братъ... Мать кричалъ, плакалъ... Ахъ!

И вдругъ, всплеснувъ руками, самъ засыпалъ меня вопросами:

— Зачѣмъ, скажи, Николаичикъ, человекъ на свѣтъ приходитъ? Зачѣмъ каторга на свѣтъ? Зачѣмъ урусь законъ нехорошій? Наша сторона законъ лютче: убилъ человекъ—самъ земля кушай! Башка рубить! Коль сожечь! А то каторга... Мучиться, плякать... Ахъ!.. нашъ законъ лютче. Умирать надо, Николаичикъ!

Онъ глядѣлъ на меня глазами, полными слезъ, и я пришелъ въ ужасъ при мысли, что Маразгали и, дѣйствительно, нѣтъ впереди лучшаго исхода. Но я утѣшалъ его, какъ могъ, стараясь разогнать черныя мысли о смерти и направить ихъ въ другую сторону.

А „хапа“ продолжалась, становясь тѣмъ мрачнѣе и упорнѣе, чѣмъ ближе подходило лѣто, чѣмъ ярче зеленѣли за стѣнами тюрьмы сопки и сильнѣе доносился до насъ ароматъ разцвѣтшаго шиповника и лиловаго богульника. Здоровье Маразгали совсѣмъ пошатнулось: онъ все лѣто кашлялъ, иногда даже кровью, и хватался за бокъ, жалуясь на боль.

— Маразгали,—говорили ему даже надзиратели:—чего бы тебѣ къ фельдшеру хвостомъ не ударить? Дуракъ ты этакой, вѣдь изведешься совсѣмъ.

— Не хочу холстомъ,—отвѣчалъ онъ, печально улыбаясь:—скажутъ—холстобой, холстобой Маразгали! Не хочу.

И нерѣдко мнѣ приходилось, противъ его воли и желанія, просить фельдшера освободить его на нѣсколько дней отъ работы. Тогда онъ по цѣлымъ днямъ лежалъ гдѣ нибудь на дворѣ, закутавшись въ халатъ и предаваясь своимъ мрачнымъ думкамъ. Къ концу лѣта, однако же, онъ поправился, повеселѣлъ и опять сдѣлался на время душою камеры и всей тюрьмы. Опять возился, боролся, шутилъ съ арестантами, надрывался на работѣ. Вернулась и надежда получить письмо съ родины.

— Спой-ка что-нибудь, Усанка,—говорили ему, шутя, арестанты, и онъ начиналъ читать нараспѣвъ свое любимое:

—Балá менѣ джинка,  
Балá менѣ любка...  
Я поѣхалъ въ лѣсъ по дрова,  
Шизая голубка.

Далѣе онъ не зналъ словъ этой пѣсни, да не понималъ смысла и того куплета, который зналъ; но тѣмъ милѣе звучали въ его устахъ эти перековерканные слова и тѣмъ больше вызывали смѣху.

— Нѣтъ, ты „старушку“ спой, настоящимъ манеромъ спой, да попляши!

Маразгали, краснѣя, отказывался. Тогда кто-нибудь изъ бойкихъ входилъ въ середину собравшейся вокругъ него толпы и начиналъ плясать и пѣть:

А старушкѣ сорокъ лѣтъ,  
Молодушкѣ году нѣтъ!

Услыхавъ знакомый и любимый мотивъ, Маразгали не выдерживалъ и тоже начиналъ подтягивать и очень мило покачиваться, топчась на мѣстѣ, на подобіе того, какъ ходятъ дѣвушки въ хоровахъ, въ довершеніе сходства помахивая при этомъ платочкомъ.

Ой, старушка постарѣла,  
Молодая, подбодрись!..

Кто-нибудь третій прихлопывалъ въ тактъ ладошами.

Но вдругъ, замѣтивъ по близости меня или кого-нибудь изъ надзирателей, любующихся его пѣніемъ и пляской, Маразгали страшно конфузился, обрывалъ пѣсню на полусловѣ и, сопровождаемый общимъ хохотомъ, убѣгалъ къ себѣ въ камеру...

Онъ находился въ непрерывномъ движеніи: сейчасъ можно было встрѣтить его въ корридорѣ борющимся съ кѣмъ-либо изъ арестантовъ, или весело напѣвающимъ свое „Бала менѣ джинка, бала менѣ любка“; черезъ минуту—увидѣть сидящимъ за книжкой, или вяжущимъ себѣ татарскую феску изъ моихъ старыхъ шерстяныхъ носковъ; а еще черезъ минуту—гуляющимъ по двору и съ любопытствомъ наблюдающимъ за ласточками, вьющимися около своихъ гнѣздъ. Но вотъ вниманіе его привлечено молодымъ голубемъ, утѣвшимся на тюремномъ крыльцѣ и изъ-за деревянной колонки не замѣчающимъ приближенія человѣка. Мгновенно Усанъ преобра-

жается: изогнувшись, какъ кошка, вытянувъ впередъ голову и одну руку, а другую какъ-то странно закинувъ назадъ, онъ осторожными, неслышными шагами по песку двора подкрадывается къ намѣченной жертвѣ. Лицо его приняло хищное выраженіе, глаза горять, какъ у звѣренка, въ которомъ пробудился природный охотничій инстинктъ, и весь онъ превратился изъ деликатнаго и мягкосердечнаго Маразгали, котораго я знаю и такъ люблю, въ первобытнаго дикаря, кровожаднаго и опаснаго сына степей. Одинъ мигъ—и зазѣвавшійся голубокъ трепещется въ схватившей его гибкой рукѣ, громко бьетъ крыльями и пускаетъ по двору пухъ. Праздно бродившіе по угламъ арестанты, привлеченные шумомъ, бѣгутъ на мѣсто дѣйствія и смѣхомъ и восклицаніями приветствуютъ Усанкину ловкость. Я тоже подхожу, недовольный жестокій игрой, придуманной моимъ ученикомъ, и готовый прочесть ему правоученіе. Но правоученіе оказывается уже лишнимъ—Маразгали опять весь преобразился: онъ такъ нѣжно прижимаетъ къ своей груди перепуганную птичку, съ такой лаской и осторожностью проводить рукой по ея перышкамъ, и лицо его сіяетъ такой мягкостью и любовью, что брови мои невольно разглаживаются. Прежде, чѣмъ я успѣваю окончательно приблизиться, Маразгали поднимаетъ голубка кверху и разжимаетъ ладонь: оторопѣвшій плѣнникъ, точно, раздумываетъ нѣсколько мгновеній, но затѣмъ стрѣлою взвивается къ небу и начинаетъ въ немъ радостно кружиться, провожаемый ликующимъ хохотомъ кобылки и внимательными, сіяющими взорами Маразгали...

Однако, я съ затаенной тревогой слѣдилъ за этимъ видимымъ воскресеніемъ, опасаясь, что оно временное и продлится недолго. И дѣйствительно: благодаря своей неосторожности на работахъ, отъ которой я безсиленъ былъ уберечь его, въ октябрѣ мѣсяцѣ, когда наступила гнилая сѣверная осень, вѣтреная, то со снѣгомъ, то съ дождемъ, то съ внезапнымъ морозомъ, Маразгали сильно простудился и заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ. Пьяница-фельдшеръ не хотѣлъ было класть его въ лазаретъ и все допрашивалъ меня: чего я такъ хлопочу объ этомъ „звѣреншѣ“? Но я погрозилъ ему, что пожалуюсь начальнику тюрьмы, и онъ, вѣря преувеличеннымъ слухамъ о моемъ вліяніи на послѣдняго, немедленно исполнилъ всѣ мои желанія. Впрочемъ, если Маразгали и перенесъ счастливо эту болѣзнь, то единственно благодаря своей могучей природной организаціи, а отнюдь не заботливости или искусству этого темнаго

эскулапа. Съ своей стороны, я дѣлалъ все, что могъ, для Маразгали, дѣлился съ нимъ тѣмъ, что самъ имѣлъ, и все свободное время просиживалъ близъ его койки. Говорить ему много нельзя было, но онъ глядѣлъ на меня теплыми, благодарными глазами и ласково улыбался. Однажды онъ спросилъ меня шопотомъ:

— Я не умру, Николаичикъ, нѣтъ?

Я поспѣшилъ отвѣтить отрицательно и даже разсмѣялся дѣланнымъ смѣхомъ, хотя въ душѣ далеко не былъ увѣренъ, что опасности нѣтъ, и Маразгали горячо пожалъ мою руку. Онъ перенесъ эту тяжелую болѣзнь, но потомъ часто мнѣ сознавался, что сильно боялся смерти и страстно хотѣлъ остаться жить...

Между тѣмъ, въ моей головѣ созрѣлъ планъ освободить Маразгали изъ каторги и вернуть на родину. Планъ этотъ состоялъ въ подачѣ на Высочайшее имя прошенія отъ имени Усанбая съ изложеніемъ всей его плачевной исторіи, всѣхъ фактовъ и причинъ, погубившихъ его, безъ малѣйшихъ прикрасъ и оправданій. Мнѣ представлялось яснымъ, какъ Божій день, что если только прошеніе дойдетъ до Петербурга и будетъ тамъ прочитано, то свобода Маразгали будетъ обезпечена. Придя къ этому убѣжденію, я рѣшилъ опять прибѣгнуть къ гуманнымъ чувствамъ браваго штабсъ-капитана и просилъ у него разрѣшенія написать для Маразгали черновую прошенія. На этотъ разъ Лучезаровъ удивился моей просьбѣ и прежде всего выразилъ сомнѣніе, что просьба будетъ уважена.

— Такихъ просьбъ тысячи пишутся,—сказалъ онъ,—и изъ тысячи на одну обращаютъ вниманіе.

Я отвѣчалъ, что эта именно просьба и будетъ одной изъ тысячи, такъ какъ я глубоко увѣренъ въ ея правотѣ и законности. Лучезаровъ пожалъ на это плечами.

— Да какая ему польза будетъ?—продолжалъ онъ еще отговаривать:—вѣдь онъ все равно умретъ?

На это я возразилъ, что всѣ люди смертны, и тѣмъ не менѣе каждый думаетъ о лучшемъ будущемъ.

— Ну, что же,—рѣшилъ, наконецъ, Лучезаровъ:—сочиняйте, пожалуй... Я прикажу потомъ своему писарю переписать.

Вернувшись въ тюрьму, я немедленно написалъ черновую прошенія, переливъ на бумагу, казалось мнѣ, лучшую часть своей сердечной крови... Лучезаровъ, прочитавъ, выразилъ полное одобреніе:



— Сильное у васъ перо, сильное!

И еще разъ подтвердилъ обѣщаніе отдать прошеніе писарю для переписки и отправить затѣмъ, куда слѣдуетъ.

Послѣ этого мы предалися съ Маразгали мечтамъ еще болѣе радужнымъ, чѣмъ въ тотъ разъ, когда писали дядѣ Пирмату. Мы рѣшили, что ровно черезъ годъ, слѣдующей осенью, долженъ получиться отвѣтъ изъ Петербурга... Въ томъ, что отвѣтъ будетъ благопріятный, я не сомнѣвался ни на минуту и старался увѣрить въ томъ же и своего друга. Но однажды мы чуть серьезно не поссорились. Еще разъ (кажется, уже въ сотый разъ) заставивъ его рассказать исторію убійства киргиза, я впервые обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что онъ подалъ отцу шашку, и мнѣ показалось, что раньше онъ скрылъ отъ меня это важное обстоятельство.

— Зачѣмъ же ты раньше не говорилъ мнѣ этого?—разсердился я:—я не упомянулъ объ этомъ въ прошеніи, и вотъ царь подумаетъ, что ты лжешь, потому что въ твоемъ дѣлѣ отыщется другой рассказъ.

Маразгали ужасно огорчился...

— Я говорилъ, Николаичикъ, говорилъ,—шепталъ онъ оправдываясь и глядя на меня умоляющимъ взоромъ:—ты забылъ...

— Нѣтъ, ты скрылъ, Усанъ, скрылъ и этимъ повредилъ себѣ.

Но тутъ за Маразгали вступился Гончаровъ, много разъ, подобно мнѣ, слышавшій его рассказы о своемъ прошломъ и подтвердившій, что онъ точно упоминалъ о шашкѣ, и я напрасно обвиняю его во лжи.

Маразгали съ упрекомъ взглянулъ на меня.

— Вотъ видишь, вотъ видишь,—вскричалъ онъ радостно:—Маразгали ничего не врѣйтъ, Маразгали говорилъ... Онъ ничего не пряталъ!

Я былъ пристыженъ и принесъ повинную. Онъ тотчасъ же простилъ и забылъ мою несправедливость, но имъ овладѣло уже безпокойство о томъ, ладно-ли написано прошеніе. Съ большимъ трудомъ я успокоилъ его, сообразивъ самъ, что допущенная мной неточность, бывшая скорѣе простымъ умолчаніемъ, чѣмъ ложью, ни въ какомъ случаѣ не могла повліять на неблагопріятный исходъ дѣла.

Незабвенные вечера, полные вѣры и счастья! Мы оба такъ живо рисовали себѣ, что вотъ пришло уже Маразгали полное помилованіе, и онъ ѣдетъ домой, въ свой теплый и свѣтлый Мар-

гелантъ... Онъ находитъ тамъ живой и здоровой мать и всѣхъ родныхъ... Онъ прекрасно устраивается, заводитъ обширное хозяйство и собственной рукой пишетъ мнѣ обо всемъ подробныя письма... Наши мечты забѣгаютъ иногда такъ далеко, что уже и я выхожу на поселеніе и ѣду къ нему же, Маразгали, въ его Маргелантъ; онъ угощаетъ меня урюкомъ, рисомъ и жирной бараниной, и мнѣ до того приходится по вкусу Ферганская область, что я самъ рѣшаюсь тамъ навсегда поселиться... Въ концѣ концовъ, Маразгали женилъ меня на узбечкѣ и плясалъ на моей свадьбѣ... Наивныя золотыя мечты! Что случилось съ вами?

Между тѣмъ, бравый штабсъ-капитанъ съ своей стороны хотѣлъ выказать Маразгали свое благоволеніе и въ самый день Новаго года объявилъ о выпускѣ въ вольную команду, до которой по закону ему оставалось еще около года. Выпускъ этотъ для обоихъ насъ былъ такъ неожиданъ, что Маразгали въ первыя минуты совсѣмъ растерялся, но, видимо, все-таки обрадовался... Обрадовался и я... Все-таки воля, думалось мнѣ; авось, онъ тамъ расцвѣтетъ, поздоровѣетъ.

Однако, вспомнивъ, что намъ приходится разстаться, Маразгали внезапно омрачился и сталъ меня увѣрять, что не радъ вольной командѣ, что тюрьма лучше.

— Нѣтъ, Усанъ,—утѣшалъ я его:—воля лучше. Помни только все то, что я говорилъ тебѣ: не играй, не пей водки и не бѣги. Убѣжишь—тогда все пропадетъ, ни дома, ни матери не увидишь, потому что все равно поймаютъ, Жди лучше отвѣта на прошеніе.

— Лядно, лядно, Николаичикъ. Пасибо. Будь здоровъ.

И мы разстались.

Къ сожалѣнію, жизнь Маразгали въ вольной командѣ сложилась въ высшей степени несчастно. Не было тамъ руки, подобной моей, которая бы оберегала его отъ всего злого. Прежде всего у него сложились дурныя отношенія съ русскими вольнокомандцами-товарищами. Многіе и въ тюрьмѣ уже съ завистью поглядывали въ последнее время на то, что, благодаря дружбѣ со мной, онъ находился въ лучшемъ матеріальномъ положеніи и жилъ, „словно баринъ какой“. Не нравилось нѣкоторымъ и то, что я написалъ ему прошеніе, тогда какъ многимъ русскимъ отказывался писать.

— Чѣмъ онъ лучше насъ, татарскій змѣенышъ? Вѣдь какому на волю-то хочется.

Путемъ разныхъ темныхъ слуховъ и сплетенъ недоброжела-

тельство это переносилось и за стѣны тюрьмы: говорили, что Маразгали самъ Шестиглазый покровительствуетъ, и что тутъ дѣло не просто, что онъ язычкомъ, видно, ударять умѣть... Начались мелкія придирки и преслѣдованія. Представляю себѣ, что должна была выстрадать гордая душа Усанбая, благодаря этимъ неправымъ обидамъ и нападкамъ; представляю и дикія вспышки его чисто восточнаго гнѣва, во время которыхъ онъ и въ тюрьмѣ бывалъ страшенъ... Такъ, помню я одну стычку его съ Тараканьимъ Осердіемъ изъ-за какого-то злополучнаго мѣшка, полученнаго изъ стирки: Тараканье Осердіе признавало его своимъ, а Маразгали указывалъ на значокъ зубами, сдѣланный имъ на мѣшкѣ въ видѣ мѣтки. Сначала шло простое словесное перекосердіе, причемъ оба соперника держались обѣими руками за спорную вещь; но потомъ Маразгали внезапно вспыхнулъ, какъ огонь, и вслѣдъ затѣмъ смертельно поблѣднѣлъ... Руки задрожали и судорожно сжались... Онъ былъ живописенъ въ эту минуту со своей поднятой гордо головой и страшно потемнѣвшими глазами... Тараканье Осердіе выпустило мѣшокъ изъ рукъ и, шамкая про себя какія-то ругательства, отступило. Могу поэтому вообразить себѣ, какъ бѣгаль однажды Маразгали съ ножомъ за вольнокомандцемъ, который обозвалъ его самымъ ужаснымъ для каждаго арестанта словомъ, означающимъ шпіона. Насилу удержали его и успокоили. Естественно, что при такихъ условіяхъ онъ принужденъ былъ удалиться отъ русскихъ и тѣсно сплотиться съ кучкой своихъ единовѣрцевъ-магометанъ. Жизнь вольнокомандцевъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ была даже хуже жизни тюремныхъ арестантовъ: заработать копѣйку было негдѣ и не чѣмъ, и приходилось питаться, какъ и въ тюрьмѣ, одной казенной баландой, не имѣя ни чаю, ни сахару; а уроки казенной работы были подчасъ тяжелѣе и больше. На Маразгали свалили ночной караулъ у амбаровъ съ арестантскими вещами и продуктами. Ему приходилось бодрствовать по ночамъ въ жестокіе январскіе и февральскіе морозы, да и днемъ еще быть на посылушкахъ у надзирателей. Бѣдняга совсѣмъ изморился и началъ опять усиленно кашлять. Въ довершеніе злключеній, въ началѣ великаго поста съ нимъ случилось несчастіе. Злобная и мстительная кобылка рѣшила подвести его, и вотъ, замѣтивъ однажды подъ утро, что Маразгали задремалъ на своемъ посту, кто-то утащилъ нѣсколько гирекъ изъ-подъ казенныхъ вѣсовъ. Проснувшись, онъ замѣтилъ покражу

и начать умолять арестантовъ вернуть гирьки; но негодяи не сжалились и даже поспѣшили донести эконому о пропажѣ. Последній впредь до рѣшенія начальника, который еще спалъ, приказалъ Маразгали идти въ тюремный карцеръ.

Я былъ въ рудникѣ въ то время, когда его привели, а вернувшись съ работъ, узналъ уже, что Шестиглазый постановилъ держать Маразгали подѣ арестомъ пять сутокъ. Каждый день посылалъ я заключенному черезъ парашниковъ табакъ и сахаръ и узнавалъ отъ нихъ, что здоровье его совсѣмъ плохо, что онъ лежитъ, не поднимая головы, и, по временамъ, только тихо стонетъ. На четвертый день ареста я уговорилъ-таки фельдшера навѣстить Маразгали, и даже онъ нашелъ необходимымъ просить у Лучезарова разрѣшенія немедленно перевести его въ лазаретъ. Во время этого перевода я и увидалъ Маразгали, и едва узналъ. Мой бѣдный ферганскій орелъ, что съ тобой случилось?..

Онъ показался мнѣ какимъ-то опичаннымъ, полинялымъ, постарѣлымъ и невыразимо жалкимъ! Желтый, блѣдный и грустный, онъ съ трудомъ улыбнулся мнѣ и кивнулъ головою; онъ едва переставлялъ ноги; волосы были всклокочены и влажны отъ лихорадочнаго пота. Даже одежда имѣла самый плачевный видъ: скомканная шапчонка, разорванный халатъ и рыжія дырявыя бродни...

Въ лазаретѣ его помѣстили въ отдѣльную маленькую камеру, и все свободное время я опять проводилъ съ нимъ. Признаюсь: теперь я временами даже желалъ ему смерти... Чего могъ, въ самомъ дѣлѣ, ждать онъ отъ жизни? Что еще могла она ему дать, кромѣ новаго горя, обидъ и лишеній? Самъ Маразгали, повидимому, былъ въ конецъ истомленъ, и той молодой жизнерадостности, той безконечной жажды—во что бы то ни стало существовать, какія замѣчались въ немъ во время первой болѣзни, теперь не было и слѣда. Но я старался отгонять прочь эти мрачныя думы и недобрыя желанія, старался увѣрить все-таки и себя, и больного, что онъ не умретъ и на этотъ разъ. Иногда, благодаря моимъ рѣчамъ, въ немъ опять вспыхивалъ огонекъ надежды; но чаще онъ грустно качалъ головою въ отвѣтъ на всѣ мои увѣренія и горько улыбался. Все время онъ не переставалъ кашлять кровью. Однажды я засталъ его въ чрезвычайно возбужденномъ состояніи. Онъ ждалъ меня и обратился ко мнѣ со страстными упреками:

— Зачѣмъ я не бѣжалъ, Николаичикъ? Зачѣмъ слушалъ тебя? Зачѣмъ ты говорилъ?

И слезы хлынули градомъ... Вскорѣ послѣ этого ему стало какъ-будто лучше. Когда пріѣхалъ, наконецъ, тюремный врачъ, котораго давно уже тщетно ждали, въ немъ возродилась настоящая надежда, и, приподнявшись съ постели, онъ, казалось, съ мольбой устремилъ на него взоръ. Но докторъ (подлинно каторжный докторъ!) едва взглянулъ на него и, махнувъ рукой, пошелъ вонъ. Я не вытерпѣлъ и подошелъ къ нему со словами:

— Сдѣлайте одолженіе, осмотрите получше этого больного... Быть можетъ, еще возможно что-нибудь сдѣлать.

Докторъ нахмурился.

— Братъ? Родственникъ?

— Нѣтъ, но судьба этого юноши очень трогательна...

— Будь она вдвое и втрое трогательнѣе, медицинѣ тутъ нечего дѣлать. Если бы можно было въ Италію или на островъ Мадеру, ну, тогда бы... Но въ каторгѣ...

— Но вы же его не осматривали совсѣмъ?

— То есть, это что же такое? Учить меня? Служителя, больничные служителя! Господинъ фельдшеръ! Съ какой стати ходить сюда праздный народъ? Здѣсь не театръ, а больница. Здѣсь не трактиръ. Больные нуждаются въ спокойствіи.

Я пожалъ плечами и вышелъ вонъ.

Между тѣмъ, наступила новая весна. Прилетѣли первые ея вѣстники—маленькія вертявыя плиски. Солнышко начало пригрѣвать сильнѣе. На крышахъ ворковали голуби; весело летали и чирикали повсюду забіяки-воробьи. На сопкахъ показалась зеленая травка, и Маразгали сталъ выходить на дворъ грѣться на солнышкѣ. Возродились мечты о домѣ и матери...

— Николаичикъ, я видѣлъ сегодня,—сказалъ онъ мнѣ однажды:—ночью видѣлъ... Сартанка... красивый, красивый!

Онъ прищелкнулъ даже языкомъ для лучшаго опредѣленія красоты видѣнной во снѣ сартянки—и вдругъ страшно перекояфузился, покраснѣлъ и укрылъ голову желтымъ больничнымъ халатомъ.

— Я выпишусь скоро, Николаичъ, ей-богу, выпишусь! Смотри: я совсѣмъ здоровъ, совсѣмъ. Только вотъ тутъ немножко болитъ... тутъ... вотъ какъ это мѣсто... Какъ это самый мѣсто! Чортъ знайтъ, что тамъ болитъ? Сердце болитъ, печенка болитъ? Чортъ знайтъ!

Порывы жизнерадостности проходили, и ихъ смѣняла тупая, ничѣмъ не интересующаяся апатія, когда даже въ самые солнеч-

ные и теплые дни я не могъ уговорить его покинуть душную больницу и выйти на свѣжій воздухъ. Тогда пугалъ его самый легкій вѣтерокъ, и ни птички, ни солнышко, ни первые цвѣты — ургуи \*), которые я приносилъ ему изъ рудника, не могли развѣять его мрачнаго сипина. Внѣшній видъ тоже быстро ухудшался. Тѣло превратилось въ настоящій скелетъ, въ лицѣ не было ни кровинки, на губахъ только играла порой кровь, да глаза горѣли особенно яркимъ огнемъ и необыкновенно расширились. Онъ догоралъ, какъ свѣча.

Разъ я засталъ его разбирающимъ передъ осколкомъ зеркала волосы на головѣ. Увидавъ меня, онъ хрипло засмѣялся.

— Смотри, Николаичикъ, смотри: сидой... И тутъ сидой и тутъ... Весь волосъ — старикъ!..

— А сколько тебѣ лѣтъ, Маразгали?

— Богъ знаетъ. Судился Маргеланъ — шестнадцать лѣтъ... Судился Вѣрный — два годъ прошло... Дорога одинъ годъ... Алгачи сидѣли — еще годъ... Здѣсь — еще полтора годъ.

— Значитъ, тебѣ двадцать два?

— Да, двадцать два. Кто знаетъ? Мать знаетъ.

И при послѣднемъ словѣ онъ горько задумался.

Я давно уже чувствовалъ нѣкоторый упадокъ собственныхъ силъ и рѣшилъ, пользуясь этимъ предлогомъ, самому записаться въ больницу, предвидя близость роковой развязки и желая нахотиться послѣдніе дни при своемъ любимцѣ. Лампада угасала быстро, масло было на исходѣ...

Въ послѣдніе дни умирающій говорилъ со мной о Богѣ, спрашивалъ, куда попадетъ онъ — въ бегимъ — рай, или джагенъ — адъ? Увидитъ-ли отца и брата? Увидитъ-ли мать? За послѣднее онъ особенно боялся, такъ какъ въ Коранѣ, по его словамъ, ничего не упоминалось о будущихъ судьбахъ женщинъ... Утромъ послѣдняго дня онъ еще разъ оживился, привсталъ на койкѣ и началъ яркими красками описывать Маргеланъ, восхвщаясь его сладкимъ урюкомъ, рисомъ и проч., причѣмъ нѣсколько разъ прищелкнулъ даже языкомъ.

— Наша сторона, Николаичикъ, тожди трава есть: всякая бо-

---

\*) Ургуемъ — называется въ Забайкальи первый подснежникъ, цвѣтокъ, состоящій изъ пяти лиловыхъ лепестковъ съ желтымъ глазкомъ по срединѣ.

лѣзнь лѣчить, всякая болѣзнь!.. Ахъ! здѣсь нѣтъ такой трава... А эти лѣкарства... Чортъ знайтъ, ничего не помогайтъ, ничего!

И онъ опять прищелкнулъ языкомъ, чтобы лучше выразить свои горестныя чувства по этому поводу. Я не зналъ, что говорить, и нашелъ почему-то нужнымъ теперь сообщить ему одну слышанную мной новость, будто на Кавказѣ устраивается каторжная тюрьма для южныхъ инородцевъ, которые не въ силахъ выносить холоднаго сибирскаго климата. Услыхавъ это, онъ какъ будто обрадовался.

— Это хорошо,—сказалъ онъ серьезно:—Кавказъ хорошо.

И, улегшись снова, завернувшись съ головой въ одѣяло. Я вышелъ. Въ два часа дня пришелъ ко мнѣ больничный служитель Дорожкинъ, улыбаясь.

— Вотъ чудакъ этотъ Усанка! Сейчасъ зоветъ меня: давай, говорить, ѣсть! Теперь много ѣсть буду... Больше, больше всего тащи! Я притащилъ ему яицъ и хлѣба, и онъ три яйца съѣлъ и большущій ломоть чернаго хлѣба. Теперь спать легъ.

Я разсердился на Дорожкина.

— Съ ума вы сошли! Что вы надѣлали? Вѣдь черныя хлѣбъ можетъ повредить.

Дорожкинъ засмѣялся,

— Ему-то повредить? Да вы что? Сами-то въ себя-ль вы? Все равно вѣдь не сегодня-завтра помретъ. Пущай на дальнюю дорогу провіантомъ запасется.

Я ничего не отвѣтилъ на это. Черезъ часъ Дорожкинъ снова вошелъ ко мнѣ.

— Теперь скоро... Конецъ.

Я встревожился.

— Почему вы такъ думаете?

— Потому одѣяло сталъ дергать и руками въ воздухъ что-то ловить. Ужъ это вѣрный признакъ, я знаю.

Съ сильно бьющимся сердцемъ пошелъ я къ Маразгали и, не входя въ комнату, началъ слѣдить за нимъ. Лежа на койкѣ лицомъ къ стѣнѣ и, казалось, съ открытыми глазами, по временамъ онъ, дѣйствительно, хваталъ что-то въ воздухъ лѣвой рукой... Я тихо окликнулъ его—онъ не отозвался.

На вечерней повѣркѣ онъ былъ еще живъ и, внезапно поднявшись, заговорилъ что-то на своемъ языкѣ.

— Что ты, Маразгали?—спросилъ надзиратель.

— Ничего, лядно,—отвѣчалъ онъ и опять легъ. Это были послѣднія его слова.

Заглядывая робко въ дверь, мы долго еще видѣли, что онъ дышетъ. Уставъ отъ томительно-долгаго ожиданія, я задремалъ на своей койкѣ. Около полуночи Дорожкинъ разбудилъ меня.

— Кончился!

— Не можетъ быть?..—вырвался у меня совершенно непривольно крикъ, котораго Дорожкинъ не удостоилъ даже отвѣтомъ, и я поспѣшилъ за нимъ въ комнату Маразгали. Нѣсколько больныхъ арестантовъ уже толпились здѣсь около тѣла, тщетно стараясь закрыть широко раскрытые, точно удивленно-глядѣвшіе глаза. Я возмущился этой поспѣшностью и, отогнавъ прочь непрошенныхъ опекуновъ, взялъ исхудалую, какъ спичка, блѣдную, свѣсившуюся съ койки руку—она, показалось мнѣ, была еще тепла. Я посмотрѣлъ въ глаза, но они не глядѣли уже осмысленно и казались стеклянными... Усанбай Маразгали окончилъ земное странствіе.

Дорожкинъ началъ суетиться вокругъ мертвеца. Одна черта поразила меня въ этомъ старомъ бродягѣ, не признававшемъ ничего святого и ничего въ мірѣ не чтившемъ: довольно грубый и часто невыносимо-придирчивый съ больными, теперь, по отношенію къ мертвому, онъ проявлялъ какую-то странную, почти материнскую нѣжность и заботливость.

— Ну, вотъ, гол-у-бчикъ!—приговаривалъ онъ, надѣвая на тѣло чистую рубаху,—увидишь теперь и Маргеланъ свой, и мать... Никто тебя больше не обидитъ, никто въ тюрьму не посадитъ.

Между тѣмъ, загремѣлъ замокъ, и въ больницу съ шумомъ вошли фельдшеръ и нѣсколько надзирателей, которымъ было уже дано знать о смерти арестанта...

Маразгали похороненъ на тюремномъ кладбищѣ, недалеко отъ дороги, по которой шелайскіе каторжники ходятъ въ рудникъ. Надъ его могилой нѣтъ креста, и зимой она вся бываетъ занесена снѣгомъ, а лѣтомъ густо покрыта цвѣтами богульника и томительно-душистаго шиповника. Какіе сны снятся тебѣ, мой дорогой, бѣдный мальчикъ? Нашелъ-ли ты хоть здѣсь, въ этой могилѣ, успокоеніе отъ своей неисцѣлимой тоски по далекой родинѣ? И если да, то не къ лучшему-ли случилось, что ты умеръ въ то время, когда жизнь не успѣла еще ожесточить тебя и загрязнить твой чистый, прекрасный образъ?..



## XXI.

## Въ новой камерѣ.—Невинные и жестокие.

Разсказъ мой забѣжалъ, однако, далеко впередъ, и теперь я долженъ вернуться къ тому моменту, когда при новомъ размѣщеніи арестантовъ по камерамъ попалъ въ № 1. Репрессіи, вызванные инцидентомъ съ Шахъ-Ламасомъ, продолжались не дольше мѣсяца; затѣмъ снова начались мало по малу послабленія. Возвратили котлы, отсутствіе которыхъ такъ смущало Никифора, небрежнѣе стали опять замыкать камеры; появились неизвѣстно откуда карты; староста Юхоревъ съ другимъ иванами сталъ умудряться раздобывать по временамъ даже и водку... Единственнымъ напоминаніемъ о погибшей человѣческой жизни остались кандалы у всѣхъ на ногахъ, да отобранныя у меня книги, которыхъ я не рѣшался снова просить у Лучезарова. Впрочемъ, съ горныхъ рабочихъ и кандалы впослѣдствіи опять были сняты: въ виду неоднократно случавшихся въ рудникахъ несчастій съ арестантами, закованными въ цѣпи, администрація горнаго вѣдомства, въ общемъ чрезвычайно гуманно относящаяся къ каторжнымъ и часто берущая ихъ сторону въ столкновеніяхъ съ тюремнымъ начальствомъ, ставила непремѣннымъ условіемъ, чтобы каторжные ходили въ гору раскованные \*). Между тѣмъ, отсутствіе чтенія вслухъ было очень чувствительно въ долгіе зимніе вечера: незанятое ничѣмъ воображеніе арестантовъ естественно направлялось къ воспоминаніямъ о жизни на свободѣ, и мнѣ волей-неволей приходилось быть слушателемъ самыхъ ужасныхъ, кровавыхъ и циничныхъ исторій. Благодаря-ли тяжелому внутреннему состоянію, покрывавшему для меня траурнымъ флеромъ весь Божій міръ и заставлявшему яснѣе видѣть въ людяхъ именно ихъ дурныя стороны, или благодаря чему другому, но только отъ этого времени сохранились у меня наиболѣе мрачныя воспоминанія о своихъ невольныхъ сожителяхъ; самые страшные разсказы врѣзались въ память именно въ этотъ періодъ. Особенно одно обстоятельство

\*) Въ отношеніи кандаловъ тюремное начальство вообще не обнаруживало большой послѣдовательности и руководилось больше своимъ настроеніемъ. Вотъ почему и въ моихъ запискахъ (какъ въ I, такъ и во II томѣ) арестанты фигурируютъ то въ кандалахъ, то безъ кандаловъ; одно время вѣчные носили даже наручни...

*Прич. авт.*

• пугало меня въ этихъ разсказахъ: замѣчавшееся у большинства довольство своимъ прошлымъ и своимъ преступленіемъ, чрезвычайно легкое отношеніе къ пролитой человѣческой крови, къ разбитой чужой жизни и сожалѣніе объ одномъ только, что не хватило ума получше скрыть слѣды преступленія, не „пофартило“ ускользнуть отъ рукъ правосудія. Даже въ наименѣе испорченныхъ я постоянно замѣчалъ стремленіе, во что бы то ни стало, оправдать себя, выставить невинно пострадавшимъ. Часто я склонялся даже къ заключенію, что раскаяніе въ томъ высшемъ смыслѣ, въ какомъ понимается оно образованнымъ міромъ, чувство совершенно незнакомое простолюдинамъ-арестантамъ. Всякій зародышъ его уничтожается въ ихъ душѣ сознаниемъ, что они терпятъ наказаніе, что ихъ мучать и терзаютъ за совершенный грѣхъ. Въ началѣ знакомства почти каждый каторжный, даже изъ самыхъ закоренѣлыхъ, старался для чего-то увѣрить меня, что онъ осужденъ безъ вины, по злобѣ оскорбленнаго имъ слѣдователя или кого-нибудь изъ свидѣтелей (чаще всего свидѣльницъ). Я настолько привыкъ къ этимъ увѣреніямъ, что сталъ потомъ скептически относиться къ разсказамъ и тѣхъ, которые, быть можетъ, дѣйствительно попали въ каторгу за чужой грѣхъ. Мнѣ гораздо больше нравилось, когда арестанты прямо, не стѣсняясь, признавали себя „разбойниками, подлецами и мошенниками“. Впрочемъ, и такихъ можно было раздѣлить на нѣсколько своеобразныхъ категорій. Одни, самые закоренѣлые, какъ-бы кичились и хвастались подобными „качествами“; это были или дѣйствительно озлобленные до послѣдней степени, незаурядные въ своемъ родѣ люди, или же, наоборотъ, самыя дешевыя натуришки, крикуны и хвастуны, наглецы и подчасъ ввали, неуважаемые своими же, на жизнь чловѣка смотрѣвшіе, какъ на жизнь мухи, готовые за грошъ или рюмку водки совершить звѣрское убійство и всякую другую пакость. Въ довершеніе всего—страшные трусы. Стараясь подражать большимъ злодѣямъ и приобрести славу такихъ же „громилъ“, они заходили безконечно дальше ихъ въ радикализмъ взглядовъ на вещи: не только отрицали все святое на свѣтѣ, но и походя богоульствовали и кощунствовали; не просто убивали, а выпивали еще при этомъ стаканъ живой человѣческой крови; имъ нравилось на каждомъ шагѣ щегольнуть своей безпардонной и безпоротной отпѣтостью и развращенностью. Этотъ разрядъ арестантовъ, живые образцы которыхъ я въ свое время представлю чи-

тателю, самый антипатичный и вредный. Мелкія душонки и убогіе умишки, они не способны ни къ какимъ высшимъ движеніямъ души, которыя такъ часто бываютъ знакомы Семеновымъ. Само собою разумѣется, что и этотъ основной характеръ въ свою очередь имѣетъ нѣсколько подраздѣленій, начиная съ самаго беззащитнчиво-откровеннаго нахальства и цинизма и кончая отвратительной двуличностью и подлипальствомъ. Что-же касается тѣхъ, которые упорно объявляютъ себя безъ вины осужденными, то повторяю: всегда слѣдуетъ относиться къ подобнымъ завѣреніямъ *sunt magno grano salis*. Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что сорокъ лѣтъ назадъ, во времена Достоевскаго, когда Россія была „глубоко-несчастной страной, подавленной, рабски-безсудной“; когда, кромѣ крѣпостного права, существовала еще 25-лѣтняя солдатчина, и, по выраженію поэта, „ужасъ народа при словѣ наборъ“ подобенъ былъ ужасу казни,—несомнѣнно, что въ тѣ времена въ каторгу долженъ былъ попадать огромный процентъ совершенно невинныхъ людей и еще больше осужденныхъ не въ мѣру строго. Самые ужасныя преступленія могли совершаться въ то время людьми, вполнѣ нормальными и нравственно неиспорченными, выведенными лишь изъ границъ терпѣнія несправедливымъ и аномальнымъ строемъ самой жизни. Поэтому Достоевскій имѣлъ нѣкоторое право идеализировать обитателей своего Мертваго Дома, состоявшихъ почти на половину изъ военныхъ (чуть не поголовно грамотныхъ), по душевному строю стоявшихъ очень близко къ народу; но такого права не было-бы у современнаго наблюдателя, который задался бы цѣлью нарисовать картину современной русской каторги. Вѣдь нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, сомнѣваться въ томъ, что за сорокалѣтній періодъ русское законодательство и русскій судъ такъ же, какъ и самая жизнь и нравы, сдѣлали огромные шаги впередъ по пути гуманизма и справедливости. А priori можно поэтому думать, что въ современную каторгу попадаютъ гораздо болѣе по заслугамъ, чѣмъ въ былыя времена, и что населеніе нынѣшней каторги, въ главныхъ своихъ частяхъ, представляетъ *подонки* народнаго моря, а отнюдь не самый народъ русскій... И дѣйствительно, не смотря на то, что добрая половина видѣнныхъ мной арестантовъ утверждала, что пришла въ каторгу за чужой грѣхъ, и почти всѣ безъ исключенія жаловались на суровость осудившаго ихъ „шемякинскаго“ суда,—при ближайшемъ ознакомленіи съ ихъ характеромъ, съ ихъ прошлымъ и тяготѣв-

шими надъ ними обвиненіями, мнѣ рѣдко приходилось отыскивать совершенно безъ вины осужденнаго человѣка. Въ большинствѣ случаевъ, если и можно было допустить ошибку или пристрастіе судей въ данномъ случаѣ, то самъ же арестантъ сознавался, подобно Гончарову, что, невинный въ этотъ разъ, раньше того онъ совершилъ множество преступленій, достойныхъ каторги, но оставшихся неизобличенными. И, сознаваясь въ этомъ, онъ тѣмъ не менѣе жаловался на судьбу, клялъ всѣ суды и законы на свѣтѣ и утверждалъ, что его несправедливо послали въ каторгу...

Однако, значить-ли все это, что я проповѣдую жестокое отношеніе къ нынѣшнимъ каторжнымъ, что называл ихъ „подонками народнаго моря“, я тѣмъ самымъ выражаю къ нимъ полное презрѣніе, какъ къ „отбросамъ“, которые и заслуживаютъ того только, чтобы ихъ бросили и предали, по возможности, уничтоженію? Позволяю себѣ надѣяться, что все написанное мной до сихъ поръ о мѣрѣ несчастныхъ отверженцевъ удержитъ читателя отъ столь несправедливаго и превратнаго пониманія моихъ словъ. Развѣ на днѣ моря нѣтъ перловъ? Развѣ, говоря, что сверху сосуда вода отличается лучшимъ качествомъ, утверждаютъ тѣмъ самымъ, что на днѣ она совершенно негодна для питья? И развѣ главная задача моихъ очерковъ не заключается именно въ томъ, чтобы показать, какъ обитатели и этого ужаснаго міра, эти искалѣченные, темные и порой безумные люди, подобно всѣмъ намъ, способны любить и ненавидѣть, падать и подниматься, жаждаютъ свѣта, правды, свободы и не меньше насъ страдать отъ всего, что стоитъ преградой на пути къ человѣческому счастью?

Но вернемся къ нашему анализу. Существуютъ-ли всетаки въ каторгѣ невинные,—жертвы несчастныхъ недоразумѣній или судебныхъ ошибокъ? Теоретически говоря, несомнѣнно существуютъ, хотя мнѣ лично и не удавалось встрѣчать такихъ, въ невинности которыхъ я съ увѣренностью могъ бы поручиться. Что, напримѣръ, могу я сказать объ отцеубійцѣ Дашкинѣ, неуклюжемъ дѣтинѣ огромнаго роста съ непріятно-животнымъ выраженіемъ краснаго лица и бессмысленно сонными глазами,—о человѣкѣ, мыслительныя способности котораго имѣли самый первобытный характеръ? Онъ долженъ былъ отбыть въ каторгѣ, не снимая кандаловъ и не выходя въ вольную команду, ровно семнадцать лѣтъ, а по окончаніи этого срока, какъ всѣ отцеубійцы, отправиться въ Верхнеудинскій централъ на вѣчное одиночное заключеніе... Всякій другой аре-

стантъ на его мѣстѣ, не имѣя впереди никакой надежды, только и думалъ бы о томъ, какъ бы „сорваться“, бѣжать или, по крайней мѣрѣ, перебраться въ другую тюрьму, гдѣ существованіе нѣсколько вольготнѣе; наконецъ, оставаясь даже и въ Шелайской тюрьмѣ, былъ бы для начальства бѣльмомъ на глазу, велъ бы себя дерзко, лодырничалъ и ничего не боялся. Между тѣмъ, Дашкинъ работалъ, какъ волъ, былъ тихъ и покоренъ, какъ ягненокъ. Свѣдѣму, совѣсному не знавшему его человѣку могло бы придти, пожалуй, въ голову, что его грызетъ червякъ раскаянія, что онъ хочетъ заглушить муки совѣсти тяжестью взятаго на себя креста. Ничуть не бывало! Этому куску мяса съ человѣческимъ образомъ и подобіемъ такіа тонкости были недоступны и непонятны. Кромѣ того, онъ категорически утверждалъ, что не убивалъ отца, или что, по крайней мѣрѣ, не помнитъ этого, такъ какъ въ моментъ убійства былъ безчувственно пьянъ.

— Ничего не могу сказать, самъ не знаю,—говорилъ онъ растерянно:—убилъ, али не убилъ, ничего не помню. Только вѣрнѣе, что не я убилъ, а зять, потому не за что мнѣ было убивать отца!

По словамъ Дашкина, онъ и на слѣдствіи сначала не сознавался; но потомъ, будто бы, зять, котораго самого онъ не подозревалъ въ то время въ убійствѣ, убѣдилъ его сознаться, говоря, что судъ отнесется къ нему въ такомъ случаѣ мягче. Дураковатый Дашкинъ повѣрилъ этому и попалъ въ тюрьму на всю жизнь. Возможно, конечно, что осужденіе Дашкина и, въ самомъ дѣлѣ, было ужасной, истинно-трагической ошибкой; но возможно и то, что Дашкинъ вралъ, зная, какъ враждебно относится арестантская масса къ отцеубійцамъ.

Гораздо чаще встрѣчались случаи, когда человѣкъ осужденъ былъ только съ формальной точки зрѣнія законно и справедливо, но за то безчеловѣчно-жестоко по существу. Наиболее яркимъ примѣромъ такого рода было дѣло Маразгали, о которомъ я только что рассказывалъ. Наше уложеніе о наказаніяхъ вообще черезчуръ сурово относится къ побѣгамъ, и только въ послѣднее время сама администрація начала обращать вниманіе на ужасный фактъ, что въ каторгѣ *до сихъ поръ* находятся люди, осужденные совершенно безвинно, съ современной точки зрѣнія, *еще во времена крѣпостного права* и на малые сроки, но потомъ, благодаря частымъ побѣгамъ, безъ совершенія при этомъ преступленій, заслужившіе себѣ вѣчную и даже болѣе, чѣмъ вѣчную каторгу!..

Но что было дѣлать закону съ такимъ, напр., человѣкомъ, какъ нѣкій Шемелинъ, осужденный на двадцать лѣтъ за убійство родного брата, дѣйствительно имъ совершенное. Законъ и даже народный обычай съ справедливой суровостью караютъ подобныя преступленія. Худшіе изъ арестантовъ нерѣдко кричали на него и въ шутку, и серьезно:

— Ты хуже любого изъ насъ! Ты родного брата убилъ, Каинъ! Ты вѣшалицу заслужилъ!

И старикъ, видимо недовольный такими окриками и въ душѣ считавшій себя безконечно выше и лучше развращенной до мозга костей шпанки, терпѣливо выслушивалъ ихъ и молчалъ. Между тѣмъ, разбирая дѣло по существу, нельзя было строго винить Шемелина. Русскій мужикъ изъ самой глухой и забытой Богомъ мѣстности, выросшій, какъ пень въ лѣсу, среди такихъ же, какъ самъ, темныхъ и первобытно-простыхъ умовъ, набожный, трудолюбивый, запуганный, богатый терпѣніемъ и выносливостью, наконецъ, по своему глубоко-честный, онъ былъ обиженъ старшимъ братомъ, который оттягалъ у него клочокъ земли и ни за что не хотѣлъ вернуть. Споръ изъ-за межи длился цѣлыхъ семь лѣтъ, то затихая, то вновь вспыхивая, какъ потухающій костеръ, въ который упадетъ новая щепка, и постоянно поддерживая въ братьяхъ вражду. Старшій былъ, повидимому, смѣлѣе и нахальнѣе. Фактически завладѣвъ землей, онъ еще позволялъ себѣ при всемъ народѣ издѣваться, „галиться“ надъ младшимъ. Шемелинъ самъ говорилъ, что нѣсколько разъ приходило ему въ голову убить врага, но Богъ каждый разъ отводилъ отъ грѣха его руку. Но, наконецъ, и его терпѣніе лопнуло; и когда въ одинъ изъ воскресныхъ дней братъ, нарядившись въ праздничную одежду, шелъ мимо его дома въ церковь, онъ выстрѣлилъ въ него изъ ружья и убилъ на-повалъ. Шемелинъ никогда не защищалъ своего поступка, никогда не говорилъ, что такъ и въ другой разъ поступилъ бы; но онъ не сознавалъ, съ другой стороны, и всей моральной тяжести этого преступленія и глядѣлъ на него не какъ на грѣхъ, который нужно искупить муками каторги, а какъ на несчастье, которое нужно какъ ни есть избыть. Молчаливый и уклонявшійся болѣею частью отъ всякихъ споровъ и пререканій съ товарищами-арестантами, въ душѣ онъ всетаки считалъ себя хорошимъ человѣкомъ, имѣлъ своего рода гордость честности. Любилъ онъ, напримѣръ, рассказывать, какъ въ дорогѣ на одномъ

изъ этаповъ вернулъ-торговкѣ лишній двугривенный, который та дала ему сдачи, и какъ вся кобылка подняла его за это насмѣхъ. Этотъ первобытный умъ ярче всего обрисовался мнѣ въ одной бесѣдѣ, происходившей въ камерѣ по поводу прямыхъ и косвенныхъ налоговъ. Среди каторжныхъ были доки, для которыхъ теорія и практика государственныхъ финансовъ были сущими пустяками. Одинъ изъ нихъ, ругая на чемъ свѣтъ стоитъ правительство, сыпалъ фактами и цифрами. Остальные внимательно слушали его и поддакивали. Наконецъ, молчаливый Шемелинъ не выдержалъ и пѣвуче протянулъ:

— Ну, это ты вре-ошь.

— Что вру?..

— Да что эстолько берутъ съ насъ. У меня, къ примѣру, и въ жистъ столько денегъ не было, сколько ты въ одинъ годъ начелъ.

— Какъ! А ситецъ на рубаху себѣ или на сарафанъ бабѣ ты покупалъ?

— Мы не покупали ситчевъ... Мы сами ткали, что было нужно. Это теперь только мода пошла и у насъ по деревнямъ наряжатча.

— Хорошо. Ну, а спички ты покупалъ?

— И спички мы сами дѣлали... Въ мое время крестьяны все сами для своего обихода дѣлали.

— О, чортова голова! да табакъ-то курилъ ты? Чай, сахаръ имѣлъ?

— Табаку не курилъ я, Богъ миловалъ; а чай, сахаръ... да я до каторги слыхалъ только про ихъ, а не зналъ съ чѣмъ и ѣдать!

— Вотъ трататонъ проклятый! Поди вотъ, поговори съ нимъ образованный человѣкъ, полюбуйся на дичь эту сосновую! Да водку-то ты пилъ? Платилъ за водку?

— Мы не платили и за водку... Мы сами сидѣли...

Послѣ этого заявленія, ораторъ отошелъ отъ Шемелина прочь, съ сердцемъ плюнувъ и безнадежно махнувъ рукой; а Шемелинъ тоже замолчалъ, въ блаженномъ сознаніи своей неодолимой правоты и превосходства, предъ которыми безсильны всѣ козни враговъ. И, въ самомъ дѣлѣ, можно было умилиться передъ этой трогательной простотою физическихъ потребностей и умственныхъ интересовъ, не очень далекихъ отъ тѣхъ интересовъ и потребностей, какими живетъ трава въ полѣ, птица въ небѣ, дерево въ лѣсу. Не этой-ли психической несложности обязанъ онъ былъ и своей нравственной чистотой и неспорченностью, устоявшими даже въ

каторгѣ, подѣ вліяніемъ сотенъ развращающихъ примѣровъ и фактовъ, подѣ давленіемъ самой назойливой пропаганды всяческой подлости и мошенничества? Впрочемъ, и Шемелинъ уже сдѣлалъ имъ кой-какія уступки. Такъ, узнавъ, что всѣ лишнія казенныя вещи въ каторгѣ отбираются, и скопивъ въ то же время за дорогу путемъ старческой бережливости и аккуратности нѣсколько паръ варежекъ, онучекъ и другихъ тряпокъ, онъ зашилъ ихъ передѣ прибытіемъ въ рудникъ въ подстилку, надѣясь, что тамъ ихъ не найдутъ. Но въ Шелайской тюрьмѣ не только нашли ихъ, но и самую подстилку вмѣстѣ съ сбереженіями отобрали и предали сожженію. Старикъ очень былъ огорченъ этимъ и нерѣдко жаловался мнѣ, что дорогой онъ могъ бы продать ихъ за хорошую цѣну, да „вотъ такъ дурь какая-то вошла въ голову—непремѣнно въ каторгу пронести!“—Но какъ невинна и проста была эта неудавшаяся хитрость въ сравненіи съ продѣлками и аферами настоящихъ каторжныхъ „артистовъ“!

Шемелинъ былъ честный изъ честныхъ въ Шелайской тюрьмѣ, честный настолько, что всѣ товарищи глумились надъ нимъ и сами признавали уродомъ въ своей семьѣ. Онъ и, дѣйствительно, былъ рѣдкимъ исключеніемъ. Что же могла дать такому человѣку каторга? Неужели что-нибудь полезное, душевспасительное? И не лучше-ли было бы, не справедливѣе-ли даже—отпустить такого человѣка на волю, ограничивъ его наказаніе удаленіемъ съ родины? Я думаю, лучше; но законъ, къ сожалѣнію, не руководится соображеніями иной справедливости, кромѣ чисто-формальной и внѣшней, и потому Шемелинъ, осужденный на двадцать лѣтъ каторжныхъ работъ, долженъ былъ провести изъ нихъ семь лѣтъ въ тюрьмѣ (четыре года въ ножныхъ кандалахъ и всѣ семь съ бритой головой) и еще одиннадцать въ вольной командѣ, гдѣ нужно исполнять тѣ же каторжныя работы и подчиняться тому же безсудному режиму. Жизнь человѣка была разбита окончательно и безнадежно...

Я не разъ упоминалъ уже, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ арестанты напоминали мнѣ настоящихъ дѣтей: та же пылкая впечатлительность безъ глубины и прочности впечатлѣній; то же неумѣнье скрывать душевныя движенія; та же неустойчивость воли, быстрые переходы отъ одной мысли къ другой, часто совсѣмъ противоположной первой, и—что еще хуже—необдуманность самихъ поступковъ, беззастѣсливый скорый переходъ отъ словъ къ дѣлу.



Эта-то неустойчивость воли и служить, мнѣ кажется, главной причиной большинства преступленій. Однако, я далека отъ того, чтобы проводить полную параллель между арестантами и дѣтьми, даже и дурно направленными, даже страшно испорченными. Много встрѣчается въ мірѣ отверженныхъ субъектовъ съ дѣйствительно преступными наклонностями; еще же больше такихъ, которые, будучи не менѣе нормальны и здоровы, чѣмъ тысячи людей, спокойно живущихъ на волѣ съ репутаціей безукоризненной честности, присоединили къ природной простотѣ и несложности своей психики легкомысліе и испорченность ссыльныхъ нравовъ, привычку къ виду крови и всяческаго насилія. Нужно, впрочемъ, вспомнить, что и дѣти бываютъ также страшно жестоки и равнодушны къ чужому страданію; еще дѣдушка Крыловъ выразился о нихъ, что „сей возрастъ жалости не знаетъ“. Я самъ помню изъ временъ своего ранняго дѣтства, какъ бывалъ подчасъ жестокъ съ птичками, насѣкомыми и другими беззащитными существами, и какъ съ любопытствомъ присутствовалъ иногда при сценахъ возмутительнаго насилія (конечно, въ томъ случаѣ, если онѣ самому мнѣ ничѣмъ не грозили); между тѣмъ, двадцать лѣтъ спустя, ставъ взрослымъ и образованнымъ человѣкомъ, я не могъ спокойно выносить вида крови, даже слышать о какой нибудь страшной ранѣ безъ невольнаго содроганія и ощущенія чисто-физической боли. Такъ велика разниа между психикой ребенка и взрослого интеллигента! Многие изъ арестантовъ сходны въ томъ отношеніи съ дѣтьми, что такъ же, какъ они, отличаются неумѣньемъ представить себѣ помощью воображенія и почувствовать, какъ свои, чужую боль и страданіе. Но у болѣе развитыхъ и испорченныхъ, по собственному опыту прекрасно знающихъ, что такое побои и вообще физическія мученія, причина жестокости, конечно, совсѣмъ иная: къ отсутствію фантазій и природному легкомыслію у нихъ прибавляется еще особаго рода сладострастіе, цинизмъ жестокости. Бываютъ субъекты, проявляющіе къ своимъ жертвамъ какую-то утонченную, несомнѣнно болѣзненную свирѣпость...

До каторги я, напримѣръ, никогда бы и никому не повѣрилъ, что въ Россіи и по сію пору существуютъ еще людоеды; но мнѣ за вѣрное рассказывали не только арестанты, но и представители тюремной администраціи, что въ Алгачинскомъ рудникѣ сидѣло нѣсколько русскихъ и татаръ, осужденныхъ за торговлю въ теченіе

нѣсколькихъ лѣтъ человѣческимъ мясомъ! На Сахалинѣ, будто-бы есть множество убійцъ, ѣвшихъ мясо умерщвленныхъ ими враговъ. Даже въ Шелайской тюрьмѣ былъ одинъ бродяга, утверждавшій, что онъ самъ отвѣдывалъ пирожки съ начинкой изъ „человѣчины“ и нашелъ ихъ очень вкусными... Будь даже этотъ разсказъ лживъ, онъ всетаки довольно характеренъ. Другой арестантъ вполне хладнокровно разсказывалъ уже вполне правдоподобную, хотя и не менѣе возмутительную исторію. Онъ бродяжилъ съ товарищемъ-киргизомъ. По дорогѣ встрѣтили они молодую женщину и, прежде чѣмъ убить и ограбить, киргизъ отрѣзалъ несчастной правую грудь и выпилъ изъ нея чашку живой крови.

— Какъ же вы позволили ему сдѣлать такую гнусность?— спросилъ я разсказчика.

— А какое я имѣлъ полное право запретить?—былъ невозмутимый отвѣтъ:—онъ мнѣ товарищъ былъ.

— Да вѣдь это Богъ знаетъ что! Нужно было силой помѣшать.

— Ха! силой... А почему ему меня не осилить?

— За что же вы убили эту женщину?

— Такъ пришлось. Необходимость вынудила. Мы три дня голодомъ шли, а у нея были деньги. Самимъ было погибать, что-ли? Тутъ я, братцы, въ первый разъ увидалъ, какъ человѣческую кровь пьютъ. Раньше я думалъ, что это звѣри только лѣсные дѣлаютъ; ну, а тутъ увидалъ, что и нашъ братъ тоже...

— Еще какъ дѣлаютъ-то!—подтвердилъ одинъ изъ слушателей.

Никогда я не видалъ и не слышалъ того, чтобы разсказъ о какомъ-либо убійствѣ или истязаніи со всѣми ихъ гнуснѣйшими подробностями заставилъ кого-нибудь изъ слушателей содрогнуться, вскрикнуть, высказать злодѣю прямое неодобреніе. Напротивъ, публика была, видимо, всегда на сторонѣ палача, а не жертвы, и для перваго изъ нихъ всегда отыскивалось въ ея глазахъ какое-нибудь оправданіе. За то приходилось мнѣ бывать свидѣтелемъ самаго веселаго, дружнаго раскатистаго смѣха всей камеры при такихъ разсказахъ, отъ которыхъ у меня волосы на головѣ становились дыбомъ, и морозъ пробѣгалъ по кожѣ... Однажды маленькій и тихій обыкновенно арестантъ, Андрюшка Поваръ по прозванію, повѣствовалъ въ моемъ присутствіи о томъ, какъ онъ убилъ свою любовницу. Исторія эта нѣкоторыми внѣшними чертами сильно напомнила мнѣ исторію Парамона, но по существу между ними не было никакого сходства.

Жилъ Андрюшка со своей Ульяной три года, причеъ, по

собственнымъ его словамъ, безпробудно пьянствовалъ. Наконецъ, Ульяна изъ-за чего-то поссорилась съ нимъ и, забравъ свою „лопотъ“ (одежду), ушла отъ Андриушки къ другому мужику. Самой любовницы Андриушка не жалѣлъ, но „лопотъ“ считалъ своею и потому, нѣсколько дней спустя, явился къ бывшей сожительницѣ требовать назадъ принадлежавшія ему вещи. Послѣдовалъ грубый отказъ.

— Раньше я ничего такого на умѣ не держалъ, — рассказывалъ Андриушка, — но тутъ меня забрало! Какъ, думаю! За мои же деньги смѣетъ стерва такъ надо мной галиться? — Оглядываюсь. Въ углу на лавкѣ мужикъ сидитъ, ея новый любовникъ, а на столѣ большой ножъ лежитъ. Схватываю я ножъ: „А! ты такъ? говорю. Такъ вотъ же тебѣ, тваринѣ!“ и всаживаю ей ножикъ въ самое пузо... Она и шары выпучила... Гляжу: руки растопырила и валится, валится на меня... Вотъ этакъ... Ха-ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо-хо-хо!.. — грянула въ отвѣтъ камера при видѣ Андриушки, изображающаго, какъ валилась на него убитая, распяливъ руки и вытаращивъ глаза!

— Куды налазишь, падло? — говорю ей. Толкъ ее отъ себя рукой... Она — брыкъ ногами и грянулась навзничъ... Ха-ха-ха-ха-ха!

— Хо-хо-хо-хо-хо!

Дрожа всѣмъ тѣломъ, съ ужасомъ смотрѣлъ я на этихъ людей, недоумѣвая, какъ могутъ они хохотать надъ подобными вещами. Ясно помню, какъ мнѣ показалось въ ту минуту, что я нахожусь въ домѣ сумасшедшихъ, и я невольно подумалъ объ одной криминальной теоріи, когда-то сильно возмущавшей меня тѣмъ, что она признаетъ всѣхъ „преступниковъ“ людьми съ ненормальными умственными способностями.

— Тутъ любовникъ ея какъ вскочить съ лавки! Схватилъ откуда-то топоръ да какъ швырнетъ его въ меня! Такъ мимо уха и просвистѣлъ топоръ, въ дверь на полчетверти вонзился. Опомнился я и къ нему тоже съ ножикомъ кинулся. „А! и ты жить не хочешь? Иди за ней!“ Подысь и его въ брюхо... Онъ тоже шары выпучилъ и хлопъ на землю... Ха-ха-ха-ха-ха!

— Чего же вы смѣтаете, Андрей? — не вытерпѣлъ я, все еще весь дрожа и ужасаясь: — развѣ такъ легко и пріятно людей убивать?

Камера притихла на минуту.

— А чего же тутъ труднаго? — спросилъ въ свою очередь

Андрюшка, удивленно на меня взглянувъ:—я и самъ сначала думалъ: „не приведи, молъ, Богъ убить человѣка“. А на дѣлѣ увидалъ, что все едино—что барана, что человѣка зарѣзать! Тотъ же паръ. Ткнешь ножикомъ въ брюхо и не слышишь даже: такъ во что-то мягкое, ровно въ мякину, ножикъ ползетъ.

Въ камерѣ нѣкоторые опять засмѣялись, неизвѣстно на этотъ разъ—надъ чѣмъ: дивясь-ли глупости Андрюшкиныхъ рѣчей, или же сочувствуя имъ. Мнѣ почудилось въ смѣхъ немножко того, немножко другого.

— Теперь я, какъ изъ каторги выду,—продолжалъ расходившійся Андрюшка:—каждый день стану по одному ихъ рѣзать.

— Кого это ихъ?

— Да кого придется. Кто заслужить. Черна овца, бѣлая овца—духъ одинъ. Попъ-ли, попиха-ли, пономарь-ли—одно сословіе. А пуще всего, братцы, бабъ стану рѣзать, потому въ ихъ я наиболѣе скусу нашелъ. Ха-ха-ха-ха-ха!

— Ну, а что же потомъ было, Андрей, послѣ совершенія убійства?

— Что было? То, что я дуракомъ самъ себя набитымъ выказалъ. Могъ бы убѣчь очень легко, а я пошелъ и заявилъ сельскому старостѣ: такъ и такъ, молъ, убилъ двухъ чертей, принимайте. Ну, и скрутили мнѣ руки. Дѣло рано утромъ было. А въ ночи столько всякаго начальства наѣхало, что цѣлый бы день вѣшать—не перевѣшать. А въ ледникъ идти, гдѣ мертвяки лежать, бояться! Никто лѣзть не хочетъ... „Иди, говорятъ, ты, Андрей, вытщи ихъ сюда“. Мнѣ чего! я полѣзъ. Гляжу: лежать, не шевелятся. Беру одну за волосы, другого за ногу и выволакиваю обоихъ на свѣтъ Божій: любуйся, честная компанія! Всѣ такъ и шарахнулись прочь... „Это твои, эти самые?“ — спрашиваетъ меня застѣдатель. — Мои, говорю, ваше благородіе. Не сумлѣвайтесь, отдѣлка самая чистая... Ха-ха-ха-ха-ха! Потомъ въ тифу и шесть недѣль пролежалъ: все лѣзли ко мнѣ, проклятые...

— Кто?

— Мертвяки эти... Такъ и налазять, такъ и налазять! Я все ножомъ ихъ въ брюхо пырять: прочь, окаянные, отвяжитесь!

Андрюшка Поваръ пошелъ за свое убійство въ работу на одиннадцать лѣтъ. Сколько разъ ни рассказывалъ онъ товарищамъ свою исторію (а я слышалъ ее отъ него, по крайней мѣрѣ, три раза), каждый разъ имъ овладѣвала почему-то неудержимая весе

лость, и часто онъ готовъ былъ надорвать, что называется, животики отъ смѣха. А между тѣмъ, въ обычной жизни это былъ арестантъ далеко не изъ худшихъ, тихій и работающій, не потерявшій окончательно совѣсти и не наплевавшій на честность. Впрочемъ, онъ производилъ впечатлѣніе придурковатаго парня. Обыкновенно смирный и незамѣтный въ толпѣ, онъ былъ чрезвычайно вспыльчивъ и чувствителенъ къ насмѣшкамъ. Любилъ, кромѣ того, прилгнуть и прихвастнуть въ разсказахъ о своей прошлой жизни: такъ, если онъ пьянствовалъ, такъ непременно ужъ круглый годъ безъ просыпу; если убивалъ на охотѣ сохатаго, такъ прямо съ домъ величиною; если видѣлъ страшную змѣю, такъ съ крыльями. Кобылка относилась поэтому къ Андриюшкѣ свысока и разсказамъ его не слишкомъ довѣрляла.

Помню не мало и другихъ разсказовъ, на меня наводившихъ трепетъ, а на сожителей моихъ самую, повидимому, беззабѣтную веселость. Однажды зашелъ разговоръ о мертвецахъ и связанныхъ съ ними повѣрьяхъ. Нѣкто Соколычевъ, одинъ изъ самыхъ бывалыхъ въ Шелайской тюрьмѣ арестантовъ, началъ съ сравнительно невинной исторіи.

— Дѣло было на Ленѣ. Я еще по первому разу въ Сибири былъ. Приспичило мнѣ съ товарищемъ—до зарѣзу денженками или припасами разжиться. Вотъ приходимъ мы ночью въ большое село; видимъ, на краю—нежилая избушка, а заперта на замокъ. Ну, думаемъ, видно клѣтъ, тутъ пожива предстоитъ. Снимаемъ замокъ, заходимъ. Въ сѣнцахъ ничего нѣтъ. „Постой, говорю я товарищу, на стремѣ, а я пойду, въ той половинѣ пошарю“. Захожу туда, чиркаю спичку. Глядь: туши бараньи лежатъ... Вотъ радость-то! Только хотѣлъ было одну за морду снапать—ахъ, чортъ возми: мертвецъ!.. Штукъ ихъ десять лежатъ. Скоропостижные, значить, убитые и прочіе доктора дожидаются. Дѣло зимой. Ага! думаю: сострою-жъ я надъ тобой штуку, испытанье сдѣлаю... Выхожу къ товарищу въ сѣнцы. „Ну, братъ, говорю, въ шляпѣ дѣло. Десять бараньихъ тушъ нашелъ. Иди, тащи одну али двѣ. Да ступай безъ огня, а то какъ бы не увидали“.—„Нѣтъ, говорить, безъ огня еще лобъ расшибешь, давай хоть пару спичекъ!“—На, говорю.—Вотъ онъ и пошелъ, а я замѣсто его на стремѣ сталъ. Какъ онъ вдругъ выскочить оттедова, ровно сумасшедшій... Куды? куды? кричу ему. Онъ ни слова въ отвѣтъ, мимо меня стрѣлой да въ двери! На другой только день къ полудню я его встрѣтилъ. Остался я одинъ,

обшарилъ всѣ углы, поснималъ съ покойниковъ рубахи и ушелъ.

— Что-жь, такъ и не узнали?

— Нѣтъ, узнали. Глупъ еще былъ—уличили. А впрочемъ, ничего особеннаго не было. Поддержали съ мѣсяцъ въ каталашкѣ и отпустили на всѣ четыре стороны. Ну, высыпали, конечно, штукъ тридцать.

— А я такъ вотъ не таковъ: я боюсь мертвяковъ!—сказалъ Водянинъ, онъ же Желѣзный Коть, извѣстный тюремный рѣмачъ и острякъ.—Право же, боюсь, хоть и самъ я лапчатый гусь. Самъ себѣ дивлюсь: какъ я своего татарина убивалъ и хоронилъ!

— А ты развѣ за татарина?—спросилъ кто-то.

— О! я, братъ, за большого барина, — отвѣчалъ кузнецъ:—у меня тоже не было въ грязь лицомъ ударено. Чисто было дѣльце обдѣлано. Кабы не баба проклятая, никто-бы никогда и не дознался.

— Какая баба?

— Да своя же жаба.

— Жена? Вотъ сволочь! чего-жь это она?

— Такъ, братецъ, подвела, что по гробъ жизни попомню. Она-то и заслала меня въ здѣшнюю каменоломню.

— Расскажи-ка путемъ, Желѣзный Коть.

— Идетъ. Ходилъ по нашему мѣсту мелочникъ-татаринъ. По двѣ сотельныхъ носилъ съ собой, да товару настолько же. Вотъ я разъ и говорю бабѣ: „Смотри, заведи съ нимъ торгъ покрупнее, мнѣ это будетъ половчае“. Зову татарина къ себѣ на дворъ: иди-ка, миляга, сдѣлаю у тебя кой-какой заборъ. Выходитъ моя баба, обступаетъ его середь двора и ну цѣлую кучу товара изъ короба выволакивать. Я начинаю побрякивать: „Куда ты эстолько закупить хочешь? У меня мелкихъ нѣтъ, онъ размѣнять не сможетъ“. Будто это меня тревожитъ. „Э! смѣется мой татаринъ: моя хоть сто цѣлковыхъ тебѣ размѣняетъ“. Ага! думаю: коли такъ, хорошо. Заплачу тебѣ ужю. Приношу изъ кузницы балодку фунтиковъ въ десять, становлюсь позади. Баба еще пуще стала торговаться и спорить. Теперь, вижу, въ самый разъ дѣльце спроворить. Хватъ его балодкой по головѣ! Онъ и сквырнулся на бокъ секунды въ двѣ. Тутъ я ему веревку на шею и утащилъ въ конюшню. Потомъ вмѣстѣ съ бабой мы пескомъ всѣ слѣды закрыли и затоптали; товары въ коробъ поклали и спрятали. Рѣшили: какъ наступитъ ночь, татарина въ болото уволочъ и въ прудъ спустить. Вотъ наступилъ ве-

черъ. Гляжу, а мѣсяцъ во всѣ лопатки свѣтитъ. Нельзя нести мертвяка—замѣтятъ. Ложусь опять спать. Просыпаюсь—еще того свѣтлѣе на дворѣ. Вотъ наказалъ Богъ! Плюнулъ со злости, еще разлогъ. Наконецъ, просыпаюсь—темно. Ну, такъ бы давно. „Возьмемъ, говорю, хозяйка, носилки, понесемъ“. А она, стерва, упираться вздумала: „какъ я ребенка оставляю? Онъ еще тутъ завеньгаеть, шуму надѣлаеть, народъ услышитъ, придетъ. Неси одинъ“. Разсердился я, плюнулъ ей въ косу: ладно, одинъ понесу! Пошелъ въ конюшню. А раньше того я шибко мертвяковъ боялся. Но тутъ крѣплюсь. Иду, за его берусь. Подтянулъ ему веревкой ноги къ спинѣ и посадилъ въ тачку... вотъ такъ...

Желѣзный Котъ сталъ на колѣни, показывая, какъ мертвецъ сидѣлъ у него въ тачкѣ.

— Вывезъ за ворота, повезъ въ болото. Трудно было болотомъ ѣхать. Чуть гдѣ кочка, тачка моя кувыркъ на бокъ вмѣстѣ съ мертвякомъ. Вотъ этакъ.

Желѣзный Котъ самъ повалился на бокъ.

— А гдѣ поболѣ толчокъ, тамъ мой мертвякъ и вовсе изъ тачки скокъ. Что тутъ дѣлать? Поднимаю тачку, опять его туды кладу.

Разсказчикъ при этомъ опять подымается на колѣни, вся камера залпвается смѣхомъ, глядя на это живое представленіе.

— Ну, и Желѣзный-же Котъ! прямо два съ боку... Это не котъ, а обьяденье.

— Ёду, братцы мои, далѣ. Сдѣлаешь шага три-ли, два-ли—кувыркъ опять мой татаринъ!

Желѣзный Котъ опять ложится на бокъ, приводя зрителей въ неистовое веселье.

— И долго такъ я бился, покамѣстъ черезъ болото къ пруду его не перевезъ. Ну, думаю, теперь слава Богу! Спущу туды—и назадъ въ путь-дорогу. Бросаю въ прудъ. А заводъ-то ночью не работалъ \*), воды въ прудѣ оказалось мало, двѣ четверти всего до дна. Не тонетъ мой татаринъ да и на! Я его на одинъ бокъ, на другой—торчитъ, ничего не подѣлать. Пришлось снова вытащить, въ тачку мокраго посадить, опять тащить. Привезъ, наконецъ, къ золотомойной ямѣ. Яма будетъ съ нашу камеру, на днѣ вода. Миѣ бы его вверзить туда, да бока-то у ямы не ровные. Мертвякъ мой покатился, да гдѣ-то съ боку и зацѣпился. Не захотѣ-

\*) Дѣйствіе происходитъ въ Пермской губерніи. *Прим. авт.*

лось мнѣ туда лѣзть. Осерчалъ, я плюнулъ, махнулъ рукой и пошелъ домой. На утро пошелъ къ Агапову, фартовцу одному, и сговорился съ нимъ объ товарѣ, куда принести и что. На грѣхъ подслушай насъ его баба. Какъ попался татаринъ мой въ ямѣ на глаза, у Агапова въ числѣ прочихъ сдѣлали обыскъ и нашли ситцу полштуки. Его сейчасъ же, голубчика, и въ руки. Цопъ въ тюрьму, во кромѣшную во тьму! Баба его испужайся и покажи на меня, что вотъ, молъ слышала разговоръ мужа съ кузнецомъ объ товарѣ. И меня, молодчика, тоже забрали. Приходить моя баба ко мнѣ на свиданье, рассказываетъ, кого да кого еще забираютъ. Ключкина, молъ, тоже заарестовали, нашли аршинъ ситцу, и свидѣтели показываютъ, что татаринъ къ нему въ тотъ день заходилъ, а овъ, дуракъ, отпирается. Я думаю себѣ: намъ въ пользу этотъ аршинъ. Ты ему, баба, еще подкинь. А тутъ еще и другое славное дѣльце наклевывалось у насъ съ Агаповымъ. Солдатъ одинъ высидочный соглашался въ сухарники идти, снять на себя убійство. Ужъ сговорились, какъ и что: 75 рублей денегъ, сапоги, шаровары плисовые, двѣ рубахи шелковыхъ, красную и синюю. Не будь моя баба розинкою — оказался бы я на волѣ. Жду ее на другое свиданіе. День проходитъ и два, и три, и недѣля цѣлая. Неидетъ баба. Вызываетъ меня слѣдователь: „Твоя, говоритъ, жена созналась“. Читаетъ мнѣ ея показаніе: все, какъ было, въ самую точку обсказано. У бабы, извѣстное дѣло, рта не замазано.

— Вотъ стерва! Что-жъ это ей въ башку взбрело? Надоумилъ, знать, кто?

— Вѣстимо, надоумили. Послѣ-то сама ревма ревѣла, въ ногахъ у меня валялась. Думала, вишь ты, мнѣ лучше будетъ, коли сознаюсь во всемъ! Что тутъ дѣлать? Поругалъ ее, поругалъ, въ зубы малость посовалъ, душу облегчилъ, да и простилъ. Пусть, говорю, дѣти не пропадаютъ, на меня жалобы послѣ не имѣютъ, я тебя отъ грѣха отстороню, все возьму на себя. И точно: такое показаніе далъ, что судъ ее вполне оправдалъ, мнѣ одному двадцать лѣтъ накачалъ. Только баба-то шельмой оказалась. Я рассчитывалъ, она по гробъ жизни мнѣ обязана послѣ этого будетъ, въ каторгу за мной поидетъ. Пока тянулись судъ да дѣло, она и точно на шеѣ у меня висѣла, посулами да общаньями тѣшила меня; а какъ вынулъ ее изъ огня, она не пришла и проститься. Посиживай теперь, милъ дружокъ, засадила я тебя въ хорошій мѣшокъ!



— Ха-ха-ха-ха-ха!

— А что, Миколанчъ,—обратился внезапно ко мнѣ Желѣзный Котъ,—могу-ль я ее, гадину, силой къ себѣ привести?

— Какъ это силой?—удивился я.

— А такъ. Нѣтъ ли закону такого, чтобы мужъ и въ каторгѣ могъ жену къ себѣ по этапу вытребовать?

— Нѣтъ, нѣтъ такого закона. Да если она не хорошо съ вами поступила, зачѣмъ она вамъ? И жалѣть ее нечего!

— Да мнѣ чего вѣдь жалко? Приди она сюды—прошлась бы по ей моя палка! Такъ бы славно прошлась, что попомнила бы напередъ, каковъ я есть Желѣзный Котъ. Нелзя-ли какъ, Миколанчъ, писмецо такое ей сварганить, притвориться, будто скучаю я по ей шибко, чтобы обманомъ вызвать?

— Такихъ писемъ я, Водянинъ, не пишу. Ко мнѣ съ такими просьбами не обращайтесь.

— Ха! да почему жъ? Что тутъ такого?

— То, что я былъ бы участникомъ обмана.

— Да обманъ-то не ко злу вѣдь былъ бы? Не на смерть же я ее забилъ бы? Такъ поучилъ бы только легонько, для памяти. А потомъ опять стали бы жить да поживать. Мнѣ дѣтей пуще всего жалко. Теперь бы старшаго къ ремеслу пора приучать. И самъ бы я въ вольную команду ранѣ вышелъ, человѣкомъ опять сталъ бы. Цѣль бы у меня была. А теперь я что? Пропавшая душа — одно слово. Выду на волю, — либо бродяжить пойду, либо въ новую втюрюсь бѣду. А безъ бабы какъ сюда дѣтишекъ достанешь?

Впослѣдствіи я убѣдился, что Водянинъ былъ отчасти правъ. Будь у него какая-нибудь цѣль въ жизни, онъ еще могъ бы стать на честную дорогу. Въ характерѣ его были нѣкоторыя очень хорошія черты. На слово, данное имъ товарищу, можно было смѣло положиться; лицемѣрія въ немъ совсѣмъ не было; дѣтей своихъ онъ очень любилъ, иногда со слезами вспоминалъ о нихъ и, не желая писать женѣ, освѣдомлялся о нихъ черезъ тестя и посылалъ имъ гостинцы. Отсутствіе жадности также пріятно бросалось въ глаза въ этомъ человѣкѣ. Заработывая въ качествѣ кузнеца порядочныя для арестанта деньги, онъ дѣлилъ ихъ пополамъ съ молотобойцемъ Ефимовымъ, что вовсе не полагалось по правиламъ мастеровыхъ.

## XXII.

## Ефимовъ.—Сокольцевъ.

Заговоривъ о Желѣзномъ Котѣ, обрисую ужъ вкратцѣ и его молотобойца Ефимова. Это былъ совсѣмъ другого рода типъ. Водянинъ сошелся съ нимъ, какъ съ землякомъ, сблизило ихъ также и мастерство. Какъ-то случайно надзиратели назначили ихъ вмѣстѣ въ кузницу и потомъ, по привычкѣ, не разрознивали въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. Станнымъ даже показалось бы всѣмъ, еслибы Водянина и Ефимова назначили въ разные мѣста. Даже во время новыхъ размѣщеній по камерамъ ихъ всегда помѣщали вмѣстѣ. Вмѣстѣ обѣдали они изъ одного бака, вмѣстѣ пили чай, по-ровну дѣлили всѣ заработанные деньги. Однимъ словомъ, можно было подумать, что они друзья закадычные. А между тѣмъ, на дѣлѣ было совсѣмъ другое. Ефимовъ, не смотря на все свое самолюбіе, дѣйствительно, велъ себя съ Водянинымъ осторожно, ни въ чемъ ему не перечилъ и во всемъ уступалъ; простой расчетъ заставлялъ его поступать такъ... Желѣзный Котъ удѣлялъ ему половину всего заработка, тогда какъ обыкновенно кузнецы даютъ молотобойцамъ лишь ничтожную часть, и онъ могъ сыскать себѣ десятокъ другихъ такихъ же молотобойцевъ, отнюдь не хуже.

За то Водянинъ, человекъ вообще очень покладистый и мягкій, не стѣснялся высказывать Ефимову въ глаза такую горькую правду, которой тотъ, съ его самолюбіемъ, ни отъ кого другого не сталъ бы спокойно выслушивать. Я уже сказалъ, что это была натура совсѣмъ особаго рода. Родомъ онъ также былъ пермякъ и, хотя изъ мѣстности болѣе глухой, не заводской, а земледѣльской, но тоже достаточно уже развращенной. Въ работу пришелъ за убійство двухъ пріѣзжихъ торговцевъ. По словамъ Ефимова, идея убійства явилась у него совершенно внезапно, благодаря глухому лѣсу, въ которомъ онъ встрѣтилъ свои жертвы. При своемъ гигантскомъ ростѣ и силѣ онъ живо съ ними управился и всѣ слѣды скрылъ самымъ тщательнымъ образомъ. Подозрѣніе никогда бы не пало на него, и погибъ онъ, только благодаря чисто сумасшедшей случайности — *ложному* оговору и *ложной* уликѣ. Одна женщина, встрѣтившая купцовъ въ день убійства, показала, что встрѣтила также и Ефимова, осторожно выходившаго изъ того же лѣсу; а между тѣмъ, въ дѣйствительности, она видѣла совсѣмъ другого че-

ловѣка, только похожаго на него ростомъ. Кромѣ того, при обыскѣ нашли у Ефимова рубашку со свѣжимъ пятномъ крови, которая на самомъ дѣлѣ была не человѣческая, а телячья кровь. Еще нѣсколько другихъ такихъ же мнимыхъ уликъ сложились вмѣстѣ столь роковымъ образомъ, что Ефимовъ, до конца не сознававшійся въ убійствѣ, осужденъ былъ на пятнадцать лѣтъ каторги. Это обстоятельство сильно его поразило. Онъ много разъ говорилъ мнѣ, что хорошо испыталъ, какъ невыгодно быть мошенникомъ, и что впредь станетъ жить только честнымъ трудомъ.

— Вѣдь вотъ всѣ, кажется, слѣды укрылъ, чисто все обдѣлалъ, ни одной справедливой улики не оставилъ, а въ каторгу попалъ! И сколько я ни наблюдалъ, рѣдко-рѣдко какое убійство не открытымъ оставалось.

— А раньше вы, Ефимовъ, занимались какими-нибудь мошенничествами?

— Ни Боже мой! И вся семья у насъ честная!

— Чего-жъ ты, Еграха, врешь?—оборвалъ его Чирокъ:—а зачѣмъ же братъ у тебя по Якутскому трахту сосланъ?

— Ага! поймалъ тебя Чирокъ на крючокъ,—загоготала радостно вся камера, почему-то крайне недоброжелательно относившаяся къ Ефимову.

— Братъ мой совсѣмъ по другому дѣлу сосланъ,—смущенно отвѣчалъ Ефимовъ:—не по мошенническому.

— По святому, небойсь?—ядовито продолжалъ приставать Чирокъ.

Ефимовъ молчалъ; всѣ ехидно улыбались и переглядывались между собою. Мнѣ становилось яснымъ, что только мы съ Чиркомъ не понимаемъ, въ чемъ дѣло.

— Да они скопцы!—не выдержалъ, наконецъ, Желѣзный Котъ, давно уже сердито ерзавшій на своихъ нарахъ.—У нихъ вся деревня скопческая... И братъ его за это жъ по Якутскому пошелъ... Одинъ Еграшка какимъ-то чудомъ не оскотился...

— Тыфу! Тыфу!—отплевывался Чирокъ:—вотъ ненавижу этихъ людей... Самые супротивные люди! Чтобъ свое тѣло я сталъ рѣзать, себя увѣчить? Да лучше-жъ совсѣмъ помереть. Изъ чего-жъ тогда и жить, коли это... отрѣзать? Я почти старичонко ужъ, а и то въ надеждѣ еще живу, что на волю выду, опять человѣкомъ стану.

— Ты судишь, Чирокъ, какъ всѣ мірскіе люди судятъ,—робко вступался за скопцовъ красный, какъ ракъ, Ефимовъ:—а они лю-

ди особаго сорту... Они объ небѣ думаютъ, потому въ Писаніи сказано...

— Паскудники вы окаянныя!—перебивалъ его Чирокъ, подерживаемый общимъ одобреніемъ:—объ небѣ вы думаете? Гадовъ тавихъ, какъ ваши скопцы, и свѣтъ не создавалъ. Самый двуликій народъ. И жадности въ ихъ сколько, жадности этой сколько сидитъ! Объ небѣ они думаютъ... Тыфу! ты почему-жъ уцѣлѣлъ?

— Такъ какъ-то не пришлось. Рано женился. Вѣдь не неволять, по доброму тоже изволенью печать принимаютъ. Было и у меня, конечно, желаніе, только бѣсъ пересилилъ, міръ плѣнилъ.

— Вотъ дуракъ! Бѣсъ, говорить, пересилилъ. Да гдѣ-жъ и бѣсовъ-то искать, какъ не въ вашей сехтѣ? Знаю я ее хорошо. Что у васъ тамъ дѣлается, какъ на богомолье тайное сходитесь!

— Ничего дурного не дѣлается, это все поклепы одни. Слыхалъ я.

— Ты, вѣстимо, своихъ застаивать будешь. Да меня, братъ не проведешь! Я тоже изъ тѣхъ вѣдь мѣстовъ. Самое поганое племя—скопцы.

— Что вѣрно, то вѣрно,—опять не выдержалъ Желѣзный Котъ:—и что скоплѣнные у нихъ, что не скоплѣнные—одна порода таврѣная! Жадные, лицемѣрные! Посмотрите хоть на Еграфа. Вѣдь другого такого жиды съ огнемъ сыскать трудно. Надъ каждой копѣйкой трясется, ровно осиноый листь, на деньгахъ ровно песь цѣнной при амбарѣ сидитъ!

При послѣднихъ словахъ Ефимовъ, видимо, страшно оскорбившись, но не желая заводить ссоры съ Желѣзнымъ Котомъ, съ сердцемъ махнулъ рукой и, весь пылая, какъ огонь, выбѣжалъ изъ камеры. А за глаза его еще сильнѣе начали ругать и костить на всѣ корки.

Дѣйствительно, Ефимовъ былъ страшно скупъ. Въ дорогѣ онъ держалъ майданъ; теперь, будучи немного грамотнымъ, онъ велъ счетъ издержанныхъ вмѣстѣ съ Желѣзнымъ Котомъ денегъ и цѣпко хватался за каждый грошъ. Если случалось ему потихоньку отъ начальства купить молока или мяса, онъ никогда не приглашалъ къ своей трапезѣ товарищей и этой скупостью своей, видимо, стѣснялъ кузнеца, имѣвшаго болѣе открытый нравъ и щедрое сердце. Мнѣ кажется, только слабость характера мѣшала послѣднему порвать съ Ефимовымъ всякія отношенія; онъ страшно не любилъ его и часто, не вытерпѣвъ, высказывалъ въ глаза рѣз-

кія обличенія.—Жена Ефимова рѣшила пріѣхать къ нему въ каторгу и, уже отправившись въ дорогу по этапамъ, выслала мужу на храненіе нѣсколько десятковъ, рублей, вырученныхъ отъ продажи имущества. Я посоветовалъ Еврафу отправить ей заказныя письма въ Красноярскъ, Нижнеудинскъ и Иркутскъ, города, находившіеся на ея пути. Ефимовъ задумался.

— Конечно, не мѣшало бы послать,—согласился онъ, наконецъ:—только можно, я думаю, и простенькія...

— Вѣстимо, лучше простенькія,—поддакнулъ Желѣзный Котъ такъ, что я и не примѣтилъ сначала тонкаго яда въ его словахъ:—три заказныхъ письма—вѣдь это лишнѣхъ 21 копѣйка... На 21 копѣйку можно семью въ теченіе двухъ дней прокормить!

По наивности, я сталъ даже спорить съ Желѣзнымъ Котомъ, доказывая ему, что нечего быть столь расчетливымъ, когда дѣло идетъ о спокойствіи одинокой женщины съ тремя маленькими дѣтьми на рукахъ, ѣдущей въ невѣдомый край и на невѣдомую жизнь труднымъ этапнымъ путемъ.

— А все же лучше простенькія-то, Миколаичъ,—возразилъ серьезно Желѣзный Котъ:—простенькія, по моему, куда лучше!

И вдругъ разразился громкимъ, насмѣшливымъ хохотомъ, который поддержала и вся камера, опять страшно переконфузивъ Ефимова.

Ефимовъ держался всегда солидно и дѣловито; онъ считалъ себя неиспорченнымъ, честнымъ человекомъ, гораздо выше и лучше всѣхъ другихъ арестантовъ. Онъ страшно всегда обижался, когда ему напоминали, что и самъ онъ двѣ души на тотъ свѣтъ отправилъ. Свое убійство онъ считалъ почему-то неважнымъ проступкомъ, чѣмъ-то вродѣ несчастнаго эксперимента, который со всякимъ можетъ случиться, и убѣжденно завѣрялъ, что въ другой разъ не наживетъ себѣ каторги. Я тоже склоненъ думать, что въ другой разъ Ефимовъ семь разъ отмѣритъ прежде, чѣмъ рѣшится отрѣзать кому-нибудь голову: „выгоды“ не нашелъ онъ въ этомъ ремеслѣ... Однако, я никогда не поручился бы, что мой Еврафу устоитъ противъ соблазна преступленія, если будетъ имѣть полную гарантію того, что оно пройдетъ вполне безнаказанно и принесетъ очень большой барышъ.

Изъ новыхъ моихъ сожителей былъ одинъ арестантъ, давно уже обращавшій на себя мое вниманіе. Фамилія его была Соколовъ. Прежде всего онъ бросался въ глаза самой выѣшностью:

плотный, небольшого роста брюнетъ лѣтъ сорока, онъ отличался красотою такого свойства, которое совершенно чуждо типу русскаго крестьянина. Въ тонкихъ чертахъ лица, правильномъ, почти изящномъ очеркѣ чувственныхъ губъ, въ тонкости блѣдно-матовой кожи, бархатистомъ выраженіи большихъ черныхъ глазъ, мраморной шеѣ и во всѣхъ движеніяхъ было что-то истинно-аристократическое, что создается только десятками холеныхъ, не занимающихся физическимъ трудомъ поколѣній. А между тѣмъ, Соколицевъ былъ простой неграмотный крестьянинъ одной изъ внутреннихъ русскихъ губерній, рано свихнувшійся съ пути и попавшій въ Сибирь. Впрочемъ, по его словамъ, онъ былъ изъ дворовыхъ одного богатаго графа, и это обстоятельство невольно наводило на мысль объ истинномъ его происхожденіи... Среди обитателей тюрьмы Соколицевъ пользовался репутаціей одного изъ самыхъ умныхъ арестантовъ, отнюдь не „дешевыхъ“ и выдавшихъ на своемъ вѣку виды. Каторжный срокъ его былъ сорокъ четыре года, и дѣло, которымъ онъ заработалъ свою каторгу, было одно изъ самыхъ ужасныхъ, о какихъ когда-либо мнѣ приходилось слышать. Глядя на это красивое, умное лицо, слыша этотъ мягкій голосъ, говорящій всегда такъ осторожно и вкрадчиво, я съ трудомъ иногда вѣрилъ, что передо мной стоитъ тотъ самый Соколицевъ, который могъ съ спокойнымъ духомъ продѣлывать подобныя вещи; а между тѣмъ, страшные разбойничьи подвиги его были истинной, невымышленной исторіей.

Соколицевъ жилъ на поселеніи въ Иркутской губерніи въ качествѣ работника у одного зажиточнаго „челдона“. Послѣдній занимался скупкой золота у „хищниковъ“ и прискоковыхъ рабочихъ. Дознавшись однажды, что въ домѣ хозяина скопилось около полутора пудовъ золота, Соколицевъ подговорилъ одного товарища-поселенца и, впустивъ ночью въ домъ, придушилъ общими силами хозяина, его жену и пятерыхъ малютокъ. Потомъ, забравъ золото и наличныя деньги, которыхъ также было не мало, спряталъ ихъ въ лѣсу въ заранѣ приготовленномъ мѣстѣ. Товарищъ послѣ этого ушелъ къ себѣ, а Соколицевъ, вернувшись въ домъ, заперъ его изнутри, запалилъ со всѣхъ концовъ и, выйдя въ окно, улегся въ сѣняхъ, притворяясь спящимъ. Когда сбѣжался народъ, пожаръ развился уже такой волною, что не только не было никакой возможности потушить его, но даже и войти въ комнаты. Кое-какъ удалось проникнуть лишь въ сѣни, тоже объятые пламенемъ и на-

полненный дымомъ, и вытащить оттуда лежавшаго безъ чувствъ и сильно опаленнаго уже Сокольцева. Звѣрски совершенное преступленіе такъ ловко было обставлено, что ни тѣни подозрѣнія не могло упасть на работника, который самъ казался пострадавшей жертвой. Трупы убитыхъ сгорѣли къ тому же до тла. Предполагали чью-то злодѣйскую руку, но искали ее совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ. На бѣду Сокольцева, товарищъ его былъ гораздо неосторожнѣе и далъ какому-то другому поселенцу размѣнять сторублевую бумажку. Последняго почему-то заподозрили и арестовали, и онъ указалъ на того, кто далъ ему деньги. У того нашлись нѣкоторыя вещи убитыхъ. Звено по звену, показаніе за показаніемъ, и судебный слѣдователь докопался до самого Сокольцева. И онъ, и товарищъ были осуждены въ каторжныя работы безъ срока; только золота не могли сыскать. Оно такъ и осталось закопаннымъ гдѣ-то въ лѣсу, поддерживая въ осужденныхъ бодрость и мечту о побѣгѣ. Товарищъ Сокольцева попалъ, впрочемъ, на Сахалинъ, откуда не такъ-то скоро „срываются“, а Сокольцеву, дѣйствительно, удалось въ дорогѣ нанять сухарника, шедшаго на поселеніе, придти вмѣсто него въ назначенную волость и немедленно отправиться оттуда на розыски сокровища. „Но кобылка нетерпѣлива“, рассказывалъ про себя самъ Сокольцевъ: „ей всегда хочется сразу двухъ или даже трехъ зайцевъ поймать“. Раньше онъ сжегъ домъ, въ которомъ жилъ одинъ навредившій ему свидѣтель; потомъ, желая разжиться деньгами для „перваго обзаведенья“, запутался въ новый грабежъ съ убійствомъ и былъ снова арестованъ. Въ Иркутской тюрьмѣ его, конечно, уличили, и онъ подъ прежнимъ своимъ именемъ опять отправился на каторгу, на этотъ разъ уже на 'сорокъ четыре года. Вотъ главное дѣло, которое привело Сокольцева въ Шелайскій рудникъ и сомнѣваться въ истинности котораго было невозможно. Но если вѣрить рассказамъ арестантовъ о Сокольцевѣ и ему самому, то это была лишь ничтожная частица его походовъ въ Россіи и Сибири: ему было уже за сорокъ лѣтъ, и въ волосахъ кое-гдѣ серебрилась сѣдина. Къ сожалѣнію, трудно было рѣшить, гдѣ правда, гдѣ выдумка въ рассказахъ о себѣ самого Сокольцева, гдѣ серьезная рѣчь, а гдѣ тонкая насмѣшка надъ слушателями. Странный это былъ человекъ. Онъ отнюдь не принадлежалъ къ тѣмъ арестантамъ, которые въ своей же средѣ слынутъ „боталами“ и „залива-лами“, и тѣмъ не менѣе всѣ отлично понимали, что ни одному его разсказу нельзя съ полнымъ спокойствіемъ вѣрить. Чрезвычайно

умный, Соколицевъ, казалось, наслаждался своимъ умомъ и превосходствомъ надъ окружавшей его шпанкой; ему, повидимому, ужасно нравилось сегодня защищать передъ ней одно, завтра съ не меньшимъ успѣхомъ доказывать совсѣмъ другое, противоположное тому положеніе. Это былъ своего рода тюремный софистъ и Мефистофель. Казалось, онъ игралъ своими собесѣдниками, какъ кошка съ мышью, и часто, начавъ, повидимому, вполне серьезный разговоръ, шедшій въ униссонъ съ общими мнѣніями, незамѣтно ни для кого доводилъ его до такихъ явныхъ абсурдовъ и шутовскихъ несообразностей, что собесѣдники только рты разѣвали и, глядя на него, какъ бараны, не знали, смѣяться-ли имъ, или сердиться... Такъ, онъ пресерьезно рассказывалъ однажды, какъ во время жатвы за какое-то оскорбленіе на него напали тридцать двѣ бабы и сначала здорово было побили его, но какъ потомъ онъ извернулся и, схвативъ лежавшій по близости колъ, десять изъ нихъ убилъ до смерти, десяти другимъ выкололъ глаза, еще нѣсколькихъ изувѣчилъ другимъ способомъ, и только очень немногимъ удалось спастись живыми и невредимыми. Рассказывалъ онъ эту исторію съ такими реальными подробностями, съ такимъ живымъ и вмѣстѣ страшнымъ юморомъ, что положительно трудно было сказать (особенно при первомъ впечатлѣніи), все ли была въ ней выдумка, или же тайлось и зерно правды. Когда надъ Соколицевымъ начинали смѣяться и говорить, что онъ опять „заливаетъ“, онъ ничуть не обижался и самъ начиналъ лукаво посмѣиваться—неизвѣстно, впрочемъ, надъ кѣмъ: надъ собой или надъ слушателями. Внутренняя ли сила, чувшаяся въ этомъ человѣкѣ, громкая ли слава, или что другое, но, не смотря на свое несомнѣнное „заливанье“ и „ботанье“, Соколицевъ, повторяю, считался однимъ изъ серьезнѣйшихъ арестантовъ, изъ такихъ, которые при случаѣ ни передъ чѣмъ не остановятся и ни надъ чѣмъ не задумаются...

Разъ я самъ слышалъ рассказъ Соколицева о томъ, какъ, скитаясь по бродяжеству, голодный, какъ собака, и безъ гроша денегъ, онъ придушилъ попавшуюся на встрѣчу старушку-богомолку и напелъ у нея сорокъ копѣекъ денегъ.

— Ну, ты, должно быть, и теперь, какъ собака, жрать хочешь, коли такіа пули отливаешь,—замѣтилъ на это одинъ изъ его пріятелей, тоже серьезный арестантъ:—надо, видно, чаемъ тебя напоить, меньше врать будешь.

Соколицевъ засмѣялся въ отвѣтъ своимъ обычнымъ бархатнымъ



смѣхомъ, и я такъ и остался въ недоумѣніи, точно-ли онъ убилъ богомолку, или сейчасъ только придумалъ это ради краснаго словца. За то не разъ слыхалъ я отъ него и другое. Онъ искренно, повидимому, негодовалъ на тѣхъ бродягъ, которые за копѣйку готовы совершить самое ужасное преступленіе, цѣлую семью вырѣзать.

— Я варваръ,—говорилъ онъ, бывало, въ такихъ случаяхъ:—такой варваръ, какихъ, можетъ быть, и свѣтъ мало видывалъ; а только я соглашусь лучше съ голоду помереть, чѣмъ убить человѣка за одежду или за пять рублей денегъ. Другое дѣло изъ мести или за большой капиталъ, который сразу дастъ случай кадило раздуть, на дорогу стать.

Такой именно репутаціей и пользовался онъ среди товарищей, не смотря на всѣ свои „заливанья“ и выдумки о прошлой своей жизни. Послушать Сокольцева всегда бывало любопытно; но отталкивала меня одна его черта: онъ былъ страшный, утонченный циникъ, и распушенный языкъ его не имѣлъ соперниковъ себѣ во всей тюрьмѣ. Ему и въ этомъ отношеніи нравилось доходить до геркулесовыхъ столбовъ, и часто, начавъ что-нибудь рассказывать вполне разумно и благородно, онъ переходилъ неожиданно къ такимъ пошлостямъ и мерзостямъ, что отпугивалъ половину даже своихъ неразборчивыхъ и охочихъ до всякаго цинизма слушателей.

Для каждаго было ясно, что такой человѣкъ не имѣетъ въ виду спокойно отсиживать въ Шелайской тюрьмѣ своей безконечный срокъ, и что въ умѣ его бродитъ постоянная забота о побѣгѣ или, по крайней мѣрѣ, о переводѣ въ другую, болѣе вольготную тюрьму. Однажды я спросилъ Сокольцева, полагается-ли ему вольная команда, и когда именно указана она въ его „квитѣ“ (такъ зовется билетъ, выдаваемый каждому арестанту, съ расчисленіемъ его срока). Сокольцевъ разсмѣялся и отвѣчалъ, что онъ немедленно же уничтожилъ квитокъ, какъ только получилъ его, не полюбопытствовавъ даже узнать, что въ немъ написано.

— Почему такъ?

— А на что мнѣ вольная команда?

— Какъ на что? Оттуда уйти можно, а изъ тюрьмы вѣдь не такъ-то легко. Да знаете что: если вашъ срокъ точно считается со дня перваго судебного приговора, а приговору этому прошло уже, какъ вы говорите, двѣнадцать лѣтъ, то не такъ ужъ далеко теперь и срокъ вашего выхода въ вольную команду.

— Нѣтъ, ни къ чему она мнѣ,—отвѣчалъ, немного подумавъ, Соколицевъ:—по моему разумѣнью, изъ тюрьмы уйти духовому человѣку даже много легче. Тутъ ужъ на себя одного надѣнешся, ухо остро держишь. А тому, который легкаго обороту себѣ ищетъ, вольной команды ждать, цѣна грошъ. Ничего такой человѣкъ не стоитъ.

Отвѣтъ былъ красивъ и замысловатъ, но, должно быть, не такъ-то легко было подтвердить его фактами. Изъ вольной команды то-и-дѣло убѣгали арестанты, человѣкъ по десяти каждое лѣто (даже при Шелайской многочисленности команды), а изъ тюрьмы не было до тѣхъ поръ ни одной серьезной попытки къ побѣгу. Охрана тюрьмы, дѣйствительно, была обставлена прекрасно, и большинство серьезныхъ арестантовъ съ безнадежно-огромными сроками на плечахъ мечтало больше опредѣлительномъ переводѣ въ другія тюрьмы, чѣмъ о побѣгѣ изъ Шелайскаго рудника. Ниже я посвящу этому предмету особую главу, теперь же скажу только о Соколицевѣ, что при всемъ его умѣ и скрытности наружу выплыло одно дѣльце, показавшее всѣмъ, что и онъ мечталъ о томъ же. Соколицевъ былъ прекрасный столяръ и мебельщикъ и постоянно работалъ въ мастерской, находившейся за тюремной оградой; кромѣ него, работали тамъ еще слесарь Заботинъ изъ вольной команды и находившійся въ тюрьмѣ же бондарь Калинчукъ. Явившись однажды въ мастерскую, Соколицевъ обнаружилъ всѣ признаки большого волненія.

— Ты не знаешь, куда подѣвались мои пилки?—обратился онъ шопотомъ къ молодому бондарю.

— Какія пилки?—спросилъ тотъ удивленно.

— Мои... секретныя пилки... Значить, все открыто. Какая-нибудь сука донесла.

— Я и не зналъ даже. Откуда мнѣ было знать?

— Объ тебѣ я и не говорю ничего. Тутъ одинъ только человѣкъ могъ. Одинъ онъ и зналъ, кромѣ меня. Какъ вѣдь хорошо запрятаны были. Непремѣнно донесъ!

— Кто же это? Неужто Заботинъ?

Соколицевъ пожалъ плечами и ничего не отвѣтилъ.

— Что ты? Такой человѣкъ? Да вѣдь онъ твой товарищъ, другъ закадычный?

— Вотъ тебѣ и товарищъ. Нынче ни на кого, братъ, нельзя положиться. Если хочешь знать, такъ я давно уже подозрѣнiе имѣлъ, что онъ—сука.

— Вотъ подлецъ! Вотъ мерзавецъ!— негодовалъ Калинчукъ, и скоро вся тюрьма знала, что у Сокольцева найдены въ мастерской пилки, и что доносъ сдѣланъ Заботинымъ. Пилки, дѣйствительно, оказались въ рукахъ начальства. Въ тюрьмѣ произведенъ былъ вскорѣ обыскъ, и въ подстилкѣ Сокольцева также оказались зашитыми двѣ маленькія пилки. Надзиратели, какъ только вошли въ камеру, такъ и бросились тотчасъ же къ его подстилкѣ. Доносъ не подлежалъ сомнѣнію. Заботина костили и такъ, и этакъ, клялись и божились, что, если только случится ему когда-нибудь вернуться въ тюрьму, поломаютъ ему ребра. Соколыцевъ ничего не говорилъ, но и онъ былъ, казалось, озлобленъ. Ждали, что Шестиглазый подвергнетъ его суровой карѣ; но онъ ограничился почему-то тѣмъ, что во время обыска провѣрилъ прочность тюремныхъ рѣшетокъ и усилилъ ночные дозоры подъ окнами. Прошло послѣ этого случая полгода, и Заботина, дѣйствительно, посадили въ тюрьму за какія-то художества. Всѣ съ любопытствомъ наблюдали, какъ встрѣтитъ его Соколыцевъ, имѣвшій больше всѣхъ право мстить ему. Но каково же было общее изумленіе, когда увидали, что онъ не только простилъ Заботину, но и снова съ нимъ подружился, сталъ вмѣстѣ пить и ѣсть. Для всѣхъ, даже самыхъ непроницательныхъ, стало тогда ясно, что если доносъ и былъ сдѣланъ, то *по просьбѣ самого же Сокольцева*, который хотѣлъ запугать Шестиглазаго и побудить его выпроводить себя въ другую тюрьму; но хитрость не удалась, и его оставили въ Шелайскомъ рудникѣ, окруживъ только болѣе зоркимъ присмотромъ. Молодой и горячій Калинчукъ страшно и открыто негодовалъ на Сокольцева за столь нахальный обманъ; что касается остальной шпанки, то выкинь подобную штуку другой, менѣе знаменитый и уважаемый арестантъ, на него бы всѣ ужасно озлились. Но Соколыцевъ былъ Соколыцевъ, и никто даже словомъ не смѣлъ его попрекнуть. Всѣ постарались поскорѣе выбросить изъ головы эту исторію, а въ глазахъ многихъ Соколыцевъ, благодаря ей, даже еще болѣе возвысился. Мнѣ лично она показала только лишній разъ, что человѣкъ этотъ для своего спасенія или выгоды не побрезгуетъ никакими средствами, не пощадитъ ни друга, ни недруга.

---

## XXIII.

## Демоны зла и разрушенія.

Въ знакомствѣ съ прошлымъ арестантовъ, съ ихъ, повидимому простой и въ то же время загадочной психологіей проходила моя жизнь въ новой камерѣ, тянулись длинные вечера безъ книгъ и тѣмъ же заслухъ, вносившаго такое осмысленное и пріятное оживленіе. По временамъ рассказы надоѣдали, и сожители мои придумывали какую нибудь игру, въ которой можно было поразмять кости и вдоволь пошумѣть. Одной изъ любимыхъ игръ въ этомъ родѣ были „жмурки“, игра, впрочемъ, совсѣмъ не похожая на ту невинную забаву, которою всѣ мы такъ наслаждаемся въ дѣтствѣ. Завязавъ туго-на-туго глаза несчастному, на котораго падалъ жребій, арестанты вооружались полотенцами и, подкрадываясь со всѣхъ сторонъ, немилосердно хлестали его по спинѣ и по чему попало (за исключеніемъ, впрочемъ, лица) до тѣхъ поръ, пока ему не удавалось поймать одного изъ палачей и поставить на свое мѣсто. Въ концѣ игры у всѣхъ почти оказывались багровые рубцы и кровоподтеки по всему тѣлу, не говоря уже о ломотѣ костей и разорванныхъ рубахахъ; но все это ничуть не уменьшало общаго пристрастія къ жмуркамъ. „Онѣ кровь разбиваютъ, говорили арестанты, что твоя баня!“ Гораздо большимъ препятствіемъ являлись окрики надзирателей, почти немедленно прибѣгавшихъ на страшный шумъ, поднимаемый игрою, и начинавшихъ стращать шалуновъ карцеромъ и докладами начальнику. Тогда шумъ понемногу утихалъ, и жмурки замѣнялись какой-нибудь другой, менѣе обращающей на себя вниманіе забавой. Такъ, являлись ловкіе акробаты, выдѣлывавшіе такіе фокусы, что всѣ только рты разѣвали и тщетно старались продѣлать то же самое. Маразгали ложились, напримѣръ, на полъ лицомъ вверхъ, а на полу, за своей головой, клали ложку или двугривенный, если таковой отыскивался въ камерѣ. Затѣмъ, выгибая постепенно спину, но не касаясь пола руками, онѣ ухитрялись взять въ ротъ лежавшій на полу предметъ и, быстро поднявшись, съ торжествомъ вскрикивали:

— Вотъ какъ!.. Пушай теперь другой!

Но изъ другихъ, къ общему удивленію, одинъ только Чирокъ, не смотря на свою кажущуюся нескладность и неуклюжесть, могъ продѣлать приблизительно то же самое, что дѣлалъ ловкій и гра-

ціозный Маразгали. Тотъ же Маразгали легко перепрыгивалъ безъ разбѣга съ однихъ нарѣ на другія, на разстояніи трехъ съ половиной аршинъ. Никто не могъ сдѣлать этого безъ разбѣга. Чирокъ похвастался, правда, но, не долетѣвъ до другихъ нарѣ, едва не разбилъ себѣ носа. Легко было и затылокъ сломать, и насилу удалось мнѣ уговорить публику бросить опасные эксперименты; но скоро затѣвали другое.

— Давайте, братцы, Чирку банки ставить,—предлагалъ вдругъ Желѣзный Котъ.

— Безстыжіе твои шары, за что? — вскидывался Чирокъ, на котораго, какъ на бѣднаго Макара, обыкновенно всѣ шишки сыпались.

— Да такъ, ни съ того, ни съ сего.

— Дѣло! — поддерживала Желѣзнаго Кота камера.

— Нѣтъ,—вмѣшивался Соколицевъ: — зачѣмъ же ни съ того, ни съ сего. Мы вину подыщемъ, по всей правдѣ поступимъ, по закону. Можно судить его.

— Судить! судить! — галдѣли всѣ.

— Да ошалѣли вы, што-ль, братцы? Я и такъ осужденъ, Богомъ и людьми наказанъ. За что меня, старичонку этакого, мучить?

— Молчать. Предсѣдатель лишаетъ тебя слова. Подсудимый! ты обвиняешься въ томъ, что утаилъ отъ Николаича еще одну душу.

Я спѣшилъ отказаться съ своей стороны отъ всякой претензіи на бѣднаго Чирка, хорошо зная, что за мерзость арестантскія „банки“.

— Что изъ того, камера не прощаетъ! — кричалъ Желѣзный Котъ и уже суетился вмѣстѣ съ Никифоромъ подлѣ Чирка.

— Стойте, черти! какую такую я душу скрылъ?

— А тетку-то... Тетку-то, про которую мнѣ ночью сказывалъ?

— Котикъ родной! да развѣ можно такъ товарищецкіе секлеты выдавать?

— Ага! „секлеты...“ Новая вина! Николаичъ, слышите, какъ опять выговариваетъ: секлеты?

— Банки! Банки! Пять банокъ поставить!

— Я не ученикъ... Караулъ!

— Заткните ему глотку скорѣе. Микишка, руки держи. Маразгали, рубашку вытягивай. Голову держите, кусается дьяволъ!

— Давай, давай, — съ радостью кидался было Маразгали помогать дикой забавѣ, но я останавливалъ его.

— Не ходи, Маразгали. Это мерзость.

— Ничаво, Николяичикъ, — просительно говорилъ онъ, жалобно на меня оглядываясь:—пять банка можно... нѣтъ худа банка...

— Худо, Маразгали, очень худо, не надо.

И Маразгали, слушаясь меня, печально отходилъ прочь. Но, улегшись рядомъ со мной на нары, онъ не могъ утерпѣть, чтобы отъ всей души не смѣяться громкимъ ребяческимъ смѣхомъ и хоть мысленно не участвовать въ страшной вознѣ, происходившей на противоположныхъ нарахъ, откуда слышались звуки лопавшихся банокъ и заглушенные крики злополучнаго Чирка.

Банки состояли въ томъ, что „палачъ“ оттягивалъ одной рукой кожу на обнаженномъ животѣ наказываемаго и быстрымъ ударомъ по ней другой руки приводилъ въ прежнее положеніе, „отрубалъ банки“. При самыхъ легкихъ ударахъ кожа багровѣла отъ нѣсколькихъ банокъ, а въ случаѣ серьезнаго наказанія послѣ двухъ банокъ могла уже брызнуть кровь.

— Разъ! два! три!—отсчитывалъ Желѣзный Коть свои удары по брюху Чирка:—четыре! пять! шесть!

— Стойте, окаянные, лишку дали! Пять присудили, а онъ шесть отсѣкъ.

— За это и Коту надо банки. Это несправедливо,—подтверждалъ Сокольцевъ, не принимавшій въ „игрѣ“ активнаго участія, но все время руководившій ею съ своихъ наръ.

— Нѣтъ, не банки, а ложки! — вскрикивалъ озлившійся Чирокъ.

— Ложки, такъ ложки. Одну слѣдуетъ отпустить.

— Не одну, а тоже шесть, какъ и мнѣ!

— Вишь ты, хитрый какой,—протестовалъ Желѣзный Коть:—тебѣ пять по закону дано было, по суду. Лишнюю одну я тебѣ отрубилъ, вотъ и получай свою, коли камера присуждаетъ. Я противъ общества нейду.

И Желѣзный Коть покорно улегся на нары и самъ заворотилъ себѣ рубаху. Чирокъ засуетился, забѣгалъ по камерѣ, отыскивая ложку. Лицо его сіяло, какъ хорошо намащенный блинъ: такъ живо предвкушалъ онъ упоеніе мекъ. Наконецъ, онъ выбралъ самую увѣсистую деревянную ложку. Подойдя затѣмъ къ голому животу кузнеца, онъ плюнулъ на него, растеръ плевокъ

рукою и съ крикомъ: „Подларжись, о-жгу!“ изо всей силы ударилъ по тѣлу донцемъ ложки. Желѣзный Коть охнулъ отъ жестокой боли и вскочилъ на ноги: животь съ одного удара поси-нѣлъ и вздулся... Всѣ захохотали. Подошедшій къ форточкѣ надзиратель опять прикрикнулъ:

— Въ карецъ, что-ль, захотѣли? Ей-богу, доложу начальнику. Завтра же всѣхъ васъ расселить по другимъ нумерамъ. Ни одного нумера такого шалопутнаго нѣтъ.

Послѣ этого всѣ притихли и начали понемногу укладываться спать. Заводятся тихіе разговоры. Толстякъ Ногайцевъ заявляетъ:

— Ну, и налопался жъ я сегодня. Солонины, пожалуй, фунта три сожралъ, огурцовъ соленыхъ полбоченка опросталъ.

— Гдѣ?—удивленно спрашиваютъ его.

— Въ штольнѣ на откатѣ былъ. А Монаховъ тамъ цѣлую кладовую устроилъ. Оно хорошо тамъ — холодокъ, погребъ на-стоящій... Вотъ я и залѣзъ туды. Теперь ажно все нутро воротить.

— Ну, это вотъ не хорошо,—назидательно замѣчаетъ ему Сокольцевъ.—Потому я такъ понимаю; ежели ты человѣкъ услужли-вый и потрудишься для него, тогда другое дѣло. А то онъ тебѣ ничѣмъ не обязанъ. Изъ-за васъ, вотъ, чертей, и довѣрія ника-кого нѣтъ къ нашему брату.

— Вѣстимо, изъ-за ихъ, сволочой,—слышатся и другіе голоса.

— Да не замѣтитъ вѣдь,—оправдывается Ногайцевъ. — Такъ съѣдено, что ничего нельзя замѣтить... Не зря же!

— Ну, коли не замѣтятъ, тогда хорошо, — подтверждаетъ Ефимовъ.

Кто-нибудь начинаетъ рассказывать о своей прошлой жизни, о своихъ преступленіяхъ, о другихъ тюрьмахъ, въ которыхъ приходилось ему сидѣть. Заводится споръ. Мысли такъ и переска-киваютъ у спорщиковъ съ одного предмета на другой, такъ что нерѣдко они сами тотчасъ же забываютъ, съ чего начали разго-воръ. Только что живописавъ, какъ голова скатилась у человѣка съ плечъ, промолвивъ: „Гриша! что ты сдѣлалъ?“—рассказчикъ вспоминаетъ уже о томъ, какая въ Тарской тюрьмѣ каша вели-колѣпная...

Мало-мальски отвлеченныхъ разговоровъ съ этими людьми по-ложительно невозможно вести. Какой-нибудь мелкій, ничтожный фактъ, приведенный вами или однимъ изъ вашихъ собесѣдниковъ въ видѣ примѣра, увлечетъ ихъ далеко въ сторону; предметъ бе-

сѣды забывается, и на первый планъ выступаетъ реальная дѣйствительность съ ея конкретными деталями и интересами. Такъ, однажды зашла рѣчь о томъ, кого чаще убиваютъ въ тюрьмахъ: надзирателей, или своего же брата-арестанта? Споръ на минуту сильно обострился; но вдругъ одинъ изъ главныхъ участниковъ его, услышавъ разсказъ объ одномъ убійствѣ въ Томской тюрьмѣ, сдѣлалъ поправку въ томъ смыслѣ, что расположеніе камеръ тамъ не совсѣмъ такое, какъ говорить его противникъ. Послѣдній сталъ возражать, и основной вопросъ былъ настолько всѣми забытъ и покинутъ, что бесѣда стала для меня не интересной, и я поспѣшилъ заснуть. Въ другой разъ зашелъ споръ о томъ, другъ ли человѣку собака или нѣтъ. Большинство стояло за то, что другъ. Тогда одинъ изъ арестантовъ началъ почему-то повѣствовать о своемъ дѣлѣ, о томъ, какъ онъ забрался съ товарищемъ въ одинъ домъ, какъ пыталъ старика-хозяина со старухой, требуя денегъ и разодравъ старику ротъ, а старуху посадивъ на колъ; дальше о томъ, какъ въ первый разъ сидѣлъ онъ въ тюрьмѣ и знакомился съ арестантскими обычаями, какъ жилъ потомъ въ Сибири... Ужасный разсказъ этотъ длился около часу, такъ что всѣ забыли уже о собакѣ, и многіе давно спали. Я одинъ недоумѣвалъ и, наконецъ, спросилъ:

— При чемъ же тутъ собака-то?

— Какая собака?

— Да вѣдь мы начали съ того, другъ она или врагъ человѣку?

— Такъ вотъ объ этомъ же самомъ и говорилъ я.

— То есть какъ объ этомъ?

— Да такъ. Я забылъ только сказать, что собака залаяла и выдала насъ... Какой же она другъ человѣку? Кабы она была другъ, она-бы меня не погубила. А то убили мы съ товарищемъ старика и старуху, она возьми и залай! Наша же собака. Насъ и поймали. Какой же она другъ? Она первый, значить, врагъ.

Такова ассоціація идей въ темныхъ умахъ, и такова логика развращенныхъ сердецъ...

Заводились иногда общіе разгоры и на широкія общественныя темы. И здѣсь также приходилось поражаться дикостью взглядовъ и душевной очерствѣлостью моихъ невольныхъ товарищей... Между прочимъ, почти всѣ безъ исключенія отличались страшной ненавистью къ „желѣзнымъ носамъ“: такъ называли они командующіе классы—дворянъ, купцовъ и чиновниковъ (попы зовутся на этомъ странномъ жаргонѣ „молотягами“). Предлагались самыя дикіе,



невозможно-кравовые проекты соціального переустройства, проповѣдывались такіа разрушительныя теоріи, какія не снились ни одному анархисту въ мірѣ!

— Я бы вотъ что сдѣлалъ,—кричалъ нетерпѣливый Никифоръ:—я бы крестьянъ на мѣсто господъ поставилъ, посадилъ бы столовать да пировать, а дворяновъ да поповъ землю бы пахать заставилъ, насъ кормить, какъ мы ихъ теперь кормимъ...

— Ничего, братъ, съ этаго бѣ не вышло,—отвѣчалъ дальновидый Соколицевъ:—дворянъ сравнительно съ нашимъ братомъ незначущее число, сотая развѣ какая часть. Много-ль бы они наработали, особливо съ непривычки? Теперешніе крестьяне на должности господъ съ голоду бѣ подохнуть должны! Нѣтъ, тутъ одно, братъ, средство остается: крышку всѣмъ имъ сдѣлать—и конецъ! Вотъ, какъ Пугачевъ у Пушкина хотѣлъ...

— Вѣстимо, крышку имъ всѣмъ, гадамъ!—улекался такимъ предложеніемъ Чирокъ, энергично почесывая брюхо:—И нашъ же народъ, право, дурной! Безъ счету насъ, а ихъ—тыща—другая, не болѣ, —и мы покоряемся!

(Ни у кого изъ этихъ мечтателей, замѣчу въ скобкахъ, не являлось даже и тѣни сомнѣнія въ томъ, что „народъ“ и они, обитатели каторги,—совершенно одно и то же.)

— Это что же будетъ за наказанье,—вступался Ногайцевъ,—крышку сдѣлать? Сколько они теперь крови изъ насъ выпили, на шею сколько нашей поѣздили, а имъ всего только крышку? А я бѣ вотъ что сдѣлалъ. Я весь бы народъ перебилъ, весь до послѣдняго человѣка, однихъ бы желѣзныхъ носовъ на свѣтъ оставилъ. Вотъ пушай бы попробовали тогда сами пропитаться! Вотъ бы заѣли тогда!...

Это неожиданное и оригинальное предложеніе на минуту всѣхъ ошеломило. Никто не нашелся ничего возразить. Соколицевъ первый тихонько захихикалъ, и ему стали вторить другіе.

— Вотъ такъ ловко придумано, нечего сказать! Умная башка.

— А я бы...—забасилъ внезапно, вскакивая съ наръ, Медвѣжье Ушко:—я бы всѣхъ первыхъ богачей въ одну бы ночь вездѣ перебилъ... Въ одну бы ночь всѣхъ! Вотъ тогда бы заѣли!

— Ну, а что жъ бы изъ этого вышло?—не выдержалъ я своего нейтралитета, заинтересованный кровожаднымъ проектомъ нашего кроткаго обыкновенно поэта:—положимъ, вы убили бы... На завтра сыновья убитыхъ стали бы первыми богачами...

— А я бы тогда и ихъ перебилъ!—ревѣлъ Медвѣжье Ушко.

— Ну, а послѣ что?

— А послѣ грабежъ бы по всей Расеѣ учредить!—отвѣчалъ за Владимірова Чирокъ:—тюрьмы бы всѣ отворить, богатыхъ всѣхъ перерѣзать.

— Такъ. Дальше что?

— Дальше?... Какъ дальше что. Бѣдный бы народъ богатымъ тогда сталъ, бѣдствовать бы пересталъ.

— Да вѣдь вы сами говорите, что богачей теперь „тыща—другая, не болѣ“? Какъ же бы весь народъ могъ богатымъ стать?

— Э, Миколаичъ! да что съ тобой толковать... Хорошій ты человекъ, спору нѣтъ—хорошій, а только и тебѣ крышку пришлось бы сдѣлать. Потому ты ихъ сторону держишь, желѣзныхъ носовъ. Кровь-то въ тебѣ свое говоритъ!

Всѣ захохотали при этомъ неожиданномъ нападеніи Чирка на меня.

— Изъ чего же вы заключаете это, Чирокъ?

— Да ужъ я заключаю, меня не проведешь!

Съ мнѣніемъ обо мнѣ Чирка соглашались, повидимому, и остальные. Напрасно развивалъ я собственные взгляды на прогрессъ, говорилъ о силѣ и власти просвѣщенія, о бесполезности и вредѣ кровавыхъ расправъ; напрасно указывалъ на существованіе образованныхъ людей, выходящихъ изъ среды тѣхъ же „желѣзныхъ носовъ“ и, однако, готовыхъ жертвовать для блага народа и своимъ личнымъ счастьемъ, и свободой, и даже жизнью... Слова мои были, очевидно, гласомъ вопіющаго. Смыслъ всякой иной борьбы съ тяжестью и зломъ современной жизни, борьбы иными средствами, кромѣ пролитія рѣкъ крови, всеобщаго пожара и разрушенія, былъ совершенно непонятенъ и чуждъ этимъ сердцамъ, покрытымъ темной чешуей озлобленія, невѣжества и испорченности. Невеселыя думы овладѣвали мной послѣ каждого изъ такихъ разговоровъ; жутко и страшно становилось за будущее родины...

#### XXIV.

##### Новые ученики.—Луньковъ.

Въ новой камерѣ завелись у меня, кромѣ Буренковыхъ, еще и другіе ученики: Маразгали, Петинъ, Ногайцевъ и Луньковъ.

Образовалась настоящая школа, которой по временамъ я и не радъ былъ. Последніе трое спеціально для ученія перепросились изъ другихъ номеровъ въ нашъ, кпя, повидимому, одинаковымъ рвеніемъ къ наукѣ. Петинъ умѣлъ, впрочемъ, и на волѣ еще читать и писать довольно порядочно; онъ сочинялъ даже стишки и теперь мечталъ только о „вышемъ образованіи“. Къ сожалѣнію, большому самолюбію не соответствовали ни размѣры ума, ни способности. Петинъ, подобно Соколицеву, имѣлъ на плечахъ больше тридцати лѣтъ каторги (которую онъ къ тому же только что начиналъ) и среди не знающихъ его людей пользовался славой большого „громилы“. Уличное прозвище Сохатый, данное ему за высокій ростъ и умѣнье быстро бѣгать, было извѣстно почти по всей Сибири. Однако, слава эта была дутая, совершенно незаслуженная. Прежде всего у Петина не было никакой самостоятельности характера. Постоянно находясь подъ вліяніемъ какого-нибудь „поддувалы“, въ товариществѣ онъ, точно, отваживался на самые дерзкіе поступки, вродѣ неоднократныхъ побѣговъ среди бѣлаго дня изъ-подъ самаго строгаго караула; но, предоставленный самому себѣ, одинъ онъ велъ себя на волѣ самымъ нелѣпымъ образомъ, шелъ тотчасъ же домой, гдѣ его искали („къ матери за нитками“—шутили про него арестанты), и, конечно, попадался въ руки полиціи. Обладая широкимъ горломъ, здоровымъ кулакомъ и страстно желая играть въ тюрьмѣ роль заправскаго ивана и коновода, онъ имѣлъ въ сущности нравъ теленка, былъ довольно недалекъ, вялъ и сонливъ, и потому всегда и во всемъ шелъ въ хвостъ другихъ. „Настоящіе“ арестанты, къ которымъ онъ льнулъ, цѣнили его невысоко и часто въ глаза звали „дешевкой“. Въ ученія Петинъ оказался точъ въ точъ такимъ же, какъ и въ жизни. Ему хотѣлось сразу все обнять; къ упорному труду и медленному движенію впередъ, шагъ за шагомъ, онъ чувствовалъ положительное отвращеніе. Прочестъ мало-мальски толстую книгу для него былъ непосильный подвигъ. Тѣмъ не менѣе самъ онъ былъ чрезвычайно высокаго о себѣ мнѣнія и на другихъ учениковъ, начавшихъ съ азавъ, но, благодаря способностямъ и усидчивости, угрожавшихъ вскорѣ догнать и опередить его, глядѣлъ съ величайшимъ презрѣніемъ. Между прочимъ, съ Луньковымъ, другимъ моимъ ученикомъ, у него шла постоянная война и соперничество, начавшіяся еще въ дорогѣ. Луньковъ былъ совсѣмъ молодой паренекъ,

на видъ лѣтъ 23, маленькаго роста, безусый, нѣсколько сутуловатый, но хорошенькій, какъ дѣвушка, шустрый въ движеніяхъ и бойкій на языкъ. Это былъ своеобразный субъектъ, жестоко ненавидимый такими иванами, какъ Петинъ. Дѣло въ томъ, что Луньковъ, подобно Михайлѣ Буренкову, презиралъ арестантовъ и отвергалъ всѣ обычаи тюремной жизни, разъ они шли въ разрѣзъ съ его личной пользой и взглядами. Но Михайла былъ скрытенъ и только въ исключительныхъ случаяхъ проявлялъ свой индивидуализмъ и личныя воззрѣнія на вещи; напротивъ, Луньковъ, не смотря на свою крошечную фигурку и небольшую физическую силу, отличался откровенностью и вредной для себя говорливостью. Безбоязненно рѣзалъ онъ каждому въ глаза то, что думалъ, не останавливаясь ни передъ угрозами, ни передъ затрещинами и не отступая передъ рукопашными схватками съ самыми первыми силачами и хватами. Эта невыгодная для самого себя смѣлость какъ-то странно соединялась въ немъ съ трезвостью и практичностью, которыя несомнѣнно были основною чертою его ума и характера; во многихъ отношеніяхъ Луньковъ былъ то, что называется изъ молодыхъ дараній. Въ другой тюрьмѣ его, конечно, забили бы, и онъ принужденъ былъ бы смириться; но въ Шелайской всѣ были острижены подъ одну гребенку, и великаны, и карлики, и глупые, и умные; самый послѣдній парашникъ имѣлъ здѣсь такой же голосъ, какъ и самый первый глотъ и храпъ, что было, конечно, большимъ достоинствомъ шелайскаго режима. Со злобой глядѣлъ Петинъ на своего пигмея-соперника, дѣлавшаго быстрые успѣхи въ ученіи и хвастливо утверждавшаго, что скоро онъ оставитъ его позади. Петинъ, съ гордостью называвшій себя и Михайлу Буренкова „старшими учениками“, а всѣхъ остальныхъ „младшими“, ни за что не хотѣлъ этого допустить. Забавны бывали ихъ стычки за вечерними занятіями.

— Пошелъ, болванъ, прочь, теперь старшій ученикъ станетъ заниматься!—рычалъ Сохатый, сверкая своими телячьими глазами.

— Я тебя, братъ, не боюсь, чего ты рычишь? — пищалъ маленькій Луньковъ, немного отодвигаясь:—мѣста всѣмъ хватитъ, садись. Только безъ пользы тебѣ наука.

— Какъ это безъ пользы? Знаешь-ли ты, болванъ, что такое имя существительное?

— Я въ свое время узнаю, не беспокойся. А вотъ какъ ты-то, старшій ученикъ, вчера „свѣтлый“ черезъ е написалъ?

— Оселъ! описка была. Сволочь тюремная, трепачъ, мараказина.

— Петинъ, зачѣмъ вы ругаетесь?—вмѣшивался я въ споръ:— это ужъ не хорошо.

— Ничего, Иванъ Николаевичъ,—спокойно отвѣчалъ Луньковъ,—пушай ругается. Его брань у меня на вороту не повиснетъ. Тѣмъ болѣе я хорошо знаю, что самъ онъ вѣчный тюремный житель, а я такихъ не уважаю. Это вѣдь у дураковъ только громкимъ считается его имя: Со-ха-тый! А я знаю, чѣмъ онъ и дышетъ даже, этотъ Сохатый.

— Чѣмъ я дышу? Говори.

— Дешевизной ты дышешь, вотъ чѣмъ.

— Какой дешевизной, болванъ?

— Такой. Я вѣдь хорошо знаю, что ты на волѣ дѣлалъ, изъ-за чего въ каторгу пришелъ.

— А ты изъ-за чего? Ты что дѣлалъ? Ты хвосторѣзомъ былъ. Ты въ Красноярскѣ съ дохлыхъ лошадей шкуры снималъ.

— Случалось, и снималъ, не таюсь. Только дѣвушекъ я не насильничалъ, не хваталъ въ охапку и не волокъ въ кусты. Въ дорогѣ я партіонныхъ денегъ не проигрывалъ, какъ другіе прочіе.

Чѣмъ дальше, тѣмъ жарче разгорался споръ и кончался иногда потасовкой. Побитый Луньковъ плакалъ со злости, но смириться не хотѣлъ передъ нахаломъ Петинимъ. Впрочемъ, у послѣдняго даже для нахальства и озорства не хватало на долгое время энергіи и тѣрпѣнія. Скоро онъ впадалъ въ свою обычную апатію, спалъ по цѣлымъ суткамъ и надолго забрасывалъ всякое ученье и самолюбивыя мечты. Такое настроеніе овладѣвало имъ послѣ каждой крупной ссоры. Тогда въ камерѣ водворялись миръ и спокойствіе. Никифоръ давно примирился съ мыслью, что братъ обогналъ его, и прежнихъ сценъ ревности уже не устраивалъ. Все ученье его ограничивалось теперь однимъ чтеніемъ. Объ успѣхахъ Маразгали и о томъ, что успѣхи эти остановились, благодаря незнанію русскихъ словъ, и онъ охладѣлъ къ грамотѣ, я уже рассказывалъ. Что касается Ногайцева, тотъ оказался изрядной тупицей, не обѣщавшей пойти дальше чтенія по складамъ. Своеобразной любознательностью отличался, между прочимъ, этотъ сонный и ожирѣлый мозгъ.

— А что, Иванъ Николаевичъ, бываютъ прокуроры изъ хохловъ? — обращался онъ вдругъ ко мнѣ съ вопросомъ, встрѣтивъ

на клочкѣ найденной гдѣ-нибудь печатной бумаги слово „хо-холъ“.

Или еще:

— Иванъ Николаевичъ! вотъ тутъ сказано, что въ Россіи царствовалъ Алексѣй, а въ Китаѣ была въ это время династія... Православное это имя династія, или нѣтъ?

Подобно гоголевскому Петрушкѣ, онъ съ равнымъ наслажденіемъ читалъ всѣ книги и бумажки, какія только попадались ему въ руки.

При подобномъ характерѣ моихъ учениковъ не мудрено, что главное вниманіе я сосредоточилъ на Михайлѣ Буренковѣ и на усердномъ и способномъ Луньковѣ. Любопытно мнѣ было также познакомиться съ прошлымъ послѣдняго изъ нихъ и съ его внутреннимъ міромъ. Благодаря говорливости Лунькова, вечера наши превратились вскорѣ въ настоящія судбища. Я былъ слѣдователемъ, Чирокъ моимъ помощникомъ, Соколицевъ, землякъ Лунькова (тоже воронежскій уроженецъ), свидѣтелемъ, Петинъ прокуроромъ, а вся прочая камера—публикой, живо интересовавшейся малѣйшими подробностями преній. Оказывалось, что, не смотря на свою молодость, Луньковъ былъ уже рецидивистъ.

— Только я дурно попалъ, Иванъ Николаевичъ, этотъ второй разъ въ каторгу,—съ грустью рассказывалъ Луньковъ.

— Какъ, то есть, дурно?

— Да такъ, что за пустяки, безо всякаго интересу.

— Какъ за пустяки! Вѣдь вы, говорятъ, человѣка убили?

— Что же изъ того, что убилъ. Я изъ-за его, изъ-за сволочи, по крайней мѣрѣ, тринадцать лѣтъ долженъ въ каторгѣ мучиться, однихъ испытуемыхъ семь лѣтъ\*); а онъ-то теперь спитъ, ему ничего...

— Расскажите, Луньковъ, какъ все это дѣло вышло.

— Я, Иванъ Николаевичъ, не скажу, что въ первый разъ изъ Расеи задаромъ въ Сибирь пришелъ. Тогда, дѣйствительно, по глупости по своей, отъ отца отбился, съ людьми такими связался... Ну, а что теперь—такъ совсѣмъ ни за что пропалъ, увѣряю васъ! Изъ-за характера своего, конечно. Сердце у меня, сами можете видѣть, нетерпѣливое; я не стерплю, чтобъ какой-нибудь храпъ (многозначительный взглядъ въ сторону Петина) жизнь свою надо мной куражилъ. Пушай лучше онъ меня убьетъ, или

\*) Рецидивистамъ испытуемые сроки назначаются самимъ судомъ всегда болѣе обыкновенныхъ сроковъ.

Прим. авт.

я его!.. Я въ Енисейской губерніи, поселенцемъ будучи, мелочью торговалъ. Накупишь, знаете, разнаго дешеваго товару, ситцу, бусъ, иголокъ, серегъ, колецъ и ходишь съ коробомъ по деревнямъ, отъ бабочекъ хлѣбъ себѣ зарабатываешь. Вотъ однажды .. обращается ко мнѣ этотъ... убившій... то есть убитый: „Позволь мнѣ, Коля, походить вмѣстѣ съ тобой, торговать поучиться. Я хоть и старый человѣкъ, а въ дѣлахъ этихъ ничего не смыслю“.— А я, надо вамъ сказать, мало и зналъ-то его до тѣхъ поръ, и, признаться, не по душѣ онъ мнѣ былъ: взоръ такой нехорошій, угрюмый... Однако, думаю себѣ: мнѣ-то что? Дорога не моя—Божья.—Иди, говорю, коли хочешь. Я въ понедѣльникъ отправляюсь.—А это было въ субботу. Въ понедѣльникъ рано утромъ онъ приходитъ ко мнѣ тоже съ коробомъ за плечами. Пошли мы, и такъ съ недѣлю ходили вмѣстѣ. Онъ идетъ за мной, молчитъ все больше. А то начнетъ ворчать про себя, что неладно идемъ, не той дорогой, какой слѣдуетъ. Я вниманія не беру, скажу только развѣ: „Мы, дяденька, не связаны; не правится тебѣ—своей дорогой иди“. Онъ и замолчитъ. При мнѣ, къ тому же, всегда въ дорогѣ левоболвертъ. Безъ него я не ходилъ. Наканунѣ убивства почевали мы у одной знакомой вдовы. Утромъ пробудились, я завтракать себѣ заказываю; сажусь ѣсть и его приглашаю, убитаго. Онъ отказывается:—„Не хочу“, говорить.—„Чего ты, дѣдушка, пасмурный такой?“—спрашиваетъ его хозяйка.—„Ничего, говорить, такъ. Сонъ я чудной видѣлъ: будто снѣгъ большой выпалъ, и на дорогѣ, по которой я шелъ, бревна лежали“.—„Да,—отвѣчала хозяйка,—сонъ не то чтобы изъ пріятныхъ“. Вотъ какъ сейчасъ, Иванъ Николаевичъ, я эти слова ея слышу:—„сонъ не то чтобы, говорить, изъ пріятныхъ“. И къ чему ему такой сонъ въ ту ночь приснился? Неужели душа его чуяла что-нибудь такое?

— Ну, рассказывайте дальше.

— А въ эту ночь, точно, снѣгъ глубокий выпалъ, чуть не по колѣно. Вотъ отправились мы въ путь-дорогу. Я впереди, какъ всегда, онъ сзади. Не успѣли за поскотину выйти, онъ заспорилъ.— „Куда ты, говорить, идешь?“—Я говорю, на Лѣсное.— „Дуракъ. Лѣсное не на этой совсѣмъ дорогѣ лежитъ, а вотъ на той“—и показываетъ мнѣ чуть видную тропочку, по которой мужики по дрова въ лѣсъ ѣздятъ.— „Иди, говорю, туда, а я своей дорогой пойду“. Онъ хватъ меня за коробъ: „ты что, говорить, все грубишь. Я на скучилъ этимъ“. Я обернулся:— „Отстань, говорю, отъ меня, не

вводи въ грѣхъ. Я тоже тобой наскучилъ. Мы, значить, не товарищи больше. Ступай отъ меня“. И хочу идти. Онъ изъ себя выпрягся, дорогу мнѣ загораживаетъ:— „Иди, говорить, куда старшіе велятъ“. Тогда я вынимаю левольвертъ:— „Вотъ кто у меня старшій! Прочь съ дороги, тварь этакая!“ Онъ замахнулся было палкой, но тутъ я стрѣлилъ... Гляжу—онъ и шлепнулся на земь: пуля прямо въ лѣвый сосокъ угодила... Пощупалъ я его—мертвый. Отволокъ въ сторону отъ дороги, засыпалъ малость снѣгомъ и пошелъ дальше. Только съ горки спущаюсь, знакомый мужикъ навстрѣчу ѣдетъ: „Что тутъ, Луньковъ, за выстрѣлъ ровно былъ?“— „Ничего, я говорю, не слыхалъ; видно, послышалось тебѣ“. Пошелъ дальше—еще нѣсколько мужиковъ встрѣчаю. Сердце у меня такъ и кипѣло, кровью обливалось. Ну, думаю, теперь пропалъ! Надо скрыться! — Продавъ поскорѣй коробъ, взялъ чужой паспортъ и укатилъ верстъ за сто отъ того мѣста. Только паспортъ-то этотъ и погубилъ меня: человекъ ненадежный далъ... Арестовали меня, привезли въ волость. Повели въ помѣщенье, гдѣ мертвецъ лежалъ.— „Тотъ-ли это, спрашиваютъ, котораго ты убилъ?“ Я посмотрѣлъ, посмотрѣлъ на него... Лежить, какъ живой: борода съ сѣдинкой, и на груди раночка махонькая... Взялъ я его за бороду и къ свѣту такъ повернулъ. Еще посмотрѣлъ, посмотрѣлъ... Да какъ размахнусь вдругъ ногой, да какъ хвачу его въ подбородокъ носкомъ: „за одно ужъ пропадать мнѣ за тебя сволочь!“ Ну, тутъ схватили меня, увели, протоколъ составили.

— Зачѣмъ же вы, Луньковъ, такую гадость сдѣлали? Убили ни за что, да и надъ мертвымъ еще надругались?

— Съ сердцемъ, Иванъ Николаевичъ, ничего не подѣлаешь. Я и до сихъ поръ, какъ вспомню объ немъ, задрожу весь. Разъ во снѣ онъ привидѣлся мнѣ... одинъ только разъ за всѣ два года... Приходить, стоитъ и глядитъ на меня... „Ты зачѣмъ, спрашиваю, пришелъ?“ Онъ молчитъ, только бородой на меня трясетъ—такъ упрекаетъ ровно. „А, говорю, подлецъ, ты еще смѣяться надо мной?“ Схватываю топоръ и за нимъ. Онъ прочь. Какъ убѣждалъ, съ тѣхъ поръ и не приходилъ больше. Меня вѣдь за поруганіе-то, Иванъ Николаевичъ, и осудили больше такъ строго; а то развѣ-бъ дали тринадцать лѣтъ при полномъ сознаніи?

— Ну, а теперь я скажу свое мнѣніе,—началъ Чирокъ по окончаніи разсказа.—Все ты врешь. Не такъ убилъ ты старичонку, а за коробъ убилъ.



— Да, за коробъ, какъ же! При немъ, какъ подняли его, все такъ и нашли въ томъ самомъ видѣ, какъ было: и коробъ съ товаромъ, и денегъ 4 рубля 90 копѣекъ.

— Сказывай! Я тебя знаю...

— Много ты знаешь! Я тебѣ свидѣтелей представлю изъ красноярскихъ же, и въ Алгачахъ, и въ Александровскомъ централѣ. Да чего далеко ходить? Здѣсь же вонъ у Степки Чеддончика спроси.

— Я тоже красноярскій, — вскрикивалъ вдругъ Петинъ: — тоже свидѣтелемъ могу быть. Конечно, за коробъ убилъ старика.

— Тебя я отвожу, — спокойно возражалъ ему Луньковъ: — ты мнѣ врагъ. Ты можешь еще и новое убийство на меня открыть.

Всѣ разразились хохотомъ. У Петина не хватало пороку продолжать свое лжесвидѣтельство.

— А раньше за что вы попали въ Сибирь? — допрашивалъ я Лунькова.

— Раньше, Иванъ Николаевичъ, за дѣло, — отвѣчалъ онъ, глубоко вздыхая, — тамъ все-таки я себя, а не судьбу долженъ винить.

— Ну, рассказывай, землячокъ, толкомъ, — замѣчалъ Соколовъ, — тутъ я ужъ не дамъ тебѣ соврать. Какъ разъ въ ту пору я съ Кары сорвался и на улочку въ воронежскій замокъ приведенъ былъ.

— Чего мнѣ врать, — грустно отвѣчалъ Луньковъ, — коли врать, такъ и не говорить лучше.

— Вы и въ первый разъ, Луньковъ, за убійство судились?

— Зачѣмъ, Иванъ Николаевичъ! Такъ, за шалости за разные...

— Какъ! ты смѣешь отпираться, болванъ? — грозно кидался къ нему Петинъ, вытаращивъ глаза и стиснувъ кулаки, — а не самъ ли ты сказывалъ при мнѣ въ шестомъ номерѣ, что дѣвчонку убилъ?

— Этого я не считаю, — хладнокровно отвѣчалъ нашъ обвиняемый: — это была малолѣтняя шалость, объ ней нечего помнить. За нее я не судился.

— Все-таки... Какъ вы убили ее?

— Желѣзиной...: поддоской нечаянно по виску ударилъ... Да на что вамъ знать такіа пустяки, Иванъ Николаевичъ?

— Какъ же ты говоришь, болванъ, нечаянно, а самъ сказывалъ, что дѣло было подъ мостомъ? Откудова-жъ поддоска у тебя взялась?

— Не съ тобой разговариваютъ, глотъ красноярскій! Много будешь знать, скоро состаришься.

— Я теперь знаю, за что онъ убилъ дѣвчонку, — выѣшивался

опять Широку:—онъ изнасиловать ее хотѣлъ, а она не давалась.

— Да, какъ же! Мнѣ тринадцать лѣтъ всего было, а ей десять. Много ты узналъ!

Видя, что Луньковъ не хочетъ почему-то рассказывать этого дѣла, я ограничился вопросомъ, отчего онъ за него не судился, и получилъ отвѣтъ, что виновность его въ убійствѣ не была открыта, и самый трупъ дѣвочки найденъ былъ зиму спустя.

— Ну, ладно. Расскажите, за что вы судились въ первый разъ.

— Видите-ли, Иванъ Николаевичъ, я по духовной части займовался...

— Какъ по духовной?! Вѣдь вы говорили, что отецъ вашъ извозчикъ былъ?

Дружный смѣхъ всей камеры былъ мнѣ отвѣтомъ. Самъ Луньковъ захихикалъ.

— То есть, я по церквамъ ходилъ...

— Богу молиться,—договорилъ Соколицевъ,—нашъ Воронежъ, сами знаете, съ древности весьма богатъ храмами и благочестіемъ славится.

Всѣ опять засмѣялись. Я понялъ, наконецъ, въ чемъ дѣло.

— Только надо, Иванъ Николаевичъ, съ краю обсказать вамъ мою жизнь,—продолжалъ Луньковъ, принимая опять серьезный и даже грустный видъ.—Отецъ мой сыпкой зерна займовался, а также биржу держалъ. Сначала одинъ старшій братъ съ сѣдоками ѣздилъ. Онъ зачалъ баловаться. На счетъ вина, значить, и бабенокъ. Ему по злобѣ разъ хвосты у коней отрѣзали. Отецъ шибко побилъ его за это. Вдругорядъ пришли къ нему знакомыя барышни, попросили покатать ихъ. А конямъ только что кровь открывали. Братъ взялъ и поѣхалъ. Кони распарились, пошла кровь, и такъ двѣ самыхъ лучшихъ у отца лошади пали. Ухъ, какъ билъ тогда отецъ брата, ажно вспомнить страшно. Приковалъ его цѣпью за руки къ бревну, привѣсилъ бревно къ потолку, гдѣ зыбка вѣшается, и цѣлыхъ три часа супонью стегалъ. Отдохнетъ и опять бить принимается. Онъ до смерти убилъ бы его, кабы матрѣ сосѣдей не позвала на помощь. Ну, однако, братъ не исправился. Съ другимъ извозчикомъ ограбилъ одного господина, сто цѣлковыхъ денегъ отобрали, часы золотые, шубу и сапоги хорошіе, а самого живого отпустили. На другой день стрема по городу началась, но уличить ихъ не могли. Только отецъ вскорѣ узналъ по часамъ, что братъ это сдѣлалъ.

Сначала онъ въ полицію хотѣлъ ихъ нести, да матря отговорила. Жестоко онъ избилъ опять брата, еще жесточе прежняго. Послѣ того, выздоровѣвъ, братъ ушелъ отъ отца и сталъ съ любовницей кабачокъ держать. Тутъ онъ и совсѣмъ запутался; на Сахалинъ вскорѣ ушелъ... Тогда я сталъ на биржу ѣздить. Матря въ это время померла, и отецъ на другой женился. Дома хуже жить стало, и я тоже зачалъ баловаться. Биржа, сами знаете, Иванъ Николаевичъ, хуже всякаго другого ремесла можетъ развратить человѣка... Безпрестанно господъ возишь по вокзаламъ, гостиницамъ, трактирамъ; видишь, какъ люди веселятся, хорошо пьютъ, ѣдятъ, много денегъ имѣютъ. Ну, конечно, и самъ начинаешь утаивать отъ хозяина деньги, вино попивать, съ дѣвочками гулять... Кромѣ того, всякаго сорта народъ видишь. Разъ у меня на пролеткѣ убивство случилось.

— Какъ такъ убійство?

— Такъ. Знакомый мѣщанинъ Улитинъ съ одной барышней на мнѣ ѣхалъ; оба, конечно, подгулявши. Зачали ссориться, спорить о чемъ-то. Дѣло ночью было. Онъ хватъ мой же ключъ изъ ящика да и бацъ ее по виску. Изъ нея и духъ вонъ!

— Что-жъ вы сдѣлали? Въ полицію представили?

— Знакомаго-то? Что вы, Иванъ Николаевичъ! Я благородно поступилъ. Отвезли мы ее за кирпичные сараи и спустили тамъ въ помойную яму...

— Хорошо благородство! Это ужъ третья душа, значить, на вашей совѣсти?

— Что вы, Иванъ Николаевичъ! Да я-то при чемъ же тутъ? Мое дѣло совсѣмъ тутъ постороннее было.

— А много крови натекло къ тебѣ въ пролетку-то?—полюбопытствовалъ зачѣмъ-то Чирокъ.

— Ни одной капли. Только ключъ въ кровѣ былъ.

— Ну, вотъ и врешь, путаешь. Коли ключъ въ кровѣ былъ обязательно вся пролетка была залита кровью.

Начался по этому поводу споръ въ камерѣ. Эксперты по этой части были все опытные... Большинство поддерживало Чирка; но Луньковъ упорно стоялъ на своемъ, утверждая, что дѣвушка была закутана шалью, и кровь изъ-подъ шали не вышла наружу. Съ трудомъ убѣдилъ я спорщиковъ прекратить этотъ нелюбопытный для меня споръ и вернуться къ разсказу.

„Баловство“ Лунькова все шло дальше и дальше; отецъ на-

чалъ и его учить, какъ брата, и въ одинъ прекрасный день семнадцатилѣтнимъ мальчишкой онъ бѣжалъ изъ родительскаго дома и попалъ въ шайку нѣкогого „Степана Ивановича“, знаменитаго воронежскаго жулика, отъ котораго Луньковъ и до сихъ поръ былъ въ восторгѣ. Степанъ Ивановичъ занимался, главнымъ образомъ, „по духовной части“. Въ первую же ночь, въ которую Лунькова посвятили въ эту часть, ему пришлось быть свидѣтелемъ убійства. Когда отпирали у церкви замокъ, одному изъ товарищей прищемили въ дверяхъ руку, и онъ заоралъ не своимъ голосомъ: тогда Степанъ Ивановичъ уговорилъ его навѣки ломомъ по головѣ, а трупъ стащилъ въ рѣчку. Нѣсколько дней спустя та же шайка совершила грабежъ съ убійствомъ, догнавъ за городомъ двухъ проѣзжихъ купцовъ. Луньковъ былъ при этомъ кучеромъ, а Степанъ Ивановичъ, съ нѣкимъ Ѳедоромъ и еще третьимъ товарищемъ, стрѣляли изъ револьверовъ, и на этомъ основаніи Луньковъ отрицалъ свою виновность въ этомъ убійствѣ.

— Что вы, Иванъ Николаевичъ, помилуйте! Какое же тутъ было мое преступленіе? Я не стрѣлялъ, кушаками я не давилъ... Я только лошадьми правилъ... Не донесъ я, конечно, это правда; такъ вѣдь это по нашему не вина, а заслуга.

Когда Луньковъ говорилъ подобныя вещи своимъ тоненькимъ пѣвучимъ голосомъ, серьезно и даже печально, то нельзя было рѣшить, своего ли это рода наивность и недомыслие, или же верхъ развращенности и лицемерія.

Отобранный у одного изъ убитыхъ паспортъ Степанъ Ивановичъ далъ Лунькову, и по этому-то виду онъ и судился впоследствии. А настоящая его фамилія была, будто бы, не Луньковъ, а другая.

Утомительно было бы пересказывать всѣ жульническія похожденія, въ которыхъ Луньковъ участвовалъ въ теченіе пяти мѣсяцевъ своей свободной жизни. Своеобразный міръ, своеобразные идеалы и понятія о чести и товариществѣ. Въ одномъ селѣ подъ Ельцомъ какая-то женщина „подвела“ ихъ шайку, состоявшую изъ Степана Ивановича, Ѳедора и самого Лунькова, подъ богатаго мужика, на котораго имѣла зубъ, сообщивъ имъ, что въ одномъ изъ трехъ амбарчиковъ около его дома стоитъ сундучокъ съ деньгами. Они, дѣйствительно, нашли въ указанномъ мѣстѣ три тысячи рублей и въ одну ночь „отжарили“ оттуда босикомъ сорокъ пять верстъ. Оставились у развалинъ какого-то погреба, за городомъ. Луньковъ

съ Ѳеодоромъ остались отдыхать, а Степанъ Ивановичъ отправился въ городъ за покупками. Черезъ нѣкоторое время онъ вернулся пьяный съ четырьмя новыми товарищами, изъ которыхъ одинъ былъ завѣдомый шпионъ. Всѣ семеро отправились въ притонъ разврата и тамъ въ нѣсколько дней прокутили двѣ тысячи. Затѣмъ начали думать, какъ бы отвязаться отъ шпиона. Хотѣли даже „пришить“ его, но предпочли дать денегъ и отослать съ какими-то порученіями. Шпионъ на время скрылся. Тогда хозяйка притона указала имъ на церковь, въ которой можно было поживиться. Ночью церковь посѣтили, но въ расчетахъ ошиблись, добывъ всего сорокъ рублей денегъ и вещей на сотню. Въ то же утро нагрянула полиція. У Ѳеодора нашли при обыскѣ церковный воздухъ въ карманѣ... Началась провѣрка документовъ. У всѣхъ оказались подлинныя; только въ документъ Лунькова откопали четыре прежнихъ подсудности, о которыхъ онъ и не зналъ даже. Благодаря этимъ-то чужимъ грѣхамъ, онъ и пошелъ, будто бы, на поселеніе, тогда какъ товарищи его отдѣлались простой высылкой.

— А за что же ты, землячокъ, годомъ раньше сидѣлъ въ тюрьмѣ?—спросилъ вдругъ Соколицевъ, все время о чемъ-то думавшій.

— Когда раньше?—вспыхнулъ Луньковъ.

— Да тогда. Вѣдь въ это-то время, про которое ты говоришь, меня ужъ не было въ Воронежѣ. Я опять въ каторгу шелъ.

— Какъ такъ? Ну, значить... ты и не видалъ меня въ воронежской тюрьмѣ, обознался. Я раньше не сидѣлъ.

— Какъ не сидѣлъ! Еще отпираться станешь! Не обознался я. Да и ты же первый узналъ меня.

— Го-го-го-го-го! Попался, голубчикъ!—закричала камера, радуясь тому, что Лунькова, наконецъ, уличили.

— Положимъ, я точно... сидѣлъ одно время... мѣсяца съ полтора... такъ это за пустяки,—завертѣлся Луньковъ.

— Ну, однако.

— Говори, болванъ!—зарычалъ Сохатый.

— Сказывай, землячокъ, сказывай. Самъ же ты хвалился, что коли врать, такъ лучше и совсѣмъ ничего не говорить.

— Это я по дѣлу брата сидѣлъ... То есть, нѣтъ, по дѣлу Карла Ивановича.

— Да вѣдь Карлъ Ивановичъ за почту обвинялся, а братъ твой за попа. Я хорошо вѣдь знаю.

— Да... тутъ... Только Карлъ Ивановичъ оправданъ былъ въ этомъ дѣлѣ.

Наконецъ, общими усиліями Сокольцева, Чирка, Петина и мои, Лунькова такъ приперли къ стѣнѣ, что онъ разсказалъ намъ слѣдующее. Онъ у отца еще жилъ, когда совершенно было дерзкое покушеніе на грабежъ почты съ сорока пятью тысячами денегъ: два почтальона были убиты на мѣстѣ, а ящики успѣлъ скрыться съ почтой. Подозрѣніе пало на арестованныхъ вскорѣ по другимъ дѣламъ „Карла Ивановича“ и брата Лунькова съ шайкой. Два мѣсяца просидѣлъ подѣ арестомъ и младшій Луньковъ, нашъ знакомецъ. Ящики показывалъ, что „маленькій“ сидѣлъ во время нападенія и кричалъ: „не вяжите ихъ, бейте на смерть!“ Прокуратура подозрѣвала, что этотъ „маленькій“ и былъ младшій Луньковъ. Но во время слѣдствія онъ держалъ себя, какъ настоящій невинный ни въ чемъ ребенокъ; кромѣ того, товарищъ прокурора сдѣлалъ, по словамъ разсказчика, крупнѣйшую ошибку, назвавъ ящику по фамиліямъ тѣхъ, кого подозрѣвалъ въ убійствѣ. Благодаря будто бы этому, все обвиненіе рушилось, и дѣло было прекращено. Разсказывая это, Луньковъ не думалъ, однако, сознаваться, что „маленькій“ былъ онъ самъ, хотя Чирокъ и говорилъ прямо:

— Да, вѣстимо, онъ! Онъ, гадъ!

— Вы дурно жили,—сказалъ я однажды Лунькову.

— Чѣмъ же дурно, Иванъ Николаевичъ?—возразилъ онъ:—вотъ, если бы я голоднымъ ходилъ, оборваннымъ, подѣ окнами просилъ, тогда можно бы сказать: дурно: А то я жилъ, слава Богу.

Меня разсердило такое циничное оправданіе.

— Еще и Бога поминаете!

— Онъ простить, Иванъ Николаевичъ. Въ Писаніи сказано вѣдь,—вотъ я недавно читалъ: „ежели Богъ захочетъ, ни одинъ волосъ не упадетъ съ головы человѣчеккой“. Мнѣ жестоко врѣзались эти слова въ память. Какой же, слѣдовательно, грѣхъ, что я убилъ? Значить, такъ Господь хотѣлъ. Вы не сердчайте на меня, Иванъ Николаевичъ. Я вижу, что вы серчаете... Что же! Я правду вамъ говорю... А другіе лицемѣрятъ передъ вами, скрываютъ, что они такое есть, и вы любите такихъ двуликихъ... А вотъ я объ одномъ тужу, Иванъ Николаевичъ. Какъ жилъ я въ Сибири передъ убійствомъ, мнѣ одна бабочка предлогъ дѣлала: „Увези меня, Коля! Возьмемъ у мужа пятьсотъ рублей и уѣдемъ“. Увезъ бы я

ее до Перми, сдать бы кому-нибудь съ рукъ на руки и поѣхалъ бы себѣ дальше... Вотъ объ этомъ я, дѣйствительно, тужу немного.

— А что бы вы стали дѣлать, Луньковъ, если бы васъ сейчасъ вотъ на волю отпустить? Вернулись бы домой?

— Конечно, вернулся бы. У меня вѣдь чистое мѣсто. Прямо на свое родное имя могъ бы заявиться.

— Къ отцу?

— Нѣтъ, раньше бы я... Въ Ельцѣ къ одному... въ гости бы зашелъ.

— Догадываюсь, въ какія, должно быть, гости!

— Да какъ же, Иванъ Николаевичъ! Совѣстно было бы къ отцу безъ денегъ придти, съ пустыми руками. Гдѣ, скажетъ, шляется столько лѣтъ? Нищимъ вернулся? Я теперь корми тебя!

Маленькій резонеръ, нисколько не таясь и даже кичась еще своей откровенностью, говорилъ мнѣ прямо, что за сто, за двѣсти цѣлковыхъ онъ не поколебался бы убить человѣка.

— А если-бъ Миколаичъ пошелъ съ тобою бродяжить,—спросилъ его однажды Чирокъ:—пришилъ бы ты его?

— Нѣтъ, зачѣмъ же! подошелъ бы я къ Ивану Николаевичу по вольной жизни, попросилъ бы у нихъ деньжонокъ, они и такъ бы не отказали.

— Ну, а коли отказалъ бы?

— Конечно, не зарекаюсь... А только, ежели они обучать меня грамотѣ, тогда за что же убивать?

Я смѣялся вмѣстѣ со всѣми, слушая эти рѣчи, но въ душѣ ужасался и не зналъ, что думать объ этомъ странномъ субъектѣ, почти еще мальчикѣ и уже такъ бесконечно, такъ безнадежно испорченномъ и погибшемъ. Единственное, что въ немъ привлекало меня, была неустрашимость, съ которою онъ, маленький и слабый, какъ ребенокъ, воевалъ съ тюремными геркулесами-иванами, рѣжа имъ въ глаза матку-правду. Если вѣрить словамъ Лунькова, то въ бытность на волѣ онъ страшно идеализировалъ арестантовъ.

— Я думалъ, Иванъ Николаевичъ, что коли религія у нихъ одна, такъ и душа должна быть одна, что они твердо стоятъ другъ за дружку въ несчастіи.

— То есть какая такая религія?

— Такая, что всѣ вѣдь мошенники, по одному дѣлу суждены... А на дѣлѣ я увидѣлъ, что всѣ они дешевыя твари. Сегодня ты

напоилъ его чаемъ—и ты первый у него другъ; а завтра не напоилъ—и онъ тебя на чемъ свѣтъ стоитъ кланеть ужъ! Самый, Иванъ Николаевичъ, дешевый и продажный народъ. Всѣ ихъ законы и уставы гроша мѣднаго не стоятъ. И рѣшилъ я съ этихъ поръ не уважать имъ, во всемъ наперекоръ идти. Никакой жалости не имѣю къ этимъ тварямъ бездушнымъ. Къ тому только хорошъ я, кто мнѣ хорошъ; того только пожалѣю, кто меня пожалѣетъ. И не того боюсь я, Иванъ Николаевичъ, что съ сердцемъ своимъ отъ начальства погибну, а того, что своему же брату когда-нибудь кишки выпущу, или самъ отъ его руки пропаду. Знаю, что и меня тоже ненавидятъ глоты и храпы эти разные; да я не боюсь ихъ. Пушай убьютъ — я не погонюсь за жизнью. Я, можетъ быть, даже радъ буду, коли меня кто на смерть полыснетъ. Пушай! Во злѣ пропадать не страшно. Вотъ отъ суда петлю заслужить — этого я не желалъ бы, точно не желалъ бы... Неохота еще съ бѣлымъ свѣтомъ разставаться! Кабы петли-то я не боялся, развѣ сталъ бы терпѣть? Давно-бъ ужъ одного, а не то и двоихъ пришилъ.

— Значить, очень вамъ жить хочется, Луньковъ?

— Конечно, охота, Иванъ Николаевичъ. Много-ль я и свѣта-то еще Божьяго видѣлъ? Ну, а все же, если-бъ знать навѣрное, что года черезъ два мнѣ помереть Богомъ назначено, не сталъ бы тогда ждать... Не подорожилъ бы этими двумя годами... Такое-бъ дѣльце одно сдѣлалъ, что лѣтъ пятьдесятъ, а то и сто, пожалуй, помнили-бъ меня! Имя бы громкое приобрѣлъ!

— Что-жъ бы вы такое сдѣлали?

— Не стоитъ зря говорить, Иванъ Николаевичъ. Одно только скажу вамъ: не на *той* половинѣ дѣло мое было бы (Луньковъ кивнулъ головой на дверную форточку), а на *этой*, здѣсь вотъ (онъ загодично постучалъ пальцемъ по столу). Потому *ту* половину я не такъ виню. Тамъ я даже совсѣмъ никакого зла не имѣю, а вотъ *здѣсь*... Здѣсь я больше вины нахожу!

Никогда не хотѣлъ Луньковъ объяснить мнѣ всѣхъ причинъ своей ненависти къ арестантской массѣ; я могъ только догадываться по нѣкоторымъ его намекамъ, что въ числѣ многихъ другихъ обидъ онъ не могъ забыть и простить несправедливаго обвинения его кѣмъ-то изъ тюремныхъ главарей въ одномъ низкомъ пороѣ, кладущемъ въ глазахъ арестантовъ неизгладимое клеймо позора на каждого, уличеннаго въ немъ. На свое несчастье, Лунь-



ковъ, какъ я говорилъ уже, имѣлъ молодежавое и женственно-смазливое личико, и обвиненіе это имѣло правдоподобность въ глазахъ развращенной шпанки. Къ жертвамъ этого омерзительнаго порока каторга не знаетъ вообще ни пощады, ни состраданія и, напротивъ, къ тѣмъ, которые пользуются ихъ слабостью, относится не только съ снисходительностью, но и съ уваженіемъ...

— Въ тюрьмѣ я долженъ терпѣть, Иванъ Николаевичъ,—говорилъ Луньковъ:—постараюсь все стерпѣть; но когда вырвусь на волю,—двоихъ, а не то и троихъ безпремѣнно уговорю! Вотъ честное мое слово— уговорю! И даже нацѣжу сначала изъ него чашку крови и выпью, а потомъ уже прикончу стервину!

Къ отдѣльнымъ лицамъ изъ тѣхъ же арестантовъ Луньковъ относился не только безъ злобы, но даже съ какой-то сентиментальной нѣжностью. Нѣсколько человѣкъ, стоявшихъ подобно ему въ сторонѣ отъ общей тюремной жизни, особенно одинъ больной старичокъ-землякъ, были даже закадычными его пріятелями. Долгое время чрезвычайно страннымъ и непонятнымъ казалось мнѣ: какъ могъ Луньковъ при подобной враждѣ къ тюремнымъ законамъ и обычаямъ быть одной изъ самыхъ усердныхъ и самоотверженныхъ сестеръ милосердія по отношенію ко всѣмъ, сидящимъ въ карцерѣ? Никто съ большей смѣлостью и неутомимостью не слѣдилъ за тѣмъ, чтобы они рѣшительно ни въ чемъ не нуждались, и никто съ большей ловкостью не передавалъ имъ все, что нужно, при самыхъ зоркихъ и хитрыхъ надзирателяхъ. Яшка Тарбаганъ лѣзъ, бывало, на удалую, а Луньковъ дѣлалъ свое дѣло артистически, точно самъ любуясь и играя своимъ искусствомъ... Невскорѣ я замѣтилъ, однако, что и къ этой дѣятельности его поощряло чувство все той же ненависти и того же презрѣнія къ арестантскимъ мнѣніямъ, рѣшеніямъ. Онъ заботился рѣшительно обо всѣхъ, кого только садили въ карцеръ, не дѣлая никакого различія между тѣми, кого артель любила и кого ненавидѣла. Такъ однажды посаженъ былъ въ карцеръ вольнокомандецъ, котораго всѣ называли шпиономъ и которому рѣшено было ничего не подавать. Луньковъ демонстративно ухаживалъ за нимъ даже больше и усерднѣе, чѣмъ когда либо и за кѣмъ либо.

— Потому, Иванъ Николаевичъ, я это дѣлаю,—объяснилъ онъ мнѣ свое поведеніе,—что я ничего не знаю: правильно, или ложно говорить объ немъ кобылка. Для меня они всѣ равны. Много я насмотрѣлся въ тюрьмахъ, какъ совершенно безвинныхъ людей Богъ

знаеть въ чемъ обвиняли и убивали даже! Его начальство наказываетъ; зачѣмъ же еще и я, такой же, какъ онъ, несчастный, стану его мучить?...

При всѣхъ противорѣчiяхъ и путаницѣ мыслей, которыя поражали въ разсужденiяхъ и взглядахъ Лунькова, въ немъ таилось зерно какъ-будто чего-то хорошаго, честнаго, самостоятельнаго, зерно, быть можетъ, едва замѣтное подъ темной скорлупою испорченности и невѣжества, но придававшее ему всетаки симпатичный обликъ, дѣлавшее его отраднымъ исключенiемъ среди дѣйствительно дешевой и безнадежно развращенной шпaнки.

Большинство арестантовъ страшно ненавидѣло и бранило Шелайскiй рудникъ; Луньковъ, напротивъ, былъ одинъ изъ немногихъ, которые хвалили его. Онъ былъ доволенъ именно тѣмъ, чѣмъ Петины, Сокольцевы и Семеновы возмущались: тѣмъ, что въ немъ было строго, что каждый членъ артели имѣлъ равный со всѣми голосъ, и потому воровства общаго имущества не происходило, и пища была лучше, чѣмъ въ другихъ тюрьмахъ. Картъ онъ также не любилъ и предпочиталъ имъ книжку.

Таковъ былъ второй изъ моихъ любимыхъ учениковъ. Пошло ли ему въ прокъ ученье? И чѣмъ онъ кончитъ? Ставлю знаки вопроса, на которые самъ я не въ силахъ дать какой-либо опредѣленный отвѣтъ.

## XXV.

### Сахалинскiя тревоженiя.

Съ приближенiемъ весны пошли по каторжнымъ тюрьмамъ темныя слухи о предстоящей выборкѣ на островъ Сахалинъ. Арестанты глухо волновались. Одни страшились, какъ смертной казни, одного имени этого ужаснаго острова; для другихъ, напротивъ, оно являлось символомъ тайной надежды на воскресенiе... Говорили, будто высылкѣ на этотъ разъ подлежали всѣ бродяги, не помнящiе родства, всѣ судившиися во второй разъ, всѣ бѣгавшие съ каторги, наконецъ, всѣ провинившиися въ чемъ нибудь въ тюрьмѣ. Категорiи эти обнимали собой огромную часть тюремнаго населенiя, и понятно, что всѣ съ трепетомъ ожидали рѣшенiя своей участи. О томъ, что такое собственно Сахалинъ, этотъ знаменитый Соколинный островъ, никто съ положительностью ничего не зналъ. Одни утверждали, что это—живой гробъ, изъ ко-

того нѣтъ возврата назадъ; о каторжныхъ работахъ въ каменноугольныхъ копяхъ, гдѣ приходится ползать на колѣняхъ по горло въ водѣ, передавались ужасы... Другіе, наоборотъ, смѣялись надъ подобными страхами и рисовали Сахалинъ чѣмъ-то вродѣ земного Эльдорадо: тамъ, по ихъ словамъ, самыхъ долгосрочныхъ немедленно отпускали на волю, на всѣ четыре стороны; казенныхъ работъ почти не было; арестантамъ давались орудія труда, скоть и даже деньги на обзаведеніе хозяйствомъ; этого мало: каждому предоставлялось выбрать въ качествѣ жены любую изъ выстроеннаго шеренгой десятка каторжанокъ... Для тѣхъ же, кому и всѣхъ этихъ благъ казалось мало, всегда, будто бы, была возможность побѣга. Назывались въ подтвержденіе десятки фамилій зерентуйскихъ, алгачинскихъ и карійскихъ арестантовъ, бѣгавшихъ якобы съ Сахалина и очень его одобрявшихъ. Никто не зналъ въ концѣ концовъ, кому и чему вѣрить. Малосрочные каторжане, а также забайкальскіе уроженцы, мечтавшіе вернуться по окончаніи срока на родину, само собой разумѣется, больше всѣхъ трусили Сахалина и впадали въ уныніе при каждомъ возобновленіи слуховъ о скорой выборкѣ. Безнадежно долгосрочные, напротивъ, мечтали попасть въ списокъ высылаемыхъ: они готовы были отправиться хотя бы даже за Сахалинъ, на самый край свѣта, лишь бы только вырваться изъ стѣнъ Шелайской тюрьмы, которая большинству ихъ казалось хуже самой смерти. „Перемѣнить участь“, перемѣнить цѣною чего бы то ни было и какимъ бы ни было образомъ—было ихъ первой и самой завѣтной мечтою, не дававшей ни сна, ни покоя. Объ отдаленномъ будущемъ никто изъ этихъ мечтателей не любилъ и не умѣлъ задумываться. Сахалинъ, если бы даже онъ оказался и ужасной вещью, представлялся чуть-ли не столь же далекимъ, какъ и существованіе за гробомъ, а между тѣмъ на пути туда рисовалась воображенію раздольная этапная жизнь съ майданами и картежной игрою, съ массой новыхъ тюремъ, черезъ которыя надо проходить, со множествомъ новаго народа, встрѣчами со старыми знакомцами и товарищами и—кто знаетъ?—быть можетъ, счастливыми случаями, которыя опять вынесутъ мертваго человѣка на свѣтъ Божій... Особенно разгорались мечты долгосрочныхъ, имѣвшихъ при себѣ женъ. Среди арестантовъ, вообще, господствовало мнѣніе, не знаю вѣрное или невѣрное, что не только на Сахалинѣ, но и въ большинствѣ другихъ каторжныхъ пунктовъ, семейныхъ не

держатъ въ тюрьмѣ даже и въ теченіе испытываемаго срока, а почти немедленно выпускаютъ въ вольную команду, въ виду того, что семейные очень рѣдко бѣгаютъ. Въ Шелайскомъ рудникѣ такого обычая, во всякомъ случаѣ, не было: Шестиглазый относился къ женатымъ такъ же строго, какъ и къ холостымъ. Свиданіе съ женами давалось имъ одинъ разъ въ недѣлю подѣ строгимъ наблюденіемъ надзирателей; ничего съѣстного передавать съ воли не позволялось (кромѣ того, что можно было съѣсть во время свиданія), и никто не имѣлъ надежды выйти на свободу раньше окончанія испытываемаго и исправляющаго срока.

— И не мечтайте объ этомъ,—грозно заявилъ однажды штабс-капитанъ Лучезаровъ во время вечерней повѣрки:—для меня вы всѣ равны, и никого раньше законнаго срока я не выпущу. А если я не выпущу, то и самъ Богъ не поможетъ вамъ выйти за эти стѣны!

Между тѣмъ, испытываемые сроки у большинства шелайскихъ семейныхъ были безнадежно-большіе, и понятно, какъ всѣ они должны были рваться вонъ изъ когтей Шестиглазаго, если питали увѣренность, что другія тюремныя начальства относятся къ женатымъ арестантамъ мягче. Положеніе нѣкоторыхъ изъ нихъ, дѣйствительно, внушало невольное состраданіе. Такъ, молодой еще полякъ Мусяль пришелъ на двадцать лѣтъ за убійство вотчима своей жены, который вывелъ его изъ терпѣнія рядомъ многолѣтнихъ несправедливостей, обмановъ и придиорокъ. Мусяль былъ простой польскій мужикъ, умственной своей первобытностью и нравственной неиспорченностью сильно напоминавшій нашего русскаго Шемелина. Если вѣрить разсказу Мусяла (а не вѣрить не было причинъ—такъ былъ онъ простъ и похожъ на дѣйствительность), то большинство русскихъ арестантовъ безъ колебаній и немедленно сдѣлали бы то, что онъ сдѣлалъ лишь послѣ нѣсколькихъ лѣтъ самаго ослинаго терпѣнія: такъ были возмутительны поступки тестя. Сама Юзефа, жена Мусяла, побуждала мужа отомстить обидчику. Когда Яна осудили за убійство, она отправилась за нимъ и въ каторгу, оставивъ маленькихъ дѣтей у родныхъ. Въ дорогѣ уже родилась у нихъ еще одна дочь, хорошенькая Кася, которую я видалъ иногда во время свиданій. Такому человѣку, какъ Мусяль, нравственно исполнѣ еще уцѣлѣвшему, дѣйствительно глубоко привязанному къ семьѣ и женѣ и отчасти изъ любви къ нимъ и совершившему свое преступленіе,

можно было отъ души пожелать скорѣйшаго выхода на волю. Онъ много страдалъ, и на глазахъ моихъ въ его отношеніяхъ съ женою совершалась ужасная драма. Янъ былъ недалеко и ревнивъ; а красивая и здоровая Юзефа представляла такой лакомый кусокъ не только для арестантовъ-вольнокомандцевъ, но и для казаковъ, и для самихъ надзирателей, что противъ счастья молодой четы неизбѣжно долженъ былъ начаться цѣлый рядъ самыхъ темныхъ интригъ и подвоховъ. Десятки соблазнительныхъ предложеній преслѣдовали Юзефу, и только крестьянская неиспорченность и католическая набожность спасли ее: рѣдкая бы русская женщина выдержала такой искусъ, какой выпалъ ей на долю. Одинъ грязный слухъ за другимъ зарождался за стѣнами тюрьмы и черезъ уста злобной кобылки, всегда жадной до чужихъ страданій, доходилъ до ушей мужа. Долгое время онъ только смѣялся, вѣря въ свою жену, какъ въ святую. Клеветники и сплетники всячески изощряли свое воображеніе и остроуміе: то говорили, что Юзефа живетъ съ урядникомъ, то съ однимъ изъ надзирателей, то указывали на какого-то купца. Передавались самыя реальныя подробности, выдумывались самыя правдоподобныя сцены и подслушанные якобы разговоры... Подозрѣніе начало, наконецъ, свивать гнѣздо въ сердцѣ Яна... Въ довершеніе бѣды, на одномъ изъ свиданій надзиратель, давно уже точившій зубы на отвергшую его ухаживанья Юзефу, перехватилъ у нея какую-то незначущую записку, будто бы переданную мужемъ, и Шестиглазый, въ наказаніе, лишилъ ихъ на пять мѣсяцевъ свиданія. Того только и нужно было врагамъ. Клевета сдѣлалась еще беззастѣнчивѣе и дерзче, а несчастный Янъ лишенъ былъ даже возможности провѣрять ее, и съ этихъ поръ ревность охватила его пожаромъ. Напрасно многіе доброжелатели пытались его успокаивать и убѣждать не вѣрить арестантскимъ слухамъ и выдумкамъ: онъ самъ превратился теперь въ обвинителя и открыто и громко поносилъ жену такими словами, за которыя прежде разбилъ бы голову всякому, отъ кого бы ихъ услышалъ. Встрѣчаясь иногда съ нею за тюрьмой, онъ металъ на нее свирѣпыя взгляды и изъ-подъ конвоя осыпалъ грубою бранью. Ни въ чемъ неповинная Юзефа долгое время недоумѣвала и лишь горько плакала въ отвѣтъ на незаслуженныя оскорбленія; но скорѣе тоже озлилась и на брань стала отвѣчать бранью. Кобылка, присутствуя при такихъ супружескихъ сценахъ, радостно хохотала, какъ бы торжествуя свою

побѣду. Кончилось тѣмъ, что по истеченіи пяти мѣсяцевъ, когда прошелъ наложенный срокъ наказанія, Юзефа сама не стала ходить къ мужу на свиданія. Семейный миръ и счастье, казалось, навсегда были разрушены: Юзефа собиралась уже ѣхать съ маленькой Касей въ Россію...

Простая случайность предупредила это несчастье. Шелайскій рудникъ посѣтилъ заведующій нерчинской каторгой, и совершенно для всѣхъ неожиданно Мусяль обратился къ нему съ описаніемъ своего горестнаго положенія. Не смотря на комизмъ полурусской рѣчи Мусяла, описаніе это вышло такъ сильно и трогательно, что заведующій, справившись тутъ же у Лучезарова о его поведеніи и узнавъ, что черезъ какой-нибудь мѣсяцъ кончается его испытанный срокъ, приказалъ немедленно выпустить его изъ тюрьмы. Кобылка проводила его на волю насмѣшками и зловѣщими пророчествами о прибылѣ, которая тамъ его ожидаетъ...

Но всѣ пророчества эти, къ счастью, оказались вздоромъ; недоразумѣнія разъяснились при личномъ свиданіи къ обоюдному удовольствію, и молодая чета стала жить въ прежнемъ мирѣ и согласіи.

Портной Булановъ, имѣвшій многочисленную семью на рукахъ, меньше всѣхъ женатыхъ внушалъ къ себѣ сожалѣніе. Это была по истинѣ гнусная личность, лицемѣрная, себялюбивая, съ ушками всегда на макушкѣ, съ хитрыми бѣгающими глазками и сладенькой улыбочкой на губахъ. Жилъ онъ у себя дома вполнѣ безбѣдно ни въ чемъ не нуждаясь, и все-таки пришелъ въ каторгу за убійство трехъ душъ съ цѣлью грабежа. Съ ужасающимъ цинизмомъ рассказывалъ онъ подробности этого злодѣйства, не говоря, впрочемъ, прямо, что въ немъ участвовалъ; но это видно было по его хитрой усмѣшкѣ, по холодному блеску острыхъ глазокъ.

— Я безъ вины попалъ въ работу,—пѣлъ въ такихъ случаяхъ лукавый мордвинтъ:—я вѣдь въ неосознаніи осужденъ навѣчно.

Портной онъ былъ хорошій; онъ обшивалъ все мѣстное начальство, включая и самого Лучезарова, и заработокъ имѣлъ изрядный; жена его была, повидимому, практичная особа и тоже умѣла добывать деньжонки. Тѣмъ не менѣе Булановъ всѣми силами души рвался вонъ изъ Шелайскаго рудника и постоянно мечталъ о „переводкѣ“: онъ пробылъ въ каторгѣ всего лишь два года, и впереди ему оставалось еще девять лѣтъ одного тюремнаго срока!...

Но никто изъ семейныхъ не велъ свою линію такъ упорно и

послѣдовательно, какъ Дюдинъ, имѣвшій на шеѣ пятнадцать лѣтъ одного испытываемаго срока (какъ рецидивистъ-вѣчникъ). Это былъ странный человѣкъ, котораго природа надѣлила способностью работать языкомъ до собственного умопомраченія. Несчастный былъ тотъ, кто обнаруживалъ хоть малѣйшую охоту поговорить съ нимъ: тогда ужъ рассказовъ его невозможно было переслывать! Дюдинъ былъ уже пожилой человѣкъ и отличался вѣшной солидностью и благообразіемъ. Случайно проживъ три года въ Германіи, въ качествѣ лакея, научился онъ безобразнѣйшимъ образомъ говорить по-нѣмецки; зналъ рѣшительно всѣ мастерства и ремесла на свѣтѣ, и матеріаловъ для разговоровъ находилъ безконечное количество. Говорилъ онъ при этомъ всегда съ странными вывертами и оборотами рѣчи, въ которыхъ видна была претензія блеснуть образованностью и европейскимъ лоскомъ. Такъ, по его словамъ, онъ „покушалъ разъ свою жизнь на австрійскаго подданнаго барона Розенвальда“; всѣ господа, у которыхъ онъ жилъ въ Россіи и за-границей, всегда были съ нимъ „въ симпатичныхъ отношеніяхъ“; если кто изъ арестантовъ, въ спорѣ, начиналъ говорить явно несообразныя вещи, то Дюдинъ заявлялъ ему: „Ну, братецъ, ты ужъ до *апогеевыхъ* столбовъ нелѣпицы дошелъ“! Именами бароновъ, князей и графовъ, съ которыми онъ былъ знакомъ, онъ такъ и сыпалъ, какъ бисеромъ, въ глаза своимъ собесѣдникамъ. Понятно, что арестанты страшно его не любили, и рѣдкій день не выходило у Дюдина съ кѣмъ нибудь брани, ссоры и даже драки.

— Дюдинъ опять нашелъ приключеніе! — говорила кобылка, заслышавъ гдѣ нибудъ заведенный имъ шумъ.

Тогда какъ другіе семейные всячески лебезили передъ начальствомъ и „ударяли къ нему языкомъ“, Дюдинъ, который тоже, разумѣется, не прочь былъ отъ этого, вскорѣ умудрился вооружить противъ себя и всѣхъ надзирателей своей неугомонной вздорностью, неумолкаемой болтовней и страстью къ „волеикамъ“. Вѣчно онъ попадался въ какомъ-нибудь „приключеніи“: то незаконно проносилъ въ тюрьму со свиданія колобѣ и шаньги на дежурствѣ „хорошаго“ подворотнаго надзирателя, и вслѣдъ затѣмъ попадался съ ними на глаза внутреннему „нехорошему“ дежурному, подводя тѣмъ подъ бѣду перваго; то заводилъ споръ и даже мордобой съ кухонниками или прачками; то, наконецъ, распускалъ сплетню про надзирательскихъ женъ, доходившую до свѣдѣнія послѣднихъ и производившую суматоху за стѣнами тюрьмы... Никакія взыска-

нія, ни даже лишенія свиданія съ женой не могли исправить этого вадорнаго человѣка. Рѣшительно на каждой вечерней повѣркѣ онъ заводилъ съ Шестиглазымъ безконечныя пренія, обращаясь то съ просьбой, то съ жалобой, а то и просто съ какой нибудь чепухой. Даже великолѣпнѣ браваго штабсъ-капитана не было для него достаточнымъ пугаломъ, и тотъ сталъ, наконецъ, отмахиваться руками и ногами, еще издали только завидѣвъ Дюдина, не успѣваго даже разинуть ротъ, чтобы начать свои словоизверженія... Кончилось тѣмъ, что Лучезаровъ самъ сталъ хлопотать о переводѣ Дюдина въ другую тюрьму.

Въ совершенно иномъ положеніи находились малосрочные: для этихъ былъ полный расчетъ отбыть свое наказаніе даже въ строгой Шелайской тюрьмѣ, лишь бы послѣ того быть поселенными въ Забайкальской области, а не на страшномъ Сахалинѣ. Изъ бродягъ, непомнящихъ родства, былъ у насъ одинъ забайкальскій крестьянинъ, бѣглый солдатикъ, осужденный безъ „качества“ за одно скрытіе родословія; срокъ его четырехлѣтней каторги кончался этимъ же лѣтомъ, и его могли тѣмъ не менѣе отправить на Сахалинъ. Понятно, какъ трепеталъ онъ въ ожиданіи, чѣмъ разрѣшатся слухи о выборкѣ. Говорили, что съ Кары, изъ Зерентуйскаго, Алгачинскаго и другихъ большихъ рудниковъ „замели“ рѣшительно все здоровое населеніе, оставивъ намѣстѣ только калѣкъ да богодуловъ; что отправляли на Сахалинъ даже тѣхъ, кому кончился уже срокъ каторги, но не успѣло придти назначеніе волости.

Но былъ въ Шелайскомъ рудникѣ одинъ человѣкъ, который больше всѣхъ трусилъ; онъ поблѣднѣлъ, осунулся, весь съежился и скорчился, точно надѣялся, что въ такомъ видѣ его не замѣтятъ и оставятъ въ покоѣ. Это былъ никто иной, какъ нашъ старый знакомецъ и пріятель, Кузьма Чирокъ. Онъ крѣпко помнилъ свою исторію съ бараномъ-собакой, и хотя утверждалъ, что побѣгъ его не былъ внесенъ въ статейный списокъ, какъ простая отлучка, но въ глубинѣ души не былъ въ этомъ увѣренъ. Бѣдный Чирокъ лишился даже сна и аппетита. А злые шутники, подмѣтивъ вскорѣ его тревогу, воспользовались ею и начали безъ конца и на всѣ лады донимать его.

— Угодишь теперь къ своей Лукейкѣ, безпремѣнно угодишь! — жужжали ему день и ночь въ уши.

— Чего печалишься, дружокъ? Тамъ сестрица тебя и зятекъ богоданный ждутъ.



— Пошелъ ко всѣмъ дьяволамъ, творенье паршивое, гадъ!

— Да чего же ты лаешься, Кузьма Александрычъ? Аль въ счастье свое не вѣришь? Такъ это дѣло навѣрняка можно оборудовать. У насъ грамотные есть. Никишка, сочини прошеніе, что вотъ-молю Кузьма Чирокъ, находясь восемь лѣтъ въ тяжелой разлукѣ съ единокровной сестрицей своей Лукерьей Александровной, просить низкающе ваше превосходительство или какъ тамъ... соединить его вновь! А потому желаетъ отправиться на островъ Сахалинъ, гдѣ она пребыванье имѣетъ съ супругомъ своимъ Семеномъ Пелевинымъ и дѣтками. Садись, братъ, я диктовку тебѣ сорую.

— Да! Никишкѣ и написать... Нашелъ грамотея,—пренебрежительно ворчалъ Чирокъ, съ безпокойствомъ слѣдя, однако, за тѣмъ, какъ полуграмотный Буренковъ важно усаживался за столъ, раскладывая передъ собой бумагу и завастривалъ крошечный обломокъ карандаша.

— Да вотъ и напишу!—подзадоривалъ его Никифоръ, бойко начиная выводить какіе-то удивительные гіероглифы:—Прошеніе. А тому слѣдуютъ пунхты. Сестра Лукерья. Островъ Соколинъ. Подписался Кузьма Чирокъ. Готово!

И онъ начиналъ торжественно складывать мнимое прошеніе. Тутъ Чирокъ не выдерживалъ.

— О, гады!—вскрикивалъ онъ:—они еще и въ самъ дѣлѣ подведутъ подъ плети!

Онъ соскакивалъ съ мѣста и кидался къ Никифору отнимать бумагу. Но тотъ успѣвалъ вырваться и, пробѣжавъ по нарамъ черезъ головы и ноги лежавшихъ на нихъ арестантовъ, бросался за дверь и выбѣгалъ на дворъ, преслѣдуемый по пятамъ Чиркомъ. Нѣсколько разъ обѣгали они вокругъ тюрьмы. Легконогіи Никишка, бывшій къ тому же босикомъ и въ одномъ бѣлѣ, не взирая на лежавшій еще на дворѣ снѣгъ, летѣлъ, какъ вѣтеръ; но и неуклюжіи на видъ Чирокъ, одѣтый въ тяжелые сапоги съ кандалами и бушлатъ, оказывался тоже замѣчательнымъ бѣгунъ. Раза два или три онъ почти настигалъ Никифора, но тотъ ухитрялся каждый разъ увернуться въ сторону и, наконецъ, совсѣмъ убѣгалъ отъ запыхавшагося и сопѣвшаго, какъ паровикъ, Чирка. Минуты черезъ двѣ Буренковъ самъ къ нему подходилъ.

— Куда дѣлъ прошеніе, гадъ? Давай!—приставалъ къ нему все еще тяжело дышавшій Чирокъ, кашляя, бранясь и отплеиваясь.

— Подъ ворота бросиль, — отвѣчалъ Никишка: — пушай надзиратели подымуть.

— Врешь?! — вскрикивалъ Чирокъ не то шутливо, не то и въ самомъ дѣлѣ испуганно и начиналъ на чемъ свѣтъ стоитъ бранить и даже тузить помирающаго со смѣху Никифора. Шутки эти и забавный страхъ Чирка передъ Сахалиномъ стали извѣстны вскорѣ и надзирателямъ, и одинъ изъ нихъ вошелъ разъ въ нашу камеру и съ серьезнымъ видомъ прочелъ только что полученный, будто бы, списокъ арестантовъ, назначенныхъ къ отправкѣ на Сахалинъ: въ томъ числѣ былъ и Кузьма Чирокъ. Послѣдній поблѣднѣлъ, задрожалъ весь и разинулъ ротъ. Шутка заходила уже слишкомъ далеко, и кто-то, сжалившись, поспѣшилъ засмѣяться и объяснить Чирку, что противъ него составленъ заговоръ. Негодованію его не было предѣловъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и новымъ восторгамъ кобылки.

Въ одинъ прекрасный мартовскій день точно электрическая искра пробѣжала по тюрьмѣ: прошелъ слухъ, что полученъ, наконецъ, списокъ тринадцати человѣкъ, подлежащихъ отправкѣ на Сахалинъ изъ Шелайскаго рудника. Все сразу затихло, всѣ какъ бы ушли въ глубь себя, изрѣдка только и потихонько сообщая другъ другу догадки, кто бы могли быть эти тринадцать человѣкъ — по мнѣнію однихъ, несчастливцевъ, по мнѣнію другихъ — фартовцевъ. Въ этотъ день насилу дождались вечерней повѣрки. Можно бы было услышать полетъ мухи — такъ было тихо, когда Лучезаровъ, явившійся самъ на повѣрку, громогласно объявилъ послѣ молитвы, что ровно черезъ недѣлю отсылаются на Сахалинъ всѣ уроженцы Забайкальской области, въ числѣ тринадцати человѣкъ, между прочимъ, и братья Буренковы. Одинъ только Дюдинъ какимъ-то образомъ затесался въ эту же категорію, хотя вовсе и не принадлежалъ къ ней.

Объявленіе это было для всѣхъ ударомъ грома съ безоблачно-яснаго неба. У однихъ вырвался изъ груди глубокій вздохъ облегченія, у другихъ почти крикъ ужаса, у третьихъ — проклятіе досады и разочарованія.

— Господинъ начальникъ! Вѣдь мы семейные, — заговорилъ жалобно Никифоръ: — жены, дѣтишки маленькія... Къ тому же, ихъ нѣтъ при насъ... Да и срокъ совсѣмъ къ концу подходитъ.

— А насъ какъ же нѣтъ? Мы вѣдь просились! — загалдѣли долгосрочные.

— Молчать! Что за манера говорить всѣмъ разомъ? Ждите,

когда начальникъ самъ объяснить вамъ. Въ нынѣшнемъ году нѣтъ требованій на Сахалинъ изъ другихъ категорій. Повѣрьте, что я самъ былъ бы радъ отдѣлаться отъ многихъ изъ васъ. Я посылаю списокъ всѣхъ артистовъ, которые не ко двору въ моей тюрьмѣ, но, къ сожалѣнію, пока берутъ одного только Дюдина. Что касается малосрочныхъ и семейныхъ, вроде Буренковыхъ, то положеніе ихъ дѣйствительно печальное. Но ничего не подѣлаешь: законъ! Надо покориться. Я тутъ не при чемъ. Одно могу вамъ посовѣтовать: телеграфируйте немедленно женамъ, чтобы онѣ собирались въ путь. Въ Усть-Карѣ вамъ придется, вѣроятно, долго сидѣть, и онѣ могутъ васъ догнать.

— А если хлопотать, господинъ начальникъ, — робко заговорили малосрочные: — если телеграмму отбить господину губернатору?... Дѣтишки, молъ, малыя, жены больныя... Можетъ быть, снизойдутъ, оставить.

— Напрасно деньги потратите. Законъ не можетъ быть отмененъ; уроженцы Забайкальской области должны быть поселены на Сахалинѣ.

— Все-таки попробовать бы, господинъ начальникъ.

Лучезаровъ пожалъ плечами.

— Пробуйте, пожалуй. Надзиратели, разводите арестантовъ по камерамъ.

Въ нашемъ номерѣ не спали въ тотъ вечеръ до глубокой полночи. Чирокъ предавался безумной радости, со всѣми заигрывать, возился и ядовито подсмѣивался надъ тѣми, которые другимъ яму копали, подметныя письма и прошенія сочиняли и вдругъ сами въ бѣду попали. Никифоръ и Михайла были убиты и молчаливы. Петинъ, Ногайцевъ и Сокольниковъ, мечтавшіе о Сахалинѣ, раньше всѣхъ утѣшились и начали строить другіе планы отбиться отъ Шестиглазаго и его тюрьмы.

На другой день Буренковы отправили въ Троицкосавскъ телеграмму своимъ женамъ. Двое другихъ изъ назначенныхъ къ отправкѣ послали по телеграфу же прошеніе губернатору. Не знаю, посылали-ли Лучезаровъ это прошеніе, только четыре дня спустя онъ объявилъ имъ, что получился отказъ, и нужно собираться въ дорогу. Буренковы сильно волновались, долго не получая изъ дому отвѣта. Никифоръ прямо заявилъ, что если жена почему-либо откажется за нимъ заѣхать, тогда онъ пропащій человекъ.

— Съ дороги безпремѣнно бѣгу и заявлюсь къ ей. А! скажу,

сволочь, ты думала, что отправила меня на Сахалинъ, такъ и отвязалась? На вольной волюшкѣ хотѣла пожить? Нѣтъ, шалишь. Я—вотъ онѣ. Меня и цѣпь удержать не смогла. Я, вѣдь, братцы, и въ самъ-дѣлѣ... Коли ужъ рѣшусь на что, такъ я духовой парень! Ничего тогда не боюсь—ни людей, ни самого Бога. Коли приду да замѣчу, что въ ей невѣрность, али тамъ баловство какое, такъ много разговаривать не стану: живо и голову ей, подлой, прочь! Знай нашихъ, соколинецъ! Ну, а ее побью—и ребятишекъ тоже побью. Не далъ Богъ отцу талану, не копите и вы свѣтъ бѣлый, не будьте такими же несчастными.

— Полно вамъ вздоръ нести, Никифоръ,—возражалъ я:—вѣдь вы сами не вѣрите тому, что говорите. Хорошо знаете, что жена вѣрна вамъ и пойдетъ за вами въ огонь и въ воду.

— Это вѣрно, положимъ... Оно нужно бы такъ думать, Миколаичъ, что пойдетъ... Только все же и сумленіе иной разъ беретъ. Завтра вѣдь пятый ужъ день, какъ телеграмма отбита, а отвѣта нѣтъ.

— Ничего, придетъ еще. Расскажите-ка лучше, какъ вы поженились? Отцы васъ сосватали или какъ?

— Мы убѣгомъ, Миколаичъ... У насъ это часто бываетъ, у семейскихъ. Вѣстимо, отцы раньше согласіе свое даютъ, а тоже много случается—и безъ согласія. Вотъ мы къ примѣру... Помнишь, ты романы намъ разные читалъ и рассказывалъ? Такъ ты думаешь, поди, что это въ нашемъ только быту любовь тамъ разная водится, а мы, простые мужики, какъ скотина живемъ? Нѣтъ, и у насъ, братъ, то же самое бываетъ. Я про себя вотъ, коли хочешь, расскажу.

## XXVI.

### Романъ Никифора.—Отправка.

— Наши двѣ семьи, моя, отцовская, и Настькина, жена, страшнѣйшую вражду промежъ себя имѣли,—такъ началъ Никифоръ свой романъ.—Отцы-то и матери видѣть другъ дружку спокойно не могли, зубами скыржетали. Не могу обсказать хорошенько, изъ-за чего въ началѣ у нихъ пошло, я еще махонькій объ ту пору былъ. Только и мы, конечно, ребятишки, большимъ подражали. Я Настьку-то не разъ, признаться, колачивалъ... Словлю гдѣ-нибудь одну—и сейчасъ въ волосы ей, а то пескомъ всю об-

сыплю. Только она, бывало, никогда не заплачетъ, развѣ со злости ужъ, что защититься нѣтъ силы... Дерется тоже, кусается, стервеннокъ, разалѣется вся... Ну, только въ окончаніе всего я, разумѣется, накладу ей. Жалиться она тоже не любила; никогда, бывало, отпуматери не скажетъ, что я побилъ ее, потому мнѣ тогда все-жъ бы и мои старики спуску не дали, даромъ, что со взрослыми во враждѣ жили. И боялась же меня Настька: завидитъ, бывало, издали—и на убѣгъ... Бѣжить, бѣжить, падаетъ, подымается, опять во всѣ лопатки жарить... Я маленький-то варваръ вѣдь былъ, вотъ у Михайлы спроси. Онъ помнитъ. Онъ самъ меня не одна за уши диралъ. Ну, вѣстимо, какъ подросли мы оба съ Настькой, драться перестали—совѣстно ужъ было... И Настька бѣгать отъ меня не стала; только пройдетъ мимо—глазомъ, бывало, не моргнетъ, не поглядитъ на меня. Ровно незнакомые. Какъ царевна какая мимо идетъ. Съ другими подростками, товарищами моими, и шутки всякія шутить и любезничаешь (подростки тоже вѣдь, какъ взрослые, себя держать, особливо дѣвки), а меня ровно и нѣтъ для нея. Я иновѣ скажу что-нибудь, мелкимъ бѣсомъ подѣжду... Ни-ни! Развѣ глазомъ только обождетъ, ненавистливо таково поглядитъ! Сталь и я тогда въ амбицію вламываться, озлился. Разъ весной (мнѣ ужъ шестнадцать лѣтъ было) я на конѣ верхомъ ѣхалъ, а Настька съ матерью на встрѣчу въ гости куда-то шли. День былъ праздничный; обѣ нарядныя такія, расфуфыренныя... А на улкѣ грязи было, грязи—не приведи Богъ, потонуть можно. Какъ закипитъ во мнѣ злость! Какъ приударю я коня плетью да мимо ихъ: всѣхъ съ ногъ до головы грязью залѣпилъ! Дѣвушки кругомъ, ребяташки, парни смѣхъ подняли... Настькина мать кричитъ: „Ловите, держите разбойника!“—Гдѣ тутъ? Меня и слѣдъ давно простылъ. Послѣ того долго мы не встрѣчались. Самому мнѣ какъ-то совѣстно стало: завижу гдѣ—и въ сторону ворочу. А коли неминуче гдѣ встрѣнемся, среди хоровода, въ молодяжничкѣ, такъ я стараюсь ужъ и не глядѣть на нее, съ другими дѣвушками любезничаю. А только пала она съ той поры мнѣ на сердце... Бравая была дѣвка, нечего говорить. Вотъ Михайла знаетъ, не дастъ соврать... Даже говорить смѣшно: сплю, бывало, а самъ во снѣ ее вижу, обнимаю, словами пріятными называю... Вотъ ей-богу, не вру! А по утру встану—сердитый, на свѣтъ бы бѣлый не глядѣлъ. Ну, словомъ, буква въ букву со мной такъ выходило, какъ въ тѣхъ романахъ, которые ты читалъ намъ, Миколаичъ... Вотъ оно

любовь-то значить! Сталь я, прямо надо сказать, сохнуть по Настькѣ. Думаю: видно, приходится покориться ей, прощенья, что-ли, просить; можетъ, и согласится замуъ за меня пойтить. А потомъ опять сумлѣніе найдетъ: шибко ужъ, думается, злобится она на меня, забыть не можетъ, какъ дѣвчонкой еще забижалъ я ее и какъ при всемъ народѣ осрамилъ — грязью обрызгалъ. Она на память крѣпкая, не даромъ гордости въ ей столько, никогда не жалилась на меня, какъ маленькая была, даже плакала рѣдко. Разъ возвращался я домой съ охоты. За утками весной ходилъ. Бреду по берегу рѣчки, по-за кустами, гляжу — Настька бѣлье на плоту колотить. Забилось во мнѣ, признаться, сердце... Закрутилъ усь (а и усь-то только что пробиваться зачалъ), поправилъ ружье на плечѣ и подхожу прямо къ ей. — Здравствуй, говорю, Настасья!.. Въ первый разъ за всю жизнь такъ къ ей обращаюсь. Она какъ испужается (не замѣтила, вишь, какъ я подходилъ) и валекъ даже изъ рукъ выронила...

— Ой, говорить, какъ ты испужалъ меня, Никифоръ!

И губы прикусила, что невзначай имя мое сорвалось. Замолчала, стала бѣлье выкручивать. Я остановился подлѣ.

— Ты, спрашиваю, шибко серчаешь на меня, Настя?

Она не отвѣчаетъ.

— Видить Богъ, говорю, каюсъ передъ тобой, за все каюсъ... (Говорю, а у самого глотку будто перехватилъ кто) — прости, Настасьюшка!

Она не глядитъ, бѣлье продолжаетъ выкручивать.

— Чего, говорить, мнѣ серчать? Дороги у насъ разныя, дѣлать намъ нечего.

— Неужто таки нечего? спрашиваю: ты вотъ говоришь, не серчаешь, а сама даже и не смотришь на меня.

Она взглянула — и засмѣялась. Такъ засмѣялась, что и во мнѣ ровно все засмѣялось, ровно солнышко взошло на душѣ — такъ свѣтло стало.

— Узоровъ на тебѣ, говорить, не написано; чего мнѣ глядѣть? Насмѣлѣлъ я, еще ближе подошелъ.

— Вотъ что, говорю, Настя, я безъ тебя жить не могу. Пойдешь за меня?

Она того пуще разсмѣялась.

— Вотъ что выдумалъ! Маленькую билъ, забижалъ, недавно еще при всемъ народѣ срамилъ, а теперъ сватаетъ! Что-жъ, шибко ты любить меня сталъ бы?

И руки въ боки подперла, глядитъ на меня—огнемъ жжетъ, а сама хохочетъ. Свѣта я тутъ Божьяго не взвидѣлъ, схватилъ ее за руку, обнять хотѣлъ... Прочь отъ себя оттолкнула, осерчала, ажъ потемнѣла вся...

— Ты что это, говорить, обо мнѣ въ голову свою дурную забралъ? Гулящей меня, што-ли, считаешь? Такъ знай же, говорить, Микишка: не видать тебѣ меня, какъ ушей своихъ! Никогда не владать тебѣ мной! Ни за что въ свѣтѣ не обмануть меня!

— А не боишься, спрашиваю, что я убью тебя? Сейчасъ вотъ убью и себя, и тебя?

И ружье съ плеча сымаю.

— Стрѣлай, говорить, не боюсь я, хоть сейчасъ стрѣлай!

Сама руки на крестъ сложила и стоитъ. Ажно заплакалъ тутъ я, не вытерпѣлъ и убѣжалъ домой. Ушелъ я послѣ того на приискъ. Все лѣто такъ чертомелилъ, что не знаю, какъ у меня спина не треснула. Мнѣ съ ребятами пофартило: много мы золота намыли. Въ полтора какихъ-нибудь мѣсяца на мою только долю съ тысячу рублей пришлось,—и зачалъ я гулять. Пилъ безъ просыпу, буянилъ, распутничалъ, деньги, какъ щепки, швырялъ во всѣ стороны. Отъ лавокъ до кабака дорогу ситцами дорогими выстилалъ: не хочу, молъ, по грязи идти!.. Дошли слухи до нашего мѣста: „Микишка, молъ, совсѣмъ пропалъ, замотался“. А я нарочно еще всѣмъ робятамъ, которые домой шли, наказывалъ: „кланяйтесь, молъ, роднымъ и знакомымъ, прощенья у всѣхъ друзей и товарищей просите, коли зло какое на мнѣ помнятъ! Больше меня не увидятъ. Не жилецъ я на бѣломъ свѣтѣ. Вотъ только деньги послѣднія догуляю“.

— Да и въ самомъ дѣлѣ, братцы, дурныя мысли въ башкѣ ходили. Просыпаюсь разъ утромъ посередѣ улицы, оборванный, грязный, въ кровѣ весь, чортъ чортомъ... Въ карманѣ хоть таромъ покати, и кошелька даже нѣтъ. Босикомъ; головушка трещитъ. Ну, теперь, думаю, пора: камень теперь на шею, да и въ Чикой-батюшку!.. Сажу это посередѣ дороги, думаю. Ранымъ-рано. На улицѣ ни души. Солнышко изъ-за сопки встаетъ. Радостно таково, свѣтло въ мірѣ Божьемъ... И вспомнилась мнѣ Настья опять... Будто слова ея слышу: „какъ ты испужалъ меня, Никифоръ!“ Вижу будто, какъ она глянула на меня, разсмѣялась...

— Эхма! думаю... Прежде чѣмъ помереть, пойду еще хоть глазкомъ однимъ погляжу на нее, прошусь. Какъ былъ, въ томъ

самомъ видѣ всталъ на ноги и въ одинъ день безъ малаго шестьдесятъ верстъ пѣшкомъ откаталъ. Прихожу въ село—ужъ вечеръ на дворѣ, всѣ спать легли. Я прямо въ ихъ огородъ залѣзъ и къ окну Настькиной горницы подхожу. Смотрю—окно раскрыто, и сама она въ одной сорочкѣ у окна сидитъ. Я, какъ провидѣніе, чортъ-чортомъ, въ пыли весь, въ грязѣ, съ ногами въ кровѣ, и появляюсь передъ ей... Она было айкнуть хотѣла, прочь отъ меня; да я за руку изловился.

— Не кричи, говорю, родная, не пужайся, я проститься только пришелъ. Ты видѣть меня, злодѣя, не можешь, а я изсохъ по тебѣ и жить безъ тебя не хочу... Взглянуть только въ остатній разъ пришелъ... Камень на шею—и въ воду... Прощай!

И хочу уходить. А она ужъ, гляжу, сама меня не пускаетъ...

— Стой, шепчетъ мнѣ, я тебѣ всю правду истинную скажу. Я сама безъ тебя пропадаю... Думала, тебя ужъ и на свѣтѣ нѣтъ изъ-за меня, постылой, и тоже жизни рѣшиться хотѣла!

— Ой-ли? Значить, пойдешь за меня?

— Хоть сейчасъ на край свѣта! Я съ той поры еще, Микишка, объ тебѣ одномъ думаю, какъ ты меня дѣвчонкой калачивалъ и забижалъ.

Того же разу и порѣшили мы уходомъ обвинчаться, потому родители наши ни за что не дали бы согласія. Такъ и сдѣлали, вотъ Михайла помнить. А потомъ, какъ дѣло сдѣлано было, и старики, глядишь, смягчились. Тѣмъ и вражда прежняя кончилась, изъ-за насъ съ Настькой всѣ помирились. Вотъ времячко-то счастливое было, Миколаичъ! Я, знаешь, для того вѣдь больше и нисать-то хотѣлъ обучиться, чтобъ жизнь свою тебѣ описать!

Никифоръ говорилъ все это въ сильномъ волненіи, расхаживая большими шагами по камерѣ, съ заложенными за спину руками и съ огнемъ въ голубыхъ глазахъ. Какая-то благородная вспышка освѣщала все лицо его, отѣненное длинными бѣлокурыми усами, и выпрямляла высокую костлявую фигуру...

— Вишь ты, гадъ, въ бабу какъ врѣзался!—насмѣшливо заиѣтилъ Чирокъ, внимательно слушавшій рассказъ Буренкова:—еще описать ему нужно... Чего тутъ описывать? Дуракъ ты былъ—вотъ и все: изъ-за дѣвки топитья вздумалъ! не зналъ ты еще, чѣмъ они дышутъ, твари!

Соколицевъ, Желѣзный Котъ и другіе подхватили слова Чирка и стали пространно развивать ихъ, разсѣвая мало-по-малу оча-



рованіе простого и вмѣстѣ трогательнаго романа, рассказаннаго Никифоромъ. Но послѣдній, казалось, не обращалъ вниманія на циничныя замѣчанія и шутки товарищей и, въ глубокомъ раздумьи, продолжалъ ходить по камерѣ. И я съ невольной грустью размышлялъ о томъ, какъ несчастно сложилась судьба этого человѣка, отъ природы столь прямого и симпатичнаго.

— Вотъ видите, Никифоръ,—сказалъ я ему въ утѣшеніе,—какъ грѣшно вамъ думать нехорошія вещи о своей женѣ; развѣ можно сомнѣваться, что такая женщина никогда не измѣнитъ?

— Никишка, вѣстимо, зря объ своей бабѣ бѣтаетъ,—подтвердилъ и Михайла:—Настасья женщина вовсе отдѣльная. А вотъ моя баба—это точно змѣя подколотная. Она, я знаю, откажется ѣхать. И дуракъ я былъ, что деньги согласился на телеграмму бросить. Она, небось, рада радехонька, что меня теперь на Сахалинъ упрутъ: оттуда, молъ, ужъ не сорвется!.. Ну, да и я тоже печалиться объ ней шибко не стану, кланяться не буду!

— А вы развѣ, Михайла, не такъ жену свою брали, какъ Никифоръ?

Михайла тихо засмѣялся. Никифоръ отвѣчалъ за него.

— Его силкомъ мать женила. Онъ съ другой раньше жилъ. За нимъ тоже вѣдь всѣ дѣвки увивались, потому и молодецъ былъ изъ себя и жилъ справно.

— Почему же онъ думаетъ, что жена откажется за нимъ ѣхать? Вѣдь она-то не сплой за него шла?

— Коли прежде не поѣхала,—отвѣчалъ самъ Михайла,—теперь тѣмъ болѣе не поѣдетъ. Сахалинъ! Невѣдомая земля! Тамъ вѣдь люди съ собачьими головами живутъ, наскажутъ ей старухи разныя: на что тебѣ ѣхать за имъ, за варваромъ? Тамъ солнышко Божье не свѣтитъ, круглыя сутки ночь стоитъ. Не силой, говорите, замужъ шла? Ха! такъ тогда вѣдь у меня деньги были, руки не связанныя, да и въ лицѣ-то кровь играла... А теперь я на старика, безъ малаго, похожу ужъ, а ей-то, на волѣ-то, на хлѣбахъ моихъ даровыхъ, плясать еще, пожалуй, охота...

— Это правду Михайла говорить,—подтвердилъ и Никифоръ:—бабы вѣдь какой народъ? съ глазъ ты у нихъ долой—и изъ ума вонъ. А тутъ еще старухи эти проклятыя отговаривать зачнутъ. Ты еще не знаешь, Миколаичъ, нашихъ старухъ. Вѣдьмы-вѣдьмами—только что хвоста развѣ нѣтъ... Вотъ и за свою Настьку я поэтому же боюсь. Хоть бы Михайлпну жену взять: если сама

она не надумаетъ ѣхать, то ужъ обязательно и мою отговаривать станетъ, чтобъ одной людей не совѣстно было!

Я переводилъ разговоръ на то, какъ Буренковы пойдутъ дорогой, какъ на Сахалинѣ жить станутъ. У Никифора бесполезно, впрочемъ, было бы спрашивать объ этомъ: онъ былъ человѣкъ момента, обстоятельствъ и постороннихъ вліяній, и если бы даже онъ клясться и божиться началъ, что мошенничать больше не будетъ, то слова его не имѣли бы для меня ровно никакого значенія. Я могъ одного только желать для него отъ всей души: чтобъ условія новой его жизни сложились по возможности благоприятно для честнаго существованія, и первымъ изъ такихъ благоприятныхъ условій была бы, по моему мнѣнію, забота о семьѣ и общая жизнь съ нею. Никифоръ самъ хорошо сознавалъ, что онъ человѣкъ минуты, и въ тѣ же дни передъ разставаньемъ рассказъ о себѣ одинъ смѣшной и крайне характерный анекдотъ.

— Шли мы разъ съ Михайлой съ прінсковъ и подошли къ широкой рѣчкѣ, у которой, однако, бродъ былъ. Я первый разулся, раздѣлся и говорю Михайлѣ: „Я тебя такъ на спинѣ перенесу, не раздѣвайся“. Сурьезно это говорю ему, думаю: перенесу и впрямь. Онъ сдуру-то повѣрилъ да и залѣзъ мнѣ на плечи. Вотъ отошелъ я отъ берега шаговъ тридцать, на самое глубокое мѣсто забрелъ, да и раздумалъ. „Знаешь, говорю, что? Я присталъ“.— Ну, ничего, говорить, какъ-нибудь доволокешь.—„Нѣтъ, говорю, присталъ, не понесу далѣ. Сяду“. Да и зачалъ садиться въ воду... Какъ онъ закричитъ:—Сдурѣлъ ты, Микишка, што-ли?—А я знай себѣ сажусь. Выскочилъ изъ подъ его, да и на убѣгъ. Онъ дьяволь-дьяволомъ вылѣзаетъ со дна: вода съ одежи рѣкой течетъ! Хохотъ на берегу! Съ тѣхъ поръ и говорить про меня Михайла, что мысли у меня долѣ тридцати шаговъ не держатся...

Слова Михайлы имѣли большій вѣсъ и значеніе, и мнѣ не казалось, напримѣръ, въ его устахъ пустымъ „бѣтаньемъ“, когда онъ рассказывалъ, что больше изъ злобы, чѣмъ изъ корысти, началъ мошенничать. По его словамъ, онъ былъ уже женатымъ человѣкомъ, когда родная мать, поощряемая враждебно относившимся къ нему дядей, настояла, чтобъ міръ публично наказалъ его розгами. Большихъ провинностей за нимъ въ то время не числилось, но дядя убѣдилъ глупую старуху, что сынъ можетъ въ конецъ разбаловаться, если распустить вожжи. Съ негодованіемъ, сохранившемся еще и теперь, по простествіи пятнадцати

лѣтъ, рассказывалъ Михайла, какъ позорно наказали его при всемъ народѣ, и какъ хотѣлъ онъ за это убить и дядю, и мать; какъ послѣдняя сама потомъ раскаялась въ своемъ поступкѣ, но было уже поздно: онъ ожесточился и пустился во всѣ тяжкія... Злоба противъ односельчанъ, нанесшихъ ему и послѣ того не мало обидъ, была такъ сильна въ Михайлѣ, что въ случаѣ неудачно сложившейся на поселеніи жизни онъ общался бѣжать и по-свойски расправиться съ ними.

— У меня на двое теперь мысли въ головѣ расходятся,—отвѣчалъ онъ обыкновенно на мои вопросы:—въ мошенничествѣ я вкусу большого не нашелъ. Это я прямо говорю, что не нашелъ, и отстать отъ этихъ пустяковъ мнѣ не трудно. Микишка вотъ хорошо меня знаетъ: коли что я рѣшу, такъ то и сдѣлаю. Люди, товарищи—это ничто меня совратить не можетъ. Но и то опять въ мысли приходитъ: дѣло мое къ старости клонится, и коли буду я одинъ-одинешенецъ, для кого же и для чего я жить стану? Особливо, ежели еще и жить плохо будетъ? Такъ что общаться вѣрнаго ничего не могу. Посмотрю—увидю, что нибудь рѣшу, и тогда напишу вамъ.

Относительно переписки у насъ придумана была цѣлая конспирація. Писемъ Буренковыхъ, адресованныхъ прямо на мое имя, Лучезаровъ ни въ какомъ случаѣ не передалъ бы: по инструкціи арестанты имѣютъ право переписываться только съ ближайшими родственниками. Въ виду этого мы условились сообщаться между собой кругосвѣтнымъ путемъ: Михайла долженъ былъ писать въ Россію къ моей матери, адресъ которой я написалъ ему въ евангеліе.

Только на пятый день ожиданія получился, наконецъ, отвѣтъ отъ женъ. Михайла оставался по нездоровью въ тюрьмѣ, и мы съ Никифоромъ, вернувшись изъ рудника, застали его разбирающимъ уже въ десятый разъ полученную телеграмму. Ядовито усмѣхнувшись, онъ подалъ мнѣ бумагу, и я прочелъ въ ней буквально слѣдующее: „Родные, не погнивайтесь, дѣтей жалко ѣхать“.

У меня болѣзненно сжалось сердце и въ первую минуту не нашлось ни одного слова въ утѣшеніе. Никифоръ сразу упалъ духомъ и пришелъ въ самое отчаянное настроеніе. На другой день уныніе смѣнилось въ немъ порывомъ безшабашной веселости и чисто арестантскаго молодечества. Онъ закручивалъ свой длинный усь, ступалъ прямо и какъ-то особенно „по-гулевански“, и съ губъ

его то-и-дѣло срывались слова: „Мы, соколинцы“... О женѣ онъ старался не заговаривать, а о бабахъ вообще отзывался съ безконечнымъ презрѣніемъ. Но я отлично зналъ, что и это его настроеніе не больше, какъ минутный порывъ, и, давъ пройти ему и остыть, уже наканунѣ отправки, попытался убѣдить, что изъ телеграммы ничего дурного, говорящаго о прямой измѣнѣ жены, не видно; что положеніе ея, какъ матери, дѣйствительно ужасно затруднительно: необходимо было бы настоящее геройство, равное почти отчаянности,—только что получивъ, какъ съ неба свалившуюся, телеграмму объ отправкѣ на Сахалинъ, немедленно же забрать маленькихъ дѣтей и поквитаться съ ними въ невѣдомый путь. Я указывалъ Никифору, что подробное письмо, которое жена его на-дняхъ получитъ, дастъ ей возможность лучше обсудить и обдумать эту поѣздку, и увѣрялъ, что въ Усть-Карѣ его непременно догонитъ болѣе благопріятный отвѣтъ. Слова мои были настоящимъ животворнымъ бальзамомъ для наболѣвшаго сердца Никифора, и онъ опять повеселѣлъ; Михайла отнесся къ нимъ, повидимому, скептически, хотя явно и не спорилъ. Тотъ и другой давали честное слово не пытаться бѣжать, по крайней мѣрѣ, въ теченіе года и дожидаться того времени, когда окончательно выяснятся ихъ семейныя дѣла.

Что касается отношеній братьевъ другъ къ другу, то вѣтранный Никифоръ, размягченный несчастіемъ, одинаково обрушившимся на него и на Михайлу, казалось, и забылъ даже о своей прежней враждѣ съ нимъ. Имя Михайлы почти не сходило теперь съ его языка; въ каждомъ словѣ и взглядѣ онъ выражалъ къ нему чисто-братскую нѣжность, и посторонній зритель могъ бы подумать, что между ними и не пробѣгало никогда черной кошки, что ихъ дружбы и водой не разольешь; повидимому, ему и въ голову даже не приходило усомниться въ томъ, что они будутъ идти дорогой, какъ братья и товарищи. Для этой цѣли онъ заготовлялъ всякаго рода мѣшки, сумочки, котомки и такъ много суетился, какъ-будто на попеченіи его находилась цѣлая семья съ самымъ сложнымъ и запутаннымъ хозяйствомъ. Но не то держалъ, видно, на умѣ Михайла, и на всѣ экспансивныя и сантиментальныя выходки Никифора упорно отмалчивался. Замѣтивъ это, я отозвалъ его разъ въ сторону и спросилъ, почему онъ, какъ будто, сердится на Никифора.

— Не сержусь я, Иванъ Миколаичъ, — отвѣчалъ Михайла, —

а только я твердо рѣшилъ: не пойду съ Никишкой въ товарищахъ.

— Какъ такъ? Съ чего это?

— Съ того. Я хорошо знаю и свой, и его характеръ. На два дня его хорошества хватитъ — не больше. Станетъ онъ, какъ прежде, съ гулеванами разными знаться, въ картишки играть, пойдутъ у насъ свары, злоба, а я этого смерть не люблю. Такъ лучше же съ самаго начала не обманывать другъ дружки, идти разное.

Долго, очень долго пришлось мнѣ уламывать Махайлу предать забвенію всѣ прошлые размолвки, счеты и обиды и, въ виду общаго несчастія, сдѣлать еще одинъ, послѣдній уже, опытъ общей жизни съ Никифоромъ. Очевидно, только изъ желанія доставить удовольствіе мнѣ, передъ которымъ онъ считалъ себя въ неоплатномъ долгу, согласился онъ, наконецъ, еще разъ испытать Никифора. Послѣдній такъ и не узналъ объ этой нашей бесѣдѣ.

Наконецъ, 25 марта, въ праздникъ Благовѣщенія, въ ясный солнечный день, соколинцы отправились въ походъ, провожаемые до воротъ рѣшительно всей тюрьмой и напутствуемые добрыми пожеланіями. Я отъ души расцѣловался съ Буренковыми...

Къ сожалѣнію, я такъ и не знаю ничего объ ихъ дальнѣйшей судьбѣ. Мать моя никогда не получала никакихъ писемъ отъ Михайлы. Арестанты объясняли это тѣмъ, что онъ, вѣроятно, убѣжалъ съ дороги. Нѣкоторые утверждали даже, что слышали объ этомъ; передавались такія даже подробности, будто въ Сахалинской партіи была попытка огромнаго побѣга „на ура“, и Никифоръ Буренковъ въ числѣ многихъ другихъ былъ убитъ, а Михайла успѣлъ скрыться... Правду или ложь рассказывала кобылка — какъ узнать и провѣрить? Привыкнувъ скептически относиться къ арестантскимъ слухамъ, я предпочитаю поставить точку на этомъ мѣстѣ разсказа.

## XXVII.

### Побѣги и первая кровь.

Въ первыхъ числахъ мая какимъ-то путемъ достигъ изъ Пороховскаго рудника до Шелайской вольной команды сенсационный слухъ о побѣгѣ одного арестанта черезъ горныя выработки.

Слухъ этотъ перешелъ скоро и въ стѣны тюрьмы и чрезвычайно взволновалъ все ея населеніе. Только и разговоровъ было, что о фартовцѣ Красоткинѣ (такъ назывался бѣжавшій арестантъ). Многіе удивлялись, какъ это раньше никому въ голову не приходило бѣжать черезъ гору.

— Я и раньше слыхалъ,—разсказывалъ теперь почти всякій, съ кѣмъ я бесѣдовалъ объ этомъ предметѣ,—что гдѣ-то съ другой стороны горы, гдѣ конвоя не ставится, выходъ есть. Тамъ вѣдь на пятьдесятъ верстъ, говорятъ, выработки идутъ. Тамъ заблудиться можно... Что твой лѣсъ: то прямо идешь, то вправо, то влѣво поворачишь, то внизъ спустишься, то опять вверхъ полѣзешь... И вдоль, и поперекъ десятки корридоровъ тянутся... Одно только: страшно заходить далеко. Иныя выработки много ужъ лѣтъ заброшены, и ходить туда строго-на-строго запрещается; ерѣпи всѣ сгнили—того и гляди повалятся, задавятъ; а въ другихъ мѣстахъ вода, ледъ.

Словомъ, большинство утверждало, что выходъ съ другой стороны все-таки есть, и духовому человѣку бѣжать можно. А поэтъ Владиміровъ, прослушавъ нѣсколько такихъ разсужденій, вдругъ поднялся съ наръ и забасилъ категорически:

— Да и раньше бѣгали!

— Когда бѣгали? Кто бѣгалъ?

— Да вотъ бѣгали! Не хотѣли только совсѣмъ уходить, потому семейные были, а проходъ находили. Вотъ полякъ Ніясъ съ хохломъ Егозой нашли разъ. Забредли въ ледяной корридоръ и заблудились. Страху сколько натерпѣлись, разсказывали послѣ... По обмерзлымъ лѣстницамъ, чуть живымъ, лѣзли. Продрогли, промокли всѣ... И вдругъ къ выходу пришли... Вышли вонъ — смотреть — лѣсъ кругомъ, а цѣпь далеко-далеко въ сторонѣ осталась! Такъ и могли-бъ уйти, кабы захотѣли. Только они не хотѣли, потому женатые были, и пошли казакамъ на встрѣчу. Тѣ сначала пропустить ихъ въ цѣпь не соглашались, а потомъ, какъ объяснилось въ чемъ дѣло, такъ конвой просто диву дался, испугался!

— Да не во снѣ-ль это приснилось тебѣ, Медвѣжье ушко?—спросилъ насмѣшливо Соколицевъ.

— Зачѣмъ во снѣ! Спроси хохла Егозу и Ніяса, спроси.

— Гдѣ-жъ я теперь спрошу, коли они въ волости давно? А тебѣ-то они сами сказывали?

— Да хоть и не сами... Другіе все равно слышали... Уйти бы могли, кабы захотѣли! Только они не хотѣли, потому...

— То-то, кабы захотѣли. Нѣтъ, ужъ мы подождемъ лучше, узнаемъ, какимъ путемъ Красоткинъ бѣжалъ, а потомъ повѣримъ тебѣ. Нѣтъ, дружище, кабы выходы изъ горы были, начальство лучше-бъ нашего съ тобой знало, что они есть, и безъ караула не оставляло бы ихъ во время работы. Я такъ полагаю.

Скептический взглядъ Сокольцева раздѣляли Гончаровъ, Юхоревъ и другіе бывалые и опытные люди. Взглядъ этотъ и оправдался черезъ нѣкоторое время, когда пришло другое, болѣе вѣрное извѣстіе, что Красоткинъ и не бѣжалъ вовсе, а только пробовалъ отсидѣться въ горѣ, но, благодаря собственной глупости, черезъ двадцать сутокъ принужденъ былъ сдаться начальству. Сокольцевъ самъ принесъ изъ мастерской это извѣстіе и такъ разсказывалъ собравшейся вокругъ него шпанѣ:

— Онъ точно могъ бы бѣжать, Красоткинъ, кабы другой на его мѣстѣ человѣкъ былъ. Я его хорошо знаю и тогда же, въ первый разъ, какъ услышалъ, подумалъ про себя, что не Красоткину-бъ обдѣлывать такіа дѣла. И задумалъ-то его не самъ онъ, а ребята предложили, силой почти уговорили, потому жалко парня: молодой совсѣмъ, а за спиной сорокъ пять лѣтъ работы. Задумано было такъ. Спрятали его во время работы въ старыхъ выработкахъ, въ очень распрекрасномъ мѣстѣ, про которое дватри только человѣка изъ всей тюрьмы знали. Туда заранѣе ему всякаго провіанту натаскали, чтобъ можно было дня три или даже четыре просидѣть. Заложили камнями и ушли. Кончилось рабочее время, пора въ тюрьму идти. Сосчитали казачишки арестантовъ, разъ и два сосчитали — что за чортъ? Нѣтъ одного. Нѣтъ да и нѣтъ. Пошла трелогa. Всю гору обѣгали казачишки — ничего не могли сыскать. Рѣшили все-таки цѣпи не снимать, выждать: можетъ быть, онъ спрятался гдѣ-нибудь, притаился — такъ рано, молъ, или поздно долженъ все-таки объявиться. Часовые клялись и божились, что изъ цѣпи никого не выпускали. Кабы кобылка вела себя хорошо, а главное, кабы самъ Красоткинъ не дремалъ, это все не бѣда-бъ, что цѣпи не сняли, потому ребята и раньше такъ располагали, что три-четыре дня строма будетъ. Эти дни надо было ухо остро держать, сидѣть спокойно. Въ первую же ночь цѣлая сотня казаковъ съ фонарями въ гору пошла, все обыскала, перерыла. Опять ничего, конечно,

не нашли. Еще сутокъ двое постояли, постояли, глядь—и сняли посты. Рѣшили, что часовой, должно быть, прокараулилъ, того-жъ разу изъ цѣпи выпустилъ. Тутъ бы и махнуть Красоткину: драла,—наши успѣли ему шепнуть, что розыски, молъ, утихли, проходъ свободный. Одежа вольная, деньги—все у него было. А онъ возьми, дьяволовъ сынъ, и струсь. Еще почему-то три дня пропустилъ, даромъ пролежалъ. А тутъ, смотри, и провіантъ истощился, что въ запасъ былъ. Пришлось таскать каждый день изъ тюрьмы. Придутъ утромъ на работу. Ну, думаютъ, теперь, должно быть, ушелъ. Глядь—а онъ все еще лежитъ. Что же ты, такъ тебя и этакъ, дѣлаешь? Погубить себя хочешь? — „Ей Богу, братцы, сегодняшнюю ночь убѣгу. Пошелъ было ночесъ, да показалось, караулъ опять стоитъ“. Вотъ трусливая ворона! А еще молодой парень, сорокъ пять лѣтъ каторги стѣмѣлъ заработать! И вотъ промежъ кобылки шорохъ пошелъ. Спервоначалу-то человѣка четыре только знали, вѣрные люди; большая часть, какъ и начальство, тоже думали, что Красоткинъ на волѣ давно—лови въ полѣ вѣтра. А тутъ—замѣтила-ль какая сука, что пищу ему носятъ въ гору, промежъ себя шепчутся, али по другому почему—только скоро вся тюрьма узнала, что Красоткинъ въ выработкахъ старыхъ лежитъ. А вся тюрьма узнала—и надзиратели узнали, и конвой. Всполошились опять—цѣпь поставили, караулы; строго стали обыскивать всѣхъ, чтобы хлѣба ему не проносили... Мало того! какіе хитрые шельмы: пепла по всѣмъ корридорамъ насыпали, нитки протянули. Думаютъ: коли станетъ ночью ходить—воды пойдетъ къ ручью напиться, или бѣжать захочетъ—непремѣнно слѣды останутся. И днемъ, и ночью въ горѣ зачали шарить. Разъ какую даже штуку удрали? Не выгнали арестантовъ на работу, а замѣсто того казачишкамъ молотки и буры въ руки дали. Такой стукъ въ рудникъ подняли, будто и заправская работа идетъ. Ну, да Красоткинъ догадался почему-то, что—подвохъ, и не вышелъ. Натерпѣлся, однако, бѣдняга страху за эти дни. Однажды (сказывалъ послѣ ребятамъ) два казачишка во время обыска вплотъ подошли къ самому тому мѣсту, гдѣ онъ заложенъ камнями былъ. Стали, слышать, разбирать. Одинъ говоритъ другому: „Сейчасъ же заколемъ мерзавца, коли тутъ окажется“. Ажно духъ въ немъ замеръ: вотъ-вотъ увидятъ!... Вдругъ, на его фартъ, гдѣ-то вдали другіе закричали: „Здѣсь, здѣсь онъ!“ Какъ бросятся туда духи... Такъ гроза и прошла мимо. Однако, плохо его дѣло стало! Про-



носить удавалось только по крохотному кусочку хлѣба, да и то не каждый день. Отощаль вовсе. Темнота къ тому же, воздухъ душнѣй... Ноги стали пухнуть, цынга появилась... И тутъ иной бы фартовець съумѣлъ еще выкрутиться! На проломъ бы пошелъ! Прямо на часового-бъ ночью кинулся: подкараулилъ бы, какъ онъ зазѣвается, стоитъ себѣ, въ носу ковыряетъ, и пришибъ бы духа проклятаго! А Красоткинъ могъ только вокругъ да около ходить, а ни на что не рѣшался. Разъ таки насмѣлялъ было, пошелъ... да такъ неосторожно высунулся, что часовою увидалъ: выстрѣлъ далъ, закричалъ! Казаки набѣжали... Насилу ноги уволокъ. Послѣ того онъ ужъ совсѣмъ оробѣлъ, вылѣзть изъ своей норы пересталъ. Вовсе разнемогся. „Смерть, видно, думаетъ, предстоитъ теперь“. Разъ лежитъ онъ такимъ манеромъ, вдругъ слышитъ—идетъ кто-то, промежъ камней пробирается. Мелкіе камешки падаютъ. Вотъ къ самому къ нему подошелъ, и въ темнотѣ ровно свѣтлѣе стало. Стоитъ передъ нимъ, какъ есть, человѣкъ — ни высокій, ни низкій, съ сѣдой бородкой. „Ты здѣсь?“ — спрашиваетъ. — Здѣсь, — отвѣчаетъ Красоткинъ? — „Ѣсть хочешь?“ — Шибко, говорить, хочу. — „А холодно тебѣ?“ — Закоченѣлъ весь. — „Ну, погоди, говорить, маленько, легче станетъ“. Сказалъ — и словно въ землю провалился, невидимъ сталъ. А ему и точно легче сейчасъ же сдѣлалось: голодъ пропалъ и будто тепломъ откуда-то потянуло...

— На другой день послѣ того (это на девятнадцатый ужъ день!) Красоткинъ прямо объявилъ ребятамъ, что дольше терпѣть не въ силахъ, и если не придумаютъ средства вывести его живого, такъ онъ самъ выйдетъ—пускай убиваютъ. Что тутъ дѣлать? Сказали старшему надзирателю (душа, говорятъ, человѣкъ для нашего брата): такъ и такъ, молъ, человѣку смерть предстоитъ, потому казаки безпремѣнно убьютъ, какъ только онъ покажется, — обозлены сильно; явите божещую милость, примите подъ свою защиту. На утро онъ пошелъ съ ребятами въ гору, одѣлъ Красоткина въ вольную одежду и вывелъ незамѣтно для казачишекъ. Кто былъ на Покровскомъ, тотъ знаетъ вѣдь, что рудникъ тамъ совсѣмъ подлѣ тюрьмы, и цѣпь разставляется далеко-далеко кругомъ... Какъ подошли они къ воротамъ—тутъ только два молодыхъ подчаска смекнули въ чемъ дѣло. Какъ сумасшедшіе, метаться зачали туда, сюда, зубами щелкаютъ, не знаютъ что дѣлать. „Смѣйте только пальцемъ тронуть!“—прикрикнулъ на нихъ стар-

шій надзиратель:—„строго отвѣчать будете“. Кинулись подчаски въ караульный домъ—выбѣжалъ оттуда весь караулъ съ ружьями. Безпремѣнно убили-бъ Красоткина, ни на что-бъ не поглядѣли, да въ эту минуту дежурный ворота успѣлъ растворить и втолкнуть его во дворъ. Такъ и остались казакишки съ носомъ, ружьями только погрозились сквозь рѣшетку да поругались всласть. Вотъ вѣдь звѣрье какое!

— Кажнаго изъ нихъ давить надо, духовъ окайныхъ,—подтвердили слушатели, глубоко взволнованные разсказомъ Сокольца.

Красоткина тоже ругали на всѣ корки. Разочарованіе было полное. Хотя идея побѣга черезъ горныя выработки и не имѣла никакого смысла въ крошечномъ Шелайскомъ рудникѣ, гдѣ обширныя выработки старыхъ временъ находились далеко отъ нынѣшнихъ, но въ арестантской душѣ были разбужены этой исторіей самыя заветныя чувства, задѣты самыя больныя струны... Къ тому же весна была въ полномъ разгарѣ; за высокой тюремной оградой зеленѣли красивыя сопки, благоухали цвѣты и деревья... Все напоминало о волѣ, о жизни и счастьи, и сердце у каждого мучительно ныло... Но бѣжать изъ Шелайской тюрьмы, такъ зорко оберегаемой Шестиглазымъ, было нелегко, и самые дерзкіе смѣльчаки предпочитали выжидать благопріятныхъ обстоятельствъ, мечтали о предварительномъ переводѣ въ другіе рудники. За то съ началомъ лѣта начались массовые побѣги изъ вольной команды, за которой не было почти никакого надзора.

Прежде всего скрылись поваръ и кухарка самого Лучезарова. Послѣдній снарядилъ за ними погоню изъ нѣсколькихъ надзирателей и казаковъ; но трехдневные поиски не привели ни къ чему, и преслѣдователи вернулись съ пустыми руками. Едва успѣло улежъся волненіе, произведенное въ тюрьмѣ этимъ первымъ побѣгомъ, какъ исчезъ арестантъ, бывшій любимцемъ Лучезарова и занимавшій въ его конторѣ должность писца. Съ нимъ вмѣстѣ ушла бродяжить и свояченица Ракитина, дѣвочка четырнадцати лѣтъ, пріѣхавшая въ каторгу за сестрой. На этотъ разъ бравый штабсъ-капитанъ самолично отправился въ погоню, получивъ отъ кого-то изъ арестантовъ свѣдѣніе, по какому направленію ударились бѣглецы. Разсказывали, будто, уѣзжая, онъ хвалился, что приведетъ писаря назадъ, живого или мертваго.

— Ишь вѣдь аспидъ какой!—толковали межъ собой арестан-

ты:—почему въ другихъ рудникахъ не взирають на то, что изъ вольной команды бѣгутъ? Начальство за нее вѣдь не отвѣчаетъ. Идите себѣ, голубчики, на всѣ четыре стороны, хоть всѣ разбѣгайтесь!

— Потому что онъ амѣй шестиглазый и шестиголовый,—ораторствовалъ полусумасшедшій и озлобленный Жебреекъ,—онъ, ровно кашей золотомъ, дорожить нашимъ братомъ. Ровно мы братья ему родные—такъ дорожить! Спать безъ насъ, ѣсть спокойно не можетъ. Вѣкъ бы не разстался онъ ни съ однимъ арестантомъ. Онъ чахнуть начинаетъ, если кому срокъ на волю подходить, и пузо у него растеть отъ радости, если кому надбавка выйдетъ. Почему насъ на Сахалинъ не пустили? Потому онъ не хотѣлъ этого. Ужъ я знаю, что онъ не хотѣлъ. Самъ за бѣглымъ арестантомъ погнался—гдѣ это видано? Какой благородный начальникъ во вниманіе такіе пустяки возьметъ? Ну, да пушай потѣшится, кровушки нашей напьется, пушай! Придетъ когда-нибудь и его точка... Ужъ я знаю, что придетъ! При-детъ!

И вытянувъ руку, Жебреекъ торжественно поднималъ указательный перстъ къ небу.

Похвальба Лучезарова оказалась, однако, напрасной. Ему съ казаками приходилось ѣхать по проѣзжей дорогѣ, а бѣглецы могли идти стороною, черезъ тайгу, имѣя передъ собой десятки дорогъ и только посмѣиваясь надъ нимъ издали. Другое было дѣло—дальнѣйшій путь, гдѣ въ 30—50 верстахъ отъ шелайскихъ сопкокъ начинались шедшія вплоть до Читы и дальше голыя степи, покрытыя казачьими станицами. Тамъ пройти несравненно труднѣе, и изъ десятковъ и сотенъ бѣглецовъ, направляющихся каждое лѣто изъ всѣхъ нерчинскихъ рудниковъ, только немногимъ удается пробраться за черту каторжнаго района. Большинство опять попадаетъ въ руки властей. Для шелайскихъ бѣгуновъ было счастье, впрочемъ, и то, если имъ удавалось попасть послѣ поимки въ одну изъ другихъ тюремъ.

Шестиглазый вернулся изъ своей неудачной поѣздки злой и темный, какъ ночь. За то кобылка въ тайнѣ души ликовала и въ тюрьмѣ, и въ вольной командѣ. Изъ послѣдней побѣги продолжались чуть не ежедневно; оставались на мѣстѣ только семейные, да тѣ, у кого срокъ совсѣмъ уже скоро кончался. Рассказывали, что къ этому же времени Лучезаровъ получилъ непріятныя для него бумаги съ выговоромъ за излишнія траты по управ-

ленію Шелайскимъ рудникомъ, что не были утверждены также представленныя имъ смѣты на новые расходы, отчасти уже сдѣланные имъ изъ собственнаго кармана. Не знаю, правда это была или ложь, но такими именно слухами старались объяснить перемѣну, замѣченную этой весной въ Лучезаровѣ. Не смотря на всѣ громы и молніи своихъ рѣчей, обращенныхъ къ арестантамъ, онъ представлялся имъ до сихъ поръ человѣкомъ ровнымъ, всегда одинаково грознымъ, но способнымъ держаться въ рамкахъ строгой законности. Даже послѣ оскорбленія, полученнаго отъ Шах-Ламаса, онъ не поддался, казалось, чувству личнаго озлобленія и ограничился кардерами, запоромъ камеръ на замки, словесными угрозами; теперь же въ немъ проявилась вдругъ совершенно новая, скрытая раньше, черта характера, чисто-русская способность „зарываться“. Въ тюрьму онъ являлся въ послѣднее время очень рѣдко, но до насъ то и дѣло доносились слухи о подвигахъ его на волѣ. Тамъ онъ, что называется, рвалъ и металъ. Прежде всего пришлось извѣдать его раздраженіе арестантамъ, рывшимъ канаву подлѣ тюрьмы: имъ стали задавать неимоვნно большіе уроки, почти по кубической сажени въ день на человѣка, забывая, что каторжные не наемные рабочіе, у которыхъ и лучшая пища, и больше физической силы и нравственной бодрости. Послѣ нѣсколькихъ дней подобной работы, начали ослабѣвать самые сильные. Маленькаго Лунькова товарищи принуждены были босого вытаскивать изъ глинистой канавы, въ которой такъ вязли сапоги, что ихъ приходилось рубить желѣзными лопатами... Не вырабатывавшимъ полного урока уменьшали на слѣдующій день порцію мяса и хлѣба и все-таки приказывали идти на работу. Въ этомъ случаѣ всего ярче обнаружилась дешевизна тѣхъ арестантовъ, которые, обладая широкимъ горломъ и иванской репутаціей, были храбры и смѣлы лишь на словахъ. Теперь, когда дошло до дѣла, они были тише воды, ниже травы и, какъ во-лы, тянулись изъ жилъ, лишь бы не прогнѣвить страшнаго Шестиглазаго. За то Луньковъ, сверхъ общаго ожиданія, показалъ, что онъ вовсе не трусъ. Выбившись однажды изъ силъ, онъ обругалъ пристававшего къ нему надзирателя и отправился въ карцеръ. Шестиглазый распорядился арестовать его на мѣсяцъ съ закованіемъ въ наручни и отдачей подъ судъ. Той же участи подвергся вскорѣ другой мой пріятель—толстякъ Ногайцевъ. Карцера въ эти дни не пустовали. По слухамъ, Лучезаровъ бушевалъ и у себя на

дому, собственноручно расправляясь съ прислугой. Нѣсколько надзирателей, вообще трусившихъ его больше самихъ арестантовъ, также подверглись удаленію, выговорамъ и штрафамъ. Въ тюрьмѣ съ трепетомъ ожидали появленія его на вечернихъ повѣркахъ, будучи увѣрены, что произойдетъ что-нибудь страшное. Всѣ притаились, точно въ ожиданіи бури... И буря, дѣйствительно, пришла, хотя и не съ той стороны, откуда ея ждали.

Вернувшись однажды изъ рудника, мы услышали новость, отъ которой невольно подкосились у всѣхъ ноги: въ вольной командѣ только что былъ подвергнутъ жестокому наказанію розгами кучеръ Лучезарова—Салмановъ, причѣмъ его раздирающіе душу крики были явственно слышны во дворѣ тюрьмы и даже въ больницѣ. Салмановъ былъ хорошо всѣмъ знакомый киргизъ, жившій нѣсколько мѣсяцевъ въ Шелайской тюрьмѣ, неуклюжій медвѣдь огромнаго роста, съ безобразнымъ лицомъ, изрытымъ оспой, и голосомъ, похожимъ на ревъ таежнаго звѣря, но за то въ высшей степени добродушный и честный. Даже не любившіе киргизовъ арестанты удивились, услышавъ, что такой человѣкъ обвиняется въ кражѣ пары казенныхъ хомутовъ. Впослѣдствіи выяснилось, что воровъ былъ другой арестантъ, уже окончившій свой срокъ, но дожидавшійся назначенія волости. Все это можно бы было выяснить въ тотъ же день при мало-мальски спокойномъ разслѣдованіи дѣла; но Лучезаровъ поспѣшилъ отдаться первой бѣшеная вспышкѣ гнѣва: онъ немедленно велѣлъ наказать Салманова розгами подъ окнами своей канцеляріи. Палачи-казаки били безпощадно-свирѣпо. Послѣ тридцати ударовъ, Лучезаровъ вышелъ на крыльцо и спросилъ у кучера, куда онъ дѣлъ хомуты. Несчастный киргизъ повалился въ ноги, но отвѣта дать не могъ, такъ какъ самъ ничего не зналъ. Тогда бравый штабсъ-капитанъ ушелъ, приказавъ продолжать наказаніе. Послѣ тридцати новыхъ ударовъ, онъ опять вышелъ изъ конторы, снова задалъ тотъ же вопросъ и, снова не получивъ никакого отвѣта, еще разъ махнулъ казакамъ рукой. Эта жестокая сцена продолжалась четыре раза подрядъ, и Салмановъ самъ говорилъ мнѣ впослѣдствіи, что получилъ всего 134 розги, тогда какъ „по инструкціи“ мѣстная тюремная администрація имѣла право наказывать собственной властью лишь ста ударами. Оббивавшійся кровью, Салмановъ отведенъ былъ послѣ этого въ тюремный карцеръ, отданъ подъ судъ и по истеченіи мѣсяца посаженъ въ общую камеру. Къ

счастію, невинность его обнаружилась вскорѣ сама собою, и его снова выпустили въ вольную команду. Добродушный и трусливый дикарь не посмѣлъ жаловаться на самовольную расправу съ нимъ, и дѣло это такъ и было предано забвенію. Для самого Салманова, какъ и для всей остальной кобылки, важна была лишь физическая боль, которою сопровождалось варварское истязаніе: прошла боль — и стоило-ли о ней помнить? Но не то чувствовалъ я... Мнѣ казалось, что лучшая часть моей души была осквернена и опельмована, что на этотъ разъ оскорбили и меня также, нанесли и мнѣ жестокую несправедливость. Во всемъ прежнемъ поведеніи Лучезарова, во всей системѣ его управленія тюрьмою я могъ находить невѣрную постановку многихъ вопросовъ, излишне-формальное пониманіе закона и проч., но теперь во всей красотѣ и блескѣ обнажилась передо мною его истинная подоплека, та русская крѣпостническая подоплека, которой долго еще не уничтожать никакой европейскій лоскъ, никакіе самонувѣйшей выдумки системы и режимы...

Долгое время послѣ этой исторіи я не могъ видѣть дебелой фигуры Лучезарова безъ невольной дрожи во всемъ тѣлѣ; но, увы! человекъ есть существо, ко всему привыкающее... Скоро и во мнѣ улеглось это благородное чувство негодованія, заслоненное другими темными впечатлѣніями жизни, и я оказался способнымъ пережить событія, еще болѣе потрясающія и возмущающія душу!

## XXVIII.

### Осиновое Ботало развеселяетъ меня.

Какъ солнца не бываетъ безъ тѣни и ночи безъ утренней зарн, такъ и въ жизни мрачное и печальное почти всегда стоитъ рядомъ съ комичнымъ и забавнымъ. Нѣсколько дней спустя послѣ исторіи съ Салмановымъ, разнесся по тюрьмѣ слухъ, будто Ракитинъ въ пьяномъ видѣ до полусмерти искусалъ зубами свою жену: если бы не сосѣдка, побѣждавшая немедленно къ старшему надзирателю, бабѣ конецъ бы пришелъ... Вечеромъ того же дня, послѣ повѣрки, загремѣлъ замокъ въ нашей камерѣ, дверь отворилась, и на порогъ появился Ракитинъ съ вещами.

— Наше почтеніе, старики! — развязно обратился къ намъ Ракитинъ.

Кобылка радостно заготовала.

— Попался, голубчикъ! Скоренько! Ну, рассказывай, братъ, какъ и за что?

Тутъ Ракитинъ понесъ такую чепуху, что ровно ничего нельзя было понять. Въ одну кучу сваливалъ онъ и тайную торговлю виномъ, въ которой Шестиглазый, будто бы, подозрѣвалъ его, и побѣгъ свояченицы съ писаремъ, и связь Марфы, жены своей, съ этимъ же самымъ писаремъ, и чортъ знаетъ еще что.

— А правда-ли, что жену-то вы искушали, Ракитинъ?

— Пощипалъ немножко, Иванъ Николаевичъ, что вѣрно—то вѣрно. Да какъ же и не искушать было подлю? вѣдь онъ головушку мою закрутили! вѣдь онъ давно ужъ собирались меня въ тюрьму упрятать!

— Кто онъ?

— Да все онъ же: Марфа-жена и Домна, сестра женина, что съ писаремъ-то сбѣжала. Вѣдь если бы знали вы, что выдѣлывали онъ, какъ сердечушко мое раздражали... Кровь во мнѣ просто кипяткомъ по жиламъ волновали!

— Что-жъ онъ такое дѣлали?

— Эхъ! всю ночь говорить—не перескажешь. Домнѣ—тринадцать лѣтъ всего дѣвчонкѣ. Отца, матери нѣтъ—сирота круглая. Я ее приютилъ, я ее одѣлъ, кормилъ, поилъ. И какой же благодарности, Иванъ Николаевичъ, дождался? Змѣю лютую отогрѣлъ на груди своей! Сколько хитрости и лицемерія въ ей, подлой, таилось, такъ вы и не повѣрите даже. Когда я въ тюрьмѣ еще сидѣлъ, спрашиваю разъ Марфу, что дѣлаетъ Домна. „Домна больше чтеніемъ, говоритъ, займется. Все за евангеліей сидитъ“. А она, точно, грамотная у насъ, Домна-то. Ну, это хорошо, думаю. Вотъ вышелъ я на волю, Иванъ Николаевичъ, вижу: дѣйствительно, за чтеніемъ Домна сидитъ. Что ты читаешь, спрашиваю, Домнушка? „Божественное, отвѣчаетъ, братецъ“. Мнѣ бы самому тогда же провѣ рить ее, поглядѣть въ книжку-то, потому мало-мало вы научили ужъ мараковать меня, Иванъ Николаевичъ. Ну, только не досугъ все было. Вышелъ это, знаете, на волю, круженъе головы нѣкоторое пошло—до науки-ль тутъ? Ну, а какъ бѣжала она... съ писаремъ-то этимъ проклятымъ, — чтобы ему кишки чедоны изъ нутра выдавили!—я и домекнись въ книжки ея заглянуть. И что-жъ бы вы думали, Иванъ Николаевичъ, какія книжки? Все про любовь, да про любовь... Описано такое все,

что и негоже вовсе дѣвкамъ читать! Это писарь, значить, таскалъ ей отъ надзирателей да отъ Монахова романы разные. А она какія пули отливала мнѣ: божественное, говорить, евангеліе да библія! Вотъ что темнота-то наша значить дурацкая! Что значить, коли въ туись-то нашъ колыванскій ничего, кромѣ просто-киши, не налито! Безпремѣнно теперь стану учиться у васъ, Иванъ Николаевичъ, въ науку хочу безпремѣнно углубиться!

— Почему же убѣждала отъ васъ Домна?

— Я не столько ее виню, Иванъ Николаевичъ, потому робячій еще умъ у дѣвчонки, сколько его, природою сѣмя, Дормидошкусаспида. Вѣдь онъ землякъ мнѣ, и пріятели мы съ имъ были за-кадышные, до послѣдняго часу друзья неотрывные... Вы не повѣрите, Иванъ Николаевичъ (тутъ Ракитинъ понизилъ голосъ до шопота): вѣдь я же... Егоръ же Алексѣевъ, не кто другой, и къ побѣгу-то его приготовилъ! Я и сухарей ему насушилъ въ дорогу, и другихъ припасовъ надавалъ... А онъ — вотъ вѣдь какую махину подвелъ подъ меня, дѣвчонку сманилъ бродяжить!

Арестанты захохотали.

— Да ты чего-жъ жалѣешь ее?—спросилъ Чирокъ:—Аль, можетъ, самъ на нее мѣтилъ? Что она, родная тебѣ, что ли? Ушла—и дьяволъ съ ей, лишній ротъ съ шеи долой! Особливо ежели гадина такая лицемѣрная.

— Чудакъ ты, Кузьма, право, чудакъ! А что бы ты запѣлъ, кабы у тебя сапожки плюнелевые утащила стерва, шубку на колонколовомъ мѣху, да двадцать рублей денегъ... Вѣдь жалко! Кровныя мои денежки!

— Ну, это не ври. Откуда онъ взялись у тебя? Марфа, небось, водкой наторговала, а не ты.

— Это, братъ, все равно. Мужъ да жена, сказано въ писаніи, одна сатана. Какъ же не желать мнѣ ей, стервенку, голову оторвать?

— Но, всетаки, я не понимаю, Ракитинъ, за что вы Марфу-то искусили?

— За то, Иванъ Николаевичъ, что она, навѣрное, знала, подлая, объ сборахъ сестры бѣжать. Безъ этого никакъ не обошлось. Я человѣкъ казенный, съ утра до вечера нахожусь на работѣ, а она весь день дома.

— Что вы говорите, Ракитинъ! неужели Марфа сама участвовала въ покражѣ у себя вещей и денегъ? Да какъ могла она со-



гласиться и на побѣгъ родной сестры, почти еще дѣвочки, съ которѣмъ бродягой, который можетъ ее обидѣть, убить и ограбить? Жена у васъ, говорятъ, умная баба.

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! Ничего-то вы въ нашемъ быту не понимаете, ничего не знаете... Извѣстное дѣло, вы всегда эту смѣнную породу защищать готовы!

— Молодецъ, Егорка! Здорово укусилъ Николаича!.. Хоть разъ да правду инстинную молвилъ... Душить ихъ, тварюгъ, надо, всѣхъ безъ разбору душить!

— Извѣстно, надо,—ободрился еще болѣе Ракитинъ, ударяя по столу кулакомъ. Его очень обрадовало, что сочувствіе арестантовъ, недавно смѣявшихся надъ нимъ, начало, видимо, переходить на его сторону.

— Я и раньше, Иванъ Николаевичъ, замѣчалъ за ей такія продѣлки, что ей давно бы голову свернуть надо. И все прощаль. Развѣ не видалъ я, къ примѣру, какъ она съ тѣмъ же писаремъ сама любовь крутила? И такой-то, и сякой-то у насъ Дормидонтъ Иванычъ, и сухой, и немазанный, это Дормидонту Иванычу подарить надо, этимъ угостить... За мной, за мужемъ роднымъ, такого уходу не было! А ужъ Егоръ-ли Ракитинъ въ грязь лицомъ передъ Дормидошкой ударить? Нѣтъ, ей не хочется, шкурѣ, по закону жить! Запретный плодъ, значить, больше просящается!

— Но какъ же вы только что говорили, Ракитинъ, что сами и къ побѣгу даже приготавливали писаря, что друзьями съ нимъ неотрывными до послѣдняго часа были? Если вы замѣчали такія вещи за нимъ и за женой...

— Да вы какъ же полагаете, позвольте васъ спросить, объ Егорѣ Ракитинѣ? Дуракъ онъ, что-ли, набитый? Нѣтъ, Иванъ Николаевичъ! въ башкѣ этой тоже сидитъ что-нибудь. Сколько времени вы меня знаете, а все еще не вызнали. Думаете, я лицемерить тоже не умѣю? Химикомъ прикинуться? Еще какъ умѣю-то! Самому дьяволу безъ масла въ душу залѣзу, коли захочу. Какъ же мнѣ было съ одного разу выказать ему, что я всѣ ихъ продѣлки наскрозъ вижу? Я радоваться долженъ былъ, что онъ уйдетъ, смутитель семьи, мучитель жизни моей!

— Вотъ тебѣ и на! то другъ неотрывный, то жизни мучитель... Васъ и не поймешь, Ракитинъ. Но почему же вы зубами искусали жену, а не какъ-нибудь иначе поколотили?

— Скусу больше, Иванъ Николаевичъ.

— Какъ скусу?!

— Такъ. Вцѣпишься зубами въ живое мясо — ажно замрешь весь! Распрекрасное дѣло. Поглядите, какіе зубки-то у меня, ровненькіе, будто у бѣлочки молоденькой, маленькіе, востренькіе...

И подъ оглушительный хохотъ камеры, Ракитинъ пресерьезно оскалилъ ротъ и показалъ мнѣ два ряда ослѣпительно-бѣлыхъ и дѣйствительно, мелкихъ и острыхъ зубовъ.

— Кабы не отняли ея отъ меня, напился-бъ я изъ стервинны крови, показалъ бы, какъ мужа обманывать и имущество его разорять!

— Что же теперь думаете вы дѣлать, Ракитинъ?

— Теперь ужъ, конечно, пропащая моя головушка, Иванъ Николаевичъ! Теперь сгноить меня въ тюрьмѣ Шестиглазый. Одно теперь остается: выпустить ей брюшину на первомъ же свиданіи, на которое явится...

— Какой вздоръ вы несете! Не лучше-ль же попросить прощенія у Шестиглазаго и у жены и снова на волю выйти? Вы вѣдь, навѣрное, пьяны были, когда совершили свой подвигъ?

— Въ одномъ только глазу-съ, въ другомъ порошокъ не было... Но чтобъ я покорился? Бабѣ чтобъ покорился? Помилуйте! Чтобъ Егоръ Ракитинъ въ вольную команду проситься опять zacząлъ? Ни за что-съ на свѣтѣ. Пущай лучше съ живого шеуру съ меня симутъ. Вы сами могли увѣриться, Иванъ Николаевичъ, что я не хвостобой и не язычникъ, а въ подлинномъ смыслѣ арестантъ. Вотъ увидите: какъ пенъ, будетъ стоять Егорушка передъ Шестиглазымъ, словечушка въ свое оправданіе не промолвитъ. Этакъ вотъ головушку только повѣшу на буйную грудь, и пущай господинъ начальникъ обрушить на меня свою немилость! Ихняя власть.

И при этихъ словахъ онъ съ такой комичной искренностью изобразилъ изъ себя рыцаря плачевнаго образа, что всѣ опять невольно покатались со смѣху.

— Ахъ ты, осиновое ботало! — твердили арестанты.

Но осиновое ботало до глубокой полночи не давало еще уснуть мнѣ, то впадая въ самое воинственное и задорное настроеніе, общаясь убить жену и стоять твердо, какъ пенъ, подъ ударами окружающихъ враговъ, то принимая минорно-слезливый тонъ и нагоняя на всѣхъ тоску и уныніе...

На вечерней повѣркѣ слѣдующаго дня въ тюрьму заявился самъ Шестиглазый. Зловѣщее молчаніе, которое хранилъ онъ во время повѣрки, наводило на всѣхъ еще болѣе большой трепетъ. Однако, все обошлось, казалось, благополучно. Во время обхода камеръ никто изъ арестантовъ не обращался къ нему ни съ какими просьбами. Только Ракитина, къ величайшему моему удивленію, точно кто за пружину дернулъ свади, и, когда Лучезаровъ собирался уже величественно выплыть изъ нашей камеры, онъ выступилъ вдругъ впередъ и заговорилъ сладенькимъ, печальнымъ голоскомъ:

— Господинъ начальникъ!

— Стоять на мѣстѣ! не выходить изъ шеринки! — закричали надзиратели.

— Что тебѣ нужно?—тихо и безучастно спросилъ Лучезаровъ.

— Господинъ начальникъ, явите божественную милость! Какъ я есть отецъ семейства... И къ тому же здоровьемъ очень слабъ...

— Чего нужно?—повысилъ голосъ начальникъ.

— Я посаженъ въ тюрьму.

— Знаю. Это ты хотѣлъ сообщить мнѣ?

— Ей-богу, напрасно, господинъ начальникъ... Ей-богу, не знаю за что.

— Но я знаю: за то, что ты истязалъ жену. Я не могу допустить зрѣлствъ со стороны арестантовъ, вѣренныхъ моей власти.

— Семейное дѣло, господинъ начальникъ... Сами знаете: какъ иногда мужу жену или дитѣ родное не поучить? Въ случаѣ баловства особливо...

— Такъ не учать, какъ ты училъ. Я самъ видѣлъ черные знаки отъ твоихъ зубовъ на ея тѣлѣ. Ты у меня поплаতিшься, братецъ, за такое ученье!

— Простите великодушно, господинъ начальникъ!

Но, гнѣвно блеснувъ глазами, начальникъ поспѣшно удалился. Дверь шумно захлопнулась за нимъ и за его свитой. Ракитинъ стоялъ обезкураженный, перекопфуженный... Арестанты принялись подтрунивать надъ нимъ.

— Какъ же ты божился вчера Ивану Николаичу, что пушай лучше шкуру съ тебя живого сымутъ—не станешь проситься у Шестиглазаго? Банки-бъ тебѣ хорошія отрубить, ботало осиновое!

— Эхъ вы, братцы мои родные! — отвѣчало находчивое ботало:—что я такое передъ Шестиглазымъ? Червякъ—одно слово.

Намъ-ли фордыбачить, носъ кверху подымать, убитымъ людямъ? Семейный я человекъ къ тому же... Жена-то, конечно, — чортъ съ ей! Объ ней я-бъ не заплакалъ... А сыночекъ-то, Кешенька — то родной. Какъ подумаю теперь объ емъ, что онъ одинъ тамъ, голубчикъ мой, повѣрите-ли, Иванъ Николаевичъ, зубы такъ сами и заскрыжечуть! Истинное слово. Какой вѣдь забавникъ! Съ матерью ляжетъ — ни за что на свѣтѣ не заснетъ, безпремѣнно тятки дожидается. Есть у меня на груди бородавочка. Такъ онъ, знаете, все эту бородавочку руками теребитъ. Теребитъ, теребить — съ тѣмъ и заснетъ.

Въ мрачное настроеніе впалъ съ этого вечера Ракитинъ. Куда дѣвались его пѣсни, шутки и прибаутки. Все свободное отъ работы время онъ бродилъ по тюрьмѣ, какъ „неприкаянный“, не зная, очевидно, куда дѣваться. Лишился сна и аппетита; ни о чемъ другомъ не могъ говорить, кромѣ предстоящаго ему наказанія и той формы, въ какой оно выразится. Многіе нарочно пугали его увеличеніемъ срока каторги, розгами и пр. Вскорѣ я подмѣтилъ, что Ракитинъ началъ передавать черезъ Сокольцева и другихъ арестантовъ, работавшихъ за оградой, по близости къ вольной командѣ, какія-то таинственные порученія къ женѣ. Прошло одно, два воскресенья, и поправившаяся отъ побоевъ Марфа явилась къ нему на свиданіе... Ракитинъ опять повеселѣлъ. Вечеромъ этого дня онъ пѣлъ уже дифирамбы женѣ и пукался въ свои обычные откровенности, утверждая, что она влюблена, какъ кошка, въ его молодость и честную красоту, что она вѣрная жена и славная баба, обладающая двумя только пороками — старостью и глупостью; все негодованіе свое обрушивалъ на Домнушку и злодѣя-писаря. Съ своей стороны и Марфа, очевидно, не первый уже разъ отвѣдавшая зубовъ своего любезнаго муженька и находившая этотъ способъ расправы столь же естественнымъ, какъ и всякій другой, начала хлопотать о выпускѣ его на волю. Семейная драма закончилась неожиданно комическимъ выходомъ самого браваго штабсъ-капитана. На одной изъ повѣрокъ, когда Ракитинъ снова присталъ къ нему съ просьбой о помилованіи, онъ вдругъ выпалилъ:

— А жаль, Ракитинъ, что ты до смерти не загрызъ своей жены, очень жаль. Я убѣдился, что она дурная женщина: она вѣдь водкой торгуетъ? Тебѣ извѣстно это?

Ракитинъ такъ былъ ошеломленъ этими словами грознаго на

чальника, посадившаго его въ тюрьму за варварское обращеніе съ женою, что не нашелся что отвѣтить.

— Хорошо,—отвѣчалъ между тѣмъ Лучезаровъ на свой же вопросъ:—я выпущу тебя, но подь условіемъ, что ты дашь мнѣ слово немедленно прекратить эту торговлю.

Обрадованное ботало начало клясться и божиться, что свято выполнить это условіе, что не только торговать, даже и пить никогда не станетъ проклятаго зелья.

— Ну, смотри же!—погрозилъ ему пальцемъ Шестиглазый.—Собирай сейчасъ же вещи и выходи вонъ.

Ракитинъ вылетѣлъ изъ камеры, какъ бомба, забывъ даже попрощаться съ товарищами.

## XXIX.

### Избѣненіе младенцевъ и женъ.

Шестиглазый продолжалъ свирѣпствовать. Выпускъ Ракитина въ вольную команду былъ какой-то счастливой случайностью, шедшей въ разрѣзъ со всей его политикой этого злополучнаго лѣта. Арестанты, надзиратели, даже казаки, которые не были ему прямо подначальными, всѣ находились каждый день въ невообразимомъ страхѣ. Любившій вѣщать и пророчествовать Жебреекъ, къ удивленію моему, не торжествовалъ и не резонировалъ, а ходилъ все время печальный и молчаливый. Разъ мнѣ-вздумалось почему-то заговорить съ этимъ сумасшедшимъ о недобрыхъ временахъ, наступившихъ въ тюрьмѣ. Въ отвѣтъ Жебреекъ только грустно поглядѣлъ на меня, мотнулъ красной, какъ огонь, возлиной бородкой и, пробурчавъ: „Того-ли еще дождемся!“—величественно пошелъ прочь своими неровными, мелкими шажками...

Однажды, по нездоровью, я не ходилъ на работу. Вдругъ вбѣгаетъ въ камеру запыхавшійся Чирокъ и объявляетъ, что одинъ изъ самыхъ нелюбимыхъ арестантами надзирателей, Змѣиная Голова по прозванію, разоряетъ гнѣзда щурковъ подь крышею тюрьмы. Щурками или стрижками зовется въ Сибири порода ласточекъ съ большими неуклюжими головами и звукомъ голоса, похожимъ на трещанье стрекозъ. Эти безвредныя и милыя созданія, лѣпящія свои гнѣзда подь окнами домовъ и каждую весну возвращающіяся на грустный и холодный сѣверъ, доставляютъ

большое утѣшеніе тюремнымъ обитателямъ своей хлопотливой заботливостью, неумолкаемой, веселой болтовней и чириканьемъ. Всѣ арестанты очень любили этихъ птичекъ и покровительствовали имъ. Если случалось кому-нибудь раздобыть клочокъ ваты, то его разрывали на мелкіе кусочки и, разбросавъ по двору, съ живѣйшимъ любопытствомъ слѣдили за тѣмъ, какъ шурки подхватывали ихъ и уносили въ свои жилища. Завернувъ иногда въ вату камешекъ, забавлялись тѣмъ, какъ шурку не хватало силъ утащить желанную добычу, какъ, поднявшись на воздухъ, онъ ронялъ ее на землю и снова пытался поднять... Если глухие птенцы съ неокрѣпшими еще крыльями выпархивали преждевременно изъ гнѣздъ, то ихъ бережно подбирали и старались пристроить къ подходящей чужой семьѣ, такъ какъ родную узнать было трудно. Ласточки, случалось, отказывались отъ подкидышей и выталкивали ихъ вонъ. Тогда изъ среды арестантовъ всегда отыскивалась сердобольная душа, бравшая на себя заботы матери и выкармливавшая покинутыхъ сиротъ тараканами и мухами.

Понятно послѣ этого, какъ взволновалась вся тюрьма, услыхавъ о несчастіи, постигшемъ любимыхъ птичекъ. Вмѣстѣ съ другими и я вышелъ на тюремный дворъ. Съ длиннымъ шестомъ въ рукахъ Змѣиная Голова, дѣйствительно, раскашивалъ около зданій и разбивалъ имъ гнѣзда злополучныхъ шурковъ; изъ однихъ валялись на землю невысиженные еще яички, изъ другихъ голые птенчики; падая, они немедленно разбивались, и множество ихъ корчилось уже въ предсмертныхъ судорогахъ. Въ рѣдкихъ только гнѣздахъ были оперившіяся малютки, да и тѣ не умѣли еще летать. Сострадательные изъ арестантовъ ловили ихъ на лету въ шапки и уносили прочь, надѣясь какъ-нибудь выкормить и воспитать. Другіе, посмѣлѣе, обращались къ надзирателю съ вопросомъ, зачѣмъ онъ производитъ свое избіеніе.

— Начальникъ приказалъ, — отвѣчалъ Змѣиная Голова, замахиваясь палкой на новое гнѣздо: — замѣтилъ соръ на фундаментахъ тюрьмы и сказалъ, чтобъ этого больше не было.

— Противъ сора можно принять другія мѣры, — вмѣшался и я: — можно приказать парашникамъ обметать ежедневно фундаменты.

— Не мое это дѣло, — отвѣчалъ Змѣиная Голова: — я то исполняю, что мнѣ предписываютъ.

— А если-бъ вамъ приказали объ стѣнку головой биться, — за-

мѣтилъ староста Юхоревъ:—или насъ убивать,—вы и это стали-бъ исполнять? Во всемъ нужно, Василій Андреечъ, разсужденіе имѣть.

— За такія неподобныя слова я-бъ тебя наказать, Юхоревъ, могъ, если бы захотѣлъ. Начальникъ не можетъ дать мнѣ такого приказанія. Онъ человѣкъ вѣдь.

— А это приказаніе развѣ человѣчно?—спросилъ я:—посмотрите—вѣдь они тоже живыя существа; имъ, какъ и людямъ; тоже больно... Вонъ сколько ужъ вы побили ихъ! А около всей тюрьмы такихъ гнѣздъ наберется, пожалуй, нѣсколько сотъ съ цѣлой тысячей птенчиковъ... И вы всѣхъ ихъ умертвите?

Кобылка поддержала мои слова громкимъ ропотомъ. Змѣиная Голова смутился.

— Что же мнѣ дѣлать?—жалобно заговорилъ они:—развѣ мнѣ пріятность какую составляетъ это занятіе? Съ меня самого взыскиваютъ.

— Доложите начальнику, что черезъ двѣ недѣли птенцы оперятся, и тогда, если нужно, можно будетъ разорить гнѣзда.

— Нѣтъ, ужъ благодаримъ покорно—долаживать. Насъ-то онъ еще больше арестантовъ прохватываетъ.

— Такъ вотъ я съ обѣденной пробой пойду сейчасъ и доложу,—вызвался Юхоревъ.

— Ну, вотъ и распрекрасное дѣло,—смягчился Змѣиная Голова:—до одиннадцати часовъ я могу повременить. Мнѣ что! Я даже очень радъ.

Юхоревъ, отправившись къ Шестиглазому съ пробой, дѣйствительно имѣлъ съ нимъ любопытную бесѣду по поводу шурковъ. Этотъ умный и представительный на видъ разбойникъ умѣлъ говорить весьма патетически. Лучезаровъ спокойно выслушалъ его и сказалъ съ насмѣшкой:

— Ага! поздненько надумались. Въ каторгѣ жалости начали набираться? На волѣ семьи вырѣзывали, маленькихъ дѣтей живьемъ жгли: среди васъ есть одинъ такой артистъ... Да ты и самъ, помнится, не одного человѣка по克罗шилъ?.. А тутъ птичекъ пожалѣли!.. Вадоръ, вадоръ, лицемѣріе. Изволь сказать надзирателю, что я приказываю всѣ гнѣзда разорить къ вечеру. На повѣрку я самъ приду посмотрѣть.

Юхоревъ принужденъ былъ замолчать, и съ обѣда возобновилось избіеніе младенцевъ. Кобылка ограничивалась тѣмъ, что въ

присутствіи Змѣиной Головы злобно обсуждала отвѣтъ Шестиглазаго.

— Это точно, что я былъ варваръ,—говорилъ Соколыцевъ, принявшій на свой счетъ сдѣланный Лучезаровымъ намекъ:—такой варваръ, какихъ и на свѣтѣ мало. Но все же и я до такого варварства не доходилъ, какъ вы и вашъ начальникъ. Безъ крайней нужды я мухи не убивалъ, не только что птички. Потому что, по моему понятію, меньше грѣха вреднаго человѣка убить, чѣмъ невинное Божье творенье—ласточку. Изъ ребенка можетъ образоваться со временемъ первѣйшій варваръ, а ласточка никому никакого вреда не можетъ причинить.

Эта философія Соколыцева съ большимъ сочувствіемъ выслушивалась собравшимися на дворѣ арестантами, на всѣ лады развивалась и иллюстрировалась примѣрами; но ласточкамъ оттого не было легче: гнѣзда такъ и валялись, такъ и валялись подъ неистовыми ударами Змѣиной Головы. Взрослые шурки съ жалобнымъ пискомъ вились цѣлыми десятками вокругъ своихъ дорогихъ пепелищъ, но подлѣзть ничего не могли. Только часа два спустя въ тюрьму полюбопытствовалъ заглянуть самъ Лучезаровъ и, увидавъ собственными глазами работу Змѣиной Головы, приказалъ остановить кровавое побоище. Уцѣлѣло, такимъ образомъ, около сотни гнѣздъ; но главное дѣло было уже сдѣлано. Множество маленькихъ трупиковъ долгое еще время валялось по всему двору, вызывая тяжелыя воспоминанія...

Приблизительно въ эту же пору произошло другое непріятное событіе. Вернувшись разъ изъ рудника, я чрезвычайно былъ удивленъ, узнавши, что наша камера № 1 подвергнута на цѣлый мѣсяцъ тяжкому наказанію: заперта на замокъ, закована въ наручни, лишена табаку, собственнаго чаю, свиданій и переписки съ родственниками; камерный староста посаженъ, кромѣ того, на недѣлю въ темный кержерь. Въ числѣ прочихъ и я долженъ былъ подвергнуться назначенному для всего номера режиму. Оказалось, что утромъ этого дня приходилъ въ тюрьму съ обыскомъ самъ Шестиглазый и замѣтилъ, что дверной пробой въ нашей камерѣ нѣсколько шатается. Немедленно же велѣлъ онъ одному изъ арестантовъ притащить ломъ и вытаскивать имъ пробой. Нѣсколько арестантовъ, одинъ за другимъ, пытались сдѣлать это и не могли.

— Не такъ вы дѣлаете,—вызвался тогда одинъ изъ надзира-



телей и, взявъ ломъ въ руки, началъ крутить имъ пробой на подобіе винта. Этимъ способомъ дѣйствительно удалось его вынуть. Приказавши отнести пробой въ кузницу и перековать по новому, а камеру арестовать, Лучезаровъ въ гнѣвъ удалился. Всѣ недоумѣвали. Дѣло объяснилось только на вечерней повѣркѣ: старшій надзиратель передъ строемъ арестантовъ прочелъ приказъ по Шелайской тюрьмѣ, въ которомъ значилось, что при обыскѣ, произведенномъ самимъ начальникомъ, дверной пробой въ камерѣ № 1 оказался „вынутымъ“, что несомнѣнно, будто-бы, свидѣтельствовало о подготовлявшемся побѣгѣ. Всѣ разинули рты, выслушавъ этотъ приказъ—такъ онъ былъ неожиданъ и удивителенъ! Посудивъ и погладивъ втихомолку, кобылка, какъ водится, покорила своей участи, и не подумавъ даже какъ-нибудь протестовать противъ причиненной ей явной несправедливости; но я, признаться, волновался... Мнѣ было тѣмъ обиднѣе и больнѣе, что одна изъ наложенныхъ каръ (лишеніе переписки) относилась прямо ко мнѣ и только ко мнѣ, такъ какъ большинство остальныхъ арестантовъ писало письма не чаще одного раза въ годъ... Осмотрѣвъ тщательно то мѣсто двери изнутри камеры, гдѣ выходилъ наружу конецъ старого пробоя, я замѣтилъ, что оно такъ же гладко покрыто краской, какъ и вся остальная дверь: ясное доказательство того, что загнутаго конца пробоя никогда не существовало, и что никакой умышленной порчи его не могло быть. Кромѣ того, и арестантамъ, и надзирателямъ отлично было извѣстно (и это всегда легко было провѣрить), что дверные пробой и во многихъ другихъ камерахъ точно такъ же шатались, какъ у насъ, и, очевидно, при самой постройкѣ тюрьмы были мепрочно вколочены. Не говорю уже о томъ, что приготовленіе къ побѣгу черезъ дверь камеры, выходившую въ запертый со всѣхъ сторонъ корридоръ, гдѣ постоянно присутствовалъ надзиратель, было бы явнымъ безуміемъ, и предположить такое безуміе могло только намѣренно-злостное желаніе создать первый попавшійся предлогъ для новыхъ придирокъ и стѣсненій. Но и предлогъ-то былъ крайне неудачно и нехитро выбранъ... Подобныя размышленія страшно волновали меня и злили. Въ первый же воскресный день я потребовалъ себѣ жалобную книгу и вписалъ въ нее заявленіе объ оказанной мнѣ и всей камерѣ несправедливости. Ближайшимъ результатомъ этого заявленія было то, что дня черезъ три нашъ староста, наиболѣе отвѣтственное по закону лицо, прямо изъ темнаго карцера былъ выпущенъ въ

вольную команду... Этимъ какъ бы еще рельефнѣе подчеркивалось безмысліе нашего ареста. Шестиглазый, какъ будто, говорилъ намъ: „Я самъ знаю, что обвиненіе мое вздорно и несправедливо; но помните денно и нощно, что я—что хочу, то и дѣлаю“.

Равно черезъ полгода послѣ этой исторіи, уже почти забытой всѣми, на вечерней повѣркѣ торжественно было объявлено, что моя жалоба на незаконное якобы наказаніе за вынутый арестантами дверной пробой оставлена завѣдующимъ Нерчинской каторгой безъ послѣдствій...

Камера наша сидѣла еще подѣ арестомъ, когда изъ управленія пришли приговоры Лунькову и Ногайцеву за отказъ отъ работы и обруганіе надзирателя: первый, какъ болѣе виновный, лишился скидокъ „за поведеніе“ (что равнялось надбавкѣ одного года каторги) и подвергался ста ударамъ розогъ, а второй присуждался къ мѣсяцу заключенія въ темномъ карцерѣ и пятидесяти розгамъ (изъ управленія приходятъ обыкновенно тѣ самыя рѣшенія, какія предлагаютъ въ своихъ докладахъ смотрителя тюремъ). Лунькова, дѣйствительно, тотчасъ же высѣли въ одномъ изъ карцерныхъ двориковъ, а Ногайцевъ отдѣлался карцеромъ: когда онъ вышелъ оттуда, гроза уже пронеслась, Лучезаровъ былъ снова въ гуманномъ настроеніи, и розги его были забыты.

Въ эти же дни бравый штабсъ-капитанъ велъ упорную войну съ каторжными женщинами, находившимися въ вольной командѣ. Женской тюрьмы при Шелайскомъ рудникѣ не существовало, но для исполненія нѣкоторыхъ чисто женскихъ работъ и въ немъ постоянно имѣлось нѣсколько каторжанокъ, нерѣдко безсрочныхъ, которыя, за отсутствіемъ тюрьмы, жили на волѣ. Въ дорожныхъ воспоминаніяхъ я рассказывалъ о томъ, что уголовная каторжанка въ большинствѣ случаевъ и продажная вмѣстѣ съ тѣмъ женщина. Скопленіе огромнаго количества мужчинъ, арестантовъ и казаковъ, при полномъ почти отсутствіи женскаго элемента, дѣлало то, что въ Шелайской вольной командѣ эти 5—6 каторжанокъ были въ буквальномъ смыслѣ коммунальными женами... Развратъ достигалъ ужасающихъ размѣровъ. Безстыдство нѣкоторыхъ изъ этихъ мегеръ, всегда почти пьяныхъ и не боявшихся никакихъ наказаній, доходило до какого-то кретинизма. Уничтожить внѣшнія безобразныя проявленія разврата можно было только двоякимъ путемъ: или увеличеніемъ числа женщинъ, или

же высылкой изъ шелайскихъ предѣловъ и тѣхъ, какія были на лицо. Лучезарову хотѣлось найти третій путь; онъ вѣрилъ въ цѣлебную силу репрессій и строгихъ взысканій. Въ это роковое лѣто онъ особенно неуспѣшно стоялъ на стражѣ арестантской нравственности и каждый день цѣлыми толпами присылалъ въ тюремный карцеръ вольнокомандцевъ и самихъ женщинъ. Въ послѣднемъ случаѣ, не смотря на крики и угрозы надзирателей, подъ окнами секретныхъ съ утра до вечера бродила и шныряла кобылка; шли пріятные разговоры съ обмѣномъ комплиментовъ, почерпнутыхъ, ужъ конечно, не изъ „Хорошаго тона“ Гоппе; тайно передавалось въ карцера мясо, чай, сахаръ и табакъ. Но одна чисто-латоническая любовь, понятно, не удовлетворяла тюремныхъ ловеласовъ или „любителей“, какъ называются они на арестантскомъ жаргонѣ, и вскорѣ были пущены въ ходъ вся арестантская хитрость, ловкость и дерзость: вѣдь въ случаѣ поимки на мѣстѣ преступленія грозила не пустая какая-нибудь кара, и требовалась дѣйствительно дерзкая отвага и рѣшимость...

Среди каторжныхъ Лансъ была одна, до тѣхъ поръ менѣе другихъ развращенная и безстыдная, но теперь преимущественно обрушившая на себя громы и молніи лучезаровскаго гнѣва. Лучезаровъ недоумѣвалъ, почему кроткая и тихая прежде Еленка превратилась внезапно въ нахальную грубіянку, которую не могло сдѣлать покорнѣе и нравственнѣе даже ежедневное почти сидѣнье въ темномъ карцерѣ. Ему и въ голову не приходило, что въ то самое время, когда вокругъ полновластно царилъ, казалось, ужасъ, навешенный на арестантовъ его строгостями, карцерами, наручниками, розгами, лишеніемъ скидокъ и пр.,—въ эти самые дни тюрьма, *его образцовая тюрьма*, сдѣлалась притономъ разврата, и что собственныя его мѣропріятія способствовали этому! Что почувствовалъ-бы бравый штабсъ-капитанъ, что онъ сказалъ-бы, если бы хоть во снѣ увидалъ однажды, какъ ненавистные ему „артисты“, разставивъ на дворѣ стрему, перелѣзаютъ черезъ заборъ карцернаго дворика, проникаютъ въ „секретный“ корридоръ и идутъ на тайное свиданіе къ Еленкѣ Зоной черезъ искусно разбирающуюся деревянную стѣнку карцера? \*) Вѣроятно, онъ сошелъ-бы съ ума или умеръ отъ апоплексическаго удара...

---

\*) За исключеніемъ каменной ограды зданіе Шелаевской тюрьмы было сплошь деревянное и построенное, надо сказать правду, на живую руку,

За время пребыванія своего въ карцерахъ эта каторжная сила-фида успѣла приобрести и вынести на волю нѣсколько десятковъ рублей! Дерзость „любителей“ достигла, наконецъ, того, что даже изъ однихъ карцеровъ въ другіе были продѣланы тайные ходы, такъ что сговорчивая Еленка и днемъ, и ночью находила себѣ работу, а для арестантовъ попасть въ карцеръ стало не только не страшнымъ, но даже, напротивъ, желательнымъ дѣломъ. Когда въ послѣдствіи надзиратели открыли эти потаенные ходы, то пришли въ ужасъ и, не рѣшившись донести о нихъ Шестиглазому, при ближайшемъ ремонтѣ карцерныхъ помѣщеній собственной властью заставили арестантовъ задѣлать ихъ. Я самъ узналъ только много позже объ этихъ романическихъ похищеніяхъ своихъ сожителей и долгое время недоумѣвалъ, что означали всѣ эти перешептыванья, таинственная бѣготня, загадочныя остроты надъ Чиркомъ и пр. и пр.,—такъ невѣроятно было то, что я рассказываю. Лучезаровъ, конечно, еще меньше моего подозрѣвалъ истину и, полагая, что гроза его гнѣва единственно могучее средство исправленія арестантскихъ нравовъ и обузданія страстей, продолжалъ свой негодующій походъ противъ женщинъ.

Въ одинъ прекрасный день разнесся по тюрьмѣ слухъ, что Шестиглазый отдалъ Зонову и вольнокомандца Калинкина подъ судъ за непристойное поведеніе на глазахъ у маленькихъ дѣтей одного изъ надзирателей. Одинъ ребенокъ былъ двухъ лѣтъ, другой трехъ. Кромѣ нихъ, свидѣтелей не было, и, должно быть, маленькіе доносчики получили хорошее воспитаніе, если могли понимать подобныя вещи... Изъ управленія получился приказъ: Калинкина посадить до срока въ тюрьму, а Зонову подвергнуть ста ударамъ розогъ. Лучезаровъ долго не объявлялъ этого приказа и, посадивъ Калинкина въ тюрьму, относительно Зоновой, сидѣвшей по прежнему въ карцерѣ, не принималъ никакихъ мѣръ. Срокъ ея каторги, между тѣмъ, кончился; уже пришелъ конвой, который долженъ былъ отвести ее на поселеніе, и можно было надѣяться, что жестокій приказъ не будетъ приведенъ въ исполненіе. Однако, надежда и на этотъ разъ обманула... Рано

---

не смотря на огромныя затраченныя деньги. Одно посѣтившее насъ саванное лицо, наступивъ ногой на шатавшуюся половицу, сказала, укоризненно качая головой: „А вѣдь каждая доска обошлась здѣсь въ сотню рублей!“

утромъ Зонову вывели изъ карцера и за воротами тюрьмы, недалеко отъ нея, свирѣпо наказали. Палачами были татары-арестанты, какъ говорятъ, имѣвшіе злобу противъ своей жертвы; присутствовавшій при экзекуціи старшій надзиратель, приказывавшій съѣчь сильнѣе, отпускалъ по адресу истязуемой шуточки, которыя невозможно передать въ печати.

Я хорошо зналъ, что женщина эта стояла на низшей ступени нравственнаго паденія, и что въ обыкновенное время въ ней было, быть можетъ, не больше стыдливости, чѣмъ въ послѣднемъ изъ арестантовъ; зналъ это—и, однако, не могъ отдѣлаться отъ мысли, что высѣкли *женщину*, подвергли позору одну изъ самыхъ дорогихъ святынь, дѣлающихъ человека человекомъ, а не скотомъ!

Да и кто поручится, что въ страшную минуту истязанія даже и въ этой падшей душѣ не шевельнулось чувство, которое до тѣхъ поръ было подавлено невѣжествомъ и развратомъ,—чувство опозоренной женщины?...

Объ этомъ именно подумалъ я, когда узналъ, что тотчасъ же послѣ наказанія каторжныя подруги Еленки, такія же, какъ и она, погибшія и несчастныя созданія, собрались вокругъ нея и долго молча плакали \*).

### XXX.

#### Любопытная бесѣда.

Недѣли двѣ спустя послѣ этого событія, совершенно для себя неожиданно, я вызванъ былъ въ тюремную контору. За широкимъ письменнымъ столомъ сидѣлъ Лучезаровъ, сіяя во все лицо, плотный, румяный, видимо довольный въ это утро собой и всѣмъ на свѣтѣ. Я безмолвно поклонился.

— Тутъ опять получилась на ваше имя посылочка,—любезно заговорилъ бравый штабсъ-капитанъ:—потрудитесь сами раскупорить ее и принять во всей цѣлости и невредимости. Да кстати, я хотѣлъ спросить васъ... лично спросить: какъ ваше здоровье?

---

\*) Весною 93 года рѣшеніемъ государственнаго совѣта окончательно отмѣнено въ Россіи тѣлесное наказаніе женщинъ.

Я удивился и сухо спросилъ, какая можетъ быть причина подобнаго вниманія.

— Видите-ли,—отвѣчалъ Лучезаровъ нѣсколько смущенно:—одно лицо въ Петербургѣ освѣдомляется у меня объ этомъ.

— Лицо? Въ Петербургѣ?—удивился я еще больше.—Въ Петербургѣ у меня одна только мать, которая можетъ интересоваться моей судьбою; но я веду съ ней самъ переписку.

— Нѣтъ, есть, значитъ, и другія лица. По крайней мѣрѣ, одна особа—и замѣтите: сановная особа!—просить меня телеграфировать ему о вашемъ здоровьи.

— Ничего не понимаю. Объяснитесь, пожалуйста.

Лучезаровъ, послѣ мгновеннаго колебанія, подаль мнѣ телеграмму. Я прочиталъ: „Телеграфируйте здоровье Н. Родные тревожатся“. Слѣдовала не безъизвѣстная подпись. Въ сильномъ безпокойствѣ я бросилъ на Лучезарова пытливый взглядъ.

— Почему же мои родные тревожатся? Почему они лично мнѣ не телеграфировали, а обратились къ постороннему человѣку? Или, можетъ быть...

Страшное подозрѣніе мелькнуло у меня въ головѣ. Я вспомнилъ, что три недѣли тому назадъ былъ день моего рожденія, день, который на волѣ торжественно праздновался всегда въ нашей семьѣ и въ который я поджидалъ даже поздравительной телеграммы, но не дождался. Потомъ, въ чаду быстро смѣнявшихся одно другимъ непріятныхъ впечатлѣній, я позабылъ объ этомъ; но теперь подозрѣніе мое превратилось тотчасъ же въ увѣренность.

— Вы, должно быть, задержали телеграмму моей матери?—спросилъ я Лучезарова взволнованнымъ голосомъ.

— Да, я долженъ въ этомъ сознаться... Дѣйствительно...—торопливо заговорилъ онъ:—но... видите-ли. Вы не вините меня. Я, по долгу службы (конечно, какъ я ее понимаю), не могъ передать вамъ той телеграммы.

— Почему?

— Потому что... она показалась мнѣ подозрительной.

— Подозрительной? Телеграмма матери?

— Да. Теперь-то я вижу, разумѣется, что я ошибался, но тогда...

— Бога ради скажите скорѣе, въ чемъ заключалась телеграмма?

— Спрашивалось о здоровьи и посылалось поздравленіе.

— И только? Боже мой! Поздравленіе было съ днемъ рожденія... Что могли вы тутъ заподозрить?

— Да! но почему же не было упомянуто, съ чѣмъ именно васъ поздравляли? Лишнихъ какихъ-нибудь два слова... двадцать копѣекъ... и ничего бы этого не случилось!

— Телеграмма была съ уплоченнымъ отвѣтомъ?

— Да.

— И вы ничего не отвѣтили хотъ сами?

— Нѣтъ.

— Но вы могли бы, по крайней мѣрѣ, сообщить мнѣ, что получила телеграмма, которая не можетъ быть выдана? Я, право, не знаю, какимъ именемъ слѣдуетъ назвать вашъ поступокъ. Понимаете-ли вы, какія послѣдствія могъ онъ имѣть? Моя мать—бѣдная!—что она подумала, не получивъ отвѣта? Что она теперь думаетъ и чувствуетъ послѣ трехъ недѣль напраснаго ожиданія! Она сама могла захворать и даже умереть съ горя... Представляю себѣ, сколько начальствъ она обошла, прежде чѣмъ наткнулась, наконецъ, на сострадательную душу.

— Да, это вѣрно, это вѣрно. Горькая правда. Я не подумалъ въ то время; я, дѣйствительно, виновать передъ вами. Мы поспѣшимъ исправить ошибку. Я телеграфирую сановному лицу, которое спрашиваетъ... Скажите: что именно я долженъ написать?

Я съ сердцемъ отвѣчалъ, что мнѣ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла до сановнаго лица, что оно не ко мнѣ обращается, и онъ можетъ отвѣчать ему, что хочетъ.

— Но всетаки... Написать: здоровъ, бодръ?

— Повторяю: пишите, что вамъ угодно. Я пошлю телеграмму самой матери!

— Прекрасно, прекрасно. Вотъ бумага, садитесь и пишите сейчасъ же. Вотъ и бланки даже для телеграммъ. У меня онъ всегда есть. Пишите, пожалуйста, я немедленно отошлю на станцію. Вижу, что я доставилъ вамъ сильное огорченіе. Въ нынѣшнія времена подобная привязанность къ родителямъ рѣдкость, и она сильно меня трогаетъ.

Эти развязныя слова, отъ которыхъ вѣяло безсердечнымъ самодовольствомъ, опять взорвали меня. Я снова разразился горькими упреками.

— Преслѣдуйте меня, оскорбляйте,—сказалъ я съ нервной дрожью и слезами въ голосъ:—унижайте, мучьте! Я человекъ со

связанными руками и весь въ вашей власти... Но по какому же праву и за что мучите вы невинныхъ ни въ чемъ людей—мою мать, моихъ родныхъ?

Лучезаровъ на минуту, казалось, растерялся и, покраснѣвъ, какъ пiónъ, не зналъ, что дѣлать, что говорить.

— Я, кажется, не мучилъ васъ, не оскорблялъ, — лепеталъ онъ,—совсѣмъ даже напротивъ...

— И вы говорите это не противъ совѣсти?—продолжалъ я свое нападеніе:—вы не оскорбляли меня въ исторіи съ пробоемъ? во всѣхъ несправедливыхъ прижимкахъ и придирахъ, которыя дѣлали арестантамъ, въ томъ числѣ и мнѣ? Вы полагали, что я равнодушно смотрю на то, что въ тюрьмѣ проливается кровь и совершается надруганіе надъ женщиной?

— Я вижу, что вы сильно взволнованы и не знаете, что говорите,—отвѣчалъ Лучезаровъ, понижая голосъ почти до конфиденціального шопота.—Выйди, братецъ, за дверь!—обратился онъ громко къ стоявшему тутъ же съ ружьемъ часовому. Тотъ немедленно повиновался.

— Совершенно напрасно вините вы меня за отношенія къ арестантамъ,—началъ онъ свое оправданіе.—Что касается васъ лично, то какъ могу я выдѣлять васъ изъ общей массы? У меня нѣтъ даже права на это. Въ исторіи съ пробоемъ, на примѣръ, я упустилъ даже изъ виду первоначально, что вы находились въ этой самой камерѣ.

— Но неужели вы до сихъ поръ искренно убѣждены, что были правы въ этой исторіи?

— Видите-ли что. Вы судите, какъ частное лицо и отчасти нѣсколько заинтересованное... Можно сказать, пострадавшее... Вы не въ состояніи вникнуть въ положеніе лица, начальствующаго надъ такимъ... такимъ сложнымъ учрежденіемъ, какъ каторжная тюрьма. Я сомнѣваюсь даже, чтобы вы успѣли хорошо узнать, что за артисты господа арестанты. Вы слишкомъ для этого неопытны въ жизни и... слишкомъ неиспорчены! Для того, чтобы держать ихъ въ уздѣ, нужно умѣть быть страшнымъ, нужно употреблять время отъ времени грозныя мѣры!

— Но всетаки справедливыя мѣры...

— Конечно, конечно. По возможности... Знаете-ли вы, на примѣръ, что весной нынѣшняго года я получилъ свѣдѣнія о подго-



товлявшемся побѣгѣ и о томъ, что одинъ изъ этихъ артистовъ находится именно въ вашей камерѣ?

Я вспомнилъ о пилкахъ Сокольцева и, внутренно улыбнувшись, промолчалъ. Лучезаровъ продолжалъ, устремляя на меня торжествующій взглядъ:

— Не такъ-то легко рѣшаются вопросы, какъ вамъ кажется. Острастка была необходима. Я хорошо знаю каторжный міръ, я десять уже лѣтъ имѣю несчастье вести знакомство съ этими артистами. Но признаюсь вамъ: начальство надъ Шелаевскимъ рудникомъ я принялъ съ самыми радужными мечтаніями, съ вѣрой въ человѣка, даже и заклеименнаго позоромъ, съ надеждой, что для исправленія и обузданія его достаточно однихъ угрозъ и обычныхъ мѣръ наказанія... Повѣрьте: я серьезно и съ полнымъ убѣжденіемъ говорилъ... передъ строемъ говорилъ... что не хочу прибѣгать къ тѣлесному наказанію. И не прибѣгъ бы!

— Но, однако, прибѣгли? Вы наказали даже женщину, сдѣлали то, о чемъ вспомнить нельзя безъ содроганія!

— Къ чему такъ сильно чувствовать?.. Знаете-ли вы, что это была за женщина.

— Все равно. Важно не то, какая она, а то, что она женщина.

— Но что жъ мнѣ было дѣлать? Я видѣлъ, какъ всѣ другія средства, предоставленныя мнѣ закономъ, безсильны, какъ распушенность и наглость этой твари доходятъ до невозможнаго, и значеніе власти такъ или иначе слѣдовало поддержать.

— И розгами вы, думаете, поддерживали его? Въ чьихъ же это глазахъ? Извѣстно-ли вамъ, какъ сами арестанты относятся къ тѣлесному наказанію?

— Они страшно его боятся!

— Да, боятся физическаго мученія. Вся же нравственная сторона этой кары для большинства не существуетъ. Знаете-ли вы, что любой арестантъ предпочтетъ небольшую порцію розогъ мѣсяцу тяжкаго заключенія въ карцерѣ? Слѣдовательно, въ чьихъ же глазахъ поддерживали вы престижъ власти? Ужъ не въ глазахъ-ли образованнаго міра? Однако, желали-ль бы вы, чтобы печать русская и заграничная называла ваше имя въ связи съ такимъ фактомъ, какъ поруганіе женщины? Навѣрное, нѣтъ? Вы достигли этимъ фактомъ одного, что замарали свое имя!

— Довольно, довольно. Прекратимъ этотъ разговоръ. Хотѣлъ бы я посмотреть на того, кто осмѣлится замарать мое имя!

— Я имѣлъ въ виду не оскорблять васъ, а только открыть вамъ глаза на настоящее положеніе вещей. Тѣлесными наказаніями можно, по моему мнѣнію, и неиспорченныхъ людей испортить, окончательно принизивъ въ нихъ чувство человѣческаго достоинства, заставивъ утратить послѣднюю искру стыда.

— Возможно, конечно, что вы правы. Я дѣйствовалъ въ порывѣ отчаянія. Всѣ мои добрыя намѣренія терпѣли одно за другимъ крушенія, я видѣлъ кругомъ одну черную неблагодарность и низость. Самъ Господь Богъ вышелъ бы на моемъ мѣстѣ изъ терпѣнія! Во всякомъ случаѣ я поступалъ на основаніи закона. Изъ предѣловъ законности я не выходилъ. Что дѣлать, если и законы наши еще несовершенны? Больше всего, впрочемъ, огорчаетъ меня, что я причинилъ такія непріятности вашей матушкѣ. Не могу ли я чѣмъ-нибудь загладить свою вину передъ нею?

Я молча пожалъ плечами.

— Однако? Подумайте... Не послать ли мнѣ ей отъ себя телеграмму?

— Это лишнее. Будьте добры—отошлите сегодня же вотъ эту мою телеграмму. Этого будетъ достаточно. Что сдѣлано, того не вернуть. Пожелаемъ только, чтобы впредь не случалось подобныхъ недоразумѣній.

— Да, именно, недоразумѣній! вотъ настоящее слово... Весьма печальное недоразумѣніе!

Забравъ свою посылку, я раскланялся и поспѣшилъ въ тюрьму, полный горестныхъ чувствъ и мыслей о матери, о томъ, что должна была выстрадать за эти ужасныя три недѣли моя бѣдная старушка. Впослѣдствіи я получилъ отъ нея письмо, въ которомъ были описаны всѣ ея муки, письмо, растерзавшее мнѣ сердце... Не знаю, чувствовалъ-ли какія-нибудь угрызенія совѣсти бравый штабсъ-капитанъ, но послѣ описанной бесѣды со мною дышать въ тюрьмѣ стало опять легче: прекратились на время свистъ розогъ, сажанія въ карцеръ, лишенія скидокъ. Что касается арестантовъ, то они не сдѣлались, конечно, ни хуже, ни лучше отъ этого новаго вѣянія лучезаровской политики.

## XXXI.

## О т б о й.

Лѣто съ его короткими ночами и увеличеннымъ рабочимъ днемъ было всегда наиболѣе труднымъ періодомъ въ жизни обитателей Шелайскаго рудника. Особенно тяжелы были работы на канавѣ, о которыхъ я говорилъ уже. Мнѣ лично пришлось испытать удовольствіе огородничества. Со словомъ „огородъ“ принято обыкновенно связывать представленіе о сравнительно легкомъ и, главное, пріятномъ трудѣ на открытомъ воздухѣ, полезномъ для укрѣпленія физическихъ силъ и возбужденія аппетита. Но отрѣшиться на минуту отъ этого обычнаго представленія. Вообразите себѣ, читатель, что васъ, невыспавшагося и усталаго, подняли на ноги въ три часа утра, „выгнали“ на довольно холодный еще утренній воздухъ, окружили цѣпью вооруженныхъ штыками солдатъ и заставили копать тупой желѣзной лопатой твердую, подчасъ состоящую сплошь изъ камней, землю. Если вы недовольны необозримой величиной названнаго „урока“, то извольте копать „отъ звонка до звонка“, т. е. до семи часовъ вечера. Уставшіе арестанты хотятъ покурить, присаживаются отдохнуть. Проходитъ минуты двѣ, и „стоящій надъ душой“ надзиратель уже кричить, что пора приниматься за работу. Одно, два слова возраженія—и угроза карцеромъ.

Но вотъ солнышко поднимается все выше и выше. Арестанты все нетерпѣливѣе поглядываютъ на небо, въ надеждѣ, что вскорѣ долженъ ударить благодѣтельный звонокъ на обѣдъ. Спрашиваютъ, наконецъ, надзирателя, который часъ, и получаютъ отвѣтъ: „половина десятаго“.

— Господи! Еще цѣлыхъ полтора часа остается!

Солнце припекаетъ все сильнѣе и сильнѣе; потъ начинаетъ струиться цѣлыми потоками съ лица и шеи; ноги устали налегать на плохо идущую въ землю лопату... Вдругъ раздается команда:

— Смирно! Шапки долой!

Всѣ въ испугѣ останавливаются, бросаютъ на землю лопаты, какъ полагается по инструкціи, и поспѣшно обнажаютъ головы. Тогда только робко озираются вокругъ и видятъ приближающагося съ тростью въ рукѣ Шестиглазаго.

— Шапки надѣть, работу продолжать!—слышится его крикъ и арестанты, быстро накрывъ головы, снова берутся за лопаты, Работа въ присутствіи начальника закипаетъ усердіе прежняго. Лучезаровъ подходитъ. Онъ все знаетъ, онъ во всякой работѣ мастеръ. Если вѣрить его словамъ, то онъ былъ и огородникомъ, и хлѣбопашцемъ, и садоводомъ; умѣетъ и слесарничать, и кузнечить, и плотничать, класть печи, проводить дороги. Въ Читѣ онъ оставилъ собственнаго издѣлія книжный шкафъ и телѣгу съ какими-то необыкновенно хитро устроенными колесами. Онъ громко спрашиваетъ надзирателя о свойствахъ данной почвы, причемъ тутъ же рассказываетъ случаи изъ своей жизни гдѣ-то на золотыхъ приискахъ. Надзиратель на все подобострастно поддакиваетъ и всему удивляется. Но среди этого разговора всевидящія очи Лучезарова не дремлютъ, и онъ не упускаетъ замѣтить Петину, что нужно глубже забирать лопатой, а Ногайцеву, что онъ лѣнитъ.

— Дай-ка сюда лопату, я покажу тебѣ, какъ слѣдуетъ рыть.

Онъ беретъ лопату изъ рукъ Ногайцева и пробуетъ надавить ее своимъ изящнымъ лакированнымъ сапогомъ. Но напрасно вся дебелая фигура бравого штабсъ-капитана напрягается, тужится, краснѣетъ; напрасно, пыхтя и кряхтя, съ сердцемъ ударяетъ онъ ногой по лопатѣ: упрямая лопата туго погружается въ землю и не хочетъ „показать, какъ слѣдуетъ рыть“.

— Совсѣмъ каменистая земля, господинъ начальникъ,—осмѣливается замѣтить Ногайцевъ:—урокъ шибко великъ заданъ.

— Вздоръ изволишь говорить, братецъ!—сердито отзывается невозмутимый Лучезаровъ:—причина простая—кузнецъ плохо лопату отостригъ. Такъ и есть: остріе лепешка лепешкой! Онъ тоже лодорничаетъ, должно быть, каналья. Кто у насъ кузнечить сегодня?—обращается онъ съ вопросомъ къ надзирателю.

— Водянинъ!—подскакиваетъ Змѣиная Голова, дѣлая рукой подъ козырекъ:—молотобоецъ Ефимовъ.

— Ага! знаю я этихъ артистовъ... Вотъ я самъ схожу къ нимъ, посмотрю.

И Лучезаровъ, недовольный и пасмурный, удаляется по направлению къ кузницѣ. Изъ груди всѣхъ вырывается вздохъ облегченія.

— Надо отдохнуть, Василій Андреевичъ,—говорятъ рабочіе и, ужъ не дожидаясь разрѣшенія, садятся на землю и закуриваютъ.

Но въ ту же минуту раздается звонокъ на обѣдъ, и арестанты съ радостнымъ галдѣньемъ и жужжаньемъ поднимаются съ мѣсть, выстраиваются и отправляются въ тюрьму. Обѣденный звонокъ отдѣляется лѣтомъ отъ новаго звонка на работу тремя часами отдыха. Это—время наибольшаго зноя, когда земля раскаляется подобно желѣзной сковородѣ, когда пылающая голова трещитъ отъ нестерпимой боли, и усталыя ноги едва способны передвигаться. Благо тому, кто обладаетъ счастливымъ умѣньемъ спать днемъ, у кого не ходять ходенемъ нервы, не кипятъ ключемъ желчь и не болитъ до крика душа! Тотъ повалится, какъ мертвый, на нары и пролежить эти три часа, не шевелясь, безъ памяти, безъ сознанія, во снѣ безъ сновидѣній. Но этотъ полуденный сонъ мало освѣжаетъ. Просыпаешься съ страшною болью въ вискахъ и съ дико глядящими на свѣтъ воспаленными глазами. Два часа дня; въ ушахъ еще раздается звонъ разбудившаго васъ колокольчика. Солнце стоитъ еще высоко и нещадно палитъ своими гнѣвными лучами. Опять надо работать, работать и работать вплоть до семи часовъ вечера, подъ тѣми-же штыками, подъ той-же грозой надзирательскихъ и Лучезаровскихъ окриковъ, работать для того, чтобы, проспавъ сномъ убитаго короткую лѣтнюю ночь, проснуться утромъ для такого же мучительнаго каторжнаго дня... Нѣтъ, безъ невольнаго содроганія во всемъ тѣлѣ я не могу вспомнить объ огородахъ Шелайской тюрьмы!

Когда къ половинѣ іюня кончалась посадка капусты и другихъ овощей, и группу горныхъ рабочихъ опять начинали посылать въ рудникъ, я всегда чувствовалъ радость и облегченіе, не смотря на то, что и въ рудникѣ лѣтнія работы имѣли свои волчцы и терніи. Въ шахтахъ было холодно, какъ въ ледяномъ погребѣ; съ отмерзлыхъ лѣстницъ и стѣнъ струилась повсюду вода, попадая бурильщикамъ за шею и обливая сапоги. Для буренья приходилось подлаживать подъ себя доски; но и тѣ скоро заливались накопившейся постепенно водой. Тогда нужно было вылезать наверхъ, чтобы, выкачавъ нѣсколько кибелей набравшейся воды, получить возможность бурить впредь до новой отливки... Мракъ, холодъ, вода, онѣмѣвшія отъ усталости руки, дрожь во всемъ тѣлѣ! О проклятый, безчеловѣчный міръ труда и неволи! Вылезешь, бывало, со дна угрюмаго колодца на вольный свѣтъ, гдѣ столько вокругъ лазури, тепла и солнечнаго блеска, гдѣ шумитъ и зеленѣетъ невдалекѣ душистый лиственич-

ный лѣсъ, а еще подальше красивымъ полукругомъ возвышаются сопки, почти сплошь одѣтыя лиловымъ, точно кровавымъ цвѣтомъ богунника, — и при видѣ всего этого великолѣпія торжествующей природы заходитъ въ душѣ желчь, закипитъ негодованіе! Да, не разъ отъ всего сердца ненавидѣлъ я и проклиналъ эту безотвѣтную, бездушную красавицу, способную только цвѣсти и радоваться передъ лицомъ великой человѣческой скорби и муки, при живыхъ еще воспоминаніяхъ о пролитыхъ тутъ же потокахъ слезъ, а быть можетъ, и крови!

За горами гори,  
Хмарою повіти,  
Засіяни горемъ,  
Кровію полити...

— Эхъ, кабы денечекъ хоть на вольной пишшѣ теперь посидѣть! — мечтаетъ вслухъ кто-нибудь изъ арестантовъ при видѣ жирныхъ монаховскихъ свиней и поросятъ, бѣгающихъ у подошвы горы: — тогда-бы можно, пожалуй, и въ этой породѣ десять вершковъ выбухать! А то гдѣ-жъ тутъ? Не двужилые мы!

— Вотъ чудакъ! съ отошалаго брюха нешто можно работу спрашивать? Пущай въ карецъ сажаетъ, толстое его пузо, а я больше шести верховъ не стану ему бурить. Душа изъ его вонь! Лучше-жъ я такъ на солнышкѣ проваляюсь, погрѣюсь.

— Да, не мѣшало-бъ теперь вольнаго питанія въ душу пропустить, — продолжаетъ первый: — на шестиглазовскомъ-то бульонѣ замрешь. Прижимъ, говоритъ, каторжный для васъ полагается... На то каторжная тюрьма... Да лопни твои шары окаянныя! Почему-же въ другихъ рудникахъ не говорятъ этого? Почему тамъ всякую пишшу пропускаютъ? Были-бъ деньги, а то покупай на здоровье, чего хочешь: и молока, и свинины, и баранины, и ягодъ, чего только вадумаешь. Какое можетъ быть вредительство отъ пишши? Пишша только на пользу можетъ идти человѣку.

— Пишша?! Она, братъ, очищеніе крови дѣлаетъ, разбитіе и волнованіе. Еслибъ теперь, къ примѣру, фунтиковъ пять хорошаго мяса за одинъ присѣсть одолѣть, много-бъ отъ его здоровья по костямъ разошлось!

— А слышалъ, что говорятъ? Будто новый губернаторъ рудники объѣзжаетъ! Вотъ-бы пожаловаться.

— Слышать-то я слышалъ; только не арестанское-ль это

бумо?\*) Залилъ кто-нибудь, а ему и повѣрили. А то, конечно, жаловаться-бъ надо.

— Не жаловаться, а просто-на-просто переводки просить! Пушай хоть на край свѣта посылають, лишь бы отседова прочь!

Таковы были обычные мечты арестантовъ. Добрая половина всего населенія Шелайской тюрьмы, при малѣйшей возможности, съ удовольствіемъ перевелась бы на невѣдомый Сахалинъ, въ Хабаровку, на Кару, въ Зерентуй, въ Кадаю, куда угодно, лишь бы подальше отъ Шестиглазаго съ его „пищевымъ режимомъ“ и тошнотворно-скучными порядками, царившими въ тюрьмѣ, гдѣ не было ни игръ, ни пѣсенъ, ни майдановъ, ни всего, что веселитъ душу безнадежно-долгосрочнаго арестанта. Большинство, конечно, роптало лишь втихомолку, про себя тая свои мечты о переводѣ въ другія тюрьмы: проситься о переводѣ бесполезно, а больше что же подѣлаешь? Но было человѣкъ десять такихъ, которые, во что бы то ни стало, рѣшили „отбиться“... Ихъ поощрялъ примѣръ Дюдина, который такъ успѣлъ надобѣсть Шестиглазому, что тотъ самъ хлопоталъ объ отсылкѣ его на Сахалинъ. Думали, что стоять только надобѣсть—и съ ними сдѣлають то же самое. Первыми изъ пошедшихъ по этому пути были нѣкто Комлевъ и знакомый уже намъ Петинъ-Сохатый. Долгое время они надѣялись миромъ покончить съ Лучезаровымъ, почти на каждой вечерней повѣркѣ обращаясь къ нему съ просьбой о переводѣ на Сахалинъ. Лучезаровъ, отвѣтивъ нѣсколько разъ, что онъ въ этомъ дѣлѣ не при чемъ, потому что никакой власти надъ Сахалиномъ не имѣетъ, пересталъ скорѣ и выслушивать всѣ подобныя просьбы. Тогда Петинъ и Комлевъ, заключивъ союзъ между собой, приступили къ систематическому отбою путемъ непрерывныхъ ссоръ съ надзирателями, преднамѣренной лѣнности, отказовъ отъ работы и проч. Здѣсь рельефнѣе всего обнаружились характеръ и внутренняя стойкость того и другого изъ союзниковъ съ арестантской точки зрѣнія. Лучезаровъ отвѣтилъ на первыя выходы отбивающихся обычнымъ отвѣтомъ—карцеромъ. Союзники не унялись и продолжали вести свою линію. Тогда Комлеву первому объявлено было лишеніе скидокъ.

---

\*) Въ арестантскомъ жаргонѣ есть много словъ несомнѣнно французскаго происхожденія. Такъ: „бумо“ (сплетни, вымышленный слухъ, острота) есть, конечно, исковерканное *bon mot*; „Мотя“ (доля, часть)—*moitié* и т. п.

*Прим. авт.*

— Эка важность!—сказалъ Комлевъ:—плевать я хочу на ихъ скидки!.. Мнѣ отъ роду сорокъ два года, а на шеѣ у меня тридцать пять лѣтъ каторги. Нешто могу я эстолько прожить и молодымъ остаться? Не все-ль мнѣ одно, если къ этакой прорвѣ и еще пять аль десять лѣтъ прибавятъ? Хошь сто пущай набавляютъ—все едино! Не на вольныя команды и манафесты нашему брату разсчитывать, а на свою голову, да на свою волю. Самъ я себѣ манафестъ дамъ!

— Значить, вы по-прежнему будете отбиваться?—полюбопытствовалъ я спросить Комлева.

— А то какъ же?—отвѣчалъ онъ, какъ-бы удивленно.

— Ну, а если... Шестиглазый къ другимъ мѣрамъ прибѣгнетъ?

— Это къ плетямъ, то есть? Хорошо я знаю, что теперь ему плети и розги остается въ ходъ пустить. Такъ что жъ, на здорье! Какой бы я арестантъ былъ, если-бъ плетей боялся? Я ни во что такого арестанта ставлю. Коли каторги не боялся — ничего на свѣтѣ не бойся! — Слова эти сказаны были съ такой, свойственной всѣмъ рѣчамъ и поступкамъ Комлева, простотой и отсутствіемъ всякой бравады, но въ то же время съ такой внутренней силой и энергіей, что, признаюсь, я залюбовался этимъ человекомъ.

Онъ и во всей исторіи своего „отбоя“ держался въ высшей степени просто, безъ той вызывающей шумливости, которою отличалось поведеніе его союзника и пріятеля Петина. Послѣдній, отказываясь отъ работы, каждый разъ считалъ нужнымъ рычать, жестикулировать, угрожать и словами, и жестами. Комлевъ, напротивъ, преспокойно лежалъ на нарахъ, дожидаясь, когда дежурный, подобно бѣшеному звѣрю, прибѣжитъ звать его на работу.

— Комлевъ! тебя долго еще ждать? Всѣ выстроились, стоятъ подъ воротами, а тебя все нѣтъ. Живой рукой собирайся!

— Куда?—медленно, равнодушно, не возвышая голоса, спрашивалъ Комлевъ.

— Какъ куда? Говорятъ тебѣ, на работу.

— Я не пойду сегодня!

— Какъ не пойдешь? Ты развѣ нездоровъ?

— Нѣтъ, здоровъ.

— Такъ ты что-жъ это? Шутки со мной шутить вздумалъ, или въ карецъ захотѣлъ?



— Въ карецъ — такъ въ карецъ. Пойдемте, — отвѣчалъ онъ тѣмъ же ровнымъ голосомъ, поднимаясь съ мѣста, и шедъ въ карцеръ.

Сохатый былъ не таковъ. Не смотря на его шумливость и внѣшній задоръ, было очевидно, что онъ куда „дешевле“ Комлева: сознавали это и арестанты, и надзиратели. Не замедлилъ подтвердить это фактами и самъ Петинъ. Въ то время, какъ Комлевъ непреклонно и неустанно продолжалъ гнуть одну и ту же линію, требуя перевода въ другую тюрьму, отказываясь отъ работъ и не пугаясь даже перспективы плетей и розогъ и тѣмъ внушая начальству серьезное къ себѣ уваженіе и страхъ, Петинъ въ самыя критическія минуты, когда дѣло принимало серьезный оборотъ, каждый разъ трусилъ и отступалъ: плетей и розогъ онъ ужасно боялся... Поэтому въ поведеніи его не было никакой послѣдовательности: то онъ былъ лодыремъ и грубіяномъ, стоялъ на дурномъ счету у надзирателей, то превращался въ ретиваго работника и тихаго, покорнаго арестанта. Начальство видѣло, что онъ не опасенъ, и что страхомъ можно съ нимъ все сдѣлать.

Нашъ старый знакомецъ Семеновъ былъ также изъ числа тѣхъ, которые мечтали отбиться поскорѣе отъ Шелайскаго рудника и, подобно Комлеву, не дрогнули бы ни передъ какими мѣрами и угрозами Шестиглазаго. Но ему оставалось меньше года до выхода въ вольную команду, и велъ онъ себя чрезвычайно сдержанно и благоразумно. Тѣмъ не менѣе, совершенно для всѣхъ неожиданно, а больше всѣхъ для самого Семенова, разыгралась исторія, выставившая его въ глазахъ начальства однимъ изъ наиболѣе опасныхъ и нежеланныхъ для Шелайской тюрьмы обитателей.

Лѣтнія ночи были страшно коротки. Въ 8 часовъ вечера производилась повѣрка; въ случаѣ присутствія на ней самого Лучезарова она тянулась не меньше часу, и заснуть удавалось не раньше 10. Въ половинѣ четвертаго утра уже раздавался свистокъ надзирателя съ призывомъ приготовляться къ новой повѣркѣ. Истомленные работой и плохимъ питаніемъ, арестанты встаютъ, бывало, какъ дикіе, съ отяжелѣвшими глазами, отказывающимися глядѣть на свѣтъ, съ болью въ вискахъ, съ ломотой во всемъ тѣлѣ. Но надзиратель Безымѣнныхъ, отъ всей души ненавидѣвшій арестантовъ и на каждомъ шагѣ любившій имъ „пакостить“, въ дни своего дежурства сокращалъ даже и это недостаточное для сна время. Еще въ совершенной темнотѣ, въ два или въ три часа

ночи, онъ ходилъ уже подъ окнами камеръ, стучалъ въ нихъ изо всей силы кулаками или даже ключами и, будя всѣхъ, кричалъ нечеловѣческимъ голосомъ:

— Староста! Лампы тушить!

Семеновъ былъ въ это время старостой въ одномъ изъ номеровъ и однажды такъ крѣпко спалъ, что не услышалъ даже и этого адскаго стука. Черезъ двадцать минутъ Безымѣнныхъ подошелъ къ дверной форточкѣ и, видя, что лампа все еще не потушена, принялся барабанить пальцами по стеклу и громко называть Семенова по имени. Но тотъ продолжалъ спать, какъ убитый, молодымъ богатырскимъ сномъ. Другіе арестанты, отпуская насмѣшливыя остроты изъ-подъ своихъ халатовъ, притворялись тоже спящими и не двигались съ мѣста.

— Ну, ладно, я покажу же тебѣ, мерзавецъ!—сказалъ Безымѣнныхъ, потерявъ терпѣніе и отходя прочь.

Когда наступила утренняя повѣрка, арестанты почему-то забыли предупредить Семенова о случившемся, и Безымѣнныхъ безъ всякихъ объясненій повелъ его въ карцеръ. Ничего не подозревавшій, ошеломленный Семеновъ молча повиновался, но когда пришелъ въ карцеръ и узналъ, въ чемъ дѣло, то, пользуясь отсутствіемъ свидѣтелей, съ страшною бранью и стиснутыми кулаками бросился на врага. Безымѣнныхъ едва ноги уволокъ и еле успѣлъ затворить за собой на задвижку дверь карцернаго корридора. Онъ побѣждалъ къ старшему дежурному докладывать о покушеніи Семенова на его жизнь. Немедленно явился въ карцеръ конвой: Семенова заковали въ наручни и посадили въ строгое одиночное заключеніе. Ожидали, что ему дорого обойдется эта исторія... Закадычный другъ Семенова, старикъ Гончаровъ, ходилъ мрачный и задумчивый.

— Теперь пропала Петькина вольная команда,—говорилъ онъ мнѣ грустно:—а пропала команда—и головушка его пропала! Если набавятъ ему нѣсколько лѣтъ сроку, тогда Безымѣнныхъ не жилецъ больше на бѣломъ свѣтѣ... Петька ужъ не попустится забыть ему такую обиду!

Больше мѣсяца просидѣлъ Семеновъ въ карцерѣ, готовясь къ самому печальному рѣшенію своей участи...

Но каково же было общее удивленіе, когда въ одинъ прекрасный день изъ управленія получился приказъ,—засчитавъ Семенову въ наказаніе мѣсяцъ тяжкаго заключенія въ карцерѣ, пере-

вести его вмѣстѣ съ Комлевымъ въ Зерентуйскую каторжную тюрьму. Семеновъ, вѣроятно, отъ души перекрестился, покинувъ въ тотъ же день ненавистный ему Шелайскій рудникъ, а товарищи, оставшіеся во власти Шестиглазаго, отъ души же позавидовали его „фарту“. Про Комлева молчали, потому что онъ являлся въ глазахъ всѣхъ не просто фартовцемъ: онъ велъ долгую и упорную борьбу за то, чего, наконецъ, добился, готовый собственной кровью запечатлѣть свою мрачную и твердую рѣшимость, и далеко не всѣ мечтавшіе и болтавшіе объ отбоѣ признавали въ себѣ силу и способность къ тому же самому. Больше всѣхъ чувствовалъ себя пристыженнымъ Сохатый. Онъ ходилъ злой и угрюмый и срывалъ сердце и изливалъ досаду въ словесныхъ и кулачныхъ схваткахъ съ Луньковымъ и другими, которые были подъ силу и подъ ростъ его дешовому чванству и молодечеству.

Но существовали еще и другіе типы отбивающихся. Я уже рассказывалъ, напримѣръ, какой искусный планъ составленъ былъ Сокольцевымъ, и какая неудача постигла его первый опытъ. Каждый дѣйствовалъ согласно съ своимъ темпераментомъ и способностями. Такъ, цѣлая масса арестантовъ прикидывалась страдающею разными безнадежными болѣзнями, которыя дѣлали ее негодною ни къ какой физической работѣ и помогали, по ея мнѣнію, раньше срока вылетѣть въ вольную команду или хоть попасть въ богадѣльню. Во всякой каторжной тюрьмѣ находится постоянно изрядный процентъ мнимо-хромыхъ, сухорукихъ, слабосильныхъ и одержимыхъ всевозможными недугами. Не такъ, однако, легко быть симулянтъ, какъ это представляется съ перваго взгляда. Не надзиратели и не доктора являются главнымъ препятствіемъ для подобныхъ больныхъ, а своя же „кобылка“: къ каждому хроническому больному, освобожденному отъ работъ, рождается вскорѣ зависть въ средѣ своихъ же; начинаются подозрѣнія, сплетни, пересуды, систематическое шпионство за нелюбимымъ товарищемъ (а нелюбимъ почти каждый каждымъ), попорѣваемымъ въ притворной болѣзни. Одни замѣтили, что сегодня онъ хромаетъ совсѣмъ не на ту ногу, что вчера, другіе видѣли ночью, какъ мнимый больной, полагая, что никто за нимъ не наблюдаетъ, или же позабывъ со сна о своей хромотѣ, всталъ и прошелся, какъ здоровый, не ковыляя ни на ту, ни на другую ногу... Скоро подобныя подозрѣнія, часто совсѣмъ ложныя, пре-

вращаются въ полную увѣренность, и темный слухъ доходитъ неизвѣстно какимъ путемъ до самаго начальства. Къ дѣйствительному или мнимому „богодуну“ начинаютъ придираются, начинаютъ, не смотря на болѣзнь, гнать на работу... Тяжела бываетъ подчасъ жизнь и настоящихъ больныхъ, у которыхъ нѣтъ, по несчастью, явныхъ для невѣжественнаго глаза признаковъ болѣзни: цѣлы руки, цѣлы ноги, нѣтъ широко зіяющихъ ранъ, отвратительныхъ болячекъ. Только такіе признаки и уважаетъ кобылка, а за-одно съ нею и большинство фельдшеровъ. Все остальное, кашель, лихорадка, головная боль, слабость, ревматическія и сердечныя боли — все это можетъ быть простой симуляціей! Въ Шелайскомъ рудникѣ были, между прочимъ, двѣ спеціальныя причины, усиливавшія обычную неприязнь арестантовъ къ хроническимъ больнымъ и слабымъ, не ходившимъ на работу. Вслѣдствіе небольшихъ размѣровъ тюрьмы и сравнительно ничтожнаго количества арестантовъ, порціи мяса не дѣлились въ ней, какъ принято въ другихъ рудникахъ, на рабочія и богодунскія, а всѣмъ выдавались равныя. Съ другой стороны, лазаретъ былъ тѣсенъ и малъ и могъ вмѣщать только весьма ограниченное количество больныхъ. По совокупности всѣхъ этихъ причинъ арестантъ, рѣшившійся отбиваться отъ работъ на основаніи притворной болѣзни, долженъ былъ обладать изряднымъ запасомъ храбрости и искусства. Такимъ смѣльчакомъ и искусникомъ явился раньше другихъ старикъ Гончаровъ.

Пролежавъ нѣсколько недѣль въ лазаретѣ, благодаря дѣйствительно серьезной болѣзни, онъ сталъ скорѣ жаловаться на постоянную боль въ ногахъ, потомъ охромѣлъ, а, наконецъ, и совсѣмъ сѣлъ на нары... Последнее обстоятельство совпало какъ разъ съ увозомъ изъ Шелайскаго рудника Семенова. Никакихъ видимыхъ признаковъ этой странной болѣзни не было; однако пріѣзжавшій время отъ времени врачъ не могъ также констатировать съ чистой совѣстью и симуляцію: не малое впечатлѣніе производила, конечно, и старость больного, его мощная львиная голова съ сильно посѣдѣвшими въ последнее время волосами... Въ концѣ-концовъ на Гончарова махнули рукой, отстранивъ его отъ всякихъ работъ. Вѣрили ему въ началѣ и арестанты. Но время шло, и, не высказываясь открыто въ присутствіи Гончарова (такъ боялись всѣ его физической силы и остраго, какъ топоръ, злого языка), многіе стали и его подозрѣвать. Случалось,

что во время ссоры подозрѣнія эти бросались въ лицо; тогда Гончаровъ впадалъ въ жалобный, столь несвойственный ему прежде слезливый тонъ. Онъ съ горечью вспоминалъ доброе старое время, когда у него были ноги и сила, когда на каждую обиду онъ могъ отвѣтить стократной обидой, когда враги трепетали его, и онъ имѣлъ деньги, друзей и пріятелей... Слыша подобные жалобы и упреки судьбѣ, я чувствовалъ иногда, какъ сердце поворачивается у меня въ груди отъ состраданія, и собственные мои подозрѣнія таяли, какъ воскъ. Я видѣлъ въ Гончаровѣ дѣйствительно безпомощнаго, несчастнаго старика, котораго всякій можетъ обидѣть, и никто не защититъ. Нерѣдко мнѣ приходилось даже распинаться за него, парируя яростныя (заочныя, конечно) нападки арестантовъ. Каково же было мое удивленіе, когда Гончаровъ самъ завелъ однажды со мной дружескій откровенный разговоръ по поводу своей болѣзни.

— Гдѣ-то теперь Петька мой?—началъ онъ, вздыхая:—эхъ, Иванъ Николаевичъ! кабы въ вольную команду меня выпустили... Ужъ я безпремѣнно сходилъ бы въ Зерентуй, добился бы свиданія съ нимъ.

— Гдѣ-же съ вашими ногами ходить такую даль?—спросилъ я удивленно.

— Ну, да неужто онѣ вѣчно болѣтъ у меня будутъ?—отвѣчалъ старикъ,—дастъ же Богъ, поправятся когда-нибудь. Особливо ежели на волѣ. Тамъ все же заработать можно, я ремеселъ много знаю: я и сапожничать, и портняжить, я и корзины плести могу и уголь жечь... Пища вольная да свобода...

— Да вотъ что, Миколанчъ, я скажу тебѣ,—вдругъ заговорилъ онъ таинственнымъ полупошопотомъ:—отъ тебя-то таится мнѣ нечего. Ты вѣдь не нашъ братъ, кобылка, не повредишь. Меня корятъ, что я притворяюсь, порціи, вишь, ихъ рабочія заѣдаю... Бѣдно мнѣ было въ началѣ, шибко бѣдно слышать эти попреки, потому ноги у меня взаболъ болѣли... Ну, а теперь я ужъ озлился! Теперь ногамъ, точно, лучше. Теперь я даже такъ скажу: и ходить бы я могъ, и работать не хуже кажнаго изъ нихъ... Только я такъ думаю въ себѣ: къ чему мнѣ это? Больше ихняго, что ли, мнѣ надо? Милость я какую отъ начальства заслужу, медаль мнѣ на шею повѣсятъ, что-ль, коли я стану работать, какъ быкъ жилы изъ себя тянуть? Мнѣ бы въ вольную команду только, Иванъ Миколанчъ, выйти, а больнаго-то скорѣе выпустятъ, потому Ше-

стиглазому въ тюрьмѣ я вовсе ненужный чековѣкъ, а тамъ, на волѣ, и я могу на что-нибудь пригодиться: амбары караулить, али уголь для кузницы жечь. Вотъ объ чемъ я мечтаю, Иванъ Миколаичъ. Ну, а втапору, вѣстимо, я ужъ не жилецъ у нихъ! недолго повидить меня Шелайская тюрьма! Петька въ вольную команду скоро выйдетъ: спаримся мы—и прощай, каторга-матушка, прости, Байкалъ батюшка!..

Я свято сберегъ, конечно, тайну Гончарова и отъ всей души посочувствовалъ, когда завѣтная мечта его сбылась, и въ сентябрѣ мѣсяцѣ Лучезаровъ выпустилъ его раньше срока въ вольную команду и посадилъ сторожемъ при амбарахъ. Я такъ и рѣшилъ, что только зиму перезимуетъ старикъ и съ первой же весной поступить на службу къ генералу Кукушкину. Но, къ удивленію моему, случилось это значительно раньше: онъ бѣжалъ въ первыхъ числахъ октября, какъ только выдали арестантамъ теплую „лопотъ“: шубу, штаны, рукавицы... Шелайское начальство страшно негодовало на хитраго старика, который такъ ловко съумѣлъ провести его: вчера еще ползалъ на колѣнкахъ, а сегодня уже пустился бродяжить; надзиратели громко ликовали по поводу дурно выбраннаго бѣглецомъ времени года, которое несомнѣнно должно было скорѣй предать его въ руки правосудія.

— Ужъ тогда мы покажемъ ему! И впрямь будетъ болѣнь—не повѣримъ!

— И дернула-жъ съдого чорта нелегкая въ такую пору идти,—говорила промежь себя кобылка:—лѣсъ вездѣ обнаженъ, укрыться негдѣ, пропитаніе найти трудно, подходятъ холода... Того и гляди, снѣгу на дняхъ навалитъ!

Но старые, бывалые арестанты только посмѣивались себѣ въ усь, слыша такія рѣчи.

— Теперь-то и идти,—отвѣчали они на мои разспросы:—Гончаровъ тоже не дуракъ вѣдь... къ тому-жъ, самъ челдонъ-сибирякъ... Онъ не пойдетъ зря! На поляхъ теперь народу нѣтъ, потому все убрано, дорога скатертью лежитъ, никто не привяжется. Потомъ съ присковъ теперь ребята возвращаются домой—опять меньше подозрѣнія, что идетъ незнаемый человѣкъ. Будто тоже съ присковъ идетъ старичокъ почтенный.

Но чтобы ни толковали опытные люди, мнѣ всетаки казалось страннымъ, что такой умный человѣкъ, какъ Гончаровъ, выбралъ для побѣга такую позднюю пору; августъ и отчасти, пожалуй,

сентябрь были еще подходящимъ временемъ для бродяжества, но ужъ отнюдь не октябрь. Чѣмъ-то невольнымъ и вынужденнымъ вѣяло отъ подобнаго побѣга.

И точно, въ скоромъ времени прошелъ по тюрьмѣ какой-то неясный сначала шепотъ: въ одномъ изъ большихъ рудниковъ случилось въ вольной командѣ убійство, послѣ котораго нѣсколько человѣкъ бѣжало. Потомъ стали называть въ числѣ бѣглецовъ Семенова... Говорили, что смотритель Зерентуйскаго рудника, находясь въ распрѣ съ Лучезаровымъ, въ пику ему, немедленно по переводѣ къ нему Семенова выпустилъ его въ вольную команду; тамъ, въ ссорѣ изъ-за картъ, Семеновъ пырнулъ ножомъ одного татарина и, преслѣдуемый пустившейся по пятамъ погоней, бѣжалъ. Нѣкоторое время я всетаки недоумѣвалъ, какое отношеніе имѣлъ слухъ объ этомъ побѣгѣ къ побѣгу Гончарова, но вскорѣ дошло до меня еще и другое извѣстіе (довѣренное, впрочемъ, подъ большимъ секретомъ). Семеновъ прибѣжалъ послѣ своего преступленія въ Шелайскій рудникъ и нѣсколько дней былъ укрываемъ земляками и друзьями своими, Гончаровымъ и Ракитинымъ. Послѣ этого все стало мнѣ понятно. При видѣ закадычнаго друга, почти сына, которому волей-неволей приходилось бѣжать, въ старомъ тасжномъ волкѣ заговорила кровь, проснулась неудержимая жажда простора и воли, которой не могли одолѣть никакіе совѣты благоразумія... Ослѣпительно ярко блеснула мечта о родинѣ, о семьѣ и, быть можетъ, о мести—и вотъ, не смотря на годы, на приближающіеся холода и зиму, онъ, пропустивъ въ горло стаканчикъ-другой оживляющей влаги, собрался въ путь-дорогу и смѣло пошелъ навстрѣчу всѣмъ опасностямъ и случайностямъ бродяжеской жизни...

Попались-ли бѣглецы въ лапы забайкальскихъ казаковъ, сложили-ль свои буйныя головы подъ пулями дикихъ тунгусовъ, или > благополучно ушли за „Святое Море“—Байкаль, у меня нѣтъ объ этомъ никакихъ свѣдѣній. Думаю, впрочемъ, оба они не дешево продадутъ свою жизнь и свободу тѣмъ, кто на нихъ поку-сится!...

## XXXII.

## Шелайскіе посѣтители.

Слухъ о пріѣздѣ новаго губернатора оказался, между тѣмъ, не пустымъ арестантскимъ „бумо“. Въ тюрьмѣ начинались дѣятельныя приготовленія къ приему сановнаго посѣтителя. Даже бравый штабсъ-капитанъ, гордившійся тѣмъ, что ввѣренный ему рудникъ постоянно готовъ „къ посѣщенію его самимъ государемъ“, обнаруживалъ замѣтные признаки безпокойства и волненія: извѣстно, что новая метла всегда чище мететъ, а главное—одинъ Богъ знаетъ, каковъ нравъ и каково направленіе новаго властелина края... Онъ не унизился, правда, до того, чтобы лично вмѣшаться и вынюхивать во всѣ мелочи, тайники внутренней тюремной жизни, но надзирателямъ, очевидно, даны были строгія инструкціи. Цѣлые дни, съ утра до поздняго вечера, шныряли они по всѣмъ закоулкамъ зданія, поднимая каждую соринку и распекая арестантовъ за малѣйшее упущеніе въ чистотѣ и опрятности. Полы, мывшіеся прежде два раза въ недѣлю, теперь скреблись и мылись черезъ день, а послѣ мытья красились охрой, которая придавала имъ, дѣйствительно, красивый видъ, но за то, просохнувъ, превращалась вскорѣ въ мелкую пыль, заставлявшую всѣхъ при подметаніи чихать и кашлять. А подметали камерные старосты чуть не каждые полчаса...

Явившись на одну изъ вечернихъ повѣрокъ, Лучезаровъ обратился къ арестантамъ съ слѣдующею рѣчью:

— Вотъ что! Вы уже слышали, вѣроятно, что на дняхъ долженъ быть здѣсь новый военный губернаторъ. Прислушивайтесь къ свистеу, который будетъ поданъ дежурнымъ надзирателемъ, соблюдайте порядокъ и чистоту. Затѣмъ не безпокойте губернатора нелѣпыми просьбами и жалобами. Я знаю, вы любите разговаривать со всякимъ новымъ начальствомъ: дескать, купить не удастся, а поторговать можно... Я буду взыскивать за нелѣпые разговоры. Каждый, кто хочетъ говорить, долженъ сегодня же, когда я буду обходить камеры, предварительно сообщить мнѣ объ этомъ. Я рѣшу—дѣльная или вздорная претензія. Кромѣ того, не завтра—послѣ завтра посѣтить нашу тюрьму еще одинъ иностранецъ, путешествующій съ религіозной цѣлью,—проповѣдникъ.



И по отношенію къ нему также ведите себя прилично, не вздумайте обращаться къ нему съ какими-нибудь просьбами. У васъ хватить ума. Онъ совершенно частное лицо, не облеченное никакой властью. Да вотъ что еще скажу вамъ. Въ камерахъ отвратительный запахъ. Оно и немудрено. Я сейчасъ стоять не могъ во время молитвы позади Ногайцева... Вы совсѣмъ не умѣете вести себя. Вздоръ это, будто животь пучить съ хлѣба и капусты, вздоръ! Я самъ ѣмъ черный хлѣбъ и люблю щи... Поддержаться всегда можно, но вы просто-на-просто не хотите!

Огоротивъ арестантовъ такой проповѣдью, Лучезаровъ сталъ обходить камеры. Почти вездѣ обращались къ нему съ заявленіями, что собираются говорить съ губернаторомъ. Въ нашемъ номерѣ прежде всего выступили Петинъ и Сокольниковъ.

— О чемъ хотите говорить?—сумрачно спросилъ ихъ Лучезаровъ.

— Проситесь о переводѣ на Сахалинъ, господинъ начальникъ.

— Зачѣмъ?

— Да никакъ невозможно, господинъ начальникъ, отбыть нашъ срокъ въ этой тюрьмѣ, оченно строго. А на плечахъ по тридцати, по сорока лѣтъ каторги.

— А на Сахалинѣ развѣ срокъ уменьшится? Вздоръ говорите. Нечего лѣзть съ такими глупыми просьбами. Да если бы губернаторъ и вадумалъ удовлетворить ихъ, то вы сами бы раскаялись. Сахалинъ въ десять разъ хуже Шелайской тюрьмы; туда ссылаются, кромѣ Забайкальскихъ уроженцевъ, только особо важные преступники, въ видѣ наказанія.

— Всетаки дозвоьте, господинъ начальникъ, изложить нашу просьбу.

— Пожалуй, излагайте. Только знайте, что она не будетъ уважена. Ты что, Луньковъ, вертишься?

— Я, господинъ начальникъ... такъ какъ я не въ мѣру понесъ наказаніе, то... позвольте просить.

— Жаловаться?

— Гм.... Да.

— Не совѣтую. Ты полагаешь, что тебя наказали несправедливо, а я думаю, что вполнѣ справедливо.

И съ этими словами Лучезаровъ удалился въ другія камеры. Больше часу продолжался этотъ обходъ. Вездѣ просились на

Сахалинъ и въ другіе рудники, и всѣ получали отказъ. Тѣмъ не менѣе у многихъ назрѣло твердое рѣшеніе говорить съ губернаторомъ, какъ бы ни озлились на нихъ за это Шестиглазый. На слѣдующій день къ вечеру, неожиданно для всѣхъ, явился въ тюрьму иностранецъ-проповѣдникъ со своимъ переводчикомъ, въ сопровожденіи одного лишь старшаго надзирателя: Лучезарова не было дома—онъ куда-то отлучился. Высокій сгорбленный старикъ съ сѣдой бородою, въ черномъ сюртукѣ и съ грудой евангелій подъ мышками, началъ обходить камеры и читать арестантамъ нѣмецкую проповѣдь, которую переводчикъ дословно переводилъ на русскій языкъ.

— Эта книга—великая книга, одинаково необходимая какъ для крестьянина, такъ и для императора. Ученіе, заключающееся въ этой книгѣ, истинно. Оно не только истинно, но также и въ высшей степени практично, полезно. Стоитъ искренно увѣровать и попросить Бога—и онъ исполнитъ всѣ наши просьбы и желанія.

Только что успѣлъ проповѣдникъ произнести въ нашемъ номерѣ эти слова, какъ раздалась оглушительная команда: „Смирно!“ и въ камеру влетѣлъ съ надзирателями запыхавшійся, весь сіяющій, Лучезаровъ. Иностранецъ смутился и замолкъ.

— Начальникъ Шелайской тюрьмы, штабсъ-капитанъ Лучезаровъ!—отрекомендовался ему бравый штабсъ-капитанъ.

Старикъ назвалъ свою фамилію, поклонился, подаль руку и тотчасъ же вытащилъ изъ кармана бумагу, свидѣтельствовавшую о цѣляхъ его путешествія и о разрѣшеніи посѣщать каторжные тюрьмы. Съ наивною, доходившею до остроумія, арестанты разсказывали послѣ, что Шестиглазый, какъ только явился, сейчасъ же потребовалъ у иностранца „пачпортъ“.

— Вотъ молодчина-то!—говорили про него не то съ насмѣшкой, не то съ дѣйствительнымъ восхищеніемъ.

— Онъ никому не уважить. Онъ и самому губернатору, пожалуй, двадцать очковъ впередъ дастъ!

— Ну что-жъ,—сказалъ Лучезаровъ послѣ нѣсколькихъ секундъ неловкаго молчанія, возвративъ старику его „пачпортъ“:—вы ужъ поговорили съ ними?

Старикъ, узнавъ отъ переводчика смыслъ вопроса, кивнулъ головой въ знакъ согласія и началъ раздавать арестантамъ книги, спрашивая напередъ, грамотны они или нѣтъ. Но всѣ назывались грамотными, даже и тѣ, которые знали лишь азбуку. Послѣ этого

посѣтители отправились въ другіе номера, при чемъ при входѣ въ каждый изъ нихъ раздавалось громогласное „смирно“. Иностранцу, вѣроятно, не сильно понравилось проповѣдывать при такихъ условіяхъ. Онъ поспѣшилъ удалиться, а арестанты принялись со всѣхъ сторонъ судить и ридить его. Къ сожалѣнію, я не слышалъ среди этихъ сужденій ни одного слова о томъ, ради чего посѣтилъ онъ тюрьму и что говорилъ. Толковали о его внѣшности, объ одеждѣ.

— Вотъ такого-бъ гуся на дорогѣ встрѣтить, — бравировалъ Андриушка-Поваръ:—небось, съ одного-бъ слова все отдалъ, что при емъ есть, и часы, и скуртуъ, и деньги!

— Деньжонки-то у него, надо быть, водятся,—подтверждали другіе.

— А чего-бъ ему стоило намъ десятку, другую подарить? На-те, молъ, ребята, за мое здоровье обѣдъ хорошій сварите. Скупой, видно.

Тяжело было слышать подобныя рѣчи, больно думать, что для такихъ именно результатовъ пріѣзжалъ за тысячи верстъ этотъ старикъ, быть можетъ, искренно вѣрившій въ святость и значеніе своей миссіи, отъ всего сердца любившій этихъ людей и мечтавшій заронить въ ихъ душевную тьму искру того божественнаго свѣта, которымъ горѣло собственное его сердце... Но кого было и винить съ другой стороны? На что негодовать?

Розданныя арестантамъ евангелія въ большинствѣ получили, какъ водится, совсѣмъ не то назначеніе, какое имъ давалъ проповѣдникъ, и пошли на курево и на другія, еще болѣе низменныя потребности...

Наконецъ, наступилъ день, въ который ожидали пріѣзда губернатора. Съ ранняго утра надзиратели, нарядившіеся въ папахи, праздничные мундиры и бѣлыя перчатки, въ необыкновенномъ волненіи бѣгали по тюрьмѣ и раздавали арестантамъ свои распоряженія. Прежде всего опять приказали мыть и красить охрой полы, наканунѣ только что вымытые. Но когда ихъ вымыли, явилась новая забота: успѣютъ-ли они просохнуть? Раскрыли настежъ всѣ окна въ камерахъ и корридорахъ, всѣ двери... И все-таки волновались и ежеминутно бѣгали смотрѣть, какъ подвигается просушка. День былъ вѣтряный и пасмурный. Пообѣдали, отдохнули; все не было ни слуху, ни духу о губернаторѣ. Всѣ чувствовали себя утомленными отъ необычнаго душевнаго напря-

женія. Наконецъ, когда уже вернулись изъ рудника горные рабочіе, пролетѣлъ слухъ, что со станціи прискакалъ вѣстникъ:

— Сялъ!.. Ёдетъ!..

Все опять заволновалось и закопошилось. Но и послѣ этого только черезъ полтора часа пріѣхалъ губернаторъ, и тогда арестантамъ велѣли, наконецъ, собраться въ камеры, одѣться въ халаты и построиться... У воротъ, дѣйствительно, раздался пронзительный свистокъ; мы построились. Только самые бойкіе стояли еще въ корридоръ и заглядывали на дворъ, гдѣ должна была появиться начальствующая свита. Соглядатаями отъ нашей камеры были Луньковъ и Петинъ. Оттуда приходили одна за другой „телеграммы“. По первому извѣстію, губернаторъ былъ высокаго роста мужчина съ рыжей бородой и сердитымъ взглядомъ; по позднѣйшему — толстенкій и маленькій, чернявый... Такъ же противорѣчивы были телеграммы и о внѣшнемъ видѣ Шестиглазаго. Луньковъ сообщалъ, что онъ блѣденъ и ровно не въ себѣ, тянется передъ генераломъ и держитъ руку подъ козырекъ, что по всѣмъ признакамъ нагоняй большой получаетъ! Сохатый, влюбленный въ военную выправку Лучезарова, утверждалъ, напротивъ, другое.

— Трепачъ! Мараказъ паршивый! Чего врешь? Шестиглазый герой героемъ глядитъ. Развѣ видали гдѣ въ другомъ мѣстѣ такого артиста? Ему развѣ штабсъ-капитаномъ бы быть? Онъ за самого фельдмаршала сойти-бъ могъ!

— Губы еще не обсохли у твоего Шестиглазаго. У насъ въ Воронежѣ одинъ частный есть: такъ за поясъ можетъ всѣхъ ихъ такихъ заткнуть! Усы, какъ смоль, черные, походка точно что пройская... А этотъ жиромъ заплылъ!

— Болванъ, что ты понимаешь? Въ умѣ дѣло, а не въ рожѣ.

— А чѣмъ онъ уменъ, твой Шестиглазый?

— Тѣмъ, что въ страхѣ умѣетъ вашего брата держать, скидокъ лишаетъ, поретъ... Самого Бога не боится!

— Брось смѣяться! Это васъ, дешевыхъ, запугать онъ можетъ, а мы не испугаемся. Я вотъ жаловаться стану губернатору, а посмотримъ, какъ ты ни живъ, ни мертвъ стоять будешь.

— Болванъ!..

— Да бросьте вы, черти... Патоку когда задумали тереть! Вѣдь придутъ сейчасъ.

— Идутъ, идутъ! — кинулись со всѣхъ ногъ вѣстники, стоявшіе въ корридорѣ.

Всѣ построились, откашлялись, встали — точно аршинъ проглотили.

— Смир-рно!!—скомандовалъ надзиратель, и въ камеру вошли: губернаторъ, его адъютантъ, завѣдующій каторгой, Лучезаровъ, исправникъ, прокуроръ и много другихъ лицъ высшаго и низшаго разбора. Губернаторъ оказался человѣкомъ средняго роста, пожилой, съ просѣдью въ бородѣ. Онъ обошелъ выстроившіеся ряды арестантовъ, пристально вглядываясь каждому въ лицо, и затѣмъ, повернувшись, спросилъ, нѣтъ-ли у кого просьбъ или претензій. Лучезаровъ указалъ на Петина и Сокольцева.

— Что нужно?—спросилъ губернаторъ, подходя къ Сохатому.

— Ваше превосходительство, явите божескую милость.

— Какую именно?

— Отправьте на Сахалинъ.

— Это для чего-же?

Петинъ замолчалъ.

— Срокъ очень большой, ваше превосходительство,—выѣхался Лучезаровъ:—такъ онъ надѣется, основываясь на арестантскихъ слухахъ, что тамъ сразу выпустятъ его на волю.

— Ты очень ошибаешься, дружокъ, — сказалъ губернаторъ, — законъ вездѣ одинаковъ. Да, къ тому же, я не знаю еще здѣшнихъ порядковъ. Имѣю-ли я власть сдѣлать это?—обратился онъ къ завѣдующему каторгой:—какъ у васъ это дѣлается?

— Получаются время отъ времени затребованія, и тогда производится къ веснѣ выборка здороваго и годнаго народа. Обыкновенно же посылаются только забайкальскіе уроженцы.

— Вотъ видишь-ли, голубчикъ, — обратился губернаторъ къ Петину:—и сдѣлать-то это трудно. Впрочемъ, если будетъ требованіе...

— Ваше превосходительство,—заговорилъ внезапно Ногайцевъ, который не заявлялъ Лучезарову о своемъ желаніи говорить съ губернаторомъ. Бравый штабсъ-капитанъ даже вадрогнулъ отъ неожиданности и, насунивъ брови, поднялъ изумленное лицо.

— Ваше превосходительство, — храбро продолжалъ Ногайцевъ:—я меня тоже отправьте на Сахалинъ... Будьте такъ любезны... Окажите такую любезность...

— Оказать тебѣ любезность? Видите, чего захотѣлъ! — улыб-

нулся губернаторъ, обращаясь къ свитѣ: — ну, почему-же ты хочешь на Сахалинъ? Почему онъ такъ любитъ вамъ?

— Да такъ, ваше превосходительство. Чтобъ ужъ къ одному, значить, берегу пристать.

— То есть, какъ это къ одному берегу?

— Такъ. Кругомъ, значить вода и некуда дѣться... Путаться-бы ужъ пересталъ тогда по бѣлому свѣту.

— Путаться? Можно, и здѣсь оставаясь, бросить путанье. Кто еще что-нибудь имѣетъ?

Лучезаровъ указалъ на Сокольцева.

— Вотъ тоже на Сахалинъ просится... Ихъ полтюрьмы такихъ наберется... Любятъ путешествовать!

— Ага! а каково ихъ поведеніе?

— Особенно дурного пока ничего нѣтъ, — покривилъ душой Лучезаровъ, метнувъ искоса взглядъ въ сторону арестантовъ.

— Больше никто ничего не имѣетъ заявить?

— Ваше превосходительство, — заговорилъ дѣтски-пискливый голосокъ Лунькова.

— Что такое?

— Изнуряютъ насъ здѣсь непосильной работой... взысканія несправедливыя налагаютъ...

— Въ чемъ дѣло, расскажи подробнѣе.

— Мы роемъ канаву... Уроки очень большіе задаются... Я не могъ выработать... Меня лишили скидокъ и дали сто ровогъ...

— Правда это?—обратился губернаторъ къ завѣдующему каторгой, положивъ въ то же время руку на плечо Лунькову. Что-то мягкое, сочувственное къ этому хорошенькому арестантику, почти еще мальчику, мелькнуло, казалось, въ лицѣ стараго генерала.

— Онъ лжетъ, ваше превосходительство, — подскочилъ бравый штабсъ-капитанъ:—господину завѣдующему хорошо извѣстно, что онъ наказанъ не за плохую работу, а за оскорбленіе, нанесенное надзирателю.

Завѣдующій каторгой подтвердилъ эти слова.

Губернаторъ снялъ руку съ плеча Лунькова и спросилъ его:

— Зачѣмъ же ты врешь, голубчикъ? Это нехорошо.

Опѣшившій Луньковъ молчалъ. Губернаторъ, видимо недовольный, вышелъ вонъ съ тѣмъ, чтобы направиться въ другія камеры.

Сожители мои сдвинулись въ одну кучу и принялись шепотомъ обсуждать случившееся. Луньковъ съ Петинимъ тотчасъ же

поругались, начавъ критиковать одинъ другого. Петинъ обзывалъ Лунькова болваномъ за то, что онъ не сумѣлъ оправдаться.

— Какъ дошло до дѣла, и воды въ ротъ набралъ! Точно бухомъ его по лбу стукнули! У! трепачъ, хвастунишка... Вотъ ужъ поплатишься теперь, мараказъ проклятый!

— И-то мараказъ, а вотъ ты-то, Иркулесъ-великанъ, Со-хатый по прозванью, какъ ты-то не умѣлъ своего дѣла обсказать? Не могъ объяснить, зачѣмъ на Сахалинъ просишься...

— Оселъ! Идіотъ! да зачѣмъ мнѣ объяснять, коли за меня самъ начальникъ мазу держалъ? Ну, что! Согласенъ теперь, что, штабсъ-капитанъ Лучезаровъ герой передъ ними всѣми? Какой это губернаторъ? Ни дородства, ни осанки, ничего... А у того по крайности, тѣла сколько! Румянецъ въ лицѣ... И развязность есть!

Споръ разгорался все жарче и жарче, начавъ переходить отъ шепота къ галдѣнью, когда пронесся, наконецъ, слухъ, что губернаторъ уже вышелъ изъ тюрьмы. Тогда всѣ кинулись изъ камеры въ корридоръ, гдѣ столпилась вся тюрьма и сообщались новости. Оказывалось, что въ каждомъ почти номерѣ просились два-три человѣка на Сахалинъ, и что губернаторъ въ одномъ изъ нихъ сказалъ завѣдующему: „Что-жъ! отправьте ихъ къ веснѣ!“ Ликованіе было полное.

— А я слышалъ другое,—объявилъ вдругъ сапожникъ Звонаренко, по прозванью Кожаный Гвоздь, глава тюремныхъ вѣстниковъ:—я слышалъ, какъ завѣдующій сказалъ губернатору въ корридорѣ: „Врядъ-ли слѣдующей весной будетъ выборка“. А онъ отвѣчалъ: „Пушай надѣются! Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало“. Вотъ и надѣйтесь теперь, что отправятъ васъ на Сахалинъ!

Это извѣстіе подѣйствовало въ первую минуту на мечтателей, какъ ушатъ холодной воды; но такъ какъ вѣрить хотѣлось тому, что сулило какую-нибудь надежду въ жизни, а никакъ не тому, что было вѣрнѣе, то въ слѣдующую затѣмъ минуту общее негодованіе обрушилось уже на самого вѣстника. На несчастнаго Кожаного Гвоздя, неизвѣстно за что, посыпалась такая отборная ругань, что онъ едва успѣвалъ отгрызаться. Дѣло чуть не кончилось дракой. Она прекращена была новымъ извѣстіемъ, что Лунькова и Ногайцева повели въ карцеръ.

— Какъ? за что? Кто велѣлъ посадить?

— Шестиглазый. За неправильные и самовольные разговоры. Всѣ на мгновеніе онѣмѣли.

— Ну, теперь пропишетъ имъ Шестиглазый,—думалось каждому:—будутъ помнить кузькину мать!..

## XXXIII.

## Ночь.

Ночь. Уже прошло больше часа послѣ барабаннаго боя въ казацкихъ казармахъ; всѣ разговоры давно замолкли, и сожители мои лежатъ въ повалку, кто на нарахъ, кто на полу, забывшись крѣпкимъ сномъ. Тишина мертвая и въ камерѣ, и въ корридорахъ тюрьмы; изрѣдка только надзиратель подкрадется кошачьими шагами къ дверному оконцу и, звякнувъ ключами, отойдетъ прочь; раздастся чей-нибудь храпъ, кто-нибудь повернется на другой бокъ, проворчитъ или простонетъ во снѣ, брякнетъ кандалами,—и опять все тихо, какъ въ могилѣ... Лампа, висящая на стѣнѣ, запоетъ порой тонкимъ комаринымъ голосомъ—и тоже опять затихнетъ, точно сама испугавшись своего невѣрнаго пѣнія. Но я все еще бодрствую, одинъ среди множества живыхъ, распростертыхъ передо мною тѣлъ, и мучительная тоска постепенно овладѣваетъ душою, поднимаясь, какъ морской прибой, волна за волною, съ тихимъ, но все усиливающимся ворчаньемъ и ропотомъ...

— Здравствуй, знакомая гостья, дитя тюремной бессонницы! Я знаю, ты опять промучишь меня сегодня вплоть до утренняго разсвѣта, опять истерзаешь мои нервы, тѣло и душу!.. Мифическій Протей! сколько у тебя измѣнивыхъ формъ и образовъ, сколько орудій пытки. Вотъ—мертвящая скука, чудовище съ ледяными объятіями и бездонными темными ямами, вмѣсто глазъ; вотъ чувство томящаго одиночества, отъ котораго такъ хочется плакать, плакать и кричать, безъ надежды быть кѣмъ-нибудь услышаннымъ; вотъ, наконецъ, страхъ, поднимающій волосы на головѣ и пробѣгающій морозомъ по всему тѣлу...

Мрачныя думы встаютъ одна за другою, неизвѣстно изъ какихъ глубинъ мозга, и длинной похоронной процессіей проходятъ передъ глазами картины прошлаго, милаго, дорогого прошлаго, которое, увы! воскресить невозможно. А страшное, тяжелое,



проклятое прошлое, вѣчно живое, стоитъ безсмысленно тутъ, у изголовья, со всѣми своими ошибками, паденіями, обидами...

Однако... что за странная галлюцинація? Гдѣ я? Какіе это трупы лежатъ возлѣ меня — и справа, и слѣва, и тамъ, внизу, подъ ногами? Неужели я одинъ, живой среди мертвыхъ? О, радость, кто-то пошевелинулся... Значить, я не одинъ живой?.. Да, да, припоминаю... Стоитъ мнѣ крикнуть, не совладавъ съ ужаснымъ кошмаромъ,—и эти трупы вскочатъ на ноги, зазвонятъ оковами, заговорятъ, задвигаются, и улетятъ всѣ призраки ночи... Но зачѣмъ? Они вѣдь и живые мертвы для меня. Къ чему закрывать глаза на горькую правду? Я — одинъ. Одинъ, какъ челнокъ въ океанѣ, какъ былинка въ пустынѣ, одинъ, одинъ! Мнѣ нѣтъ здѣсь товарищей, какъ бы ни жалѣлъ я этихъ бѣдныхъ людей, какъ бы ни хотѣлъ перелить въ нихъ часть своего духа; нѣтъ сердца, которое билось бы въ тактъ моему сердцу, нѣтъ руки, на которую я доверчиво могъ бы опереться „въ минуту душевной невзгоды“. О, горе, горе! съ кѣмъ я? Какъ попалъ я въ эту смрадную яму, надъ которой носится дыханіе разврата и преступленія?... Что общего между мною, который порывался къ свѣтлымъ небеснымъ высямъ, и міромъ низкихъ невѣждъ, корыстныхъ убійцъ? Кровь, кровь кругомъ, разбитые вдребезги черепа, перерѣзанные горла, удушенные шеи, прострѣленные груди... И надо всѣмъ витаютъ тѣни погибшихъ, отыскивая своихъ убійцъ, отравляя ихъ сны черными видѣніями...

О, какъ изболѣла душа... Какъ усталъ я хранить видъ равнодушнаго философа! Какъ страстно хотѣлось бы отдохнуть на близкой, родимой груди! Имѣть возлѣ себя товарища,—хоть плохенькаго, хотъ завалященъкаго, но способнаго думать тѣ же думы, ощущать тѣ же чувства... О, сколько говорили бы мы—

„О Шиллерѣ, о славѣ, о любви!“...

Всего два года, а какъ давно уже, кажется мнѣ, оторванъ я отъ всего, чѣмъ живетъ образованный міръ. Что случилось тамъ за эти два года? Быть можетъ, намѣнилась фізіономія всего политическаго міра; быть можетъ, всплыли наверхъ и стали на очередь великіе, жгучіе вопросы, которые тогда, при мнѣ, казались, еще столь преждевременными, столь отдаленными... Быть можетъ, забила ключемъ могучая жизнь, брызнули яркія волны неслыханнаго свѣта... О, туда, туда бы скорѣе, раздѣлить всѣ восторги, всѣ труды и заботы моихъ братьевъ, стать въ ряды

простыхъ, скромныхъ работниковъ и, если нужно, погибнуть съ ними за дѣло прогресса и благо народа!

А быть можетъ, и то: надъ Европой нависла мрачная туча безвременья... Лучшіе бойцы сошли со сцены, и суетятся лишь мелкія, корыстные мошки и букашки... О, всетаки туда бы! Страдать и гибнуть тамъ, на волѣ, со всѣми!

А что представляютъ теперь наука, литература, наша родная литература, поэзія, искусство? Я кинулъ ихъ въ трудную годину, когда сходили съ арены послѣдніе могикане великой эпохи, и „въ храмѣ истины, священномъ храмѣ слова“ начинала возвышаться голосъ мелкая, бездарная литературная „шпанка“. О, неужели и тамъ царить теперь мерзость запустѣнія?! Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ этого быть! Вспыхнули новыя яркія звѣзды, хлынули свѣжіе потоки силъ, явились бодрые вожди свѣта и правды, не давшіе погибнуть безслѣдно трудамъ столькихъ поколѣній. О, да! явился могучій поэтъ, ударившій по сердцамъ съ невѣдомою силой, родился славный художникъ, отразившій въ большомъ романѣ все, что . . . . .

Боже, Боже! прозябать въ этой жалкой норѣ и ничего не знать, не идти на посильную помощь... Быть можетъ, и умереть здѣсь, въ этомъ мрачномъ мірѣ отверженныхъ, умереть всѣми забытому, съ клеймомъ общаго презрѣнія на челѣ, со стономъ безсильнаго отчаянія въ сердцахъ и проклятія, кому—неизвѣстно!..

Ахъ, усни, безпокойное сердце! Замольтите, безумныя думы!



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|  |           |
|--|-----------|
| Въ преддверіи.—Дорога . . . . .  | Стр.<br>I |
| <b>Шелаевскій рудникъ:</b>   |           |
| I. Встрѣча . . . . .   | 41        |
| II. Первый вечеръ. . . . .   | 47        |
| III. Впечатлѣнія и знакомства перваго дня . . . .                      | 53        |
| IV. На шарманкѣ . . . . .  | 69        |
| V. На днѣ шахты . . . . .  | 84        |
| VI. Подъемъ . . . . .  | 100       |
| VII. Тюремные будни . . . . .  | 112       |
| VIII. Начало моей школы . . . . .                                      | 122       |
| IX. Малаховъ и Гончаровъ . . . . .                                     | 129       |
| X. Мои ученики Буренковы . . . . .                                     | 142       |
| XI. Семеновъ . . . . .   | 156       |
| XII. Чтеніе Библии. — Яшка Тарбаганъ. — Поэтъ-<br>каторжникъ . . . . . | 165       |
| XIII. Чирокъ . . . . .   | 176       |
| XIV. Лучезаровъ . . . . .  | 182       |
| XV. Великіе поэты передъ судомъ каторги . . . .                        | 190       |
| XVI. Шахъ-Ламасъ . . . . .   | 205       |
| XVII. Обычная развязка . . . . .                                       | 217       |
| XVIII. Въ штольнѣ . . . . .  | 224       |
| XIX. Магометане. — Усанбай Маразгали . . . . .                         | 236       |
| XX. Успокоеніе . . . . .   | 246       |
| XXI. Въ новой камерѣ. — Невинные и жестокіе . . .                      | 260       |
| XXII. Ефимовъ. — Соколицевъ . . . . .                                  | 267       |
| XXIII. Демоны зла и разрушенія . . . . .                               | 277       |
| XXIV. Новые ученики. — Луньковъ . . . . .                              | 293       |
| XXV. Сахалинскія тревоженія . . . . .                                  | 309       |

|  | Стр. |
|--|------|
| XXVI. Романъ Никифора.—Отправка . . . . .          | 319  |
| XXVII. Побѣги и первая кровь . . . . .             | 318  |
| XXVIII. Осинное Ботало развеселяетъ меня . . . . . | 337  |
| XXIX. Избѣненіе младенцевъ и женъ . . . . .        | 344  |
| XXX. Любопытная бесѣда . . . . .                   | 352  |
| XXXI. Отбой . . . . .                              | 358  |
| XXXII. Шелайскіе посѣтители . . . . .              | 371  |
| XXXIII. Ночь . . . . .                             | 379  |



**Цѣна 1 руб. 50 коп.**

**СКЛАДЫ ИЗДАНИЯ:**

**Въ С.-Петербургѣ**—Контора журнала „Русское Богатство“  
уг. Спасской и Басковой ул., д. 1—9.

**Въ Москвѣ**—Отдѣленіе Конторы—„Русскаго Богатства“, Ни-  
китскія ворота, домъ Гагарина.

*J. Smith & Co. Boston.*  
Л. Мельшинъ.

*Slav 3627. 4. 3*

# ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ.

ЗАПИСКИ БЫВШАГО КАТОРЖНИКА.

---

Томъ второй.

---

ИЗДАНИЕ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА „Русское Богатство“.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Б. М. Вольфа, Разъѣзжая, 15.

1899.



51a v 36 27.4.3

Harvard College Library  
Sept. 3, 1913  
Bequest of  
Jeremiah Curtin

# СЪ ТОВАРИЩАМИ.

## I.

### Въ горной кузницѣ.

Въ одинъ морозный мартовскій день, когда толпа горныхъ рабочихъ ввалилась, по обыкновенію, въ свѣтличку, нарядчика тамъ не оказалось. Мы тщетно прождали его около часу. Наконецъ, пришелъ отъ Монахова кучеръ Бурмакинъ съ приказомъ отправляться на обычныя работы.

— А что мы тамъ дѣлать станемъ? — слышались негодующіе голоса.

— Какъ что — бурить.

— Поди-кося языкомъ своимъ побури! Навостри раньше буры, а потомъ бурить посылай.

— На то кузнецъ есть, — сказалъ Бурмакинъ. — Пальчиковъ, ты чего-жъ проклажаешься? Ступай въ кузницу, дѣлай свое дѣло.

— Нѣтъ, ужъ вы сами ступайте, коли такіе хитрые! — желчно возразилъ Пальчиковъ, вынимая изо рта маленькую трубочку-носогрѣйку и якобы равнодушно сплевывая на полъ. Внутри его крошечной, нервной и даже въ обычное время всегда возбужденной фигурки теперь, видимо, все клокотало и кипѣло. Уже успѣвъ надѣть на себя кожаный кузнечный фартукъ и запачкать углемъ блѣдное, съ чахлой бородкой, лицо, въ началѣ сцены онъ тихо и неподвижно стоялъ у порога, но теперь вдругъ подскочилъ быстрыми шагами къ баулу, въ которомъ хранились буры и молотки, и, вѣроятно, для того, чтобы ярче подчеркнуть свое бунтовское настроеніе, самымъ удобнымъ образомъ усьлся на немъ.

— Это что-жъ значитъ? — спросилъ Бурмакинъ въ недоумѣніи.

— Да ты за нарядчика, что-ль, поставленъ?

— Давно-ль, братцы, въ тюрьмѣ съ нами сидѣть, туесь туесомъ былъ, а какъ вышелъ въ вольную команду, смазалъ дегтемъ сапоги, надѣлъ вольную фуражку — и сталъ мыста не мыста! Въ нарядчики тоже лѣзеть, своимъ братомъ командовать хочеть!

Эти возмущенные голоса одобрительно подхвачены были всей толпой. Бурмакинъ сконфузился.

— Чего здря говорить, ребята? Какой тамъ нарядчикъ... Мнѣ велѣлъ баринъ идти сказать—я и пошелъ. А мнѣ что! По мнѣ сегодня въ кучерахъ у Монахова служить, а завтра велить начальникъ—и въ тюрьму опять пойду. Я человекъ подневольный.

Всѣ замолчали.

— Ну, такъ что-жъ я уставщику скажу? Пальчиковъ, говори, а? Пойдешь въ кузницу?

Пальчиковъ нѣкоторое время помолчалъ.

— А чѣмъ я наваривать буду буры?!—внезапно, точно съ цѣпи сорвался онъ, вскакивая на свои короткія ноги и угрожающе подступая къ Бурмакину,—гдѣ она у васъ, сталь-то, гдѣ? Сколько разъ говорилъ я и Петру Петровичу, и самому Монахову? Все завтра да завтра, а арестанты кого ругаютъ, съ кого спрашиваютъ? Съ меня! А я палецъ свой, что-ль, — черная васъ немочь возьми, — замѣсто стали отрѣжу, а? Нѣтъ, ты отвѣтъ мнѣ—а? Ты чего къ дверямъ-то пятишься? Я кузнецъ, такъ вы думаете, что я и не человекъ! Жили вы изъ меня вымотали, аспиды, вотъ что! Кровь всю изъ меня выпили, варвары, черная васъ немочь побори!

— И въ самъ-дѣлѣ, ребята, чего они надъ нимъ куражатся?—загадѣла сочувственно кобылка, въ обыкновенное время бывшая всегда на ножахъ съ Пальчиковымъ, интересы котораго, какъ кузнеца, шли въ разрѣзъ съ ея интересами, — не люди мы, что-ль? Буры не стоятъ, потому стали на нихъ вовсе нѣтъ, а урки съ насъ полнякомъ спрашиваютъ. Бураносъ то и дѣло въ кузницу бѣгаетъ; Иванъ Николаичъ вонъ замаялся ажъно вовсе, отказался, опять бурить сталь,—а толку никакого. Нѣтъ, говорятъ, стали, да куда жъ она дѣвается? Небось, нарядчику аль вамъ самимъ по хозяйству что понадобится, такъ живо сыщется!

— Ну, вотъ погодите, ребятунки,—вмѣшался въ разговоръ старикъ-сторожъ, — новый нарядчикъ на-дняхъ будетъ. Петру-то Петровичу совсѣмъ вѣдь отказано.

— Какъ такъ отказано? Что ты говоришь?

Старикъ прикусилъ, было, языкъ, но когда Бурмакинъ, помявшись еще немного у порога свѣтлички, выпелъ, онъ вдругъ выпалилъ:

— Изъ-за Ивана Миколаича отказано, вотъ что!..

— Изъ-за меня?!— съ изумленіемъ спросилъ я, подходя къ старику. — Это что же значить? Я, кажется, не только не ссорился ни съ Петромъ Петровичемъ, ни съ Монаховымъ, но даже и разговариваю-то съ ними мало.

Старикъ молча пожевалъ губами, какъ бы все еще не рѣшаясь всего говорить, но кобылка окружила его тѣсной толпой и начала тормозить.

— Коли началъ, горный духъ, такъ до конца ужъ сказывай! что тутъ у васъ дѣется?

— А то дѣется, что и мнѣ-то житія послѣднее время не стало. Я тоже виновать, вишь, выхожу, что вы въ свѣтличкѣ все околачиваетесь, чай распиваете да волюнку со мной трете, а не робите.

— Ну, а я-то причемъ же здѣсь, что изъ-за меня Петру Петровичу Монаховъ отказалъ.

— При томъ, что ты и половины урка никогда не вырабливаешь, а на тебя глядя, и прочіе ребята лодырничаютъ. А съ Монахова, видишь ты, спрось тоже есть, онъ отчеты представляетъ горному начальству. Вотъ у нихъ и шелъ съ Петромъ Петровичемъ споръ. Петруха говоритъ: ты съ нимъ говори самъ, а у меня языкъ не повернется, онъ еще плюху, поди, залѣпнись мнѣ! А Монаховъ ему на это: ты, молъ, нарядчикъ, ты и обязанъ выговаривать арестантамъ.

— Что же такое выговаривать? Что я десяти вершковъ не выбурываю?

— Ну, стало быть... Тоже прилѣниваешься, сказываютъ!

— Эхъ вы, разгильдѣво сѣмя! Вы съ человѣка-то двѣ шкуры снять готовы, асмодеи! Ну, а если силовъ у него нѣтъ, у Ивана-то Николаича, такъ что-жъ ему дѣлать по вашему? Голову себѣ объ камень разбить? Ироды!..

— Да вы чего на меня-то скрыжечете? Чего руками машете? Я рази начальство? Я говорю, что слышалъ... Съ вами грѣха еще наживешь, коли языкъ-то развяжешь.

— Не бойся ничего, старикъ. Ты въ сторонѣ будешь; я знаю, какъ поговорить съ Монаховымъ.

Я отошелъ въ сторону, искренно огорченный въ душѣ тѣмъ, что не подозрѣвалъ раньше этого закулиснаго недовольства собою,

и твердо рѣшили откровенно поговорить съ уставщикомъ. Кобылка еще галдѣла между собой, когда дверь вдругъ распахнулась и на порогѣ появилась толстопузая и краснолицая фигура самого Монахова. Разговоры смолкли, хотя арестанты, какъ всегда, продолжали держаться въ его присутствіи развязно, не снимая даже шапокъ и свободно расхаживая по свѣтличкѣ. Монаховъ, питавшій неудержимую страсть ко всякаго рода болтовнѣ и «волынкамъ», не внушалъ каторгѣ не только уваженія, но даже и страха къ себѣ и допускалъ порой самыя фамильярныя отношенія. Однако, сегодня онъ былъ надутъ и, видимо, недоволенъ мало почтительной встрѣчей; онъ даже остановился у порога съ нѣсколько властнымъ видомъ. Но черезъ минуту же сказалъ первый:

— Здравствуйте, ребята!

Немногіе отозвались ему. Тогда Монаховъ, ежась отъ холода и потирая руки, прошелъ въ уголокъ свѣтлички и молча усѣлся на лѣсенкѣ, которая вела въ верхній этажъ зданія — мастерскую плотниковъ. Но и здѣсь онъ не могъ долго хранить внушительнаго молчанія и, хихикая, началъ шутить надъ арестантами.

— Ты что это, Ногайцевъ, ровно будто худѣть сталъ? Плоха шелаяская баланда, что ли?

Ногайцевъ, обиженный, отошелъ прочь, ворча вслухъ:

— Ты бы, небось, пузо-то толстое тоже спустил!

Монаховъ закатился довольнымъ смѣхомъ.

— А ты, Пальчиковъ, стряпать ужъ собрался, фартукъ надѣлъ?

Пальчиковъ, внутренне кипѣвшій съ самаго утра, какъ водяной котелъ надъ жарко разгорѣвшейся плитой, вѣроятно, только и ждалъ этого обращенія къ себѣ. Онъ тотчасъ же подлетѣлъ къ Монахову, комично выставилъ впередъ колѣни и, волнуясь, захлебываясь и присѣдая, началъ изливать передъ нимъ всѣ свои обиды и претензіи. Монаховъ и на это попытался отвѣтить обычными шуточками и смѣшками.

— А вотъ, коли ты настоящій кузнецъ, такъ прихитрился бы пальцемъ буры наварить! Ха-ха-ха-ха-ха!

— Нѣтъ, вы все смѣетесь, Андрей Семенычъ, а я вамъ въ настоящій сурьезъ говорю: нѣту моей мочи больше! Назначайте другого кузнеца, а я больше не пойду, коли стали не выдадите.

— Бураносовъ хоть и не посылай,—загадѣли и бурильщики:— два раза ударишь по камню — и саль буръ, хоть верхомъ на немъ поѣзжай! А на насъ тоже, сказываютъ, сердаете, что мало выраблываемъ—

Монаховъ принялъ на минуту серьезный видъ.

— Потерпите, маленько, ребята. Не завтра, такъ послѣ завтра сталь, навѣрно, привезутъ изъ Алгачей. И нарядчикъ новый будетъ.

— Да что намъ нарядчикъ? Безъ стали и двухъ дней не продержаться; развѣ ежели урковъ не станете спрашивать?

— Какая у васъ кузница? — продолжалъ жаловаться Пальчиковъ: — въ другихъ рудникахъ у кузнеца всегда молотобоецъ есть. А я точно Богомъ проклятый, въ кои-то вѣки на день-другой помощника дадите... Я самъ и мѣходуй, и молотобоецъ, и мастеръ. Ни тебѣ наварить никто не пособить, ни желѣзо побить. Какая тутъ можетъ быть работа, черная ее немочь возьми! Нѣтъ, ужъ вы, Андрей Семеновичъ, бурить меня сегодня поплите, а на мое мѣсто другого кого-нибудь поставьте.

— Потерпи и ты, Пальчиковъ. Вотъ я уже и поощреніе скоро, можетъ быть, выдамъ.

Въ свѣтличкѣ моментально все стихло: такое магическое вліяніе имѣло всегда это слово — «почтленіе». Помедливъ еще немного изъ приличія, арестанты стали уходить на свои обычные работы. Ушелъ и кузнецъ. Монаховъ все продолжалъ сидѣть на своей лѣсенкѣ. Я подошелъ къ нему.

— Я слышалъ, Андрей Семеновичъ, что вы моей работой недовольны?

— Какъ это, то-есть, недоволенъ? — вспыхнулъ Монаховъ.

— Думаете, что я лѣнюсь, а если бы захотѣлъ, могъ бы больше выбуривать.

Монаховъ попробовалъ хихикнуть, но, увидавъ по выраженію моего лица, что я къ шуткамъ нерасположенъ, заговорилъ иначе:

— Это вамъ кто же насплетничалъ, уже не старикъ-ли?

— Нѣтъ, не старикъ.

— Ну, такъ значить, Петръ Петровичъ. Шельмецъ этакій! Вы не повѣрите, онъ мнѣ всѣ уши прожужжалъ тѣмъ, что, благодаря вашему примѣру, всѣ арестанты лѣнятся. А я ни разу ничего такого и не говорилъ... Впрочемъ, оно точно, я не знаю, какъ мнѣ быть, что писать въ отчетахъ...

— Это, конечно, ваше дѣло, что писать. Я могу сказать только, что если вы или вашъ нарядчикъ вздумаете когда-нибудь укорять меня въ лѣности или потребуете, чтобъ я выбуривалъ больше, то мнѣ останется одно: совсѣмъ отказаться отъ всякой работы, что бы тамъ изъ этого ни вышло!

— Ну, помилуйте, зачѣмъ же такъ... Да мы вотъ что сдѣлаемъ. Пальчиковъ жалуется постоянно на то, что у него молотобойца нѣтъ,—вы сами слышали. Правда, молотобойца въ нашемъ маленькомъ рудникѣ совсѣмъ не полагается, но все же я могу выставить его въ отчетѣ. Въ кузницѣ мнѣ удобнѣе васъ будетъ спрятать, нежели въ шахтѣ... Хи-хи-хи-хи!

— Можетъ быть, вамъ-то и будетъ удобнѣе, но что скажетъ Пальчиковъ, получивъ такого помощника? Для молотобойца нужна вѣдь сила.

— Какая тамъ сила! Буры-то навастривать? Чисто бабья работа. Просто мѣхούμεъ будете... Да вотъ пойдете къ Пальчикову—я ему представлю васъ. Хи-хи-хи!

Мы отправились въ кузницу,—я, не слишкомъ-то довольный новымъ своимъ назначеніемъ, Монаховъ, весело посмѣиваясь и покачивая толстымъ брюхомъ. Въ кузницѣ уже ревѣлъ мѣхъ. Пальчиковъ, однако, едва удостоилъ насъ взглядомъ, когда мы показались въ дверяхъ его владѣній, и только, захвативъ горсть углей, сердито подбросилъ ихъ въ пылающій горнъ. Лицо его все было выпачкано сажей и, озаренное пламенемъ, казалось прямо зловѣщимъ. Маленькая пичужка, въ тюрьмѣ вызывавшая со всѣхъ сторонъ однѣ насмѣшки, здѣсь, за своей работой, едва успѣвъ облачиться въ фартукъ и развести огонь, Пальчиковъ сразу какъ-то преображался и начиналъ внушать нѣкотораго рода почтеніе не только рабочимъ — арестантамъ (какъ-ни-какъ, зависѣвшимъ отъ него), но даже и нарядчику и самому уставщику. Онъ принималъ внезапно властный, въ высшей степени самостоятельный видъ и своей вѣчной раздраженностью, воркотней и ужасными проклятіями судьбѣ, Богу, начальству и самому себѣ невольно заставлялъ съеживаться и чувствовать себя въ чемъ-то передъ нимъ виноватыми всѣхъ, кто только приходилъ съ нимъ въ соприкосновеніе.

Прежде чѣмъ «представить» меня, Монаховъ попробовалъ, обращаясь ко мнѣ, пошутить насчетъ Пальчикова:

— Сколько вотъ ни было у меня кузнецовъ, всегда я замѣчалъ такую странность: какъ только войдутъ они утромъ въ кузницу, такъ прежде всего мазнуть себѣ подъ носомъ сажей... Знай, моль, крещенный людъ, кто я таковъ есть! Хи-хи-хи-хи!

Гробовое молчаніе было отвѣтомъ на этотъ смѣхъ; продолжалось только гудѣнье мѣха да трещанье угольевъ въ горнѣ. Мнѣ стало не по себѣ, и я конфузливо стоялъ возлѣ скамеечки, на которой сидѣлъ обыкновенно молотобоецъ, раздувавшій огонь.

— Ну, вотъ тебѣ, Пальчиковъ, молотобоецъ, — нерѣшительно объявилъ, наконецъ, Монаховъ, переминаясь съ ноги на ногу: — онъ ужъ постоянно теперь будетъ у тебя.

Не глядя ни на Монахова, ни на меня, Пальчиковъ разразился ужасными проклятіями.

— Какой тутъ можетъ быть законъ? Издохнуть бы мнѣ поскорѣе, въ тартарары провалиться со всѣми потрохами своими! Чтобъ тебя скарежило въ три погибели, черная немочь, тварь проклятушая!

— Да ты кого жъ это такъ ругаешь, братецъ? Ты бы потише немножко, — возвысилъ нѣсколько голосъ Монаховъ.

— А я развѣ васъ ругаю? не видите развѣ — уголь сырой ругаю, разгорѣться никакъ не можетъ, падло окаянное, черная немочь его возьми и меня вмѣстѣ съ нимъ! Язва тебя срази! Какого же вы мнѣ молотобойца даете, Андрей Семеновичъ? Нешто онъ можетъ по желѣзу, какъ слѣдовало, ударить али при сварки помочь оказать?

— Ну, всетаки, какъ - ни - какъ, ударить. Ты чего же такъ сразу - то? Ты посмотри прежде. Надо же куда - нибудь человѣку дѣться...

И Монаховъ ушелъ, оставивъ меня одного съ Пальчиковымъ. Я притворился въ высшей степени равнодушнымъ къ его несмолкавшимъ проклятіямъ Монахову, назначившему ему горе - молотобойца, и началъ оглядываться кругомъ. Много разъ уже бывалъ я въ этой кузницѣ, и въ качествѣ празднаго зрителя, и въ качествѣ нетерпѣливаго бурноса, но теперь она представилась мнѣ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, запечатлѣвая въ памяти всѣ свои мельчайшія подробности. Это былъ крошечный сарайчикъ, на живую руку сколоченный изъ какихъ-то старыхъ досокъ, весь въ огромныхъ щеляхъ, сквозь которыя дулъ холодный вѣтеръ и наметались кучи снѣгу. Мѣхъ тоже былъ старый, весь почернѣлый и точно съ неохотой скрипѣвшій и надувавшійся, когда его дергали за веревку. Горнъ («горно») былъ сложенъ изъ кирпичей на живую руку, а желѣзная трубка («фурмантъ»), чрезъ которую выходилъ изъ мѣха воздухъ, плохо замазанная въ печку, то и-дѣло выпадала вонъ и вызывала проклятія кузнеца. Такія же проклятія вызывала и наковальня, помящавшаяся на столбѣ, плохо врытомъ въ мерзлую землю, и ея такъ называемый «носъ», недостаточно длинный и удобный для разнаго рода кузнечныхъ подѣлокъ. Въ противоположномъ углу стояло корыто съ замерзшей водой, служившей для закалки стали. На землѣ валялась куча буровъ, которые слѣдовало отвастривать.



Я пристально въглядѣлся и въ лицо самого кузнеца, на котораго прежде не обращалъ почти никакого вниманія. Это былъ маленький, худенькій человѣчекъ съ задорно вздернутымъ носикомъ, желчными карими глазками, никогда не глядѣвшими вамъ прямо въ глаза, и тощей бородашкой, которою въ особо патетическихъ мѣстахъ рѣчи онъ потрясалъ съ самымъ комично-угрожающимъ видомъ. Замѣтивъ, что въ горнѣ заложенъ буръ, я началъ дергать мѣхъ за веревочку и раздувать огонь.

— Стой!.. — огрызнулся тотчасъ же Пальчиковъ, не глядя на меня: — желѣзо и такъ горитъ давно, а онъ дуетъ... О, чтобъ имъ подохнуть, аспидамъ, кровопивцамъ нашимъ!

Онъ выхватилъ изъ огня буръ и, чуть не сунувъ мнѣ въ ротъ прыскающее искрами желѣзо, положилъ на наковальню.

— Бей!..

Растерянню заматаившись туда и сюда, я выхватилъ изъ его же рукъ маленький кузнечный молотокъ и, что есть мочи, принялся колотить имъ по буру... Пальчиковъ плюнулъ, плеснулъ буръ о землю и, чуть не плача со злости, разразился страшными ругательствами, которыя я не могъ, положимъ, отнести прямо къ себѣ и принять за формальное оскорбленіе, но которыя, тѣмъ не менѣе—я чувствовалъ это — относились не къ кому другому. Я стоялъ растерянный, переконфуженный, совершенно недоумѣвающий, какое такое преступленіе я совершилъ.

— О, чтобъ черная немочь ихъ всѣхъ задавила! Потроха его вывались, пузо его толстое лопни! Душа изъ васъ всѣхъ вонъ!

— Чего же вы сердитесь, Пальчиковъ? Вѣдь я же не нарочно... я въ первый разъ... Потомъ, можетъ быть, привыкну, выучусь, — забормоталъ я виновато.

И тутъ только глаза мои упали на большой молотъ, лежавшій у самыхъ моихъ ногъ, и я вспомнилъ, что не разъ видалъ, какъ молотобойцы дѣйствовали именно этимъ молотомъ, тогда какъ маленький молотокъ, который я вырвалъ изъ рукъ Пальчикова, составлялъ всегда неотъемлемную собственность кузнеца; вспомнивъ это, я понялъ, что поступкомъ своимъ не столько испортилъ ему работу, сколько оскорбилъ цеховое его достоинство... Поднявъ молотъ, я попробовалъ было засмѣяться, но вышло еще хуже. Забористыя ругательства посыпались въ пространство новымъ, еще болѣе обильнымъ градомъ. Наконецъ, я не вытерпѣлъ и сдѣлалъ Пальчикову довольно рѣзкое замѣчаніе, прося быть сдержаннѣе на языкъ.

Тогда, присмирѣвъ немного и помолчавъ, онъ вдругъ нагнулся ко мнѣ, быстрымъ движеніемъ согнулъ колѣни, точно дѣлая реверансъ, и, въ первый разъ взглянувъ мнѣ въ глаза, заговорилъ съ дружескимъ довѣріемъ:

— А вы сами какъ полагаете, Иванъ Николаевичъ,—не стоятъ они того, челдоны желторотые, чтобъ имъ кишки вонъ выпустить? Галятса, изгнушаются надъ нашимъ братомъ, ровно мы и не люди!

— Чѣмъ же такимъ изгнушаются? Вѣдь мы въ каторгѣ—могло бы, пожалуй, и хуже намъ житься?

— Ну, извините, правовъ-то тѣхъ ужъ нѣтъ! Отошли разгильдѣвскія времена... А, по моему, лучше бы ужъ онъ меня поролъ и въ карецъ сажалъ, нежели смѣшочками своими глупыми донималъ да разными непорядками жилы выматывалъ. Кажинный разъ онъ все «настоящимъ кузнецомъ» меня въ рыло тычетъ, амбицію мою задѣваетъ, а самъ никакихъ данныхъ не даетъ мнѣ эту амбицію оправдать. Спросите-ка всякаго, кто на волѣ меня знаетъ: всякій вамъ скажетъ, что не послѣднимъ мастеромъ Пальчиковъ былъ! За мастерство-то свое я, можно сказать, и въ каторгу пришелъ, а здѣсь у нихъ ужъ самымъ послѣднимъ человѣкомъ сталъ. Говорять, что ужъ Пальчиковъ и бура отбострить не умѣетъ! Да дьяволъ ихъ заѣвшъ, холера ихъ возьми, найдется-ль во всей тюрьмѣ кто другой, кто въ закалкѣ такой смыслъ имѣетъ, какъ я? Водянить? Ну, ужъ нѣтъ-съ! рыломъ Водянинъ-то вашъ супротивъ меня не вышелъ. Я захочу—до сотни сортовъ разныхъ закаловъ вамъ предоставлю!

— Какъ это, говорите вы, кузнечное мастерство въ каторгу васъ привело?

— А такъ, что я самому генералу Завьялову куражиться надъ собой не могъ позволить и чуть брюха ему не распоролъ, вотъ что.

— Вы, значитъ, солдатомъ были?

На этотъ вопросъ Пальчиковъ не отвѣтилъ. Арестанты, служившіе до каторги солдатами («духами»), вообще почему-то стыдятся своего прошлаго и не любятъ о немъ заговаривать; къ тому же въ Пальчиковѣ успѣлъ остыть порывъ дружественности ко мнѣ и готовности откровенничать. Онъ опять разогрѣвалъ буръ и сердито приказывалъ мнѣ дуть мѣхомъ. Я повиновался. Мѣхъ опять загудѣлъ, и разговоръ по неволѣ прекратился. На этотъ разъ, когда дошла очередь до работы молотомъ, я схватилъ молотъ стоящій, но за то такъ усердно колотилъ имъ по буру, не смотря

на всѣ сигнальные стукі Пальчикова по наковальнѣ (сказать слово «стой!» онъ, должно быть, считалъ для себя униженіемъ), что буръ превратился, наконецъ, въ лепешку. Пальчиковъ ограничился, впрочемъ, на этотъ разъ тѣмъ, что съ сердцемъ плюнулъ и снова положилъ испорченный буръ въ огонь; но я почувствовалъ отъ этого гораздо большій стыдъ, чѣмъ если бы онъ выразилъ свой гнѣвъ крѣпкими русскими словами. Къ концу перваго же дня работы въ кузницѣ Пальчиковъ сдѣлался для меня чистымъ страшилищемъ; отъ малѣйшаго окрика его я вздрагивалъ и терялся... И много дней понадобилось для того, чтобъ я пересталъ такъ близко принимать къ сердцу эту постоянно кнѣвшую въ моемъ властителѣ злобу!

Гудить и реветъ мѣхъ подъ моими отчаянными усиліями, то отрывисто стучая и тѣмъ вызывая косые, сердитые взгляды въ мою сторону Пальчикова, не устающаго подбрасывать въ горнъ сырые уголья, то глухо сопя ровными, волнообразными дыханіями, дыханіями какого-то сказочнаго чудища, которое вотъ-вотъ проснется и розинетъ голодную пасть. Руки, дергающія веревочку мѣха, начинаютъ нѣмѣть отъ усталости; спина тоже страшно устала дѣлать легкіе поклоны при каждомъ взмахѣ руки; глаза утомились глядѣть въ пылающій горнъ, мозгъ одурѣлъ отъ скучныхъ, монотонныхъ мыслей, мыслей, скорѣе похожихъ на какіе-то сѣрые, безсвязные сны,—и страшно хочется уснуть, расправить окоченѣлые, усталые члены, закрыть глаза, погрузиться въ тьму и забвеніе.

— Дуй!.. — раздается окликъ Пальчикова, и набѣгающій сонъ живо соскакиваетъ; глаза испуганно раскрываются, и рука начинаетъ энергично дергать веревку.

Угли уже разгорѣлись. Горнъ пылаетъ до того ярко, что нѣтъ мочи долго глядѣть въ него. Огненный столбъ искръ взвивается кверху, улетаая въ отверстіе крыши, замѣняющее трубу. Какое несчетное множество этихъ свѣтящихся точекъ! Тысячи, міриады ихъ кружатся, вертятся, несутся безумно-бѣшенымъ галопомъ. Вотъ съ шумомъ и свистомъ вырвался одинъ ослѣпительно-яркій сноплъ искръ, протанцовалъ съ необыкновенной быстротой какой-то фантастическій танецъ и умчался вверхъ, а снизу его догоняетъ уже другой, еще болѣе яркій и веселый рой за нимъ еще и еще, и вотъ цѣлый рядъ ихъ слился на мигъ въ одинъ большой потокъ синерозоваго пламени и въ яростномъ веселіи помчался къ огромному, морозному небу, чтобы тотчасъ же погаснуть тамъ, оставивъ

постѣ себя лишь копотѣ и дымѣ. Глаза болятъ, но не въ силахъ оторваться отъ огненнаго зрѣлища, и эти искры кажутся мнѣ уже не простыми мертвыми искрами, выскакивающими изъ горящей печки, а живыми, сознательными существами: оттого-то такъ жадно цѣпляются они другъ за друга, оттого-то такъ бѣшено ихъ веселье, такъ оживленна безумная пляска! Вѣдь все живое радуется жизни, и пусть коротка, какъ мгновеніе, эта жизнь — они возьмутъ съ нея свою долю счастья и потомъ умрутъ безъ гнѣва и жалобы! О, выходите же, выходите, новыя мірады маленькихъ, свѣтлыхъ гномовъ, веселитесь, глотайте полнымъ глоткомъ ваше радостное мгновеніе! Какое вамъ дѣло до того, что нѣтъ видимой цѣли въ этомъ вѣчномъ разрушеніи и возрожденіи однихъ и тѣхъ же формъ — вѣдь жизнь существуетъ для жизни! Да, я уже явственно различаю особыя отличныя черты у каждого изъ этихъ миллионныхъ крошечныхъ, живыхъ духовъ: одни изъ нихъ мчатся, лучезарные, жизнерадостные, какъ майскіе эльфы, сотканые изъ эфира и золота, другіе, напротивъ, грустные, скорбно поникшіе, съ безсильно опущенными крыльями, блѣдные, словно до срока жаждущіе погаснуть и погрузиться въ нирвану... Зачѣмъ горѣть? Не все ли равно — одно или два мгновенія?...

— Стой! Бей! отсѣкай!

И Пальчиковъ вынимаетъ изъ огня длинную, до-бѣла раскаленную полосу стали, изъ которой такъ и брызжутъ во всѣ стороны огненные стрѣлы. Онѣ, того и гляди, попадутъ въ глазъ, и я инстинктивно пытаюсь закрыть лицо рукавицей; однако страхъ передъ грознымъ Пальчиковымъ превозмогаетъ это шкурное опасеніе, и я, схвативъ поспѣшно свой молотъ, начинаю колотить имъ со всего плеча по наковальнѣ.

— Скорѣе, скорѣе бей, варъ пропустишь!.. Охъ, черная немочь, пропустилъ, остыла... Изверги они, аспиды проклятые, за что они душу изъ меня вымотать хотятъ, какого молотобойца мнѣ подрадѣли? Лопните шары мои, утроба изъ меня вывались! Черная немочь, язва сибирская похватай васъ всѣхъ!

Но опасенія кузнеца оказались на этотъ разъ напрасными: «варъ» захваченъ во время, и мои отчаянные удары молотомъ по «зубилу» достигаютъ своей цѣли; отъ большого куска стали отсѣкается меньшій кусокъ, который тотчасъ же опять опускается въ горнъ, большой же отломокъ, при безпрестанныхъ подозрительныхъ оглядкахъ на дверь кузницы, проворно засовывается рукой

Пальчикова въ холодную воду съ боку горна. Тутъ только я спрашиваю себя съ недоумѣніемъ: откуда же взялась эта сталь, когда еще недавно жаловались на ея отсутствіе? Между тѣмъ, разогрѣтый кусокъ опять вынимается изъ огня и, къ моему удивленію, подъ искуснымъ молоткомъ кузнеца превращается постепенно въ маленькую подковку изъ тѣхъ, какія носятъ на сапогахъ щеголи-солдаты. Я догадываюсь, въ чемъ дѣло. Въ кузницѣ появляется вскорѣ и самъ будущій обладатель подковокъ, усатый урядникъ, старшій конвоя.

— Ну, что, готово? Молодецъ, паря, славно сробилъ. Ну, я тебѣ послѣ заплачу, у меня теперь нѣтъ... Вчерась послѣднія Любкѣ отдалъ.

— А сколько пропало ужъ у меня за вашимъ братомъ, — недовольно ворчитъ Пальчиковъ: — Бурцеву вонъ сколько я дѣлалъ. Корецкому опять — и чтобы шишъ какой получилъ! А тутъ еще уставщикъ, глядишь, поймаетъ, натерпишься изъ-за васъ... Скажутъ, мы съ Иваномъ Николаичемъ воры!

— Ну, не безпокойся, братъ, за мной-то не пропадетъ.

И прежде чѣмъ я успѣваю опомниться, урядникъ уходитъ, опустивъ подковки въ карманъ. Но тутъ я принимаю очень свирѣпый видъ и говорю Пальчикову:

— Вы какъ же это такъ сказали: «Мы съ Иваномъ Николаичемъ воры»? Вѣдь вы-же хорошо знаете, что я здѣсь не причемъ?

Пальчиковъ, безъ всякой видимой нужды, усиленно разгребаетъ желѣзной лопаточкой уголья въ горнѣ.

— Чего я сказалъ? Какое тутъ можетъ быть воровство? Работаешь, работаешь, какъ дохлая кляча, и не могъ огрызочекъ стали взять? Чтобы ихъ черная немочь всѣхъ побрала! Велика, подумаешь, корысть. Вы видѣли — много съ нихъ возьмешь, съ духовъ проклятущихъ.

— Велика-ль, не велика-ль корысть, а только меня путать въ это дѣло не смѣйте!

— Не смѣйте... Что-жъ, доказывать, что-ль, на меня станете? Гдѣ это видано, чтобъ на своего брата-арестанта доказывали? И какіе еще люди, нашей ли пшанѣ чета!

— Доказывать я, конечно, не стану, вздора вы не говорите, а только повторяю: меня больше не смѣйте путать. Я рѣшительно ничего не вижу и не знаю, такъ и помните. Казенную-ли, другую-ль какую работу вы дѣлаете — мнѣ дѣла нѣтъ. Слышите?

— Дуй!

Я вижу заложеннымъ въ горнѣ маленькій буръ и принимаюсь опять за несомнѣнно уже казенную работу.

Положеніе дѣлъ послѣ этой маленькой ссоры не измѣнилось, впрочемъ, ни на іоту. Пальчиковъ продолжалъ на моихъ глазахъ красть и самымъ нахальнымъ образомъ врать уставнику и товарищамъ-арестантамъ. Я стоялъ въ сторонѣ и дѣлалъ видъ, что ничего не вижу и не знаю; но легко что-нибудь хотѣть, и не такъ-то легко исполнить на дѣлѣ. Когда бывало Пальчиковъ при мнѣ клялся и божился всѣми богами, что сталь у него вышла вся до послѣдней крошки, а уставникъ или нарядчикъ называли его и шутя, и серьезно, воромъ и обманщикомъ, мнѣ становилось каждый разъ не по себѣ, точно и самъ я былъ безмолвнымъ соучастникомъ его лжи и воровства, и именно это обстоятельство было самой непріятной для меня стороною работы въ кузницѣ. Тѣмъ болѣе, что по мягкости характера я не напоминалъ больше Пальчикову о своемъ сдѣланномъ разѣ, въ порывѣ гнѣва, заявленіи, а онъ, казалось, вскорѣ забылъ о немъ; по крайней мѣрѣ, развязность его доходила до того, что, стоя во время работы спиной къ двери, онъ нерѣдко говорилъ, обращаясь ко мнѣ:

— Поглядите-ка, Иванъ Николаичъ, въ щелку, какъ бы кто не вошелъ ненарокомъ.

И, точно загипнотизированный этой развязной дерзостью, я молчалъ и покорно глядѣлъ въ щелку...

Появившійся вскорѣ новый нарядчикъ былъ, впрочемъ, въ достаточной мѣрѣ неглупый человѣкъ, чтобы не подозрѣвать меня въ соучастіи въ кражахъ кузнеца. Это былъ тотъ самый надзиратель Пѣтушковъ, на котораго Безыменныхъ сочинилъ нѣкогда убійственную эпиграмму:

Какъ скелетъ, сухой, лыдащій,  
Онъ поетъ, поетъ безъ словъ,  
И прозванье подходяще,  
Лаконично: Пѣтушковъ!

Пѣтушковъ былъ грамотный, довольно по своему начитанный и, главное, слишкомъ амбиціозный человѣкъ для того, чтобы могъ долго ужиться подъ началомъ такого деспота, какъ Лучезаровъ, и едва только открылась вакансія горнаго нарядчика; какъ онъ промѣнялъ на нее мѣсто надзирателя и теперь ужасно либеральничалъ по адресу тюремной администраціи.

— Ну, какъ изволите поживать, Прокопій Филипповичъ? — иронически обращался онъ къ нашему старинному знакомцу, своему недавнему сотоварищу, приводившему арестантовъ въ свѣтличку: — Много-ль новыхъ карандашей и иголокъ нашли въ тюрьмѣ? Каково васъ начальникъ прохватываетъ?

Блѣдное, бритое лицо Прокофія Филипповича взглядывало на Пѣтушкова строгими, сѣрыми глазами, и ни одинъ мускулъ не вздрагивалъ усмѣшкой.

— Мы живемъ по инструкціи, — сухо и кратко возражалъ онъ: — мы поступаемъ, какъ велитъ законъ.

— Ха-ха-ха-ха! — закатывался Пѣтушковъ: — и это тебѣ законъ тоже велитъ, халудора тебя заѣшь, подъ козырекъ дѣлать и тянуться, когда онъ ни за что, ни про что ногами на тебя топочетъ?

— А ты развѣ въ военной службѣ не служилъ?

— Такъ то, чудакъ ты этакій, служба отечеству, долгъ гражданина; а теперь ты вѣдь за деньги служишь?

— Ты самъ служилъ.

— Служилъ да и ушелъ. Нѣтъ, ужъ я топать на себя ногами не позволю! Я человѣкъ, братъ, самостоятельный!

Прокофій Филиппычъ или «Проня», какъ называли его промежъ себя арестанты, недовольный, отходилъ прочь, а глядѣвшій побѣдителемъ Пѣтушковъ лукаво кивалъ на него въ сторону сочувственно улыбавшейся ему кобылки. Видимо, онъ всѣми силами стремился установить съ послѣдней добрыя отношенія, а со мной прямо-таки заигрывалъ. Когда всѣ арестанты расходились по своимъ работамъ, онъ заглядывалъ въ кузницу и тамъ цѣлыми часами болталъ со мной о всевозможныхъ, пустыхъ и важныхъ, матеріяхъ.

— О, да тутъ стужено, халудора! — наконецъ не выдерживалъ онъ: — Пальчиковъ одинъ управится, подите-ка, Иванъ Николаичъ, въ свѣтличку, а чтой-то скажу вамъ.

— Потомъ, можетъ быть, скажете, если неважное.

— Нѣтъ, очень сурьезное.

Я шелъ за нимъ въ свѣтличку. Усѣвшись тамъ на баулѣ и усадивъ меня рядомъ, особенно если у печки не грѣлось никого изъ конвойныхъ (старика-сторожа онъ не стѣснялся), Пѣтушковъ начиналъ таинственнымъ голосомъ, переходя на дружеское «ты»:

— И охота-же тебѣ, Николаичъ, жить въ такой участи! Одинъ вѣдь этотъ Проня, живая смерть, чего стоять; вида его выносить не могу! Да и другіе надзиратели тоже хороши. Ну, а началь-

никъ опять? А арестанты? Ну, развѣ тутъ мѣсто такой головѣ, какъ твоя? Тебѣ-бъ сидѣть гдѣ-нибудь книжки писать, аль, можетъ, въ самомъ Питенбургѣ въ большихъ чиновникахъ служить, а ты... какому-нибудь теперь Пальчикову, халудорѣ, долженъ мѣхомъ дуть!

— А что-жъ дѣлать? Взялся за гужъ...

— Нѣтъ, я бы зналъ, что сдѣлать.

— Бѣжать, что-ли? Да вѣдь вы не можете, Ильичъ?

— Ну, зачѣмъ бѣжать!—нахмурился Ильичъ:—нѣтъ, а вотъ—прошеніе подать! Я-бъ, на твоёмъ мѣстѣ, каждый день двадцать прошеніевъ писалъ, и ужъ которое бы нибудь непременно вывезло... Ужъ такъ и быть, скажу тебѣ: я отъ самого Лучезарова слышалъ, что начальство того только и ждетъ, чтобъ ты пропадады просить зачалъ... И часто мы, надзиратели, промежъ себя говорили: да вѣдь самому чорту можно, кажись, поклониться, лишь бы только на волю выйти! Ну, убудетъ тебя, что-ли?... А Лучезаровъ про тебя говорить: это—скала, говорить, а не человѣкъ.

Я смѣялся надъ этими наивными разсужденіями и, въ заключеніе бесѣды, говорилъ Пѣтушкову:

— А знаете что, Ильичъ, вѣдь скала-то ѣсть хочетъ. Не пора ли чай варить да рабочихъ скликать?

— Что-жъ, кличте, пожалуй,—сухо отзывался Пѣтушковъ, недовольный тѣмъ, что я уклонился отъ разговора съ нимъ по душѣ.

Тайкомъ отъ арестантовъ и даже отъ старика онъ предлагалъ мнѣ нерѣдко участвовать въ своихъ собственныхъ завтракахъ, которые приносили ему жена или дочь, и которые состояли изъ шанегъ съ творогомъ или сибирскихъ колобѣвъ, и очень каждый разъ огорчался, когда я наотрѣвъ, бывало, отказывался отъ этихъ роскошныхъ яствъ. Вообще, признаюсь, я никогда не могъ уразумѣть настоящаго смысла всѣхъ этихъ дружескихъ подходовъ ко мнѣ Пѣтушкова, принимавшихъ иногда прямо сантиментальный характеръ; временами я самъ чувствовалъ къ этому человѣку глубокую симпатію и полное довѣріе, временами-же подозрительно настроенный, готовъ былъ считать его не больше, какъ хитрымъ политиканомъ, не имѣющимъ за душой ничего, кромѣ личныхъ честолюбивыхъ цѣлей и интересовъ. Такъ, при всемъ своемъ словесномъ либерализмѣ, на дѣлѣ онъ былъ изряднымъ трусомъ, и какъ ни просили его арестанты—съ своей стороны не препятствовать имъ покупать у свѣтличнаго старика, тайкомъ отъ надзирателя, вольную пищу, пирожки, картошку и пр., онъ очень рѣдко, и то съ большей неохотой, глядѣлъ



на эти запретные завтраки сквозь пальцы, за кулисами пугая старика отказомъ отъ мѣста.

— Ребята, да неужто-жъ бы я прекословилъ, кабы моя власть была? — душевнымъ, дружескимъ тономъ говорилъ онъ кобылкѣ: — какой можетъ быть вредъ отъ пищи? Для чего морить людей на постной баландѣ? А только подумайте сами: ну, вдругъ донесется?... Изъ вашего же брата найдутся такіе... И мнѣ, и вамъ самимъ что хорошаго тогда будетъ?

— Да ужъ объ насъ-то ты не безпокойся, Ильичъ. Нѣтъ, просто сказать, потрухиваешь ты, и все вѣдь по-пустому, потому это дѣло надзирателя за нами слѣдить, а никакъ не твое.

— Неладно вы судите, ребята. Сами знаете, какъ ненавидятъ меня надзиратели... Одинъ этотъ Проня, живая смерть, чисто съѣсть меня готовъ, халѹдора его побери! Сейчасъ скажутъ, что я потакаю вамъ. Ну, смѣнять меня, другого нарядчика постановятъ, — вамъ развѣ лучше станеть? Сами видите, что у меня душа есть, что я во всемъ готовъ уважить, гдѣ только можно. Надо только опаску за- всегда имѣть.

Той-же политики держался онъ и въ вопросѣ о работѣ, добромъ и лаской убѣждая арестантовъ, ради его душевныхъ качествъ, работать побольше и получше...

Была суббота, холодный, ненастный день того-же марта мѣсяца. Пронизывающій вѣтеръ дулъ во всѣ щели нашей убогой кузницы, бросая въ лицо снѣжную пыль, а надъ порогомъ наметая цѣлые сугробы снѣга. Мѣхъ гудѣлъ съ какимъ-то особенно злобнымъ шумомъ, изрыгая изъ пылающаго горна столбы бѣшено пляшущихъ искръ; не хуже его изрыгалъ Пальчиковъ потоки своихъ обычныхъ проклятій, а я, съжившись подъ холодной арестантской шубой, молчаливый и ко всему на свѣтѣ безучастный, не уставалъ кланяться и дуть мѣхомъ. Ноги нестерпимо зябли, и мнѣ казалось въ такіе часы, что начинаетъ застывать и самый мозгъ, что я превращаюсь постепенно въ глыбу бездушнаго камня, вѣками лежащаго на одномъ мѣстѣ безъ цѣли, безъ думъ и желаній... Въ этотъ день я былъ почему-то особенно мрачно настроенъ и не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на то, что Пѣтушковъ уже нѣсколько разъ подозрительно вертѣлся возлѣ меня, точно желая сообщить что-то и въ то же время колеблясь. Наконецъ, когда Пальчиковъ, взявъ корзину, вышелъ за дверь кузницы, чтобы принести новый запасъ углей, онъ быстро нагнулся ко мнѣ и прошепталъ:

— Сегодня!

Я равнодушно посмотрѣлъ на него.

— Говорю, сегодня...

— Что такое?...

— Прибудутъ.

— Кто прибудеть?

— Да будто не знаешь? Двое... товарищевъ тебѣ... Одинъ, ска-  
зываютъ, дохтуръ, такой-моль дохтуръ, что у насъ въ Сибири и  
не видали такихъ. А самъ вовсе еще молодой. Вотъ не могу толь-  
ко припомнить, чьихъ онъ, халудора его возьми... фамилія-то труд-  
ная, не русская... Ну, вспомнилъ, вспомнилъ: Штенгоръ! А другой—  
Башуровъ. Не знаю, кѣмъ этотъ былъ, а только, надо быть, тоже  
изъ большихъ дворянъ, въ ниверситетѣ служилъ. Ну, да, словомъ  
сказать, не нашей кобылкѣ чета, а прямо говорю — товарищи тебѣ.  
И какъ только, скажи ты мнѣ, пожалуйста, этакій народъ въ ка-  
торгу попадаетъ? Ахъ, чтобъ васъ явило!

— Да вы правду говорите, Ильичъ?

— Ну, вотъ еще вратъ стану!

У меня перехватило дыханіе... Ослѣпительный свѣтъ блеснулъ  
въ кромѣшномъ мракѣ—и въ тотъ же мигъ погасъ. Едва не упавъ  
въ обморокъ, я съ трудомъ удержался на ногахъ и присѣлъ на  
скамеечку.

Пальчиковъ вернулся съ полной корзиной углей. Пѣтушковъ  
безпокойно заметался по кузницѣ, видя, какое сильное впечатлѣніе  
произвелъ на меня своимъ сообщеніемъ. Изъ-за спины кузнеца онъ  
пристально глядѣлъ на меня и дѣлалъ умоляющіе жесты. Я понялъ,  
что онъ проситъ меня держать новость въ строгомъ секретѣ и, тихо  
улыбнувшись, кивнулъ ему головой въ знакъ согласія.

— Ахъ, халудора!..—излилъ онъ свои чувства въ любимомъ сло-  
вечкѣ и поспѣшно удалился въ свѣтличку.

Неописуемое волненіе, между тѣмъ, овладѣло мною. Я считалъ  
часы, минуты, когда должны были окончиться горныя работы, и  
то-и-дѣло забѣгалъ въ свѣтличку посмотрѣть, не вернулись ли ра-  
бочіе изъ шахтъ; Пѣтушковъ.. старался при этомъ не глядѣть на  
меня и велъ о чемъ-то оживленную бесѣду съ казаками. Очевидно,  
онъ трусилъ и порядкомъ раскаивался въ томъ, что сболтнулъ мнѣ  
великую тюремную тайну... Я чувствовалъ, какъ у меня дрожали  
колѣни, и пріятный ознобъ пробѣгалъ по всему тѣлу, когда аре-  
станты, наконецъ, выстроились и, по обыкновенію, очерта голову

понеслись по направленію къ тюрьмѣ. Я всегда внутренно сердился на эту торопливость, но сегодня мнѣ казалось, что мы бѣжимъ все еще недостаточно быстро. Скоро мнѣ стало жарко, и я растегнулъ шубу. И застывшій мозгъ началъ оттаивать, — свѣтлыя, бодрыя мысли наполнили его, точно горячіе лучи выпешаго изъ ночного тумана солнца; недавно еще я чувствовалъ себя почти старикомъ, безсильнымъ и жалкимъ калѣкой, а теперь былъ опять молодымъ и сильнымъ, опять хотѣлъ жить, надѣяться, вѣрить... И снова я любилъ горячо міръ, въ которомъ всего нѣсколько часовъ назадъ видѣлъ одну лишь безцѣльную и бессмысленную сутолоку явленій, любилъ жизнь и людей, которыхъ недавно еще презиралъ, какъ жалкихъ, цѣпляющихся за свое жалкое существованіе, смѣшныхъ маріонетокъ!

— Еще поживемъ, еще поборемся съ судьбой!...—шепталъ я про себя, все ускоряя шаги и почти наступая на ноги шедшихъ впереди конвойныхъ:—теперь-то легче будетъ жить... съ товарищами!

## II.

### Желанные гости.

Когда горная партія подошла къ тюрьмѣ, отъ вниманія ея не ускользнуло, что среди стоящихъ у воротъ казаковъ есть два-три новыхъ, «нездѣшнихъ» лица, и что въ караульномъ домѣ также происходитъ какое-то движеніе.

— Братцы, а вѣдь партія, надо быть, пришла?

— Да вонъ, смотрите, и подвода стоитъ! Ну, стало-же, и партія—полтора человѣка съ ребромъ... Обыскиваютъ.

Самые зоркіе, умѣвшіе не только черезъ окно, а даже, какъ говорила кобылка, сквозь штыкъ видѣть, узнали тотчасъ же и всѣ подробности обыска.

— Двое!.. Молодой и старый... Молодой—бѣлый, старый—чернявый... Ну, и вещей же, вещей, братцы мои, разбираютъ—разобрать не могутъ. Надо думать, не изъ простыхъ, потому и одежда господская. Смотрите-ка, смотрите, часы золотые съ одного снимаютъ... Они думали, молодчики, что, какъ въ другой тюрьмѣ, все въ камеру пропустятъ, въ вольной одеждѣ ходить дозволятъ... Нѣтъ, шалишь! Шестиглазый всѣхъ уравниаетъ! Поживите-ка на шалайской баландѣ, а вещи въ чихаусъ пожалуйте!

— Ребята, да у нихъ книги!.. Это ужъ не Миколаичу-ль товарищи будутъ? Вотъ славно-то! Можетъ, опять Чичикова привезли?

Такими замѣчаніями перебрасывались между собой вслухъ арестанты, пока надзиратель обыскивалъ ихъ подлѣ окна караульнаго помѣщенія, гдѣ происходила пріемка новичковъ. Но любопытство шпанки не было слишкомъ напряжено, и какъ только ворота растворились, она, какъ дождь, посыпалась по камерамъ, торопясь обѣдать. Я остался одинъ у воротъ. Затворявшій ихъ надзиратель ослабилъ.

— Чего ждете?

— Кто принимаетъ новичковъ?

— Какихъ новичковъ?

— Ну, чего же хитрить? Все равно сейчасъ самъ узнаю. Начальника нѣтъ?

— Нѣтъ, только старшій одинъ. Сію минуту выйдутъ.

И точно, нѣсколько минутъ спустя, изъ караульнаго дома вышла пѣлая толпа людей, и въ воротахъ тюрьмы появились двѣ фигуры новичковъ-арестантовъ. Я бросился къ нимъ со словами привѣта... Но, къ моему удивленію, старшій надзиратель, онъ же и экономъ, всегда красный, какъ кирпичъ, смѣшно шепелявящій толстякъ, тотчасъ всталъ между нами и громко запротестовалъ:

— Нельзя, есте нельзя! Нацальникъ сейтасъ плидеть, намъ наголить!

Его поддержали другіе надзиратели, тоже поднявшіе крикъ. Я по неволѣ ретировался. Новички осматривались вокругъ съ растерянностью и недоумѣніемъ. Грубая форма обыска, очевидно, уже произвела на нихъ свое дѣйствіе, и оба глядѣли затравленными волками; жалкій, комичный видъ придавала имъ и только что надѣтая, мѣшкoвато сидѣвшая арестантская одежда. Я съ жадностью вглядывался въ лица, отыскивая въ нихъ интеллигентныя, симпатичныя черты... Кобылка не ошиблась: одинъ, совсѣмъ еще юноша, былъ блондинъ, другой, значительно старше, брюнетъ. Блондинъ показался мнѣ коренастымъ и широкоплечимъ; у него было безусое, моложаво-розовое лицо съ большими, полными доброты глазами; онъ былъ взволнованъ и крайне смущенъ первыми шелайскими впечатлѣніями... Его товарищъ, высокій, худощавый мужчина съ шелковистой черной бородою, напротивъ, скорѣе былъ раздраженъ; темные глаза его сердито глядѣли изъ-подъ густыхъ, почти сросшихся у переносья бровей; онъ и на меня тоже смотрѣлъ съ недоумѣніемъ и ни разу не улыбнулся...

— Ну, этотъ со мной не сойдется, пожалуй,—невольнo подумалъ я съ грустью:—онъ-то, должно быть, и есть докторъ. Молодой, кажется, проще и общительнѣе...

Когда надзиратели взопли съ арестантами на крыльцо тюрьмы передъ главнымъ корридoромъ, молодой человѣкъ обернулся въ мою сторону (я шелъ сзади, въ нѣкоторомъ отдаленіи) и послалъ мнѣ рукой воздушный поцѣлуй; но товарищъ его даже не оглянулся, весь погруженный въ свои мысли. Затѣмъ оба скрылись въ дежурной комнатѣ, гдѣ ихъ заперли въ ожиданіи прихода Лучезарова. Когда надзиратели послѣ этого удалились, я подбѣжалъ къ замкнутой двери, и тутъ между мной и заключенными произошелъ торопливый, отрывочный, но оживленный обмѣнъ вопросовъ:

— Какъ ваша фамилія?—послышался суровый голосъ, очевидно старшаго изъ новичковъ.

Я назвалъ себя.

— Какъ! вы-то и есть Иванъ Николаевичъ? Это правда?

— Почему вы такъ удивляетесь?—засмѣялся я:—или я до того опшанѣлъ уже по виду за эти годы?

— Нѣтъ, я сейчасъ же догадался, что это, должно быть, вы,—отвѣчалъ молодой голосъ.

— А мнѣ даже и въ голову не пришло,—сказалъ первый:—я почему-то думалъ, что васъ здѣсь нѣтъ, и мы будемъ совершенно одинокими.

— Ахъ, вотъ почему вы показались мнѣ такимъ страшнымъ и непривѣтливымъ!

— Развѣ? О, на дѣлѣ я нисколько не страшенъ и скорѣе даже болтливъ. Но, знаете, ваша тюрьма нагоняетъ ужасъ!

— Погодите, вѣдь это еще начало только...

— Лучезаровъ, говорятъ, звѣрюга?

— Господа, а вѣдь я-то вашихъ фамилій еще не знаю?

— Сдѣлайте одолженіе: я — Штейнгартъ, Дмитрій Петровичъ Штейнгартъ, студентъ-медикъ IV курса.

— А я Валерьянъ Михайловичъ Башуровъ, юристъ-первокурсникъ.

— Вы, повидимому, очень еще молоды?

— Да, конечно... Двадцать три года...

— Да и васъ, Дмитрій Петровичъ, кобылка напрасно, кажется, старикомъ окрестила?

— Развѣ уже окрестила? Впрочемъ, что-жъ, мнѣ 28 лѣтъ, и кое-гдѣ есть уже сѣдые волосы...

Мы перебросились затѣмъ нѣсколькими фразами о дѣлахъ, за которые очутились въ Шелаѣ, и опять перескочили къ данному положенію вещей. Лихорадочно-быстрые вопросы такъ и перебивали одинъ другой.

— Какъ тутъ живетъ вообще? Очень ли скверно?

— Что здѣсь всего страшнѣе? Шапочный вопросъ?

— Ага, вы ужъ слышали!

— Какія у васъ отношенія съ арестантами?

— И съ начальствомъ?

— Постойте, господа, на столько вопросовъ сразу невозможно отвѣтить.

— Вы не отвѣтили: точно ли такая звѣрюга Лучезаровъ, какъ про него говорятъ?

— Бываетъ, конечно, и звѣрюгой, но бываетъ и человѣкомъ: смотря, какъ и когда.

— Какъ вы посоветуете намъ держаться съ нимъ?

— Можно ли тутъ вообще жить?

— Какъ видите, я жилъ... А теперь, съ вашимъ прибытіемъ, и подавно стану жить!

— А нельзя ли съ вами въ одну камеру попасть?

— Вотъ славно бы было!

— Не знаю, можно ли... Впрочемъ, если Лучезаровъ будетъ съ вами любезенъ,—попросите его объ этомъ.

— Будетъ ли онъ съ нами на «ты»? Мы хотимъ въ такомъ случаѣ отвѣчать ему молчаніемъ. Вы какъ думаете?

Но, прежде чѣмъ я успѣлъ сообщить свои мысли объ этомъ предметѣ, на дворѣ раздался пронзительный, тревожный свистокъ, возвѣщавшій о вступленіи въ тюрьму начальника, и я поспѣшилъ удалиться въ свою камеру. Однако, волненіе мое было такъ сильно, что я не могъ ѣсть и оставилъ обѣдъ нетронутымъ. Пріемъ кончился скорѣе, чѣмъ я ожидалъ, и новый свистъ возвѣстилъ объ удаленіи Шестиглазаго. Тогда я бросился опять въ корридоръ и увидалъ уже идущими мнѣ навстрѣчу Штейнгарта и Башурова съ мѣшками казенныхъ вещей въ рукахъ. Здѣсь мы впервые обнялись и расцѣловались... Высыпавшая изъ камеръ шпанка съ любопытствомъ и сочувствіемъ наблюдала эту сцену.

— Ну, какъ и что? Въ какія камеры назначены?

— Представьте, Лучезаровъ былъ необыкновенно любезенъ, джентльменъ да и только! Произнесъ маленькую рѣчь въ похвалу

своей гуманности и тюремной опытности и совѣтовалъ намъ одно: терпѣть, терпѣть и терпѣть! Кромѣ того, выразилъ большую радость тому, что я медикъ и могу быть очень полезенъ въ тюрьмѣ.

— Да, ваша слава, какъ замѣчательнаго доктора, заранѣе здѣсь гремѣла.

— Я получилъ этотъ титулъ уже въ Сибири, во время этапнаго путешествія, отъ благодарныхъ пациентовъ. На самомъ дѣлѣ, я уже говорилъ вамъ, я всего лишь студентъ четвертаго курса...

— Ну, что же, говорили вы съ нимъ о камерѣ?

— Какъ же. Съ большимъ удовольствіемъ согласился, чтобъ я поселился вмѣстѣ съ вами, Валерьяну же назначилъ другой номеръ. У меня, говоритъ, общее правило: по возможности дробить на мелкія части всѣ группы, какія только могутъ замѣчаться среди арестантовъ,—татаръ, скопцовъ, раскольниковъ... Позвольте,—спрашиваемъ мы,—да вѣдь мы не татары и не скопцы?—Васъ,—отвѣчаетъ,—я назову группой образованныхъ людей... Находчивъ, бестія!

Я ввелъ новыхъ своихъ товарищей въ мою камеру, и арестанты тотчасъ же, не дожидаясь просьбы, похватили у нихъ изъ рукъ мѣшки и кинулись очищать на нарахъ мѣсто рядомъ съ моей постелью, а когда узнали, что одинъ только Дмитрій Петровичъ будетъ жить здѣсь, стали выражать сильное огорченіе.

— И чего имъ помѣшало, варварамъ, всѣхъ троихъ вмѣстѣ поселить? Наръ, что-ль не хватило?—возмущался пріятель мой Чирокъ. — То-исъ, во всемъ вреду одну видятъ, утѣснить вездѣ норовятъ!

Я порекомендовалъ Чирка вниманію новичковъ, какъ стариннаго своего сожителя, съ которымъ очень друженъ.

— Должно быть, онъ безъ вины попалъ сюда?—спросилъ Валерьянъ Башуровъ:—и по лицу видно сейчасъ, что честный человѣкъ.

— Ну, какъ вамъ сказать,—засмѣялся я,—арестанты почему-то говорятъ про его честность: чортъ ее чесалъ, да и чесалку сломалъ!

— Вишь вѣдь, какой вредный человѣкъ этотъ Миколаичъ!—обѣими руками заскребъ свою голову Чирокъ:—какъ меня товарищамъ своимъ аттестуетъ! Не вѣрьте ему, не вѣрьте—первый во всей тюрьмѣ волынщикъ!

— Вы тоже учить насъ будете, какъ Иванъ Николаевичъ?—подошелъ къ новичкамъ, заискивающе улыбаясь, Луньковъ, — вы не знаете, у насъ тутъ вѣдь цѣлое училище основано, господа, и я въ немъ первый ученикъ.

Сохатый презрительно фыркнулъ въ своемъ углу, но промолчалъ.

— Одна бѣда, — продолжалъ Луньковъ, — Иванъ Николаевичъ привыкаться что-то зачали, не каждый вечеръ насъ обучаютъ.

Я рассказалъ Штейнгарту и Башурову о своей школѣ; она ихъ живо заинтересовала. А когда я заговорилъ и о бывшихъ одно время въ тюрьмѣ чтеніяхъ вслухъ, то арестанты поддержали меня громкимъ сочувственнымъ ропотомъ; стали ворчать и ругать Шести-глазаго даже тѣ, кто очень мало интересовался бывало книжками.

Между тѣмъ Чирокъ вызвался сбѣгать въ кухню заварить для насъ чай. Я далъ ему свой котелокъ, въ который засыпалъ чай, а самъ повелъ товарищей въ камеру, назначенную мѣстожителемъ Башурова. Жившіе тамъ арестанты встрѣтили насъ съ тѣмъ же живымъ сочувствіемъ и гостепріимствомъ, причѣмъ произошелъ приблизительно такой же обмѣнъ мыслей, какъ и въ моей камерѣ. Здѣсь жилъ, между прочимъ, и общій староста Юхоревъ. Онъ тотчасъ же появился возлѣ насъ и, развязно и дружелюбно поздоровавшись за руки съ новичками, усѣлся рядомъ и вступилъ въ разговоръ. Представительная наружность Юхорева, открытый, умный видъ и гигантскій ростъ произвели, видимо, на нихъ внушительное впечатлѣніе, и они долгое время недоумѣвали, съ кѣмъ имѣютъ дѣло. Человѣкъ этотъ, дѣйствительно, могъ производить такое впечатлѣніе. Онъ весь, казалось, состоялъ изъ однихъ мускуловъ, могучихъ и крѣпкихъ, какъ сталь; большіе, сѣрые глаза глядѣли отважно и рѣшительно, и трудно было вынести ихъ прямой, пронзительный взглядъ; длинные усы окаймляли энергично очерченныя губы. За то подбородокъ круглый и нѣсколько выдающійся, а также и щеки всегда обривались съ помощью стекла или тайныхъ арестантскихъ бритвъ. Лобъ былъ замѣчательно низкій, и въ средину его правильнымъ треугольникомъ вдавались жесткіе черные волосы. Это придавало смуглому длинному лицу суровый, почти свирѣпый видъ, хотя нисколько не уменьшало впечатлѣнія большого, неоспоримаго ума, видѣвшагося въ каждой чертѣ и въ каждомъ жестѣ этого сильнаго человѣка. Будучи совершенно неграмотнымъ, Юхоревъ говорилъ всегда такъ умно, плавно и даже красиво, пересыпалъ свою рѣчь такой массой оригинальныхъ эпитетовъ и поговорокъ, что если послѣдніе не были черезчуръ откровенны, то вы могли бесѣдовать съ нимъ битый часъ и даже не догадаться, что имѣете дѣло съ простымъ, необразованнымъ мужикомъ, а не съ какимъ-нибудь баринкомъ средней руки, земцемъ,



помѣщикомъ. Непреклонная воля чуялась во всей этой желѣзной, богатырски скроенной фигурѣ, въ ея порывистыхъ и вмѣстѣ сдержанныхъ движеніяхъ, въ быстрой, всегда торопливой, но граціозной походкѣ. Дорисовывая вышнюю фізіономію Юхорева, скажу еще, что я былъ однажды сильно удивленъ и почти испуганъ, увидавъ его раздѣтымъ въ банѣ и покрытымъ густыми, мохнатыми волосами по всей спинѣ... Вотъ богатая пища для ломброзинскихъ выводовъ! невольно подумалъ я.

Арестанты поголовно уважали и боялись Юхорева, но вовсе, казалось, не потому только, что онъ былъ старостой, и я не видавъ случая, чтобы кто-нибудь серьезно сдѣлился съ нимъ, вступилъ по какому-либо поводу въ грубую перебранку. Впрочемъ, Юхоревъ и не терпѣлъ противорѣчій себѣ. Съ мелкой шпаной, которой случилось чѣмъ-нибудь прогнѣвить его, онъ расправлялся по своему: быстро вскакивалъ съ наръ и своими жилистыми руками гиганта начиналъ, не говоря худого слова, мять и тузить (сопротивленіе было, конечно, немислимо), такъ что жертвъ оставалось одно — обратить ссору въ шутку и молить пощады. Съ «серьезными» арестантами Юхоревъ держался за то въ высшей степени тактично и осторожно.

— Ваши вещи, господа, — обратился онъ къ моимъ товарищамъ, — отнесены въ чихаусъ. Я самъ и положилъ. Если что-нибудь нужно достать, мнѣ только скажите. Я вѣдь часто туда хожу съ косноязычнымъ чортомъ и что угодно съумѣю взять, онъ не замѣтитъ. «Ты съмотли у меня, Юхоревъ, не стяни цего». А я, пока мѣстъ онъ въ одно мѣсто глаза таращитъ, рыжій пентюхъ, я ужъ въ двадцать сторонъ успѣлъ повернуться. Разъ! разъ! — и готово, взялъ, что мнѣ нужно. Въ одномъ изъ ящичковъ лежатъ тамъ у васъ, я видѣлъ, чернила, перья, почтовая бумага... Только глазомъ моргните мнѣ!

Мы поблагодарили Юхорева за любезное предложеніе, но отклонили его.

— Съ Лучезаровымъ у меня тоже большая дружба... Я вѣдь каждый день ношу ему въ контору пробный обѣдъ, — ну, и тутъ разговоры у насъ всякаго рода происходятъ. Наливаю ему, само собою, такъ, чтобы жиру больше плавало сверху... Вотъ Иванъ Николаевичъ по этому случаю претензію мнѣ разъ высказывали: зачѣмъ я это дѣлаю? Надо, молъ, напротивъ, самый худшій сортъ пищи начальству показывать... Но это потому только, господа, что Иванъ Николаевичъ, — не въ обиду ему будь сказано, — десять лѣтъ про-

живетъ въ тюрьмѣ и всетаки ничего не пойметъ въ нашей сволоченной жизни! Умъ ихъ не тѣмъ вовсе занятъ, вотъ они и думаютъ, что правдой можно всего добиться. А я по опыту знаю, что всѣ заботы начальства о нашемъ братѣ—одно только показаніе вида. Какъ мы есть для него каторжные, варнаки, такъ и будемъ ими до скончанія вѣка! Вѣдь что-жъ, пробовалъ я показывать и настоящую баланду. Затопаешь ногами, закричить: «А! ты, значитъ, воръ!» Скажите на милость—воръ. Да чтобъ ему самому и на томъ, и на этомъ свѣтѣ такъ наживаться отъ воровства, какъ я здѣсь наживаюсь! Небось, безъ штановъ ходить будетъ. Я не спорю—я ворую, но только не у своего брата; довольно съ меня и того, что экономъ прозѣвываетъ, когда къ вѣсамъ съ нимъ хожу. Вотъ, господа, послѣ такой ерунды я и рѣшилъ носить Шестиглазому на пробу одинъ только верхній наваръ. И теперь мы живемъ друзьями. Жалко, что баня у насъ сегодня не топлена, печку поправляютъ. Ну, ужъ за то въ слѣдующую субботу я самолично, васъ, господа, выпарю, такъ выпарю, какъ, пожалуй, и самъ губернаторъ не парится... Ха-ха! Баня—это моя, можно сказать, спеціальность.

— Однако, Чирокъ ужъ, пожалуй, заварилъ намъ чай,—поднялся я съ мѣста, — пойдемте, господа.

Юхоревъ тоже вѣжливо всталъ.

— Значить, мы будемъ съ вами на однѣхъ нарахъ лежать, въ товарищахъ, такъ сказать, жить? — обратился онъ къ Башурову. — Вотъ и отлично. Объ чаѣ никогда не будете заботиться, у меня тутъ сто дьяволовъ найдется къ услугамъ въ кухню сбѣгать. Эй ты, чувырло чухонское!—крикнулъ онъ вдругъ на арестанта, лежавшаго рядомъ съ постелью Валерьяна, — убирайся-ка отсюда по-добру, по-здорову, я тутъ лягу!

— А мнѣ тутъ развѣ худо?—пробормотало чувырло.

Но Юхоревъ, какъ кошка, прыгнулъ на нары, и не успѣлъ арестантъ опомниться, какъ уже перелетѣлъ вмѣстѣ съ своей подстилкой на другое мѣсто, а подстилка Юхорева очутилась рядомъ съ Башуровской. Кобылка одобрительно загрохотала; подумавъ немного, разсмѣялся и потерпѣвшій, рѣшивъ, что благоразумнѣе всего отнестись шутливо къ своему невольному *salto mortale*... Разсмѣялись и мы, выходя вонъ изъ камеры.

— Что это за личность? — спросилъ меня Штейнгартъ.

— Общепюремный староста, второй здѣсь царекъ послѣ Лучезарова.

— Оно и видно; но развѣ староста пользуется такой властью?

— Не всякій, конечно; но этотъ человѣкъ, какъ сами видите, не изъ дюжины.

— Онъ кажется мнѣ очень симпатичнымъ; а вамъ? — спросилъ Башуровъ.

— Ничего себѣ. Впрочемъ, я очень мало его знаю, такъ какъ все время жилъ съ нимъ въ разныхъ камерахъ.

Чирокъ уже оборудовалъ свое дѣло, и котелокъ съ чаемъ, приправленнымъ, какъ оказалось, ни вѣсть откуда взявшимся молокомъ, стоялъ на нарахъ, укутанный со всѣхъ сторонъ моимъ халатомъ.

— Чтобъ не стылъ, — сказалъ Кузьма, осклабясь и услужливо раскутывая чай.

— Ну, значить, пируемъ, господа! — пригласилъ я гостей.

Но только что началось пиршество, какъ дверь шумно растворилась, и въ камеру вошелъ, въ шапкѣ на бекрень и въ франтовато накинутахъ на плечи халатъ, улыбаясь во всю рожу и какъ-то уморительно выкидывая въ стороны колѣни, тюремный скоморохъ и дурачекъ Карпушка Липатовъ. Рыжіе, какъ морковь, волосы, такая же рыжая борода, выходящая изъ-подъ шеи и оставлявшая голымъ подбородокъ, некрасивое веснучатое лицо съ небольшимъ вздернутымъ носомъ и плутоватыми сѣрыми глазами, потѣшныя ужимки и чисто канканныя тѣлодвиженія, — все было въ Карпушкѣ своеобразно и въ высшей степени комично. Одни изъ арестантовъ считали его прямо сумасшедшимъ, другіе, напротивъ, хитрымъ пройдохой, находящимъ лишь выгоднымъ для себя корчить дурачка. Трудно было рѣшить этотъ вопросъ, тѣмъ болѣе, что Липатовъ во все не стремился къ тому, къ чему стремились обыкновенные тюремные симулянты, т. е. къ освобожденію отъ работъ и къ помѣщенію въ больницѣ. Иногда, попавъ туда, онъ начиналъ очень скоро рваться обратно въ тюрьму, а на работѣ также былъ скорѣе измѣнше трудолюбивъ, чѣмъ лѣнивъ и хитеръ.

— Здравствуйте, господа поштенные, — началъ Карпушка, присаживаясь съ нами рядомъ, — не примете-ль и меня въ вашу хевру? \*) Я вѣдь тоже дворянская кровь, потому — хоть мать у меня и мѣщанка, а отецъ-то былъ чиновникъ.

---

\*) Кажется, еврейское слово, обозначающее товарищество, артель.

*Прим. астора.*

— Да вѣдь вы сами, Карпушка, говорили, что отца и не видали никогда, что вы — незаконный?

— Я и теперь не говорю, что я законный, а все-жъ хоть и не съ того боку, а кровь-то дворянская свое во мнѣ обозначаетъ. Вѣрно я говорю! У меня вѣдь и обличье-то настоящее дворянское... Нешто можно меня сравнить вонъ съ его аль съ его харей?— кивнуть Карпушка въ сторону арестантовъ. Послѣдніе захохотали.

— А я вѣдь по дѣлу пришелъ-то къ вамъ, господа. Который тутъ изъ васъ, говорятъ, дохтуръ есть?

— Ну, положимъ, я,—отозвался Штейнгартъ.

— А позвольте узнать, какъ величать васъ?

— Дмитрій Петровичъ.

— Такъ вотъ съ тобой, Митрій Петровичъ, мнѣ нужно будетъ съ руки на руку поговорить.

Карпушка при этомъ многозначительно подмигнулъ.

— Въ чемъ же дѣло? Или вы стѣсняетесь постороннихъ?

— Мнѣ чего стѣсняться! Я нигдѣ не обробѣю. Я и самому Шести-глазому на кажней повѣркѣ всѣ свои мысли выражаю. Вотъ жду еще — не дождусь окружного дохтура, съ нимъ тоже хотѣлось бы мнѣ словечкомъ-другимъ перекинуться.

— У васъ болитъ что-нибудь?

— У меня внутри настоящая-то боль сидитъ. Видите-ли, Митрій Петровичъ, я такъ полагаю, у меня косточки одной въ спинѣ нѣтъ. А фершалъ здѣшній, Землянский, говоритъ: врешь, собачій сынъ, у тебя есть косточка. А какое тамъ есть, когда я хорошо знаю, что ея нѣтъ.

— Знаете, что, Липатовъ,—предложилъ я,—вы въ другое время когда-нибудь посовѣтуетесь съ Дмитриемъ Петровичемъ; тогда онъ хорошенько осмотритъ васъ. А теперь онъ, видите, съ дороги, дайте ему покой. Мы и сами-то не успѣли еще поговорить какъ слѣдуетъ.

— И въ самъ-дѣлѣ, пошелъ вонъ, Карпушка! — закричали на него арестанты. — Чего ты дурочку-то изъ себя оказываешь? Проваливай во свояси!

Карпушка равнодушно сплунулъ на сторону и продолжалъ сидѣть.

— Хитрые вы, Иванъ Миколаичъ, спудить отъ себя Карпушку хотите. Вамъ-то поговорить межъ собой, въ хеврѣ своей чайку напиться, а у меня, можно сказать, о жизни аль смерти дѣло идетъ. Говорю, косточки у меня въ спинѣ нѣтъ! Я сказываю фершалу: давай ты мнѣ настоящей ханани, такой, чтобы она, значить, бо-

лѣзнь изъ костей вонь выгоняла. А онъ, цыганская его морда, калидатомъ да калидатомъ все меня пичкаетъ! А калидатъ — я знаю, что такое. Онъ вѣдь болѣзнь въ нутро, въ кости вгоняетъ...

— Это что же такое за калидатъ, и какой такой хананіи ему нужно? — въ недоумѣніи обратился ко мнѣ Штейнгартъ.

Мнѣ уже достаточно извѣстенъ былъ весь Карпушкинъ словарь, и я объяснилъ, что хананіей онъ называетъ, повидимому, вообще всякое лѣкарство, производя это слово, быть можетъ, отъ хины, а калидатомъ — кали-іудать.

Штейнгартъ и Башуровъ громко засмѣялись, ихъ поддержалъ и самъ Карпушка.

— Въ томъ-то и дѣло... Вотъ сейчасъ видно, что дохтуръ настоящий — все понимаютъ. Я ужъ знаю, что они мнѣ настоящей хананіи пропишутъ. Сейчасъ замѣчаешь хорошаго человѣка, не то что Иванъ Миколаевичъ, который никогда даже не улыбнется мнѣ... Проваливай, молъ, Карпушка Липатовъ! Ты къ моей кеврѣ не подходишь... А почему я не подхожу? У меня тоже дворянская вѣдь кровь. Вотъ дали бы вы мнѣ, господа, чайку дворянскаго испить. Байховый чай — онъ, знаете, хорошо тоже по жиламъ расходится, особливо ежели съ молокомъ. Лучше всякой хананіи.

Дали Карпушкѣ чашку чаю. Своей бесѣды намъ такъ и не удалось вести: скоро послышался свистокъ дежурнаго и его же взволнованный крикъ по корридору:

— Вылазь на повѣрку! Скорѣй на повѣрку! Самъ начальникъ будетъ!

Лучезаровъ давно уже не появлялся на повѣркахъ собственной персоной, и сегодня готовилась, — очевидно, по случаю прибытія новичковъ, — торжественная церемонія.

— Любезенъ-то онъ любезенъ былъ съ вами, а поугатъ все-таки хочетъ, — шутиливо замѣтилъ я товарищамъ, выходя съ ними во дворъ тюрьмы, и поспѣшилъ предупредить ихъ относительно того, что слѣдовало дѣлать во время повѣрки.

Съ Башуровымъ мы тутъ-же простились, думая, что до утра уже не увидимся больше. Онъ направился къ своей камерѣ, которая строилась въ другомъ концѣ длинной арестантской шеренги. Тамъ Юхоревъ тотчасъ-же принялъ его подъ свое покровительство, поставивъ за своей могучей спиною. Повелъ и я Штейнгарта на то мѣсто, гдѣ шевелились наши сокамерники. Всегдашняя моя пара — Чирокъ уже стоялъ въ переднемъ ряду, поджидая меня и энергичной бранью

прогоня всякаго, кто по забывчивости пытался занять позади его мое мѣсто. Впереди Штейнгарта, ставшаго рядомъ со мною, вытянулся гигантъ Петинъ.

Надзиратель безпокойно метался передъ строемъ арестантовъ, дѣлая имъ предварительный счетъ. И только теперь ударилъ звонокъ на повѣрку; но и послѣ звонка мы мерзли еще около пяти минутъ, а Шестиглазый все не показывался.

— Выстойку намъ, какъ хорошимъ жеребцамъ, дѣлаетъ,—острили неунывающіе арестанты.

Наконецъ, за рѣшетчатыми воротами произошло движеніе, и на глазахъ у всѣхъ появилась величавая фигура въ большой мохнатой папахѣ и широко развѣвающейся шинели. Мы трое уже стояли давно безъ шапокъ. Распахнулись широко ворота. Точно проглотившій аршинъ, надзиратель проревѣлъ неестественно зычнымъ голосомъ командныя слова:

— Смирр-на! Шапки дол-лой!

Сотня головъ моментально, съ шумомъ обнажилась.

— Шапки надѣть! — торопливо, почти не давъ кончиться надзирательскому крику, произнесъ Лучезаровъ.

— Продолжаетъ быть любезнымъ,—шепнула Штейнгарту и слегка покосился въ его сторону. Но Штейнгартъ ничего не отвѣтилъ мнѣ, и я замѣтилъ, какъ лицо его потемнѣло и то и дѣло подергивалось нервными судорогами... Лучезаровская любезность, очевидно, мало утѣшала его. Дальнѣйшая часть повѣрки прошла съ обычной помпой, по разъ установленной формѣ и, къ счастью, безъ всякихъ неприятныхъ инцидентовъ. Наряда на работы не читалось, такъ какъ день былъ субботній.

— По камерамъ шагомъ мар-шгъ! — прогремѣла заключительная команда, и ровнымъ ритмическимъ шагомъ, попарно, арестанты двинулись къ тюрьмѣ. Штейнгартъ шелъ впереди меня, блѣдный и сумрачный, понура голову. Въ корридорѣ къ намъ подбѣжалъ Валерьянъ Башуровъ.

— Это ужасно... это ужасно, господа! — прошепталъ онъ, конвульсивно стискивая себѣ пальцы рукъ. Юношески-розовое лицо его отъ волненія еще болѣе разбурянилось. Штейнгартъ молчалъ, но чувства его были мнѣ понятны. Тѣмъ не менѣе, я попробовалъ улыбнуться и сказалъ успокоительнымъ тономъ:

— А развѣ вы лучшаго чего-нибудь ждали, господа? Смотрите на эти вещи философски. Недурно также, если можно, запастись

юморомъ. Во всякомъ случаѣ, когда поживете здѣсь, то согласитесь со мной, что не эти огорченія худшая сторона каторги.

Мы еще разъ пожали другъ другу руки и разстались. Въ камерѣ, между тѣмъ, арестанты опять выстроились въ шеренги. Мы съ Штейнгартомъ, какъ и прежде, встали позади Чирка и Сохатаго, возлѣ своихъ нарѣ.

Дверь быстро распахнулась, человѣкъ пять надзирателей влетѣли, какъ ураганъ, и одинъ изъ нихъ прокричалъ обычное:

— Смирр-на!

Внушительно замедленными шагами вошелъ Лучезаровъ, окидывая пытливымъ взглядомъ лица арестантовъ и видимо кого-то отыскивая. Удивленное, румяное лицо его, по обыкновенію, чуть-чуть улыбалось иронически; въ бравомъ штабсъ-капитанѣ не произошло вообще никакой перемѣны съ тѣхъ поръ, какъ читатель видѣлъ его въ послѣдній разъ, за исключеніемъ одного только: онъ носилъ уже полные капитанскіе погоны, и это обстоятельство, конечно, могло придать ему лишь больше внушительности и величавости.

Наконецъ, онъ увидалъ Штейнгарта и, приблизившись, молча подалъ ему письмо, которое вынулъ изъ бокового кармана. Затѣмъ круто повернулся къ надзирателямъ и произнесъ сердито:

— Вы слышите запахъ? Есть тутъ запахъ?

— Не можемъ знать, господинъ начальникъ, — подобострастно отвѣтилъ кто-то, въ нерѣшительности.

— Какъ не можете знать? Носа надо не имѣть, чтобъ не слышать! Гадкій, отвратительный запахъ!

— Да, оно точно, чижоловатый воздухъ, господинъ начальникъ, — согласился тотъ же надзиратель.

Тяжелый запахъ въ нашей камерѣ за послѣднее время сдѣлался почему-то предметомъ постоянныхъ наблюденій и раздраженія бравого начальника. Онъ слышалъ его даже въ такіе дни, когда у насъ подолгу стояла открытой форточка и когда атмосфера другихъ камеръ, навѣрное, была вдвое удушливѣе, и ни за что, ни про что распекалъ и надзирателей, и несчастнаго старосту. Точно также и теперь онъ бросился за перегородку, гдѣ помѣщались камерные параша. За нимъ послѣдовала и вся свита.

— Откройте! — услышали мы оттуда повелительный голосъ начальника: — понюхайте! нѣтъ, вы понюхайте хорошенько!

Слышно было, какъ надзиратели, одинъ за другимъ, подходили и нюхали. Кобылка, тихонько смѣясь, переглядывалась между собой.

— Вотъ что!—заговорилъ Лучезаровъ, появляясь опять въ камерѣ:—староста и парашники плохо знаютъ свои обязанности. Мало чистоты и порядка! Смотрите у меня, я строго буду взыскивать.

И быстрыми шагами онъ почти выбѣжалъ въ корридоръ; со стукомъ и грохотомъ прослѣдовала за нимъ свита, дверь захлопнулась, и замокъ щелкнулъ. Арестанты зашумѣли, засмѣялись и принялись за свои обычныя бесѣды и занятія.

Штейнгартъ, склонившись надъ столомъ, читалъ при тускломъ свѣтѣ лампы полученное письмо, и мрачное лицо его съ густыми нахмуренными бровями напоминало мнѣ первый моментъ нашей встрѣчи. Сердце мое болѣзненно сжалось... Я чувствовалъ себя опять одинокимъ, ревниво размышляя о томъ, что у этого человѣка есть и всегда будетъ свой особый міръ, въ который я никогда не проникну, и въ которомъ онъ будетъ страдать и радоваться одинъ, замкнуто и молчаливо. Я легъ въ свой уголъ, предаваясь этимъ грустнымъ думамъ; а товарищъ долго еще сидѣлъ надъ письмомъ, чтеніе котораго, повидимому, давно было окончено. Затѣмъ, поднявшись, онъ не меньше часу рассказывалъ взадъ и впередъ по камерѣ, въ глубокой задумчивости, не обращая никакого вниманія на окружающую обстановку.

Луньковъ и Сохатый, разложивъ свои тетрадки, сидѣли за столомъ и переругивались другъ съ другомъ.

### III.

#### Рассказъ Штейнгарта.

Было уже совсѣмъ поздно. Арестанты, не исключая и учениковъ, давно исправно храпѣли, когда Штейнгартъ, взобравшись на нары, также началъ устранивать свою постель рядомъ съ моею.

— Вы еще не спите, Иванъ Николаевичъ? А знаете, отъ кого я письмо сегодня получилъ?—неожиданно, вполголоса заговорилъ онъ, замѣтивъ, что я не сплю; и, взглянувъ ему въ лицо, я радостно вздрогнулъ: оно опять было свѣтлое, доброе, и темные глаза сіяли изъ-подъ разглаженныхъ бровей, точно двѣ звѣзды, обливая меня теплыми, ласковыми лучами.

Я, конечно, не зналъ, отъ кого было полученное имъ письмо. Отъ матеря? Сестры?

— Нѣтъ, отъ невѣсты,—сказалъ Штейнгартъ грустнымъ и вмѣстѣ



радостнымъ тономъ. — Вотъ ужъ никакъ не надѣялся получить! Сегодня, во время пріемки, Лучезаровъ прямо заявилъ намъ, что будетъ выдавать письма только отъ ближайшихъ и несомнѣнныхъ родственниковъ, всѣ же остальные сохранить у себя вплоть до нашего выхода на поселеніе. Это, молъ, законъ, нарушить который невозможно. И вдругъ приносить вечеромъ это самое письмо... Признаюсь, Иванъ Николаевичъ, за этотъ великодушный поступокъ я многое, очень многое готовъ простить Лучезарову и съ очень многимъ въ его режимъ примириться!

— Да, я видѣлъ, какое впечатлѣніе произвела на васъ повѣрка.

— Ужасное!.. Но... знаете-ли, о чемъ просить меня невѣста? Впрочемъ, мнѣ ужъ хочется все рассказать вамъ, всю нашу грустную повѣсть. Конечно, это личные муки и радости, и вамъ онѣ не покажутся, быть можетъ, интересными....

— Помилуйте, Дмитрій Петровичъ, неужели же интереснѣе то, что мнѣ годами приходилось здѣсь выслушивать? Я боюсь только, что не заслужилъ еще такого довѣрія съ вашей стороны.

— Нѣтъ, я чувствую, что вамъ можно вполне довѣриться, что все, сказанное отъ сердца, вы сердцемъ-же и примете... А для того, кто, подобно мнѣ, уже столько времени таитъ про себя думы свои и муки,—какъ много значить отыскать такого слушателя!

— А Валерьянъ Михайловичъ? Развѣ вы съ нимъ не друзья?

— Видите-ли что. Я очень люблю Валерьяна, но мы съ нимъ не друзья. Онъ слишкомъ еще юнъ и—знаете—въ немъ есть черты, которыя не располагаютъ къ изліяніямъ... Ну, словомъ, вы сами потомъ узнаете. Во всякомъ случаѣ, моя интимная жизнь ему извѣстна лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Прежде всего, знаете ли вы, что я еврей?

— Вы еврей? Никогда бы этого не подумалъ! Да и ваше имя...

— Ну, имя-то ничего не значить. По настоящему я вѣдь не Дмитрій, а Мордухъ, и не Петровичъ, а Пейсеховичъ... Когда живешь среди народа, съ которымъ составляешь духовно одно, ничѣмъ ровно не отличаясь отъ его собственныхъ сыновей, но на языкѣ котораго Мордухъ напоминаетъ слово морда, то согласитесь, что не очень-то пріятно именоваться своимъ подлиннымъ именемъ... А впрочемъ, вы, можетъ быть, юдофобъ или антисемитъ? Скажите откровенно.

Я засмѣялся.

— Къ счастью, нѣтъ. Могу сказать это, положи руку на сердце.

Я родился и выросъ въ сѣверной глуши, гдѣ и евреевъ-то почти нѣтъ. Когда поэтому я поступилъ въ петербургскій университетъ, то cadaго чернаго хохла, говорившаго «хадость» вмѣсто «гадость», принималъ долгое время за еврея. И послѣ того у меня было нѣсколько лучшихъ товарищей и друзей изъ евреевъ.

— Очень радъ. Вы снимаете съ моего сердца тяжелый камень. Повѣрите-ли, Иванъ Николаевичъ, какія подлые вещи творятся теперь на Руси! Образованные, интеллигентные, повидимому, люди не стѣсняются громко и открыто произносить слово «жидъ» и высказывать презрѣнiе и ненависть къ евреямъ. Тѣмъ большѣе все это видѣть и слышать человѣку, который будучи, какъ я, самъ евреемъ по происхожденiю, ничѣмъ другимъ, въ сущности, не связанъ съ роднымъ племенемъ и превосходно знаетъ всѣ его пороки и недостатки. О, слишкомъ даже хорошо знаю я ихъ! Но когда со всѣхъ сторонъ летятъ въ этотъ несчастный народъ плевки и камни, то можно-ли спрашивать, что я долженъ чувствовать и кого долженъ любить?... Да, именно этотъ проклятый еврейскій вопросъ былъ проклятиемъ и моей личной жизни!.. Вы слушаете меня?

— Я весь вниманiе.

— Итакъ, я расскажу вамъ свою исторiю. Я былъ еще студентомъ второго курса, когда познакомился съ своей теперешней нѣвѣстой. Мнѣ было двадцать два, Еленѣ двадцать лѣтъ; оба мы, подобно всей тогдашней молодежи, почти въ одинаковой степени проникнуты были тѣмъ «святымъ недовольствомъ», о которомъ говоритъ Некрасовъ въ своемъ стихотворенiи, — одинаково восторженны, наивны, молоды душой... Этимъ все сказано,—и какимъ образомъ и на какой почвѣ созданъ нашъ романъ. Помните-ли вы весеннiя петербургскiя ночи, эти бѣлыя чудныя ночи, съ ихъ фантастическимъ колоритомъ и болѣзненной грустью, какъ бы разлитой кругомъ въ воздухъ? Помните-ли ночныя катанья въ лодкахъ по Невѣ и по взморью, въ компанiи другихъ такихъ-же восторженныхъ мечтателей? Или зимнiя студенческiя вечеринки съ шумной пляской и отважными пѣснями? Впрочемъ, я лично съ наибольшей любовью вспоминаю теперь другую картину. Мнѣ рисуется комнатка Елены на Пескахъ, маленькая, уютная комнатка... На столѣ давно потухъ самоваръ, а мы до полночи сидимъ при свѣтѣ лампы и ведемъ безконечную бесѣду. О любви? О, нѣтъ, меньше всего и рѣже всего о любви! Предметомъ нашихъ разговоровъ являются все такiя важныя и солидныя матерiи: мы перестраиваемъ жизнь человѣчества

рѣшаемъ судьбы міра, собираемся идти на великій подвигъ служенія родному народу... Случалось, Елена вспоминала, наконецъ, что я мѣшаю ей учить лекціи, что и мнѣ самому не мѣшало бы подумать о томъ-же: тогда она принималась гнать меня домой. Мы начинали прощаться, но, прощаясь и держась уже за руки, опять увлекались на цѣлые часы то серьезной бесѣдой, то чисто ребяческой болтовней. Я стоялъ все время у порога комнаты, совсѣмъ уже одѣтый, и мы никакъ не могли разстаться, десять разъ подавая другъ другу руки и десять разъ возобновляя бесѣду. Да, обо всемъ мы тогда переговаривали, обо всемъ передумали, кромѣ одного: что я былъ еврей, а она—православная... Все въ нашихъ отношеніяхъ представлялось намъ такъ просто и ясно: мы полюбили одинъ другого и, значить, всю жизнь будемъ идти рядомъ, рука объ руку, «безъ размышленій, безъ борьбы, безъ думы роковой»... Мысль о законныхъ узахъ не являлась намъ по той лишь причинѣ, что сердца наши, бившіяся въ унисонъ, парили въ то время чересчуръ высоко для заботъ объ эгоистическомъ личномъ счастьи; да, признаться, страшили насъ обоихъ и вопросъ о моемъ крещеніи... Еленѣ казалась своего рода кошунствомъ перемѣна вѣры не по убѣжденію, хотя бы и ради любви; меня страшила, кромѣ того, необходимость нанести жестокий ударъ старухѣ-матери, безумно меня любившей, но до фанатизма преданной староеврейскимъ завѣтамъ и преданіямъ. Все это вмѣстѣ побуждало насъ не только медлить, но даже и мало думать о бракѣ. А жизнь, между тѣмъ, не медлила и разрѣшила вопросъ по своему. Когда меня въ одно прекрасное утро арестовали, Елена не только не была допущена ко мнѣ на свиданіе, какъ незаконная жена, но даже арестована и выслана на родину. Переписки намъ также не дозволили... Если бы вы знали, въ какую ярость я приходилъ, какъ безумствовалъ, не будучи въ силахъ узнать даже, живъ-ли, здоровъ-ли любимый человѣкъ!.. Право, я до сихъ поръ удивляюсь, какъ не разбилъ себѣ черепа объ этотъ холодный, безжалостный камень!

Но, Иванъ Николаевичъ, человѣкъ—безгранично-терпѣливое, возмутительно-выносливое животное, и я тоже все вынесъ, ни съ ума не сошелъ, ни головы себѣ не разбилъ, остался живъ и здоровъ. А между тѣмъ, цѣлыхъ два года прошло въ такой безнадежной разлукѣ! Наконецъ, меня осудили въ каторгу и, какъ подлежащаго отсылкѣ въ Сибирь, перевели въ Домъ предварительнаго заключенія. Какой шумъ, какое движеніе внезапно окружили меня, не смотря на то, что и это была все же тюрьма, одиночная тюрьма. По корридору

то и дѣло слышались шаги, голоса, живые голоса живыхъ людей: по всѣмъ направленіямъ стѣнъ, точно неугомонные дятлы, перестукивались между собой заключенные... Ну, да вы вѣдь сами знаете—нечего объ этомъ рассказывать. Но, признаюсь, долгое время меня страшно раздражалъ этотъ шумъ жизни, и я съ искреннимъ сожалѣніемъ вспоминалъ о своемъ прежнемъ тихомъ гробѣ. Съ переводомъ въ предварилку, я могъ бы, конечно, немедленно написать Еленѣ, — и я зналъ это, — но писать и не думалъ. Я давно почему-то рѣшилъ, что она разлюбила меня и, навѣрное, вышла уже замужъ. Въ началѣ, когда мнѣ приходили въ голову такія мысли, мною овладало бѣшенство, я ревновалъ, плакалъ, грозилъ; но съ теченіемъ времени примирился съ «неизбѣжнымъ закономъ женской природы», какъ съ горечью называлъ это. Вотъ мужчина, — думалось мнѣ, — другое дѣло! Если бы и двадцать лѣтъ пришлось мнѣ ждать любимой невѣсты, я нашелъ бы въ себѣ достаточно любви и силы, прождалъ-бы!

И вотъ однажды дверь моей камеры растворяется, и надзиратель подаетъ мнѣ депешу. Я раскрываю ее и, не вѣря глазамъ, читаю: «Телеграфируй Томскъ смотрителю тюрьмы, скоро-ли будешь высланъ. Останусь ждать. Люблю, помню. Вѣчно твоя Елена». Телеграмма была изъ Тюмени.

Отъ радости я чуть не лишился чувствъ. Ледяная душевная кора провалилась, и спавшій подъ ней мертвецъ ожилъ. Весна, весна! Воскресеніе!

Въ первую минуту я не столько огорченъ былъ тѣмъ, что и Елена высылается въ Сибирь, что и она лишена свободы, сколько восхищенъ вѣстью, что она по-прежнему моя, что я не забуду, любимъ, что снова явилась надежда на свиданіе, которое вчера еще представлялось возможнымъ лишь за могилой. Безконечное число разъ перечитывалъ я телеграмму и, забывая о томъ, что почеркъ былъ на ней чужой, цѣловалъ дорогія слова и прижималъ къ груди. Въ тотъ же день я послалъ отвѣтъ, въ которомъ не могъ, къ сожалѣнію, указать точно время своей отправки. И только на слѣдующее утро моя дикая эгоистическая радость смѣнилась глубокимъ горемъ о разбитой Елениной жизни, разбитой изъ-за меня, который никогда не стоилъ ея чистой, святой любви. Бѣдная, терпѣливая! А я-то о тебѣ думалъ такъ нехорошо, такъ нечестно... И мучительныя опасенія стали терзать меня: что если телеграмма моя опоздаетъ и уже не застанетъ Елены въ Томскѣ? Свиданіе было такъ близко, такъ возможно, — и вотъ вмѣшается какой-нибудь злой демонъ, и оно опять станетъ пустой, болѣзненной грезой!

Высылка моя состоялась лишь двѣ недѣли спустя, въ концѣ іюля, и только въ половинѣ августа баржа наша подплыла, наконецъ, къ таинственному Томску. Описывать вамъ, какъ волновался я въ то памятное утро, я не въ силахъ. Довольно сказать, что для меня совершенно не существовало тѣхъ тревогъ, какими мучились товарищи: какъ будутъ встрѣчены они новымъ начальствомъ, какого рода обыскъ предстоитъ и проч. Я весь поглощенъ былъ вопросомъ: здѣсь ли Елена? Здорова ли она? Какъ-то встрѣтимся мы послѣ двухлѣтней разлуки? И, точно громомъ, ударило меня въ сердце извѣстіе, что никого изъ прежнихъ партій въ тюрьмѣ нѣтъ, что никто меня не ждетъ! Я бросился къ смотрителю съ разспросами. Угрюмый, непривѣтливый старикъ съ видимою неохотой отвѣчалъ, что телеграмма моя была получена своевременно, но что никакого вопроса объ оставленіи Елены въ тюрьмѣ не поднималось.

— Была-ли она здорова?

— Вполнѣ, даже весела.

Весела! Вопросы объ оставленіи не поднимала! А телеграмму получила своевременно... Эти три мысли, точно огненные бумавчики, просверлили мнѣ мозгъ. Подавленный, пришибленный, пристыженный, ушелъ я отъ смотрителя, и мнѣ почудилось, что онъ насмѣшливо и даже какъ бы съ соболѣзнованьемъ посмотрѣлъ мнѣ вслѣдъ... Чувство стыда и негодованія пожаромъ охватило мнѣ душу: значить, я забытъ! И такъ скоро!.

А слухъ о веселой барышнѣ—арестанткѣ встрѣчалъ меня почти въ каждомъ новомъ пунктѣ, куда я приходилъ: говорили про нее арестанты, ямщики, даже конвойные...

— Ну, и безунывная-жъ барышня! Прямо душа-человѣкъ!—отзывались о ней съ теплымъ сочувствіемъ старые, опытные бродяги:—всякого-то она привѣтитъ, приласкаетъ, со всякимъ пошутитъ, посмѣется.

Я самъ, точно, забылъ въ это время о характерѣ Елены, поражавшемъ меня еще на волѣ: въ минуты самаго глубокаго душевнаго горя, въ присутствіи постороннихъ, она умѣла быть веселой, безпечной, разговорчивой, и серебряный смѣхъ ея звучалъ такъ громко и часто, что никому и въ голову не пришло бы въ это время подумать, что она несчастна. Забывъ обо всемъ этомъ, я теперь одно говорилъ себѣ: «быть веселой, шутить и смѣяться, когда...»

Въ такомъ похоронномъ настроеніи покинулъ я Томскъ. Съ этого пункта, какъ вы помните, начинается уже настоящій этапный путь,

пѣшій вояжъ ссыльныхъ партій. Не прошли мы и нѣсколькихъ шаговъ перваго же станка, какъ изъ кучки товарищей, шедшихъ впереди меня и мирно бесѣдовавшихъ съ провожавшимъ партію офицеромъ, долетѣла до моего слуха фамилія Елены. Я вздрогнулъ и при слухался къ разговору, въ который до тѣхъ поръ не вникалъ.

— Я вамъ говорю, господа, что съ этимъ народомъ нужно ухо остро держать. Чуть зазѣвайся только, сейчасъ «секимъ-балка!»—и пошли въ ходъ ножи. Вѣдь посмотрите вотъ, какъ пострадала ни въ чемъ неповинная, прекрасная дѣвушка!—такъ ораторствовалъ толстенкій офицерикъ съ добродушнымъ открытымъ лицомъ и уже сѣденкой бородкой.

Въ мгновеніе ока я былъ подлѣ него.

— Что съ ней случилось, капитанъ, Бога ради, что такое?..

Я видѣлъ, какъ мои товарищи усиленно моргали офицеру глазами, громко сморкались, кашляли, но онъ ничего этого не замѣчалъ и съ большой любезностью согласился повторить мнѣ свой рассказъ.

— Да развѣ вы не слышали объ исторіи, которая произошла въ Халдеевскомъ этапѣ? Это второй отсюда этапъ.

— Ничего не слышалъ.

— Черкесы взбунтовались въ партіи и давай полосовать русскихъ ножами. А одинъ желѣзными наручниками какъ ударилъ Елену Н. по головѣ,—такъ, говорятъ, полчерепа и отхватилъ!

Весь міръ завертѣлся въ моихъ глазахъ, и я, какъ снопъ, повалился на землю. Когда я очнулся, товарищи и самъ простодушный капитанъ, уже знавшій о томъ, что онъ рассказывалъ мнѣ о моей же невѣстѣ, стали меня успокаивать и утѣшать.

— Да вы же не дослушали меня,—смущенно объяснялъ маленький капитанъ:—я не сказалъ вѣдь, что она умерла... Да и насчетъ полчерепа-то я это такъ, для картинности больше, такъ сказать, выразился... Ну, какіе тамъ полчерепа! Кожу только опарапалъ немного... Увѣряю васъ, она жива и здорова.

Но успокоить меня, разумѣется, было не такъ-то легко, тѣмъ болѣе, что кобылка, до которой также дошелъ слухъ о бунтѣ черкесовъ, рассказывала исторію совсѣмъ иначе: черкесы, будто бы, ворвались ночью въ камеру женщинъ, и послѣднія спасены были только подоспѣвшимъ конвоемъ, убившимъ нѣсколькихъ азіатовъ на мѣстѣ; въ свалкѣ была, будто бы, ранена и одна женщина... Понятно, что подобная версія могла лишь еще больше встревожить и напугать

меня. Во снѣ и на яву грезилась мнѣ Елена, блѣдная, истекающая кровью, и минуты казались длинными, нескончаемыми часами.

Только прибывъ черезъ двое сутокъ на Халдеевскій этапъ, я могъ самъ убѣдиться въ преувеличенности своихъ тревогъ и опасеній. Напугавшій меня добродушный капитанъ немедленно привелъ ко мнѣ начальника халдеевской команды, и тотъ лично завѣрилъ меня, что невѣста моя жива и вполне здорова. Дѣло было такъ. Одинъ изъ черкесовъ повздорилъ съ русскимъ арестантомъ и такъ сильно пырнулъ ножомъ въ животъ, что нѣсколько дней спустя тотъ умеръ, но за то и самъ былъ раненъ въ голову. Елена съ подругой пошла перевязывать раненыхъ, и въ это-то время разъяренный горецъ (повидимому, сумасшедшій), поднявъ обѣ руки, закованныя въ наручни, хотѣлъ ударить ими по головѣ одну изъ дѣвушекъ, но и Елену. Последняя подскочила и подставила подъ ударъ свою руку. Ударъ пришелся немного ниже локтя. Крови вытекло хотя и много, но рана оказалась неопасной и скоро зажила. Этотъ рассказъ подтвердили и солдаты халдеевской команды, и старикъ-каморщикъ; сомнѣваться въ его вѣрности было невозможно.

— И вѣдь какая веселая барышня, — неизбѣжно прибавляли всѣ рассказчики: — еще смѣется послѣ этого! Ей говорятъ: «Не подходите впередъ на сто шаговъ къ этому звѣрю». А она: «Не бѣда, — говоритъ, — видно, очень ужъ раздражили его, бѣднаго. На его мѣстѣ, можетъ быть, и вы бы хватили перваго встрѣчнаго». И что же вы думаете? Нарочно ходила послѣ того къ дверямъ секретной, куда засадили черкеса, и спрашиваетъ его: «За что ты ударилъ меня? Я тебѣ же рану хотѣла перевязать». Ну, онъ — звѣрь, такъ звѣрь и есть: глядитъ изподлобья, ровно съѣсть хочетъ... «Бѣдные» они! Вздернуть бы ихъ всѣхъ на первой осинѣ — и вся недолга!

А напугавшій меня старичекъ-капитанъ, весело потирая руки, все говорилъ мнѣ:

— Ну, вотъ видите... А то полчерепа! Эка, батенька, влюбленное-то воображеніе что нарисуетъ! Хе-хе-хе... ужъ извините меня за откровенность.

Онъ, очевидно, и забылъ уже, что нарисовало это не мое, а его собственное воображеніе.

Только въ Ачинскѣ получилъ я впервые извѣстіе отъ самой Елены, телеграмму изъ Красноярска: «здорова, жду». Это были для меня дни, полные какого-то блаженного ошьянѣнія. Последние станки, не смотря на тяжелые кандалы и непривычку къ ходьбѣ, я почти

не присаживался на подводу и шелъ, не чувствуя утомленія, по двадцати верстъ пѣшкомъ; если же и садился, бывало, отдохнуть, то немедленно вскакивалъ на ноги: мнѣ все казалось, что подводы двигаются слишкомъ медленно, и я спѣшилъ туда, гдѣ впереди партіи шли лучшіе изъ каторжныхъ ходокъ.

Въ Красноярскъ мы прибыли въ яркій солнечный день. Какъ сквозь туманъ, помню прощаніе съ товарищами предшествующей партіи, стоявшими у воротъ тюрьмы и въ этотъ поздній часъ только что собиравшимися выступить въ дальнѣйшій путь. Почти каждый изъ нихъ, улыбаясь, пожималъ мнѣ руку и поздравлялъ съ тѣмъ, что сейчасъ я увижусь, наконецъ, съ Еленой. А я дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и лишь машинально отвѣчалъ на всѣ предлагаемые мнѣ вопросы. Рѣшительно не припомню, какъ это случилось, что я очутился во дворѣ тюрьмы, когда остальная партія оставалась еще за воротами; я взбѣжалъ на указанное мнѣ кѣмъ-то тюремное крыльцо, спотыкаясь и путаясь въ гремящихъ кандалахъ, и тутъ же въ дверяхъ столкнулся съ блѣдной, худенькой дѣвушкой, принявшей меня въ объятія... Когда я очнулся, мы сидѣли уже въ маленькой каморкѣ, въ которой жила Елена, и бесѣдовали. Рассказывать ли, впрочемъ, о томъ, что эта первая бесѣда послѣ двухъ слишкомъ лѣтъ разлуки скорѣе походила на бредъ больныхъ или на смущенный лепетъ дѣтей, чѣмъ на разговоръ взрослыхъ. Я долго стѣснялся снять свою арестантскую шапку и показать Еленѣ бритую голову, но она сама ее обнажила и съ лаской прикоснулась рукой... Затѣмъ, какъ у Некрасова въ «Русскихъ женщинахъ» — помните? — она стала неожиданно на колѣни и приложила къ губамъ желѣзные кольца моихъ цѣпей... Я такъ былъ пораженъ и такъ пристыженъ этимъ наивнымъ выраженіемъ любви и преданности, что долгое время не поднималъ ее съ полу и молчалъ.

Вѣдь, кажется, Данте сказалъ, что всего тяжелѣе въ минуты горя вспоминать дни блаженства? Вотъ и мнѣ теперь мучительно-больно дѣлать это... Буду поэтому кратокъ. Мы все время думали, что стоитъ мнѣ немедленно креститься, и намъ позволятъ обвиняться, и мы уже не разстанемся больше. И какъ же мы были поражены, когда узнали, что каторжнымъ позволяютъ жениться лишь по окончаніи какого-то тамъ испытуемаго и исправляющаго срока, и что для меня этотъ срокъ — семь лѣтъ!.. Иркутскъ былъ конечнымъ пунктомъ, до котораго намъ предстояло идти въ одной партіи, и новая разлука наша, разлука на цѣлыхъ семь лѣтъ, отсрочивалась



всего на два мѣсяца... Блаженные и вмѣстѣ страшные это были мѣсяцы, страшные тѣмъ, что съ каждымъ днемъ мы все яснѣе должны были чувствовать приближеніе Дамоклова меча къ нашему счастью. Въ Иркутскѣ мы, по обычаю, посажены были въ различныя отдѣленія, я — въ мужское, Елена — въ женское, которое было гдѣ-то на другомъ дворѣ. Свиданія давались только неофициально, во время прогулокъ по тюремному саду. Все говорило о близкой разлукѣ, все наводило на мрачныя размышленія и предчувствія. И разлука подошла совершенно неожиданно. Разъ вечеромъ, въ половинѣ декабря, къ воротамъ тюрьмы подкатила тройка, и меня пригласили въ тюремную кузницу для заковки въ кандалы (передъ тѣмъ врачъ распорядился временно расковать меня). Многого стояло мнѣ уломать смотрителя привести туда же и Елену, чтобъ мы могли проститься, и въ то время, какъ я сидѣлъ на полу кузницы, а кузнецъ возился около меня съ молоткомъ, заклепывая на-глухо кандалы, я услышалъ знакомые, торопливые и нервные шаги... Да! мы, словно помѣнялись въ этотъ вечеръ нашими обычными ролями: прежде я все время былъ унылъ и мраченъ, Елена же бодра и весела на видъ; ея вѣчный серебристый смѣхъ и кажущаяся беззаботность насчетъ будущаго порой даже раздражали мнѣ нервы... Но теперь было иначе: въ виду такъ неожиданно нагрянувшей и ничѣмъ уже неотвратимой бѣды я чувствовалъ себя сильнымъ, смѣлымъ, я говорилъ слова утѣшенія и надежды, а въ затуманенныхъ, потемнѣвшихъ глазахъ Елены, блѣдной и молчаливой, дрожали все время крупныя, свѣтлыя слезы... До тѣхъ поръ я ни разу въ жизни не видѣлъ ея плачущей... Изъ кузницы она пошла провожать меня и за ворота тюрьмы — смотритель не счелъ почему-то нужнымъ протестовать. Стоялъ торжественно-тихий декабрьскій вечеръ; звѣздъ на темномъ небѣ горѣло видимо-невидимо... Когда я сѣлъ, наконецъ, въ повозку, рядомъ съ двумя усатыми конвоирами, продрогшая тройка почти сразу дернула и сумасшедшимъ галопомъ помчалась въ свѣжнюю даль. Обернувшись, я долго кричалъ что-то Еленѣ, не помню что: мнѣ все казалось, что между нами осталось что-то недосказанное, невыясненное и въ то же время необыкновенно важное... Должно быть, я кричалъ какіе-нибудь пустяки. Долго еще казалось мнѣ, что я различалъ въ сумракѣ звѣздной ночи, какъ возлѣ бѣлой тюремной стѣны, у фонаря, стояла знакомая, грустно поникшая фигура...

Штейнгартъ замолчалъ, и я чувствовалъ, что спазмы душатъ ему

горло, что вотъ онъ не выдержитъ и разразится рыданіями. У меня самого не отыскивалось утѣшающихъ словъ. Я спросилъ:

— А вы знали, разлучаясь, что вамъ не позволятъ вести officialную переписку?

— Да, конечно, знали, хотя на всякій случай (онъ, какъ видите, и представился) Елена обѣщала изрѣдка писать. Вообще же, мы условились переписываться черезъ одну изъ моихъ тетокъ, женщину образованную и давно посвященную въ наши отношенія. Живетъ она въ Минскѣ. И такъ подумайте, Иванъ Николаевичъ, черезъ сколько времени я буду получать извѣстія объ Еленѣ, а она обо мнѣ? Не раньше, какъ въ пять мѣсяцевъ письмо совершитъ это кругосвѣтное путешествіе! Но что же подѣлаешь. Лучезарову за передачу этого письма я, во всякомъ случаѣ, ужасно благодаренъ; должно быть, и его оно тронуло... А если бы вы знали, какое значеніе для меня имѣетъ это письмо! Оно просто возрождаетъ меня совершенно мѣняетъ тѣ намѣренія, съ какими я возвращался сегодня въ камеру съ повѣрки... Тогда я ясно чувствовалъ, что не смогу вынести подобный режимъ, не смогу, какъ баранъ, подчиняться всѣмъ этимъ штукамъ; теперь же... видите-ли, въ чемъ дѣло, Иванъ Николаевичъ. Елена требуетъ во имя нашей любви, чтобъ я вытерпѣлъ здѣсь все, что только не затронетъ моего человѣческаго достоинства,—и я думаю, что обязанъ исполнить это ея желаніе.

— Такъ вотъ въ чемъ секретъ, что Лучезаровъ передалъ вамъ это письмо! — неосторожно пошутилъ я.

Штейнгартъ задумался.

— Пожалуй, вы правы... Ну, да все равно! Я буду терпѣть все, что только не затронетъ основъ моей души, моего человѣческаго достоинства. Вѣдь вы же терпѣли? *Они* терпѣли!

— Ну, объ нихъ мы еще успѣемъ поговорить, теперь не время... да и не мѣсто, — прибавилъ я по-французски: — вонъ Луньковъ, кажется, не спитъ.

Мы еще поболтали нѣкоторое время. Штейнгартъ выразилъ вслухъ удивленіе тому, что такъ разоткровенничался со мной и посвятилъ меня въ свою интимную жизнь.

— А развѣ вы жалѣете объ этомъ?

— О, нѣтъ! Что бы вы ни подумали обо мнѣ, не жалѣю.

— Не считайте меня очень недобрымъ человѣкомъ, Дмитрій Петровичъ! Вѣрьте, что именно съ этого вечера я полюбилъ васъ самымъ искреннимъ образомъ.

Дмитрій горячо пожалъ мою руку.

— Я это чувствовалъ!—сказалъ онъ задушевно:—мертвецъ надъ мертвецомъ не станетъ смѣяться... Знаете ли, Иванъ Николаевичъ, мнѣ все время такъ и кажется, что это-то и есть такъ называемый «тотъ свѣтъ»—міръ, въ которомъ мы живемъ теперь съ вами. И я рассказывалъ вамъ сегодня о своей земной жизни, далекой и навѣкъ уже невозвратной!

Послѣ этого мы замолчали и рѣшили попытаться заснуть.

Но сонъ долго еще не шелъ къ намъ. Выслушанный рассказъ пробудилъ въ моей душѣ столько давно уснувшего, позабытаго... Глубокая, жгучая тоска охватила меня... Штейнгартъ также до поздней ночи ворочался съ боку на бокъ на своей жесткой постели.

#### IV.

#### По новому.

Свистокъ надзирателя прервалъ мой сонъ на самомъ интересномъ мѣстѣ. Мнѣ снилось, что я еще гимназистъ, юноша лѣтъ четырнадцати, что въ шумномъ классѣ я сижу одинокій и нелюбимый товарищами. Всѣ глядятъ на меня съ насмѣшкой и явнымъ пренебреженіемъ, хотя причина этой насмѣшливости ускользаетъ отъ моего сознанія. Мнѣ горько, мнѣ безконечно обидно несправедливое отношеніе ко мнѣ товарищей, но я бы всѣмъ пренебрегъ, все бы вынесъ, еслибы за-одно съ ними не былъ и тотъ, въ кого я влюбленъ со всѣмъ пыломъ первой юности, кого считаю недостижимымъ для себя образцомъ, идеаломъ ума, геройства и талантливости. Но кто собственно этотъ любимый товарищъ? Въ этомъ я не могу дать себѣ отчета: въ его лицѣ есть и черты давно мной забытыя, черты какого-то, дѣйствительно, существовавшего у меня гимназическаго друга, и черты совсѣмъ новыя, мучительно мнѣ знакомыя. Вотъ профиль строгаго, блѣднаго лица съ наспуленными черными бровями... О, почему онъ не хочетъ глядѣть на меня, зачѣмъ отворачивается? Неужели и онъ такъ же ошибочно понимаетъ меня, какъ всѣ, не знаетъ того, что я одинъ разгадалъ его душу, одинъ могу искренно и пламенно любить ее? Подъ вліяніемъ моего пристальнаго, влюбленнаго взгляда юноша вдругъ поворачивается ко мнѣ... Я жду встрѣтить сердитые темные глаза, прочесть гнѣвъ на этомъ строгомъ лицѣ, и вмѣсто того—о, Боже! вижу лицо

его все залитымъ слезами... Добрые, любящіе глаза глядятъ съ трогательной мольбою, дрожація руки протягиваются ко мнѣ...

— Дмитрій! — вскрикиваю я, бросаясь въ его объятія и сразу вспоминая имя.

Но онъ уклоняется, онъ прикладываетъ палецъ къ губамъ, умоляя о молчаніи... Намъ обоимъ грозитъ какая-то страшная бѣда, одинъ звукъ можетъ погубить насъ обоихъ... И я сразу вспоминаю, что мы въ каторжной тюрьмѣ, оба несчастные, всѣми покинутые... Кругомъ ночной мракъ и какая-то высокая каменная стѣна, за которой живетъ Елена, и откуда мы должны похитить ее, чтобы вмѣстѣ бѣжать... Мы тихо крадемся, держась за руки и ежеминутно вздрагивая... И вдругъ яростный смѣхъ раздается сзади, стукъ ключей, бряцанье ружей — все погибло! Мы открыты, узнаны, и некуда дѣться! Я узнаю сердитые голоса Лучезарова, надзирателей, Юхорева...

— Въ карцеръ отвести ихъ! Наручни подать!

И въ ужасѣ я просыпаюсь.

— Вставай на повѣрку, вставай!

Со свистомъ проходить по корридору надзиратель... Я схватываюсь за голову, силясь что-то вспомнить — не то очень дурное, не то очень хорошее.

— Да, я вѣдь не одинокъ больше среди этого ужаса! Со мною товарищи...

О, какъ я счастливъ! Какая бодрящая сила разливается внезапно по всѣмъ жиламъ! Прочь сомнѣніе и отчаяніе! Теперь есть у меня цѣль въ жизни, и эта цѣль — облегчить страданія дорогихъ мнѣ людей, только что начинающихъ тяжелое каторжное поприще, людей непривычныхъ, слабыхъ, незакаленныхъ въ испытаніяхъ...

— Дмитрій Петровичъ! — окликаю я Штейнгарта: — вы тоже проснулись уже?

Штейнгартъ сидитъ на своей постели и нервно, торопливо одѣвается. Но отвѣтить мнѣ онъ не торопится и не то сердито, не то сконфуженно отворачивается въ сторону.

— Куда вы такъ спѣшите?

— А какъ-же... сейчасъ повѣрка.

— Утромъ повѣрка дѣлается въ корридорѣ. Это облегченіе давно уже завоевано... Послѣ свистка двери камеръ отворять только черезъ двадцать минутъ. Тогда и успѣемъ накинуть халаты; а затѣмъ, въ виду того, что сегодня нерабочій день, можно будетъ

и еще часика полтора соснуть. Ну, какъ вы провели ночь? Что во снѣ видѣли?

— Спать плоховато и всевозможную чепуху видѣлъ: Лучезаровъ, будто-бы, учитель латинскаго языка въ нашей гимназіи и поставилъ мнѣ единицу!

— Да, онъ теперь частенько будетъ вамъ сниться.

Послѣ повѣрки мы, однако, не уснули больше и, повалявшись немного въ постеляхъ, отправились въ камеру Башурова провѣдать, какъ онъ живъ и здоровъ. Мы столкнулись съ нимъ въ корридорѣ— онъ въ свою очередь шелъ навѣстить насъ. Прогуливаясь втроемъ по корридору, мы стали дѣлиться ночными впечатлѣніями. Башуровъ жаловался на убійственную атмосферу въ ихъ камерѣ, на процедуру повѣрокъ, на общую тягостность тюремнаго режима, но за то былъ въ большомъ восторгѣ отъ арестантовъ, отъ состава своей камеры.

— Я представлялъ ихъ себѣ гораздо хуже, судя по дорожнымъ впечатлѣніямъ,—говорилъ онъ:—но тамъ, въ пути, условія жизни до того ненормальны, что собственно и спрашивать многого съ людей нельзя. Всѣ тамъ чужды другъ другу, сегодня идутъ вмѣстѣ, а завтра пойдутъ розно; трудно даже характеръ человѣка настоящимъ образомъ узнать. Ну, а здѣсь другое дѣло. Люди живутъ вмѣстѣ годами и поневолѣ сдружаются.

— Ну, особенной-то дружбы вы и здѣсь, пожалуй, не увидите,—замѣтилъ я расхолаживающимъ тономъ. — Но кто же больше всего понравился вамъ изъ сожителей?

— Прежде всего, какъ юмористическій элементъ, Карпушка Липатовъ.

— Совѣтую только не поощрять особенно его болтовни, а то онъ сядетъ вамъ на шею, и вы потомъ не отвяжетесь отъ него.

— Ахъ, какой-же вы, право, Иванъ Николаевичъ... суровый человѣкъ! Я ужъ и вчера замѣтилъ, что вы съ нимъ черезчуръ строго... Онъ милый, этотъ Карпушка... Представь, Дмитрій, изъ-за чего онъ вчера со всей камерой поссорился. Я просилъ отворить форточку, и староста отворилъ, а онъ всталъ посерединѣ камеры въ позу и протестуетъ: «это вы всѣ, мужичій родъ, въ конюшняхъ воспитывались, такъ вамъ и нуженъ чистый воздухъ, а во мнѣ дворянская кровь течетъ, мнѣ чистаго воздуха не надо». И такъ потѣшно выговариваетъ онъ эти слова: «дворянскій», «Двинскъ» (мѣсто его родины) и проч. Смѣху сколько было надъ нимъ! Въ концѣ концовъ сталъ

просить у меня сахару и табаку, но тутъ Юхоревъ (вотъ властный человѣкъ этотъ Юхоревъ!) какъ подымется съ наръ да прикрикнетъ на него... И мой Карпушка въ уголъ тотчасъ-же, въ уголъ на свое мѣсто! Вообще вся камера произвела на меня отрадное впечатлѣніе прежде всего выдержкой въ обращеніи, солидностью, разумностью. Просто забываешь, что имѣешь дѣло съ каторгой, а не съ обыкновеннымъ русскимъ народомъ. И какая жажда къ ученю, къ знанію! Представьте, у меня вчера же составила цѣлая школа, чуть не полъ-камеры учениковъ набралось! Интересно, какъ вы глядите, Иванъ Николаевичъ, на этихъ людей? Мнѣ кажется, теорія Ломброзо возмутительно, въ сущности, бездушная теорія! На самомъ дѣлѣ большинство нашихъ, по крайней мѣрѣ, преступниковъ точъ въ точъ такіе-же, какъ и всѣ русскіе люди, и только случайное какое-нибудь стеченіе обстоятельствъ толкаетъ ихъ на путь преступленія.

— Не торопитесь, во всякомъ случаѣ, Валерьянъ Михайловичъ, съ обобщеніями. Я живу здѣсь вотъ уже два съ половиной года, а ей-Богу же и до сихъ поръ не знаю, что сказать опредѣленнаго на этотъ счетъ. Наука, конечно, рѣшитъ когда-нибудь этотъ вопросъ, но пока можно только собирать факты для будущихъ точныхъ выводовъ.

— Ну, разумѣется, мы съ вами не ученый диспутъ ведемъ, но все же вѣдь очень важны первыя впечатлѣнія. Напр., хотя-бы взять Юхорева. Теперь онъ считается каторжнымъ, бывшимъ разбойникомъ, а разберите-ка суть дѣла, скажите: при другихъ условіяхъ, въ другой странѣ, развѣ онъ не могъ-бы быть вожакомъ какой-нибудь гарибальдійской банды, борющейся за возвышенный принципъ? У него даже и внѣшность-то скорѣе общественнаго протестанта, чѣмъ уголовного преступника!

— Внѣшность у него, правда, очень представительная, но все-таки трудно сказать, что было-бы, если бы было... Пока онъ разбойникъ и ничего больше.

— Не совсѣмъ. Вы развѣ не знаете, за что онъ попалъ въ каторгу съ олекминскихъ присковъ? Онъ былъ тамъ спиртоносомъ. Конечно, не Богъ знаетъ какое это возвышенное занятіе, но все же и не ужасное какое-нибудь. Казаки хотѣли отнять у него съ товарищами золото, онъ оказалъ смѣлое вооруженное сопротивленіе, никого, впрочемъ, при этомъ не убивъ.

— Такъ. А изъ Россіи онъ за что попалъ въ Якутскую область?

— Его вѣдь общество сослало въ Сибирь, и, если вѣрить его собственному разсказу,—а онъ, кажется, не вралъ,—общество это состояло изъ порядочныхъ скотовъ. Онъ-же защищать интересы бѣдности. Во всякомъ случаѣ человѣкъ это несомнѣнно замѣчательный. Представь себѣ, Дмитрій, безграмотный въ сущности мужикъ, не больше, а знаетъ наизусть огромную защитительную рѣчь, которую написалъ ему одинъ якутскій-же ссыльный. Юхоревъ долженъ былъ произнести ее на судѣ, но ему не позволили. Рѣчь, дѣйствительно, недурная и очень смѣлая. И какъ энергично, какъ выразительно проносить ее этотъ разбойникъ, какъ называетъ его Иванъ Николаевичъ!

Я вспомнилъ, что Юхоревъ и мнѣ собирався нѣсколько разъ прочесть эту рѣчь, но все не выходило подходящаго случая.

— Валерьянъ!..—послышался вдругъ съ другого конца корридора громкій возгласъ легкаго на поминѣ Юхорева:—чаевать ступайте, все готово!

— Сейчасъ, сейчасъ,—отеликнулся нѣсколько сконфуженный Башуровъ и поспѣшилъ въ свою камеру.

Штейнгартъ замѣтилъ, что я немного поморщился.

— Вы, повидимому, не долюбливаете этого Юхорева?—спросилъ онъ меня.

— Нисколько. Онъ, безспорно, выдающійся человѣкъ среди шейлаискихъ каторжныхъ, и хоть лично я почти не знаю его, но часто просто люблюсь его энергичной вѣщностью! Я только посовѣтовалъ-бы вамъ, Дмитрій Петровичъ, такъ какъ вы болѣе близки съ Валерьяномъ Михайловичемъ, поддержать нѣсколько его пылъ и во всякомъ случаѣ порекомендовать ему не допускать большой фамильярности ни съ Юхоревымъ, ни съ кѣмъ другимъ изъ арестантовъ.

— Ну, знаете, трудненько это будетъ сдѣлать. У Валерьяна, вообще, есть этотъ недостатокъ: то безъ причины завязывать съ людьми слишкомъ дружескія, почти интимныя отношенія, то вдругъ, безъ видимой-же причины, отталкивать ихъ отъ себя. Конечно, не отъ дурного чего-нибудь это происходитъ у него, а такъ — отъ молодого легкомыслія... И, кромѣ того, онъ очень самонадѣянъ и самонителенъ. Вотъ онъ уже прочелъ вамъ сегодня легкую нотацію насчетъ вашего якобы жесткаго отношенія къ людямъ и, вѣроятно, искренно думаетъ про себя, что самъ онъ не таковъ, что онъ способенъ всѣхъ этихъ людей безъ исключенія по-братски любить, прощая имъ всѣ ихъ недостатки. А о томъ онъ и не подумаетъ, что

вы уже прожили здѣсь безъ насъ цѣлые годы, и мы застали васъ любимымъ и уважаемымъ всей тюрьмою; мы-же только начинаемъ свое поприще, и кто еще знаетъ, что мы сдѣлаемъ, какъ уживемся съ этимъ народомъ? Къ счастью для Валерьяна, восьмилѣтній срокъ его не такъ великъ: за всѣми скидками и проведеннымъ въ дорогѣ временемъ ему осталось пробыть въ каторгѣ...

— Три года семь мѣсяцевъ, — подсказалъ я: — тоже не маленький кусочекъ! И его надо сумѣть проглотить.

Послѣ этого мы отправились въ свою камеру тоже пить чай. Было воскресенье, и арестанты весь день то занимались безпробуднымъ сномъ, то принимались по двадцати разъ за чаепитіе. Мѣстами перекидывались въ картишки, мѣстами велись вялые разговоры на давно истощенныя темы. Темы нашихъ разговоровъ были неисчерпаемы. Не успѣвъ досыта наговориться объ одномъ предметѣ, мы уже бросались къ другому, третьему и такъ далѣе, до безконечности. Мнѣ приходилось, впрочемъ, въ началѣ больше слушать, такъ какъ, проживъ столько времени вдали отъ живого міра, я сгоралъ нетерпѣніемъ узнать, что произошло въ этомъ мірѣ за годы моего отсутствія. Но едва только удовлетворена была въ общихъ чертахъ моя любознательность, какъ рассказчиками овладѣло тоже вполне законное и понятное любопытство относительно подробностей ожидающей ихъ въ Шелайскомъ рудникѣ жизни, и я въ свою очередь изъ слушателя превратился въ рассказчика. Взявшись втроемъ подъ руки и прогуливаясь по корридорамъ тюрьмы, мы весь день провели такимъ образомъ въ самой оживленной бесѣдѣ. Я предложилъ, между прочимъ, товарищамъ вопросъ объ ихъ денежныхъ средствахъ. Оказалось, что и Штейнгартъ, и Бануровъ рассчитывали получать отъ родственниковъ по двадцати рублей ежемѣсячно.

— Отлично! — воскликнулъ я, — почти столько же получаю и я... Но, пока я жилъ здѣсь одинъ, эти деньги были мнѣ почти ни къ чему, такъ какъ помогать всей тюрьмѣ на такую ничтожную сумму невозможно, а пользоваться ими одному тяжело и непріятно. Теперь, если вы согласитесь, мы устроимъ дѣло такъ, что вся тюрьма будетъ жить въ матеріальномъ отношеніи сносно.

— Развѣ это мыслимо при бюджетѣ въ 60 рублей?

— А вотъ вамъ расчетъ, судите сами. Тюремное населеніе не превышаетъ обыкновенно 120 чловѣкъ и въ рѣдкихъ только случаяхъ достигаетъ 150 и больше. Прежде всего арестанты страдаютъ отъ отсутствія табаку. Полоторыхъ фунтовъ махорки въ недѣлю со-



вершенно достаточно будетъ для одной камеры, въ качествѣ прибавки къ тому табаку, который арестанты могутъ выписывать сами. Считая десять камеръ, мы должны будемъ покупать полтора пуда махорки каждый мѣсяцъ.

— А сколько стоитъ махорка?

— Сорокъ копѣекъ фунтъ. Значитъ, полтора пуда стоитъ двадцать четыре рубля... Это самая крупная статья расхода. Если затѣмъ въ постные дни прибавлять въ котель по одному пуду мяса, то баланда, навѣрное, получится великолѣпная. Баранина стоитъ здѣсь 2 р. пудъ. Слѣдовательно, улучшение пищи въ постные дни обойдется намъ въ мѣсяцъ (восемь постныхъ дней) въ шестнадцать рублей.

— Такъ мало?

— И значитъ, у насъ останется еще около 20 рублей, на которые мы можемъ имѣть байховый чай, сахаръ и табакъ для себя и дѣлать хоть изрѣдка, въ праздничные дни, прямо роскошные обѣды для всей тюрьмы, прибавляя, напр., по полупуду мяса къ казенному пайку.

— Но позвольте! Что скажете на все это Лучезаровъ?

— Ничего. Онъ самъ неоднократно заявлялъ публично, что улучшения общаго котла закономъ разрѣшаются. Бѣда была только въ томъ, что господа арестанты держатся на этотъ счетъ своего особаго мнѣнія: коммунальными теоріями ихъ не соблазнить и самъ законъ, и ни одного такого благодѣтеля тюрьмы до сихъ поръ не отыскивалось. А богатые люди есть и среди нихъ...

— Итакъ, Иванъ Николаевичъ, наша многолюдная артель единогласно избираетъ васъ своимъ старостой. Вы такъ отлично всѣ эти дѣла знаете. Да и съ Шестиглазымъ у васъ установились уже опредѣленные отношенія.

Я, не споря, принявъ бразды правленія, переговорилъ немедленно съ эконоомъ и заказалъ ему табакъ и мясо для ближайшаго постаго дня. Услыхавъ о нашемъ желаніи кормить на свои деньги всю тюрьму, толстый эконоомъ хихикнулъ, очевидно, считая меня съ новыми товарищами отчаянными олухами, но противорѣчить ни въ чемъ не сталъ и на другой-же день доставилъ намъ пятнадцать фунтовъ махорки.

— Начальникъ говоритъ,—заявилъ онъ при этомъ, широко улыбаясь,— что никому-бъ, кромѣ васъ, не позволилъ въ тюльмѣ майданъ устлаивать.

— Какъ это майданъ? Развѣ я торговать собираюсь?

— Хи-хи-хи! а все-жъ тепель я майданстикомъ васъ звать буду.

Я обошелъ всѣ камеры и роздалъ старостамъ для дѣлежки по полтора фунта махорки на каждый номеръ. Староста, принимая табакъ, не выразилъ ни большого удивленія, ни особеннаго любопытства. Вернувшись послѣ того въ свою камеру, я не могъ не наблюдать за тѣмъ впечатлѣніемъ, какое произвело на каждого изъ сожителей необычное въ тюремной жизни явленіе. Старичекъ Шемелинъ, нашъ камерный староста, вытеръ тщательно столъ и принялся раскладывать табакъ на шестнадцать кучекъ, точъ въ точъ такъ же, какъ онъ дѣлалъ это ежедневно съ мясомъ. Я поспѣшилъ шепнуть ему, чтобъ меня съ Штейнгартомъ онъ въ расчетъ не принималъ. Шемелинъ почтительно выслушалъ и ничего не возразилъ. Двѣ кучки моментально исчезли со стола и ровными щепотками распредѣлились между остальными четырнадцатью. Затѣмъ старикъ все съ той-же дѣловитостью и тщательностью смахнулъ рукой въ какую-то бумажку свою кучку (хотя мнѣ отлично было извѣстно, что онъ не курилъ) и ушелъ съ нею на свое мѣсто, сообщивъ громко камерѣ:

— Разбирайте, ребята!

Но ребята не торопились, и никто изъ присутствовавшихъ даже не пошевелинулся при этомъ возгласѣ, точно и не слышавъ его, — каждый съ достоинствомъ продолжалъ заниматься своимъ дѣломъ. Только тѣ изъ арестантовъ, которые ничего не знали и входили въ камеру прямо со двора, увидѣвъ табакъ, удивленно спрашивали:

— Это что за табакъ?

— Берите по кучкѣ, — коротко отвѣчалъ Шемелинъ, и удивительно, что этого отвѣта оказывалось вполне достаточно, такъ что лишь очень рѣдкіе, менѣе всѣхъ дальновидные, еще послѣ того спрашивали:

— А откуда онъ? Чей?

Большинство принимало этотъ даръ безмолвно, почти равнодушно, словно что-то давно извѣстное, должное и вполне законное. Нѣкоторыя кучки лежали, впрочемъ, до поздняго вечера, и я уже думалъ было, что хозяева этихъ кучекъ такъ и не возьмутъ ихъ, — изъ чувства-ли гордости, потому-ли, что сами имѣютъ средства и стѣсняются брать наравнѣ съ бѣдняками, — однако, въ концѣ концовъ, со стола исчезъ рѣшительно весь табакъ; взяли свою долю и тѣ, которые не курили, и тѣ, которые свободно могли бы пожертвовать

ее въ пользу товарищей \*) То же самое происходило и въ другихъ камерахъ. Возможно, конечно, что нѣкоторыми изъ арестантовъ руководило при этомъ опасеніе своимъ отказомъ обидѣть меня съ товарищами.

Въ ближайшій постный день, когда, вмѣсто тошнотворной кашницы съ иллюзіей сала, на столѣ появилась прекрасная баланда съ мясомъ, невольное любопытство опять заставляло меня наблюдать за кобылкой: какъ она отнесется къ этому? что будетъ говорить? Но и тутъ очень долгое время я видѣлъ одно только холодное молчаніе и наружно-небрежное равнодушіе. Многіе, впрочемъ, вполне, повидимому, искренно и не замѣчали даже, что, вмѣсто постной пицци, ѣдятъ скоромную. Разговоры шли, вѣроятно, въ кухнѣ за нашей спиной, но мы ихъ не слышали и содержанія ихъ не знали. Только гораздо позднѣе стали прорываться вслухъ отдѣльные благодарственные отзывы, и то больше со стороны благочестивыхъ и благонамѣренныхъ старичковъ, вроде нашего-же Шемелина:

— Кабы не добрые люди, замерли-бы въ этой тюрьмѣ! Безъ табаку, безъ мяса насидѣлись-бы... Дай имъ Богъ добраго здоровья, благодѣтелямъ нашимъ!

Степень этихъ «благодѣяній» даже раздувалась и преувеличивалась: назывались порой головокружительныя суммы, которыя мы, будто-бы, тратили на тюрьму. Но иваны и всѣ тѣ, которые считали себя настоящими, профессиональными каторжными, держались въ этомъ отношеніи гордо и независимо, встрѣчая громогласныя похвалы намъ старичковъ если и не презрѣніемъ (табакъ они все же брали, скоромную баланду въ постные дни ѣли), то показнымъ равнодушіемъ. Лишь во время ссоръ между собою, когда терялось всякое самообладаніе, и такіе люди высказывались вслухъ въ томъ-же духѣ и смыслѣ.

— Ты что видаль-то на свѣтѣ, мараказъ проклятый? — кричалъ верзила Петинъ на маленькаго Лунькова: — ты развѣ въ настоящихъ-то тюрьмахъ жилъ? Въ другомъ развѣ мѣстѣ стали-бъ тебя даровымъ табакомъ потчивать, аль мясомъ, какъ борова, откармливать?

— А тебя, небось, стали-бъ?

\*) Впрочемъ, впослѣдствіи, когда матеріальное положеніе тюрьмы стало еще стѣсненнѣе, подобное соглашеніе между арестантами установилось само собою, и камерные старосты начали дѣлить нашу махорку только по числу курящихъ.

*Прим. авт.*

— Сравнилъ меня съ собою, осель! Развѣ ты можешь вниманіе отъ такихъ людей заслужить? Нешто въ башкѣ твоей порожней найдется столько мозгу, сколько у Ивана Николаича, аль у Дмитрія Петровича въ одномъ мизинцѣ ноги есть?

Любопытно, конечно, было знать, какъ объясняли себѣ арестанты матеріальную помощь, которую мы имъ оказывали, какіе мотивы предполагали въ нашихъ поступкахъ? Дальнѣйшія событія обнаружили, что многіе допускали даже какіе-то эгоистическіе расчеты съ нашей стороны, думали, что, принимая наши подачки, они этимъ въ свою очередь оказываютъ намъ нѣкоторое благодареніе... Крайне удивилъ меня по этому поводу одинъ неглупый въ общемъ арестантъ, послѣ нѣсколькихъ постныхъ дней, случайно прошедшихъ безъ всякихъ улучшеній пищи, спросившій меня:

— А что, Иванъ Николаевичъ, развѣ вся ужъ марка-то у васъ вышла?

— Какая марка?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Да та, по которой *полагается* вамъ мясо и табакъ намъ покупать?

Арестантъ нѣсколько замаялся, видя мое удивленное лицо, и я такъ и не понялъ, что онъ разумѣлъ подъ своей маркой.

Новичкамъ предоставлено было Шестиглазымъ нѣсколько дней отдыха, а затѣмъ и ихъ также, какъ меня, назначили въ гору. Какъ и я нѣкогда, Башуровъ и Штейнгартъ, сильно волновались, идя въ рудникъ, пугаясь его и въ то же время нетерпѣливо желая познакомиться съ каторжной работой. Придя въ свѣтличку, я тотчасъ же повелъ ихъ въ ожиданіи раскомандировки, въ штольню. Съ шумомъ и весельемъ побѣжали они въ темный корридоръ, оставивъ меня позади съ фонаремъ.

Вообще я замѣчалъ нѣкоторую разницу между теперешнимъ настроеніемъ товарищей и тѣмъ, что когда-то переживалъ и испытывалъ самъ. Помню, я чувствовалъ себя въ первое время точно затравленнымъ звѣремъ, ежеминутно и отовсюду ожидая обиды, оскорбленій, пугливо и подозрительно глядя на каждого надзирателя, точно на своего естественнаго врага, и эта подозрительность не совсѣмъ исчезла во мнѣ и теперь; и теперь еще я считалъ за лучшее возможно меньше разговаривать и возможно меньше имѣть дѣла со всякимъ, кто представлялъ собой малѣйшее подобіе начальства въ моихъ глазахъ. Исключеніемъ не былъ даже Пѣтушковъ, который самъ запрашивался на пріятельство. Новички, подобно мнѣ, въ

первыя минуты пребыванія въ Шелайской тюрьмѣ имѣли подавленный и запуганный видъ, но это длилось недолго: благодаря-ли природному болѣе жизнерадостному характеру, или же тому обстоятельству, что они явились не въ качествѣ пионеровъ и во всемъ встрѣчали уже подготовленную почву, — только въ настоящую минуту они держались такъ, будто прожили въ Шелайскомъ рудникѣ цѣлые годы, были развязны, непринужденны, свободно разговаривали не только съ арестантами, но и съ надзирателями, и послѣдніе, въ свою очередь, запуганные моимъ сдержаннымъ обращеніемъ, отвѣчали имъ охотно, съ видимой даже радостью. Точно какія-то мрачныя чары разсыпались, долго державшійся ледъ растаялъ и прорвался въ окружающей атмосферѣ... Не скрою: я ловилъ себя въ эти первые дни даже на тайномъ недовольствѣ новичками... Мнѣ все казалось, что вотъ-вотъ послѣдуетъ что-нибудь очень дурное за ихъ нетактичнымъ, какъ мнѣ казалось, черезчуръ свободнымъ поведеніемъ, и я пугливо косился по сторонамъ, точно дикая кошка, выведшая своихъ дѣтенышей изъ логовища на вольный свѣтъ и все оглядывающаяся, не грозитъ-ли имъ какая-либо опасность. Но опасности не грозило никакой, и моя одичалая и облебенѣлая душа тоже мало-по-малу оттаявала и расправляла утомленные крылья...

Едва забрались мы въ глубину штольни и бѣгло осмотрѣли ее, какъ Башпуровъ, не раздумывая долго, заплѣлъ, такъ что отъ неожиданности я вздрогнулъ:

Стукъ молота отъ вѣка и до вѣка,  
Тяжелый звукъ заржавленныхъ оковъ...  
Другъ! ты видалъ-ли гнома-человѣка  
На двѣ холодныхъ рудниковъ?

Бодрящія ноты молодого, звучнаго тенора огласили мрачныя каменные стѣны, столько лѣтъ не слыхавшія ничего, кромѣ унылага бряцанья кандаловъ, монотонныхъ постукиваній молотка да тяжелыхъ вздоховъ измученныхъ, несчастныхъ людей. Сначала нѣсколько испуганно, а затѣмъ радостно отозвалось этимъ бодрымъ звукамъ и мое изболѣвшее сердце...

Тамъ міръ иной, міръ горькой, тяжелой доли... —  
подхватилъ красивый баритонъ Штейнгарта: —

Тамъ царство безконечныхъ мукъ.  
Полжизни — день работы и неволи,  
Полжизни — ночь суровыхъ вьюгъ.

И иракъ, и смерть тамъ царствуютъ надъ міромъ,  
И каждый молота ударъ  
Звучитъ затѣмъ, чтобъ пиръ смѣнялся пиромъ  
Въ угоду ожирѣлыхъ баръ.  
Когда безпечный пиръ свершаютъ счастья дѣти,  
Въ умѣ моемъ рождается вопросъ:  
Ужъ не наполнены-ль бокалы эти  
Виномъ изъ крови и изъ слезъ?.. \*)

Звуки шли все выше и выше, аккомпанируемые звономъ настоящихъ цѣпей, хватая за душу, звуча горькимъ упрекомъ кому-то, зовя на что-то смѣлое и великое...

— Откуда вы взяли, господа, эти слова и этотъ мотивъ? — любопытствовалъ я, когда пѣвцы окончили свой импровизированный дуэтъ.

— Насъ научилъ въ дорогѣ одинъ бродяга-пѣвецъ. Онъ увѣрялъ, будто это каторжный гимнъ, или «карійскій гимнъ», какъ онъ называлъ его.

— Ну, врядъ ли, господа, настоящий каторжникъ сочинялъ этотъ «гимнъ»: тотъ плохо знаетъ каторгу, кто считаетъ, напр., «заржавленные оковы» атрибутомъ особенно тяжкихъ испытаній.

— Какъ такъ?

— А вотъ, сами увидите, заржавѣютъ-ли ваши кандалы при постоянномъ ношеніи. Напротивъ, они будутъ блестѣть, какъ стеклышко! Но, во всякомъ случаѣ, и слова, и мотивъ очень недурны, — что правда, то правда... Смотрите, я просто до слезъ тронуть... Однако, намъ пора и въ свѣтличку.

Въ свѣтличкѣ раскомандировка рабочихъ была уже почти окончена.

— А, господа бродяги, — привѣтствовалъ насъ Пѣтушковъ, — я ужъ и впрямь думалъ, что вы въ бѣга ударились! Ну, присовѣтуйте, Миколайчъ, куда мнѣ поставить новичковъ. Вѣдь бурить-то имъ, пожалуй, не поглянется? Халудора возьми это буренье!

Новички, однако, выразили желаніе непременно попробовать бурить, и я повелъ ихъ въ верхнюю шахту. Штейнгартъ, какъ и я когда-то, затруднялся въ подъемѣ на гору и то-и-дѣло испытывалъ одышку; за то Башуровъ шелъ легко и свободно: родомъ крымчакъ, онъ былъ привыченъ къ ходьбѣ по горахъ. Безъ особеннаго труда научился онъ и бурить довольно хорошо, между тѣмъ какъ Штейн-

---

\*) Если не ошибаюсь, стихи эти принадлежатъ небезызвѣстному скбирскому поэту Ф. Филимонову.

Прим. авт.

гарту и это искусство давалось плохо. Онъ то-и-дѣло ударялъ себя молоткомъ по рукѣ, искривлялъ шпуръ и очень огорчался всѣми этими неудачами. Но когда работа нѣсколько налаживалась, онъ первый начиналъ пѣть подѣ дружные удары арестантскихъ молотковъ:

«Стукъ молота отъ вѣка и до вѣка...»

Башуровъ присоединялся. И когда на темномъ днѣ холодного, непривѣтливаго колодца раздавались стройные звуки «каторжнаго гимна», несясь въ вышину то въ видѣ горькой жалобы, то гнѣвной угрозы, на душѣ становилось и какъ-то жутко, и сладко... Особенно стихъ —

«И мракъ, и смерть тамъ царствуютъ надъ міромъ» —

производилъ сильное впечатлѣніе, вызывая у меня каждый разъ дрожь во всемъ тѣлѣ...

И вдругъ жизнерадостный Валерьянъ переходилъ къ веселой пѣсенкѣ Беранже:

Виномъ сверкають чаши,  
Веселье впереди.  
Кричать подруги наши:  
«Фортуна, проходи!»

И, дружно и быстро стуча молотками по бурамъ, мы всѣ подхватывали хоромъ:

— «Стукъ! Стукъ!» — Кто въ гости къ намъ?  
«Стукъ! Стукъ!» — Мы Лизу ждемъ.  
«Стукъ! Стукъ!» — Фортуна тамъ.  
«Стукъ! Стукъ!» — Не отопремъ!

Слабому и нервному Штейнгарту буренье, конечно, вскорѣ не «поглянулось», какъ и пророчилъ ему Пѣтушковъ, и онъ промѣнялъ его на должность бурноса. Одышка, разумѣется, скоро прошла, и онъ сдѣлался отличнымъ бѣгуномъ. Это не мѣшало, впрочемъ, Сохатому острить надъ нимъ и называть не «бурносомъ», а «буреносомъ», разумѣя подѣ этимъ, что скорѣе его самого могли носить по сонкѣ вѣтеръ и буря, чѣмъ онъ таскать на плечахъ тяжелыя вязанки буровъ. Много также пици для остроумія и разнаго рода шутокъ доставилъ всѣмъ Штейнгартъ, явившись однажды по окончаніи работъ въ тюрьму и, какъ оказалось при обыскѣ у воротъ, принеся по разсѣянности за пазухой два короткихъ бура... Надзиратель, сдѣлавшій это открытіе, былъ сначала въ недоумѣніи, словно раздумывая, не слѣдовало ли затѣять по этому поводу слѣдствіе, но скоро и онъ попалъ въ общій веселый тонъ и также началъ хохотать.

— Стѣну хотѣлъ тюремную пробурить, побѣгъ устроить!—острила кобылка, шумно разбѣгаясь по камерамъ.

Нѣкоторое время спустя для Штейнгарта открылось, однако, болѣе важное занятіе, чѣмъ буренье и ношенье буровъ, занятіе, которое въ глазахъ не только арестантовъ, но и начальства сразу возвысило болѣе чѣмъ вдвое наши прежніе фонды. Разъ, поздно вечеромъ, въ камерѣ нашей загремѣлъ замокъ, дверь распахнулась, сильно перепугавъ сидѣвшихъ въ углу картежниковъ, и вошедшіе надзиратели пригласили моего товарища къ внезапно захворавшей женѣ эконома.

— Самъ начальникъ проситъ васъ поглядѣть,—закискивающе говорили они.

Штейнгартъ проворно одѣлся и ушелъ. Вернулся онъ только два или три часа спустя, не только осмотрѣвъ больную, но и лично приготовивъ для нея съ помощью фельдшера нужныя лѣкарства. Первый случай медицинской практики Штейнгарта оказался очень счастливымъ: больная на другой же день почувствовала себя вполне здоровой, и слава его, какъ замѣчательнаго врача, загремѣла далеко кругомъ. За надзирателями, ихъ женами и дѣтьми стали обращаться къ нему и весь шелайскій бошондъ—казацкій есаулъ съ семьей, его помощникъ, Монаховъ, писаря изъ тюремной конторы и, наконецъ, самъ Лучезаровъ, почувствовавшій къ молодому врачу большую симпатію: онъ далъ ему разрѣшеніе, въ присутствіи надзирателей, во всякое время дня и ночи посѣщать больничную аптеку и, по зову больныхъ, выходить,—разумѣется, подъ конвоемъ,—за ворота тюрьмы. Нерѣдко стали вызывать Штейнгарта прямо изъ рудника, отрывая отъ работы, а иногда и совсѣмъ не наряжали въ гору въ теченіе цѣлой недѣли. Валомъ повалило къ нему и тюремное населеніе. Пьяница фельдшеръ совсѣмъ какъ бы остался за штатомъ, и дѣло доходило до того, что онъ только формально освобождалъ арестантовъ отъ работъ или клалъ на больничную койку, въ дѣйствительности же всѣмъ распоряжался Штейнгартъ. Съ теченіемъ времени это начало злить самолюбиваго Землянского, и онъ сдѣлался нашимъ отчаяннымъ врагомъ... Но пока что, я отъ души радовался тому, что обстоятельства сложились для товарища такъ благопріятно, и пребываніе въ каторгѣ могло стать для него полезной практической школой при изученіи любимой науки, «пятымъ курсомъ академіи», какъ выражался онъ самъ. Я видѣлъ его добрымъ, повеселѣвшимъ, всецѣло поглощеннымъ своими новыми занятіями, не имѣющимъ даже доста-



точного досуга, чтобы хандрить и мучиться своими личными печальми и страданіями. А это также великое было благо для того, кому предстояло не одинъ годъ провести въ Шелайскомъ рудникѣ!

За розами и лаврами, правда, послѣдовали въ свое время волчцы и терніи, но объ нихъ я расскажу послѣ.

Только поздними вечерами, когда жизнь въ камерѣ затихала и сожителі наши уже громко всхрапывали, намъ удавалось попрежнему бесѣдовать между собой по душѣ, и этимъ бесѣдамъ за полночь конца не было. Лежа на своихъ подстилкахъ и склонившись одинъ къ другому головами, мы шопотомъ разговаривали иногда вплоть до разсвѣта, особенно когда дѣло было наканунѣ праздника и на другой день не предстояло работъ. О чемъ только ни говорили мы въ эти тихіи тюремныя ночи!..

Однажды рыженькій Жебрейчикъ, одинъ изъ ближайшихъ сосѣдей нашихъ по нарамъ, подошелъ ко мнѣ въ корридорѣ тюрьмы и таинственно сказалъ:

— А знаете, Иванъ Николаевичъ, что я хочу спросить у васъ: гдѣ вы доставали тѣ книжки, по которымъ сами учились?

— Какъ это самъ учился?

— Да такъ. Я очень хорошо понимаю теперь, что тѣ-то книжки, которыя вы намъ читали, такъ себѣ, пустяковыя книжки для простаго народа, вотъ какъ мы, дураки. Ну, прямо сказать *блѣдыя* книжки, какъ есть *бѣлыя* — бумага и ничего больше. Для старыхъ бабъ все это да ребятишекъ списано. А вы сами съ товарищами по настоящимъ, значить, по *чернымъ* книгамъ учились... Я это очень хорошо теперь вижу.

— Что вы такое говорите? Какія-такія черныя книги?

— Ну, ужъ вы со мной не разговаривайте такъ. Я вѣдь не какой-нибудь Луньковъ али Сохатый.. Новой \*) арестантъ съ умомъ, а новой совѣмъ, какъ младенецъ... Ну, а я до пятидесяти годовъ дожилъ и тоже что-нибудь смекаю. У меня самого бабушка, прямо скажу вамъ, не таясь, вѣдьма была, вотъ что!

Я поглядѣлъ во всѣ глаза на выжившаго изъ ума старикашку; онъ былъ, по обыкновенію, комично-серьезенъ и величавъ.

— Я вѣдь слышу ваши разговоры... Вы думаете, я сплю ночью-то, а я вовсе не сплю, т. е. просто глазъ не смыкаю! И до того вникаю, — ну, прямо сказать, всѣ уши прикладаю къ вашимъ рѣчамъ!

---

\*) Новой — иной.

— Это не очень, положимъ, похвально подслушивать, но что-жъ такое поняли вы изъ нашихъ разговоровъ?

— А вотъ то и поняли, что у кажнаго изъ васъ свой дьяволъ есть!..

— Дьяволъ? Что за чепуха! Откуда вы взяли это?

— Значить, вотъ взялъ. У васъ вѣдь, ежели не пятое, такъ десятое слово непременно дьяволъ будетъ. Одинъ говоритъ: «Мой дьяволъ такой», а другой отвѣчаетъ: «Нѣтъ, мой дьяволъ такой»!

Я расхохотался, хотя долго не понималъ смысла этихъ словъ Жебрейчика. Штейнгартъ, которому я сообщилъ объ этой бесѣдѣ, назвать ихъ просто бредомъ сумасшедшаго. Но нѣкоторое время спустя онъ сказалъ мнѣ, смѣясь:

— А знаете, я вѣдь понялъ, о какомъ такомъ дьяволѣ говорилъ вамъ Жебреекъ. Во вѣкъ, пожалуй, не догадаетесь: это идеаль!..

## V.

### «Украденный» манифестъ.

Еще и еще разъ наступала весна... Каждый годъ пробуждаетъ она въ душѣ арестанта забытую сладкую боль, муки надежды и отчаянія.

Всѣ люди живутъ,  
Какъ цвѣты цвѣтутъ,—

жалуется тюремная пѣсня, сложенная, по всей вѣроятности, не въ иную какую, а именно въ весеннюю пору:

А моя голова,  
Вянеть, какъ трава!  
Куда не пойду,  
Въ бѣду попаду;  
Съ кѣмъ веду совѣтъ—  
Ни въ комъ правды нѣтъ.  
Кину жъ, брошу міръ,  
Пойду въ монастырь!

И горькой ироніей надъ самимъ собою, бесконечно-трогательной скорбью звучить это обѣщаніе пѣвца пойти въ монахи, когда слѣдующія затѣмъ строки пѣсни \*), мѣняя не только размѣръ,

---

\*) Возможно, конечно, что это и двѣ различныхъ пѣсни, но дѣло въ томъ, что отъ лучшихъ тюремныхъ пѣвцовъ, вроде Юхорева, я слышалъ ихъ всегда слитными, безъ малѣйшаго перерыва, и всѣ они утверждали, что это одна пѣсня.

но и смыслъ стиха,—въ отчаяніи раскрывая, такъ сказать, всѣ свои карты,—говорятъ:

Ты весной, весной, жавороночекъ,  
Ты весной весной на проталинѣхъ,  
На шелковой мягкой травонькѣ!  
Ты подай голосъ черезъ темный лѣсъ,  
Черезъ темный лѣсъ за Москву рѣку,  
За Москву-рѣку въ тюрьму каменну...  
Подъ окномъ сидитъ тамъ колодникъ,  
Младъ колодникъ, ахъ! разбойникъ.  
Онъ не годъ сидитъ и не два года,  
Онъ сидитъ въ тюрьмѣ ровно восемь лѣтъ.  
На девятый годъ сталъ письмо писать,  
Сталъ письмо писать къ отцу съ матерью.  
Отецъ съ матерью не признался,  
Не признался, отказался:  
«Какъ у насъ въ роду воровъ не было,  
Воровъ не было, ни разбойниковъ».

Лихой пѣсенникъ Ракитинъ прибавлялъ, бывало, къ этой пѣснѣ еще одинъ стихъ, котораго другіе тюремные пѣвцы не знали:

Молода жена слезно всплакалась.

Но на этомъ и онъ останавливался, и тщетно просилъ я его вспомнить хоть смыслъ дальнѣйшихъ стиховъ, о чемъ именно «всплакалась» молодая жена. Впрочемъ, осиновое ботало не затруднялось дать собственный отвѣтъ на этотъ вопросъ:

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! да о чемъ же другомъ ей, подлой, плакать, какъ не о томъ, что вотъ-моль воротится, чего добраго, воръ-бродяга, а у нея ужъ другой паренекъ, почище, на примѣтѣ есть...

Я самъ уже третью весну встрѣчалъ въ Шелайскомъ рудникѣ и каждый разъ испытывать эту особенно сладкую, особенно щемящую боль. Однако, въ этотъ третій разъ, когда опять зазеленѣли окрестныя сопки и изъ глубины ожившей тайги понеслись въ тюрьму живительные весенніе звуки и запахи, въ душѣ моей, долго дремавшей, а теперь разбуженной пріѣздомъ товарищей и бесѣдами съ ними, съ небывалой прежде силой проснулась жажда жизни, воли и счастья... Въ тѣ дни, когда работы у Пальчикова въ кузницѣ было совсѣмъ мало, и я бралъ на себя обязанности бурноса въ одной изъ шахтъ, тамъ во время чаепитія передъ разведеннымъ костромъ и съ жадностью слушалъ безконечные рассказы арестантовъ о побѣгахъ, въ тайникахъ души сочувствуя этимъ безумнымъ мечтамъ объ

освобожденіи. Внизу, подъ нашими ногами, разстилалась зеленая, пахучая тайга, полная своихъ чудныхъ тайнъ и приманокъ, обольстительная, молодая, влекущая, а дорогу къ ней преграждали расхаживавшіе съ ружьями въ рукахъ часовые-казаки. Ихъ ставилось, впрочемъ, всего только два человѣка; съ противоположныхъ сторонъ колпака; остальные, сложивъ ружья въ козлы, сидѣли подобно намъ, въ отдаленіи, у своего костра, и арестанты часто съ насмѣшкой отзывались объ этихъ стражахъ закона, хвастаясь, что если-бы захотѣли только бѣжать на ура, то «казачиники» не успѣли-бы и выстрѣла по нимъ дать... Особенно любилъ хвалиться на этотъ счетъ Сохатый, дѣйствительно, извѣстный своими отважными побѣгами.

— Я изъ Иркутской тюрьмы бѣгалъ, не то что отсюда, — горделиво рычалъ онъ, выпучивая свои телячьи глаза. — Тамъ не такіе духи-то стоятъ, не эта деревенщина, а настоящіе солдаты. Мы со стѣны вчетверомъ, одинъ за другимъ, прыгнули, я первый... Упалъ, вскочилъ на ноги—еще помню, колѣнко здорово объ камень зашибъ! — и прямо на городъ побѣжалъ. Солдатъ и не посмѣлъ стрѣлить, потому дома близко. А пока онъ, духъ оказанный, трелогу подымалъ, свистѣлъ и кричалъ,—глядь, и тѣ трое, товарищи-то мои, за мной слѣдомъ... Такъ и убѣжали.

— А всетаки поймали васъ, Петинъ.

— Это ужъ потомъ было, не въ Иркутскѣ даже, а я про то сказываю, какъ мы изъ тюрьмы ловко удрали.

— Теперь, небось, ноги не такія ужъ рѣзвыя? Вотъ которое уже лѣто сидите здѣсь, да, вѣрно, и будете сидѣть.

Петинъ презрительно фыркнулъ.

— Вы не знаете еще Петина-Сохатаго! Не бѣжить онъ, — значить, воли его на то еще нѣтъ. А захочетъ—ни одного дня Шести-глазый его не удержитъ!

Одно время мнѣ казалось, что Петинъ и дѣйствительно что-то замышляетъ. Онъ ходилъ сердитый, задумчивый, забросивъ свои учебныя тетрадки. А разъ надзиратель (это было въ самыхъ первыхъ числахъ мая), при обыскѣ шахты, нашелъ спрятаннымъ за крѣпями чуть не цѣлый мѣшокъ ржаныхъ сухарей. Въ умѣ начальства сейчасъ же явилась мысль о затѣваемомъ побѣгѣ; казаки сдѣлались осторожнѣе, прибавили постовъ, перестали отпускать арестантовъ даже на одинъ шагъ отъ колпака безъ усиленнаго конвоя. Сухари могли быть, конечно, припасены кѣмъ-либо изъ шпанки и для

другихъ болѣе невинныхъ цѣлей, но Петинъ такъ многозначительно фыркалъ, когда заходила среди арестантовъ рѣчь объ этомъ открытіи, что невольно заставлялъ подозрѣвать себя. Впослѣдствіи онъ даже прямо сознался мнѣ въ дружеской бесѣдѣ, что побѣгъ былъ уже совсѣмъ рѣшеннымъ дѣломъ гораздо раньше, чѣмъ надзиратель нашелъ сухари, но что остановка явилась за товарищами; съ негодованіемъ говорилъ онъ о двухъ-трехъ арестантахъ, пользовавшихся въ тюрьмѣ громкой репутаціей «громилъ» и, однако, въ рѣшительную минуту дрогнувшихъ и отступившихъ.

— А одному бѣжать никакимъ манеромъ нельзя!

— Почему?

— Да потому, что въ первую-жъ ночь въ лѣсу сонного захватить... Стрема \*) вѣдь будетъ. Тутъ ухо надо остро держать. Опять же голодомъ не пойдешь всю дорогу. А какъ безъ товарищей провіантъ будешь добывать?

— А мнѣ кажется, Петинъ, что ужъ если затѣвать побѣгъ, то надо и на голодовку готовымъ быть. Дней десять поголодаете — не помрете, а за это время, Богъ знаетъ, куда уйти можно.

— Вишь вы какіе ловкіе! Нѣтъ, я голодать не согласенъ...

— То-то и есть. Правду, значить, говорить про васъ Луньковъ, что вы дешевый.

— Да я ему, сволочи, голову оторву! Самъ-то онъ что такое? Что можетъ онъ понимать въ этихъ дѣлахъ? Вѣчный тюремный житель!

— А вы ужъ не сами-ль, Иванъ Николаевичъ, собираетесь того?..—конфиденціально обратился ко мнѣ однажды Сохатый, скаля зубы:—все спрашиваете да любопытствуете... Что-жъ, я-бъ взялъ, пожалуй, васъ и Штенгора въ товарищи себѣ.

— А какая-жъ бы вамъ отъ насъ польза была? Глаза у насъ у обонихъ плохіе, значить, и стремщики мы были бы плохіе; ноги еще того хуже... Словомъ, мы только помѣхой бы вамъ служили!

— За то у васъ деньжонки есть. Одежу бы могли тоже вольную изъ чихауза достать.

— Ага, вотъ чего вамъ отъ насъ надо! А потомъ возьмете съ насъ то, что вамъ нужно, да при случаѣ и пришьете, пожалуй?

— Вотъ какъ вы обо мнѣ понимаете, Иванъ Николаичъ! Бла-

---

\*) Облава. Другое значеніе «стрѣмы»—тайное стояніе на караулѣ.

*Прим. авт.*

годаримъ покорно! Нѣтъ, ужъ на Сохатаго положиться можно, какъ на каменную гору. Не было еще случая, чтобъ онъ товарищей своихъ продавалъ. Но вамъ всегда дороже какой-нибудь прохвость, сволочъ тюремная, которая подлизываться умѣетъ.

И Петинъ сдѣлалъ видъ, что серьезно на меня обидѣлся. Но онъ и самъ, конечно, хорошо понималъ, что я шутя только говорилъ съ нимъ о своемъ участіи въ побѣгѣ; по крайней мѣрѣ, и онъ и другіе арестанты не разъ говорили про меня и про моихъ товарищей:

— Не намъ вы чета, Миколаичъ: не нашъ братъ. Вамъ надо или помирать въ тюрьмѣ, или законнымъ родомъ выходить изъ нея, не иначе. Потому, какъ вы побѣжите? Да хоть самимъ чортомъ, не то что челдономъ, одѣвъ васъ, такъ первое встрѣчное дите признаетъ вашу личность. И слова, и обращенье, все, все вѣдь другое въ васъ!

И, вѣроятно, пріятеля-арестанты были на этотъ счетъ правы. Или помереть въ каторгѣ, или дождаться законнаго выхода изъ нея—ничего другого не предстояло намъ..

Весной описываемаго года весь арестантскій міръ не только въ Сибири, но даже и въ Россіи переживалъ небывалое волненіе; произошло въ его жизни событіе, дѣйствительно, неимоверной важности. Сначала пошли какіе-то глухіе, отрывочные слухи, исходившіе большею частью изъ довольно мутныхъ и легковѣсныхъ источниковъ. Какой-нибудь Карпушка Липатовъ проходилъ по камерамъ и «боталь»:

— Ну, хрестыяне православные, слушайте, что вамъ Карпушка скажетъ. Вы вотъ все смѣтаетесь да смѣтаетесь надъ Карпушкой, а онъ вамъ такую вѣсточку принесъ, что только рты разинете! Не будетъ теперь и фершалъ со мной много чирикать. Скажу: давай мнѣ, цыганская твоя образина, настоящей хананіи, такой, чтобъ въ носъ шибала, кости, значить, что твой спиртъ, промывала, а не то чтобы какъ...

— Да говори, рыжая твоя морда, въ чемъ дѣло!

— А въ томъ дѣло, что Государь Амператоръ насъ всѣхъ на волю выпускаетъ.

— Ха-ха-ха! Пошелъ ты ко всѣмъ дьяволамъ, ботало безобразное! Откудова ты знать можешь?

— Нѣтъ, старики,—выдвигалась вдругъ изъ угла какая-нибудь молчаливая до тѣхъ поръ фигура.—Нѣтъ, старики, дуракъ онъ, ду-

ракъ, а говорить на этотъ разъ дѣло. Я еще въ Шелай шелъ, такъ по дорогѣ одинъ этапный офицеръ вышелъ къ намъ и говоритъ: «ребята, не печальтесь! скоро вамъ отъ Государя Амператора великая милость выйдетъ». Вотъ что!

— Скоро, братъ ты мой, солнышко взойдетъ, да до той-то поры роса глаза выѣстъ! Давно ужъ сказываютъ про этотъ большой манафестъ, а его все нѣтъ какъ нѣтъ.

— Погоди, синодъ раньше долженъ собраться да указъ составить. Ты, большая башка, какъ думалъ-то? Легкое это дѣло? Сѣлъ къ столу, взялъ бумагу, брехъ-брехъ-брехъ да и готово?

Давно уже происходили подобнаго рода толки и разговоры, но никто не придавалъ имъ большого значенія. Но вотъ однажды, въ срединѣ мая, портной Булановъ пришелъ отъ казацкаго есаула на семью котораго шилъ, и сообщилъ уже настоящую сенсационную новость: вышелъ, наконецъ, манифестъ, тотъ «большой» манифестъ, котораго всѣ столько лѣтъ ждали, но сибирское начальство пока скрываетъ отъ арестантовъ бумагу, потому что напугано неслыханно-огромной милостью и не знаетъ, какъ быть: если выпустить сразу всѣхъ каторжныхъ, то не произойдетъ ли бунта?..

— Что ты говоришь?!—внезапно поблѣднѣвъ, произнесъ почти каждый изъ слушателей тихимъ, упавшимъ отъ волненія голосомъ.

Разговоръ происходилъ въ мастерской, гдѣ чинились обувь и арестантская лопоть, но гдѣ, кромѣ мастеровыхъ, присутствовала постоянно куча и посторонняго народа. Сапожники выронили изъ рукъ свои колодки, портные побросали иголки. Всѣ обступили пронырливаго мордвина, всегда улыбавшееся лицо котораго было на этотъ разъ серьезно и почти строго.

— Неужто всѣхъ, братцы, выпускать? Да кто тебѣ сказывалъ, Булановъ?

— Сама есаульша. Я, говорить, тебѣ, Буланушка, потихоньку отъ барина сказываю, потому очень строго скрываютъ пока. Обрадуй ты своихъ товарищей-колодничковъ: двѣ трети со всего строка скидывается имъ по манафесту!

— Двѣ трети? Ну, значить, все же не сразу выпускать?

— Поросачья твоя голова! — зашумѣла внезапно кобылка, набрасываясь на разочарованнаго товарища, зашумѣла, словно только что очнувшись отъ тяжелаго столбняка:—тебѣ этого еще мало?..

— А законную-то треть ты забылъ?—приступилъ къ нему въ числѣ прочихъ и Шматовъ (онъ-же Гнусь), тяжело, прерывисто

дыша по обыкновенію, возбужденно жестикулируя рукой и шевеля длинными таракаными усами.—Законную-то треть ты забылъ? Она вѣдь не отыщется отъ тебя \*). Ну, оно и выйдетъ такъ, что при двухъ третяхъ по царскому манифесту всѣ пойдемъ на волю, кромѣ долгосрочныхъ!

Съ бѣшеннымъ весельемъ и стремительною поспѣшностью разсыпались тюремные «вѣстники» по камерамъ, и вскорѣ все тюремное населеніе знало новость и обсуждало ее со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ. Вернувшись изъ рудника, слышали объ ней и я съ товарищами, но мы стали смѣяться надъ легковѣрными. Арестанты слегка даже обидѣлись, хотя ни въ комъ изъ нихъ и не было еще непоколебимо-твердой увѣренности.

— А вотъ я схожу сейчасъ къ эконому,—рѣшилъ Юхоревъ: — прямо вытрясу изъ шепеляваго дьявола правду-матку!

Возвратившись изъ этой рекогносцировки, онъ съ самой забористой руганью обрушился на Буланова и на всѣхъ, кто увѣровалъ было въ его сообщеніе: эконому клялся и божился, что никакой бумаги Лучезаровымъ нигде не получено, и что все это одна арестантская выдумка. Кобылка повѣсила носы. Когда общее негодованіе было излито на портного, смутившаго общій покой, тюрьма затихла и стала, казалось, вдвое печальнѣе и мрачнѣе, чѣмъ была раньше. Такъ прошелъ день или два.

И вотъ снова началось какое-то шушуканье по угламъ... «Манифестъ», «двѣ трети», «милость»—опять доносилось до нашего слуха, не вызывая, впрочемъ, съ нашей стороны большого вниманія. Однако, и мы невольно насторожились, когда Юхоревъ пришелъ разъ отъ эконома и заявилъ:

— А вѣдь точно есть что-то... Обманываетъ шельма косноязычная, скрываетъ!

И въ тотъ-же день открыто начали повсюду говорить, будто уже самъ Шестиглазый объявилъ многимъ изъ вольнокомандцевъ о большой милости, о томъ, что на дняхъ въ тюрьмѣ будетъ молебенъ, послѣ котораго и прочитаютъ о двухъ третяхъ.

---

\*) Дѣло въ томъ, что каторжные II и III разрядовъ, осуждаемые срокомъ до 12 лѣтъ исключительно въ заводы и крѣпости и за отсутствіемъ послѣднихъ отправляемые обыкновенно въ тѣ-же рудники (пробываніе въ которыхъ считается по закону болѣе тяжкимъ наказаніемъ), пользуются такъ называемой горной скидкой, по 4 мѣсяца съ каждаго года. Каторжные I разряда этой скидки не имѣютъ.

*Прим. авт.*



Что, дѣйствительно, «что-то есть», въ этомъ почти нельзя уже было сомнѣваться; оставалось скептически относиться къ слуху о такой большой сбавкѣ. Впрочемъ, Башуровъ готовъ былъ уже и двѣ трети признать (тѣмъ болѣе, что и для насъ это было довольно-таки лестная перспектива), и только мы двое съ Штейнгартомъ упорно не поддавались общему оптимизму.

— Возможно-ли это? — говорили мы: — какъ правительству рѣшиться сразу и одновременно выпустить на свободу чуть-ли не нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ, которыхъ наканунѣ еще оно считало опасными для общества элементами и держало на цѣпи?

— А почему-же и нѣтъ? — возражалъ увлекающійся Башуровъ: — во-первыхъ, и выпущенные, они останутся вѣдь въ Сибири, на которую всѣ привыкли глядѣть, какъ на мѣсто стока общественныхъ нечистотъ; ну, а во-вторыхъ, и опасности никакой не будетъ, если только позаботиться дать этому народу работу и кусокъ хлѣба.

— Откуда-же взять столько кусковъ?

— Какъ откуда? А въ тюрьмѣ-то ихъ все равно вѣдь нужно кормить? Но вы забываете еще, господа, объ одномъ свойствѣ человеческой души: преступная она, а все-же человѣческая... Вѣдь подобная «милость», несомнѣнно, вызвала бы въ людяхъ такой взрывъ энтузіазма, такой высокій подъемъ духа, что — кто знаетъ? — быть можетъ, эти люди могли бы переродиться нравственно... Вы смѣтаете, Иванъ Николаевичъ? Ну, если не совсѣмъ переродиться, то хоть сдѣлаться воспріимчивыми къ нравственному воздѣйствію. Надо только не упустить момента, надо, чтобы правительство и общество позаботились посѣять доброе сѣмя въ этой размягченной почвѣ. Подобнымъ сѣменемъ, мнѣ кажется, прежде всего могло бы явиться довѣріе къ несчастному, отверженному человѣку!

Такого рода теоретическіе споры вели мы по поводу сенсационнаго слуха, колеблясь то въ сторону вѣры, то — сомнѣнія.

Бесѣда въ рудникѣ съ Пѣтушковымъ окончательно сбила меня съ толку. Онъ клялся и божился, что самъ, собственными глазами читалъ бумагу, и что въ ней прямо говорится о двухъ третяхъ скидки.

— Я слышалъ вчера, — прибавилъ Пѣтушковъ, — какъ самъ Лучезаровъ говорилъ военному начальнику: «По расчету, въ тюрьмѣ должно остаться всего семь человѣкъ».

— Значитъ, все-таки останутся? Кто-же это?

— Кто-нибудь изъ вѣчныхъ, изъ такихъ, что уже вовсе нельзя выпустить...

— А я думалъ, что и тюрьму упразднить, и всѣмъ надзирателямъ отъ мѣста откажутъ.

— Проня и то опустилъ было голову. «Какъ же, говорить, теперь инструкція? Для кого-жъ она?» Ну, да я утѣшилъ его: кабы и ни одного арестанта въ тюрьмѣ не осталось, надзиратели-бъ, говорю ему, остались! Другъ дружку-бъ караулили, покамѣстъ новую кобылку-бъ не пригнали... Ха-ха-ха! Халудора его побери!

То, что могло грезиться только въ самыхъ безумныхъ снахъ, теперь свершалось на яву. Приходилось и мнѣ признать, наконецъ, что гласъ народа—подлинно гласъ Божій... И бурная радость охватывала душу, опьяняя ее свѣтлыми надеждами! Кончены долгія муки, развѣяны мрачныя чары... Свобода! Свобода!

Былъ яркій весенній день въ двадцатыхъ числахъ мая, когда назначенъ былъ молебень, и отмѣнены по этому случаю работы. Посрединѣ тюремнаго двора уже раннимъ утромъ поставили столъ, накрытый чистой бѣлой скатертью. Экономъ разложилъ на немъ пачки восковыхъ свѣчей. Кобылка толпилась во дворѣ съ радостно сіяющими лицами. Многіе нарядились въ чистыя рубахи и намазали себѣ волосы жиромъ. Не слышалось ни брани, ни обычныхъ ссоръ. Вчера еще заклятые враги—сегодня бесѣдовали мирно и дружелюбно. Юхоревъ съ двумя-тремя изъ своихъ пріятелей, тюремныхъ вожаковъ, рассказывалъ обычной геройской походкой вдоль фасада тюрьмы, и изъ его бесѣды съ ними до моего слуха долетали порой отдѣльныя фразы:

— Я опять на Олекму ударюсь!.. Чорта съ два сталъ я въ Забайкальи жить!.. Тамъ и дѣвки-то, по моему, слаще, и спиртъ крѣпче.

Ко мнѣ тоже подошли мои пріятели Чирокъ и Ногайцевъ, оба торжественно-солидные, слегка улыбающіеся.

— Ну, что, Миколаичъ, дождались и мы праздничка?

— Сонъ, просто сонъ да и на! То-и-дѣло протираешь шары—боязно, какъ бы не проснуться.

— Ну, что-жъ вы теперь, Ногайцевъ, дѣлать станете? на родину вернетесь?

— Возвращусь, безпремѣнно возвращусь. Дѣдушка у меня тамъ... Шибко любелъ меня дѣдушка!

— Какъ же вы жить тамъ станете, чѣмъ?

— Чудной ты, право, о чемъ спрашиваешь... Что-жъ, рукъ у меня, что-ль, нѣту? Аль думаешь, коли я разъ въ жизни одну аль двѣ сволочи убилъ, такъ скучать опять по острогѣ стану? Самъ

знаешь, Миколаичъ, что я и въ каторгѣ лодырничать не любилъ. Ну, ежели я жиромъ заплылъ, такъ развѣ это отъ себя? Это болѣзнь. Это нездоровый жиръ; больной я человѣкъ сталъ въ каторгѣ... А дай-ка мнѣ волю да вольную пишшу, я опять настоящимъ человѣкомъ стану!

Чирокъ внимательно вслушивается въ эти рѣчи Ногайцева, и лицо его дѣлается все серьезнѣе и важнѣе.

— Правду это истинную говоритъ Ногайцевъ,—заявляетъ онъ убѣжденнымъ тономъ:—въ тюрьмѣ развѣ можетъ человѣкъ человѣкомъ быть?

— А вы, Чирокъ, ужь не будете больше черемисовъ давить?—неволью спрашиваю я, припоминая, что до тюрьмы этотъ человѣкъ былъ несравненно меньше человѣкомъ, нежели въ тюрьмѣ, спрашиваю—и почти тотчасъ же раскаяваюсь въ своемъ вопросѣ.

Лицо Чирка принимаетъ въ высшей степени огорченный видъ.

— Эхъ, Миколаичъ!—онъ снимаетъ шапку и энергично чешетъ затылокъ, и это «эхъ!» звучитъ чѣмъ-то въ родѣ горькаго упрека.

Сами собой вспоминаются мнѣ разсужденія Валерьяна о благопріятномъ для нравственнаго перерожденія моментѣ: ужь и въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ-ли въ этихъ разсужденіяхъ нѣкоторой доли правды?

— Строй-ся!—раздался вдругъ оглушительный возгласъ надзирателя, и все зашевелилось. Арестанты почти моментально построились въ ряды. Ворота распахнулись, и стройнымъ шагомъ вошли въ нихъ цѣлая рота мѣстныхъ казаковъ съ молодымъ хорунжіемъ впереди. Послышались и для нихъ слова команды, и казаки выстроились направо отъ арестантовъ точь въ точь такими же шеренгами. Очевидно, ожидалась внушительная и величественная церемонія.

Надзиратель уже безмолвствовалъ, когда вслѣдъ затѣмъ въ ворота вошли пріѣхавшій изъ завода старикъ-священникъ съ рослымъ, представительнымъ дьякономъ, казацкій есаулъ, толпа надзирателей и конторскихъ писарей и во главѣ ихъ Шестиглазый съ бумагой въ рукахъ, при одномъ видѣ которой сердца въ груди у всѣхъ дрогнули и сладко замерли. Въ заключеніе ввели вольнокомандцевъ-арестантовъ и построили на лѣвомъ крылѣ отдѣльнымъ взводомъ. Все это произошло быстро, съ необыкновенной помпой и величайшимъ порядкомъ.

— Благослови, Вла-ды-ко!—рявкнулъ дородный, плечистый дьяконъ, нарушая внезапно благоговѣйную тишину, и богослуженіе началось. Всѣ, какъ одинъ человѣкъ, шумно перекрестились широкимъ

крестомъ. Истово крестились даже и тѣ изъ арестантовъ, которые на словахъ не вѣрили, что называется, ни въ чохъ, ни въ сонъ, похода богохульствовали и заявляли себя самыми крайними атеистами. Было-ли это искреннее умиленіе, серьезная готовность возродиться? Вліяло-ли отчасти присутствіе многочисленнаго начальства?..

Передъ провозглашеніемъ многолѣтія къ столу торжественно приблизился бравый капитанъ, медленно развернулъ таинственную бумагу, которую все время держалъ въ рукахъ, окинулъ ликующимъ взоромъ строй бритыхъ арестантскихъ головъ и громко произнесъ:

— Такъ вотъ что, братцы, дождались вы великой милости!.. Слушайте бумагу, полученную мной отъ военнаго губернатора.

Если бы муха пролетѣла въ это время по тюремному двору, то, вѣроятно, и ее шелестъ былъ бы всѣми услышанъ. Гдѣ-то далеко, за тюремными воротами, кто-то кашлянулъ; высоко въ небѣ прощелкала ласточка...

Читалъ Лучезаровъ громко, необыкновенно отчетливо и выразительно, не только голосомъ, но и взоромъ и жестомъ руки подчеркнувъ слѣдующія слова: «При условіяхъ хорошаго поведенія, искренняго раскаянія и добраго мѣнія начальства, сроки наказанія арестантовъ, назначенные имъ по суду, могутъ быть уменьшаемы *до двухъ третей*»!!!

У всѣхъ точно тяжелый камень свалился съ плечъ: теперь уже всѣ собственными ушами слышали то, чему раньше приходилось вѣрить лишь на основаніи толковъ и слуховъ, хотя бы и самыхъ достовѣрныхъ. Кобылка глубоко завздыхала, закрестилась, радостно заколыхалась...

— Слава тебѣ, Господи!—послышались возгласы старичковъ.

Лучезаровъ, между тѣмъ, продолжалъ чтеніе губернаторской бумаги по пунктамъ, хотя его никто уже не слушалъ и никто не понималъ.

— Ну, такъ вотъ что: *до двухъ третей* скидывается вамъ!—торжественно возгласилъ онъ еще разъ, окончивъ чтеніе и высоко поднявъ въ воздухъ бумагу.

Видимо, бравый капитанъ самъ искренно ликовалъ. Багрово-красное лицо съ длинными желтыми усами казалось на этотъ разъ не грознымъ, а сіяло умиленіемъ... Да и вся внушительная фигура Лучезарова приняла, казалось, меньше противъ обыкновеннаго размѣры, превратившись въ фигуру обыкновеннаго смертнаго... Внимательно поглядѣвъ затѣмъ въ обѣ стороны арестантскихъ рядовъ,

Шестиглазый быстрыми шагами подошелъ ко мнѣ и, протянувъ бумагу, любезно сказалъ:

— Просмотрите еще разъ и объясните имъ въ камерахъ, если чего, быть можетъ, не поняли.

Это было въ первый разъ, что онъ говорилъ мнѣ безъ всякихъ обиняковъ ~~ем~~ при столь официальной обстановкѣ.

Между тѣмъ, священникъ, благообразный старикъ съ длинными бѣлыми волосами, тоже умиленно заговорилъ:

— Такъ вотъ, ребятунки, какая милость вамъ вышла! Можетъ быть, нѣкоторые изъ васъ и не заслужили ея, а и тѣмъ будетъ сброшено двѣ трети срока. Ну, помолимся же еще разъ-покрѣпче и потеплѣе!

И снова началось жаркое моленіе.

— Лебята, кто хочетъ свѣци купить, белите!—кинулся толстый и красный, какъ кирпичъ, эконокъ къ рядамъ арестантовъ съ пучкомъ восковыхъ свѣчей въ рукахъ. Ихъ живо расхватили у него (онъ отлично запоминалъ, кто именно). Брали не только благочестивые старички, но и равнодушный къ религіи «молодажничекъ», не только состоятельные люди, но и такіе, за кѣмъ въ конторѣ числилось не больше десяти копѣекъ. Дьяконъ, зараженный общимъ энтузіазмомъ, просто надрывался, провозглашая многолѣтіе, и когда могучій басъ его загремѣлъ «многая лѣта» плѣненнымъ, заключеннымъ, а затѣмъ и ихъ начальникамъ, то арестантскій хоръ равкнулъ въ отвѣтъ ему такъ искренно, такъ громоподобно, что, вѣроятно, на самыхъ дальнихъ сопкахъ было слышно его; по крайней мѣрѣ, парившій въ небесной синевѣ, въ видѣ маленькой точки, коршунъ тотчасъ же скрылся изъ моихъ глазъ...

Бурной волною текла ликующая кобылка въ корридоръ тюрьмы, окружая меня и громко требуя, чтобы еще разъ прочитана была драгоценная бумага.

— По гуковкамъ, по гуковкамъ заучимъ! Читай, Миколанчъ, читай!

Мы съ Штейнгартомъ теперь только переглянулись, и я увидалъ, что у насъ одна и та-же мысль лежитъ въ глубинѣ души.

— Стойте, братцы,—обратился я къ толпѣ, едва подавляя собственное волненіе:—тутъ вѣдь крупная ошибка выходитъ, недоразумѣніе... Никакихъ двухъ третей намъ не скидывается, а всего только одна треть, да и та не непременно цѣликомъ и каждому. Могутъ скинуть меньше, могутъ и совсѣмъ ничего не скинуть.

— Что ты говоришь?! Смѣешься, что-ли, надъ нами?!

— Нисколько не смѣюсь; но и начальникъ, и священникъ, и вы всѣ поняли бумагу не такъ, какъ слѣдуетъ.

За минутой ошеломленнаго молчанія поднялся невообразимый гвалтъ. Раздались взбѣшенные голоса:

— Чего онъ плететъ? Отуманить насъ хочетъ!

— Не слушайте его, братцы! Мы вѣдь сами, своими ушами-то слышали!

— Возьмите у него бумагу, сами читайте. Кто грамотный?

— *Эти* люди всегда смуту сѣютъ, всегда начальство замарать наравятъ!—уловилъ я въ заднихъ рядахъ звонкій голосъ Богодарова, каторжнаго изъ дворянъ, вышедшаго когда-то изъ VI класса иркутской гимназіи, за подлогъ угодившаго въ Среднеколымскъ, а оттуда за убійство въ пьяномъ видѣ — въ Шелайскій рудникъ. Это былъ чахоточный, противъ всего на свѣтѣ озлобленный и страшно самолюбивый человекъ, мнившій себя высоко образованнымъ (а на самомъ дѣлѣ не умѣвшій писать грамотно) и глубоко ненавидѣвшій меня, тоже бывшаго дворянина, обладавшаго подлиннымъ образованіемъ.

— Имъ непріятно, что правительство человеколюбіе такое выказало!..—громко, не стѣсняясь насъ, продолжалъ кричать Богодаровъ, и можно было уловить тамъ и сямъ сочувственное ему мычаніе. Вслѣдъ затѣмъ Богодаровъ куда-то скрылся. Оказалось потомъ, что онъ побѣждалъ докладывать Шестиглазому, что я съ товарищами бунтую арестантовъ, объясняя имъ, что никакихъ двухъ третей нѣтъ и не будетъ, что это одинъ обманъ. Онъ самъ потомъ рассказывалъ кобылкѣ, будто Шестиглазый страшно разсердился и закричалъ:

— Скажи ему (т. е. мнѣ), что я до сихъ поръ просвѣщеннымъ человекомъ считалъ его, а онъ оказался просто-на-просто... осломъ!

Не знаю, выразился-ли бравый капитанъ такъ рѣзко, но что онъ былъ сильно раздраженъ моимъ противорѣчіемъ общему (и въ томъ числѣ его, Лучезаровскому) мнѣнію, это вполнѣ вѣроятно.

Арестанты, между тѣмъ, продолжали волноваться и шумѣть. Чѣмъ больше читали имъ бумагу собственные ихъ грамотѣи, тѣмъ сильнѣе укоренялась въ нихъ увѣренность насчетъ двухъ третей. Едва только чтеніе доходило до строкъ: «При условіяхъ и проч. сроки наказанія арестантовъ, назначенные имъ по суду, могутъ быть уменьшаемы до двухъ третей»,—какъ слушатели приходили тотчасъ же въ неистовый восторгъ и, размахивая руками, съ азартомъ кричали:

— Ну, чего же онъ спорить? Вѣдь написано тутъ? Мы не глухіе тоже... Ахъ ужъ дураками насъ вовсе считаютъ? Вотъ они, высокоумные... Учились, учились, да и умъ то ужъ за разумъ зачать заходить!

Многіе изъ арестантовъ совсѣмъ даже перестали въ эти дни разговаривать со мною и проходили мимо, не здороваясь, какъ всегда прежде, и отворачивая въ сторону голову, а нѣкоторые, напротивъ, глядѣли нахально въ глаза съ нескрываемымъ выраженіемъ ненависти и презрѣнія. И только сравнительно немногіе сохраняли все время прежнюю теплоту отношеній. Такъ, Кузьма Чирокъ говорилъ мнѣ съ добродушной укоризной:

— Посередѣ чурокъ лѣсныхъ взросъ я, Миколаичъ, и самъ не болѣ, какъ пень пермяцкій... Что люди говорятъ, тому я и вѣрю. Ну, а все же, надо полагать, маху ты на этотъ разъ далъ! Ужъ очень знатко написано въ бумагѣ-то, — я даже понимаю, что двѣ трети, а ты толкуешь—одна треть!

— Послушайте, Чирокъ. Если у меня, положимъ, не будетъ хлѣба, а у васъ я увижу цѣлую краюху, подойду и скажу вамъ по-пріятельски: «Кузьма, дайте мнѣ хлѣба, уменьшите свою порцію до двухъ третей». Вы сколько же оставите себѣ и сколько мнѣ дадите?

— Ну, я и дамъ тебѣ третью часть, а себѣ двѣ трети оставлю! — не задумываясь, рѣшаетъ Чирокъ.

— Ага! когда дѣло коснулось вашей пользы, вы поняли? Почему же тамъ, гдѣ вамъ невыгодно оставить себѣ двѣ трети, вы оставляете только одну?

Въ сильномъ волненіи заскребъ себѣ Чирокъ и голову, и брюхо.

— Ахъ, Миколаичъ, Миколаичъ. Не раздражай ты моего сердца, замолчи!

Въ числѣ немногихъ другихъ «сурьезныхъ» и бывалыхъ арестантовъ Юхоревъ также ни на іоту не измѣнилъ своего отношенія ко мнѣ съ товарищами. Онъ, какъ всегда, бравировалъ своимъ каторжнымъ презрѣніемъ ко всякаго рода милостямъ.

— А наплевать мнѣ,—говорилъ онъ, трясая, какъ левъ, своей могучей головою:—Дадутъ треть—возьму и треть, съ лихой собаки шерсти клочъ... А, впрочемъ, на себя самого всего лучше надѣяться!

И, загнувъ крѣпкое словцо, онъ торопливо, по обыкновенію, убѣгалъ легкой походкой по своимъ дѣламъ. Что касается, однако, смысла бумаги, то я не сомнѣвался, что въ глубинѣ души онъ понималъ его такъ же, какъ всѣ.

По окончаніи одного изъ горячихъ споровъ моихъ съ арестантами, въ которомъ принималъ участіе и дежурившій въ тотъ день надзиратель,—Луныковъ тайнственно отозвалъ меня въ сторону и сказалъ:

— Иванъ Николаевичъ, я вполне готовъ вѣрить вамъ. Конечно, куда же супротивъ васъ не только намъ, а и самому Шестиглазому. Но только одно я вамъ посоветую: держите про себя, что думаете... Ну, вдругъ до высшаго начальства донесется? Спихватится оно и не дастъ намъ двухъ третей... Намъ же вѣдь лучше, ежели они не вѣрно понимаютъ...

И онъ такъ трогательно-умоляюще глядѣлъ на меня, произнося это, что я не въ силахъ былъ даже засмѣяться. Между тѣмъ Лучезаровъ, разсерженный въ первыхъ попыткахъ, началъ должно быть размышлять. Когда на одной изъ вечернихъ повѣровокъ кто-то изъ арестантовъ спросилъ его; точно-ли двѣ трети прощаются каторжнымъ, бравый капитанъ отвѣчалъ уже съ нѣкоторымъ смущеніемъ, бросивъ косвенный взглядъ въ мою сторону:

— Я послалъ запросъ завѣдующему каторгой... Въ губернаторской бумагѣ, дѣйствительно, нѣсколько неясныя на этотъ счетъ выраженія... Во всякомъ случаѣ, вопросъ очень скоро будетъ разъясненъ.

Пѣтушковъ тоже не разъ затѣвалъ со мной споры въ рудникѣ. Онъ понималъ бумагу, какъ всѣ, въ пользу арестантовъ и полушутя, полусерьезно упрекалъ меня въ самолюбіи, въ желаніи во всемъ быть не такимъ, какъ другіе.

— Я хорошо знаю, что вы ученые люди, а мы пни тасжные ну, а всетаки, ежели не мы, такъ вѣдь Монаховъ-то съ Лучезаровымъ не меньше могутъ понимать?... Они тоже чему-нибудь учились... Да чего! самъ завѣдующій, слышно, объяснять, что скидывается двѣ трети... Неужто-жъ никто, халудора, такъ-таки никто, кромѣ васъ однихъ, во всей нашей Сибири читать не умѣтъ.

— Не читать не умѣютъ, Ильичъ, а настроились всѣ въ пользу двухъ третей—вотъ такъ и понимаютъ. А вы вотъ что скажите мнѣ: положимъ, вы бы 90 руб. жалованья въ мѣсяцъ получали.

— Охъ, ловко-бъ это, халудора, было!

— Положимъ теперь, что за какую-нибудь провинность вамъ уменьшили бъ это жалованье до двухъ третей. Сколько-бъ вы тогда получать стали?

— Раньше, говоришь, было 90? Ну, понятно, осталось бы 60 рублей.



— Ну, вотъ сами видите, что по моему и выходить.

— Какъ такъ? Что такое? Гдѣ по твоему, халудора тебя заѣшь?— срывался съ мѣста Пѣтушковъ и, продолжая споръ, соглашался про-закладывать своего любимого коня Воронка противъ 50 руб. съ моей стороны...

Молва о томъ, что трое образованныхъ арестантовъ зауничались, катилась, точно снѣжный комъ, по шелайскимъ окрестностямъ, и скоро объ этомъ знали и говорили даже въ заводѣ. Общественное мнѣніе было не на нашей сторонѣ, и всѣ съ явнымъ злорадствомъ поджидали рѣшенія высшаго начальства, рѣшенія, которое должно было въ конецъ пристыдить и опозорить насъ!

— А что, Иванъ Николаевичъ,—шутливо говорилъ мнѣ иногда Штейнгартъ:—вѣдь самая большая непріятность будетъ теперь для насъ, если начальство для смѣха возьметъ да и примѣнитъ къ намъ двѣ трети? Ужъ лучше, пожалуй, въ тюрьмѣ остаться, но за то въ качества побѣдителей?

— Ну, нѣтъ, я не согласенъ,—отвѣчалъ я, тоже шутя:—по моему, лучше провалиться, но двѣ трети получить!

Время, между тѣмъ, шло. Большинство арестантовъ ждало, что выпускать изъ тюрьмы станутъ — самое позднее — нѣсколько дней спустя, а нѣкоторые были разочарованы, когда ихъ не выпустили тотчасъ же послѣ молебна и вечеромъ, какъ всегда, сдѣлали повѣрку, прочитали нарядъ на работы и заперли на замокъ. На другой день кто-то пустилъ слухъ, что изъ богадѣльни въ Александровскомъ заводѣ всѣ арестанты давно уже выпущены, и семидесятилѣтніе богодулы, гуляя по кабакамъ, хвастливо шамкаютъ беззубыми ртами:

— Мы еще загремимъ, братцы!..

Но слухъ этотъ былъ вскорѣ опровергнутъ. Дни шли за днями. Повѣрки, работы, весь строй каторжной жизни продолжался своимъ чередомъ; умилненное настроеніе надзирателей и самого Штегглаза смѣнилось прежней важностью и суровостью, и кобылка быстро начала падать духомъ. Втайнѣ она продолжала вѣрить въ двѣ трети, но явно все чаще и чаще слышались голоса:

— Правъ Иванъ Николаевичъ, правъ:—и одной-то трети по-нюхать намъ не дадутъ! Какой тутъ можетъ быть законъ въ Сибири? Одно слово—шемякинъ судъ!

Въ серединѣ лѣта никто даже и не заговаривалъ больше о манифестѣ. О примѣненіи его не было ни слуху, ни духу. Наконецъ,

уже въ сентябрѣ мѣсяцѣ, разнеслась молва, что въ Зерентуйскомъ рудникѣ двоимъ заключеннымъ объявлена сбавка въ двѣ трети.

— Въ двѣ трети?!

— Да,—говорили съ увѣренностью вѣстники.

— Да какъ же такъ?..—Если это тотъ Малышевъ, котораго я знаю, такъ ему и оставалось-то всего вѣдь нѣсколько мѣсяцевъ, а судился онъ на двѣнадцать лѣтъ.

— А я Сухопятова знаю,—подхватилъ другой изъ слушателей:—онъ въ одинъ день со мной судился, только мнѣ однимъ годомъ больше присудили... Значить, онъ и такъ ужъ пересидѣлъ, потому и мнѣ на дняхъ, почестъ, срокъ выйдетъ!

— Какія жъ это двѣ трети?

— Ну, да, можетъ, не тотъ Сухопятовъ,—а другой.

Но вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ Лучезаровъ прочиталъ на повѣркѣ, что трое арестантовъ, находящихся въ Шелайской вольной командѣ, выходятъ по манифесту на поселеніе. Про этихъ всѣхъ уже отлично знали, что одному оставался до поселенія мѣсяцъ, двоимъ по два мѣсяца! Каждая почта стала приносить послѣ того подобныя же скидки арестантамъ, большею частью изъ вольнокомандцевъ, сроки которымъ и безъ того оканчивались въ самомъ близкомъ будущемъ, а одинъ разъ пришелъ приказъ о годовой скидкѣ арестанту, который наканунѣ совсѣмъ окончилъ свою каторгу!.. Разочарованіе было полнѣйшее. Каторга громко негодовала. Иваны больше чѣмъ когда-либо бравировали, заявляя, что они все равно ни въ какихъ милостяхъ не нуждаются, а мелкая шпана ворчала, что сибирское начальство «украло» у нея двѣ трети.

— Да ужъ одну-бъ то хотъ дали полнякомъ,—а то и одной вѣдь не выходить!

Рѣшили обратиться за разъясненіями къ Шестиглазому. Бравый капитанъ, какъ ни въ чемъ не бывало, съ превеликимъ апломбомъ отвѣчалъ:

— Мальчишествомъ было думать, что скинуть цѣлыхъ двѣ трети! Въ бумагѣ, точно, была нѣкоторая неясность, но я тогда же предупреждалъ васъ: не возлагайте слишкомъ большихъ надеждъ, ждите разъясненія.

— Да хотъ треть-то будетъ-ли скинута, господинъ начальникъ?

— Треть непремѣнно. Надо только очереди дожидаться. Сразу ко всѣмъ примѣнить манифестъ невозможно, васъ вѣдь тысячи цѣлыхъ...

Объ той же физической невозможности говорилъ въслѣдствіи шелайскимъ арестантамъ и самъ завѣдующій каторгой. Но я никогда не понималъ ея, какъ не понимаю и до сихъ поръ. Въ управленіи нерчинской каторги работаютъ цѣлые десятки чиновниковъ всевозможныхъ названій и окладовъ жалованья; между тѣмъ, я думаю, два-три хорошо грамотныхъ и добросовѣстныхъ писарька безъ особеннаго труда могли бы въ одинъ какой-нибудь мѣсяцъ подсчитать по статейнымъ спискамъ сроки и сбросить съ нихъ третью часть всѣмъ 3000 человѣкъ, находящимся въ нерчинской каторгѣ. Канцелярская же волокита умудряется употреблять на это довольно немудрое дѣло отъ 1 до 2 лѣтъ!..

Жизнь вошла окончательно въ обычную колею. Розовыя иллюзіи разсѣялись. Въ теченіе цѣлаго года, «черезъ чашъ по столовой ложкѣ», какъ острили арестанты, объявлялись скидки малосрочнымъ. О долгосрочныхъ, казалось, позабыли совсѣмъ. Конечно, при сбрасываніи одной трети на ихъ плечахъ оставалось все еще достаточно число лѣтъ каторги, и торопиться съ объявленіемъ имъ «милости» не было, пожалуй, особенной нужды, но недовольство долгосрочныхъ имѣло и свою не безосновательную причину. Именно, они надѣялись (и мнѣ самому надежда эта казалась справедливой), что не только весь срокъ уменьшенъ будетъ на одну треть, но въ такой же мѣрѣ сократится и срокъ «испытумый», подлежащій отсидкѣ въ стѣнахъ тюрьмы и составляющій поѣтому самую тяжелую часть каторги. Надежда эта, однако, рушилась, какъ и многія другія надежды, и по прошествіи года Лучезаровъ объявилъ намъ о полученномъ имъ откуда-то разъясненіи, что испытумые сроки должны остаться точь въ точь такими же, какими были и до манифеста \*). Это было одно изъ самыхъ горькихъ разочарованій для долгосрочныхъ... Вѣчный, къ которому примѣнили манифестъ, становился

---

\*) Тюремный срокъ каторжныхъ зависитъ отъ числа лѣтъ всего приговореннаго имъ срока. Такъ, для вѣчныхъ онъ равняется одиннадцати годамъ; для осужденныхъ на 16, 17, 18 19 и 20 лѣтъ—семи годамъ, на 13, 14 и 15—пяти годамъ, 10, 11 и 12—тремъ съ половиной и т. д. Каторжные, имѣющіе больше 12 лѣтъ всего срока, считаются *первымъ* или *рудниковымъ* разрядомъ и не пользуются въ обычное время никакими скидками, кромѣ двухъ мѣсяцевъ съ года за хорошее поведение. Каторга же малосрочныхъ, благодаря большой горной славѣ, и въ обычное время сокращается почти на половину. Такимъ образомъ, чѣмъ длиннѣе срокъ каторжнаго, тѣмъ положеніе его хуже во всѣхъ отношеніяхъ.

*Прим. авт.*

20-лѣтнимъ каторжнымъ, 20-лѣтній—13-лѣтнимъ каторжнымъ, но мало утѣшительно было это сокращеніе въ далекомъ будущемъ, когда въ данный моментъ первому изъ нихъ предстояло по прежнему отсиживать въ тюрьмѣ одиннадцать, второму—семь лѣтъ, съ ошелеванной бритвѣй головой и закованными въ кандалы ногами...

Но были еще и другія черты въ примѣненіи къ каторгѣ манифеста, дававшія ей поводъ думать, что мѣстное начальство «украло» у нея царскую милость. Въ манифестѣ было, правда, оговорено доброе поведеніе, раскаяніе и другія условія его примѣненія, и оговорку эту слышали всѣ собственными ушами, но каждый понималъ дѣло такъ, что во вниманіе принято будетъ его поведеніе лишь въ ближайшее къ изданію манифеста время, а отнюдь не всѣ тѣ провинности, какія были замѣчены и внесены въ книгу живота три, четыре и даже десять лѣтъ тому назадъ. Каково же было общее изумленіе, когда на дѣлѣ *ося* такіе арестанты оказались «изъятыми» изъ манифеста, и прежде всего такъ называемые бѣглецы, т. е. когда-либо дѣлавшіе попытку бѣжать съ каторги! Суровость этого послѣдняго изъятія особенно рѣзко бросалась въ глаза, такъ какъ мы не разъ уже приходилось указывать, насколько строго и подчасъ несправедливо караются нашимъ законодательствомъ побѣги и какъ бываетъ мрачна по своей полной безнадежности участь бѣгуновъ въ каторгѣ.

— Украло у насъ манифестъ сибирское начальство! Шемякинъ судъ!—говорила кобылка, въ отчаяніи махая рукою:—эхъ, гдѣ наше не пропадало!..

Много забористой брани разсыпалось въ эти дни по адресу начальства, но чуть ли не больше всего досталось старику-священнику, на котораго почему-то всю вину свалили.

— Долговолосый дьяволъ!.. «Ну, теперь, говорить, ребятушки, помолимся покрѣпче,—передразнивали его, кичя непонятною злобой,—потому и тѣ изъ васъ, которые того не заслуживаютъ, и тѣ получать двѣ трети»!.. О, грива твоя нечесаная, чтобъ тебѣ пусто было! Получили!.. Двѣ трети!.. У, жеребьячья порода!

Безпощадно осмѣивались также тѣ изъ арестантовъ, которыхъ видѣли ставившими свѣчи во время молебна. Уличаемые отпирались и, въ свою очередь, указывали на другихъ. Одни краснѣли конфузливо, другіе свирѣпо огрызались.

Немало происходило по этому поводу забавныхъ и вѣдѣтъ печальныхъ сценъ.

## VI.

## На очной ставкѣ.

Населеніе нерчинскихъ рудниковъ въ послѣднее время сильно таяло и независимо отъ манифеста, благодаря частымъ выборкамъ здоровыхъ арестантовъ на Сахалинъ и, главнымъ образомъ, потому, что изъ Россіи временно почти прекратился притокъ свѣжихъ партій (вѣроятно, также благодаря усиленному требованію ихъ на Сахалинъ). Населеніе Шелайскаго рудника рѣдѣло не по днямъ, а по часамъ; не хватало здоровыхъ арестантовъ для исполненія даже тѣхъ несложныхъ функций, какія имѣлись въ его повседневной жизни. Особенный недостатокъ чувствовался въ мастеровыхъ всякаго рода. Въ гору наряжали совсѣмъ мало народа, и Монаховъ прекратилъ дѣйствіе одной изъ шахтъ. Между тѣмъ, изъ маленькихъ партій, время отъ времени продолжавшихъ всетаки приходить изъ Россіи, въ Шелай не присылали почему-то ни одного человѣка: арестанты объясняли это «варварской» славой браваго капитана и дурными отношеніями къ нему завѣдующаго каторгой. Предполагалось, что Шестиглазый жить не можетъ, «спать спокойно не можетъ безъ нашего брата», и что этимъ игнорированьемъ его тюрьмы ему можно насолить всего сильнѣе. Говорили, что онъ то и дѣло посылалъ «за-требованья» новыхъ людей, и временами къ намъ присылали, дѣйствительно будто на смѣхъ, двухъ-трехъ старичковъ, которыхъ давно уже слѣдовало бы поселить въ богадѣльнѣ, кривыхъ, хромыхъ, неспособныхъ ни къ какой работѣ и не знающихъ никакого ремесла. Лучезаровъ тогда рвалъ и металъ и немедленно отсылалъ новую «партію» обратно, отзываясь, что у него нѣтъ свободныхъ мѣстъ въ лазаретѣ.

Съ уменьшеніемъ числа сильныхъ и здоровыхъ элементовъ въ тюрьмѣ, на мѣста такъ наз. «домашнихъ» рабочихъ, камерныхъ старостъ, парашниковъ, больничныхъ и другихъ служителей, тяжести работъ которыхъ Лучезаровъ не вѣрилъ, все больше и больше ставились слабосильные старички и завѣдомые больные, сифилитики, чахоточные. Одинъ только гигантъ Юхоревъ сумѣлъ какъ-то и въ это время сохранить за собою мѣсто общаго старосты, позволявшее ему цѣлый день лежать на боку или слоняться безъ дѣла по тюрьмѣ. Шестиглазый, очевидно, былъ чрезвычайно къ нему расположенъ и, по разсказу самого Юхорева, говорилъ ему:

— На должности старосты непременно долженъ быть такой человекъ, какъ ты, — съ хорошей плоткой и здоровымъ кулакомъ, чтобъ живо можно было унять недовольныхъ! Не допускай, чтобы въ тюрьмѣ слышалась воркотня на пищу или тяжесть работъ. Чуть что, не докладывая мнѣ, расправляйся самъ съ буннами.

— А по мнѣ пускай, что хочеть брешеть, собачій сынъ! — прибавлялъ отъ себя Юхоревъ, передавая такіа поученія браваго капитана: — я слушаю да молчу. Что мнѣ мѣшаетъ вытянуться по солдатски да гаркнуть: «Слушаю-съ, господинъ начальникъ!» Душа изъ него вонъ.

И Юхоревъ продолжалъ быть тюремнымъ царькомъ и все больше и больше забирать въ свои руки власть надъ артелью. Это была вообще деспотическая натура. Ради соблюденія одной формы ходилъ онъ иногда по камерамъ и спрашивалъ: «Ребята, желаете-ли того-то и того-то?» Но изъ самаго тона, какимъ онъ задавалъ вопросъ, сейчасъ же было видно, что ему самому кажется желательнымъ, и отвѣтъ шпанки всегда былъ обезпеченъ. Случалось, что за глаза Юхорева не одобряли, поговаривали даже, что онъ заважничалъ, и что нашлось бы, молъ, изъ кого и другого старосту выбрать, но говорилось это не серьезно, такъ какъ отлично всѣ понимали, что никто другой въ тюрьмѣ не въ состояніи тягаться съ Юхоревымъ ни въ умѣ, ни во внутренней силѣ, ни даже во внѣшней представительности. Стоило только появиться въ толпѣ арестантовъ могучей фигурѣ Юхорева, какъ всѣ они начинали казаться передъ нимъ мелкими мухами, самой заурядной шпаной. Существовала также преувеличенная увѣренность въ томъ, что общій староста пользуется огромнымъ вліяніемъ на эконома, обдуваетъ его въ пользу артели и, вообще, держитъ въ ежовыхъ рукавицахъ. Мнѣ самому, дѣйствительно, приходилось слыживать въ кухнѣ, какъ Юхоревъ въ глаза называлъ эконома шепелявымъ чертомъ, и тотъ только добродушно ежился да отшучивался. Но «шепелявый чортъ», съ своей стороны, производилъ впечатлѣніе достаточно пронырливой бестіи, чтобы могъ въ чемъ-нибудь уступить самому хитрому и ловкому арестанту; восхищеніе кобылки умомъ своего старосты было чисто платоническимъ, никакихъ видимыхъ благотворныхъ для себя плодовъ отъ его побѣдоносной политики тюрьма не видѣла; напротивъ, баланда въ котлѣ становилась съ каждымъ мѣсяцемъ все водянистѣе и безвкуснѣе, мяса все меньше и меньше; сало для каши то подъ тѣмъ, то подъ другимъ предлогомъ не выдавалось цѣлыми

недѣлями. Все это кобылка отлично видѣла и чувствовала, но личность Юхорева была слишкомъ обаятельна и слишкомъ подавляла всѣхъ, чтобы раздались, наконецъ, противъ него громкіе протесты.

Между тѣмъ, самъ Юхоревъ, отъ природы жилистый и сухощавый, начиналъ лосниться отъ жира и избытка здоровья; онъ не пилъ чаю безъ молока, курилъ только хорошій табакъ, ѣлъ много мяса и даже бывалъ иногда пьянъ, доставая спиртъ отъ фельдшера Землянскаго, съ которымъ велъ большую дружбу. Онъ самъ похвалялся арестантамъ послѣ одного изъ тюремныхъ обысковъ, что если бы пошарили хорошенько въ его бушлатъ, то нашли бы тамъ цѣлыхъ двадцать пять рублей. Откуда у него явились такія деньги? Откуда онъ бралъ молоко, мясо? Кобылка старалась не думать о подобныхъ щекотливыхъ вопросахъ, продолжая молчаливо и безропотно питаться помоями.

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней Штейнгартъ и я гуляли, по обыкновенію, съ Башуровымъ въ корридоръ, какъ вдругъ Юхоревъ крикнулъ съ порога своей камеры:

— Валерьянъ, завтракъ поданъ, иди, дружище!

— Какой такой завтракъ? — съ недоумѣніемъ обратились мы къ товарищу.

Башуровъ сконфузился.

— Да, знаете, тамъ... Юхоревъ часто потчуетъ... Неловко какъ-то бываетъ отказываться.

— Чѣмъ онъ потчуетъ?

— Ну, разнымъ тамъ, картошкой, иногда мясомъ...

— Да вы развѣ не знаете, откуда онъ беретъ все это? Вѣдь онъ у артели крадетъ и если мы станемъ участвовать въ его пирушкахъ, то какъ начнутъ глядѣть на насъ арестанты? Юхореву простятъ, а намъ нѣтъ.

— О! да они вѣдь всѣ участвуютъ... У насъ чуть не вся камера ѣстъ картошку!

— Вотъ именно: «чуть не вся»... Какому-нибудь Карпушкѣ, навѣрное, ничего не даютъ? Ваша камера имѣетъ завтраки только потому, что въ ней случайно скопились иваны, а другіе сидятъ голодные.

— Мелочной вы ригористъ, Иванъ Николаевичъ! Несчастная какая-нибудь картофелина или луковица... Больше я, обыкновенно, ничего не беру... Вѣдь обидишь отказомъ!

Штейнгартъ рѣзко сталъ, однако, на мою сторону, и смущен-

ный Башуровъ отъ завтрака на этотъ разъ отказался. Но прошло нѣсколько недѣль, и я опять имѣлъ случай убѣдиться, что по безхарактерности или излишней деликатности Валерьянъ возобновилъ участіе въ юхоревскихъ пирушкахъ. Затѣвать по этому поводу новыя пренія я не считалъ возможнымъ, зная огромное самолюбіе Башурова, и предпочелъ махнуть рукою, сказавъ себѣ мысленно, что онъ самъ уже взрослый человѣкъ, и что, въ концѣ концовъ, каждый изъ насъ отвѣчаетъ только за свой личный образъ дѣйствій... Но мнѣ сильно, по прежнему, не нравилось, что дружба его съ Юхоревымъ росла, казалось, не по днямъ, а по часамъ, и что онъ продолжалъ вступать въ фамиллярную и, во всякомъ случаѣ, ненужную близость и съ другими также арестантами. Они позволяли себѣ хлопать его по плечу, называли просто по имени, отпускали на его счетъ грубоватыя шутки. Я и самъ никогда не держался съ арестантами недотрогой: напротивъ, многіе изъ нихъ называли меня даже «волынщикомъ»... Но, затѣвая всѣ подобныя волюнки (съ Чиркомъ, Ногайцевымъ, Сохатымъ и др.), я старался никогда не переходить въ нихъ за извѣстный предѣлъ сдержанности и чувства собственного достоинства. Штейнгартъ даже больше моего былъ въ этомъ отношеніи мнителенъ. Но теперь, когда неосторожный товарищъ сталъ практиковать совершенно новую политику отношеній, мы оба инстинктивно сжались и сдѣлались въ обращеніи съ арестантами болѣе прежняго замкнуты и сухи. Наблюдательная кобылка скоро замѣтила это обстоятельство и нерѣдко стала подчеркивать въ нашемъ присутствіи (не то серьезно, не то въ шутку), что, вотъ-моль, Валерьянъ Башуровъ—простой человѣкъ, душа-человѣкъ, не то что мы двое—гордые люди, гнушающіеся темнымъ людомъ...

Но, какъ и предсказывалъ Штейнгартъ, Валерьянъ не смогъ надолго остаться въ одномъ и томъ же настроеніи, и у него тамъ и сямъ стали случаться рѣзкія стычки съ пріятелями-арестантами. Объ одной такой стычкѣ съ любимымъ его «ученикомъ» Быковымъ заговорили во всей тюрьмѣ. Этотъ Быковъ былъ замѣтная въ своемъ родѣ фигура, и я долженъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Ближайшій другъ Юхорева, онъ былъ обязанъ, однако, своей замѣтностью не какимъ либо внутреннимъ качествамъ, а почти исключительно физической внѣшности. Туповатый и недалекій малый, онъ былъ чуть не цѣлой головой выше Юхорева и Сохатаго и при этомъ сухъ и тощъ, какъ спичка; смертельно-блѣдное лицо на огромномъ четырехугольномъ черепѣ, глубоко впавшіе каріе глазки и чуть за-



мѣтная желтая борода, длинныя, костистыя руки, отличавшіяся феноменальной силой,—таковъ былъ обликъ этого огромнаго живого скелета, въ дополненіе ко всему имѣвшаго грубый, непріятный голосъ съ отрывистымъ смѣхомъ... Пришелъ Быковъ въ каторгу за насиліе надъ женщиной, хотя самъ онъ находилъ свое осужденіе возмутительно-жестокимъ и несправедливымъ дѣломъ.

— Ха! законъ!—говорилъ онъ своимъ жесткимъ, сердитымъ басомъ:—какой тутъ можетъ быть законъ? За какую-нибудь пляющую старушонку посылать человѣка въ каторгу...

— Но вы точно обидѣли ее? Вы этого не отрицаете, Быковъ?

— Какая тутъ можетъ быть обида? Ну, кабы дѣвка молодая, аль мужняя жена, тогда бы другое дѣло. А то — вдова-старушонка, и съ лица-то прямо вѣдьма-вѣдьмой!

— Все равно—женщина...

— Э, да вы, Миколаичъ, извѣстно, всегда за это поганое словіе стоите! А вы послушайте, какъ было дѣло-то. На пріискѣ я жилъ, и старушонка эта тамъ же гдѣ-то по-близу жила. Вотъ и встрѣтили мы ее, нѣсколько парней, въ лѣсу... Праздничнымъ было дѣломъ—ну, и выпимши всѣ здорово. Нешто въ трезвую башку взбрела бѣ такая глупость? Нешто денегъ у насъ не было, аль охочихъ дѣвокъ не хватало? Ну, а она, вѣдьма, закуражилась... Другая бѣ еще за честь почла... Хо-хо-хо, съ молодыми-то парнями погулять... А она рыло прочь! Ну... ну и пришлось насильствомъ.

— Какъ же она потомъ доказала на васъ?

— Свидѣтели нашлись. Двое изъ нашей же компаніи непьяныхъ было... Еще отговаривали насъ... Ну, а потомъ, какъ сволочь-то эта заявила и сослалась на нихъ, они и не стали запираяться, указали на меня съ товарищами. И вотъ восемь лѣтъ каторги, какъ пить дать, готово! Ну, какой же это законъ? Не законъ это, а прямо сказать — разбой!

Изъ внутреннихъ качествъ Быкова, кромѣ упомянутой уже недалекости, выдавались еще чисто-ослиное упорство и болѣзненно развитое самолюбіе, способность видѣть обиду даже тамъ, гдѣ ея и тѣни не было. Мня себя очень неглупымъ человѣкомъ, онъ не допускалъ ни малѣйшаго возраженія въ спорахъ и сейчасъ-же начиналъ фыркать. Разъ лѣтомъ, любуясь со двора тюрьмы на красиво разливавшійся по сопкамъ цвѣтъ богульника, я спросилъ проходившаго мимо Быкова, какого онъ представляется ему цвѣта.

— Ну, да алаго, вѣстимо, алаго,—категорически заявилъ онъ.

— А мнѣ кажется, лиловаго цвѣта,—высказать я свое мнѣніе:—алый совсѣмъ не такой...

Быковъ сейчасъ-же обидѣлся.

— Еловый?.. Я не знаю, какой такой еловый свѣтъ... Зачѣмъ и спрашиваете, коли сами все знаете? Мы въ попы вѣдь не мѣтимъ... Хо-хо! еловый свѣтъ!

И, надувшись, отошелъ прочь \*).

Вотъ съ этимъ-то человѣкомъ у Валерьяна Башурова и произошло вскорѣ рѣзкое столкновение. При установившейся раньше фамиллярности отношеній немудрено, что въ отвѣтъ на какую-то грубость Башурова (въ родѣ «отойдите прочь, не мѣшайте мнѣ!») Быковъ самъ послать учителя въ какія-то не очень двусмысленныя мѣста... Не ожидавшій ничего подобнаго Башуровъ вспыхнулъ гнѣвомъ и подбѣжалъ къ Быкову, требуя, чтобы тотъ немедленно передъ нимъ извинился. Быковъ вмѣсто извиненія закатился самымъ обиднымъ хохотомъ и къ первой грубости прибавилъ еще нѣсколько площадныхъ словъ. Вліятельные арестанты въ родѣ Юхорева поспѣшили удалиться изъ камеры, точно и не слышавъ ссоры; оставшаяся ишпанка хранила безмолвный нейтралитетъ. Чуть не плача отъ безсильной злости, приближалъ Валерьянъ къ намъ съ Штейнгартомъ жаловаться.

— Я васъ всегда предупреждалъ, Башуровъ,—высказать я свое мнѣніе:—такъ какъ на площадную брань мы не можемъ отвѣчать арестантамъ такой же бранью, то намъ вообще не слѣдуетъ входить въ черезчуръ близкія съ ними отношенія.

— Ахъ, право же, этотъ Быковъ исключеніе! Это такая гадина, такой осель...

— Ну, дѣлать всетаки нечего,—рѣшилъ Штейнгартъ,—не полѣзешь же ты драться съ нимъ.

Въ душѣ я чувствовалъ большое раздраженіе противъ товарища, обвиняя скорѣе его, нежели Быкова, съ котораго и спрашивать многого нельзя было; тѣмъ не менѣе, официально я считалъ нуж-

---

\*) Кстати сказать, я и до сихъ поръ не въ состояніи опредѣлить этотъ цвѣтъ. Мнѣ указывали, что въ I ч. «Міра отверженныхъ» встрѣчаются такія курьезно противорѣчащія одно другому выраженія, какъ «лиловый» и «красный» цвѣтъ богульника... Но я думаю, что это вовсе не противорѣчіе: обыкновенно лиловатый, цвѣтъ этотъ иногда (особенно, когда задумаешься) дѣйствительно принимаетъ кровавый оттѣнокъ.

нимъ нѣсколько надуться на этого послѣдняго, суше обыкновеннаго отвѣчая на его заговариванія при встрѣчахъ. Вообще, послѣ этого случая мы съ Штейнгартомъ еще больше насторожились; стояло кому-либо изъ насъ троихъ заговорить въ присутствіи кобылки что-нибудь лишнее или, какъ другимъ казалось, прямо нетактичное, какъ уже слышалось предостереженіе:—*Noblesse oblige*, господа!..

Проученный столкновеніемъ съ Быковымъ и цѣлымъ рядомъ другихъ болѣе мелкихъ стычекъ съ сожителями, самъ Башуровъ сталъ подозрительно относиться ко всѣмъ арестантамъ, съ которыми раньше допустилъ излишнюю близость. Онъ все чаще сталъ грубо обрывать фамиллярное обращеніе съ собою и получать въ отвѣтъ, разумѣется, такія же грубости. Популярность его такъ же быстро начала падать въ тюрьмѣ, какъ раньше быстро создавалась. Въ концѣ концовъ, и съ Юхоревымъ у него началось неизбежное охлажденіе. На бѣду свою Башуровъ былъ чересчуръ откровененъ и неостороженъ въ громкомъ высказываніи своихъ мыслей объ артельныхъ обычаяхъ и порядкахъ. Прежде, когда онъ держалъ себя съ сожителями на равной ногѣ, самыя рѣзкія замѣчанія его на этотъ счетъ прощались или обращались въ шутку; но теперь, когда подъ вліяніемъ обиженнаго самолюбія онъ попробовалъ круто измѣнить первоначальное поведеніе, оставляя, однако, за собою право разыгрывать роль цензора нравовъ, арестанты не захотѣли признавать за нимъ этого права. Вотъ на какой почвѣ произошла первая его ссора съ Юхоревымъ, недѣли двѣ спустя послѣ объявленія въ тюрьмѣ манифеста. Придя разъ утромъ въ кухню за кипяткомъ и увидавъ кухонниковъ, сидящими за какимъ-то завтракомъ, онъ сказалъ, смѣясь:

— Хорошо вамъ жить, господа, съ теперешнимъ старостой! Кормить онъ васъ, точно на убой.

Слова эти были приняты, повидимому, за шутку, но когда Валерьянъ ушелъ, въ кухнѣ разыгралось цѣлое драматическое представленіе. Явившемуся туда Юхореву сообщили, будто Башуровъ говорилъ о составившейся въ кухнѣ подъ его предводительствомъ шайкѣ. Какъ взбѣшенный левъ, прибѣжалъ Юхоревъ въ камеру и торжественно заявилъ Валерьяну:

— Я этого не ожидалъ отъ васъ, Башуровъ. Мы жили до сихъ поръ дружно, а теперь я вижу, что вы камень за пазухой держите. Только вамъ слѣдовало бы доказать сначала, что я атаманъ какой-то тамъ шайки, обворовывающей артель!

Башуровъ пробовалъ оправдаться.

— Я пошутилъ, меня невѣрно поняли...

— Ну, *такъ* не шутятъ у насъ,—внушительно возразилъ Юхоревъ и прибавилъ:—впрочемъ, мнѣ хорошо извѣстно, откуда все это идетъ, и кто васъ настраиваетъ противъ меня. Слишкомъ ужъ высоко носъ загибаете, господа!

— Что вы такое разумѣете? Кто меня настраиваетъ, и кто носъ загибаетъ?—спрашивалъ Валерьянъ.

— Да ужъ знаемъ мы, кто!—сказалъ, какъ отрѣзалъ, Юхоревъ и выбѣжалъ вонъ изъ камеры.

Узнавъ объ этомъ разговорѣ, я ни минуты не сомнѣвался въ томъ, что разумѣлъ онъ, главнымъ образомъ, меня. Еще до прибытія новичковъ, я былъ по отношенію къ нему всегда крайне сдержанъ, какъ бы инстинктомъ чуя, что это человѣкъ выдающейся силы, лишенной, однако, всякаго моральнаго элемента, и что поѣтому благоразумно стоять отъ него подальше; съ началомъ же дружбы Юхорева съ Башуровымъ я (также, быть можетъ, безсознательно) сталъ съ нимъ не только сдержаннымъ, но даже и холоднымъ. И я чувствовалъ, что эта вибрація моихъ отношеній не оставалась незамѣченной умнымъ арестантомъ. Онъ былъ по прежнему безукоризненно вѣжливъ со мной и Штейнгартомъ, но въ вѣжливости этой уже чуялась затаенная вражда. Его, очевидно, глубоко задѣвало и оскорбляло, что съ нашей стороны онъ не встрѣчалъ того же товарищескаго довѣрія и желанія сблизиться, какъ со стороны экспансивнаго Валерьяна.

Друзья Юхорева нѣсколько дней подрядъ находились въ сильной ажитации и все время о чемъ-то совѣщались съ нимъ, рассказывая въ свободные отъ работы часы по тюремному двору. Въ кухнѣ появленіе каждаго изъ насъ троихъ встрѣчалось гробовымъ холоднымъ молчаніемъ. Главный поваръ, татаринъ Азіадиновъ, отнесшійся вначалѣ со смѣхомъ къ шуткѣ Башурова, теперь больше всѣхъ дулся и даже не отвѣчалъ на наши вопросы. Когда наступилъ ближайшій постный день, въ который готовилась баланда изъ нашего мяса, оказалось, что Юхоревъ, Быковъ, Азіадиновъ, Шматовъ и еще два-три человѣка сварили себѣ отдѣльную постную баланду, а при субботней раздачѣ по камерамъ нашей махорки они же отказались отъ своихъ порцій. Это былъ явный протестъ. Борьба принимала острый и довольно непріятный характеръ...

Хлѣбопекъ Огурцовъ, совсѣмъ еще молодой и необыкновенно

смѣшливый парень, до тѣхъ поръ очень дружившій со мной, теперь, когда я показывался въ кухню, конфузливо отворачивался, точно не замѣчая меня. Но разъ, подъ вечеръ, когда я заваривалъ себѣ передъ самой повѣркой чай, онъ незамѣтно для другихъ арестантовъ приблизился ко мнѣ и быстро вложилъ въ руку записку. Вернувшись въ камеру, я прочелъ слѣдующія безграмотныя строки: «иванъ мекалаечъ шайка Наша говорятъ что у васъ тожи своя шайка что вы внеѣ отоманъ что вы тесните тюрьму сводитѣ напраслену на ивановѣ А я видить бохъ люблю васъ да боюсь. того гледи побить юхорефъ говорить, что вы купили меня табакомъ вашъ верный ле-чарда Огурцовъ».

Я долженъ разсказать здѣсь исторію этого «вѣрнаго Ричарды» — она не безынтересна. Огурцовъ явился вмѣстѣ со мною въ Шелай совсѣмъ почти мальчикомъ, безусымъ бутузомъ съ свѣже-округленными щеками и атлетическимъ сложеніемъ, но главное — съ такой наивной и неиспорченной душою, что просто жаль было смотрѣть на него, облеченнаго въ сѣрую куртку съ двумя черными каторжными тузами на спинѣ. Не даромъ кобылка называла его травой — онъ и точно былъ травой безъ всякаго собственнаго цвѣта и запаха, бѣлой доской, на которой жизнь могла написать, что хотѣла. Имѣя въ плечахъ чуть не косую сажень, круглое толстое лицо (котораго, какъ острили арестанты, въ три дня было кругомъ не объѣхать) и огромный кулакъ, тяжелый, словно пудовая гири, восемнадцатилѣтній Огурцовъ былъ безобиценъ и незлобивъ, какъ голубь, въ отвѣтъ на всякую брань умѣлъ только хихикать и хвататься за животъ, и какъ-то съ трудомъ даже вѣрилось, что этотъ юный и недалекій геркулесъ пришелъ въ каторгу за убійство человѣка. Онъ совершилъ, впрочемъ, это убійство, безъ всякаго желанія и намѣренія, почти случайно. Товарищи зазвали однажды Огурцова въ кабакъ, и когда онъ отказался тамъ отъ питья водки, сидѣвшій въ кабакѣ пьяный, какъ стелька, фельдфебель предложилъ честной компаніи насильно влить ему въ ротъ стаканъ спирта. Защищаясь отъ этого остроумнаго предложенія, Огурцовъ хотѣлъ, по его словамъ, «смазать» пьянаго солдата по рожѣ, но такъ неосторожно угодилъ кулакомъ по виску, что у несчастнаго раскололся черепъ, и духъ вылетѣлъ моментально.

Со мной Огурцовъ сдружился съ первыхъ же дней общаго пребыванія въ тюрьмѣ и, хотя не жилъ въ одной камерѣ, учился урывками грамотѣ, которая давалась ему очень туго; онъ съ боль-

шой охотой велъ также «ученые» разговоры, подобно Кифѣ Мокіевичу, допрашивая меня, напр., о томъ, почему у человѣка только двѣ ноги, а онъ, однако, умѣе птицы. При этомъ, о какой бы важной матеріи ни заходила бесѣда, онъ то и дѣло закрывалъ почему-то одной рукой ротъ, а другой держался за животъ, присѣдалъ и закатывался тоненькими смѣшками: это было обычнымъ выраженіемъ его удивленія... Кобылку Огурцовъ цѣнилъ, подобно Лунькову, очень низко, какъ въ нравственномъ, такъ и въ умственномъ отношеніи, возмущался всѣми арестантскими обычаями и порядками и держался въ сторонѣ отъ общей тюремной жизни.

Однажды понадобился на кухню новый хлѣбопекъ. Лучезаровъ окинулъ глазами строй арестантовъ и облюбовалъ почему-то Огурцова. Послѣдній былъ въ страшномъ огорченіи. Его богатырское тѣлосложеніе требовало свѣжаго воздуха и здоровой работы, а душная и жаркая атмосфера кухни только распаривала человѣка, ослабляла мускулы, наполняла лѣнью и жиромъ. Онъ готовъ былъ кричать отъ страшныхъ головныхъ болей, которыми началъ страдать, но на всѣ просьбы отослать его въ рудникъ бравый капитанъ отвѣчалъ одно:

— Вздоръ, братецъ, вздоръ! привыкнешь. Хлѣбопекъ тоже долженъ быть сильнымъ человѣкомъ. Да и фамилія твоя не даромъ Огурцовъ: ты здоровъ и свѣжъ, какъ молодой огурецъ. Хлѣбопекъ такимъ и долженъ быть.

И Огурцовъ, дѣйствительно, привыкъ къ кухнѣ. Онъ страшно облѣнился и зажирѣлъ; румяные, нѣжные тона быстро исчезли съ его лица и уступили мѣсто ярко-бѣлому, безкровному цвѣту нездоровой одутловатости. Онъ уже не рвался больше на тяжелую работу и вполне доволенъ былъ своимъ новымъ положеніемъ; а такъ какъ кухня всегда была центромъ разныхъ арестантскихъ мошенничествъ, Огурцовъ же былъ «травой», малымъ безъ всякихъ умственныхъ и нравственныхъ устоевъ, то не прошло и году, какъ въ немъ стали проявляться самыя несимпатичныя черты и свойства. За ошкуромъ его зазвенѣли деньги, за чаемъ стало являться всегда молоко... Сначала объектомъ эксплуатаціи былъ, какъ и у Юхорева, «шепелявый дьяволъ», но съ теченіемъ времени полетѣли клочья и съ бараняго стада каторжной кобылки. На моихъ глазахъ развращался и портился Огурцовъ, быстро грубѣя даже во внѣшнемъ обращеніи съ людьми: подобно всѣмъ иванамъ, въ стычкахъ съ мелкой шпанкой онъ началъ употреблять бранные окрики и показывать свои здоровые

кулаки; а когда я пробовалъ, по старой памяти, въ качествѣ учителя, читать ему наставленія, то онъ, по старому же обыкновению, хватался руками за животъ и хихикалъ густымъ, какъ у перепившагося дьякона, басомъ, но въ душу ему слова мои, очевидно, уже не западали. Послѣ каждой изъ такихъ бесѣдъ я получалъ только записку съ подробнымъ перечисленіемъ всѣхъ мошенническихъ продѣлокъ товарищей по кухнѣ. Въ то время, о которомъ я началъ рассказывать, заживѣвшій и ошпанѣвшій Огурцовъ сохранялъ уже только тѣнь моего былого расположенія къ себѣ, хотя самъ онъ и продолжалъ въ своихъ запискахъ-доносахъ подписываться моимъ «вѣрнымъ личардой».

Тяжела была моральная атмосфера кухни, этого тюремнаго клуба, въ которомъ полновластно царилъ Юхоревъ. Но онъ же царилъ и надъ больницей, благодаря своей загадочной дружбѣ съ фельдшеромъ Землянскимъ. Едва послѣдній вбѣгалъ въ больницу, всегда пьяный, съ налитыми кровью мошенническими глазами на черномъ, какъ у цыгана, лицѣ, какъ туда же спѣшили и общій староста. Казеннаго больничнаго спирта едва хватало и для одного Землянского, но за деньги онъ приносилъ вино подъ видомъ лѣкарства съ воли, и я нерѣдко видалъ Юхорева, Быкова и другихъ арестантскихъ ивановъ изрядно навеселѣ. Въ больницу юхоревскимъ агентомъ былъ лазаретный служитель Мишка Биркинъ, по прозванью Звѣздочетъ, юркій, живой, необыкновенно легкомысленный, весельчакъ и щеголь изъ бывшихъ солдатъ. Биркинъ льнулъ, между прочимъ, и ко мнѣ, десять разъ на день забѣгая на минуту въ мою камеру и задавая мнѣ какой либо ученый вопросъ:

— А скажите, Иванъ Николаевичъ, есть ли гдѣ нибудь конецъ звѣздамъ на небѣ?

Или:

— Возможно ли, Иванъ Николаевичъ, прокопать землю наскрозь?

Вопросами о мірозданіи, о звѣздахъ и пр. онъ наиболѣе, по видимому, интересовался, за что и получилъ отъ арестантовъ насмѣшливое прозвище Звѣздочета; но когда онъ задавалъ любой изъ подобныхъ вопросовъ, я хорошо видѣлъ, что и онъ, подобно Огурцову, очень мало въ сущности имъ интересуется и въ то самое время, какъ, слушая мой отвѣтъ, глубокомысленно глядитъ прямо въ мои глаза, мысли его несутся уже далеко, далеко, и съ губъ слышится фраза о чемъ либо совершенно постороннемъ и астрономіи, и геологіи:

— А знаете, какую сегодня пулю отточилъ Землянский? Вотъ что, говорить, Мишка: если придуть сегодня больные, гони ихъ въ шею! Нѣтъ у меня лѣкарствъ, а отъ работы освобождать я боюсь!

И Мишка, еще не окончивъ своего сообщенія, уже стрѣлой убѣгалъ изъ камеры. Вѣчно онъ куда-то торопился, вѣчно о чемъ-то заботился, и румяное лицо его съ взъерошенными усами всегда казалось чѣмъ нибудь встревоженнымъ и взволнованнымъ. За эту свою непосѣдливость и суетливость Биркинъ носилъ также прозваніе Собачьей Почты.

Не смотря на то, что Юхоревъ не только походя ругалъ Мишку самой увѣсистой и циничной бранью, но нерѣдко и колотилъ основательнымъ образомъ, Мишка буквально благоговѣлъ передъ нимъ, питая какую-то чисто собачью привязанность, вполне безкорыстную и самоотверженную.

Въ тюрьмѣ такую же роль преданной собаки, по отношенію къ Юхореву, игралъ Шматовъ (онъ же и Гнустъ), который, благодаря страшной астмѣ, былъ совершенно освобожденъ врачомъ отъ работъ и имѣлъ массу свободнаго времени для всякаго рода волюнокъ, интригъ и сплетенъ. Нѣсколько разъ пытался Шестиглазый засадить его всетаки въ мастерскую въ качествѣ починщика старой арестантской лопоти, но проходило два-три дня, и Шматовъ опять отбивался отъ работы и, дыша, какъ паровикъ, по прежнему начиналъ праздно слоняться по тюрьмѣ, разнося по камерамъ, по кухнѣ и больницѣ всякаго рода тюремныя новости и «бумо». Другимъ такимъ же вѣстникомъ былъ сапожникъ Звонаренко (Кожанный Гвоздь), тоже чахоточный человѣкъ, крикливый и необыкновенно злой на языкъ; но этотъ былъ характера самостоятельнаго: непримиримый обличитель всякаго рода неправды и нарушенія артельныхъ интересовъ (хотя, конечно, готовый при случаѣ и самъ погрѣть около артели руки), онъ во все совалъ свой носъ, вездѣ находилъ «неправильность поступковъ» и, расхаживая по тюрьмѣ, громко кричалъ объ этомъ своимъ тонкимъ, бабьимъ голосомъ, безпрестанно кашляя и хватаясь руками за впалую грудь. Въ награду за свою любовь къ «правдѣ» Звонаренко нерѣдко получалъ жестокіе побои отъ тюремныхъ воротилъ. Передъ нами же онъ всегда лисилъ и заискивалъ.

Но вотъ явилась, наконецъ, долгожданная новая партія въ шестьдесятъ четыре человѣка. Въ тюрьмѣ поднялась невообразимая бѣготня и возня; не только Шестиглазый, но и всѣ надзиратели чего-то ликовали и торжествовали. Освободили для новичковъ че-



тыре крайнихъ камеры, выгнавъ оттуда старыхъ арестантовъ и размѣстивъ по остальнымъ шести номерамъ. Смѣшивавъ всѣхъ вмѣстѣ почему-то не торопились, и въ теченіе нѣсколькихъ дней новая партія жила совершенно отдѣльной жизнью въ отдѣльномъ корридорѣ, имѣя даже своего особаго старосту. Мнѣ также предстояло оставить насиженное гнѣздо и перейти въ другую камеру. Штейнгартъ настаивалъ, чтобы я воспользовался этимъ случаемъ и записался на нѣкоторое время въ больницу, чтобы тамъ на болѣе питательной пищѣ поправить свое довольно разстроенное здоровье. Не сладка была, впрочемъ, перспектива и лежанья въ тѣсномъ, душномъ лазаретѣ, совершенно переполненномъ больными, среди которыхъ были и тифозные изъ только что пришедшей партіи; смерти одного изъ нихъ ожидали съ минуты на минуту. Особенно покорило насъ, когда мы узнали отъ Биркина, что бѣлье этого больного, испачканное экскрементами, вотъ уже третьи сутки лежитъ здѣсь же, въ лазаретномъ чуланѣ. Возмущенный Штейнгартъ тотчасъ же побѣждалъ сказать фельдшеру, что бѣлье необходимо немедленно убрать. Землянской, давно уже косившійся на то, что арестантъ свободно заходитъ въ аптеку и распоряжается въ ней по своему усмотрѣнію, отвѣчалъ очень грубо:

— А вотъ когда накопится больше, тогда и велю убрать!

Штейнгартъ вспылилъ:

— Сейчасъ-же извольте очистить чуланъ! Если вы будете распространять здѣсь заразу, я на васъ врачу пожалуюсь.

И, хлопнувъ дверью, вышелъ вонъ. Тотчасъ-же послѣ этой стычки, но еще не зная о ней, пришелъ и я просить Землянскаго записать меня въ лазаретъ. Онъ рвалъ и металъ въ аптеку, билъ въ безсильномъ бѣшенствѣ стеклянки, бросалъ на полъ вату и бумагу.

— Мѣста нѣтъ въ лазаретѣ!—коротко отрѣзалъ онъ мнѣ.

— Неправда, Штейнгартъ говорить, что есть.

Черные воровскіе глаза Землянскаго забѣгали въ разныя стороны, сверкая злымъ огонькомъ. Онъ, какъ-будто, обдумывалъ планъ борьбы.

— Ну, есть. Да какая вамъ будетъ польза отъ этого мѣста?—сказалъ онъ, наконецъ, стараясь быть хладнокровнымъ:—вамъ нужна улучшенная пища, хлѣбъ и молоко, а между тѣмъ «третьи порціи» всѣ въ разборѣ. Ложитесь, пожалуй, если хотите на койку, только станете получать почти ту же пищу, что и въ тюрьмѣ. Начальникъ и то сердится, что я больше, чѣмъ слѣдуетъ, третьихъ порцій назначаю.

И, доставъ изъ шкафа какіе-то отчеты, онъ быстро началъ перечислять мнѣ всѣ имѣющіяся въ его распоряженіи денежные средства, «вторыя» и «третья» порціи и т. д. Эти порціи, о которыхъ постоянно толковали и фельдшеръ, и староста, и больничные повара, служили всегда камнемъ преткновенія для моего пониманія; даже самъ Штейнгартъ не совсѣмъ ясно понималъ порядокъ ихъ назначенія, а потому я предпочелъ просто спросить Землянского строгимъ голосомъ:

— Такъ, значитъ, вы начальника боитесь—назначить мнѣ молочную порцію?

— Да, начальника... Вотъ странное дѣло! Штейнгартъ тоже пристаётъ ко мнѣ насчетъ бѣлья... А что-жъ мнѣ дѣлать, если и его тоже начальникъ велитъ держать въ чуланѣ?

Я молча поклонился и, отправившись къ воротамъ, попросилъ дежурнаго доложить начальнику о моемъ желаніи «видѣть его по важному дѣлу. Лучезаровъ, какъ всегда, тотчасъ же вызвалъ меня въ контору. Когда я сообщилъ ему, что фельдшеръ ссылается на его авторитетъ, отказываясь убирать экскременты тифозныхъ и принять меня въ больницу, онъ пришелъ въ страшное бѣшенство и обѣщалъ сію же минуту нарядить слѣдствіе. Дѣйствительно, черезъ часъ времени въ тюрьму явился изъ конторы письмоводитель и сталъ по одиночкѣ допрашивать въ дежурной комнатѣ меня, Юхорева и нѣкоторыхъ больныхъ, лежавшихъ въ лазаретѣ. Между прочимъ, письмоводитель задалъ мнѣ вопросъ:

— Не слыхали-ль вы чего-нибудь о томъ, что Землянскій приносить въ тюрьму водку или продаетъ Юхореву казенный аптечный спиртъ?

Изъ этого вопроса очевидно было, что у Шестиглазаго уже имѣлись на этотъ счетъ какія-то свѣдѣнія. Я отвѣчалъ, конечно, что не слыхалъ ничего. Что говорили Юхоревъ и другіе допрошенные арестанты, я не знаю, но о фельдшерѣ большинство отозвалось, что онъ ведетъ свое дѣло отлично, и никакихъ претензій къ нему арестанты не имѣютъ. Такимъ образомъ, моя жалоба осталась единичной, и «слѣдствіе» не привело ровно ни къ какимъ благотворнымъ результатамъ.

А между тѣмъ, въ тюрьмѣ началось сильное волненіе. Юхоревъ произнесъ въ кухнѣ противъ меня съ товарищами цѣлую рѣчь.

— Вотъ они, хваленые-то благодѣтели!—гремѣлъ онъ, потрясая своей могучей головою: — мы да мы!.. Мы за народъ стоимъ, мы

доносчиковъ ненавидимъ... А кто же, скажите, о спиртѣ донесъ? Почему письмоводитель такъ сразу и выпалилъ мнѣ: «А правда-ль, Юхоревъ, что ты у Землянского спиртъ покупаешь?» Вѣдь не одинъ честный арестантъ не возьметъ во вниманіе доносами заниматься... Ахъ вы, фискалинки паршивые, бумагомараки! Знаю я теперь настоящую цѣну вамъ!

Валерьянъ первый прибѣжалъ сообщить мнѣ о происходящемъ на кухнѣ. Обвиненіе въ фискальствѣ, исходившее даже изъ юхоревскихъ устъ, признаюсь, какъ ножомъ, рѣзнуло меня по сердцу. Штейнгартъ былъ гдѣ-то внѣ тюрьмы у своихъ многочисленныхъ паціентовъ, и посоветоваться было не съ кѣмъ. А душа такъ наболѣла за послѣдніе дни, нервы такъ расходились, что, подъ вліяніемъ горькаго чувства обиды, я потерялъ голову и предпринялъ большую глупость, которая могла кончиться самымъ непріятнымъ для всѣхъ насъ образомъ. вмѣсто того, чтобы пойти на кухню и, властным тономъ заявивъ ораторствовавшему тамъ Юхореву, что онъ не смѣетъ распускать про насъ небылицы, удалиться, не вступая съ нимъ въ полемику,—вмѣсто этого, я обошелъ, въ пылу негодованія, всѣ шесть камеръ, гдѣ жили старые арестанты, и пригласилъ ихъ въ свой номеръ на сходку «по очень важному дѣлу». Кобылка, очевидно, сразу догадалась, о какомъ щекотливомъ дѣлѣ шла рѣчь, потому что большинство ея не шевельнулось даже съ мѣста, и на сходку изъ семидесяти человѣкъ собралось не больше пятнадцати-двадцати... Среди нихъ было очень мало безусловно сочувствовавшихъ мнѣ лицъ, но за то всѣ друзья Юхорева, Быковъ, Азіадиновъ, Шматовъ, Биркинъ и во главѣ ихъ самъ онъ были на виду. Съ неостышимъ еще чувствомъ возмущенія, рассказавъ собравшейся публикѣ, что Юхоревъ громогласно обозвалъ меня въ кухнѣ фискаломъ, я спрашивалъ, какой поводъ дать я арестантамъ за нѣсколько лѣтъ жизни въ ихъ средѣ думать про меня подобныя вещи. Не успѣлъ я кончить свою маленькую рѣчь, какъ Шматовъ, стоявшій на нарахъ, крикливо загнусавилъ:

— Они думаютъ, что купили насъ своимъ табакомъ да мясомъ. Мы рта не смѣй разинуть!

— Ха! купили!—иронически поддакнулъ ему верзила Быковъ. Фыркнуло и еще нѣсколько человѣкъ.

— А я скажу вотъ что,—продолжалъ шипѣть Гнусь:—перестану я вовсе курить, помру я съ голоду на шестиглазовскомъ брульонѣ, да останусь за то вольнымъ человѣкомъ... Вотъ что!

— Молчи, гнусина проклятая!—вдруг притопнулъ на него Юхоревъ, любившій обстоятельность и желавшій соблюсти цивилизованныя формы прений со мною. И онъ смѣло выступилъ впередъ:— Дай прежде людямъ слово сказать.

— А я говорю: помру лучше!..—прошипѣлъ еще разъ Шматовъ, патетически ударяя себя въ грудь.

— Ты еще станешь мѣшать мнѣ!—внѣ себя закричалъ Юхоревъ и сдѣлалъ гнѣвное движеніе, намѣреваясь схватить Гнуса за шиворотъ. Гнусъ юркнулъ куда-то въ уголъ и замолчалъ.

— Теперь я, старики, говорить буду,—началь Юхоревъ, и признаюсь—онъ былъ живописенъ въ эту минуту, гордо выпрямившись во весь свой огромный ростъ: поблѣднѣвшее отъ волненія смуглое лицо, точно изваянное изъ бронзы, казалось страшнымъ и величавымъ; свирѣпыя сѣрые глаза загорѣлись враждою... Желѣзная рука вытянулась впередъ — и въ этомъ неподвижномъ положеніи онъ живо напомнилъ мнѣ (рискуя показаться смѣшнымъ, но это такъ) грозную статую Антокольскаго «Петръ Великій»... Противъ воли я почти залюбовался своимъ противникомъ.

— Я буду теперь говорить, старики. Жалуется Иванъ Николаевичъ, что я его фискаломъ обозвалъ. Это точно, обозвалъ. Ну, а какъ было не подумать этого и не высказать? Бѣжить Иванъ Николаевичъ къ начальнику на фельдшера доказывать. А наша кобылка вообще къ доказательствамъ прибѣгать не любитъ.

— Неправда, на своего только брата!—негодуя, прервалъ я:— Землянскій не свой братъ-арестантъ, онъ—то же начальство.

— Позвольте, Иванъ Николаевичъ,—вѣжливо отстранилъ меня Юхоревъ:—я теперь говорю... Для насъ Землянскій не начальство, а почти, можно сказать, свой братъ! Не знаемъ, какъ вы, а мы вполне довольны этимъ фершаломъ.

— Душа-человѣкъ для насъ, арестантовъ!—загнусавилъ Шматовъ.

— Чего и говорить.—поддержалъ Быковъ.

— Про этого фельдшера вы ничего дурного не скажете?—оглянулся я кругомъ, снова до глубины души возмущаясь, и замѣтилъ, какъ нѣкоторые изъ арестантовъ скосили глаза, чтобы избѣгнуть моего взгляда.

— Разныя у насъ съ вами требованія отъ фершала,—заговорилъ опять Юхоревъ:—въ этомъ и все дѣло. Вы нашихъ арестантскихъ нравовъ не знаете. Не о томъ однако рѣчь. Очень, конечно, пріятно слышать, что вы не доносили Шестиглазому о моемъ

пьянствѣ, но я всетаки виновнымъ себя въ поклѣтѣ не признаю. Является по вашему зову въ тюрьму письмоводитель и вдругъ, допросивъ сначала васъ, начинаетъ всѣхъ спрашивать о спиртѣ. Ясное дѣло, на кого тутъ подумать! А вотъ, что скажутъ ребята, ежели я объясню имъ другую штуку. Этотъ же самый Иванъ Николаевичъ, который такъ возмущенъ моими словами объ его фискальствѣ, самъ пустилъ по тюрьмѣ бумо, что Юхоревъ, молъ, когда ходитъ къ начальству съ просьбой, обсказываетъ ему разные ябеды на арестантовъ.

— Я пустилъ про васъ такое бумо?! Вы въ своемъ умѣ, Юхоревъ?

— Не безпокойтесь. Вы сказали Огурцову, что я просилъ начальника убрать его съ кухни, какъ лѣниваго и супротивнаго мнѣ человѣка.

На минуту я почувствовалъ себя ошеломленнымъ, подавленнымъ. Смутно я припомнилъ, что, дѣйствительно, было нѣчто подобное!.. Чуть ли еще не за полгода до этого времени Лучезаровъ въ одной изъ бесѣдъ со мной у себя на квартирѣ сказалъ:

— Въ тюрьмѣ только и осталось теперь два настоящихъ богатыря — Юхоревъ да Огурцовъ. Ихъ слѣдовало бы, собственно, въ рудникъ отправить, но и на этихъ мѣстахъ они тоже нужны. А кстати, какого вы о нихъ мнѣнія?

— Ничего, добрые, кажется, малые, — отвѣчалъ я уклончиво.

— Въ Юхорева, откровенно скажу вамъ, я просто влюбленъ: этакій молодчиница на видъ! Да и уменъ тоже бестія. Но вотъ на Огурцова онъ все мнѣ жалуется, говоритъ: очень лѣнивъ и затѣваетъ свары на кухнѣ.

Признаюсь, эти слова въ то время непріятно поразили меня: до тѣхъ поръ я не думалъ, чтобы Юхоревъ въ борьбѣ съ противниками не прочь былъ прибѣгнуть и къ наущничеству. Какъ разъ въ тотъ же день Огурцовъ подошелъ ко мнѣ и началъ жаловаться на то, что въ послѣднее время Шестиглазый все къ нему придирается, бранить за лѣность и грозить карцеромъ. Парень казался такъ искренно огорченнымъ и недоумѣвающимъ, что я почувствовалъ все бывшее расположеніе къ нему и для чего-то сказалъ:

— Я бы могъ назвать вамъ человѣка, который вредитъ вамъ, да боюсь, вы разболтаете...

Огурцовъ закрестился обѣими руками и сталъ божиться, что будетъ нѣмъ, какъ могила.

Какой смыслъ, какая цѣль была сообщать ему о моемъ разговорѣ съ Лучезаровымъ? Разумѣется, это было въ высшей степени глупо, но бываютъ иногда въ жизни такіа сумасшедшія минуты, и я называлъ Огурцову Юхорева. Назвалъ — и сейчасъ же понялъ, какую непростительную безтактность сдѣлалъ, но вернуть сказанное было уже невозможно. Тщетно старался я, по возможности, смятчить вину Юхорева, придать ей характеръ шутки, допустить даже ложь со стороны браваго капитана,—Огурцовъ твердилъ одно:

— Нѣтъ, это не ложь... Такъ вотъ гдѣ сука-то кроется! Я такъ вѣдь и думалъ... Ну, укараюлю жъ и я ее, стервину, не прощу!

Мнѣ оставалось заставить Огурцова еще разъ возвести глаза къ небу и подтвердить торжественной клятвой, что онъ будетъ молчать и имени моего никогда не коснется въ своихъ стычкахъ съ Юхоревымъ, и я ушелъ, продолжая проклинать въ душѣ свою откровенность. Такъ прошло полгода, и я забылъ совсѣмъ объ этой исторіи, считая ее навѣки похороненной.

— Огурцова, Огурцова сюда, на очную ставку!—съ дикимъ торжествомъ заголосили Быковъ, Шматовъ и другіе благожелатели Юхорева.

Кто-то побѣжалъ въ кухню за Огурцовымъ. Я обдумывалъ планъ своихъ дѣйствій. Дѣло запутывалось самымъ отвратительнымъ образомъ. Конечно, я могъ бы рассказать теперь же, при всей сходкѣ, то, что сообщилъ нѣкогда Огурцову, но нѣкоторые съ быстротой молніи мелькнувшія въ головѣ соображенія подсказывали, что лучше не дѣлать этого. Въ самомъ дѣлѣ, какія я могъ привести доказательства? Не сказалъ ли бы мнѣ Юхоревъ съ товарищами: «А! такъ ты самъ разговариваешь съ начальствомъ объ арестантахъ? Какъ же ты послѣ этого не фискаль?» А что сказалъ бы самъ Лучезаровъ, если бы узналъ когда нибудь, что я передалъ кобылкѣ конфиденціально брошенную имъ мнѣ фразу? Я ждалъ поэтому прихода Огурцова съ понятнымъ волненіемъ.

Огурцовъ не скоро явился на зовъ. Вошелъ онъ въ камеру неохотной, грузной походкой, флегматичный, заплывшій жиромъ, въ бѣломъ кухонномъ фартукѣ и съ высоко засученными рукавами. Посмотрѣвъ ему въ глаза, я посгѣшилъ спросить:

— Огурцовъ, развѣ я говорилъ вамъ когда нибудь, что Юхоревъ жаловался на васъ начальнику?

Минута молчанія, послѣдовавшая за этимъ вопросомъ, показалась мнѣ вѣчностью.

— А зачѣмъ вамъ говорить мнѣ, когда я самъ это хорошо знаю?—медлительно пробасилъ, наконецъ, Огурцовъ, окинувъ своего врага съ ногъ до головы ненавистнымъ взглядомъ.

У меня отлегло отъ сердца: не выдалъ меня Огурцовъ!..

— Что ты знаешь, волчій ротъ?—подскочилъ къ нему Юхоревъ съ стиснутыми кулаками.

— Самъ сучій ротъ!—отвѣчалъ молодой геркулесъ, въ свою очередь приближаясь къ лицу противника:—аль ты не знаешь, что у меня тоже кулакъ здоровый? Одному этакому живо брюшину выпущу.

— Да развѣ-жъ ты не сказывалъ Мишкѣ Биркину про Ивана Николаевича?—сѣхалъ Юхоревъ на болѣе удобную для себя позицію, сразу понижая тонъ.

— Ничего не сказывалъ.

— Мишка! Эй, Собачья Почта!—заревѣлъ Юхоревъ, оглядываясь по всѣмъ сторонамъ, какъ разъяренный тигръ, ищущій добычи.

— Эге!—откликнулся юркій Мишка, норотившій уже, было, шмыгнуть за дверь.

— Что тебѣ сказывалъ Огурцовъ?

— Да что ты, молъ... на мѣсто его другого хлѣбопека хочешь просить у начальника.

— Не про то, сволочь, спрашиваютъ тебя! Это-то я самому Огурцову въ глаза говорилъ... А что сказывалъ ему Николаичъ?

— Ты, можетъ, звѣзды тогда на потолокъ считалъ, когда я тебѣ сказывалъ про это? — спросилъ и Огурцовъ, тоже подступая къ Мишкѣ:—а то, можетъ, хочешь, чтобъ я ребра тебѣ хорошенъко посчиталъ?

Несчастный Звѣздочетъ завертѣлся между двухъ огней; для меня было очевидно, что Огурцовъ не сберегъ-таки довѣренной ему мною тайны и дѣйствительно что-то сболтнулъ Биркину, но что теперь онъ готовъ пустить въ ходъ свои дюжіе кулаки, лишь-бы только хоть какъ-нибудь оправить себя въ моихъ глазахъ, и перспектива отвѣдать этихъ знаменитыхъ кулаковъ мало улыбалась его легкомысленному confidentу.

— Такъ называлъ онъ тебѣ Николаича, аль нѣтъ?—бѣсился передъ Биркинымъ не менѣе грозный Юхоревъ.

— Да давно вѣдь было это, Юхоревъ... запомятовалъ я!—весь красный, какъ ракъ, взмолился трусливый Мишка.

Стальная рука Юхорева схватила его во мгновеніе ока за ши-

воротъ, приподняла, встряхнула раза два и вышвырнула за дверь камеры. Кобылка разразилась хохотомъ, а Юхоревъ неистовой бранью. Быстрыми шагами подошелъ онъ затѣмъ ко мнѣ и, протягивая руку, сказалъ:

— Ну, помиримтесь въ такомъ случаѣ, Николаичъ. Я повѣрилъ этой сволочи, Собачьей Почтѣ, которой одно надо—порядочныхъ людей стравливать. Теперь я вполнѣ вѣрю вамъ и прошу прощенья за поклепъ.

## VII.

### Герои новой партіи.—Открытіе Прони.

Смѣшанныя чувства волновали меня долгое время послѣ описанной исторіи: тутъ было и досадное, въ высшей степени обидное сознание той жалкой роли, которая выпала на мою долю въ этой исторіи, и не менѣе горькое чувство попранной въ грязь любви къ несчастной, темной кобылкѣ, искренней готовности всегда и во всемъ отстаивать ея интересы. Да, нелегко было примириться съ мыслью, что *меня* поставили на очную ставку съ какимъ нибудь Огурцовымъ или Мишкой Звѣздочетомъ, одинъ минутный капризъ, одно слово которыхъ могли поставить меня въ самое позорное положеніе! На одну чашку вѣсовъ положили мое человѣческое достоинство, на другую авторитетъ Юхорева и заставили съ сердечнымъ замираніемъ ждать, которая изъ этихъ двухъ чашекъ перетянетъ въ глазахъ судей-зрителей, и кому изъ насъ они вынесутъ обвинительный или оправдательный приговоръ! Ссылая сходку, я, очевидно, рассчитывалъ въ глубинѣ души, что кобылка, какъ одинъ человѣкъ, подыметъ на мою защиту и выскажетъ Юхореву рѣзкое неодобреніе за взведенное на меня обвиненіе. Ничего подобнаго не случилось, однако. Ни одинъ голосъ не возвысился въ мою пользу; единственное, чего я дождался, это—что Огурцовъ не рѣшился открыто предать меня. Но и тутъ пришла мнѣ на помощь его мстительная ненависть къ Юхореву: не будь этой послѣдней, считай и онъ нужнымъ заискивать передъ общимъ старостой, развѣ тогда поступилъ бы такъ благородно этотъ чистокровный представитель шпанки? Кто поручился бы въ этомъ?..

Въ тотъ же день Чирокъ, не присутствовавшій на сходкѣ, гово-



рилъ мнѣ тайнственно въ банѣ, гдѣ онъ стиралъ бѣлье, и куда я случайно зашелъ:

— Хорошо мы знаемъ, Миколайчъ, что Юхоревъ глотъ. И то знаемъ, что онъ все, обязательно все, что въ тюрьмѣ дѣлается, Шестиглазому переводить. А только никакъ нельзя намъ было встать за тебя.

— Почему же нельзя?

— Эхъ, ровно дитя ты малое, право! Не знаешь развѣ арестантскихъ порядковъ? Вѣдь намъ житья не станетъ отъ ивановъ: скажутъ, махоркой да мясомъ купили васъ, продажныя души!..

Съ выраженіемъ подобнаго же тайнаго сочувствія подходили ко мнѣ и многіе другіе арестанты, какъ изъ старой, такъ и изъ новой партіи. Изъ этой послѣдней нѣсколько человѣкъ присутствовали даже на сходкѣ. Новички, еще полные ужасныхъ впечатлѣній этапнаго пути, а также слуховъ объ омерзительномъ пищевомъ режимѣ другихъ рудниковъ, повидимому, совершенно искренно недоумѣвали: какъ возможна такая черствая неблагодарность по отношенію къ людямъ, которымъ тюрьма столькимъ обязана?

— Помилуйте, да за такихъ людей надо вѣчно Бога молить, а не то чтобы что... Сколько лѣтъ впереди всяческихъ стязаній да постовъ предвидится; отъ цынги одной, какъ собаки, подохнемъ безъ табачишку... А вы намъ помощь оказываете, заступниками въ кажинной бѣдѣ являетесь! Достаточно мы еще въ дорогѣ слышаны; всюду вѣдь слухъ-то пошелъ: не люди, а прямо ангелы небесные! Ну, да не печальтесь, господа. Наша партія все по новому передѣлаетъ. Мы этимъ глотамъ вашимъ, Юхоревымъ-то разнымъ, почирикать много не дадимъ... Набаловали вы ихъ шибко! Ужъ такъ набаловали! Отъ насъ, ужъ повѣрьте, такой неблагодарности не дождетесь.

Такимъ искательнымъ языкомъ говорило вначалѣ большинство новопривывшихъ. Отъ средняго типа старой партіи такого языка я давно уже не слыхалъ. Старые шелайскіе арестанты, «набалованные» ли нашимъ деликатнымъ обращеніемъ, «просвѣщенные» ли шестиглазовскимъ суровымъ режимомъ, держались болѣе горделиво и независимо, были въ высшей степени амбиціозны и чутки насчетъ охраны своего человѣческаго достоинства въ отношеніяхъ съ нами. И какъ только новую партію смѣшали со старой, разбивъ по всѣмъ девяти камерамъ, такъ этотъ независимый духъ сообщился сейчасъ же и большинству вновь пришедшихъ. До тѣхъ поръ за-

битая и приниженная шпана очень быстро превратилась въ гордую «Испанію»...

Въ новой камерѣ, куда переведены были мы съ Штейнгартомъ, очутилось съ нами шестеро новичковъ. Одинъ изъ нихъ, Струйскій по фамиліи, сынъ мелкаго чиновника, гдѣ-то когда-то учился и пришелъ въ каторгу за фальшивыя кредитки. Въ обращеніи съ нами онъ старался блеснуть книжными оборотами рѣчи, ужимочками и манерами якобы свѣтскаго пошиба, но за этой вѣшной полированностью скрывалось самое несосвѣтимое невѣжество и мелкая душонка. Завѣтнѣйшія помысленія этого человѣка вертѣлись около самой грубой и первобытной клубнички, и скоро даже среди арестантовъ онъ получилъ циничную кличку «любителя». Струйскій тотчасъ же внесъ въ камеру такую зловонную атмосферу словесной распущенности, что мы съ Штейнгартомъ должны были то и дѣло ежиться, выслушивая эти безконечные скабрезные анекдоты, это грязное и извращенное остроуміе. Какъ разъ передъ появленіемъ «любителя» въ нашей камерѣ составилъ въ этомъ отношеніи превосходнѣйшій подборъ обитателей. Въ одну изъ благодушныхъ минутъ общей веселости и размягченія сердець кто-то изъ насъ двоихъ, — скорѣе въ шутку, нежели серьезно, — предложилъ своимъ сожителямъ никогда не произносить, находясь въ камерѣ, ни одного площаднаго слова, подъ угрозой немедленной постановки банокъ провинившемуся. Камера приняла предложеніе съ восторгомъ... Къ чести большинства ея обитателей надо сказать, что оно и безъ того отличалось большою воздержанностью на языкъ и прибѣгло къ циничной ругани лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. Предложеніе было поэтому направлено, главнымъ образомъ, противъ Чирка. Онъ тотчасъ же зачесался по всѣмъ направленіямъ тѣла, что было у него всегда признакомъ большого волненія, и заговорилъ жалобно:

— И хитрые жъ вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я безъ этого слова жить не могу... Вамъ-то легко отвыкнуть, а мнѣ, значить, каждый день банокъ придется отвѣдывать? Нѣтъ, я не согласенъ!

И съ языка его тутъ же сорвалось запретное выраженіе... Тогда Сохатый, Луньковъ, Ногайцевъ, Желѣзный Котъ, Медвѣжье Ушко и другіе кинулись на него всей оравой и отрубили такіа здоровыя «банки», что злополучный Чирокъ оралъ не своимъ голосомъ и клялся и божился, что станетъ впередъ остерегаться... И

точно, хотя ему и чаще другихъ приходилось получать банки, но онъ началъ съ этихъ поръ, насколько могъ, «остерегаться», и камера наша сдѣлалась прямо образцовой по сдержанности на языкъ. Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки даже случайно заходившимъ къ намъ обитателямъ чужихъ камеръ...

И вотъ, вся эта воздержанность пошла прахомъ съ появленіемъ шестерыхъ новичковъ, ни образъ мыслей которыхъ, ни характеръ, ни внутренняя цѣнность рѣшительно никому не были извѣстны. Аборигены тюрьмы, не успѣвшіе еще сблизиться съ новыми товарищами, не только не останавливали ихъ, но и сами начали опять мало-по-малу заражаться дурнымъ примѣромъ: снова загрѣмѣла кругомъ кабацкая брань, снова нравственная атмосфера сдѣлалась душной и нестерпимо-смердной. Что касается «любителя» Струйскаго, то онъ, казалось, и не замѣчалъ того, что я и Штейнгартъ чувствуемъ себя въ его обществѣ отвратительно, и продолжалъ то и дѣло вступать съ нами въ бесѣды, причемъ держался самымъ галантнымъ и утонченно вѣжливымъ, на его взглядъ, образомъ. Но разъ, вечеромъ, когда, только что рассказавъ громогласно одинъ изъ своихъ безчисленныхъ сальныхъ анекдотовъ, онъ подошелъ съ самымъ развязнымъ видомъ къ нашимъ нарамъ и задалъ Штейнгарту какой-то вопросъ, послѣдній поднялся, весь дрожа отъ негодованія, и крикнулъ:

— Прочь отъ меня, негодяй! Не смѣйте никогда больше со мной разговаривать!

Струйскій, не ожидавшій подобнаго афронта, опѣшилъ. Онъ страшно поблѣднѣлъ и, съежившись, принялъ вдругъ самый плачевный видъ.

— Дмитрій Петровичъ, да что же я такое сдѣлалъ? — забормоталъ онъ.

Штейнгартъ повернулся къ нему спиной.

— Я тебѣ, Струйскій, вотъ что скажу, — заговорилъ тогда Чирокъ; — Митрій Петровичъ и Иванъ Миколантъ не любятъ этихъ самыхъ словъ. Не выносить, значить, душа, да и все тутъ! А ты такое, братъ, мелешь, что ужъ чего мой пермачкій языкъ любить срамословить, а и мнѣ, скажу тебѣ, подчасъ муторно становится...

— Дуракъ ты этакій, — вступился и Сохатый не то серьезно, не то, по обыкновенію, иронизируя, — ты долженъ понимать, въ какую тюрьму попалъ и съ какими людьми обращенье теперь имѣешь. Ты

думать, тутъ каторга, а на дѣлѣ тутъ ниверситетъ, и ты студентомъ долженъ понимать себя, вотъ что!

— У насъ банки отсѣкали до васъ каждому, кто только мать выругаетъ!—съ гордостью добавилъ Луньковъ.

— А вѣдь что-жъ, ребята, самое это разлюбезное дѣло!—сорвался вдругъ съ нарѣ плечистый мужчина съ мрачнымъ выраженіемъ краснаго, какъ морковь, угреватаго лица и маленькими рыжими усиками, Карасевъ по фамиліи: — Я самъ смерть не люблю этой нашей дурной привычки... Давайте, братцы, и мы въ это согласіе вступимъ. Банки тому, сукиному сыну, кто хоть разъ поманетъ мать аль отца нехорошимъ словомъ!

И за этимъ энергичнымъ выкрикомъ онъ сдѣлалъ въ воздухѣ энергичное движеніе кулакомъ.

— Что, братъ Струйскій, заварилъ кашу? — захохоталъ другой арестантъ, спокойно лежавшій на нарахъ. Онъ давно уже производилъ на меня крайне непріятное впечатлѣніе своими наглыми свѣтлосѣрыми глазами, постоянно оскаленными, точно у волка, бѣлыми, какъ снѣгъ, зубами и всѣмъ своимъ лицомъ, тоже ослѣпительно-бѣлымъ и прекрасно упитаннымъ. Рядомъ съ этимъ антипатичнымъ развязнымъ блондиномъ, фамилія котораго была Тропинъ, лежалъ четвертый изъ новичковъ, худощавый брюнетъ съ длинными усами и прямымъ, острымъ носомъ; темные глаза его въ глубокихъ впадинахъ смотрѣли пронзительнымъ и почти дикимъ взглядомъ. Этотъ не проронилъ пока ни одного слова.

Струйскій по прежнему стоялъ возлѣ нашихъ нарѣ, повѣсивъ голову и имѣя самый виноватый видъ.

— Я что же... Я, какъ всѣ, господа, — продолжалъ онъ оправдываться: — противъ общества я никогда не пойду. Я даже очень буду радъ... Конечно, глупая привычка наша всему причиной... Къ тому же иные настоящіе господа очень даже сами одобряютъ крѣпкое слово... Приходилось мнѣ и порядочное общество тоже видѣть... Но ежели вашъ характеръ иного рода, такъ простите великодушно, я не зналъ вѣдь...

Несчастный «любитель» имѣлъ очень комичный видъ въ своей растерянности.

— Больше, значить, не будете? — сурово спросилъ его Штейнгартъ, поворачиваясь къ нему и противъ воли улыбаясь вмѣстѣ со мною.

— Прямо языкъ себѣ позволю отрѣзать! — обрадовался Струй-

скій,—прямо вотъ принесу ножикъ, подамъ въ руки и скажу: рѣжьте, Дмитрій Петровичъ, заслужилъ!

— Ну, надо, значить, въ другую камеру проситься, съ барами намъ не житье! — гнѣвно произнесъ вдругъ худошавый, мрачный брюнетъ, поднявшись съ наръ. И, громко бряцая кандалами и стуча сапогами, онъ сталъ расхаживать взадъ и впередъ по камерѣ, крутя одной рукой усы и изподлобья бросая въ нашъ уголъ злые, пронизывающіе взгляды.

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Молодчинища Стрѣльбицкій, славно, братъ, отбрилъ! — залился веселымъ смѣхомъ Тропинъ, перевалившись съ одного бока на другой и скаля свои острые, бѣлые зубы.

— Дичь вы необразованная, еловая дичь! — ядовито бросилъ въ сторону ихъ обоихъ Карасевъ, тотъ мужчина съ угреватымъ краснымъ лицомъ, который вызвался передъ тѣмъ вступить въ «согласіе».

Я давно уже замѣчалъ, что въ этомъ человѣкѣ, работалъ ли онъ, отдыхалъ ли, разговаривалъ ли съ кѣмъ, вѣчно, казалось, бурлило и клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на что-то. Вѣчно онъ на что-нибудь ворчалъ, проклиналъ то начальство, то арестантовъ, то самого себя. Когда же не было повода къ чему либо придратъся, онъ упорно молчалъ по цѣлымъ часамъ, угрюмо насупившись, съ налитыми кровью глазами безъ рѣсницъ, съ подозрительно насторожившимся видомъ, точно зорко выжидая и выслѣживая, гдѣ бы и въ чемъ бы уловить хоть тѣнь обиды себѣ и оскорбленія. Очевидно, это былъ человѣкъ изъ породы тѣхъ самогрызуновъ, недалекихъ, безпричинно злобныхъ и сварливыхъ, которые умѣютъ дѣлать несчастными и себя самихъ, и всѣхъ окружающихъ ихъ людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добросердечія, то въ нихъ было что-то неестественное, слащаво-сентиментальное, и, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны и оканчивались сугубой бранью съ сожителями... Такъ, въ настоящую минуту онъ всталъ ни съ того, ни съ сего на защиту благопристойности и съ гнѣвомъ обрушился на двухъ товарищей, заставившихъ себя ея противниками.

— Ты, что-ль, образованный-то? — захохоталъ пуще прежняго Тропинъ, приподнимая на локтѣ свое нахальное лицо.—Я, по крайности, грамотный, а ты-то до сегодня вѣдь полагалъ, что книжку замѣсто сахару съ чаемъ прикусываютъ! Недаромъ и фамилія-то твоя Карасевъ: караси вѣдь всѣхъ рыбъ глупѣе, братцы.

Кровь такъ и ударила въ лицо Карасеву.

— А твоя какая фамилія? — весь дрожа отъ злости и тщетно ломая голову, какой бы сокрушительный отвѣтъ придумать, спросилъ онъ, подступая кошачьими шагами къ нарамъ противника: — ты кто такой будешь? Тропинъ?

— Ну, Тропинъ. А все-жъ не Карасевъ. Завтра, захочу, Скатертевымъ буду, а все-жъ не Карасевымъ!

Карасевъ, видимо, былъ окончательно ошеломленъ этимъ непонятнымъ для него остроуміемъ и нѣсколько мгновеній стоялъ, какъ очумѣлый, не зная, что возразить. И вдругъ, подумавъ, раскатился самой отборной, трехэтажной кабацкой руганью! Кобылка, какъ одинъ человекъ, покатила со смѣху; не выдержалъ даже и мрачный Стрѣльбицкій, все время шагавшій по камерѣ.

— Ай да монахи! Только что въ монахи поступить собирался... Ну, и удружили же! Молодчага!

Карасевъ окончательно потерялся.

— А чего-жъ онъ говоритъ мнѣ глупости-то? — обращаясь къ камерѣ, заговаривалъ онъ охрипшимъ голосомъ: — я вѣдь и самъ могу ему наговорить глупостей...

И долго еще въ такомъ родѣ шла между новичками перебранка, пока всѣ не улеглись, наконецъ, спать. Не помню уже, въ какой связи, поздно вечеромъ, Стрѣльбицкій разсказалъ Тропину, лежа съ нимъ рядомъ на нарахъ, одну страшную исторію изъ своего далекаго прошлаго. Начала этой исторіи я не слышалъ: должно быть, Стрѣльбицкій повѣствовалъ о своихъ разбойничьихъ похожденияхъ гдѣ-то на югѣ Россіи. Шайка ихъ была переловлена, и озлобленные крестьяне-хохлы посадили троихъ главарей, въ томъ числѣ и Стрѣльбицкаго, въ холодный погребъ.

— Ну, вотъ посадили. И помни, въ однѣхъ рубахахъ, со связанными руками, ногами! Глядимъ вокругъ — темно, ледъ. Холодно страсть. «Что-жъ, братцы, видно, помирать надо», — говоримъ промежъ себя. Помирать — такъ помирать! Стараемся уснуть, жмемся другъ къ другу; зубъ на зубъ не попадетъ. Вдругъ ночью огни. Много народу, слышимъ, идетъ. «Бить ихъ мерзавцевъ!» Ну, бѣда пришла. Ввалилась орава. Лутили, я тебѣ скажу, такъ, что еле живыхъ оставили. Однако на смерть не убили. А что-жъ, ты думаешь, сдѣлали? Привѣсили за веревку, которой руки за спиной были скручены, къ балкѣ, вылили на каждого по ведру воды и ушли. Заледнѣли мы всѣ... Ну, вотъ какъ сосульки бываютъ зимой, съ крышъ висятъ. И такъ, братецъ ты мой, кажинный день по часу, по два

стали мы висѣть: выльютъ на насъ по ведру воды и привяжутъ. А разъ, помню, цѣлыя сутки такъ продержали.

— Да какъ же вы не померли? Вѣдь это насмоку какую, братъ, схватить было можно!

— Тутъ ужъ не до насмоки. Всѣ трое голосу совсѣмъ лишились, а одинъ въ горячкѣ и померъ скоро. Другой товарищъ безъ голоса на всю жизнь остался, а у меня послѣ отошло.

— Ну, и долго-ль такъ держали васъ въ погребу?

— Да почти шесть недѣль.

— Ну, врешь?!

— Ничего не вру. Ты, братъ, не знаешь еще этихъ хохловъ! Такихъ другихъ варваровъ свѣтъ не создавалъ.

Но, возмущаясь варварствомъ палачей-хохловъ, собесѣдники и не думали, повидимому, вспомнить о варварствахъ самого рассказчика, которыми была вызвана эта свирѣпая расправа. Я давно уже привыкъ къ такому одностороннему гуманизму своихъ сожителей; тѣмъ не менѣе, услышанный рассказъ, въ которомъ чуялась правда, обратилъ мое вниманіе на Стрѣльбицкаго: у человѣка, прошедшаго такую школу,—невольно думалось мнѣ,—скопилось въ душѣ много мрака и ненависти, и долженъ быть гордый, непреклонно сильный характеръ...

Что касается Струйскаго, то на него описанная исторія повліяла почему-то самымъ благотворнымъ образомъ: онъ не только пересталъ срамословить, но и вообще какъ-то затихъ и совершенно стушевался въ камерѣ. Его прежнюю роль взялъ на себя Тропинъ, которому, видимо, страшно нравилось доставлять мнѣ и Штейнгарту возможно больше неприятностей. Струйскій, бывало, только рассказывалъ грязные анекдоты, онъ же теперь старался размазывать ихъ, всячески изукрашивать, варіировать и смаковать. И оборвать такого человѣка, подобно тому, какъ Дмитрій Петровичъ оборвалъ Струйскаго, было немислимо: это значило бы пойти на крупный скандалъ, въ которомъ несомнѣнно принялъ бы участіе и озлобленный товарищъ Тропина—Стрѣльбицкій. Оба они еще съ первыхъ же дней свели дружбу съ Юхоревымъ и все свободное отъ работы время неразлучно гуляли вмѣстѣ по тюремному двору.

Въ тотъ самый день, какъ произошло примиреніе мое съ Юхоревымъ, послѣдній приближалъ и торжественно заявилъ:

— Иванъ Николаевичъ! Мы съ товарищами по прежнему будемъ брать у васъ табакъ и пользоваться вашимъ мясомъ. Миръ — такъ ужъ, значить, миръ въ полной формѣ!

Это было сказано такимъ тономъ, точно мнѣ сообщалась огромная радость, и дѣлалось великое одолженіе... Однако, я тогда же почувствовалъ, что миръ этотъ былъ довольно неискрененъ и непроченъ, такъ какъ вызванъ былъ, главнымъ образомъ, необходимостью для Юхорева самому выпутаться какимъ либо искуснымъ маневромъ изъ неловкаго, двусмысленнаго положенія, въ какое онъ попалъ на сходѣ. Вся клика, дѣйствительно, по прежнему стала принимать нашу махорку и ѣсть въ постные дни скоромную пищу, но въ отношеніяхъ ея съ нами не переставала чувствоваться напряженность и натянутость. Изъ новой партіи тотчасъ же выдѣлились элементы, которые быстро съ ней снюхались и заключили оборонительный и наступательный союзъ: главарями ихъ были Тропинъ и Стрѣльбицкій.

Но первый изъ этой достойной парочки заслуживаетъ того, чтобы на немъ нѣсколько подольше остановиться. Подобно Соколицеву, Тропинъ былъ софистъ по натурѣ, но софистъ совсѣмъ въ другомъ родѣ, софистъ-мучитель, нашедшій величайшее наслажденіе въ возможности (если нѣтъ случаевъ мучить кого либо физически) терзать чью нибудь душу, мочалить чьи либо нервы, наконецъ, кощунствовать и издѣваться надъ какой либо признанной всѣми святыней. Отчаянный болтунище, онъ по цѣлымъ вечерамъ ораторствовалъ, напр., на тему, что честность — вздоръ и одно лицемеріе, что и всѣ тѣ, кто ее проповѣдуетъ, если не тупоумные дураки, вроде крестьянъ, то въ глубинѣ души первостатейные подлецы и негодяи, богатые люди, живущіе на чужой счетъ, чужимъ трудомъ и потомъ. Прочитавъ когда-то какой-то романъ изъ жизни іезуитовъ, Тропинъ пропагандировалъ теперь устройство такого мошенническаго ордена, который покрылъ бы своей сѣтью всю Россію и сталъ бы неодолимой силой. Путаница понятій въ этихъ дикихъ мечтахъ была полнѣйшая!

Вступать съ Тропинымъ въ какой нибудь споръ было совершенно безцѣльно, такъ какъ все, что имъ говорилось, говорилось намѣренно, изъ желанія позлить меня съ Штейнгартомъ, вывести изъ себя. И Штейнгартъ, дѣйствительно, выходилъ иногда изъ терпѣнія, схватывался съ нимъ, пытался пристыдить, урезонить. Но это только еще больше поджигало безстыднаго человѣка, и я предпочиталъ бороться съ нимъ убивающимъ презрѣніемъ.

Но какая, — спросить читатель, — была, собственно, причина его ненависти къ намъ, къ людямъ, отъ которыхъ онъ пользовался ма-



теріальной выгодой и передъ которыми, казалось бы, долженъ былъ и, въ силу своей дешевой натуршки, скорѣе заискивать и пресмыкаться? Я думаю, одна только причина—пожирающая скука, страшное раздраженіе противъ образцовой каторжной тюрьмы, далеко уже славившейся среди арестантовъ «просвѣщенностью» своихъ обитателей. Не меньше, чѣмъ мнѣ съ Штейнгартомъ, досаждалъ онъ и самому бравому капитану почти ежедневными приставаніями — перевести его въ другой рудникъ. Излагалъ онъ эти просьбы также въ высшей степени развязно и даже нахально, принимая, впрочемъ, видъ не то простофили, не то юродиваго и тѣмъ оставляя себѣ лазейку спасенія отъ наказанія за дерзость.

— Господинъ начальникъ, — начиналъ онъ одну изъ такихъ волюнокъ, — у меня носъ проваливается.

— Что такое? — удивленно поднималъ голову великолѣпный капитанъ.

— У меня, знаете, сифилисъ и очень даже сердитый сифилисъ: я здѣсь всѣхъ арестантовъ, а можетъ, и самихъ надзирателей, навѣрное, перезаражу. Каждый день у меня то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ новый прыщъ вскочить.

— Такъ ступай къ фельдшеру, въ больницу!

— Фершалъ говоритъ, что у него нѣтъ для такихъ больныхъ коекъ. А у меня, я правду вамъ сказываю, господинъ начальникъ, носъ скоро провалится...

— Чортъ знаетъ, братецъ! другой я носъ, что ли, тебѣ могу приставить? Чего ты ко мнѣ съ носомъ своимъ лѣзешь?

И, съ отвращеніемъ покручивая собственнымъ органомъ обонянія, Лучезаровъ, какъ бомба, вылеталъ изъ камеры въ корридоръ. Тропинъ же, нагло скаля зубы, подходилъ къ нашимъ нарамъ и, не обращая вниманія на то, что мы не разъ заявляли ему о своемъ нежеланіи имѣть съ нимъ какое-либо дѣло, начиналъ повѣствовать моему товарищу о своей болѣзни. При всей своей неприязни къ намъ, формально онъ не переставалъ быть вѣжливымъ, говорилъ «вы» и не иначе обращался, какъ со словами «Иванъ Николаевичъ», «Дмитрій Петровичъ» или «господинъ Штенгоръ».

— Я читалъ гдѣ-то, господинъ Штенгоръ, не знаю, правду ли, нѣтъ ли, — что въ настоящее время уже двѣ трети человѣческаго рода заражены сифилисомъ, и что самое лучшее будетъ, если и остальная треть возможно скорѣй имъ заразится. Тогда, будто бы болѣзнь сама собой прекратится. Значить, я такъ полагаю, что бо-

лѣзни этой не только стыдиться нечего, но даже гордиться ею слѣдуетъ.

Прошрое Тропина, двадцатилѣтняго каторжанина (репидивиста и, кажется, официально извѣстнаго подъ ложной фамиліей), было въ арестантскомъ смыслѣ не изъ серьезныхъ. Началъ онъ свою тюремную карьеру въ качествѣ самаго обыкновеннаго жулика изъ тѣхъ южныхъ «раклѡвъ», какими особенно славится городъ Николаевъ, мѣсто его родины. Не знаю, гдѣ научился онъ грамотѣ и гдѣ нахватался тѣхъ книжныхъ верхушекъ, знаніемъ которыхъ несомнѣнно превосходилъ большинство шелайскихъ обитателей. Если и были среди нихъ люди, не меньше его читавшіе и даже кончившіе курсы уѣздныхъ училищъ и прогимназій, то Тропинъ, уступая имъ въ чисто внѣшней полированности, грубостью своей напоминая скорѣе невѣжественнаго простолюдина, былъ за то выше ихъ всѣхъ по природному уму, гибкому, цинично-изворотливому, пропитанному всякаго рода софистическимъ ядомъ. Быть можетъ, это былъ единственный экземпляръ изъ всѣхъ когда-либо видѣнныхъ мною подонковъ отверженнаго міра, относительно котораго я затруднился бы сказать: есть ли у него въ сокровеннѣйшей глубинѣ души, въ той глубинѣ, которая и самому обладателю ея лишь смутно извѣстна, хоть что-нибудь святое и заветное? У Семенова, напримѣръ, было въ высшей степени развито чувство какого-то особеннаго, мрачнаго и, пожалуй, даже страшнаго человѣческаго достоинства, чувство своеобразной арестантской чести и товарищества; что-то въ этомъ же родѣ было несомнѣнно и въ Юхоревѣ, и въ Соколовѣ, и въ другихъ крупныхъ представителяхъ каторжнаго міра; но у Тропина, мнѣ кажется, ничего не было, кромѣ голаго, откровенно-циничнаго эгоизма, для удовлетворенія котораго онъ не остановился бы, вѣроятно, ни передъ какой гнусностью, ни передъ какимъ злодѣйствомъ. Впрочемъ, къ этому слѣдуетъ прибавить, что онъ производилъ, при всей своей развязности и нахальствѣ, впечатлѣніе страшнаго труса, способнаго ныть и плакать отъ порѣза собственнаго пальца. Я уже упоминалъ о томъ, что, ведя себя дерзко и иногда прямо нахально съ надзирателями и самимъ Шестиглазымъ, нерѣдко попадая за это даже въ темный карцеръ, онъ никогда не переходилъ границъ, за которыми начиналось бы явное преступленіе. Той же политики онъ держался, вѣроятно, и на волѣ, т. е. не шелъ, подобно другимъ преступникамъ, напроломъ, а старался дѣйствовать какими-нибудь скрытными изворотами, изъ-за угла или черезъ мелкихъ помощниковъ, са-

мому себѣ оставляя всегда спасительную лазейку. Тропинъ, не скрывая отъ товарищей, громко, съ циничнымъ сарказмомъ надъ самимъ собой, говорилъ, что больше всего на свѣтѣ онъ боится веревки!.. Въ минуты самой обостренной борьбы съ Юхоревымъ я могъ любоваться и даже восхищаться этимъ человѣкомъ, какъ своего рода силой; но Тропинъ ни разу за все время нашего знакомства, ни на одно самое даже короткое мгновеніе, не умѣлъ внушить мнѣ ни малѣйшаго чувства симпатіи или сожалѣнія, и я боюсь, что, давая изображеніе этого молодца, сгустилъ нѣсколько мрачныя краски... Кто знаетъ, не была ли и здѣсь виною недостаточная наблюдательность и вниманіе съ моей стороны? Быть можетъ, другой, болѣе терпимый и безпристрастный глазъ сумѣлъ бы и въ Тропинѣ отыскать искру божію, безъ которой какъ-то трудно представить себѣ разумное существо — человѣка... Но я описываю только то, что самъ видѣлъ и чувствовалъ.

Мишка Звѣздочетъ не переставалъ и послѣ извѣстной уже исторіи лебезить передо мною. Одной изъ его слабостей было, между прочимъ, изученіе заковыристыхъ иностранныхъ словъ, которыми онъ могъ щеголять передъ шпанкой, и онъ то и дѣло прибѣгалъ ко мнѣ или къ Штейнгарту съ вопросами.

— Ну, теперь, Иванъ Николаевичъ, я уже знаю, что я галантный и интеллигентный человѣкъ, индивидуѣ, либералъ, космополитъ и профессиональный астрономъ... А вотъ что еще мнѣ разъясните: что это такое инцидыва?

И, едва успѣвъ удовлетворить свое любопытство, торопливо убѣгалъ куда-то по неотложнымъ дѣламъ.

— Охъ ты, Собачья Почта!—говорили ему вслѣдъ арестанты.

Но однажды, покруживъ такимъ образомъ нѣсколько разъ около Штейнгарта, прогуливавшагося вокругъ тюрьмы, онъ подошелъ къ нему и спросилъ съ обычнымъ беззаботнымъ видомъ:

— А скажите, пожалуйста, Дмитрій Петровичъ, для чего употребляется морфій?

Штейнгартъ объяснилъ. Затѣмъ онъ полюбопытствовалъ узнать, что такое опій, атропинъ, и какая разница въ дѣйствіи этихъ ядовъ на человѣка. Штейнгартъ вдругъ насторожился: всѣ эти яды имѣлись въ тюремной аптекѣ, и, кромѣ того, задавая свои вопросы, Мишка, противъ обыкновенія, чего-то внутренне волновался. Тревожное подозрѣніе мелькнуло у молодого врача, и онъ очень строго сталъ допрашивать Биркина о причинахъ его любознательности. Бир-

кинъ окончательно растерялся и началъ, по арестантскому выраженію, крутить хвостомъ во всѣ стороны. Штейнгартъ, въ свою очередь, принявъ еще болѣе строгій тонъ и, наконецъ, добился отъ Мишки слѣдующаго признанія:

— Я боюсь, Дмитрій Петровичъ, какъ бы мнѣ не попасть въ бѣду... Я хочу бѣжать изъ больничныхъ служителей, да меня грозятся побить.

— Кто такой грозится побить? Что вы рассказываете?

— Наши иваны... У нихъ поддѣланъ ключъ къ аптекѣ, и они хотятъ, чтобъ я вошелъ туда ночью и взялъ эти самые яды.

— Ага, вотъ что. Ну, и мерзавцы же! Только знаете что, Биркинъ? Если вы не исполните ихъ просьбы, они только побьютъ васъ немного, а, быть можетъ, и совсѣмъ не побьютъ. Не такая здѣсь тюрьма... Ну, а если исполните, тогда знайте, что вамъ не миновать висѣлицы, или, по крайней мѣрѣ, новой каторги. А вамъ вѣдь черезъ четыре мѣсяца на поселеніе выходить!

Мишка поблѣднѣлъ.

— Присовѣтуйте, что же мнѣ дѣлать?

— Скажите имъ, что въ аптекѣ нѣтъ этихъ ядовъ.

— Нельзя. Тропинъ самъ видѣлъ мертвую голову на ящикахъ. Онъ чуть не каждый вѣдь день къ фершалу лѣзчить ходитъ.

— Такъ вотъ что: я дамъ вамъ магнезіи или другихъ какихънибудь пустяковъ, а вы скажите имъ, что это и есть ядъ. Не станутъ же они на языкъ пробовать, подлецы этикіе.

Мишка, видимо, сильно обрадовался этому плану и, поблагодаривъ Штейнгарта за совѣтъ, быстро умчался.

Но Штейнгартъ былъ взволнованъ. Онъ долго совѣщался со мной и Башуровымъ, и мы не могли придти ни къ какому спасительному рѣшенію. Доносить Шестиглазому о безумной затѣѣ арестантовъ намъ не приходило, конечно, и въ голову; рекомендовать осторожность Землянскому, который такъ дружилъ съ Юхоровымъ и могъ въ концѣ концовъ лично выдать ему все, что угодно, особенно въ пьяномъ видѣ, было бы глупо. Я посоветовалъ товарищу при первомъ удобномъ случаѣ самому провѣрить количество имѣвшихся въ аптекѣ ядовъ и затѣмъ слѣдить не только за Биркинымъ, но и за самимъ Землянскимъ. Произвести, однако, такую провѣрку удалось не скоро.

Почти въ тотъ же день, когда происходилъ разговоръ съ Мишкой Звѣздочетомъ, Тропинъ подошелъ къ Штейнгарту при всей камерѣ и спросилъ съ обычной развязной улыбкой:

— Скажите, пожалуйста, Дмитрій Петровичъ, что это за штука такая атропинъ? Правда ли, будто отравы такая существуетъ, читалъ я въ какой-то книжкѣ?

Взволнованный Штейнгартъ поглядѣлъ ему пристально въ глаза и отчеканилъ:

— Дѣйствительно, есть такая штука. Первая буква этого слова *a* есть греческая частица, обозначающая отрицаніе: не нужно, молъ... И выходитъ, что *атропинъ* есть то, о чемъ даже и знать не нужно Тропину! Вотъ что это такое.

Тропинъ весело захохоталъ: казалось, ему ужасно понравилась остроумная штука.

— Но зачѣмъ этимъ негодьямъ понадобился ядъ? — допрашивалъ меня всѣ эти дни негодующій Штейнгартъ.

— Ну, это-то я отлично понимаю зачѣмъ, — объяснялъ я: — много разъ приходилось мнѣ слышать ихъ бесѣды на этотъ счетъ. Ядъ, хорошій, тонкій ядъ — это своего рода философскій камень алхимиковъ, о которомъ мечтаютъ всѣ эти Тропины, Юхоревы, Соколыцеры. Они думаютъ, что, имѣя такое оружіе, они будутъ всеисильны и безнаказанно могутъ убивать и грабить.

— Такъ вы думаете, они для подвиговъ на волѣ, а не въ тюрьмѣ, хотятъ теперь раздобыть его?

— Я почти увѣренъ въ этомъ. Запасаются на далекое будущее. Да, впрочемъ, почему на далекое? Юхоревъ-то почти на дняхъ вѣдь долженъ выйти въ вольную команду.

Между тѣмъ долгія прогулки Юхорева съ Тропинымъ, Стрѣльбицкимъ и другими по тюремному двору и какія-то тайныя совѣщанія продолжались ежедневно. Къ этому избранному обществу присоединялся иногда и Гнусъ-Шматовъ. Юхоревъ вскорѣ, дѣйствительно, долженъ былъ выйти въ вольную команду и, должно быть, торопился преподавать своимъ ученикамъ уроки долгаго мошенническаго опыта. Въ одинъ прекрасный вечеръ имя его прочитали на повѣркѣ въ числѣ освобождаемыхъ на жительство внѣ тюрьмы; онъ забралъ свои вещи и тотчасъ же ушелъ за ворота. Признаюсь, я вздохнулъ не безъ тайнаго удовольствія, думая, что никому другому изъ арестантовъ уже не удастся такъ искусно верховодить кобылкой, экономомъ, фельдшеромъ и самимъ Шестиглазымъ.

Была уже середина лѣта.

Въ тюрьмѣ наступила отрадная тишина, отдыхъ послѣ всѣхъ пережитыхъ тревоженій. Все это время арестанты потѣшались надъ

Шматовымъ-Гнусомъ, который вздумалъ по уши влюбиться въ одну изъ каторжныхъ сильфидъ и то и дѣло вертѣлся около воротъ, въ тайной надеждѣ увидѣть свою пассію. Надзиратели сначала заподозрили было Шматова въ какихъ-то жульническихъ планахъ и напѣреніяхъ, но скоро и они попали въ общій тонъ, слыша постоянныя насмѣшки кобылки надъ Гнусомъ.

— Гнусъ, а Гнусъ? Да вѣдь она тебя, говорятъ, стряхиваетъ? Сказываетъ, что изъ тебя песокъ скоро посыплется?

— Ты бороду-то сбрѣй, дурачина,—гляди, какъ помолодѣешь!

— Ну, что и за Гнусъ у насъ, братцы! Одно слово любитель...

И вотъ, въ одно прекрасное утро вся тюрьма такъ и покатила съ смѣху: Гнусъ, дѣйствительно, сбрилъ бороду и, закрутивъ длинные усы, расхаживалъ по двору такимъ молодцомъ, словно ему было не больше двадцати лѣтъ... Каждый разъ, какъ растворялись ворота, и домашніе рабочіе, исполняя должность быковъ, ѣхали съ бочкой по воду, добровольно впрягался вмѣстѣ съ ними въ телѣгу и Гнусъ, чтобы хоть глазкомъ повидать свою красавицу, встрѣтивъ ее гдѣ нибудь случайно за оградой. Самъ онъ, правда, никому не говорилъ этого, но болѣзненно ожирѣвшее лицо его съ большимъ носомъ, соплѣвшимъ не хуже паровика, и оскаленными гнилыми зубами, улыбалось такой блаженной и вмѣстѣ лукавой улыбкой, что арестанты хватились въ порывѣ веселости руками за бока. Изрѣдка только Шматовъ гнусавилъ:

— Завидно, небось, подлецы?

— Ну, а коли она, Гнусъ, записку тебѣ пришлетъ, какъ ты ее читать будешь?

— Найду такихъ—прочтутъ.

— Да вѣдь перевернутъ сучьи дѣти!

— Ты Николаичу дай, Гнусъ.

— А онъ чѣмъ лучше? Такой же волынщикъ, какъ и всѣ.

Долго не давали такимъ образомъ Шматову проходу не только товарищи-арестанты, но и надзиратели, скучавшіе не меньше ихъ и тоже искавшіе предлога позубоскалить. Исключеніе представлялъ одинъ только Проня, «живая смерть», точно манекенъ въ дни своего дежурства ходившій по тюрьмѣ, дѣйствуя во всемъ «согласно инструкціи», молчаливый, педантичный и подозрительный. Онъ не смѣялся, подобно другимъ, надъ Шматовымъ, и я не разъ замѣчалъ, идя въ кухню за кипяткомъ, какъ онъ, усѣвшись на главномъ тюремномъ крыльцѣ, искоса наблюдаетъ за гуляющимъ тутъ же, вдоль фасада

тюрьмы, Гнусомъ и какъ-то особенно при этомъ наостряетъ свои рысы уши и глазки, не смотря на то, что Гнусъ съ своей стороны усиленно заискиваетъ и то и дѣло заговариваетъ:

— Прокопій Филипповичъ, а вѣдь скоро, пожалуй, нашему начальнику подполковничій чинъ выйдетъ?

Или:

— А вѣдь вамъ, Прокопій Филипповичъ, набавка жалованья должна выйти? Пятилѣтіе-то ваше на дняхъ кончается, я слышалъ?

Но на гладко выбритомъ, худошаво-блѣдномъ лицѣ образцоваго надзирателя не вздрагиваетъ ни одинъ мускулъ. Онъ отвѣчаетъ односложными, ничего незначащими словами и продолжаетъ свои ни для кого незамѣтныя, подозрительныя наблюденія. Но вотъ Гнусъ, нѣсколько разъ прогулявшись такимъ образомъ взадъ и впередъ съ заложенными за спину руками, быстрымъ движеніемъ повернулъ за уголь тюрьмы и скрылся. Кажется, что въ этомъ особеннаго? Соскучился человѣкъ ходить по одному мѣсту и ушелъ. Но неподвижность статуи командора моментально соскакиваетъ съ Прони, и онъ, точно стрѣла, пущенная изъ лука, бросается къ противоположному углу тюрьмы, какъ бы желая—тоже для моціона—обѣжать ее кругомъ.

Поиски и наблюденія каторжнаго Лекока не оказались безплодными, и въ одно мертвенно-тихое послѣобѣденное время, когда большинство арестантовъ, пользуясь короткимъ отдыхомъ, спало богатырскимъ сномъ по камерамъ, Проня-Живая Смерть сдѣлалъ важное открытіе, произведшее въ тюрьмѣ страшный переполохъ. Вынувъ половицу на одномъ изъ боковыхъ крылецъ тюрьмы, онъ нашелъ подъ ней цѣлый складъ вещей: массу лазаретнаго бѣлья, арестантскихъ бродней, рубахъ, рукавицъ и пр. Мало того: по данному имъ сигналу,—вскорѣ послѣ того, какъ кучка арестантовъ, съ Гнусомъ въ томъ числѣ, выходила за ворота тюрьмы въ огородъ поливать капусту,—въ одной изъ грядъ нашли, повидимому, только что зарытую часть того же больничнаго бѣлья. Немедленно явился въ тюрьму самъ бравый капитанъ, чуть не лопавшійся отъ гнѣвнаго прилива крови къ лицу, и, осмотрѣвъ крыльцо съ потайнымъ складомъ, приказалъ въ собственномъ присутствіи произвести во всѣхъ камерахъ повальный обыскъ. Обыскъ этотъ не далъ, однако, никакихъ новыхъ открытій.

— Я знаю главныхъ виновниковъ!—кричалъ Шестиглазый, грозясь заковать ихъ въ наручни и отдать подъ судъ:—нѣтъ, мало суда: убью и отвѣчать не буду!

Но на дѣлѣ онъ, очевидно, не зналъ виновныхъ, а голыхъ подозрѣній, наученный прежними неудачными опытами, на этотъ разъ не рѣшился послушаться. Не было почему-то арестованъ даже Шматовъ, котораго Проня видѣлъ убѣгающимъ отъ крыльца, и всѣ репрессіи по отношенію къ тюрьмѣ ограничились тѣмъ, что снова было предписано надзирателямъ держать камеры подъ строжайшимъ запоромъ, никого не выпуская вонъ безъ самой крайней необходимости. Что касается Прони, то, вмѣсто ожидаемой похвалы и поощренія, онъ получилъ суровый окрикъ:

— А вы глупы!.. Надо было устроить засаду и поймать этихъ артистовъ съ поличнымъ.

И Лучезаровъ повернулся къ образцовому надзирателю спиной.

Еще слышно было въ растворенное окно кухни, какъ онъ грозился упечь подъ судъ фельдшера Землянского. Но и изъ этой угрозы ничего не вышло, такъ какъ фельдшеръ привелъ въ свою защиту какіе-то факты, свалившіе вину недосмотра на эконома, а послѣдній тоже какимъ-то образомъ выкрутился, и дѣло съ краденнымъ бѣльемъ такъ въ концѣ концовъ и заглохло.

Единственнымъ видимымъ послѣдствіемъ открытія Прони было то, что любовь Гнуса въ тотъ же день точно рукой сняло... Онъ пересталъ бродить подъ воротами тюрьмы и добровольно впрягаться въ водовозную телѣгу, пересталъ щеголять и только самодовольно скалилъ зубы, давая этимъ понять, какъ ловко водилъ онъ за носъ не только надзирателей, но и самихъ сожителей-арестантовъ.

— Ай, да и Гнусина!..—говорили послѣдніе, раздумчиво качая головами.

Втайнѣ поговаривали также (и, конечно, не безъ основанія), что складъ краденныхъ вещей принадлежалъ, въ сущности, Юхореву, а Шматовъ былъ не больше, какъ его прислужникомъ-агентомъ: послѣ выхода въ вольную команду главы товарищества, Гнусъ производилъ ликвидацію его дѣлъ и успѣлъ уже сплавить за ворота тюрьмы столько вещей, что открытіе Прони захватило лишь жалкіе остатки былого величія...



## VIII.

## Недоразумѣнія продолжаются.—Вмѣшательство Шестиглазаго.

Попавъ въ вольную команду, Юхоревъ сразу утратилъ бывшее значеніе и обаяніе и превратился въ самаго обыкновеннаго арестанта. Нажитыя въ тюрьмѣ деньги онъ очень скоро прокутилъ съ каторжными прелестницами и теперь долженъ былъ работать черную работу наравнѣ со всѣми вольнокомандцами. Такъ онъ и дотянулъ бы, конечно, свой небольшой срокъ и ушелъ бы на поселеніе, если бы, на свою бѣду, не «спутался» съ Марьюшкой, служившей въ горничныхъ у браваго капитана. Кобылка поговаривала (она все знала!), что послѣдній самъ не совсѣмъ равнодушенъ къ здоровой и краснощекой арестанткѣ и наряжаетъ ее, какъ барыню; что касается Марьюшки, то наряды она, разумѣется, готова была принимать отъ кого угодно, не прочь была при случаѣ и вниманіемъ своимъ подарить кого угодно, но женское сердце ея не могло устоять противъ лихо закрученныхъ усовъ такого молодца, какимъ былъ Юхоревъ, не смотря на его сорокъ лѣтъ; да и къ тому же онъ былъ «своимъ братомъ», арестантомъ. Юхоревъ повадился ходить къ Марьюшкѣ въ гости, и какъ только Лучезаровъ куда-нибудь отлучался, въ домѣ поднимался цѣлый содомъ, игра на гитарѣ, пѣніе залихватскихъ пѣсенъ и всякаго иного рода веселье. Заставъ нѣсколько разъ Юхорева у себя въ кухнѣ, бравый капитанъ недовольно крутилъ носомъ и сердито предлагалъ бывшему своему любимцу идти въ казармы заниматься своимъ дѣломъ. Вытянувшись по солдатски, Юхоревъ отвѣчалъ «слушаю-съ!» — уходилъ и, пользуясь новой отлучкой начальника, опять оказывался въ его кухнѣ. Наконецъ, Шестиглазый запретилъ ему показываться здѣсь, подъ страхомъ возвращенія въ тюрьму.

Разъ ночью Лучезаровъ вернулся неожиданно изъ завода (откуда ждали его лишь къ вечеру слѣдующаго дня), неслышно подѣхалъ къ дому и, пославъ за надзирателями, отправился прямо въ кухню. Тамъ шелъ, по обыкновенію, дымъ коромысломъ. Заслышавъ знакомые шаги, Юхоревъ попытался было скрыться въ подполье, но поздно: великолѣпный Лучезаровъ уже стоялъ передъ нимъ лицомъ къ лицу съ гнѣвно раздувающимися щеками и ноздрями.

— Отправить немедленно этого артиста въ тюрьму! — коротко, но внушительно произнесъ онъ, и выросшіе, точно изъ подъ земли, два дюжихъ надзирателя приготовились исполнить это приказаніе.

— За что же, господинъ начальникъ?—взмолился Юхоревъ.

— За много, за многое, братецъ, самъ знаешь.

— Работу я свою, кажется, исполняю еще почище другихъ, а что ежели повеселишься вечеркомъ...

—Я тебѣ дамъ повеселиться! Ты въ моемъ домѣ развратный притонъ завелъ... Прислугу мою совращаешь... И въ тюрьмѣ тоже, я знаю, чьи всѣ штуки были... Но я тебя до сихъ поръ покрывалъ, я къ тебѣ расположенъ былъ... И вотъ какой ты платишь мнѣ благодарностью! Теперь ты сгніешь въ тюрьмѣ! Не гляди, что твой срокъ почти на дняхъ кончается, — я съумѣю тебя въ новую каторгу послать.

Такимъ образомъ Юхоревъ не прожилъ и одного мѣсяца въ вольной командѣ. Попалъ онъ на этотъ разъ въ мою камеру. Когда, поздно ночью, загремѣлъ замокъ и распахнулась дверь, я подумалъ было, что пришли звать Штейнгарта къ кому-нибудь изъ его многочисленныхъ пациентовъ, и едва повѣрилъ глазамъ, увидавъ Юхорева съ вещами. Многіе изъ арестантовъ тоже проснулись, зашевелились; начались разспросы и рассказы съ обычною бранью противъ закона, вѣры, Бога и особенно Шестиглазаго.

— Ну, и загнеть же онъ мнѣ теперь салазки, попомнить Марьюшку!—говорилъ Юхоревъ, укладываясь спать.

Дѣйствительно, на другой же день Юхорева вызвали въ рудникъ, причемъ оказалось, что Лучезаровъ просилъ Монахова и Пѣтушкова назначить его на самую тяжелую работу. Но въ рудникѣ Шестиглазый не былъ хозяиномъ, и Юхорева заставили тамъ дѣлать то же самое, что дѣлали и остальные арестанты. При его желѣзныхъ мускулахъ не стоило большого труда выбурить полный урокъ, и онъ подолгу грѣлся на солнышѣ, лежа на отвалѣ и болтая съ караулившими казаками, съ которыми почти со всѣми свелъ близкое знакомство въ короткое пребываніе на волѣ.

Возобновились и его дружескія прогулки и бесѣды въ тюремномъ дворѣ съ Тропинымъ, Стрѣльбицкимъ, Быковымъ и Шматовымъ. Не смотря на то, что онъ лишенъ былъ теперь всякой официальной силы и власти, прежнее значеніе его все еще сказывалось въ тюрьмѣ. Онъ производилъ впечатлѣніе развѣнчаннаго

короля, который спустился въ толпу бывшихъ своихъ подданныхъ, и тѣ все еще продолжаютъ и страшиться его, и ощущать бывшее обаяніе. Когда Юхоревъ хотѣлъ того, онъ и дѣйствительно умѣлъ быть по прежнему обаятельнымъ. Живое запомнилась мнѣ одна сцена. Было ненастное и холодное утро. Выгнавъ арестантовъ для повѣрки въ корридоръ, одинъ изъ самыхъ непопулярныхъ надзирателей, тотъ самый, котораго звали «Змѣиной Головой», не торопясь производить намъ счетъ, спокойно расхаживалъ взадъ и впередъ передъ строемъ, весело болтая о чемъ-то съ другимъ дежурнымъ.

— Долго-ль еще стоять здѣсь будемъ?—раздался, наконецъ, изъ рядовъ покорной кобылки смѣлый возгласъ Юхорева.

— А столько, сколько мы захотимъ!—грубо отвѣтилъ Змѣиная Голова:—кто тамъ ротъ разѣваетъ?

— Ротъ разѣваетъ человѣкъ, хотя и каторжный! — отозвался тѣмъ же властнымъ голосомъ Юхоревъ: — и позвольте вамъ замѣтить, Василій Андреевичъ, что заставить насъ слушаться вашихъ хотѣній, ежели они не законъ, а простой капризъ, вы не можете.

— Ты разговаривать со мной вздумалъ?

— Вздумалъ и еще вздумаю.

— Я тебя въ карцеръ отведу.

— Отведите. Карцемъ вы меня не испугаете, а что арестанты будутъ съ этихъ поръ знать, кто вы такой, такъ это вѣрно!

Въ корридорѣ водворилась глубокая тишина; всѣ ждали, что Юхорева тотчасъ же послѣ этого отведутъ въ секретную. Змѣиная Голова перемѣнился нѣсколько разъ въ лицѣ, то блѣднѣя, то краснѣя, сдѣлалъ туда и сюда рядъ порывистыхъ движеній, брякнулъ ключами и вдругъ скомандовалъ зычнымъ голосомъ на молитву. Все время этой сцены я невольно любовался Юхоревымъ, стоявшимъ неподвижно, какъ статуя, не выражая на своемъ лицѣ ни страха, ни гнѣва, ни довольства своей побѣдой. Прошла повѣрка, и онъ съ такимъ же наружнымъ равнодушіемъ вошелъ въ камеру, и не говоря ни съ кѣмъ слова, кинулся въ постель, намѣреваясь еще немного соснуть. И черезъ минуту онъ, точно, опять храпѣлъ и спалъ богатырскимъ сномъ.

Между мной и Юхоревымъ, со времени возвращенія его въ тюрьму, не существовало рѣшительно никакихъ отношеній. Хотя передъ уходомъ его въ вольную команду мы разстались въ на-ружно-добрыхъ отношеніяхъ, но теперь по какому-то безмолвному

соглашенію установилось, что мы точно не замѣчали присутствія другъ друга въ камерѣ. Изрѣдка только мнѣ казалось, что онъ, не любившій раньше цинизма рѣди одного цинизма, хотя и не стѣсняяшійся никогда въ крѣпкихъ выраженіяхъ, теперь, будто намеренно, распѣвалъ иногда грязные куплеты и пѣсни. Но онъ же пѣлъ иногда и чудные, задушевные мотивы (саратовецъ родомъ, онъ больше чѣмъ кто-либо другой въ тюрьмѣ былъ знатокомъ старинныхъ русскихъ пѣсень), и, слушая эти берущіе за сердце звуки, хотѣлось порой подойти къ нему, и, протянувъ руку, сказать расstroганнымъ голосомъ:

— Юхоревъ, зачѣмъ вы притворяетесь? Вѣдь вы не такой дурной человѣкъ, какимъ хотите казаться? Помиримся-же искренно и навсегда!

И вдругъ, не успѣвалъ еще замереть послѣдній аккордъ задушевной поэтической жалобы на то, что судьба и злые люди загубили жизнь добраго молодца, разлучили его съ родиной и съ милой сердцу дѣвушкой, какъ изъ устъ Юхорева вырывался отчаянно-кабацкій, безстыдно-разгульный припѣвъ, незаконный плодъ культуры и новѣйшей народной фантазіи... И очарованіе улетало: я опять видѣлъ передъ собой жестокаго, самолюбиваго, развратнаго разбойника, для котораго нѣтъ ни святыни, ни родины, ни *foi*, ни *loi*!

Однажды, въ воскресенье, я стоялъ съ двумя своими товарищами въ небольшомъ внутреннемъ корридорчикѣ тюрьмы и о чемъ-то вполголоса совѣщался. Бесѣда была непродолжительна, и, по окончаніи ея, я съ Штейнгартомъ отправился въ больницу, а Башуровъ взялся за ручку двери, ведущей въ главный корридоръ. Онъ увидѣлъ при этомъ, какъ кто-то быстро отскочилъ отъ двери и поспѣшно сталъ удаляться въ сторону; но Валерьянъ узналъ Карасева, того мнительнаго самогрызуна, который жилъ въ одной камерѣ со мною. Быть можетъ, онъ и не думалъ вовсе подслушивать и у двери стоялъ случайно, но ставшій, въ свою очередь, подозрительнымъ Башуровъ окликнулъ его и сказалъ укоризненно:

— А вѣдь это нехорошо, Карасевъ!

— Что такое нехорошо?—кровавымъ заревомъ вспыхнулъ Карасевъ.

— Да уши прикладывать къ дверямъ.

Трудно изобразить, что произошло послѣ этихъ словъ. Возвращаясь съ Штейнгартомъ изъ больницы въ свою камеру, мы застали въ корридорѣ слѣдующую сцену: Башурова и Карасева окружала

дѣлая толпа арестантовъ, и второй изъ нихъ, съ пѣной у рта, съ налитыми кровью глазами и стиснутыми судорожно кулаками, такъ и лѣзъ на Валерьяна, оглушеннаго, растеряннаго, стоявшаго въ углу, не зная, что дѣлать и говорить.

— Какую ты имѣлъ полную праву такъ меня обзывать?—кричалъ Карасевъ:—выходить по твоему, я—сука? А можетъ, я еще почище тебя? А можетъ, я такое выражу, что ты въ доску передо мной ляжешь? Ты отвѣть: какую такую имѣлъ праву? Что я мимо двери проходилъ, такъ, значить, ужъ не смѣй и проходить мимо васъ? Вы Юхорева винили, что онъ большую власть надъ тюрьмой бралъ. А кто теперь его въ тюрьму посадилъ? Знаемъ мы хорошо, кто. Вы сами хотите власть забрать!

Этотъ безсвязно-нелѣпый потокъ обвиненій встрѣчался глухимъ одобрительнымъ ропотомъ тѣснившейся вокругъ толпы. Въ сторонѣ стоялъ съ вызывающимъ видомъ самъ Юхоревъ; передъ нимъ патетически размахивалъ руками и громко о чемъ-то шипѣлъ Гнусъ-Шматовъ. Быковъ, выдаваясь изъ толпы своимъ блѣднымъ лицомъ скелета, рычащимъ басомъ тоже рассказывалъ какую-то исторію.

— Онъ меня хлѣбомъ своимъ попрекнулъ... Бурили въ штольнѣ... Онъ засадилъ буръ и зоветъ меня подсобить исправить. Я бъ и пошелъ—чего не подсобить?—да только говорю такъ себѣ, никакого зла на умѣ не имѣя: «охъ! свой-то урокъ еще не конченъ у меня»... А онъ какъ вдругъ выпалить: «Забыли нашу хлѣбъ-соль!» Такъ вотъ они, ребята, каковы!

Послѣднія слова быковского разсказа долетѣли до моего слуха, и я сразу понялъ, что рѣчь шла не о комъ другомъ, какъ именно обо мнѣ. Но какъ же этотъ самолюбивый и упрямый человекъ извратилъ и переиначилъ то, что было на самомъ дѣлѣ! А было вотъ что. Быковъ бурилъ со мной въ штольнѣ и, видя, что я сижу, отдыхая и ничего не дѣлая, попросилъ меня сходить въ свѣтличку за новыми свѣчами. Я съ удовольствіемъ исполнилъ эту просьбу. Когда же, нѣсколько времени спустя, я, въ свою очередь, обратился къ нему за услугой, и онъ произнесъ свою фразу: «Охъ! у меня свой-то урокъ еще не конченъ», въ отвѣтъ я, дѣйствительно, сказалъ ему шутливымъ тономъ: «Видно старая-то хлѣбъ-соль забывается?»—при чемъ подъ хлѣбомъ-солью, конечно, разумѣлъ только свою ходьбу за свѣчами... Мнѣ и въ голову не пришло тогда, что мое замѣчаніе сколько-нибудь могло оскорбить Быкова, я не замѣтилъ даже, чтобы онъ надулся... Но теперь оказывалось, что я при-

чинить человѣку жестокою обиду, и невинный случай выдвигался въ качествѣ одного изъ моихъ преступленій противъ подозрительной гордости кобылки...

Однако я ограничился замѣчаніемъ:

— Вы не такъ меня поняли, Быковъ! — и поспѣшили пройти къ Карасеву. Съ послѣднимъ у меня установились передъ тѣмъ довольно недурныя отношенія: разгадавъ сразу этотъ мнительный, болѣзненно-амбиціозный характеръ, я подкупилъ его сдержанностью и уступчивостью въ спорахъ, и онъ относился ко мнѣ съ видимымъ уваженіемъ. Явившись теперь на выручку къ товарищу, я сталъ сочувственно расспрашивать Карасева о случившемся. Онъ еще разъ излил передо мной весь свой потокъ обвиненій и укоровъ. Я старался его успокоить, объясняя слова Валерьяна простымъ недоразумѣніемъ, въ которомъ онъ не замедлитъ, конечно, извиниться. Долго еще Карасевъ продолжалъ брызгать слюной, повторяться и кричать, но уже видимо успокоенный; при появленіи надзирателя, привлеченнаго шумомъ, кобылка мало по малу разошлась.

Чувствовалось тѣмъ не менѣе, что исторія далеко не кончена, что электричества скопилось въ воздухѣ достаточно для того, чтобы вожакъ попытался разрядить его. И дѣйствительно, къ вечеру собралась въ кухнѣ огромная сходка. Мы, конечно, не могли на ней присутствовать, но тайные друзья наши, вродѣ Огурцова и «интеллигентно-галантанга» шпіона по профессіи Мишки Биркина, передали намъ вскорѣ всѣ ея подробности. Юхоревъ предлагалъ заявить Шестиглазому, что тюрьма не желаетъ пользоваться скоромной пищею во время постовъ; его поддерживали Быковъ, Шматовъ, Тропинъ, Стрѣльбицкій и другіе. Совершенно неожиданно присоединился къ нимъ и Сохатый, котораго я, будто бы, «унизилъ», сказавъ кому-то, что его, Сохатаго, водить на веревочкѣ всякій, кто захочетъ. Выступилъ опять и Карасевъ, съ налитыми кровью глазами выкрикивавшій опять всѣ подробности своей стычки съ Башуровымъ. Выплывали на поверхность такія давно забытыя, тонкія и почти неудовимыя обиды, что въ другое время и при другомъ настроеніи можно было бы отъ души расхохотаться, услышавъ объ нихъ. Но теперь было не до смѣха. Теперь вся эта глупая, возмутительно-дикая исторія наполняла насъ троихъ чувствомъ горечи и глубокаго раздраженія. О, глупцы, глупцы! О, жестокія дѣти въ тридцать и сорокъ лѣтъ, не понимающія, кто ваши истинные друзья и враги, готовые растерзать тѣхъ, кто вамъ искренно желаетъ

блага, и принять въ объятія тѣхъ, кто можетъ предать васъ и погубить.

Сходка, однако, не привела къ тому героическому рѣшенію, котораго добивался Юхоревъ съ товарищами. Многіе даже изъ главварей охотнѣе кричали и размахивали руками, чѣмъ шли на дѣйствительныя жертвы собственными интересами; большинство, энергично участвовавшее въ негодующемъ шумѣ и гамѣ, вяло поддерживало вожakovъ, когда тѣ пытались перейти къ реальной формулировкѣ своихъ желаній. Этого мало. Нашелся человекъ, отъ котораго, казалось, меньше всего можно было ожидать геройства, но который, однако же, откровенно и громко всталъ одинъ противъ всѣхъ и съ неподражаемо-искреннимъ комизмомъ воскликнулъ:

— Несогласенъ! Составляйте протоколъ, пишите: я несогласенъ!..

Это былъ не кто другой, какъ Луньковъ. Слабый, маленький, подъ угрозой поднятыхъ на него кулаковъ, онъ не переставалъ кричать:

— Нѣтъ моего согласія! Старики, васъ на удочку поддѣть хотятъ! Имъ-то, глотамъ этимъ и храпамъ, ничего не стоитъ отъ табаку и мяса отказаться, они свое найдутъ, а мы съ голоду подыхать будемъ сдуру... И не вижу я никакой вины ни за Иваномъ Николаичемъ, ни за Митреемъ Петровичемъ, ни за Валерьяномъ Михалычемъ, кромѣ одной вины, что они много вниманья на насъ обращаютъ. Мы куражимся, а они насъ упрасниваютъ: «Ѣшьте, голубчики, пейте!» Вотъ за это виню я Ивана Николаича. Я бъ на его мѣстѣ...

Лунькову заткнули глотку и вышвырнули за дверь кухни; но арестантскій сеймъ былъ, тѣмъ не менѣе, сорванъ. Произвела ли рѣчь Лунькова такое впечатлѣніе на большинство кобылки, просто ли утомилась она отъ безплоднаго крика и гама, только кухня начала быстро пустѣть, и значительная часть крикуновъ разошлась по камерамъ. Когда Юхоревъ съ Тропинымъ начали подводить послѣ того итоги и собирать голоса тѣхъ, которые соглашались сдѣлать Шестиглазому заявленіе о пищѣ, они насчитали всего только восемь человекъ... Съ этимъ числомъ, конечно, невозможно было выступать отъ лица всей тюрьмы, и шайка порѣшила только снова варить для себя постную пищу въ отдѣльномъ котлѣ. Какимъ-то образомъ затесался въ эту же группу протестантовъ и нашъ пріятель Карпушка Липатовъ. Все время слѣдующаго дня, свободное отъ работы, онъ расхаживалъ по тюремному двору, ухарски заломивъ на

бекрень шапку и какъ-то особенно геройски выкидывая вперед колѣни, а когда встрѣчался со мной или Штейнгартомъ, то бросалъ на насъ самыя убійственныя взгляды и сардоническія усмѣшки. Но когда и еще одинъ день прошелъ (первый постный день послѣ сходки), а мы все не обращали на него ни малѣйшаго вниманія, тогда онъ подошелъ и заговорилъ:

— Вотъ вы какіе, господа... Карпушка Липатовъ съ пустымъ брюхомъ ходить, а вы и въ усь себѣ не дуете! Не лучше ль же вамъ опять въ хеврю меня свою принять? Дайте фунтикъ-другой табачку, и я, пожалуй, опять готовъ буду пишшу вашу ѣсть... Я вѣдь не злопамятный... А ужъ какъ вѣдь изобидѣли вы меня, господа, такъ изобидѣли, что просто и высказать даже нельзя!

— Въ чемъ же обида ваша, Карпушка?

— Въ господинѣ дохтурѣ, въ Митреѣ Петровичѣ, вотъ въ комъ! Потому я хананін у нихъ прошу настоящей, а они мнѣ все калидать да калидать въ ротъ суютъ. Они говорятъ, не калидать-молъ это. А меня ужъ довольно фершалъ Землянскій покормилъ имъ—Карпушку трудно обмануть, шалишь, братъ!

— Ну, вы опять за свое, проходите мимо.

— Нѣтъ, вы постойте, господинъ... Я помириться съ вами пришелъ. Я опять ваше мясо ѣсть стану...

— Ужасно насъ обяжите этимъ!

— Да и обяжу!.. Потому мясо — оно очень полезно для моей болѣзни. Оно лучше, пожалуй, всякой хананін будетъ!

И въ тотъ же день Карпушка объявилъ всѣмъ, что прекращаетъ свой протестъ противъ насъ. Что касается остальныхъ семи человѣкъ, то они варили постную пищу, какъ и предсказывалъ Луньковъ, только напоказъ; отдѣльно же отъ нея ѣли въ больномъ количествѣ мясо, пили молоко и, словно торжествуя какую-то побѣду, доставали, Богъ вѣсть откуда, даже водку... Башуровъ предлагалъ было уничтожить временно, по доброй волѣ, всякія улучшения общаго котла и посмотреть, что станетъ дѣлать кобылка, если перестать «нѣжничать» съ нею, показать наше полное равнодушіе къ ея вздорнымъ капризамъ; но Штейнгартъ энергично возсталъ противъ этого плана, и я также согласился съ нимъ, что лучше всего покажемъ мы свое равнодушіе, если ровно ничего не измѣнимъ въ своемъ поведеніи, а оставимъ все въ прежнемъ видѣ. Тѣмъ не менѣе, когда наступила суббота, и я разнесъ по камерамъ, какъ обыкновенно, махорку, то всѣ мы были крайне удивлены,



узнавъ, что не взяли своихъ порцій не одни только тюремные иваны, а цѣлыхъ сорокъ человѣкъ, т. е. чуть не третья часть всей тюрьмы... Чѣмъ объяснялось это странное явленіе? Возрасло ли такъ быстро число недовольныхъ нами? Просто ли пользованіе табакомъ рѣзче бросалось въ глаза, отказъ же отъ улучшенной пищи обставленъ былъ значительными трудностями? Среди отказавшихся отъ махорки, кромѣ прежней кучки недовольныхъ коноводовъ, пестрѣли и имена до тѣхъ поръ дружелюбно относившихся къ намъ арестантовъ, вродѣ Сокольцева, Желѣзнаго Кота, Звонаренки, Мишки Биркина, татарина Равилова и многихъ другихъ. Глухое броженіе въ тюрьмѣ не прекращалось, но съ каждымъ днемъ, повидимому, все расло и усложнилось. Надзирателямъ по нѣскольку разъ въ день приходилось разгонять собиравшіяся тамъ и сямъ группы арестантовъ. Смутные, доходившіе до насъ слухи объ этихъ совѣщаніяхъ говорили, съ другой стороны, что въ общемъ замѣчается сильное движеніе въ нашу пользу. Одни изъ главарей, видимо, уже утомились волненіями, другіе переругались другъ съ другомъ. Гдѣ-то за кулисами шли невообразимыя интриги, сплетни и свары: сегодня бранили и обвиняли во всемъ Юхорева, завтра, напротивъ, утверждали, что Юхоревъ давно наплевалъ на все, а что мутитъ одинъ только Тропинъ, который хочетъ верховодить тюрьмою. Полоумный Жебреекъ, стоя въ величественной позѣ посреди камеры и намекая на Штейнгарта, прорицалъ, что все зло на свѣтѣ отъ «дохторишекъ», и что еслибы всѣхъ ихъ спалить въ одинъ пріемъ, то бѣднымъ людямъ много бы легче дышать стало на свѣтѣ... Карасевъ кричалъ въ это же время, что онъ самъ сдумаетъ наговорить глупостей Сохатому, который чѣмъ-то его обидѣлъ... Словомъ, ничего нельзя было разобрать изъ того, что происходило кругомъ, и чего, наконецъ, хотѣли эти люди.

Между тѣмъ прошло еще два постныхъ дня, и тюрьма, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжала ѣсть вкусную скоромную баланду; земля отъ этого подъ нашими ногами не проваливалась, а мы и не думали идти съ повинной къ постившейся кучкѣ протестантовъ, у которыхъ къ тому же начали изсякать собственныя средства. И вотъ, начались искательные подходы къ намъ со стороны тѣхъ самыхъ лицъ, которыя были инициаторами волненій. Тропинъ изъ первыхъ сталъ весело скалить зубы и дружелюбно заговаривать то со мной, то со Штейнгартомъ; Карасевъ и Быковъ сдѣлались вдругъ удивительно деликатными и уступчивыми;

Сохатый нѣсколько разъ пытался вступить со мной въ дружескую бесѣду:

— Я что жъ? Я ничего... Другіе всѣ были недовольны...

— А зачѣмъ же вы, Петинъ, замучили на дняхъ Штейнгарта бурами? Безъ нужды то и дѣло посылали въ кузницу, изъ одной злости.

Петинъ краснѣлъ и отпирался.

Что касается Юхорева, то онъ, дѣйствительно, имѣлъ въ послѣднее время видъ человѣка, утомленнаго и ничѣмъ въ тюремной жизни не интересующагося.

Вся эта безтолочь длилась бы, вѣроятно, еще очень долго, не приводя ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, если бы въ дѣло не вмѣшалась, наконецъ, властная рука Шестиглазаго. До него донеслись какимъ-то путемъ свѣдѣнія о безпокойномъ настроеніи тюрьмы, и онъ не замедлилъ призвать къ себѣ новаго артельнаго старосту, скрытнаго хохла, большого политика, того самого, который нѣкогда, при чтеніи «Бориса Годунова» Пушкина, получилъ отъ кобылки прозвище Годунова. Послѣдній попробовалъ было отговариваться незнаніемъ. Тогда бравый капитанъ на него прикрикнулъ:

— Не смѣй увертываться! Я слышалъ, что о пищѣ какіе-то толки идутъ?

Годуновъ струсиль.

— Да, это точно, господинъ начальникъ... По средамъ и пятницамъ готовится изъ жертвуемаго мяса лапша... Такъ вотъ она многимъ некусной кажется...

— Лапша невкусна? Да вы очумѣли, что ли? Нѣтъ, ты что-то путаешь, братецъ, скрываешь.

И вдругъ голову Лучезарова осѣнила догадка:

— Ага, понимаю! Вѣроятно, тутъ религіозныя чувства затрогиваются... Да, да, это очень возможно! Какъ это мнѣ раньше на умъ не приходило! Въ такомъ случаѣ придется совсѣмъ запретить улучшенія по постнымъ днямъ.

Годуновъ не принадлежалъ лично къ числу протестантовъ и потому сталъ горячо опровергать догадку начальника. Послѣдній долго качалъ раздумчиво головою.

— Такъ вотъ что, братецъ,—наконецъ, рѣшилъ онъ,—отправляйся сейчасъ же въ тюрьму, и къ вечерней повѣркѣ чтобъ былъ мнѣ отвѣтъ: если найдется хоть пять человѣкъ, желающихъ поститься, то я немедленно прекращу всякія улучшенія.

Съ этимъ сенсационнымъ извѣстіемъ Годуновъ, чрезвычайно взволнованный, прибѣжалъ въ тюрьму и тотчасъ же созвалъ въ кухнѣ сходку.

— Вотъ до чего довели ваши капризы!—заголосила кобылка, накидываясь на ивановъ.

— Чьи капризы? Всѣ вѣдь говорили, не мы одни...

Начались, какъ всегда, бесплодныя перекосердія, въ которыхъ Тропинъ сваливалъ вину на Карасева, Карасевъ на Юхорева и т. д. до безконечности. Рѣшили, наконецъ, пригласить на сходку меня, какъ «старосту» нашей маленькой группы. Я отправился, заранѣе рѣшивъ держаться вѣжливо, но холодно, ни въ чемъ не уступая, но и не заводя никакихъ лишнихъ пререканій. Кухню я нашелъ биткомъ набитой народомъ. Меня встрѣтило гробовое молчаніе.

— Что вамъ нужно отъ меня, господа?—спросилъ я.

— Вы чего жъ замолчали? Говорите!—раздался чей-то насмѣшливый голосъ,—пока одни были, такъ откуда чего бралось, а тутъ и языкъ прикусили...

Голосъ, очевидно, былъ въ мою пользу.

— Вотъ что, Иванъ Николаевичъ,—выступилъ изъ толпы староста Годуновъ. Глаза его были дипломатично опущены внизъ, правая рука съ видомъ достоинства заложена за пазуху рубахи. Каждое слово онъ точно процѣживалъ и тщательно взвѣшивалъ прежде, чѣмъ произнести.

— Видите ли,—мы, кобылка, живемъ по нашимъ глупымъ правиламъ и привычкамъ. Вы насъ не обезсудьте. Между прочимъ, многіе обижались вашими поступками и обращеніемъ... Такъ вотъ намъ хотѣлось бы разобрать въ окончательной формѣ, кто изъ насъ, значить, правъ и кто виноватъ.

— Ну, что жъ, давайте разбирать,—сказалъ я спокойно,—высказывайте ваши претензіи.

Изъ толпы ближе всѣхъ протискался ко мнѣ рыженькій Жебреекъ. Онъ важно разставилъ свои крошечныя ножки и, скосивъ ротъ убійственно-презрительной усмѣшкой, хрипло заговорилъ:

— Претензіи? А ежели у меня въ животѣ болѣсть? Говорю вамъ, сурьзная болѣсть у меня въ кишкахъ есть, а онъ, дохторишка вашъ паршивый...

— Нельзя ли безъ ругани?

— Онъ — чтобъ вѣдьма кievская верхомъ на немъ поѣздила!—

говорить, будто никакой болѣсти во мнѣ не слышать. Прикладываетъ ухо и говорить, не слышать. Да кому же ближе слышать и знать? Ежели я самъ чувствую, что у меня въ животѣ настоящая, сурьезная болѣсть есть?

— Ну, ты, Жебрей цѣпучій! Ты дѣло говори, а не то проваливай!—закричалъ кто-то на полоумнаго старика, давно всѣмъ въ тюрьмѣ надоѣвшаго разсказами о своей «сурьезной болѣсти».

— А ты мнѣ что за указъ, долгій твой носъ?

— Самъ ты песь!

— Змѣй!

— Лягуша!

Всѣ захохотали надъ мѣтко придуманнымъ браннымъ словомъ. Жебрейка отгѣснили, и такъ какъ онъ упирался, кричалъ и бранился, то десятки дюжихъ рукъ быстро выволокли его за дверь кухни.

Впередъ выступилъ тогда молдаванъ Стрижевскій, старикъ съ красивой сѣдой бородой и чрезвычайно благообразнымъ лицомъ. Всегда тихій, застѣнчивый, этотъ человѣкъ давно уже обращалъ на себя мое вниманіе, хотя разговаривать его было почти невозможно. Выступивъ теперь съ «претензіей», онъ въ очень деликатной формѣ высказалъ недовольство тѣмъ, что Штейнгартъ порекомендовалъ, будто бы, фельдшеру выписать его, еще не совсѣмъ оправившагося, изъ больницы. Не совсѣмъ свободно выражаясь по русски, говорилъ онъ, тѣмъ не менѣе, почти правильнымъ литературнымъ языкомъ.

— Увѣрены ли въ этомъ, Стрижевскій?—въ свою очередь, мягко спросилъ я:—кто вамъ сказалъ это?

— Мнѣ никто не сказалъ, но я самъ слышалъ, какъ Дмитрій Петровичъ сказалъ фельдшеру за дверью: довольно!

— Дмитрій Петровичъ говорить, что рѣчь шла, по всей вѣроятности, о какихъ-нибудь лѣкарствахъ, а никакъ не объ васъ. Повѣрьте, что Землянскій выписалъ васъ самъ, безъ всякихъ совѣтовъ со стороны. Какъ можете вы подозрѣвать Штейнгарта, который столько силъ и собственнаго здоровья отдаетъ больнымъ арестантамъ, не досыпаетъ ночей и бросаетъ обѣдъ, чтобы бѣжать по первому зову къ больному.

— И впрямь не дѣло говоришь ты, старикъ,—раздались сочувственные голоса:—не такой человѣкъ Митрій Петровичъ, это ты напрасно!

Стрижевскій смутился и покраснѣлъ.

— Я не утверждаю за вѣрное,—заговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ;—конечно, это только мои подозрѣнія... Но арестанты оскорбляются.. Они тоже люди, хоть и убитые Богомъ... Вы не хотите насъ понять... не хотите признать, что мы имѣемъ, какъ и вы, душу и сердце...

— Богъ съ вами, Стрижевскій, откуда вы это взяли?

— Дмитрій Петровичъ сказалъ мнѣ одинъ разъ: «ты» какъ себя чувствуешь, старикъ? А я ни разу его не оскорблялъ и всегда говорилъ ему ви...

Я широко раскрылъ глаза: такой тонкости чувствъ я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ одномъ изъ представителей каторжной кобылки... Замкнутый, всегда страшно молчаливый и сдержанный, этотъ удивительный старикъ съ аристократически-тонкими чертами лица, съ нервнымъ складомъ всей фигуры и какой-то сердечной болѣзнию, правда, всегда казался мнѣ загадкой и исключеніемъ. Я поспѣшилъ утѣшить его увѣреніемъ, что если Штейнгартъ и дѣйствительно обратился къ нему на ты, то, конечно, не изъ желанія обидѣть, а, напротивъ, изъ самаго теплаго чувства къ нему, какъ къ больному старику.

— Ну, вѣстимо, чего здря говорить!—послышались опять миролюбиво-настроенные голоса, среди которыхъ я услышалъ и голосъ Быкова. Надо было ковать желѣзо, пока горячо, и я быстро перешелъ къ выводамъ.

— Не будемъ же, братцы, перебирать понапрасну старую труху и перейдемъ къ дѣлу. Время отъ времени поднимаются между нами ссоры, и всегда оказывается въ концѣ, что по пустякамъ. Надо съ этимъ покончить. Или вѣрьте намъ, что мы вамъ друзья и товарищи по несчастью, и тогда будемъ жить мирно, или же разъ навсегда разойдемся и не будемъ имѣть ужъ ничего общаго. Вотъ мы давали вамъ махорку, улучшали общій котель, дѣлая все это изъ самыхъ дружескихъ къ вамъ чувствъ. Живемъ въ общей тюрьмѣ, терпимъ общую бѣду; у насъ есть средства, которыхъ у васъ нѣтъ,—ну, мы и хотѣли вамъ помогать, повторяю, какъ товарищамъ по несчастью. Но многіе изъ васъ недовольны этимъ. Это ваше, конечно, дѣло. Теперь Шестиглазый сюда уже впутался: стоитъ вамъ одно слово сказать—и никогда никакихъ махорокъ, никакого мяса въ постыные дни вы ни отъ кого уже получать не будете! И мы, и вы одинаково станемъ голодать. Больше мнѣ нечего говорить. Рѣшайте, какъ сами знаете.

И съ этими словами я оставилъ кухню. Я слышалъ, какъ за дверью поднялся тотчасъ же невообразимый шумъ и гвалтъ. Разомъ заговорило нѣсколько десятковъ голосовъ.

Сходка привела къ совершенно неожиданнымъ результатамъ: прежніе смутяны-главари, почти всѣ безъ исключенія, стояли теперь за то, что слѣдуетъ «помириться», что не надо вредить будущимъ поколѣніямъ шелайскихъ арестантовъ, добровольно отказавшись отъ помощи «добрыхъ людей»; но безголосое обыкновенно большинство кобылки, само ничего противъ насъ не имѣвшее, вдругъ заартачилось... Даже такіе неизмѣнные друзья и благожелатели мои, какъ Чирокъ, Луньковъ и Ногайцевъ, кричали:

— Нельзя теперь мириться, никакъ нельзя!..

Я былъ въ полномъ недоумѣніи. Но передъ самой уже повѣркой въ нашу камеру вошелъ Стрѣльбицкій (незадолго передъ тѣмъ переведенный по собственной просьбѣ въ камеру Башурова) и съ чрезвычайнымъ негодованіемъ сталъ говорить о какихъ-то «иванахъ», ловящихъ рыбу въ мутной водѣ и подстрекающихъ простецкую кобылку ко всякаго рода волненіямъ (къ этой же «простецкой» кобылкѣ Стрѣльбицкій причислялъ, очевидно, и самого себя!).

— Отца съ матерью не послушаюсь больше, если скажутъ мнѣ: «выражай, Стрѣльбицкій, недовольство, подавай голосъ за ивановъ»! И на всѣ законы ихъ плюю съ этого дня!

Прислушиваясь къ этимъ рѣчамъ, я все еще не понималъ, въ чемъ дѣло. Желѣзный Котъ горячо подхватилъ его слова:

— А я такъ и давно уже наплевалъ. Потому мы же и въ дуракахъ всегда остаемся... Ну, какими глазами я теперь на Ивана Николаевича сталъ бы глядѣть, коли послѣ всего, что было, послѣ всего нашего кураженія пришелъ бы къ нему и сказалъ: давай мнѣ опять свой табакъ! Буду и пишшу твою опять ѣсть! Нѣтъ, ужъ лучше, по моему, помереть съ голода, чѣмъ горѣть со стыда.

— Вѣстимо, лучше,—мрачно подтвердилъ Стрѣльбицкій.

— А я и табакъ до сихъ поръ бралъ, и пишу ѣлъ, а теперь отъ всего откажусь, ото всего!—забасилъ вдругъ поэтъ Владиміровъ, срываясь съ своихъ нарѣ въ необыкновенномъ волненіи.

— Да всѣ всѣ теперь откажемся!—поправилъ его Луньковъ:—потому *они*, можетъ быть, изверги, стыда не имѣющіе, а мы *человѣки*.

— Въ чемъ дѣло у васъ, Луньковъ? — не вытерпѣлъ я, наконецъ, тоже поднимаясь съ своего мѣста.

Компанія, очевидно, все время хорошо меня видѣла и нарочно говорила такъ громко, чтобы вызвать меня на разговоръ.

— Да въ томъ дѣло, — закричали разомъ Луньковъ, Чирокъ и Желѣзный Котъ, — что не можемъ мы теперь мириться съ вами, Миколаичъ! Потому съ какими глазами пойдёмъ мы къ тебѣ мириться? У нихъ-то безстыжіе шары, а мы совѣсть какую ни есть имѣемъ. Никакъ, выходить, нельзя намъ съ тобой мириться.

Мы съ Дмитріемъ невольно разсмѣялись.

— Ну, полноте, мириться всегда можно... Если вы сами признаете теперь, что ссорились съ нами по пустякамъ, что васъ напрасно подзуживали иваны, такъ въ чемъ же затрудненіе? Мы-то, по крайней мѣрѣ, будемъ отъ души рады концу этихъ глупыхъ исторій.

— Ой-ли? Такъ какъ же, ребята? Мириться, что ли? Братъ табакъ?

— Братъ!

— Мириться! — раздались неистовые голоса, и, бросивъ меня, Чирокъ, Водянинъ, Стрѣльбицкій, Луньковъ и другіе со всѣхъ ногъ кинулись въ корридоръ пропагандировать свое новое рѣшеніе. Оставалось не больше пяти минутъ до повѣрки, во время которой староста долженъ былъ дать Шестиглазому тотъ или другой отвѣтъ.

— Мириться!

— Бра-а-ать! — доносились изъ корридора шумные голоса.

Штейнгартъ поглядѣлъ на меня съ улыбкой.

— Ну, какъ можно сердиться на этихъ взрослыхъ ребятъ? Чистыя, право, дѣти, да и только!

## IX.

### Исторія изъ Рокамболя.

Не успѣли закончиться описанныя тревоженія столь блестящимъ примирительнымъ аккордомъ, какъ однажды вечеромъ, вскорѣ послѣ повѣрки, въ тюрьмѣ случилось крупное событіе, снова перевернувшее вверхъ дномъ обычное тихое теченіе жизни. Внезапно въ одной изъ далекихъ камеръ послышался сильный шумъ, стукъ въ двери, крикъ арестантскихъ голосовъ въ оконную форточку. Въ нашей камерѣ всѣ повскакали на ноги.

— Гдѣ это? Что нибудь случилось... Звоните, ребята, у нихъ звонокъ, должно быть, оборванъ...

— Кричи громче надзирателя! О, чтобъ черти его задавили, куда онъ дѣвался?

— Чай, должно быть, ушелъ пить за ворота... Да въ какомъ номеру-то это?

Наконецъ, по корридору опрометью промчался дежурный... Одинъ разъ, и два, и три... Загремѣли ключи... Отомкнули какую-то изъ камеръ, и мимо насъ надзиратели проволокли по корридору, съ помощью арестантовъ, трехъ человѣкъ, похожихъ на трупы. Къ дверному оконцу нашей камеры тѣснилась куча народу, толкаясь и наперерывъ сѣясь въ него заглянуть.

— Что тамъ такое?

— Мертвяки.

— Изъ какого номеру?

— Это изъ шестого. Вонъ Быковъ прошелъ...

Это былъ номеръ, гдѣ жилъ Валерьянъ. Мы съ Штейнгартомъ страшно обезпокоились... Однако не прошло и десяти минутъ, какъ нашу дверь также отомкнули, и надзиратель позвалъ Штейнгарта въ больницу. Всѣ кинулись къ нему съ разспросами.

— Дурно сдѣлалось со Стрѣльбицкимъ, Карпушкой Липатовымъ и Китаевымъ, до такой степени дурно, что, кажись, помираютъ.

— Ну, обожрались, должно быть, проклятые, баланды,—рѣшила кобылка, сразу успокаиваясь:—вишь вѣдь, дорвутся кажинный разъ, словно два года крошки въ ротъ не брали!..

А дѣло, между тѣмъ, было несравненно серьезнѣе. Штейнгартъ всю ночь оставался въ больницѣ. На слѣдующее утро, только что прошла повѣрка, по тюрьмѣ пронесся слухъ, что Карпушка, Китаевъ и Стрѣльбицкій отравлены, и что отравѣ положена была въ чай.

— Н-ну?!.. Кѣмъ? Какъ? За что?

— Живы еще, аль померли?

— Живы. Митрій Петровичъ отходилъ.

— Вотъ выдумаютъ чепуху! Откуда здѣсь отравѣ, въ тюрьмѣ, взятыся?—презрительно промолвилъ Юхоревъ:—чешутъ языкъ до той поры, покамѣстъ сами себѣ петли на шею не надѣнутъ.

— Прямо изъ Рокамболя исторія!—сочувственно поддержалъ его Тропинъ, скаля зубы.

Остальные обитатели нашей камеры имѣли растерянный видъ



не знали, что думать и говорить. Я побѣжалъ къ Башурову узнать, какъ все произошло. Валерьянъ разсказалъ слѣдующее:

— Я пришелъ вчера вечеромъ, передъ самой повѣркой, въ кухню заваривать чай. Азіадиновъ въ послѣднее время ужасно ухаживалъ за мной, небывалую любезность проявлялъ. «Не хотите ли, спрашиваетъ, Валерьянъ Михалычъ, ложку-другую молока, у меня отъ больничныхъ порцій осталось?» И почти насильно всучилъ мнѣ котелокъ—на двѣ двѣ ложки молока; признаться, мнѣ не хотѣлось и обидѣть его отказомъ, послѣ всѣхъ этихъ исторій... Какъ вдругъ подлетаетъ ко мнѣ Карпушка Липатовъ: «Господинъ; вамъ вѣдь ни къ чему эти двѣ ложки, а у меня въ спинѣ косточка выросла отъ питья можетъ». Посмѣялся я и отдалъ ему, на свое счастье, на его бѣду. Послѣ повѣрки вынимаетъ Карпушка изъ подъ халата свой котелокъ и торжественно провозглашаетъ: «кто Карпушкѣ поклониться хочетъ—чай сегодня молосный пить»? Стрѣльбицкій съ Китаевымъ тутъ, какъ тутъ: «мы самому Богу кланяться не любимъ, а коли хочешь намъ товарищемъ быть, наливай по чашкѣ». И стали чаевать. Черезъ полчаса и схватило всѣхъ троихъ. Карпушка, должно быть, больше выпилъ—повалился, какъ мертвый, и глаза даже закатились. Китаевъ же все время стоналъ, хватаясь за животъ. Странно даже видѣть было, что такой здоровенный мужчина хныкалъ, точно баба: «охъ, братцы, смертенька моя подошла! Охъ, обкормили варвары!» Стрѣльбицкій тоже все время находился въ сознаніи и хоть выносилъ, повидимому, не меньшія муки, но не терялъ мужества. Все грозился только сломать шею Азіадинову и Юхореву, когда выздоровѣть.

— Юхореву? Причемъ тутъ Юхоревъ?

— А кто же, какъ не онъ, сволочь?—заголосила вся камера, слушавшая мою бесѣду съ Башуровымъ:—онъ, гадина, отраву у насъ въ тюрьмѣ развелъ, некому больше! Одна ихъ шайка: Юхоревъ, Землянскій да Азіадиновъ!

— Ежели я заступался за ихъ, такъ нешто я зналъ за нихъ такое дѣло?—зарычалъ, поднимаясь съ наръ, блѣдный, какъ смерть, смущенный до нельзя Быковъ, обращаясь въ мою сторону:—я за правду только стоялъ, за свою обиду...

— А все же, ребята, надо раньше обследовать это дѣло,—заговорилъ мой горный начальникъ Пальчиковъ, тоже принадлежавшій втайнѣ къ почитателямъ Юхорева:—можетъ, другіе виновники сыщутся, черная немочь ихъ поберетъ! Какъ можно съ бухты-барахты

на человѣка такую вину возводить? Пушай настоящіе врачи обслѣдуютъ и скажутъ: можетъ, это и не отрава еще вовсе, чтобъ ее язвой язвило!

— Это само собой,—подхватилъ и Быковъ:—можно человѣка и безъ вины завинить, мало развѣ примѣровъ... Сразу такъ нельзя говорить: Юхоревъ, Юхоревъ... А можетъ, и другой кто.

Я вполне согласился съ этимъ мнѣніемъ и отправился въ лазаретъ узнать о состояніи здоровья больныхъ и разспросить обо всемъ Штейнгарта. Послѣдній не сомкнулъ глазъ въ теченіе всей ночи, былъ блѣденъ и чуть стоялъ на ногахъ отъ утомленія. Ночью въ больницѣ происходило слѣдующее. Явившись осмотрѣть больныхъ, онъ нашелъ ясно выраженную картину болѣзни: рвота, судороги, расширенные зрачки, жженіе въ горлѣ, томительная жажда... Конечно, не будь предшествовавшихъ разговоровъ о ядѣ, о мечтѣ арестантовъ обокрасть больничную аптеку, онъ, не смотря на всѣ эти яркіе признаки, бродилъ бы, какъ впотъмахъ, но теперь ужасное подозрѣніе сразу пришло ему въ голову. Тотчасъ же послалъ онъ разбудить Лучезарова. Послѣдній явился немедленно, сильно взволнованный и встревоженный.

— Что тутъ у васъ? Неужели и къ намъ забралась азіатская гостья? Не было еще случаевъ холеры въ Забайкальской области...

— Это не холера, но не лучше холеры, — отвѣчалъ Штейнгартъ:—это отравленіе.

Съ бравымъ капитаномъ чуть не случился апоплексическій ударъ.

— Невозможно... Въ моей тюрьмѣ?! Вы ошиблись.

— Смотрите сами.

И Штейнгартъ показалъ ему медицинскій учебникъ съ подробнымъ описаніемъ симптомовъ отравленія атропиномъ.

— Откуда же они достали, мерзавцы, этотъ ядъ?

— Объ этомъ вы подумаете послѣ. А теперь, если желаете спасти отравленныхъ, вы должны принять на свою отвѣтственность способъ лѣченія. Средство должно быть употреблено героическое—тоже ядъ—морфій.

— Но такъ ли ужъ плохо ихъ положеніе?

Штейнгартъ повелъ его въ комнату, гдѣ лежали больные. Карпушка уже начиналъ хрипѣть, Стрѣльбицкій еле поворачивалъ головой, а Китаевъ жалобно стоналъ:

— Батюшка начальникъ... Спаси... Будь отцомъ роднымъ!

— Дѣлайте все, что хотите, только спасите ихъ,—круто повернулся Лучезаровъ къ Штейнгарту, въ сильномъ волненіи.

Послѣдній тотчасъ же приступилъ къ работѣ. Землянскій былъ въ отлучкѣ—онъ наканунѣ уѣхалъ въ заводъ, отпущенный Лучезаровымъ на три дня въ гости.

Бравый капитанъ глядѣлъ на все съ страшно растеряннымъ видомъ и то и дѣло подходилъ къ Штейнгарту съ вопросами:

— Но какъ же вы полагаете?... Что же это, наконецъ, такое?... На кого думать?

Штейнгартъ только пожималъ плечами.

— Мое дѣло было констатировать фактъ, а теперь—ухаживать за больными. Во всемъ прочемъ вы хозяинъ. Одно я позволю себѣ порекомендовать вамъ: собрать рвоту больныхъ въ сосудъ и запечатать.

— Совершенно вѣрно! Обязательно. Биркинъ, Биркинъ! И знаете что: я пошлю сейчасъ же отобрать и тотъ котелокъ, въ которомъ былъ чай, быть можетъ, его осталось хоть немного...

Но мысль эта явилась bravому капитану уже слишкомъ поздно: котелокъ оказался чисто вымытымъ и вытертымъ кѣмъ-то насухо. Какъ ни скрывалъ Штейнгартъ отъ арестантовъ характеръ и названіе болѣзни, черезъ полчаса все уже было извѣстно въ больницѣ. Самъ Лучезаровъ, какъ только отравленные обнаружили признаки выздоровленія,—снисходительно присаживаясь къ нимъ на койки, говорилъ:

— Непремѣнно разыщите мнѣ этихъ мерзавцевъ-отравителей! На первой же осинѣ повѣшу ихъ... Только поправляйтесь, поправляйтесь, смотрите, друзья!

Китаевъ, Карпушка и самъ мрачный Стрѣльбицкій были поражены и приведены въ умиленіе ласковымъ обращеніемъ съ ними грознаго начальника; растроганные, они цѣловали ему руки и клялись, что, если встанутъ на ноги, сдѣлаются образцовыми арестантами. Китаевъ все продолжалъ охать и жаловаться, хотя особенныхъ страданій уже, казалось, не испытывалъ; вся ненависть Стрѣльбицкаго обратилась теперь на Юхорева, и онъ говорилъ, что выпустить ему кишки, «людскому сомустителю». Къ Штейнгарту онъ относился теперь съ неподдѣльной симпатіей, широкой, мягкой улыбкой встречая каждое его появленіе и величая спасителемъ. Одинъ только Карпушка Липатовъ, казалось, даже радовался случившемуся.

— Я чувствую, господинъ дохтуръ, что эта самая яда мнѣ на

пользу пошла,—объясняя оиъ Штейнгарту:—потому она кровь по костямъ разогнала. Вотъ ежелибъ вы еще мнѣ той хаваніи дали, которую ночесъ въ ротъ лили, такъ я знаю, что настоящимъ бы тогда человѣкомъ сталъ! Теперь оно бы самая точка—мою болѣзнь лѣчить. Но вы, господинъ дохтуръ, скупой... вы по губамъ только меня помазали, а чтобъ, значить, окончательно Карпушкѣ спину выправить, такъ этого вы не хотите... А ужъ я вамъ говорю, что теперь самая, что есть, точка подошла для моего лѣченья, потому яда эта... она кровь по костямъ у меня разогнала.

Словомъ, по утру вся тюрьма говорила про «яду», и за спиной Юхорева всѣ единогласно называли его имя, называли съ самой искренней ненавистью къ нему, открыто утверждая, что Азіадиновъ съ Юхоровымъ хотѣли отравить Башурова, меня и Штейнгарта, но что судьба рѣшила иначе, и на удочку попался несчастный Карпушка да двое изъ юхоровской же шайки... Даже надзиратели указывали на Юхорева. Однако Шестиглазый, для котораго «справедливость была выше всего на свѣтѣ», рѣшился пока арестовать одного только Азіадинова, какъ непосредственно давшего Валерьяну Башурову молоко, отъ котораго произошло отравленіе. Поварь-татаринъ посаженъ былъ немедленно въ темный карцеръ, лишень горячей пищи и закованъ въ ручные кандалы. Самъ начальникъ посѣщалъ его во время каждой вечерней повѣрки и грозно убѣждалъ сознаться и выдать единомышленниковъ. Но Азіадиновъ упорно стоялъ на своемъ:

— Безъ вины страдаю, господинъ-начальникъ! Знать ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю.

Обходя во время повѣрокъ камеры, Шестиглазый бросалъ каждый разъ на Юхорева пытливо-пронизывающій взглядъ, но тотъ, вытянувъ руки по швамъ, стоялъ, какъ всегда, непроницаемо-холодный на видъ, не вздрагивая ни однимъ мускуломъ. Впрочемъ, не смотря на эту ледяную маску, пристальное наблюденіе могло всетаки открыть, что и онъ временами волновался и чувствовалъ нѣкоторый страхъ. Разъ утромъ по тюрьмѣ прошелъ слухъ, что Азіадиновъ рѣшилъ дать какія-то чистосердечныя показанія... Вечеромъ того же дня, передъ самой повѣркой, кобылка всколыхнулась, какъ одинъ человѣкъ, отъ новой сенсационной вѣсти: Юхорева поймали на мѣстѣ преступленія...

— Кто поймалъ? Въ чемъ?

— Огурцовъ... Юхоревъ на подоконникъ карцера вскочилъ и,

оглянувшись кругомъ, зачалъ уговаривать Азіадинова по прежнему во всемъ записаться, общая заплатить ему двадцать рублей...

Выйдя на дворъ, я, дѣйствительно, увидѣлъ у воротъ Огурцова, въ сильномъ волненіи разговаривавшаго о чемъ-то съ надзирателями; онъ просилъ ихъ немедленно доложить начальнику о необходимости сообщить ему неотложное дѣло. Завидѣвъ меня, Огурцовъ радостно закричалъ:

— Поймалъ, Иванъ Николаевичъ, поймалъ таки суку!.. Я говорилъ вѣдь вамъ, что не я буду Огурцовъ, коли рано или поздно не отомщу. И вотъ, дождался точки! Я день и ночь слѣдилъ за ими, сволочами!

Бѣлое, жирное, въ обычное время апатичное лицо Огурцова разгорѣлось радостнымъ оживленіемъ; большіе черные глаза мстительно сверкали, кулаки судорожно сжимались... И я невольно подумалъ: а вѣдь давно-ль еще это былъ наивный, простенькій юноша, котораго не иначе всѣ называли, какъ дурочкой? И вотъ что сдѣлала изъ него жизнь, эта ненормальная, проклятая тюремная жизнь!— Не успѣлъ я отвѣтить что нибудь Огурцову, какъ ударилъ звонокъ на повѣрку, и арестанты начали строиться по срединѣ двора въ шеренги. Шестиглазый на этотъ разъ недолго заставилъ себя ждать, и подъ воротами появилась его видная фигура. Прежде всего онъ вызвалъ въ караульный домъ Огурцова и долго съ нимъ о чемъ-то бесѣдовалъ. Затѣмъ началась повѣрка въ обычномъ церемоніальномъ порядкѣ. Ожидали, что будетъ что нибудь сказано или объявлено послѣ прочтенія наряда, но бравый капитанъ продолжалъ хранить все то же грозное молчаніе, и слышалось только короткое:

— Разводите арестантовъ по камерамъ!

Всѣ разошлись въ нѣкоторомъ недоумѣніи, не то чѣмъ-то недовольные, не то съ затаенной тревогой. Въ камерахъ снова выстроились двумя рядами, но не было слышно ни обычныхъ шутокъ, ни перебранокъ. Я невольно покосился въ сторону Юхорева. Присѣвъ въ ожиданіи повѣрки на краешекъ наръ, онъ нервно барабанилъ по нимъ пальцами, и лицо его показалось мнѣ темнѣе обыкновеннаго и, какъ будто, нѣсколько осунувшимся... Никто изъ товарищей не глядѣлъ на него, и онъ также ни съ кѣмъ не заговаривалъ. Молчаніе было такъ тягостно, что всѣ словно обрадовались, когда раздалась оглушительная команда: — Смирн-на! — и Лучезаровъ не вошелъ, а вбѣжалъ быстрыми, безпокойными шагами. Не глядя

никому въ лицо, онъ совершилъ обычную церемонію, обошелъ камеру, заглянулъ за перегородку, понюхалъ тамъ воздухъ... Оттуда онъ вышелъ тихимъ, замедленнымъ шагомъ... И, лишь подойдя къ двери, вдругъ обернулся и произнесъ зычнымъ, повелительнымъ голосомъ:

— Юхоревъ, я тебя арестую и отдаю подъ судъ. Надзиратели, отведите его за ворота въ солдатскій карцеръ.

Ни слова не отвѣтилъ Юхоревъ, точно давно уже ждалъ этого распоряженія: молча повернулся къ нарамъ, взялъ съ нихъ шапку и ровными, мужественными шагами направился къ выходу. Но на порогѣ онъ вдругъ обернулся и сказалъ нѣсколько дрогнувшей нотой:

— Прощайте, братцы, ляхомъ не поминайте... Только напрасно обвиняютъ меня въ этомъ дѣлѣ.

Дверь захлопнулась, ключъ въ замкѣ шелкнулъ. Тогда въ камерѣ всѣ зашумѣли и разомъ заговорили:

— Убрали, наконецъ, сволочь!—объявилъ Сохатый, до исторіи съ отравленіемъ сильно склонявшійся на сторону Юхорева, но послѣ того рѣшительно отъ него отвернувшійся.

— Да и еще-бъ кой-кого убратъ не мѣшало! Довольно ихъ такихъ осталось еще,—сказалъ Луныковъ, бросивъ на Тропина полный негодованія взглядъ.

— Ужъ очень геройствовать привыкъ этотъ Юхоревъ,—выпустилъ ядъ Карасевъ,—мы какъ явились сюда, такъ не знали, что и подумать: не то арестантъ такой же, какъ всѣ, не то секретарь аль самъ сенаторъ!.. Вотъ и доносились съ своимъ сенаторомъ, какъ курица съ яйцомъ, вотъ и дождался. Бога молитесь, что онъ всѣхъ васъ не обкормилъ, чедоновъ желторылыхъ.

— Да чего ты намъ въ носъ его тычешь—«вашъ» да «вашъ» Юхоревъ,—вступился за честь старой партіи Чирокъ.—Ну, а чѣмъ онъ нашъ? Непто скажешь, ваша партія не больше дружила съ нимъ?

— А кто—я, скажешь, дружилъ?—налился кровью обидчивый Карасевъ:—Я? Нѣтъ, врешь! Я еще никому въ жизни своей не кланялся! Это, можетъ, ты несамостоятельный человѣкъ, а я... я самому чорту-дьяволу, не то что какому нибудь Юхореву, не уважаю. Я, братъ, чохъ-мохъ не разбираю!..

— Да мало-ль ихъ, друзей-то, и окромя тебя было! Тропинъ вонъ...

— А ты Тропина не замай!—быстро отозвался съ нарѣ Тропинѣ, тотчасъ же послѣ повѣрки улегшійся спать и покрывшійся было съ головой халатомъ,—я никого, братъ, не задѣваю; а кто меня задѣнетъ, тому я съумѣю и скулы своротить.

Чирокъ почему-то не заблагоразсудилъ съ нимъ ссориться и замолчалъ.

— А вѣдь вотъ, ребята, что значить съ честными людьми хоть малость самую пожить,—добавилъ тогда его претивникъ,—повѣрите-ль, бабы даже перестали мнѣ по ночамъ сниться!

И Тропинъ, весело захохотавъ, повернулся на другой бокъ и скоро демонстративно захрапѣлъ.

Въ первые дни послѣ ареста Юхорева подавляющее большинство тюрьмы было настроено противъ него явно враждебно; даже тѣ, которые, подобно Быкову или Пальчикову, въ началѣ пытались хоть робко защищать его отъ обвиненія въ отравленіи, теперь, когда онъ былъ изъятъ изъ тюрьмы и представлялъ собою окончательно безповоротно павшее величіе, смолкли и не протестовали больше противъ самыхъ ужасныхъ и рѣшительныхъ обвиненій. Въ приливѣ откровенности и довѣрчивости, Сохатый рассказывалъ Штейнгарту, будто Юхоревъ совалъ ему разъ въ руку какой-то порошокъ въ бумажкѣ и говорилъ: «Сыпни, молъ, невзначай въ котелокъ Штенгора съ чаемъ али въ бакъ съ баландой». Но онъ, Сохатый, разумѣется, благородно отклонилъ это предложеніе... Нахалы, вродѣ Тропина, ограничивались въ это время тѣмъ, что, не высказываясь громко ни за, ни противъ, довольно двусмысленно иронизировали надъ общимъ настроеніемъ... Вожаки куда-то исчезли, будто сквозь землю провалились, и всецѣло царила обыкновенно безличная и безгласная шпанка съ ея банальными мнѣніями и не менѣе банальными чувствами. Передо мной съ товарищами, особенно же передъ Штейнгартомъ всѣ почтительно разступались, встрѣчая самыми привѣтливыми улыбками, заискивающе заговаривая... Вообще это была самая грубая, самая безстыдно-откровенная измѣна, какую только мнѣ доводилось видѣть въ жизни!

Но такое настроеніе толпы не продержалось и двухъ недѣль... Затѣмъ снова началъ обнаруживаться поворотъ въ пользу Юхорева. Стали проникать въ тюрьму слухи, что съ Юхоревымъ, закованнымъ въ ручные и ножные кандалы и валяющимся на земляномъ полу темнаго солдатскаго карцера (за воротами тюрьмы), обращаются крайне свирѣпо и безчеловѣчно, морятъ его голодомъ и жаждой. Па-

рашникъ, разъ въ день входившій подъ строгимъ присмотромъ въ его каморку, видѣлъ его изможденнаго цынгой и лихорадкой...

— Скажи, братецъ, въ тюрьмѣ, что я ужъ не выйду отсюда живымъ, сгноятъ меня здѣсь!—успѣлъ шепнуть ему Юхоревъ.

И дрогнуло жалостливое сердце кобылки... Припомнили, какъ Юхоревъ, уходя въ секретную, сказалъ:—Напрасно винять меня въ этомъ дѣлѣ.

— А что, ребята, и въ самъ-дѣлѣ, какія такіа доказательства есть, что безпремѣнно онъ сдѣлалъ это? Можетъ, одинъ Азіадиновъ? Огурцовъ могъ вѣдь и по злобѣ убійство на него открыть... Онъ давно, толстая его морда, грозился на Юхорева...—послышались голоса, сначала робкіе, а затѣмъ все болѣе и болѣе настойчивые.

Но больше всего изумила меня перемѣна, происшедшая въ выздоравливающемъ Стрѣльбицкомъ. Недавно еще онъ называлъ Штейнгарта своимъ спасителемъ, а Юхореву обѣщался кишки выпустить, теперь же глядѣлъ опять, безъ всякой видимой причины, на всѣхъ насъ троицъ дикими, враждебными глазами и, гуляя по тюремному двору въ желтомъ больничномъ халатѣ, являлся по прежнему съ Тропинымъ, Быковымъ, Шматовымъ и другими членами распуганной было шайки. Очевидно, этотъ человекъ съ мрачнымъ обликомъ и непримиримо-вольнoлюбивыми рѣчами, на дѣлѣ обладалъ самой дряблой и неустойчивой волей, распатанной, быть можетъ, его безпутной жизнью, полной всякаго рода авантюръ и кошмаровъ.

Вскорѣ объяснилось, что значила эта новая перемѣна декораций: Тропинъ пустилъ по тюрьмѣ новое «бумо», что отрава брошена была въ котелокъ не кѣмъ другимъ, какъ самимъ Валерьяномъ Башуровымъ, а добыта, разумѣется, Штейнгартomъ, который былъ вхожъ въ аптеку. Все сдѣлано для гибели Юхорева и для вящаго прославленія, въ качествѣ спасителя отравленныхъ, того же Штейнгарта... Какъ ни возмутительна была эта гнусная выдумка, опровергать ее было невозможно, такъ какъ распространялась она подъ сурдинку, а, встрѣчаясь съ нами, Тропинъ только скалилъ нахально острые зубы и глядѣлъ прямо въ лицо безстыдными, свѣтлыми, какъ вода, глазами...



## X.

## На прощанье.

Прошло два мѣсяца. Исторія съ отравленіями затянулась надолго. Пріѣзжалъ слѣдователь, допрашивалъ Азіадинова, Юхорева, Огурцова по одиночкѣ и лицомъ къ лицу, вызывалъ и еще нѣкоторыхъ арестантовъ, въ томъ числѣ и Башурова, но ни къ какому опредѣленному заключенію не пришелъ. Данныхъ для формальнаго обвиненія оказывалось слишкомъ мало. Передавали, что уже и самъ Лучезаровъ въ бесѣдахъ со слѣдователемъ смѣялся надъ арестантскими толками о ядѣ, какъ надъ ребяческой выдумкой: откуда взяться въ тюрьмѣ, и въ такой строгой тюрьмѣ, яду? Конечно, Штейнгартъ прекрасный юноша, проникнутый самыми благими намѣреніями и чувствами, съ пользою замѣняющій врача, который пріѣзжаетъ въ Шелайскій рудникъ такъ рѣдко, но... все же нельзя забывать, что онъ не больше, какъ студентъ, не кончившій курса и не имѣющій большого опыта въ прошломъ... Никто не могъ, разумѣется, сообщить слѣдователю того, что знали, напр., мы съ Штейнгартомъ или Мишка Биркинъ съ товарищами, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ отнесся къ дѣлу поверхностно, спустя рукава. Что касается врачебной экспертизы надъ опечатанной рвотой, то результаты ея остались для насъ неизвѣстными.

Мнѣ лично извѣстно одно, что ядъ дѣйствительно былъ на рукахъ арестантовъ ни больше, ни меньше, какъ въ количествѣ двухъ банокъ. Одна изъ нихъ, по слухамъ, была вынесена за ворота и исчезла неизвѣстно куда, а другая очень долго скрывалась отъ бдительныхъ глазъ начальства и гуляла по тюрьмѣ, переходя изъ рукъ въ руки. Наконецъ, дошло до того, что арестанты стали проигрывать ее одинъ другому въ карты... Только цѣлый годъ спустя, когда меня не было уже въ Шелайскомъ рудникѣ, Дмитрію Петровичу удалось прослѣдить это опасное оружіе, выкупить и швырнуть въ печь.

По окончаніи слѣдствія и Юхоревъ, и Азіадиновъ были выпущены изъ карцеровъ и опять водворены въ тюрьму. Обстоятельство это вначалѣ страшно смутило тѣхъ изъ арестантовъ, которые открыто заявили себя ихъ врагами: въ разговорахъ между собой они выражали серьезное опасеніе, какъ бы Юхоревъ не отравилъ ихъ

теперь всѣхъ гуртомъ! Огурцовъ на одной изъ повѣрокъ высказалъ эту мысль самому Шестиглазому.

— Да, да, не совѣмъ это удобно, не совѣмъ, я понимаю,—озабоченно согласился съ нимъ Лучезаровъ,—но ничего пока не подѣлать. Я не могу собственной властью убрать его. Буду хлопотать, а пока потерпите и остерегайтесь.

Что касается самого Юхорева, то онъ держался теперь, хотя и съ прежнимъ гордымъ достоинствомъ, но уже совершенно въ сторонѣ отъ общихъ тюремныхъ дѣлъ, не только въ нихъ не вмѣшиваясь, но даже и не прислушиваясь ни къ какимъ арестантскимъ разговорамъ на артельныя темы. По цѣлымъ днямъ не было слышно въ тюрьмѣ его голоса, онъ работалъ, спалъ безъ просыпу и рѣдко прогуливался даже со старыми своими пріятелями. Видимо, онъ сильно грустилъ... Въ могучей натурѣ этого человѣка такъ и бурлила еще жизнь и кипучая жажда свободы; до выхода на поселеніе ему оставалось не больше четырехъ мѣсяцевъ, но онъ былъ почему-то твердо увѣренъ, что Лучезаровъ выхлопочетъ ему еще нѣсколько лѣтъ каторги... Иногда, лежа на своихъ нарахъ послѣ вечерней повѣрки, онъ долго мурлыкалъ про себя какой-нибудь чудный мотивъ изъ своего богатаго репертуара народныхъ пѣсенъ, но потомъ внезапно останавливался, вскакивалъ и ударялъ въ отчаяніи кулакомъ по нарамъ, загибая энергичное слово:

— Эхъ, пропала, чортъ возьми, жисть, ни за что, ни про что пропала!..

Единственнымъ благодѣтельнымъ послѣдствіемъ исторіи съ отравленіями было то, что фельдшера Землянского Лучезаровъ, наконецъ, удалилъ, и его мѣсто занялъ молоденькій, только что кончившій фельдшерское училище, безусый юноша, робкій, какъ застѣнчивая дѣвушка, мягкій и добродушный. По первому же заявленному мною желанію, онъ записалъ меня въ больницу и помѣстилъ въ маленькой отдельной комнатѣ, въ той самой, гдѣ умеръ нѣкогда Маразали и куда по окончаніи горныхъ работъ ежедневно приходили ко мнѣ Башуровъ и Штейнгартъ поболтать и отдохнуть отъ тюремной суеты. Въ праздничные дни, усѣвшись тѣсною кучкой на моей койкѣ, мы не разлучались отъ утренней повѣрки вплоть до вечерней, и убогая каморка моя превращалась тогда въ подлинный клубъ. О чемъ только не бесѣдовали мы тамъ, о чемъ не спорили!

Лѣтнія исторіи страшно повліяли на Валерьяна. Онъ круто измѣнилъ свой первоначальный взглядъ на арестантовъ, какъ на слу-

чайный отколокъ народнаго міра, ничѣмъ, въ сущности, отъ этого міра не отличающійся. Теперь, напротивъ, онъ называлъ обитателей каторги «отбросами» народа и въ большинствѣ ихъ видѣлъ отпѣтыхъ злодѣевъ и сознательныхъ, ничѣмъ неисправимыхъ негодяевъ.

И съ той же горячей искренностью, съ тѣмъ же юношескимъ апломбомъ, какъ нѣкогда старые свои взгляды, защищалъ онъ теперь новые, какъ будто они составляли завѣтное его убѣжденіе, добытое долгими годами тяжкаго опыта и тяжелыхъ страданій, а не нѣсколькими всего мѣсяцами мелкихъ, сравнительно, разочарованій и огорченій. Насколько раньше я старался охладить оптимистическій пылъ товарища и показать ему оборотную сторону «отколовъ народнаго міра», настолько же теперь испытывалъ естественное стремленіе защитить и оборонить несчастныхъ своихъ сожителей отъ преувеличенныхъ нападокъ, отъ окончательнаго топтанія ихъ огуломъ въ грязь. Что касается Штейнгарта, то онъ, казалось, мало интересовался этими спорами и держался мрачнаго нейтралитета; было замѣтно, что опять какое-то глубокое личное горе терзало его и дѣлало снова угрюмымъ и необщительнымъ. Вѣчная бѣготня по больнымъ, внѣ стѣнъ тюрьмы и внутри ихъ, работа въ аптекахъ и утроемъ, и вечеромъ, а иногда даже ночью, оставляли ему слишкомъ мало свободнаго времени для прежнихъ откровенныхъ бесѣдъ со мною, и порой мнѣ чудилось даже, что онъ начинаетъ намѣренно избѣгать ихъ, что между нами опять происходитъ въ послѣднее время отдаленіе. Меня это очень огорчало, хотя напрашиваться на дружескія изліянія я и не хотѣлъ, тѣмъ болѣе, что не допускалъ переменъ его личныхъ отношеній ко мнѣ и причиною отчужденія считалъ какія нибудь новыя осложненія въ его грустномъ романѣ... Штейнгартъ очень часто забѣгалъ въ мою келью, но каждый разъ не надолго и разсѣянно слушала наши бесѣды съ Валерьяномъ.

— Ну, все-таки не станете жъ вы хоть того отрицать,—кричатъ неутомимый Башуровъ,—что люди вроде Тренина съ товарищами безнадежно-вредные члены общества, что такихъ-то ужъ ничто не исправитъ, никакія школы и книжки? Неужели всѣ недавнія исторіи не убѣдили васъ въ этомъ?

— Башуровъ, да вы вѣдь безъ году недѣлю живете среди этихъ людей и не успѣли хорошенько узнать ихъ!

Тогда Валерьянъ вспыхивалъ, какъ порохъ, въ немъ заговаривало самолюбіе.

— Во первыхъ, не забывайте, что я шелъ съ ними дорогой —

значить, не совсѣмъ ужъ не зналъ еще и раньше прибытія въ Шелайскій рудникъ, а во вторыхъ—и это самое главное: какъ жили вы здѣсь до насъ эти два съ половиной года, которыми такъ кичитесь?

— Кичусь?!

— Да, есть небольшой грѣхъ... Жизнь текла, по вашимъ же собственнымъ рассказамъ, мирно, безъ малѣйшихъ столкновеній, какъ у Христа за пазухой...

— Какъ у Христа за пазухой?

— Знаю, знаю, что вы разумѣете... Но у насъ не о томъ теперь рѣчь. Бурная жизнь внутри самой тюрьмы началась только при насъ и въ этомъ отношеніи вашъ опытъ буквально тотъ же, что и мой.

Часто послѣ подобныхъ «милыхъ» разговоровъ мы разставались съ чувствами уязвленного самолюбія и раздраженія другъ другомъ, хотя на другой же день встрѣчались опять, какъ ни въ чемъ не бывало. Башуровъ являлся ко мнѣ, широко улыбаясь и дружески протягивая руку. И не проходило десяти минутъ, какъ мы опять сдѣлывались по какому-нибудь поводу.

— Кстати о недавнихъ исторіяхъ, Валерьянъ Михалычъ,—заговорилъ я однажды,—знаете ли какого я теперь мнѣнія объ нихъ?

— Ну? Очень любопытно узнать.

— Я думаю, что въ этихъ грустныхъ исторіяхъ можно найти и свою свѣтлую сторону. Эти убитые Богомъ люди, преступные и невѣжественные, все же вѣдь разумныя существа, которымъ не можетъ быть вовсе чуждо сознаніе человѣческаго достоинства. Въ обычное время, въ будни, такъ сказать, жизни чувство это, правда, тлѣетъ въ ихъ душѣ, какъ искра подъ золой, ни для кого незамѣтное. И тогда мы зовемъ ихъ дешевками, возмущаемся ихъ низостью, раболопствомъ, продажностью... Но вотъ разъ въ жизни, въ праздники жизни, случилось этимъ несчастнымъ стать на равную ногу съ людьми иного, высшаго сорта и почувствовать, что сами они тоже люди, а не скоты. И когда эти «вышіе» надѣлали по отношенію къ нимъ рядъ безтактностей, потухшая было искра вдругъ разгорѣлась, чувство человѣческаго достоинства проснулось... Но тутъ мы опять негодуемъ,—на этотъ разъ ужъ на то, что привычные холопы посмѣли обнаружить щекогливость испанскихъ грандовъ! И формы этого взрыва, и ближайшіе къ нему поводы, и все въ немъ кажется намъ вздорнымъ, нелѣпымъ, дикимъ... Точно будто порывъ вѣтра, раздувающий изъ пскры пожаръ, бываетъ болѣе разуменъ!

— Иванъ Николаевичъ, извините, но это прямо какая-то декадент-

ская теорія... Вы отыскиваете смыслъ, глубину и чуть-ли даже не красоту тамъ, гдѣ рѣшительно ничего, кромѣ бессмыслицы и безобразія, нѣтъ.

— А вы, Дмитрій Петровичъ, какого теперь мнѣнія о кобылкахъ?— обращался я иногда къ Штейнгарту, молча лежавшему на моей койкѣ и нервно кусавшему себѣ бороду.

— Ахъ, все надоѣло!—отвѣчалъ онъ, нахмуриваясь еще больше,—люди вездѣ все тѣ же люди, какъ на низинахъ, такъ и на вершинахъ развитія и образованности.

И съ этимъ загадочнымъ восклицаніемъ онъ вскакивалъ и убѣгалъ по своимъ дѣламъ.

Въ послѣднихъ числахъ сентября того же года на одной изъ вечернихъ повѣрокъ, въ субботу, былъ прочитанъ, какъ снѣгъ на голову свалившійся съ неба, приказъ о переводѣ за дурное поведеніе въ другіе рудники Юхорева, Шматова, Азіадинова и Тропина, а Стрѣльбицкаго по болѣзни въ зерентуйскій лазаретъ (послѣ исторіи съ отравленіемъ съ нимъ стали дѣлаться какіе-то страшные нервные припадки съ болью въ животѣ и судорогами во всемъ тѣлѣ; многіе подозрѣвали въ нихъ простую симуляцію). Значительная часть арестантовъ выслушала этотъ приказъ съ глубокой тайной завистью и изумленіемъ: всѣмъ имъ, какъ бы еще лишній разъ, подчеркивалось самимъ начальствомъ, что для того, чтобы вырваться изъ когтей скучнаго шелайскаго режима, надо только мутить побольше и устраивать всякаго рода скандалы, ни передъ чѣмъ не останавливаясь и ничего не боясь. Однако лица Юхорева, Шматова и Тропина не сіяли торжествомъ, а, напротивъ, были очень серьезны: ихъ тревожило тайное опасеніе, что прочитана пока только часть написаннаго въ бумагахъ, и по прибытіи на новое мѣсто ихъ накажутъ немедленно розгами или даже плетью, а потомъ объявятъ увеличеніе срока каторги.

Увозъ пятерыхъ друзей состоялся на другой день утромъ, когда, по случаю воскреснаго дня, вся тюрьма была дома. Я прогуливался по больничному корридорчику, когда дверь вдругъ растворилась, и въ больницу вошелъ, усиленно гремя цѣпами, въ которыхъ его только что заковали, Гнусъ-Шматовъ. Не глядя на меня, онъ прошелъ въ большую палату проститься съ товарищами.

— Прощайте, братцы, увозятъ!—послышался оттуда его торжественно шипѣвшій голосъ:—увозятъ... И что будетъ—неизвѣстно... Нашлись такіе друзья—погубили!

Я съ любопытствомъ присѣлъ на лавку, ожидая, не скажетъ ли онъ и мнѣ что нибудь на прощанье. По прежнему громко лязгая кандалами, Шматовъ вышелъ въ корридоръ и, снявъ шапку, низко поклонился мнѣ по актерски.

— Прощай и ты, Николаичъ,—прогнусавилъ онъ, саркастически оскаливая гнилые зубы:—прощай! Спасибо, что въ кандалы заковалъ... Тебѣ обязанъ!

Признаюсь, такой грубой, такой искренно-злостной клеветы, брошенной мнѣ прямо въ лицо, я не ожидалъ даже и отъ шматовской дубинноголовости. Но прежде чѣмъ, придя въ себя отъ удивленія, успѣлъ я произнести хоть одно слово въ отвѣтъ, Гнусъ уже вышелъ вонъ торжественно замедленными шагами, заложивъ руки за спину.

Вслѣдъ за этимъ въ дверь просунулъ голову Тропинъ. Ему, очевидно, не съ кѣмъ было прощаться, и онъ показался для того только, чтобы крикнуть во всю глотку Стрѣльбицкому:

— Ты чего-жъ тутъ копаешься? Скорѣе, лѣйшій!

Онъ окинулъ меня бѣглымъ, нелюбопытнымъ взглядомъ и, не удостоивъ ни однимъ словомъ, скрылся. Да и что ему было говорить? Своего онъ добился, а до всего остального въ мірѣ, до лжи и правды, этому человѣку, не имѣвшему за душой даже признаковъ убѣжденія, не было ни малѣйшаго дѣла...

Стрѣльбицкій вышелъ изъ палаты и, тоже ничего не сказавшій мнѣ на прощанье, поспѣшилъ прямо къ воротамъ. Я глядѣлъ въ окно. Тамъ стояли уже подъ дождемъ, въ ожиданіи, Азіадиновъ, Тропинъ и Шматовъ. Быстрой, легкой походкой, ухарски заломивъ на бокъ круглую арестантскую шапочку, шелъ къ нимъ изъ тюрьмы Юхоревъ, вскинувъ на плечо свой мѣшокъ съ вещами. Въ больницѣ онъ не зашелъ. Замокъ шелкнулъ — ворота распахнулись настежь, приняли въ свою пасть пятерыхъ друзей и снова громко захлопнулись. На новую жизнь! Не пожалѣютъ ли когда нибудь эти люди и о Шелайской тюрьмѣ, не вспомнятъ ли съ сочувствіемъ о тѣхъ, кого теперь, уходя, пытались оплевать и закидать грязью?..

Башуровъ и Штейнгартъ явились ко мнѣ съ тюремными новостями.

— Ну, что, Иванъ Николаевичъ, заходили къ вамъ прощаться?

Я разсказалъ о сценѣ, устроенной мнѣ Гнусомъ.

— Ну, значить, точь въ точь та же пѣсня, которую и мы слышали,—съ горечью разсѣялся Штейнгартъ.—Къ намъ Шматовъ и

Юхоревъ вмѣстѣ зашли. Первый шипѣлъ что-то не совсѣмъ вразумительное, кого-то въ чемъ-то упрекалъ, кого-то прощалъ, то и дѣло прерывая Юхорева, который, по обыкновенію, прикрикнулъ наконецъ:—«Замолчи, Гнусъ, ѣе дури!» Самъ онъ держался съ обычной важностью и съ первыхъ же словъ заявилъ, что противъ насъ двоихъ никакой злобы не уносить, одного только Ивана Николаевича считаетъ врагомъ.—«Какъ вамъ, Юхоревъ, не стыдно говорить такіа вещи?»—воскликнулъ я:—Иванъ Николаевичъ прожилъ столько лѣтъ въ тюрьмѣ, и всѣ видѣли отъ него одно только доброе.»—«Быть можетъ, другіе, но никакъ не я! Мнѣ онъ врагъ, и я когда нибудь сѣумѣю ему отомстить».—«Онъ насъ въ кандалы заковалъ!»—прошипѣлъ опять Гнусъ. Я обратился къ Юхореву:—«Неужели вы вѣрите въ такую нелѣпость? Ну, Шматовъ по глупости, а вы то?..» Онъ сдѣлалъ рѣшительный жестъ рукою:—«Не будемъ спорить, Дмитрій Петровичъ, у каждого человѣка свои взгляды... Итакъ, господа, прощайте, спасибо за вашу хлѣбъ-соль. Валерьянъ, не поминай меня лихомъ!» Но мы отказались подать ему руку:—«Если вы думаете такъ дурно о нашемъ товарищѣ, котораго мы уважаемъ, такъ по доброду и мы не можемъ разстаться съ вами». Тогда Юхоревъ выпрямился, подумалъ немного и, поклонившись слегка, торопливо вышелъ. А за нимъ побѣждалъ и его вѣрный оруженосецъ, продолжая что-то гнусавить.

— И откуда берется такая гордость, такой языкъ у чистокровной въ сущности шпаны!—загорячился Валерьянъ:—вотъ, Иванъ Николаевичъ, плоды вашего многолѣтняго нѣжничанья съ ними!

Но Штейнгартъ сурово остановилъ его:

— Вспомни, Валерьянъ, свое собственное амикошонство съ ними первыхъ дней. Еще большой, братъ, вопросъ, чьей это политики плоды...

Башуровъ густо покраснѣлъ и, замолчавъ на нѣкоторое время, по обыкновенію, надулся.

Грустное настроеніе овладѣло мною, когда товарищи ушли въ тюрьму, оставивъ меня одного. Мысленно перебиралъ я свои тюремныя воспоминанія, годъ за годомъ, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, стараясь отыскать тамъ свои ошибки, промахи, вины противъ посланныхъ судьбой сотоварищей, подобрать ключъ къ правильному пониманію ихъ простой и вмѣстѣ загадочной психологии, на почвѣ которой создались между нами сначала недоразумѣнія, а затѣмъ и вражда... Я думалъ,—и исторія этихъ мелкихъ тюремныхъ конфликтовъ на-

водила меня на мысль о болѣе широкихъ аналогіяхъ и картинахъ: не возможны ли подобныя же (только еще болѣе грустные по своимъ огромнымъ размѣрамъ и важнымъ послѣдствіямъ) конфликты и на волѣ, между интеллигентными людьми и темными народными массами?..

Было сумрачное осеннее утро передъ самымъ началомъ зимы. Порывы холоднаго вѣтра стучали порой по оконнымъ рамамъ крупными дождевыми каплями. Непривѣтливо висѣло низкое темное небо надъ непривѣтливымъ, мокрымъ зданіемъ тюрьмы, дѣлая его еще мрачнѣе обыкновеннаго, а жизнь, происходившую подъ его кровлей, еще страшнѣй и удушливѣй. Вотъ рѣзкими, точно отсырѣвшими звуками ударилъ звонокъ на обѣдъ; съжившіеся отъ холода камерные старосты протнесли изъ кухни баки съ баландой, нагibasъ подъ ихъ тяжестью. Суетливо пробѣжало за ними нѣсколько праздно торчавшихъ въ кухнѣ отошальныхъ фигуръ. Тюремный день продолжалъ идти своей обычной колеей...

## XI.

### Тревоги много рода.

Невеселаго свойства событія описывалъ я въ предыдущихъ главахъ. И если бы событія эти были финальнымъ аккордомъ въ сложной исторіи отношеній темной каторжной кобылки къ небольшой кучкѣ интеллигентныхъ арестантовъ, если бы они являлись чѣмъ-то вродѣ послѣдняго слова въ этой исторіи, роковаго и непоправимаго, то читатель, быть можетъ, сдѣлалъ бы изъ него даже болѣе грустные выводы, чѣмъ тѣ, къ какимъ приходилъ самъ я въ минуты унынія и душевной слабости. И онъ былъ бы, можетъ быть, правъ... Но, къ счастью, дѣйствительность въ ея цѣломъ не была такъ мрачна. Въ сущности, описанныя мной недоразумѣнія и ссоры были не болѣе, какъ преходящимъ моментомъ изъ многолѣтней совмѣстной жизни нашей съ каторгой, моментомъ, который совершенно непредвидѣнно вынырнулъ изъ самой мирной и дружелюбной тишины, разразился рядомъ бурныхъ конфликтовъ болѣе или менѣе трагикомическаго характера и затѣмъ, послѣ увоза тюремныхъ главарей, смѣнился прежней невозмутимой тишиной и прежними дружескими отношеніями, опять длившимися цѣлые годы. Тѣмъ не менѣе этотъ короткий, сравнительно, періодъ казался мнѣ не лишеннымъ своего



значенія и характерности; мнѣ думалось, что отбрось я его, какъ нѣчто нетипичное, мимолетное, ограничься картиной обычныхъ отношеній съ арестантами, представленной въ первой части очерковъ,— и отъ записокъ моихъ, какъ отъ всего неполнаго и недосказаннаго, вѣяло бы въ значительной степени неискренностью, своего рода ложнымъ, приторно-сладкимъ сентиментализмомъ.

Мнѣ остается лишь сказать по этому поводу, что пережитыя тревоженія не прошли безъ слѣда ни для одной изъ враждовавшихъ сторонъ, ни для каторги, ни для меня съ товарищами. Что касается первой, то, признаюсь откровенно, ея поведеніе не разъ вызывало во мнѣ глубочайшее удивленіе. Невозможно было, конечно, предполагать, чтобы лѣтнія событія были забыты ею такъ скоро и такъ окончательно; напротивъ, по общему настроенію чувствовалось нерѣдко, что арестантами ничто не забыто... И однако ни разу и никто изъ нихъ (даже изъ самыхъ неразвитыхъ умственно и нравственно) не заводилъ въ нашемъ присутствіи громкаго разговора о прошломъ. Точно какое-то безмолвное, но твердое соглашеніе состоялось между всѣми на этотъ счетъ: молчать, никогда не вспоминать о томъ, что было. Сказывалась ли тутъ своего рода деликатность? Играло ли нѣкоторую роль то обстоятельство, что подъ конецъ волненій нами усвоена была политика показного равнодушія къ ихъ исходу и твердаго стоянія на избранной разъ позиціи? Во всякомъ случаѣ, повторяю, никогда больше не видалъ я со стороны нашихъ сожителей ни малѣйшаго поползновенія возобновлять ссоры.

Горечь обиды, одно время обуревавшая увлекающагося Башурова и толкавшая его на необдуманные слова и поступки, тоже скоро улеглась — отъ природы онъ былъ добръ и незлопамятенъ. Крайнія мнѣнія его объ арестантахъ, такъ непріятно противорѣчившія одно другому и быстро мѣнявшіяся, съ теченіемъ времени смягчились и уравнились; въ концѣ концовъ, взгляды наши сблизились и примирились. Но, кромѣ того, пережитыя непріятности научили насъ всѣхъ троихъ быть сдержаннѣе, зорче слѣдить за каждымъ своимъ шагомъ, имѣвшимъ хоть косвенное отношеніе къ каторгѣ и ея интересамъ. Если, благодаря этому, поведеніе наше, быть можетъ, нѣсколько и утратило свою прежнюю непринужденность и непосредственность, то, съ другой стороны, оно гарантировало отъ новыхъ крупныхъ ошибокъ, а это было, конечно, самое главное.

Между тѣмъ, наступившая осень готовила намъ испытанія и тре-

воги совѣтъ иного рода,—своеобразный кошмаръ, который можетъ имѣть мѣсто только въ тюрьмѣ и только для интеллигентныхъ людей.

Еще за полгода до прибытія въ Шелай новичковъ, у меня происходила съ бравымъ капитаномъ одна бесѣда, которой я не придавалъ въ то время особеннаго значенія, какъ одной изъ безчисленныхъ минутныхъ фантазій капитана, въ большинствѣ случаевъ никогда не выдававшихся осуществленія.

— Я не очень-то доволенъ теперешнимъ состояніемъ тюрьмы,—въ связи съ чѣмъ-то другимъ, заговорилъ онъ, нахмуривая брови, но тономъ почти дружеской довѣренности:—это далеко не то, о чемъ я когда-то мечталъ и что соблазнило меня принять предложенное мѣсто начальника.

Я полюбопытствовалъ узнать, что, собственно, вызывало его недовольство.

— Да, если хотите, все, рѣшительно все! Первоначальнымъ планомъ, въ составленіи котораго и я принималъ участіе, было устроить изъ Шелаевского рудника образцовую тюрьму, отличную отъ всѣхъ остальныхъ каторжныхъ тюремъ. Строгость неуклонная, чисто военная строгость во всемъ режимѣ—вотъ основной принципъ, который былъ поставленъ мною на видъ. Я, знаете, тогда же составилъ докладную записку, въ которой все это изложилъ. Я прекрасно знаю этихъ артистовъ и знаю, какъ нужно управлять ими!.. Тогдашній губернаторъ былъ во всемъ со мною согласенъ. Но... вамъ извѣстны наши русскіе порядки? Канцелярщина, волокита... Каждый разумный проектъ разбирается десяткомъ власть имѣющихъ лицъ, и у каждаго изъ нихъ собственныя фантазіи! Все новое, оригинальное не находятъ у насъ признанія... По моему плану, начальникъ Шелаевской тюрьмы долженъ былъ зависѣть только отъ Бога и губернатора, или, вѣрнѣе сказать, отъ разъ навсегда составленной инструкции. Завѣдующій нерчинской каторгой никакого касательства не долженъ былъ имѣть къ этой тюрьмѣ: онъ могъ бы учиться здѣсь—и ничего больше... Таковъ былъ мой идеалъ. Но, посмотрите, что вышло въ дѣйствительности! Остановились, какъ всегда, на полумѣрахъ! Тюрьму сдѣлали, какъ-будто, и образцовой, а съ другой стороны все оставили по старому. Во главѣ дѣла стоитъ все то же Управление каторгой, учрежденіе, скажу вамъ откровенно, допотопное, насквозь пропитанное чиновничьимъ формализмомъ и халатностью! Ну, и что же выходитъ изъ всѣхъ моихъ начинаній? Ровно ничего. У меня

нѣтъ никакой свободы дѣйствій, у меня положительно связаны руки... Меня ограничиваютъ въ денежныхъ тратахъ, меня заставляютъ губить время на пустяки. Вотъ вамъ мелкій примѣръ: по штату мнѣ полагаются помощникъ, обязанность котораго исполнять нѣкоторыя черныя работы — производить повѣрки арестантамъ, наблюдать за порядкомъ въ тюрьмѣ, за надзирателями... Ну, конечно, это необходимо и для нѣкотораго престижа власти начальника... И что же вы думаете? Мнѣ дали помощника, но какого? Я просилъ офицера, человека энергичнаго, рѣшительнаго, способнаго съ достоинствомъ замѣнять меня самого въ нужныхъ случаяхъ, а они назначили... какого-то отставнаго канцеляриста, пропойцу и теленка, котораго я боюсь даже пускать въ тюрьму, и который способенъ только сидѣть въ конторѣ и строчить бумаги...

Мнѣ живо вспомнилась фигура этого «теленка и пропойцы» — жалкая, сгорбленная, съ трясущимися руками и головой, въ какомъ-то длинномъ женскомъ капотѣ съ мѣдными пуговицами, изображавшемъ собою чиновничью шинель. Въ тюрьмѣ онъ показывался очень рѣдко, голоса его мы почти никогда не слыхали, и никто изъ арестантовъ не зналъ даже объ его официальномъ званіи «помощника», а называли всѣ «письмоводитель».

— При такихъ условіяхъ тюрьма не можетъ быть образцовой! — съ горечью продолжалъ Тучезаровъ: — и, въ сущности, она ничѣмъ ровню не отличается отъ другихъ каторжныхъ тюремъ.

— Мнѣ кажется, вы нѣсколько преувеличиваете. Судя по рассказамъ арестантовъ, въ другихъ рудникахъ несравненно больше свободы.

— То есть, вы хотите сказать — распушенности? Но знаете ли, почему это? Только потому, что я здѣсь... Поставьте на мое мѣсто кого-либо изъ обыкновенныхъ зрителей — и завтра же вы не отличите Шеласвской тюрьмы отъ Зерентуйской, Алгачинской и всякой другой!

И довольное, румяное лицо браваго капитана приняло отгѣнокъ мечтательной грусти; онъ съ горечью закусилъ длинные усы и, махнувъ рукой, быстро отошелъ къ окну.

— Впрочемъ, — тотчасъ же справился онъ съ своимъ волненіемъ и заговорилъ опять непреложнымъ, властнымъ тономъ: — я не теряю еще надежды... Нѣтъ, я питаю надежду! Я почти увѣренъ... Новый губернаторъ тоже одобряетъ мои планы... У меня есть, кромѣ того, и въ Петербургѣ единомышленники... друзья.. Записка моя теперь

уже рассматривается, и весьма возможно, что въ самомъ недалекомъ будущемъ вы практически съ нею познакомитесь.

Глаза его вдругъ блеснули игривымъ огонькомъ... Однако на моемъ лицѣ, должно быть, нельзя было прочесть сильнаго желанія поскорѣе «практически» познакомиться съ его воинственными планами, потому что онъ поспѣшилъ перевести разговоръ на другую тему, и аудіенція моя вскорѣ кончилась.

Повторяю, я не придалъ въ то время большого значенія этой бесѣдѣ и почти въ тотъ же день выкинулъ ее изъ головы. Но послѣ пріѣзда новичковъ, по тюрьмѣ не разъ проходили смутные слухи о какихъ-то готовящихся нововведеніяхъ строгаго характера. Даже надзиратели толковали объ этомъ, хотя нужно сказать, что большинство ихъ открыто становилось на сторону арестантовъ и откровенно либеральничало; нѣкоторые хвалились даже, что «въ случаѣ чего» уйдутъ въ отставку... Одинъ только Проня—«живая смерть» казался еще болѣе, чѣмъ прежде, недоступнымъ и все ту же и ту же затягивался на всѣ пуговицы. Онъ давно уже былъ любимцемъ и правой рукой Лучезарова.

Въ концѣ концовъ, каждый новый слухъ встревоживалъ наше воображеніе на одинъ-другой день, а затѣмъ снова очень скоро вылеталъ изъ головы: монотонная, гнетущая дѣйствительность не давала по-долгу останавливаться ни на хорошихъ, ни на дурныхъ слухахъ. За то, среди всякаго рода огорченій и непріятностей, судьба подарила намъ, безправнымъ и обездоленнымъ, друга, вѣрная преданность котораго не разъ поддерживала насъ въ минуты унынія и не разъ оказала намъ впослѣдствіи неоцѣнимыя услуги. Этотъ другъ былъ—женщина... Штейнгарту всецѣло принадлежала заслуга пріобрѣтенія сначала знакомства, а затѣмъ и дружбы жены начальника казацкой сотни, стоявшей въ Шелаѣ,—«доброй матушки-есаулиши», какъ называла ее безхитростная кобылка. Случилось, что вскорѣ послѣ его прибытія въ Шелайскій рудникъ, она очень серьезно заболѣла воспаленіемъ легкихъ и, по общему признанію, только Штейнгартонъ была спасена отъ смерти. Чтобы вполне понять и оцѣнить чувство, наполнившее душу выздоровѣвшей больной, нужно познакомиться нѣсколько съ положеніемъ и нравственнымъ состояніемъ этой симпатичной и глубоко-несчастной женщины.

Молодая, красивая, мало, правда, образованная, но съ добрымъ, отзывчивымъ сердцемъ и гуманными наклонностями, она вышла замужъ за пожилого и почти незнакомаго ей офицера такъ, какъ

дѣлаетъ это въ далекихъ провинціальныхъ захолустьяхъ большинство неопытныхъ молодыхъ дѣвушекъ — необдуманно, легкомысленно. Жизнь во всей своей суровой неприглядности открылась ей испуганнымъ глазамъ лишь на другой день послѣ свадьбы. Мужъ оказался не злымъ по природѣ человѣкомъ, но тупымъ и недалекимъ. бурбономъ, взгляды котораго на людей и общественную дѣятельность не подѣ силу было измѣнить ей, которая сама только ощупью, инстинктомъ отыскивала истину и ложь жизни. Долго странствовала Анна Аркадьевна съ своимъ мужемъ по разнымъ глухимъ угламъ Забайкальской области и, наконецъ, попала въ такую мрачную нору, какою былъ стоявшій среди тайги и унылыхъ сопокъ нашъ каторжный городокъ. Здѣсь встрѣтило ее не просто лишь отсталое и безцвѣтное общество, — нѣтъ, это была настоящая крѣпостническая среда, жестокая, бездушная, съ самыми античеловѣчными понятіями, достойными первобытныхъ дикарей; это былъ какъ бы уголокъ среднихъ вѣковъ, бережно сохранявшійся и законно процвѣтавшій въ цивилизованной странѣ и въ просвѣщенномъ вѣкѣ... Грубость царила кругомъ самая варварская, нравы откровенно-животные, вышихъ интересовъ никакихъ. Лучшими дамами шелайскаго бомонда являлись надзирательскія жены, такъ какъ Лучезаровъ, Монаховъ и молодой казацкій хорунжій были люди холостые; эти дамы, ссорясь между собою, публично называли одна другую «шкурами» и «потаскушками»...

Аннѣ Аркадьевнѣ суждено было повторить собою обычную на Руси грустную исторію никѣмъ непонятыхъ страданій и безвременнаго, одинакаго увяданія чуткой, но слабой женской души. Переписка съ подругами-институтками, за отсутствіемъ общихъ реальныхъ интересовъ, постепенно становилась вялой и нелюбопытной. дѣтей не было; книгъ для чтенія не отыскивалось; слезъ не хватало... Чѣмъ бы кончилась эта печальная исторія? Вѣроятно, конечно, всего, что и Анна Аркадьевна, подобно сотнямъ и тысячамъ своихъ предшественницъ, сдалась бы въ концѣ концовъ засасывающей силѣ житейской тины; прошло бы еще нѣсколько лѣтъ, и она, какъ всѣ, утратила бы человѣческій образъ, сдѣлалась бы такой же, какъ всѣ... Но какъ разъ въ ту минуту, когда было еще не поздно, пришло спасеніе. Передъ нею, больной, слабой, охваченной горячечнымъ жаромъ и возбужденіемъ, въ одно время и призывавшей къ себѣ смерть, и мучительно хотѣвшей жить, внезапно появился молодой, энергичный и очень недурной собою врачъ, окру-

женный самой необыкновенной обстановкой,—со штыкомъ солдата за спиною, съ гремящими на ногахъ кандалами, съ бритой головой. Ласковый свѣтъ горѣлъ въ его глазахъ, въ каждомъ словѣ слышалась ободряющая сила и надежда... Воображеніе Анны Аркадьевны было поражено, симпатіи завоеваны съ перваго раза; а между тѣмъ, каждое новое посѣщеніе Штейнгарта, окруженное все той же таинственностью и необычайностью, только усиливало первоначальное очарованіе, открывая въ молодомъ врачѣ-каторжникѣ все новыя и новыя неслыханныя черты и достоинства, и къ тому времени, когда жизнь больной находилась уже въ полной безопасности, между ними успѣла установиться самая тѣсная и искренняя дружба. Для Штейнгарта это была, разумѣется, только дружба; чѣмъ сдѣлался онъ для молодой женщины—кто могъ знать объ этомъ, кромѣ нея самой? Да большой вопросъ еще, знала-ль она и сама о настоящемъ характерѣ своего чувства? Во всякомъ случаѣ это была трогательно-безкорыстная преданность. Очень скоро дружеское расположеніе Анны Аркадьевны перенеслось и на товарищей Штейнгарта, которыхъ она никогда въ жизни не видала, и вотъ Дмитрій, возвращаясь со свиданій, сталъ неизмѣнно каждый разъ приносить мнѣ и Валерьяну поклоны и привѣты отъ своей пациентки, а затѣмъ, когда личные свиданія прекратились, начали получаться раздушенные записочки съ восторженнымъ обращеніемъ ко всѣмъ намъ троицъ: «Друзья мои!» и съ подписью «вашъ вѣрный и любящій другъ». И, какъ я сказалъ уже выше, эта любовь и эта вѣрность были не разъ впоследствии доказаны жизнью, и если имѣлись въ нихъ свои смѣшныя стороны, то мнѣ-ли смѣяться надъ ними? О, если гдѣ-нибудь ты существуешь еще, добрая и самоотверженная душа, такъ много любившая и такъ мало видѣвшая награды за свою любовь, то прими отъ меня, хоть теперь, запоздалый, но все же горячій и искренній привѣтъ!..

Выздоровѣвъ, Анна Аркадьевна, понятно, старалась изыскивать всевозможные предлоги для того, чтобы, время отъ времени, снова приглашать къ себѣ Штейнгарта: то появлялся у нея какой-нибудь новый недугъ, то встрѣчалась надобность въ медицинскомъ совѣтѣ для устраненія слѣдовъ перенесенной весной тяжелой болѣзни... Въ это же время она стала крайне интересоваться знакомствомъ великолѣпнаго Лучезарова, вида котораго раньше не могла выносить и которому всячески выказывала всегда явное неблаговоленіе. Теперь красивая молодая женщина начала ему, не безъ кокетства, улыбаться,

привѣтливо заговаривать, и бравый капитанъ, никогда не бывшій нечувствительнымъ къ женскимъ чарамъ, таялъ каждый разъ, какъ воскъ, и при малѣйшемъ недомоганіи обворожительной есаульши согласился бы сдѣлаться даже спиритомъ, чтобы вызвать съ того свѣта всѣхъ знаменитыхъ врачей прошлыхъ вѣковъ; тѣмъ болѣе онъ готовъ былъ разрѣшить Штейнгарту являться по первому зову есаула...

Вотъ изъ этого-то источника и принесъ однажды Штейнгартъ положительные свѣдѣнія о новыхъ грозившихъ намъ непріятностяхъ, про которыя давно уже говорили разные темные слухи. Передъ тѣмъ около трехъ недѣль не видался онъ съ Анной Аркадьевной, и только разъ за все это время была получена отъ нея коротенькая записка: «Все ишу случая и возможности вызвать, но никакъ не удастся. Боюсь, что Л. что-то подозрѣваетъ. Есть важныя новости». Наконецъ, ей удалось какимъ-то образомъ добиться свиданія.

— Представьте, господа, — рассказывалъ Штейнгартъ мнѣ и Башурову, вернувшись въ тюрьму, — я впалъ въ немилость!

— У Шестиглазаго?

— Ну, разумѣется. Давно, положимъ, я замѣчалъ уже, что онъ, какъ-будто, косится на меня. За ворота тюрьмы, къ больнымъ стали вызывать въ послѣднее время очень рѣдко, а недавно пріѣзжалъ, говорятъ, издалека какой-то казакъ и слезно умолялъ разрѣшить мнѣ изслѣдовать его, но такъ и не добился разрѣшенія... Все это я объяснялъ, однако, минутными капризами.

— Ну, а теперь что же оказывается?

— Оказывается, онъ видѣть меня не можетъ теперь равнодушно. Вчера, когда Анна Аркадьевна усиленно пристала къ нему съ просьбой вызвать меня, онъ вспыхнулъ, какъ порохъ, и разразился длиннымъ монологомъ, въ которомъ высказался вполне откровенно: «Штейнгартъ — мальчишка, который положительно избаловался вслѣдствіе моего мягкаго къ нему отношенія! Онъ совершенно забылъ о томъ, что онъ каторжный, что ему нужно въ рудникѣ работать, а не воображать, будто онъ что-то вродѣ начальства и будто мы ему чѣмъ-то обязаны». — Но, позвольте, — встала Анна Аркадьевна, — вѣдь мы, дѣйствительно, многимъ ему обязаны? — Тутъ Лучезаровъ окончательно изъ себя выпрыгнулъ, какъ говорятъ арестанты, и началъ отрицать во мнѣ всякія знанія и способности: «Если и было нѣсколько удачныхъ исходовъ въ его практикѣ, такъ

это просто счастливый случай, не больше. Я не признаю врача въ этомъ заносчивомъ... недоучкѣ!» Анна Аркадьевна чуть не расплакалась при этихъ словахъ, а Лучезаровъ продолжалъ откровенничать:—«Но еслибы даже отъ него и польза была, принципъ долженъ быть выше поставленъ. Штейнгартъ—каторжный, и его дѣло каторжнымъ быть, а не врачомъ. Впрочемъ, на дняхъ это и начнется...»—Что такое начнется?—«Вообще новый порядокъ. Я получилъ, наконецъ, давно жданный приказъ устроить тюрьму по возможности такъ, какъ это отвѣчаетъ моимъ взглядамъ и убѣжденіямъ. И я устрою дѣйствительно образцовую тюрьму, а не какую-то гостиницу, какой она до сихъ поръ была».—Постепенно капитанъ выболталъ все: на стѣнахъ камеръ будутъ вывѣшены печатныя правила (при словѣ «печатныя» онъ положительно захлебывался отъ восторга), и неисполненіе ихъ будетъ влечь за собою самыя суровыя наказанія... Кроме того, у него будетъ на дняхъ настоящій помощникъ, такой, какого онъ всегда желалъ, человѣкъ смѣлый и дѣятельный, не столь мягкій, какъ самъ онъ, Лучезаровъ... Когда Анна Аркадьевна узнала фамилію новаго помощника, то такъ и ахнула: она и лично хорошо знала подпоручика Ломова, и слышалась о немъ въ свое время очень много.—«Да вѣдь это дубина,—закричала она,—ничего человѣческаго въ немъ нѣтъ!»—Съ какой точки зрѣнія смотрѣть,—отвѣчалъ капитанъ,—во всякомъ случаѣ, у подпоручика много неоспоримыхъ достоинствъ: прежде всего онъ честенъ, неподкупенъ, а главное—исполнителенъ. Ну, а это въ *нашемъ* дѣлѣ неоцѣнимое качество! Повиновеніе, исполнительность, энергія...—Аннѣ Аркадьевнѣ пришлось употребить героическія усилія воли, чтобы сдержать свое негодованіе, и, только благодаря наружному спокойствію, ей удалось все это вывѣдать.—Передайте вашимъ товарищамъ,—сказала она мнѣ въ заключеніе,—что теперь я буду за всѣхъ васъ очень бояться! На одного Лучезарова я еще могла бы, можетъ быть, вліять; мужъ мой тоже не злой человѣкъ и, побуждаемый мною, тоже немного сдерживалъ бы его. Но съ Ломовымъ поладить будетъ невозможно: это не голова, а дерево... Свиданія наши, по всей вѣроятности, теперь совсѣмъ прекратятся, и придется ограничиваться перепиской, хотя и писать надо будетъ очень, очень осторожно. Если вамъ станетъ слишкомъ плохо, дайте мнѣ знать. Я напишу въ Ч...—тамъ у меня есть старыя связи, друзья, и мнѣ, быть можетъ, удастся ослабить лучезаровскія затѣи...



— Ну, вотъ мои сегодняшнія новости,—закончилъ Штейнгартъ свой рассказъ:—не очень-то пріятныя?

— Будемъ ждать событій, заранѣе ничего не придумаешь,—порѣшили мы, расходясь по своимъ мѣстамъ; я продолжалъ еще находиться въ больницѣ; Башуровъ и Штейнгартъ жили теперь въ одной камерѣ.

Событія не заставили себя долго ждать. Однажды утромъ «шелеявый дьяволъ», онъ же старшій надзиратель, принесъ въ тюрьму пукъ печатныхъ «Правилъ шелаевской каторжной тюрьмы», подъ которыми красовалась крупно подписанная фамилія капитана Лучезарова, и торжественно сталъ прибывать ихъ на передней стѣнѣ каждой изъ девяти камеръ. Грамотные изъ кобылки съ любопытствомъ принялись читать. Собственно, чего-нибудь новаго и неожиданнаго въ этихъ правилахъ не было, но все то, что требовалось отъ арестантовъ и раньше, теперь подчеркивалось и подкрѣплялось какой-нибудь опредѣленной угрозой, ссылкой на ту или иную грозную статью закона. Слова: розги, плети, судъ, наручни, кандалы, темный карцеръ, тѣлесное наказаніе, лишеніе вольной команды такъ и пестрѣли въ глазахъ, такъ и скребли по сердцу, словно гвоздь по стеклу. Впрочемъ, на большинство арестантовъ чтеніе это не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія.

— О, чтобы васъ язвило!.. Я думалъ, что нибудь насчетъ манифеста, а это-то мы и безъ вашей бумаги знаемъ,—говорили они, еще не дочитавъ до конца правилъ и съ презрѣніемъ отходя прочь.

— Это что за полотенце тутъ вывѣсили?—спрашивали возвращавшіеся съ работъ и еще ничего не слыхавшіе.

— А это насчетъ, братъ, штановъ. Увидаль начальникъ, что шибко измяты у насъ, такъ вотъ обѣщаетъ выгладить.

Острота встрѣчалась общимъ смѣхомъ, и спрашивавшій не интересовался больше содержаніемъ бумаги.

Но за то для насъ содержаніе это было въ высшей степени интересно, такъ какъ мы отлично понимали, что впечатлѣніе оно рассчитывало произвести, главнымъ образомъ, на насъ. «Ровно въ 9 часовъ вечера,—читали мы,—при первомъ барабанномъ боѣ въ казармахъ арестанты обязаны немедленно ложиться спать. Замѣченные надзирателями въ нарушеніи этого правила и въ ослушаніи въ первый разъ подвергаются наказанію карцеромъ, во второй—розгами». Правило это, за исключеніемъ послѣдней угрозы, было извѣстно и раньше: въ первый годъ существованія Шелаевской тюрьмы

изъ-за несоблюденія его выходили иногда словесныя стычки съ надзирателями; раза два или три случалось даже, что арестантовъ отводили и въ карцеръ, но теперь все это давнымъ-давно уже было забыто, тѣмъ болѣе, что, утомленные дневной работой, арестанты и сами засыпали не позже девяти часовъ вечера. Что касается меня съ товарищами, то мы часто не ложились и еще часа полтора-два. Надзиратели отлично это видѣли, видалъ иногда и самъ Шестиглазый, производя вечерніе обходы тюрьмы, но замѣчаній никто намъ не дѣлалъ. Теперь же печатно объявлялась на этотъ счетъ внушительная и многознаменательная угроза... «За отказъ отъ работы подъ предлогомъ болѣзни, которой не призналъ врачъ или фельдшеръ (!), а также за невыполненіе урока безъ достаточныхъ (!) основаній» назначалось такое же наказаніе: сначала карцеръ, затѣмъ розги...

«За неснятіе шапки передъ начальствомъ», «за дерзкіе отвѣты надзирателямъ», «за невниманіе къ звонку и свистку» и за многое другое въ томъ же родѣ—классическая лоза, казалось, такъ и свистѣла въ воздухѣ, терроризируя и безъ того угнетенное и болѣзненно настроенное воображеніе. Точно перечислялось далѣе, кого изъ начальствующихъ лицъ слѣдовало называть «Ваше превосходительство» и «Ваше высокоблагородіе», и въ какихъ случаяхъ полагалось сказать «здравія желаю» или «рады стараться»; а въ заключеніе всего стоялъ такой любопытный пунктъ: «Надзиратели никому изъ арестантовъ не должны говорить *вы*, а всѣмъ безъ различія *ты*»... Въ ряду правилъ для арестантовъ статья эта, обращавшаяся съ внушеніемъ къ надзирателямъ, особенно поражала своей странностью и видимой ненужностью... Эта-то видимая ненужность и выдавала составителя инструкціи: очевидно было, что онъ придавалъ этой статьѣ особенное значеніе, что именно въ этомъ пунктѣ съ особеннымъ усердіемъ скрипѣло по бумагѣ расхолодившееся чиновничье перо...

Какъ бы то ни было, на трехъ человѣкъ изъ полуторыхъ сотенъ арестантовъ вывѣшенныя печатныя правила произвели болѣзненно удручающее впечатлѣніе. Мы, правда, молчали и даже между собой не держали никакихъ совѣтовъ, не принимали никакихъ преждевременныхъ рѣшеній, но сердце у каждаго мучительно сжималось, и мрачныя предчувствія заволакивали душу холоднымъ туманомъ... Перспектива новой борьбы, борьбы за свое человѣческое достоинство, въ то время, какъ утомленная душа жаждала тишины и спокойствія, хотя бы спокойствіемъ этимъ былъ обычный тяжелый строй

каторжной жизни,—перспектива эта пугала и мучила... Кому и зачѣмъ это нужно? Чего они хотятъ отъ насъ?

«Новый порядокъ» начался съ того, что, выѣсивъ на стѣнахъ камеръ правила, старшій надзиратель подошелъ къ Штейнгарту и Башурову и, глупо ухмыляясь и смѣшно по обыкновенію шепелявя, потребовалъ отъ нихъ выдачи простынь, которыми всѣ мы пользовались уже съ незапамятныхъ временъ: бравый капитанъ, всегда любившій и поощрявшій чистоту и опрятность, въ свое время съ большимъ удовольствіемъ разрѣшилъ мнѣ употребленіе простынь; когда пріѣхали новички, это было уже давно установившимся прецедентомъ.

— Съ какой стати отбираете вы простыни?—удивился Штейнгартъ.

— А какъ же! Въ правилахъ говорится, что постельныя принадлежности, одежда и все прочее должно быть у алестантовъ одинаковое.

— Да вѣдь грязь невообразимая заводится на постеляхъ?

— Алестантамъ полагается глязъ, — попробовалъ отшутиться надзиратель:—А, впрочемъ, начальникъ говорить, что если всѣ арестанты заведутъ простыни, такъ ихъ можно дозволить.

Но всѣ арестанты, конечно, не могли «завести» себѣ простынь, и мы тоже должны были отнынѣ спать на однѣхъ грязныхъ подстилкахъ. Какъ ни любилъ Шестиглазый чистоту и опрятность, но принципъ для него былъ выше! Наступленіе было, очевидно, дѣломъ окончательно обдуманнѣмъ и рѣшеннѣмъ.

Вечеромъ того же дня на повѣрку явился самъ авторъ правилъ, окруженный всѣми шелайскими надзирателями, торжественный и грозный. Изъ корридора больницы я съ любопытствомъ и нѣкоторой тревогой наблюдать въ окно за церемоніей; каждый громкій возгласъ явственно доносился сквозь отворенную форточку. Противъ обыкновенія, немедленнаго разрѣшенія надѣть шапки не послѣдовало, но я видѣлъ, какъ Башуровъ и Штейнгартъ (не изъ какого-либо протеста, какъ потомъ они мнѣ объяснили, а совершенно машинально, по привычкѣ) накрылись, не дожидаясь команды. Бравый капитанъ замѣтилъ это и, весь побагровѣвъ, возвысилъ тотчасъ же голосъ:

— Никогда не должно надѣвать шапокъ, пока я не разрѣшилъ!

Послѣдовало долгое и тягостное молчаніе. Провинившіеся продолжали стоять въ шапкахъ. Еще мгновенье—и болѣе ретивые изъ надзирателей полетѣли бы къ нимъ съ криками и угрозами, но Лучезаровъ быстро скомандовалъ:

— Шапки надѣть... Да вотъ что!—продолжалъ онъ, еще возвышая голосъ:—нѣкоторые изъ васъ надѣваютъ штаны поверхъ сапоговъ. Форма требуетъ, чтобы штаны забирались внутрь... Да и помимо того, некрасиво такъ носить—такъ *жиды* только одни носятъ.

II, выпаливъ этотъ удивительный афоризмъ, онъ угрюмо замолчалъ. Рѣчь эта произвела на меня тѣмъ болѣе тягостное впечатлѣніе, что я зналъ, противъ кого она была направлена: изъ всей тюрьмы одинъ только Башуровъ надѣвалъ брюки по казенному...

Непріятности, однако, этимъ не кончились. Когда надзиратели скомандовали арестантамъ расходиться по камерамъ, гнѣвъ Шести-глазаго опять прорвался наружу; зычный окрикъ, какого я никогда еще не слыхивалъ, раздался на весь дворъ:

— Тамъ не въ ногу идутъ!.. Кто смѣетъ изъ рядовъ выходить? Кто...

Но колонна, къ которой относился этотъ крикъ, и въ которой находились и два моихъ товарища, уже успѣла вступить въ двери тюрьмы и скрыться изъ глазъ. Лучезаровъ почему-то не вернулся, хотя долго еще кричалъ на дворѣ—что именно, я не сталъ вслушиваться. Съ тяжестью и мракомъ на сердцѣ отошелъ я отъ огня.

Какъ оказалось, во многихъ камерахъ Лучезаровъ говорилъ въ тотъ вечеръ краткія, но внушительныя рѣчи, и, конечно, онъ не могъ думать, что мы не узнаемъ ихъ содержанія.

— Въ тюрьмѣ будутъ введены нѣкоторыя строгости,—объявлялъ онъ арестантамъ,—но вы не должны ихъ пугаться. Тѣ, кто будетъ послушенъ и кротокъ, ничего отъ меня худого не увидятъ. Но среди васъ есть гордецы... строптивые... Вы должны пособить мнѣ обуздать ихъ! Я слышалъ, что и вамъ они не пришлись по вкусу, тѣмъ лучше.

Признаюсь откровенно, я никакъ не ожидалъ, чтобы бравый капитанъ, при всей пзмѣнчивости своихъ настроеній и «принциповъ», дошелъ до такихъ унижительныхъ и неприглядныхъ средствъ борьбы... Но онъ опоздалъ: «звонъ» услышанъ былъ слишкомъ заднимъ числомъ, когда о какомъ-либо раздорѣ между нами и кобылкой не было уже и помину... Впрочемъ, я думаю, что на этой почвѣ онъ не добился бы ничего и раньше; даже враждовавшіе съ нами тюремные коноводы врядъ ли захотѣли бы имѣть въ этомъ дѣлѣ такого союзника, какъ начальство... Въ настоящую же минуту Луче-

заровъ достигъ результатовъ совершенно противоположныхъ тѣмъ, какихъ желалъ: къ чести кобылки нужно сказать, что не нашлось среди нея ни одного человѣка, который отнесся бы (по крайней мѣрѣ громогласно) съ сочувствіемъ къ откровенной рѣчи начальника. Всѣ, напротивъ, открыто негодовали... На другое же утро десятки человѣкъ спѣшили къ намъ, чтобы сообщить въ подробностяхъ содержаніе рѣчи; вся тюрьма въ этотъ и слѣдующіе затѣмъ дни относилась ко всѣмъ намъ съ какимъ-то преувеличеннымъ вниманіемъ и почтеніемъ; передъ нами торопливо разступались, намъ дружески улыбались, заговаривали съ нами съ явнымъ желаніемъ ободрить и успокоить... И во все послѣдующее, пережитое нами тяжелое время кобылка также вела себя съ положительнымъ благородствомъ, подчасъ глубоко насъ трогавшимъ...

Нѣсколько дней спустя пріѣхалъ ожидаемый «помощникъ». Надзиратели съ ранняго утра до поздняго вечера усиленно бѣгали въ этотъ день по тюрьмѣ, съ особенной тщательностью водворяя вездѣ чистоту, тишину и порядокъ, точно въ ожиданіи какого нибудь важнаго генерала. Двое или трое арестантовъ попали въ карцеръ за грубость. Вечерней повѣрки ждали всѣ съ напряженнымъ любопытствомъ. Звонокъ ударилъ какъ-то совсѣмъ неожиданно, и арестанты закопошились, точно рой пчелъ, потревоженныхъ въ ульѣ какой нибудь внезапной бѣдой.

— Скорѣе за котлами бѣгите, черти, дьяволы!—раздались всюду крики, и запоздавшіе камерные старосты со всѣхъ ногъ промчались въ кухню за чаемъ. Дежурный надзиратель выбивался изъ силъ, подгоняя ихъ своимъ «гавканьемъ». Каторжный поэтъ Владиміровъ, тоже бывшій въ это время старостой въ одномъ изъ номеровъ, зашнурлся о ступеньку главнаго крыльца и во весь ростъ растянулся на немъ вмѣстѣ съ ведромъ чаю. Коричневаго цвѣта жидкость разлилась по крыльцу широкими потоками. Произошло невообразимое замѣшательство; хохотъ кобылки смѣшивался съ бѣшеной бранью надзирателя; изъ кухни бѣжали съ тряпками повара и хлѣбопеки, торопясь смыть и затушевать слѣды произведеннаго «безобразія»; а самъ виновникъ суматохи, Медвѣжье Ушко, низко потупивъ молотающую голову и ковыляя ушибленной ногой, конфузливо ухмыляясь, спѣшилъ занять свое мѣсто въ рядахъ уже выстроившихся и весело тюкавшихъ на него арестантовъ.

— Ай, да дюдя! Сколько же тебѣ банокъ теперь отрубать зато, что камеру безъ чаю оставилъ?

Съ трудомъ пришло все въ надлежащій порядокъ. И едва только порядокъ водворился, какъ послышалось: «Идутъ! идутъ!..» и все стихло. Ворота распахнулись настежь, и въ сопровожденіи толпы надзирателей вошли Шестиглазый и рядомъ съ нимъ новый помощникъ, подпоручикъ Ломовъ. Глаза всѣхъ такъ и впились въ новую фигуру, появленію которой предшествовало столько слуховъ и толковъ. Фигура была необыкновенно внушительная: ростомъ едва ли не выше самого Лучезарова и шире его въ плечахъ, Ломовъ производилъ впечатлѣніе неуклюжаго, косолапаго медвѣдя, ставшаго на дыбы. Въ довершеніе сходства онъ не могъ, повидимому, прямо держать голову, нѣсколько косо сидѣвшую на плечахъ, и смотрѣлъ исподлобья сѣрымъ, непривѣтливымъ взглядомъ. Да и все лицо его, обросшее, какъ у медвѣдя, волосами, было какого-то землисто-сѣраго цвѣта, съ чертами, трудно уловимыми и запоминаемыми.

— Одно слово, ребята, — Ломовъ! — такъ резюмировала потомъ свои впечатлѣнія кобылка.

Но что, однако, случилось съ самымъ бравымъ капитаномъ? Какъ непохожъ онъ былъ на того громовержца-Юпитера, на того «Прометея», какимъ являлся въ тюрьму за нѣсколько дней передъ этимъ! Теперь онъ, напротивъ, источалъ изъ себя блескъ и благоволеніе и глядѣлъ на присмирѣвшую кобылку, какъ добрый и благодушный отецъ на своихъ возлюбленныхъ дѣтей; входя въ ворота, онъ даже видимо для всѣхъ улыбнулся... Надѣть шапки онъ приказалъ почти въ тотъ же моментъ, какъ раздалась команда надзирателя снимать ихъ. По выслушаніи рапорта дежурнаго о благополучномъ состояніи тюрьмы, онъ милостиво обратился къ арестантамъ съ привѣтствіемъ, причемъ не сказалъ даже «здорово, ребята!», а — «здравствуйте, братцы»... И когда «братцы» отвѣчали на это оглушительнымъ ревомъ: «Здраввія желаемъ, господинъ начальникъ!» — еще привѣтливѣе оглянулъ ихъ и сказалъ, указывая на Ломова:

— Вотъ, братцы... прошу любить и жаловать новаго помощника!

И, должно быть, самому бравому капитану показалось нѣсколько чудно то, что онъ сказалъ: онъ, какъ будто, сконфузился и замолчать. Впрочемъ, добродушіе не покидало его. Что касается Ломова, то онъ стоялъ, какъ прежде, огромный и сѣрый, неподвижный, точно статуя командора, нѣсколько пригнувъ къ землѣ свою косую голову, и только во время неожиданной рѣчи начальника какъ-то нервно

дернуть ея, словно ломовая лошадь, которой надоѣдливая муха съѣла вдругъ на носъ.

Арестантскій хоръ запѣлъ установленныя молитвы. Лучезаровъ со всей свитой отправился за задніе ряды арестантскаго строя, куда обыкновенно удалялся на время пѣнія (должно быть, для того, чтобы не казалось, будто арестанты на него молятся).

— Вотъ что я скажу тебѣ, Петинъ,—громко заговорилъ онъ, надѣвая по окончаніи молитвы папаху и снова выходя впередъ:—бась то у тебя, пожалуй, и есть, но въ головѣ, должно быть, пусто, какъ въ порожнемъ боченкѣ. Нотъ не знаешь и гудишь тамъ, гдѣ совсѣмъ не требуется!

Замѣчаніе это было сдѣлано, однако, такимъ добродушнымъ тономъ, что кое-гдѣ въ рядахъ арестантовъ слова: «порожній боченокъ» вызвали даже легкій смѣхъ—до того насмѣля кобылка. Этого было вполне достаточно, чтобы начальникъ не далъ дальнѣйшаго хода своей разыгравшейся веселости и принялъ тотчасъ сдержанный, серьезный видъ. Радостно расходилась кобылка по ноге-рамъ. Я видѣлъ съ своего наблюдательнаго поста, какъ Шестигла-зый долго еще стоялъ послѣ того по срединѣ двора и благодушно ораторствовалъ о чемъ-то передъ своимъ сѣрымъ и молчаливымъ помощникомъ. Разговоръ шелъ, повидимому, вполне частный, и тѣмъ не менѣе Ломовъ то и дѣло отдавалъ начальнику честь. Надзира-тели держались въ почтительномъ отдаленіи. Наконецъ, вся свита отправилась въ тюрьму и пробыла тамъ больше часу. Я ужъ думалъ, никогда и не кончится эта длинная церемонія; отъ долгаго ожида-нія у меня расходились нервы и разболѣлась голова. Но вотъ про-цессія, наконецъ, вышла и прежде всего направилась къ кухнѣ: впереди быстро шагаль, развѣвая полами шинели, Шестиглазый; нѣсколько поодаль, скосивъ на бокъ голову, шелъ грузной поход-кой Ломовъ, а позади стройно выступали попарно, точно прогло-тивъ по аршину, шесть или восемь надзирателей. Изъ кухни ше-ствие прошло... къ помойной ямѣ. И тамъ бравый капитанъ долго что-то объяснялъ мрачному подпоручику, краснорѣчиво жестикулируя руками; и лишь по тщательномъ освидѣтельствovanіи помойной ямы, онъ быстро направился, наконецъ, къ больницѣ. Тутъ только я покинулъ свой постъ и поспѣшилъ въ палату. Въ послѣднее время я жилъ въ ней не одинъ, а имѣлъ сожителя стараго хохла Ткаченко.

Загремѣли въ сѣняхъ двери, и по полу корридора застучали де-

сятки сапогъ. Слышно было, какъ, приближаясь къ моей камерѣ, Лучезаровъ сказалъ что-то вполголоса Ломову. И вотъ все свободное пространство впереди меня и Ткаченки быстро заполнилось шинелью бравата капитана, почти прижавшаго меня къ маленькому столику, стоявшему между двумя койками. Входя въ тюремныя камеры, капитанъ никогда не снималъ съ головы шапки, въ больничныя же палаты, напротивъ того, являлся всегда съ обнаженной головой; точно также поступали и надзиратели. И теперь, еще на порогѣ моей кельи, онъ граціознымъ движеніемъ руки скинулъ папаху, не забывъ тутъ же сдунуть съ нея какую-то пылинку. Ломовъ остановился на порогѣ, надзиратели столпились въ корридорѣ. Я не глядѣлъ на порогъ, но чувствовалъ, какъ тамъ стояло что-то большое, тяжелое и темное.

Лучезаровъ медленно снималъ съ руки лайковую перчатку и наполнялъ комнату благоуханіемъ острыхъ духовъ, къ которымъ чувствовалъ всегда пристрастіе. Нѣсколько мгновений онъ глядѣлъ на меня сверху внизъ не то насмѣшливымъ, не то дружелюбнымъ взглядомъ.

— Ну-съ, каковы наши дѣла?

Я, молча, пожалъ плечами.

— Поправляемся?

— Понемногу!

Разговоръ никакъ не клеился, и бравый капитанъ торопливо повернулся въ сторону Ткаченки.

— Ну, а ты, старина, что тутъ дѣлаешь?

— Хлѣбъ жую, господинъ начальникъ, да Богу молюсь,—попробовать пошутить арестантъ, видя доброе настроеніе начальника. Но Лучезарову этотъ отвѣтъ, видимо, не совсѣмъ понравился.

— Ага,—нахмурился онъ,—хлѣбъ жуешь? Это-то и я, братецъ, умѣю... Въ лазаретъ не хлѣбъ жевать поступаютъ, а отъ болѣзней лѣчиться.

— Да этого добра у меня, господинъ начальникъ, довольно! Тыща болѣзней, просто и счету нѣтъ... Одною спину какъ разломил!

— Бурно пожилъ,—многозначительно бросилъ Лучезаровъ въ мою сторону и, слегка кивнувъ головой, выбѣжалъ тотчасъ же изъ палаты.

Корридоръ опять загремѣлъ отъ топота многочисленныхъ шаговъ.



— Это что-жъ такое значить: «бурно пожить»? — недовольно обратился ко мнѣ Ткаченко.

Я, смѣясь, объяснилъ ему. Хитрые раскосые глаза старика сердито забѣгали туда и сюда; сѣдые бакенбарды и толстые усы забавно топорщились. Онъ не то дѣйствительно не понималъ, не то не хотѣлъ понять моего объясненія.

— Бурно?...—восклицалъ онъ съ комическимъ негодованіемъ:— Нѣтъ, шалишь, братъ! Нѣтъ, вовсе даже недурно я пожить. Право, недурно! Въ тюрьму, вотъ, дурно попасть—что вѣрно, то вѣрно.

На вечернюю повѣрку слѣдующаго дня явился уже одинъ Ломовъ. Во все время церемоніи онъ не проронилъ ни слова. Дежурный надзиратель то-и-дѣло подскакивалъ съ вопросами: «Прикажете то-то и то-то дѣлать, господинъ помощникъ?»—и онъ на все только угрюмо кивалъ головою. Само собой разумѣется, что и шапокъ надѣвать онъ тоже не разрѣшалъ, и кобылка, за исключеніемъ Штейнгарта и Башурова, всю повѣрку отъ начала до конца простояла на жестокомъ декабрьскомъ морозѣ съ обнаженными головами. Склонивъ нѣсколько на бокъ шею, Ломовъ, казалось, ничего не замѣчалъ и думалъ о совершенно постороннихъ вещахъ. Арестанты разошлись по камерамъ, не раскусивъ еще характера новаго помощника; кто сравнивалъ его съ бараномъ, а кто съ затравленнымъ волкомъ; но интересъ въ общемъ былъ возбужденъ крайне слабый.

Еще прошелъ день, наступила вторая повѣрка, на которой опять присутствовалъ Ломовъ, и я снова съ любопытствомъ и застенчивой тревогой наблюдалъ за всѣмъ происходившимъ. Едва только окончилась молитва, какъ онъ вынулъ изъ кармана колоду,—какъ мнѣ показалось сначала,—картъ и сталъ раздавать арестантамъ, громко вызывая ихъ по фамиліямъ. Голосъ у него оказался громкій, но съ какимъ-то раздражительнымъ, желчнымъ раскатомъ въ окончаніяхъ словъ.

— Мило-сердовъ! Струйс-кій! Вла-а-диміровъ!

Вызываемые униженно снимали шапки, выдвигались изъ строя и, подходя къ Ломову, брали изъ его рукъ карты. Онъ пристально вглядывался въ каждого, словно желая запомнить фізіономіи. Наблюдавшіе вмѣстѣ со мной больные живо догадались, что это были за карты.

— Квитки! Квитки, ребята, выдаетъ... Насчетъ строковъ... Сбавки какой не вышло ли?

— Чи-рокъ! Ишні-язовъ! Огур-цовъ! — продолжалъ выкликать Ломовъ.

У меня усиленно билось сердце, въ ожиданіи неизбежной исторіи.

— Шара-фетдиновъ! Но-гайцевъ! Ба-а-шуровъ!

Маленькій татаринъ Шарафетдиновъ и толстый Ногайцевъ, поспѣшно засунувъ шапки подмышки, кинулись получать квитки. Медленной походкой шель за ними Башуровъ, и на головѣ у него торчала злополучная шапка. Ломовъ, протягивая къ нему руку съ бумажкой, поднялъ глаза.

— Шапку забылъ снять... Какъ твоя фамилія?

Шапка не снималась.

— Шапку долой!! — почти взвизгнулъ помощникъ и двинулся къ Башурову: — безпорядокъ!!

Отвѣтомъ было прежнее молчаніе.

— Какъ фамилія?

Надзиратель стрѣлой подлетѣлъ и, приложивъ къ козырьку руку, назвалъ фамилію.

— Отвести въ карцеръ! — еще пущимъ визгомъ разразился Ломовъ. Башурова повели въ карцеръ. По дорогѣ онъ взглянулъ на больничное окно и, весело улыбаясь, кивнулъ мнѣ головою... Между тѣмъ Ломовъ, пока надзиратели не вернулись изъ карцернаго двора, въ явномъ возбужденіи, рассказывалъ впереди арестантскаго строя; Ткаченко увѣрялъ даже, что видитъ, какъ все лицо его перекашивается...

— Ну, и злости же въ емъ! Этотъ еще почище Шестиглазаго будетъ. Сущій волкъ! Говорилъ я, что на волка находить — вотъ по моему и вышло... Даромъ, что голова на бокъ скрючена, а все видитъ!

Съ возвращеніемъ надзирателей перекличка продолжалась, какъ ни въ чемъ не бывало. Я съ замираніемъ сердечнымъ ожидалъ вызова Штейнгарта... Однако какимъ-то чудомъ его квитка не оказалось, такъ же какъ и квитковъ нѣкоторыхъ другихъ арестантовъ, и осталная часть повѣрки прошла благополучно.

На слѣдующее же утро я покинулъ лазаретъ и перешелъ въ тюрьму: разъ началась борьба, какъ бы она ни была нежелательна, я хотѣлъ быть съ товарищами. По указанію надзирателя, мнѣ пришлось помѣститься не въ ту камеру, въ которой находился Штейнгартъ. Послѣдній настаивалъ, чтобъ я немедленно вызвался къ Лу-

чезарову для переговоровъ. Какъ ни тяжела была эта обязанность, выбора не представлялось, такъ какъ имѣлись свѣдѣнія, что Штейнгартъ пользовался преимущественнымъ нерасположеніемъ капитана, и я заявилъ дежурному о своемъ желаніи видѣться съ начальникомъ тюрьмы по неотложному дѣлу. На работу въ этотъ день я не былъ назначенъ въ виду того, что только что выписался изъ больницы, и цѣлый день пробродилъ по тюремному двору, волнуясь и нетерпѣливо ожидая, что вотъ-вотъ меня пригласятъ въ контору. За три слишкомъ года пребыванія въ Шелаѣ Лучезаровъ нѣсколько избаловалъ меня въ этомъ отношеніи: онъ вызывалъ меня немедленно всякій разъ, какъ я докладывалъ о необходимости видѣться. Но сегодня происходило что-то странное: часы шли за часами, а меня и не думали вызывать. Вернулись, наконецъ, горные рабочіе.

— Ну, что? Какъ?—кинулся ко мнѣ Штейнгартъ.

— Ничего.

— Все еще не вызывалъ?

— Нѣтъ.

— Что-жъ это значитъ?

— Самъ не знаю. Подождемъ еще немного...

— Ну, а что Валеріанъ?

И я сталъ дѣлиться свѣдѣніями, какія успѣлъ добыть объ арестованномъ товарищѣ.

И въ этотъ вечеръ на повѣрку опять явился Ломовъ. Мы съ Штейнгартomъ стояли все время въ шапкахъ, но онъ, очевидно, не замѣчалъ «безпорядка», и все сошло благополучно. Лучезаровъ еще цѣлыхъ два дня не подавалъ никакихъ признаковъ жизни, и это начинало насъ не на шутку раздражать... Однако, въ бесѣдахъ съ Штейнгартomъ я, какъ болѣе старшій и опытный, считалъ своимъ долгомъ по возможности охлаждать его негодованіе и силился даже придать всей исторіи нѣсколько комическій характеръ. Штейнгарта это злило.

— Что вы тутъ комичнаго видите, я не понимаю!—говорилъ онъ съ сердцемъ:—и развѣ, въ концѣ концовъ, вы не то же дѣлаете, что и мы?

— Конечно, дѣлаю, но это не мѣшаетъ мнѣ внутренне смѣяться и надъ собой. Подумайте сами: каторгу мы терпимъ, солдатскій строй терпимъ, чортъ знаетъ что терпимъ, а тутъ вдругъ изъ-за какой-нибудь несчастной шапки артачимся.

— Иванъ Николаевичъ, да вѣдь одна лишняя капля можетъ переполнить чашу терпѣнія...

— Но не лишитъ способности разсуждать логически. Сниманіе шапки такая же, въ концѣ концовъ, формальность, какъ и все остальное. Отъ товарищества я, разумѣется, никогда не отступлю; возможно и то, что, живи я здѣсь одинъ, безъ васъ, я и тогда поступалъ бы такъ же, какъ теперь вмѣстѣ съ вами. Но, съ другой стороны, по совѣсти скажу вамъ, что, если бы товарищи рѣшили плюнуть на этотъ вопросъ, я не сталъ бы упираться.

Штейнгартъ горячо протестовалъ противъ такого взгляда.

— Я гляжу не такъ... По моему, даже тѣлесное наказаніе не въ такой степени принижаетъ человѣка! Что можетъ сдѣлать человѣкъ со связанными руками противъ грубаго физическаго насилія? И развѣ его оно унижаетъ? Но этотъ, сравнительно, маленькій и смѣшной на вашъ взглядъ вопросъ объ обязательномъ сниманіи шапки—о, это совсѣмъ другое дѣло! Тутъ я не пассивно, а уже активно унижаюсь, изъ шкурнаго страха я самъ, собственной рукою дѣлаю то, что мнѣ въ высшей степени непріятно дѣлать...

— Значитъ, Дмитрій Петровичъ... Простите мой вопросъ, но помните вы рѣшеніе, которое приняли въ первый вечеръ пребыванія здѣсь: «я стану все терпѣть, что только не задѣнетъ основъ моего человѣческаго достоинства»? Это была просьба, съ которою... И вы думаете, что теперь у васъ задѣта одна изъ такихъ основъ?

Штейнгартъ вспыхнулъ и затѣмъ опять побѣднѣлъ.

— Я помню, конечно,—сказалъ онъ, понизивъ голосъ и грустно опустивъ голову,—но мало ли, во-первыхъ, какія рѣшенія принимаются въ минуты унынія или, наоборотъ, радостнаго подъема чувствъ. А, во-вторыхъ, какъ опредѣлить точно, гдѣ кончается и гдѣ начинается какая нибудь основа? Логикой тутъ ничего не рѣшишь, это область нравственнаго чувства...

Но и во мнѣ самомъ «логика» давно молчала, замѣнившись смутой самыхъ разнородныхъ мыслей и чувствъ. И прежде всего я боялся, подобно Штейнгарту, что вопросъ о шапкахъ, который самъ по себѣ не имѣлъ для меня существеннаго значенія, можетъ явиться лишь первымъ шагомъ по пути систематическаго надруганія надъ нашимъ человѣческимъ достоинствомъ. Что Ште-стиглазнымъ задуманъ цѣлый систематическій планъ, я въ этомъ больше не сомнѣвался. Ломовъ являлся въ этомъ планѣ лишь послушнымъ и удобнымъ орудіемъ. Что-то было, очевидно, въ самомъ

бравомъ капитанъ, что, при всей жесткости его натуры и тайныхъ вождельній, мѣшало ему лично взяться за это дѣло, тупой же и грубо-прямолинейный помощникъ, какъ нельзя лучше, подходилъ къ этой неблагодарной роли... И мысль о томъ, что мы находимся въ безконтрольной власти двухъ такихъ человѣкъ, и что надъ нашей головой виситъ, точно дамокловъ мечъ, «инструкція», знающая такъ мало градацій въ системѣ своихъ каръ,—эта мысль леденила и обезволивала душу...

Башуровъ уже третьи сутки сидѣлъ въ темномъ карцерѣ. Въ глубокомъ душевномъ угнетеніи вышли мы вечеромъ на повѣрку. Ворота растворились, и шумной гурьбой свободно и весело разговаривая, вошли одни надзиратели. Кобылка тоже радостно всколыхнулась.

— Никакого, значить, чорта-дьявола не будетъ сегодня!..

Передъ уходомъ въ свои камеры мы съ Штейнгартомъ еще разъ встрѣтились.

— Что же теперь дѣлать? Очевидно, никакихъ разговоровъ съ нами имѣть не желаютъ?

Лицо Штейнгарта сдѣлалось суровымъ.

— Не станемъ съ завтрашняго дня на повѣрки выходить, и дѣлу конецъ! Пускай силой выводятъ, если хотять!

Однако, не прошло и полчаса послѣ повѣрки, какъ ключъ въ моей камерѣ снова загремѣлъ, и надзиратель пригласилъ меня къ начальнику тюрьмы. Бравый капитанъ поджидалъ меня въ маленькой дежурной комнатѣ, примыкавшей къ одному изъ тюремныхъ корридоровъ. Разстегнутая шинель свободно развѣвалась по его могучимъ плечамъ, и папахъ предупредительно снята была съ головы. Въ комнатѣ, по обыкновенію, сильно пахло одеколономъ, а отъ лица и всей фигуры Лучезарова вѣяло, какъ всегда, здоровьемъ и довольствомъ.

— Въ чемъ дѣло?—быстро заговорилъ онъ, едва меня увидавъ:—я былъ ужасно всѣ эти дни занятъ, никакъ не могъ... А вы удалитесь-ка на минуту,—обратился онъ къ надзирателю.

Послѣдній почтительно брякнулъ ключами и исчезъ, какъ привидѣніе.

— Въ чемъ же дѣло?—повторилъ бравый капитанъ, точно и въ самомъ дѣлѣ не догадываясь о причинѣ моего вызова.

— Вы сами прекрасно знаете, въ чемъ,—отвѣчалъ я, съ трудомъ сдерживая волненіе:—сегодня уже четвертые сутки пошли, какъ вы держите подъ арестомъ нашего товарища.

— Я? Башпурова? Вы ошибаетесь... Онъ арестованъ моимъ помощникомъ?

— Да развѣ помощникъ хозяинъ тюрьмы?

— Хозяинъ, разумѣется, я, но... у помощника тоже есть свои обязанности и свои права. Я не могу ихъ нарушить. Мнѣ былъ представленъ рапортъ о происшедшемъ, и я долженъ былъ считаться съ фактомъ.

— Словомъ, вы желаете умыть руки? Что-жъ, быть можетъ, и арестантовъ вооружаетъ противъ насъ кто нибудь другой?

— Вооружаетъ арестантовъ? Что за чепуха! Напротивъ, они мнѣ постоянно жалуются...

Бравый капитанъ запутался и побагровѣлъ до корней волосъ.

— Чего вы отъ меня, наконецъ, хотите? Инструкція, которая я обязанъ исполнять, говорятъ съ чрезвычайной опредѣленностью.

— Инструкція, которая вы сами же составляли и которыхъ столько лѣтъ добивались? Мы хотимъ столь малаго, столь, повидимому, законнаго...

— А именно?

— Чтобы вашъ подчиненный обращался съ нами, по крайней мѣрѣ, не хуже васъ самихъ... Внушить ему это вполнѣ отъ васъ зависитъ. Подумайте сами: вотъ уже четвертый годъ вы управляете тюрьмой и ни разу еще не имѣли съ нами никакихъ исторій. Почему это? Потому, конечно, что вы, по возможности, умѣряли суровость мертвой буквы инструкцій...

Я видѣлъ ясно, что слова мои попали въ чувствительное мѣсто капитана: круглое лицо его все вдругъ залоснилось, и голова, отъ прилива законной гордости, поднялась выше обыкновеннаго.

— Да, да,—поспѣшилъ онъ согласиться,—это моя заслуга, я, дѣйствительно, человекъ очень умѣренный... Правда, бывають минуты, когда теряешь самообладаніе съ этими артистами (онъ протянулъ руку по направленію къ камерамъ), но съ тѣми, кто заслуживаетъ... съ людьми просвѣщенными... я умѣю быть не только начальникомъ, но и человекомъ!

— Такъ зачѣмъ же теперь, послѣ трехъ лѣтъ мира и спокойствія, понадобились вдругъ исторія, столкновенія?

— Расскажите мнѣ, какъ произошло дѣло съ этимъ арестомъ?

Я рассказалъ, останавливаясь возможно больше на психологій интеллигентнаго человека и подчеркивая то обстоятельство, что онъ, Лучезаровъ, всегда считался до сихъ поръ съ этой психоло-

гійей. Бравый капитанъ, какъ бы соглашаясь со мною, все время кивалъ головою.

— Ну, я полагаю, что больше такихъ исторій не будетъ,— сказалъ онъ, наконецъ, и вдругъ, немного подумавъ, прибавилъ:— я увѣренъ, что вы, напримѣръ, станете вести себя благоразумнѣе Башурова. Что дѣлать, законъ требуетъ исполненія!

Признаюсь, такой выводъ явился для меня полной неожиданностью: мнѣ уже начинало казаться, что моя искусная дипломатія одерживаетъ побѣду, и Шестиглазый готовъ уступить,—и вотъ мы опять очутились, что называется, у печки!..

— Вы ошибаетесь, вы жестоко ошибаетесь!—воскликнулъ я съ горячностью:—поведеніе мое ничѣмъ не будетъ отличаться отъ поведенія товарищей. Я точно также буду гнить въ карцерѣ, если вы не поспѣшите запретить вашему помощнику исполнять инструкцію черезъ чуръ пунктуально! И послѣ того будь, что будетъ!

Лучезаровъ, нѣсколько опѣшивъ, нахмурился.

— Я подумаю,—сказалъ онъ, направляясь къ дверямъ и дѣлая знакъ, что аудіенція кончилась:—во всякомъ случаѣ, я поговорю съ помощникомъ... Я постараюсь его убѣдить, такъ какъ приказать не имѣю права.

— А когда же будетъ выпущенъ Башуровъ?

— Его срокъ кончается завтра вечеромъ... Впрочемъ, можно и сегодня... Да, да, я велю сейчасъ же его выпустить!

— Въ такомъ случаѣ, позвольте мнѣ его подождать здѣсь.

Надзиратель стрѣлой полетѣлъ въ карцеръ. Лучезаровъ, плотно закутавшись въ шинель, сталъ торжественно прохаживаться по корридору. Я стоялъ въ молчаливомъ ожиданіи. Черезъ нѣсколько минутъ на крыльцѣ послышались торопливые шаги, смѣлая рука распахнула широко дверь, и я увидалъ Ватерьяна, какъ всегда жизнерадостнаго и безпечнаго. Столкнувшись со мной лицомъ къ лицу, онъ разразился веселымъ смѣхомъ и шумно заключилъ меня въ объятія.

— Ага, вы тутъ? Выручали меня? А я ужъ спать было залегъ... Вотъ отдохнулъ-то прекрасно! Ну, что—воевали съ Шестиглазымъ? А гдѣ же Дмитрій?

И тутъ только онъ замѣтилъ въ противоположномъ углу корридора величественную фигуру Шестиглазаго... Послѣдній, въ явномъ смущеніи, отворилъ дверь и потихонку въ нее скрылся. Башуровъ снова залился громкимъ смѣхомъ...

## XII.

## Торжество дамской дипломатіи.

Исторіи, однако, не прекратились. Единственнымъ видимымъ послѣдствіемъ бесѣды моеѣ съ Лучезаровымъ было то, что Ломовъ въ теченіе нѣсколькихъ дней не появлялся послѣ того на вечернихъ повѣркахъ; но за то, какъ бы желая вознаградить себя за это лишеніе, онъ во всѣ другіе часы дня держалъ тюрьму въ настоящемъ осажденномъ положеніи. Съ ранняго утра до поздняго вечера слышался на дворѣ и въ корридорахъ тюрьмы рѣзкій свистокъ надзирателя, предупреждавшій арестантовъ о прибытіи начальства; это Ломовъ то и дѣло приходилъ ревизовать свои владѣнія... Казалось, ему доставляло огромное наслажденіе созерцать повсюду картины наводимаго его сѣрой фигурой страха и благоговѣнія. Какъ только показывался онъ въ воротахъ тюрьмы, такъ всѣ, кто только имѣлъ несчастье попасть въ этотъ моментъ въ поле его зрѣнія, немедленно обязывались застыть въ каменныхъ позахъ на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ были застигнуты свисткомъ, и, снявъ шапки, вытянувъ руки до швамъ, стоять безъ движенія до тѣхъ поръ, пока мрачный подпоручикъ не скрывался изъ виду. Никогда при этомъ и помину не было о томъ, чтобы живыя статуи получили дозволеніе покрыть обнаженные головы (какая бы погода ни стояла на дворѣ), хотя, съ другой стороны, изъ устъ Ломова нерѣдко вырывался рѣзкій, съ обычнымъ нервнымъ раскатомъ, крикъ:

— Зда - ра - ва!

Но крикъ этотъ ни мало не обозначалъ какого либо благоволенія къ кобылкѣ, нѣтъ, онъ издавался въ интересахъ все той же субординаціи, такъ какъ обязательно долженъ былъ вызвать отвѣтъ:

— Здравія желаемъ, господинъ помощникъ!

И еслибы отвѣта этого не послѣдовало, сейчасъ же отысканъ былъ бы беспорядокъ и отворились бы двери карцера...

Нѣсколько разъ въ день обходилъ Ломовъ корридоры тюрьмы, заглядывать въ самыя камеры, въ кухню, въ починочную мастерскую, въ больницу, и всюду при появленіи его арестанты должны были вскакивать, вытягиваться въ струнку и кричать: «здравія желаемъ!» Естественно, что мы трое, едва только долетали до ушей надзирательскій свистокъ, торопились забраться въ такое мѣсто,



куда Ломовъ обыкновенно не заглядывалъ, такъ какъ встрѣча съ нимъ не могла доставить особеннаго удовольствія. Однако, не слишкомъ пріятна была и эта необходимость вѣчно быть насторожѣ. постоянно бѣгать и прятаться. . Очень скоро нервы наши въ конецъ развинтились, и каждая минута свободной отъ работы жизни была совершенно отравлена. Штейнгартъ уже не разъ заговаривалъ о томъ, что предпочитаетъ сидѣть въ карцерѣ, нежели играть роль бѣгающаго отъ охотника зайца... Жизнь, впрочемъ, сама ускорила развязку. .

Однажды, въ ясное воскресное утро, Штейнгартъ съ котелкомъ чаю возвращался, не спѣша, изъ кухни въ свою камеру, какъ совершенно неожиданно застигнуть былъ на серединѣ двора оглушительнымъ, тревожнымъ свисткомъ; ворота загремѣли, и надзиратель прокричалъ обычное: «Смирно, шапки долой!» Всѣ, кто очутился въ эту минуту на дворѣ, остановились, какъ вкопанные, на одномъ мѣстѣ и обнажили головы. Одинъ только Штейнгартъ, ускоривъ шаги, продолжалъ идти впередъ съ шапкой на головѣ. Онъ уже поднимался на тюремное крыльцо, когда сзади послышался бѣшено-визгливый крикъ:

— Сто-ай! Сто-ай! Безпо-рядокъ!

Онъ машинально остановился и поджидать Ломова.

— Кто?

Штейнгартъ назвалъ себя.

— Да-лай шапку!..

— А вы тоже ее снимите?

— Въ карцеръ!! Въ кар-церъ!!

Визгъ Ломова дошелъ до истерически высокихъ нотъ. Штейнгартъ совершенно спокойно отправился слѣдомъ за подоспѣвшимъ надзирателемъ въ карцеръ, а помощникъ воротился за ворота тюрьмы сочинять рапортъ начальнику.

Арестъ этотъ вызвалъ сильную сенсацію среди надзирателей и вообще внѣ тюрьмы. Никто не зналъ еще объ опалѣ, постигшей Штейнгарта, и о томъ, что Шестиглазымъ рѣшено окончательно ограничить его медицинскую практику стѣнами тюрьмы; всѣ продолжали относиться къ нему съ большимъ почтеніемъ и любовью. Напротивъ, Ломовъ успѣлъ вездѣ снискать себѣ непріязнь и даже ненависть. Рассказывали, что кто-то рѣшился даже сказать ему по поводу этого ареста:

— Что вы сдѣлали, господинъ помощникъ? Вѣдь вы арестовали *господина доктора*.

Ломовъ, конечно, только глаза вытаращилъ отъ удивленія. А когда другой кто-то замѣтилъ ему, что въ окрестностяхъ Шелая сильно свирѣпствуетъ инфлуэнца, и Штейнгартъ можетъ во всякую минуту понадобится самому даже начальнику, который уже захворалъ, то онъ далъ на это по-истинѣ замѣчательный отвѣтъ:

— Ну, такъ что-жъ! Понадобится—приведемъ.

— Это изъ карцера-то?

— Почему же нѣтъ?

— А потомъ опять въ карцеръ?

— Если не выйдетъ срокъ, такъ опять.

Отвѣтъ этотъ переходилъ изъ устъ въ уста, и весь шелайскій «свѣтъ» открыто негодовалъ на Ломова.

Что касается меня и Бапурова, то арестъ товарища произвелъ на насъ страшное впечатлѣніе. Въ сильной ажитаци ходили мы весь день по двору тюрьмы, нетерпѣливо поглядывая на ворота и сгорая желаніемъ самимъ попасть въ карцеръ. Но ожиданія наши не сбылись: Ломовъ въ этотъ день больше не показывался, даже повѣрка прошла при однихъ надзирателяхъ. Рано утромъ слѣдующаго дня, передъ уходомъ въ рудникъ, я опять заявилъ дежурному надзирателю о желаніи видѣться съ начальникомъ по самому настоящему дѣлу... Деньъ этотъ въ рудникѣ тянулся необыкновенно медленно, въ мучительномъ томленіи. А по возвращеніи въ тюрьму мы узнали отъ артельнаго старосты еще непріятную новость: арестованный отказался принимать всякую пищу, отослалъ назадъ не только хлѣбъ, но и воду, велѣвъ сказать Шестиглазому, что лучше умереть, нежели покорится Ломову. Дѣло принимало серьезный оборотъ. Съ помощью Лунькова, Чирка и другихъ благопріятелей изъ арестантовъ, ставшихъ неподалеку «на стрѣмъ», мы съ Валерьяномъ взобрались на подоконникъ карцера, чтобы переговорить съ Штейнгартомъ: сквозь наглухо запертый ставень звуки его голоса доносились до насъ точно издалека, глухіе и странные... Мы прежде всего спросили его о причинѣ голодовки.

— Простите, что я началъ это дѣло, не посоветовавшись раньше съ вами,—началь Штейнгартъ:—но это какъ-то само собой вышло. Вчерашній день мнѣ и не предлагали никакой пищи... А сегодня, когда надзиратель подаль въ окошко хлѣбъ, я уже хотѣлъ было

взять его, да вдругъ услышалъ въ корридорѣ знакомые шаги и увидалъ знакомую фигуру...

— Ломова? Неужели онъ самъ и хлѣбъ вамъ приноситъ?

— Да, самъ... Ну, тутъ меня страшная ярость охватила, я отшвырнулъ хлѣбъ и сказалъ... что сказалъ, не помню теперь въ точности. Впрочемъ, я и не жалѣю теперь объ этомъ: быть можетъ, это и дѣйствительно лучшее средство заставить Лучезарова и Ломова быть впередъ осторожнѣе.

Что касается Ломова, то, разумѣется, надежда Штейнгарта была совершенно напрасной. Выслушавъ его заявленіе, онъ отправился въ кухню и тамъ объявилъ поварамъ и старостѣ, что «запретъ» ихъ, если узнаетъ, что они тайкомъ подаютъ арестованному хлѣбъ или мясо.

— И воды тоже не смѣть подавать! Посмотримъ, какъ онъ выдержитъ свое хвастовство!

И съ этими словами Ломовъ удалился. У него дѣйствительно хватило бы духу не остановиться передъ самой трагической развязкой, но Шестиглазый, повидимому, иначе взглянулъ на дѣло: вслѣдъ за категорическимъ запрещеніемъ помощника надзирателя получили отъ него приказъ внести въ карцеръ цѣлый бакъ свѣжей воды и большую краюху свѣженепеченнаго хлѣба. Все это оказалось, однако, на слѣдующее утро нетронутымъ.

Потянулся тяжелый рядъ дней, одинъ другого мрачнѣе и тоскливѣе. Шестиглазый не торопился вызывать меня для переговоровъ. Мы строили съ Валерьяномъ множество плановъ, но при ближайшемъ разсмотрѣніи ни одинъ изъ нихъ не выдерживалъ критики. Никакого смысла не имѣло, напр., начать и намъ голодовку: ни Ломовъ, ни самъ Шестиглазый, конечно, ни на минуту не сомнѣвались бы въ томъ, что, имѣя общеніе съ арестантами, мы продолжаемъ тайкомъ принимать пищу, а постимся только для виду. Осталось поэтому одно: добиться во что бы то ни стало, чтобы и насъ посадили въ карцеръ; но какъ этого добиться? Ломовъ, точно нарочно, показывался въ тюрьму лишь въ тѣ часы, когда мы были въ рудникѣ, на повѣрки же не являлся. Пламенный Башуровъ предлагалъ, впрочемъ, очень простой и рѣшительный способъ:

— Давайте бить стекла!—говорилъ онъ самымъ серьезнымъ тономъ:—тогда насъ, навѣрное, въ карцеръ посадятъ.

Но «бить стекла» я не соглашался... Въ концѣ концовъ, мы оставились бы, по всей вѣроятности, на отказѣ ходить въ рудникъ,

если бы не удержало насъ одно непредвидѣнное обстоятельство. Староста Годуновъ съ весьма таинственнымъ видомъ отозвалъ меня разъ въ сторону и передалъ какую-то записку (я такъ и не узналъ никогда, какимъ образомъ онъ раздобылъ ее). Распечатать ее, я сразу различилъ знакомый женскій почеркъ. «Будьте спокойны, не падайте духомъ. А самое главное—не дѣлайте ничего явно противозаконнаго, не расширяйте вопроса о шалкахъ никакими другими требованіями. Боже васъ сохрани отказываться отъ работъ. Умоляю васъ, иначе все пропало. Помните, что друзья ваши бодрствуютъ и дѣйствуютъ. Пока могу сказать одно—есть надежда, получены хорошія вѣсти. Потерпите еще немного. Другъ».

Какъ ни голословны были утѣшенія «друза», какъ ни наивно было, повидимому, думать, что слабая, не имѣющая никакой власти женщина можетъ сдѣлать для нашего положенія что-либо существенное, тѣмъ не менѣе мы съ Валерьяномъ пріободрились: извѣстно, что утопающій за соломенку хватается... Мы поспѣшили и съ Штейнгартомъ подѣлиться своей радостью. Но онъ выслушалъ ее, казалось, довольно равнодушно и тѣмъ нѣсколько охладилъ нашъ пылъ. Впрочемъ, онъ вообще неохотно подходилъ теперь къ окну карцера и вяло отвѣчалъ на наши безчисленные вопросы. Возможно, что, голодая уже четвертые сутки, онъ чувствовалъ слабость, хотя и увѣрялъ насъ, что никакихъ особенныхъ страданій не испытываетъ.

— Ёсть, собственно, во вторые только сутки хотѣлось. Тогда, дѣйствительно, были непріятныя минуты. А потомъ аппетитъ совсѣмъ исчезъ. Только ноги почему-то мозжатъ, такъ что уснуть даже не даютъ..

— Ну, а жажда?

— Первые три дня жажды совсѣмъ не было. Вы знаете, что я вѣдь вообще пью очень мало... Но сегодня жажда явилась, и временами даже мучительная... Какіе сны мнѣ сегодня снились ночью, какіе чудные оазисы въ пустынѣ! Теперь я хорошо понялъ чувства каравана, путешествующаго по Аравіи... Ну, однако, уходите, господа, я подремлю немного.

И мы отходили прочь съ камнемъ на сердцѣ.

Я чувствовалъ, что какой-то нравственный столбнякъ постепенно овладѣваетъ мною. Надзиратели, арестанты, вся окружающая обстановка и жизнь, точно провалились въ бездонную, темную пустоту, а ихъ мѣсто занималъ міръ призраковъ и болѣзненныхъ грезъ, окрашенный въ постоянный траурный цвѣтъ. Совершенно машинально

исполнялъ я все, чего требовала отъ меня дѣйствительность: ѣлъ, ложился спать, работалъ, отвѣчалъ на задаваемые мнѣ вопросы. Давно ли, казалось, въ самыя тяжелыя минуты жизни я способенъ былъ отыскивать всюду свѣтлыя и даже забавныя стороны? Давно ли считалъ себя философомъ-стоикомъ и рекомендовалъ товарищамъ утѣшаться философическими размышленіями. Весь этотъ самообманъ разлетѣлся въ одинъ мигъ. Съ каждымъ днемъ въ душу мою проникалъ все большій и большій пессимизмъ. Чѣмъ-то вполне яснымъ и логически-неизбѣжнымъ представлялось мнѣ, что шапочный вопросъ поведетъ за собою цѣлый рядъ осложнений, которыя должны окончиться для насъ или полнымъ позоромъ, или полной гибелью; другого исхода не было. Погибнуть!.. Я, лицомъ къ лицу стоявшій передъ гибелью въ ту пору, когда жизнь сулила еще впереди столько свѣта и радости, и не блѣднѣвшій и не трепетавшій тогда передъ роковымъ концомъ, теперь, когда лучшія приманки жизни были невозвратно отняты, и настоящее было такъ темно и уныло, а будущее полно такой холодной неизвѣстности, теперь... ахъ, зачѣмъ скрывать это? Меня ужасала мысль о смерти въ каторгѣ, и жажда жизни, жажда свободы томила до нестерпимой боли и муки!

И вереницы самыхъ мрачныхъ видѣній проходили передо мной медленной похоронной процессіей; а ночью разстроенное воображеніе посѣщали еще болѣе черныя сны. Я видѣлъ, какъ самые дорогіе мнѣ люди, спасаясь отъ чего-то столь же ужаснаго и неназываемаго, налагали на себя руки и неподвижно лежали съ закрытыми глазами и страшнымъ предсмертнымъ хрипѣніемъ въ горлѣ. Я самъ, подобно древнему Катону, открывалъ себѣ жилы, и вокругъ меня сидѣли съ опущенными головами друзья... Глубокія шахты, темныя пропасти, опасныя побѣги, мрачныя казни — таковы были теперь неизбѣжныя темы моихъ сновидѣній, и не разъ, обливаясь ледянымъ потомъ, дрожа съ ногъ до головы, я въ ужасѣ просыпался и на глазахъ своихъ ощущалъ жаркія слезы... Мгновенная радость разливалась тепломъ по всѣмъ членамъ, и тотчасъ же смѣнялась чувствомъ глубокой тоски и разочарованія: вспоминался весь ужасъ дѣйствительности, вспоминалось, что она ничѣмъ не легче ночныхъ кошмаровъ...

На шестой день, едва только прошла утренняя повѣрка, мы бросились со всѣхъ ногъ къ карцеру, забывъ даже поставить стрему. Штейнгартъ долго не отзывался на наши оклики. Башуровъ изъ всѣхъ силъ началъ барабанить по ставню: «Дмитрій! Дмитрій!»

— Что?—откликнулся, наконецъ, слабый голосъ.

— Какъ ты напугалъ насъ! Мы ужъ думали... Ну, что? какъ ты себя чувствуешь?

— Ничего. Галлюцинаціи проклятыя не даютъ покоя... Вотъ она, вотъ, вотъ!

— Кто? Что ты тамъ видишь?

— Вода, чтобъ ее...

— Господа, сойдите съ окна! Намъ строго-на-строго запрещено!— жалобнымъ, почти умоляющимъ голосомъ заговорилъ внизу подошедшій надзиратель.

Но мы еще нѣсколько минутъ продолжали бесѣдовать, не обращая на него вниманія; побрякивая ключами и ежась отъ холода, онъ, молча, стоялъ передъ карцеромъ, не зная, что предпринять.

Мы спрыгнули, наконецъ, съ подоконника. Валерьянъ былъ блѣденъ, и на глазахъ его дрожали слезы. Онъ крѣпко стиснулъ мою руку.

— Иванъ Николаевичъ, чего же мы ждемъ, точно истуканы какіе? Вѣдь такъ нельзя дольше оставить: онъ умереть можетъ!..

Мной самымъ овладѣлъ ужасъ и негодованіе на самого себя. Какъ! товарищъ гибнетъ на моихъ глазахъ, угасаетъ страшной медленной смертію за дѣло, которое всѣхъ насъ одинаково близко касается,—и я не шевелю пальцемъ для того, чтобы спасти его, а если невозможно спасти, то хоть раздѣлить его участь? Я только бесплодно ною, на яву и во снѣ предаваясь болѣзненнымъ грезамъ, мрачнымъ кошмарамъ, и ничего, ничего не дѣлаю... И уже упущено столько драгоценнаго времени, уже идетъ шестой день, какъ живой и здоровый человѣкъ не ѣстъ и не пьетъ, между тѣмъ какъ извѣстно, что одной недѣли абсолютной жажды совершенно достаточно для того, чтобы погубить человѣческій организмъ? Да это тоже какой-то сонъ, какой-то дикій кошмаръ, что я живу, безмолвно на все это глядя, спокойно дожидаясь роковой и неизбежной развязки! Эти мысли, какъ молнія, пробѣжали въ моемъ мозгу; я весь вздрогнулъ и точно стряхнулъ съ себя гнетущія чары гипноза... «Дѣйствовать! спасать, пока еще не поздно! Погибнуть самому, но исполнить долгъ чести и товарищества!»

Потрясенные, взволнованные, побѣжали мы къ тюремнымъ воротамъ, съ твердымъ рѣшеніемъ въ душѣ, хотя и безъ всякаго опредѣленнаго плана въ головѣ..

— Пожалуйте къ начальству!—крикнулъ дежурный, растворяя передъ нами ворота.

— Ага, вотъ кстати! обоихъ?

— Нѣтъ, пожалуйста вы одни.

Приглашеніе относилось ко мнѣ. Все послѣднее время надзира-тели обращались съ нами съ какой-то усиленной, еще небывалой вѣжливостью и любезностью... Казакъ съ ружьемъ тотчасъ же повелъ меня въ контору. Только что переступилъ я порогъ хорошо знакомой мнѣ комнаты, гдѣ за письменнымъ столомъ воссѣдалъ одинъ Лучезаровъ (писаря находились въ другихъ комнатахъ), какъ бравый капитанъ порывисто вскочилъ на ноги. Сегодня онъ показался мнѣ блѣднѣе обыкновеннаго, внутри его, видимо, клокотало раздраженіе, и глаза метали молніеносные взгляды.

— Да чего же вы домогаетесь, господа?—почти закричалъ онъ, сильнымъ движеніемъ руки бросая на столъ какую-то бумагу,—сами дѣлаете цѣлый рядъ... неосторожностей, затѣваете какіе-то... протесты! Голодные бунты! Чего же вы ждете? Этимъ вы себя только вредите, тѣмъ болѣе, что кто же вѣрить нынче въ голодовки!

— То есть, какъ это «нынче»?

— Ну, да послѣ этого, какъ бишь его? доктора Таннера, что-ли.. Сорокъ дней человѣкъ голодалъ—и всетаки живъ остался!

— Станнымъ мнѣ кажется дѣлать столь смѣлые выводы на основаніи газетныхъ анекдотовъ. Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, если ужъ на то пошло, Таннеръ, помнится мнѣ, все время своего поста употреблялъ воду.

— Да? Ну, а развѣ Штейнгартъ... развѣ онъ серьезно? Вѣдь я же велѣлъ каждый день ставить ему воду..

— Такъ неужели вамъ докладываютъ, что онъ пьетъ эту воду? Это ложь. Онъ не притрогивается къ ней!

— Такъ скажите, ради Бога, что же мнѣ дѣлать? Что я могу подѣлать?

— Прежде всего немедленно выпустить Штейнгарта, а затѣмъ...

— Выпустить! А знаете ли вы,—тутъ Лучезаровъ подошелъ ко мнѣ вплотъ и сказалъ почти шопотомъ:—знаете ли вы, что на меня и безъ того уже доносъ посланъ?

— Кѣмъ посланъ? Какой доносъ?

— Ну, этого я не могу вамъ сказать, кѣмъ, хотя и знаю, конечно, кѣмъ... Но фактъ тотъ, что онъ уже посланъ. Я выпустилъ Башурова изъ карцера по истеченіи трехъ сутокъ, когда назначено было пять...

— Вами же самими назначено!

— Я сдѣлалъ вамъ въ послѣднее время крупныя послабленія, которыхъ вы не могли, разумѣется, не замѣтить...

— Какія же это послабленія?

— Мой помощникъ не ходитъ больше на вечернія повѣрки, хотя это его прямая обязанность.

— Что это не прямая его обязанность, доказываетъ трехлѣтній примѣръ его предшественника, который сидѣлъ себѣ въ конторѣ и никогда не заглядывалъ даже въ тюрьму. И было все тихо и прекрасно.

— Ахъ, вы затрогиваете мое больное мѣсто!—Лучезаровъ подошелъ къ столу и съ гнѣвомъ подбросилъ лежавшую на немъ бумагу.—Прежній мой помощникъ былъ таковъ, что его нельзя было пускать въ тюрьму, не унижая престижа администраціи, но онъ зналъ, по крайней мѣрѣ, конторское дѣло. Теперешній... Положительно какая-то иронія судьбы меня преслѣдуетъ! Его нельзя вѣдь ни къ какой серьезной бумагѣ подпустить, все тотчасъ же изгадить! Самаго простого рапорта въ десять строкъ безъ двадцати грамматическихъ ошибокъ составить не можетъ. Вы видите, вся работа лежитъ теперь на мнѣ одномъ. Я положительно измученъ, я скоро долженъ буду въ постель слечь... Я не привыкъ гнуть спину за письменнымъ столомъ!

Гнѣвъ овладѣлъ опять бравымъ капитаномъ, круглыя щеки его нервно колыхались, и мнѣ снова показалось, что онъ былъ блѣднѣе и худѣ обыкновеннаго.

— Чѣмъ же мы-то виноваты, что вамъ данъ негодный помощникъ?—сказалъ я, пользуясь благоприятнымъ моментомъ.—Мнѣ кажется, выходъ изъ этого положенія одинъ: возможно скорѣе устранить подпоручика Ломова... И для васъ самихъ, и для тюрьмы это будетъ во всѣхъ отношеніяхъ полезно.

— Да, если бы отъ насъ съ вами зависѣли такія вещи...

Лучезаровъ нахмурился и забарабанилъ по столу какой-то маршъ.

— Во всякомъ случаѣ,—рѣшилъ онъ,—надо потерпѣть. Будемъ нести нашъ крестъ и ждать лучшихъ временъ.

— Къ сожалѣнію, —возразилъ я, горько усмѣхнувшись, — наши съ вами кресты неравной тяжести, и потому намъ ждать невозможно. Какой ни-на-есть выходъ долженъ быть теперь же, сейчасъ же придуманъ. Иначе сегодня будетъ умирать въ карцерѣ Штейнгартъ, а завтра я...



— Ну, этого я не хотѣлъ бы!

— Однако это неизбежно будетъ!

Снова завязался между нами горячій споръ. Отъ непосредственныхъ фактовъ мы перескакивали къ теоріямъ и принципамъ, отъ теорій опять къ дѣйствительнымъ фактамъ. Лучезаровъ взывалъ къ моему благоразумію и привычной сдержанности, которую осыпалъ похвалами; я, напротивъ, взывалъ къ его гуманности. Тогда мой собесѣдникъ очень недвусмысленно намекнулъ на возможность самыхъ суровыхъ репрессій, которыя мы можемъ на себя накликать, и мысль о которыхъ приводитъ его, капитана, въ невольный трепетъ... Я отвѣчалъ на это, что не закрываю глазъ на будущее, но полагаю тѣмъ не менѣе, что во всемъ и за все явится отвѣтственнымъ одинъ онъ, какъ начальникъ тюрьмы, и подъ конецъ разговора—да простятъ мнѣ боги Олимпа за это, быть можетъ, неумѣстное разсыпаніе священнаго бисера!—я напомнилъ бравому капитану о судѣ потомства и о «Русской Старинѣ» XX-го вѣка...

Шестиглазый былъ, казалось, подавленъ неожиданнымъ натискомъ моего краснорѣчія. Мысль о томъ, что онъ является въ своемъ родѣ историческимъ человѣкомъ, ударила ему въ голову—онъ весь побавровѣлъ и надулся, какъ индѣйскій пѣтухъ.

— Я подумаю... Штейнгарта я сегодня выпущу... Мы тамъ посмотримъ!

— Нѣтъ, онъ сейчасъ, сію минуту долженъ быть выпущенъ, иначе будетъ поздно. Съ нимъ уже дѣлаются галлюцинаціи... Мы не пойдемъ на работу, пока вы его не выпустите!

— Я выпущу сейчасъ же, какъ только вы уйдете на работу. Это условіе.

— Вы даете слово?

— Да. Но вы должны идти на работу.

Чѣмъ ближе подходилъ я къ тюрьмѣ, тѣмъ сильнѣе омрачалась и остывала моя радость. И когда снова растворились знакомыя рѣшетчатые ворота, и я увидѣлъ передъ собой мрачное зданіе и не менѣе мрачный дворъ, столько уже лѣтъ бывший свидѣтелемъ всякаго рода обидъ и униженій, этотъ огромный дворъ, по которому, корчась отъ холода, сновали тамъ и сямъ угрюмыя, исхудалыя фигуры, мнѣ стало опять такъ горько и такъ страшно за будущее! Что значать всѣ эти эфемерныя и непрочныя словесныя побѣды, когда впереди предстоитъ еще цѣлый рядъ длинныхъ и ужасныхъ лѣтъ? Хватить ли силъ ихъ вынести? Суждено ли намъ когда-

нибудь снова увидѣть «вольный бѣлый свѣтъ», гдѣ люди гордо и прямо носить на плечахъ голову, живутъ, не зная униженій и страха?..

Не успѣли мы съ Валерьяномъ вернуться въ этотъ день изъ рудника, какъ надзиратель, принимавшій отъ конвоя арестантовъ, пріятно ослабившись, объявилъ намъ:

— А господинъ Штенгоръ ужъ выпущены!

— Да? Гдѣ онъ?

— Въ больницѣ-съ. Очень, говорятъ, слабы...

Мы тотчасъ же побѣжали въ больницу и тамъ, дѣйствительно, нашли Штейнгарта, блѣднаго, исхудалаго, но радостно намъ улыбавагося и пожимаваго руки.

— Есть пріятная новость,—сказалъ онъ.

— Что такое?

— Мнѣ по секрету сообщилъ одинъ надзиратель, что Шестиглазый совсѣмъ запретилъ Ломову посѣщать тюрьму.

Мы громко ликовали. Я сталъ рассказывать подробности своей утренней баталіи.

— Да, вѣроятно, и другъ нашъ съ своей стороны не дремлетъ?

— Еще бы! Надо бы къ нему записочку отправить.

И мы погрузились въ свои повседневные заботы и интересы. Не смотря на категорическое извѣстіе о томъ, что Ломовъ окончательно «отставленъ» отъ тюрьмы (объ этомъ уже и кобылка вся знала и болтала между собой), полной увѣренности у насъ еще не было и вечерней повѣрки мы ждали съ обычнымъ волненіемъ. Но вотъ ударилъ звонокъ, и подворотный дежурный прокричалъ внутреннему надзирателю: «Повѣряйте! Никого не будетъ». Вслѣдъ затѣмъ ворота распахнулись, и въ нихъ съ шумомъ и хохотомъ ввалилась толпа другихъ надзирателей. Они тоже, очевидно, радовались свободѣ.

— Командуйте на молитву!—закричалъ кто-то изъ вошедшихъ, и кобылка, не дожидаясь команды дежурнаго, запѣла, что называется, спрехвала, торопясь и мало заботясь о вѣрности напѣва.

И вдругъ всѣ вздрогнули и разомъ подтянулись; пѣвчіе на мгновеніе, словно, поперхнулись и затѣмъ начали пѣть, какъ слѣдуетъ: подъ воротами, неожиданно для всѣхъ, появилась мрачная фигура Ломова... Мы съ Валерьяномъ переглянулись: «Что же это значитъ?

Замедливъ шаги и снявъ при звукахъ молитвеннаго пѣнія

шапку, онъ вошелъ въ дежурную комнату. Мы всѣ увидали его тотчасъ у окна, выходившаго на тюремный дворъ,—онъ съ жадностью приникъ къ стеклу и весь, казалось, превратился въ созерцаніе...

Не смѣя ослушаться прямого запрещенія Шестиглазаго входить въ тюрьму, онъ хотѣлъ хоть издали полюбоваться сладостнымъ его сердцу зрѣлищемъ арестантской субординаціи... Изю дня въ день мы были съ этихъ поръ свидѣтелями все той же умирительной картины: каждый разъ во время вечерней повѣрки Ломовъ заходилъ въ дежурную комнату за воротами тюрьмы и, ставъ тамъ подъ окномъ, изображалъ изъ себя преступнаго духа, изгнаннаго изъ рая. Днемъ онъ также не появлялся больше въ тюрьмѣ и всю дѣятельность свою перенесъ въ вольную команду, гдѣ открывалъ всякаго рода «безпорядокъ» и нарушеніе дисциплины. Тамъ Шестиглазый предоставилъ ретивому помощнику полную свободу дѣйствій, и мрачный подпоручикъ проявлялъ свою власть въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, прибѣгая даже къ помощи розогъ. Слухъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ въ вольной командѣ то-и-дѣло достигалъ теперь нашихъ ушей, не менѣе болѣзненно дѣйствуя на нервы, чѣмъ въ былое время, когда я былъ въ Шелаѣ еще одинъ, и на Лучезарова нашла однажды полоса дикаго самодурства. Чрезвычайно характерно было для Ломова, что онъ лично присутствовалъ при каждой тѣлесной расправѣ, и самъ считалъ число отвѣшанныхъ ударовъ.

— Смирно!—раздавалась команда надзирателя, когда онъ приближался къ мѣсту экзекуціи на задворкахъ своей квартиры,—шапку долой!

И приговоренный къ розгамъ арестантъ, покорно снявъ шапку, молчаливо ожидалъ дальнѣйшихъ приказаній.

— Раздѣваться!..—командовалъ Ломовъ, и несчастный, дрожа всѣмъ тѣломъ, раздѣвался. Два дюжихъ казака принимались за заплочную работу, причемъ Ломовъ то-и-дѣло взвизгивалъ.

— По настоящему!.. Какъ слѣдуетъ!.. Безъ лукавства!..

Кончалась «работа», и онъ удалялся домой съ сознаніемъ честно выполненнаго долга. Передавали, между прочимъ, будто онъ крайне сожалѣлъ о томъ, что въ Шелаѣ не имѣлось своего палача, и для наказаній плетями по суду арестантовъ отсылали въ Алгачи. Последнее было, конечно, большимъ счастьемъ для кобылки, такъ какъ подобный ревнитель законности, навѣрное, не одного присужденнаго къ плетямъ загналъ бы въ гробъ: вѣдь извѣстно, что и одного

удара плетью «по настоящему» вполне достаточно для того, что вышибить духъ изъ человѣка...

Внутри тюрьмы воцарилось, во всякомъ случаѣ, отрадное спокойствіе. Мы уже начинали довольно легкомысленно думать, что только что пережитый мрачный періодъ нашей жизни навсегда отошелъ въ область преданій и больше не вернется... Тѣмъ не менѣе было внезапное пробужденіе отъ свѣтлыхъ грезъ. Однажды утромъ мы съ Башуровымъ собрались идти въ рудникъ на работу (Штейнгартъ все еще лежалъ въ больницѣ, медленно поправляясь отъ сильнаго нервнаго разстройства); вдругъ надзиратель, чрезвычайно встревоженный, промчался по корридору, крича:

— Горные рабочіе, стройся! Живой рукой! Сейчасъ помощникъ будетъ...

Кобылка поспѣшно строилась на дворѣ по рабочимъ группамъ. Недоумѣвая, отправились и мы двое на свое мѣсто. Замокъ нервно щелкнулъ, ворота угрожающе распахнулись—и грузными, торопливо стучащими шагами Ломовъ направился прямо къ намъ.

— Смирн-на! Шапки дол-лой!—скомандовалъ надзиратель. Всѣ головы моментально обнажились.

Приподняли свои шапки и мы съ Башуровымъ, чтобы черезъ мгновеніе надѣть ихъ снова. Этого только и нужно было Ломову.

— Без-па-рядокъ!—послышался тотчасъ же визгливый крикъ.— Кто тамъ? Кто въ шапкѣ?

Онъ очутился возлѣ Башурова.

— Я вѣдь вамъ поклонился,—объяснилъ Валерьянъ,—развѣ вы не видали?

И онъ, снявъ еще разъ шапку, опустилъ ее и снова надѣлъ на голову. Это было такимъ неслыханнымъ безпорядкомъ, что Ломовъ на нѣсколько секундъ, казалось, языка лишился и растерялъ всѣ мысли. Наконецъ, онъ нашелся:

— Мы не товарищи... Здѣсь не знакомство, а только субординація... Надзиратель, въ карцеръ его!

— Арестуйте и меня также, я тоже въ шапкѣ стою,—выступилъ я впередъ, подозревая, что Ломовъ хочетъ удовольствоваться однимъ Башуровымъ.

— Ну, такъ и его взять!—взвизгнувъ, точно ужаленный, Ломовъ и, повернувшись на каблучкахъ, пошелъ къ воротамъ.

Какимъ образомъ попалъ онъ въ это утро въ тюрьму, получилъ ли дозволеніе Шестиглазаго, рѣшился ли самовольно проникнуть въ

потерянный эдемъ, объ этомъ мы такъ и не узнали никогда; какъ бы то ни было, но Ломовъ достигъ своей цѣли и былъ, вѣроятно, вполне доволенъ собою. Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ и я не чувствовалъ нѣкотораго нравственнаго удовлетворенія. Точно гора какая свалилась съ моихъ плечъ, когда дверь карцера затворилась на замокъ, и я впервые очутился въ крошечной и низенькой темной каморкѣ, лишь слабо освѣщенной падавшимъ изъ коридора въ дверную форточку свѣтомъ. Окно, выходившее на тюремный дворъ, всегда было плотно закрыто спущеннымъ ставнемъ. Не успѣлъ я собраться съ мыслями и чувствами, какъ изъ другого конца коридора послышался веселый смѣхъ Валерьяна.

— Иванъ Николаевичъ! какъ поживаете? Что думаете спросить себѣ на завтракъ—бифштексъ или ростбифъ?

— А, шутки въ сторону, какъ вы думаете насчетъ пищи поступить?

— Сказать вамъ правду, я не особенно люблю съ пустымъ желудкомъ сидѣть...

— Оно такъ; но, знаете, послѣ того, какъ Штейнгартъ...

— Я и самъ тоже думаю. Попробуемъ! вѣдь не боги горшки обжигаютъ!

Такъ перекинулись мы довольно долго. Наконецъ, подъ окномъ послышался голосъ Штейнгарта. Онъ пришелъ изъ больницы разспросить насъ о событіяхъ утра. Послѣ него кто-то другой поступалъ въ ставень:

— Миколаичъ, другъ!

Я узналъ голосъ Чирка.

— Мяса не хошь ли? Огурцовъ съ Луныковымъ караулять, я живой рукой подамъ.

Съ трудомъ убѣдилъ я своего пріятеля оставить это намѣреніе.

— Да ты не такъ ли ужъ, какъ Штенгоръ, задумалъ?

— Какъ это?

— Да такъ, не истъ... Чудакъ, вѣдь замрешь! Какая польза, кому надо?

Но, не дождавшись отвѣта на свой вопросъ, добрякъ соскочилъ поспѣшно съ подоконника, и я слышалъ, какъ онъ своей грузной, ковыляющей походкой улепетывалъ со всѣхъ ногъ; должно быть, подавъ былъ сигналъ о близкой опасности...

Томительно потянулись часы за часами. Вотъ прозвенѣлъ колокольчикъ на обѣдъ. Съ веселымъ разговоромъ прошли по двору вер-

нувшіеся изъ мастерскихъ арестанты, торопясь въ камеры обѣдать и отдыхать. Я явственно различалъ голоса нѣкоторыхъ изъ нихъ; разговаривали все о вещахъ постороннихъ. У большинства не было, очевидно, остраго интереса къ нашему дѣлу, мало для нихъ понятному и потому мало вызывавшему сочувствія.

— Степша! а ты продай мнѣ свое мясо, я больно что-то жрать захотѣлъ сегодня.

— А онъ и говорить мнѣ: «ты, говорить...»

— Я тебѣ кайлу въ боковину запусу, коли въ другой разъ слово такое услышу!

Съ такими рѣчами, кучка за кучкой, проходили арестанты подъ нашими окнами, и, наконецъ, все затихло. Начался обѣдъ и затѣмъ отдыхъ. Артельный староста, въ сопровожденіи дежурнаго надзирателя, принесъ и намъ хлѣбъ съ водой.

— Не обезсудьте, Иванъ Николаевичъ, сегодня вамъ горячей пищи не полагается, а ужъ завтра безпремѣнно подадимъ,—ласково, почти искательно сказалъ Годуновъ, всовывая ко мнѣ въ форточку свое красное лицо.

Я отвѣчалъ, что все равно не стану ничего ѣсть.

— Это вы напрасно, право, напрасно!—въ одинъ голосъ замѣтели и староста и надзиратель. Форточка захлопнулась на задвижку, и шаги смолкли.

Переговариваться съ Валерьяномъ мы вскорѣ бросили—приходилось очень громко кричать, и это надоедало. Попытался я было лечь на короткую и жесткую лавку, неподвижно прикрѣпленную къ стѣнѣ, но лежать было слишкомъ неудобно, и сонъ не шелъ. Голова пылала и болѣла отъ сильнаго нервнаго возбужденія; мысли, одна другой безсвязнѣе и нелѣпѣе, копошились въ мозгу. Я опять вставалъ на ноги, пытался ходить взадъ и впередъ по карцеру, но и ходьба не доставляла ни малѣйшаго удовольствія, такъ какъ свободно можно было сдѣлать всего лишь два шага.

Снова прозвенѣлъ звонокъ на работу, и снова съ шумомъ прошли подъ окномъ толпы арестантовъ. Черезъ часъ послѣ того, слышно было, вернулись горные рабочіе. И опять все затихло, какъ въ могилѣ, только кровь громко стучала въ вискахъ: «Тукъ-тукъ-тукъ! Тукъ-тукъ-тукъ!» Нѣсколько разъ въ теченіе дня подбѣгалъ къ окну Штейнгартъ, хотя свиданія эти ни ему, ни намъ не доставляли отрады. Сообщить другъ другу было рѣшительно нечего. Я начиналъ, между тѣмъ, ощущать мучительный голодъ: какъ на

грѣхъ, поутру я вышелъ на работу, не притронувшись ни къ хлѣбу, ни къ чаю. Впрочемъ, пить у меня еще не было особеннаго позыва. За то Башуровъ давно уже жаловался на сильную жажду, которую увеличивало еще сосѣдство жарко натопленной печки. Штейнгартъ пробовалъ было убѣдить насъ обоихъ не подражать ему и пить, по крайней мѣрѣ, воду, но мы остались при своемъ рѣшеніи. Ударить, наконецъ, колокольчикъ на вечернюю повѣрку. Въ эту самую минуту кто-то торопливо вскочилъ на подоконникъ.

— Господа!

— Это вы, Дмитрій Петровичъ?

— Сейчасъ слышалъ новость: рѣшено, будто бы, расселить насъ по разнымъ рудникамъ. Слухъ этотъ исходитъ, впрочемъ, отъ кобылки,—быть можетъ, и врутъ. А вотъ утромъ обѣщано письмо—вѣроятно, отъ друга—тогда все узнаемъ.

Штейнгартъ послѣнно ушелъ, и вслѣдъ затѣмъ послышалась команда на молитву: значить, на повѣркѣ присутствовали опять одни только надзиратели.

Ночь прошла безъ сна, въ тягостномъ томленіи и невеселыхъ думѣхъ. Койка была такъ коротка, что можливѣе и безъ того ноги невозможно было протянуть на ней, да и въ изголовье нечего было подложить. Въ противоположность Башурову, котораго страшно пригрѣвала сосѣдняя желѣзная печка, мнѣ было холодно. Карцеръ представлялъ собой настоящую маленькую мышеловку, въ которой нельзя было ни лежать, ни ходить. Голодный червякъ пересталъ сосать подъ ложечкой, и только голова болѣла нестерпимѣе прежняго, точно собираясь лопнуть по всѣмъ швамъ...

Какъ это все глупо, какъ обидно-глупо! какое подлое положеніе!—вырывался то-и-дѣло крикъ изъ груди и въ безсильномъ бѣшенствѣ я пытался сдѣлать по своей клѣткѣ два неполныхъ шага. Въ камерѣ товарища было тихо. «Счастливецъ, думалъ я съ завистью, онъ можетъ спать и не думать!».. Только подъ самое утро, согнувшись въ три погибели, полулежа, полусидя, забылся и я на нѣкоторое время тупымъ, свинцовымъ сномъ; но мнѣ показалось, что длился этотъ сонъ всего лишь одно мгновеніе: я проснулся, дрожа всѣмъ тѣломъ и стуча зубами отъ невыносимаго холода, а въ ушахъ моихъ еще гудѣлъ какой-то металлическій отзвукъ. «Ага! это, должно быть звонокъ на повѣрку». Изъ корридора не проникало еще ни луча свѣта: очевидно, на дворѣ было темно. Но вотъ послышался шумъ голосовъ, топотъ ногъ, бряканье кандаловъ и

ключей. Громко зазѣвалъ и Башуровъ въ концѣ корридора. Голодный червякъ опять завозился внутри.

— Какъ почивали, Иванъ Николаевичъ? А представьте, что мнѣ всю ночь снилось: великолѣпнѣйшій ужинъ! Дичь, холодная телятина, вина, но главное—вода... Ахъ, что это была за вода! Свѣжая, прозрачная, ароматная... Клянусь вамъ, я никогда ничего подобнаго не пилъ! А вы что во снѣ видѣли?

— Приблизительно, вѣроятно, то же самое.

— Ха-ха-ха! Что же это, однако, Дмитрій долго не показывается? Спать, что ли? Хотя бы по рудникамъ поскорѣ развезли насъ! А то здѣсь отъ одной скучищи пропадешь.

Штейнгарта намъ, дѣйствительно, пришлось долго ждать. Уже совсѣмъ разсвѣло, и арестанты разошлись по работамъ, когда слышались, наконецъ, его лихорадочно-торопливые шаги. Не успѣвъ еще вскочить на подоконникъ, онъ громко закричалъ:

— Урра, господа! Радуйтесь, по-бѣ-да!

— Что случилось? Въ чемъ дѣло?

— Ломовъ уходитъ... Совсѣмъ! Васъ сейчасъ выпустятъ...

— Да ты не бреешь?

— Я нарочно не шелъ раньше, чтобъ дожидаться вѣрныхъ извѣстій. Другъ сообщаетъ, что получена сегодня ночью телеграмма съ предписаніемъ Ломову въ двадцать четыре часа покинуть Шелай и ѣхать на новое мѣсто. По полиціи какая-то должность...

— Вотъ такъ штука. Это, дѣйствительно, побѣда!

— Такъ вотъ что значило «друзья дѣйствуютъ»...

— Ну, и молодецъ же эта Анна Аркадьевна! Знаешь что, Штейнгартъ? Въ первый же разъ, какъ увидишь ее, ты ее расцѣлуй отъ меня... Хорошо?

— А насколько все это, Дмитрій Петровичъ, не подлежитъ сомнѣнію?

— А! вы и здѣсь не утратили вашего обычнаго скептицизма, Иванъ Николаевичъ? Успокойтесь, однако. Я уже и отъ надзирателей слышалъ, что Ломовъ сегодня уѣзжаетъ. Рано утромъ онъ уже заказалъ столару ящикъ для вещей...

— А можетъ быть, умирать хочетъ съ горя—такъ гробъ для себя?—пошутить Валерьянъ.

— Ужъ не знаю. Врядъ-ли, впрочемъ... Онъ, кажется, не изъ таковыхъ, чтобъ духомъ падать.

Разговоръ нашъ былъ прекращенъ загремѣвшимъ въ корридорѣ



карцера замкомъ. Штейнгартъ оказался правъ, и дежурный надзиратель, пріятно ухмыляясь во все лицо, явился освобождать насъ, а самого Штейнгарта вслѣдъ затѣмъ вызвалъ за ворота. Онъ вернулся оттуда только часа черезъ полтора.

— Лучезаровъ, что ли, вызывалъ?—накинулись мы на [него еще на серединѣ двора.

— Не угадали: на практику ходилъ!

— Какъ такъ? Значить, опала кончилась?

— Совершенно и безъ остатка. И знаете ли къ кому ходилъ? Къ другу.

— Ну! рассказывайте же все по порядку!

— Анна Аркадьевна, оказывается, еще третьяго дня получила телеграмму инсказательнаго содержанія, изъ которой узнала, что дѣло ея выиграно, и тюремная карьера Ломова окончена. Впрочемъ, она объясняетъ этотъ успѣхъ не однимъ только своимъ вліяніемъ; тутъ дѣйствовали довольно сложныя махинаціи.. Дѣло въ томъ, что и самъ Шестиглазый заваливалъ въ послѣднее время начальство доносами на Ломова: онъ называлъ ихъ контрдоносами, такъ какъ подозрѣвалъ, что Ломовъ на него посылаетъ доносы... Я лично смеаю, что и тутъ дѣло не обошлось безъ милѣйшей Анны Аркадьевны.

— А именно?

— Мнѣ кажется, она съумѣла внушить бравому капитану такія подозрѣнія насчетъ Ломова, на самомъ же дѣлѣ онъ, быть можетъ, невиннѣе грудного младенца былъ... Впрочемъ, я не настаиваю на своемъ предположеніи. Во всякомъ случаѣ, самъ того не зная, Шестиглазый игралъ намъ на руку, Анна же Аркадьевна выказала огромный дипломатическій талантъ.

— Господа, надо ей поднести благодарственный адресъ.

— Ну, продолжайте, Дмитрій Петровичъ!

— Оффиціальная телеграмма объ отставкѣ Ломова получилаcя вчера въ двѣнадцатомъ часу ночи, и Лучезаровъ прежде всего прибѣжалъ съ нею къ Аннѣ Аркадьевнѣ. За послѣдніе дни они, вообще, сильно опять подружились... Онъ сіялъ, точно будто одержалъ величайшую въ жизни побѣду, и точно будто Ломовъ вовсе и не былъ дѣтищемъ его собственныхъ рукъ! Однако, когда Анна Аркадьевна предложила ему немедленно же выпустить васъ на свободу, онъ отклонилъ это предложеніе: «Пускай просидятъ ночь, радость будетъ потомъ сильнѣе. Она сочла, конечно, за лучшее не настаивать. За то

подъ конецъ свиданія ей сдѣлалось дурно, она начала стонать и жаловаться на внезапный приступъ сердцебіенія. Старикъ-мужъ встревожился, Лучезаровъ того пуще и тутъ же вызвался пригласить меня... Но Анна Аркадьевна и здѣсь проявила геніальный тактъ. Ей вовсе не любопытно было видѣть меня въ присутствіи браваго капитана, и она заявила, что нѣтъ настоящей нужды тревожить меня ночью, что ей стало лучше: а что если утромъ опять сдѣлается хуже, тогда... Ну, утромъ ей стало, разумѣется, хуже, и вотъ я очутился за воротами.

— А какъ отнесся Ломовъ къ своей внезапной отставкѣ? Неизвѣстно?

— Какъ неизвѣстно! Мужъ Анны Аркадьевны видѣлъ его и счелъ нужнымъ выразить соболѣзнованіе.

— Ну и что же онъ?

— «Воля, говоритъ, начальства, наше дѣло не разсуждать, а повиноваться».

— Вотъ дубиница!..

— Нѣтъ, Валерьянъ, онъ, по моему, молодецъ. До конца остется себѣ вѣренъ. Но я не все еще разсказалъ вамъ, господа. Представьте: я уже собирался уходить, какъ вдругъ влетаетъ... самъ великолѣпный Лучезаровъ! Веселъ, румянъ... Ну, и одѣтъ довольно небезопасно, а одеколономъ такъ и залилъ всю комнату... Прямо ко мнѣ: «Желаю здравствовать! Какъ находите нашу больницу? Не правда ли, она молодцомъ сегодня глядитъ? Ну, а ваше какъ здоровье? Надѣюсь, теперь не станете больше хворать?» Последняя фраза говорится съ пріятнѣйшей улыбкой, а взглядъ такъ и играетъ. Я, конечно, отвѣчалъ выраженіемъ тоже надежды, что *теперь* все пойдетъ по-новому, по-лучшему, и мы съ любезными поклонами разстались... Однако, я замѣтилъ, что онъ сильно поморщился, когда затѣмъ Анна Аркадьевна схватила меня за руку, нѣсколько разъ крѣпко пожала ее и выразила вслухъ рядъ самыхъ добрыхъ пожеланій мнѣ и моимъ товарищамъ. Въ довершеніе всего, только что вернувшійся откуда-то есаулъ, не раздумывая долго, тоже подаль мнѣ руку. Шестиглазый совсѣмъ былъ сраженъ!

— А теперь, господа,—закончилъ Штейнгартъ,—пойдемте-ка въ мою каморку и отпразднуемъ счастливое избавленіе трехъ библейскихъ отроковъ, брошенныхъ въ пещь огненную, отъ смерти (тебя вѣдь, Валерьянъ, кажется, дѣйствительно, поджаривали вчера?). У меня молоко есть, заваримъ байховый чай и станемъ кейфовать!

Предложеніе это было единогласно одобрено, и, весело смѣясь и громко разговаривая, мы отправились въ больницу.

### XIII.

Жизнь опять входитъ въ нормальную колею.

Давно уже не было въ Шелаѣ такого мягкаго режима, каковой вопарился послѣ удаленія Ломова. Вечернія повѣрки стали производиться большею частью въ присутствіи однихъ надзирателей; камеры съ утра до вечера стояли незапертыми; карцера пустовали; самъ Шестиглазый совсѣмъ пересталъ показываться въ тюрьму—повидимому, она опротивѣла ему послѣ столь неудачной попытки установить идеально-образцовый порядокъ. Пресловутыя печатныя правила висѣли теперь на стѣнахъ камеръ въ полномъ пренебреженіи и забвеніи; сначала на нихъ появились откуда-то грязныя, жирныя пятна, затѣмъ сама бумага начала лопаться и прорываться, и, въ концѣ концовъ отъ большихъ, красивыхъ листовъ остались лишь жалкіе, невзрачные обрывки.

Впрочемъ, нужно и то сказать, что всѣ эти благіе результаты новаго вѣянія чувствовались, главнымъ образомъ, мной и двумя моими товарищами; арестантская же масса, сравнительно, мало ихъ замѣчала, по-прежнему жалуясь на тяжесть шелайской жизни и мечтая о другихъ рудникахъ. Главное, что всегда отличало Шелай отъ этихъ послѣднихъ, питая въ кобылѣ непримиримую злобу, было запрещеніе частныхъ улучшеній пищи: запрещеніе это и до сихъ поръ оставалось во всей своей силѣ. Самые богатые арестанты принуждены были довольствоваться тѣмъ, что давалось въ общемъ котлѣ, отдѣльно же могли выписывать лишь чай, табакъ и сахаръ, да и то въ установленныхъ разѣ навсегда максимальныхъ размѣрахъ. Заработанныя въ тюрьмѣ или полученные изъ дому деньги никогда не выдавались на руки, и все это вмѣстѣ дѣлало невозможнымъ ни существованіе въ тюрьмѣ майдановъ, ни процвѣтаніе картежной игры. Русскіе арестанты по своей натурѣ вообще большіе индивидуалисты, и даже тѣ изъ нихъ, для кого право свободнаго пользованія деньгами было бы, казалось, ни къ чему, бѣдняки и всякаго рода неудачники, плохіе ремесленники и еще болѣе плохіе игроки, даже и они не иначе, какъ съ величайшимъ раздраженіемъ, отзывались всегда о шестиглазовскомъ «прижимѣ».

— Да откуда жъ бы у васъ и въ другой тюрьмѣ деньги взялись? — спрашивали мы иныхъ изъ такихъ неудачниковъ, — въ карты вы всегда, говорятъ, проигрываете, заработать ничѣмъ не можете...

— Эхъ, господа, господа,—слышалось обыкновенно въ отвѣтъ:— мнѣ вѣдь шесть лѣтъ еще въ тюрьмѣ-то сидѣть. Такъ неужто жъ за эстолько-то годовъ ни разу у меня копѣйки бы лишней не завелось?

— Ну, и куда бы вы эту копѣйку дѣли?

— Куда? Эхма, куда!.. Купилъ бы я, къ примѣру сказать, фунта два-три мяса и *самъ бы*, въ собственномъ котлѣ, наварилъ себѣ щей! Зналъ бы, по крайности, что свое собственное ѣмъ.

Такъ разсуждала кобылка. Но намъ троимъ, конечно, жилось и дышалось сравнительно легче прежняго. Штейнгартъ снова имѣлъ обширную практику внѣ тюремныхъ стѣнъ и нерѣдко приносилъ оттуда даже газетныя новости, производившія каждый разъ въ нашемъ маленькомъ кружкѣ огромную сенсацію... Одного только не удалось намъ добиться, не смотря на всю мягкость наступившаго періода — это возвращенія отобранныхъ нѣкогда книжекъ. Шести-глазый, когда мы обращались къ нему по этому поводу съ прямыми вопросами, не отвѣчалъ, правда, категорическимъ отказомъ; напротивъ, не давая намъ синицы въ руки, онъ сулилъ даже цѣлаго журавля въ небѣ.

— Я давно уже послалъ формальный запросъ относительно чтенія арестантами свѣтскихъ книгъ, и отвѣта нужно ждать со дня на день. Я думаю, что отвѣтъ будетъ благопріятный... Скажу даже больше: васъ ожидаетъ пріятный сюрпризъ! Въ тюрьмѣ будетъ, по всей вѣроятности, устроена оффиціальная бібліотека (конечно, на средства арестантовъ), и одинъ изъ васъ будетъ подъ моимъ наблюденіемъ завѣдывать ею.

— Но въ ожиданіи такого «сюрприза», — приставали мы, — вы могли бы временно собственной властью разрѣшить пользованіе тѣми книгами, какія уже имѣются. Прежде вы могли же это сдѣлать?

— Могъ потому, что тогда я не дѣлалъ еще формальнаго запроса. Теперь я обязанъ слѣдовать буквѣ закона.

Такъ говорилъ намъ бравый капитанъ; и въ это же самое время на вопросы другихъ арестантовъ, тоже просившихъ иногда «книжечекъ», отвѣчалъ совсѣмъ въ другомъ духѣ:

— Я, вотъ, покажу вамъ книжечки! Вздоръ, вздоръ. Единственной духовной пищей арестанта должны быть евангеліе и біблія. Таково мое убѣжденіе.

Словомъ, Лучезаровъ не измѣнилъ себѣ и продолжалъ и въ это мирное время оставаться все тѣмъ же великолѣпнымъ Лучезаровымъ. О книгахъ, повтому, много мечтать не приходилось.

За то одно время тюрьма, почти вся поголовно, увлеклась опять обученіемъ грамотѣ. Наиболѣе популярнымъ преподавателемъ изъ насъ троиухъ сдѣлался въ эту пору Штейнгартъ, въ которомъ, дѣйствительно, открылся и большой учительскій талантъ, и еще болѣе тактъ въ обращеніи съ учениками. Онъ какъ-то удивительно умѣлъ избѣгать всѣхъ тѣхъ спиллъ и харибдъ, о которыхъ столько разъ разбивались мои усилія, — въ родѣ самолюбія или зависти однихъ учениковъ къ другимъ. Одного его слова оказывалось, бывало, вполне достаточно, чтобы прекратить возникавшія распри, и заявленіе одного арестанта другому (въ какомъ нибудь «ученомъ» спорѣ), что такъ, молъ, сказалъ Дмитрій Петровичъ, — перевѣшивало нерѣдко всякій иной доводъ или клятву. Въ отношеніяхъ Штейнгарта съ арестантами не было никогда и тѣни какого-либо желанія подладиться къ ихъ нравамъ или понятіямъ; въ общемъ онъ отличался скорѣе молчаливостію и несравненно охотнѣе отвѣчалъ на вопросы, нежели самъ задавалъ ихъ; мягкій и терпимый къ людскимъ недостаткамъ, онъ никогда не бралъ на себя роли моралиста и проповѣдника; однако, всѣмъ было отлично извѣстно, что существуетъ граница, за которой терпимость эта кончается, и Дмитрій Петровичъ можетъ вспылить и наговорить кучу самыхъ рѣзкихъ вещей. И для меня было всего увидительнѣе то, что никто никогда не обижался на рѣзкія выходки Штейнгарта, и что, напротивъ, онѣ только увеличивали, казалось, уваженіе къ нему кобылки. Тотъ самый Струйскій, котораго онъ такъ грубо оборвалъ однажды за цинизмъ, положительно благоговѣлъ передъ Штейнгартомъ и во время шестидневной его голодовки, со слезами на глазахъ, умолялъ меня предпринять что нибудь для его спасенія... Меня крайне занималъ также вопросъ: оставалось ли для арестантовъ тайной еврейское происхожденіе Штейнгарта и вліяло ли оно сколько нибудь на ихъ отношенія къ нему? Мнѣ кажется, тюрьма отлично знала о томъ, что онъ еврей—знала это и отъ надзирателей, и отъ самого Штейнгарта; и тѣмъ не менѣе, даже во время извѣстныхъ столкновеній нашихъ съ кобылкой, изъ всей арестанской массы

одинъ только сумасшедшій Жебреекъ, разносившій медицину и докторовъ, припутывалъ временами къ своимъ филиппикамъ и какую-то чепуху о жидяхъ, но отклика себѣ онъ не находилъ. Вообще мнѣ кажется, что въ понятіи простолюдина слово еврей или жидъ рѣшительно не вяжется съ представленіемъ о человѣкѣ образованномъ, лучше его самого говорящемъ по-русски. Поэтому-то свѣдѣнія о еврействѣ Штейнгарта проходили какъ-то совсѣмъ мимо ушей и пониманія кобылки, и мнѣ самому не разъ, помню, задавались вопросы:

— А что, Иванъ Николаевичъ, родитель господина Штенгора, надо полагать, тоже изъ большихъ помѣщиковъ былъ?

Другіе называли его сыномъ генерала, сенатора и пр.

Замѣчательно, что въ числѣ учениковъ Штейнгарта былъ одно время еврей, съ которымъ намъ придется еще познакомиться, человѣкъ, пользовавшійся въ тюрьмѣ очень дурной славой; кобылка нерѣдко бранила его «жидомъ». Штейнгарту, какъ и мнѣ съ Башуровымъ, случалось брать подъ свою защиту этого несчастнаго юношу, и тогда арестанты говорили ему:

— Стоить ли вамъ, Дмитрій Петровичъ, заступаться за такую сволочь? Одно вѣдь слово—жидъ.

— Я самъ еврей,—возражалъ Штейнгартъ,—но развѣ это какой-нибудь грѣхъ?

Тогда арестанты конфузливо чесали у себя въ затылкахъ и не знали, что сказать.

— Эхъ, Митрій Петровичъ, нашли съ кѣмъ сравнить! Сволочь тюремную взять, или васъ?

Мнѣ думается, вообще, было бы неблагодарнымъ дѣломъ отыскивать даже и въ подонкахъ нашего простонародья какія-либо антисемитическія тенденціи въ томъ смыслѣ, какой онѣ имѣютъ у разныхъ нашихъ доморощенныхъ Дрюмончиковъ и Рошфориковъ. Антисемитизмъ и юдофобство этихъ послѣднихъ — явленія чисто культурныя, создаваемые извѣстнаго рода воспитаніемъ и книжной пропагандой. Русская каторга абсолютно чужда всякой религіозной, а тѣмъ болѣе расовой нетерпимости. Вотъ народъ, про который дѣйствительно можно сказать, что для него не существуетъ ни эллина, ни іудея, и который знаетъ лишь двѣ породы людей—угнетателей и угнетенныхъ... Правда, вы на каждомъ шагу можете услышать изъ его устъ такія ругательства, какъ «цыганская образина», «чухна проклятая», «польская», или «хохлацкая морда», и т. п.,

но все это лишь результатъ обычнаго пристрастія русскаго человѣка ко всякаго рода крѣпкимъ словамъ, и никакого серьезнаго смысла за ними не кроется. До чего еще мало, къ счастью, развиты въ нашемъ простанородѣ квасныя патріотическія чувства, показываетъ и тотъ, напримѣръ, курьезный фактъ, что во многихъ глухихъ мѣстностяхъ Россіи совсѣмъ неизвѣстно или извѣстно очень смутно самое слово «русскій», и нерѣдко какой-нибудь двадцатилѣтній паренъ на вопросъ о томъ, на какомъ языкѣ онъ говоритъ, наивно отвѣчаетъ вамъ: «на красномъ»... Очень многіе изъ арестантовъ, я помню, говаривали:

— Въ верхней шахтѣ сегодня насъ пятеро *русскихъ* работало.

Оказывалось, въ числѣ этихъ «русскихъ» былъ одинъ полякъ, одинъ цыганъ, одинъ мордвинъ, одинъ хохолъ, и только одинъ великороссъ, но за то не было ни меня, ни Башурова, ни Штейнгарта, и именно это-то и хотѣлъ выразить арестантъ своимъ замѣчаніемъ. Очевидно, въ понятіяхъ этихъ людей слово «русскій» обозначало, главнымъ образомъ, принадлежность къ простому, необразованному люду—и ничего больше.

Возвращаясь, однако, къ своимъ воспоминаніямъ о мягкомъ періодѣ, наступившемъ послѣ удаленія подпоручика Ломова. Чаще всего рисуется мнѣ нерабочій праздничный день. Всѣ камеры растворены настежь, дежурный надзиратель пропадаетъ неизвѣстно гдѣ. Никто не спитъ, такъ какъ время близится къ обѣденному часу. Заглянешь въ одну камеру — тамъ совсѣмъ пусто, и только два-три человѣка гдѣ нибудь въ углу, полулежа на нарахъ, пьютъ собственный чай и тихо разговариваютъ. Это какіе нибудь солидные, флегматичнаго темперамента пріятели, мало интересующіеся шумной общественной жизнью и предпочитающіе ей интимную бесѣду о стародавнихъ временахъ и о разныхъ случаяхъ изъ своей жизни на волѣ. Заходишь въ другую, въ третью камеру — и тамъ все пусто, словно все вымерло. Но за то изъ слѣдующаго номера доносится оживленный говоръ и шумъ. Тамъ цѣлая толпа народу — трудно протискаться. Что же это за зрѣлище, привлекшее сюда почти всю тюрьму?

Двѣ камеры, моя и Штейнгарта, устроили сегодня состязаніе между собой, «экзаментъ»: чьи ученики сдѣлали больше успѣховъ въ наукахъ? Состязаются, конечно, одни только ученики, но живѣйшее участіе принимаютъ въ дѣлѣ и ихъ неграмотные сожители. Одно и то же стихотвореніе («Ласточки» Майкова) я диктую

ученикамъ Штейнгарта, онъ — моимъ. Большой камерный столъ выдвинуть на средину комнаты, и съ него убрано все, что могло бы мѣшать экзамену: чашки, ложки, бачки, хлѣбъ. Лица пишущихъ серьезны и степенны; одни, видимо, волнуются, другіе имѣютъ мрачный видъ, но всѣ хранятъ строгое молчаніе и только тайно шепчутъ губами, повторяя про себя слова диктовки. Неграмотные зрители, напротивъ, шумно суетятся вокругъ стола, кричатъ, толкаются, жестикулируютъ и даже переругиваются съ противниками; желая всячески ободрить свою сторону, они только мѣшаютъ ей своими криками и неумѣстными наставленіями.

— Наша камера, смотри, не оплошай, не осрамись! — кричить одинъ: — не то такіа банки отрублю...

— Ты, Егорка, знатче выводи гуквы-то, а то опять споръ выйдетъ: ты говоришь о, а Митрей Петровичъ говорить — а... такъ чтобъ безъ сумленія было!

— Нѣтъ, это что! — заявляетъ третій: — своимъ банки не штука поставить. А вотъ ежели ваши ученики слабже нашихъ окажутся, такъ мы и изъ камеры своей васъ не выпустимъ: всѣмъ вамъ, собачьи дѣти, ложки отпустимъ! и ученикамъ, и не ученикамъ! Не ходи на экзаментъ, не бахвалься!

Дружный хохотъ встрѣчаетъ это предложеніе.

— Ну, да вѣдь и у васъ брюхо-то тоже есть. Еще неизвѣстно, кому ложки получать придется...

— Не согласенъ я, ребята, на банки, — вдругъ отрывается отъ своей диктовки мой неизмѣнный ученикъ Луньковъ: — хоть бы Сохатаго взять... Онъ, большой дуракъ, худо напишетъ, а я за него отвѣчай? Я за себя только, старики, отвѣчаю, ни за кого больше...

— Ахъ ты трепачъ — мараказина! — огрызается на него Сохатый: — поглядимъ еще, кто больше ошибокъ надѣлаетъ?

Штейнгартъ сурово прекращаетъ споръ:

— Пишите, господа, я сорокъ разъ повторять не стану:

Взгляну-ль по привычкѣ подъ крышу —

Пустое гнѣздо подъ окномъ.

Я вижу, между тѣмъ, что дѣло Сохатаго плохо: онъ озирается по сторонамъ, какъ травленный волкъ, и пялитъ глаза на тетрадки сосѣдей; больше всего смущаетъ его, повидимому, окончаніе слова «взгляну-ль», котораго онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ.



Въ это самое время ученики Штейнгарта, которымъ диктую я, успѣли уже дойти до стиха: «какъ веселъ былъ трудъ ихъ, какъ ловокъ».

— А ты чего же, Ногайцевъ, не пишешь?—спрашиваетъ кто-то третьяго изъ старыхъ моихъ учениковъ.

Ногайцевъ лежитъ въ углу камеры, прикрывшись сверху шубой, и не принимаетъ въ экзаменѣ никакого участія.

— Брюхо болитъ,—отвѣчаетъ онъ слабымъ, больнымъ голосомъ.

— Скажи лучше: гайка ослабила, банокъ испужался?

— Нѣ, въ самъ-дѣлѣ, болитъ...

Но вотъ диктовка, наконецъ, окончена. Учителя предлагаютъ ученикамъ еще разъ пересмотрѣть написанное.

— Чего тутъ смотрѣть, готово!—хвастливо восклицаетъ Луньковъ и подаетъ мнѣ свою тетрадку, но многіе другіе, и въ томъ числѣ Сохатый, долго еще сидятъ за столомъ, углубившись въ свое писанье и храня угрюмое молчаніе. Сохатый совсѣмъ притихъ и то и дѣло бросаетъ на меня недоумѣвающіе взгляды, словно ища себѣ помощи и защиты. Это не ускользаетъ, конечно, отъ вниманія публики, и она дѣлаетъ по его адресу рядъ ядовитыхъ замѣчаній. Наконецъ, и Петинъ сердито свертываетъ тетрадку и, показавъ кому-то кулакъ, подаетъ свою работу. Мы съ Штейнгартomъ приступаемъ къ просмотру диктантовъ, и тутъ въ камерѣ начинается невообразимое волненіе, происходитъ страшная давка; ученики и зрители валѣзаютъ буквально на спины и на плечи одинъ другому, каждому хочется хоть глазкомъ посмотрѣть, что будутъ дѣлать учителя... Даже и мы сами заражаемся общимъ волненіемъ... Я не безъ чувства зависти замѣчаю огромные успѣхи, сдѣланные учениками Штейнгарта. Нѣкоторые изъ нихъ въ самое короткое время научились отличать предлоги, стоящіе передъ именами существительными, отъ такихъ же предлоговъ, стоящихъ передъ глаголами, и первые всегда пишутъ раздѣльно, а вторые слитно (для моихъ учениковъ различіе это всегда составляло главный пунктъ преткновенія). Одинъ изъ пятерыхъ учениковъ Штейнгарта, явившихся на экзаменъ, умудрился не сдѣлать ни одной грубой ошибки даже въ запятыхъ (у насъ заранѣе самымъ точнымъ образомъ условлено, какія именно ошибки считать грубыми и подчеркивать). Этотъ ученикъ былъ, впрочемъ, грамотнымъ еще на волѣ, и я предлагалъ поэтому не допускать его на экзаменъ, но мои ученики, изъ самолюбія, не захо-

тѣли его «отводить», хвастливо заявивъ, что въ «дихтовкѣ» ни передъ кѣмъ не сробѣютъ». Теперь они должны были пожать плоды этого хвастовства. Изъ остальныхъ учениковъ враждебной стороны у троихъ оказалось отъ десяти до двадцати грубыхъ ошибокъ у каждого; пятый сдѣлалъ всего лишь семь ошибокъ.

— Неправедливость!—закричалъ вдругъ Сохатый, все время внимательно слѣдившій за тѣмъ, какъ мы подчеркивали ошибки, и грозно засверкалъ своими телячьими глазами:—явное попустительство!

— Гдѣ? что такое?

— А вотъ, что тутъ у Милосерова написано? Нуль-то пропущенъ? Подчеркнуть надо! Потворствуетъ Иванъ Николаевичъ Штенгору!

— Какой нуль, гдѣ вы тутъ нуль нашли?

Сохатый молча тычетъ пальцемъ въ слова «взгляну-ль».

Мы съ Штейнгартомъ весело смѣемся, и вслѣдъ за нами всѣ ученики, а затѣмъ и всѣ зрители (неграмотные даже болѣе грамотныхъ) раздражаются громовымъ хохотомъ. Сохатый сначала ошеломленъ, потомъ переконфуженъ: онъ дѣлаетъ движеніе схватить со стола свою тетрадку, въ которой у него, очевидно, «взгля 0», но публика не даетъ ему этого сдѣлать.

— Нѣтъ, шалишь, братъ! чужія ошибки считать лѣзешь—и за свои умѣй расплачиваться.

Сохатому пытаются скрутить руки, онъ рычитъ и отмахивается кулаками, поднимается невообразимый гвалтъ, драка; съ трудомъ удается возстановить прежнюю тишину. Дѣло моихъ учениковъ оказывается безнадежно проиграннымъ, и все благодаря тому же Сохатому: онъ одинъ умудрился надѣлать въ своемъ диктантѣ 52 грубыхъ ошибки (хотя въ другое время и въ другомъ настроеніи могъ бы написать вдвое и даже втрое лучше).

— Банки, банки отсѣкать!—раздается дикій вопль, и въ начинающейся вслѣдъ за тѣмъ сумятицѣ трудно даже разобрать, кто кому хочетъ ставить банки. Я съ Штейнгартомъ и Башуровымъ успѣлъ уже очутиться у дверей камеры—насъ моментально оттерли отъ стола, и никакіе наши уговоры и упреки уже не имѣютъ ровно никакого значенія, никто насъ не слушаетъ и даже не можетъ слышать. Намъ остается съ грустью смотрѣть на происходящее побоище.

— Сохатому отрубайте!—кричатъ одни голоса.

— Всѣмъ! Всей камерѣ!—вопятъ неистово другіе.

По срединѣ камеры на полу уже лежитъ, барахтаясь и кусаясь, маленькій Луньковъ, красный, потный и разъяренный, а на немъ сидятъ верхомъ нѣсколько человѣкъ. Но вдругъ на эту кучу налетаетъ ватага другихъ борцовъ: это человѣкъ десять арестантовъ, обхвативъ со всѣхъ сторонъ гиганта Петина, пытаются свалить его съ ногъ. Запнувшись о лежащаго на полу Лунькова и сидящихъ на немъ палачей, вся эта ватага моментально летитъ внизъ; одни тутъ же растягиваются во весь ростъ, другіе кувыркомъ летятъ въ сторону. Освободившійся во время этого паденія Сохатый быстрѣе всѣхъ вскакиваетъ на ноги и, стрѣлой пробѣжавъ мимо насъ, кидается вонъ изъ камеры...

— Лови его! Держи его!—слышится бѣшеный ревъ двадцати голосовъ, и вдогонку бѣжитъ нѣсколько человѣкъ.

А въ камерѣ свалка, между тѣмъ, продолжается. Въ числѣ отъѣшнивающихъ Лунькову «ложки», къ удивленію своему, я замѣчаю и его сокамерника и товарища по ученью Ногайцева, у котораго передъ тѣмъ «болѣло брюхо»...

Штейнгартъ сердится.

— Никогда больше не стану устраивать этихъ экзаменовъ. Безобразіемъ только всегда кончается... А сегодня еще слово мнѣ дали, что все прилично будетъ!

Но вотъ раздается звонокъ на обѣдъ, и староста показывается изъ кухни съ баландой въ рукахъ. Все сразу затихаетъ.

Послѣ обѣда тюрьма поголовно спитъ мертвецкимъ сномъ часа полтора или даже два. Рѣдко кто изъ арестантовъ прошмыгнетъ по корридору, направляясь въ кухню или больницу. За то къ вечеру все опять оживаетъ. Вездѣ пьютъ чай, ведутъ оживленные бесѣды, поютъ хоромъ пѣсни. Надзиратель лишь изрѣдка появится и попросить «потихе драть глотку».

Однако, что за необыкновенный шумъ происходитъ въ четвертомъ номерѣ? Туда вся тюрьма бѣжитъ, какъ на интересное зрѣлище, а выходящая оттуда кобылка заливается веселымъ смѣхомъ. Изъ камеры доносятся звуки балалайки и какой-то странный мотивъ неизвѣстной мнѣ пѣсни. Откуда могла взяться въ тюрьмѣ скрипка или балалайка?

— Что тамъ такое?—спрашиваю я перваго попавшаго навстрѣчу арестанта.

— Это Чащинъ, чтобъ его язвило, волынку съ Михайломъ Ивановичемъ третъ!

Михайло Ивановичъ—мой пріятель Ногайцевъ, и я съ любопытствомъ захожу въ камеру. Чащинъ — арестантъ, по общему признанію, не изъ «дешевыхъ», да и на мой взглядъ это человекъ недюжиннаго ума и силы. Онъ рецидивистъ, осужденный навѣчно, родомъ сибирякъ, изъ той же знаменитой всякаго рода фатовцами мѣстности Енисейской губерніи, откуда были и Семеновъ, и Гончаровъ съ Ракитинымъ, и многое множество другихъ шелайскихъ обитателей. Роста онъ немного выше средняго, худощавый, жилистый, весь точно изъ стали вылитый, слыветъ первымъ силачемъ въ тюрьмѣ; на лишенномъ всякой растительности испитомъ лицѣ лежитъ всегда печать солидности, но въ сѣрыхъ, умныхъ глазахъ свѣтится веселая иронія; за словомъ Чащинъ никогда не лѣзетъ въ карманъ, и остроты его отличаются большой ядовитостью. Въ общемъ же характеръ его не совсѣмъ для меня ясенъ.

Балалаечные звуки, оказалось, исходили изъ простой роговой гребенки и изъ собственныхъ искусныхъ губъ Чащина. Степенный и важный, безъ тѣни усмѣшки на губахъ, онъ грузно приплясываетъ передъ Михайломъ Ивановичемъ и не перестаетъ наигрывать «свой странный, —то веселый, то вдругъ раздираательно-плаксивый мотивъ.

— Балаганъ ты, мой ба-а-а-лаганъ!..—вырываются по временамъ изъ его груди хриплые, нѣсколько гнусливые звуки, и ихъ сопровождаетъ взрывъ веселаго хохота публики.

Толстякъ Ногайцевъ, въ шапкѣ и въ шубѣ, сидитъ на краешкѣ наръ, молчаливо пыхтя, широко раздувая ноздри и видимо съ каждой минутой все больше и больше свирѣпѣя. Но онъ еще сдерживается и хочетъ казаться въ высшей степени равнодушнымъ, для чего самъ иногда смѣется натянутымъ, неестественнымъ смѣхомъ.

— Вотъ дуракъ-то! вотъ дубина-то! — подаетъ онъ пренебрежительныя реплики, и, слыша ихъ, кобылка пуще того веселѣетъ.

— Ббала-га-анъ ты...—выдѣлываетъ опять на губахъ Чащинъ, уморительно топчась на одномъ мѣстѣ и все поглядывая на свою жертву; и Ногайцевъ все больше надувается, краснѣетъ, пыхтитъ и, наконецъ, выпаливаетъ:

— Остается только въ кухню пойти да полѣно хорошее взять!..

Гомерическій хохотъ заглушаетъ эти негодующія слова. Чащинъ, конечно, не унимается.

— Въ чемъ тутъ у васъ дѣло, господа?—подхожу я къ своему пріятелю, желая его поддержать.

— Да вотъ посмотри, Николаичъ, на дурака,—съ живостью обращается онъ ко мнѣ:—посмотри, какіе туесы у насъ въ Сибири на плечахъ растутъ!—И онъ указываетъ мнѣ на Чащина.

— А это вотъ въ чемъ дѣло, Иванъ Николаичъ, — даетъ мнѣ объясненіе самъ Чащинъ:—я пою ему, видите ли, пѣсенку родную... Какъ челдонъ нашъ, сибирячокъ любезный, кверху брюхомъ въ балаганъ своемъ лежитъ, когда пельменей наплется, и поетъ, знай: «Бба-га-га-а...»

— Тыфу, скотина!—не выдержавъ, посылаетъ ему плевокъ прямо въ лицо вскипѣвшій Ногайцевъ. Новый громъ неистоваго смѣха встрѣчаетъ эту его выходку. Но дальновидный Чащинъ во время успѣлъ замѣтить намѣреніе Михайлы Ивановича: извернувшись, какъ ужъ, онъ получилъ по своему адресу лишь нѣсколько незначительныхъ брызгъ слюны, весь же плевокъ пришелся, какъ разъ, въ самый ротъ стоявшему позади него одноглазому татарину Зулкарнаеву. Послѣдній заплевался, заругался на своемъ гортанномъ нарѣчьи, а отскочившій прочь Чащинъ уже опять пиликаетъ на гребенкѣ и тянетъ безконечно-монотонную пѣсню лежащаго кверху брюхомъ, обѣившагося челдона. Самъ челдонъ, онъ неподобно передаетъ и комически преувеличиваетъ манеры и интонацію сибиряка.

Михайло Ивановичъ, давъ исходъ накопившемуся въ немъ гнѣву, уже опять сидитъ на нарахъ съ дѣланной невозмутимостью и ждетъ новаго представленія. Я собираюсь уйти, видя здѣсь себя лишнимъ. Но дверь внезапно открывается, и на порогѣ показывается Штейнгартъ. Онъ уже слыхалъ, конечно, обо всемъ, что здѣсь происходитъ, хотя дѣлаетъ видъ, что ничего не знаетъ, и кричитъ, не заходя въ камеру:

— Ногайцевъ, не хотите ли прогуляться со мной? Вѣдь ужъ скоро повѣрка.

Ногайцевъ чрезвычайно обрадованъ этимъ неожиданнымъ избавленіемъ. Весь просіявшій, онъ тотчасъ же встаетъ съ наръ и идетъ, переваливаясь, къ дверямъ, не обращая вниманія на смѣхъ и тюканье кобылки. Только на порогѣ онъ на минуту останавливается и, оглянувшись на Чащина, съ добродушной укоризной говоритъ:

— Ну, что взять, дурачокъ? Что взять?

Кобылка въ послѣдній разъ раздражается громоподобнымъ хохотомъ, а Чашинъ беретъ на своей самодѣльной балалайкѣ прощальный аккордъ:

— Бба-ла...

Штейнгартъ молча увлекаетъ Ногайцева, и тотъ, плотнѣе закутываясь въ шубу и комично перекидывая съ боку на бокъ свое неуклюжее тѣло, послѣдно выходитъ вельдѣ за нимъ на тюремный дворъ. Зрѣлище окончено, кобылка весело расходится по своимъ мѣстамъ. До вечерней повѣрки остается уже какой-нибудь часъ, и вотъ полтюрьмы высыпаетъ на дворъ подышать свѣжимъ воздухомъ и поразмять застоявшіяся ноги. Большинство арестантовъ разгуливаютъ въ это время попарно, у каждаго именно для этихъ прогулокъ разъ навсегда заведенъ неизмѣнный товарищъ. Въ остальномъ, повидимому, и нѣтъ между людьми особенной дружбы,—жить въ разныхъ камерахъ, работаютъ различную работу, а какъ только выйдутъ подъ вечеръ гулять, глядишь—и очутились вмѣстѣ. И ходятъ, ходятъ, не уставая, кругомъ тюрьмы или больницы, въ глубокомъ молчаніи или обмѣниваясь незначительными фразами. Такъ Чирокъ гуляетъ обыкновенно со Степкой Челдончикомъ, Сохатый съ общимъ старостой Годуновымъ, съ которымъ въ другое время постоянно ссорится и грызется, Луньковъ съ Мишкой Звѣздочетомъ и т. д., и т. д. Ногайцевъ за послѣднее время, къ общему удивленію, сильно сдружился съ Дмитріемъ Петровичемъ и не отстаетъ отъ него ни на шагъ... Да и самому Штейнгарту, видимо, по сердцу пришлось общество почтеннаго Михайла Ивановича, такъ какъ онъ рѣдко подходитъ во время прогулокъ ко мнѣ или Башурову, и послѣдняго обстоятельство это не мало огорчаетъ. Валерьянъ нерѣдко даже бесѣдуетъ со мной на эту тему.

— Какой странный сталъ Дмитрій въ послѣднее время! Онъ, точно, дичится насъ съ вами, а эта дружба его съ Ногайцевымъ положительно на какую-то загадку походить...

— Онъ просто усталъ,—пытаюсь я зацѣпить Штейнгарта,—въ мирныя времена каждый вправѣ жить такъ, какъ хочетъ, своей внутренней жизнью.

— Такъ-то оно такъ,—возражаетъ Башуровъ,—но почему же насъ вотъ съ вами и теперь другъ къ другу тянетъ, а не къ какому-нибудь, положимъ, Карпушеѣ Липатову?

Впрочемъ, и Валерьянъ въ сущности отлично понимаетъ, что всѣ «странности», которыя замѣчаются въ послѣднее время въ Штейн-

гартѣ, его молчаливость, нелюдность съ товарищами и мрачный, подавленный видъ—имѣють, по всей вѣроятности, одну главную причину: вотъ уже около полугода, какъ онъ не имѣетъ никакихъ извѣстій о дорогомъ существѣ... Намъ тоже тревожить временами это долгое, кажущееся непонятнымъ отсутствіе писемъ, и тайнѣ мы сами строимъ всевозможныя мрачныя догадки, хотя и не высказываемъ ихъ другъ другу. Человѣкъ, лишенный свободы, лишенный всего дорогого ему на свѣтѣ, одиноко страдающій вдали отъ родины, отъ близкихъ ему людей, такъ мало склоненъ бываетъ объяснять ихъ молчаніе какими-либо нормальными, естественными причинами: ему всегда грезятся болѣзни, смерть, забвеніе... Тамъ, за стѣнами угрюмой тюрьмы, жизнь плетется себѣ обычной блѣдной колесей: разливаются рѣки, надолго задерживающія почту; точно на зло, письма пропадаютъ безъ всякихъ видимыхъ причинъ, или, еще проще, пишутся позже обыкновеннаго, но блѣдный узникъ ничего этого не знаетъ и ходитъ мрачный, какъ ночь, со смертью въ душѣ...

Какъ велика была радость Штейнгарта, когда и его страхи оказались, наконецъ, напрасными, и онъ сразу получилъ цѣлый рядъ славныхъ, полныхъ надежды, жизнерадостныхъ писемъ! Вся его отчужденность мигомъ опять исчезла, и однажды, когда я вдвоемъ работалъ съ нимъ въ верхней шахтѣ, а прочіе арестанты ушли на верхъ пить чай, онъ успѣлся возлѣ меня и, какъ въ первую памятную ночь знакомства, оживленно, долго и съ задумчивой откровенностью рассказывалъ мнѣ о своихъ недавнихъ чувствахъ.

— Неужели вы не понимали, почему я сторонился отъ васъ съ Валерьяномъ? Въ вашихъ глазахъ я ловилъ постоянные вопросы: что съ тобой? Не можемъ-ли мы чѣмъ помочь тебѣ? И это было такъ тяжело, такъ невыносимо тяжело! Когда отъ самого себя готовъ убѣжать и скрыться, то общество подобныхъ тебѣ еще меньше можетъ удовлетворить. Ну, а вотъ какой-нибудь Ногайцевъ... ахъ, это совсѣмъ другое дѣло! Повѣрите-ли, Иванъ Николаевичъ, я только теперь научился цѣнить, какъ слѣдуетъ, эту простую, чуждую всякихъ хитрыхъ затѣй душу! Если бъ вы знали, сколько кѣжной чуткости открылъ я въ сердцѣ этого полузвѣря, убійцы трехъ человѣкъ! Разъ вечеромъ,—какъ сейчасъ помню, передъ повѣркой,—сиджу я на завалинѣ подъ кухоннымъ окномъ, въ сторонѣ отъ публики, смотрю—онъ прямо ко мнѣ ковыляетъ, ухмыляется: «Чего затуманился, дру-

жокъ? Аль ужъ всѣ пути-дороженьки запали?» И я не стѣмѣю вамъ передать, какъ онъ это просто, какъ задушевно-просто сказалъ!.. У меня отъ этихъ словъ по сердцу такая теплая волна прошла, и въ глазахъ все сразу просвѣтлѣло! Неужто-жъ, подумалъ я, и въ самомъ дѣлѣ, всѣ пути-дороженьки для меня запали? Развѣ человѣкъ, стоящій этого имени, исчерпывается однимъ какимъ-либо интересомъ, чувствомъ? И если бы даже погибли всѣ мои личныя привязанности и радости, то развѣ не продолжала-бы мнѣ свѣтить звѣзда, которой я посвятилъ свою жизнь и свободу? Къ ней-то во всякомъ ужъ случаѣ не запали пути-дороженьки!...

— Такъ вотъ видите,—закончилъ Штейнгартъ, радостно улыбаясь,—какія сложныя мысли и чувства разбудилъ во мнѣ самый простой и немудрый вопросъ нашего забавнаго, толстаго увальня, Михайла Ивановича... И съ этого дня началась наша нѣжная дружба!

#### XIV.

##### «Атаманъ Буря» и начало его карьеры.

Въ одной изъ новыхъ партій, прибывшихъ въ Шелай, оказался молоденькій еврейчикъ, по фамиліи Шустеръ. По его собственнымъ словамъ, ему было 23 года, но на видъ онъ былъ значительно моложе. Маленькаго роста, свѣженькій, всегда чистенькій, румяный, съ большими черными глазами, необыкновенно живыми и блестящими, онъ отличался изысканно-вѣжливыми манерами и, раскланиваясь со мной при встрѣчахъ, всегда граціозно расшаркивался; рѣчь его, слегка картавая, тоже изобличала человѣка, получившаго нѣкоторый лоскъ образованія, и, дѣйствительно, при разспросахъ оказалось, что юноша учился когда-то во II классѣ гимназіи и, кромѣ того, самъ кое-что читалъ; онъ былъ вообще очень неглупъ, развитъ, писалъ почти вполне грамотно, и невольно какъ-то думалось, что съ арестантской массой ничто не связываетъ этого человѣка, кромѣ сѣрой арестантской куртки и какого-нибудь случайнаго несчастія, толкнувшаго его въ среду преступныхъ и развращенныхъ людей. Специфически-еврейскихъ чертъ въ наружности Шустера не было, и первое время меня крайне удивляло, что арестанты тѣмъ не менѣе почти всѣ называли его «жидомъ» и называли съ явнымъ недоброжелательствомъ, почти съ презрѣніемъ. Бывали въ нашей тюрьмѣ и другіе евреи, несравненно



болѣе типичные, и случалось, что ихъ тоже ругали жидами, но въ ругани этой, какъ я уже говорилъ выше, не слышалось никакой ненависти; между тѣмъ Шустеръ составлялъ въ этомъ отношеніи какое-то странное исключеніе. Кобылка, несомнѣнно, его не любила, и долгое время я объяснялъ это тѣмъ, что онъ, что называется, отъ своихъ отсталъ и къ чужимъ не присталъ. Дѣйствительно, даже сѣрые арестантскіе штаны и бушлатъ съ двумя черными тузами на спинѣ сидѣли на его гибкой фигурѣ какъ-то приличіе—я чуть не сказалъ изыщіе, нежели на остальныхъ каторжныхъ; онъ былъ со всѣми ласковъ и какъ-то вкрадчиво-вѣжливъ, и когда проходилъ, бывало, по корридору или по камерѣ своей быстрой, граціозной походкой, румяненъкій, гладко причесанный, бросая кругомъ блестящіе, робко-ласкающіе взгляды, то каждый разъ напоминалъ мнѣ собою котенка, желающаго приласкаться ко всякому встрѣчному... Но Шустера не ласкали, а, напротивъ, обрывали на каждомъ шагѣ сердитымъ возгласомъ:

— Ахъ ты, жидина пархатая!

Ему съ большимъ удовольствіемъ загибали салазки, дѣлали вселенскія смази, отрубали банки. Шустеръ въ такихъ случаяхъ никогда не защищался, онъ даже не бранился, не кричалъ, а только продолжалъ своимъ вкрадчивымъ голосомъ уговаривать или умолять палачей не трогать, не мучить его... Онъ явно старался въ то же время поддѣлаться къ тюремнымъ силачамъ и воротиламъ, билъ передъ ними, какъ говорится у арестантовъ, хвостомъ, шутилъ, заигрывалъ, и иногда ему удавалось достигъ своей цѣли: какой-нибудь Чащинъ или Быковъ расхаживалъ съ нимъ по двору, фамильярно обнявшись и дружелюбно бесѣдуя. Но проходило нѣсколько минутъ, и тотъ же Чащинъ давалъ своему новому пріятелю здоровенный пинокъ и кричалъ свирѣпо:

— Убирайся ты отъ меня, шкура тюремная!..

Мнѣ становилось порой искренно жалко этого загнаннаго, нелюбимаго всѣми еврейчика. Но арестанты, когда я приставакъ къ нимъ съ разспросами о причинахъ такого всеобщаго презрѣнія, отдѣлялись обыкновенно шутками или общими фразами.

Но вотъ въ одинъ прекрасный день въ камерѣ нашей узнали, что въ первомъ номерѣ, гдѣ до тѣхъ поръ жилъ Шустеръ, кто-то сильно побилъ его, и что онъ переводится къ намъ. Извѣстіе это встрѣчено было единодушнымъ ропотомъ:

— Слышали, къ намъ жиди переводятъ?

— Это Катьку-то?

— Ну! чтобъ черти ее задавили... Не могъ Алешка крышку ей сдѣлать, гадинѣ такой!

— Я, братцы, ни за что съ ей рядомъ не лягу; пуцай Шести-глазый въ карецъ лучше сажаетъ—не лягу!

— И я тоже. Пуцай на полу ложится!

Тутъ только глаза мои открылись: сожители мои говорили на этотъ разъ слишкомъ недвусмысленно, не оставляя мѣста уже никакимъ сомнѣніямъ... И хоть сомнѣніе продолжало во мнѣ шевелиться (мало ли какіе поклёпы взводили арестанты другъ на друга!), но, признаюсь, и я ощутилъ невольное чувство брезгливости къ этому юношѣ, съ которымъ до сихъ поръ находился въ такихъ хорошихъ отношеніяхъ.

Дверь открылась—и въ камеру вошелъ съ своими вещами Шустеръ, робкій, смущенный, встрѣченный гробовымъ молчаніемъ, словно будто, не замѣтившихъ его арестантовъ. Но слѣдомъ за нимъ воѣхалъ Петинъ-Сохатый, отсутствовавшій во время предыдущаго разговора, и весело закричалъ:

— Сюда, Шустрый, ложись рядомъ со мной, въ товарищахъ будемъ!

Слова эти вызвали общее хихиканье, но Сохатый не обратилъ на него вниманія. Это былъ человѣкъ каприза и настроенія: сегодня онъ, точно намѣренно, шелъ противъ общественнаго мнѣнія, а завтра былъ его послушнымъ рабомъ. Всѣ это отлично знали и никто не удивился поэтому его рѣшенію принять къ себѣ Шустера. Послѣдній, конечно, съ радостью отнесся къ приглашенію Сохатаго и, положивъ тотчасъ же свою подстилку рядомъ съ его, въ углу камеры, весь день явно ухаживалъ за своимъ сильнымъ покровителемъ, бѣгалъ въ кухню заваривать ему чай, заглядывалъ ему по собачьи въ глаза, предупреждалъ малѣйшее его желаніе... Остальные арестанты дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ присутствія въ камерѣ новаго сожителя. Что касается меня, я рѣшилъ держаться нейтралитета и наблюдать; однако, какъ я сказалъ уже, во мнѣ шевелилось гадливое чувство, перенесшееся съ Шустера и на Сохатаго, такъ подозрительно съ нимъ подружившагося: противъ собственнаго желанія, я сталъ держаться съ ними обоими сухо и преувеличенно-холодно... Но прошло нѣсколько дней, и мои подозрѣнія совершенно разсѣялись. Отношенія Шустера съ Сохатымъ носили, повидимому, вполне невинный характеръ, да и самъ

Шустеръ продолжалъ производить впечатлѣніе запуганнаго малаго съ очень симпатичнымъ, деликатнымъ нравомъ и интеллигентной душевной складкой; онъ съ такимъ вниманіемъ, съ такой жадностью прислушивался ко всякому разговору, въ которомъ я принималъ участіе и изъ котораго онъ надѣялся извлечь что-либо интересное или поучительное. И мнѣ думалось: если даже и лежало на прошломъ этого мальчика то позорное пятно, въ которомъ обвиняла его кобылка, то оно объяснялось, быть можетъ, дурной, развращающей атмосферой, господствующей въ большинствѣ каторжныхъ тюремъ; здѣсь же, при лучшихъ условіяхъ жизни, подъ вліяніемъ моимъ и моихъ товарищей, эта молодая, способная душа можетъ еще проснуться, возродиться, ужаснуться своего прежняго паденія... Переходъ въ нашъ номеръ, казалось, былъ во всѣхъ отношеніяхъ благопріятенъ для Шустера. Онъ велъ себя такъ тихо и кротко, такъ готовъ былъ услужить каждому, что скоро вся камера примирилась съ его присутствіемъ, и я сталъ замѣчать, что тѣ самые арестанты, которые недавно еще соглашались лучше пойти въ карцеръ, чѣмъ лежать рядомъ съ поганымъ «жидиной», теперь охотно пили вмѣстѣ съ нимъ чай и разгуливали по двору. А однажды вечеромъ Шустеръ явился даже героемъ, привлекившимъ къ себѣ общее вниманіе и сочувствіе. Всѣ уже ложились спать, какъ вдругъ изъ угла, гдѣ помѣщался Сохатый съ своимъ новымъ пріятелемъ, послышались такіа рѣчи:

— «Я—атаманъ Буря! Кто хочетъ помѣряться со мной отвагой и силами? Громъ и молнія! Кто дерзнетъ отнять у меня любимую дѣвушку? Я разыщу ее на днѣ моря, я достану ее изъ адской пропасти, вырву изъ когтей тысячи демоновъ! Эй, мой вѣрный есаулъ, явись сюда на зовъ своего атамана!

— «Я здѣсь, доблестный атаманъ. Что твоей милости угодно?

— «Гдѣ мои молодцы?

— «Недалеко, въ оврагѣ за рощей...

— «Чтобы ровно къ двѣнадцати часамъ, въ полночь, всѣ были готовы. Намъ предстоитъ кровавый пиръ-свадьба... Разгуляемъ мечи наши, потѣшимъ молодецкую удалъ!

— «Слушаю, храбрый атаманъ. Всѣ мы за тебя съ радостью головы свои сложимъ. Но и врагу нашему несладко придется! Какъ коршуны, налетимъ мы, не одну буйную голову посѣчемъ, не одну красную дѣвицу въ полонъ возьмемъ!»

И т. д., и т. д.

Арестанты, какъ одинъ человѣкъ, повскакали съ нарѣ и кинулись къ сценѣ. Это Шустеръ давалъ Сохатому даровое представленіе. Онъ началъ тихимъ, еле слышнымъ голосомъ, но, замѣтивъ произведенное впечатлѣніе, разошелся и загремѣлъ такъ, будто и въ самомъ дѣлѣ вообразилъ себя атаманомъ Бурей... Я тоже съ любопытствомъ прислушивался. Содержаніе пьесы было вполне нелѣпое, отъ начала и до конца все въ томъ же ложно-романтическомъ стилѣ, но кобылку оно приводило въ неистовый восторгъ. Оказалось, что въ Алгачахъ, гдѣ Шустеръ жилъ раньше около года, былъ одинъ арестантъ, знавшій наизусть всего «Царя Максимилиана» и другія подобныя же пьесы неизвѣстныхъ авторовъ, до сихъ поръ имѣющія большую популярность въ нашемъ тюремномъ и солдатскомъ мірѣ. Отъ него-то и перенялъ способный Шустеръ нѣсколько сценъ, особенно поразившихъ его воображеніе. Много вечеровъ подрядъ заставляли его арестанты повторять представленіе, а днемъ водили съ этой же цѣлью по другимъ камерамъ, и онъ исполнялъ свои роли съ величайшимъ удовольствіемъ и готовностью, расходясь все больше и больше и выкрикивая монологи атамана Бури такимъ раздрачительно-звучнымъ голосомъ, что надзиратели подходили къ дверной форточкѣ унимать его. Шустеръ сразу сдѣлался однимъ изъ самыхъ популярныхъ людей въ тюрьмѣ; встрѣчаясь съ нимъ, всѣ улыбались и говорили:

— А, атаманъ Буря! Какъ живешь-можешь? Гдѣ теперь твои молодцы-удальцы?

— Громъ и молнія!—отвѣчалъ обыкновенно новоявленный атаманъ:—заперли меня лихіе вороги въ клѣтку желѣзную, обрѣзали соколу могучія крылья... Но дождусь я своего краснаго дня, вырвусь на вольную волюшку—и грозна будетъ моя месть тѣмъ, кто предалъ и погубилъ меня!

И вокругъ него тотчасъ же собиралась кучка любопытныхъ. Исчезла прежняя запуганность и робость Шустера: онъ сдѣлался говорливымъ, живымъ, общительнымъ, и не разъ я видѣлъ, какъ онъ самъ уже сидѣлъ на комъ-нибудь верхомъ и ставилъ банки... Кобылка совсѣмъ, казалось, забыла о тѣхъ слухахъ, которые дѣятельно распускала раньше на его счетъ.

Со мной онъ держался попрежнему почтительно, почти благоговѣйно, и какъ только я начиналъ заниматься съ своими учениками, онъ присаживался потихоньку къ столу и внимательно прислушивался, задавая мнѣ время отъ времени разные вопросы. Кон-

чилось это тѣмъ, что я и его пригласилъ заниматься (раньше онъ нѣсколько дней учился у Штейнгарта). Оказалось, разумеется, что онъ многое позабылъ, что зналъ когда-то въ гимназіи; однако стоило ему рѣшить нѣсколько ариѳметическихъ задачъ, написать нѣсколько диктантовъ, и все позабытое быстро возстановилось въ его памяти: въ письмѣ онъ началъ ставить правильно не только букву ѣ, но даже и знаки препинанія. Шустеръ выказывалъ большую склонность вступать въ бесѣды и на другія темы, непосредственно не относившіяся къ ученю, и меня поражала каждый разъ глубокая искренность, звучавшая въ его разсужденіяхъ о необходимости жить честнымъ трудомъ, о томъ, какое страшное несчастіе попасть въ молодые годы въ каторгу и пр. Однажды я заговорилъ объ его прошломъ, спросилъ, что привело его въ тюрьму.

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ, долго разсказывать!— вздохнулъ Шустеръ:— съ тринадцати лѣтъ вѣдь началось это со мной... Мнѣ самому ужасно хотѣлось бы все разсказать вамъ такъ, какъ вотъ попу на духу разсказываютъ.

— Почему же вамъ хотѣлось бы?

— Въ душѣ ужъ очень много накопило, Иванъ Николаевичъ всякихъ обидъ, униженій... Чего вѣдь только не пришлось мнѣ пережить за эти десять лѣтъ! Не скрою отъ васъ, что я и самъ очень много пакостей на своемъ вѣку надѣлалъ... Не назову я себя хорошимъ человѣкомъ, зачѣмъ лицемерить! Но только я вполнѣ надѣюсь, что я не вовсе еще погибшій человѣкъ, и попади я въ хорошую компанію, я бы могъ еще бросить свои дурныя привычки. Ну, вотъ мнѣ и хотѣлось бы все разсказать вамъ... Быть можетъ, вы мнѣ и добрый бы совѣтъ подали.

— Зачѣмъ же дѣло стало? Хотя сейчасъ начинайте, я съ удовольствіемъ стану васъ слушать.

— Нѣтъ, Иванъ Николаевичъ, а вамъ предложу вотъ что. Многое мнѣ, пожалуй, стыдно будетъ вамъ на словахъ обсказывать, и я, быть можетъ, стану привирать... А мнѣ пришло въ голову на письмѣ описать вамъ свою жизнь.

— Это будетъ еще лучше,—съ живостью ухватился я за любопытное предложеніе,—сумѣете ли вы только?

— Думаю, что сумѣю. Вотъ бумаги только много понадобится...

За бумагой, однако, дѣло не стало—я согласился доставлять ее въ какомъ угодно количествѣ, и работа закипѣла. Мнѣ оставалось лишь удивляться, съ какой быстротой Шустеръ исписывалъ тетрадку

за тетрадкой и передавалъ мнѣ. Я еле успѣвалъ добывать бумагу и карандаши. Содержаніе этой сохранившейся у меня автобіографіи кажется мнѣ довольно интереснымъ, и я хочу цѣликомъ привести ее здѣсь, по возможности въ подлинныхъ выраженіяхъ. Позволяю себѣ дѣлать только сокращенія и чисто формальныя поправки, которыхъ, къ тому же, и не такъ много. Что всего удивительнѣе, масса иностранныхъ словъ, встрѣчающихся въ произведеніяхъ Шустера, употребляется всегда правильно и вполне кстати.

«Отецъ мой былъ стараго покроя фанатикъ и, не смотря на то, что много лѣтъ жилъ въ Петербургѣ среди цивилизованныхъ евреевъ, всетаки не разставался съ своими талмудическими суевѣріями, которыя считалъ закономъ. Древне-еврейскій языкъ, пятикнижіе, талмудъ и гемору онъ зналъ въ совершенствѣ и, занимаясь обученіемъ еврейскихъ дѣтей всей этой премудрости, жилъ не только безбѣдно, но даже съ нѣкоторымъ комфортомъ. За то остальные всѣ науки онъ считалъ вздоромъ, противнымъ талмуду, а по-русски не умѣлъ даже подписать своего имени. Немало труда стоило моей матери, которая была женщиной теперешняго поколѣнія, убѣдить отца отдать меня въ Александровскую гимназію. Но судьба съ дѣтства меня преслѣдовала, и, вотъ, какъ только исполнился мнѣ 13-й годъ,—годъ, въ который каждый еврей вступаетъ въ совершеннолѣтіе (?),—отецъ взялъ меня изъ II класса подъ тѣмъ предлогомъ, что въ гимназіи меня заставляютъ писать по субботамъ, что противно талмуду; онъ боялся, что, благодаря этому, я совсѣмъ развращусь и перестану исполнять религіозные обряды. Горько мнѣ было бросать ученіе и среду образованныхъ людей, но дѣлать было нечего; я вышелъ изъ гимназіи съ самыми пустыми знаніями. Отецъ опредѣлялъ меня въ свой собственный чулочный магазинъ. Нужно вамъ сказать, что самъ онъ ничего не понималъ въ этомъ дѣлѣ, но устроилъ чулочную мастерскую главнымъ образомъ для того, чтобы имѣть право жить въ Петербургѣ, и много пришлось ему потратить денегъ сперва на то, чтобы купить дипломъ мастера въ одномъ виленскомъ еврейскомъ обществѣ, а затѣмъ, не имѣя на самомъ дѣлѣ никакихъ знаній, сдать въ с.-петербургской ремесленной управѣ провѣрочный экзаменъ. Послѣ этого онъ купилъ десять машинъ, по 400 и 500 руб. каждую, и нанялъ мастерицъ для работы. Какъ видите, у отца моего водились деньги...

«И вотъ годъ спустя я былъ въ этой мастерской полнымъ хозяиномъ. Но я не чувствовалъ никакой склонности къ торговлѣ и, досадуя на

отца за вредъ, который онъ мнѣ причинилъ, относился къ дѣлу крайне небрежно: началъ заводить знакомства съ гуляками и поменьку таскать деньги изъ магазина... Отецъ вскорѣ все это замѣтилъ и сталъ жестоко наказывать меня, бить, мучить, не давая ѣсть по два, по три дня. Конечно, всѣ эти мѣры только еще болѣе озлобляли меня; случилось, что изъ страха я пропадалъ на нѣсколько дней изъ дому, меня отыскивали, и тогда слѣдовала новая, еще болѣе суровая расправа... Побившись со мной такимъ образомъ мѣсяца три-четыре, отецъ въ одинъ прекрасный день отдалъ меня въ ученье къ знакомому ювелиру съ условіемъ, если онъ выучитъ меня въ два года ювелирному искусству, заплатитъ ему двѣсти рублей. Новая работа пришлась мнѣ по душѣ, и я началъ остепеняться. Мнѣ было у моего хозяина очень хорошо, такъ какъ никакихъ грязныхъ домашнихъ работъ, какъ это бываетъ обыкновенно съ мальчиками-учениками, онъ не заставлялъ меня дѣлать. Съ перваго же дня меня стали учить паять, шлифовать, полировать, дѣлать цѣпочки и пр., я занимался прилежно. Самъ хозяинъ плохо умѣлъ работать, онъ любилъ за то погулять, пощеголять и мастерской своей почти не касался; за то у него былъ подмастерье, который очень хорошо зналъ свое дѣло, но за которымъ водился одинъ грѣхъ—любовь къ водкѣ и картамъ. Впрочемъ, Богдановъ былъ честный малый, и хозяинъ любилъ его.

«Обѣдать и ночевать я ходилъ каждый день домой, такъ какъ отецъ не желалъ, чтобы я ѣлъ у хозяина трѣфное. Такъ прошло съ полгода. Случилось разъ, что выпившій Богдановъ ковалъ на браслетъ пять золотниковъ золота и такъ неловко ударилъ молоткомъ, что золото выскочило у него изъ рукъ и попало подъ половику. Дѣло было вечеромъ, хозяина не было дома. Мы съ Богдановымъ принялись искать, но ничего не нашли, и онъ приказалъ мнѣ идти домой, говоря, что завтра отыщется. Я отправился домой, а Богдановъ въ кабакъ. Дома я рассказалъ объ этой исторіи отцу, и отецъ тотчасъ же заключилъ изъ моего рассказа, что золото укралъ я, хотя и ничего не сказалъ мнѣ объ этомъ. По утру, напившись чаю, я отправился, какъ всегда, въ мастерскую. Богдановъ еще не вернулся съ ночной гулянки, и хозяинъ сталъ спрашивать меня, какъ это такъ случилось вчера, что пропало золото. Вдругъ входитъ мой отецъ. Поздоровавшись съ хозяиномъ, онъ отозвалъ его тотчасъ-же въ сторону и спросилъ, нашлось ли золото. Хозяинъ отвѣчалъ, что нѣтъ. Тогда отецъ рассказалъ ему обо всѣхъ

моихъ прежнихъ грѣхахъ и заявилъ, что золото укралъ непременно я, и что меня слѣдуетъ наказать. Какъ не повѣрить родному отцу? Ювелиръ предложилъ мнѣ немедленно сознаться и вернуть покражу, обѣщаясь простить меня и не прогнать. Но въ чемъ было мнѣ сознаваться? Я плакалъ, клялся, божился—ничто не помогло; меня тутъ же разложили и дали 50 розогъ, послѣ чего хозяинъ сказалъ, чтобъ я не приходилъ больше, пока не отдамъ золота. Однако, приведи меня домой, отецъ принялся снова бить меня самымъ жестокимъ образомъ. Боже мой! какихъ только мучений я тутъ не перенесъ, и если бы мать не позвала сосѣдей и меня не отняли бы, я бы умеръ, навѣрно, у него подъ руками; меня и такъ чуть тепленькаго унесли...

«На четвертый послѣ того день приходитъ къ намъ мой хозяинъ, извиняется и рассказываетъ отцу, что утромъ мыли полъ въ мастерской и подъ половикомъ нашли закатившееся въ щель золото. Но отецъ отвѣчалъ, что это еще не доказательство моей виновности: я могъ взять золото и спрятать туда, а поэтому нечего жалѣть, что меня наказали; это послужитъ мнѣ хорошимъ урокомъ на будущее время... Хозяинъ тѣмъ не менѣ велѣлъ мнѣ одѣться и ѣхать съ нимъ въ его мастерскую. Тамъ онъ обласкалъ меня, и все пошло по старому. — Какъ разъ наканунѣ Рождества, одинъ господинъ приноситъ серебряный портмонэ и проситъ его вызолотить. Работы у насъ было очень много, и хозяинъ, положивъ портмонэ на верстакъ, сказалъ, что послѣ праздниковъ исполнить заказъ. Прошли и праздники. Въ самый день новаго года я былъ дома и никуда не выходилъ. Утромъ слѣдующаго дня хозяинъ велѣлъ мнѣ отшлифовать и вычистить портмонэ. Я посмотрѣлъ на верстакъ—его тамъ не было; заглянулъ въ ящикъ—и тамъ не было; пересмотрѣлъ всѣ коробочки, спросилъ у Богданова и, наконецъ, у самого хозяина. Послѣдній самъ перерылъ всю мастерскую и тоже ничего не нашелъ. Тогда онъ подозвалъ меня и спросилъ, не я ли взялъ. Если я взялъ и теперь возвращу назадъ, то онъ проститъ меня, и ни отецъ мой, никто другой никогда ничего не узнаютъ. Я, конечно, отпирался и божился. Тогда хозяинъ приказалъ Богданову никуда не выпускать меня изъ квартиры. Вечеромъ пришелъ къ нему въ гости смотритель арестнаго дома (должно быть, его нарочно позвали). Долго они сидѣли вдвоемъ въ кабинетѣ хозяина и о чемъ-то бесѣдовали, потомъ позвали меня. Хозяинъ объявилъ мнѣ, что, если я не сознаюсь, то смотритель немедленно арестуетъ меня и увезетъ



въ тюрьму. А смотритель прибавилъ: «Закую тебя въ ручные и ножные кандалы и заморю голодомъ. Лучше, братецъ, сознайся и скажи, гдѣ спряталъ портмоне». Мнѣ стало страшно. Я тогда не зналъ еще, что меня не имѣли права арестовать, когда никакихъ уликъ не было, и я повѣрилъ угрозамъ. Чтобы какъ нибудь избѣжать тюрьмы и отстрочить наказаніе, я объявилъ со слезами на глазахъ, что дѣйствительно укралъ портмоне и спряталъ на дворѣ въ снѣгу. Смотритель тогда засмѣялся и со словами: «Вотъ такъ-то будетъ лучше!»—простился и уѣхалъ домой. А хозяинъ зажегъ фонарь и повелъ меня въ указанное мной мѣсто. Долго мы тамъ рылись безъ всякихъ результатовъ, но я продолжалъ увѣрять хозяина, что не ошибся и спряталъ именно въ этомъ мѣстѣ. Наконецъ, онъ отложилъ поиски до утра и велѣлъ мнѣ ночевать эту ночь у него. Мнѣ это не совсѣмъ понравилось, но дѣлать, конечно, было нечего. Оказалось, что моя шапка и пальто были уже спрятаны, и за мной тщательно слѣдили. Утромъ, едва только разсвѣло, хозяинъ послалъ служанку за моимъ отцомъ, и тутъ только я понялъ, что надѣлалъ вчера своимъ глупымъ сознаніемъ. Улучивъ удобную минуту, я выскочилъ, въ чемъ былъ, на улицу и побѣжалъ, куда глаза глядятъ, по Екатерингофскому проспекту. Добѣжавъ до Садовой, я остановился. Утро было холодное, трещалъ январскій морозъ, а я былъ безъ шапки и въ одной рабочей блузѣ. У меня слезы проступали изъ глазъ отъ стужи, обиды и горя: въ карманѣ не было ни копейки денегъ, не было и друзей... Но домой я рѣшилъ не возвращаться. Завернувъ въ Малковъ переулокъ, я очутился возлѣ еврейской синагоги. На мое счастье служба уже отошла, и тамъ былъ только одинъ слѣпой старикъ. Пройдя незамѣченнымъ, я забрался подъ «бимень»; такъ называется стоящее по срединѣ синагоги возвышеніе вродѣ каедръ, подъ которымъ устраивается маленькая кладовая для храненія разныхъ рваныхъ книгъ и листовъ («шеймесь»). По еврейскимъ законамъ нельзя ихъ бросать зря, но ихъ тщательно собираютъ и въ извѣстное время года отвозятъ на кладбище и тамъ зарываютъ въ землю. Вотъ туда-то я и залѣзъ и заперъ за собой дверцу.

«Отецъ, узнавъ обо всемъ отъ хозяина, выбѣжалъ изъ мастерской, взялъ извозчика и поѣхалъ меня искать по городу. Кто-то дорогой сказалъ ему, что видѣлъ, какъ я повернулъ въ Малковъ переулокъ. Отецъ отправился тотчасъ же въ синагогу, рѣшивъ, что больше мнѣ некуда дѣться; но синагога оказалась уже запертой.

Тогда отецъ разсказать обо всемъ сторожу и упросилъ его отворить синагогу. Боже мой! сердце у меня замерло, когда я услышалъ шаги и голосъ отца и понялъ, что онъ роется по ящикамъ и смотритъ подъ скамьями... Я уже думалъ, что вотъ-вотъ онъ найдетъ меня, и все глубже зарывался въ рваные листы и книги. Но гроза на время прошла, и я слышалъ, какъ отецъ велѣлъ сторожу дать ему знать, какъ только я явлюсь. Сторожъ заперъ на замокъ дверь, и я опять вздохнулъ свободнѣе. Но скоро я почувствовалъ страшный голодъ, утолить который было, разумѣется, нечѣмъ, и съ досады я проспалъ нѣсколько часовъ. Помню, что это было въ пятницу. Меня разбудилъ сильный шумъ, поднявшійся въ синагогѣ: это евреи сошлись на вечернюю молитву («мааривъ»). Она окончилась, впрочемъ, скоро, и сторожъ позвалъ дворника, чтобы тотъ погасилъ свѣчи (сами евреи не могутъ на субботу гасить огонь) и оставилъ горячей только одну большую свѣчу, поставленную въ поминъ усопшаго,—ея нельзя было тушить («іоръ цейтъ»). Убравши все, какъ слѣдуетъ, сторожъ вышелъ и опять заперъ дверь на замокъ. Впрочемъ, я хорошо зналъ, что замокъ этотъ виситъ только для славы и отъ одного толчка можетъ разлетѣться въ прахъ. Нѣкоторое время я чутко прислушивался—все было тихо кругомъ, и я рѣшился, наконецъ, выйдти изъ подъ бимена и осмотрѣться. За стѣнкой раздавался стукъ тарелокъ и говоръ людей: это жившій здѣсь же сторожъ ужиналъ со своимъ семействомъ. Голодъ мучительно давалъ мнѣ о себѣ знать; надо было, во чтобы то ни стало, выбраться изъ синагоги и куда-нибудь ухъать. Но у меня не было ни теплой одежды, ни денегъ. Я увидалъ тогда на стѣнѣ три жестяныя кружки, въ которыя кладется денежный сборъ, и рѣшилъ прежде всего поживиться этими деньгами. Хорошо зная еврейское повѣрье, что съ пятницы на субботу мертвые приходятъ въ синагогу молиться, и будучи увѣренъ, что ни одинъ фанатикъ не рѣшится въ это время войти въ нее, я не сталъ дожидаться, пока у сторожа уснутъ: быстро сломалъ кружки и забралъ къ себѣ въ карманы все серебро и мѣдь, какія тамъ находились (потомъ оказалось—около двѣнадцати рублей); взялъ скамейку и со всего размаху ударилъ ею въ дверь. Плохо державшійся пробой вылетѣлъ, дверь растворилась настежь, и я выбѣжалъ въ корридоръ... Но тутъ случилось совсѣмъ не то, чего я ожидалъ. У сторожа былъ въ это время какой-то молодой еврей, и когда послышался въ синагогѣ шумъ, на смерть перепугавшій сторожа и его

семью, этотъ молодой человѣкъ не струсилъ, взялъ, не смотря на шабашъ, свѣчку, выбѣжалъ въ корридоръ и схватилъ мнимаго мертвеца за шиворотъ. О какомъ-либо сопротивленіи съ моей стороны не могло быть и рѣчи,—я былъ безоруженъ,—и я повиновался. Молодой человѣкъ повелъ меня къ сторожу, но понадобилось, по крайней мѣрѣ, полчаса времени для того, чтобы сторожъ пришелъ въ себя и повѣрилъ, что это былъ я, а не злой духъ, принявшій мой образъ... Опамятовавшись, онъ одѣлся и пошелъ дать знать о происшедшемъ моему хозяину, хорошо зная, что ему за это перепадетъ на чай. Между тѣмъ арестовавшій меня молодой еврей зорко караулилъ меня и хотѣлъ даже дать мнѣ ѣсть; но сторожиха запротестовала, сказавъ, что я уголовный преступникъ, и что меня грѣшно кормить.

«Явился, наконецъ, и мой хозяинъ. Вскричавъ извозчика, онъ повезъ меня къ себѣ и дорогой все уговаривалъ сказать, куда я дѣлъ портмонэ (въ снѣгу его нигдѣ не оказалось), причемъ обѣщаль не только запитить отъ гнѣва отца, но даже и наградить меня. Но я отказался отъ прежняго своего показанія, говоря, что солгать тогда изъ страха передъ смотрителемъ тюрьмы, а что, на самомъ дѣлѣ, я ничего не крадъ и ничего не знаю. Пріѣхавши въ мастерскую, хозяинъ сейчасъ же послалъ за моимъ отцомъ. Явился отецъ и, узнавъ, что я опять отъ всего отперся, потребовалъ, чтобы хозяинъ отпустилъ меня домой, гдѣ онъ скорѣе добьется отъ меня правды. Я хорошо понималъ, какими средствами станеть онъ добиваться правды, и началъ умолять хозяина не отпускать меня. «Я не въ правѣ тебя задерживать, отвѣчалъ хозяинъ, такъ какъ не имѣю противъ тебя никакихъ уликъ. Вотъ если бы ты сознался, тогда другое дѣло, тогда я оставилъ бы тебя». И я опять рѣшилъ лучше наклеветать на себя, чѣмъ попасть отцу въ руки. Напротивъ нашей мастерской жилъ переплетчикъ-нѣмецъ, и у него находился въ учены мальчикъ. Вспомнивъ про него, я сказалъ хозяину, что точно укралъ портмонэ и передалъ на храненіе этому мальчику. Хозяинъ обрадовался моему показанію, похвалилъ меня и даже спросилъ, ѣлъ ли я сегодня. А я умиралъ отъ голоду. Онъ далъ мнѣ выпить рюмку водки и съѣсть кусокъ бутерброда, а затѣмъ, заперевъ меня въ чуланъ, вмѣстѣ съ моимъ отцомъ отправился къ переплетчику-нѣмцу: былъ уже двѣнадцатый часъ ночи. Переплетчикъ, выслушавъ рассказъ, предложилъ гостямъ произвести обыскъ въ вещахъ своего мальчика, и когда въ нихъ ничего не нашлось, разбудилъ мальчика,

который давно уже спалъ, и началъ допрашивать. Мальчикъ клялся и божился, что ничего отъ меня не бралъ, что даже и не видѣлъ меня наканунѣ новаго года. Такъ, ничего не добившись, хозяинъ съ отцомъ вернулись назадъ въ мастерскую. Отецъ снова сталъ требовать меня къ себѣ домой, но хозяинъ, въ виду моего признанія, пригласилъ полицейскаго надзирателя. На вопросъ полицейскаго, дѣйствительно ли я укралъ портмоне, я далъ утвердительный отвѣтъ, и послѣ этого отцу моему ничего не оставалось, какъ отправиться домой одному, меня же отвезли въ полицію. Въ полиціи прежде всего сняли съ меня пальто и шапку и произвели обыскъ, при чемъ отобрали и украденныя мной въ синагогѣ деньги. Ихъ записали въ книгу; затѣмъ отворили какую-то дверь, толкнули меня туда и дверь опять заперли на замокъ. Въ новомъ моемъ помѣщеніи меня сразу поразилъ страшно спертый воздухъ и скверный запахъ, исходившій отъ раскрытыхъ парашъ. Лампа безъ стекла неимоვნно чадила и еле освѣщала огромную камеру. Пруда человеческихъ тѣлъ лежала безпорядочно на нарахъ и валялась на голомъ полу, въ грязи, въ рваныхъ рубахахъ и въ сапожныхъ опоркахъ на босую ногу. Со мной чуть не сдѣлалось дурно, и я началъ громко стучать въ дверь и требовать холодной воды. Тогда одинъ изъ арестованныхъ, проснувшись, вскочилъ на ноги и закричалъ на меня: «Ты что тутъ за храпъ явился? Люди спятъ, третій часъ ночи, а ты шумѣть вздумалъ? Смѣй только шикнуть, такъ мы тутъ по-свойски съ тобой раздѣлаемся». Понятно, что я не сталъ больше стучать, а, отойдя въ уголъ, простоялъ до утра на одномъ мѣстѣ, такъ какъ съѣсть или лечь было рѣшительно негдѣ. По-утру долго пришлось мнѣ пробыть въ канцеляріи частнаго пристава, пока дошла очередь до меня. И здѣсь я впервые увидаль, какъ приставъ производилъ собственноручную кулачную расправу съ сидѣвшими за пьянство. Когда онъ подошелъ, наконецъ, ко мнѣ, я объявилъ ему, что не кралъ портмоне, а взвелъ на себя это преступленіе единственно для того, чтобы не попасть въ руки къ отцу и не быть имъ наказаннымъ. Услыхавъ это, приставъ страшно разсердился, затопалъ на меня ногами, сталъ кричать и браниться непечатными словами и ударилъ меня по уху такъ сильно, что изъ носа у меня фонтаномъ брызнула кровь. Онъ уже хотѣлъ отправить меня назадъ въ часть, но тутъ явился мой отецъ; не знаю, о чемъ говорилъ онъ съ приставомъ, такъ какъ я находился въ передней, только, нѣсколько минутъ спустя, приставъ крикнулъ меня,

и когда я вошелъ, сказалъ: «Отпускаю тебя на поруки къ отцу, но въ будущую субботу ты долженъ явиться сюда, и тогда я составлю протоколъ». У меня сердце такъ и упало, когда я взглянулъ на спокойно стоявшаго тутъ же отца: я зналъ, что онъ сдѣлаетъ со мной что-нибудь ужасное... Приведа меня домой, отецъ прежде всего связалъ мнѣ руки и привязалъ меня къ стѣнѣ, говоря, что потолкуетъ со мной послѣ обѣда, и такъ какъ дѣло происходило въ субботу, то умылъ себѣ руки, выпилъ водки и сѣлъ обѣдать «цолендъ» (пищу, сваренную наканунѣ, такъ какъ въ субботу евреи не могутъ варить и стряпать). Онъ ѣлъ при этомъ такъ спокойно, какъ будто ничего и не случилось. Мать, все время глядѣвшая на меня со слезами на глазахъ, вздумала было и мнѣ дать поѣсть, но отецъ схватилъ со стола ножъ и погрозилъ тутъ же покончить съ ней и со мной, если она станетъ мѣшаться не въ свое дѣло. Пообѣдавъ хорошенько, онъ всталъ и подошелъ ко мнѣ. «Ну, теперь я съ тобой поговорю. Скажи - ка мнѣ, голубчикъ, куда ты дѣвалъ портмоне?» Я сталъ божиться, что не бралъ его, но онъ не захотѣлъ и слушать меня. «Ты рассказывай эти сказки приставу и своему хозяину, меня же ты не надуешь. Я тебѣ не повѣрю. Ты лучше скажи мнѣ, куда ты его спряталъ?» Съ этими словами онъ повалилъ меня на полъ и началъ бить подборами сапогъ по чему попало, по ребрамъ, по груди и головѣ. Тутъ я сообразилъ, что надо какъ-нибудь искусно солгать ему, чтобы выгадать время и убѣжать. Я началъ просить его, чтобы онъ пересталъ бить, увѣряя, что тогда я скажу всю правду. Отецъ остановился, и я съ окровавленнымъ лицомъ поднялся съ полу. «Дѣйствительно, я укралъ портмоне,—сказалъ я,—и продалъ его одному крещеному еврею». Отецъ сейчасъ же одѣлся и велѣлъ мнѣ вести себя къ этому еврею. Я умылся (потому что весь былъ въ крови) и, собравъ послѣднія силы, пошелъ, самъ не зная, что изъ всего этого можетъ выйти. Я ужъ и тѣмъ былъ счастливъ, что хоть на одинъ часъ отсрочивалась страшная пытка.

«Въ Александровскомъ рынкѣ торговалъ старыми вещами одинъ крещеный еврей; былъ также слухъ, что онъ принималъ и краденое. Вотъ на него-то я и показалъ, хотя и въ лицо-то даже плохо зналъ его. Мы пошли прямо къ нему въ лавку. Увидѣвъ насъ, лавочникъ видимо испугался, такъ какъ хорошо зналъ, что еврей-фанатикъ, какимъ былъ мой отецъ, не придетъ покупать въ субботу. «Ну, говори этому мошеннику прямо въ глаза!»—обратился

ко мнѣ отецъ. Мнѣ было невыносимо совѣстно обвинять совершенно незнакомаго мнѣ человѣка, но отступать ужъ было поздно. Собравъ все нахальство, къ какому только я былъ способенъ въ то время, и не сморгнувъ глазомъ, я сказалъ: «Отдайте портмоне, которое я вамъ продалъ за три рубля. Мой отецъ возвратитъ вамъ ваши деньги назадъ, потому что я укралъ эту вещь у своего хозяина, но теперь я сознался, и вещь надо возвратить». Лавочникъ съ неподдѣльнымъ изумленіемъ вытаращилъ глаза: «Помилуйте, вы ошиблись... Я въ первый разъ васъ вижу!» Но я сказалъ на это: «Развѣ вы забыли прекрасное серебряное портмоне, которое я принесъ вамъ подъ новый годъ? Я знаю, вамъ жаль съ нимъ расстаться, потому что оно стоитъ въ десять разъ дороже». И видя, что онъ молчитъ, продолжая удивляться, прибавилъ: «Будетъ вамъ притворяться, лучше отдайте и получите свои деньги. А не то мы заявимъ сейчасъ въ полицію, и васъ арестуютъ». Я говорилъ такъ искренно и такъ настойчиво, что отецъ вполне увѣрился въ правдивости моего показанія и съ своей стороны обратился къ торговцу сначала съ ласковыми убѣжденіями, а потомъ и съ угрозами. Но, понятно, изъ всего этого ничего не вышло. Очнувшись отъ минутнаго столбняка, вызваннаго крайнимъ изумленіемъ, торговецъ началъ кричать на насъ и выгналъ вонъ, грозясь въ свою очередь насъ арестовать. Были уже сумерки, и отецъ, опасаясь прозвѣвать службу, повелъ и меня съ собой въ синагогу. Дорогой онъ опять началъ сомнѣваться и говорилъ мнѣ: «Невозможно ни въ чемъ тебѣ вѣрить! Ты вѣдь въ десятый ужъ разъ сознаешься, а потомъ отпираешься, и каждый разъ выходить что-нибудь новое. И какъ это не можешь ты жить безъ приключеній? Чего тебѣ не хватаетъ, злой мальчикъ? Отъ кого выучился ты воровать? Въ нашемъ роду не было воровъ. Я старался тебя воспитать, какъ слѣдуетъ, выучилъ пятикнижію, талмуду, геморѣ, я не жалѣлъ на тебя денегъ, а ты вотъ чѣмъ мнѣ отплачиваешь! Это все оттого происходитъ, что ты водишься больше съ русскими, а священнаго нашего закона не исполняешь». Онъ такъ разжалобилъ меня своими рѣчами, что я чуть было не упалъ ему въ ноги и не признался во всемъ; но удержался, сообразивъ, что это ни къ чему бы не повело, такъ какъ признаться мнѣ было не въ чемъ. Такъ мы дошли до синагоги. Тутъ насъ окружила толпа ребятишекъ, и отецъ сдалъ меня имъ, приказавъ хорошенько караулить. Они облѣпили меня, какъ пчелы, и стали жестоко насмѣхаться, такъ что я готовъ былъ про-

валиться сквозь землю отъ стыда и безсильной злости: я былъ одинъ, а ихъ нѣсколько десятковъ человѣкъ. Между тѣмъ на отца моего, какъ только онъ зашелъ въ синагогу, тоже набросилась цѣлая орава евреевъ: они тормозили его и наперерывъ рассказывали, какъ я ночью разломалъ кружку и укралъ священные деньги. Такого удара отецъ мой не ожидалъ! Онъ тотчасъ же призвалъ меня и спросилъ при всѣхъ, вѣрно ли это новое обвиненіе. У меня дрожали ноги отъ страха, и языкъ прилипалъ къ гортани, но не могъ же я отрицать явнаго факта, и я сознался... Отецъ пришелъ тогда въ такое бѣшенство, что схватилъ скамью и тутъ же хотѣлъ покончить со мной, но ему не дали этого сдѣлать. Спросивъ у «табая», сколько было въ кружкахъ денегъ, и узнавъ, что около пятнадцати рублей, онъ сказалъ, что заплатитъ за меня четвертной билетъ. Послѣ этого началась служба. По окончаніи ея отецъ повелъ меня домой, всю дорогу крѣпко держа за руку...

«Дома онъ раздѣлъ меня до нага и стоя веревкой привязалъ за руки и за ноги къ столбу, такъ чтобы я не могъ шевелиться, затѣмъ взялъ трость и началъ ею меня бить, приговаривая: «Теперь я ужъ ни въ чемъ тебѣ не повѣрю, и потому не думай, что какъ только ты сознаешься, я тебя отпущу. Нѣтъ, мнѣ теперь все равно, укралъ ты портмоне или нѣтъ, довольно и того, что ты меня опозорилъ въ синагогѣ передъ всѣмъ обществомъ. Значить, можешь теперь молчать. Я буду тебя бить эту ночь до тѣхъ поръ, пока ты не кончишься у меня подъ руками. Я ужъ буду, по крайней мѣрѣ, знать, что самъ убилъ тебя, и ты не будешь больше ни воровать, ни позорить меня». Онъ поставилъ около меня графинъ водки и съ какимъ-то страннымъ наслажденіемъ въ лицѣ продолжалъ мучить меня. Не вытерпѣвъ, я началъ кричать; тогда онъ преспокойно взялъ платокъ и завязалъ мнѣ ротъ такъ крѣпко, что мнѣ не только кричать, но и дышать стало трудно, и принялся за прежнюю работу, глотая по временамъ водку изъ чайнаго стакана. И, конечно, онъ сдержалъ бы свое слово—убилъ бы меня, если бы не пришла въ это время изъ гостей ничего не подозрѣвавшая мать и не увидала происходившаго: отецъ, сильно уже охмѣлѣвшій, сидѣлъ къ ней спиною, въ одной рубашкѣ и въ брюкахъ и хладнокровно, методически работалъ тростью, а я, привязанный къ столбу и съ заткнутымъ ртомъ, висѣлъ безъ малѣйшаго движенія, не издавая даже стона... Всплеснувъ въ ужасѣ руками, она кинулась на дворъ, вскричала дворниковъ и нѣсколькихъ сосѣдей и при ихъ

помощи съ великимъ трудомъ успѣла вырвать меня изъ рукъ обезумѣвшаго отца и развязать. Меня унесли безъ чувствъ въ другую комнату и положили на диванъ. Мать послала за докторомъ, и ему долго пришлось возиться со мною, чтобы вернуть къ жизни. Предложили мнѣ пищу, но хотя я уже цѣлыя сутки почти ничего не имѣлъ во рту, но мнѣ было теперь не до ѣды. Боли я, правда, никакой не чувствовалъ, но все тѣло мое было исполосовано и изрублено въ куски; окровавленное мясо висѣло клочьями...

«Позвольте мнѣ здѣсь остановиться до завтра. Я не могу писать объ этомъ безъ содроганія, не произнося проклятія родному отцу! Ночью со мной сдѣлался бредъ. Докторъ, осмотрѣвъ меня во второй разъ, объявилъ, что со мной начинается горячка... Двѣ недѣли пролежалъ я безъ памяти, и когда пришелъ потомъ въ сознаніе, то чувствовалъ такую страшную слабость, что еще цѣлыхъ полтора мѣсяца пролежалъ въ постели. Отецъ сталъ обращаться со мной гораздо ласковѣе, и когда я настолько оправился, что могъ разговаривать, объявилъ мнѣ, что портмонэ нашелся... Я полюбопытствовалъ узнать, какимъ образомъ, и онъ рассказалъ мнѣ слѣдующее. Портмонэ былъ имянной, съ вырѣзанной на крышкѣ фамиліей владѣльца, и вотъ какъ-то случилось, что въ то время, какъ я лежалъ въ бреду, къ одному часовыхъ дѣлъ мастеру, хорошему пріятелю моего бывшего хозяина, заходитъ какой-то господинъ купить серебряную цѣпочку и, расплачиваясь за нее, вынимаетъ изъ кармана портмонэ: часовщикъ сразу увидаль на немъ ту фамилію, которую называлъ ему мой хозяинъ. Не подавъ покупателю вида, что онъ что-либо заподозрилъ, часовщикъ завелъ съ нимъ длинный разговоръ, а самъ тѣмъ временемъ послалъ кого-то въ участокъ, а также и къ моему хозяину. Явилась полиція, начали разспрашивать неизвѣстнаго господина, у кого и какъ пріобрѣлъ онъ портмонэ: онъ немного смѣшался, но всетаки объяснилъ, что гдѣ-то купилъ. Тѣмъ временемъ подоспѣлъ и мой бывшій хозяинъ. Онъ сразу призналъ не только портмонэ, но и самого господина, который наканунѣ новаго года, то есть въ день пропажи, заходилъ къ нему въ мастерскую и торговалъ запонки, но не купилъ ихъ. Въ участкѣ въ немъ сразу узнали извѣстнаго жулика, который ходилъ по магазинамъ и торговалъ разныя вещи, причемъ никогда ничего не покупалъ, а лишь пользовался случаемъ кое-что стянуть. Вскорѣ онъ самъ сознался и въ кражѣ портмонэ, сыгравшаго такую печальную роль въ моей жизни. «Да, въ этомъ случаѣ ты невинно пострадалъ,—заключилъ отецъ



свой рассказъ,—это правда. Но ты укралъ деньги въ синагогѣ, но ты, можетъ быть, хотѣлъ украсть у хозяина золото... Да и раньше за тобой водились эти грѣхи... Словомъ, ты не вообрази себя непорочнымъ, какъ голубь. Слава твоя уже гремитъ, всѣ знакомые указываютъ на тебя пальцами. Ты долженъ объ этомъ хорошенько подумать. Жилъ ты у меня смиренно и честно, и никто тебя не зналъ, а теперь всѣ тебя называютъ воромъ и даже полиція тебя уже знаетъ. Но я тебѣ вотъ какую сказку расскажу. Въ старыя времена жилъ одинъ нищій. И было ему уже девяносто лѣтъ, и сталъ онъ очень дряхлѣ и слабъ. И думаетъ нищій: «Видно, пора мнѣ помирать приходитъ... Только какъ же это я прожилъ девяносто лѣтъ, а теперь вдругъ возьму да и помру? И никто на свѣтѣ не будетъ знать про то, что я когда-то жилъ? Обидно вѣдь это! Досталъ нищій послѣдніе свои гроши, побрелъ въ лавку и купилъ большой старинный мечъ. Съ этимъ мечемъ онъ забрался въ садъ къ богатому и знаменитому въ той странѣ вельможѣ. И вотъ, когда вельможа вышелъ прогуляться въ садъ, старикъ выскочилъ изъ своей засады и замахнулся на него мечемъ... Но свита вельможи, разумѣется, тотчасъ же схватила преступника и вырвала изъ его рукъ мечъ. Тогда вельможа велѣлъ подвести старика къ себѣ, гнѣвно взглянулъ на него и спросилъ: «За что ты хотѣлъ меня убить? Развѣ я зло тебѣ какое сдѣлалъ?»—Нѣтъ, отвѣчалъ нищій, зла ты мнѣ никакого не сдѣлалъ, а только собрался я умирать, и захотѣлось мнѣ оставить по себѣ какую-нибудь славу, чтобъ народъ говорилъ, что вотъ жилъ такой-то знаменитый вельможа, и такой-то нищій хотѣлъ его убить.—Засмѣялся тогда вельможа и отпустилъ нищаго домой безъ всякаго наказанія: «Иди, старый дуракъ, домой—видно и вправду пора тебѣ помирать!» Ну, вотъ и ты, молодой дуракъ, захотѣлъ, видно, славы, какъ этотъ нищій? Только я тебѣ скажу, что ты гораздо глупѣе стараго нищаго, потому что тотъ на твоемъ мѣстѣ уже не сталъ бы воровать разныхъ игрушекъ, а укралъ бы что-нибудь такое, за что стоило бы, по крайней мѣрѣ, отвѣчать». Такія поученія читалъ мнѣ родной отецъ, и, признаюсь, они глубоко загляли мнѣ на душу...

«Оправившись отъ своей болѣзни, я пересталъ уже ходить къ своему хозяину-ювелиру: послѣ двухъ несчастій, случившихся въ самое короткое время, ему ужъ стыдно было принять меня въ третій разъ, и я остался дома. Отецъ взялъ съ меня честное слово, что я больше не стану воровать, и опредѣлилъ въ свой магазинъ стоять за конторкой, получать и отправлять товаръ, словомъ—сдѣ-

лазъ меня полнымъ хозяиномъ. Но я долженъ вамъ сознаться, что слова своего я сдержать не могъ, хотя и долго крѣпился. У меня завелись знакомства съ приказчиками и разной купеческой молодежью, я сталъ чувствовать нужду въ расходныхъ деньгахъ, мнѣ хотѣлось побывать и въ театрѣ, и въ зоологическомъ саду, и угостить товарищей, а отецъ былъ страшно скупъ, и въ награду за свою честность я не видалъ отъ него ни одной копѣйки. И вотъ я началъ воровать, но такъ умно, что сводилъ всегда концы съ концами и ни разу не былъ замѣченъ. Такъ прошелъ еще цѣлый годъ.

«У насъ была обширная торговля, и много было разносчиковъ, бравшихъ у насъ товаръ за извѣстный процентъ. Съ однимъ изъ такихъ разносчиковъ, старорусскимъ мѣщаниномъ Иваномъ Брусницынымъ, молодымъ человѣкомъ лѣтъ двадцати двухъ, я особенно сдружился. Это былъ довольно недалекий и въ трезвомъ видѣ замѣчательно смирный паренъ, совершенно еще неиспорченный, такъ что дружба съ нимъ, казалось бы, не сулила мнѣ ничего дурного. Но на дѣлѣ вышло не такъ. У Ивана Брусницына былъ старшій братъ, жившій во второй ротѣ Измайловскаго полка въ старшихъ дворникахъ у дѣйствительнаго статскаго совѣтника Красинскаго, родомъ поляка. Красинскій этотъ былъ страшный богатъ, имѣлъ собственный домъ, но, неизмѣнно скупой, онъ жилъ въ третьемъ этажѣ, въ двухъ комнатахъ, а все остальное сдавалъ квартирантамъ. Старикъ былъ холостъ, но у него жила красивая молодая дѣвушка, одновременно игравшая роль и горничной, и кухарки, и экономки, и даже, говорили,—хозяйки. Младшій Брусницынъ часто ходилъ въ гости къ своему брату въ Измайловскій полкъ и тамъ познакомился съ Лизаветой (такъ звали эту дѣвушку).

«Однажды въ первыхъ числахъ мая,—я только что заперъ вечеромъ магазинъ,—приходить ко мнѣ Брусницынъ, грустный и задумчивый, и говорить: «знаешь что, пойдѣмъ въ портерную, я тебѣ кое-что расскажу». У насъ другъ съ другомъ вообще не было никакихъ секретовъ. Придя въ портерную, мы потребовали четыре бутылки пива, налили себѣ по стакану, и Иванъ началъ свой рассказъ «Ты, поди, вѣдь знаешь, Мишка, какъ врѣзалась въ меня эта Лизавета... Ну, я частенько хожу къ ней, когда генерала не бываетъ дома. И вотъ сегодня она мнѣ рассказала, что на дняхъ они ѣдутъ въ Старую Руссу на минеральныя воды. А генералъ, между прочимъ, беретъ съ собой двадцать пять тысячъ рублей денегъ... Потомъ онъ уѣдетъ на три дня въ Москву, а ее одну оставить эти деньги кара-

улить... Ну, и что же она удумала, Лизавета, какъ ты полагаешь, братъ? Она предлагаетъ мнѣ тоже поѣхать въ Старую Руссу и, когда генераль будетъ въ отлучкѣ, въ Москвѣ, придти къ ней и забрать эти деньги, а ужъ за послѣдствія она сама берется отвѣчать. Такъ чисто, молъ, все обдѣлано будетъ, что и подозрѣнія даже на меня не упадетъ. Просить все это хорошенько обдумать и завтра отвѣтъ дать. Я сдуру-то сказалъ ей, что подумаю, а теперь вотъ меня всего въ жаръ и въ ознобъ кидаетъ: вѣдь въ случаѣ неудачи тутъ Богъ знаетъ чѣмъ пахнетъ!» Когда онъ сказалъ эти слова, меня самого въ жаръ и въ ознобъ кинуло, только не отъ трусости, конечно. Я подумалъ: двадцать пять тысячъ! Вѣдь это такой капиталъ, изъ-за котораго многимъ рискнуть можно... Отцовская притча попала, видно, на благодарную почву... Распивъ съ пріятелемъ четыре бутылки пива, я пригласилъ его въ ресторанъ ужинать и тамъ принялся доказывать ему всю выгоду предпріятія, приводя на видъ, что съ такими деньгами онъ можетъ изъ простого разносчика сдѣлаться купцомъ первой гильдіи, и что такой счастливый случай выпадаетъ на долю одного человѣка изъ милліона; я просилъ его взять меня въ товарищи и общалъ все устроить такъ, какъ слѣдуетъ. Послѣ долгихъ уговариваній онъ согласился. Мы условились, что онъ завтра же объявить своему брату, будто уѣзжаетъ на побывку домой, а 15-го мая будетъ уже готовъ и станетъ дожидаться меня на вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги. Самъ я рѣшилъ обмануть отца слѣдующимъ образомъ. Въ Старой Руссѣ у него было нѣсколько должниковъ, давно уже не платившихъ ему по векселямъ; много разъ онъ собирался туда поѣхать, но собраться никакъ не могъ. По-утру слѣдующаго дня я завелъ съ нимъ разговоръ объ этихъ неисправныхъ должникахъ и говорилъ съ намѣреннымъ раздраженіемъ; я напередъ зналъ, что онъ опять скажетъ о своемъ недосугѣ, болѣзни и пр. И вотъ, едва только онъ сказалъ это, какъ я предложилъ себя къ его услугамъ: если онъ дозволитъ, я съѣзжу въ Старую Руссу и припугну должниковъ, да кстати посмотрю, не выгодно ли тамъ будетъ поторговать во время предстоящей ярмарки. Отецъ охотно согласился на мое предложеніе, назначилъ мнѣ на дорогу тридцать рублей и отпустилъ на двѣ недѣли. Въ назначенный день я попрощался съ родителями, нанялъ извозчика и отправился на вокзалъ».

## XV.

## Паденіе идетъ быстрыми шагами.

«Брусницынъ уже поджидалъ меня.

«Дорогой я не заговаривалъ съ нимъ о дѣлѣ, такъ какъ видѣлъ, что онъ не въ духѣ, хмурится, нервничаетъ, и, чтобъ развеселить его, рассказывалъ разныя забавныя исторіи и анекдоты. На каждой почти станціи мы пили чай, и я на свой счетъ угощалъ его винами и закусками. Въ седьмомъ часу утра мы пріѣхали въ Старую Руссу. Брусницынъ спросилъ меня, въ какой изъ двухъ гостиницъ мы остановимся—въ «Лондонѣ» или «Петербургѣ». Мое воображеніе все время дѣятельно работало; во мнѣ проснулись необыкновенная дѣловитость и проницательность; я заранѣе рѣшилъ все предусмотрѣть и со всѣхъ сторонъ себя обезопасить; никогда въ жизни не видавъ Старой Руссы, я уже зналъ ее изъ однихъ разговоровъ съ товарищемъ, какъ свои пять пальцевъ, и потому, не думая долго, объявилъ, что намъ слѣдуетъ остановиться въ «Петербургѣ»: я рассчиталъ, что эта гостиница, стоящая на набережной противъ собора, находится на менѣе людномъ и шумномъ мѣстѣ... Въ «Петербургѣ» я нанялъ двѣ комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ, за два рубля въ сутки, и сказалъ Ивану, чтобы онъ всѣмъ своимъ роднымъ говорилъ, что пріѣхалъ сюда съ хозяйскимъ сыномъ по торговымъ дѣламъ. Послѣ этого мы разошлись. Денегъ я въ этотъ день ни отъ кого изъ отцовскихъ должниковъ не получилъ—все отговаривались плохой торговлей и сулили заплатить въ скоромъ времени. Весь слѣдующій день мы бродили съ Брусницынымъ безъ всякаго дѣла по городу, осматривая торговую площадь и базаръ. На базарѣ насъ встрѣтилъ квартальный надзиратель и сразу узналъ по моему лицу, что я пріѣзжій. Онъ подошелъ ко мнѣ и спросилъ, кто я такой, откуда и есть ли у меня билетъ. Билетъ мой оказался въ порядкѣ, и, просмотрѣвъ его, онъ велѣлъ только прислать его въ часть для прописки. Въ этотъ день я получилъ отъ должниковъ-евреевъ 340 рублей и немедленно отправилъ ихъ отцу, не оставивъ себѣ ни копейки, не смотря на то, что собственные мои деньги уже подходили къ концу: мнѣ хотѣлось чтобы отецъ вполне успокоился на мой счетъ и далъ мнѣ свободу жить здѣсь, сколько понадобится. Я разсуждалъ такъ: я возьму часть отцовскихъ денегъ, потрачу ихъ, а вдругъ наша затѣя не выгоритъ, и мнѣ нечѣмъ будетъ пополнить сдѣланную растрату? Тогда я

долженъ буду изъ-за какихъ нибудь пустяковъ навсегда лишиться довѣрія отца, которое мнѣ такъ необходимо. И вотъ я сталъ придумывать средство раздобыть денегъ изъ другого источника.

«Вечеромъ я пошелъ въ паркъ и былъ тамъ въ театрѣ, но все время меня неотступно грызла одна и та же мысль. При выходѣ изъ парка я зашелъ въ магазинъ Попова купить папиросъ, и здѣсь-то пришла мнѣ въ голову безумная на видъ, но вмѣстѣ и блестящая идея—обокрасть этотъ богатый магазинъ. Но какъ осуществить подобный планъ? Городъ былъ мнѣ мало знакомъ; товарищей для такого дѣла у меня не было, потому что Брусницынъ, конечно, ни за какіе миллионы на него бы не пошелъ, и даже говорить съ нимъ объ этой затѣѣ было немыслимо; въ довершеніе всего самъ я ни разу еще въ жизни не пыталъ своихъ силъ на такихъ крупныхъ и дерзкихъ кражахъ. Но что-то упрямо говорило

мнѣ: «Всетаки я сдѣлаю, сдѣлаю это!» — и я всю ночь не могъ заснуть, перебирая въ головѣ сотни всевозможныхъ плановъ, критикуя ихъ и отбрасывая одинъ за другимъ. И къ утру я уже зналъ, что долженъ дѣлать.

«Я успѣлъ за эти два дня подмѣтитъ, что большая часть старорусскихъ мѣщанъ, по окончаніи работъ, поздно вечеромъ возятъ для себя воду на тельяжкахъ, въ особыхъ маленькихъ боченкахъ въ пять-шесть ведеръ, и я рѣшилъ себѣ приобрести такой же боченокъ и тельяжку. По-утру Иванъ позвалъ, было, меня погулять съ своими друзьями, но я отговорился головной болью, и онъ одинъ ушелъ на весь день, а я отправился на базаръ, сторговалъ тамъ за 2 р. 65 к. тельяжку съ боченкомъ и велѣлъ лавочнику доставить ихъ ко мнѣ на квартиру. Покупка была доставлена въ срокъ: тогда я снялъ съ одной стороны боченка обручи, выбилъ дно и опять надѣлъ обручи по старому. Затѣмъ это было мнѣ нужно? А вотъ затѣмъ. Я рассуждалъ, что если мнѣ удастся забраться въ магазинъ, то невозможно будетъ по главнымъ улицамъ города тащить узелъ съ товарами въ ночное время—меня, навѣрное, арестуютъ. Въ боченокъ же можно будетъ наложить, что угодно, и затѣмъ проѣхать взадъ и впередъ раза три, не возбудивъ ни малѣйшаго подозрѣнія. Вечеромъ этого дня я опять былъ въ театрѣ и, при возвращеніи оттуда, снова зашелъ въ магазинъ Попова, купилъ папиросъ, орѣховъ, конфетъ, пару апельсинъ. Мнѣ не столько нужна была эта покупка, сколько хотѣлось обстоятельно все высмотрѣть, и я нарочно мѣшкалъ, покупая разные мелочи.

Выйдя затѣмъ изъ магазина, я долго прогуливался по противоположной сторонѣ тротуара, желая посмотрѣть, какъ будутъ заперать магазинъ. Дѣйствительно, приказчики скоро замкнули его и ушли домой; тогда я приблизился и увидалъ два простыхъ висячихъ замка, которые при случаѣ нетрудно было бы и сломать, но рискнуть на сломъ замка въ такомъ пунктѣ было бы непростительной ошибкой: почти напротивъ, у входа въ паркъ, всегда стоять сторожъ, и малѣйшій неосторожный шумъ погубилъ бы меня. Поэтому я вынулъ изъ кармана заранѣе приготовленный кусокъ воска и снялъ слѣпокъ съ замочной скважины. Былъ уже первый часъ ночи, и я, крайне довольный своими наблюденіями, пошелъ домой. Дома я засталъ сильно подвыпившаго Брусницына. Я объявилъ ему, что получилъ отъ отца телеграмму, обязывающую меня завтра же уѣхать на два дня въ Новгородъ, и что поэтому я совѣтую ему, вмѣсто того, чтобы платить даромъ деньги за номеръ, провести эти два дня у родныхъ. Онъ согласился, что это резонъ, и тотчасъ же захрапѣлъ. Какъ только я отправилъ его утромъ къ роднымъ, сказавъ, что и самъ черезъ часъ уѣду, на душѣ у меня стало легче, бояться и стѣсняться теперь мнѣ было нечего. Я поѣхалъ тотчасъ же въ желѣзный рядъ подбирать по снятой модели замки. Но и тутъ я былъ въ высшей степени хитеръ и остороженъ; я дѣлалъ видъ, что просто ищу замковъ попрочнѣе, и воскового снимка приказчику, разумѣется, не показывалъ. Подходящіе замки были скоро найдены, и я, не торгуясь, расплатился. Всю остальную часть дня я не показывалъ никуда носа, сидя въ своемъ номерѣ и обдумывая всѣ мелочи будущаго преступленія, причемъ подкрѣплялъ свой духъ пивомъ и коньякомъ. Однако, подъ вечеръ во мнѣ заговорило что-то въ родѣ угрызений совѣсти; я спрашивалъ себя: хорошее ли дѣло я затѣваю? Имѣю ли я право взять тѣ деньги, которые, быть можетъ, нажиты потомъ и кровью нѣсколькихъ поколѣній? Было ли бы мнѣ пріятно, если бы меня самого кто обокрасть? У меня голова закружилась отъ этихъ не во время и не кстати явившихся мыслей, и я, чтобъ избавиться отъ нихъ, одѣлся на скорую руку, вышелъ, заперъ свою квартиру, и пошелъ наверхъ гостиницы послушать органъ. Тамъ я потребовалъ себѣ полбутылки коньяку и закуску. Однако, и послѣ того я не могъ еще успокоиться и выпилъ для храбрости стаканчикъ очищенной, а затѣмъ отправился въ театръ. Въ театрѣ, какъ сейчасъ помню, давалось «Бѣдность не порокъ»; пьеса эта сильно мнѣ понравилась. такъ что

я просидѣлъ до конца представленія и окончательно развеселился. Изъ театра я вернулся домой. Ровно въ часъ ночи я взялъ свою телѣжку, положилъ на нее боченокъ, захватилъ стеариновую свѣчку, спички и ключи отъ купленныхъ утромъ замковъ и отправился на Ильинскую улицу. Уже въ близкомъ разстояніи отъ магазина мнѣ повстрѣчался ночной сторожъ съ колотушкой; я пропустилъ его мимо, завернулъ за уголъ и, поставивъ телѣжку, подошелъ къ магазину. Тишина кругомъ была мертвая, только далеко гдѣ-то слышался стукъ колесъ. Вынувъ ключи, я отперъ замки и потихоньку пріотворилъ дверь; за ней была внутренняя стеклянная дверь, и если бы она оказалась тоже замкнутой, то мнѣ пришлось бы или выдавливать стекло, т. е. поднимать шумъ, или совсѣмъ отказаться отъ своей затѣи. Но на мое счастье или несчастье, она не была замнута. Осмотрѣвшись еще разъ кругомъ, я пошелъ за телѣжкой, подвезъ ее къ магазину, растворилъ настежь двери, въѣхалъ въ нихъ и затѣмъ плотно затворилъ за собою. Сердце мое страшно билось—я чувствовалъ, что половина дѣла сдѣлана, что я теперь полный хозяинъ магазина. Успокоившись, я зажегъ свѣчку, и первой моей заботой было направиться къ конторкѣ, гдѣ хранится выручка. Я нашелъ въ ящикѣ 50 рублей бумажками, 19 серебромъ и 9 мѣдью, всего 78 рублей. Сосчитавъ и забравъ эти деньги, я былъ нѣсколько разочарованъ... Затѣмъ я началъ осматривать товары: тамъ былъ сахаръ въ цѣлыхъ головахъ и пиленый въ мѣшкахъ, конфеты, пряники, шоколадъ, крупчатка, но больше всего было чаю собственной фирмы Попова. И я рѣшилъ брать одинъ только чай, такъ какъ это самый дорогой товаръ. Я наклавъ полную бочку пятирублеваго и трехрублеваго чаю—фунтами, полуфунтами, четвертями и восьмьюшками. Накрывъ затѣмъ боченокъ мѣшкомъ и обвязавъ шнуркомъ, я погасилъ свѣчу, прислушался, — пріотворивъ слегка дверь, посмотрѣлъ, не идетъ ли кто по улицѣ, и, увѣрившись, что все тихо и пустынно, спокойно растворилъ двери, вывезъ вонъ изъ магазина свою телѣжку, заперъ опять двери на замки и поѣхалъ съ добычей домой. Дома я все это выгрузилъ и отправился за новой порціей: короче сказать, я продолжалъ эту операцію три раза. Въ послѣдній разъ я захватилъ, кромѣ чаю, триста сигаръ (по 10 руб. сотня) и пятифунтовую банку конфетъ монпансье. Во время этихъ трехъ поѣздокъ встрѣчались мнѣ по дорогѣ извозчики, ночные сторожа, запоздалые гуляки, полицейскіе,—и никто, рѣшительно никто не подумалъ остановить меня. Дѣло въ томъ, что за ночь можно встрѣтить нѣ-

сколько десятковъ человѣкъ, ѣдущихъ съ такими боченками по воду: инымъ за-свѣтло бываетъ некогда, а инымъ стыдно везти на себѣ воду, — и вотъ для этого они выбираютъ такое время, когда всѣ спятъ, и если попадется все-таки нечаянно знакомый, то, свернувъ въ сторону, стараются сдѣлать такую кислую рожу, что у того пропадаетъ всякое желаніе признать знакомаго или пріятеля.

«Окончивъ свою ѣзду, я сложилъ весь чай въ уголъ комнаты, накрылъ простыней и легъ спать, такъ какъ становилось уже свѣтло. Въ семь часовъ утра я отправился на базаръ и купилъ тамъ три деревянныхъ ящика и нѣсколько рогожъ. Тамъ же я узналъ о сдѣланной ночью покражѣ — весь городъ взбунтовался, какъ расшевеленный муравейникъ... Поповъ всю полицію поднялъ на ноги; заарестовали множество подозрительнаго народа. Порѣшили, въ концѣ концовъ, на томъ, что некому было совершить эту дерзкую кражу, кромѣ старшаго приказчика, потому что замки были цѣлы, а ключи хранились у него... Словомъ, я находился внѣ всякаго подозрѣнія. Сжегши всѣ чайныя обертки, я ссыпалъ въ ящики весь свой чай (внизу худшій, а кверху лучшій сортъ), забилъ ящики гвоздями, обшилъ рогожами и отвезъ на вокзалъ, гдѣ и сдалъ въ товарный поѣздъ, а самъ тоже взялъ билетъ до Новгорода. Въ Новгородѣ я продалъ чай одному еврею по 80 руб. за пудъ и, получивъ съ него 800 р., на другой день вечеромъ отправился назадъ въ Старую Руссу. На вокзалѣ меня встрѣтилъ Брусницынъ, очень сердитый на то, что я, вмѣсто двухъ дней, проѣздилъ три: по его словамъ, генералъ съ Лизаветой пріѣхали еще наканунѣ, и если бы онъ, Иванъ, сегодня, наконецъ, не встрѣтилъ меня, то плюнулъ бы на все и уѣхалъ въ Петербургъ. Пріѣхавъ въ гостиницу, я постарался задобрить Ивана и угостилъ его бутылкой мадеры. Тогда онъ объяснилъ мнѣ, что утромъ у него назначено съ Лизаветой свиданіе на базарѣ. Дѣйствительно, напившись на другой день по-утру кофе, мы отправились на базаръ и повстрѣчали тамъ Лизавету. Она остановилась и, вступивъ съ Брусницынымъ въ разговоръ, спросила, кто я такой. Онъ отвѣчалъ: «это мой хорошій товарищъ. Я нарочно пригласилъ его изъ Петербурга, такъ что передъ нимъ можешь не стѣсняться. Скажи же намъ, долго ли намъ придется тутъ жить?» Она засмѣялась: «Вишь, ты нетерпѣливый! Ну, да утѣшься. Скрыга мой завтра утромъ уѣзжаетъ въ Москву, и вечеромъ милости просимъ на чашку чаю». На этомъ мы и расстались, и я пошелъ съ Иваномъ погулять. Въ деньгахъ я больше не нуждался и скажу



вамъ коротко, что въ эти два дня прогулялъ съ нимъ 440 рублей. Брусницынъ все приставалъ ко мнѣ съ вопросомъ, откуда у меня завелось столько денегъ, но я отдѣлывался шутками и говорилъ: «Пей, знай, ѣшь и гуляй, пока есть время! Кто знаетъ, можетъ быть, это мы на послѣдяхъ гуляемъ». Я и не подозревалъ того, что эта шутка моя была пророческой...

«Въ назначенный срокъ, въ двѣнадцатомъ часу ночи, мы явились въ гости къ генералу Красинскому. Онъ, дѣйствительно, съ вечернимъ поѣздомъ этого же дня уѣхалъ въ Москву, и Лизавета съ нетерпѣніемъ поджидала насъ. Она немедленно поставила на столъ бутылку шампанскаго и закуску; впрочемъ, Брусницынъ еще и до этого былъ пьянъ и еле держался на ногахъ, я же, зная, какое дѣло намъ предстоитъ, былъ только немного навеселѣн. Усадивъ насъ, Лизавета начала: «мнѣ кажется, я составила хорошій планъ. Деньги лежатъ въ кабинетѣ, въ письменномъ столѣ. Мы взломаемъ дверь, и когда генералъ вернется, я скажу ему, что въ его отсутствіе ворвались неизвѣстные люди и, приставивъ къ моей груди ножъ, грозились меня зарѣзать, при малѣйшей попыткѣ закричать. Я упала, молъ, въ обморокъ и, что дальше было, не знаю, а когда пришла въ себя, то нашла квартиру въ безпорядкѣ, всѣ замки сломанными и даже наружную дверь растворенной. Если вамъ, господа, нравится мой планъ, то скорѣе принимайтесь за дѣло». Что касается меня, то, признаюсь, мнѣ не по душѣ пришелся этотъ планъ: что-то, какъ-будто, фальшивое звучало въ ея словахъ, и глаза виновато, какъ мнѣ показалось, бѣгали по сторонамъ. И у меня въ эту минуту мелькнулъ въ головѣ свой ужасный планъ: убить эту дѣвушку и тогда взять деньги, чтобы не было лишняго свидѣтеля. Но, взглянувъ на Ивана, я долженъ былъ сразу выкинуть изъ головы всѣ подобныя думки: онъ такъ и таялъ передъ своей Лизаветой и кричалъ пьянымъ голосомъ: «Согласенъ!.. Отлично!..» Вслѣдъ затѣмъ онъ схватилъ лежавшій въ кухнѣ топоръ и живой рукой сломалъ замокъ. Я пошелъ во внутреннія комнаты, обыскалъ кабинетъ, спальню, перерылъ всѣ вещи—нигдѣ не было ни одной копѣйки. Тѣмъ временемъ Лизавета успѣла окончательно напоить Брусницына, и когда я вернулся въ кухню, онъ уже спалъ мертвецкимъ сномъ. Услыхавъ отъ меня, что никакихъ денегъ нѣтъ, Лизавета притворилась страшно изумленной и испуганной и пошла вмѣстѣ со мной въ кабинетъ на новые поиски. Съ мѣста на мѣсто перекидывала она всѣ вещи, рылась въ ящикахъ стола и въ бумагахъ (въ то

время, какъ я стоялъ у дверей и наблюдалъ за каждымъ ея движеніемъ) и, наконецъ, съ грустью обратившись ко мнѣ, сказала: «Ну, и маху же я дала! Значить, онъ увезъ деньги съ собой... Да и какъ это я, дура, могла подумать, что такой скряга оставить здѣсь экую прорву денегъ!..» Тогда я поспѣшилъ къ Ивану и, разбудивъ его, сказалъ ему на ухо, что мы погибли, что Лизавета подвела насъ, и что намъ остается для своего спасенія одно только—убить ее... Но Иванъ чуть не убилъ меня самого за эти слова, такъ что мнѣ пришлось обратить ихъ въ шутку. И вотъ, чтобъ не уйти изъ квартиры съ голыми руками и чтобы хоть не страдать даромъ, я захватилъ съ собой серебряный столовый сервизъ, золотые часы и еще кой-какія мелочи и на всякій случай взялъ съ Лизаветы клятву, что она нашихъ именъ не выдастъ (хотя и очень мало надѣялся въ душѣ на эту клятву). Вернувшись въ гостиницу, Иванъ упалъ на полъ и заснулъ, какъ убитый, а я взялъ извозчика и съѣздилъ къ одному фатовому еврею, которому продалъ всѣ захваченныя мной вещи. И хорошо сдѣлалъ, потому что на другой же день, около полудня,—не успѣли еще мы съ Брусницынымъ продрасть, какъ слѣдуетъ, глаза,—къ намъ заявила въ полномъ составѣ полиція. По всему городу ходилъ уже слухъ о произведенномъ у генерала Красинскаго грабежѣ, и въ дверяхъ, кромѣ полиціи, толпилось множество посторонняго народа: среди любопытныхъ я замѣтилъ и обокраденнаго мной купца Попова... «Билетъ у васъ въ порядкѣ?»—обратился ко мнѣ приставъ. Я вынулъ изъ кармана и подаль ему свой билетъ. Просмотрѣвъ его, онъ сказалъ мнѣ и Брусницыну: «Именемъ закона я пришелъ арестовать васъ!» и велѣлъ квартальному надзирателю произвести у насъ обыскъ. Ничего подозрительнаго не нашлось. Но вдругъ Поповъ заявилъ приставу, что признаетъ свою банку изъ-подъ монпасье, которая стоитъ у меня на столѣ, что это, молъ, та самая банка, которая была на дняхъ украдена изъ его магазина. Открыли банку, но въ ней оказалось уже не монпасье, а кофе. «По какимъ примѣтамъ вы ее признаете?»—спросилъ приставъ. Поповъ отвѣчалъ, что, насколько ему извѣстно, во всемъ городѣ нѣтъ другого магазина, кромѣ его, съ конфетами этой фабрики, а также—что и эта банка пятифунтовая, какъ и пропавшая. На это я возразилъ, смѣясь: «можетъ быть, вы и правы, что у васъ была такая же банка, но эту я привезъ изъ Петербурга, а Петербургъ не Старая Русса, и тамъ въ каждой мелочной лавочкѣ можно достать все, что угодно. Такъ что ваше показаніе—не есть

фактъ». Такимъ образомъ Поповъ остался съ носомъ. Тѣмъ не менѣе насъ отвезли въ часть, въ сопровожденіи четырехъ надзирателей. Дверь изъ другой комнаты неожиданно отворилась, и въ нее вошла наша пріятельница Лизавета. Я сразу догадался, въ чемъ дѣло, и принялъ такой видъ, будто не видалъ ее никогда въ жизни. «Эти ли господа были у васъ ночью въ гостяхъ?»—обратился къ ней приставъ. «Да, эти самые»,—отвѣчала она твердо, съ нахальствомъ оглядывая насъ. Мы съ Брусницынымъ, съ своей стороны, отперлись, и затѣмъ насъ отправили въ каталашку.

«Въ тотъ же день я послалъ отцу телеграмму о своемъ арестѣ, прося его скорѣе пріѣхать. Мнѣ нельзя было не сдѣлать этого ужъ и по тому одному, что при обыскѣ у меня отобрали тысячу двѣсти рублей, изъ которыхъ девять сотъ были моихъ собственныхъ (отцовскихъ), и если бы меня обвинили, то эти деньги могли бы пропасть и даже послужить мнѣ уликой. Да и кромѣ того, рано или поздно отецъ все равно узналъ бы. На слѣдующій же день съ утреннимъ поѣздомъ пріѣхалъ въ Старую Руссу генералъ Красинскій, вызванный по телеграфу Лизаветой. Какъ только онъ зашелъ въ свой кабинетъ и увидалъ сломаннымъ письменный столъ, такъ и ахнулъ: у него пропали двадцать пять тысячъ рублей!.. Онъ немедленно заявилъ объ этомъ исправнику, далъ нужныя показанія и уѣхалъ опять въ Москву. Послѣ этого ко мнѣ съ Иваномъ предъявлено было новое, еще болѣе тяжкое обвиненіе: похищеніе со взломомъ и насиліемъ не только серебряной посуды (въ чемъ обвиняли накаунтъ со словъ Лизаветы), но еще и двадцати пяти тысячъ рублей. Теперь для меня не подлежало уже сомнѣнію, что деньги эти, дѣйствительно, существовали, но что онѣ взяты были самой Лизаветой, мы же были приглашены ею лишь для отвода глазъ. Словомъ, мы были одурачены, какъ послѣдніе школьники! Послѣ прочтенія обвинительнаго акта насъ стали формально допрашивать, причемъ и я, и Брусницынъ показали согласно, что мы знать ничего не знаемъ и вѣдать не вѣдаемъ.

«Къ вечеру пріѣхалъ и мой отецъ. Онъ былъ немедленно допущенъ ко мнѣ, и я увѣрилъ его, что рѣшительно не понимаю, за что меня арестовали, и что отобранные у меня 1,200 рублей — его собственные кровныя деньги. На другой день меня перевели въ тюрьму, и дѣло пошло своимъ чередомъ. Я очутился въ первый разъ въ жизни въ арестантской рубашкѣ, халатѣ и изорванныхъ котлахъ; записали всѣ мои примѣты и посадили въ подсудимое отдѣленіе. Не

стану подробно описывать вамъ начало своей арестантской карьеры, отмѣчу изъ нея лишь главныя черты и важнѣйшіе случаи. Арестанты встрѣтили меня съ перваго шага насмѣшливо и даже враждебно; тюремные иваны пристали ко мнѣ съ требованіями «за парашу», грозясь даже побить меня, если я не заплачу имъ десяти или, по крайней мѣрѣ, пяти рублей. Но вскорѣ произошла въ ихъ отношеніяхъ ко мнѣ какая-то странная, поразившая меня перемена. Арестанты отошли отъ меня, начали собираться кучками и о чемъ-то шептаться между собою; потомъ нѣкоторые изъ ивановъ опять подошли ко мнѣ съ заискивающими рѣчами и предложеніями разныхъ услугъ. Мои вещи положили на нары, мнѣ дали тюфякъ, набитый соломой, и такую же подушку. Оказалось, причиною этой внезапной перемены былъ надзиратель, сообщившій имъ, что я укралъ 25 тыс., и что этихъ денегъ у меня при обыскѣ не нашли. «Славно, должно быть, припряталъ,—похвалилъ меня надзиратель,—за такой кушъ и посидѣть не жалко». У однихъ арестантовъ пробудилось вслѣдствіе этого уваженіе ко мнѣ, другіе надѣялись урвать отъ меня малую толику, обыгравъ въ карты или пустивъ въ ходъ другой какой-нибудь способъ. Тутъ же по поводу меня и моего преступленія въ камерѣ произошло нѣсколько ссоръ, и я впервые познакомился съ нѣкоторыми образчиками воровского нарѣчія. «Куда ты лѣзешь, что ты объ себѣ понимаешь?—кричалъ одинъ арестантъ на другого:—вѣдь я тебя хорошо знаю. Вѣдь ты ни больше, ни меньше, какъ простой шармошникъ, ты только и умѣешь, что таскать кисеты съ табакомъ у пьяныхъ мужиковъ! Ты больше ничего на своемъ вѣку не укралъ! А меня каждый знаетъ. Я на скоки ходилъ \*), я на доброе утро хаживалъ \*\*), я и на ципы, случалось, хаживалъ» \*\*\*).

«Откуда-то нашлись такіе даже субъекты, которые стали увѣрять, будто хорошо знаютъ и меня самого, и моего отца, и моихъ братьевъ, которыхъ, кстати сказать, у меня никогда не было. Явился вскорѣ самоваръ съ чаемъ и французскими булками и бутылка спирта. Отъ водки я, однако, наотрѣзъ отказался, подо-

---

\*) „Скокомъ“ называется на воровскомъ нарѣчій кража, сдѣланная въ какомъ-нибудь домѣ среди бѣлаго дня и въ самое короткое время.

\*\*) Кражи „на доброе утро“ совершаются лѣтомъ, на разсвѣтѣ, во время крѣпкаго утренняго сна хозяевъ. Если послѣдніе всетаки проснутся отъ шороха, воръ бросается на утекъ, не вступая съ ними въ борьбу.

\*\*\*) „На ципы ходить“ въ осеннія и зимнія темныя ночи; тутъ немедленно пускается въ ходъ оружіе.

Примѣч. авт.  
15\*

зрѣвая тутъ какую-нибудь ловушку. Вдругъ возлѣ меня очутился разостланый коврикъ, и нѣсколько человѣкъ усѣлись играть въ карты. То же самое началось и въ другомъ, и въ третьемъ мѣстѣ, здѣсь въ штоссѣ, тамъ въ стуколку, въ марьяжъ, преферансъ, кончину. Предложили и мнѣ поставить карточку, и какъ я ни упирался, говоря, что и играть совсѣмъ не умѣю и не люблю, и денегъ у меня при себѣ нѣтъ, — ничто не помогало. Одни подскочили ко мнѣ съ предложеніями дать займы сколько угодно, другіе увѣряли, что въ игрѣ нѣтъ ничего не только мошенническаго, но даже и труднаго, что стоитъ моей картѣ упасть налѣво — и я выигрываю, и что нуженъ, слѣдовательно, одинъ только фартъ. Кончилось тѣмъ, что я взялъ-таки займы десять рублей, и у меня отобрали ихъ въ какія-нибудь десять минутъ, прямо сказать, навѣрняка. Я не былъ еще въ то время страстнымъ игрокомъ и потому продолжать игру не согласился, а напившись чаю, крѣпко заснулъ. Вдругъ посреди ночи страшная боль въ ногахъ заставила меня пробудиться, и я съ громкимъ крикомъ вскочилъ съ мѣста. Кругомъ была мертвая тишина, арестанты, укутавшись съ головами въ халаты и шубы, лежали на нарахъ. Опомнившись, я сталъ разсматривать пальцы ногъ и увидалъ, что кожа на нихъ сожжена: это мнѣ, какъ новичку, поставили мушку... Дѣлается это такъ. Берутъ кусокъ бумаги, обмакиваютъ въ керосинъ, сонному обвертываютъ ею пальцы и поджигаютъ. Когда я съ испуга вскочилъ на ноги, бумажка оглеѣла... Утромъ я узналъ, чья это была продѣлка, и рѣшилъ отплатить насмѣшнику. Едва онъ заснулъ къ ближайшую ночь, какъ я взялъ носовой платокъ, разорвалъ на полоски, намочилъ въ керосинѣ и, привязавъ полоски нитками къ пальцамъ спящаго, зажегъ. Когда пламя вспыхнуло, онъ съ дикимъ ревомъ вскочилъ и началъ срывать съ ногъ мнимую бумагу, но оказалось не такъ-то легко сдѣлать это. По-утру бѣднягу отправили въ больницу, и онъ пролежалъ тамъ три мѣсяца, а я сразу отучилъ арестантовъ отъ шутокъ надъ собою. Правда, днемъ собралась было сходка, чтобы судить меня, но я подмазалъ глотку нѣкоторымъ иванамъ и меня оправдали. Такъ совершилось мое тюремное крещеніе...

«Подъ судомъ я сидѣлъ цѣлый годъ, и только въ маѣ 87 года меня приговорили, наконецъ, на годъ и четыре мѣсяца къ рабочему дому, но послѣдній былъ замѣненъ одиночнымъ заключеніемъ; товарищъ же мой Брусицынъ, какъ совершеннолѣтній, былъ осуж-

день на четыре года въ арестантскія роты и отосланъ въ Архангельскъ. Срокъ свой я отбылъ въ новой старорусской тюрьмѣ, тогда только что построенной по образцу Дома предварительнаго заключенія въ Петербургѣ. Арестантамъ полагалась обычная скидка, но одиночное заключеніе строго не выполнялось. Тѣмъ не менѣе о старой тюрьмѣ приходилось отъ души пожалѣть, такъ какъ здѣсь не позволяли ѣсть своей пищи, не позволяли имѣть даже чай-сахаръ, а о табакѣ ужъ и говорить нечего: за одно имя его грозила недѣля темнаго карцера... Словомъ, порядки были очень строгіе, и тѣ самые арестанты, мои сожители по старой тюрьмѣ, которымъ, казалось, и самъ чортъ былъ не братъ, вели себя здѣсь тише воды, ниже травы, ломали шашку передъ каждымъ надзирателемъ, а смотрителю положительно готовы были лизать руки. Но, какъ это бываетъ со многими молодыми людьми, которыхъ не укатали еще крутыя горки, я началъ свою арестантскую карьеру не тихимъ и робкимъ поведеніемъ, а, напротивъ, дерзостью своей удивлялъ не только товарищей, но и само начальство. Съ смотрителемъ я столько разъ ругался, что онъ уставалъ сажать меня въ карцеръ. Но я задумалъ еще и другое. Однажды по тюрьмѣ пронесся слухъ, что къ намъ прійдетъ одинъ изъ великихъ князей. Смѣшно даже рассказывать, какая поднялась тогда суматоха, какъ струсилъ смотритель и всѣ надзиратели. Меня изъ карцера перевели тотчасъ-же въ общую камеру, куда посадили еще пятерыхъ малолѣтнихъ крестьянъ, арестованныхъ за порубку лѣса—кто на двѣ недѣли, кто на мѣсяцъ. Въ одиннадцать часовъ утра къ тюрьмѣ подкатило пять троекъ, и изъ нихъ вышли великій князь и вся военная и гражданская власть города. Нашъ номеръ былъ первый отъ входа, и къ намъ зашли прежде всего. Войдя, великій князь вѣжливо поздоровался, но, кромѣ меня, никто не зналъ даже, какъ слѣдуетъ его назвать, и потому отвѣчалъ ему одинъ я. Просмотрѣвъ у всѣхъ билеты, онъ обратился къ намъ съ вопросомъ, нѣтъ ли у насъ какихъ жалобъ. Тутъ я и выступилъ впередъ. Я показалъ хлѣбъ, которымъ насъ кормили, и который былъ на половину съ пескомъ; показалъ нашъ общій бакъ, въ которомъ подавался и обѣдъ, и держалась день и ночь вода для питья, такъ что ее нельзя было пить отъ постоянного запаха гнилой капусты; я жаловался, что арестантамъ не даютъ кипятку и, въ заключеніе, сказалъ: «Не обращайтесь, ваше высочество, вниманія на то, что въ кухнѣ вамъ подадутъ сегодня для пробы вкус-

ный обѣдъ. Это дѣлается только на одинъ день, а завтра опять насъ будутъ кормить гнилой капустой и тухлымъ мясомъ». Съ любопытствомъ выслушавъ мой разсказъ, великій князь обратился къ смотрителю съ вопросомъ, правда ли все это, но тотъ съ перепугу только и могъ сказать: «Ваше превосходительство!» и, смѣшавшись окончательно, замолчалъ. За него отвѣтилъ что-то губернский прокуроръ, а великій князь, въ гнѣвѣ, вышелъ вонъ.

«Все тотчасъ же перемѣнилось. Смотритель поступилъ новый, кормить арестантовъ стали лучше, даже съ воли начали все пропускать... Но я, не удовольствовавшись этимъ, удалилъ еще и старшаго надзирателя, Василия Александровича. Собственно, это былъ добрый человѣкъ, но пьяница и въ пьяномъ видѣ продѣлывалъ большія жестокости: для забавы онъ билъ арестантовъ ключомъ и любилъ ставить, кромѣ того, головныя банки, т. е. забиралъ въ одинъ кулакъ волосы съ макушки и, крѣпко натянувъ, ударялъ другой рукой по кулаку... Эта жестокая пытка была любимымъ его развлеченіемъ, и ради него онъ не дозволилъ арестантамъ стричься. Однажды, играя съ арестантами, я слегка зашибъ себя до крови голову и вотъ, пользуясь этимъ случаемъ, какъ только зашелъ въ мою камеру Василій Александровичъ и сказалъ: «Давай-ка, Мишка, волосы!»—я стрѣлой кинулся вонъ и побѣжалъ прямо къ доктору, которому и заявилъ, что старшій надзиратель ключомъ пробилъ мнѣ голову... Докторъ принесъ въ такое негодованіе, что, перевязавъ мнѣ ранку, послалъ сейчасъ же за смотрителемъ и въ присутствіи его составилъ протоколъ. Говорили даже, что старшаго отдадутъ подъ судъ: но подъ судъ его не отдали, такъ какъ онъ былъ дворянинъ, а только исключили въ тотъ же день со службы.

«Такъ незамѣтно окончился срокъ моего исправленія (а вѣрнѣе было бы сказать, развращенія), и въ апрѣлѣ 88 года я вышелъ изъ тюрьмы. За мной пріѣхала мать и привезла съ собою новую одежду, такъ какъ за два года я порядочно выросъ, и прежняя уже не годилась. Мы въ тотъ же день поѣхали въ Петербургъ. Отца застали еще въ постели; при входѣ моемъ онъ поднялся и ласково поздоровался—въ этотъ разъ онъ вполне вѣрилъ въ мою невиновность. Онъ тотчасъ же предложилъ мнѣ завѣдывать по-прежнему своей торговлей, и я съ жаромъ ухватился за это предложеніе. Я долженъ вамъ сказать, что, не смотря на всю свою развращенность, сидя въ тюрьмѣ, я много размышлялъ о своемъ прошломъ и будущемъ и пришелъ къ тому убѣжденію, что лучше всего

на свѣтъ честный трудъ и кусокъ хлѣба, заработанный съ чистой совѣстью. И я думаю, что если бы люди были развитѣе и добрѣе, если бы они нѣсколько иначе глядѣли на вещи и по-человѣчески относились къ тѣмъ, кто однажды сдѣлалъ ошибку, то мое рѣшеніе пойти по хорошему пути было бы не пустой мечтой. Но люди были не таковы, и при первой же серьезной попыткѣ моей сблизиться съ ними, я получилъ ужасный нравственный толчокъ, какого никогда не ожидалъ: никто не только не подаль мнѣ руки помощи и добраго совѣта, чтобы удалить отъ прошлаго и его грязныхъ дѣлъ, а, напротивъ, каждый, казалось, спѣшилъ глубже толкнуть меня въ пропасть преступленія и разврата такъ, чтобы я не могъ уже остановиться и опомниться... Простите мнѣ за эту философію, но слишкомъ ужъ много пришлось мнѣ тогда выстрадать, чтобы я могъ теперь спокойно вспоминать и рассказывать.

«Съ первыхъ же дней, какъ я сталъ за прилавокъ, я замѣтилъ, что отношеніе ко мнѣ родныхъ и знакомыхъ совсѣмъ уже не то, что было прежде. Каждое ихъ слово, каждая улыбка говорили мнѣ о презрѣніи, о желаніи уязвить меня, оскорбить, и это желаніе чудилось мнѣ даже тамъ, гдѣ его, быть можетъ, и не было вовсе. И при всякомъ посѣщеніи магазина какимъ-нибудь знакомымъ меня бросало то въ жаръ, то въ холодъ; отъ одного взгляда этихъ людей я приходилъ въ ярость и готовъ былъ на все... Это состояніе начало, наконецъ, повторяться со мной такъ часто, что, во избѣжаніе какого-нибудь безумнаго поступка, я рѣшилъ объясниться съ отцомъ и умолять его отставить меня, хоть на время, отъ торговли. Его сильно удивило мое рѣшеніе; не давъ мнѣ договорить, онъ сказалъ, что слѣдовало гораздо раньше, еще два года тому назадъ, обо всемъ этомъ подумать, и что если мнѣ не стыдно было въ тюрьму попадать, такъ не должно быть стыдно и въ глаза людямъ глядѣть. Словомъ, я увидалъ со стороны отца полное непониманіе моей душевной смуты; тѣмъ не менѣе я наотрѣвъ отказался продолжать ходить въ лавку. Отецъ вспылилъ и хотѣлъ было поднять на меня руку, но онъ увидалъ въ глазахъ моихъ что-то такое, что заставило его остановиться: передъ нимъ стоялъ уже не прежній забитый и запуганный мальчикъ, а юноша, въ которомъ пробудились совѣсть и сознаніе собственного достоинства...

«Онъ махнулъ на меня рукой, и съ этихъ поръ я сталъ безвыходно сидѣть дома, скучать, злиться на всѣхъ и отчаяваться. Все старое я презиралъ, а новаго у меня ничего еще не было въ



головѣ. А между тѣмъ я былъ молодъ, во мнѣ играла кровь... Я жаждалъ общества, дѣятельности, дружбы, душевныхъ бесѣдъ... Во время этого хаоса мыслей мнѣ нуженъ былъ человѣкъ съ понятіемъ, который вывелъ бы меня изъ заблужденія, указать бы мнѣ дорогу, куда я долженъ былъ идти. Но такого человѣка не нашлось. И по неволѣ приходилось мнѣ, незамѣтно для самого себя, мириться съ своимъ прошлымъ, оправдывать передъ своею совѣстью свои дурные поступки. Мириться съ прошлымъ! съ этимъ позорнымъ прошлымъ, которое стоило мнѣ столько слезъ, мукъ, отчаянія! И теперь, когда во мнѣ пробудилась совѣсть, мнѣ снова пришлось страдать и плакать безплодно, безъ всякой пользы, такъ какъ судьбой было рѣшено, чтобъ я погибъ окончательно и уже безъ возврата...

«Тѣмъ временемъ отцу моему понадобилось подыскать новую, болѣе удобную квартиру, и послѣ многихъ поисковъ и трудовъ ему удалось найти подходящую во второй ротѣ Измайловскаго полка. Лѣтомъ мы переѣхали туда, и тутъ я былъ страшно пораженъ, узнавши, что домъ нашъ принадлежитъ генералу Красинскому. Но не успѣлъ я еще опомниться отъ перваго удивленія, какъ, выйдя на дворъ и взглянувъ изъ любопытства наверхъ, увидалъ въ окнѣ третьяго этажа... Лизавету Семенову, ту самую женщину, которая меня нѣкогда погубила! Едва вѣря собственнымъ глазамъ, я съ часъ времени, точно въ столбнякъ, простоялъ на одномъ мѣстѣ, хотя въ окнѣ давно уже никого не было. Я весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и въ эту минуту готовъ былъ на какое угодно преступленіе! Мнѣ было душно, я весь горѣлъ; какъ пьяный, вышелъ я на улицу и машинально, безъ всякой цѣли, отправился, куда глаза глядѣли. Мысли у меня путались. Все, что я выстрадалъ изъ-за этой женщины, все мое недавнее прошлое, какъ живое, встало передо мной... Мнѣ хотѣлось ей мстить, страшно мстить, и я придумывалъ, какъ бы лучше сдѣлать это. Одно время мнѣ пришло даже въ голову вскочить среди бѣлаго дня въ квартиру генерала и жесточайшимъ образомъ изрѣзать Лизавету на мелкіе куски! Но я отогналъ эту мысль: не Лизавету, конечно, было мнѣ жалко, а не хотѣлось себя самого подвергать опасности. За то, говоря по чистой совѣсти, я съ удовольствіемъ исполнилъ бы свой планъ гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ, вдали отъ людскихъ взоровъ.

«Возвращаясь поздно вечеромъ домой, я былъ увѣренъ, что тамъ ждутъ меня непріятности, что Лизавета узнала меня, доложила обо

всемъ своему генералу, и тотъ немедленно отказалъ моему отцу отъ квартиры. Однако, опасенія моя не оправдались: какъ въ этотъ, такъ и въ слѣдующіе дни все было у насъ спокойно, и отецъ ничего не подозрѣвалъ»...

На этихъ словахъ, рукопись Шустера, къ сожалѣнію, оборвана. Случилось это такимъ образомъ.

Во время тревоженій ломовскаго періода, длившихся около двухъ мѣсяцевъ, мнѣ было, конечно, не до учениковъ съ ихъ автобіографіями, они сами хорошо понимали это, и ученье и писательство временно пріостановились. А когда личныя мои тревоги окончились, и я готовъ былъ вернуться къ обычному образу жизни и къ обычнымъ занятіямъ, снова началъ интересоваться обществомъ своихъ невольныхъ сожителей, ихъ горемъ и радостями, то, къ удивленію своему, увидалъ, что въ отношеніяхъ арестантовъ къ Шустеру опять успѣла произойти рѣзкая перемѣна къ худшему. Снова всѣ сторонились отъ него, отказывались съ нимъ ѣсть изъ одной чашки, ругали его «поганымъ жидомъ» и вообще выказывали величайшее презрѣніе. Самъ Мишка Шустеръ имѣлъ опять запуганный и какой-то растерянный видъ; онъ смиренно лежалъ на нарахъ, въ своемъ углу, углубившись въ писанье или другую какую работу, и, казалось, не замѣчалъ того, какъ къ нему относится камера. Но невнимательность эта, очевидно, была дѣланной; подходя къ столу за своей порціей пищи, онъ каждый разъ виновато опускалъ голову и пугливо бѣгалъ глазами по сторонамъ. Ясно было, что его въ чемъ-то поймали, уличили. Я недоумѣвалъ. Но вотъ однажды, въ отсутствіи Шустера, въ камеру вбѣжалъ Сохатый, сконфуженный и вмѣстѣ разъяренный.

— Убирайте отъ меня эту стервину проклятую!—закричалъ онъ, швыряя долой съ наръ подстилку своего недавняго пріятеля.

— Что такъ? Аль разонравилась Катенька? — иронически спросилъ кто-то изъ кобылки.

— Да кто-жъ ее зналъ, сволочь, что она... такая? Вы чего-жъ молчали, коли слышали?

— Полно! будто ты не зналъ?

Сохатый закрестился обѣими руками:

— Вотъ тебѣ крестъ и Пресвятая Богородица, не зналъ! Да отъ нея, отъ падлы, еще заразу получить можно: каждый день, говорить, въ больницу ходить, отъ сифилиса лѣкарства береть.

— Вотъ такъ штука! Вся тюрьма отлично знала, одинъ Соха-

тый у насъ невиннымъ младенцемъ былъ! Повѣрите-ль вы этому, братцы?

Сохатаго подняли на смѣхъ. Окончательно переконфузившись, онъ заплевался, разразился громкими проклятіями и сталъ топтать ногами тюфякъ Шустера, продолжавшій валяться на полу.

Вечеромъ на повѣрку явился давно не бывавшій въ тюрьмѣ бравый капитанъ. Неожиданно для всѣхъ Шустеръ обратился къ нему съ жалобой.

— Господинъ начальникъ, мнѣ не дозволяютъ на нарахъ спать.

— Кто не дозволяетъ?

— Арестанты.

— Почему?

— Не могу знать, господинъ начальникъ.

Лучезаровъ помолчалъ и пожевалъ губами.

— До меня донеслись дурные слухи о тебѣ, — внезапно возвысилъ онъ голосъ, — да, очень дурные, братецъ! Я не хотѣлъ вѣрить этимъ рассказамъ, но приходится вѣрить. Такъ знай же: я не допущу, чтобы въ моей тюрьмѣ такіа мерзости совершались! Я уже принялъ относительно тебя мѣры.

И съ этой таинственной угрозой онъ вышелъ вонъ. Точно сдерживаемая долго лавина, прорвалось тогда настроеніе камеры: все зашумѣло, заговорило, всѣ разомъ набросились на несчастнаго Шустера. Плевки и слова: «сволочь», «язычникъ», «отродье жидовское», «погань нечистая» полетѣли на него со всѣхъ сторонъ. Загнанный, оплеванный, онъ стоялъ, прижавшись спиной въ уголъ, и молчалъ, но въ чертахъ его поблѣднѣвшаго лица меня поразила рѣзкая перемена: слѣды недавней еще робости и смущенности сразу исчезли и смѣнились какимъ-то безстыднымъ нахальствомъ: во взглядѣ большихъ, черныхъ, какъ двѣ сливы, блестящихъ глазъ свѣтилась жгучая ненависть, сквозило убивающее презрѣніе...

— Господа, оставьте его! — поспѣшилъ я обратиться къ раскормившейся публикѣ. — Шустеръ, положите свою постель возлѣ моей.

Молча, онъ поспѣшилъ воспользоваться моимъ приглашеніемъ, и хотя арестанты долго еще продолжали на него кричать, но онъ не обращалъ уже на нихъ никакого вниманія, — по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ скорѣ видъ, что заснулъ.

На другой же день мнѣ пришлось разговориться объ немъ съ общимъ старостой Годуновымъ, жившимъ теперь въ моей камерѣ. Я высказалъ предположеніе, что Шустеръ, быть можетъ, и не вино-

вать вовсе въ томъ, въ чемъ его обвиняють. Хитрый хохоль только разсмѣялся на это.

— Вы, пожалуй, и Сохатому повѣрили, что онъ ничего не зналъ? Полноте, Иванъ Николаевичъ! Мы наперечетъ знаемъ тѣхъ даже, кто этой сволочью пользуется. Вы возьмите хоть то: откуда же у него табакъ хорошій берется, чай, сахаръ? Или вонъ на прошлой недѣлѣ портной Тихтенко перешилъ ему казенную куртку на пинжакъ. Съ меня за такую же работу онъ 1 р. 50 к. спросилъ... Тоже вѣдь этиакія деньги достать надо.

— Но почему же вы не преслѣдуете тѣхъ-то господъ? Вѣдь они, по моему, несравненно виновнѣе даже...

Годуновъ пожалъ плечами.

— У нашей кобылки на этотъ счетъ свои понятія имѣются. Она держится правила: вышелъ случай — бери, не вышелъ — бѣги. Да и какъ же преслѣдовать, если добрая половина тюрьмы въ этомъ виновна? Ну, а такихъ сволочей, какъ Катька, арестанты то откармливаютъ на убой, то бьютъ по мордасамъ. Впрочемъ, и то сказать, Иванъ Николаевичъ: въ другой тюрьмѣ, мы, пожалуй, и вниманія бы не дали руки марать объ такую стервину, ну, а здѣсь — другое дѣло, здѣсь ее терпѣть не приходится.

— Почему именно здѣсь? Не все ли равно?

— Большая разница.

Однако, разницы этой Годуновъ такъ и не опредѣлилъ вполне для меня ясно: другая тюрьма... другіе люди... все на виду... больше конфузу... Выходило, какъ будто, такъ, что присутствіе людей, подобныхъ мнѣ и моимъ товарищамъ, оказывало немалое вліяніе на настроеніе тюрьмы. Къ сожалѣнію, вліяніе это — «конфузъ», какъ выражался Годуновъ — было какое-то одностороннее: Шустера презирали, готовы были гнать, бить, и въ то же время подъ сурдинку «добрая половина тюрьмы» не считала зазорнымъ участвовать въ его позорѣ.

Однако, записки Шустера, дышавшія мѣстами такой искренней грустью, ставили меня временами втупикъ и не позволяли окончательно повѣрить тому, что про него рассказывали. Я все еще словно на что-то надѣялся, пока не пришлось убѣдиться окончательно, собственными глазами...

.....  
Что влекло, думалъ я, этого несчастнаго къ подобнымъ гадостямъ? Если въ другой тюрьмѣ онъ еще могъ бы, пожалуй, найти

нѣкоторое оправданіе въ развращающихъ примѣрахъ, въ систематическомъ голоданіи или возможности широко пользоваться заработанными деньгами, то въ Шелайской тюрьмѣ...

Въ сердцѣ моемъ словно что оборвалось послѣ этого открытія, и вся прежняя симпатія къ несчастному юношѣ сразу пропала. Я не только не сталъ настаивать на томъ, чтобъ онъ продолжалъ свои записки, но почувствовалъ непобѣдимое отвращеніе и къ тѣмъ тетрадкамъ, какія уже были имъ составлены. Мнѣ было противно касаться этихъ грязныхъ, засаленныхъ листовъ, и я не разъ собирался предать ихъ сожженію... Но потомъ я какъ-то позабылъ о нихъ, и только этому обстоятельству они обязаны были своимъ спасеніемъ. Нѣсколько лѣтъ спустя я совершенно случайно натолкнулся, разбирая свой старый хламъ, на эти записанныя полустершимися карандашомъ тетрадки и, перечитавъ, отъ души пожалѣлъ, что онѣ обрывались на самомъ, что называется, интересномъ пунктѣ. Если бы авторъ и дальше писалъ съ той же несомнѣнной правдивостью и откровенностью, то психологія этого жалкаго, безвозвратно погибшаго человѣка могла бы, думается мнѣ, представить въ своемъ родѣ значительный интересъ...

Мнѣ больше ничего неизвѣстно объ его судьбѣ. Вскорѣ послѣ описанныхъ событій онъ переведенъ былъ въ другой рудникъ, вѣроятно, по настоянію самого Шестиглазаго. Арестанты громко радовались этому переводу.

## XVI.

### Слава Шелая. Увлеченіе писательствомъ. Каторжные мечтатели.

Имя Шелая далеко уже гремѣло по всей каторгѣ, для однихъ являясь грозой, для другихъ, напротивъ, какимъ-то земнымъ эльдорато, чѣмъ-то вродѣ каторжнаго университета, откуда желающіе могли выйти не только грамотными, но и чуть-ли не образованными людьми. Все лучшее, чѣмъ отличалась Шелайская тюрьма, стоустая молва раздувала до невѣроятныхъ размѣровъ: ходилъ, напр., слухъ, будто въ нашихъ рукахъ имѣется огромная библіотека, и въ тюрьмѣ съ разрѣшенія начальства устроена настоящая, правильно организованная школа, лучшихъ учениковъ которой раньше срока выпускаютъ въ вольную команду; умственные и нравственные качества самихъ учителей пылкое воображеніе рассказчиковъ (т. е. уходив-

шихъ изъ Шелая на поселеніе арестантовъ) рисовало въ самыхъ розовыхъ и лестныхъ для нихъ краскахъ, и, что всего удивительнѣе, въ числѣ этихъ безкорыстныхъ панегиристовъ оказывались нерѣдко субъекты, въ бытность свою въ тюрьмѣ, казалось, меньше всего дарившіе насъ дружескими симпатіями. Но прошедшее всегда представляется въ преувеличенномъ освѣщеніи, и немудрено, что у людей, покидавшихъ, наконецъ, проклятую каторжную жизнь и шедшихъ на волю, сердце противъ воли размягчалось, хоть на короткое время, и фантазія начинала разыгрывать веселый танецъ. Само собой разумѣется, что панегиристы-разсказчики не забывали упоминать, тоже все преувеличивая, и о матеріальной помощи, которую мы оказывали кобылкѣ.

Въ результатъ всего этого происходили, случалось, горестныя недоразумѣнія. Въ то время, какъ большинство шелайскихъ обитателей денно и нощно рвалось всѣми силами мечты вонъ изъ душныхъ стѣнъ образцовой тюрьмы, въ какомъ-нибудь Стрѣтенскѣ, гдѣ производились раскомандировки шедшихъ въ рудники партій, нѣкоторые изъ арестантовъ сами умоляли начальство назначить ихъ въ Шелай. Просьбы эти иногда исполнялись, и вотъ злополучныхъ мечтателей въ первые же дни по прибытіи къ намъ ожидало самое горькое разочарованіе: все хорошее, чѣмъ гремѣла и славилась наша тюрьма, оказывалось на дѣлѣ миниатюрнымъ до мизерности... Конечно, доходившее временами до трогательности стремленіе кобылки къ свѣту образованія кое-къ чему обязывало меня съ товарищами, и мы кое-что дѣлали въ этомъ смыслѣ, но все это было, въ концѣ концовъ, лишь незначительной, до обиднаго незначительной каплей въ огромномъ морѣ потребности!

Нельзя съ другой стороны сказать, чтобы и всѣ рвавшіеся въ Шелай заслуживали симпатіи и безусловно стояли выше большинства каторги въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Разные и среди нихъ встрѣчались субъекты. Однажды въ нашу рудникъ привезли бродягу изъ тѣхъ непомнящихъ ивановъ, которыхъ развозятъ по всѣмъ тюрьмамъ и показываютъ надзирателямъ и другимъ служащимъ въ надеждѣ, что кто-нибудь изъ нихъ признаетъ въ немъ бѣглаго каторжнаго. Шелайскіе надзиратели не признали его «своимъ», и, въ ожиданіи отправки въ другой рудникъ, оригинальный гость посаженъ былъ, по обыкновенію, въ карцеръ. Кобылка, разумѣется, завела съ нимъ, немедля ни минуты, дѣятельныя сношенія, снабдила его табакомъ, а въ обмѣнъ получила разныя сенсаціонныя по-

ности изъ жизни тюремнаго міра: тотъ «сорвался», другого «засыпали», третьяго «пришили»... Меня и моихъ товарищей новости эти, державшія всю тюрьму въ неописуемомъ волненіи, мало, конечно, интересовали. Но вотъ ко мнѣ подбѣжалъ съ крайне таинственнымъ видомъ парашникъ Милосердовъ и вручилъ какое-то письмо въ за-саленномъ конвертѣ изъ сѣрой бумаги съ огромной, аляповато сдѣланной сургучной печатью.

— Что такое? Отъ кого это?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Изъ Александровской богадѣльни, отъ кого-то изъ вашихъ,—зашепталъ, оглядываясь, Милосердовъ,—этотъ, что на уличку-то привезенъ, передалъ. Сказываетъ, Проня чуть не отобралъ при обыскѣ, да старая шельма хитрѣе его оказался—успѣлъ спрятать. Пуще всего, говорить, берегся, чтобъ знаки не стерлись.

— Какіе знаки?

— А какъ-же! на конвертѣ-то, смотрите, что цифири наставлено...

Конвертъ, дѣйствительно, испещренъ былъ разными непонятными іероглифами и цыфрами: 80—40—70—100—400—71—12—00—44 и т. д., послѣ чего значилось: «въ нихъ же заключается число 666». Тутъ же, вокругъ сургучной печати, латинскими буквами выведено было «Cum Deo», а на оборотной сторонѣ красовался удивительный адресъ: «Обществу русскаго Сацыала».

— Что за чепуха такая?—воскликнулъ я, пожимая плечами, и хотѣлъ было вернуть письмо, какъ не адресованное на мое имя, но почтальонъ замахалъ руками и такъ убѣдительно закричалъ: «Вамъ, вамъ!»—что я разорвалъ бумагу и прочиталъ въ ней буквально слѣдующее:

«Господа, покорнѣйше прошу подать руку помощи мнѣ, какъ погибшей овцѣ израилевой, заблудившей въ придѣлахъ императорскаго дому и жрицовъ. Мною принѣты мѣры о переводѣ къ Вамъ въ Шелай, но не могу никакъ вырваться. Смотритель имѣетъ полную тюрьму фискаль и ему меня внушили остерегаться. Онъ позволяетъ себѣ морить Арестантовъ голодомъ и по нѣскольку дней, случалось, не выдаетъ на ужинъ сала, подобравъ себѣ шайку тюремныхъ Авантюристовъ, которые всѣмъ и управляютъ, и никто не смѣлъ сказать слова! Причиняетъ неспособнымъ тѣлесное наказаніе: Валентій Щапшъ съ традалъ порокомъ сердца и легкихъ, по причинѣ нанесенныхъ ударовъ его постигла Ероplecsia, почему вскорѣ и померъ. 14 іюля сего года я написалъ *Прошеніе* на имя Забайкальскаго Г. Губернатора въ темѣ нигилистическаго текста по поводу прине-

сти мнѣ желательное покаяніе за всю мою жизнь; но фискалы внушили г. Смотрителю, что я могу ему повредить, и онъ меня въ наручнѣхъ и кандалахъ около мѣсяца держалъ во тѣмъ Адовой, называемой карцеръ. И я изъятый по роду болѣзни, легкихъ и пороковъ сердца отъ тѣлеснаго наказанія, вызвалъ меня собманомъ въ контору и причинилъ мнѣ жестокія раны формѣнно на скамьѣ, а я имѣя форменныхъ два врачебныхъ свидѣтельства.

«И не имѣю никакихъ возможныхъ средствъ къ жизни, и недостаетъ моихъ физическихъ силъ и умственныхъ способностей состезаться съ Вонширомъ роду человѣческаго. Въ среду и пятницу отнять съ помощью Иванцовъ ужинъ, варять одинъ разъ въ сутки ничтожную кашицу.

«Я же правды не могу умолчать во вѣкъ, я въ силѣ состезаться съ жизнью и смѣртью. Сколько мнѣ дали розокъ я не знаю потому что по третьему разу свѣкупіи лишень былъ чувствъ и сознаний; а когда пришелъ въ себя, то сказалъ Смотрителю что Вы изъ меня ничего никогда не можете извлечь въ свою пользу, а я прошу Васъ мое Прошеніе отправить по принадлежности, а меня перевести въ Шелай. Онъ мнѣ въ этомъ отказалъ. Прошу щедрую руку помощи отъ Вашихъ избытковъ, прощайте, будьте щастливы. Я, нынѣ Лаврентій Помякшевъ. Прошу отвѣтъ. У меня всѣ принадлежности писмоводства отобраны».

Отвѣта я, конечно, никакого не могъ дать на это странное посланіе; но въ душѣ моей невольно шевельнулся вопросъ: что если бы подобный субъектъ добился своего и переведенъ былъ въ Шелай? Были-ль бы мы рады подобному другу и поклоннику?.. О смотрителѣ Александровской тюрьмы я кое-что слыхалъ, правда, и раньше, такъ что въ обличеніяхъ Лаврентія Помякшева, быть можетъ, и была доля истины, но чужалось въ то же время, что исходить эти обличенія не изъ чистой души тоскующаго по правдѣ человѣка, а изъ болѣзненной страсти къ сутяжеству, доносамъ и всякаго рода интригамъ, страсти, дѣлающей этого рода людей одинаково ненавистными какъ начальству, такъ и товарищамъ. Случайно этому человѣку пришлось стать во враждебныя отношенія къ смотрителю и принять образъ невиннаго страдальца; но съ неменьшимъ удобствомъ онъ могъ бы, вѣроятно, при другихъ обстоятельствахъ быть и однимъ изъ тайныхъ агентовъ этого самаго смотрителя, находиться въ числѣ тѣхъ «Авентюристовъ», которыхъ онъ теперь обличалъ. И вотъ въ его кляузнической головѣ возникъ совершенно другой планъ:



онъ пишетъ губернатору прошеніе «въ темѣ нигилистическаго текста», гдѣ выражаетъ желаніе принести покаяніе за всю свою жизнь и просить о переводѣ въ Шелай, быть можетъ, обѣщаясь фискалить тамъ на своихъ мнимыхъ друзей.

Между тѣмъ, примѣръ Шустера, написавшаго для меня свои меуары, подѣйствовалъ на шелайскихъ обитателей крайне заразительно, и въ скоромъ времени не только я, но и Штейнгартъ съ Башуровымъ буквально завалены были всякаго рода рукописями въ стихахъ и прозѣ. Стиховъ писалось чуть ли не всего больше, и поэтами оказывались иногда такіе прозаическіе на видъ господа, что приходилось только руками разводиться. Къ счастью или къ несчастью, большая часть этихъ стиховъ погибла, и я лишь смутно могу теперь припомнить, что они были главнымъ образомъ обличительно-описательнаго характера; лирика Медвѣжьяго Ушка являлась положительнымъ исключеніемъ. Впрочемъ, Медвѣжье Ушко давно уже не писалъ стиховъ, да къ удивленію моему, и вообще не выказывалъ теперь ни малѣйшаго желанія заниматься какимъ-либо родомъ писательства. Больше всѣхъ заваливалъ меня стихами Петинъ-Сохатый, и должно отдать ему справедливость—въ нихъ было одно несомнѣнное достоинство: размѣръ всегда бывалъ выдержанъ, и рѣмы отличались достаточной звучностью; тѣмъ не менѣе я не разъ давалъ Сохатому откровенный совѣтъ бросить писать стихи. Петинъ обижался.

— Почему такъ? Развѣ рѣмой не отзывается?

— Нѣтъ, рѣма ничего себѣ,—объяснялъ я,—а только таланта у васъ нѣтъ.

— Какъ это такъ нѣтъ? Да задайте мнѣ, что хотите, въ стихахъ описать—завтра же будетъ готово!

— Вполнѣ вамъ вѣрю. Только это талантъ не поэтический, а версификаторскій.

— Это что такое—сификаторскій? Что-нибудь бранное?

— Нѣтъ, не бранное.

И я пытался разъяснить Сохатому разницу между поэзіей и версификаціей; онъ очень разсѣянно выслушивалъ и, отходя прочь, обьявлялъ:

— А я вотъ теперь такую штуку поднесу вамъ, что вы только диву дадитесь! Поймете тогда, что за человѣкъ Сохатый... Быть можетъ, вашего Пушкина аль Некрасова почище!

И однажды онъ подалъ мнѣ на лоскуткѣ бумажки слѣдующее стихотвореніе:

Пѣсня бѣглеца.

Славное море—священный Байкалъ,  
Славный корабль—омулевая бочка!  
Ну, Баргузинъ, пошевеливай валъ,  
Плыть молодцу недалеко.  
Долго-я тяжкія цѣпи влячилъ,  
Долго бродилъ я въ горахъ Аягуя,—  
Добрый товарищъ бѣжать пособилъ,  
Ожилъ я, волю почуя.  
Шилка и Нерчинскъ не страшны теперь!  
Горная стража меня не поймала,  
Въ дебрахъ не тронулъ прожорливый звѣрь,  
Пуля стрѣлка миновала.  
Шелъ я средь ночи, средь бѣлаго дня,  
Вкругъ городовъ озираюся зорко;  
Хлѣбомъ кормили крестьянки меня,  
Парни снабжали махоркой.  
Славное море—священный Байкалъ,  
Славный и парусъ—кафтанъ дыроватый..  
Ну-жъ, Баргузинъ, пошевеливай валъ,  
Слышатся бури раскаты.

Стихи эти, признаюсь, очень понравились мнѣ.

— Да вы вѣдь въ самомъ дѣлѣ поэтъ, Петинъ!—удивленно воскликнулъ я, взглянувъ на Сохатаго, стоявшаго подлѣ и съ любопытствомъ слѣдившаго за выраженіемъ моего лица во время чтенія. Онъ густо покраснѣлъ, смущенно фыркнулъ и отошелъ прочь, ворча:

— А вы какъ думали? Дайте время—не то еще напишу.

— Ну-ка, ну-ка, что онъ тамъ такое написалъ? Прочтите-ка мнѣ, Иванъ Николаевичъ,—подошелъ староста Годуновъ, услыхавшій мою похвалу. Съ Сохатымъ у него шли, какъ и у Лунькова, вѣчныя препирательства: одинъ другого то и дѣло уличалъ въ какихъ-нибудь продѣлкахъ или ошибкахъ. Этотъ Годуновъ, о которомъ не разъ уже мнѣ приходилось упоминать мимоходомъ, мнилъ себя человѣкомъ, способнымъ въ какомъ угодно (даже самомъ образованномъ) обществѣ не ударить лицомъ въ грязь, а къ Сохатому относился всегда проницательно, какъ къ молокососу, ничего еще не видавшему и не имѣвшему никакихъ основательныхъ свѣдѣній. И дѣйствительно, у него были кой-какіе резоны гордиться «образованіемъ»: гдѣ-то онъ прочелъ всѣ 29 томовъ русской исторіи Соловьева и всю всеобщую исторію Шлоссера, и если многое изъ прочитаннаго по-

нималъ до нельзя своеобразно, то всѣ главные факты, какъ не разъ имѣлъ я случай убѣдиться, отлично помнилъ; мало того, для какой-то неизвѣстной мнѣ цѣли Годуновъ учился у меня нѣмецкой грамматикѣ, на память о чемъ до сихъ поръ еще хранятся въ моихъ бумагахъ писанные его рукой нѣмецкіе вокабулы и склоненія указательнаго мѣстоименія *dieser, diese, dieses*. Правда, при всемъ этомъ по русски писалъ онъ совершенно безграмотно, что давало Сохатому обильную пищу для всякаго рода насмѣшекъ; но, какъ человѣкъ практической складки, Годуновъ признакомъ настоящей образованности считалъ не знаніе орфографіи; уличенный пріятелемъ въ невѣрномъ правописаніи, онъ начиналъ поэтому, съ свойственнымъ ему самохвальствомъ, резонировать:

— Ну, ужъ это ты, братъ, восьмилѣтнимъ мальчишкамъ оставь свою букву ять, тебѣ же двадцать восемь, а мнѣ и всѣхъ сорокъ пять есть. Не въ буквѣ ять умъ человѣка заключается. А вотъ это, что у тебя пустая башка, а у меня кое-что заложено здѣсь, какъ и то, что я видалъ свѣтъ и людей, понимаю жизнь,—это, надѣюсь, вполне подтверждать и оцѣнять люди, которые, братъ, повыше и поумнѣе насъ съ тобой!

Выразительный, полный достоинства взглядъ, который бросался при этихъ словахъ въ мою сторону, ставилъ меня порой въ самое щекотливое положеніе и заставлялъ, если не прямо принимать сторону Годунова, то отдѣлываться многозначительнымъ молчаніемъ.

Когда я прочелъ, по его просьбѣ, вслухъ «Пѣсню бѣглеца», Годуновъ всплеснулъ руками.

— И вы повѣрили, что эти стихи написалъ Сохатый? эта простокишная голова?

— Ну, а что-жъ, ты что-ли ихъ написалъ?—буркнулъ Сохатый, сверкнувъ телячьими глазами.

— И ты не краснѣешь, дубиница ты этакая? Ага, покраснѣлъ однако! Да вѣдь этой пѣснѣ, Иванъ Николаевичъ, по крайней мѣрѣ тридцать лѣтъ есть. Сохатый вашъ безъ штановъ еще бѣгалъ, когда я въ первый разъ въ Сибирь шелъ, и тогда уже я слышалъ эту пѣсню. Въ ней вѣдь о тѣхъ еще временахъ говорится, когда старый Акатуй гремѣлъ, и Кара не была въ такой славѣ!

Однимъ словомъ, Сохатый былъ изобличенъ въ литературномъ плагиатѣ и окончательно посрамленъ; пофыркавъ нѣкоторое время на Годунова, онъ, какъ настоящій софистъ, рѣшилъ занять другую позицію:

— Да развѣ я говорилъ Ивану Николаевичу, что я сочинилъ эти стихи? Я только сказалъ, что написалъ ихъ.

Но уже ничто не помогало: Луньковъ, Чирокъ и вся камера громко выражали удовольствіе по поводу блистательнаго провала Сохатаго, а Годуновъ побѣдоносно расхаживалъ, заложивъ за спину руки, и не уставалъ резонировать. Какое бы послѣ того стихотвореніе ни приносилъ мнѣ Сохатый, я прежде всего спрашивалъ: точно ли онъ самъ сочинялъ его?..

Среди безчисленныхъ тюремныхъ стихотворцевъ отыскался даже одинъ декадентъ. А быть можетъ, это былъ символистъ—не мнѣ рѣшать столь тонкій вопросъ, я знаю достоверно одно только, что стихи этого поэта ставили меня каждый разъ положительно втупикъ, и я съ любопытствомъ вглядывался въ фізіономію автора, желая узнать, смѣется онъ надо мной или нѣтъ. Но Котиковъ (такъ звали Шелайскаго Пеладана), очевидно, не смѣялся и самымъ серьезнымъ образомъ относился къ своимъ писаніямъ. Высокаго роста, худой, костлявый, съ скрюченной спиной и испуганно бѣгающими глазами на испитомъ, чахоточномъ лицѣ, лишенномъ всякой растительности, молчаливый и нелюдимый, это былъ вообще очень странный человѣкъ; товарищи нѣсколько даже побаивались его и считали сумасшедшимъ. Котиковъ подходилъ ко мнѣ обыкновенно на дворѣ тюрьмы, когда по близости не было никого изъ арестантовъ, и говорилъ, всегда робко озираясь по сторонамъ, почти шепотомъ. Онъ жаловался мнѣ на свои недуги (порокъ сердца), на то, что тюремныя стѣны давятъ ему мозгъ, грудь, а общество арестантовъ, чуждое всякихъ духовныхъ интересовъ, сводитъ его съ ума (на волѣ Котиковъ былъ, повидимому, мелкимъ чиновникомъ). Вообще ничего прямо безумнаго въ его разговорахъ не замѣчалось; относительно же своихъ стихотворныхъ упражненій онъ успѣлъ только сдѣлать мнѣ признаніе, что приемы не даютъ ему покоя,—«такъ и жужжать проклятыя, волѣ самага уха», и что въ минуты творчества ему кажется иногда, будто сердце его разрывается на части, и онъ вотъ-вотъ умереть...

— Прочтите, пожалуйста!—умоляющимъ голосомъ заканчивалъ Котиковъ свои признанія и, предварительно оглядѣвшись кругомъ, вынималъ изъ кармана листокъ махорочной бумаги, густо исписанный карандашемъ, и подавалъ мнѣ, а самъ торопился куда-нибудь улизнуть. Вскорѣ онъ выпущенъ былъ въ вольную команду, и я такъ и не успѣлъ разспросить его о смыслѣ и значеніи его странныхъ стиховъ. Одинъ изъ листковъ у меня сохранился, и я воспроизвожу его здѣсь съ буквальной точностью:

Достоевскій описать  
 Мертвыхъ домъ намъ въ прозѣ.  
 Я его переписалъ:  
 Въ поэтичной—поэзі!  
 Представляю: мертвыхъ домъ  
 Въ наилучшемъ вкусѣ.  
 Смыслъ и рифма, блескъ и громъ  
 Въ чувственномъ—казусѣ!  
 Фантастическій герой,  
 Генеалъ искусства!  
 Съ дома мертваго второй  
 Воскресъ геній чувства.  
 Надъ героемъ герой тузъ!  
 Попралъ сѣтръ конфузы!..  
 Композиторъ: гимныхъ музы!  
 Фортопьяно, музы!

*А. Котиковъ.*

Рядомъ съ поэтами-стихотворцами не уставали сочинять и прозаики. Среди нихъ не было, однако, ни одного беллетриста, и всѣ безъ исключенія занимались, подобно Шустеру, писаньемъ своихъ біографій. Тотъ-же Петинъ-Сохатый представилъ мнѣ цѣлыхъ восемь тетрадокъ, въ которыхъ успѣлъ, впрочемъ, изобразить лишь свое раннее дѣтство. Между всѣми этими біографіями было одно общее сходство: авторовъ ихъ занималъ и мучилъ одинъ и тотъ-же вопросъ—о причинахъ, толкнувшихъ ихъ на путь преступленія и разврата, и всѣ они одинаково скорбѣли о томъ, что не сдумѣли или не могли жить честно, въ средѣ неиспорченныхъ, хорошихъ людей, и—что самое важное—отъ этой скорби, отъ этихъ думъ вѣяло всегда несомнѣнной, глубокой искренностью...

Что же заставляло этихъ людей, спросить, быть можетъ, читатель, писать и заваливать меня своими писаніями? Этотъ вопросъ, признаюсь, и меня сильно интриговалъ. У меня мелькало даже первое время подозрѣніе, что имъ хотѣлось реабилитировать себя въ моихъ глазахъ, во что бы то ни стало доказать мнѣ, что они осуждены неправильно и страдаютъ въ каторгѣ безвинно, но первыя же прочтенныя страницы исповѣдей убѣждали въ грубой ошибочности такого подозрѣнія. Ни одинъ изъ авторовъ не дѣлалъ ни малѣйшей попытки представить въ сколько-нибудь смягченномъ видѣ свою преступность, скрыть какую-либо черту своего темнаго прошлаго, вся грязь котораго, напротивъ, выволакивалась наружу съ безпощадной, почти циничной откровенностью. Очевидно, причина, побуждавшая этихъ людей писать, была совсѣмъ другая, и не стояло особеннаго

труда доискаться ея, такъ какъ она рѣзко бросалась въ глаза и даже откровенно указывалась самими авторами мемуаровъ: этимъ несчастнымъ не только хотѣлось облегчить душу исповѣдью передъ человѣкомъ, который, какъ они надѣялись, все съумѣетъ понять, но и думалось, что онъ съумѣетъ повѣдать свѣту о пережитыхъ ими заблужденіяхъ, ошибкахъ, испытаніяхъ и мученіяхъ!..

Уже нѣсколько разъ упоминалъ я въ своихъ запискахъ, что отъносительно меня составилась среди арестантовъ какая-то странная увѣренность, что когда нибудь, выйдя изъ тюрьмы, я непременно опишу въ печати все, пережитое мной въ каторгѣ, все до малѣйшихъ мелочей, причѣмъ изображу не только тюремную администрацію, но и кобылку. Изъ этой именно увѣренности вытекали, напр., и шутки по отношенію къ Чирку, котораго стращали тѣмъ, что я, будто бы, записываю всѣ преступленія, когда либо совершенныя имъ на волѣ. Правда, мнѣ приходилось гдѣ-то упоминать также, что нѣкоторые изъ выдающихся арестантовъ, читавшіе «Записки изъ Мертваго Дома», крайне неодобрительно и почти враждебно относились къ ихъ автору, предполагая, что онъ сильно повредилъ каторгѣ раскрытіемъ ея мнимыхъ тайнъ и секретовъ; однако, эти же самые люди къ моему предполагаемому плану написать подобныя же записки относились вполне благосклонно, очевидно, увѣренные въ томъ, что я сдѣлаю это иначе, т. е. возьму на себя лишь прославленіе страданій каторги и изобличеніе ея притѣснителей, и многіе изъ этихъ людей, повидимому, не прочь были сами попасть на страницы будущаго сочиненія... Наивныя души! что-то сказали бы вы, если бы когда-нибудь и какъ-нибудь узнали, что я на самомъ дѣлѣ исполнилъ ту миссію, которую вы на меня возлагали, но исполнилъ не совсѣмъ такъ, какъ вамъ бы хотѣлось: изображая ваши поистинѣ великія горести, я высказывалъ временами и горькую для васъ правду...

Нѣкоторые изъ моихъ учениковъ-пріятелей не только «не прочь были», но положительно *сгорали жаждой* попасть въ мои будущія записки! Говорю это безъ тѣни преувеличенія. Особенно часто вспоминается мнѣ изъ этихъ курьезныхъ мечтателей-славолюбцевъ одинъ арестантъ, по фамиліи Пѣнкинъ, во всѣхъ отношеніяхъ производившій впечатлѣніе человѣка выдающагося и необыкновенно симпатичнаго. Даже и вѣнъность у него была незаурядная. Длинные бѣлокурые усы свѣшивались внизъ, прикрывая собой красивыя губы, въ углахъ которыхъ лежала печать постоянной грустной ироніи, свѣтившейся также и въ умныхъ синихъ глазахъ. Низы щекъ уже подернуты были замѣтными морщинами, хотя Пѣнкину было отнюдь

не болѣе 43 лѣтъ; когда-то онъ былъ, повидимому, человѣкомъ очень веселаго нрава, потому что и теперь еще не прочь былъ пошутить, побалагурить, рассказать смѣшной анекдотъ, но главной чертой его была теперь уже не веселость, а тихая грусть, задумчивая серьезность. Да и мудро ли? Ровно 23 года сидѣлъ уже Пѣнкинъ въ тюрьмѣ, и лишь одинъ разъ за все это время ненадолго «срывался» за тѣмъ, чтобы еще прочтѣе засѣсть, послѣ того, «въ стѣны каменные». Признаюсь, меня охватывала каждый разъ дрожь ужаса, когда я думалъ, что этотъ человѣкъ не знаетъ свободы *съ начала 1870 года*, т. е. съ того года, въ который я едва началъ сознательную человѣческую жизнь, маленькимъ девятилѣтнимъ мальчикомъ готовясь поступить въ гимназію! Вѣдь съ тѣхъ поръ прошла вѣчность не только для отдѣльных людей, но и для цѣлыхъ поколѣній, для цѣлыхъ народовъ! А человѣкъ, живой, способный страдать и чувствовать человѣкъ,—все это время провелъ въ душевной, кошмарной атмосферѣ каторжныхъ тюремъ... Но и въ будущемъ положеніе Пѣнкина казалось вполне безнадежнымъ. Его двадцатипятилѣтній каторжный срокъ считался почему-то со времени вторичнаго осужденія послѣ побѣга, и вольной команды, по объясненію браваго капитана, ему совсѣмъ не полагалось.

Вся тюрьма поголовно относилась къ нему съ уваженіемъ, и слово Пѣнкина во время всякихъ арестантскихъ тревоженій (въ которыхъ онъ, впрочемъ, не любилъ принимать участіе) отличалось въ ея глазахъ особенной вѣскостью; цѣнило его и само начальство, какъ тихаго, солиднаго арестанта, прекраснаго къ тому же мастерового-плотника.

Къ сожалѣнію, мнѣ какъ-то ни разу не удавалось жить съ Пѣнкинымъ въ одномъ номерѣ. Еще задолго до того времени, какъ по тюрьмѣ прошла волна повальнаго увлеченія писательствомъ, онъ не разъ говаривалъ мнѣ, оставаясь со мной вдвоемъ въ горной свѣтлицѣ:

— Вотъ мою бы вамъ жизнь прослушать, Миколайчъ! Думаю, что не пожалѣли-бъ. Потому не всякому столько пережить удается. И по волѣ, и въ тюремной участи чего только я не видѣлъ, чего не испыталъ... Эхъ, кабы все это описать! Некому только описать-то (самъ Пѣнкинъ былъ малограмотенъ)... Умру—такъ все и пропадетъ, словно ничего и не было.

Эту мысль и это сожалѣніе много разъ высказывалъ Пѣнкинъ, и нужно ли говорить, что я отъ души былъ бы радъ выслушать рассказъ объ его жизни, тѣмъ болѣе, что, какъ я слыхалъ отъ

арестантовъ, онъ былъ неподобнымъ рассказчикомъ; но обстоятельства складывались для этого какъ-то особенно неблагоприятно, и случая долго не выходило. Наконецъ, однажды въ нашей камерѣ понадобилась какая-то небольшая передѣлка, и всѣхъ ея обитателей, а въ томъ числѣ и меня, начальство «перегнало» на однѣ сутки какъ разъ въ тотъ номеръ, гдѣ жилъ Пѣнкинъ. Я поспѣшилъ, разумѣется, воспользоваться этимъ случаемъ и попросилъ Пѣнкина, не откладывая, приняться за рассказъ. Онъ не сталъ кобениться и усѣвшись послѣ вечерней повѣрки рядомъ со мною, началъ говорить своимъ тихимъ, задушевымъ, пріятно глѣбучимъ голосомъ саратовца, рассказывая, точно, не собственную жизнь, а гдѣ-то слышанную или вычитанную изъ книги стародавнюю быль или сказку. Не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ рассказъ этотъ захватилъ меня всего, цѣликомъ, и я уже не слушалъ, а буквально горѣлъ, словно отдавшись во власть этого страннаго человѣка, продолжавшаго говорить мѣрно-спокойнымъ, слегка только грустнымъ голосомъ. Да и не я одинъ увлекся—въ камерѣ наступала гробовая тишина—всѣ слушали Пѣнкина съ пожирающимъ вниманіемъ, и когда рассказъ, наконецъ, окончился часа въ два ночи, я чувствовалъ себя взволнованнымъ, потрясеннымъ до глубины души, до дрожи во всемъ тѣлѣ... Мнѣ казалось въ ту минуту, что никогда въ жизни ни одна книга не производила на меня такого сильнаго, такого жизненнаго впечатлѣнія; этотъ рассказъ былъ сама дѣйствительность, ужасная, полная всякаго рода кошмаровъ, похожихъ на мрачную сказку, но какъ бы живьемъ запечатлѣвшаяся въ памяти пережившаго ее человѣка и теперь вновь воскресавшая передъ изумленнымъ слушателемъ... Мнѣ казалось, что запиши я тогда же дословно этотъ рассказъ—и онъ былъ бы замѣчательнымъ литературнымъ произведеніемъ, которое произвело бы и на читателей такое же сильное впечатлѣніе. Но я его, къ сожалѣнію, не записалъ... Двѣ-три недѣли прошло съ той памятной ночи, я все собирался занести слышанное на бумагу—и никакъ не находилъ духу сдѣлать это: то, что выходило изъ-подъ моего карандаша, было такъ блѣдно, такъ вяло, что мнѣ становилось досадно и стыдно... А Пѣнкинъ нѣсколько разъ обращался ко мнѣ съ вопросомъ:

— Ну, что, Николаичъ, все еще не записали?

И когда я горячо принимался обнадеживать его, что вскорѣ непременно исполню обѣщаніе, онъ отвѣчалъ, грустно усмѣхаясь:

— Гдѣ, поди, записать! Возможно ли это? Такъ все и пропадетъ, точно и не было ничего...



И онъ оказался правъ въ своемъ пессимизмѣ. Прошли годы, а я такъ и не исполнилъ своего задушевнаго желанія. Да и исполнить его становилось съ каждымъ мѣсяцемъ все труднѣе и труднѣе, такъ какъ многое постепенно и незамѣтно забывалось, изъ памяти то и дѣло выскальзывали тѣ или другіе важные черточки и штрихи, и въ настоящее время, когда я помню уже одинъ только голый, блѣдный остовъ разсказа, когда-то произведшаго на меня столь глубокое впечатлѣніе, я уже не могу отважиться на попытку вдохнуть въ этотъ остовъ живое дыханіе, расцвѣтить мертвый трупъ красками жизни. И если Пѣнкину не удастся когда-либо встрѣтить другого образованнаго человѣка, который будетъ счастливѣе меня, то его горькое пророчество исполнится въ самомъ буквальный смыслѣ, и его поучительная, богатая внѣшнимъ и внутреннимъ содержаніемъ жизнь исчезнетъ безслѣдно, словно ея никогда и не было.

Гибелью и проклятіемъ этого человѣка былъ прежде всего тотъ порокъ, отъ котораго гибнетъ на Руси столько лучшихъ, талантливейшихъ людей; страсть къ водкѣ овладѣла имъ еще въ ранней юности. Но къ этому прибавлялась еще бурная строптивость темперамента, принимавшая подъ вліяніемъ винныхъ паровъ размѣры чего-то титаническаго, напоминавшаго черты нашихъ былинныхъ героев,—строптивость, ни за что не хотѣвшая считаться съ ложью и зломъ установившейся морали и обычаятъ; вполне естественно, что мелкая, буднично-пошлая современность въ свою очередь не могла мириться съ колющей ей глаза правдивостью и бунтарскими выходками этой неугомонной натуры. На каждомъ шагу, въ средѣ даже самыхъ близкихъ людей, создавались все новые и новые враги, и трагическая развязка являлась почти столь же неизбѣжной, какъ древній рокъ: въ пьяномъ видѣ Пѣнкинъ зарѣзалъ родного дядю и двоюроднаго брата... Разсказъ его обо всѣхъ этихъ событіяхъ отличался безпощадно-правдивымъ по отношенію къ самому себѣ анализомъ, и я думаю, что нельзя поэтому сомнѣваться и въ одномъ изъ другихъ его разсказовъ (о каторжномъ уже періодѣ жизни), чрезвычайно на мой взглядъ характерномъ для всего нравственнаго облика этого человѣка. Послѣ перваго своего побѣга изъ каторги онъ жилъ нѣсколько мѣсяцевъ (конечно, по подложному паспорту) у одного чинскаго купца. Купецъ этотъ до того полюбилъ Пѣнкина и до того довѣрился ему, что нерѣдко съ его помощью пересчитывалъ большія суммы денегъ. Купецъ былъ холостъ и одинокъ. И вотъ нашему бѣглецу гвоздемъ засѣла въ голову мысль—убить и ограбить хозяина. Долго боролся онъ съ своей совѣстью, и нѣсколько разъ ему удава-

лось побѣдить ее. Взявъ топоръ въ руки, онъ крался ночью къ хозяйской комнатѣ съ рѣшимостью совершить преступленіе—и, однако, каждый разъ дѣло кончалось тѣмъ, что, весь обливаясь потомъ и дрожа съ головы до ногъ, онъ возвращался назадъ и бросалъ смертоносное орудіе. А въ одинъ прекрасный день онъ явился къ хозяину и, во всемъ открывшись ему, умолялъ разсчитать и отпустить его, такъ какъ боялся, что когда-нибудь не совладаетъ съ бѣсомъ соблазна... Какая превосходная тема для художника психолога!

Дальнѣйшая судьба Пѣнкина сложилась не менѣе печально, чѣмъ и вся его жизнь. Какимъ-то чудомъ (всѣ называли это чудомъ) Лучезаровъ выпустилъ его въ вольную команду, и восторгамъ Пѣнкина не было предѣловъ. Повидимому, онъ искренно мечталъ начать новую жизнь... Но вотъ прошелъ откуда-то слухъ, быть можетъ и ложный, будто выпустили его по какому-то недоразумѣнію и скоро опять посадятъ въ тюрьму. Тогда въ одинъ бурный осенній вечеръ надзиратели, явившіеся въ вольнокомандческій баракъ на повѣрку, не нашли тамъ Пѣнкина—онъ скрылся. Меня уже не было въ Шелайскомъ рудникѣ, когда я узналъ, что около Верхнеудинска его поймали, и что онъ снова отправленъ въ каторгу...

Не менѣе страстнымъ желаніемъ повѣдать свѣту о своемъ бурномъ прошломъ отличался и Годуновъ. Съ глубокимъ презрѣніемъ глядѣлъ онъ на то, что я интересуюсь разсказами такой тюремной мелочи, какъ, напр., Луньковъ, и говорилъ ему съ обычнымъ самоудовольствомъ:

— Ежели сотню, тысячу такихъ описаній собрать, какъ твоя жизнь или жизнь какого-нибудь Сохатаго, то всѣ они вмѣстѣ не будутъ стоить и одной страницы біографіи моей жизни! Потому и по совѣсти могу сказать, что вкусилъ и сладкаго, и горькаго, сквозь желѣзныя и мѣдныя трубы прошелъ, и обо мнѣ не мѣшало бы въ журналахъ написать. Ну, а вы что съ Сохатымъ? Вороній кормъ—ничего больше!

Задѣтые за живое, Луньковъ и Сохатый вступали между собой въ оборонительный союзъ и горячо схватывались съ Годуновымъ, но, краснорѣчивъ по натурѣ, онъ никогда не лѣзъ за словомъ въ карманъ и въ этихъ спорахъ всегда загонялъ своихъ противниковъ, какъ выражаются арестанты, въ самый маленькій пузырекъ... Когда Годуновъ тоже принялся, наконецъ, за писаніе мемуаровъ, то онъ, повидимому, страшно волновался и тетрадкамъ своимъ придавалъ огромную цѣну, быть можетъ, потому еще, что самый процессъ писанья давался ему довольно туго, слова для выраженія мыслей по-

дыскивались не легко. За то, когда трудъ былъ доведенъ до послѣдней точки, и прочитанныя, одобренныя мною тетради отнесены были въ цейхаусъ и тамъ спрятаны въ моихъ вещахъ, въ ожиданіи лучшихъ времени,—Годуновъ сіялъ, какъ никогда, и часто ораторствовалъ въ слухъ всей камеры:

— Пусть только Иванъ Николаевичъ напечатаетъ когда-нибудь мои записки, тогда мы увидимъ, что изъ этого выйдетъ! Тогда поймуть, что такое жизнь ссыльнаго человѣка! Потому въ настоящее время ничего этого не знаютъ. Думаютъ, что мы идемъ на преступленіе такъ себѣ, съ легкой душой... Такъ пусть же знаютъ, что ссыльный тоже человѣкъ, что у него иной разъ кровью сердце обливается, когда онъ поднимаетъ руку на чужое добро! Пусть узнаютъ, кто настоящій виновникъ всего зла!

Имѣли ли такія мысли и рѣчи достаточное отношеніе къ дѣйствительному содержанію записокъ Годунова, читатель самъ ниже увидитъ, но это и не важно: важно то, что Годуновъ мечталъ повѣдать обществу исторію своихъ ошибокъ и злоключеній...

Мнѣ приходилось не разъ уже опредѣлять этого человѣка, какъ тюремнаго дипломата, человѣка себѣ на умѣ, а также какъ изряднаго хвастуна и самодовола. Казалось бы, эти характерныя личныя качества должны были неблагопріятно отразиться и на запискахъ, лишивъ ихъ прежде всего самаго главнаго и цѣннаго свойства—правдивости. Но, что всегда поражало меня въ людяхъ мало культурныхъ,—какъ только берутъ они перо въ руки, такъ сейчасъ становятся большею частью замѣчательно правдивыми и откровенными. Происходитъ это, быть можетъ, оттого, что, не имѣя никакого понятія о такъ называемой красотѣ формы, художественности изложенія, они встрѣчаютъ и меньше соблазновъ отступать отъ правды, тогда какъ образованные писатели слишкомъ часто жертвуютъ ею въ погонѣ за краснымъ словцомъ, за круглотою періодовъ и прочими аксессуарами литературности... Личный характеръ Годунова, правда, отразился на его произведеніи, но въ формѣ не только невинной, а почти комичной: чувство самоуваженія до того проникаетъ его записки, не смотря на ихъ покаянный тонъ, что оказывается—его, Годунова, любили и уважали рѣшительно всѣ, кто только сталкивался съ нимъ въ жизни, не исключая чиновъ полиціи и чуть ли не тѣхъ даже, кто билъ его и поролъ розгами... Онъ вообще ужасно любить и жалѣть себя и чуть не на каждой страницѣ проливаетъ слезы о своей злосчастной судьбѣ; эта односторонняя чувствительность доходитъ до того, что, убивъ однажды человѣка, онъ тоже пла-

четь, хотя—увы!—не о своей жертвѣ, а опять-таки о себѣ... И тѣмъ не менѣ фактическая сторона разсказа производитъ, повторяю, впечатлѣніе несомнѣнной, искренней правды, тѣмъ болѣе, что герой записокъ въ общемъ не обличаетъ, а скорѣе обличаетъ и бичуетъ себя. Въ скобкахъ маленькое замѣчаніе: этотъ самобичующій тонъ сильно напоминаетъ записки несчастнаго Шустера; многія мысли и даже самыя выраженія точно будто заимствованы однимъ авторомъ у другого, хотя на дѣлѣ люди эти никогда даже не разговаривали между собою. Этотъ фактъ кажется мнѣ въ высшей степени характернымъ.

За то въ другомъ отношеніи жизнь Годунова напоминаетъ мнѣ жизнь Пѣнкина: какъ того, такъ и другого въ каторгу привели какія-то роковыя силы, таившіяся въ глубинѣ ихъ души; за неимѣніемъ болѣе подходящаго слова, я назвалъ бы эту силу — *тоскою*... Какая-то природная неугомонность и ненасытность ни тому, ни другому не давала примириться со спокойной и ровной дѣйствительностью, толкая на борьбу съ нею... Но разница натуръ выражалась въ различіи формъ этой борьбы. Пѣнкинъ имѣлъ натуру сильную, властную и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-правдивую. Въ другой историческій моментъ и при другихъ общественныхъ условіяхъ изъ такого человѣка легко могъ бы выработаться общественный или религіозный протестантъ-фанатикъ, но наша сѣренькая дѣйствительность создала изъ него простого пьяницу-буяна и затѣмъ невольнаго убійцу. Натура болѣе мелкая и менѣ чистая толкнула Годунова на путь легкой наживы, сдѣлавъ изъ него жулика-бродягу и, наконецъ, корыстнаго убійцу. Однако, за всѣмъ тѣмъ, и черезъ эту темную жизнь яркою чертою проходитъ одинъ мотивъ и одно настроеніе, названное мною выше тоскою...

Какъ бы то ни было, жизнь Годунова кажется мнѣ очень типичной для нашихъ уголовныхъ ссыльныхъ, и тѣ изъ читателей, которые ищутъ въ настоящихъ очеркахъ не одной лишь занимательности сюжета, вѣроятно, не безъ интереса прочитаютъ нижеслѣдующій «сырой матеріалъ», извлеченный изъ подлинныхъ мемуаровъ каторжнаго бродяги. Остальнымъ же, пуще всего на свѣтѣ боящимся скуки, я порекомендую пропустить эту главу и прямо перейти къ слѣдующимъ.

## XVII.

## «Біографія моей жизни» Годунова.

«Отецъ мой былъ купецъ 2-й гильдіи Полтавской губ., города К. Выходецъ изъ Москвы, онъ происходилъ изъ старообрядцевъ, а мать была запорожская казачка очень богатаго рода; она составила отцу моему хорошую карьеру въ коммерціи. Раннее дѣтство я провелъ въ нѣгѣ, будучи баловнемъ семьи и любимцемъ отца, который хотѣлъ сдѣлать изъ меня вполне образованнаго человѣка и восьми лѣтъ отдалъ сначала въ приходское, а затѣмъ и въ уѣздное училище. Правда, ученіе показалось мнѣ букой, такъ что, по обычаю тѣхъ временъ (въ концѣ 50-хъ годовъ), учителя прибѣгли къ помощи березовой каши. И это помогло: хотя и не безъ горькихъ слезъ, я началъ учиться лучше. Однако, мечты отца вывести меня въ люди погби въ одинъ какой-нибудь часъ: случился пожаръ и уничтожилъ все наше состояніе... Родители принуждены были отдать меня въ услуженіе къ одному купцу изъ города Александріи. Такимъ образомъ, съ раннихъ лѣтъ я долженъ былъ почувствовать много скорби въ душѣ своей! Когда я подошелъ къ отцу проститься передъ отъѣздомъ, то почти не могъ видѣть его лица — до того слезы затмили глаза мои и захватили дыханіе... Я не о томъ плакалъ, что покидаю родину, но о томъ, что вижу дома такую скорбь, такой переверотъ въ семейныхъ обстоятельствахъ.

«Мой новый хозяинъ принялъ меня очень ласково, такъ какъ былъ друженъ съ моимъ отцомъ. Я скоро привыкъ подъ чужимъ кровомъ, да и дѣло мнѣ было давно знакомое, привычное. Меня всѣ полюбили за расторопность и успѣшность. Не знаю, почему и зачѣмъ, я началъ однако баловать: собирать и прятать въ разныхъ мѣстахъ лавки хозяйскія деньги. Когда ихъ находили въ товарѣ, я тотчасъ же бралъ вину на себя, чтобъ другіе приказчики не могли за меня пострадать; меня ставили на колѣни, драли за ухо, а то и волосную расправу производили, но я своего не бросаю, и непонятная страсть моя даже увеличивалась, хоть я и не зналъ еще, на что можно употреблять деньги. Такъ прошло три года, какъ вдругъ получило извѣстіе о смерти отца. Это было для меня страшнымъ ударомъ, и, не медля ни минуты, я собрался домой. Прибывъ въ родной городъ, я прежде всего пошелъ на могилу отца и тамъ плакалъ такъ много, что, наконецъ, заснулъ отъ утомленія и простудился. Когда горячка ослабѣла, и я пришелъ въ себя, мать расска-

зала мнѣ, что передъ смертью отецъ предсказалъ, что я буду *несчастливымъ* въ своей жизни. Не знаю, что внушило ему такую мысль, но исполнилась она впоследствии съ замѣчательной точностью...

«Все время моего пребыванія на родинѣ полно было мрака и печали. Я чувствовалъ, что уже нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который могъ бы направить мои шаги; много было родственниковъ, но всѣ они казались мнѣ людьми другого убѣжденія. Часы тянулись для меня годами, и я считалъ себя старикомъ. Я вспоминалъ свое счастливое дѣтство, глядѣлъ на то, что было теперь и что ожидало меня впереди,—и душа моя томила тоской и предчувствіемъ, что мнѣ придется бороться съ жизнью, какъ моряку съ волнами. Оправившись отъ болѣзни, я поѣхалъ въ Херсонъ, и когда дорога вышла на гору, съ которой виденъ былъ родной городъ, и я взглянулъ на него, то тяжело вздохнулъ, и слезы такъ и брызнули изъ моихъ глазъ!

«Въ Херсонѣ я поступилъ къ купцу, у котораго, кромѣ меня, было еще 15 приказчиковъ, но со мной онъ обращался отъѣнно отъ всѣхъ прочихъ, такъ что мнѣ было это даже противно, какъ напрасное напоминаніе о томъ, чѣмъ могъ бы я быть (самостоятельнымъ человѣкомъ) и чѣмъ долженъ стать теперь (рабомъ). Не прошло и году, какъ мнѣ стало тошно служить, и я попросилъ разсчета. Хозяинъ такъ и не могъ добиться отъ меня причины. Два мѣсяца прожилъ я послѣ того безъ мѣста и пришелъ, наконецъ, въ полное безденежье, однако рѣшилъ не идти больше по коммерческой части и поступилъ на парусное судно, которое везло въ г. Керчь. Но, какъ ни интересовала меня морская служба, тутъ извѣдалъ на практикѣ, что значить старая пословица «кто въ морѣ не бывалъ, тотъ и горя не видалъ»: всю дорогу ужасно страдалъ отъ морской болѣзни и, по прибытіи въ Керчь, опять поступилъ на службу въ одинъ богатый магазинъ. Съ годъ я прожилъ здѣсь припѣваючи, потому что хозяева не чаяли во мнѣ души. Но мнѣ уже исполнилось 19 лѣтъ, и женская красота стала мнѣ сниться и наяву и во снѣ; я началъ проводить ночи въ райскихъ мѣстахъ. Хозяинъ пробовалъ тогда прочесть мнѣ нотацию, но это до того не пришлось по вкусу моей амбиціи, что я перешелъ вскорѣ на другое мѣсто—къ одной купчихѣ-вдовѣ. Здѣсь я возымѣлъ такую довѣренность, что во всемъ своя рука была владыкой, насколько лишь софѣсть позволяла. Но въ это время, какъ говорится, легкокъ былъ умъ: если бы теперь, напримѣръ, попасть на такіе дивиденды, то лучшаго ничего бы и не пожелать, а тогда душа у меня лежала не

къ работѣ и къ богатству, а совѣмъ къ другому—и прежде всего къ свободѣ. Если я и раньше уже посѣщалъ такъ называемые райскіе дома, то теперь, можно сказать, окончательно въ рай заплелся, проводилъ тамъ дни и ночи, губя сонъ, здоровье и силы. И нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ меня такъ привлекалъ самъ по себѣ разгулъ,—водки, напримѣръ, я совѣмъ еще не пилъ въ ту пору,—но какое-то странное состояніе овладѣло мной: ничто и нигдѣ меня не интересовало; вездѣ грызла смертельная скука. Мнѣ казалось, что я уже не могу стать человѣкомъ, какимъ сталъ бы при отцѣ, и мысль, что я на всю жизнь обреченъ быть рабомъ другихъ, была мнѣ невыносима. Я сталъ небрежно относиться къ своей службѣ, и хозяйка дала мнѣ понять, что лучше было бы поискать мнѣ другого мѣста. Четыре мѣсяца прожилъ я послѣ того на свои средства, прилѣпившись къ одной околдовавшей меня гречанкѣ, въ которую влюбился до безумія. Но гречанка требовала денегъ, а ихъ у меня въ одинъ прекрасный день не осталось ни копѣйки. Вернуться къ правильной трудовой жизни, подыскать какое нибудь мѣсто казалось мнѣ невозможнымъ, и вотъ, не долго размышляя, я придумалъ одинъ фокусъ, который въ ту минуту представлялся мнѣ скорѣе забавнымъ, нежели дурнымъ, о преступленіи же мнѣ и въ голову не приходило. Именно я написалъ отъ лица бывшей моей купчихи записку, съ которой и явился въ одинъ богатый магазинъ съ требованіемъ товаровъ на 400 р. Въ магазинѣ не знали еще, что я уже не служу больше у купчихи, и безъ всякихъ разговоровъ выдали мнѣ по этой запискѣ товаръ. Это пришлось мнѣ по душѣ, и недѣлю-другую спустя я явился съ новой запиской, въ которой уже стояла болѣе крупная цифра. Приказчикъ, принявъ беззаботный видъ, заговорился со мною; я тоже, ничего не подозревая, жду заказаннаго товара, какъ вдругъ вижу полицію... Оказалось, первая продѣлка моя была вскорѣ открыта, и мнѣ поставили ловушку... Точно пораженный громомъ, я сталъ нѣмъ, глухъ и слѣпъ!

«Предстояло идти въ участокъ центромъ города, встрѣтить множество знакомыхъ, и я шелъ, весь сгорая въ огнѣ, ничего не видя и не слыша, и тутъ-то впервые понялъ, что пророчество отца начало сбываться... Когда отворились тюремныя ворота и меня втолкнули въ нихъ, я подумалъ, что попалъ уже въ самую преисподнюю ада; на лица окружившихъ меня арестантовъ я не могъ смотрѣть—до того они казались мнѣ страшными. Но меня ободрила встрѣча съ однимъ старымъ знакомцемъ, довольно виднымъ купцомъ, тоже посаженнымъ за подлогъ, только покрупнѣе моего. «Не падай ду-

хомъ, дружище,—утѣшалъ онъ меня,—въ тюрьмѣ тоже люди сидятъ, и трудно еще рѣшить, честнѣе ли ихъ тѣ, что остаются на волѣ». Разсужденіе это пришлось мнѣ по вкусу. Только что прошла вечерняя повѣрка, какъ арестанты усѣлись на два круга играть въ карты, и одинъ изъ играющихъ закричалъ: «Эй, майданщикъ, налей-ка чипорухку!» Я сталъ смотрѣть во всѣ глаза, недоумѣвая, что это за чипорухка такая. Майданщикъ поднялъ въ камерѣ половицу и, доставъ оттуда бутылку съ какой-то свѣтлой жидкостью, налилъ изъ нея въ жестяную рюмку...

«По приговору суда я просидѣлъ въ тюрьмѣ 6 мѣсяцевъ и долженъ былъ по этапу отправиться на родину. Последнее совѣтъ убило меня. Мысль о томъ, съ какими глазами явлюсь я въ свое жительство, какъ встрѣчу знакомыхъ, родныхъ, мать, до того меня ужасала, что по дорогѣ я заболѣлъ тифомъ и, еле живой, доѣхалъ до родного города. Отъ стыда я хотѣлъ даже покончить съ собой самоубійствомъ... Въ К—какъ даже полиція диву далась, что сынъ подобнаго отца могъ дойти до такой точки; при встрѣчѣ съ каждымъ знакомымъ глаза мои готовы были выпрыгнуть изъ своихъ мѣстъ. Лишнее рассказывать, какъ огорчена и оскорблена была мать и какъ напрасно старался я увѣрить ее, что произошло недоразумѣніе, что злые люди воспользовались моею неопытностью и моимъ легкомысліемъ. Едва только явилась возможность, какъ я взялъ паспортъ и снова уѣхалъ въ Херсонъ. Тамъ объ моемъ приключеніи ничего еще не было извѣстно, и я безъ труда поступилъ къ одному купцу въ приказчики.

«Но и тутъ меня продолжала мучить безотходная тоска; подчиняться людскимъ приказаніямъ и хозяйскимъ прихотямъ для меня было ножомъ острымъ. Не прошло и полгода, какъ я опять рассчитался и сталъ жить на квартирѣ, ничего не дѣлая и даже впередъ не заглядывая, какъ живутъ птицы небесныя. Деньги мои, конечно, очень скоро истощились. Однажды захожу я въ гостиницу «Берлинъ» и встрѣчаю тамъ стараго знакомаго. Онъ сказалъ мнѣ, что служить корридорщикомъ, но собирается уѣхать на родину, и мѣсто его свободно. Я тотчасъ же отправился къ хозяину. Такъ какъ онъ зналъ когда-то моего отца, то съ удовольствіемъ согласился взять меня даже съ просроченнымъ документомъ. Но это мѣсто было моею гибелью. Разъ въ одномъ изъ номеровъ я увидалъ на столѣ у богатаго пріѣзжаго еврея много денегъ, которыя онъ сортировалъ въ пачки. Еврей этотъ предупредилъ меня, что уйдетъ по своимъ дѣламъ и вернется назадъ лишь поздно вечеромъ. Я пошелъ было



исполнять свои обязанности, но все валилось у меня изъ рукъ. Что же блеснуло мнѣ въ голову? Взять видѣнные мной деньги и уѣхать съ ними разыскивать предметъ своей любви, гречанку, не перестававшую все время жить въ моемъ сердцѣ... Я отперъ номеръ, взялъ саквояжъ, въ которомъ оказалось 4,040 рублей, и—поминай, какъ звали! На лошадахъ я доѣхалъ за ночь до Николаева, а тамъ сѣлъ на пароходъ. Подъѣзжая на пятый день къ Керчи, сердце мое чуть не выпрыгивало вонъ изъ груди отъ ожиданія скорого счастья. На слѣдующій день я обѣгалъ весь городъ и узналъ, что у моей гречанки давно уже былъ другой человекъ. Не жалѣя денегъ, я далъ ей знать о своемъ пріѣздѣ и условился встрѣтиться въ городскомъ саду. Здѣсь я съ трудомъ удержался, чтобъ не принять ее при всей честной публикѣ въ объятія! Мнѣ уже не стоило большихъ усилій убѣдить ее бросить новаго возлюбленнаго и возвратиться ко мнѣ: когда я объяснилъ ей свои средства, то глаза у моей гречанки такъ и заблестали алмазами... Для черезъ два все было улажено. Я нанялъ квартиру и счастье мое полилось широкой рѣкою!

«Однако, полились также и деньги, и однажды я сдѣлалъ не-пріятное открытіе, что имѣ (да кстати и документу) близокъ конецъ. Вытребовать себѣ новый видъ по почтѣ я боялся и рѣшилъ лично съѣздить домой и развѣдать, не извѣстно ли тамъ чего о моемъ херсонскомъ приключеніи. Къ несчастью, дорогой я заболѣлъ и попалъ сначала въ городскую херсонскую больницу, а потомъ и въ тюрьму. Окружной судъ присудилъ меня къ году высылки. Впрочемъ, я просидѣлъ только три мѣсяца, благодаря тому, что работалъ на постройкѣ централа. Затѣмъ мнѣ выдали проходной билетъ для отправки на родину! Но какъ было доѣхать туда, не имѣя въ карманѣ хоть 50 р. денегъ? Откуда было достать ихъ? Въ Николаевѣ я повстрѣчался съ старыми знакомцами по тюрьмѣ, которые и предложили мнѣ принять участіе въ ихъ похищеніяхъ по части добыванія чужой собственности. До сихъ поръ я никогда еще такими похищеніями не занимался, и потому мнѣ было страшно, я долго раздумывалъ... Но деньги нужны были до зарѣзу, и я рѣшился. И что же? Новые мои товарищи объявили мнѣ, что я обладаю большою отвагой въ прокладываніи дороги къ чужимъ мѣшкамъ и ящикамъ, и, признаюсь, похвала эта пріятно пощекотала мое самолюбіе... На мою долю пришлось 85 р., съ частью которыхъ я и пріѣхалъ на родину. Къ матери я, однако, не пошелъ, а прямо отправился въ думу за билетомъ. Но не тутъ-то было: я стоялъ на рекрутской

очереди, и мнѣ лишь съ трудомъ выдали на три мѣсяца красный билетъ. Съ нимъ я поѣхалъ въ Кременчугъ, и съ этого дня мнѣ коломъ засѣла въ голову мысль—отдѣлаться, во что бы ни стало, отъ военной службы, казавшейся мнѣ хуже всякой тюрьмы и ка-торги.

«Въ Керчи я старался избѣгать встрѣчи съ тѣми людьми, кото-рые знали меня съ хорошей стороны. Предмета моей любви здѣсь уже не оказалось—она вышла замужъ за какого-то купца и уѣхала въ Севастополь. Да я отчасти и радъ былъ этому обстоятельству, такъ какъ, находясь теперь въ бѣдности, все равно не могъ бы по-казаться ей на глаза. Побросавшись нѣкоторое время туда и сюда, я рѣшился отправиться въ Черноморье, гдѣ, по слухамъ, на рыбныхъ промыслахъ проживало множество пролетаріевъ всякаго рода, и тамъ меньше всего интересовались вопросомъ о паспортѣ...

Скопивъ ко времени навигаціи рублей 200, я рѣшился бросить Чер-номорье. Мнѣ казалось ужаснымъ провести въ этой скучной жизни не только двадцать лѣтъ, но даже и два года, не видя кругомъ себя ничего другого, кромѣ воды и неба. Во время расчета ко мнѣ по-дошелъ одинъ кавказскій служивый (самъ давшій себѣ отставку) и предложилъ вмѣстѣ отправиться въ дорогу. Онъ соблазнилъ меня, главнымъ образомъ, обѣщаніемъ раздобыть документъ, но и самъ по себѣ онъ казался мнѣ умнѣе и серьезнѣе другихъ. Дорогой мы пе-решли къ откровенности. Тогда онъ сразу перемѣнилъ тонъ и ска-залъ: «Знаешь ли ты, что я имѣю въ виду? Возьмемъ въ Ерикѣ двухмачтовый баркасъ малыхъ размѣровъ съ парусами и веслами, нагрузимъ чужимъ товаромъ—и айда въ море!» Такимъ образомъ, я снова сдѣлался морякомъ, и планъ нашъ удался блистательно. Въ г. Темрюкѣ мы обыли свой баркасъ за 450 р. и уѣхали въ Керчь. Я сгоралъ желаніемъ поскорѣе раздобыть паспортъ. Черезъ два дня къ намъ на квартиру явился пожилой господинъ съ лысиной на го-ловѣ и въ довольно-таки небрежномъ костюмѣ. Тѣмъ не менѣе то-варищъ мой принялъ его очень почтительно и тутъ же шепнулъ мнѣ, что это, молъ, тотъ самый человѣкъ, который мнѣ нуженъ. Тогда и я весь превратился въ почтеніе... Господинъ съ лысиной закурилъ, выпилъ (что онъ имѣлъ пристрастіе къ Бахусу—это доказывала и самая его фізіономія), между разговоромъ досталъ карандашъ и кло-чекъ бумаги, посмотрѣлъ на меня, что-то записалъ, еще выпилъ и удалился. Я недоумѣвалъ. Но къ вечеру господинъ вернулся и, до-ставъ изъ кармана съ десятокъ документовъ, подалъ мнѣ, говоря:

«Выберите, что вамъ угодно». Я выбралъ полугодичный видъ; спросилъ цѣну, заплатилъ, не торгуясь, 15 руб. и почувствовалъ, что съ плечъ у меня свалилась гора, точно я вновь на свѣтъ Божій народился. Съ этого дня я уже никогда больше не придавалъ ни магійшаго значенія такому вздору, какъ видъ на жительство.

«Между тѣмъ деньги мои опять улетѣли, и нужно было что-нибудь предпринимать. Я поступилъ на заграничное судно, шедшее съ товарами въ Таганрогъ, хотя и не особенно любилъ воду. Въ Таганрогъ мы счастливо прибыли на шестой день и остановились на якорѣ въ 150 саж. отъ берега. За время плаванія я часто бывалъ въ каютѣ капитана и видѣлъ тамъ много древнихъ вещей, золотыхъ и серебряныхъ, хранившихся вмѣстѣ съ деньгами, и меня опять началъ грызть червякъ пристрастія къ чужой собственности. Караулившая меня на родинѣ солдатчина пугала меня больше всего на свѣтѣ; я рѣшилъ, что лучше пережить все самое дурное, чѣмъ угодить подъ ружье; а кромѣ того, говоря по чистой совѣсти, меня успѣла уже завлечь эта новая жизнь, полная всякихъ приключеній, гдѣ, опустошая чужіе карманы, я могъ жить, никому не будучи обязанъ. Ночью, когда на нашемъ суднѣ все крѣпко заснуло послѣ дневной работы и жары, я никакъ не могъ отдаться сну; меня что-то тревожило, я долго боролся не то съ насѣкомыми, не то съ неотвязными мыслями. Вдругъ до меня долетѣлъ звукъ музыки, игравшей въ саду. Эта мелодія заставила меня въ одну минуту многое передумать и перечувствовать. Мнѣ живо вспомнилось мое свѣтлое дѣтство, далекая родина, мать... Мнѣ стало грустно, и я рыдалъ, какъ ребенокъ. «Что же будетъ со мною, Господи, что будетъ?» спрашивалъ я себя, а самъ уже ясно понималъ, что вступилъ на дорогу, которая не приводитъ къ мирной жизни на родинѣ!

«Я слышалъ, что въ это время въ Ростовѣ на Дону бываетъ огромное стеченіе всякаго народа, и что тамъ паспортъ больше, чѣмъ гдѣ-либо, пустыки. И я рѣшилъ тоже туда поѣхать. Тихонько пошелъ я посмотрѣть, гдѣ спитъ капитанъ. Оказалось, что по случаю духоты онъ спалъ подъ тентомъ. Беззвучно отворилъ я дверь его каюты, спустился туда, забралъ деньги и вещи, вышелъ на палубу, осмотрѣлся кругомъ, спустился по трапу на баркасъ, отвязалъ его, взмахнулъ веслами и черезъ нѣсколько минутъ былъ на берегу. Ночь я проспалъ въ кустахъ городского сада, а на разсвѣтъ пошелъ на вокзалъ. Но, не доходя до него, я зашелъ въ гостиницу и... въ первый разъ въ жизни выпилъ рюмочку рому. Не успѣлъ я приступить къ чаепитію, какъ увидалъ, что мимо окна промчался на

извозчикѣ по направленію къ вокзалу мой капитанъ; рядомъ съ нимъ сидѣлъ полицейскій. Такимъ образомъ, я избѣжалъ большой опасности. Черезъ полчаса капитанъ проѣхалъ обратно, а я, разузнавъ, что поѣздъ вскорѣ отойдетъ, отправился на вокзалъ. Однако и сидя уже въ вагонѣ, мнѣ пришлось натерпѣться страха, когда въ вагонѣ вдругъ появился жандармъ. Вглядываясь въ лица пассажировъ, онъ прошелъ медленными шагами и удалился, не замѣтивъ моего волненія... Я былъ спасенъ.

«Явившись на другой день въ Ростовъ и увидавъ, какой тамъ водоворотъ людей кипитъ, я сразу понялъ, что и мнѣ не трудно будетъ въ немъ закрутиться. Нелегко попасть въ кругъ людей порядочныхъ, но когда хочешь ринуться въ омутъ гибели, то на ловца и звѣрь бѣжитъ: живо отыщутся друзья и блажелатели, которые подадутъ безкорыстную руку помощи. Подали ее и мнѣ... Нѣсколько разъ попадалъ я даже въ полицію, но за недостаткомъ уликъ тотчасъ же освобождался и продолжалъ прежнюю дѣятельность. Наконецъ, попалъ такъ, что дѣло запахло Сибирью... Настоящаго имени своего я не открылъ и осужденъ былъ за грабежъ на лишеніе правъ и ссылку въ отдаленныя восточныя мѣста (въ 1873 году). Не могу до сихъ поръ забыть, что испытывалъ я при отправкѣ изъ Москвы на желѣзную дорогу, когда арестантовъ провожало множество родственниковъ, и слезы ихъ при прощаньи до того меня растрогали, что я самъ плакалъ, чѣмъ вызвалъ насмѣшки нѣкоторыхъ загрубѣлыхъ сердецъ. А когда отъ Томска пришлось идти пѣшимъ путемъ, и по сторонамъ тракта видны были только лѣса да горы, я пришелъ въ еще большее уныніе. Между тѣмъ старые бродяги говорили, что это еще цвѣточки только, а ягодки впереди; даже жители сибирскіе казались мнѣ сухими себялюбцами, и нравы, обычаи ихъ были мнѣ противны. Но тутъ ужъ поздно было отдумывать: что искалъ — то и нашелъ!

«Назначенъ я былъ по Якутскому тракту въ городъ Киренскъ. Замѣчательнъ былъ тотъ день, когда конвой сдалъ намъ старостѣ для слѣдованія въ дальнѣйшій путь по волостямъ подъ сельскимъ конвоемъ; но конвой этотъ на дѣлѣ не существуетъ, а всѣ идутъ вольно; кто хочетъ — въ назначенное мѣсто, а кто хочетъ — возвращается назадъ въ Россію. Наша партія въ этотъ день точно съ ума посходила: всѣ кинулись моментально въ кабакъ — и тѣ, что имѣли деньги, и тѣ, что гроша за душой не имѣли. Послѣдніе живо опускали съ себя казенныя вещи. Ночью произошло нѣсколько шумныхъ дракъ съ крестьянами. На другой день уже не было ни поѣз-

рокъ, ни сборовъ въ одно мѣсто для отправки. Наша компанія изъ четырехъ человѣкъ взяла на плечи мѣшки и раньше всѣхъ отправилась въ путь. По деревнямъ съ нашимъ прибытіемъ закрывались вездѣ кабаки, хотя бесполезно, потому что русскій человѣкъ вино изъ-подъ земли достанетъ, и къ вечеру вся партія едва-едва собралась на станціи. Когда пріѣхали подводы съ буторомъ, и арестанты стали разбирать вещи, то, какъ сейчасъ вижу, въ одной кошевѣ оказались запрятанными среди шубъ и мѣшковъ три человѣка въ однѣхъ только нижнихъ рубахахъ... Такъ какъ они, по счастью, назначены были въ ближайшую волость, то ихъ каждый день передавали въ этой формѣ со станціи на новую станцію...

«Вскорѣ насъ начали пугать слухами, что дальше предстоитъ голодный трактъ, гдѣ хлѣбъ стоитъ 10 к. фунтъ, а кормовыхъ выдаютъ тѣ же 10 к. въ сутки. Еще больше народу стало возвращаться въ Россію; ушли и трое моихъ товарищей, но самъ я боялся послѣдовать за нимъ и отправился впередъ одинъ. Въ это время я въ первый разъ въ жизни узналъ, что такое настоящая нужда, и могу сказать, что никогда не извѣдывалъ столько горя. Не знаю даже, какъ я все перенесъ, вспоминаю, какъ сквозь сонъ. Я думалъ въ ту пору, что это горе хорошимъ урокомъ послужитъ мнѣ для будущаго, но вышло не такъ: извѣстно, что крутая гора скоро забывается...»

Однако, на мѣстѣ ссылки Годунову необыкновенно повезло. Ему удалось устроиться на одномъ пароходѣ.

«Капитанъ былъ простякъ и добрѣйшей души человѣкъ; онъ возымѣлъ ко мнѣ сильную привязанность и откровенность. Осенью пароходъ его занимался вывозкой изъ тайги прискакателей (прискакателей). Капитанъ предложилъ мнѣ взять въ Якутскѣ шесть ведеръ спирта для продажи, объяснивъ, насколько это выгодная афера: заплатишь 18 р., а продашь за 90. И когда я отвѣчалъ, что у меня нѣтъ денегъ, онъ далъ мнѣ свои. Въ тайгѣ я, дѣйствительно, очень скоро и очень выгодно сбылъ свой товаръ, и мнѣ пришлось ужасно по душѣ класть въ карманъ такими большими кусками. Короче сказать, за пять лѣтъ я составилъ себѣ семь тысячъ капитала, купилъ на нихъ домъ, завелъ хозяйство и, наконецъ, женился на молоденькой сибирячкѣ. Но не прошло и полгода моего счастья, какъ люди сообщили мнѣ, что женочка моя, сибирская язва, таскаетъ изъ дому что получше и передаетъ своей роднѣ. Когда я увѣрился въ этомъ, то меня охватила грусть, какой уже давно не зналъ! Все опостылѣло мнѣ, даже самая жизнь. Призвавъ однажды жену, я велѣлъ ей класть

на середину комнаты всѣ вещи, которыя она принесла въ приданое. Она начала спрашивать: зачѣмъ это? Тогда, не глядя на нее, я отвѣчалъ сурово: «Послѣ узнаешь, теперь же то дѣлай, что я приказываю». Когда она нехотѣ сложила такимъ образомъ въ кучу всѣ свои вещи, то я объявилъ ей: «Можешь уходить отъ меня со своимъ скарбомъ домой. Мнѣ ты не нужна больше». Отославъ жену, я всю ночь безъ сна провелъ; выпивая по полрюмочкѣ, я ходилъ по комнатамъ, пѣлъ, смѣялся, плакалъ!.. Ужасно жалко мнѣ было свое положеніе! Затѣмъ я распродалъ все свое хозяйство и отправился въ путь-дорогу, рѣшивъ еще хотъ одинъ разъ въ жизни повидать мать и родину. Денегъ у меня было около 2,000 р., вещи были приличные, и на документъ (аттестатъ дьяконскаго сына) я рассчитывалъ исполнѣ. Знакомымъ я объяснилъ, что ѣду опять служить на Олѣкму.

«Когда мать увидала меня, то въ первую минуту не столько обрадовалась, сколько испугалась, сочтя меня за выходца съ того свѣта: она давно считала меня умершимъ. Не желая ее обманывать, я все рассказалъ ей, и она пришла совсѣмъ въ отчаяніе, когда услышала о Сибири. Это слово поразило ее сильнѣе, чѣмъ если бы даже я умеръ... Она объявила мнѣ затѣмъ, что на другой же день я долженъ явиться къ городскому головѣ. Я обнадежилъ ее, что такъ именно и думаю поступить, на дѣлѣ же, конечно, думалъ иначе. Я былъ уже не тотъ чувствительный юноша, что прежде; родина, одно имя которой, бывало, приводило меня въ слезы, теперь показалась мнѣ чѣмъ-то чужимъ и скучнымъ, а нотации выводили меня изъ себя... Я хотѣлъ жить на полномъ просторѣ, согласно своимъ только желаніямъ. Никакихъ преградъ для меня не существовало больше, достать документъ было плевымъ дѣломъ, воровство, подлогъ, мошенничество, Сибирь — все было знакомо. О службѣ на мѣстахъ, о трудѣ не приходило и мыслей въ голову. Одну теперь имѣлъ я мечту: пріобрѣсти капиталъ... Но капитала никто вѣдь даромъ въ карманъ не положить!

«Подъ разными предлогами убѣдивъ мать, что имѣю нужду съѣздить на короткій срокъ въ Одессу, я простился съ нею съ тѣмъ, чтобы никогда уже больше не возвращаться на родину.

«И я сталъ разъѣзжать по югу Россіи изъ одного города въ другой, проживая остатки денегъ и приглядываясь къ людямъ. Скоро нашлись и выгодныя занятія... Недостатка въ друзьяхъ, конечно, также не оказалось, ибо, полагаю, даже и въ настоящее время не всѣ еще изъ этихъ людей въ Сибири живутъ.

«Черезъ годъ времени меня снова осудили съ лишеніемъ правъ въ восточную Сибирь, и опять-таки подъ чужимъ именемъ. Надо правду сказать, что это рѣшеніе меня не такъ уже испугало, какъ первое—путь былъ знакомый. Я былъ назначенъ въ этотъ разъ въ Комянскую волость Балаганскаго округа».

Здѣсь Годуновъ, служа въ работникахъ у одного деревенскаго торговца, вошелъ къ нему въ довѣріе, какъ трезвый и грамотный человѣкъ, ѣздилъ съ нимъ даже въ Иркутскъ по торговымъ дѣламъ. За зиму вся деревня успѣла его полюбить—дѣтямъ онъ читалъ сказки, старухамъ—житія святыхъ. Но вотъ наступила весна, и сердце нашего бродяги опять заныло и затосковало неизвѣстно о чемъ.

«Я спрашивалъ себя: неужели мнѣ такъ и суждено окончить свои дни въ этой проклятой Трататоніи, среди чужихъ мнѣ людей, во цвѣтъ силы и лѣтъ? Работать всю жизнь на другихъ, а самому жить и умереть бобылемъ, не имѣя ни кола, ни двора? Если такъ, то лучше же хоть еще одинъ день или часъ побыть свободнымъ человѣкомъ. Но уходить съ пустыми руками мнѣ не хотѣлось. И вотъ, дождавшись престольнаго праздника въ сосѣднемъ селѣ, когда въ деревнѣ остались одни старые да малые, а мои хозяева оставили меня одного домовничать, я сломалъ хозяйскую шкатулку, взялъ 700 р. денегъ и отправился въ путь-дорогу. Встрѣчавшимся на пути челдонамъ я крутилъ головы, говоря, что иду туда-то и туда-то, а самъ поворачивалъ послѣ того въ другую сторону! Дойдя до братскихъ улусовъ, я нанялъ пару лошадей и умчался въ Яндинскую волость, за 170 верстъ отъ мѣста преступленія. Комянскіе челдоны гнались по моимъ слѣдамъ до самаго Иркутска, но слѣды были ложные, я тоже не дремалъ и, нанимая лошадей, удиралъ все дальше и дальше. Однако этотъ второй побѣгъ былъ не то, что первый, когда я вплоть до самой Россіи ѣхалъ, что называется, бариномъ, съ документомъ въ карманѣ и хорошей одежей на плечахъ. Достигнувъ Ангары, гдѣ ходятъ одни только бродяги, мнѣ пришлось тоже принять бродяжескій видъ и идти пѣшимъ путемъ, глубоко затаивъ имѣвшіяся при мнѣ деньги. Здѣсь ухо слѣдовало держать остро, боясь одинаково какъ крестьянъ, такъ и бродягъ. Я рѣшилъ идти одинъ, такъ какъ въ партіи не разъ слыхивалъ, что среди бродягъ попадаются люди, которые за одну одежду согласятся лишиться товарища жизни. Что же касается крестьянъ, то, являясь въ деревни, нужно было просить милостыню ради Христа и пуще всего остерегаться купить что-нибудь за деньги. По дорогѣ я въ первый разъ нашелъ ремесло, которымъ не однажды впоследствии зарабатывалъ

хорошія деньги. А именно въ одномъ селѣ я узналъ, что священникъ ищетъ маляра, который выкрасилъ бы вновь отстроенную церковь. Я вспомнилъ, что жилъ когда-то съ товарищемъ-маляромъ и видѣлъ его работу, и мнѣ показалось, что ничего въ ней труднаго нѣтъ. Я наемкнулъ крестьянамъ на то, что я самъ маляръ, и меня поволокли тотчасъ же къ священнику, который принялъ меня съ распростертыми объятіями. Оказалось, работа пошла у меня превосходно, и всѣ были отъ нея въ восторгѣ.

«Затѣмъ я плылъ нѣкоторое время на плоту (до деревни Богу-чанъ), послѣ чего совершилъ три опасныхъ перехода черезъ тайгу, одинъ въ 60, другой въ 150 и третій въ 120 верстъ, имѣя при себѣ бурятскій ножъ и револьверъ съ 40 патронами. Но какое могъ имѣть значеніе револьверъ въ тайгѣ? Хорошо знаешь, что никакого, а всѣтаки идешь и, словно, на что-то надѣешься, идешь веселѣе. Не столько было страшно въ эти дни четвероногого, сколько двуногаго звѣря. Видѣлъ по дорогѣ много дичи, изюбра встрѣтилъ въ разстояніи 50 сажень; ужасно страдалъ отъ комаровъ и мошки. Ночью приходилось обкладываться со всѣхъ сторонъ кострами, чтобы защититься и отъ мошкеры, и отъ звѣря, который тоже боится огня. Но сонъ все равно былъ плохой: только-только начнешь засыпать—вдругъ раздастся неподалеку трескъ... Вскакиваешь въ испугѣ—однако никого нѣтъ. Такіе тревожные трески слышатся въ тайгѣ всю ночь: это какая-нибудь птица садеть на сухіе сучья, и они подломятся подъ ней, или другая естественная причина произведетъ звукъ. Всего же страшнѣе по ночамъ крикъ филина, отъ котораго иной разъ волосы ершомъ встанутъ на головѣ и кровь заледенѣетъ... Бывали, впрочемъ, и днемъ страшныя минуты: идешь, идешь, ни о чемъ не думаешь—и вдругъ наткнешься, бывало, на совсѣмъ уже разложившійся трупъ такого же, какъ самъ, путешественника... Въ такомъ ужасѣ шарахнешься тогда прочь, что только пятки засверкаютъ! Бѣжишь послѣ того, не отдыхая, день и ночь!».

Остальную часть великой сибирской дороги странникъ нашъ совершилъ, дѣлая временами «покупки». Повсюду въ городахъ встрѣчались «маховой руки» люди, съ которыми стоило распить бутылочку-другую жизненной влаги, чтобы тотчасъ получить добрый совѣтъ, гдѣ, какъ и чѣмъ можно разжиться. За то въ одномъ мѣстѣ, не зная, что въ домѣ есть собаки, Годуновъ едва не поплатился жизнью; но съ каждой новой «покупкой» онъ становился все болѣе и болѣе дерзкимъ. Въ общемъ и это путешествіе прошло, однако, благополучно, и онъ перевалилъ за европейскую границу.



«На второй станціи отъ знаменитаго среди бродягъ Шадрина я ночевалъ у одного крестьянина изъ бывшихъ ссыльныхъ. Выпили и разоткровенничались. Крестьянинъ указалъ мнѣ на одинъ домъ (въ деревнѣ, находившейся въ четырехъ верстахъ отъ станціи), въ которомъ онъ собственными глазами видѣлъ большія деньги: въ чуланѣ, въ зеленомъ сундукѣ хранятся ихъ, будто бы, больше 10 тысячъ рублей. Крестьянинъ сказалъ также, что хозяева ежедневно уѣзжаютъ на полевые работы, и въ домѣ остается въ это время одна только женщина. Я намоталъ себѣ все это на усть и на другое же утро отправился въ указанную деревню. Крестьяне почти всѣ уже выѣхали въ поле. Я собственными глазами видѣлъ, какъ выѣхала телега и со двора того дома, который мнѣ былъ рекомендованъ. Помедливъ нѣкоторое время, я подошелъ къ калиткѣ и хотѣлъ войти, но она оказалась запертой. На стукъ мой вышла пожилая женщина и спросила: «что тебѣ нужно?» Я принялъ сладкій видъ и сказалъ: «Вотъ если бы вы были добренькой—поставили проѣзжему самоварчикъ».—Кто вы и откуда?—«Я ѣду изъ Кургана въ Камышловъ, а занятіе мое церковный живописецъ». Женщина начала было отговариваться недосугомъ, но когда я пообѣщалъ ей заплатить за трудъ, она попросила меня зайти въ комнаты. Къ моему благополучію, въ домѣ не оказалось воды, и она должна была сходить на рѣку за 150 саж. отъ дома. Только что она хлопнула калиткой, какъ я, не долго думая, выскочилъ въ сѣни; въ замкѣ чулана торчалъ ключъ. Моментально я отворилъ дверь и заглянулъ внутрь: по стѣнамъ висѣло много одежды, на полу стояло нѣсколько сундуковъ, и среди нихъ былъ одинъ, поменьше зеленый. Все было согласно съ даннымъ мнѣ описаніемъ. Запереть снова кладовую и скрыться въ комнаты было для меня дѣломъ минуты. Я сѣлъ у окна и началъ обдумывать, что и какъ нужно дѣлать. Но можно сказать, что на гнусныя дѣла замыселъ очень скоро созрѣваетъ. Пробѣгая изъ кладовой черезъ кухню, я замѣтилъ, что въ послѣдней было подполье, и тутъ же у меня мелькнула мысль, что женщину можно было, задавивъ, спустить въ это подполье. Теперь на мысли этой я остановился подробнѣе, такъ какъ другого пути не представлялось. Когда женщина вернулась съ рѣки и начала ставить самоваръ, меня вдругъ охватила лихорадка: ни разу въ жизни не приходилось еще мнѣ проливать человѣческую кровь... Долго ходилъ я по комнатѣ, весь трясясь съ головы до ногъ. Думалъ я еще и то: слажу-ль я со своей жертвой, которая была женщиной здоровой и плотной? Какъ бы самого меня не застigli и не ухлопали на этомъ преступленіи?

Наконецъ, я вошелъ въ кухню и завелъ съ хозяйкой разговоръ о томъ, о семь. Ничего не подозрѣвая, она дѣлала разные приготовления и то и дѣло принимала очень удобное для меня положеніе; и вотъ, улучивъ одинъ изъ такихъ моментовъ, я ловко и безъ шума схватилъ со стѣны полотенце, быстро накинулъ ей на шею, повалилъ ее на полъ и, прижавъ колѣнкомъ, сталъ давить. Отъ испуга и неожиданности она даже не пикнула и въ первую минуту не выказала ни малѣйшаго сопротивленія, но потомъ рванулась и съ такой отчаянной силой стала бороться, что, признаюсь, я почувствовалъ страхъ и всѣ жилы напрягъ и, еще ту же замотавъ вокругъ шеи полотенце, продолжалъ тянуть его. Вскорѣ преступленіе было кончено. Я открылъ подполье и спустилъ туда тѣло, а самъ вылѣзъ скорѣй въ окно, заперъ калитку и дверь дома снаружи, обратно влѣзъ въ окно и приступилъ къ обыску. Въ зеленомъ сундукѣ оказалось, однако, не 10,000, а всего 1640 р. и больше во всемъ домѣ не нашлось ни копѣйки. Перелѣзши черезъ заборъ, я ударился по дорогѣ въ лѣсъ и, пройдя верстъ пять, убѣдился, что дорога эта—зимникъ, она привела меня къ рѣкѣ. Долго и напрасно искалъ я переправы; мнѣ встрѣтился, наконецъ, какой-то молодой парень съ уздечкой, который указалъ мнѣ бродъ. Два часа спустя я былъ въ Далматовѣ. Пройдя пѣшкомъ еще нѣкоторое разстояніе, я нанялъ одного крестьянина, который за пять рублей согласился, не смотря на страду, довести меня до Камышлова. Тутъ по дорогѣ чуть не случилось бѣды. Подъѣхавъ къ одному кабаку, я столкнулся тамъ съ урядникомъ и двумя камышовскими мѣщанами, и послѣдніе начали разспрашивать меня, кто я и откуда. Приходилось врать аккуратно, но я не опалъ духомъ и, выдавъ себя за ризника и живописца, немедленно постарался привлечь опасныхъ собесѣдниковъ къ оживляющей влагѣ, что мнѣ и удалось превосходнымъ образомъ. Изъ Камышлова я уѣхалъ тотчасъ же на вольныхъ въ Екатеринбургъ. Когда я подъѣзжалъ уже къ этому городу, до моихъ ушей вдругъ донесся въ вечернемъ сумракѣ звонъ колоколовъ. Чѣмъ-то роднымъ, давно оставленнымъ и забытымъ повѣяло на меня отъ этого звона, и я никакъ не могъ удержаться отъ слезъ... Правда, за свою безопасность я теперь уже не тревожился, но мнѣ стало вдругъ такъ невыразимо грустно, такъ жалко своей несчастной судьбы.

«Въ Екатеринбургѣ мнѣ удивительно посчастливилось, такъ что если бы кто другой рассказалъ мнѣ подобную исторію, я называлъ бы ее, пожалуй, сказкой. Нѣсколько разъ въ теченіе дня заходилъ.

я въ одну пивную, причѣмъ велъ разговоръ съ молодой и довольно красивой хозяйкой. Она сразу признала во мнѣ чужестранца и была со мной необыкновенно любезна. «Чего вы такіе грустные и задумчивые? — допрашивала она меня съ участіемъ: — или имѣете какую нибудь неудачу въ дѣлахъ?» Я отвѣчалъ, что, напротивъ, дѣла мои идутъ въ настоящее время особенно удачно, и я поѣду домой не съ совсѣмъ пустыми карманами. Тогда она намекнула, улыбаясь, что, быть можетъ, неудачи мои относятся къ сердечной части. Я отвѣчалъ на это откровенно, что отъ женщинъ я, дѣйствительно, видалъ въ своей жизни много горя, что въ отвѣтъ на свою любовь я встрѣчалъ одну лишь безсердечность, корыстолюбіе и предательство, и, въ концѣ концовъ, остался одинокимъ на свѣтѣ, такъ что не знаю порой, куда и голову преклонить. Намекнула также и на то, что я вообще претерпѣлъ много вражды отъ людей, много странствовалъ и вытерпѣлъ всякаго рода бѣдствій... Добрая женщина даже всплакнула, слушая мой рассказъ, и тѣмъ меня самого привела къ большой чувствительности. Было уже очень поздно, пивную время было закрытъ, и моя новая пріятельница пригласила меня переночевать у нея: она была вдова и жила, держа двухъ дѣвушекъ въ услуженіи. За ужиномъ мы еще больше разоткровенничались. Спросивъ меня о документѣ и узнавъ, что это мое больное мѣсто, она выскочила изъ-за стола, отперла сундукъ и подала мнѣ свертокъ бумаги: это былъ полугодишный мѣщанскій паспортъ. Всѣ примѣты удивительно ко мнѣ подходили, кромѣ однихъ только глазъ; но я сдѣлалъ на этомъ мѣстѣ сгибъ и протеръ небольшую дыру, такъ что трудно было прочесть, какіе глаза. Затѣмъ вдова разспросила о моихъ средствахъ—оказалось, что они были немногимъ меньше ея собственныхъ. Короче вамъ сказать, въ ту же ночь я сдѣлался ея супругомъ и владѣльцемъ пивного заведенія...

«Цѣлый годъ прожилъ я въ новомъ своемъ званіи, и, какъ говорится въ стихахъ, никакое облачко не омрачало нашего счастья. Это, впрочемъ, только казалось такъ, на дѣлѣ же настоящаго счастья я не испытывалъ. Что-то продолжало грызть меня — не то тревога и страхъ за будущее, не то недовольство настоящимъ покоемъ. Разъ въ воскресенье шелъ я съ женой въ церковь и на улицѣ повстрѣчалъ челоѣка, котораго знавалъ на Олѣкмѣ. Я хотѣлъ-было сдѣлать видъ, что не признаю его, но не тутъ-то было: онъ бросился ко мнѣ съ распростертыми объятіями, какъ къ старому другу; да и то сказать: не приходилось мнѣ, пробывши столько лѣтъ въ горькой участи, отворачиваться теперь отъ товарища, который на-

ходилъ въ нуждѣ. Волей-неволей надо было ввести его въ свой домъ. Оттуда онъ потащилъ меня въ трактиръ и началъ тоже угощать. И вотъ тутъ-то я замѣтилъ, что за нами слѣдятъ. Товарищъ самъ сознался мнѣ, что наканунѣ онъ совершилъ выгодную покупку... Не успѣлъ я съ нимъ разстаться, какъ на другой же день меня пригласили въ полицію — оказалось, его уже арестовали. Я объяснилъ, конечно, что познакомился съ этимъ человѣкомъ вполнѣ случайно, въ своей пивной, на документъ свой я тоже вполнѣ надѣлся; однако, видно было, что у пристава что-то еще есть; онъ продолжалъ вертѣть въ рукахъ мой документъ и задавать мнѣ вопросы... Тутъ меня сразу ударило въ голову: не было сомнѣнія, что товарищъ меня выдалъ! Полиціймейстеръ, который вслѣдъ за тѣмъ явился, самъ, впрочемъ, сказалъ мнѣ объ этомъ: «Мы бы ни минуты не стали держать васъ, если бы не указаніе вашего знакомаго. По его словамъ, документъ у васъ чужой, и вы бѣглый изъ Сибири». Я засмѣялся: «Развѣ возможно основываться на показаніи какого-нибудь проходимца-бродяги и такъ оскорблять свободныхъ людей? Что я былъ съ нимъ вчера въ трактирѣ — это меньше всего фактъ \*), и я вѣдь въ этомъ не запираюсь. Наша торговая часть такова, что мы никѣмъ не должны пренебрегать; на лбу у него не написано, кто онъ такой, и на приглашеніе зайти въ трактиръ и выпить я не могъ отвѣтить грубымъ отказомъ». Словомъ, когда приходится защищать шкуру отъ волчьихъ зубовъ, то языкъ подыщетъ убѣдительныя слова, и полиціймейстеръ, видимо, уже сдавался на нихъ, какъ вдругъ ему что-то вступило въ голову: онъ вздумалъ просмотрѣть списокъ разыскиваемыхъ лицъ за послѣдніе годы — ему блеснуло, что во мнѣ есть какое-то сходство съ лицомъ, которое разыскивалось по подозрѣнію въ далматовскомъ убійствѣ. А примѣты этого лица сообщены были тѣмъ самымъ парнемъ, который въ то время встрѣтился мнѣ на берегу рѣки съ уздечкой въ рукахъ и указалъ бродя: сибиряки такой народъ, что стоитъ имъ разъ въ жизни увидѣть человѣка на одну минуту — и они десять лѣтъ спустя подробно опишутъ его, начиная съ ногъ и кончая головой... Прочитавъ еще разъ примѣты и посмотрѣвъ на меня, полиціймейстеръ перемѣнилъ тонъ и велѣлъ отправить меня въ Далматовъ на уличку. Мой парень съ одного взгляда меня призналъ. Да и мной самимъ овладѣло въ это

\*) Фактъ на арестантскомъ жаргонѣ обозначаетъ улику.

*Прим. автора.*

время такое непонятное равнодушіе къ дальнѣйшей своей участи, что я почти тотчасъ же во всемъ сознался... Но я открылъ при этомъ и природное свое имя, сообразивъ совершенно правильно, что оно оставалось до сихъ поръ почти-что чистымъ и могло послужить мнѣ лишь къ облегченію наказанія. Благодаря чистосердечному признанію, меня осудили всего на десять лѣтъ каторги. Жена хотѣла-было послѣдовать за мною, но я наотрѣзъ отказалъ ей въ этомъ: у меня никогда не было привычки тащить за собой въ омутъ людей, которые могутъ еще въ жизни отыскать свое счастье...

«Въ Горномъ Зерентуѣ, куда я былъ назначенъ, въ то время не было еще каменной тюрьмы, которая теперь существуетъ. Да и все было тогда по иному, лучшему. Въ чистомъ полѣ, среди сопокъ, стояли простые деревянные бараки и вокругъ нихъ не было даже ограды. Въмѣсто того, версты на двѣ кругомъ раскинута была цѣпь солдатъ. Встрѣтившіе насъ арестанты были наполовину пьяны, а одѣты большею частью въ вольную одежду. Я съ удивленіемъ спрашивалъ себя: что же это за каторга? Въ чемъ тутъ страхъ? Въ камерахъ жило по 100 и болѣе человѣкъ, шумъ стоялъ оглушительный, за музыкальными инструментами не слышно было голоса людей: кто игралъ на скрипкѣ, кто на гармоніи, а кто билъ въ бубенъ. У меня тотчасъ же отыскились знакомые и даже земляки, и мнѣ самому пришлось довольно изрядно клюкнуть съ дороги...»

Что такое каторжные работы, Годунову такъ и не пришлось узнать, потому что его почти въ тотъ же день записали въ пѣвчіе, а недѣли черезъ три, какъ малосрочнаго, выпустили въ вольную команду. Немного спустя окончился и его каторжный срокъ (какъ я не разъ уже объяснялъ, для каторжныхъ II и III разрядовъ онъ всегда очень быстро кончается), и въ качествѣ поселенца герой нашъ очутился въ Верхнеудинскѣ. Съ этого дня для него начался несравненно болѣе трудный и тяжелый періодъ наказанія.

«Въ самомъ городѣ полиція позволила мнѣ прожить только три дня впередъ до пріисканія мѣста. Но сибирскіе купцы и чиновники предпочитаютъ брать въ услуженіе не нашего брата-поселенца, а буряты: этимъ людямъ на обѣдъ достаточно тѣхъ костей, которыя остаются отъ обѣда; съ помощью ножа они умѣютъ очистить ихъ такъ, что даже собакамъ не остается чѣмъ поживиться. Поэтому никакого мѣста я, понятно, не нашелъ и долженъ былъ отправиться

за 70 верстъ на стеклянный заводъ, гдѣ была также и паровая мельница. Мѣстъ, однако, свободныхъ и тамъ не нашлось, кромѣ такъ называемой сумасшедшей трубы, гдѣ никто не выдерживалъ и двухъ дней. Я рѣшился поступить туда, и когда отстоялъ въ первый разъ свои 12 часовъ, то пришелъ въ казарму совсѣмъ разбитымъ, убѣжденный, что на другую смѣну уже не буду годиться. Но, отдохнувъ хорошенько, приободрился и проработалъ еще пятнадцать дней, послѣ чего сильно зашибъ себѣ руку, и начальство завода предложило мнѣ мѣсто матеріальщика въ 30 руб. жалованья. Лучшаго ничего и желать нельзя было, но судьба улыбнулась мнѣ не надолго. Явился однажды въ заводъ управляющій и, придравшись къ чему-то, толкнулъ меня кулакомъ въ грудь. Я не вытерпѣлъ съ непривычки и сказалъ: «Потише! Потихе!»—послѣ чего меня въ тотъ же день и расчитали. Тогда я отправился въ Удинскъ на ярмарку. Деньги всѣ вышли, впереди ничего не предвидѣлось, рука къ тому же болѣла... Пришлось взяться за старый промыселъ, съ фатовыми людьми снюхаться...

И началась опять безпутная жизнь. Совершивъ удачно какую-нибудь «покупку», Годуновъ немедленно прокучивалъ ее съ товарищами и перебирался въ Читу или въ другое мѣсто, гдѣ не столько еще намозолилъ глаза жителямъ и собакамъ. Просрочивъ билетъ, онъ то и дѣло попадаетъ въ руки полиціи и получаетъ отъ нея, по его картинному выраженію, «сорокъ и шестьдесятъ, чтобы помнить дни субботни», послѣ чего отсылается по этапу въ волость и оттуда опять вскорѣ исчезаетъ съ билетомъ или безъ билета. Наконецъ, въ Верхнеудинскѣ его уже основательно ловятъ съ краденными часами. Описаніе этого ареста напоминаетъ собою ловлю дикаго звѣря, дѣлающаго отчаянныя попытки скрыться, кидающагося туда и сюда и со всѣхъ сторонъ встрѣчающаго разставленные капканы.

«Увидавъ, что попалъ въ западню, что поджидавшая меня полиція уже замѣтила меня, я сдѣлалъ крутой поворотъ. Проскочивъ гостиный рядъ, обернулся и вижу, что за мной погоня; почти весь базаръ кричитъ во весь голосъ: «Держи! Лови!» Я прибавилъ рыси, но слышу, что уже и извозчики стали гнаться на лошадяхъ. Я проворно заскочилъ въ больничный дворъ, пробѣжалъ его, перемахнулъ черезъ заборъ, очутился въ другомъ дворѣ и выскочилъ на другую улицу... Не тутъ-то было! И на этой улицѣ уже шла тревога, вездѣ бѣжали люди. Я, однако, продолжалъ гнуть свою цѣль, направляясь къ концу города, гдѣ чернѣлъ лѣсъ. И я бы

достигъ его, но глубокой песокъ выбилъ меня изъ силъ, и я уже видѣлъ себя со всѣхъ сторонъ окруженнымъ. Быть можетъ, и тутъ еще я бы не пропалъ, будь у меня подъ рукой револьверъ или хотя бы ножъ, которымъ можно было отпугнуть особенно назойливыхъ преслѣдователей, но я былъ безоруженъ, и оставалось одно — сдаться. Меня посадили на извозчика и повезли въ полицію».

Черезъ 7 мѣсяцевъ, по новому приговору, Годуновъ осужденъ былъ на четыре года «временныхъ работъ» и присланъ къ намъ въ Шелай.

Годуновъ мужчина еще, можно сказать, въ цвѣтѣ лѣтъ. Онъ недурень собою, брюнетъ съ окладистой бородой и умнымъ, широкимъ лбомъ, степенный въ манерахъ, словахъ и поступкахъ, большой краснбай и резонеръ. Онъ, какъ видитъ читатель, самъ прекрасно анализируетъ свое прошлое и знаетъ, что шель по дурному пути. Но возможно ли для него отыскать другую дорогу—дорогу честнаго труда и мирнаго благополучія, по окончаніи новаго каторжнаго срока и по выходѣ на поселеніе? По совѣсти сказать, я не думаю этого, читатель... Темная дорога этой печальной, по истинѣ кошмарной жизни, точно какимъ-то злымъ рокомъ, намѣчена была, еще въ самые ранніе годы, и послѣдняя ея роковая точка, навѣрное, не за горами!

Дай, конечно, Богъ, чтобы я ошибся.

## XVIII.

### К о ш м а р ъ.

Всю послѣднюю зиму я бурилъ въ верхней шахтѣ. За три слишкомъ года пребыванія моего въ Шелай она углубилась, впрочемъ, не больше, какъ на одну сажень. Дѣло въ томъ, что буреніе часто прерывалось за недостаткомъ въ тюрьмѣ арестантовъ, а когда рабочія руки снова отыскивались, шахта оказывалась уже настолько погруженной въ воду, что послѣднюю приходилось недѣли двѣ откачивать. Начиналась опять сказка про бѣлаго бычка. Тѣмъ не менѣе, при Пѣтушковѣ работы въ рудникѣ подвигались несравненно успѣшнѣе, чѣмъ при его предшественникѣ. Этотъ человекъ не только умѣлъ плѣнять кобылку своимъ либеральнымъ заигрываньемъ, но и держать ее въ ежовыхъ рукавицахъ, брать съ арестантовъ все, что съ нихъ полагалось брать. Хотя при мнѣ и не случилось, чтобы онъ

отсылать кого-либо къ Шестиглазому «съ запиской», но почему-то его побаивались.

— Да лучше-бъ онъ меня, душа изъ него вонъ, въ карецъ посадилъ, чѣмъ языкомъ своимъ мягкимъ жилы изъ нутра выматывать! — отзывались о Пѣтушковѣ тѣ, на кого обрушивалась порой гроза его ласковаго краснорѣчія: — чего только не наскажетъ вѣдь, собаки его заѣшь... И насчетъ поштеленія-то закинетъ — Монаховъ, молъ, лишитъ, и насчетъ того, что до Шестиглазаго черезъ нашего же брата-кобылку донесется, тогда его, молъ, самого прогонятъ, а намъ вѣшь хуже станеть. Жалобно таково да тоскливо сдѣлается на душѣ! Нѣтъ, куда легче всѣ десять верховъ въ самой твердой породѣ отбухать, чѣмъ его жалобы слушать!

Нельзя, однако, сказать, чтобы Пѣтушковъ и къ прямымъ угрозамъ иногда не прибѣгалъ. Я самъ видывалъ, какимъ злымъ огонькомъ загорались его чахоточные глаза, когда онъ съ дѣланной мягкостью и кротостью въ голосѣ объявлялъ лодырничавшимъ, по его мнѣнію, арестантамъ, что не станеть больше брать ихъ въ рудникъ. А это для большинства кобылки была одна изъ самыхъ внушительныхъ угрозъ, такъ какъ рудникъ, дѣйствительно, имѣлъ много преимуществъ передъ всякой другой работой. Прежде всего здѣсь можно было, хоть на короткое время, забыть о томъ давившемъ умъ и сердце гнетѣ шестиглазовскаго режима, который ежесекундно давалъ знать о себѣ на всѣхъ такъ называемыхъ домашнихъ работахъ, происходившихъ вблизи тюремныхъ стѣнъ; на лонѣ природы, тутъ во всѣхъ отношеніяхъ легче дышалось, не говоря уже о томъ, что и самая работа, всегда урочная, была несравненно легче. Немаловажную, разумѣется, роль въ предпочтеніи арестантами рудника играло также и денежное поощреніе, которое Монаховъ, хотя скупо и рѣдко, все же выдавалъ: больше всѣхъ получали — кузнецъ, столяръ, плотники (крѣпильщики), но перепало кое-что и простымъ рабочимъ, бурильщикамъ и даже бурносамъ. Даже я, послѣдній изъ послѣднихъ рабочихъ, за нѣсколько лѣтъ пребыванія въ Шелайскомъ рудникѣ получилъ около шести рублей... Заработанныя такимъ путемъ деньги горное вѣдомство передавало въ тюремную контору, и на ближайшей вечерней повѣркѣ Шестиглазый громогласно прочитывалъ, за кѣмъ сколько было записано. Хорошо помню, какое удовольствіе испыталъ я, въ первый разъ въ жизни заработавъ нѣсколько рублей *чисто-физическимъ трудомъ*...

Въ большинствѣ шелайскихъ забоевъ почва была необыкновенно мягкая. Однако, выпадали недѣли и даже цѣлые мѣсяцы, когда ка-



мень вдругъ начиналъ, по выраженію арестантовъ, дурить: онъ становился такимъ твердымъ, что въ одну минуту расплющивались самые острые буры; бураносы не успѣвали таскать ихъ въ кухню; Пальчиковъ не находилъ на своемъ энергичномъ языкѣ достаточно словъ для выраженія негодованія противъ «закона, вѣры и жизни». Случалось въ такіе незадачливые дни, что даже сылачи, въ родѣ Быкова или Сохатаго, выбуривали не больше шести вершковъ, за весь день почти не отходя прочь отъ забоя, а менѣе сильные и умѣлые бурильщики не одолѣвали и четырехъ вершковъ. Обо мнѣ нечего и говорить: я помню случаи, когда за два, за три дня самой адски-прилежной работы я едва успѣвалъ выстукать 1½—2 вершка!.. Руки при этомъ почти отказывались служить и дрожали, какъ у горькаго пьяницы, а правое плечо такъ мучительно ныло, словно послѣ серьезнаго вывиха. Въ такихъ твердыхъ породахъ не помогало даже и знаменитое арестантское средство—бурить съ помощью «тепленькой водицы»: средство это, казалось, только ухудшало дѣло. Я насчиталъ однажды, что молотокъ Быкова со всего размаха и безъ роздыха опустился на буръ 800 разъ, и, погрузивъ послѣ того въ шпуръ чистку, Быковъ съ проклятіемъ объявилъ, что почти ни капли муки не набилось. Вообще въ такіе дни шахтѣ приходилось выслушивать болѣе, нежели достаточное количество самыхъ заковыристо-сильныхъ выраженій и добрыхъ пожеланій... Арестанты были мрачны, сердиты и до того грозно-молчаливы, что я остерегался даже обращаться къ нимъ съ разговорами; настроеніе у всѣхъ было тягостное, подавленное, точно въ присутствіи покойника. О пѣсняхъ въ такое время забывали и думать, и только молотки нервно и упрямо продолжали свою однообразную шелкотню. Подъ могучими руками настоящихъ бурильщиковъ безъ передышки и безъ конца раздавалось напряженное, гнѣвное: «тукъ! тукъ! тукъ!» У меня, напротивъ, выходило унылое и минорное: «тукъ да тукъ! тукъ да тукъ!»—и подъ эти минорные звуки сама собою складывалась грустная пѣсня:

Тамъ, гдѣ холодомъ облиты,  
Сопки висятся кругомъ,—  
Обезличены, обриту,  
Въ кандалахъ и подъ штыкомъ,  
Въ полумракѣ шахты душной,  
Не жалѣя силы рукъ,  
Мы долбимъ гранитъ бездушный  
Монотоннымъ: тукъ да тукъ!  
Гдѣ высокіе порывы,

Сны о правдѣ, о добрѣ?  
 Ранній гробъ себѣ нашли вы  
 Въ темной каторжной норѣ.  
 Счастья копченъ обманъ,  
 Роковой очерченъ кругъ...  
 Заглушая сердца раны,  
 Мы стучимъ лишь: тукъ да тукъ!

Однажды попалось мнѣ такое твердое мѣсто, что, пробуравивъ уже цѣлыхъ три дня и не подавшись дальше 1 $\frac{1}{2}$  вершковъ, я находился въ отчаяніи. Въ пылу работы я забылъ про осторожность, заставлявшую почти всѣхъ арестантовъ разстилать подъ собою во время буренья шубу, и работалъ, стоя колѣнами на голомъ, холодномъ, какъ ледъ, гранитѣ. Не смотря на наступившій уже мартъ мѣсяцъ, морозы продолжались сильные. На слѣдующій день съ ранняго утра у меня чувствовалась головная боль и какая-то разбитость во всемъ тѣлѣ, едва позволившая мнѣ дожидаться окончанія работъ; къ вечеру открылся жаръ, и Штейнгартъ поспѣшилъ перевести меня въ лазаретъ.

И вотъ опять, не помню—въ который уже разъ, лежу я въ хорошо знакомой маленькой коморкѣ, одинокій, обвѣянный со всѣхъ сторонъ мирной тишиною, и грежу. Больничный служитель уже нѣсколько разъ обращается ко мнѣ съ вопросомъ, не нужно ли мнѣ горячаго чаю, но я отвѣчаю одно: «Ахъ, дайте мнѣ еще немного полежать... Я вамъ скажу потомъ». И сладкая истома постепенно овладѣваетъ мною, и хочется лежать такъ, не шевелясь, лежать часы, дни и годы. Да и точно, не пронеслись ли уже надо мной цѣлые годы? Тотъ ли же человѣкъ я самъ, какимъ былъ когда-то прежде? Что это! вѣдь я былъ свободенъ, давно уже свободенъ, а между тѣмъ... вѣдь это опять тюрьма, каторга?.. Да, вотъ онѣ, страшно знакомыя камеры, страшно знакомые коридоры... Только люди совсѣмъ другіе, и какія все мрачныя, враждебныя лица, какъ непривѣтливо встрѣчаютъ они меня, съ какимъ злымъ недовѣріемъ, презрѣніемъ! Но что изъ того? За то въ собственной моей груди горитъ такой божественный свѣтъ, такая чудно-прекрасная мысль согрѣваетъ и возвышаетъ душу! Эта мысль—желаніе возродить ихъ, озлобленныхъ и несчастныхъ, примѣромъ и словомъ любви и братства. Ради этой великой идеи я добровольно вернулся въ проклятыя стѣны, гдѣ когда-то столько страдалъ, добровольно надѣлъ на себя клейменую куртку каторжнаго съ тѣмъ, чтобъ теперь найти здѣсь покой и счастье. И грезится мнѣ, что я не одинъ пришелъ сюда съ подоб-

ной задачей, что у меня есть друзья, такіе же самоотверженные, восторженные мечтатели; встрѣчаясь украдкой другъ съ другомъ и робко озираясь по сторонамъ (точь въ точь такъ, какъ это бываетъ иной разъ во снѣ), мы шепчемъ одинъ другому: «Осторожнѣе! здѣсь никто не долженъ знать, что мы не настоящіе каторжные... Объ этомъ только *тамъ* знаютъ».

И мы не устаетъ дѣлать съ названными товарищами всѣ ихъ труды, лишенія, страданія, дѣлать безъ гнѣва и ропота, безъ желанія взять на себя ношу полегче, укрыться отъ какой-нибудь общей бѣды или обиды; а каждую свободную минуту мы посвящаемъ проповѣди. О, какъ горячо, съ какой пророческой силой и убѣдительною умѣемъ мы говорить, какъ слова наши проникаютъ въ самую глубину темныхъ, заглубѣлыхъ сердецъ, и какъ эти сердца постепенно размягчаются, какъ злые, темные глаза свѣтлѣютъ, а гнѣвно сжатые кулаки разжимаются и протягиваются для братскаго пожатія нашихъ рукъ! Но какая странная, однако, форма нашихъ рѣчей—вѣдь это стихи, настоящіе звучные стихи, съ размѣромъ и рифмами? Удивленіе, впрочемъ, на мгновеніе только мелькаетъ въ моемъ мозгу. Очевидно, такъ полагается говорить здѣсь, и стихотворная импровизація продолжаетъ свободно литься изъ моихъ устъ, горячая, свѣтлая, увѣренная въ себѣ, и неизяснимое счастье продолжаетъ наполнять душу...

— Иванъ Николаевичъ, успокойтесь,—тихо говорить, наклоняясь ко мнѣ, кто-то изъ каторжныхъ, высокій брюнетъ съ красивыми глазами и блѣднымъ лицомъ. Онъ, вѣроятно, боится, что рѣчь моя будетъ услышана надзирателями, и мнѣ придется плохо; я хорошо и самъ понимаю, что мнѣ можетъ придтись плохо, такъ какъ мѣстное начальство считаетъ меня настоящимъ каторжникомъ, но какое мнѣ дѣло до угрозъ и опасностей, когда предметъ моей рѣчи есть что-то такое прекрасное, отъ чего дрожитъ собственное мое сердце, а глаза слушателей блестятъ слезами!

— Однако, и задали-жъ вы мнѣ хлопотъ, Иванъ Николаевичъ! я ужъ серьезно, было, думалъ, что вы *ad patres* рѣшили отправиться, но, слава Богу, этого не случилось. Ну, а теперь-то я ужъ не выпущу васъ изъ своихъ рукъ,—сказалъ Штейнгартъ, ласково склонившись надо мной, когда дня четыре спустя я пришелъ, наконецъ, въ себя. Въ отвѣтъ я могъ только улыбнуться и, слабо пожавъ товарищу руку, крѣпко заснуть. Но я уже былъ спасенъ, и новый сонъ только подкрѣпилъ мои силы.

— И дернула же васъ нелегкая,—укоризненно говорилъ опять Штейнгартъ,—стоять колѣнами на голомъ камнѣ! Въ мартѣ-то мѣсяцѣ? Ну, вотъ и схватили острый сочленовный ревматизмъ... Теперь вамъ долго съ этой штукой повозиться придется.

Во время выздоровленія меня мучило, впрочемъ, не столько сознаніе нажитой, быть можетъ, на всю жизнь непріятной болѣзни, сколько упорное, неотвязное желаніе припомнить что-то: не то какой-то прекрасный сонъ, не то какое-то открытіе безмѣрной важности для меня самого и чуть-ли не для всего человѣчества... Мнѣ казалось, что, забывъ объ этомъ, я утратилъ неоцѣненное сокровище, обладая которымъ, былъ-бы и великъ, и счастливъ, тогда какъ теперь былъ жалокъ, и слабъ, и достоинъ презрѣнія... Но я долго не могъ вспомнить своего страннаго сна.

Вѣроятно, немногіе изъ выздоравливающихъ больныхъ не испытывали того пріятнаго состоянія душевнаго размягченія, когда и люди, и жизнь, и все въ мірѣ кажется такимъ свѣтлымъ, такимъ пріятнымъ, а въ собственномъ сердцѣ чувствуется столько доброты и любви, что надѣешься побѣдить съ ними все зло и весь мракъ вселенной! Я испытывалъ теперь именно такое душевное состояніе; съ благодушной улыбкой встрѣчалъ я даже надзирателей, входившихъ ко мнѣ во время повѣрки и тоже, въ свою очередь, широко улыбавшихся. Хорошо помню, какъ первымъ арестантомъ, котораго я увидалъ послѣ своего бреда, былъ поваръ-полякъ Пендраль, круглое, лукавое, заискивающее лицо котораго очень мало внушало мнѣ раньше симпатіи, но когда теперь лицо это просунулось однажды утромъ въ мою дверь, и льстиво-вкрадчивый голосъ спросилъ: «по панъ хочетъ въ обѣдъ, чи зубчикъ, чи бульонъ?»—то я чуть не кинулся къ этому человѣку съ распростертыми объятіями, чуть не расцѣловалъ эту плутоватую, жирную рожу! Говорить ли послѣ этого, съ какими чувствами встрѣчалъ я навѣщавшихъ меня испытанныхъ, настоящихъ пріятелей, вроде, напр., Кузьмы Чирка.

— Ну, какъ можешь, Николаичъ?—входилъ онъ ко мнѣ, всегда радостно ослабляясь. — Слава Богу, что поправляешься. Кобылка даже жалѣла тебя, когда Митрей Петровичъ сказалъ, что ты плохо, а меня—такъ, вѣришь-ли, инда слеза прошибла!

До глубины души трогало меня такое отношеніе ко мнѣ тюрьмы, и мнѣ казалось въ эти минуты, что я начинаю припоминать то свѣтлое и прекрасное, что такъ долго и напрасно усиливался вспомнить; мнѣ казалось, что когда я оправлюсь и вернусь въ тюрьму, то стану

совсѣмъ инымъ человѣкомъ,—весь, весь безраздѣльно отдамъ любви къ этимъ трижды несчастнымъ людямъ, которыхъ судьба послала мнѣ въ товарищи. Присѣвъ на краешекъ моей постели, Чирокъ рассказывалъ, между тѣмъ, тюремныя новости: Сохатый подрался съ Милосердовымъ; Огурцовъ посаженъ вчера въ карцеръ, а надзиратель Змѣиная Голова женился... Потомъ онъ переходилъ къ больному своему мѣсту: въ ноябрѣ мѣсяцѣ кончается срокъ его каторги, но кобылка страшаетъ, что, молъ, Шестиглазый ни за что его не выпуститъ, такъ какъ срокъ ему, будто бы, увеличенъ за побѣгъ.

— Будешь, говорятъ, сидѣть безъ строка... Да еще что вѣдь подлецы говорятъ: въ ноябрѣ, говорятъ, отошлютъ тебя въ Верхнеудинскій централъ на вѣчное одиночное заключенье!.. Да съ какой стати? Развѣ я отца аль мать убилъ?

— Вы правы, Чирокъ: съ какой же стати!

— А они говорятъ; подлецы этакіе, душа изъ ихъ вонъ, будто отъ тебя, Миколаичъ, слышали?...

Я спѣшу, конечно, увѣрить Чирка, что никогда и никто ничего подобнаго не могъ отъ меня слышать.

— Ну, и я тоже говорю: Миколаичъ, молъ, другъ мнѣ, не станетъ онъ такъ говорить!.. Да и какая можетъ быть набавка, коли подъ судомъ я не былъ, и никто мнѣ никакой набавки не объявлялъ.

— Не объявляли, говорите?

— Вотъ тѣ крестъ святой, не объявляли! Дали пятьдесятъ... объ этомъ нѣтъ спору — дали... Ну, посадили опять въ тюрьму — и все тутъ. Да и побѣгъ-то мой вовсе не побѣгомъ былъ зачтенъ, а простой отлучкой.

Въ концѣ концовъ Чирокъ уходилъ отъ меня утѣшенный и сияющій... конечно, впредь до новыхъ застрачиваній любившей подшучивать надъ нимъ кобылки. Возвращались изъ рудника горныя рабочіе, и, наскоро пообѣдавъ, ко мнѣ приходили Башуровъ и Штейнгартъ.

— Господа, — обратился я къ нимъ однажды, — объясните мнѣ, пожалуйста... Вотъ я вспомнилъ сейчасъ нѣсколько стиховъ, повиdimому, не дававшихъ мнѣ покоя во время болѣзни...

— Да, вы, точно, въ бреду все какіе-то стихи декламировали, — замѣтилъ Штейнгартъ.

— Стихи звучные и по содержанію очень хорошіе, но, хоть

убейте меня, не знаю, чьи они, откуда. И, словно будто, страшно знакомое что-то — и невозможно припомнить.

— Да, вы, можетъ быть, въ процессѣ безсознательнаго творчества сочинили ихъ? Ну-ка, прочтите, послушаемъ.

И я прочелъ:

Лишь Богъ помогъ-бы русской груди  
Вдохнуть пошире, повольнѣй,  
Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,  
Что есть грядущее у ней.  
Она не знаетъ середины—  
Черна—куда ни погляди!  
Но не проѣзъ до сердцевины  
Ее порокъ...

— Дальше не помню, но откуда же эти стихи? Помогите мнѣ.

— Что касается меня, то я пасую,—сказалъ Штейнгартъ,—такъ какъ вообще профанъ въ поэзіи. Можете поэтому, если хотите, объявить себя авторомъ этихъ стиховъ; они, дѣйствительно, кажется, недурны.

— Берегитесь! — закричалъ Валерьянъ,—васъ обличать въ плагиатъ. Вѣдь это Некрасова стихи, неужели забыли?

— Какъ такъ? Откуда?

— Изъ поэмы «Несчастные»... Это отрывокъ изъ проповѣдей Крота, героя поэмы, которому удастся переродить своихъ каторжныхъ сожителей, пробудивъ въ нихъ лучшія человѣческія чувства. Когда-то я очень любилъ эту вещь, хотя теперь мнѣ и приходится въ голову, что въ ней больше фантазіи, чѣмъ жизни и правды. Ну, что, вспомнили?

И я, дѣйствительно, вспомнилъ — и то, что стихи были изъ знаменитой поэмы, и то, что именно сюжетъ этой поэмы занималъ меня въ горячешномъ бреду. Весь сонъ ожилъ передо мной сразу, въ мельчайшихъ подробностяхъ... Когда-то, въ годы восторженной юности, Некрасовъ былъ любимымъ моимъ повтомъ, и я зналъ всѣ его лучшія стихотворенія наизусть, и вотъ теперь, въ бреду, мнѣ припомнились давно забытые стихи; отождествивъ себя съ «молчальникомъ Кротомъ», я вошелъ въ его роль и читалъ арестантамъ-товарищамъ его горячія тирады о родинѣ, о великомъ царѣ-работникѣ, о тѣхъ людяхъ, «передъ которыми позднѣй слѣпой народъ восторгъ почуетъ, вздохнетъ и совѣсть уврачуется, воздвигнувъ пышный мавзолей».

Ударилъ звонокъ на повѣрку, и товарищи ушли въ тюрьму,

оставивъ меня одного. Неотступно продолжалъ стоять передо мной образъ некрасовскаго героя, такъ странно и вмѣстѣ такъ реально-варіированный моимъ болѣзненнымъ сномъ. И мнѣ думалось: неужели же эта большая фантазія — одинъ пустой и безумный бредъ? Неужели въ дѣйствительности невозможны такіе свѣтлые, такіе идеально-безкорыстные и самоотверженные апостолы-миссіонеры? Вѣдь бывали же, да и теперь, кажется, бываютъ еще проповѣдники, герои религіознаго долга, уѣзжающіе въ Китай, въ Индію, въ Абиссинію и всю душу, всю свою жизнь отдающіе разнымъ дикарямъ Азіи и Африки... Такъ зачѣмъ же идти просвѣщать счастливыхъ въ своемъ варварствѣ дикарей чуждыхъ намъ странъ, когда среди собственнаго народа, бокъ-о-бокъ со всѣми дарами культуры и цивилизаціи, живутъ еще десятки и сотни тысячъ *родныхъ намъ* дикарей, не имѣющихъ, какъ самые послѣдніе изъ варваровъ, ни малѣйшаго понятія о добрѣ, «о правдѣ, о Богѣ», развращенныхъ, жестокихъ, безумныхъ и, главное (вотъ это самое главное!), несчастныхъ, безъ конца несчастныхъ, именно благодаря нравственной своей и умственной дикости? Сотни тысячъ людей, для которыхъ открыта одна дорога — изъ тюрьмы въ тюрьму, а часто и на висѣлицу! Легко сказать — сотни тысячъ, а это не выдумка вѣдь, не сказка. Я читалъ когда-то въ отчетахъ тюремнаго вѣдомства, что ежегодно больше полумилліона людей обоого пола и всѣхъ возрастовъ проходитъ въ Россіи черезъ тюремную школу, и что содержаніе этой огромной школы обходится государству каждый годъ въ 15 милліоновъ рублей, т. е. ровно столько же, сколько министерство народнаго просвѣщенія тратитъ на содержаніе всѣхъ университетовъ, гимназій, реальныхъ и промышленныхъ училищъ, всѣхъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній...

Что же дѣлать? Увы, что дѣлать? Какъ избыть этотъ ужасъ, этотъ кошмаръ, висящій грозною тѣнью надъ всѣмъ будущимъ родины? Жизнь не даетъ пока отвѣта на эти вопросы и даже не хочетъ признавать ихъ серьезности. Вмѣсто добрыхъ и любящихъ миссіонеровъ, тюрьма знаетъ пока только черствую и холодную опеку казеннаго формализма и всякаго рода репрессій. Не странно ли это, не дико ли? Если лучшими, просвѣщеннѣйшими умами признается въ настоящее время, какъ нѣчто непреложное, что педагоги и преподаватели учебныхъ заведеній должны быть гуманными, образованными людьми, то, казалось бы, тюремные смотрители и надзиратели должны быть людьми, вдвойнѣ гуманными и просвѣщенными. Каза-

лось бы, не отставные солдаты или бурбоны-офицеры должны замѣщать эти отвѣтственно-трудныя должности, какъ сплошь и рядомъ практикуется это теперь, не авторитетъ кулака, цѣпи и палки должны быть предъявляемы несчастнымъ обитателямъ тюрьмы и каторги... Въ самомъ дѣлѣ, для угрозы не довольно ли и каменныхъ стѣнъ вокругъ тюрьмы, не довольно ли ружей и штыковъ охраняющихъ ее солдатъ? Внутри тюрьмы не должна ли царствовать иная, высшая сила и власть — власть правды? О, да! вѣдь правда всеильна, и если бы несчастный отверженецъ во-очію увидалъ, что къ нему подходятъ не съ плетью и розгой, а со словами любви и довѣрія, то — я знаю — на темномъ днѣ и самой развращенной души нашлось бы столько свѣта, что онъ могъ бы ослѣпить многихъ изъ тѣхъ, кто теперь «просвѣщаетъ» и «исправляетъ» каторгу! Въ это я глубоко вѣрю... Она сама, эта злосчастная каторга, утопающая во тьмѣ, въ крови и грязи, — она сама не знаетъ, сколько здоровыхъ, свѣтлыхъ зеренъ таятся въ ея сердцѣ, и насколько эти зерна способны къ произрастанію!

Мозгъ пылаетъ, душа болитъ, и такъ опять безсильнымъ чувствую я себя, что готовъ плакать. Да, всѣ эти мечты наивны, конечно, ребячески неосуществимы!.. Десятки тысячъ людей, молодыхъ, сильныхъ и даровитыхъ, по-прежнему будутъ погибать безъ слѣда и пользы для родины, и все будетъ идти по рутинѣ, изъ года въ годъ, изо дня въ день, а умные, ученые люди не перестанутъ ломать себѣ головы надъ усовершенствованіемъ способовъ возмездія, затрудненіемъ побѣговъ, улучшеніемъ системъ одиночнаго заключенія! Души людей (завѣдомо ослабленныя души) по-прежнему будутъ бросаться въ кромѣшную тьму и предоставляться собственнымъ слабымъ силамъ для выхода къ желанному свѣту! И, значитъ, правъ Валерьянъ Башуровъ: Некрасовъ «фантазировалъ», сочиняя свою поэму, наши «несчастные» никогда не запоютъ его пѣсни:

Да! видитъ Богъ, въ кровавомъ потѣ  
Омыли мы свою вину  
И не напрасно на работѣ  
Пѣвали пѣсенку одну:  
«Дружитѣ! работа есть лопатамъ,  
Не даромъ насъ сюда вели,  
Не даромъ Богъ насытилъ златомъ  
Утробу матери-земли.  
Трудись, покажѣсть служить руки,  
Не сѣлуй, не лѣнись, не трусь,



Спасибо скажутъ наши внуки,  
 Когда разбогатѣетъ Русь.  
 Пускай томится голодомъ, жаждой,  
 Пусть дрогнетъ въ холодѣ зимы,—  
 Ей пригодится камень каждый,  
 Который добываемъ мы!»

— А знаете, Иванъ Николаевичъ, какая у насъ новость?— спросилъ меня артельный староста Годуновъ, заглянувъ въ мою каморку: — вѣдь Юхоревъ, говорятъ, убитъ.

— Какъ такъ убитъ? Кѣмъ, за что?

— Онъ, вѣдь, бѣжалъ, вы слышали?

— Ничего не слыхалъ. Расскажите, пожалуйста. Да онъ въ какой рудникъ переведенъ былъ?

— Въ Алгачинскій. Ну, тамъ, разумѣется, его чуть не того же дня въ вольную команду выпустили, потому онъ въ тюрьму-то, оказывается, Шестиглазымъ самовольно посаженъ былъ, безъ всякаго приказа изъ управленія. Однако, Юхоревъ отлично понимаетъ, что приказъ можетъ не замедлить, и рѣшилъ, что надежнѣе будетъ лататы задать. Бѣжалъ онъ, можно сказать, со звономъ и трескомъ такимъ, что далеко было слышно. Укралъ у кого-то тройку лошадей лихихъ съ кошевой вмѣстѣ, сѣлъ съ одной дѣвкой и товарищемъ— и въ одну превосходную ночь въ путь-дорогу отправился. О Юхоревѣ разное можно судить: что онъ подлецъ былъ первой степени— это, конечно, правда, но все же онъ башка былъ! Если бы такимъ вотъ манеромъ удралъ, положимъ, какой-нибудь Сохатый, такъ я бы назвалъ его дуракомъ и сказалъ, что онъ черезъ два дня попадетъ. Ну, а насчетъ Юхорева я тогда же только носомъ покрутилъ, какъ услышалъ, и ничего не сказалъ... И точно: бѣжалъ онъ такъ—ровно въ воду канулъ! Казачишкамъ бы этимъ его ни въ жисть не поймать, головой готовъ поручиться...

— Такъ кто же его убилъ?

— Тунгусы пристрѣлили, — гдѣ-то далеко, на Ононѣ или на Чикой.

Это извѣстіе меня глубоко поразило... Съ трудомъ какъ-то вѣрилось, что Юхоревъ встрѣтился, наконецъ, съ врагомъ, оказавшимся сильнѣе его, что этотъ тюремный герой не ходитъ больше своей геройской походкой, не глядитъ орлинымъ, вызывающимъ взглядомъ, а лежитъ гдѣ-то въ снѣгу неподвижнымъ, холоднымъ

трупомъ... Годуновъ усмѣхнулся, когда я высказалъ громко эту свою мысль:

— Ха-ха-ха! Эта маленькая свинцовая штучка не разбираетъ, въ кого летитъ. И не такихъ еще героевъ, какъ вашъ Юхоревъ, навѣки спать укладываетъ!..

Глубокая грусть охватила меня, и всю ближайшую ночь душилъ меня тяжелый кошмаръ: Юхоревъ въ самыхъ разнообразныхъ видахъ и положеніяхъ мерещился мнѣ, то съ угрозой бросаясь на меня, то нѣжно и трогательно умоляя о чемъ-то, призывая кого-то спасти, куда-то бѣжать вмѣстѣ съ нимъ... А на другое утро, только что я проснулся, лазаретный служитель, просунувъ въ дверь голову, сообщилъ еще и другую печальную новость:

— Иванъ Николаевичъ, Золото съ Коляровымъ привели!

Я вскочилъ.

— Неужели?!

Это были два арестанта, бѣжавшіе послѣднимъ лѣтомъ изъ швейцарской вольной команды, куда передъ тѣмъ только что выпущены были изъ тюрьмы. Станные это были люди,—закадычные друзья, ни въ чемъ, однако, непохожіе другъ на друга. Коляровъ являлся типичнымъ представителемъ жулика-афериста, въ свое время высланнаго въ Сибирь обществомъ по подозрѣнію въ конокрадствѣ, а съ мѣста поселенія попавшаго въ каторгу уже за новыя художества. Съ длинной рыжей бородой лопатой, сѣрыми умными глазами и низко нахлобученной на глаза шапкой, которая и на время сна даже не снималась, онъ вѣчно сновалъ по камерѣ изъ угла въ уголъ, неспѣшно переходя отъ одной кучки разговаривающихъ къ другой, прислушиваясь къ бесѣдамъ арестантовъ и потихоньку посмѣиваясь себѣ въ бороду; но видно было въ то же время, что ничѣмъ онъ въ этихъ бесѣдахъ серьезно не интересуется, что и короткія реплики его, и самый смѣхъ имѣютъ какой-то разсѣянный, мимоходный характеръ, что умъ его занятъ какой-то своей, особенной, неотвязной мыслью. Какъ только надзиратель отворялъ камеру, Коляровъ слѣшилъ улизнуть во дворъ и тамъ по цѣлымъ часамъ ходилъ съ низко опущенной головой вдоль тюремныхъ стѣнъ, погруженный въ свои неизвѣстныя никому думы. Изъ кухоннаго окна праздные зѣваки часто и подолгу любовались на живую карикатуру Колярова, его собственную тѣнь, расхаживавшую по бѣлой тюремной оградѣ. Сначала эта тѣнь все росла и росла; длинная борода лопатой угрожающе вытягивалась впередъ; фигура торопливо

ковыляла, размахивая рукой и присѣдая на одно колѣно, точно спѣша на незримаго врага, котораго можно было одолѣть лишь ловкимъ подходцемъ... И вдругъ, словно потерпѣвъ неудачу, тѣнь начинала пятиться, пятиться; борода сѣживалась, ковыляющая походка дѣлалась все мельче и смѣшнѣе—и фигура, наконецъ, вовсе исчезала съ тѣмъ, чтобы черезъ минуту опять начать свое грозное наступленіе и опять вызвать гомерическій хохотъ зрителей... О чемъ же думалъ Кольяровъ въ часы своихъ одинокихъ прогулокъ? Никто этого не зналъ, такъ какъ единственнымъ спутникомъ его бывалъ изрѣдка только хохотъ Залата (котораго и надзиратели, и арестанты перекрестили, впрочемъ, въ Золото). Это былъ, по всей вѣроятности, самый молчаливый и самый безобидный человѣкъ во всей тюрьмѣ. Лично я не слыхалъ изъ его устъ ни одной сколько-нибудь длинной фразы, не смотря на то, что прожилъ вмѣстѣ цѣлые годы: въ отвѣтъ на всѣ заговариванья и вопросы Залата умѣлъ только многозначительно крикнуть да благодушно улыбаться; улыбка у него, дѣйствительно, была пріятная—кроткая, располагающая... Онъ и съ Кольяровымъ гулялъ обыкновенно, храня глубокое молчаніе, и трудно было понять, что, собственно, тянуло его къ этому человѣку, и что ихъ связывало. Кольяровъ былъ мужчина еще въ цвѣтѣ лѣтъ, полный энергіи и силы; на работѣ онъ слылъ, правда, отъявленнымъ лодыремъ, но при желаніи, конечно, могъ бы работать самую тяжелую работу. Совсѣмъ не то представлялъ Залата: это былъ, напротивъ, человѣкъ уже пожилыхъ лѣтъ, съ замѣтной сѣдиной на вискахъ и въ рѣдѣнной темной бородкѣ. Лицо у него было испитое, худощавое, онъ былъ слабосилень и хилъ, и цѣлые годы исполнялъ въ Шелафъ обязанности парашника.

Вотъ эти-то странные пріятели и бѣжали изъ вольной команды, какъ только были выпущены въ нее. Побѣгу Кольярова рѣшительно никто не удивлялся,—наоборотъ, всѣ были бы удивлены, если бы онъ не бѣжалъ: до того для всѣхъ было ясно, что побѣгъ всегда былъ его завѣтной мечтой.

— Ну, а вотъ тому-то старому чорту зачѣмъ бѣжать понадобилось?—недоумѣвала кобылка относительно Золота.—Развѣ это человѣкъ? Такъ—вродѣ Володи, насчетъ Кузумы. Изъ самого песка сыплется, ноги давно въ богадѣльню просятся, а туда же за Кольяровымъ вздумалъ погнаться! Этому-то что? Стоитъ только бороду сбрить, такъ его и въ жисть никто не узнаетъ!

Тѣмъ не менѣе оба бѣглеца точно сквозь землю провалились, и.

всѣ уже думали, что они давно пробрались благополучно въ Россію, какъ вдругъ оказалось, что ихъ привели обратно въ тюрьму. Выйдя въ больничный корридоръ и глядя въ окно, я увидалъ, какъ толпа арестантовъ съ любопытствомъ окружила у тюремныхъ воротъ какого-то человѣка, со смѣхомъ выставлявшаго впередъ бороду, забавно присѣдавшаго и оживленно хлопавшаго себя рукою по ляжкѣ. Это, очевидно, и былъ Кольяровъ, хотя не легко было узнать его: великолѣпная длинная борода исчезла и замѣнилась жидкимъ и короткимъ обрывкомъ. Но гдѣ же Золото? Ворота опять распахнулись: силачъ Огурцовъ внесъ въ охапкѣ какую-то небольшую ношу и направился съ ней къ лазарету. Да неужели же онъ раненъ?—подумалъ я съ испугомъ. Но Золото не былъ раненъ—онъ былъ только боленъ. Въ одну изъ палатъ пронесли мимо меня его худенькую фигурку съ изможденнымъ, потемнѣвшимъ лицомъ, на которомъ торчала сѣденькая борода.

— Добѣгался! Не станетъ ужъ больше бѣгать!—грубо буркнулъ, проходя мимо меня, заплывшій жиромъ Огурцовъ, и я съ невольной гадливостью посмотрѣлъ на его толстую бычачью шею, лоснящуюся бѣлую кожу широкаго, круглаго лица и желѣзные мускулы рукъ, глядѣвшіе изъ-подъ засученныхъ высоко рукавовъ рубахи.

Бѣглецы, оказалось, пойманы были еще два мѣсяца тому назадъ и доставлены сначала въ Горный Зерентуй, но узнавшій объ этомъ Шестиглазый потребовалъ, чтобы ихъ вернули въ Шелай, и желаніе его было исполнено. По дорогѣ Золото простудился и прибылъ на мѣсто еле живой. При первомъ же взглядѣ можно было сказать почти навѣрное, что бѣдняга не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ. Однако, онъ и умиралъ такъ же тихо и безропотно, какъ жилъ, и если бы не ужасающій кашель, вырывавшійся временами изъ тѣлѣдушной груди и потрясавшій нервы всѣмъ окружающимъ, то легко было бы забыть о существованіи этого страннаго, молчаливаго человѣка. По цѣлымъ днямъ лежалъ онъ на своей койкѣ съ неподвижно раскрытымъ взглядомъ и, казалось, думалъ... О далекой ли своей «Пилтавинѣ», гдѣ у него были, можетъ быть, и жена, и дѣти, и «волы и коровы»? Или о чемъ другомъ? Снился ли ему на яву шумъ родныхъ тополей, сладкій запахъ вишневыхъ садовъ и степныхъ травъ? Туда ли, на далекую родину, рвалась его упрямая хохлацкая душа, когда онъ задумалъ побѣгъ изъ каторги? Кого могъ въ своей жизни обидѣть этотъ тихій, кроткій человѣкъ, повидимому, неспособный и мухи убить? За что онъ попалъ въ каторгу?

Никто, впрочемъ, и не интересовался никогда этими вопросами. Разъ, когда мнѣ показалось, что Золото чувствуетъ себя лучше обыкновеннаго (онъ, не капляя, полусидѣлъ на койкѣ и прислушивался къ разговорамъ арестантовъ), я осторожно приблизился къ нему и попробовалъ заговорить.

— Ну, что, получше вамъ, Золото? Весна на дворѣ, солнышко пригрѣвать стало...

Старикъ вздрогнулъ отъ неожиданности, но, поднявъ на меня свои глубоко впавшіе, кроткіе, словно выцвѣтшіе сѣрые глаза, ласково улыбнулся.

— Далеко ль отсюда арестовали васъ, Золото?

Не знаю, отвѣтилъ ли бы онъ что нибудь на мой вопросъ (по-видимому, онъ собирался отвѣтить), но въ эту самую минуту къ намъ подскочилъ одинъ изъ словоохотливыхъ тюремныхъ резонеровъ и отвѣчалъ за старика:

— Близко-ли, далеко-ли удалось уйти, а отъ своей судьбы все равно никуда не скроешься! Она всегда, значить, тутъ, за плечами у нашего брата, сидить!

Золото еще разъ тихо улыбнулся, должно быть, въ знакъ согласія, и вдругъ съ ужасной силой закашлялся...

Страшная болѣзнь медленно, но вѣрно подтачивала слабый организмъ, и жизнь съ каждымъ днемъ отлетала. Скоро больной не въ силахъ былъ даже въ постели подняться безъ чужой помощи.

Разъ, въ яркій апрѣльскій полдень, входная дверь больницы съ шумомъ распахнулась, и въ корридоръ появился съ двумя надзирателями Шестиглазый; въ рукахъ онъ держалъ бумагу.

— Въ которой тутъ палатѣ Залата?

Ему указали. Пріотворивъ свою дверь, я слышалъ каждое слово происходившаго за стѣной разговора.

— Не беспокойся, братецъ, лежи, лежи!—началъ бравый капитанъ необычно-ласковымъ тономъ (очевидно, больной силится встать передъ начальствомъ, хотя и не могъ уже сдѣлать этого).—Э, да ты, я вижу, плохъ, я думалъ, тебѣ лучше. Не надо было бѣгать, братецъ, на старости лѣтъ, ждалъ бы себѣ спокойно конца срока, тѣмъ болѣе—манифестъ могъ быть примѣненъ. Ну, да теперь ничего ужъ не подѣлаешь! Вотъ я пришелъ тебѣ объявить!.. Лежи же, говорятъ тебѣ—лежи! бумага пришла изъ управленія... Это насчетъ твоего побѣга съ Кольяровымъ... Конечно, можно бы и погодить съ этимъ, но... лучше исполнить долгъ.

И бравый капитанъ приготовился, повидимому, читать бумагу; но онъ какъ-то необычно мялся, словно находясь въ колебаніи: быть можетъ, онъ, дѣйствительно, не зналъ раньше о степени болѣзни Золотѣ и теперь пораженъ былъ видомъ умирающаго... Прочитавъ нѣсколько строкъ, онъ вдругъ остановился и сложилъ бумагу.

— Я думаю, лишнее читать цѣликомъ,—заговорилъ онъ:—я лучше на словахъ скажу тебѣ... Видишь-ли что. Вамъ съ Коляровымъ объявляется набавка по пяти лѣтъ... Колярову-то, конечно, и придется вынести это наказаніе, но ты... но тебѣ...

Великолѣпный Лучезаровъ окончательно рѣстерялся и чуть было не сказалъ, что несчастный долженъ умереть гораздо раньше; но онъ поправился:

— Но ты, старина, не унывай! Я хлопотать о тебѣ стану, и наказаніе могутъ отменить. Вамъ еще и по сорока пяти плетей назначено... Колярову, конечно, и плети сполна будутъ высчитаны, онъ этого заслужилъ... Онъ порядочный мерзавецъ, этотъ Коляровъ! Ну, а ты... ты, повторяю, и плетей тоже не бойся. Тебѣ ихъ не будетъ, совсѣмъ не будетъ. Я похлопочу—и докторъ освободитъ тебя!.. Ну, будь здоровъ, поправляйся, братецъ!

И красный, какъ піонъ, Лучезаровъ торопливо выбѣжалъ вонъ изъ палаты. Я едва успѣлъ захлопнуть свою дверь, чтобы не столкнуться съ нимъ лицомъ къ лицу.

Ни свидѣтельства тюремнаго доктора, ни великодушнаго заступничества добраго начальника Залатѣ, однако, уже не понадобилось: ровно черезъ два дня его не стало. Умеръ онъ также тихо, какъ и жилъ; ни арестанты-товарищи, ни надзиратели, никто не видѣлъ его послѣднихъ минутъ. Проснулись больные рано утромъ и нашли на сосѣдней койкѣ остывшій, недвижный трупъ. На исхудаломъ, какъ щепка, лицѣ мертвеца съ плотно закрытыми, глубоко впавшими вѣками и рѣденькой сѣдой бородкой замерла кроткая, счастливая улыбка... Окончился злой, тяжелый кошмаръ! Свобода, свобода!

## XIX.

### Сонъ на яву. Побѣтъ.

Опять наступало лѣто со всей своей раздражающей прелестью. Я не могъ, разумѣется, предвидѣть, что это будетъ послѣднее мое

тюремное лѣто, и душу наполняли обычная тоска и горечь. Это лѣто было для меня тѣмъ тяжелѣе, что мартовская болѣзнь оставила въ наслѣдство постоянныя боли въ рукахъ и ногахъ, и врачъ, посѣтившій весною шелайскій рудникъ, освободилъ меня на неопредѣленное время отъ всякой обязательной работы. Фамилію мою перестали выкликать на вечернихъ нарядахъ, и я безвыходно сидѣлъ съ этихъ поръ въ тюремныхъ стѣнахъ, невыносимо грустя и скучая. Любимымъ мѣстомъ, гдѣ я проводилъ теперь цѣлые часы, прислушиваясь къ щебетанью летавшихъ около своихъ гнѣздъ шурковъ и къ доносившимся издалика голосамъ арестантовъ, сдѣлалась одна изъ трехъ стоявшихъ во дворѣ солдатскихъ будокъ; это было единственное во всей тюрьмѣ мѣсто, куда можно было хоть на минуту укрыться отъ человѣческихъ глазъ. Будки эти имѣли слѣдующее происхожденіе. Въ началѣ существованія шелайской образцовой тюрьмы, когда бравый капитанъ особенно боялся побѣговъ, онъ настоялъ, чтобы казацкіе караульные посты имѣлись не только съ наружной стороны тюрьмы, какъ во всѣхъ обыкновенныхъ тюрьмахъ, но также и внутри ея. Съ этой цѣлью въ различныхъ пунктахъ нашего двора и были поставлены четыре сторожевыхъ будки; около нихъ днемъ и ночью расхаживали казаки съ ружьями. Прогулки арестантовъ по двору были вслѣдствіе этого затруднены; то и дѣло слышались грозныя оклики: «куда идешь? Сворачивай!» Но не это, конечно, обстоятельство послужило скорѣй причиной отмѣны внутреннихъ постовъ, а чисто-физическая невозможность малочисленной казацкой сотнѣ исполнять всѣ возложенныя на нее функціи. Бѣдные служители Марса очень скоро выбились изъ силъ и, стоя на часахъ, чуть не падали съ ногъ отъ утомленія и долгой бессонницы; есаулъ принужденъ былъ начать хлопоты объ уменьшеніи числа караульныхъ постовъ. И вотъ результатомъ этого ходатайства и была отмѣна внутренняго караула. Къ обоюдному восторгу арестантовъ и казаковъ, послѣднимъ приказано было покинуть тюрьму, и весь дворъ сталъ съ этого дня доступнымъ для нашихъ прогулокъ. Утащили казаки и одну изъ своихъ тяжеловѣсныхъ будокъ; арестанты думали, что и остальные три подвергнутся той же участи, но онѣ почему-то оставлены были «на время» на старыхъ мѣстахъ. Время, между тѣмъ, шло, начальство, должно быть, позабыло даже о существованіи будокъ, и онѣ такъ и остались навсегда достояніемъ кобылки: одна стояла возлѣ кухни, другая въ углу за больницей, третья дальше всѣхъ отъ шума и суетоки—подъ окнами одной изъ среднихъ камеръ. Вотъ эта-то послѣдняя будка и приш-

лась по сердцу моей мечтательности; подъ ея уютной кровлей нерѣдко записывалъ я на память для себя и свои тюремныя впечатлѣнія. Задумавшись однажды, я такъ погрузился въ свое занятіе, что не слышалъ пронзительнаго свистка дежурнаго надзирателя, предупреждавшаго арестантовъ о приходѣ въ тюрьму начальства. Я вздрогнулъ и опомнился только тогда, когда въ двухъ шагахъ отъ моего убѣжища раздался знакомый, властный голосъ: это Шестиглазый, дѣлая обходъ вокругъ тюрьмы, говорилъ о чемъ-то съ надзирателемъ, и едва успѣлъ я сунуть въ карманъ карандашъ и бумагу, какъ уже встрѣтился съ нимъ глазами... Бравый капитанъ, въ отвѣтъ на мой поклонъ, только значительно гмыкнулъ, однако ничего не сказалъ и прошелъ дальше.

Съ наступленіемъ новой весны начальство начало, какъ всегда, бить тревогу и усиливать осторожность; а однажды бравый капитанъ (вскорѣ ожидавшій, какъ говорили, какого-то повышенія по службѣ и потому особенно боявшійся теперь побѣговъ) рѣшился даже отступить отъ своихъ обычныхъ правилъ и повліять на *разумъ* своихъ подчиненныхъ. Явившись на повѣрку съ листкомъ бумаги въ рукахъ, онъ обратился къ нимъ съ слѣдующей рѣчью:

— Я знаю, что многіе изъ васъ съ наступленіемъ теплаго времени имѣютъ дурную привычку задумываться насчетъ возможности бѣжать изъ тюрьмы. Дѣло это, конечно, ваше, также какъ мое—не допускать побѣговъ. И будьте увѣрены, я не допущу ихъ! Но мнѣ жаль всетаки тѣхъ легкомысленныхъ, которые могутъ увлечься нелѣпой мечтой или послушаться злонамѣренныхъ коноводовъ. Я хотѣлъ бы поэтому, чтобъ они пошевелили мозгами... Съ этой цѣлью я пересмотрѣлъ всѣ приказы нерчинской каторги за... (И Лучезаровъ назвалъ какой-то очень большой періодъ времени,—не помню въ точности, какой именно, но чуть-ли не все нынѣшнее столѣтіе) и сосчиталъ, сколько было совершено за этотъ срокъ побѣговъ изъ каторжныхъ тюремъ. И что же вы думаете? Я былъ удивленъ полученными результатами. Оказалось, что за это огромное время пыталось бѣжать изъ тюремныхъ стѣнъ всего только *79 человекъ*, и изъ нихъ *лишь троемъ*,—замѣьте, троемъ!—удалось скрыться безслѣдно. Всѣ прочіе или въ самый моментъ побѣга были застигнуты и убиты, или же въ самомъ непродолжительномъ времени пойманы и возвращены въ тюрьму. Такъ вотъ, что говорятъ цифры: не такъ-то легко, значить, бѣжать!.. Поразмыслите же объ этомъ хорошенько, прежде чѣмъ рѣшиться затѣять подобную глупость.



Рѣчь эта разсчитана была, очевидно, на подавляющій эффектъ, и однако никакого эффекта не получилось. Статистика бравата капитана даже мнѣ показалась въ первое мгновеніе довольно шаткимъ экспромтомъ, арестанты же, вернувшись въ камеры, прямо подняли ее на смѣхъ. Въ минуту насчитано было около двухъ десятковъ побѣговъ, совершенныхъ въ самые послѣдніе годы, и изъ нихъ чуть не половина была, будто бы, удачныхъ... Фантазировала-ли въ этомъ случаѣ кобылка, склонная всегда къ оптимизму? Тенденціозно ли сдѣлалъ капитанъ свой любопытный подсчетъ, поставивъ, напр., вмѣсто 179 цифру 79, а вмѣсто 33 просто 3? У меня нѣтъ никакихъ данныхъ утверждать это съ положительностью: весьма возможно даже, что Лучезаровъ былъ и правъ (если не безусловно, то приблизительно), но въ такомъ случаѣ ему нужно было подробнѣе остановиться на своихъ поучительныхъ цифрахъ, доказать арестантамъ ихъ точность документальными данными, перечисливъ всѣхъ бѣглецовъ поименно. Только такой полной, до конца договоренной правдой можно было разсчитывать произвести на каторгу какое-либо впечатлѣніе. Теперь же Лучезаровъ достигъ результатовъ скорѣе противоположныхъ тѣмъ, какихъ добивался: «пошевеливъ мозгами», легкомысленные въ пухъ и прахъ раскритиковали его рѣчь, посмѣялись надъ нею и легли спать въ большей даже, чѣмъ раньше, увѣренности, что для «духового» человѣка удачный побѣгъ всегда и отовсюду возможенъ.

Съ своей стороны и Шестиглазый мало, повидимому, увѣровалъ въ силу своего краснорѣчія: онъ чаще обыкновеннаго навѣщалъ послѣднимъ лѣтомъ тюрьму и пробовалъ съ надзирателями прочность оконныхъ рѣшетокъ. Послѣднее дѣлалось, впрочемъ, больше для успокоенія совѣсти, такъ какъ всѣ отлично понимали, что если бы кто изъ арестантовъ и задумалъ побѣгъ, то выбралъ бы какой либо иной путь, оставивъ рѣшетки въ покоѣ. По крайней мѣрѣ, тѣ надзиратели, съ которыми мнѣ приходилось разговаривать на эту тему, считали побѣгъ не только изъ камеръ, но даже и со двора тюрьмы дѣломъ совершенно невозможнымъ, а одинъ изъ нихъ (тотъ самый, котораго арестанты звали Проней-живой смертью) выразился разъ даже такъ:

— Помилуйте! да это сонъ на яву былъ бы, кабы изъ нашей тюрьмы кто бѣжалъ... Немыслимое это дѣло!

Да и сами арестанты, мечтая иногда вслухъ о побѣгахъ, никогда почти не останавливались на мысли бѣжать черезъ тюремную ограду

или черезъ подкопъ. Послѣдній, дѣйствительно, былъ немислимъ при строгости шелайскихъ порядковъ и малолѣтствѣ арестантовъ; что же касается ограды, то побѣгъ черезъ нее возможенъ былъ бы только днемъ, слѣдовательно—на глазахъ у часовыхъ; несравненно поѣтому легче было бы бѣжать во время работы, на глазахъ у тѣхъ же часовыхъ, но гдѣ-нибудь ближе къ лѣсу и безъ такой трудной преграды на пути, какъ высокая каменная стѣна. И арестантскія мечты о побѣгѣ, въ самомъ дѣлѣ, направлялись главнымъ образомъ на рудникъ. Никогда не собираясь бѣжать самъ, даже я не могъ иногда отдѣлаться отъ общей арестантамъ склонности мечтать о побѣгѣ. Мнѣ казалось, напримѣръ, что наибольшее удобство для этого представляла горная свѣтличка, возлѣ которой ставился всегда только одинъ часовой; прочіе конвойные сидѣли все время въ свѣтличкѣ или спали на открытомъ воздухѣ, лишь случайно и разсѣянно поглядывая по сторонамъ. Мнѣ казалось, что, пользуясь условленными заранѣе сигналами товарищей, ничего бы не стоило обмануть этого часового и, прикрываясь отъ глазъ его зданіемъ самой свѣтлички, уйти въ гору и скрыться въ лѣсу. Побѣгъ, совершенный такимъ способомъ рано по утру, былъ бы обнаруженъ не раньше трехъ часовъ дня, когда арестанты возвращались обыкновенно въ тюрьму,—и какое разстояніе успѣлъ бы пройти бѣглецъ за эти 7—8 часовъ!.. Но что было бы дальше? Дальше мечты мои, однако, не заглядывали, такъ какъ серьезно, повторяю, я бѣжать не собирался, и для моей фантазіи интересенъ былъ только первый наиболѣе романтическій актъ побѣга. Да я и потому еще не могъ фантазировать о дальнѣйшихъ шагахъ бѣгства, что и мѣстность, и люди, и условія жизни въ Забайкальской области были мнѣ абсолютно незнакомы. Я зналъ одно только изъ разсказовъ тѣхъ же арестантовъ, что бѣгство черезъ Забайкалье несравненно труднѣе, чѣмъ черезъ какую-либо иную часть Сибири, вслѣдствіе того, что населено оно казаками, сыновья и братья которыхъ служатъ въ конвойныхъ и тюремныхъ командахъ и несутъ отвѣтственность за каждый совершенный изподъ ихъ караула побѣгъ. Всякій поѣтому неизвѣстный прохожій возбуждаетъ въ нихъ подозрительность, и завѣдомый бѣглецъ не долженъ ожидать себѣ пощады.

Что тѣ или другіе арестанты серьезно мечтаютъ о побѣгѣ, ни для кого въ тюрьмѣ и даже внѣ тюрьмы не было тайной; на постоянномъ счету у начальства былъ, напримѣръ, Петинъ-Сохатый. Слишкомъ ужъ громкая слава бѣгуна окружала въ прошломъ его

имя, и хотя въ настоящее время слава эта въ значительной степени поблекла и померкла, хотя не только арестанты, но и надзиратели относились давно скептически къ тому, чтобы онъ рѣшился когда-нибудь бѣжать изъ «образцовой» Шелайской тюрьмы, побѣгъ изъ которой представлялся имъ сномъ на яву, но все-таки, для вѣрности, за нимъ приглядывали тщательнѣе, чѣмъ за кѣмъ другимъ. Проходило, однако, лѣто за лѣтомъ, а Сохатый все сидѣлъ да сидѣлъ и все ниже и ниже падалъ въ глазахъ насмѣшливой кобылки. Прошелъ, было, слухъ и въ послѣднее лѣто, что Сохатый что-то затѣваетъ; самъ онъ бродилъ по тюрьмѣ угрюмый и злой, забросивъ ученье, немилосердно лодырничая на работѣ и, видимо, нервничая, но отъ этого было далеко еще до серьезныхъ приготовленій къ побѣгу. Къ тому же, какъ разъ въ это самое лѣто онъ перегрызся со всѣми выдающимися арестантами и остался совсѣмъ одинокимъ... Единственный человѣкъ въ тюрьмѣ, съ кѣмъ онъ теперь дружилъ, былъ молоденькій татаринъ Кантауровъ, котораго звали просто Малайкой. Тонкій и длинный, какъ комаръ, безусый, Кантауровъ совсѣмъ походилъ еще на мальчика, и его странная дружба съ Сохатымъ вызывала общія недоумѣнія и недвусмысленные порой намеки.

— Связался чортъ съ младенцемъ!—говорила про нихъ кобылка, и если Сохатый и не былъ настоящимъ чортомъ, то про его новаго пріятеля рассказывали, будто онъ кричалъ во снѣ: «ма-ма!» и такъ чмокалъ губами, точно сосалъ соску.

— Домой хочешь, Малайка? Домъ—якши, тюрьма—яманъ?

— Якши домъ, ухъ, якши!—отвѣчалъ Малайка, улыбаясь во всю рожу и зажмуривая глаза, и даже длинные уши его дергались отъ удовольствія.

Странное обстоятельство привело этого юношу въ каторгу. Братья его были профессиональные чаертзы. Кантауровъ отправился съ ними на грабежъ, даже не зная хорошенько, куда и зачѣмъ они идутъ, по чисто дѣтскому, традиціонному чувству братскаго долга. Всѣ грабители были вскорѣ уличены, и хотя первые же шаги дознанія выяснили, что участіе младшаго изъ братьевъ въ преступленіи было вполнѣ бессознательное, но на всякій случай и его также арестовали и посадили въ тюрьму. Не просидѣвъ, однако, и двухъ недѣль подъ замкомъ, Малайка сильно загрустилъ. Замѣтившіе это арестанты принялись смѣяться надъ нимъ:

— Неужто не бѣжишь, Малайка? Неужто обрѣбешь?

Въ Малайкѣ заговорило самолюбіе.

— Моя захотитъ—сичасъ бѣжать станеть!

— Такъ ты захоти, дуракъ!

И Малайка удивилъ тюрьму. Разъ, когда надзиратель отворилъ ворота, чтобъ арестанты ввезли въ нихъ бочку съ водой, онъ кинулся со всего разбѣгу вонъ изъ тюрьмы, сбиль съ ногъ надзирателя—и не успѣлъ часовой опомниться и дать выстрѣлъ, какъ онъ уже скрылся въ сосѣднихъ кустахъ.

— Вотъ такъ молодчага нашъ Малайка!—говорила изумленная и восхищенная шпанка, но самому молодчагѣ дорого досталось это молодечество. Когда мѣсяць спустя, онъ былъ, наконецъ, пойманъ, то слѣдователь не могъ уже отнестись къ нему, какъ къ невинному младенцу; въ глазахъ суда онъ тоже явился ловкимъ и смѣлымъ до дерзости преступникомъ. И вотъ, не успѣлъ мой легкомысленный герой очнуться, какъ ни за что, ни про что попалъ въ Шелай. Теперь бѣдняга сдѣлался, повидимому, умнѣе и никакія подзуживанія кобылки уже не имѣли надъ нимъ власти.

— Нѣтъ, моя глупа была,—говорилъ онъ прямо:—вотъ и попала каторга. Четыре мѣсяца высижки—айда домой! Нѣтъ, моя не хотѣла... Ну, такъ ступай каторга! Ну, какъ не глупа? Теперь Малайка умный, сидѣть будетъ, строкъ ждаты. Пришелъ строкъ—и начальникъ моя домой пушаетъ!

— Дурачина ты, дурачина,—разочаровывали его арестанты,—да гдѣ твой домъ-то? Въ Казанской губерніи? Ну, а ты вѣдь послѣ каторги поселенъ будешь въ Забайкальи аль по Якутскому тракту. И понюхать тебѣ дому-то не дадутъ! На вѣки вѣчныя простишь теперь съ своимъ домомъ.

Малайка слушалъ подобныя рѣчи хотъ и съ недовѣріемъ, но съ затаенной тревогой.

— Дуракъ, все равно вѣдь съ поселенія-то бѣжать придется, такъ лучше же изъ тюрьмы?—со смѣхомъ продолжала подзуживать кобылка.

— Моя съ населенія айда домой!—радостно подхватывалъ Малайка и, лопоча что-то непонятное на своемъ языкѣ, поспѣшно убѣгалъ прочь.

Татаръ, сартовъ, киргизовъ скопилось за послѣднее время въ Шелайской тюрьмѣ особенно много, но изъ всей этой массы наиболѣе выдавался, какъ внѣшней, такъ и внутренней оригинальностью, татаринъ Оренбургской губерніи Ибрагимъ-Нуреддинъ-Сарафетдиновъ,

прославившійся своими многочисленными побѣгами изъ-подъ стражи. Мудреное имя его съ трудомъ выговаривали не только арестанты, но и надзиратели, и потому онъ всѣмъ извѣстенъ былъ подѣ короткимъ прозвищемъ Садыка. Высокаго роста, превосходнаго сложенія, съ пронипательными косыми глазами на красивомъ, энергичномъ лицѣ, Садыкъ производилъ впечатлѣніе человѣка свирѣпаго и въ высшей степени отважнаго. Я никогда не видалъ его въ спокойномъ состояніи—сидящимъ или лежащимъ на нарахъ; все въ этомъ человѣкѣ жило, кипѣло и двигалось; сейчасъ онъ находился въ одной камерѣ, черезъ минуту вы уже встрѣчали его въ противоположномъ углу тюрьмы на дворѣ. И всегда онъ былъ при этомъ одинокъ и угрюмомолчаливъ. Станный характеръ носили также прогулки Садыка по двору: онъ не ходилъ тихимъ или быстрымъ шагомъ, какъ всѣ прочіе арестанты, а бѣгалъ крупною рысью, низко наклонивъ впередъ огромное тѣло и пугая встрѣчныхъ своими косыми огненными глазами, глядѣвшими неизвѣстно на кого и на что, и подобно «доброму пноходцу», какъ выражалась кобылка, производилъ такой моціонъ иногда по цѣлому часу.

Этого человѣка и казакскій конвой, и тюремная администрація всегда держали на особой примѣтѣ. Въ подозрѣніи находились также Соколицевъ, Чащинъ, Карасевъ и всѣ другіе, за кѣмъ числились въ прошломъ побѣги. Однако лѣто прошло благополучно, и начальство опять вздохнуло свободно: въ концѣ августа, конечно, ужъ никто не вздумаетъ бѣжать. Къ тому же завернули внезапно холода...

Въ одно изъ послѣднихъ чиселъ августа, подѣ вечеръ, я и Башуровъ совершенно неожиданно вызваны были въ контору. Шестиглазый, увидавъ насъ, просіялъ, какъ солнце.

— Ну-съ, позвольте васъ поздравить, *юстода*, — сказалъ онъ, торжественно поднимаясь съ мѣста, и это странное предисловіе сдѣлало мнѣ сердце не столько радостнымъ, сколько болѣзненнымъ предчувствіемъ:—позвольте поздравить со свободой... Только что получилась почта съ приказомъ объ этомъ. Вотъ читайте. Къ Валерьяну Башурову примѣненъ манифестъ, по которому онъ немедленно переводится въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ... Ну, а что касается васъ,—обратился Лучезаровъ ко мнѣ, улыбаясь,—то вы не могли, конечно, попасть сразу на поселеніе, но вы теперь же отправляетесь въ вольную команду.

И Лучезаровъ торжествующимъ взоромъ оглядывалъ меня, какъ бы стараясь прочесть на моемъ лицѣ выраженіе радостнаго волненія.

Повидимому, онъ немало удивленъ былъ, услышавъ изъ моихъ устъ одинъ только холодный вопросъ:

— Отправляюсь?.. Куда же это я отправляюсь?

— Да, я и забывъ, то-есть не успѣлъ сказать вамъ,—отвѣчалъ капитанъ, нѣсколько нахмуриваясь:—признано неудобнымъ оставить васъ при этой же тюрьмѣ въ вольной командѣ... Были, знаете, разные соображенія... Такъ что вы переводитесь въ казанскій рудникъ.

— Скоро ли мы будемъ отправлены? — полюбопытствовалъ Башуровъ.

— Это будетъ зависѣть отъ того, когда придетъ конвой. Во всякомъ случаѣ съ завтрашняго же дня вы освобождаетесь отъ каторжныхъ работъ.

Раскланявшись съ бравымъ капитаномъ, мы отправились въ тюрьму. Здѣсь съ быстротой молніи разнеслось извѣстіе о нашемъ освобожденіи, и арестанты, съ радостной улыбкой, то и дѣло подходили къ намъ съ поздравленіями и добрыми пожеланіями.

Въ ожиданіи прихода стрѣтенскаго конвоя, намъ пришлось, однако, прожить въ шелайской тюрьмѣ еще цѣлый мѣсяцъ, и за этотъ послѣдній мѣсяцъ произошло столько важныхъ событій, что въ другое время ихъ могло бы хватить на два или на три года. Нельзя, впрочемъ, не принять здѣсь и того во вниманіе, что теперь мы съ удвоеннымъ любопытствомъ приглядывались къ своимъ сожителямъ, не безъ сожалѣнія и грусти помышляя о томъ, что доживаемъ въ ихъ обществѣ послѣдніе дни, и потому все, что происходило вокругъ, врѣзывалось въ память съ особенной силой. Въ отношеніяхъ кобылки ко мнѣ и къ Валерьяну также чувствовалась какая-то необыкновенная мягкость, почти что любовность: на лицахъ самыхъ суровыхъ, самыхъ неразговорчивыхъ въ прежнее время субъектовъ, при встрѣчахъ съ нами, неизмѣнно появлялась теперь пріятливая улыбка, шаги сами собой замедлялись, языкъ обнаруживалъ склонность къ изліяніямъ чувствъ... «Ученики» особенно искренно жалѣли о нашемъ отъѣздѣ, такъ какъ теперь на всю тюрьму оставался одинъ только учитель; Луныковъ не уставалъ засыпать меня всевозможными вопросами, усиленно стремясь набраться за оставшіеся дни всякой книжной премудрости.

Въ самомъ непродолжительномъ времени ожидалось, между тѣмъ, прибытіе губернатора, и въ тюрьмѣ все опять волновалось, суетилось, скреблось, чистилось, приводилось въ порядокъ. Былъ вечеръ послѣд-

няго августовскаго дня. Послѣ повѣрки между Луньковымъ и Сохатымъ произошло обычное столкновение. Первый болталъ безъ умолку, философствуя на ту тему, что будь онъ на волѣ грамотнымъ, какъ теперь, ни за что бы не попалъ онъ въ каторгу, «какъ иные прочіе храпы и глоты»; Сохатый ничего не говорилъ, но, лежа въ своемъ углу, онъ то и дѣло встрѣчалъ насмѣшливымъ фырканьемъ хвастливыя рѣчи соперника. Это, наконецъ, раздражило Лунькова, и онъ обратился къ Сохатому:

— Чего ты тамъ фыркаешь, вѣчный ты тюремный житель?

— Кто? Это я-то вѣчный тюремный житель?—поднялся Сохатый съ нарѣ.

— Вѣстимо, ты! Ты объ одномъ вѣдь и тужишь только, что двухъ аль трехъ жизней въ тюрьмѣ провести не можешь.

— Оселъ! да я, можетъ быть, захочу—завтра же съ тюрьмой распрощаюсь?

— Послѣ дождичка въ четвергъ, а завтра еще суббота только. Гремѣлъ ты когда-то Сохатымъ, а нынче гремишь, какъ у меня пустое брюхо гремѣть. Ну, и выходитъ, что вѣчный ты тюремный житель!

— Повтори, трепачъ, что ты сказалъ!

— То и сказалъ: вѣчный тю-ремный жи-тель, кухонный косто-грызь!

Сохатый окинулъ Лунькова молчаливымъ, убійственно презрительнымъ взглядомъ, и вдругъ повернулся ко мнѣ:

— А вы, Иванъ Николаевичъ, такое же понятіе обо мнѣ держите, какъ и вашъ *любимый* ученикъ?

Получивъ отъ меня уклончивый отвѣтъ, онъ ядовито засмѣялся и, замолчавъ, пошелъ спать въ свой уголь. Луньковъ долго еще съ побѣдоноснымъ видомъ ораторствовалъ, но Сохатый не обращалъ уже на его слова никакого вниманія. Остальные арестанты во время этого спора хранили безмолвный нейтралитетъ, и одинъ только Годуновъ раза два хихикнулъ двусмысленно, очевидно, сочувствуя Лунькову. Вскорѣ всѣ легли спать, заснулъ и я также.

Когда на утро, еще въ совершенной темнотѣ, надзиратель отворилъ камеры и выгналъ арестантовъ въ корридоръ на псырку, я, разоспавшись, полѣнился выйти вмѣстѣ со всѣми и, продолжая лежать съ закрытыми глазами, слышалъ только сквозь еонъ оживленныя восклицанія кобылки, передававшей другъ другу сенсационную новость: въ ночь выпалъ глубокій снѣгъ... Никто не запомнилъ та-

кого диковиннаго случая, чтобъ снѣгъ выпадалъ на первое сентября, и всѣ гадали о томъ, къ добру это или къ худу. Подъ этотъ говоръ я и заснулъ опять крѣпкимъ сномъ.

Вдругъ меня разбудилъ какой-то тревожный шумъ, крики... Кто-то коснулся меня, окликнулъ. Я поднялъ голову—было уже совсѣмъ свѣтло—передо мной стояли Башуровъ и Штейнгартъ.

— Слышали?

— Снѣгъ? Слышалъ...

— Какое снѣгъ! Выстрѣлъ, побѣгъ!

— Побѣгъ?

— На дворъ! всѣ на дворъ!—нечеловѣческимъ голосомъ проревѣлъ кто-то, промчавшись по корридору. Кобылка давно уже была, очевидно, тамъ, такъ какъ камеры оставались пусты. Одѣвшись второпяхъ, пошелъ и я съ товарищами.

— Кто бѣжалъ?—спрашивали мы встрѣчавшихся по дорогѣ взволнованныхъ арестантовъ.

Но никто ничего не зналъ.

— Чапинъ бѣжалъ!—сказалъ кто-то не совсѣмъ, впрочемъ, увѣренно.

— Черти, дьяволы, да когда же, какимъ путемъ?

— Ну, о пути-то ты его ужъ самого спроси. Жаль, съ тобой онъ не посоветовался!

— Надо думать, вовсе сею минуту бѣжалъ, потому во время повѣрки я его видѣлъ.

— Четверти часа не прошло, какъ кухонники, говорятъ, выстрѣлъ слышали. Только-только повѣрка отошла, онъ и грянулъ тамъ, выстрѣлъ-отъ, за больницей. Черезъ ограду, надо быть, махнули!

— Вотъ такъ фунтъ!..

Отъ яркаго, молочно-бѣлаго снѣга, устлавшаго весь дворъ, лица арестантовъ казались необыкновенно блѣдными; но и внутренно, повидимому, всѣ страшно волновались; многіе тряслись, точно въ лихорадкѣ.

По рядамъ еще разъ пронеслась фамилія Чапина.

— Ау! тутъ я! чего вамъ зандобился Чапинъ, воронье вы безмозглое?

— Ахъ, шутъ его дери, да онъ здѣсь! Кто-жъ набрякалъ, будто Чапинъ бѣжалъ?

— Можетъ, и вовсе никто не бѣжалъ, а сами на себя петлю накидываютъ,—раздался чей-то скептическій голосъ.



— Знамо, кобылка дурная...

Надзиратели, между тѣмъ, лѣзли вонъ изъ кожи, летая, какъ угорѣлые, по выстроеннымъ шеренгамъ и лихорадочно пересчитывавая арестантовъ. Но свести концы съ концами имъ никакъ не удавалось: арестантовъ оказывалось, какъ это часто случалось, даже больше, чѣмъ нужно. Ворота поспѣшно распахнулись, и въ нихъ не вошелъ, а влетѣлъ красный, какъ ракъ, Лучезаровъ, виопыхавъ одѣвшійся въ какую-то кургузую, полинялую домашнюю куртку, которая лишала его обычной представительности и величія. Растерявшійся дежурный позабылъ даже скомандовать: «Смирно! шапки долой!»—и кобылка стояла въ шапкахъ, смущенная и недоумѣвающая. Но бравому капитану было въ эту минуту не до заботы о внѣшнемъ великолѣпіи; не обративъ никакого вниманія на нарушение порядка, онъ быстрыми шагами кинулся къ арестантскому строю.

— Ну, что? — на бѣгу спросилъ онъ дежурнаго: — кто? какимъ образомъ?

— Ничего пока неизвѣстно, господинъ начальникъ, — отрапортовалъ одинъ изъ надзирателей, приложивъ къ козырьку руку.

— Дурачье! — отрѣзалъ капитанъ и принялся самъ пересчитывать шеренги.

— Двонхъ не достаетъ, — объявилъ онъ громогласно, бросивъ уничтожающій взглядъ въ сторону надзирателей, и вслѣдъ затѣмъ гаркнулъ на арестантовъ: — по камерамъ! Маршъ въ одну минуту!

Всѣ кинулись въ беспорядкѣ по своимъ номерамъ. Мнѣ тотчасъ же бросилось въ глаза отсутствіе у насъ Сохатаго.

— А гдѣ же, господа, Петинъ?

— И въ самъ-дѣлѣ, ребята, гдѣ же Сохатый? — переглянулись между собой арестанты: — ужъ не онъ ли?..

— Ну, да, ждите! — пренебрежительно возразилъ Луньковъ: — а сейчасъ только что видѣлъ его. Не таковскій, не бѣжить!

— Гдѣ ты его видѣлъ? Когда?

— На повѣркѣ утренней онъ рядомъ со мной стоялъ, да и сейчасъ, кажись...

— Ну, развѣ что на утренней, а сейчасъ на дворѣ — это ты врешь, его не было, — въ раздумьи замѣтилъ Годуновъ.

— Не было?!

— Смирна!..

Дверь отомкнулась — и въ камеру вошелъ раздраженный, какъ и прежде, Лучезаровъ съ толпой блѣдныхъ, смущенныхъ надзирателей.

— Разъ, два, три... Ну, такъ и есть: здѣсь тоже одного не достаётъ — значитъ, уже третьяго! — почти взвизгнувъ онъ.

Надзиратели молчали, потрясенные, уничтоженные...

— Кого у васъ не достаётъ, говорите? Староста, говори!

У насъ были и камерный, и общетюремный староста, но и тотъ, и другой мялись въ нерѣшительности.

— Петина нѣтъ, господинъ начальникъ, — убитымъ голосомъ пролепеталъ, наконецъ, Проня.

— Петина? Гм! гм! такъ и слѣдовало, конечно, предполагать.

И Шестиглазый поспѣшилъ вонъ: Выходя послѣднимъ изъ камеры, Проня хлопнулъ себя рукой по бедру и сказалъ довольно громко:

— Прямо сонъ на яву, да и только!..

— Кто бы могъ въ самъ-дѣлѣ подумать, ребята, на Сохатаго, а? — замѣтилъ Чирокъ, когда мы снова очутились на замкѣ.

— А ты какъ полагалъ объ Сохатомъ? Его, братъ, голыми руками тоже не щупай! — заговорилъ вдругъ Годуновъ; и эти слова сразу дали тонъ общественному мнѣнію.

— Я самъ не разъ говаривалъ, что у него дурная башка, — продолжалъ Годуновъ, обращаясь для чего-то въ мою сторону и какъ бы въ чемъ оправдываясь, — въ глаза ему даже говаривалъ это, потому что я люблю матку-правду рѣзать. Я и теперь скажу то же самое: что въ нѣкоторыхъ смыслахъ у него точно что дурная голова... Но кто изъ насъ, однако, святой, или кто умный? Про Сохатаго же надо сказать, что онъ никому никогда вреда не причинялъ, и если вредилъ кому, такъ самому же себѣ. Ну, а что касательно отваги, арестантскаго, что называется, духу, ну, такъ въ этомъ Сохатый всегда можетъ поддержать свою славу!

— Это чего и говорить, — согласился Чирокъ.

— Я всегда зналъ, — добавилъ Годуновъ, — что сидѣть, какъ яные-прочіе, въ тюрьмѣ онъ не станетъ! Ну, подождалъ, конечно, своей точки, но вотъ и дождался.

— Погодите еще съ вашимъ Сохатымъ носиться, — попробовалъ охладить общее увлеченіе Луньковъ: — высоко залетѣлъ, да неизвѣстно, гдѣ сидеть!

Но ему не дали и рта разинуть — вся камера, какъ одинъ человекъ, встала на защиту Сохатаго.

— Какъ же, однако, бѣжалъ онъ, братцы? И кто другіе двое? Ну, и молодцы жъ ребята! Какъ все шито-крыто сдѣлали!

— Выстрѣлъ, вѣстимо, мимо былъ, коли такая трелогa пошла. Настоящимъ манеромъ бѣжали!

Но какимъ способомъ удалось бѣглецамъ перепрыгнуть черезъ высокую каменную стѣну? На этотъ счетъ высказывались догадки, одна нелѣпѣе другой. Начальство, между тѣмъ, ушло изъ тюрьмы, а камеръ отворять и не думали.

— Да теперь и не отворять, напрасно ждете, — рѣшилъ опытный въ такихъ дѣлахъ Годуновъ: — и на работу пускать не будутъ, пока мѣстъ не кончатся поиски. Каждую сопку теперь, каждый кустикъ обыщутъ. Духамъ нашимъ задана Петинымъ хорошая задача: прежде чѣмъ раскусятъ, не одинъ зубъ сломаютъ.

И Годуновъ оказался правъ: цѣлыхъ четыре дня тюрьма провела подъ замкомъ, изъ камеръ выпускали только старостъ да парашниковъ, и то съ величайшими предосторожностями. Это не помѣшало, впрочемъ, кобылкѣ черезъ нѣсколько часовъ знать уже рѣшительно все, что дѣлалось внѣ тюрьмы. Тотъ же Годуновъ, ходившій въ качествѣ общаго старосты для получки провизіи, принесъ намъ слѣдующія новости. Съ Сохатымъ бѣжали еще два чело-вѣка: Садыхъ и Малайка Кантауровъ.

— Да онъ съ ума, что ли, сошелъ, Малайка-то? Вѣдь ему строкъ скоро кончался?

— Вотъ подите жъ! Не даромъ говорили про Сохатаго, что чортъ съ младенцемъ связался: съумѣлъ, видно, окрутить!..

— Ну, а какъ бѣжали-то?

— Тутъ, я вамъ скажу, прямо чудеса въ рѣшетѣ. Само начальство подставило нашимъ артистамъ лѣстницу.

— Что ты говоришь?!

— Вѣрно говорю. Помните, братцы, будки-то солдатскія?

— Ну?

— Ну, такъ вотъ одну изъ нихъ, что за больницей стояла, они подтащили къ стѣнѣ — да и маршъ. Часовой и стрѣлять даже не могъ, потому побѣжали они прямо на надзирательскій домъ. А за домомъ этимъ, сами знаете, тайга по близости начинается... Каза-чишка растерялся и въ началѣ кричалъ только: «Лови! держи!» и лишь потомъ, когда проснулся, далъ выстрѣлъ на воздухъ. Ну, да ужъ поздно было... Теперь форменная облава по всей округѣ идетъ: крестьяне, говорятъ, изъ всѣхъ сосѣднихъ деревень согнаны, изъ за-вода солдатская команда въ походъ отправлена... А Шестиглазый идетъ и, то и знай, телеграммы отбиваетъ...

Чирокъ безпокойно зачесалъ брюхо.

— А вѣдь нашимъ-то плохо, пожалуй, придется? Снѣгъ-то — главное дѣло, слѣды видны...

— Снѣгъ — это, дѣйствительно, не въ ихъ пользу... Ну, да кто же могъ знать, что какъ разъ въ эту ночь его по колѣно навалитъ?

— Отложить было бы...

— Отложить! это ты, братъ, своими телячьими мозгами разсуждаешь,—ну, а Садыкъ развѣ такой человѣкъ? Или опять взять Сохатаго? Ребята, можно сказать, духовые, огонь-ребята... Все къ дѣлу налажено—и вдругъ бросать? Ты думаешь—это легко?

Въ желаніи, чтобъ бѣглецы не были пойманы, арестанты сходились единодушно. Но вдругъ всѣ встревожены были страннымъ открытіемъ, что бродни Сохатаго, Садыка и Малайки самымъ мирнымъ образомъ покоились въ ихъ камерахъ подъ нарами. Кобылка пришла въ недоумѣніе: какъ же такъ? Въ чемъ же они побѣжали? Неужто босикомъ? По снѣгу-то?

— Для легкости, значить,—догадывались одни.

— Такъ-то оно такъ,—отвѣчали другіе,—да только легкости этой не позавидуешь, братъ... Сгоряча-то оно и ничего, пожалуй, покажется, ну, а черезъ часъ-другой заплашешь трепака!

— Вздоръ,—говорили третьи:—у нихъ, навѣрное, съ кѣмъ-нибудь условіе было, кто вольную одежду и обувь въ тайгу имъ доставилъ.

— Ну, развѣ что такъ.

Къ вечеру получились утѣшительныя вѣсти: бѣглецы точно въ воду канули. Что особенно приводило начальство въ недоумѣніе, такъ это полное отсутствіе слѣдовъ на свѣжевыпавшемъ снѣгу.

— Словно будто по воздуху полетѣли мерзавцы!—говорили надзиратели.

Радостное чувство разлилось по сердцамъ арестантовъ; всѣ свободно вздохнули, всѣ горделиво приподняли головы.

— Знай, молъ, нашихъ! Вотъ тебѣ и шелайская образцовая тюрьма! Вотъ тебѣ и Ше-сти-глазый!

— Они объ одномъ, братцы, позабыли, что у арестанта на плечахъ три головы; и въ каждой изъ нихъ сидятъ три думки: воля-вольная, тайга-матушка и Байкаль-батюшка... Вотъ что!

И «они», т. е. надзиратели, всѣ духи, все начальство въ самомъ дѣлѣ глядѣли въ эти дни на арестантовъ съ видомъ явнаго конфуза и посрамленія. Даже что-то вродѣ почтенія къ себѣ внушала теперь

недавно еще забитая, презрѣнная, а теперь все выше и выше «загибавшая носъ» шпанка...

— Ни въ жисть не поймають Сохатаго! — говорили оптимисты: — лиха бѣда въ первый день отъ погони отбиться, вольную одежду раздобыть, а ужъ потомъ дорога скатертью вплоть до самого Верхнеудинска.

Пессимисты въ эти дни молчали. Одна только новость, принесенная Годуновымъ, произвела не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе: въ погоню за бѣглецами отправился, между прочимъ, казакъ Заусаевъ, на дняхъ только поступившій въ надзиратели и уже получившій отъ арестантовъ за свой мрачный и суровый видъ прозвище Монаха. Онъ слылъ замѣчательно искуснымъ охотникомъ, стрѣлялъ безъ промаха, имѣлъ зоркій глазъ ястреба и нюхъ гончей собаки; онъ самъ выпросился у Шестиглазаго въ командировку и съ револьверомъ за поясомъ, въ сопровожденіи тѣхъ двухъ казаковъ, близъ караульнаго поста которыхъ совершонъ былъ побѣгъ и которые ждали себѣ дисциплинарнаго батальона, поѣхалъ по такому направленію, которое всѣми другими ищейками оставлено было безъ вниманія.

— Вотъ этогъ чортовъ Монахъ, мнѣ кажется, страшнѣе всѣхъ шелайскихъ казаковъ, вмѣстѣ взятыхъ! — заключилъ Годуновъ свое сообщеніе.

Наступилъ первый послѣ побѣга вечеръ, и тюрьма легла, наконецъ, спать, утомленная тревоженіями дня; и никто, рѣшительно никто въ ней не подозрѣвалъ, что въ эту минуту бѣглецы, собственно, *еще начинали только* свое опасное путешествіе.

Дѣло происходило такимъ образомъ.

Взобравшись съ помощью будки на тюремную ограду и спрыгнувъ съ нея чуть не на голову стоявшему внизу часовому, они понеслись, какъ вѣтеръ, впередъ, не задерживаемые ни кандалами, которые, разумѣется, сброшены были еще въ тюрьмѣ, ни тяжелыми арестантскими броднями. Вмѣсто послѣднихъ у нихъ надѣты были на ноги высокіе мѣховые чулки. Такіе чулки были вообще въ модѣ у шелайскихъ каторжныхъ; ихъ шили наши портные изъ остатковъ казенныхъ шубъ, выдававшихся экономамъ въ качествѣ починочнаго матеріала, и пускали въ продажу по самой дешевой цѣнѣ. Для побѣга эти чулки дѣйствительно казались замѣчательно подходящей обувью, но Сохатый съ товарищами одно упустилъ изъ виду — ихъ недостаточную прочность: не прошло и нѣсколькихъ часовъ, какъ

чулки разорвались по всѣмъ швамъ, такъ что по холодному снѣгу пришлось идти почти босикомъ...

Между надзирательскимъ домоу и начинавшейся за нимъ въ нѣкоторомъ отдаленіи тайгой лежала небольшая котловина, покрытая рѣдкими кустиками и глыбами камней. Когда-то на этомъ мѣстѣ поднимался лѣсокъ, но въ видахъ воспрепятствованія побѣгамъ передъ устройствомъ Шелайскаго рудника кругомъ всей тюрьмы были вырублены деревья и оставлено пустое, хорошо доступное глазу пространство. На другомъ берегу этой котловины чернѣлась настоящая густая тайга, и она-то манила взоры нашихъ бѣглецовъ, обѣщая имъ спасеніе. Но едва только достигли они дна лощины, какъ у Сохатаго—оттого ли, какъ увѣрялъ онъ впослѣдствіи, что зашибся, соскакивая съ высокой стѣны, или же, что всего вѣроятнѣе, отъ сильного внутреннего волненія — внезапно отнялись ноги: онъ вдругъ почувствовалъ, что не можетъ ступить ни одного шага больше... И онъ легъ на землю. Бѣжавшій впереди Садыкъ остано­вился въ испугѣ и знаками торопилъ товарища скорѣе встать и идти дальше; но Сохатый наотрѣзъ отказался идти впередъ и предложилъ скрыться гдѣ-нибудь тутъ же, въ кустахъ. Предложеніе это казалось прямо безумнымъ, такъ какъ лощина была совершенно открытая, кустарникъ на ней мелкій и рѣдкій, камни также недостаточно велики, чтобы скрыть взрослого человѣка. Садыкъ стоялъ въ нерѣшительности: онъ почти ни слова не зналъ порусски, и главный расчетъ его былъ на Сохатаго, который, самъ будучи «челдономъ», зналъ Сибирь, какъ свои пять пальцевъ, и, къ тому же, пользовался славой опытнаго бѣгуна. Но помимо этихъ личныхъ соображеній, Садыкъ отличался и рыцарственнымъ характеромъ: бросить товарища въ бѣдѣ ему казалось невозможнымъ преступленіемъ. И потому, обругавъ Сохатаго еще разъ собакой и всѣми тѣми отборными словами, какія находились въ его восточномъ лексиконѣ, онъ съ фатализмомъ настоящего азіата покорился судьбѣ и, прекративъ споръ, поползъ прятаться среди кустовъ и камней. За нимъ послѣдовалъ и Малайка, которому, въ сущности, безразличны были всѣ способы бѣгства, такъ какъ онъ и затѣялъ-то его больше изъ удалства и товарищества, чѣмъ изъ серьезнаго убѣжденія. Всѣ трое приняли видъ каменныхъ изваяній и, рѣшительно ничѣмъ не прикрытые, незащищенные, лежали такимъ образомъ «на виду у всего бѣлаго свѣта», почти не вѣря сами въ возможность спасенія. Утреннія сумерки, между тѣмъ, кончились и совсѣмъ разсвѣло.

Съ бѣшенымъ визгомъ и гиканьемъ, съ ружьями на перевѣсѣ, вылетѣлъ весь караулъ изъ-за угла двухъэтажнаго надзирательскаго дома и, брякнувъ ружьями, остановился, какъ вкопанный, на берегу лежавшей внизу котловины. Все въ ней было пустынно: лишь тамъ и сямъ лежали сѣрые каменные глыбы, запорошенные на половину снѣгомъ, да торчали между ними сухіе кустики тальника и боярышника, а въ отдаленіи чернѣла густая тайга... Сомнѣнія не могло быть: арестанты уже успѣли до нея добѣжать и скрыться... Не раздумывая долго, казаки ринулись въ погоню. Впослѣдствіи Сохатый рассказывалъ, что они пролетѣли въ какихъ-либо двадцати шагахъ отъ него, что онъ явственно слышалъ не только топотъ ихъ ногъ, но и ускоренное дыханіе (лежа ничкомъ, уткнувшись лицомъ въ снѣгъ, видѣть ихъ онъ, конечно, не могъ) и уже считалъ себя погибшимъ. Но караулъ пробѣжалъ, какъ сумасшедшій, мимо, потому что «дураку только» могло бы придти въ голову искать такъ близко и такъ просто... Въ теченіе цѣлаго дня, который бѣглецы провели въ своемъ нелѣпомъ убѣжищѣ, эта удивительная исторія повторилась не одинъ разъ: отряды осмирѣвшихъ казаковъ, одинъ за другимъ, пробѣгали въ нѣсколькихъ шагахъ отъ полузамерзшихъ и застывшихъ отъ страха арестантовъ — и не замѣчали ихъ присутствія. Конечно, если бы фактъ этотъ не былъ вполне достовѣрнымъ, не подлежащимъ ни малѣйшему сомнѣнію фактомъ, то я самъ называлъ бы его плохо придуманной сказкой.

Вслѣдъ за дежурнымъ конвоемъ въ погоню ударились — сначала вся казацкая сотня, а затѣмъ надзиратели и шелайскіе крестьяне. Сдѣлано было предположеніе, что бѣглецы для отвода глазъ измѣнили принятое первоначально направленіе; тщательно обыскивались поэтому всѣ ближайшія окрестности, гдѣ только были лѣсъ и скалы; находились смѣльчаки, лазившіе въ самыя опасныя мѣста старинныхъ выработокъ, въ давно заброшенныя штольни и шахты — но нигдѣ не отыскивалось рѣшительно никакихъ слѣдовъ побѣга. Это послѣднее обстоятельство въ началѣ сильно смущало преслѣдователей: куда исчезли на свѣжевыпавшемъ снѣгу слѣды ногъ? Однако, въ начавшейся суматохѣ на снѣгу появились скоро по всѣмъ направленіямъ десятки и сотни всевозможныхъ отпечатковъ ногъ, такъ что разобратъ въ нихъ стало совсѣмъ нельзя. Шестиглазый рвалъ и металъ въ буквальному смыслѣ слова; онъ кричалъ надзирателямъ, что «убить ихъ и отвѣчать не будетъ», рассылалъ въ разныя стороны вѣстовыхъ съ подробными примѣтами бѣжавшихъ и кончилъ тѣмъ, что

поссорился съ есауломъ изъ-за вопроса о томъ: кому изъ нихъ принадлежали будки, стоявшія въ тюрьмѣ, и кто былъ обязанъ позаботиться объ ихъ уборкѣ. Настроеніе браваго капитана было тѣмъ отвратительнѣе, что со дня на день ожидался прїѣздъ губернатора.

Такъ прошелъ въ тщетныхъ поискахъ день и наступила ночь, когда бѣглецы рѣшились, наконецъ, покинуть свою засаду и потихоньку отправиться въ путь-дорогу. Они легко могли бы, конечно, наткнуться на казачіе пикеты, все еще бродившіе по шелайскимъ окрестностямъ, но казаки сами позаботились о томъ, чтобы на нихъ нельзя было наткнуться: они развели въ разныхъ мѣстахъ костры и громко перекликались другъ съ другомъ. Утомленные, раздраженные неудачей, они продолжали поиски чисто-формальнымъ образомъ, увѣренные, что бѣглецы находились уже далеко. Послѣднимъ ничего поэтому не стоило пробраться черезъ караулы и уйти отъ нихъ на вполне безопасное разстояніе. Ихъ мучило теперь одно только—начинавшійся голодъ и отсутствіе обуви. Импровизированные мѣховые чулки быстро порвались о каменья и сучья, такъ что приходилось ступать по холодному снѣгу почти голыми, израненными въ кровь ногами. Стуча зубами, арестанты бѣжали безъ оглядки впередъ, торопясь дойти до какого-нибудь жилья. На разсвѣтѣ они добрались, наконецъ, до какого-то зимовья: здѣсь, въ одинокой убогой юртѣ жилъ старый тунгусъ съ женою. Хозяева еще мирно спали, когда незваные гости вломились къ нимъ. Они провели здѣсь цѣлый день, отогрѣваясь кирпичнымъ чаемъ, занимаясь починкой обуви и съ жадностью пожирая молочные продукты скуднаго тунгусскаго хозяйства. Поживитесь одеждой, къ сожалѣнію, не пришлось, такъ какъ тунгусъ и самъ ходилъ чуть не нагишомъ.

Снѣгъ, между тѣмъ, не думалъ стаявать, и зима, казалось, серьезно вступила въ свои права. Стоялъ большой холодъ. Зарѣзавъ у хозяевъ ихъ единственнаго ямана и изжаривъ на дорогу (тунгусы не смѣли слова пикнуть и рады были тому, что ихъ самихъ не изжарили и не съѣли), наши путешественники въ сумерки отправились, наконецъ, дальше, пригрозивъ старикамъ, что въ случаѣ болтовни имъ плохо придется. Вторая ночь бѣгства прошла еще благополучнѣе, такъ какъ нигдѣ не слышно уже было криковъ облавы, не видно было сторожевыхъ огней. Погоня осталась, очевидно, далеко въ сторонѣ. Совсѣмъ уже разсвѣтало, когда Садыкъ вдругъ остановился и удержалъ товарищей: онъ услышалъ запахъ дыма... Всѣ легли моментально на брюхо и, какъ змѣи, поползли сквозь кусты. Скоро



причина переполоха объяснилась: на опушкѣ лѣса, возлѣ самой дороги, у костра сидѣло, варя въ котелкѣ чай, трое крестьянъ, и подлѣ двоихъ изъ нихъ лежали ружья; однако, по всему было видно, что это не облавщики, а простые охотники. Одинъ былъ тщедушный на видъ старикъ, все время немилосердно каплявшій и ворчавшій на товарищей за неудачную охоту; второй—широкоплечій мужчина съ рыжей бородой и добродушными сѣрыми глазами. Онъ то и дѣло улыбался себѣ въ бороду и говорилъ: «Ну, ладно, ладно чего тутъ... Чего здря ворчатъ!» Третій изъ охотниковъ былъ мальчикъ лѣтъ пятнадцати. У всѣхъ троихъ на плечахъ висѣла ветхая, рваная одежда; но за то вниманіе нашихъ путниковъ всецѣло приковали къ себѣ ноги охотниковъ, обутыя въ прекрасные теплые ичиги. Бѣглецы начали шопотомъ совѣщаться (причемъ Малайка являлся, какъ всегда, толмачемъ—посредникомъ между Сохатымъ и Садыкомъ). Садыкъ предлагалъ средство простое, но вѣрное: броситься неожиданно на сидѣвшихъ крестьянъ, обезоружить ихъ и перебить... Но Сохатый отвергъ этотъ планъ, какъ чрезчуръ рискованный, и предложилъ свой: выскочивъ тоже внезапно изъ засады и похватавъ лежавшія возлѣ охотниковъ ружья, порѣшить съ ними миромъ. Такъ и было сдѣлано. Застигнутые врасплохъ, охотники отнеслись къ своей бѣдѣ довольно благодушно и даже пригласили нашихъ бѣглецовъ принять участіе въ чаепитіи. Послѣдніе отъ чая не отказались, и тогда начались разговоры; Сохатый не запирался, что онъ съ товарищами бѣжалъ, онъ прибавилъ только, что бѣжалъ изъ вольной команды.

— Ну, коли изъ вольной команды, такъ плевое дѣло! — сказалъ рыжебородый и потрепалъ Садыка по плечу.

— А славныя, я погляжу, на васъ куртки,—прибавилъ старикъ, ощупывая рукой бушлатъ Сохатаго.

— Давай мѣняться,—съ живостью подхватилъ Петинъ,—намъ къ тому же и не съ руки эта одежда. Да, кстати вотъ, я ичигами по-мѣняемся!

— Чудные, братъ, у тебя ичиги, я въ жисть такихъ не видывать,—подивился старикъ, разглядывая чулки Сохатаго.

— То-то, что не видываль! да что вы тутъ и видите въ своей Трататоніи? Эти ичиги, братъ, московскаго издѣлья: смотри, какой тонкій, нѣжный товаръ... Ну, а, теплота, я тебѣ скажу,—страсть!

Старикъ покачалъ не совсѣмъ довѣрчиво головой, однако отъ мѣны не отказался, быть можетъ, не безъ основанія полагая, что добровольность этой мѣнки вещь совершенно фиктивная, и что ар-

станты, въ случаѣ отказа, прибѣгнуть къ насилію. То же самое думали, повидимому, и его товарищи. Поэтому, ни мало не медля, приступили къ переодѣванью: Сохатый былъ въ полномъ восторгѣ и, чтобъ выразить свои чувства, пустился даже приплясывать вокругъ костра; Садыкъ и Малайка тоже оживленно и радостно лопотали что-то по-татарски. Въ пылу ликовація захваченныя ружья опять побросаны были на землю... Никто изъ бѣглецовъ и не замѣтилъ, какъ въ выраженіи лицъ охотниковъ произошла внезапно странная перемена: всѣ трое вдругъ насторожились и, какъ-то неестественно и напряженно продолжая улыбаться, словно готовились ринуться на своихъ новыхъ пріятелей.

— Ни съ мѣста, коли жить охота! Аре-стую!—раздался вдругъ громовой голосъ...

Въ трехъ шагахъ отъ костра, верхомъ на лошади, точно изъ-подъ земли выросъ мрачный Монахъ и цѣдилъ въ Садыка изъ револьвера, а за его спиной, тоже верхами высились двѣ дюжія фигуры казаковъ, вооруженныхъ берданками... Въ то же мгновеніе охотники схватили свои ружья и нацѣлили въ бѣглецовъ съ другой стороны. Все это произошло до того неожиданно и скоро, что о какомъ-либо сопротивленіи или бѣгствѣ не могло быть и рѣчи. Даже отчаянный Садыкъ не подумалъ бѣжать и стоялъ на мѣстѣ, словно оглушенный ударомъ грома съ яснаго неба... Всѣмъ троицъ молодцамъ живой рукой скрутили руки—веревки оказались на готовѣ. При этомъ «казакишки» съ большимъ, конечно, удовольствіемъ отвели бы надъ пойманными душу, намявъ имъ хорошенько бока, но съ Заусаевымъ шутки были плохія: онъ не далъ «пальцемъ тронуть» бѣглецовъ, заявивъ, что «было бы раньше зорче караулить, теперь же онъ ихъ поймавъ, и онъ надъ ними *хозяинъ*»...

— Ну, однако, въ дорогу, ребята мѣшкать нечего!—скомандовалъ надзиратель и не позволилъ даже охотникамъ вновь размѣняться съ арестантами одеждой. Оригинальное шествіе тронулось. Впереди всѣхъ плелись, понуривъ головы, одѣтые «въ вольные» лохмотья Сохатый, Садыкъ и Малайка Кантауровъ, а сзади шестеро конвойныхъ, изъ которыхъ трое были въ клейменыхъ каторжныхъ курткахъ.

Начался позорный эпизодъ славнаго и шумнаго побѣга, подробностей котораго я не стану описывать. Скажу лишь одно: кобылка вела себя далеко не такъ дурно, какъ я было ожидать. А именно, когда брякнулъ ключъ въ замкъ нашей камеры, и на порогѣ по-

явился сконфуженный, словно только что выпешдшій изъ бани, Сохатый въ своихъ рваныхъ чулкахъ, на которыхъ уже лязгали плотно заклепанные кандалы, то я былъ почему-то увѣренъ, что его встрѣтятъ насмѣшками, хохотомъ... Но Сохатаго встрѣтили всѣ такъ, какъ-будто онъ пришелъ откуда-нибудь съ работы, словно даже не замѣчая его, и въ этомъ проявилась, думается мнѣ, своего рода тонкая деликатность... Только уже поздно вечеромъ, лежа на нарахъ. Петинъ началъ потихоньку рассказывать одному изъ сосѣдей исторію своихъ трехдневныхъ приключеній; остальные дѣлали при этомъ видъ, что спятъ или просто не слушаютъ...

## XX.

### Конецъ образцовой Шелаевской тюрьмы.

Пріѣздъ губернатора былъ чреватъ всякаго рода событіями и неожиданностями. Точно ураганъ налетѣлъ на благополучно существовавшій до тѣхъ поръ Шелайскій рудникъ, закрутилъ въ себя самые незыблемые, казалось, устои и основы и умчалъ ихъ, какъ малую былинку, и одной изъ такихъ былинкокъ оказался ни кто иной, какъ самъ, великолѣпный капитанъ Лучезаровъ. Онъ, столько лѣтъ, бывшій грозой для всего каторжнаго міра; привыкшій думать, что выше его власти и авторитета, стоитъ чуть ли не власть одного только Бога; въ минуты сильнаго гнѣва грозившій своимъ подчиненнымъ, что онъ можетъ убить ихъ и отвѣчать не будетъ,—этотъ великій и гордый человекъ въ одинъ день, въ одинъ какой-нибудь часъ поваленъ былъ съ своего пьедестала въ прахъ и превратился внезапно въ простого, жалкаго смертнаго!

Все сложилось, на его несчастье, такъ, что паденіе было неизбежно, и предотвратить, даже отсрочить его не могли уже никакія, ни земныя, ни небесныя силы.

При устройствѣ Шелайской «образцовой» тюрьмы высшимъ начальствомъ допущена была какая-то странная неясность и недоговоренность. Прежде всего ни для кого не была достаточно вразумительна самая цѣль существованія этого удивительно-ненужнаго и въ то же время безмѣрно-дорогого учрежденія, гдѣ всѣмъ чинамъ администраціи, кромѣ какихъ-то исключительныхъ наименованій, присвоены были еще и увеличенные оклады жалованья. Даже границы и размѣры власти начальника тюрьмы опредѣлены были до-

вольно смутно: съ одной стороны—это былъ, какъ будто, точь въ точь такой же смотритель, какъ и смотрителя всѣхъ остальныхъ каторжныхъ тюремъ, а съ другой—какъ будто, и не такой же; отношенія его къ завѣдующему каторгой были, какъ будто, и простыми дѣловыми отношеніями равнаго чиновнаго лица къ равному же, но были также и, какъ будто бы, подчиненными отношеніями. Завѣдующій каторгой вполнѣ естественно претендовалъ на верховную власть надъ Шелайскимъ рудникомъ; Лучезаровъ, съ своей стороны, претендовалъ на полную независимость, признавая завѣдующаго только посредствующимъ звеномъ между собой и губернаторомъ, тѣмъ-то вродѣ передаточной почтовой станціи; на этомъ основаніи онъ рѣшался иногда посылать свои рапорты непосредственно къ губернатору. Благодаря допущенной въ самомъ началѣ неопредѣленности, смѣлость эта не повлекла на первыхъ порахъ никакого выговора, и тогда уже властнымъ поползновеніямъ браваго капитана не стало удержу. Отношенія его къ завѣдующему приняли явно враждебный, почти воинствующій характеръ. Впрочемъ, Лучезаровъ и никому не сумѣлъ внушить ни любви, ни даже простой симпатіи. Вражда его съ военнымъ начальствомъ, въ лицѣ казачкаго есаула, къ пріѣзду губернатора достигла крайнихъ предѣловъ. За небольшими исключеніями, ненавидѣли его и надзиратели, которыхъ онъ третировалъ, какъ мальчишекъ или лакеевъ, такъ что нѣкоторые изъ нихъ подъ сурдинку уговаривали даже арестантовъ жаловаться и указывали имъ на болѣе слабые пункты тюремныхъ порядковъ. Ко всему этому присоединилась исторія съ побѣгомъ. Въ самомъ воздухѣ носилось, казалось, что-то недоброе, зловѣщее...

Однако, мнѣ лично, признаться, не вѣрилось, чтобы арестанты стали серьезно и поголовно жаловаться; да и, въ сущности, на что было жаловаться? На строгость режима, на запрещеніе частныхъ улучшеній пищи? Но все это вполнѣ законно основывалось на подписанныхъ высшимъ начальствомъ инструкціяхъ Шелайской тюрьмы; Лучезаровъ заслуживалъ скорѣе похвалы за усердіе... Единственнымъ человѣкомъ въ тюрьмѣ, про котораго я былъ увѣренъ, что онъ станетъ жаловаться, являлся нѣкто Дубасовъ, арестантъ, не такъ давно еще прибывшій въ Шелай, но уже успѣвшій свѣше всякой мѣры озлобиться противъ тюремныхъ порядковъ, и всего больше противъ самого Шестиглазаго. Это былъ семейный человѣкъ не молодыхъ уже лѣтъ, по ремеслу сапожникъ, на видъ

степенный и тихій; на первыхъ порахъ онъ выражалъ необыкновенное довольство тѣмъ, что попалъ въ Шелай, гдѣ не было «иванцовъ» и обычныхъ арестантскихъ «хамствъ». Арестанты сразу рѣшили про себя, что этотъ человѣкъ будетъ однимъ изъ тѣхъ благочестивыхъ язычниковъ и подлипалъ, которыхъ довольно было и раньше въ лицѣ разныхъ Булановыхъ и другихъ надзирательскихъ «причендаловъ». Лицо Дубасова, жесткое, блѣдное, съ ястребинымъ носомъ и ястребиными же глазами, тоже было далеко не изъ симпатичныхъ. Однако, попасть въ причендалы Дубасову не удалось. Вскорѣ онъ увидалъ и обратную сторону шелайской медали. Кто-то изъ надзирателей нашелъ однажды въ починочной мастерской, гдѣ работалъ Дубасовъ, сапожныя колодки.

— Какія это колодки? Чьи?—спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— Мои,—отвѣчалъ Дубасовъ вполне наивнымъ тономъ.

— А откуда ты ихъ взялъ?

— Какъ откуда? Да попросилъ Пѣнкина—онъ и выстругалъ мнѣ въ рудникѣ.

— Въ рудникѣ? А кто пропустилъ?

Поднялось цѣлое слѣдствіе. Оказалось, никто изъ надзирателей, дежурившихъ у воротъ, колодокъ въ тюрьму не пропускалъ, — слѣдовательно, Пѣнкинъ пронесъ ихъ тайкомъ. Оказалось также, что по тюремнымъ правиламъ внутри тюрьмы могла лишь чиниться обувь, для чего колодокъ не требовалось, а не шиться новая; если же, паче чаянія, и дѣлались какіе заказы съ воли, то исключительно съ разрѣшенія начальства, которое и выдавало тогда на время необходимыя колодки. Пѣнкина не посадили въ карцеръ единственно въ виду безупречной репутаціи, которою онъ до сихъ поръ пользовался, но Дубасову сдѣлано было строгое внушеніе, и колодки были у него отняты. Дубасовъ находился въ полномъ недоумѣніи: онъ никакъ не могъ взять въ толкъ, какое такое преступленіе онъ совершилъ; и вотъ, дождавшись прихода на одну изъ вечернихъ повѣрокъ Шестиглазаго, онъ обратился къ нему съ вопросомъ, въ которомъ звучало глубоко оскорбленное достоинство:

— Господинъ начальникъ, дозвольте спросить васъ, какая могла быть вреда отъ колодокъ? А между тѣмъ, можете знать, сапожнику безъ нихъ никакъ невозможно!

— Молчать! — грозно крикнулъ капитанъ, которому, очевидно, не понравился тонъ этого вопроса, и, не прибавивъ ни слова, вышелъ вонъ.

Самолюбіе упрямаго старика было теперь еще глубже уязвлено. Негодованію его уже не было предѣловъ... Не прошло и недѣли, какъ онъ ухитрился какимъ-то образомъ утащить свои колодки изъ дежурной комнаты, куда онъ были положены. Колодки, конечно, снова были арестованы, а самъ Дубасовъ посаженъ на этотъ разъ въ темный карцеръ. Тогда началась между нимъ и начальствомъ долгая и упорная борьба. Дубасовъ, этотъ по натурѣ благонамѣренный изъ благонамѣренныхъ арестантовъ, которому до тѣхъ поръ и во снѣ, быть можетъ, не снилось пойти когда-либо противъ воли начальства, вдругъ забунтовалъ. Онъ отказался работать въ мастерской. Въ отвѣтъ, Шестиглазый не только посадилъ его опять въ карцеръ, но и лишилъ свиданій съ женой. Исторія эта продолжалась больше мѣсяца; если Дубасовъ соглашался идти на работу, то черезъ два-три дня у него обязательно отыскивались опять колодки: то кто-либо изъ кобылки притащить ему изъ горы, то самъ онъ выстругаетъ въ кухнѣ изъ простого полѣна. Въ бравомъ капитанѣ, въ свою очередь, говорили самолюбіе и упрямство, и онъ грозился сгноить злополучнаго сапожника въ карцерѣ. Лишь за нѣсколько дней до пріѣзда губернатора его выпустили изъ-подъ ареста.

— Ага! заслабило? выпустили? — громко ворчалъ Дубасовъ, въ расчеты котораго не входило во время губернаторскаго посѣщенія быть на волѣ. Съ этой цѣлью онъ устроилъ шумную ссору съ надзирателями, и тѣ, волей-неволей, снова должны были отвести его въ «секретную».

Губернаторъ явился въ Шелай, по всѣмъ видимостямъ, уже сильно вооруженнымъ противъ Лучезарова: враги не дремали и успѣли выставить, быть можетъ, даже въ преувеличенномъ свѣтѣ всѣ недостатки и слабости браваго капитана. Послѣдній разлетѣлся, было, къ генералу съ такимъ же развязнымъ, независимымъ видомъ, какой имѣлъ нѣсколько лѣтъ назадъ, въ первое посѣщеніе губернаторомъ Шелая, но тотъ съ первыхъ же словъ осадилъ его, внушительно замѣтивъ, что въ присутствіи завѣдующаго каторгой онъ, капитанъ, долженъ говорить вторымъ. Обмѣнявшись съ завѣдующимъ выразительнымъ взглядомъ, Лучезаровъ сразу понялъ, въ чемъ дѣло; но онъ не хотѣлъ такъ рано сдаваться и продолжалъ бороться.

Войдя въ тюрьму и узнавъ изъ доклада дежурнаго, что есть арестованные, губернаторъ выразилъ желаніе прежде всего посѣтить карцеръ. Тамъ его глазамъ представилось трогательное зрѣ-

лице. Дубасовъ оказался человѣкомъ, нечуждымъ актерскаго дарованія и нѣкоторой изобрѣтательности: снявъ съ себя верхнюю одежду, онъ перепачкалъ нижнее бѣлье сажей (сажей же подмалевалъ немного и лицо), разорвалъ у рубахи воротъ и въ такомъ истерзанномъ и жалкомъ видѣ предсталъ передъ посѣтителями. Низко понутивъ голову и разставивъ ноги, какъ-будто едва держась на нихъ отъ изнуренія, онъ заговорилъ такимъ глухимъ, прямо гробовымъ голосомъ, что губернаторъ вздрогнулъ.

— Ваше превосходительство!.. заморили... Спасите, будьте отцомъ!

— Въ чемъ дѣло, братецъ? Что съ тобой? Ты боленъ? За что ты посаженъ сюда?—съ участіемъ обратился къ старику губернаторъ.

Дубасовъ, все съ той же медлительностью и болѣзненной одышкой, отвѣчалъ, что вотъ уже доходитъ полтора мѣсяца, какъ онъ почти безъ перерыва сидитъ въ темномъ карцерѣ на хлѣбѣ и водѣ, въ грязномъ бѣльѣ, лишенный свиданій съ женою, единственно за то, что въ качествѣ сапожника пользовался колодками..

— Онъ лжетъ, ваше превосходительство!—подскочилъ тотчасъ же бравый капитанъ,—насчетъ бѣлья и пищи онъ лжетъ...

— Вы потомъ будете спрошены,—съ ласковымъ взглядомъ и убивающей кротостью въ голосѣ остановилъ его губернаторъ.

— Я не могу понять, братецъ, что ты говоришь, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Дубасову:—сидишь въ карцерѣ за то, что пользовался колодками? Сапожникъ?..

Арестантъ подробно разсказалъ всю первоначальную исторію, при-совокупивъ, что хорошему сапожнику и починки даже безъ колодокъ производить невозможно.

— Но какой же можетъ быть вредъ отъ простыхъ деревянныхъ колодокъ?—недоумѣвалъ губернаторъ токъ въ токъ также, какъ недоумѣвали раньше сами арестанты. Завѣдующій каторгой, на котораго онъ вопросительно поглядѣлъ, только пожалъ иронически плечами.

— Такъ выпустить его изъ карцера! — бросилъ губернаторъ въ пространство и поспѣшно добавилъ, — и ежедневно давать съ этихъ поръ свиданіе съ женою!

— По тюремной инструкціи, ваше превосходительство, свиданія даются только одинъ разъ въ недѣлю, — выѣшался еще разъ Лучезаровъ.

Губернаторъ ничего не отвѣтилъ ему и, выйдя изъ карцера,

отправился въ лазаретъ. Какими-то невѣдомыми, почти чудесными путями черезъ нѣсколько минутъ уже вся тюрьма знала о происшедшемъ. Кобылка внезапно воспрянула духомъ, заволновалась, зашумѣла... Все недовольство, какое накоплялось въ ней годами и, быть можетъ, еще цѣлые годы таилось бы на днѣ души (начиная съ самыхъ законныхъ и справедливыхъ и кончая самыми вздорными, нелѣпыми претензіями), все это моментально вспыхнуло, какъ порохъ отъ поднесенной къ нему горящей спички, и приняло форму страстного, неудержимаго протеста... Въ какую камеру ни заходилъ губернаторъ, вездѣ его встрѣчалъ гулъ ропота, жалобъ на Шестиглазаго и молебны о спасеніи. Онъ, впрочемъ, не выслушивалъ всѣхъ просьбъ и, отмахиваясь руками, говорилъ только:

— Знаю, знаю, все будетъ разобрано, успокойтесь, братцы! Самъ вижу, что здѣсь много накопилось всякой неправды.

Пожелавъ, между прочимъ, видѣть бѣглецовъ, онъ долго глядѣлъ на Сохатаго, не то укоризненно, не то сострадательно качая головою.

— Какъ же это ты, голубчикъ, рѣшился на такое дѣло?—спросилъ, наконецъ, старый генераль,—вѣдь тебя, дурачекъ, убить могли? Да и теперь-то не сладко придется тебѣ: вѣдь я долженъ буду тебя наказать? Какъ ты полагаешь, мой милый?

— Ваше превосходительство,—съ большимъ чувствомъ отвѣчалъ Сохатый,—отъ горя бѣжали! Отъ сладкаго житья, сами знаете, не побѣжишь! Кантаурову всего какихъ нибудь два мѣсяца до поселенія оставалось, а и то побѣжалъ... Пощадите, ваше превосходительство, заставьте вѣкъ Бога молить!

Генераль опять, молча, покачалъ головою.

— Да, да,—сказалъ онъ, наконецъ, раздумчиво,—я приму все это во вниманіе.

По выходѣ изъ тюрьмы, какъ рассказывали потомъ надзиратели, онъ громко замѣтилъ заведующему каторгой, въ присутствіи браваго капитана:

— Не понимаю, не могу понять, какой вообще имѣетъ смыслъ эта образцовая тюрьма, столь дурно поставленная и въ то же время такъ дорого обходящаяся правительству?

То, что въ теченіе этого времени напѣвалось ему въ уши со стороны, онъ высказывалъ теперь какъ мысль, къ которой пришелъ самъ послѣ обстоятельнаго разслѣдованія дѣла. На приглашеніе Лучезарова войти въ его квартиру и закусить, онъ отвѣтилъ вѣжли-



вымъ, но холоднымъ отказомъ и отправился къ казацкому начальнику. У послѣдняго былъ сыгранъ второй актъ начатой трагедіи; тамъ принесены были на Шестиглазаго жалобы самимъ есауломъ, шелайскими крестьянами и нѣкоторыми изъ надзирателей... Шестиглазый безнадежно проигралъ сраженіе: весьма недвусмысленно ему въ тотъ же день дано было понять, что не мѣшало бы полѣниться ему отъ нервовъ и подать рапортъ о болѣе или менѣе продолжительномъ отпускѣ...

Легко, конечно, вообразить, что долженъ былъ испытывать бравый капитанъ. Въ началѣ онъ былъ только удивленъ, изумленъ, ошеломленъ и, то и дѣло, опупывалъ себя, желая убѣдиться, точно ли онъ не спитъ, точно ли все это произошло на яву; но затѣмъ чувство изумленія смѣнилось глубокой обидой, пламеннымъ негодованіемъ... Какъ! онъ, честище котораго не было чиновника не только въ каторгѣ, но, быть можетъ, и во всей Забайкальской администраціи; онъ, который такъ фанатически преданъ былъ идеѣ долга и законности; онъ, наконецъ, который въ теченіе четырехъ лѣтъ съ такой ревностью и самоотверженіемъ стремился создать образцовую каторжную тюрьму и кое-что сдѣлалъ-таки, чортъ возьми, въ этомъ направленіи,—онъ оказывается теперь раздавленнымъ, поруганнымъ, униженнымъ, оплеваннымъ передъ лицомъ всего свѣта, передъ собственными своими подчиненными!.. Такъ позорно принесенъ въ жертву низкимъ и темнымъ силамъ интриганства, чиновничьяго формализма! Да стоять ли послѣ этого... ну, если не жить, то, по крайней мѣрѣ, служить?!

И съ этого дня Лучезаровъ махнулъ на все рукою. Въ ожиданіи замѣстителя, онъ сидѣлъ дома, никуда не показываясь, не заглядывая даже въ контору, хандря и срывая мелкую злобу на тѣхъ, кто попадался ему на глаза. Но уже никто его не боялся; были даже случаи, когда домашняя прислуга выказывала явное ослушаніе, и у грознаго когда-то капитана не отыскивалось достаточно энергіи показать, что власть еще находится въ его рукахъ. Онъ совсѣмъ упалъ духомъ, а кобылка болтала, что губернаторомъ запрещенъ ему даже самый входъ въ тюрьму...

И тюрьма съ каждымъ днемъ больше и больше распускалась. Надзиратели сквозь пальцы глядѣли на картежную игру, которая шла теперь по всѣмъ угламъ, причемъ не ставились даже стремички. Краснорожій эконокъ произвелъ, между тѣмъ, въ кухнѣ настоящую революцію, объявивъ арестантамъ, что отнынѣ разрѣ-

шаются частныя улучшенія пищи, и что табакъ, чай и сахаръ желающіе могутъ у него же покупать въ какомъ угодно количествѣ. И, торжествуя и сіяя, точно масляный блинъ, «шелеявый дьяволъ» открылъ тутъ же въ кухнѣ лавочку. Общая арестантская пища очень быстро превратилась въ помой, которыхъ нельзя было брать въ ротъ; больные буквально стали голодать, не получая ни хлѣба, ни молока. Поэтому праздничное настроеніе кобылки очень скоро поблекло, и многіе, понявъ, что промѣняли кукушку на ястреба, уже начинали вслухъ высказывать сожалѣніе о старомъ «прижимѣ» и о скоромъ уходѣ Шестиглазаго. Когда пронесся откуда-то слухъ, что онъ не совсѣмъ еще выходить въ отставку, а только переводится въ Алгачи смотрителемъ, то нѣкоторые изъ арестантовъ, вродѣ Лунькова и Ногайцева, прямо заявили, что станутъ проситься о переводѣ туда-же...

Разъ вечеромъ, неожиданно для всѣхъ, во время вечерней повѣрки показалась въ воротахъ знакомая фигура браваго капитана. Беспорядочный гамъ моментально затихъ, и кобылка выстроилась въ нѣкоторомъ испугѣ и недоумѣніи. Былой помпы, однако, не вышло: дежурный надзиратель произнесъ слова команды какъ-то вяло и невнушительно, а самъ Шестиглазый вошелъ, низко опустивъ голову, грустный и задумчивый, съ видомъ развѣнчаннаго властелина. Онъ, какъ всегда, впрочемъ, немедленно разрѣшилъ надѣть шапки. Но по окончаніи молитвы онъ вдругъ поднялъ голову, съ былой величавостью окинулъ взглядомъ ряды арестантовъ и заговорилъ:

— Вотъ что, братцы! Вы знаете, я ухожу...

Голосъ его слегка, какъ-бы, дрогнулъ, но тотчасъ же принялъ обычную твердость и звучность.

— Многіе изъ васъ живутъ здѣсь со мною уже ровно четыре года. Вмѣстѣ мы начали поприще, вмѣстѣ—по крайней мѣрѣ съ нѣкоторыми—и кончаемъ. Не легкіе это были годы. Вы, можетъ быть, думаете, братцы, что только для васъ они были трудными, что вы терпѣли и страдали, а я... занимался только тѣмъ, что придумывалъ, кого бы посадить въ карцеръ да наказать? Ошибаются горько тѣ изъ васъ, которые такъ думаютъ. Каждый изъ насъ дѣлаетъ то, что заставляетъ его дѣлать избранный разъ жизненный путь. Васъ судьба сдѣлала арестантами, а меня начальникомъ тюрьмы... Гм! гм... скажите же по совѣсти, былъ ли я для тюрьмы врагомъ, желалъ ли ей зла? Я поступалъ всегда по закону и... по своему, конечно, разумѣнію. Отъ закона я никогда не отступалъ, держась такого правила:

если взялся служить, такъ служи честно! Ну, и что же я получилъ за свою службу? Ухожу я отсюда съ богатствомъ, которое наворовать у васъ? Обласканный начальствомъ? Гм! гм!.. награжденный чинами, орденами? Или, быть можетъ, вапшей любовью? Нѣтъ, я знаю, что вы меня не любили... Это вы доказали... Но я знаю также,—да, это я знаю!—что когда я уйду, вы не разъ еще и меня добромъ помянете... Во всякомъ случаѣ, если я въ чемъ виноватъ передъ вами, если кто-нибудь... Ну, словомъ, не поминайте лихомъ!

Голосъ браваго капитана опять дрогнулъ, и онъ быстро повернулся къ воротамъ. Растерявшаяся кобылка хранила гробовое молчаніе... Вдругъ изъ ея рядовъ явственно послышалось всхлипыванье...

— Ба...тющка! Ба...тющка!—заскрипѣлъ старческій голосъ.

Лучезаровъ поспѣшно обернулся, и какой-то безвѣстный до тѣхъ поръ и безгласный стариченка, выступивъ изъ шеренги, повалился ему въ ноги.

— Батюшка, не всѣ жалобились, не всѣ!.. Жаль намъ тебя... Хуже теперь намъ будетъ, много хуже, батюшка... Роптали,—вѣстимо, роптали, да вѣдь по глупости, батюшка! Кто же въ каторгѣ, скажи ты самъ, позволить жить, какъ на волѣ? Можно ли совсѣмъ безъ строгости? А ты вотъ что отвѣть мнѣ, батюшка: сказываютъ, ты въ Алгачи переводишься? Такъ возьми и меня туды-ка съ собой. Возьми, батюшка!..

И старикъ, со слезами, снова бухнулся Лучезарову въ ноги, ловя фалды его шинели и цѣлуя ихъ.

— И меня также, господинъ начальникъ!

— И меня!

— И меня! — грянулъ изъ рядовъ десятокъ-другой умиленныхъ голосовъ.

Лучезаровъ былъ ошеломленъ: онъ не ожидалъ ничего подобного... Это была настоящая овація, устроенная экспромптомъ, безъ всякихъ предварительныхъ сговоровъ и подготовокъ, вытекшая, казалось, изъ искренняго, непосредственнаго чувства простыхъ русскихъ сердецъ... Слезы заблестѣли на его глазахъ; отъ волненія онъ не могъ въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній ни слова выговорить.

— Какъ! и ты, Луньковъ, просишься? И ты, Ногайцевъ? Даже и ты, Соколицевъ?

— И мы, и мы!

— Не хотимъ покидать васъ, господинъ начальникъ! — грянуло еще большее число голосовъ.

— За что же это, братцы, за что? — лепеталъ растроганный капитанъ. — Къ сожалѣнію, къ великому моему сожалѣнію, я, кажется, не могу исполнить вашей просьбы. Я, кажется, совѣмъ ухожу... А, впрочемъ, я еще подумаю, я дамъ вамъ отвѣтъ.

И съ высоко поднятой головой онъ поторопился выбѣжать за ворота тюрьмы.

Тогда все опять заголосило, зашумѣло. Раздались насмѣшливыя восклицанія по адресу тѣхъ, кто просился.

— Мало васъ по сусаламъ-то били? Еще захотѣлось?

— Ироды! Халуи!

Мимо меня прошелъ Соколицевъ.

— Не понимаешь ты, братецъ, политики, — объяснялъ онъ кому-то съ обычной своей бархатной усмѣшкой: — да ежели мнѣ, можно сказать, осточертѣла здѣшняя тюрьма? Ежели я никакихъ данныхъ не вижу, хотя бы и новые въ ней порядки укоренились? А что касаясь, напримѣръ, капитана, такъ по мнѣ хоть сейчасъ душа изъ его вонъ!

На другой же день послѣ этого событія въ Шелай пришла новая партія въ сорокъ человѣкъ. Приведшій ее конвой, отдохнувъ сутки, долженъ былъ взять съ собою «обратниковъ», то есть меня съ Башуровымъ и другихъ окончившихъ свои каторжные сроки арестантовъ. Изъ тюрьмы уходилъ вмѣстѣ съ нами одинъ только Осѣка Непомнящій; изъ вольной команды, въ числѣ другихъ 5—6 человѣкъ, уходили: отравленный прошлымъ лѣтомъ юхоревской шайкой Китаевъ; бывшій нѣкоторое время моимъ ученикомъ татаринъ Равиловъ и нѣкій Павелъ Николаевъ, добродушный старикашка, который въ качествѣ сторожа арестантскихъ огородовъ проживалъ каждое лѣто въ горной свѣтлицѣ и тамъ служилъ предметомъ постоянныхъ шутокъ и остротъ не только кобылки, но и самого Монахова.

Наступилъ, такимъ образомъ, послѣдній день пребыванія моего въ Шелайской тюрьмѣ; день этотъ пришелся въ воскресенье. Новая партія принята была почти безъ обыска, и въ тотъ же вечеръ въ тюрьмѣ началась такая отчаянная картежь, какой у насъ никогда еще не было. Поговаривали, что кое-кто спустилъ уже казенныя вещи... На другой день, съ ранняго утра, тюрьмы невозможно было узнать: въ камерахъ, невообразимо загрязненныхъ, стоялъ настоящій содомъ, громко распѣвались пѣсни, слышалась кабацкая ругань; мѣстами виднѣлись пьяные...

— Вотъ и кончилась образцовая Шелайская тюрьма!—съ улыбкой подошелъ ко мнѣ въ корридорѣ Штейнгартъ:—теперь царство лшпаны начинается... Пойдемте отсюда на дворъ, тутъ дышать просто не въ могу. А не странно ли, Иванъ Николаевичъ, что перевероть этотъ какъ разъ передъ вашимъ уходомъ случился? Однако, что это значить, что вы, какъ-будто, не особенно радуетесь своей свободѣ?

У меня, дѣйствительно, не слишкомъ было радостно на душѣ. Какъ сказочный колодникъ, привыкшій къ своимъ цѣпямъ, я съ грустью думалъ о томъ, что скоро навсегда покину эту тюрьму, гдѣ столько пережилъ и выстрадалъ. Мнѣ казалось, что въ этихъ стѣнахъ я хороню свою молодость съ ея одинокими, гордыми мечтами, а также и то, что радость свободы пришла ко мнѣ слишкомъ поздно, когда въ душѣ появились уже усталость и надтреснутость... И эту позднюю, какъ мнѣ думалось, радость отравляло еще сознание, что я ухожу на волю, оставляя въ тюрьмѣ товарища!

Я расспрашивалъ Штейнгарта объ его роднѣ, о матери, объ ея возрастѣ. Онъ безнадежно махнулъ рукой.

— Ей уже семьдесятъ два года, Иванъ Николаевичъ, и въ самое послѣднее время силы начали, повидимому, быстро ее оставлять. И знаете, какая странная фантазія пришла ей недавно въ голову? Боюсь, что вамъ, какъ незнакомому съ еврейскими религіозными понятіями, фантазія эта можетъ показаться дикой, пожалуй, даже... некрасивой, но меня она до глубины души, до слезъ трогаетъ. Дѣло вотъ въ чемъ. Я какъ-то писалъ своей старушкѣ, что арестанты время отъ времени получаютъ отъ горнаго вѣдомства за работу въ рудникѣ деньги. Помните, вѣдь и мы съ вами уже нѣсколько разъ получали? Я заработалъ что-то около пяти рублей... Ну, такъ вотъ по этому поводу она и пишетъ мнѣ: «Видѣтся намъ ужъ не удастся, я знаю, что скоро умру; но когда ты заработаешь рублей пятнадцать, пришли мнѣ эти деньги, чтобъ я могла купить себѣ на нихъ саванъ. Тогда я буду думать, что не чужая, а твоя рука закроетъ мнѣ глаза». Что вы на это скажете, Иванъ Николаевичъ?..

Я ничего не сказалъ, но почувствовалъ, какъ холодная струя пробѣжала по всему моему тѣлу...

Вдругъ, гдѣ-то за больницей, раздался ужасный шумъ и трескъ—не то грянуло одновременно нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, не то произошло землетрясеніе. Остановившись, мы съ Штейнгартомъ

молча переглянулись: «Ужъ не опять ли побѣгъ?» Толпы арестантовъ съ тѣмъ же недоумѣніемъ и любопытствомъ бѣжали черезъ дворъ къ мѣсту происшествія. Встрѣтивъ по дорогѣ Валерьяна, побѣжали и мы туда же...

Поспѣшно распахнулись ворота, и въ нихъ опреместью влетѣло, съ ружьями на перевѣсь, нѣсколько казаковъ. Любопытная картина представилась нашимъ глазамъ: уголь, гдѣ сходились двѣ стѣны каменной ограды, отъ неизвѣстной причины развалился, и образовалась огромная брешь, черезъ которую не только видно было все, происходившее внѣ тюрьмы, но при желаніи можно было и пролѣзть свободно. За стѣною тоже виднѣлись уже перепуганные казаки и надзиратели. Это было то самое мѣсто, гдѣ Сохатый съ товарищами совершилъ свой недавній побѣгъ.

— Ну, братцы, и хваленная же Шелайская тюрьма... Телячьи вѣдь загородки прочнѣй дѣлаются? Ха-ха-ха! — смѣялись арестанты, для которыхъ это событіе было настоящимъ праздникомъ.

— Да развѣ вы не слышали, — вѣдь эту стѣну надзирательскія жены строили?

— Нѣтъ, чего здря говорить, ребята! Стѣна была, какъ стѣна, а только когда Сохатый да Садыкъ сѣли на нее верхами, такъ она чичась и осѣла, значить. Потому надо вѣдь этакіхъ двухъ жеребцовъ выдержать!

За стѣной между тѣмъ расхаживалъ есаулъ и громко кричалъ:

— И это называется постройкой, на которую тысячи рублей шли!.. Безобразіе!.. Что же теперь дѣлать? Приходится впредь допочинки усиленный караулъ поставить?

Шестиглазаго никто не видалъ: своимъ отсутствіемъ онъ выражалъ какъ бы полное презрѣніе ко всему, что теперь происходило и могло еще произойти.

— Что же это, господа, — формальная ливедація шестиглазовскаго прижима? — сказалъ Башуровъ, резюмируя общее настроеніе. Разговаривая и смѣясь, вернулись мы на обычное мѣсто нашихъ прогулокъ передъ фасадомъ тюрьмы.

На кухонномъ крыльцѣ, съ котломъ въ рукахъ, показался Карпушка Линатовъ.

— Урра, Иванъ Миколанчъ! — проревѣлъ онъ во все горло, увидавъ меня съ товарищами: — барранину ѣмъ!..

И онъ высоко поднялъ въ рукѣ свой котель, отъ котораго такъ и валилъ во всѣ стороны заманчивый паръ. Съ лихо заломленной

на бокъ шапкой, съ самодовольной улыбкой во всю рожу, съ торжественно приподнятой кверху рыжей бороденкой и комично-широко разставленными ногами, живописецъ былъ въ эту минуту Карпушка Липатовъ, стоявшій въ яркомъ солнечномъ освѣщеніи! Онъ казался намъ воплощеннымъ символомъ новыхъ порядковъ, водворявшихся на развалинахъ образцовой Шелайской тюрьмы, а котель съ бараниной въ его рукахъ — побѣднымъ трофеемъ шпаны, возсѣвшей на мѣстѣ святѣ...

---

## КОБЫЛКА ВЪ ПУТИ \*).

Въ сумерки холоднаго октябрьскаго дня стрѣтенскій этапъ растворялъ свои ворота для маленькой обратной партіи, шедшей на поселеніе изъ рудниковъ нерчинской каторги. Такіе арестанты сами себя называютъ «вольными», да и конвой относится къ нимъ снисходительнѣе, нежели къ каторжнымъ, и ведетъ незакованныхъ въ кандалы. Въ партіи былъ, однако, и кандалный—каторжанинъ, еще не кончившій своего срока, но переводившійся вмѣстѣ съ семьей изъ одного рудника въ другой.

Ефрейторъ пересчиталъ арестантовъ, впустилъ ихъ со всѣмъ дорожнымъ скарбомъ, котомками, узлами и котелками въ узкій, темный корридоръ тюрьмы, гдѣ слабо тлѣли мокрыя щепки подъ плитой, и молча ткнулъ пальцемъ въ дверь направо, за которой скрывалась назначенная для нихъ камера. По привычкѣ, арестанты тотчасъ же ринулись туда, какъ угорѣлые, толкая другъ друга, крича, переругиваясь, спѣша занять лучшія мѣста на нарахъ, хотя особенной нужды въ такой поспѣшности и не представлялось, такъ какъ мѣстъ могло бы хватить и для вдвое большаго количества людей.

— Сюда, Осыка Непомнящій, сюда!..—ревѣлъ плотный рыжебородый мужчина, стоя во весь ростъ на нарахъ у окна и съ торжествомъ махая шапкой:—сюда, товарищи!

---

\*) Въ настоящемъ очеркѣ описывается часть этапнаго перехода изъ Шелайскаго рудника въ Кадаинскій. Разсказу этому авторъ пожелалъ придать безличную форму, но слѣдующій затѣмъ очеркъ «Среди Сопокъ» возвращается къ прежней мемуарной формѣ повѣствованія.



Грузно ковыляющей походкой торопился на этотъ зовъ маленькій неуклюжій человѣчекъ, повидимому, большой флегматикъ по природѣ, но на этотъ разъ также возбужденный и торжествующій. За нимъ бѣжало къ окну еще человѣкъ пять молодыхъ, здоровыхъ ребятъ. Вся эта группа, очевидно, состоявшая въ дорожномъ товариществѣ и игравшая руководящую роль въ партіи, заняла нѣсколько сажень лучшихъ мѣстъ на нарахъ. Худшія, болѣе удаленныя отъ свѣта, мѣста заняли старики и семейные. Ближе всѣхъ къ дверямъ очутился единственный кандалный въ партіи, еврей неопредѣленныхъ лѣтъ, худой, сухопарый, съ жидкой козлиной бородкой и пугливо бѣгающими сѣрыми глазками. Его сопровождала многочисленная семья: жена, маленькая, худенькая женщина, совсѣмъ больная, еле передвигающая ноги, но съ явственными еще слѣдами когда-то большой оригинальной и симпатичной красоты. На рукахъ она держала двухъ маленькихъ дѣвочекъ—одну съ рыжими, какъ огонь, курчавыми волосенками, съ ярко блестящими отъ мороза щечками, весело на все кругомъ улыбающуюся, другую, напротивъ, — смуглую, какъ цыганочка, испуганно глядящую по сторонамъ своими большими, темными, какъ-бы съ удивленіемъ раскрытыми глазами. За юбку матери цѣплялась третья дѣвочка, постарше, съ серьезнымъ, не подѣтски озабоченнымъ личикомъ; четвертая тащила мѣшокъ больше себя самой. Отецъ и десятилѣтній мальчуганъ, очень на него похожій, съ такимъ же длиннымъ, острымъ носомъ и сѣрыми глазами, волокли прочій семейный скарбъ.

— Шюда, шюда, Ента! — съ характернымъ еврейскимъ пришепетываньемъ говорилъ глава семейства, складывая вещи на пустыя нары у самыхъ дверей.—Абрашка, бѣги скорѣй на дворъ, погляди, не забыли-ль еще чего.

Ента, въ изнеможеніи, опустила на нары съ обѣими дѣвочками. Рыженькая сейчасъ же весело соскочила съ ея рукъ и принялась помогать старшимъ сестрамъ въ разборкѣ вещей; черненькая, напротивъ, еще крѣпче прижалась къ матери.

— Ну, что, Енталэ? какъ себя чувствуешь, душа моя? — пониженнымъ голосомъ спросилъ мужъ, съ нѣжностью и тревогой заглядывая женѣ въ глаза. Послѣдняя ничего не отвѣчала и только нервно гладила по головкѣ прильнувшую къ ней любимицу-дочь.

— Я цайку сейчасъ заварю... Погрѣмся! Хася, Брухэ, Сурелэ! помогайте матери. Я за водой побѣгу.

— Ну, а я господа, куда же пристроюсь?—громко проговорилъ въ

это время, послѣднимъ вошедшій въ камеру, старичокъ благообразной и почтенной наружности, съ шутовскимъ нѣсколько выраженіемъ своихъ умныхъ, даже плутоватыхъ сѣрыхъ глазъ.—Мнѣ-то, старику, подѣлы, что-ль, лѣзть?

— Старичку Николаеву наше почтеніе! Къ намъ пожалуйте! — откликнулся ему отъ окна рыжебородый мужчина изъ компаніи молодыхъ ивановъ.

— Иди къ намъ, старый аспидъ!—крикнулъ оттуда еще кто-то.

— Вотъ ужъ и ругаетесь!.. Развѣ это возможно, господа? Я къ вамъ съ добромъ, а вы эвона въ какія глупости углубляетесь!

— А не то къ намъ ступай, Николаевъ, мѣста хватитъ, — слышался вкрадчивый голосъ изъ другого угла. Голосъ этотъ принадлежалъ мужчине уже пожилыхъ лѣтъ, коренастому, блѣдному, съ непріятнымъ выраженіемъ маслянистыхъ глазъ и всего лица, недоброго, хотя всегда подернутого приторно-сладкой улыбкой.

— Къ намъ, Павелъ Николаевичъ, къ намъ милости просимъ,—подтвердила и женщина, сидѣвшая съ нимъ рядомъ:—вы—старики, вамъ съ семейными-то спокойнѣе будетъ.

— И вѣрно! Благодаримъ за привѣтъ. Будемте сусѣдами.

— А, старый чортъ, къ бабамъ полѣзъ! Губа-то не дура!—заревѣлъ отъ окна рыжебородый.—Ты посматривай тамъ за нимъ, Перминовъ. Онъ не проста... Знаемъ мы этихъ старцевъ божіихъ... Того и гляди, безъ жены останешься!

При этихъ словахъ у Перминова все лицо злобно перекосилось; онъ промолчалъ, однако, и только бросилъ къ окну полный презрѣнія взглядъ. Николаевъ, уже начавшій раскладывать свои мѣшки, тоже ничего не отвѣтилъ на насмѣшку; судя, впрочемъ, по выраженію лица, онъ былъ скорѣе польщенъ ею, нежели уколотъ.

Камера начинала постепенно принимать жилой видъ. Въ Стрѣтенскѣ обратныя партіи сидятъ не меньше двухъ недѣль, и потому всѣ устраивались прочно, основательно, точно намѣреваясь жить здѣсь цѣлыя годы. Распаковывались самые завѣтные узлы и мѣшочки, запасалась провизія. Пока камера не была еще замкнута на ночь, арестанты то-и-дѣло сновали по корридору и по двору этапа, стараясь лучше ознакомиться съ мѣстными порядками и обычаями, узнать, нѣтъ-ли въ другихъ камерахъ арестантовъ и проч. Оказалось, что въ сосѣднемъ большомъ номерѣ находилась замкнутая по случаю прибытія новичковъ, официально еще не принятыхъ и необысканныхъ, партія въ 80 человекъ, пришедшая за нѣсколько дней передъ

тѣмъ изъ Благовѣщенска и состоявшая на половину изъ каторжанъ, на половину изъ подслѣдственныхъ, которые должны были судиться въ Иркутскѣ по знаменитому дѣлу о разграбленіи на Амурѣ каравана съ золотомъ. У двери этой камеры стояла кучка только что прибывшихъ обратныхъ, переговариваясь сквозь щель съ запертыми «стариками».

— Строго-ль тутъ обыскиваютъ?—допрашивалъ разбитной рыжебородый, котораго товарищи называли Китаевымъ.

— Можно сказать, даже безчеловѣчно,—отвѣчалъ изъ-за двери невидимый голосъ человѣка, повидимому, не менѣе разбитного, бывалаго и словоохотливаго.—Капитанъ Петровскій прямо за жандарма сойти можетъ. Чуть что—даже и въ скулы норовить. Но вы, господа, не смущайтесь. Вверху нашей двери, около печки, дыра есть, затѣнутая тряпкой. Все, что у васъ есть отъ запретнаго плода Адама или Евы, спѣшите передать намъ на храненіе.

— А когда будутъ принимать и обыскивать? Сегодня же?

— Ни въ какомъ случаѣ. У капитана Петровскаго правила твердья, разъ навсегда заведенныя. Завтра ровно въ одиннадцать часовъ.

Предложеніе невидимаго голоса было тотчасъ-же принято къ свѣдѣнію, и Оська Непомнящій, усѣвшись на плечи дюжему и высокому Китаеву, полѣзъ на печку разыскивать спасительную дыру. Въ рукахъ у него было нѣсколько колодъ картъ и еще какіе-то изъ «запретныхъ плодовъ», о которыхъ упоминалъ предусмотрительный совѣтчикъ.

— А какъ только обыщутъ васъ завтра, отопрутъ и насъ. Тогда заведемъ пріятное знакомство и, если пожелаете, перекинемся по маленькой!

— Съ нашимъ полнымъ удовольствіемъ. А есть въ вашей партіи деньжонки?

— Водятся. Мы по золотому вѣдъ дѣлу судиться въ Иркутск ѣдемъ. Жиды есть богатые—раззудить только надо. Ну, да увидимся лично — все это обсудимъ еще и оборудуемъ. Сами вы откуда путь держите?

— Мы изъ Шелая. Слыхали, вѣрно?

— Уголокъ теплый, какъ не слышать. Говорять, могила?

— Прямо обитель святая! Смотритель — игумень, арестанты — монахи. Ха-ха-ха!

— Значить, деньжонокъ и вы достаточно везете? Накопили въ монашескѣ-то?

— Много-ли, мало-ли, а на нашъ вѣкъ хватить, — хвастливо отвѣчалъ Китаевъ, подмигивая товарищамъ. — По домамъ, однако, пора, ребята. Кажись, запирають насъ идуть. До виданья, пане!

И точно, въ корридоръ вошелъ ефрейторъ съ ключами, въ сопровожденіи еще нѣсколькихъ солдатъ, и велѣлъ затаскивать въ камеру парашу. Арестантовъ пересчитали и собирались запереть на замокъ.

— Готшпидинъ ефреторъ, — несмѣло выступилъ въ это время впередъ глава еврейской семьи:—обратите вниманіе...

— Чего такого? — надменно спросилъ безусый еще ефрейторъ, какъ-то искоса и сверху внизъ смѣривъ его взглядомъ.

— У насъ есть зенщина... и много дѣвочекъ... моихъ допекъ...

— Ну, такъ что-жь? У тебя вѣдь ихъ не просятъ. Аль сами просятся?

— Я насчетъ парашки, готшпидинъ ефреторъ, доложите господину охвицеру, чтобъ не запирають камеры, въ корридоръ ушатъ поставить.

— Партія у насъ смирная, господинъ старшій, — поддержалъ просьбу кто-то еще изъ угла:—вездѣ нами конвой былъ доволенъ.

— Чего ихъ тутъ слушать! Запирай, паря! По мѣстамъ, пока цѣлы!—заревѣлъ вдругъ ефрейторъ.

Дверь шумно захлопнулась, ключъ въ замокъ шелкнулъ.

— Чего взялъ, жидъ?—загрохоталъ Китаевъ:—нашему-ль брату модничать, прихоти барскія разводить? Женщина, женщина... Да что она у тебя—дѣвка, что-ль? Небось, эвона сколько жиденятъ наплодила, не хуже насъ съ тобой про все знаетъ.

И, какъ-бы въ подтвержденіе своихъ словъ, онъ тутъ же направился къ парашѣ...

Жизнь пошла своимъ чередомъ. Обитатели камеры тотчасъ-же разбились на нѣсколько кучекъ. Одна состояла изъ еврейскаго семейства; въ другой старикъ Николаевъ бесѣдовалъ съ пріютившей его четой Перминовыхъ; центромъ и душой третьей, пяти или шести молодыхъ ребятъ, былъ говорливый Китаевъ, мужчина немолодыхъ уже лѣтъ, но теперь, по окончаніи каторги, собиравшійся, казалось, снова помолодѣть и расцвѣсти. На противоположныхъ нарахъ, въ углу, сидѣли еще два человѣка: одинъ высокій и дряхлый старикъ, у котораго ясно обрисовывалось на лбу клеймо, каторжный еще николаевскихъ временъ, только теперь окончившій, вслѣдствіе частыхъ побѣговъ, небольшой въ началѣ срокъ своего наказанія. Сильно

оглохшій и пришедшій почти въ состояніе младенчества, но всегда веселый и неунывающий, онъ былъ общимъ любимцемъ въ партіи, путникомъ по профессіи. Не принадлежа ни къ какому лагерю, онъ чутко прислушивался, не смотря на глухоту, ко всѣмъ разговорамъ и по временамъ подавалъ свои реплики. Звали его Тимофеевымъ.

Рядомъ съ нимъ, хотя не имѣвшій никакой съ нимъ связи, сидѣлъ косматый мужикъ съ водяночнымъ лицомъ и дикимъ взглядомъ, необыкновенно угрюмый, молчаливый, косившійся на всѣхъ и постоянно что-то про себя ворчавшій. Арестанты называли его Бовой и считали сумасшедшимъ.

Въ группѣ Китаева было особенное оживленіе и веселье. Китаевъ безостановочно болталъ и хвасталъ.

— Спрашиваетъ: «Много-ль деньжонокъ везете?» Ну, да меня-то, старого мошенника, не проведешь. Знаю я васъ, ростовскихъ жуликовъ, насквозь. Хитры вы, а все-же подольскіе три раза васъ вокругъ пальца обовьютъ! У жиновъ и поляковъ учился я... Съ 67-го года съ тюрьмой знакомство веду! «Много! отвѣчаю:—держи карманъ шире, гляди только, чтобъ не прорвался». И вотъ помяните мое слово, братцы, не будь я Китаевъ, коли я этого ростовскаго франта завтра же голымъ не пушу со всѣми его жидами вмѣстѣ. Деньги! да какія могутъ у насъ быть деньги, коли мы изъ Шелая идемъ? За то башка у насъ на плечахъ. За то просвѣтилъ насъ отецъ игуменъ!

— Ну, да тебѣ-то грѣшно-бъ жаловаться, Китаевъ, — вдругъ отозвался ему старикъ Николаевъ, который, слышавъ издали интересную бесѣду, подвигался теперь отъ своего мѣста къ веселой группѣ. Въ бѣлой казенной рубахѣ, низко подпоясанной тонкимъ ремешкомъ подъ круглымъ животикомъ, съ волнистой сѣдовой бородкой изъ тѣхъ, какія пишутъ на ликахъ святыхъ, съ кудреватыми волосами, тщательно разобранными по срединѣ пробормомъ, съ лукавыми сѣрыми глазами и носомъ картошкой на благообразномъ, покрытомъ морщинами, но еще румянномъ лицѣ, съ своими степенно скрепченными на груди руками, неспѣшной походкой и мягкимъ пѣвучимъ голосомъ—онъ производилъ впечатлѣніе челоѣка, рѣшительно всѣмъ на свѣтѣ довольнаго, своей участью, самимъ собою и людьми, всегда готоваго и другихъ также поучить и наставить тому же довольству и мудрой умѣренности.

— Тебѣ-то грѣшно-бъ жаловаться, Китаевъ. У тебя ошкуръ-то тугонько, небось, рублевками набить?

— Ахъ ты, старый песъ! Да ты шупаль мой ошкуръ-то, што-ль?

— А развѣ не вѣрно? На что жъ ты Любку въ Шелаѣ содержалъ? Этакая дѣвка развѣ любить бы тебя безъ денегъ стала?

— А почему жъ бы и не стала? Развѣ я рыломъ не вышелъ? Мнѣ хопъ и сорокъ четыре года, а какъ надѣну я кумачную рубаху да въ руки гармонь возьму, такъ не только, братъ, Любка, а сама—и не знаю кто—влюбится въ меня можетъ! Дурень ты, дурень, пенъ новгородскій! Ты по себѣ, видно, судишь, что тебя безъ денегъ баба полюбить не можетъ?

— Меня ты оставь. Я изъ тѣхъ годовъ вышелъ. Мнѣ Богу пора молиться.

— Богу молиться?! Нѣтъ, чорту ты молишься, а не Богу. Что ты евангеліе постоянно читаешь, да псалмы божественные поешь, такъ думаешь, я и не вижу тебя всего наскрозь? Вижу, голубчикъ, отлично вижу...

Компанія Китаева неистово заготовала. Старикъ не то сконфуженно, не то самодовольно прищутивъ глазки и слегка ухмыльнувшись, укоризненно закивалъ головой.

— Вотъ городить... вотъ городить... Чушь такую претъ, что даже уши вянутъ!

— Чушь? А скажешь, денегъ въ вольной командѣ не накопилъ? Я полагаю, у насъ у всѣхъ здѣсь столько нѣтъ, сколько у тебя одного въ кулакѣ зажато. Только ты—аспидъ. У насъ вонъ, у всей компаніи, десятка какая развѣ наберется, которую мы на пишу можемъ позволить себѣ тратить, а мы—посмотри: и чай байховый съ булками пьемъ, и баранину каждый день ѣдимъ. А ты—что ты ѣлъ сегодня? Скажи. Сухари съ водой? Даже чаю кирпичнаго не пилъ?

— Да я въ сухаряхъ больше скусу нахожу, чѣмъ въ вашей баранинѣ. Отъ нея только мысли дурныя въ банку лѣзутъ.

— Хо-хо-хо! мысли дурныя... То-то, небось! Да ты постой, ты не уходи отъ насъ, не сердчай. Я тебѣ вотъ что скажу, Николаевъ, по дружбѣ. Нечего намъ перекорами заниматься. Какъ ни какъ, въ одной тюрьмѣ нѣсколько лѣтъ провели. Такъ вотъ что я присовѣтую тебѣ, добра желаючи: сними майданъ! Партія, какъ видно, богатая соберется. Оборотъ хорошій изъ своихъ денегъ сдѣлать можешь.

— Хм... Вотъ чудной ты человѣкъ, Китаевъ! Да изъ какихъ денегъ? Гдѣ онѣ у меня?

— Не притворяйся, Николаевъ. Ну, сказывай по совѣсти: сколько у тебя?

— А я не знаю сколько. Вотъ кормовыя вчера получилъ... Отъ прошлыхъ кормовыхъ тоже двадцать кипѣекъ, што-ли, еще осталось...

— Врешь! окромя кормовыхъ есть.

— Отвяжись ты отъ меня, сатана! Господи, прости за согрѣшеніе...

И Николаевъ, дѣйствительно, на этотъ разъ осерчавъ, идетъ, махнувъ рукой, прочь, сопровождаемый смѣхомъ и тюканьемъ компаніи. А Китаевъ, придя послѣ этого совсѣмъ уже въ благодушное настроеніе и чувствуя себя царькомъ небольшого, но покорнаго государства, самодовольно дуетъ на блюдечко съ чаемъ и продолжаетъ разглагольствовать.

— Что, братъ Оська Непомнящій? И теперь еще за бока, не бось, хватаешься, шупаешь самъ себя: снится тебѣ, аль въявь все это происходитъ, что ты отъ отца игумена вырвался, на поселеніе идешь?

— И не говори лучше,—мотаетъ бородой маленькій человѣчекъ, котораго зовутъ Непомнящимъ.

— А признаться, я все, братъ, время думалъ, что ты на Сахалинъ угодишь. Потому родства непомнящій, то-ись самый, по ихъ мнѣнію, вредный ты человѣкъ. И вдругъ на тебѣ: выходитъ приказъ—въ Ключевской волости поселить.

— Забыли, видно, въ статейный заглянуть,—подтвердилъ молодой полуобрусѣвшій татаринъ Равиловъ:—а то гдѣ жъ бы уйти отъ Сахалина? Нонче всѣхъ бродягъ туды шлютъ.

— Прямо сказать, счастличикъ! Въ Ключевскую волость! Вѣдь это, Оська, и до родной твоей деревни, кажись, рукой подать?

— Молчи!—не то серьезно, не то шутиливо грозитъ пальцемъ Непомнящій.

— Какъ! и теперь еще отца игумена трусишь? Воротить, боишься? Нѣтъ ужъ не воротить, другъ, шалишь! Теперь мы вольныя птицы... Теперь межъ пріятелями могъ бы ты и родословіе свое объявить.

Непомнящій не выказываетъ, однако, намѣренія объявлять родословіе и хранить упорное молчаніе.

— Держи карманъ шире, объявить онъ—какъ-же! — отвѣчаетъ за него Равиловъ:—онъ крѣпокъ, аспидъ!

— А и слабила жъ у тебя гайка въ послѣдніе мѣсяцы, охъ, какъ слабила!—продолжаетъ Китаевъ:—самъ не свой ходитъ, бывало, въ тюрьмѣ по двору, все думушку свою думаетъ да гадаетъ: Сахалинъ, аль не Сахалинъ?..

— Станешь, небось, думать, — кратко откликается Непомнящій. Онъ несловоохотливъ, замкнутъ въ себѣ, но лицо его тѣмъ не менѣе сіяетъ во время этого разговора довольствомъ и радостью.

Вынесла судьба на свѣтъ Божій, мертваго, отпѣтаго уже совсѣмъ человѣка вынесла! И вспоминается ему, какъ тяжелый, страшный сонъ, недавнее прошлое. Тихій и смиренный мужичонко, только что женившійся и не успѣвшій насладиться, какъ слѣдуетъ, радостями семейной жизни, попадаетъ онъ въ солдаты. Непривычная тяжелая жизнь въ строю и въ казармѣ... Тоска по женѣ и родинѣ... Рядъ незаслуженныхъ обидъ... И вотъ тихая, покорная всегда душа внезапно прорывается и зарабатываетъ себѣ дисциплинарный батальонъ. Слухи о невыносимой тяжести жизни въ батальонѣ наполняютъ безумнымъ ужасомъ сердце молодого солдата — и онъ совершаетъ дерзкій побѣгъ изъ-подъ строгаго караула, съ опасностью получить въ спину пулю часового, рискуя быть пойманнымъ и подвергнутымъ еще болѣе суровому, чѣмъ прежде, наказанію. Но судьба, къ счастью, покровительствовала ему. Его арестовали только за нѣсколько сотъ верстъ отъ мѣста побѣга; онъ назвалъ себя Осипомъ Непомнящимъ и, принятый за бѣглаго каторжнаго, ѣздилъ «на уличку» по всѣмъ рудникамъ нерчинской каторги, нигдѣ не былъ признанъ и осужденъ, наконецъ, какъ бродяга, на четыре года временно-заводскихъ работъ. Всѣ эти четыре года онъ дрожалъ день и ночь передъ возможностью быть отправленнымъ на Сахалинъ — и вдругъ... вмѣсто всего этого, ему назначаютъ мѣстомъ поселенія родимыя палестины! Теперь уже всякимъ страхамъ конецъ! Если бы и нашелся такой недругъ, что пожелалъ бы изобличить его, то само начальство не приметъ уже къ свѣдѣнію обличеній: стоитъ-ли заваривать никому ненужную кашу, когда у человѣка имѣются вполне узаконенныя, купленные нѣсколькими годами страданій, новое имя и званіе? Онъ можетъ получить теперь въ своей волости, когда захочетъ, законное свидѣтельство и идти съ нимъ на всѣ четыре стороны... Да, кончилась страшная пытка! Впервые сонъ его можетъ стать по прежнему тихъ и безмятеженъ. Иныя, болѣе блаженныя грезы посѣщаютъ теперь его ночи: что-то жена? Что онъ о ней услышитъ? Какъ-то она его приметъ? И сладко щемить и вмѣстѣ болѣзненно ноетъ сердце отъ самыхъ разнородныхъ предчувствій...

Старикъ Николаевъ опять сидитъ рядомъ съ супругами Перминовыми. Мужъ — необыкновенно словоохотливый и сентиментальный человѣкъ, исполненный къ тому же всяческаго благочестія.



— Я, братъ ты мой, никогда неправды не любелъ. За правду, могу сказать, я и пострадалъ, въ каторгу пришелъ. Да! И куда я ни приходилъ, вездѣ меня начальники тотчасъ-же отличали и награждали довѣріемъ. Вотъ хотя бы и теперь, въ Алгачахъ. Какъ только явились мы съ женой, меня и одного дня въ тюрьмѣ не держали, потому въ статейномъ моемъ все прописано... Сейчасъ-же меня въ вольную команду, и не то чтобъ на чижолую какую работу, а прямо горнымъ сторожемъ постановили. «Мы видимъ, говорятъ, Перминовъ, что ты старикъ честный, и совѣсть въ тебѣ не потеряна. Тутъ тебѣ и мѣсто!»

— Въ пеклѣ-бъ тебѣ мѣсто, Антипъ проклятый!..—прошамкалъ внезапно старикъ Тимофеевъ, у котораго было клеймо на лбу («Антипами проклятыми» онъ обзывалъ всю дорогу солдатъ и всякое начальство).—Антипъ ты проклятый!.. повторилъ онъ еще разъ съ непонятнымъ остервенѣніемъ.

— А ты молчалъ бы себѣ, журавль долгоносый,—съ перекосившимся лицомъ отозвался ему оцѣпенѣвшій на минуту отъ неожиданности Перминовъ:—Богъ ужъ убилъ, и царь заклеилъ—сидѣлъ бы себѣ въ углу, жевалъ свой табакъ. Такъ нѣтъ—туда же лѣзетъ, куда и конь съ копытомъ.

— Это ты-то конь съ копытомъ? Антипъ ты проклятый — вотъ ты кто!..

— Журавль! Клейменный! Табачный носъ! вотъ кто ты.

— Это кто тамъ нашего журавля обижаетъ?—вмѣшался въ ссору съ другого конца камеры Китаевъ. — А! Это Перминовъ? Такъ его, такъ его, журавушка, родной! Антипъ онъ проклятый, Антипъ!

— Антипъ проклятый и есть! — гаркнулъ еще разъ старикъ, вытянувшись во весь свой солдатскій ростъ и грозно посматрѣвъ на врага.

Но послѣ этого онъ мгновенно успокоился, опустилсѣ на нары и съ блаженнымъ выраженіемъ въ лицѣ, точно отъ сознанія исполненнаго долга, принялся по прежнему жевать табакъ, уже не обращая больше вниманія на воркотню и брань Перминова. А послѣдній, поругавшись всласть и метнувъ еще нѣсколько злобныхъ взглядовъ въ сторону Тимофеева и Китаева, принялся опять за медоточивое поведеніе о своихъ умственныхъ и нравственныхъ качествахъ, стараясь, впрочемъ, говорить теперь тише, такъ, чтобы кромѣ Николаева и жены никто его больше не слышалъ. Но жена уже давно спала; зѣваетъ и Николаевъ. Повидимому, онъ больше прислуши-

вается къ тому, что происходитъ рядомъ, въ еврейской семьѣ, чѣмъ къ словамъ своего собесѣдника.

А тамъ напились уже всѣ чаю. Дѣтишки уgomонились и легли спать. Подъ шубой, халатами и разнымъ тряпьемъ и не различить даже, сколько ихъ тамъ понабилось. Дѣтскія головки переплелись между собою, какъ прѣты въ вѣнѣ. Двѣ младшихъ дѣвочки, рыженькая Суралэ и черненькая Рухеню, любовно обнялись ручонками и спять, прильнувъ другъ къ другу личиками. Только отецъ съ матерью еще не спять и, лежа, тихо разговариваютъ; въ рѣчахъ жены слышится иногда жаргонъ, отдѣльные слова и выраженія, обличающія еврейку изъ западнаго края, но мужъ говоритъ только по-русски и, повидимому, искренно считаетъ себя вполне «рушкимъ». Онъ даже любить подчеркнуть это и кстати, и не кстати употребляетъ чисто русскія поговорки и словечки, подчасъ уморительно ихъ коверкая.

Ента, часто кашляя и постоянно хватаясь рукой за впающую, иссохшую грудь, жалуется на свою судьбу; мужъ старается ее утѣшить.

— Нѣтъ, ужъ не дождаться мнѣ, Мойша, твоей вольной команды. Срокъ большой, а я чувствую, мнѣ жить не долго осталось.

— Цто ты говоришь, Ента! Не знаешь ты, что говоришь! Развѣ можно же такъ говорить? Ты больше моего жить будешь. Потому какую я пользу семьѣ окажу, въ тюрьмѣ сидя! А безъ тебя что жъ съ ними будетъ? Нѣтъ, ты должна жить, Ента, и ты увидишь... Вотъ ты увидишь, что ты еще сто двадцать лѣтъ проживешь! Не даромъ же мы въ Зелентуй просились — значитъ, тамъ лучше. Старсыхъ ребятишекъ въ пріютъ заберутъ, грамотѣ, ремеслу обучать. Абрашка, Хася, Брухэ людьми, гляди, станутъ... Хася черезъ три-четыре года невѣстой будетъ. Чего ты головой качаешь? Я правду говорю, Енталэ. Суженаго коня не объѣдешь—знаешь рушкую пословицу? Чего мудренаго, коли и Хася наша зениха себѣ сыщеть? Хорошаго человѣка. Это я вѣдь каторжный-то, а она вольная, честная дѣвушка, честной матери доць. Абрашка тоже большой ужъ парень. Ремеслу только стоитъ научиться — слесаремъ, аль кузнецомъ, аль токаремъ стать. У отца руки были—и изъ него хорошій работникъ можетъ выйти. Что ты говоришь?

— Съ тобой-то на волѣ, говорю, не живать мнѣ.

— Ну, зачѣмъ ты такъ говоришь? Почему же не зивать, Ента? Въ Зелентуѣ къ начальству ближе. Мы проситься станемъ... Какъ увижу начальника, я ему въ ноги шичась. Онъ откажетъ, пойдетъ въ другую камеру, а я и туда прибѣгу—и тамъ въ ноги! Онъ въ

третью—и я въ третью... онъ на другой день придетъ—я и на другой день опять просить стану: «Васе вишюкоблагородіе! Жена больная, дѣтей куча, малъ-мала меньше. Я честный мастеровой. Я трудомъ рукъ своихъ пропитанье могу семьѣ доставать. Пустите меня въ вольную команду!» И что же ты думаешь, Ента? Я такъ думаю, что начальникъ возьметъ да и отпустить меня!

— Хорошо, коли отпустить; а коли велитъ въ карецъ посадить?

— А ты-то, Ента, на что-жъ? Я съ одного краю, а ты съ другого... Я просить, а ты того пуще... Хася, Брухэ, Сурэлэ, Абрашка, Рухеню — всё кланяться будутъ, кричать... Надоѣсть ему слушать, онъ и скажетъ, глядишь: «А что въ самомъ дѣлѣ! Отпустить Мойшу Бороховича въ вольную команду». Вотъ увидишь, Ента: не будь я Мойшей, коли ты не увидишь, что онъ такъ скажетъ. Ну, а тогда ужъ мы заживемъ! Ты увидишь, Ента, какъ мы заживемъ! Я какую работу могу вѣдь дѣлать. Ты не гляди на то, что я на дохлую лошадь похожъ. Я этихъ чохъ-мохъ не разбираю, силы-то мнѣ еще не занимать стать... Руки-то такъ и чешутся поработать... Ты у меня еще барыней ходить будешь. Вотъ съ мѣста не встать мнѣ, Ента, коли я вру: барыней будешь!..

— Чего ты, слышу я, разоврался тутъ, Вороховичъ?—раздался неожиданно возлѣ нарѣ голосъ.

Ента и Мойша вздрогнули и невольно приподнялись съ мѣстъ, въ испугѣ. Но сейчасъ-же успокоились, какъ только узнали при слабомъ мерцаніи сальной свѣчи, озарявшей камеру, добродушное лицо старика Николаева. Въ дорогѣ изо всей партіи они уважали его одного. Не смотря на рѣзкій языкъ и склонность впутываться въ чужія дѣла, старикъ производилъ впечатлѣніе доброй души и внушалъ довѣріе.

— Шадись, старикъ, шадись,—пригласилъ его Мойша:—гостемъ будешь. Вотъ Ента моя горюетъ, что до вольной команды мнѣ далеко, а я ей говорю, что никто какъ Богъ. Не правда-ль, старикъ, что никто какъ Богъ? Богъ сюды насъ въ каторгу прислалъ, онъ же и отсюда вызволить можетъ.

— Худа она у тебя вовсе. Въ чемъ, погляжу, душа держится? Неравно помретъ — на кого этакая прорва ребятишекъ останется? Ну, и плодущіе жъ вы, жиды, правду про васъ говорятъ, что плодущіе!

— Опять и тутъ Богъ, старикъ. Вѣдь и зидъ—человѣкъ. Какъ ты думаешь: человѣкъ вѣдь зидъ?

— Человѣкъ-то человѣкъ. Только зачѣмъ вы Христа распяли? Вотъ за это Онъ и гоняетъ васъ теперь по бѣлу свѣту!

— А за что же васъ онъ гоняетъ, коли вы не зиды?

— Насъ? Насъ за грѣхи наши... Охъ-охъ-охъ! грѣхи наши тяжкіе! Жалко мнѣ тебя, Вороховичъ. Мужикъ ты, я вижу, безхитрошный. Вонъ онъ и русскій, нашъ православный (мотнулъ Николаевъ бородой въ сторону весело разглагольствовавшего о чемъ-то Китаева), да что изъ того? Продастъ и выдастъ тебя за мѣдную кипѣйку. И какъ утوراзило тебя съ такою семьею въ каторгу влопаться?

— За напращлину, дѣдушка, видитъ Богъ—жа напращлину. Въ чужую вклепали. И все оттого, что—зидъ. Ограбили церковь въ нашемъ селѣ. На когѣ подумать? Конечно, на зида. Сдѣлали у меня обыскъ. И нашли платокъ какой-то церковный, воздухомъ зовется... Самъ дьяволъ, видно, подбросилъ намъ его! Такъ мы и до сихъ поръ не знаемъ съ Ентою, какъ онъ у насъ очутился. А межъ тѣмъ—улика! Такъ и пошелъ на семнадцать лѣтъ каторги.

— Жаль тебя, коли не врешь. Да! оно послушать насъ всѣхъ, такъ и ни одного, почитай, виновнаго не найдется... Перминовъ вонъ тоже говорить, за правду пришелъ... А ужъ чего тутъ! по глазамъ видно, что либо дѣвку изнасиловалъ, либо разбойный притонъ содержалъ.

— А ты самъ, дѣдушка, за что же попалъ?

— Я-то?... Положимъ, я-то, дѣйствительно, безъ вины... Да вѣдь кто повѣритъ? Кто повѣритъ? Судъ не повѣрилъ, а ужъ тебѣ-то, али иному-прочему съ какой стати вѣрить? Не люблю я и говорить поэтому зря. Надѣть лучше впередъ заглядывать. Какъ бы не вышло потомъ, что и каторгу еще пожалѣешь?

— И очень просто, — подтвердилъ Боруховичъ, тоже любившій порой пофилософствовать:—правду рушкая пословица говорить: что имѣемъ, не хранимъ—потерявши платье!..

Побесѣдовавъ полчаса въ такомъ родѣ, Николаевъ, широко зѣвая и крестя ротъ, и видя, что разговоры начинаютъ притихать по всѣмъ угламъ, тоже направился, наконецъ, къ своему мѣсту. Тамъ онъ разостлалъ на нарахъ узенькій войлочный тюфячокъ, примостилъ въ изголовье мѣшокъ и затѣмъ, горячо помолясь на колѣняхъ и стукнувшись нѣсколько разъ лбомъ о грязный этапный полъ, улегся подъ арестантскую шубу, накрывшись ею по крестьянскому обычаю съ головой. Но сонъ долго не шелъ къ нему.

— О, Господи, Господи, простишь-ли слабость нашу? — размышлялъ старикъ съ сокрушеніемъ сердечнымъ. — Не хватило

духу съ перваго раза въ винѣ сознаться, такъ ужъ оно и идетъ, такъ и до конца идти будетъ. Вотъ и жидъ этотъ — тоже, надо быть, вретъ. Безпремѣнно онъ это церковь ограбилъ, сказать только боится. Охъ-охъ-охъ! Всякому-то изъ насъ богачества пуще всего хочется, и вотъ приготавлиаемъ мы себѣ и на землѣ, и на небѣ адъ кромѣшный. Ну, развѣ не адъ это? Хоть меня же взять. Жилъ хорошо, пилъ-ѣлъ, одѣвался, какъ люди, почетъ имѣлъ отъ чужихъ, отъ дѣтей покорность—и вдругъ накосъ! Въ пучину какую самъ себя вверзилъ! Голова сколько лѣтъ бритая была, на ногахъ бруслеты звякали, промежъ какого народа жить пришлось, чего-чего ни видѣть, ни слышать... Теперь-то, положимъ, все ужъ это миновало, на волю иду... Ну, а все ужъ не то, что прежде, будетъ! Родного мѣста никогда не увижу, на чужбинѣ въ униженіи помру, дѣтьми проклятый и забытый... Да. А кусокъ-то хлѣба гдѣ на старости лѣтъ добуду? Коли и есть кой-какія деньжонки, въ поясъ да въ голенищахъ запрятаны, такъ вѣдь на нихъ однѣхъ вся и надежа теперь. А глоты эти и храпы разные, вродѣ Китаева. въ скупости укоряють, асмодеемъ зовутъ. Да будь бы у самихъ у васъ шестьдесятъ три года на шеѣ—что бъ вы заплѣли тогда? И чудаки же этотъ Китаевъ: сими, говоритъ, майданъ. Партія, молъ, большая и съ деньгами составитъ. Ну, да гдѣ жъ мнѣ, старику, такимъ дѣломъ орудовать? Разоришься только—ничего больше. Оно допустимъ, грамотный я, и глаза еще зоркіе имѣю. Особливо мудренаго ничего я тутъ не вижу: картъ нѣсколько колодъ запаси да слѣди—знай, сколько партій за ночь сыграли, сколько на твою долю проценту причтется... Да нѣтъ! Тыфу-тыфу, прости Господи! Пушай сами симають, мнѣ и думать-то объ этомъ грѣхъ!..

---

На другой день послѣ приѣмки новой партіи оба номера отворили и арестантамъ позволили размѣститься въ камерахъ по собственному желанію. Немедленно изъ большой камеры въ меньшую нахлынула цѣлая толпа тѣхъ, у кого не было тамъ мѣста на нарахъ, и сдѣлалось вездѣ такъ тѣсно, какъ обыкновенно бываетъ тѣсно на этапахъ. И на полу, и даже подъ нарами—вездѣ помѣстился народъ. Шумъ стоялъ невообразимый. Махорочный дымъ и паръ отъ дыханія людей (не смотря на многолюдство, было довольно холодно) застилали воздухъ съ полу до потолка. Большая партія, приѣхавшая на пароходѣ изъ Благовѣщенска, была самого разноразнаго и

разнохарактернаго состава: были въ ней и простые безбилетные, отправлявшіеся по этапу на родину, были и осужденные уже по разнымъ дѣламъ въ каторгу и шедшіе теперь въ рудники; человѣкъ же двадцать должно было еще судиться въ Иркутскѣ. Эта послѣдняя группа, состоявшая изъ людей богатыхъ и нахальныхъ, видимо, верховодила въ партіи. Краснорѣчивый рассказчикъ, съ которымъ обратники познакомились вчера сквозь дверную щелку, Красноперовъ по фамиліи, оказался господиномъ лѣтъ тридцати пяти, небольшого роста, съ очень блѣднымъ лицомъ и пронзливими карими глазками; одѣтъ онъ былъ въ сѣрый пиджакъ съ жилетомъ, на которомъ красовалась золотая цѣпочка безъ часовъ. Онъ также ѣхалъ судиться по дѣлу объ ограбленіи каравана и съ явною гордостью заявлялъ, что ему грозитъ веревка... Пятерыхъ-шестерыхъ товарищей, съ не меньшей гордостью готовившихся къ той же участи, онъ ругалъ за глаза дешевками и язычниками. Между прочимъ, Красноперовъ привелъ съ собой маленькаго мальчика лѣтъ семи, весьма бойкаго и развязнаго, закладывавшаго одну руку въ карманъ брюкъ, а другою неустанно лущившаго кедровые орѣхи.

— Вотъ нашъ Ринальдо-Ринальдини, атаманъ шайки!—громогласно отрекомендовалъ онъ мальчика нашимъ знакомцамъ Николаеву, Китаеву и другимъ.

Мальчикъ глядѣлъ на всѣхъ смѣло и самоувѣренно, переводя съ одного лица на другое свои пытливые сѣрые глаза, и усѣлся, какъ большой, на нары.

— Чей же это? Сынъ твой, што-ли?—полюбопытствовалъ Николаевъ.

— Нѣтъ, это сынъ знаменитаго еврея Пенто. Помните, того, что нѣсколько лѣтъ назадъ повѣшенъ былъ въ Читѣ вмѣстѣ съ купцомъ Алексѣевымъ за ограбленіе почты? Мать-то его за другого теперь вышла, тоже еврея, который ѣдетъ по нашему же дѣлу въ Иркутскъ судиться.

— И этого, надо быть, повѣсятъ?

— Надо быть, что такъ. Вотъ судьба малютки удивительная, а? Двухъ отцовъ имѣть и обоихъ на висѣлицу отправить! И вы не повѣрите, пожалуй, какой развитой мальчишка? Семи лѣтъ еще нѣтъ—и все понимаетъ, какъ взрослый. Онъ у насъ такъ и зовется атаманомъ шайки!

— Выдрать бы его хорошенько—не сталъ бы такъ зваться,—съ негодованіемъ заявилъ Николаевъ.

— Ха-ха-ха!—слышишь, Миша, что дѣдушка про тебя говоритъ?

— Руки коротки,—отрѣзалъ атаманъ шайки, нахально поглядѣвъ на дѣдушку и выплюнувъ изо рта орѣховыя скорлупки. — Сегодня въ карты станете играть?—полюбопытствовалъ онъ затѣмъ у своего покровителя.

Но послѣдній отошелъ уже въ сторону съ Китаевымъ, успѣвшимъ завязать съ нимъ близкое знакомство, и теперь держалъ какое-то таинственное совѣщаніе. Нѣсколько минутъ спустя они вдвоемъ подошли опять къ Николаеву.

— Ну, Павелъ Николаевъ! Я не зря совѣтовалъ тебѣ вчера майданъ сымать. Вотъ послушай, что говоритъ человекъ.

— Да, я вамъ скажу, что это дѣло, точно, подходящее. Имѣйте въ виду, что еврей Левенштейнъ мѣтитъ въ эту цѣль. Изъ одного этого можете понять, насколько выгодное дѣльце.

— Ну, и пушай его сымаешь. Мнѣ-то што?.. По мнѣ хоть татаринъ сыми! Я хлѣба отнимать ни у кого не хочу; всѣ мы тутъ безъ отца, безъ матери, всякъ о себѣ промышляй.

— Не въ томъ дѣло, старикъ. А намъ, русскимъ, обидно будетъ, коли жиды всю партію въ свои руки заберутъ. Имѣйте въ виду, ихъ тутъ много. Плохо намъ придется.

— Меня обидѣть никто не можетъ. Буду получать свои кормовыя—и вся тутъ. Ну, а коли ежели такая забота беретъ васъ, такъ сами бы и сымали майданъ.

— Дуракъ ты безмозглый, Николаевъ, истинный дуракъ! Да кабы у насъ деньги были, нешто бы мы тебѣ предложили? Я тебѣ, какъ земляку, добра хочу. Сколько лѣтъ вмѣстѣ въ Шелай прожили, не грѣхъ бы тебѣ, старому чорту, и постоять за своихъ.

— А съ чего я постою-то? Гдѣ у меня купила-то, чтобъ майданы сымать? Много-ль за него заплатить-то надеть?

— Пустяки. Съ двухъ рублей начнугъ. Ну, догонять, быть можетъ, до шести.

— Вона, какой капиталъ нуженъ! Нѣтъ у меня этакихъ денегъ. Да и были-бъ—не купилъ бы. Это говорите вы только такъ, будто партія ваша богатая, а поглядите-ка эвона, какіе сенаторы рядомъ со мной улеглись... Шуба-то прямо, небось, енотовая?.. Вшей-то, вшей, я думаю, сколько!

— Ну, какъ вамъ угодно, была бы честь предложена. У меня самого такія деньги найдутся. Не хотѣлось мнѣ только мараться объ

это дѣло. А жиду Левенштейну я всетаки не уступлю, ни за что не уступлю!

И новоиспеченные друзья отошли отъ старика прочь, заронивъ, однако, въ него тревожную думу. Скрестивъ руки на груди, медленной походкой пошелъ онъ въ большую камеру пошататься промежъ народа, прислушаться къ бесѣдамъ и присмотрѣться къ новымъ лицамъ.

Впечатлѣніе отъ этой прогулки вынесъ онъ, повидимому, благоприятное. Народъ, дѣйствительно, казался богатымъ. Нѣсколько разъ въ теченіе дня онъ самъ подходилъ послѣ этого къ Китаеву и заговаривалъ о майданѣ.

— Ты говоришь, Китаевъ, майданъ-моль... Да вѣдь гдѣ же мнѣ оборудовать такое дѣло, старъ я...

— А чего тамъ орудовать? Сторговаль, купишь—и баста. Пойми ты, старый чурбанъ, что никто вѣдь тогда окромя тебя во всей партіи не будетъ въ правѣ ничѣмъ торговать! Одной торговлей вернешь себѣ то, что заплатишь. А карты? Ты подумай только, какая игра тутъ пойдетъ. У меня, братъ, заранѣе руки чешутся... Тутъ еврей одинъ есть—прошлую ночь, говорятъ, двѣсти цѣлковыхъ спустилъ и хоть бы поморщился! Еще столько же спустить готовъ. Съ двухсотъ на твою долю двадцать рублей пришлось бы... Вотъ и смекни, дуракъ. Идти-то намъ придется до Верхнеудинска два мѣсяца, а заплатишь ты всего какихъ нибудь шесть рублей.

— Говорятся только такъ, что шесть, а хорошо я знаю, что и до всѣхъ десяти догонять.

— Ну, да хоть бы и десять. Развяжи мошну-то, аспидъ.

— Нѣту у меня эстолькихъ денегъ, говорю тебѣ—нѣтъ. Да и то еще: надо вѣдь товарища нанять, помощника.

— И найми.

— Кого наймешь? Тутъ добросовѣстный человѣкъ нуженъ. Вотъ кабы Оська Непомнящій пошелъ, на харчи бы мои поступилъ. А еще бы лучше ты, Китаевъ. Я знаю, что ты подлецъ и мошенникъ; ну, да меня-то, старика, ты, я знаю, не обидѣлъ бы...

— Тамъ видно будетъ... Купи раньше!

— Нѣтъ, ужъ Богъ съ имъ, съ майданомъ... Нѣтъ, нѣтъ! Отойди отъ меня, искушеніе сатанино! Посѣти меня царъ Давыдъ и кротость его!

— Запѣлъ опять свое... Да душа изъ васъ вонъ, изъ тебя и изъ Давыда твоего! Тыфу! Пошелъ отъ меня ко всѣмъ дьяволамъ,



асмодей бездушный! Пропади ты и съ деньгами своими, издохни на нихъ, песь смердящій!

— Экую чужь городишь! Экую чужь прешь!—укоризненно качая головой Николаевъ и медленно отходилъ еще разъ прочь.

У всякаго свое дѣло и свои заботы. Наиболѣе замкнуто и странно ведутъ себя супруги Перминовы. Оба, видимо, чего-то волнуются, изъ-за чего-то ссорятся, хотя все происходитъ подъ сурдинкой, сора изъ избы не выносятся. Мужъ тихимъ шопотомъ дѣлаетъ женѣ какія-то внушенія. Наконецъ, она не выдерживаетъ и ударяется въ слезы.

— Всегда вотъ такъ, всегда такъ... Что-жъ я худого сдѣлала? Знакомый человѣкъ отыскался, почему жъ было не поговорить? Почему стакана чаю не предложить? Ты же самъ нашелъ какихъ-то знакомыхъ, тоже цѣлый часъ въ томъ номеру просидѣлъ—я ничего...

Волнуясь, она возвышаетъ постепенно голосъ, привлекая къ себѣ вниманіе публики.

— Цыцъ, — гнѣвно шепчущимъ голосомъ останавливаетъ ее мужъ, глазами онъ точно собираетъ ее проглотить и весь дрожитъ отъ сдерживаемой внутри ярости.

Отъ вниманія Китаева не ускользаетъ эта семейная сцена.

— Ба! глядите, ребята, — кричитъ онъ съ другого конца камеры: — Перминовъ, надо быть, опять свою жену приревновалъ. Ужъ не къ нашему-ль старцу божію? Бѣда бабѣ да и на! Ночью мѣшками ее со всѣхъ сторонъ обладываетъ, какъ бы кто-нибудь подлѣзть не прихитрился, а днемъ выйти, съ позволенія сказать, одну не пускаетъ. Эй, тетка! Да плюнь ты на него, стараго хрѣна. Мало-ль тутъ молодчиковъ есть почище его. Хоша бы меня взяла—полюбила.

— Да и вѣрно, дяденька, что ревнуетъ... Житія просто не стало, — отзывается вышедшая изъ себя тетка. — Людей-то хоть бы постыдился! Кто ужъ позарится теперь на меня? Пятьдесятъ вѣдъ второй годъ...

— Шкура ты, шкура, — рычитъ на нее мужъ, злобно сверкая глазами: — какъ почну я тебя лупить, какъ почну лупить, такъ будешь знать тогда, какъ честная жена должна вести себя!

— А чѣмъ я неладно себя веду?

— А тѣмъ, что со всякимъ проходимымъ готова хвостомъ крутить.

— Гдѣ я хвостомъ-то кручу?

— Тамъ узнаешь гдѣ... Стерва!

И вслѣдъ за этими словами послышался звонкій ударъ пощечины. Женщина громко зарыдала. Вся камера, какъ одинъ человѣкъ, ополчилась противъ такого самоуправства (единственно потому, конечно, что всѣ единодушно ненавидѣли Перминова): Китаевъ произнесъ даже цѣлую горячую рѣчь въ защиту гуманности вообще и женской слабости въ частности и чуть не полѣзъ въ драку съ Перминовымъ. Наконецъ, послѣдній, плюнувъ въ сердцахъ, ушелъ въ сосѣднюю камеру. Жена же его долго еще сидѣла и плакала. Старикъ Николаевъ подошелъ къ ней съ разспросами. Лицо у нея, не смотря на пятьдесятъ два года, о которыхъ она только что заявила, довольно еще молоджавое и миловидное. Повидимому, было время, когда она знала лучшую жизнь. Въ сердцѣ ея, въ этомъ покорномъ и забитомъ сердцѣ, должно быть, много накопило злости и протеста: оглядываясь безпрестанно на дверь, скороговоркой и вполголоса она рассказала Николаеву всю свою жизнь.

— Ты его, дѣдушка, не слушай, что онъ о своемъ благочестіи тебѣ сказывалъ. Разбойникъ былъ, настоящій разбойникъ. И чѣмъ приколдовалъ меня—право, сама не могу въ толкъ взять—ни красивый, ни богатый, ни разумный... Пенъ пнемъ! Я вѣдь за второго за него вышла. Отъ перваго-то мужа у меня дочка ужъ взрослая есть. Объ Сашенькѣ-то я пуще всего и крушусь. Что-то теперь съ ней, голубонькой моей, стало? Хорошенькая-то какая была, кабы ты видѣлъ, деликатная, нѣжная, ровно барышня... Повѣришь-ли: и къ ней-то онъ приставалъ вѣдь тоже, домогался... угрозы дѣлалъ... и меня не стыдился!

— Чего жъ ты не бросишь его, такого варвара?

— Да вѣдь я не вольная была. Я вѣдь тоже съ лишеніемъ правъ пришла. Онъ и меня въ эти дѣла свои вовлекъ... Потому какъ я не доносила и укрывала... За это и осудили. Теперь, говорятъ, манифестъ долженъ быть примѣненъ ко мнѣ, да вотъ узнать не могу настоящимъ образомъ—въ какомъ смыслѣ примѣненъ. Самъ-то, надо быть, знаетъ, а мнѣ не говорить и у людей спрашивать не даетъ.

— Что-жъ онъ—силой, значить, держитъ тебя?

— Угрозами, дѣдушка... Все вотъ хочу съ добрыми людьми посоветоваться, какъ бы уйти лучше, да никакъ невозможно—сторожить. Да еще вѣдь что: хочеть, чтобъ я и Сашеньку сюда же къ намъ звала.

Но тутъ разсказчица прикусила внезапно языкъ, потому что Перминовъ показался опять въ дверяхъ, подозрительно оглядывая Николаева, который сидѣлъ рядомъ съ женой, румяный и видимо взволнованный.

— Я прошу вотъ дѣдушку письмецо къ Сашенькѣ написать, — поспѣшила она объявить мужу съ дѣланной, заискивающей улыбкой.

Перминовъ принялъ тотчасъ же свой обычный медоточивый видъ и началъ просить Николаева сочинить письмо, не откладывая въ долгій ящикъ. Старикъ не заставилъ себя уговаривать и, доставъ листъ сѣрой бумаги, перо и чернила и вооружившись огромными старомодными очками въ черепаховой оправѣ, немедленно приступилъ къ сочинительству. Сперва слѣдовали обычные поклоны всей роднѣ и знакомымъ, затѣмъ обычное же: «Посылаю тебѣ, любезная дочь моя Сашенька, материнское свое благословеніе, которое можетъ быть вамъ полезнымъ до гробовой вашей доски». Дальше расписывались яркими красками прелести и выгоды жизни въ Забайкальской области и, въ заключеніе, предлагался Сашенькѣ совѣтъ бросить неблагодарную родину и ѣхать къ любящимъ родителямъ на новую, болѣе счастливую жизнь.

Старуха все время заливалась слезами, пока писалось письмо, однако такъ и не посмѣла высказать какое-нибудь противорѣчіе тому, что диктовалъ мужъ. Взглядъ его зеленыхъ глазъ, казалось, усыплялъ въ ней всякую мысль, подавлялъ всякое движеніе ея собственной воли. И Николаеву было несомнѣнно, что мечты ея уйти отъ него такъ и останутся навсегда пустыми, несбыточными мечтами...

---

Только что заперли послѣ вечерней повѣрки корридоръ, оставивъ на этотъ разъ камеры отворенными, какъ кто-то прокричалъ зычнымъ голосомъ, чтобъ всѣ сходились въ одно мѣсто на выборы артельныхъ чиновниковъ. Арестанты повалили тотчасъ же въ большую камеру, одни движимые общественными инстинктами, другіе — простымъ любопытствомъ. Въ меньшей камерѣ остались на мѣстѣ только Боруховичи, Перминовы да сумасшедшій Бова, неподвижно сидѣвшій въ своемъ углу въ пашкѣ и шубѣ, сучившій какую-то веревку и ворчавшій себѣ подъ носъ разныя заклинанія. Даже 76-лѣтній Тимофеевъ съ своимъ длиннымъ табачнымъ носомъ и клеймомъ на морщинистомъ лбу полпелся вмѣстѣ съ другими. А впереди всѣхъ неспѣшными шагами двигался въ своей бѣлой рубахѣ,

сложивъ на груди руки и нѣсколько насмѣшливо улыбаясь, старикъ Николаевъ.

— Ну, что, не надумалъ, асмодей?—хлопнулъ его по плечу суетливый Китаевъ и, не дождавшись отвѣта, побѣжалъ впередъ разыскивать Красноперова. Но Красноперовъ уже самъ заявилъ о себѣ. Взобравшись на нары, онъ закричалъ къ собравшейся толпѣ:

— Не будемъ терять, господа, времени! Что касается старосты, то мы всѣ здѣсь смѣло можемъ увѣрить обратную партію, что лучше прежняго нашего старосты Свистунова желать нельзя. Да и выбирать больше некого.

— Какъ некого? Соколова можно выбрать, а не то Иванова,— послышался чей-то голосъ изъ заднихъ рядовъ.

— Чего тутъ разговаривать? Свистунова оставить! обратная партія согласна!—заглушила его крикливая глотка Китаева, уже успѣвавшего снюхаться и со Свистуновымъ.

— Свистунова! Свистунова!

— Соколова!

— Ну, такъ, значить, рѣшено, господа, оставимъ Свистунова,— заключилъ Красноперовъ, какъ-бы не разслышавшій другихъ голосовъ.—Остается теперь болѣе важное дѣло—продажа майдана. А то насидимся въ дорогѣ безъ чаю, сахару и табаку. Сколько же дадите за майданъ, старики?

Всѣ молчали.

— Я самъ готовъ дать три рубля,—заявилъ тогда Красноперовъ.

— Три рубля! Кто больше?—закричалъ, появляясь вдругъ на тѣхъ же нарахъ и беря въ свои руки бразды правленія, староста Свистуновъ, мужчина атлетическаго сложенія съ розовыми надутыми щеками и длинными рыжими усами.

— Четыре рубля даю,—отозвался красивый брюнетъ съ гладко выбритыми щеками, одѣтый въ черный скотукъ и сѣрые клѣтчатыя брюки. Очевидно, это и былъ еврей Левенштейнъ, о которомъ предупреждалъ Красноперовъ.

— Слышите: четыре... Кто больше?

Красноперовъ предложилъ шесть рублей. Левенштейнъ восемь. Послѣ этого Красноперовъ замолкъ. Свистуновъ готовился уже выкрикнуть, что майданъ поступаетъ къ Левенштейну, какъ вдругъ съ противоположной стороны, изъ толпы, послышался негромкій и точно охрипшій нѣсколько голосъ, заставившій всѣхъ невольно обернуться:

— Пятьдесятъ кипѣекъ набавляю.

— Ба! землячокъ? Это ты?—изумился обрадованный Китаевъ— не уступай, не уступай, братъ, жиду, поддержи нашихъ!

Всѣ захохотали и протолкали Николаева впередъ къ нарамъ, гдѣ происходила борьба.

— Пятьдесятъ кипѣекъ набавляю,—повторилъ онъ еще разъ, откашливаясь, и смѣло взглянулъ на противника своими сѣрыми проницательными глазами.

— Десять рублей даю,—объявилъ Левенштейнъ.

— Пятьдесятъ кипѣекъ набавляю!—невозмутимо отозвался Николаевъ.

— Двѣнадцать рублей!

— Двѣнадцать съ полтиной...

— Четырнадцать.

— Четырнадцать съ полтиной...

— Ого-го-го! Молодчинища старикъ. Не уступаетъ! не робѣетъ!

— Ай, да Павелъ Николаевъ. Знай нашихъ шелайскихъ!

— Да и не уступлю... Вы какъ думали?—пріосанившись, заявилъ Николаевъ, торжественно оборачиваясь къ толпѣ и вызывая въ ней взрывъ сочувственнаго хохота.

— Значить, четырнадцать съ полтиной. Кто больше?

Левенштейнъ совѣтовался съ кучкой товарищей. Рядомъ съ нимъ очутился и Красноперовъ, тоже что-то шепнувшій ему.

— Второй разъ четырнадцать съ полтиной... Кто больше?

— Шестнадцать рублей,—сказалъ Левенштейнъ.

— Шестнадцать съ полтиной,—какъ эхо, откликнулся Николаевъ.

Онъ былъ, видимо, взволнованъ и красенъ, какъ вареный ракъ, но на лицѣ написана была твердая рѣшимость. Китаевъ, въ искреннемъ восторгѣ, то-и-дѣло посылалъ ему громкія одобренія.

— Не робѣй, дружище, катай его! Закатывай!

— А чего думаешь? И не обробѣю!—хвастался расходившійся старичина:—такъ прямо до сотни и стану гнать.

Толпа отвѣтила на эти слова новымъ радостнымъ гоготаніемъ.

— Не старикъ это, а прямо—два съ боку!

Однако, кто-то изъ благоразумныхъ подошелъ къ нему и дружески предупредилъ, что майданъ врядъ-ли стоитъ такихъ денегъ.

— Сказалъ: до сотни гнать буду!—не слушая, крикнуть на него Николаевъ и нетерпѣливо махнулъ рукой.

Левенштейнъ пытливо посмотрѣлъ на него.

— Двадцать рублей,—провозгласилъ онъ торжественно.

— Двадцать съ полтиной,—далъ свой обычный отвѣтъ Николаевъ, доводя веселье толпы до истерики.

Левенштейнъ отступился... Свистуновъ ударилъ кулакомъ по нарамъ.

— Майданъ за тобой, старикъ! Половину денегъ, по обычаю, сейчасъ же внеси.

Не успѣла состояться продажа майдана, какъ начали подбираться игроки. Они сошлись въ меньшей камерѣ, гдѣ у одной изъ стѣнъ находилось единственное мѣсто во всемъ этажѣ—казалось, совершенно укрытое отъ зоркихъ глазъ конвойной команды. Тутъ очутились и Китаевъ съ Красноперовымъ, и еврей Левенштейнъ, только что пытавшійся отбить у Николаева майданъ, и много другихъ любителей сильныхъ ощущений. Стремщикъ стоялъ уже на своемъ посту, и остановка была только за майданщикомъ, который обязанъ былъ доставить карты, свѣчу и устроить наблюдение за ходомъ игры. Николаева невозможно было узнать. Куда дѣвались его степенность, солидность, неунывающая безмятежность, которыми еще недавно онъ такъ выгодно отличался отъ арестантской шпанки. Неопытный, совсѣмъ сбитый съ толку, облитый потомъ, ярко разругавшійся, онъ комично бросался изъ стороны въ сторону, жалкій, безпомощный, какъ мокрая курица, не зная, что дѣлать, съ чего начать. Кобылка безжалостно издѣвалась и острила надъ нимъ. Наконецъ-то, удалось ему завербовать себѣ въ помощники татарина Равилова, знавшаго толкъ въ игрѣ и согласившагося наняться за извѣстную плату. Разостлали на полу коврикъ, зажгли сальную свѣчу, стали сдавать карты. Равиловъ прикурнулъ возлѣ играющихъ съ намѣреніемъ записывать число сыгранныхъ партій, отъ которыхъ майданщику шелъ десятипроцентный доходъ. Самъ же Николаевъ, потѣшая собравшуюся толпу любопытныхъ, ходилъ вокругъ, взволнованно ударялъ себя то-и-дѣло руками по бедрамъ и говорилъ:

— Эвона въ какую бѣду самъ себя втюрилъ! Вотъ драть-то бы кого, стараго дурадея, надо! Не было никакой заботы, лежалъ себѣ на боку, припѣваючи, такъ нѣтъ! надыть было такую обузу на плечи себѣ взвалить. Ну, не диво ли, люди добрые, а? И когда теперь выберешь эти двадцать съ полтиной, а?

— Пропала теперь твоя голова, старикъ!—смѣялись надъ нимъ

арестанты:—еще погоди, прикладовъ отъ капитана Петровскаго отвѣдаешь!

— Да неужто?!

Но только что сдѣлалъ онъ этотъ вопросъ, полный самаго комичнаго и неподдѣльнаго ужаса, какъ произошло нѣчто необыкновенное. Гдѣ-то въ отдаленіи что-то вдругъ звякнуло, точно быстро отбрасываемый дверной засовъ; послышался шумъ проворно улепетывающихъ ногъ; огни сразу вездѣ потухли; арестанты, даже вполнѣ ни въ чемъ неповинные, торопились взобраться на нары, юркнуть подъ халаты и притвориться спящими. А по корридору бѣжали уже солдаты съ ружьями на перевѣсѣ, освѣщаемые фонаремъ дежурнаго и поощряемые чимъ-то властнымъ окрикомъ:

— Бейте ихъ, мерзавцевъ! Я покажу имъ карты!

И вотъ кого-то настигли въ корридорѣ: раздался звонъ оплеухи, стукъ приклада и вслѣдъ затѣмъ верещанье точно подхваченнаго зубами псовъ зайца.

— Помилуйте, шпашите!.. васе вишোকблагородіе, я не причемъ... Отпустите дусу на покаянье!

— Ну, жидя нашего поймали, Вороховича,—промолвилъ Китаевъ изъ подъ своего халата:—въ чужую влетѣлъ!

Истерическій визгъ женщины былъ продолженіемъ сцены: это больная Бята бросилась на помощь своему злополучному мужу. Ей отвѣчалъ плачь проснувшихся ребятишекъ.

— Ты стремщикъ? Ты сторожилъ играющихъ?—кричалъ, топая ногами, офицеръ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, я цестный еврей, я по своему дѣлу къ ноцному усату ходилъ.

— Онъ мой мужъ, ваше благородіе, мой мужъ... У насъ большая семья... Мы бѣдные евреи...

— А коли такъ, нечего шлаться по ночамъ. Убирайся скорѣй по добру-по здорову на нары.

Маленькая, невзрачная фигурка грознаго капитана, въ сопровожденіи цѣлой оравы солдатъ, вооруженныхъ ружьями и фонарями, появилась въ камерѣ. Онъ медленно обошелъ ее кругомъ, пристально вглядываясь въ лежавшія по нарамъ неподвижныя, какъ трупы, фигуры арестантовъ.

— Сразу на всѣхъ сонъ напалъ,—обратился онъ иронически къ солдатамъ:—въ слѣдующій разъ всякаго, кого поймаете на стремъ или за картами, отводите въ баню.

И съ этими загадочными словами капитанъ Петровскій прослѣдовалъ въ другую камеру. Черезъ четверть часа опять послышался лязгъ запираемыхъ засововъ, и, наконецъ, все смолкло.

Очнувшись отъ временнаго оцѣпенѣнія, арестанты начали мало по малу выползать изъ своихъ норъ. Послышались разговоры, сперва робкіе и негромкіе, потомъ насмѣшливые и веселые.

— Антипы проклятые!—завопилъ Журавль.

Китаевъ потѣшался надъ побитымъ Боруховичемъ.

— Что, братъ Мойша? Бока-то саднѣютъ, небось, а?

— Да порядкомъ-таки отдѣлали, черти... подъ орѣхъ!

— Ха-ха-ха! каковъ капитанъ? Онъ, братъ, чохъ-мохъ не разбираетъ, лупить кого попало. Пардону запросилъ?

— Запросилъ бы и ты... А про какую это онъ баню говорилъ?

— Жаль, что тебя не сводили туда. Выпарили бъ тебя тамъ березовыми вѣниками такъ, что ты и жидовки своей, и жиденятъ не призналъ бы... Вотъ стремщика нашего тоже не мѣшало бы отлупить путемъ. Не зѣвай, подлецъ, коли деньги берешь!

— Ужъ это вѣстимо.

— А гдѣ же, братцы, нашъ майданщикъ? Ужъ не въ баню ль его отвели, сердечнаго?

— Да не хуже, братъ, бани!—отозвался изъ подъ халата голосъ Николаева, за которымъ послѣдовалъ взрывъ хохота въ камерѣ:—едва-едва ноги уволокъ... Вотъ жизнь-то себѣ нажилъ, туйсь колыванскій! Знаешь что, Китаевъ? Купи ты у меня майданъ, право слово, купи. За пятнадцать цѣлковыхъ отдамъ, куда ни шло.

— Нашелъ дурака. Ты думаешь, старый колпакъ, Левенштейнъ и вправду хотѣлъ купить? Да мы тебя, аспида, нарочно только раззадоривали, дразнили, какъ индѣйскаго пѣтуха.

— Ой-ли?

— Да вотъ тѣ и ой-ли. Ты, гляди, и въ полгода не выберешь своихъ двадцати рублей при этакихъ строгостяхъ. Что изъ того, что обратная партія? Одно названье только, когда двадцать молодцовъ прямо на вѣшалицу идутъ съ нами.

— Такъ что-жъ дѣлать мнѣ таперича? Эвона въ какую кашу залѣзъ, въ страмъ какой, во тьму кромѣшную! И не стыдно тебѣ, Китаюшка, такъ надъ товарищемъ старымъ надсмѣхаться? Зачѣмъ же ты соблазнялъ меня? Какое я зло тебѣ сдѣлалъ?

— Ничего, не робѣй, старичина. Еще все можно поправить. Ну, что за бѣда, коли и побьютъ разокъ-другой? Смотри вонъ на Воро-



ховича: даромъ, что жидъ, а молодецъ мужикъ. Втапору заблелъ было, какъ баранъ недорѣзанный, а теперь самъ съ нами же шутить. Люблю такихъ людей. Давайте-ка, ребята, опять за работу примемся. Эй, майданщикъ, карты подавай, свѣчку!

— Нѣтъ, ужъ хоть зарѣжьте меня, не двинусь болѣе съ мѣста.

— Врешь, старикъ, обязанъ. Заставить можемъ!

Но выросшій, точно изъ подъ земли, Равиловъ уже началъ орудовать. Завѣсивъ окна халатами, чтобы не виденъ былъ со двора свѣтъ въ камерѣ, онъ разостлалъ снова коврикъ, положилъ на него колоду картъ и засвѣтилъ свѣчу. Игроки опять, откуда ни возьмись, появились.

А старикъ Николаевъ сидѣлъ на нарахъ, скребъ себѣ рукою затылокъ и все продолжалъ ворчать, укоризненно кивая на самого себя головою.

Жилъ себѣ человѣкъ кремнемъ цѣлые годы—и вдругъ не выдержалъ, прорвался!.. И самому ему какъ-то чудно, словно не вѣрится, что случилась съ нимъ такая проруха...

Длиннымъ поѣздомъ тянется въ сѣрый осенній день семейная партія по пути отъ Стрѣтенска къ Горному Зерентую. Пространство въ двадцать-тридцать верстъ, отдѣляющее одинъ этапъ отъ другого и легко проѣзжаемое на самой плохой лошаденкѣ въ четыре-пять часовъ, одолѣваютъ лишь въ десять часовъ, трогаясь въ путь съ разсвѣтомъ и достигая цѣли въ позднія сумерки.

Впереди бряцаютъ, по обыкновенію, цѣпи арестантовъ, идущихъ гѣшкомъ,—болѣе здоровыхъ и молодыхъ членовъ партіи, или же привычныхъ ходуновъ и бѣгуновъ, которыхъ не могутъ уговорить и самые годы. Идутъ они ровно и «хлестко», съ трудомъ догоняемые конвоирующими солдатами; а сзади движется черепашнымъ шагомъ длинная процессія двухколесныхъ телегъ, гдѣ скучены женщины, дѣти, хилые и убогіе. Что-то невыразимо грустное и жалкое представляетъ собой это монотонное, до ужаса медленное, словно влачащееся движеніе впередъ! И такъ день изо дня, въ теченіе недѣль, мѣсяцевъ, для иныхъ—цѣлыхъ лѣтъ! Пролетаютъ мимо бойкія тройки, проѣзжаютъ обозы, проходятъ люди, а партія, знай, ползетъ, не торопясь, лѣниво, устало, сонливо... Впрочемъ, это не совсѣмъ вѣрно: сама-то партія даже очень торопится. «Кобылка всегда торопится», съ ироніей говорятъ про себя арестанты; но въ результатѣ вся торопливость ихъ сводится суровой дѣйствительностью на нѣтъ:

въ цѣлый день они могутъ пройти не больше одного станка, а каждый третій день пути обязательно должны сидѣть на этапѣ, «дневать». Да и куда имъ, въ сущности, сгнѣшить? Въ каторгу идти вѣдь, а не къ родной матери...

Настоящая партія—уже не обратная, а передовая, и изъ всѣхъ знакомцевъ мы можемъ встрѣтить въ ней одного лишь Мойшу Боруховича. Всѣ остальные изъ Стрѣтенска пошли по направленію къ Читѣ — или судиться, или освобождаться на волю, по волостямъ. Мойша идетъ въ самомъ переднемъ ряду партіи, грустно позванивая своими тяжелыми кандалами. Онъ, какъ будто, еще больше похудѣлъ и осунулся, его клинообразная бородка, какъ будто, стала еще острѣе, глаза еще испуганнѣе и безпокойнѣе, а въ выраженіи всего лица появилась какая-то новая черта—не то ожесточенной рѣшимости, не то полного отчаянія. Да и мудрено ли? Двѣ недѣли назадъ, все въ томъ же Стрѣтенскѣ, умерла Ента, его вѣрная жена, мать многочисленнаго семейства, единственная поддержка и опора всѣхъ его надеждъ, плановъ и мечтаній... Что же теперь остается ему въ жизни? На что ему вольная команда? Не все ли равно, въ какой тюрьмѣ и сколько лѣтъ жить? Ребятишекъ начальство заберетъ, конечно, въ пріютъ, а самъ Мойша... Кому онъ теперь нуженъ? Что и ему теперь нужно или интересно на бѣломъ свѣтѣ?

Тѣмъ не менѣе, время отъ времени, онъ выбѣгаетъ изъ первыхъ рядовъ партіи и останавливается на дорогѣ, дожидаясь, когда подъѣдутъ отстающія далеко телѣги. Одна изъ подводъ цѣликомъ занята его многочисленными чадами. Пятеро дѣтишекъ, малъ-мала меньше, закутанные въ шубенки, халатики и всякаго рода тряпье, тѣсно прижимаясь другъ къ другу, громкими криками привѣтствуютъ отца, еще издали замѣтивъ его понурую, высохшую, какъ щепка, фигуру.

— И не стыдно тебѣ, Абрашка, всю дорогу на бѣдѣ \*) сидѣть?— строго замѣчаетъ Мойша своему первенцу и будущему продолжателю фамиліи Боруховичей: — вотъ какъ начну я тебя хлестать, такъ побѣжишь ты у меня притче бѣгунца енисейскаго. Штупай долой!

И Абрашка послушно слѣзаетъ съ подводы и улепетываетъ впередъ, предоставляя свое мѣсто усталому отцу. Мойша важно взбирается на телѣгу, беретъ къ себѣ на колѣни любимицу Рухеню и начинаетъ съ дочерью бесѣду, ничѣмъ не отличающуюся отъ той, какую велъ онъ съ ними и вчера, и третьяго дня, и какую будетъ

---

\*) Двухколесная телѣга называется въ Забайкальи «бѣдою».

вести, по всей вѣроятности, и завтра, если Богъ пошлетъ ему жизни и здоровья.

— Ну, цто, дѣтки? Трудно безъ мамасы жить? Охъ, трудно, трудно, скажите. Пропадать намъ, пожалуй, придется. Пропадать не пропадать, а горя много увидимъ. Ты, Хася, должна теперь хозяйкой и мамасой намъ всѣмъ быть. Ты вѣдь большая ужъ дѣвушка. Пока замузъ не выйдешь и своихъ дѣтокъ не назывешь, обшивай насъ, чини, стряпай, сопли намъ вытирай. Да. Мамаса была такая зенщина, такая зенщина... Нѣтъ, Хася, нѣтъ, Бруха, никогда не было и не будетъ больше на свѣтѣ такой зенщины. Я правду говорю. И вы всѣ должны стараться такими жъ стать, какъ она.

— А сколо, папаса, на этапъ мы плидемъ?—спрашиваетъ бойкая рыженькая Сурелә.

— Скоро, скоро, дочка. Вотъ эту сопку обогнемъ, тамъ и этапъ, говорятъ, будетъ.

— А завтла опять этапъ?

— Завтра опять этапъ.

— А потомъ что?

— Потомъ? Потомъ дневка.

— А послѣ дневки?

— Ну... тамъ опять этапъ.

— А потомъ что?

— Потомъ? Ты шибко проворна, Сурга... Потомъ сама увидишь. Какъ приѣдемъ только въ Горный Зелентуй, такъ всѣхъ васъ, дѣтоцки, въ пріютъ возьмутъ. Это такой хоросый домъ, такой хоросый, цто вы и не видали еще такого... Надѣнутъ на васъ цистыя переднижки, бѣлые капорчики. Много тамъ и другихъ дѣвоцекъ и мальчиковъ съ вами будетъ. Весело, хорошо. Тепло и сытно. Только уцыться надо хорошо и начальства слусаться.

— А чѣмъ насъ кормить тамъ будутъ?

— Хорошо кормить будутъ. Хлѣбомъ и говядиной, и щами, и вишѣмъ такимъ.

— И молокомъ тоже?

— Ну, и молокомъ по праздникамъ.

— И цаемъ?

— Вишь, воструха, цего захотѣла! Ну, цаемъ не цаемъ, а березовой каши вдосталь дадутъ.

— А другіе мальчики и дѣвочки тоже будутъ учиться?

— Тоже.

— А они добрые?

— Добрые...

— А кто за этой вонь сопкой зиветь? — спрашивает вдруг маленькая черноглазая Рухеню.

— Люди.

— А за той кто?

Среди такихъ разговоровъ время проходитъ незамѣтно, и партія подходитъ, наконецъ, къ этапу. Къ счастью для Мойши, партія не особенно большая и буйная, и добываніе мѣста на нарахъ достается иногда безъ большихъ хлопотъ. Но временами приходится всетаки круто. Этапы между Стрѣтенскомъ и Зерентуемъ одни изъ самыхъ убійственныхныхъ... Тѣснота, грязь, холодъ имѣютъ мало равныхъ себѣ на протяженіи всего великаго сибирскаго «пути слѣдованія». Самые названія у этихъ этаповъ какія-то зловѣщія, заранѣе тревожащія воображеніе: Ундинскіе Кавыкучи, Газимурскіе Кавыкучи... «съ Кавыкучей на Кавыкучи — глаза повыпучи», острять неунывающие арестанты насчетъ сорокаверстнаго пути между этими этапами. Дальше — Шалопугино, Тайна, Солонцы... Поперечный Зерентуй, Горный Зерентуй, или, какъ называютъ его каторжные, Горькій Зелентуй...

Нѣкоторые изъ этихъ этаповъ таковы, что пребываніе въ нихъ нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ въ теченіе долгой ночи подъ замкомъ, на взглядъ каждаго человѣка, способнаго мыслить и чувствовать по человѣчески, было бы невозможно. Но дѣйствительность, а тѣмъ паче сибирская дѣйствительность по человѣчески не чувствуетъ и не разсуждаетъ, и невозможное оказывается для нея настолько возможнымъ, что въ эти тѣсные, душные и грязные свинюшники загоняется порой людское стадо въ полтора ста головъ! Ворчитъ кобылка, негодуетъ кобылка, даже протестуетъ, вызывая къ себѣ унтеръ-офицера и пытаясь внушить ему идеи человѣколюбія и справедливости; но кончается дѣло, разумѣется, тѣмъ, что кобылка подчиняется своей участи: ее загоняютъ въ свинюшникъ, куда ставится на ночь вонючій ушатъ-параша, и запираютъ на замокъ. Конвой всегда ужасно труситъ и ни за что не соглашается поставить ушатъ въ корридоръ, хотя бы и съ часовымъ возлѣ двери. Замокъ представляется дѣломъ болѣе надежнымъ: въ караульномъ домѣ тогда хоть всю ночь играй въ карты, арестанты не кинутся «на ура», не разбѣгутся, не перебьютъ солдатъ. Куда и зачѣмъ побѣгутъ арестанты въ зимнее или осеннее время, холодной, темной ночью, когда вокругъ этапа высятся еще грозныя пали, охраняемыя наружными часовыми?

Въ тайнѣ души всякому ясно, что страхи эти — одиѣ пустыя фантазіи, но официально считаютъ нужнымъ относиться къ нимъ самымъ серьезнымъ образомъ.

Уже смеркается, когда партія, голодная и иззябшая, прибѣгаетъ на одинъ изъ подобныхъ этаповъ. Съ неизбежной перебранкой, безтолковщиной, а подчасъ и дракой арестанты размѣщаются въ отведенномъ имъ стойлѣ. Боруховичу съ чадами (бываютъ и такіе случаи) достается мѣсто на полу подъ нарами, возлѣ самой парашни, гдѣ холодный воздухъ всякій разъ, какъ растворяется дверь, обдастъ ихъ, точно ледяной душѣ. Всѣ дѣтишки страшно кашляютъ, и не будь у нихъ предварительной многолѣтней закалки, конечно, давно бы уже на смерть простудились. Но слава Богу, что хоть и такое-то мѣсто отыскалось: сегодняшній этапъ всѣмъ этапамъ слава и образецъ! Въ маленькой каморкѣ народу набилось, точно сельдей въ бочкѣ. Страшно поглядѣть, что происходитъ тамъ, въ глубинѣ ея: лязгъ цѣпей, сопровождаемый не менѣе страшной бранью, визгливые крики женщинъ, плачъ дѣтей, тѣло на тѣлѣ, голова надъ головою... Ужасающая духота и жара вверху, холодъ и сырость, соединенные съ невыносимымъ смрадомъ, внизу подъ нарами, гдѣ тоже копошатся въ темнотѣ живыя существа, масса дѣтей, мужчинъ, женщинъ...

— А намъ вѣдь, дѣтопки, пофартило сегодня, цто мы у дверей захватили мѣсто, — пробуетъ утѣшить себя и ребятишекъ глубоко-мысленный Боруховичъ: — тамъ задохнуться можно, право слово, можно... А здѣсь ничего, вольготно...

Дѣтишки просятъ ѣсть, но еще не выданы кормовыя. Пройдетъ добрыхъ два часа, пока староста получить ихъ, наконецъ, отъ унтеръ-офицера и раздѣлитъ партіи. Мойшѣ удастся купить у торговекъ нѣсколько прѣсныхъ шанегъ съ творогомъ и картошкой, вскипятить котелокъ съ водой и заварить въ немъ кирпичнаго чаю. Последнее достается, впрочемъ, цѣною крупной перебранки съ арестантами и даже двухъ-трехъ толчковъ въ грудь, такъ какъ у единственной печки толпится куча народу, и за каждый уголокъ идетъ борьба чуть не на жизнь и смерть.

— Куды лѣзешь, жидъ пархатый? Развѣ не видишь, тутъ прежде тебя люди стоятъ?

— А цто-жъ, я развѣ не целовѣкъ? Мои дѣти не такія-жъ, какъ твои? Такъ же пить-ѣсть не хотятъ?

— Ахъ ты, чувырло жидовское! Туда же разговаривать! Туда же въ человѣки лѣзеть!

Но Мойша не сдается и упорно отстаиваетъ свои права человѣка. На колотушки онъ вниманія не обращаетъ, на брань — того меньше. Вотъ его «дѣточки» напоены, накормлены. Маленькія уже прикурнули и спать, сплетаясь другъ съ другомъ ручонками и закутавшись во всевозможное арестантское барахло, старшіе же еще копошатся, приводя въ порядокъ разныя хозяйственные принадлежности. Въ сознаніи честно исполненнаго за сегодняшний день долга, самъ Боруховичъ лежитъ, развалившись на шубѣ, и мечтаетъ. О чемъ онъ мечтаетъ? Объ умершей женѣ, о счастливомъ прошломъ, о дѣтяхъ, о предстоящемъ имъ будущемъ? Или просто прислушивается къ разноголосымъ звукамъ, несущимся изъ того кромѣшнаго ада, который представляетъ собою камера? Нерѣдко, лежа на спинѣ и заложивъ руки за голову (любимая его поза во время этихъ вечернихъ отдыховъ), онъ напѣваетъ вполголоса какую-то длинную, монотонную, заунывную арестантскую пѣсню, единственную, которую онъ знаетъ, и въ которой можно разобрать только одинъ часто повторяющійся стихъ:

Шудба моя нещасная...

— Эй, жидь! — кричитъ ему кто-то изъ темноты подъ нарами: — не эту ль пѣсню вы пѣли, какъ изъ земли египетской васъ выгнали?

— А ты фараономъ былъ тогда, цто-ли? — бойко огрызается Боруховичъ и иногда, въ знакъ высшаго презрѣнія, прибавляетъ какъ бы про себя, любимую свою поговорку: — тозе, видно, корова, и тозе издохнуть хочеть.

— Вишь, гадина, еще и лается, — отвѣчаетъ неизвѣстный, особенно почему-то обиженный названіемъ фараона. — А слышали ль вы, братцы, какъ жиды промежь себя ругаются? Я слыхаль. Одинъ говорить другому: «Чортъ побери твоего отца!» А тотъ отвѣчаетъ: «Врешь, дѣда твоего!» Первый ему: «И отца, и дѣда, и прадѣда твоего дѣда!» Тогда другой не выдерживаетъ и кричитъ: «Я хочу, чтобъ у тебя былъ домъ, и въ этомъ домѣ было сорокъ комнатъ, и въ каждой комнатѣ по сорока кроватей. И пусть тебя сорокъ дней трясеть лихорадка, такая, чтобъ перебрасывало тебя съ кровати на кровать, изъ комнаты въ комнату». Вотъ какъ, ребята, жиды бранятся.

— Ну, спи, дьяволъ! — толкаетъ рассказчика жена, и подъ нарами водворяется безмолвіе.

Наконецъ, показался и Горный Зерентуй, конечная цѣль пути партіи. Поднявшись на гору, арестанты увидали въ отдаленіи бѣлую каменную тюрьму и большую прилегающую къ ней деревню съ церковью по срединѣ. У каждого невольно сжалось сердце отъ смѣшаннаго чувства радости, что окончились долговременныя мытарства этапнаго путешествія, и вмѣстѣ тревоги за близкое, но невѣдомое будущее. Вотъ она, каторга! Какова-то она? Лучше или хуже дороги? Ну, никто какъ Богъ, вездѣ люди.

Для Боруховича каторга не была новостью, онъ переводился только изъ одной тюрьмы въ другую. Тѣмъ не менѣе и у него сердце забилось въ груди сильнѣе... Одни дѣтишки не чувствовали ни малѣйшей тревоги и радостно указывали другъ другу на ярко бѣгвшія стѣны централа. Они столько слышали о Горномъ Зерентуѣ, родители ихъ столько мечтали о переводѣ въ эту тюрьму, что она представлялась ихъ воображенію тѣмъ-то въ родѣ земнаго рая, или по меньшей мѣрѣ такого мѣста, гдѣ не будетъ больше ни холода, ни голода.

Пѣшіе арестанты прибавили ходу; лошади, почуявъ близость стойла, заржали и побѣжали веселой рысцой. Вотъ потянулись уже и дома чиновниковъ тюремнаго вѣдомства, почтовая контора, каторжное управленіе; вотъ, наконецъ, и самая тюрьма, большое, красивое, чистое зданіе, ослѣпительно сіяющее своей бѣлой каменной оградой. Точно не тюрьма, а какой-то фантастическій замокъ рыцарскихъ временъ съ башнями, амбразурами, рвами, подъемными мостами... Все ново, невиданно для глаза, привыкшаго къ грязи и неприглядности сибирскихъ этаповъ. Партія остановилась у воротъ, въ ожиданіи пріемки.

Явился помощникъ смотрителя, молодой еще человѣкъ небольшого роста, круглый, плотный, привѣтливый и, видимо, беззаботный по части службы. Принималъ онъ быстро, читая по списку фамиліи арестантовъ, прибавляя къ нимъ по временамъ безобидныя остроты и дѣлая бѣглый осмотръ казеннымъ вещамъ. Мужчинъ надзиратели вводили по одиночкѣ въ ворота тюрьмы, женщинъ съ дѣтьми пускали въ вольные бараки, а нѣкоторыхъ изъ ребятишекъ тутъ же записали въ списокъ кандидатовъ на помѣщеніе въ пріютъ. Дошла очередь и до Боруховича.

— Ну, братъ, ты двадцатилѣтній? Тюремный житель! За ворота! — улыбаясь, прокричалъ ему помощникъ.

— А дѣтишекъ моихъ въ пріютъ отослете? — робко спросилъ

Мойша, подобострастно держа въ рукахъ шапку и склонивъ бритую голову.

— Какихъ дѣтишекъ?

— А вотъ этихъ самыхъ, пятерыхъ... Старый сынъ Абрамъ, одиннадцати лѣтъ, и четыре дѣвочки: десяти, восьми, шести и четырехъ лѣтъ.

— А мать гдѣ?

— Мать на томъ свѣтѣ. Дорогой померла.

— Вотъ такъ штука! Какъ же быть?—смутился безпечный чиновникъ:—сразу нельзя вѣдь въ пріютъ ихъ отправить... Да постой братъ, постой: ты еврей?

— Еврей, васе благородіе.

— То-то, я смотрю, языкъ будто недоклепанъ,—обрадовался помощникъ, точно отыскавъ вдругъ желанный исходъ:—Ну, такъ дѣтей твоихъ, братецъ, въ пріютъ не примутъ.

— Какъ не примутъ?

— Да такъ. Приказъ есть отъ попечителя пріюта, чтобъ еврейскихъ дѣтей быть извѣстный только процентъ; а ихъ и такъ ужъ незаконное число. Какъ же тутъ быть? Эй, Трофимовъ!—обратился онъ къ одному изъ надзирателей:—бѣги, паря, сейчасъ же къ смотрителю, скажи, что я прошу по важному дѣлу. Ну, а ты, голубчикъ, ступай теперь въ тюрьму, нечего тебѣ тутъ больше дѣлать.

— Васе благородіе, какъ же я пойду? Дожвольте дождаться господина смотрителя. Пусть вырѣшитъ дѣло.

Помощникъ не сталъ противорѣчить и, отвернувшись отъ Боруховича, продолжалъ пріемку другихъ арестантовъ. Полчаса спустя изъ-за угла тюрьмы появился, ступая медлительными шагами и опираясь на палку, самъ смотритель тюрьмы, солидный господинъ съ окладистой черной бородой и непривѣтливымъ взглядомъ изподлобья. Еще не приблизился онъ и на тридцать шаговъ къ партіи, какъ надзиратель громко прокричалъ:

— Смирно, шапки долой!

Помощникъ быстро подошелъ къ смотрителю, сдѣлавъ подъ козырекъ, отдалъ рапортъ и объяснилъ, почему счелъ нужнымъ потревожить его.

— Еврейскихъ ребятишекъ никакъ нельзя принять,—отвѣчалъ тотчасъ же чернобородый господинъ, искоса взглянувъ на униженно стоявшаго передъ нимъ Боруховича и на его сомкнувшихся въ сторонѣ тѣсною кучкой дѣтей. Мойша повалился въ ноги.



— Васе вишюкоблагородіе, васе!.. Куда же ихъ теперича? Малютки!..

— Встань, встань, чтобъ этого не было... Я не Богъ и не царь,—оборвалъ его смотритель.—Да и вы всѣ,—обратился онъ къ шпанкѣ, будто сейчасъ только замѣтивъ обнаженные у всѣхъ головы:—шапки надѣть.

— Васе вишюкоблагородіе, какъ же теперича?..

— А такъ же, что не разговаривай и ступай въ тюрьму.

— А дѣти?..

— А что жъ я могу сдѣлать? Къ себѣ, что-ль, взять? Нельзя ихъ принять въ пріютъ. Законъ.

— Не доложить ли развѣ завѣдующему каторгой?—несмѣло вставилъ помощникъ смотрителя.

— О чемъ?

— Да вотъ о дѣтяхъ... Что, молъ, на улицѣ... Отецъ въ тюрьмѣ, мать умерла.

— Завѣдующій каторгой еще вчера утромъ сдѣлалъ замѣчаніе, что въ пріютѣ уже цѣлыхъ девять еврейскихъ мальчиковъ. Скоро весь пріютъ жиденята заполнятъ.

— Такъ какъ же быть?

— Да такъ же и быть. Мы не въ богоугодномъ заведеніи съ вами служимъ. Извольте дѣлать свое дѣло. Надзиратели, отведите арестанта въ тюрьму!

Два надзирателя немедленно бросились исполнять приказаніе начальства и хотѣли, было, потащить Боруховича; но онъ внезапно точно обезумѣлъ: съ силой вырвался изъ ихъ рукъ и посмотрѣлъ вокругъ съ такимъ грознымъ видомъ, что надзиратели окаменѣли...

— Какъ, васе благородіе!—закричалъ онъ, кидаясь снова къ смотрителю, который попятился на два шага и инстинктивно вытянулъ впередъ палку.—Какъ! еврейскія дѣти—щенята, что ихъ можно на морозъ выкинуть, безъ матери, безъ отца оставить? Они не такія же дѣти, какъ всѣ? Не такъ же пить-ѣсть просятъ, не такъ же плачутъ, какъ прочія дѣти? Евреи совсѣмъ не люди? Нѣтъ. Я не пойду въ тюрьму, я не брошу ихъ на улицѣ—лучше убейте меня, прикажите солдатамъ застрѣлить меня... Или души во мнѣ нѣтъ, что я кровь свою покину, шкуру спасаючи? Господа начальники! и надъ вами Богъ... И у васъ есть дѣти... И вы—люди...

Странное что-то случилось съ Боруховичемъ. Онъ говорилъ не такъ, какъ всегда, робко и приниженно, а властно, торжественно,

даже противъ обыкновенія мало пришепетывая, голосомъ, полнымъ слезъ и проникающимъ въ самую душу... И лицо его словно преобразилось въ эту минуту: онъ былъ не тотъ смѣшной Мойша Боровичъ, котораго всѣ передъ тѣмъ знали и видѣли, маленькій чело-вѣчекъ съ клинообразной бородкой, остренькимъ носикомъ, бѣгающими глазками и внушающей жалость фигурой. Спина его какъ-то вдругъ распрямилась, загорѣвшіеся глаза странно расширились, и все лицо сдѣлалось инымъ, внушительнымъ, почти красивымъ...

Къ общему удивленію, смотритель, вмѣсто того, чтобы выйти изъ себя, раскричаться, слушалъ его рѣчь какъ-то смущенно и растерянно.

— Да я что-же... Экой же ты, братецъ... Я бы и радъ вѣдь, — лепеталъ онъ, безпомощно озираясь вокругъ.

Въ эту самую минуту сквозь толпу протолкался высокій костля-вый старикъ съ длинной, сѣдой бородой, въ простой арестантской одеждѣ, но съ необыкновеннымъ достоинствомъ въ лицѣ и во всѣхъ движеніяхъ. Это былъ еврей-вольнокомандецъ, ювелиръ и часовщикъ по профессіи, пользовавшійся въ мѣстномъ населеніи большой извѣстностью и даже уваженіемъ. Онъ давно уже стоялъ возлѣ тюрьмы, видѣлъ всю сцену съ начала до конца и, сильно взволнованный, принялъ теперь внезапное рѣшеніе.

— Ты чего, Гольдбергъ?—обратился къ нему смотритель, точно отъ него ожидая спасенія.

— Я беру къ себѣ на воспитаніе двухъ малютокъ!—объявилъ старикъ, хватая за руку своего злополучнаго соплеменника.

— Ну, вотъ и прекрасно,—обрадовался смотритель:—мальчугана я, пожалуй, къ себѣ возьму... Мнѣ разсмыслный мальчишка, какъ разъ, нуженъ.

— Я тоже возьму самую маленькую дѣвочку,—добавилъ молодой помощникъ, весь зардѣвшійся, какъ піонъ:—у насъ дѣтей нѣтъ, и жена будетъ очень рада.

— Еще лучше. Значить, одна только дѣвчонка остается. Вотъ ежели ты, Гольдбергъ, согласишься взять двухъ среднихъ, такъ старшую, навѣрное, Оладыны возьмутъ—имъ нянька нужна для ребенка. Ну, и все дѣло будетъ покончено. А то шумъ подняли не вѣсть изъ чего, изъ-за выѣденнаго яйца! Такъ-то оно всегда лучше выходитъ, по чело-вѣчеству... Ну, вы кончили съ приѣмкой, Павелъ Яковлевичъ? Ты... какъ, бишь, тебя зовутъ?.. дурыя ты голова... Жидъ—такъ онъ жидъ и есть! Ты прощайся скорѣй со своимъ кага-

ломъ и маршъ въ тюрьму. Давно пора. На дворѣ темно совсѣмъ, и конвою надо отдохнуть.

И съ этими словами смотритель сурово повернулъ къ дому; но, отойдя нѣсколько шаговъ, вдругъ пріостановился и, въ полъ оборота, крикнулъ:

— А ты, малецъ,—какъ тебя тамъ,—за мной ступай!

Между тѣмъ Мойша, весь обезсилѣвшій и дрожавшій, какъ въ лихорадкѣ, безъ счета цѣловалъ холодныя личики дѣтей, перепутанныхъ, еще смертельно блѣдныхъ послѣ только что пережитой, мало понятной имъ, но страшной сцены. Они прощались съ отцомъ какъ-то машинально, тупо, безъ слезъ. Наконецъ, Мойша взвалилъ свой мѣшокъ на плечо и тихо поплелся къ воротамъ тюрьмы, въ которыхъ и скрылся, ни разу не оглянувшись назадъ.

И такъ былъ онъ опять жалокъ, некрасивъ и смѣшонъ въ своемъ бѣдномъ арестантскомъ одѣяніи, съ мѣшкомъ казенныхъ вещей на согнутой спинѣ!..

---

## СРЕДИ СОПОКЪ.

---

Въ тряской одноконной таратайкѣ я сажу рядомъ съ надзирателемъ и плетусь легкой рысцой изъ Горнаго Зерентуя въ Кадаю, куда назначенъ въ такъ называемую вольную команду. Надзиратель, впрочемъ, совершенно безоруженъ и приставленъ ко мнѣ въ качествѣ лишь проводника; онъ везетъ, кромѣ того, мои бумаги для врученія ихъ кадаинскому смотрителю.

Какъ будто празднуя мой великій праздникъ освобожденія, и солнышко привѣтливо глядитъ сегодня съ неба, все послѣднее время закрытаго холодными, сѣрыми тучами... Надъ головой ни облачка; такое ясное, синее, ласковое это чудное осеннее утро. Охотно забываешь, что не первыя уже числа ноября стоятъ на дворѣ, и чудится, что весна, теплая, обворожительная весна собирается снова воскресить умирающую природу. Но почему же на душѣ такое странное, неясное чувство, словно похожее на грусть? Не то радостно и легко, не то жаль чего-то невыразимо, и хочется смѣяться дѣтски-безпечнымъ смѣхомъ, и слезы, горькія слезы подступаютъ къ горлу, душатъ и жгутъ...

Монотонно-величавыя, печальныя картины встрѣчаетъ повсюду глазъ на 36-ти верстномъ пути отъ Горнаго Зерентуя до Кадаи \*). И позади, и впереди, и по обѣимъ сторонамъ извилистой дороги, куда только проникаетъ взоръ, раскинулось море сопокъ—этихъ конусообразныхъ возвышеній, точно капли воды похожихъ одно на другое и видомъ своимъ пробуждающихъ въ душѣ пришельца-чужакина безконечно-тоскливое, болѣзненно-тревожное настроеніе. Точно желѣзнымъ кольцомъ охватили горизонтъ ихъ унылыя, оголенные

---

\*) Слово Кадаа произносится съ удареніемъ на слогъ «а».

громады съ пожелтѣлой травой и побурѣлымъ кустарникомъ, и нѣтъ имъ конца, нѣтъ имъ числа... Цѣлое войско сопокъ—толпа за толпой, гряда за грядой; вотъ онѣ выглядываютъ со всѣхъ сторонъ. тѣснятся, взбираются одна на другую, а тамъ, на краю неба, причудливыя очертанія горъ слились съ кудрями выплывающихъ изъ-за нихъ облаковъ и утонули въ голубоватомъ туманѣ осенняго утра... Ни ручейка, ни деревца кругомъ! Краски поблекли, звуки жизни замерли... Задумаешься—и вотъ уже грезится, будто плывешь по какому-то огромному сказочному океану, зеленожелтыя волны котораго поднялись и окаменѣли навѣки въ своемъ исполненскомъ взмахѣ!..

— Какъ скучно тутъ у васъ!—обратился я, наконецъ, къ спутнику, прерывая тягостное молчаніе.—Въ Шелаѣ сопки хоть лѣсомъ покрыты, а здѣсь—пустыня, смерть...

— Что это вы такъ ремизите нашу восточную Даурію?—отвѣтилъ надзиратель, желая видимо блеснуть передо мной образованностью:—поживите—авось и слюбится. Вотъ посмотрите ужь, что весной тутъ у насъ пойдетъ! Куда вашей Расеѣ выстоятъ!

— А вы развѣ бывали въ Россіи?

— Не удалось, положимъ, однако по книжкамъ всетаки знаемъ, да и отъ расейскихъ людей слыхивали. Мѣста у васъ ровныя, пашни все да лѣсочки—что въ этомъ можетъ быть пріятнаго?

— А что же такое у васъ тутъ весной «пойдетъ»?

— Первоначально палы пойдутъ... Для нашего брата, крестьянъ,—оно точно—штука это опасная, ну, а ежели вы красоты природы ищете, такъ доложу вамъ—первый сортъ!

— Какіе же это палы, объясните, пожалуйста?

Оказалось, травяные пожары. Зажжетъ какой-нибудь прохожій сухую прошлогоднюю траву, и огонь неудержимо начнетъ разливаться вокругъ. Великолѣпное зрѣлище представляется тогда въ ночной темнотѣ; за десятки верстъ уже различаешь блестящее зарево, а горящія ближе сопки, эффектно перекидывая съ мѣста на мѣсто гигантскіе огненные языки, производятъ по истинѣ жуткую иллюзію огнедышущихъ вулкановъ...

— А потомъ цвѣтовъ у насъ какое *множество*!—продолжалъ разговарившійся патріотъ-надзиратель,—врядъ-ли въ другомъ гдѣ мѣстѣ столько сыщете. Сперва пойдетъ урчуй... Снѣгъ не успѣлъ еще стаять, а онъ тутъ же, глядишь, красуется по солнпекамъ. Потомъ марьины коренья пойдутъ...

— Ъдятъ ихъ, что-ли?

— Зачѣмъ ѣдятъ! Тоже цвѣты... Распустятся, ровно чашки большія, бѣлыя, розовыя. Все поле бѣлѣетъ. Духъ отъ ихъ сладкій-сладкій стоитъ! А опять тоже долинки есть—ландышемъ голынымъ усѣяны. Ну, и сарана тоже bravo цвѣтетъ, богульникъ... Ежели вы охотникъ, такъ и для птицы лучшихъ мѣстовъ по всей Сибири, быть можетъ, не сыщете: утокъ, рябчиковъ, косачей у насъ видимо-невидимо. А что до пѣсенъ касается, такъ отъ однихъ жаворонковъ здѣсь въ лѣтнюю пору прямо стонъ стоитъ въ воздухѣ! Кукушкамъ счету нѣтъ. Просто надоѣдаютъ проклятыя: что ни сопка—то своя кукушка, такъ и перекликаются, такъ и перебиваютъ другъ дружку. Весной и лѣтомъ у насъ bravo. Ну, зимой или вотъ, какъ теперь, подъ конецъ осени, разумѣется, другое дѣло, кромѣ волковъ никого и ничего нѣтъ. Да вѣдь гдѣ же зимой, скажите, снѣгу или волковъ не бываетъ?—закончилъ рассказчикъ свой дифирамбъ роднымъ палестинамъ.

Короткій день умиралъ, когда, переѣхавъ рѣчку Борзю, мы достигли, наконецъ, цѣли поѣздки. Глазамъ нашимъ представилась довольно большая деревня въ три длинныхъ параллельныхъ одна другой улицы; но расположилась Кадая въ такой узкой, мрачной котловинѣ, съ обѣихъ боковъ ее охватили такія грозныя горныя громады, что она производитъ впечатлѣніе чего-то жалкаго, забитаго, немощнаго... Правая сторона деревни возвышенная—она примыкаетъ къ тѣмъ самымъ сопкамъ, гдѣ помѣщается богатый серебряными залежами рудникъ; лѣвая, напротивъ, представляетъ низкую, болотистую долину, но за этимъ узкимъ болотомъ почти отвѣсной стѣной поднялся гигантъ-утесъ, господствующій надъ всей окрестностью. Онъ словно виситъ въ воздухѣ и грозитъ упасть и похоронить подъ своими развалинами пріютившееся у его ногъ селеніе. Да тутъ и въ дѣйствительности былъ когда-то обвалъ, быть можетъ, даже искусственный: объ этомъ свидѣтельствуетъ голый, неровный бокъ утеса, обращенный къ деревнѣ, и груда лежащихъ внизу глыбъ и осколковъ гранита. Пустыней и холодомъ вѣетъ отъ этой полуразрушенной, но все еще неприступной твердыни. Я невольно поглядывалъ на нее все время, пока мы ѣхали вверхъ по деревнѣ, направляясь къ тюрмѣ.

— А вонъ видите тамъ кресты?—спросилъ надзиратель, указывая влѣво отъ утеса на небольшой холмикъ.

Я ничего не могъ различить въ наступавшихъ сумеркахъ.

— Кладбище, что-ли?

— Нѣтъ, крестьянское кладбище вонъ тамъ, на другой сторонѣ деревни. А здѣсь поляки похоронены.

— Какіе поляки?

— Преступники... Ихъ вѣдь тутъ дивно было. Есть, однако, и русскій одинъ, Михайловъ.

— Михайловъ?

Мнѣ сразу вспомнилось, что именно въ этихъ мѣстахъ жилъ и умеръ когда-то извѣстный поэтъ и публицистъ 60-хъ годовъ, талантливый переводчикъ стихотвореній Гейне, Михаилъ Ларіоновичъ Михайловъ. Вспомнилось и то, что въ Кадаинскомъ же рудникѣ жилъ одно время и еще болѣе знаменитый авторъ «Очерковъ гоголевскаго періода»... Я съ живостью началъ разспрашивать своего словоохотливаго собесѣдника о тѣхъ временахъ и о тѣхъ людяхъ, но оказалось, что онъ и самъ ровно ничего не зналъ, кромѣ именъ и голыхъ фактовъ.

— Навѣрное, тутъ старики отыщутся, которые все вамъ окончательно обскажутъ,—утѣшилъ онъ меня, видя мое любопытство и огорченіе.

Напрягая зрѣніе, я продолжалъ вглядываться въ сѣрую вечернюю даль, и мнѣ вдругъ стало казаться, что я тоже вижу на вершинѣ одного изъ холмовъ какой-то высокій шестъ... Сердце мое учащенно забилось, голова сама собой поднималась выше при мысли, что эти мѣста, гдѣ суждено теперь жить мнѣ, безвѣстному скитальцу, отмѣчены жизнью людей одной изъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ русской исторіи, и какихъ людей! И губы мои невольно шептали стихъ изъ извѣстнаго посланія поэта къ друзьямъ:

Въ безотрадной мглѣ изгнанья  
Буду твердо свѣта ждать...

Я и не замѣтилъ, какъ мы подъѣхали къ квартирѣ смотрителя Кострова. Послѣдній не заставилъ себя ждать и почти тотчасъ же выбѣжалъ въ переднюю, въ туфляхъ и пестромъ домашнемъ халатѣ съ кистями. Это былъ небольшого роста бритый господинъ среднихъ лѣтъ съ толстымъ отвислымъ животомъ и круглымъ добродушнымъ лицомъ, нѣсколько неестественно зарумяненнымъ. Изъ рта его пахло не то лукомъ, не то чѣмъ-то болѣе подозрительнымъ...

— Ага!—весело закричалъ, увидавъ насъ, Костровъ, — это ты, Егоровъ? А я вчера еще тебя ждалъ.

И, подавъ руку надзирателю и мнѣ, онъ ввелъ насъ въ просторную, высокую комнату, блиставшую почти полнымъ отсутствіемъ

мебели; за то небольшой столикъ въ углу былъ весьма уютно уставленъ всякаго рода графинами и закусками.

— Не желаете ли, господа, съ дороги по стаканчику отечественной пропустить? Вотъ садитесь сюда. На холостую ногу живу—видите, какая пустота кругомъ? Только вотъ на этотъ счетъ (толстякъ, смѣясь, похлопалъ себя по животу) я ужъ пустоты не люблю... Сейчас у меня мальцевскій смотритель въ гостяхъ былъ, ну, такъ мы немножко того... Вы не встрѣтились?

Отказавшись отъ водки, я съ любопытствомъ присѣлъ на стулъ. Костровъ продолжалъ болтать, обращаясь ко мнѣ:

— Давненько такъ не бывало въ нашихъ краяхъ вродѣ васъ арестантовъ. Все, знаете, шпана! Такіе, я вамъ скажу, артисты, что только карцеромъ да розгой и можно сладить.

— Какъ, вы еще вѣрите въ розгу?—полюбопытствовалъ я.

— Ну, батенька, пожили бы вы съ этимъ народомъ!

— Я жилъ.

— Э, ваша жизнь была особъ статья... Нѣтъ, вотъ дать бы вамъ подъ начало сотни три или четыре такихъ жоховъ, да высшее начальство спрашивало бы съ васъ порядка въ тюрьмѣ и успѣшности въ работахъ, такъ другое бы тогда, небось, заплѣли. Поняли бы, что значить тоже въ шкурѣ смотрителя посидѣть! Особливо же эти чортовы бабы меня донимають, медвѣдь ихъ задери, сволочей!.. Вы ужъ извините меня... Но скажите, пожалуйста: ну, что я возьму съ нея за грубость или тамъ за другое какое художество? Сбѣч-то вѣдь запретили теперь ихнюю сестру... Ха-ха-ха! человѣколюбіе теперь у насъ пошло въ ходъ, просвѣщеніе... Но я откровененъ съ вами буду: искренно, вотъ передъ образомъ говорю—искренно жалѣю объ этомъ, хоть и боюсь прослыть... Какъ это, бишь, зовется? рети... ренегатомъ, что-ли? Помилуйте, господа! въ кандалы я тутъ одну даму принужденъ былъ заковать,—знаете, за развратъ... Такъ она, какъ же вы думаете, какую пулю въ глаза мнѣ отмочила? «Плевать мнѣ, говоритъ, на твои кандалы! Вско-то, поди, не закуешь вѣдь? Свое я и въ кандалахъ возьму». Понимаете?! Ну, вотъ что вы подѣлаете съ такой безстыдной твариной, когда ее высѣчь, паскуду, нельзя?

— Но развѣ всѣ такіе?—попробовалъ я вставить.

— Подъ конецъ всѣ такими становятся, ужъ не защищайте, пожалуйста. Да ты, знаешь, Егоровъ, Машку-то Дергунову?—обратился онъ вдругъ къ приведшему меня надзирателю: — она вѣдь опять у меня въ карцерѣ сидитъ.



— Все не можете дурость-то изъ башки выгнать?—участливо осведомился Егоровъ.

— Нѣтъ, вы подумайте только,—входя въ пущій азартъ, снова повернулся ко мнѣ Костровъ:—она, сволочь, ругать меня смѣетъ... Смотрителя каторжной тюрьмы!

— Въ глаза? — спросилъ я.

— Ну, этого еще не доставало... Да я и по сусаламъ бы съѣздили! Но мнѣ передаютъ, всѣ вѣдь знаютъ, кобылка слышитъ...

— Такъ что же изъ того? Пословица говоритъ: за глаза...

— Ну, нѣтъ-съ, я не спущу! Чтобы смотрителя тюрьмы... какая-нибудь дѣвка каторжная?.. Она думаетъ, видите ли, что коли рожица смазливая да языкъ бритва, такъ ей и самъ чортъ не братъ? Нѣтъ, шалишь. Пока ты была хороша—и съ тобой были хороши; а захо-ѣла по всему руднику расхожей стать...

Костровъ прикусилъ языкъ, почувствовавъ, должно быть, что можетъ сказать лишнее.

— Оно конечно,—повернулъ онъ внезапно въ другую сторону,—я не говорю, что надо быть варваромъ вродѣ, напримѣръ, Грибанова, что недавно зерентуйскимъ смотрителемъ былъ, вы не слыхали? Собственно говоря, онъ не варваръ былъ, и арестанты его даже любили; ну, только ежели настукается бывало этой водицы отечественной, разлива братьевъ Елисеѣвыхъ или Поповыхъ, тогда поддержишься только! Дьяволомъ прямо становился, отца и мать готовъ былъ убить. Вотъ и случилась съ нимъ эта исторія... Заходитъ онъ пьяный въ тюрьму, а навстрѣчу ему арестантъ. «Ты куда, такъ тебя и этакъ?»—Къ фершалу, ваше благородіе, зубъ выдернуть, болитъ шибко.—«А, болитъ?» Лясъ его по зубамъ, лясъ вдругорядъ. Арестантъ, конечно, заревѣлъ благимъ матомъ. «А! ты у меня бунтовать?! Надзиратель, ррозогь!!» А надзиратель и окажись дурной головой—побѣжалъ и принесъ розогъ. Грибановъ разложилъ тутъ же посреди двора арестанта да и высѣкъ собственноручно. Замѣйте: безъ вины и безъ суда, среди бѣлаго дня и на дворѣ главной каторжной тюрьмы, въ десяти шагахъ отъ квартиры завѣдующаго!..

— И что же, ему такъ и сошло это?

— Гм... нѣтъ! Слишкомъ ужъ черезъ край хвачено было. Жалѣли мы Грибанова, это правда—всѣ жалѣли, самъ завѣдующій жалѣлъ, но принужденъ былъ немедленно уволить. Такъ вотъ я и говорю: до такой степени забыть себя, даже и въ пьяномъ видѣ, я не въ состояніи! Или, хотя бы, вашего Лучезарова взять? Вѣдь отъ

него, говорятъ, каторга прямо стономъ стонала, покамѣсть онъ ро- говъ самъ себѣ не сломалъ... Очень ужъ онъ носъ высоко загибалъ, хотя—что же онъ такое, собственно говоря? армейскій капитанишка, не больше вѣдь того, въ семинаріи курса не кончилъ... Ну, а я... я не скрываюсь: я совсѣмъ безъ образованія человѣкъ, я горнаго училища не кончилъ... Ну, такъ я же за то и мнѣнія о себѣ высоко- каго не держу! Вотъ спросите-ка обо мнѣ здѣшнюю кобылку... кромѣ, разумѣется, бабъ... нарочно спросите: бьюсь объ закладъ— слова дурного не услышите! Я хоть и хвалю розгу, на дѣлѣ же деру очень рѣдко, и то больше по приказу свыше. Я человѣкъ простой—прямо сказать, мужикъ... И я опять-таки безъ хитрости вамъ скажу: другое бѣ вовсе дѣло было, если бы позволялось бабѣ сѣчь... Ну, тогда я ужъ не утерпѣлъ бы! Ха-ха-ха-ха-ха! всѣмъ бы безъ разбору загля- нулъ, и правымъ и виноватымъ... Потому баба—ужъ извините меня за откровенность—баба... это, доложу вамъ, моя слабая струнка.

Я посидѣвши прервать эту пьяную откровенность вопросомъ, есть ли среди каторжной администраціи люди съ высшимъ образо- ваніемъ.

— Съ высшимъ? Эхма, чего захотѣли! Хо-хо-хо-хо-хо! да вы спросите лучше, со среднимъ-то есть ли? \*) Вотъ посчитайте-ка по пальцамъ. Лучезаровъ—семинаристъ, не кончившій курса. Я горнаго училища не кончилъ. Усть-Карійскій смотритель—простой, еле-гра- мотный унтеръ-офицеръ, а мальцевскій—изъ николаевскихъ еще сол- датъ. Правда, славный старичина, и выпить не дуракъ и дѣло свое отлично знаетъ, но съ трудомъ фамилію напарапаетъ... Алгачинскій— такъ себѣ полячинка какой-то, въ полицейскихъ, кажется, надзира- теляхъ служилъ прежде; смотритель александровской богадѣльни тоже проходимецъ какой-то безъ малѣйшаго воспитанія. Ну, кто тамъ еще? Управляющій зерентуйскимъ райономъ еле-еле горное училище кон- чилъ; только у него связи есть, и у жены золотой пріискъ... Да что управляющій райономъ! Выше, батенька, берите: помощникъ завѣ- дующаго каторгой съ простыхъ канцелярскихъ писцовъ началъ...

---

\*) Считаемо не лишнимъ напомнить читателямъ, что рассказъ этотъ могъ соответствовать дѣйствительности лишь 5 или даже 10 лѣтъ тому назадъ, и что съ тѣхъ поръ въ управленіи нерчинской каторгой произве- дены крупныя реформы; уничтожены даже самыя названія „смотрителей“ тюремъ... Надо думать поэтому, что и образовательный цензъ администра- ціи значительно повысился.

Словомъ, если говорить правду, такъ у насъ самъ только завѣдующій каторгой и можетъ за всѣхъ постоять!

— А онъ что же такое?

— Онъ изъ академіи... Это, батенька, голова!... Такъ вотъ-съ каковы мы всѣ, ха-ха-ха-ха-ха! Ну, только, доложу вамъ, той рѣшительности, той отваги ни у кого изъ насъ нѣтъ, даже и у вашего Лучезарова, какая была у покойника Барковского, тотъ, дѣйствительно, умѣлъ каторгу въ струнѣ держать, а чѣмъ? розгой, конечно. Бывало всѣ, какъ листъ, трясутся, чуть только слухъ пройдетъ, что онъ ѣдетъ! А вѣдь много ли времени прошло? При этомъ же завѣдующемъ служилъ, и мнѣ отлично извѣстно, что Иннокентій Павловичъ, человѣкъ вообще очень мягкаго сердца, и тогда уже противъ тѣлесныхъ наказаній былъ. Не разъ высказывалъ онъ Барковскому: «Вы бы, молъ, полегче... Если ужъ совсѣмъ безъ этого невозможно, такъ хоть женщинъ-то не трогайте». А тотъ и въ усъ себѣ на дуль, продолжалъ драть и драть. Потому законъ былъ: «женщинъ дозволяется сѣчь такожде, какъ и мужчинъ»,— ну, и прямо запретить ему этого никто не могъ.

— Но почему же завѣдующій, такой мягкій, какъ вы говорите, человѣкъ, держалъ такого помощника?

— Почему? Ему, батенька, необходимо было Барковского при себѣ имѣть, а то за мягкость-то и самого по головкѣ бы не погладили вѣдь, пожалуй.

— Однако теперь Барковского давно нѣтъ—и ничего...

— Я вотъ и говорю, что времена перемѣнились! Я и хотѣлъ бы вотъ Машку выпоротъ, а мнѣ на это говорятъ: не трожь!.. Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Въ карцеръ сколько хочешь сажай, а розгой женщину не моги, потому у насъ просвѣщеніе теперь, Европа... Хо-хо-хо-хо-хо!

Я началъ откланиваться.

— Ну, а насчетъ работки какъ же?—заикнулся Костровъ.

— Какой работки?

— Да вашей... У насъ на этотъ счетъ, знаете, строго: какъ только прибылъ новый арестантъ, кто бы онъ тамъ ни былъ, на другой же день въ рудникъ милости просимъ!

Я объяснилъ, что по болѣзненному состоянію давно уже и въ тюрьмѣ освобожденъ былъ впрочемъ отъ работъ.

— Ага, значить, медицинское свидѣтельство имѣете? — обрадовался смотритель: — распрекрасное это дѣло! Съ медициной, какъ

у Христа за пазухой, живите себѣ, мы васъ пальцемъ не тронемъ.

— А гдѣ же, позвольте спросить, я поселюсь?

— Да гдѣ-же? Въ арестантскихъ баракахъ вы вѣдь не захотите, поди, со шпаной вмѣстѣ жить? Ежели имѣете средства, такъ въ деревнѣ у любого крестьянина квартиру снять можете. Егоровъ! да ты бы ихъ къ своему братану свезъ? У него вѣдь двѣ половины въ дому-то?

Егоровъ изъявилъ согласіе, и, простившись съ оригинальнымъ зрителемъ, мы вышли на крыльцо. Стоялъ темный беззвѣздный вечеръ. Вдругъ дверь за нами опять поспѣшно растворилась, и я услышалъ голосъ Кострова:

— Воротитесь-ка, воротитесь на одну минуту! Я и забылъ: вамъ письмо вѣдь есть... Эка память-то какая!

Я быстро вернулся въ комнату. Порывшись въ беспорядочно сваленныхъ бумагахъ въ ящикѣ стола, смотритель отыскалъ, наконецъ, письмо и при мнѣ распечаталъ его.

— Нельзя, батенька, форма того требуетъ... Позвольте мнѣ хоть такъ, изъ любопытства больше, пробѣжать. Гм! гм! отъ сестры... радуется, что вы въ вольную команду вышли, телеграмму получила... Такъ, такъ, еще бы не радоваться! Ну, радуйтесь и вы: ѣхать къ вамъ собирается... весной!

У меня захватило духъ. Я почти вырвалъ изъ рукъ Кострова драгоценное письмо и, не слыша подъ собой ногъ отъ радостнаго волненія, выбѣжалъ вонъ. Смутно помню, какъ подѣхали мы въ совершенной уже темнотѣ къ какой-то крестьянской избѣ и вошли въ тѣсное, душное помѣщеніе, гдѣ насъ встрѣтило чисто-вавилонское смѣшеніе языковъ: въ люлькѣ плакалъ ребенокъ, въ углу визжало около дюжины маленькихъ поросятъ, и имъ вторило басистое хрюканье чадолюбивой матери, въ другомъ углу мычалъ новорожденный теленокъ, а изъ-подъ шестка доносился беспокойный шорохъ десятка куръ... Смутно помню подробности перваго знакомства и бесѣды съ хозяевами; рѣшено было, что я переночую здѣсь же, въ обществѣ поросятъ и самихъ хозяевъ, а на утро мнѣ очистить и протоптать «горницу», которою я и стану владѣть за пять рублей въ мѣсяцъ. Утомленный и въ то же время взволнованный, я очень мало всмѣтъ этимъ интересовался и, пользуясь первой возможностью, при свѣтѣ сальнаго огарка, поспѣшилъ развернуть дрожащими руками завѣтное посланіе.

Почти до разсвѣта проворочался я на своемъ жесткомъ ложѣ, безъ сна, не въ силахъ одолѣть расходившіяся думы...

Милая, добрая моя, славная! Гдѣ взяла ты столько нѣжности и любви къ своему далекому брату, котораго и знала-то лишь по смутнымъ воспоминаніямъ дѣтства да по его печальной судьбѣ? какой безконечной добротой и чуткой отзывчивостью на всякое чужое горе и страданіе, какимъ отсутствіемъ заботы о личномъ счастьи, о своей молодой, едва еще расцвѣтающей жизни вѣяло всегда отъ твоихъ милыхъ, наивно-восторженныхъ писемъ, отъ этихъ чудныхъ, кристально-чистыхъ писемъ, ободрившихъ и утѣшавшихъ меня въ грустные годы изгнанія!..

Я помнилъ Таню десятилѣтней невзрачной дѣвочкой съ мечтательными голубыми глазками, съ недѣтски-серьезнымъ, почти печальнымъ выраженіемъ худенькаго личика. Но внутренній міръ моей маленькой сестренки занималъ меня, въ сущности, очень мало (я былъ значительно старше годами); подъ одной кровлей мы жили каждый своей отдѣльной жизнью и были другъ для друга знакомыми незнакомцами. А потомъ, уѣхавъ на долгое время изъ дому, я и совсѣмъ какъ-то потерялъ ее изъ виду. Мы никогда не переписывались.

Первое письмо сестры догнало меня уже по дорогѣ въ Сибирь, и я не счумѣлъ бы передать теперь то впечатлѣніе, какое произвело на меня горячій, безсвязно-влюбленный лепетъ четырнадцатилѣтней дѣвочки. Она клялась всю жизнь, до послѣдняго издыханія, посвятить своему покинутому, всѣми забытому, заклеименному брату, она окружала его память такимъ ореоломъ чести, геройства, возносила его на такой пьедесталъ поклоненія, что, признаюсь, мнѣ было и стыдно, и больно, и безконечно сладко... И въ продолженіи многихъ лѣтъ не проходило съ тѣхъ поръ недѣли безъ того, чтобы не прилетѣлъ ко мнѣ новый вѣстникъ надежды и свѣта въ видѣ маленькаго конвертика, надписаннаго нервнымъ полудѣтскимъ почеркомъ, съ каждымъ разомъ становившимся мнѣ все знакомѣе, дороже и ближе...

Однако мечтамъ Тани о свиданіи со мною, мечтамъ, которыя она неустанно развивала во всѣхъ своихъ письмахъ, я долгое время не придавалъ особеннаго значенія: мало ли о чемъ мечтаютъ дѣвочки-подростки! Да и мой выходъ въ вольную команду, къ которому приурочивались эти золотыя мечты, былъ такъ еще далекъ!

Но вотъ незамѣтно подошелъ и ударилъ часъ свободы. И не успѣлъ я серьезно выяснить сестрѣ всю безразсудность ея плана до-

бровольной побѣдѣ въ каторгу, какъ она уже извѣстила меня о своемъ крѣпкомъ, безповоротномъ рѣшеніи въ началѣ весны отправиться въ далекій путь. Въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ письмо это, навѣрное, глубоко бы меня огорчило, какъ и многихъ на моемъ мѣстѣ, но въ эту минуту... ахъ, я одно теперь чувствовалъ, что радость, безумная, безграничная радость горячей волной заливаетъ мою душу, и что я слабъ, слабъ, какъ ребенокъ, для какихъ бы то ни было протестовъ! Яркій свѣтъ блеснулъ впереди, во мракѣ, и ослѣпилъ усталаго путника... О, какое невыразимое, никогда еще неизвѣданное блаженство! Еще нѣсколько мѣсяцевъ грустнаго одиночества — и свершится золотой сонъ... Послѣ столькихъ лѣтъ сплошнаго кошмара, обидъ, страданій и всяческихъ униженій я прижмусь, наконецъ, къ груди беззавѣтно преданнаго друга, которому изолью всѣ накипѣвшія на сердцѣ слезы, выскажу все недоговоренное, гордо скрытое отъ посторонняго взора...

Нелегко однако далась мнѣ первая казанская зима. Я и теперь еще безъ дрожи не могу о ней вспомнить. Квартира моя оказалась страшно холодной, такъ какъ на манеръ большинства крестьянскихъ избъ въ Забайкальи не имѣла двойныхъ рамъ, и отъ задевавшихся сверху до низу оконъ несло невообразимой стужей; съ плохо проконопаченными стѣнами вполне гармонировала и отвратительная, мало грѣвшая и страшно дымившая печка. Но почему же я не искалъ другой, лучшей квартиры? Быть можетъ, это смѣшно, но мнѣ казалось почему-то ужасно стыднымъ и неловкимъ сказать хозяевамъ о томъ, что по ночамъ я чуть не буквально превращаюсь въ ледяную сосульку, и что въ печку не мѣшало бы класть побольше дровъ; отвычка отъ людей и жизни, дѣлавшая изъ меня замкнутого въ себѣ дикаря, въ началѣ особенно брала свое... Опытный глазъ хозяйки видѣлъ, конечно, и самъ плачевныя свойства моего помѣщенія, и нерѣдко, принося крошечную охапку дровъ, она говорила мнѣ въ утѣшеніе:

— Да какъ же тутъ не околѣть? \*) Все одни да одни сидите, книжки-то вѣдь не грѣютъ... Вотъ кабы семья у васъ была, люди бы въ избѣ шевелились—тогда бы другое дѣло. У насъ вонъ дѣти, поросята...

Политика преувеличенной деликатности принесла скорѣ свои

---

\*) На мѣстномъ нарѣчьи — забнуть.

плоды,—вернувшійся ревматизмъ свалилъ меня съ ногъ и на нѣсколько недѣль почти приковалъ къ постели. Страшныя это были недѣли, когда по цѣлымъ днямъ никто ко мнѣ не заглядывалъ, и не къ кому было обратиться за помощью. Удивляюсь, какимъ образомъ я остался всетаки живъ и всталъ опять на ноги. Только въ концѣ марта холода начали «сдавать», и съ наступленіемъ болѣе теплаго времени вернулось и мое здоровье. А вмѣстѣ съ физическими силами пришли и душевная бодрость, и мечты о скоромъ пріѣздѣ дорогой гостыи... Я дѣятельно принялся приводить въ порядокъ свою квартиру, стараясь придать ей больше уюта и привѣтливости. Стѣны и потолокъ были ярко выбѣлены, печка исправлена; появились необходимыя принадлежности хозяйства, кой-какая мебель. Я то-и-дѣло бѣгалъ въ арестантскіе бараки, гдѣ жили холостые вольнокомандцы, и велъ бесѣды съ столярами, слесарями и другими мастеровыми.

Разъ, въ яркій весенній день, съ радостнымъ свѣтомъ въ душѣ проходилъ я мимо арестантской кузницы и не утерпѣлъ заглянуть туда. Хорошо знакомая картина представилась мнѣ. Громко гудѣлъ мѣхъ, яростно стучали молотки, искры отъ раскаленного желѣза летали кругомъ. Кузнецъ и молотобоецъ встрѣтили меня вѣжливыми поклонами (всѣ казанскіе каторжные давно уже знали меня въ лицо). Вниманіе мое сразу привлекъ къ себѣ высокій, красивый кузнецъ съ черными, какъ смоль, волосами и задумчиво-печальнымъ выраженіемъ темныхъ бархатныхъ глазъ. Всѣ движенія этого человека казались необыкновенно мягкими, почти изычными, а красиво очерченныя, тонкія губы были молчаливо, строго сжаты. Я такъ было и рѣшилъ про себя, что передо мной стоитъ какой-нибудь грузинъ или лезгинъ, и очень былъ удивленъ, когда узналъ, что Андрей Бусовъ самый обыкновенный русскій крестьянинъ изъ тульской губерніи. Товарищи называли его, впрочемъ, цыганомъ.

— Все по Дуняшкѣ своей сучаетъ!—насмѣшливо кивнулъ въ его сторону молодой парень, дувшій мѣхомъ, замѣтивъ, должно быть, что я не свожу глазъ съ Бусова.

Губы послѣдняго слегка перекосились презрительной улыбкой, но онъ продолжалъ молчать.

— Невѣста у васъ, что-ли, въ Тулѣ осталась?—спросилъ я, желая вызвать красавца-кузнеца на разговоръ, но развязный молотобоецъ поспѣшилъ отвѣтить за него.

— Зачѣмъ въ Тулѣ! здѣсь же, въ рудникѣ... Всему обществу на-

шему краса—Авдотья Финогоновна! Павой выступаетъ, лебедью бѣлой выплываетъ, краснымъ солнышкомъ поглядываетъ. Вотъ ужъ увидите, коли не видали еще. Самъ Костровъ шары свои поповскіе на нее было выпялилъ, да нѣтъ, братъ,—накъ поди, выкуси! Признаться, грѣшнымъ дѣломъ, и я тоже подползалъ: наше вамъ, Авдотья Финогоновна! Мы тоже, молъ, не лыкомъ шиты, любите да жалуйте... Куды тебѣ! Я этакихъ-то, говорить, какъ ты, страхиваю... У меня Андрюшенька есть душенька, ни на кого его въ свѣтъ не промѣняю!

— Будетъ тебѣ, Ванька, болтать-то!—прикрикнувъ на него слегка зарумянившійся Бусовъ: — мелешь, мелешь языкомъ, какъ тебѣ не надоѣстъ? Подумай самъ: развѣ имъ можетъ любопытно быть о нашихъ глупостяхъ слушать?

И, не глядя ни на меня, ни на Ваньку, онъ съ сердцемъ принялся колотить молоткомъ по холодному куску желѣза. Почувствовавъ нѣкоторую неловкость, я собирался уже уйти, какъ онъ вдругъ повернулся ко мнѣ и, добродушно ослабившись, сказалъ:

— Секретовъ, однако, никакихъ тутъ нѣтъ. Вы не подумайте, господинъ, чего дурного про дѣвку-то... Это, дѣйствительно, моя невѣста. Только начальство вѣнчаться намъ не позволяетъ, ну, вотъ они и скалятъ надо мной зубы, лоботрясы-то эти...

Ванька схватился за животъ и закатился самымъ жизнерадостнымъ смѣхомъ.

— Почему же начальство вамъ вѣнчаться не позволяетъ?—спросилъ я у Бусова.

— Видите ли, я женатъ былъ... до каторги, то есть. И, значить, требуется теперь свидѣтельство о смерти моей первой жены.

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!—залился пуще прежняго Ванька:—свидѣтельство о смерти жены... Охъ, уморушка да и только! Да ты чего же всего-то не объяснишь? Вѣдь онъ... ха-ха-ха-ха-ха! вѣдь онъ жену-то, первую-то, уколошилъ! вѣдь онъ за это самое и въ работу пришелъ!

Бусовъ весь вспыхнулъ, какъ зарево.

— Это точно,—сказалъ онъ совсѣмъ тихо,—за обманъ, за развратъ убилъ.

— Ну, такъ какое же еще свидѣтельство нужно,—недоумѣвалъ я,—ежели вы здѣсь именно за...

Но тутъ Ванькой-молотобойцемъ овладѣлъ внезапно такой припадокъ веселья, что онъ, не думая долго, повалился на землю и



сталъ по ней кататься въ корчахъ самаго искренняго, неудержимаго хохота. Бусовъ даже не взглянулъ на него.

— Въ томъ-то и дѣло, — съ грустью въ голосѣ отвѣчалъ онъ, — что придирка. Вотъ ужъ полтора года канитель эта тянется. Самъ-то я, на бѣду, неграмотный: говорятъ, въ статейномъ у меня вышла ошибка — прописано, будто я женатъ...

— На покойницѣ женатъ, хо-хо-хо-хо! — не унимался, между тѣмъ, Ванька: — вотъ уморущка-то... И убить-то настоящимъ манеромъ вѣдьму не счумѣлъ, съ того свѣта она трезвону тебѣ задаетъ. Дуракъ! дуракъ! цыганомъ еще прозываешься — коломъ надо было осиновымъ ее притиснуть.

Покидая кузницу, я еще разъ полюбовался на красивую фигуру кузнеца, который, задумчиво шевеля лопаткой въ ярко пылавшемъ горнѣ, по прежнему не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на глупыя остроты и задиранья своего смѣшливаго товарища.

---

Случай познакомилъ меня вскорѣ и съ героиней каторжнаго романа. Я отыскивалъ себѣ прачку, и крестьяне направили меня въ такъ называемыя землянки, гдѣ жили семейные арестанты, имѣвшіе собственное хозяйство. У подошвы одной изъ сопокъ, въ верстѣ отъ деревни, отведено было начальствомъ мѣсто для этихъ жалкихъ людскихъ обиталищъ, отличавшихся чисто-первобытной простотой и незатѣйливостью. Въ землѣ выкапывалась глубокая квадратная яма; съ боковъ и сверху этой ямы укрѣплялись въ видѣ сѣтки колья и прутья различной величины, а на послѣдніе накладывались толстые слои земли, дерна и всяческаго древеснаго хлама. Оставалось затѣмъ устроить внутри печку, которая и занимала, разумѣется, добрую половину, если не всѣ двѣ трети помѣщенія. Палаццо было послѣ этого готово. Смотра по его величинѣ, постройка обходилась отъ пятнадцати до тридцати рублей, и у богатыхъ арестантовъ получались даже очень просторныя и красивыя избы-мазанки, съ окнами не на самомъ уровнѣ земли; но бѣдняки, т. е. большинство ютилось въ настоящихъ подземныхъ норахъ, болѣе приличныхъ кротамъ, нежели людямъ. Въ Горномъ Зерентуѣ землянки представляли цѣлый городокъ съ правильно размѣренными улицами и нѣсколькими сотнями арестантскихъ избушекъ; въ Кадаѣ ихъ было въ мое время не больше одного десятка.

Первый попавшійся на глаза арестантъ, на вопросъ о прачкѣ, сказалъ мнѣ:

— Къ Подуздихѣ зайдите, господинъ, къ Подуздихѣ. Вотъ маленькая-то земляночка съ краю.

— Кто такая эта Подуздиха?

— Да старушочка тутъ одна есть, а у нея дочка,—здоровенная такая, ядреная дѣвка, Дуняшкой зовутъ. Эта вотъ самая Дуняха и возьмется, навѣрное, съ радостью ваше бѣлье стирать. Потому въ нуждѣ онѣ, прямо надо сказать—въ страшенной нуждѣ живутъ.

— И мать и дочь—обѣ каторжныя?

— Да какъ вамъ сказать, господинъ, чтобъ не соврать? Видите ли, старуха-то мужа убила, вотчимомъ онѣ, значитъ, Дуняшкѣ приходился. Извергъ былъ, пьяница, варваръ—стоилъ того! Много лѣтъ стязалъ онѣ старуху, все терпѣла, а подъ конецъ озлилась баба, выпригдась. Взяла топоръ да и отрубила сонному ему голову! Очень просто свое дѣло сдѣлала. Вѣстимо, дура-баба. Скрыть, какъ слѣдуетъ, преступленіе не сумѣла, да мало того и дочку-то какимъ-то путемъ припутала. Сама на двадцать лѣтъ въ работу угодила, а Дуняшкинъ строкъ—вотъ не могу вамъ въ точности сказать—не то ужъ окончился, не то осенью этой выйдетъ.

Я сразу, конечно, догадался, что рѣчь шла не о комъ другомъ, какъ о невѣстѣ моего кузнеца, и съ особеннымъ любопытствомъ зашелъ въ указанную землянку. Къ сожалѣнію, я засталъ тамъ одну только старуху Подуздову,—она лежала на печкѣ, больная, и громко охала. Начались обычные сѣтованія на горегорькое арестантское житье.

— Чѣмъ вы существуете однако?—задалъ я вопросъ.

— А чѣмъ больше, батюшка, какъ не казеннымъ пайкомъ? Десять фунтовъ говядины въ мѣсяцъ на человѣка, пять фунтовъ крупы гречневой да пудъ ржаной муки... Ну, да соли сколько-то—вотъ и все. Тутъ звона какъ растолстѣешь! Въ вольной командѣ, говорятъ, заработать можете. А чѣмъ, спросить, я, старуха, заработать могу? Гдѣ? Кто мнѣ работу дастъ? По настоящему-то, по міру бы надо побираться идти, такъ и то опять—какъ пойдешь, когда? На казну вѣдь отробиться тоже надо, урокъ сдать. Вонъ у меня ногъ вовсе не стало, до двери доползти не могу, а и то надзиратель ужъ кольки разъ забѣгалъ: «Къ фершалу, говорить, сукина дочь, ступай! Освободить отъ работы—твой фартъ, а нѣтъ—въ карецъ посадимъ за лодырничанье». Ахъ вы, аспиды, кровопивцы наши! Самимъ бы вамъ

такъ полодырничать, какъ мы съ дочкой! Брюхо-то, небось, съ голодухи опухло бы, а не съ обжорства, какъ теперь! У тебя, говорятъ, дочка молодая да красивая—она заработать можетъ. Это красотой-то, значить, заработать, по-просту говоря—къ смотрителю въ наложницы пойти... Ну, только мы на это не согласны! Мы съ Дуняхой лучше подохнемъ, а ужъ чести нашей дѣвчине не продадимъ, нѣтъ! У насъ вѣдь, баринъ, и женихъ есть—оченно хорошій человѣкъ.

— Слыхалъ я... Кузнецъ Бусовъ?

— Онъ самый. Видали? Никто не похаеъ. Изъ себя парень—картина, а ужъ правомъ такой-ли то смиренный, ровно красная дѣвица. Только и съ нимъ Дуняха моя во всей строгости себя соблюдаетъ, покамѣстъ, значить, вѣнца не приметъ.

— А гдѣ же теперь ваша Авдотья?

— На работѣ, батюшка, гдѣ ей больше быть. Глину мѣсить, кирпичъ для новой тюрьмы лѣпить.

— Какъ! да вѣдь это считается самой тяжелой работой? Вѣдь это мужская работа?

Подуздиха завздыхала, заплакала.

— Въ томъ то и горе наше, батюшка, что чужолая это работа... По злобѣ, кормилецъ мой, по злобѣ поставили на нее Дуняшку!

— Кто же поставилъ, по какой злобѣ?

— Костровъ, самъ Костровъ (собесѣдница моя понизила голосъ почти до шепота)... Повѣрите ли, каждый вѣдь чортъ, начиная съ послѣдняго парашника, наровитъ пристать къ дѣвкѣ съ погаными своими ласками,—и надзиратели-то всѣ, и казачишки, и самъ смотритель... Большой онъ у насъ до бабъ охотникъ, смотритель-отъ! Ну, вотъ Авдотья моя, надо думать, возьми да и отпихни его. Не скazujeтъ она мнѣ по настоящему, что тамъ у нихъ вышло... Только—и-и, Боже мой, какъ осерчалъ на нее Костровъ! Въ порошокъ, говорятъ, истолочь общался, въ карцѣ сгноить! Кобылка-то все слышала. Съ тѣхъ вотъ самыхъ поръ онъ и подыскивается къ Авдотѣ, ищетъ все, за что бъ ее посадить въ секретную. Ну, да у нея комаръ носу не подточить, всегда все, значить, по закону. Сама дѣвка смиренная, послушная, а работа въ рукахъ такъ и горитъ. Видитъ Костровъ, что дѣло плохо, и велѣлъ ее на кирпичъ поставить. Коли смиришься, говорить, придешь ко мнѣ, тогда легкую работу дамъ, захочу—и вовсе ото всякой работы ослобоню, а не смиришься—заморю на кирпичѣ!

— И давно она на этой работѣ?

— Да вотъ ужъ, кажись, третья недѣля пошла. Прежде-то намъ славно жилось, нечего было Бога гнѣвить. Дунька тогда много за-раблывала — шитьемъ, тѣмъ-другимъ. Ну, а теперь хуже нашего съ ней житья и во всемъ рудникѣ, почитай, не сыщешь. Придетъ дѣвка домой — въ прежнюю бы пору за иглу взялась, аль по домашности что справила, а теперь одна думка — на постель скорѣй повалиться да заснуть. Измоталась вовсе, даромъ что раньше кровь была съ молокомъ, и никакой, что есть, работы не боялась. Сколько ужъ слезъ-то мы съ ней пролили! Господь, видно, считаль, считаль да и считать бросилъ. «Мамонька, говоритъ мнѣ наемни Дуныха, — родимая ты моя! Не стало, знать, Бога на свѣтѣ бѣломъ, правды его истинной не стало... Умереть, видно, остается»... И все-то она, голубушка моя, какъ не втерпѣжъ станетъ, про смерть поминаетъ... Инда страхъ порой возьметъ: а что, какъ дѣвка и впрямь надъ собой что сдѣлаетъ! Костровъ все, — такъ полагать надо, — и свадьбѣ нашей мѣшаетъ.

— Это съ кузнецомъ-то?

— Ну!.. Да и того еще я, признаться, боюсь, какъ бы онъ Андрея-то въ другой рудникъ не перевелъ, его вѣдь власть.

— Такъ чего же вы ждете, терпите? Жаловались бы.

Въ отвѣтъ, Подуздиha только безнадежно махнула рукой.

— Ничего съ этого, баринъ, не будетъ! Вѣдь они всѣ тутъ въ родствѣ да въ свойствѣ состоятъ, развѣ воронъ ворону глазъ выклюетъ? Нѣтъ! А вотъ, говорятъ, поѣдетъ скоро по рудникамъ самый наглавнѣющій надо всѣми тюрьмами енаралъ, — изъ Расей ждуть, — ну, вотъ на него теперь вся надежа. Ему жалобиться хотимъ.

На другой же день словоохотливая старуха обѣщала прислать ко мнѣ свою дочку. Авдотья, дѣйствительно, явилась во время обѣденнаго перерыва между работами. Послѣ всего слышаннаго объ ея красотѣ я ожидалъ увидѣть нѣчто особенное, поражающее и немало удивился, когда глазамъ моимъ представилась заурядная крестьянская дѣвушка лѣтъ двадцати двухъ, съ толстыми румяными губами и широкимъ, какъ-бы приплюснутымъ нѣсколько носомъ. Только здоровье, свѣжесть и сила сразу бросались въ глаза, — онѣ такъ и били изъ всѣхъ поръ этого молодого, упругаго, богатырски сложеннаго тѣла; ростомъ Дуныша была выше меня чуть не на цѣлую голову, и ся большая, крѣпкая, чисто-мужская рука могла бы при нуждѣ серьезно постоять за себя... Но о какой-либо красотѣ въ настоящемъ смыслѣ слова не могло, казалось, и рѣчи быть. И едва

только успѣлъ я подумать это, какъ почти вздрогнулъ: въ упоръ на меня глядѣли большіе сѣрые глаза, тихіе, грустно-задумчивые, и этотъ глубокій, лучистый взглядъ сразу мѣнялъ выраженіе лица, скрадывая всѣ его недочеты, придавая своего рода прелесть и не-красивому, широкому носу, и толстымъ, румянымъ губамъ. Мнѣ хотѣлось поговорить съ дѣвушкой, и, вручая ей узелъ съ бѣльемъ, я задалъ первый пришедшій въ голову вопросъ:

— Сильно устаете вы, Дуняша, на казенной работѣ?

— Чего это изволите спрашивать? — тихо, недоумѣло спросила она.

— Мнѣ мать ваша рассказывала вчера... будто Костровъ шибко тѣснитъ васъ... Я ей жаловаться совѣтовалъ. По моему, и то, что вѣнчаться вамъ такъ долго не разрѣшаютъ, тоже противозаконно! — выпалилъ я однимъ духомъ, смущаясь почему-то и краснѣя.

Дѣвушка ничего не отвѣтила и только прикрыла передникомъ лицо, словно желая высморкаться.

— Да вы почему же сами не хотите съ завѣдующимъ поговорить? Вѣдь онъ бываетъ здѣсь? Онъ, кажется, не звѣрь?

Она молчала по прежнему... Съ чувствомъ неловкости я все стоялъ передъ ней, ожидая какого-нибудь отвѣта, и вдругъ слухъ мой поразило тихое всхлипыванье...

Сконфуженный, я отошелъ прочь; Дуняша скрылась въ одно мгновеніе.

---

Какъ ни торопилась моя дорогая странница окончить свое длинное и трудное путешествіе, оно все затягивалось и затягивалось, встрѣчая всевозможныя преграды и задержки то въ видѣ попорченныхъ весенними разливами дорогъ, то лѣнивыхъ или капризныхъ попутчиковъ, то разныхъ другихъ непредвидѣнныхъ случайностей. О моемъ волненіи и тревогѣ нечего много рассказывать. Воображеніе рисовало мнѣ безчисленныя, грозившія Танѣ на пути опасности — крутыя горы и дикихъ коней, нападенія разбойниковъ, переправы черезъ широкія рѣки, бури на Байкалѣ... Въ лихорадочномъ ознобѣ вскакивалъ я по ночамъ съ постели, услыхавъ малѣйшій стукъ, въ которомъ можно было заподозрить приходъ арестанта Василя, обыкновенно приносившаго мнѣ отъ смотрителя письма и депеши.

Однажды Кадаю посѣтилъ завѣдующій каторгой, и мнѣ пришло въ голову обратиться къ нему съ просьбой о разрѣшеніи — получить

отъ сестры изъ ближайшаго пункта телеграмму, выѣхать навстрѣчу ей на послѣднюю станцію. Просьба была, правда, очень щекотливая, успѣхъ крайне сомнителенъ, но я рѣшилъ попытать счастья. Здѣсь впервые пришлось мнѣ разговаривать съ завѣдующимъ лицомъ къ лицу. Онъ принялъ меня въ кабинетѣ Кострова, наединѣ, и хотя сѣсть не пригласилъ, но за то и самъ въ продолженіи бесѣды стоялъ на ногахъ. На умномъ, почти хитромъ лицѣ этого худенькаго, невзрачнаго, но обстрѣленнаго въ бояхъ человѣка лежала всегда маска холодной непроницаемости; никто и никогда не могъ бы сказать, что онъ думаетъ про себя о томъ или другомъ предметѣ, искренно или съ какой-либо задней мыслью говорить такъ или иначе. Голосъ его всегда былъ мягокъ, ровенъ, почти что ласковъ, безразлично—заключили ли въ себѣ его слова милость или смертный приговоръ.

Сверхъ всякаго ожиданія, къ просьбѣ моей завѣдующій отнесся безъ всякаго удивленія, съ видимой даже благосклонностью и только попытался отговорить меня ѣхать.

— Я вполне увѣренъ, что вы не бѣжите,—сказалъ онъ съ легкой тѣнью улыбки на каменномъ лицѣ,—и охотно готовъ отпустить безъ всякаго конвоя, но... въ вашихъ же собственныхъ интересахъ не предпринимать этой поѣздки. Вы, навѣрное, разѣдетесь съ вашей сестрой. Она, вы говорите, ѣдетъ съ попутчикомъ, и если онъ—что всего вѣроятнѣе—какой-нибудь чиновникъ изъ завода, то они могутъ на земскихъ лошадяхъ ѣхать. Вы будете ждать на почтовой станціи, а они на земской квартирѣ останвятся.

— Такой случай легко предупредить,—парировалъ я это соображеніе,—на земской квартирѣ я сдѣлаю, на всякій случай, заявленіе о себѣ.

Завѣдующій сухо наклонилъ голову.

— Хорошо. Но... болѣе, чѣмъ на однѣ сутки, я не вправѣ отпустить васъ безъ конвоя.

Я поклонился.

— Надѣюсь, этого срока мнѣ будетъ вполне достаточно.

Однако, когда прошло послѣ того цѣлыхъ пять дней, а отъ Тани, давно находившейся въ Читѣ, не приходило никакихъ новыхъ извѣстій, я ужасно заволновался. Въ мозгу моемъ зародилось даже подозрѣніе, что завѣдующій нарочно распорядился позднѣе отослать мнѣ телеграмму, чтобы разстроить эту не совсѣмъ желательную ему поѣзду...

Разъ позднимъ вечеромъ надъ Кадаей разразилась сильная, пер-

вая въ этомъ году гроза. Дождь лилъ свирѣпыми потоками, громъ гремѣлъ, почти не переставая, а молніи сверкали въ разныхъ мѣстахъ неба такъ часто, что въ воздухѣ стоялъ почти сплошной яркій свѣтъ, лишь на короткія мгновенія прерываемый густымъ, чернымъ мракомъ. Сидя въ одиночествѣ подлѣ окна, въ темной комнатѣ, я съ отчетливостью различалъ всѣ окрестныя сопки, въ грозномъ безмолвіи и неподвижности, точно часовые, стоявшія на своихъ постахъ. Мнѣ было невыразимо грустно и больно; сильнѣе, чѣмъ когда-либо, давало себя чувствовать одиночество изгнанника...

Вдругъ рѣзкій, нетерпѣливый стукъ въ наружную дверь прервалъ мои меланхолическія размышленія, и вслѣдъ затѣмъ послышался знакомый голосъ:

— Иванъ Николаевичъ, вы спите?.. Отворите, а то потону новсе! Тилеграмъ!..

Это былъ разсылный Василій съ желанной телеграммой въ рукахъ, заключавшей въ себѣ одно только слово: «Бѣду».

Одна мысль, одно чувство охватили меня всего: «Пора!..» Съ радостнымъ волненіемъ бросился я къ хозяину, который заранѣе обѣщалъ повезти меня во всякое время дня и ночи, когда только будетъ нужно. Оказалось, однако, не такъ-то легко заставить сибиряка въ ту-же минуту тронуться съ мѣста. Хозяинъ Иванъ Григорьевичъ наканунѣ былъ, по обыкновенію, пьянъ и теперь спалъ богатырскимъ сномъ, такъ что съ помощью всей его семьи мнѣ стоило немалого труда поднять его и добиться членораздѣльных звуковъ. Но и эти звуки въ началѣ были мало утѣшительны.

— Такъ какъ же это такъ? Вѣдь оно того... Темень-то, вишь, какая на дворѣ... Гремить-то какъ!

Но я былъ неумолимъ и убѣдительно взывалъ къ чувству вѣрности данному разъ слову. Тогда, почесавшись еще немного, и раздумчиво посопѣвъ носомъ, Иванъ Григорьевичъ схватился внезапно съ мѣста и, какъ стрѣла, ринулся, въ чемъ былъ, на улицу, чтобы произвести тамъ необходимыя метеорологическія наблюденія. Дождь уже прекратился, и только тамъ и сямъ рокотали еще въ ночной тишинѣ бѣшено струившіеся потоки воды; имъ глухо вторилъ замиравшій въ отдаленіи громъ; молніи вспыхивали значительно слабѣе и рѣже, но за то теперь было такъ темно, что въ двухъ аршинахъ трудно было разглядѣть человѣка.

— Темень-то, главное дѣло, вотъ бѣда!—сконфуженно обратился ко мнѣ Иванъ Григорьевичъ, безнадежно ударивъ себя рукой по

бедру:—дорогу-то, главное, всю размыло. Того и гляди, въ колдобину вѣдь влетимъ, себѣ и конямъ ребра поломаемъ. Вотъ вѣдь что главное дѣло! Нельзя ли мѣсяца хоть дожждаться?

— А скоро ли онъ взойдетъ?

— Черезъ часъ, много два безпремѣнно объявиться долженъ... Потому, главное дѣло, темень страшенная, колдобинъ понамыто дождемъ! А то я съ моимъ бы, конечно, удовольствіемъ...

Приходилось покориться и ждать мѣсяца. Накормивъ лошадей и выправивъ свой «фурманъ» (тарантасъ), Иванъ Григорьевичъ отправился еще немного вздремнуть, я же ни на одну минуту не могъ сомкнуть глазъ. Пріятная, сладкая дрожь то-и-дѣло пробѣгала по всему тѣлу... Десятки разъ выходилъ я на улицу, и, вѣроятно, ни одинъ въ мірѣ влюбленный не искалъ никогда съ болѣе страстнымъ нетерпѣніемъ появленія на горизонтѣ ночного свѣтила. Но всюду по прежнему царилъ мракъ и даже безгромныя далекія зарницы поблескивали все рѣже и рѣже. Ежеминутно поглядывалъ я на часы, и вотъ, наконецъ, ровно въ два часа ночи на краю неба забрежжило слабое зарево...

— Иванъ Григорьевичъ, мѣсяцъ всходитъ!—кинулся я къ своему дремавшему возницѣ.

Полчаса спустя на парѣ сытыхъ и бойкихъ лошадокъ мы летѣли во весь опоръ между безконечными рядами безмолвныхъ сопокъ, сплошь залитыхъ волшебнымъ серебрянымъ свѣтомъ. Какъ обольстительно-прекрасна была эта ночь послѣ первой грозы! Какая ясная бодрость разливалась по всѣмъ жиламъ, и какъ лихорадочно жадно вглядывался я въ синюю даль, тамъ и сямъ перерѣзанную черными тѣнями горъ!

На другой день, около полудня, мы уже были за пятьдесятъ верстъ отъ Кадаи, на почтовой станціи. Никакой барышни съ господиномъ ни вчера, ни сегодня еще не было въ числѣ проезжающихъ. Но едва только это извѣстіе успокоило меня, какъ возникло опасеніе, что полученный мной суточный отпускъ пройдетъ раньше, чѣмъ придетъ Таня... Опасенія эти росли съ каждымъ часомъ, и когда наступила ночь, и возница мой, вливши въ себя двадцатый стаканъ чаю, спокойно разлегся на полу, и вскорѣ его громкое храпѣнье раздалось по всей станціи, я не на шутку разволновался. Не находя нигдѣ мѣста себѣ, въ болѣзненной тоскѣ метался я изъ стороны въ сторону, выбѣгалъ на крыльцо, прислушивался къ ночной тишинѣ, снова входилъ въ комнату, садился и черезъ минуту опять вставалъ



на ноги. И мнѣ казалось, что если сестра почему-либо опоздаетъ, и я не дождусь ея здѣсь, на почтовой станціи, то это будетъ непорядкомъ для насъ обоихъ несчастіемъ; что и самая радость свиданія, хотя бы оно и состоялось нѣсколько часовъ спустя, будетъ уже неполной, отравленной!

Не знаю, какимъ образомъ я всетаки подъ конецъ заснулъ: нервное утомленіе, должно быть, взяло свое. Но сонъ мой былъ тревоженъ и болѣзненно-чутко. Странныя, смутно-печальныя, неясныя видѣнія смѣняли одно другое—и вдругъ, точно электрическій токъ прошелъ по мнѣ съ ногъ до головы... Рѣзкій металлическій звукъ ворвался въ окно вмѣстѣ съ порывомъ свѣжаго ночного вѣтра...

Я вскочилъ—это колокольчикъ! Это она ѣдетъ!..

Я кинулся второпяхъ къ дверямъ, едва успѣвъ захватить шапку и чуть не споткнувшись объ Ивана Григорьевича, который въ живописномъ беспорядкѣ откатился отъ первоначальнаго своего ложа почти къ самому порогу.

По небу бродили тучи, разбрасываемыя порывистымъ вѣтромъ, и изъ-подъ нихъ таинственно выглядывалъ, какъ желтый глазъ какого-то огромнаго призрака, молчаливо скользящій мѣсяцъ. Я прислушался—колокольчикъ еще разъ брякнулъ, потомъ затихъ на мгновеніе и, вотъ, сталъ гудѣть уже непрерывно. Не могло быть сомнѣнія: это ѣхали почтовые кони съ ближайшей станціи. Въ неистовомъ восторгѣ бросился я къ нимъ навстрѣчу... Вотъ показалась наконецъ, и тройка, и почтовая кибитка со спущеннымъ верхомъ. Вотъ она поровнялась со мной... Я напрягъ всѣ силы своего зрѣнія и различилъ внутри, среди подушекъ, неясный силуэтъ чловѣка, по-видимому, мужчины. Однако, тайный голосъ не переставалъ твердить мнѣ, что тутъ же должна находиться и Таня... Слѣдомъ за кибиткой я побѣжалъ къ станціи. Когда, задыхаясь отъ усталости и волненія, я приблизился къ крыльцу, лошади уже нѣсколько минутъ были на мѣстѣ, и у подножки тарантаса стоялъ незнакомый мнѣ усатый господинъ съ дорожной сумкой черезъ плечо.

— Пора проснуться, пріѣхали!—сказалъ онъ, обращаясь къ кому-то другому, находившемуся еще въ глубинѣ возка.

— Неужели?—отвѣчалъ оттуда заспанный голосъ, и этотъ тонкій серебряный голосъ, несомнѣнно, принадлежалъ очень молоденькой женщинѣ.

Держась рукой за грудь, въ которой бѣшено колотилось сердце, и не въ силахъ говорить отъ волненія, я стоялъ бокъ-о-бокъ съ

пріѣзжимъ, который нѣсколько удивленно косился въ мою сторону.

— Татьяна Николаевна, вы долго намѣрены нѣжиться?—наклонился онъ еще разъ въ повозку.

Въ одно мгновеніе я отстранилъ, безъ дальнихъ церемоній, уса-таго господина, вскочилъ на подножку и принялъ въ объятія только что проснувшуюся, до нельзя изумленную дѣвушку.

— Таня, родная!..

Веселый, жизнерадостный смѣхъ, неумолкаемое молодое щебетанье наполнили мою маленькую квартирку въ Кадаѣ. Точно свѣжій лучъ солнца ворвался въ унылую жизнь, озарилъ и согрѣлъ своей лаской мою закованную душу.

Рѣшительно отъ всего приходила Таня въ восторгъ,—и отъ моей квартиры, и отъ хозяевъ, и отъ кадаинской природы. Еще по дорогѣ со станціи, не смотря на сѣрый облачный день, она то-и-дѣло вскрикивала, обращаясь къ Ивану Григорьевичу:

— Стойте! смотрите, какой славный цвѣточекъ? Я слѣзу, сорву.

И мы оба вылѣзали изъ тарантаса и, какъ дѣти, бѣжали въ перегонку къ цвѣтку. Таня не уставала восхищаться окружающими ландшафтами. Я самъ съ удивленіемъ осматривался кругомъ, словно только что пробудившись отъ глубокаго сна. Въ своей упорной меланхолиі я чувствовалъ временами настоящую ненависть къ этимъ угрюмымъ сопкамъ, стѣснявшимъ горизонтъ и давившимъ душу; и мнѣ казалось, что этотъ край изгнанія самимъ Богомъ проклятъ и вѣчно, вѣчно долженъ быть покрытъ снѣгомъ, дышать холодомъ! Въ ожиданіи Танинаго пріѣзда, среди хлопотъ и тревогъ всякаго рода я и не замѣтилъ, какъ въ окружающей природѣ совершилась рѣзкая, словно волшебная перемѣна, и теперь, почти не довѣряя глазамъ, видѣлъ эти недавно голыя, пасмурно-ледяныя вершины внезапно расцвѣтшими, зазеленѣвшими, заблагоухавшими чудными, медовыми ароматами. И своеобразная, строгая, величавая красота открывалась мнѣ въ огромномъ, пустынномъ морѣ зеленыхъ сопокъ...

— А я-то воображала, что увижу совсѣмъ, совсѣмъ другое!—весело болтала дѣвушка.

— Что же ты воображала, Таня? Что люди здѣсь съ собачьими головами, а вмѣсто неба—черная дыра?

— Не смѣйся надо мной, голубчикъ, но, право же, я испытываю очень пріятное разочарованіе! Я думала, напрімѣръ, что ты до сихъ.

поръ носишь на рукахъ и ногахъ оковы, что къ тебѣ и въ вольной командѣ приставленъ постоянно часовой съ ружьемъ, а сама эта вольная команда — что-то вродѣ большой, мрачной казармы, гдѣ арестантовъ день и ночь заставляютъ маршировать по-солдатски, подъ бой барабана... Признаюсь, я думала тоже, что кромѣ солдатъ да каторжниковъ здѣсь и людей-то другихъ нѣтъ!

Таня говорила все это, волнуясь и краснѣя за свою молодую неопытность. Физически она не глядѣла уже дѣвочкой моихъ грезъ и воспоминаній: это была высокая, довольно недурная собой, стройно сложенная дѣвушка съ пышными бѣлокурыми локонами и большими васильковаго цвѣта глазами, и только въ глазахъ этихъ, всегда задумчивыхъ и серьезныхъ, видѣлся прежній наивно-мечтательный ребенокъ.

— Не въ оковахъ главное зло, Таня, — отвѣчалъ я съ улыбкой, — мнѣ не хотѣлось бы, конечно, выводить тебя изъ твоего пріятнаго разочарованія, и я отъ души желаю, чтобъ никогда не пришлось тебѣ вторично разочаровываться; но скажу одно. Люди-то здѣсь, быть можетъ, и не хуже сами по себѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, но надъ ними тяготѣетъ постоянный кошмаръ злыхъ, безчеловѣчныхъ порядковъ, обычаевъ и привычекъ. И сколько разъ приходится видѣть, какъ самые добрые по натурѣ люди совершаютъ возмутительно-звѣрскіе поступки потому только, что ихъ можно совершать, принято совершать!

Но я видѣлъ, что охлаждающія замѣчанія проходятъ мимо ушей моей собесѣдницы. Чтобъ омрачить ея розовое настроеніе, нужны были не слова, а факты, послѣдніе же пришли не сразу; мы жили вдали отъ подлинной каторжной жизни кадаинской кобылки со всей обычной безрадостностью ея существованія; многое я старался даже скрыть отъ сестры, и лишь значительно позже въ нашъ мирный уголокъ стали врываться кой-какіе мрачные диссонансы, отголоски мрачной дѣйствительности.

Что касается арестантовъ, то нечего и говорить, что они производили на нее въ первое время лишь пріятное, подкупающее впечатлѣніе: знакомство ея съ ними (какъ и мое въ Кадаѣ), ограничивалось одними шапочными поклонами при встрѣчахъ на улицѣ, во время прогулокъ. И Таня съ жаромъ говорила, обращаясь ко мнѣ:

— Да развѣ это не тѣ же люди, что и мы съ тобой, что и всѣ другіе? Тихіе, добрые люди, если только не причинять имъ зла и неправды. Господи, а въ Россіи-то какъ рисуютъ себѣ каторжника!

Я первая побѣжала бы, сломя голову, прочь, если бы повстрѣчала его на одной изъ московскихъ улицъ!

Дуняшу Подуздову, о несчастномъ романѣ которой я успѣлъ уже разказать сестрѣ въ общихъ чертахъ, она, не долго думая, приняла въ объятія и осыпала поцѣлуями, чѣмъ, разумѣется, привела каторжную дикарку въ неописуемое замѣшательство.

— Дуняша, милая—говорила Таня, сажая ее рядомъ съ собою: — не унывай, голубушка, будь мужественной... Все перемелется—мука будетъ. Я глубоко увѣрена, что все это одно лишь глупое недоразумѣніе, которое не трудно разъяснить. И знаешь ли, какой планъ пришелъ мнѣ въ голову: въ первый же разъ, какъ поѣду въ Зерентуй, я зайду къ завѣдующему и сама поговорю съ нимъ о твоёмъ дѣлѣ. И разъ только онъ выикнетъ въ него,—а ужъ я постараюсь, постараюсь объ этомъ!—всѣ тревоги ваши и бѣды сразу окончатся... Вотъ ты увидишь ужю! Не я буду, если этой же осенью не повѣнчаю тебя съ твоимъ женихомъ... Дай только отдохнуть мнѣ немного съ дороги, придти въ себя—и я все это непременно устрою!

Эта сцена была такъ трогательно наивна, что даже мой насмѣшливый скептицизмъ стыдливо хранилъ молчаніе...

Пришлось моей гостѣ познакомиться и съ Костровымъ, къ которому, по прибытіи въ подвѣдомственный ему районъ, она обязана была лично явиться.

— Что жъ,—благодарушно сказала она, вернувшись домой,—я не думаю, чтобъ онъ былъ злой человѣкъ и сознательно дѣлалъ дурныя вещи. По крайней мѣрѣ, онъ разговаривалъ при мнѣ съ однимъ арестантомъ, и тотъ держался такъ свободно, точно съ равнымъ себѣ.

Я былъ увѣренъ, что жалкій видъ арестантскихъ землянокъ произведетъ на нее подавляющее впечатлѣніе, и съ нѣкоторой робостью повелъ ее въ одинъ ясный воскресный день знакомиться съ старой Подуздой; но, къ удивленію моему, и этотъ визитъ сошелъ какъ нельзя лучше. Да и то сказать: природа вокругъ такъ обольстительно зеленѣла и сверкала, іюньское солнце такъ причудливо золотило все своими теплыми ласкающими лучами, что и сама ницета глядѣла въ этотъ день красивѣе и довольнѣе обыкновеннаго.

— Плохо, конечно, живетъ имъ, бѣднякамъ,—такъ резюмировала Таня впечатлѣнія своего осмотра землянокъ,—но сколько есть на Руси совершенно свободныхъ, никакого наказанія не несущихъ людей, которымъ живетъ, однако, ничуть не слаще и не легче. Да

если вѣрны твои рассказы о тюрьмѣ, то есть не вызваны желаніемъ утѣшить меня, смягчить краски, то даже и тамъ жизнь рисуется мнѣ теперь не такой ужъ страшной, какъ прежде...

— Ну, словомъ, Таня,—пошутилъ я въ заключеніе,—ты ѣхала сюда утѣшать и ободрять страдальцевъ, а нашла заплывшихъ жиромъ буржуевъ, которымъ надо читать проповѣдь о страданіяхъ меньшаго брата!

Съ доброй улыбкой она закрывала мнѣ рукой ротъ и, надѣвъ шляпку, тащила меня гулять по сопкамъ. Бродя по окрестностямъ, тщетно искали мы защиты отъ палящихъ лучей солнца. Тонкіе кусты боярышника и тальника, раскинувшіеся вдоль правой возвышенной стороны Кадаи, давали лишь слабое подобіе тѣни, и если мы все-таки любили среди нихъ скитаться, то, главнымъ образомъ, изъ-за ландышей, которые росли тамъ въ удивительномъ изобиліи. Безъ конца, безъ жалости, словно въ какомъ-то опьяненіи, рвали мы эти милые, душистые цвѣты и цѣлыми корзинами таскали къ себѣ въ комнату. Вставъ иногда рано на зарѣ, когда сестра еще крѣпко спала, я приносилъ огромные, обрызганные свѣжей росой букеты изъ ландышей и будилъ ее, осыпая цвѣтами. И, едва успѣвъ напиться чаю, торопясь и волнуясь, мы бѣжали собирать ихъ вмѣстѣ...

Не любила Таня лишь той части горы, гдѣ помѣщался рудникъ съ его копаками, свѣтличками и другими строеніями. Мысль о томъ, что въ этихъ мѣстахъ лежатъ подземныя норы, гдѣ люди во тьмѣ и сырости долбятъ холодный, бездушный камень, поражала ее страхомъ, наполняла болью. Увидавъ еще издали зловѣщія постройки, она забывала всѣ свои недавнія разсужденія о томъ, что въ каторгѣ людямъ живется значительно легче, нежели свободнымъ рабочимъ на фабрикахъ, и тащила меня прочь, возможно дальше отсюда. А разъ, когда въ направленіи рудника послышался какой-то подозрительный звукъ, показавшійся ей лязгомъ кандаловъ, она, вся поблѣднѣвъ, съ крикомъ неподдѣльнаго ужаса кинулась бѣжать внизъ съ горы, спотыкаясь о камни и корни кустарника. Напрасно я, съ своей стороны, кричалъ, догоняя ее, что она ошиблась, что въ рудникъ не водятъ закованныхъ арестантовъ,—она не слушала моихъ увѣреній и, не уставая, бѣжала впередъ.

— Ну, и нервозная же ты, точно будто кисейная барышня,—пробовалъ я пристыдить ее, когда, наконецъ, догналъ, и мы, замедливъ шаги, пошли рядомъ.

Она молчала.

Долго не удавалось намъ побывать на вершинѣ гиганта-утеса, который высится по лѣвую сторону Кадаи и съ котораго, по рассказамъ мѣстныхъ жителей, можно видѣть гребни горъ, стоящихъ за рѣкой Аргунью, въ китайскихъ владѣніяхъ. То слишкомъ поздно выбирались мы изъ дому и рисковали быть застигнутыми темнотой въ дорогѣ, то на пути встрѣчалъ насъ рѣзкій, пронизывающій холодомъ вѣтеръ, то какая-нибудь иная неудача. Неудовлетворенное любопытство только пуще разжигалось; шутя мы начинали фантазировать, что съ вершины этой таинственной горы открывается, быть можетъ, видъ на райскій, никому невѣдомый уголокъ, совсѣмъ непохожій на мрачное дно кадаинской котловины съ ея бѣдной, печальной деревушкой, тощими лугами и однообразными сопками... И вотъ, выйдя однажды на прогулку раньше обыкновеннаго, мы рѣшили, во что бы то ни стало, достигнуть загадочной черты. Чѣмъ ближе мы къ ней подходили, тѣмъ сильнѣе волновались; топча увядающіе урчунсарану и другіе цвѣты, задыхаясь, мы почти бѣжали впередъ... Что-то мы увидимъ сейчасъ?

Я первый вбѣжалъ наверхъ и — замеръ въ невольномъ восхищеніи: прекрасная, широкая долина раскидывалась глубоко внизу, подъ ногами... Въ сизомъ туманѣ вечера, чуть озаренныя закатомъ, синѣли и краснѣли убѣгающія вдаль цѣпи горъ, и за самой дальней изъ нихъ смутно вилась, точно прядь сѣдыхъ волосъ, лента Аргуни... На мгновеніе чѣмъ-то роднымъ и мучительно-близкимъ, воздухомъ свободы пахнуло на душу отъ этой картины...

— Смотри, вѣдь это... это крестъ тамъ, внизу?—крикнула вдругъ Тая, прерывая торжественное молчаніе и указывая на одинъ изъ холмовъ, лежавшихъ вправо, подъ нашими ногами:—смотри, смотри—и не одинъ даже, а нѣсколько!..

Дѣйствительно, можно было различить два или три высокихъ креста, и я сразу вспомнилъ ихъ происхожденіе. Я тутъ же рассказалъ Таяѣ все, что зналъ объ одинокихъ кадаинскихъ могилахъ, и покаялся, что не собрался до сихъ поръ посѣтить ихъ.

— Такъ сейчасъ, сію минуту спустимся туда!—предложила моя увлекающаяся спутница. Но было уже слишкомъ поздно для такого предпріятія, да и прямого спуска къ холму мы не знали. Солнце уже совсѣмъ закатилось, и пора было подумать о возвращеніи домой. Мы оба такъ расхрабрились, что рѣшили сойти къ деревнѣ по крутой сторонѣ утеса, какъ представлявшей кратчайшій путь. Мы воображали себѣ, что спускаться внизъ гораздо легче, нежели подни-

маться вверхъ. Не сдѣлали мы, однако, и пятой части всего пути, какъ уже поняли свою ошибку: спускъ оказался необыкновенно крутымъ и опаснымъ для такихъ неопытныхъ туристовъ, и счастье еще, что мы выбрали не самое трудное мѣсто. Приходилось временами почти перескакивать съ одного уступа на другой, стоявшій внизу, причемъ Таню я переносилъ туда на рукахъ; колючій кустъ шиповника нерѣдко обманывалъ зрѣніе, и, не рассчитавъ ни высоты, ни прочности уступа, я кубаремъ летѣлъ внизъ, увлекая за собой кучу камней и паденіемъ своимъ вырывая изъ устъ сестры крикъ ужаса. Съ трудомъ удавалось мнѣ уцѣпиться за какой-нибудь кустъ или камень, нащупать твердую почву и разглядѣть, куда идти дальше. Жутко было сходить внизъ, но еще страшнѣе казалось вернуться на верхъ, и мы продолжали спускаться, я, обливаясь потомъ, съ царапинами и порванной одеждой, спутница моя—блѣдная и пугливо притихшая... И лишь четверть часа спустя, когда мы очутились, наконецъ, у подошвы угрюмаго утеса, среди груды его развалинъ, окрестность опять огласилась веселымъ смѣхомъ и торжествующими криками!

---

Въ одинъ изъ ближайшихъ послѣ этого дней, прежде чѣмъ отправиться на могилу поэта, мы пошли взглянуть на домикъ, въ которомъ онъ жилъ и умеръ и который, какъ сказали намъ, существовалъ еще въ полуразрушенномъ видѣ. Узнавъ, что домъ принадлежитъ сельскому старостѣ, мы придумали и предлогъ для его осмотра: мы хотимъ его купить.

Самъ хозяинъ, атлетъ-мужчина съ умнымъ, благообразнымъ лицомъ, повелъ насъ въ покинутое жилье. Загремѣлъ замокъ, дверь заскрипѣла на ржавыхъ петляхъ, и мы очутились въ просторной полутемной комнатѣ, куда свѣтъ пробивался сквозь одинъ на половину оторванный ставень (остальные были забиты наглухо). Сѣней у избы давно не было. Голыя бревенчатые стѣны давно промозгли и прогнили. На насъ пахнуло могильной сыростью, и со всѣхъ сторонъ хлынули грустные преданія прошлаго...

— Сколько же просите вы за эту развалину?

— Шестьдесятъ рублей. Здѣсь еще Михайлъ Ларіоновичъ Михайловъ жилъ, тутъ и умеръ...—прибавилъ хозяинъ, очевидно, хорошо понимая настоящую цѣль нашего посѣщенія.

— Какъ, вы даже имя и отчество помните?

— Я даже, какъ живого, его передъ собой вижу. Славный былъ баринъ, добрый, хотя собой и незрочный... Мнѣ о ту пору лѣтъ десять было, какъ онъ померъ; братанъ мой и могилу копалъ.

Мы осыпали рассказчика всевозможными вопросами, но отвѣты, какъ и слѣдовало ожидать, оказались мало любопытными, имѣющими слишкомъ общій характеръ. Былъ добрый баринъ... Денегъ не жалѣлъ и никогда не запиралъ на замокъ стола, въ которомъ онъ лежали (кучи, кучи бумажекъ!...)... Все читалъ больше или писалъ... Книгъ «множество» было...

Не больше сообщили намъ потомъ и другіе деревенскіе старожилы. Память о тѣхъ еще недалекихъ, сравнительно, временахъ, когда кадаинскимъ рудникомъ правилъ знаменитый приспѣшникъ Разгильдѣева, Кабаковъ, и подъ его ферулой находились Чернышевскій, Михайловъ и польскіе повстанцы 63 года, сохраняется среди нихъ уже довольно смутно. Да и то сказать: жили они здѣсь своей особой, изолированной отъ вѣшняго міра жизнью, проводя время, главнымъ образомъ, въ обществѣ книгъ, и что же характернаго могли знать о нихъ крестьяне?

Я не знаю, какимъ здоровьемъ пользовался поэтъ до своего переселенія въ Сибирь; въ Иркутскѣ онъ перенесъ, кажется, брюшной тифъ, но развитіе чахотки, унесшей его въ могилу, послѣ одного лишь года пребыванія въ Кадаѣ, мѣстные обыватели приписывали исключительно дню похоронъ одного душевно-больного ссыльнаго, когда Михаилъ Ларіоновичъ не то застудилъ, не то повредилъ себѣ ногу. Съ этого времени болѣзнь пошла быстрыми шагами впередъ, и роковой конецъ сталъ неизбеженъ...

Путь къ могилѣ лежалъ мимо знакомаго уже намъ гиганта-утеса. Здѣсь, среди гранитныхъ обломковъ мы повстрѣчали цѣлый лѣсъ свѣже-распустившихся марьиныхъ кореньевъ; отцвѣтающіе урчун также видѣлись во множествѣ. Вспугнутая нашими голосами семья ястребовъ съ тревожными криками поднялась изъ расщелины скалы и стала виться надъ нашими головами; вдали протяжно и уныло перекликались кукушки, а вверху, въ синемъ небѣ, не умолкая, разливалось торжественное пѣніе жаворонковъ. Набравъ по дорогѣ огромный пукъ цвѣтовъ, Таня усѣлась на одну изъ гранитныхъ глыбъ, и я не безъ удивленія увидалъ, какъ изъ этихъ скромныхъ и незатѣйливыхъ цвѣтовъ: ландышей, сараны, урчуетъ и марьиныхъ кореньевъ, подъ ея проворными и искусными пальцами выросталъ довольно красивый, пышный вѣнокъ. Мы продолжали затѣмъ дорогу.



Мало замѣтный издали холмъ оказался вблизи высокимъ утесомъ, взобраться на который стоило не малаго труда. Не переведа духу, мы кинулись къ стоявшимъ на вершинѣ огромнымъ крестамъ. Ихъ было всѣхъ три, но одинъ, вѣроятно, давно уже поваленъ былъ бурей и, весь источенный червями, лежалъ на землѣ. Къ немалому разочарованію нашему, всѣ три надписи оказались польскими...

— А гдѣ же Михайловъ?—въ одинъ голосъ спросили мы другъ друга и инстинктивно направились къ краю обрыва, гдѣ беспорядочно наваленная груда бѣлыхъ каменьевъ (породы грубаго мрамора) обозначала, повидимому, чью-то безымянную могилу. — Не здѣсь ли?

Разспрашивая потомъ каданнскихъ стариковъ и сличая ихъ показанія, мы убѣдились въ вѣрности этой догадки. Нѣкогда на этомъ мѣстѣ также стоялъ крестъ, поставленный родственниками поэта, но вотъ уже лѣтъ десять, какъ онъ упалъ и куда-то исчезъ: по всей вѣроятности, украденъ каданнцами на дрова (благо послѣднія представляютъ въ безлѣсной Кадаѣ цѣнный предметъ)...

Положивъ вѣнокъ на могилу, долго бродили мы съ грустными думами по утесу, осматриваясь кругомъ и любясь открывавшимися съ него видами. Глазъ пріятно поражается прежде всего обиліемъ растущихъ здѣсь незабудокъ: весь холмъ буквально залитъ ими и синѣетъ подъ ногами, точно огромный голубой коверъ... Глубоко внизу, по темной лощинѣ тянется сѣрая лента деревни, а съ другихъ сторонъ, по краямъ горизонта, высатся унылыя остроконечныя сопки, словно стерегущія невозмутимый сонъ мертвецовъ.

Грустно и сиротливо здѣсь въ долгія забайкальскія зимы; утесъ, отъ низа до самой вершины, занесенъ сыпучимъ снѣгомъ и «лишь волками голодными навѣщаемъ порой». Но за то въ остальные времена года это одна изъ самыхъ живописныхъ въ Кадаѣ мѣстностей. Миромъ и поэзіей вѣетъ отъ гордо уединенныхъ могилъ, вырытыхъ далеко отъ чуждыхъ и враждебныхъ взоровъ. Въ ясные солнечные дни воздухъ оглашается несмолкаемыми; безчисленными трелями жаворонокъ, привольно купающихся въ небесной лазури, и подъ ихъ торжественные звуки невольно вспоминаются стихи, помѣщенные въ «Отеч. Зап.» 1871 года подъ скромными буквами М. М.:

Вышелъ срокъ тюремный:  
По горамъ бродя!..  
Со штыкомъ солдата  
Нѣтъ ужъ позади.

Воли больше... Что же  
 Стѣны этихъ горъ  
 Пуше стѣнъ тюремныхъ  
 Мнѣ тѣснить просторъ?  
 Тамъ, подъ темнымъ сводомъ,  
 Тяжело дышать,  
 Сердце уставало  
 Биться и желать.  
 Здѣсь, надъ головою,  
 Подъ лазурный сводъ  
 Жаворонокъ вьется  
 И поетъ—зоветь!..

---

Какъ золотой, блаженный сонъ, промелькнуло лѣто!

Въ одно прекрасное августовское утро мы были застигнуты совершенно врасплохъ извѣстіемъ, что рудникъ посѣтилъ, наконецъ, тотъ важный генераль, прїѣзда котораго кобылка уже не одинъ годъ поджидала съ такимъ нетерпѣніемъ. Однако, не успѣли мы приготовиться къ событіямъ, какъ они стали уже дѣломъ прошедшаго... Наканунѣ, ровно въ 11 часовъ вечера, генераль «прибѣжалъ» въ Кадау, а къ слѣдующему полудню его уже не было. И за этотъ короткій промежутокъ онъ успѣлъ совершить великое множество дѣлъ: выпастись, позавтракать, на мѣстѣ ознакомиться съ каторжнымъ вопросомъ, сдѣлать осмотръ тюрьмы, наконецъ, дать мѣстной администраціи необходимыя указанія и инструкціи. Съ такой же точно стремительностью и основательностью осмотры были, очевидно, и прочіе рудники, и важный сановникъ успѣшилъ отбыть въ Петербургъ, оставивъ по себѣ впечатлѣніе блеска, грома и тумана. Рассказывали, что самъ завѣдующій каторгой ходилъ въ эти дни, низко понурилъ голову, и немудрено: на какое-то его замѣчаніе послѣдовалъ суровый и раздражительный отвѣтъ, въ присутствіи чуть-ли даже не арестантовъ:

— Я прїѣхалъ не совѣты выслушивать, а учить!...

За всѣмъ тѣмъ, мелкая каторжная администрація ликовала.

— Пронеслась гроза—гуляемъ!..—крикнулъ весело Костровъ, промчавшись куда-то мимо оконъ моей квартиры на парѣ своихъ рыжихъ и фамильярно пославъ мнѣ воздушный поцѣлуй.

Правда, многіе изъ арестантовъ, собиравшихся обратиться къ генералу съ различными просьбами и жалобами и не успѣвшихъ

сдѣлать это, имѣли огорченный видъ, но скоро и они нашли утѣшеніе въ философическихъ размышленіяхъ.

— Ну, въ этотъ разъ не пофартило—пофартить въ другой. Онъ вѣдь, говорятъ, на Кару теперь побѣждалъ, а взадъ поѣдетъ—безпремѣнно опять къ намъ заглянетъ. Главная бѣда, не подпускали близко собаки эти—надзирателишки, а то бы онъ вникъ въ каждое дѣло, потому генералъ самый настоящій: и по закону и противъ закона, говорятъ, власть ему дадена! И къ нашему брату доброта такая въ лицѣ!.. А смотрителишекъ не обожаютъ. Такъ и бреетъ ихъ, братцы мои, такъ вотъ и бреетъ! Взадъ поѣдетъ—тогда ужъ мы его такъ не пропустимъ.

Словомъ, въ этотъ и въ слѣдующіе нѣсколько дней настроеніе у всѣхъ было самое праздничное.

Но вотъ однажды рано по-утру,—мы съ Таней только что поднялись съ постелей,—отъ хозяевъ пришли сказать намъ, что какая-то женщина давно уже дожидается въ сѣняхъ нашего пробужденія. Мы велѣли ее немедленно выпустить. Едва успѣвъ переступить порогъ, женщина повалилась мнѣ въ ноги и залилась слезами. Въ маленькой сморщенной старушонкѣ я съ трудомъ узналъ нашу пріятельницу Подуздику.

— Въ чемъ дѣло? Что случилось?

— Охъ, батюшки-свѣты, охъ, голубчики мои,—заголосила старуха,—увозятъ, усылаютъ!.. Охъ, злосчастная я, злосчастная!

— Кого увозятъ? Куда?

— Да Дуняху, дочку мою... На Соколинный островъ!

— Съ какой стати? Быть этого не можетъ. Встаньте, пожалуйста, расскажите толкомъ. Зачѣмъ ее увозятъ? Вѣдь ей срокъ черезъ мѣсяцъ кончается? Взоръ это какой-нибудь, глупый арестантскій слухъ.

— Нѣтъ, не слухъ, батюшка, какой ужъ тутъ слухъ,—захлебываясь въ горькихъ слезахъ, возразила Подуздика:—еще третѣводни, на вечерней повѣркѣ смотритель гумагу намъ вычиталъ: всѣхъ, молъ, холостыхъ бабъ, кому только сорока годовъ отъ роду нѣтъ, генералъ велѣлъ на Сахалинъ предоставить... А сегодня въ одиннадцатомъ часу и отправка!

— Что она говорить?—прошептала Таня, страшно поблѣднѣвъ и судорожно схватившись за мой рукавъ, точно опасаясь упасть:—она бредить...

Я вдругъ вспомнилъ о давнемъ стремленіи тюремнаго вѣдомства

населить, во что бы то ни стало, островъ Сахалинъ, вспомнилъ и о томъ, что подобныя отправки туда каторжныхъ женщинъ уже бывали въ прежніе годы; поэтому, какъ ни былъ я пораженъ неожиданной вѣстью, я молчалъ.

— Но вѣдь у нея женихъ, у нея мать!—ломала руки Таня,— это невозможно, это безчеловѣчно!

— Матушка ты моя, у Палагеи Концовой трое дѣтей отъ неродного мужа, а и ту вычитали въ гумагѣ, потому по закону ты, говорить, холостая.

— Нѣтъ, этого нельзя допустить! Иванъ Николаевичъ сейчасъ же отправится къ Кострову. Или нѣтъ, я лучше сама съ нимъ отправлюсь... Тутъ, навѣрное, какое-нибудь страшное недоразумѣніе кроется... И подумать, что это я все надѣлала! Боже, Боже, сколько я времени пропустила, и теперь вотъ!..

— Благодѣтели вы наши,—бухнулась опять въ ноги Подуздиха,— заступитесь за насъ, сиротъ. Не на кого больше надѣяться!

Но я не двигался съ мѣста. Таня вспыхнула.

— Ну, что же ты, словно пень безчувственный, стоишь?—сказала она, метнувъ на меня гнѣвный взоръ:—Скорѣе, сію минуту пойдемъ!

Но не успѣлъ я высказать свое мнѣніе о бесполезности всякаго заступничества, особенно съ нашей стороны (и передъ кѣмъ же? Передъ безвластнымъ въ этихъ вопросахъ смотрителемъ!), какъ дверь съ шумомъ отворилась, и въ комнату не вошелъ, а почти влетѣлъ, въ растерзанномъ видѣ, съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, безъ шапки, высокій, блѣдный, задыхающійся человѣкъ. Я не узналъ въ первый моментъ Бусова и, сочтя его за какого-нибудь пьянаго крестьянина, инстинктивно поспѣшилъ навстрѣчу.

— Иванъ Николаевичъ, не у васъ ли?!—завопилъ Бусовъ хриплымъ, полнымъ ужаса голосомъ, и, оглядѣвъ присутствующихъ, грохнулся всѣмъ тѣломъ на полъ и, рыдая, сталъ рвать на себѣ одежду и волосы.

Пораженный этимъ взрывомъ отчаянія взрослого, сильнаго человѣка и еще не вполне понимая, въ чемъ дѣло, я старался успокоить его, уговорить подняться и рассказать все по порядку.

— Вы, точно по мертвой, Андрей, по своей невѣстѣ плачете, а вѣдь не на тотъ же свѣтъ ее увозятъ. Въ концѣ концовъ развѣ вы не можете и сами перепроситься на Сахалинъ? Съ вашимъ мастерствомъ вы нигдѣ не пропадете. Стыдитесь же такъ малодушествовать!

— Малодушествовать?—поднялся Бусовъ, переставъ вдругъ плакать и бросивъ на меня почти злобный взглядъ:—да вѣдь ея въ живыхъ теперь, можетъ, нѣтъ ужъ! Поймите вы это! Или вы, какъ господинъ Костровъ, скажете, что она бродяжить ушла? Полноте, господа, народъ смѣшить. Не пойдетъ она бродяжить, не таковская. А я знаю теперь, гдѣ ее искать надо: въ старыхъ шахтахъ—вотъ гдѣ!..

И онъ сдѣлалъ энергичное движеніе, чтобы выйти вонъ; старая Подуздиха еле успѣла поймать его за рукавъ.

— Что ты, что ты, Андрюша, Господь съ тобой, опомнись! Я вѣдь сію минуту видала Дуняху.

Бусовъ сердито остановился на порогѣ.

— Когда ты ее видала? Гдѣ?

— Да вотъ какъ сюда побѣгла, къ Ивану Миколанчу... Дай, думаю себѣ, схожу,—люди они образованные, не наша темнота дурацкая, авось что и присоветуютъ... А Дуняха того жъ часу въ рудникъ пошла: надыть, говорить, въ кузницу сходить, Андрея повидать,—это тебя, значить, повидать.

— Да не была она въ кузницѣ, не была вовсе! А сказываютъ которые изъ кобылки—вверхъ по горѣ, молъ, пошла... Свѣтличный сторожъ, сказываютъ, видѣлъ. «Ты куда, спрашиваетъ, Авдотья, идешь?» Она ничего бы спервоначалу ему не отвѣтила, а потомъ обернулась бы, засмѣялась да и говорить: «Цвѣточковъ, говорить, на прощанье Андрюшѣ своему нарвать иду». Съ тѣмъ и ушла въ сонку. Не повѣрилъ я втапору: ботаешь, думаю, кобылка... Зла она, галится надо мной, попужать хочетъ... Побѣгъ сначала сюда, ну, а видно...

Подуздиха заголосила, запричитала... Проворно одѣвшись и сказавъ Танѣ, чтобы она оставалась дома, я отправился въ тюрьму. Бусова уже не было на улицѣ.

Въ квартирѣ смотрителя я засталъ необычное движеніе. Голосъ Кострова, разъяренного, какъ дикій звѣрь, гремѣлъ не весь домъ. Онъ продолжалъ кричать на надзирателей и ругаться непечатными словами, даже когда увидалъ меня.

— Сволочи, черти! Всѣхъ въ кандалы закую! Въ карцерѣ сгною, за-по-рю!.. Ахъ, не до васъ мнѣ теперь,—грубо отмахнулся онъ въ мою сторону, понижая, впрочемъ, свой охрипшій голосъ и не глядя прямо въ глаза:—Вы не знаете, что творится здѣсь. Они подъ судъ меня упечь хотятъ, негодяи! Я, видите ли, по простотѣ душев-

ной, раньше срока объявить объ отправкѣ на Сахалинъ. По настоящему-то, надо было въ самое утро отправки, сегодня прочитатъ бумагу и сейчасъ же послѣ того арестовать, кого слѣдуетъ. Оно такъ, по правдѣ сказать, и предписано мнѣ было сдѣлать... А я думаю себѣ: люди вѣдь тоже... Надо имъ дать приготовиться, собраться... По человѣчеству-то лучше... А они, вотъ, мерзавцы, какое человѣчество мнѣ преподнесли! Представьте себѣ, двѣ дѣвки сегодня ночью бѣжали съ своими любовниками! Ну, а кто теперь, позвольте спросить, отвѣтитъ за это? Я, одинъ я! Но только я на днѣ морскомъ розыщу негодяекъ и шкуру спущу со сволочей! Въ свою голову запорю... Ей-Богу, запорю, самъ, собственными руками!

— А и вы тоже хороши!—вдругъ накинудся Костровъ на оробѣвшую толпу стоявшихъ кругомъ надзирателей,—вы-то чего же глядѣли? За что вы жалованье получаете? Я всѣхъ васъ подъ судъ отдамъ, вотъ что! Въ Сибирь отправлю!..

Тутъ Костровъ, однако, сообразилъ, что зарепортовался, грозя сибирякамъ ссылкой въ Сибирь, и поспѣшилъ поправиться:

— Всѣхъ до одного рассчитаю, всѣхъ! Черти, сволочи!

— Позвольте доложить, господинъ смотритель,—заговорилъ было кто-то изъ надзирателей, заикаясь отъ страха, но Костровъ гаркнулъ во всю глотку:

— Молчать (по сибирски выговаривая слово молчать)! Молчать, коли васъ не спрашиваютъ!

И тутъ же прибавилъ съ любопытствомъ:

— А въ чемъ дѣло?

— Позвольте доложить, господинъ смотритель, Андрей Бусовъ не бѣжалъ.

— Бусовъ? Не говорите вздора. Я вполне увѣренъ, что эта хитрая цыганская морда бѣжала со своей Дунькой.

Тутъ я счелъ возможнымъ вмѣшаться въ разговоръ и рассказать про свое свиданіе съ кузнецомъ и про его опасенія. Костровъ разразился насмѣшливымъ хохотомъ:

— Ха-ха-ха! Ловко придумалъ бестія—въ старую, молъ, шахту бросилась. Нашелъ дуру! Такъ я и повѣрилъ! Глаза хочеть отвести. Спряталъ ее, чтобъ потомъ вмѣстѣ убѣжать, когда партія уйдетъ на Сахалинъ и розыски утихнутъ. Ну, да не на такого простака попали... Сейчасъ же извольте арестовать этого мерзавца и держать подъ строжайшимъ карауломъ! Нѣтъ, лучше всего въ тюрьму отвести. Собственной головой мнѣ за него отвѣчаете. А Дуньку продолжать

розыскивать. Коли Бусовъ здѣсь, значить, и она неподалеку. Ну, а про другую пару не слышно ль чего? Гдѣ Сенька съ Катькой?

— Не можемъ знать, господинъ смотритель,—отвѣчали надзиратели,—тѣ, надо полагать, дѣйствительно убѣгли...

— «Дѣйствительно, дѣйствительно...»—передразнилъ Костровъ со злобой:—по мордасамъ, дѣйствительно, слѣдовало бы кое-кого отхлестать. Чего жъ вы торчите тутъ? Ступайте дѣлать, что вамъ приказано.

Надзиратели моментально скрылись.

— Что же, однако, я теперь дѣлать стану?—жалобно застоналъ тогда смотритель, обращаясь ко мнѣ:—что я завѣдующему донесу? Изъ пяти бабъ, которыхъ я долженъ сегодня доставить, цѣлыхъ двухъ недостаетъ... Чортъ знаетъ что такое! Да еще третья,—вообразите, какія нѣжности!—горячкой внезапно захворала... Само собой, притворство. Дрянью какой-нибудь облопалась—это онѣ умѣютъ. Мастера на всякія каверзы! Только мнѣ до этого нѣтъ дѣла. Эту-то госпожу я все равно въ Горный отошлю, а тамъ пускай докторъ, какъ знаетъ, разберется.

Я, наконецъ, тоже оставилъ Кострова. Мнѣ хотѣлось поскорѣй повидать Бусова.

Стояло ясное, теплое утро. Сопки, одѣтыя едва начавшей блекнуть зеленью, утопали въ солнечномъ блескѣ. Свѣтличка въ рудникѣ ослѣпительно-ярко сверкала порыжѣлыми стеклами своихъ оконъ. По какому-то инстинкту я направился вверхъ по горѣ. Тамъ вдали блеснули на солнцѣ штыки быстро двигавшагося отряда казаковъ.

Отъ рудника вдругъ послышался громкій, звавшій кого-то голосъ:

— Сюда! сюда!

Я невольно ускорилъ шаги и на одномъ изъ утесовъ увидалъ человѣческую фигуру, неистово махавшую краснымъ флагомъ. Находившіеся дальше меня казаки, очевидно, тоже его замѣтили: они вдругъ остановились, точно совѣщаясь о чемъ-то; потомъ еще разъ сверкнули штыки, и отрядъ повернулъ къ неперестававшему кричать человѣку. Это былъ Бусовъ. Я первый къ нему подошелъ. Съ ногъ до головы онъ былъ мокръ отъ лившаго рѣкой пота, и мнѣ даже показалось, что черные, какъ смоль, волосы кузнеца слегка покрыты бѣлой пѣной, какъ у взмыленной отъ долгой и быстрой ѣзды лошади.

— Ну, что, Андрей?—спросилъ я, задыхаясь.

— Нашелъ... Сюда! сюда!—закричалъ онъ опять, возбужденно махая своимъ флагомъ.

Я недоумѣвалъ: если онъ нашелъ Авдотью живою, то съ какой же стати призываетъ конвой, предаетъ ее? Неужели же мертвую?.. Но я не высказалъ вслухъ своихъ мыслей. Бусовъ тоже молчалъ.

— Чего ревешь?—сердито спросилъ, приблизившись, плечистый урядникъ съ неприятнымъ, багрово-угреватымъ лицомъ:—кого тутъ нашелъ?

— Авдотью нашелъ, пойдемте.

Казаки молча переглянулись; и всѣ мы послѣдовали за Бусовымъ. Сквозь колючій кустарникъ боярышника и шиповника, черезъ высокія кучи колчедана и забракованной старой руды, ярко блестящей на солнцѣ, онъ, наконецъ, привелъ насъ къ большой земляной выемкѣ, устланной камнями и поросшей бурьяномъ. По срединѣ валялись старыя полусгнившія доски и рядомъ зіяло черное отверстіе колодца съ полуразрушеннымъ срубомъ. Это была старая шахта...

Урядникъ первый нарушилъ молчаніе.

— Ты, собачья шерсть, не дури,—обратился онъ къ Бусову, энергично потрясая передъ самымъ его носомъ огромнымъ кулачищемъ:—ты начальства со слѣдовъ не сбивай! Какого лѣшаго ты тутъ нашелъ? Гдѣ видишь?

— Лѣзьте туда, сами увидите,—спокойно отвѣчалъ кузнецъ.

— Самъ лѣзь, варначья душа! Нашелъ тоже дураковъ... Да тутъ и подступиться-то боязно, живой рукой внизъ полетишь... Гниль вѣдь одна... А тамъ теметь! Нешто тутъ можно что увидать? Десятокъ-другой сажень, поди, будетъ? А на низу, небось, вода?

Казаки залпумѣли; на арестанта посыпались со всѣхъ сторонъ угрозы, брань.

— Вотъ что я скажу вамъ, господа служивые,—началъ Бусовъ прежнимъ ровнымъ голосомъ (онъ только страшно былъ блѣденъ, спокойствіе же нашло на него удивительное съ той самой минуты, какъ подошелъ конвой):—не серчайте лучше, а выслушайте. Я-то самъ съ утра еще знаю, что Авдотья въ живыхъ нѣтъ на свѣтѣ, ну, а теперь и вы примѣты можете видѣть, гдѣ искать упокойницу. Перво-на-перво вотъ вамъ ейный платокъ, я здѣсь его поднялъ, возлѣ самой шахты.

Взоры всѣхъ устремились на небольшой красный платокъ, который онъ держалъ въ рукахъ и которымъ махалъ передъ тѣмъ надъ головою, когда звалъ къ себѣ казаковъ.

— Ну, это, положимъ, ничего не обозначаетъ,—началъ было



урядникъ послѣ минуты общаго молчанія:—подшалокъ она обронить могла, а сама уйти...

— А доски-то? Ослѣпили?—съ внезапнымъ остервенѣніемъ кинулся Бусовъ къ лежавшимъ подлѣ колодда доскамъ:—вѣдь шахта-то, поди, закрыта была... Непшто старой шахтѣ полагается раскрытой стоять?

На мгновеніе всѣ опять замолчали, сраженные этимъ вѣскимъ доводомъ.

— Для отвода глазъ!—крикнулъ вдругъ тоненькимъ голоскомъ безусый казакъ съ востренькимъ носикомъ и бѣлобрысыми волосами:—для отвода глазъ сдѣлано!

— Это надоть обслѣдовать,—рѣшилъ урядникъ,—коли отводъ глазъ, такъ ты, братецъ, по закону отвѣтишь, а коли нѣтъ... Айда, ребята, кто-нибудь къ свѣтличку живымъ манеромъ по веревку сбѣгайте. Да фонарь не забудьте. А ты, Пуговкинъ, за хорунжимъ айда поскорѣй! При этакомъ дѣлѣ безпремѣнно надоть, чтобъ господинъ офицеръ присутствовалъ.

Пуговкинъ, тотъ самый бѣлобрысый казакъ съ востренькимъ носикомъ, что предполагалъ отводъ глазъ, подхватилъ на плечо берданку и стремглавъ кинулся внизъ съ горы; слѣдомъ за нимъ побѣжали въ свѣтличку два другихъ казака. Оставшіеся принялись обсуждать планъ дѣйствій. Они бѣгали кругомъ шахты, не рѣшаясь, однако, подступиться слишкомъ близко къ отверстию, топали ногами, испытывая прочность почвы, кричали безъ толку и перебранивались другъ съ другомъ. Бусовъ, апатичный и, словно, сонный, стоялъ въ сторонѣ, не принимая въ общей сутолокѣ никакого участія. Я сидѣлъ по-одалъ на камнѣ.

Не прошло и получаса, какъ посланные вернулись съ канатомъ, а черезъ пять минутъ, верхомъ на бѣломъ конѣ прискакалъ и молодой хорунжій. Рослый, румяный, съ круглымъ, еще безбородымъ лицомъ, которое безпрестанно подергивалось капризными гримасами, съ манерными тѣлодвиженіями и интонаціями голоса, онъ принялъ отъ урядника рапортъ о случившемся и сталъ распоряжаться.

— Ну, лѣзьте, ребята... Обвяжитесь кто-нибудь веревкой вокругъ шеи... то бишь, вокругъ туловища. А вы, всѣ другіе, держите крѣпче!

Но охотниковъ обвязаться и лѣзть не отыскивалось.

— Чего же вы жметесь, трусы этакіе?—разсердился хорунжій.—

Коли приказываетъ офицеръ, должны въ огонь и воду лѣзть! Вообразите, что передъ вами находится непріятель...

— Они боятся, ваше благородіе, — вступился урядникъ, — что тамъ воздухъ душной. Задохнуться, говорятъ, можно...

— Чепуха, братецъ... А, впрочемъ, бываетъ, — согласился тотчасъ же офицеръ и принялся плясать на сердито ерзавшемъ подъ нимъ сухопаромъ иноходцѣ. — Ну, такъ какъ же быть?

— А вотъ его бы прежде послать, — указалъ урядникъ на Бусова, — потому какъ онъ женихъ... Да онъ же и показаніе на эту шахту даетъ.

— Дѣло, дѣло! — обрадовался начальникъ. — Ну, такъ ты, братецъ, того... Изволь-ка туда спуститься... Да поживѣй у меня! Шевелись! Не смѣть отказываться.

Но Бусовъ и не думалъ отказываться. Проворнымъ движеніемъ обмоталъ онъ вокругъ себя веревку, схватилъ въ руки фонарь и, едва-едва успѣли казаки опомниться и подхватить свободную часть каната, — очертя голову, ринулся въ темную шахту.

— Прямо шамашедшій какой-то, — буркнулъ себѣ подъ носъ урядникъ.

— Молодчага, духъ, значить, имѣеть! — громко похвалилъ хорунжій, красиво гарцуя вокругъ.

Веревка опускалась быстро и долго.

— Сажень двѣнадцать, коли не больше, ушло ужъ, — переговаривались между собой державшіе.

Къ компаніи присоединилось въ это время нѣсколько запыхавшихся надзирателей, посланцевъ Кострова. Урядникъ шепотомъ посвятилъ ихъ въ положеніе вещей.

— Стопъ машина! На твердую почву сталъ, ослабла веревка.

Всѣ невольно затаили дыханіе.

— Ну, чего тамъ? — гаркнулъ урядникъ, осторожно подходя къ краю шахты.

Даже молодцоватый хорунжій прекратилъ на время свои прыжки и гримасы.

— Ну? — протянулъ онъ нетерпѣливо.

На днѣ шахты царило молчаніе. Урядникъ еще нѣсколько разъ крикнулъ туда — отвѣта не было. Такъ прошло минутъ десять, въ томительномъ ожиданіи.

— Видно, привязывается.

— Кого?..

— Да упокойницу-то... Сперва ее, должно, подыметь, а потомъ ужъ самъ.

— Да дергайте же, что-ли, канатъ! Чего онъ прохладается тамъ, скотина?—скомандовать, наконецъ, офицеръ.

Казаки энергично задержали... Снизу, какъ бы въ отвѣтъ, веревка тоже слегка дрогнула.

— Тащить велить, тащить! Пошелъ, паря, поливай!—И человѣкъ пять казаковъ, ухватившись за канатъ, начали изо всѣхъ силъ тужиться, къ нимъ присоединилось и двое надзирателей.

— У, какая чишолая, варначка!

— Не даромъ, говорятъ, вашего Кострова стряхивала.

Авторы этихъ грубыхъ шутокъ, повидимому, самихъ себя подбадривали ими: они, очевидно, порядкомъ трусили, ожидая, что вотъ-вотъ вытащутъ наверхъ изуродованный трупъ самоубійцы... Хорунжій, дѣлая съ своей стороны видъ, что не слышитъ разговора своихъ подчиненныхъ, ухарски подбоченясь, по прежнему плясалъ на конѣ.

— Ну-ну-ну, паря, еще разикъ... У-ухъ!

И изъ колодца вынырнула черная голова Бусова. Всѣ удивленно вскрикнули. Хорунжій побагровѣлъ отъ злости, и румяное, упитанное лицо его искривилось дѣтски-капризной гримасой.

— Ты это что же, братецъ, а? Ты надо мной смѣлешься, что ли? Вотъ я нагайками велю тебя отодрать, собачьяго сына. Я тутъ время изъ-за тебя даромъ теряю... Ты почему же не тащишь, коли нашель?

— Тащите сами, если вамъ нужно,—глухо, едва слышно отозвался Бусовъ. И, не сбрасывая намотанной вокругъ туловища веревки, усьлся на срубъ шахты.

На мгновеніе отвѣтъ этотъ ошеломилъ всѣхъ; но затѣмъ молодой офицеръ, забывъ всякую осторожность, сдѣлавъ къ шахтѣ гнѣвный прыжокъ и, нагнувшись съ коня, со всего размаху ударилъ арестанта нагайкой прямо по лицу. Кровавый слѣдъ обозначился тотчасъ отъ лѣваго виска до правой щеки...

— Такъ-то ты отвѣчаешь, мерзавецъ, офицеру? Разсказывай, что ты тамъ видѣлъ?

Но Бусовъ даже не взглянулъ на своего палача. Не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ, низко свѣсивъ голову, онъ продолжалъ сидѣть верхомъ на срубѣ, точно погруженный въ глубокую думу. Бросивъ въ это время свой наблюдательный постъ и подойдя совсѣмъ близко къ мѣсту дѣйствія, я снова обратилъ вниманіе на волосы кузнеца,

покрытые, какъ мнѣ еще раньше показалось, бѣлою пѣной, какая бываетъ на загнанныхъ лошадяхъ: это была—сѣдина, отчетливо се-ребрившаяся теперь на черной смоли волосъ!..

— Ваше благородіе, этого артиста намъ приказано арестовать,— подошелъ къ хорунжему, дѣлая подъ козырекъ, одинъ изъ тюремныхъ надзирателей.

— Туда ему и дорога, мерзавцу!—сердито отвѣчалъ хорунжій, отъѣзжая въ сторону.

Надзиратели кинулись къ Бусову, освободили его отъ веревки и повели. Онъ не сопротивлялся.

— Андрей, вы ее видѣли?—тихо спросилъ я, осторожно взявъ его за руку.

Андрей вздрогнулъ и поднялъ на меня глубоко ввалившіеся, потемнѣвшіе глаза: они смотрѣли такимъ жалкимъ, такимъ умоляющимъ взглядомъ.

— Да?

Онъ утвердительно кивнулъ головой и, опять свѣсивъ ее на грудь, опустилъ глаза въ землю. Не прежній уже былъ это Бусовъ, молодой, красивый и сильный, а дряхлый, слабый, жалкій старикъ!..

— Вотъ вѣдь какихъ безпокойствъ всему свѣту надѣлали, варначье сѣмя!—словно ища сочувствія, обратился ко мнѣ арестовавшій Бусова надзиратель.

Я, молча, пожалъ плечами и, оставивъ печальную процессію, поспѣшилъ домой.

---

Къ вечеру съ Таней сдѣлался жаръ и бредъ. Ей мерещились бѣглые арестанты, укрывавшіеся по угламъ нашей комнаты, солдаты, рыщущіе по всей деревнѣ, ихъ сверкающіе на солнцѣ штыки и угрожающіе крики. Волнуясь и гнѣвно жестикулируя, она куда-то посы-лала меня хлопотать, жаловаться, плакала, проклинала, молила... Меня охватывалъ ужасъ при мысли, что съ ней начинается нервная горячка, а я не знаю, что дѣлать, что предпринять. Горькими упреками осыпалъ я себя, проклиная свой эгоизмъ, свое легкомысліе и давая пламенные обѣты—какъ только установится зимній путь, немедленно отправить сестру въ Россію. Къ счастью, некогда было предаваться безплоднымъ самоугрызениямъ: приходилось день и ночь работать, пуская въ ходъ тѣ убогія медицинскія познанія, какія у меня имѣлись. И судьба сжалилась надъ моей безпомощностью: жаръ

постепенно исчезъ, и дня черезъ три больная, хотя и страшно еще блѣдная, слабая, уже могла сидѣть въ постели. Всякая опасность, очевидно, миновала.

Но когда, счастливый и радостный, я подошелъ къ Танѣ и, улыбаясь, взялъ ея руку, она вдругъ упала мнѣ на грудь и залилась горькими слезами.

— Милый мой, дорогой... Неужели же одна смерть можетъ избавить отъ этого ужаса?

---

## ЭПИЛОГЪ.

Прошли годы. Все на свѣтѣ имѣетъ свой конецъ—окончилась и моя каторга. Уже многое, очень многое начинаетъ изглаживаться изъ памяти, и когда въ душѣ выплываетъ порой изъ забвенія тотъ или иной образъ, то или другое событіе, случается—я спрашиваю себя: «что это—дѣйствительно такъ было, или просто какой-нибудь сонъ вспомнился?..» Впрочемъ, записки эти, составленныя на половину еще въ каторгѣ, уже навсегда сохранять для меня самого главное, важнѣйшее, и когда я пересматриваю ихъ,—все пережитое, до послѣднихъ мелочей, такъ явственно возникаетъ опять изъ темной глубины прошлаго. И такъ близки становятся снова всѣ эти «мараказы», «тарбаганы», «дюдю», всѣ эти голодные, дикіе, невѣжественные, жестокіе, всѣ эти несчастные, несчастные безъ конца люди, прежде всего и больше всего «несчастные»! Сердце опять болитъ и мучительно стонетъ... И хотѣлось бы снова очутиться въ ихъ средѣ, снова дѣлить ихъ горькую участь, пытаться находить искру свѣта на днѣ ихъ душевнаго мрака... И такъ стыдно порой становится за себя, за то, что опять живешь въ станѣ «ликующихъ», въ станѣ «праздно-болтающихъ»!..

Нерѣдко страшные, кошмарные сны посѣщаютъ меня по ночамъ, и среди ужаса, боли и страданій всякаго рода мелькаютъ въ разгоряченномъ мозгу знакомые призраки. Такъ притрезился мнѣ однажды неудачный побѣгъ изъ тюрьмы нѣсколькихъ арестантовъ, въ томъ числѣ и Петина-Сохатаго. Озвѣрѣлые солдаты избили его штыками и прикладами, и, умирая на моихъ глазахъ, онъ тихо и жалобно стоналъ, вытянувшись на землѣ во весь свой гигантскій ростъ. Незнакомый врачъ склонился надъ нимъ и гуттаперчевымъ молоткомъ постукивалъ для чего-то по грудной клѣткѣ, пересчитывая сломанныя ребра... Кругомъ еще шумѣли солдаты, свирѣпо потрясая въ воздухѣ берданами.

Рѣдкіе и скупые слухи доходятъ до меня объ оставленныхъ въ каторгѣ сожителяхъ. Чирокъ отбылъ, наконецъ, свой срокъ и очутился на поселеніи въ городѣ Читѣ, гдѣ поступилъ въ водовозы. Валерьянъ Башуровъ писалъ мнѣ объ одной встрѣчѣ съ нимъ. Чирокъ былъ въ щеголеватыхъ смазныхъ сапогахъ съ широкими раструбами и въ красной кумачной рубахѣ; встрѣча со старымъ знакомцемъ привела его въ восторгъ, и все лицо его лоснилось отъ разлившейся по немъ широкой улыбки. Разспросамъ обо мнѣ конца не было: гдѣ я? женился ли? скоро ли въ Расею поѣду? Башуровъ, между прочимъ, сообщилъ ему, что я вскорѣ «пропечатаю» все, что мы пережили вмѣстѣ въ Шелаѣ... Чирокъ и къ этому извѣстію отнесся вполне благосклонно...

Расскажу и то немногое, что самому мнѣ извѣстно о дальнѣйшей судьбѣ старика Павла Николаева. Вотъ что писалъ мнѣ про него тотъ же Валерьянъ, съ которымъ онъ, послѣ разлуки со мной въ Стрѣтенскѣ, продолжалъ обратный путь къ Верхнеудинску. «Его мечтой было пѣть по праздникамъ на клиросѣ въ Троицкомъ монастырѣ, а въ будни—собирать Христовымъ именемъ милостыню. Правда, его смущала нѣсколько мысль, что онъ связался съ такой нечистью, какъ карты, но въ минуты спокойнаго настроенія онъ надѣялся и невинность соблюсти (замолить грѣхъ), и капиталъ приобрѣсти. Къ сожалѣнію, его угнеталъ большею частью страхъ не выручить даже и положенныхъ въ предпріятіе собственныхъ денегъ. По двадцати разъ на день принимался онъ высчитывать, сколько уже затратилъ на маѣданъ, и ужасаться, какъ мало успѣлъ вернуть. А тутъ еще приходять просить въ долгъ—кто на копѣйку сахару, кто листъ курительной бумаги, а кто на цѣлый пятачекъ табаку... Какъ станешь давать?.. Пропадетъ?.. Начинаются пренія. Достаточно обруганный, осмѣянный, Николаевъ въ концѣ концовъ даетъ въ долгъ, и въ результатѣ всѣ недовольны: онъ самъ—тѣмъ, что не выдержалъ характера и далъ, а получившій—тѣмъ, что изъ за коробки спичекъ вышло столько грѣха. Иныя дѣйствовали на него крикомъ, нахальствомъ, и тогда онъ давалъ сразу цѣлые рубли, а послѣ съ какой-то растерянностью дѣлился со мной своимъ горемъ, положительно недоумѣвая, какимъ образомъ онъ далъ, да еще чело-вѣку-то ненадежному... Въ концѣ концовъ Николаевъ сдѣлался общимъ посмѣшищемъ; не ругалъ его въ партіи только лѣнивый. О какой-либо хозяйственности его, практической распорядительности и говорить нечего. Его, напримѣръ, невозможно было уговорить поку-

пять для всѣхъ мясо, рыбу. Разъ онъ сдѣлать было такую попытку (еще въ самомъ началѣ пути), и когда партія встрѣтила по дорогѣ гуртъ барановъ, послѣ долгихъ сомнѣній и колебаній купилъ одного. Но по приходѣ на этапъ, когда баранъ былъ заколотъ и освѣжованъ, и нахлынула масса покупателей, Николаевъ сталъ втупикъ: какъ продавать безъ вѣсовъ? Какъ бы самому не прогорѣть («безъ рубахи не остаться»), продавая мясо на глазъ? Баранину чуть не рвали у него изъ рукъ, и, вѣроятно, бѣднягѣ ни разу въ жизни не пришлось выслушать столько ругани и столько ядовитыхъ насмѣшекъ, какъ въ этотъ злополучный день; однако, къ чести его надо сказать, что въ этотъ разъ онъ твердо защищалъ свое добро и, весь красный, облитый потомъ, охрипшій отъ крика, неутомимо подавая во всѣ стороны забавно-сердитыя реплики, настоялъ таки на своемъ рѣшеніи—не начинать до тѣхъ поръ продажи, пока не отыщется безменъ. Безменъ нашелся только на другое утро, и тогда мясо было расхвачено такъ быстро, что Николаевъ не успѣлъ даже сообразить и запомнить, сколько онъ кому отвѣсилъ, съ кого получилъ деньги и съ кого нѣтъ. Для самого хозяина не осталось даже и крошечнаго кусочка баранины. Всѣ объясняли это его скопидомствомъ, и старика опять до того осмѣяли, что сала онъ ужъ ни за что не продалъ, какъ къ нему ни приставали и какую цѣну ни набивали. Однако онъ хранилъ это сало въ туесѣ такъ долго (все собираясь устроить себѣ «пиръ горой»), что оно, наконецъ, совершенно сгнило, такъ что его пришлось выбросить вмѣстѣ съ посудой... Подъ вліяніемъ насмѣшекъ же купилъ себѣ однажды Николаевъ молока къ чаю и калачей. Нужно было видѣть самодовольную гордость, съ какой онъ пилъ чай: «вотъ мы какъ теперь!»—гордость, смѣшанную, правда, съ сожалѣніемъ: «что жъ, молъ, ничего не подѣлаешь... Noblesse oblige!».

«Но самымъ главнымъ испытаніемъ были для него карты. Эта область настолько превосходила силу его пониманія, что онъ даже и вникать въ нее не пробовалъ. Все время игры старикъ бодрствовалъ, молясь, чтобы выигралъ забравшій у него для игры деньги, а подъ конецъ напряженнаго ожиданія впадая обыкновенно въ тупое отчаяніе. Кто бы ни выигралъ, ему выпадало одинаково мало. Даже тамъ, гдѣ онъ ясно видѣлъ, что его обчитываютъ, онъ безсиленъ былъ что-либо предпринять. Такъ, случалось, что за извѣстное вознагражденіе ему предлагали слѣдить въ другой камерѣ за правильностью взносовъ въ его пользу. Однако на слѣдующій день выплы-



вало наружу, что нанятый соглядатай безсовѣстно обманулъ его, оставивъ себѣ, кромѣ выговоренной платы, и еще столько же... И однако вечеромъ, когда этотъ человѣкъ снова предлагалъ свои услуги, Николаевъ опять принималъ ихъ, не смѣя отказать. Своимъ помощникомъ Равиловымъ—помимо періодическихъ подозрѣній—онъ недоволенъ былъ, какъ черезчуръ смиреннымъ, и когда Равиловъ освободился въ Читѣ, взялъ себѣ въ помощники для дальнѣйшаго пути бойкаго и смышленнаго Китаева, котораго, между прочимъ, самъ побаивался. Но Китаевъ—человѣкъ, въ сущности, неумный—взялся за дѣло такъ рьяно и круто, что игроки вскорѣ рѣшили избавиться отъ него: они стали рвать карты, возвращать неполныя колоды. Прямая погибель!.. Можно представить себѣ, что переживалъ въ эти дни Николаевъ. Наконецъ, поднялось открытое возстаніе, и Китаевъ долженъ былъ удалиться, а самъ Николаевъ—какъ это случилось, я не могу объяснить—очутился уже не полновластнымъ хозяиномъ майдана, а лишь равноправнымъ товарищемъ одного изъ героев амурской шайки, извѣстнаго вамъ Красноперова: равноправность эта въ томъ состояла, что Николаевъ долженъ былъ вѣдать ящикъ, а Красноперовъ—карты, причемъ первый обязывался почему-то вознаграждать второго, если бы при торговлѣ какъ-нибудь обсчитался... Надо добавить къ этому, что Красноперовъ ни одной копѣйки не вложилъ въ дѣло.

«Растерянный, подавленный, старикъ возбуждалъ въ это время мою жалость, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и страшно надоѣдалъ, не давая покоя своимъ нытьемъ и вѣчными разговорами о майданѣ. Не мало раздражала меня и его младенческая безотвѣтность, неумѣнье сколько-нибудь постоять за себя противъ назойливой наглости шайки. Такъ въ Читѣ онъ получилъ подводу (въ качествѣ старика, больного при томъ грыжей), но мало пользовался этой подводой: его гнали съ нея—онъ и уходилъ, безропотно уступая мѣсто молодымъ, здоровымъ нахаламъ. Его практическая наивность и безтолковость, а особенно мошенническія условія его товарища, которыхъ добродушный Павелъ Николаевъ въ сущности и не понималъ (иначе, при своей скупости, онъ бы отъ одного страха померъ!), побудили меня настоять, наконецъ, чтобы онъ совсѣмъ отказался отъ майдана. Онъ согласился, поставивъ только условіе, чтобы новые майданщики захватывали для него мѣсто на этапахъ, и чтобы они въ моемъ присутствіи дали торжественное обѣщаніе выплатить ему все по уговору. Ликвидация дѣлъ, сверхъ всякаго ожиданія, дала очень недурные результаты: изъ Шелая Николаевъ вынесъ 23 рубля, теперь у него оказался

31 рубль (не считая дорожныхъ издержекъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ). Деньги эти онъ отдалъ на храненіе мнѣ, и вотъ съ этой минуты старикъ ожилъ: сталъ благодушно распѣвать по вечерамъ священные псалмы, философствовать вслухъ о тлѣннѣ всего земного и не чувствовалъ, повидимому, ни малѣйшей зависти къ своимъ преемникамъ, у которыхъ дѣла пошли совершенно иначе. Онъ только не на шутку порой удивлялся, почему это у него не выходило толку, чаще же всего выражалъ радость, что избавился отъ страшной напасти, изъ когтей которой живымъ не чаялъ выйти. И какъ же онъ блаженно улыбался при мысли, что все это онъ уже пережилъ, да вѣдь — какъ-ни-какъ—и себя показалъ!..

«— Въ началѣ-то больше изъ-за Ивана Николаевича въ кашу полѣзъ, потѣшить его на прощанье хотѣлось... Ну, а ужъ потомъ могущество свое желалъ обнаружить!

«Жалѣю, что не могу съ достаточной подробностью описать разные характерныя мелочи, которыми былъ такъ богатъ этотъ трагикомическій эпизодъ. Я не запомнилъ даже ни одного изъ тѣхъ забавныхъ словечекъ, которыя Николаевъ, какъ мнѣ казалось, употреблялъ съ особымъ удовольствіемъ, когда замѣтилъ, что они намъ съ вами понравились. У меня осталось въ памяти только общее представленіе».

Это дорожное письмо Башурова—все, что я знаю о послѣдующей жизни Павла Николаева. Обѣщалъ старикъ писать мнѣ и сообщить свой адресъ, но обѣщанія почему-то не исполнилъ. Гдѣ онъ теперь и что съ нимъ?..

Шелайскіе бѣглецы, къ общему удивленію, не понесли никакого наказанія: очевидно, они были обязаны этимъ паденію браваго капитана и разгрому установленнаго имъ образцоваго режима.

Но этимъ, кажется, и исчерпываются радостныя вѣсти изъ міра отверженныхъ.

Бѣдный каторжный поэтъ, Медвѣжье Ушко, по слухамъ, назначенъ къ отсылкѣ на островъ Сахалинъ, но онъ отнесся къ этому назначенію съ такимъ же точно равнодушіемъ, какъ если бы выслушалъ приказаніе идти въ парашники, или копать въ огородѣ картофель. Онъ по прежнему молчаливъ и замкнутъ въ себѣ, по прежнему ходитъ, низко понурия мотающуюся голову. Но здоровье бѣдняги уже сильно расшатано: болить грудь, мучать бессонницы сухой, отрывистый кашель не даетъ покоя сосѣдямъ...

Сочтены дни и толстяка Ногайцева: у него водянка. Ноги рас-

пухли, какъ бревна, и несчастный «Михайло Ивановичъ» уже не выходитъ изъ лазарета.

Совершенно неожиданно закончилась также бурная, мрачная карьера Сокольцева. Не дождавшись своей «точки», не вырвавшись изъ когтей каторжнаго режима, онъ умеръ скоропостижно отъ разрыва сердца, во время работы въ столярной мастерской. Тамъ же, гдѣ покоится дорогой мнѣ прахъ Марзгали и хилыя, старыя кости Залаты, близъ дороги, по которой ходятъ въ рудникъ шелайскіе каторжные, нашелъ себѣ вѣчный покой и этотъ неутомимый человекъ, тюремный софистъ и Мефистофель.

Слыхалъ я еще, что возятъ по рудникамъ для улички богатырски сложеннаго старика съ львиной гривой сѣдыхъ волосъ и изрытымъ оспой лицомъ. Старикъ—большой краснобай, знаетъ меня и шлетъ мнѣ при каждомъ случаѣ поклонны.

— Ужъ вы только скажите про меня Ивану Николаевичу, онъ сейчасъ же узнаетъ—кто!..

И дѣйствительно, я почти не сомнѣваюсь въ томъ, что старый знакомецъ мой и пріятель—Гончаровъ... И сердце болѣзненно сжимается при мысли, что старый разбойникъ будетъ въ концѣ концовъ уличенъ и никогда ужъ не увидитъ больше ни свободы, ни родины!

К о н е ц ъ .

## Оглавленіе.

---

### Съ товарищами:

|  |     |
|--|-----|
| I. Въ горной кузницѣ . . . . .   | 1   |
| II. Желанные гости . . . . .   | 18  |
| III. Разсказъ Штейнгарта . . . . .   | 31  |
| IV. По-новому . . . . .  | 42  |
| V. Украденный манифестъ . . . . .  | 57  |
| VI. На очной ставкѣ . . . . .  | 76  |
| VII. Герои новой партіи.—Открытіе Прони . . . .                                | 95  |
| VIII. Недоразумѣнія продолжаются.—Вмѣшательство<br>Шестиглазаго . . . . .      | 112 |
| IX. Исторія изъ Рокамболя . . . . .  | 126 |
| X. На прощанье. . . . .  | 136 |
| XI. Тревоги иного рода . . . . .   | 143 |
| XII. Торжество дамской дипломатіи . . . . .                                    | 167 |
| XIII. Жизнь опять входитъ въ нормальную колею .                                | 186 |
| XIV. «Атаманъ Буря» и начало его карьеры . . . .                               | 199 |
| XV. Паденіе идетъ быстрыми шагами . . . . .                                    | 219 |
| XVI. Слава Шелая.—Увлеченіе писательствомъ.—Ка-<br>торжные мечтатели . . . . . | 236 |
| XVII. «Біографія моей жизни» Годунова . . . . .                                | 252 |
| XVIII. Кошмаръ . . . . .   | 270 |
| XIX. Сонъ на яву.—Побѣгъ . . . . .   | 285 |
| XX. Конецъ Шелаевской тюрьмы . . . . .   | 306 |
| Нобылка въ пути . . . . .  | 319 |
| Среди сопокъ . . . . .   | 355 |
| Эпилогъ . . . . .  | 396 |

---





**Цѣна 1 руб. 50 коп.**

**СКЛАДЫ ИЗДАНІЯ:**

**Въ С.-Петербургѣ**—Контора журнала «Русское Богатство»,  
уг. Спасской и Васковой ул., д. 1—9.

**Въ Москвѣ**—Отдѣленіе Конторы «Русскаго Богатства», Ни-  
китскія ворота, д. Гагарина.











This book should be returned to  
the Library on the last date stamped  
below.

A fine of five cents a day is incurred  
by retaining it beyond the specified  
time.

Please return promptly.

4869897

MAY 21 '75 H

